

Фрэнсис Скотт

ФИЦДЖЕРАЛЬД

ВСЕ РОМАНЫ
В ОДНОМ ТОМЕ

F. Scott Fitzgerald

Все романы в одном томе
Фрэнсис Скотт Фицджеральд

Аннотация
Фрэнсис Скотт Фицджеральд. Все романы в одном томе
По эту сторону рая
Книга первая. Романтический эгоист
Глава I. Эмори, сын Беатрисы
Эпизод с поцелуем
Моментальные снимки юного эгоиста
Кодекс юного эгоиста
Накануне великих перемен
Эгоисту плохо
Эпизод с доброжелательным преподавателем
Эпизод с чу́дной девушкой
Эпизод в героических тонах
Философия прилизы
Глава II. Шпили и химеры
Влажная символическая интерлюдия
Немножко истории
«Ого-Гортензия!»
Новое в жизни Америки
Описательная

Изабелла
Младенцы в лесу
Карнавал
Под дуговым фонарем
Крещендо!
Глава III. Эгоист на распутье
Сверхчеловек допускает оплошность
Похмелье
Эпизод финансовый
Первое появление термина «личность»
Дьявол
В переулке
У окна
Глава IV. Нарцисс не у дел
Эмори пишет стихотворение
Все еще спокойно
Клара
Святая Цецилия
Эмори недоволен
Многое кончилось
Интерлюдия. Май 1917 – февраль 1919
Плач по названому сыну, уходящему на войну против чужеземного короля
Ночная погрузка
Книга вторая. Воспитание личности
Глава I. Ее первый бал

Спустя несколько часов
Неотвратимое
Маленькая интерлюдия
Сладкая горечь
Эпизод на воде
Пять недель спустя
Глава II. Методы излечения
Все еще в винных парах
Эмори о производственных отношениях
Передышка
Температура нормальная
Метания
Том в роли цензора
Взгляд в прошлое
Еще что-то кончилось
Глава III. Ирония юности
Сентябрь
Лето кончилось
Глава IV. Высокомерное самопожертвование
Рушатся несколько опор
Глава V. Эгоист становится личностью
В часы упадка
Мысли, мысли
Монсеньор
Толстяк в консервах
Эмори придумал новый оборот речи

На первую скорость
Человечку тоже достается
«От камелька, из комнаты уютной...»
Прекрасные и обреченные
Книга первая
Глава первая
Энтони Пэтч
Достойный человек и его даровитый сын
Личность героя и его прошлое
Безупречное жилище
Без суеты
После полудня
Трое мужчин
Ночь
В раю. Взгляд в прошлое
Глава вторая
Портрет сирены
Дамские ножки
Тревога
Прекрасная дама
Неудовлетворенность
Восхищение
Глава третья
Ценитель поцелуев
Две юные дамы
Бесславный конец шевалье О'Кифи

Солнечный свет и лунное сияние
Волшебство
Черная магия
Паника
Мудрость
В промежутке
Две встречи
Слабость
Серенада
Книга вторая
Глава первая
Лучезарное время
Расцвет
Три отступления
Дневник
Дыхание пещеры
Утро
Шаферы
Энтони
Глория
Con Amore
Глория и генерал Ли
Сентиментальность
Серый дом
Душа Глории
Конец главы

Глава вторая
Симпозиум
Практичные люди
Торжество апатии
Зима
Судьба
Зловещее лето
Во тьме
Глава третья
Сломанная лютня
Ретроспектива
Паника
Квартира
Котенок
Кончина американского моралиста
На следующий день
Зима разочарований
Сломанная лютня
Книга третья
Глава первая
Вопрос цивилизации
Дот
Воин во всеоружии
Впечатляющее событие
Поражение
Катастрофа

Кошмар
Ложное перемирие
Глава вторая
Вопрос эстетики
Происки капитана Коллинза
Доблесть
Глория в одиночестве
Крушение генеральских надежд
Еще одна зима
Дальнейшие приключения с «Разговором по душам»
Odi Profanum Vulgus
Кинематограф
Проба
Глава третья
Нет вопросов!
Ричард Кэрамел
Полный разгром
Неожиданная встреча
В компании с воробышками
Великий Гэтсби
Глава I
Глава II
Глава III
Глава IV
Глава V

Глава VI
Глава VII
Глава VIII
Глава IX
Ночь нежна
Книга первая
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX

XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV
Книга вторая
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX

XXI
XXII
XXIII
Книга третья
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
Последний магнат
Глава 1
Глава 2
Глава 3
Глава 4
Глава 5
Глава 6

Аннотация

Впервые под одной обложкой представлены ВСЕ РОМАНЫ знаменитого американского писателя Фрэнсиса Скотта Фицджеральда.

От ранних, ироничных и печальных произведений "По эту сторону рая" и "Прекрасные и обреченные", своеобразных манифестов молодежи "эры джаза", до его поздних шедевров - "Великий Гэтсби", "Ночь нежна" и "Последний магнат".

Глубокие, очень разные по содержанию романы.

Несмотря на многочисленные экранизации и инсценировки, они по-прежнему свежо и ярко воспринимаются современным читателем.

Содержание:

По эту сторону рая (роман, перевод М. Лорие), стр. 5-238

Прекрасные и обреченные (роман, перевод Л.Б. Папилиной), стр. 239-600

Великий Гэтсби (роман, перевод Е. Калашниковой), стр. 601-730

Ночь нежна (роман, перевод Е. Калашнико-

вой), стр. 731-1034
Последний магнат (роман, перевод И. Майгуровой), стр. 1035-1149

Фрэнсис Скотт Фицджеральд
Все романы в одном томе

По эту сторону рая

...По эту сторону рая
Мудрость – опора плохая.

Руперт Брук

Опытом люди называют свои ошибки.

Оскар Уайльд

Книга первая
Романтический эгоист
Глава I
Эмори, сын Беатрисы

Эмори Блейн унаследовал от матери все, кроме тех нескольких трудно определимых черточек, благодаря которым он вообще чего-нибудь стоил. Его отец, человек бесхарактерный и безликий, с пристрастием к Байрону и с привычкой дремать над «Британской энциклопедией», разбогател в тридцать лет после смерти двух старших братьев, преуспевающих чикагских биржевиков, и, воодушевленный открытием, что к его услугам весь мир, поехал в Бар-Харбор, где познакомился с Беатрисой О'Хара. В результате Стивен Блейн получил возможность передать потомству свой рост — чуть пониже шести футов — и свою неспособность быстро принимать решения, каковые особенности и проявились в его сыне Эмори. Долгие годы он маячил где-то на заднем плане семейной жизни, безвольный человек с лицом, наполовину скрытым прямыми шелковистыми волосами, вечно поглощенный «заботами» о

жене, вечно снедаемый сознанием, что он ее не понимает и не в силах понять.

Зато Беатриса Блейн, вот это была женщина! Ее давнишние снимки — в отцовском поместье в Лейк-Джинева, штат Висконсин, или в Риме, у монастыря Святого Сердца, — роскошная деталь воспитания, доступного в то время только дочерям очень богатых родителей, — запечатлели восхитительную тонкость ее черт, законченную изысканность и простоту ее туалетов. Да, это было блестящее воспитание, она провела юные годы в лучах Ренессанса, приобщилась к последним сплетням о всех старинных римских семействах, ее, как баснословно богатую юную американку, знали по имени кардинал Витори и королева Маргарита, не говоря уже о менее явных знаменитостях, о которых и услышать-то можно было, только обладая определенной культурой. В Англии она научилась предпочитать вину виски с содовой, а за зиму, проведенную в Вене, ее светская болтовня стала и разнообразнее, и смелее. Словом, Беатрисе О'Хара досталось в удел воспитание, о каком в наши дни нельзя и помыслить; образование, измеряемое количеством людей и явлений, на которые следует взирать свысока или же с благоговением; культура, вмещающая

все искусства и традиции, но ни единой идеи. Это было в самом конце той эпохи, когда великий садовник срезал с куста все мелкие неудавшиеся розы, чтобы вывести один безупречный цветок.

В каком-то промежутке между двумя захватывающими сезонами она вернулась в Америку, познакомилась со Стивеном Блейном и вышла за него замуж — просто потому, что немножко устала, немножко загрустила. Своего единственного ребенка она носила томительно скучную осень и зиму и произвела на свет весенним днем 1896 года.

В пять лет Эмори уже был для нее прелестным собеседником и товарищем. У него были каштановые волосы, большие красивые глаза, до которых ему предстояло дорасти, живой ум, воображение и вкус к нарядам. С трех до девяти лет он объездил с матерью всю страну в личном салон-вагоне ее отца — от Коронадо, где мать так скучала, что с ней случился нервный припадок в роскошном отеле, до Мехико-Сити, где она заразилась легкой формой чахотки. Это недомогание пришлось ей по вкусу, и впоследствии она, особенно после нескольких рюмок, любила пользоваться им как элементом атмосферы, которой себя окружала.

Таким образом, в то время как не столь удачливые богатые мальчики воевали с гувернантками на взморье в Ньюпорте, в то время как их шлепали и журили и читали им вслух «Дерзай и сделай» и «Фрэнка на Миссисипи», Эмори кусал безропотных малолетних рассыльных в отеле «Уолдорф», преодолевал врожденное отвращение к камерной и симфонической музыке и подвергался в высшей степени выборочному воспитанию матери.

— Эмори!

— Что, Беатриса? (Она сама захотела, чтобы он так странно ее называл.)

— Ты и не думай еще вставать, милый. Я всегда считала, что рано вставать вредно для нервов. Клотильда уже распорядилась, чтобы завтрак принесли тебе в номер.

— Ладно.

— Я сегодня чувствую себя очень старой, Эмори, — вздыхала она, и лицо ее застывало в страдании, подобно прекрасной камее, голос искусно замирал и повышался, а руки взлетали выразительно, как у Сары Бернар. — Нервы у меня вконец издерганы. Завтра мы уедем из этого ужасного города, поищем где-нибудь солнца.

Сквозь спутанные волосы Эмори поглядывал

на мать своими проницательными зелеными глазами. Он уже тогда не обольщался на ее счет.

— Эмори!

— Ну что?

— Тебе необходимо принять горячую ванну — как можно горячее, как сможешь терпеть, и дать отдых нервам. Если хочешь, можешь взять в ванну книжку.

Ему еще не было десяти, когда она пичкала его фрагментами из «Fêtes galantes»[1] Дебюсси; в одиннадцать лет он бойко, хотя и с чужих слов, рассуждал о Брамсе, Моцарте и Бетховене. Как-то раз, когда его оставили одного в отеле, он отведал абрикосового ликера, которым поддерживала себя мать, и, найдя его вкусным, быстро опьянел. Сначала было весело, но на радостях он попробовал и закурить, что вызвало вульгарную, самую плебейскую реакцию. Этот случай привел Беатрису в ужас, однако же втайне и позабавил ее, и она, как выразилось бы следующее поколение, включила его в свой репертуар.

— Этот мой сынишка, — сообщила она однажды при нем целому сборищу женщин, внимавших ей со страхом и восхищением, — абсолютно все по-

---

[1] notes: 1
«Галантные праздники» (*фр.*).

нимает и вообще очарователен, но вот здоровье у него слабое… У нас ведь у всех слабое здоровье. — Ее рука сверкнула белизной на фоне красивой груди, а потом, понизив голос до шепота, она рассказала про ликер. Гостьи смеялись, потому что рассказывала она отлично, но несколько буфетов было в тот вечер заперто на ключ от возможных поползновений маленьких Бобби и Бетти…

Семейные паломничества неизменно совершались с помпой: две горничные, салон-вагон (или мистер Блейн, когда он оказывался под рукой) и очень часто — врач. Когда Эмори болел коклюшем, четыре специалиста, рассевшись вокруг его кроватки, бросали друг на друга злобные взгляды; когда он подхватил скарлатину, число услужающих, включая врачей и сиделок, достигло четырнадцати. Но несмотря на это, он все же выздоровел.

Имя Блейн не было связано ни с одним из больших городов. Они были известны как Блейны из Лейк-Джинева; взамен друзей им вполне хватало многочисленной родни, и они пользовались весом везде — от Пасадены до мыса Код. Но Беатриса все больше и больше тяготела к новым знакомствам, потому что некоторые свои рассказы, как, например, о постепенной эволюции своего

организма или о жизни за границей, ей через определенные промежутки времени требовалось повторять. Согласно Фрейду, от этих тем, как от навязчивых снов, нужно было избавляться, чтобы не дать им завладеть ею и подточить ее нервы. Но к американкам, особенно к кочевому племени уроженок Запада, она относилась критически.

— Их невозможно слушать, милый, — объясняла она сыну. — Они говорят не как на Юге и не как в Бостоне, их говор ни с какой местностью не связан, просто какой-то акцент… — Начиналась игра фантазии. — Они откапывают какой-нибудь обветшалый лондонский акцент, давно оставшийся не у дел, — надо же кому-то его приютить. Говорят, как английский дворецкий, который несколько лет прослужил в оперной труппе в Чикаго. — Дальше шло уже почти непонятное. — Наверно… период в жизни каждой женщины с Запада… чувствует, что ее муж достаточно богат, чтобы ей уже можно было обзавестись акцентом… они пытаются пустить мне пыль в глаза, *мне*…

Собственное тело представлялось ей клубком всевозможных болезней, однако свою душу она тоже считала больной, а значит, очень важной частью себя. Когда-то она была католичкой, но,

обнаружив, что священники слушают ее гораздо внимательнее, когда она готова либо вот-вот извериться в матери-церкви, либо вновь обрести веру в нее, — удерживалась на неотразимо шаткой позиции. Порой она сетовала на буржуазность католического духовенства в Америке и утверждала, что, доведись ей жить под сенью старинных европейских соборов, ее душа по-прежнему горела бы тонким язычком пламени на могущественном престоле Рима. В общем, священники были, после врачей, ее любимой забавой.

— Ах, епископ Уинстон, — заявляла она, — я вовсе не хочу говорить о себе. Воображаю, сколько истеричек толпится с просьбами у вашего порога, зная, какой вы симпатико… — Потом, после паузы, заполненной репликой священника: — Но у меня, как ни странно, совсем иные заботы.

Только тем священнослужителям, что носили сан не ниже епископского, она поверяла историю своего клерикального романа. Давным-давно, только что вернувшись на родину, она встретила в Ашвилле молодого человека суинберновско-языческого толка, чьи страстные поцелуи и недвусмысленные речи не оставили ее равнодушной. Они обсудили все за и против

как интеллигентные влюбленные, без тени сентиментальности, и в конце концов она решила выйти замуж в соответствии со своим общественным положением, а он пережил духовный кризис, принял католичество и теперь звался монсеньор Дарси.

— А знаете, миссис Блейн, он ведь и сейчас еще интереснейший человек, можно сказать — правая рука кардинала.

— Когда-нибудь, я уверена, Эмори обратится к нему за советом, — лепетала красавица, — и монсеньор Дарси поймет его, как понимал меня.

К тринадцати годам Эмори сильно вытянулся и стал еще больше похож на свою мать — ирландку. Время от времени он занимался с учителями, — считалось, что в каждом новом городе он должен «продолжать с того места, где остановился». Но поскольку ни одному учителю не удалось выяснить, где именно он остановился, голова его еще не была сверх меры забита знаниями. Трудно сказать, что бы из него получилось, если бы такая жизнь тянулась еще несколько лет. Но через четыре часа после того, как они с матерью отплыли в Италию, у него обнаружился запущенный аппендицит — скорее всего, от частых завтраков и обедов в постели, — и в результате

отчаянных телеграмм в Европу и в Америку, к великому изумлению пассажиров, огромный пароход повернул обратно к Нью-Йорку, и Эмори был высажен на мол. Согласитесь, что это было великолепно, если и не слишком разумно.

После операции у Беатрисы был нервный срыв, подозрительно смахивающий на белую горячку, и Эмори на два года оставили в Миннеаполисе у дяди с теткой. И там его застигла, можно сказать, врасплох грубая, вульгарная цивилизация американского Запада.

Эпизод с поцелуем

Он читал, презрительно кривя губы:

> Мы устраиваем катанье на санях в четверг семнадцатого декабря. Надеюсь, что и Вы сможете поехать. Приходите к пяти часам.
>
> Преданная вам
>
> ***Майра Сен-Клер.***

Он прожил в Миннеаполисе два месяца и все это время заботился главным образом о том, чтобы другие мальчики в школе не заметили,

насколько выше их он себя считает. Однако убеждение это зиждилось на песке. Однажды он отличился на уроке французского (французским он занимался в старшем классе), к великому конфузу мистера Ридона, над чьим произношением он высокомерно издевался, и к восторгу всего класса. Мистер Ридон, который десять лет назад провел несколько недель в Париже, стал в отместку на каждом уроке гонять его по неправильным глаголам. Но в другой раз Эмори решил отличиться на уроке истории, и тут последствия были самые плачевные, потому что его окружали сверстники и они потом целую неделю громко перекрикивались, утрируя его столичные замашки: «На мой взгляд… э-э-э… в американской революции были заинтересованы главным образом средние классы…» или: «Вашингтон происходил из хорошей семьи, да, насколько мне известно, из очень хорошей семьи…».

Чтобы спастись от насмешек, Эмори даже пробовал нарочно ошибаться и путать. Два года назад он как раз начал читать одну книгу по истории Соединенных Штатов, которую, хоть она и доходила только до Войны за независимость, его мать объявила прелестной.

Хуже всего дело у него обстояло со спортом,

но, убедившись, что именно спортивные успехи обеспечивают мальчику влияние и популярность в школе, он тут же стал тренироваться с яростным упорством — изо дня в день, хотя лодыжки у него болели и подвертывались, совершал на катке круг за кругом, стараясь хотя бы научиться держать хоккейную клюшку так, чтобы она не цеплялась все время за коньки.

Приглашение мисс Майры Сен-Клер пролежало все утро у него в кармане, где пришло в тесное соприкосновение с пыльным остатком липкой ореховой конфеты. Во второй половине дня он извлек его на свет божий, обдумал и, набросав предварительно черновик на обложке «Первого года обучения латинскому языку» Коллара и Дэниела, написал ответ:

> Дорогая мисс Сен-Клер!
>
> Ваше прелестное приглашение на вечер в будущий четверг доставило мне сегодня утром большую радость. Буду счастлив увидеться с Вами в четверг вечером.
>
> Преданный Вам
>
> ***Эмори Блейн.***

И вот в четверг он задумчиво прошагал к дому

Майры по скользким после скребков тротуарам и подошел к подъезду в половине шестого, решив, что именно такое опоздание одобрила бы его мать. Позвонив, он ждал на пороге, томно полузакрыв глаза и мысленно репетируя свое появление. Он без спешки пройдет через всю комнату к миссис Сен-Клер и произнесет с безошибочно правильной интонацией: «Дорогая миссис Сен-Клер, простите, ради бога, за опоздание, но моя горничная… — он осекся, сообразив, что это было бы плагиатом, — но мой дядя непременно хотел представить меня одному человеку… Да, с вашей прелестной дочерью мы познакомились в танцклассе».

Потом он пожмет всем руку, слегка, на иностранный манер поклонится разряженным девочкам и небрежно кивнет ребятам, которые будут стоять, сбившись тесными кучками, чтобы не дать друг друга в обиду.

Дверь отворил дворецкий (один из трех во всем Миннеаполисе). Эмори вошел и снял пальто и шапку. Его немного удивило, что из соседней комнаты не слышно хора визгливых голосов, но он тут же решил, что прием сегодня торжественный, официальный. Это ему понравилось, как понравился и дворецкий.

— Мисс Майра, — сказал он.

К его изумлению, дворецкий нахально ухмыльнулся.

— Да, она-то дома, — выпалил он, неудачно подражая говору английского простолюдина.

Эмори окинул его холодным взглядом.

— Только, кроме нее-то, никого дома нет. — Голос его без всякой надобности зазвучал громче. — Все уехали.

Эмори даже ахнул от ужаса.

— Как?!

— Она осталась ждать Эмори Блейна. Скорей всего, это вы и есть? Мать сказала, если вы заявитесь до половины шестого, чтобы вам двоим догонять их в «паккарде».

Отчаяние Эмори росло, но тут появилась и Майра, закутанная в меховую накидку, — лицо у нее было недовольное, вежливый тон давался ей явно с усилием.

— Привет, Эмори.

— Привет, Майра. — Он дал ей понять, что угнетен до крайности.

— Все-таки добрался наконец.

— Я сейчас тебе объясню. Ты, наверно, не слышала про автомобильную катастрофу.

Майра широко раскрыла глаза.

— А кто ехал?

— Дядя, тетя и я, — бухнул он с горя.

— И кто-нибудь убит?

Он помедлил и кивнул головой.

— Твой дядя?

— Нет, нет, только лошадь… такая, серая.

Тут мужлан-дворецкий поперхнулся от смеха.

— Небось лошадь убила мотор, — подсказал он.

Эмори не задумываясь послал бы его на плаху.

— Ну, мы уезжаем, — сказала Майра спокойно. — Понимаешь, Эмори, сани были заказаны на пять часов, и все уже собрались, так что ждать было нельзя…

— Но я же не виноват…

— Ну, и мама велела мне подождать до половины шестого. Мы догоним их еще по дороге к клубу Миннегага.

Последние остатки притворства слетели с Эмори. Он представил себе, как сани, звеня бубенцами, мчатся по заснеженным улицам, как появляется лимузин, как они с Майрой выходят из него под укоряющими взглядами шестидесяти глаз, как он приносит извинения… на этот раз не выдуманные. Он громко вздохнул.

— Ты что? — спросила Майра.

— Да нет, я просто зевнул. А мы наверняка до-

гоним их еще по дороге?

У него зародилась слабая надежда, что они проскользнут в клуб Миннегага первыми и там встретят остальных, как будто уже давно устали ждать, сидя у камина, и тогда престиж его будет восстановлен.

— Ну конечно, конечно догоним. Только не копайся.

У него засосало под ложечкой. Садясь в автомобиль, он наскоро подмешал дипломатии в только что зародившийся сокрушительный план. План был основан на чьем-то отзыве, кем-то переданном ему в танцклассе, что он «здорово красивый и что-то в нем есть английское».

— Майра, — сказал он, понизив голос и тщательно выбирая слова. — Прости меня, умоляю. Ты можешь меня простить?

Она серьезно поглядела на него, увидела беспокойные зеленые глаза и губы, казавшиеся ей, тринадцатилетней читательнице модных журналов, верхом романтики. Да, Майра с легкостью могла его простить.

— Н-ну… В общем, да.

Он снова взглянул на нее и опустил глаза. Своим ресницам он тоже знал цену.

— Я ужасный человек, — сказал он печаль-

но. — Не такой, как все. Сам не знаю, почему я совершаю столько оплошностей. Наверно, потому, что мне все — все равно. — Потом беспечно: — Слишком много курю последнее время. Отразилось на сердце.

Майра представила себе ночную оргию с курением и Эмори, бледного, шатающегося, с отравленными никотином легкими. Она негромко вскрикнула:

— Ой, Эмори, не надо курить, ну пожалуйста. Ты же перестанешь расти.

— А мне все равно, — повторил он мрачно. — Бросить я не могу. Привык. Я много делаю такого, что если б узнали мои родственники… На прошлой неделе я ходил в театр варьете.

Майра была потрясена. Он опять взглянул на нее зелеными глазами.

— Из всех здешних девочек только ты мне нравишься, — воскликнул он с чувством. — Ты симпатико.

Майра не была в этом уверена, но звучало слово модно, хотя почему-то и неприлично.

На улице уже сгустилась темнота. Лимузин круто свернул, и Майру бросило к Эмори. Их руки соприкоснулись.

— Нельзя тебе курить, Эмори, — прошептала

она. — Неужели ты сам не понимаешь?

Он покачал головой.

— Никому до меня нет дела.

Майра сказала не сразу:

— Мне есть.

Что-то шевельнулось в его сердце.

— Еще чего! Ты влюблена в Фрогги Паркера, это всем известно.

— Неправда, — произнесла она медленно — и замолчала.

Эмори ликовал. В Майре, уютно отгороженной от холодной, туманной улицы, было что-то неотразимое. Майра, клубочек из меха, и желтые прядки вьются из-под спортивной шапочки.

— Потому что я тоже влюблен… — Он умолк, заслышав вдали взрывы молодого смеха, и, прильнув к замерзшему стеклу, разглядел под уличными фонарями темные контуры саней. Нужно действовать немедля. С усилием он подался вперед и схватил Майру за руку — вернее, за большой палец.

— Скажи ему, пусть едет прямо в Миннегагу, — шепнул он. — Мне нужно с тобой поговорить, обязательно.

Майра тоже разглядела сани с гостями, на секунду представила себе лицо матери, а потом

— прощай строгое воспитание! — еще раз заглянула в те глаза.

— Здесь сверните налево, Ричард, и прямо к клубу Миннегага! — крикнула она в переговорную трубку.

Эмори со вздохом облегчения откинулся на подушки.

«Я могу ее поцеловать, — подумал он. — В самом деле могу. Честное слово».

Небо над головой было где чистое как стекло, где туманное; холодная ночь вокруг напряженно вибрировала. От крыльца загородного клуба тянулись вдаль дороги — темные складки на белом одеяле, и высокие сугробы окаймляли их, словно отмечая путь гигантских кротов. Они постояли на ступеньках, глядя на белую зимнюю луну.

— Такие вот бледные луны… — Эмори неопределенно повел рукой, — облекают людей таинственностью. Ты сейчас похожа на молодую колдунью без шапки, растрепанную… — ее руки потянулись пригладить волосы, — нет, не трогай, так очень красиво.

Они не спеша поднялись на второй этаж, и Майра провела его в маленькую гостиную, как раз такую, о какой он мечтал, где стоял большой низкий диван, а перед ним уютно потрескивал

огонь в камине. Несколько лет спустя комната эта стала для Эмори подмостками, колыбелью многих эмоциональных коллизий. Сейчас они поговорили о катании с гор.

— Всегда бывает парочка стеснительных ребят, — рассуждал он, — они садятся на санки сзади, перешептываются и норовят столкнуть друг друга в снег. И всегда бывает какая-нибудь косоглазая девчонка, вот такая, — он скорчил жуткую гримасу, — та все время дерзит взрослым.

— Странный ты мальчик, — задумчиво сказала Майра.

— Чем? — Теперь он был весь внимание.

— Да вечно болтаешь что-то непонятное. Пойдем завтра на лыжах со мной и с Мэрилин?

— Не люблю девочек при дневном свете, — отрезал он и тут же, спохватившись, что это слишком резко, добавил: — Ты-то мне нравишься. — Он откашлялся. — Ты у меня на первом, на втором и на третьем месте.

Глаза у Майры стали мечтательные. Рассказать про это Мэрилин — вот удивится! Как они сидели на диване с этим необыкновенным мальчиком, и камин горел, и такое чувство, будто они одни во всем этом большущем доме.

Майра сдалась. Очень уж располагающая была обстановка.

— Ты у меня от первого места до двадцать пятого, — призналась она дрожащим голосом, — а Фрогги Паркер на двадцать шестом.

За один час Фрогги потерял двадцать пять очков, но он еще не успел это заметить.

Эмори же, будучи на месте, наклонился и поцеловал Майру в щеку. Он еще никогда не целовал девочки и теперь облизал губы, словно только что попробовал какую-то незнакомую ягоду. Потом их губы легонько соприкоснулись, как полевые цветы на ветру.

— Нельзя так, — радостно шепнула Майра. Она нашарила его руку, склонилась головой ему на плечо.

Внезапно Эмори охватило отвращение, все стало ему гадко, противно. Хотелось убежать отсюда, никогда больше не видеть Майру, никогда больше никого не целовать; он словно со стороны увидел свое лицо и ее, их сцепившиеся руки и жаждал одного — вылезти из собственного тела и спрятаться подальше, в укромном уголке сознания.

— Поцелуй меня еще раз. — Ее голос донесся из огромной пустоты.

— Не хочу, — услышал он свой ответ.

Снова молчание.

— Не хочу, — повторил он со страстью.

Майра вскочила, щеки ее пылали от оскорбленного самолюбия, бант на затылке негодующе трепыхался.

— Я тебя ненавижу! — крикнула она. — Не смей больше со мной разговаривать!

— Что? — растерялся он.

— Я скажу маме, что ты меня поцеловал. Скажу, скажу, и она запретит мне с тобой водиться.

Эмори встал и беспомощно смотрел на нее, точно видел перед собой живое существо, совершенно незнакомое и нигде не описанное.

Дверь отворилась, на пороге стояла мать Майры, доставая из сумочки лорнет.

— Ну вот, — начала она приветливо, поднося лорнет к глазам. — Портье так и сказал мне, что вы, наверно, здесь… Здравствуйте, Эмори.

Эмори смотрел на Майру и ждал взрыва, но взрыва не последовало. Сердитое лицо разгладилось, румянец сбежал с него, и, когда она отвечала матери, голос ее был спокоен, как озеро под летним солнцем.

— Мы так поздно выехали, мама, я подумала, что нет смысла…

Снизу донесся звонкий смех и сладковатый запах горячего шоколада и пирожных. Эмори молча стал спускаться по лестнице вслед за матерью и дочерью. Звуки граммофона сливались с девичьими голосами, которые негромко вели мелодию, и словно налетело и окутало его теплое светящееся облако.

Кейси Джонс опять залез в кабину,
Кейси Джонс – работай, не зевай…
Кейси Джонс опять залез в кабину
И последним перегоном двинул в рай[2].

Моментальные снимки юного эгоиста

В Миннеаполисе Эмори провел почти два года. В первую зиму он носил мокасины, которые при рождении были желтыми, но после неоднократной обработки растительным маслом и грязью приобрели нужный зеленовато-коричневый оттенок, а также толстое, серое в клетку пальто и красную спортивную шапку. Красную шапку съела его собака по кличке Граф дель Монте, и дядя подарил ему серый вязаный шлем,

---

[2] notes: 2
Все стихи в этом романе переведены В. Роговым.

очень неудобный: в него приходилось дышать, и дыхание замерзало, один раз он этой гадостью отморозил щеку, и, как ни оттирал ее снегом, она все равно посинела.

Граф дель Монте как-то съел коробку синьки, но это ему не повредило. А через некоторое время он сошел с ума и понесся по улице, натыкаясь на заборы, катаясь в канавах, да так навсегда и умчался безумным аллюром из жизни Эмори. Эмори бросился на кровать и заплакал.

— Бедный маленький Граф! — плакал он. — Бедный, бедный маленький Граф!

Несколько месяцев спустя ему пришло в голову, что сцена сумасшествия была Графом разыграна, и очень ловко.

Самым мудрым изречением в мировой литературе Эмори и Фрог Паркер почитали одну реплику из третьего действия пьесы «Арсен Люпен». И в среду, и в субботу они сидели на дневном спектакле в первом ряду. Изречение было такое: «Если человек не способен стать великим артистом или великим полководцем, самое лучшее для него — стать великим преступником».

Эмори опять влюбился и сочинил стихи. Вот такие:

Их две, а я один —
Люблю и Салли, и Мэрилин.
Хоть Салли очень хороша,
Но к Мэрилин лежит душа.

Его интересовало, первое или второе место займет Макговерн из Миннесоты на всеамериканских футбольных состязаниях, как показывать фокусы с картами и с монетой, галстуки «хамелеон», как родятся дети и правда ли, что Трехпалый Браун как подающий сильнее Кристи Мэтьюсона.

Прочел он среди прочих следующие произведения: «За честь школы», «Маленькие женщины» (два раза), «Обычное право», «Сафо», «Грозный Дэн Макгру», «Широкаядорога» (три раза), «Падениедома Эшеров», «Три недели», «Мэри Уэр, подружка полковника», «Гунга Дин», «Полицейская газета» и «Сборник лучших острот и шуток».

В истории он следовал пристрастиям Хенти[3] и очень любил веселые рассказы с убийствами, которые писала Мэри Робертс Рейнхарт.

---

[3] notes: 3

Хенти Джордж Элфред (1832–1902) — английский журналист, написавший несколько авантюрно-исторических романов для детей.

Школа испортила ему французский язык и привила отвращение к литературным корифеям. Учителя считали, что он ленив, неоснователен и знания у него поверхностные.

Многие девочки дарили ему прядки волос. Некоторые давали поносить свои колечки, но потом перестали, потому что у него была нервная привычка покусывать их, держа палец у губ, а это вызывало ревнивые подозрения у последующих счастливцев.

Летом Эмори и Фрог Паркер каждую неделю ходили в театр. После спектакля, овеянные благоуханием августовского вечера, шли в веселой толпе домой по Хеннепин и по Николетт-авеню и мечтали. Эмори дивился, как это люди не замечают, что он — мальчик, рожденный для славы, и когда прохожие оборачивались на него и бесцеремонно встречались с ним глазами, напускал на себя самый романтический вид и ступал по воздушным подушкам, которыми устлан асфальт для четырнадцатилетних.

И всегда, улегшись в постель, он слышал голоса — смутные, замирающие, чудесные — совсем близко, прямо за окном, а перед тем как уснуть, видел один из своих любимых, им же приду-

манных снов: либо о том, как он становится знаменитым полузащитником, либо про вторжение японцев и как в награду за боевые заслуги его производят в чин генерала — самого молодого генерала в мире. Во сне он всегда кем-то становился, а не просто был. В этом очень точно выражался его характер.

Кодекс юного эгоиста

До того как его вытребовали обратно в Лейк-Джинева, он, робея, но не без тайного ликования облекся в первые длинные брюки, а к ним — лиловый плиссированный галстук, воротничок «бельмонт» с плотно сходящимися на горле концами, лиловые носки и носовой платок с лиловой каймой, выглядывающий из нагрудного кармашка. И, что еще важнее, он выработал для себя кодекс, или свою первую философскую систему, которую вернее всего будет определить как аристократический эгоцентризм.

Он пришел к выводу, что самые важные его интересы совпадают с интересами некоего непостоянного, изменчивого человека, именуемого — дабы не отрывать его от прошлого — Эмори Блейном. Он установил, что ему повезло в жизни,

поскольку он способен бесконечно развиваться и в хорошую, и в дурную сторону. Он не приписывал себе «сильный характер», но полагался на свои способности (заучиваю быстро) и на свое умственное превосходство (читаю уйму серьезных книг). Он гордился тем, что никогда не достигнет высот ни в технике, ни в точных науках. Все же остальные пути для него открыты.

Наружность. Эмори полагал, что он на редкость красив. Так оно, впрочем, и было. Он уже видел себя многообещающим спортсменом и искусным танцором.

Положение в обществе. Тут, пожалуй, таилась самая большая опасность. Однако он не отказывал себе в оригинальности, обаянии, магнетизме, умении затмить любого сверстника и очаровать любую женщину.

Ум. В этом смысле он ощущал свое явное, неоспоримое превосходство.

Далее придется выдать один секрет. Эмори был наделен чуть ли не пуританской совестью. Не то чтобы он слушался ее — в позднейшие годы он почти окончательно ее задушил, — но в пятнадцать лет она ему подсказывала, что он намного хуже других мальчиков… беззастенчивость… желание влиять на окружающих во всем, даже в дурном…

известная холодность и недостаток доброты, порой граничащий с жестокостью… зыбкое чувство чести… неправедное себялюбие… опасливый, неотвязный интерес к вопросам пола.

И еще — все его существо пронизывала какая-то недостойная слабость. Резкое слово, брошенное мальчиком старше его годами (а они, как правило, терпеть его не могли), грозило выбить у него почву из-под ног, повергнуть его в хмурую настороженность или в трусливый идиотизм… он был рабом собственных настроений и сознавал, что хотя и способен проявить бесшабашную дерзость, однако лишен и настоящей храбрости, и упорства, и самоуважения.

Тщеславие, умеряемое если не знанием себя, то недоверием к себе, ощущение, что люди подвластны ему, как автоматы, желание «обогнать» возможно больше мальчиков и достичь некой туманной вершины мира — с таким багажом Эмори вступал в годы юности.

Накануне великих перемен

Поезд, разморенный летней жарой, медленно остановился у платформы в Лейк-Джинева, и Эмори увидел мать, поджидавшую его в своем

электромобиле. Мотор был старый, одной из первых марок, серого цвета. Увидев, как грациозно и прямо она сидит и как на ее прекрасном, чуть надменном лице заиграла легкая, полузабытая им улыбка, он вдруг почувствовал, что безмерно гордится ею. Когда он, обменявшись с ней сдержанным поцелуем, залезал в автомобиль, его кольнул страх — не утратил ли он обаяния, необходимого, чтобы держаться на ее уровне.

— Милый мальчик, ты так вырос… Посмотрика, не едет ли что-нибудь сзади.

Она бросила взгляд направо, налево и двинулась вперед со скоростью две мили в час, умоляя Эмори быть начеку, а на одном оживленном перекрестке велела ему выйти и бежать вперед, чтобы очистить ей дорогу, как делают постовые полисмены. Беатриса была, что называется, осторожным водителем.

— Ты сильно вырос, но по-прежнему очень красив, ты перешагнул через нескладный возраст — а может быть, это шестнадцать лет? — или четырнадцать, или пятнадцать — всегда забываю, но ты через него перешагнул.

— Не конфузь меня, — еле слышно сказал он.

— Но, дорогой мой, как ты странно одет! Все словно подобрано в тон, или это нарочно? А белье

на тебе тоже лиловое?

Эмори невежливо хмыкнул.

— Тебе нужно будет съездить к Бруксу, заказать сразу несколько приличных костюмов. Мы с тобой побеседуем сегодня вечером или, может быть, завтра вечером. Я хочу все выяснить насчет твоего сердца — ты, наверно, запустил свое сердце и сам этого не знаешь.

Эмори подумал, какую непрочную печать наложило на него общение со сверстниками. Оказалось, что, если не считать некоторой робости, его прежнее взрослое сродство с матерью нисколько не ослабло. И все же первые дни он бродил по саду и по берегу озера в состоянии предельного одиночества, черпая какую-то дремотную отраду в том, что курил в гараже дешевый табак с одним из шоферов.

По шестидесяти акрам поместья были во множестве разбросаны старые и новые беседки, фонтаны и белые скамейки, неожиданно возникавшие в тенистых уголках; жило там обширное и неуклонно растущее семейство белых кошек — они рыскали по клумбам, а вечерами внезапно появлялись светлыми пятнами на фоне темных деревьев. На одной из дорожек среди этих темных деревьев Беатриса наконец и на-

стигла Эмори, после того как мистер Блейн, по своему обыкновению, удалился на весь вечер к себе в библиотеку. Побранив его за то, что он ее избегает, она вовлекла его в длинный интимный разговор при лунном свете. Его снова и снова поражала ее красота, которую он унаследовал, ее прелестная шея и плечи, грация богатой тридцатилетней женщины.

— Эмори, милый, — ворковала она, — после того как мы с тобой расстались, я пережила такое странное, нереальное время.

— В самом деле, Беатриса?

— Когда у меня в последний раз был нервный срыв… — она говорила об этом, как о геройском подвиге, — доктор сказал мне… — голос запел в доверительном регистре, — что любой мужчина, если бы он пил так же упорно, как я, буквально погубил бы свой организм и уже давно сошел бы в могилу, вот именно, милый, в могилу.

Эмори поморщился и попробовал вообразить, как воспринял бы такие слова Фрогги Паркер.

— Да, — продолжала Беатриса на трагических нотах, — меня посещали сны — изумительные видения. — Она прижала ладони к глазам. — Я видела, как бронзовые реки плещутся о мраморные берега, а в воздухе парят огромные птицы

— разноцветные, с переливчатым оперением. Я слышала странную музыку и рев дикарских труб… что?

Это у Эмори вырвался смешок.

— Что ты сказал, Эмори?

— Я сказал, а дальше что, Беатриса?

— Вот и все, но это бесконечно повторялось — сады такой яркой расцветки, что наш по сравнению показался бы однотонным, луны, которые плясали и кружились, бледнее, чем зимние луны, золотистее, чем летние…

— А сейчас ты совсем здорова, Беатриса?

— Здорова — насколько это для меня возможно. Меня никто не понимает, Эмори. Я знаю, что не сумею это выразить словами, но… меня никто не понимает.

Эмори даже взволновался. Он обнял мать и тихонько потерся головой о ее плечо.

— Бедная, бедная Беатриса.

— Расскажи мне о себе, Эмори. Тебе эти два года жилось ужасно?

Он хотел было соврать, но передумал.

— Нет, Беатриса. Мне жилось хорошо. Я приспособился к буржуазии. Стал жить как все. — Он сам удивился своим словам и представил себе изумленную физиономию Фрогги.

— Беатриса, — начал он вдруг. — Я хочу уехать куда-нибудь учиться. В Миннеаполисе все уезжают в школу.

— Но тебе только пятнадцать лет.

— Ну что ж, в школу все уезжают в пятнадцать лет, а мне *так* хочется!

Беатриса тогда предложила оставить этот разговор до другого раза, но неделю спустя она, к его великой радости, заговорила сама:

— Эмори, я решила, пусть будет по-твоему. Если ты не раздумал, можешь ехать в школу.

— Правда?

— В Сент-Реджис, в Коннектикуте.

У Эмори даже сердце забилось.

— Я уже списалась с кем нужно, — продолжала Беатриса. — Тебе и правда лучше уехать. Я бы предпочла, чтобы ты поехал в Итон, а потом учился в Оксфорде, в колледже Христовой Церкви, но сейчас это неосуществимо, а насчет университета пока можно не решать, там видно будет.

— А ты что думаешь делать, Беатриса?

— Понятия не имею. Видимо, мне суждено доживать мою жизнь здесь, в Штатах. Имей в виду, я вовсе не жалею, что я американка, более того, таким сожалениям могут, на мой взгляд, предаваться только очень вульгарные люди, и

я уверена, что мы — великая нация, нация будущего. Но все же… — она вздохнула, — я чувствую, что моя жизнь должна бы догорать среди более старой, более зрелой цивилизации, в стране зеленых и по-осеннему бурых тонов…

Эмори промолчал.

— О чем я жалею, — продолжала она, — так это о том, что ты не побывал за границей, но, в общем-то, тебе, мужчине, лучше взрослеть здесь, под сенью хищного орла… Так ведь это у вас называется?

Эмори подтвердил, что так. Вторжения японцев она бы не оценила.

— Мне когда ехать в школу?

— Через месяц. Выехать нужно пораньше, чтобы сдать экзамены. Потом у тебя будет свободная неделя, и я хочу, чтобы ты съездил в одно место на Гудзоне, в гости.

— К кому?

— К монсеньору Дарси, Эмори. Он хочет тебя повидать. Сам он учился и Англии, в Харроу, а потом в Йельском университете. Принял католичество. Я хочу, чтобы он с тобой поговорил, — я чувствую, он столько может для тебя сделать… — Она ласково погладила сына по каштановым волосам. — Милый, милый Эмори…

— Милая Беатриса…

И вот в начале сентября Эмори, имея при себе «летнего белья три смены, зимнего белья три смены, один свитер, или пуловер, одно пальто зимнее» и т. д., отбыл в Новую Англию, край закрытых школ.

Были там Андовер и Экзетер, овеянные воспоминаниями о местных знаменитостях, — обширные демократии типа колледжей; Сент-Марк, Гротон, Сент-Реджис, набиравшие учеников из Бостона и старых голландских семейств Нью-Йорка; Сент-Пол, славившийся своими катками; Помфрет и Сент-Джордж — процветающие и элегантные; Тафт и Хочкисс, где богатых сынков Среднего Запада готовили к светским успехам в Йеле; Поулинг, Вестминстер, Чоут, Кент и сотни других, из года в год выпускавшие на рынок вымуштрованную, самоуверенную, стандартную молодежь, предлагавшие в виде духовного стимула вступительные экзамены в университет, излагавшие в сотнях циркуляров свою туманную цель: «Обеспечить основательную умственную, нравственную и физическую подготовку, приличествующую джентльмену и христианину, дать юноше ключ к *решению проблем своего времени и своего поколения*, заложить прочный фундамент

для занятий искусствами и науками».

В Сент-Реджисе Эмори пробыл три дня, сдал экзамены с высокомерным апломбом, а затем вернулся в Нью-Йорк, чтобы оттуда отправиться с визитом к своему будущему покровителю. Огромный город, увиденный лишь мельком, не поразил его воображения, оставив только впечатление чистоты и опрятности, когда он ранним утром смотрел с палубы парохода на высокие белые здания вдоль Гудзона. К тому же он был так захвачен мечтами о спортивных триумфах в школе, что эту свою поездку считал всего лишь скучной прелюдией к великим переменам. Оказалось, однако, что его ждет нечто совсем другое.

Дом монсеньора Дарси — старинный, неопределенной архитектуры, стоял высоко над рекой, и владелец его жил там в промежутках между разъездами во все концы католического мира, как какой-нибудь король династии Стюартов, ожидающий в изгнании, когда его снова призовут на престол. Монсеньору было в то время сорок четыре года — цветущий, чуть располневший человек с волосами цвета золотой канители, блестящий и чарующий в обхождении. Когда он входил в комнату в своих алых одеждах, он напоминал закаты у Тернера и сразу привле-

кал к себе восхищенное внимание. Он успел написать два романа: один, незадолго до своего обращения, резко антикатолический, а второй — через пять лет, в котором пытался изменить свои остроумные выпады против католиков на не менее остроумные шпильки по адресу членов епископальной церкви. Он был ярым сторонником обрядов, великолепным актером, уважал идею Бога настолько, что соблюдал безбрачие и неплохо относился к своим ближним.

Дети обожали его, потому что он был как дитя; молодежь блаженствовала в его обществе, потому что он сам был молод и ничто его не шокировало. В другое время и в другой стране он мог бы стать вторым Ришелье — теперь же это был очень нравственный, очень верующий (если и не слишком набожный) священнослужитель, искусный в пустяковых тайных интригах и в полной мере ценящий жизнь, хотя, возможно, и не так уж ею избалованный.

Он и Эмори с первого взгляда пленили друг друга: вальяжный, почтенный прелат, блиставший на посольских приемах, и зеленоглазый беспокойный мальчик в своих первых длинных брюках, поговорив полчаса, уже ощутили, что их связывают отношения отца с сыном.

— Милый мальчик, я уже сколько лет мечтаю с тобой познакомиться. Выбирай кресло поудобнее, и давай поболтаем.

— Як вам приехал из школы, знаете — Сент-Реджис.

— Да, твоя мама мне писала — замечательная женщина; вот сигареты — ты ведь, конечно, куришь. Ну-с, если ты похож на меня, ты, значит, ненавидишь естествознание и математику…

Эмори с силой закивал головой.

— Терпеть не могу. Люблю английский и историю.

— Разумеется. В школе тебе первое время тоже не понравится, но я рад, что ты поступил в Сент-Реджис.

— Почему?

— Потому что это школа для джентльменов, и демократия не захлестнет тебя так рано. Этого успеешь набраться в университете.

— Я хочу поступить в Принстон, — сказал Эмори. — Не знаю почему, но мне кажется, что из Гарварда выходят хлюпики, каким я был в детстве, а в Йеле все носят толстые синие свитеры и курят трубки.

Монсеньор заметил со смешком:

— Вот и я там учился.

— Ну, вы-то другое дело… Принстон, по-моему, это что-то медлительное, красивое, аристократическое — ну, понимаете, как весенний день. Гарвард — весь замкнутый в четырех стенах…

— А Йель — ноябрь, морозный и бодрящий, — закончил монсеньор.

— Вот-вот.

Так, быстро и на вечные времена, у них установилась душевная близость.

— Я всегда был на стороне принца Чарли, — объявил Эмори.

— Ну еще бы. И Ганнибала…

— Да, и Южной конфедерации. — Признать себя патриотом Ирландии он решился не сразу — в ирландцах ему чудилось что-то недостаточно благородное, но монсеньор заверил его, что Ирландия — романтическая обреченная страна, а ирландцы — милейшие люди, и отдать им свои симпатии более чем похвально.

Пролетел час, в который вместилось еще несколько сигарет и в течение которого монсеньор узнал — с удивлением, но не с ужасом, — что Эмори не взращен в католической вере; а затем он сказал, что ждет еще одного гостя. Этим гостем оказался достопочтенный Торнтон Хэнкок из Бостона, бывший американский посланник в

Гааге, автор ученого труда по истории Средних веков и последний отпрыск знатного, прославленного своими патриотическими подвигами старинного рода.

— Он приезжает сюда отдохнуть, — доверительно, как равному, сообщил Эмори монсеньор. — У меня он спасается от слишком утомительного агностицизма, и, думается, только я один знаю, что при всем своем трезвом уме он носится по воле волн и жаждет ухватиться за такой крепкий обломок мачты, как церковь.

Их первый совместный обед остался для Эмори одним из памятных событий его юности. Сам он так и лучился радостью и очарованием. Монсеньор вопросами и подсказкой вытащил на свет его самые интересные мысли, и Эмори с легкостью и блеском рассуждал о своих желаниях и порывах, антипатиях, увлечениях и страхах. Говорили только он и монсеньор, а старший гость, по характеру не столь восприимчивый и всеприемлющий, хотя отнюдь не холодный, слушал и нежился в мягком солнечном свете, перебегавшем от одного к другому. Монсеньор на многих действовал как луч солнца, и Эмори тоже — в юности и отчасти много позднее, но никогда больше не повторилось это непроизвольное

двойное свечение.

«Какой лучезарный мальчик», — думал Торнтон Хэнкок, которому довелось на своем веку повидать величие двух континентов, беседовать с Парнеллом, Гладстоном и Бисмарком, — а позже, в разговоре с монсеньором, он добавил:

— Только не следовало бы вверять его образование какой-нибудь школе или колледжу.

Но в ближайшие четыре года способности Эмори были направлены главным образом на завоевание популярности, а также на сложности университетского общественного строя и американского общества в целом в том виде, как они выявлялись на чаепитиях в отеле «Билтмор» и в гольф-клубах Хот-Спрингса.

…Да, удивительная неделя, когда весь духовный мир Эмори оказался перетряхнут и подтвердились сотни его теорий, а ощущение радости жизни претворилось в тысячу честолюбивых замыслов. Причем разговоры велись отнюдь не ученые, боже сохрани! Эмори лишь очень смутно представлял себе, что такое Бернард Шоу, но монсеньор умел извлечь столько же из «Любимого бродяги» и «Сэра Найджела», зорко следя за тем, чтобы Эмори ни разу не почувствовал себя профаном.

Однако трубы уже трубили сигнал к первому бою между Эмори и его поколением.

— Тебе, конечно, не жаль уезжать от меня, — сказал монсеньор. — Для таких, как мы с тобой, родной дом там, где нас нет.

— Мне ужасно жаль…

— Неправда. Ни тебе, ни мне никто по-настоящему не нужен.

— Ну, не знаю…

— До свидания.

Эгоисту плохо

Два года неудач и триумфов, проведенные Эмори в Сент-Реджисе, сыграли в его жизни столь же незначительную роль, как все американские подготовительные школы, придавленные пятой университетов, — в американской жизни в целом. У нас нет Итона, где формируется психология правящего класса, вместо этого у нас имеются чистенькие, пресные и безобидные подготовительные школы.

Эмори сразу взял неверный тон, его сочли высокомерным и наглым и дружно невзлюбили. Он усиленно играл в футбол, проявляя то залихватскую удаль, то максимум осторожности,

совместимой с достойным поведением спортсмена на поле. Однажды, поддавшись безотчетному страху, он отказался драться с мальчиком одного с ним роста и веса, а через неделю, войдя в раж, сам полез в драку с другим мальчиком, гораздо более рослым и сильным, и вышел из схватки жестоко избитый, но вполне довольный собой.

В любом начальнике он видел врага, и это, в сочетании с ленивым равнодушием к занятиям, бесило преподавателей. Захандрив, он вообразил себя отверженным, стал искать мрачного уединения и читать по ночам. Страшась одиночества, он завел себе двух-трех приятелей, но поскольку они не принадлежали к школьной элите, использовал их просто как зеркало, как публику, перед которой позировал, — без этого он не мог жить. Ему было до ужаса тоскливо, до невероятия тяжело.

Кое-какие мелочи служили ему утешением. Когда его заливали волны отчаяния, последним на поверхности оставалось его тщеславие, так что он все же не остался равнодушен, когда Вуки-Вуки, старая глухая экономка, сказала ему, что такого красавца, как он, отродясь не видала. Ему было приятно, что он самый быстрый и самый младший в футбольной команде; приятно было

после оживленного диспута услышать от доктора Дугала, что при желании он мог бы выйти на первое место в школе. Впрочем, доктор Дугал ошибался. Выйти на первое место в школе Эмори не мог — не так он был создан.

Несчастный, загнанный, нелюбимый ни товарищами, ни учителями — таким был Эмори в первом триместре. Однако, приехав на рождественские каникулы в Миннеаполис, он ни словом никому не пожаловался, напротив.

— Сначала было непривычно, — небрежно рассказывал он Фрогги Паркеру, — а потом все наладилось. Я самый быстрый в нашей команде. Надо бы и тебе поехать в школу, Фрогги. Там просто здорово.

Эпизод с доброжелательным преподавателем

В последний вечер первого триместра старший преподаватель мистер Марготсон вызвал Эмори на девять часов к себе в кабинет. Эмори сразу заподозрил, что предстоит выслушивать советы, но решил держаться вежливо, потому что этот мистер Марготсон всегда относился к нему терпимо.

Учитель встретил его с серьезным лицом и знаком пригласил сесть. Потом откашлялся и придал себе нарочито доброе выражение, как человек, понимающий, что ступает на скользкую почву.

— Эмори, — начал он, — я хочу поговорить с вами по личному делу.

— Да, сэр?

— Я приглядывался к вам весь этот год, и я… я вами доволен. Мне кажется, у вас есть задатки очень… очень хорошего человека.

— Да, сэр? — выдавил из себя Эмори. Неприятно, когда с тобой говорят, как с отпетым неудачником.

— Однако я заметил, — продолжал учитель, набравшись духу, — что товарищи вас недолюбливают.

— Да, сэр. — Эмори облизал губы.

— Так вот, я подумал, может быть, вам не совсем ясно, что именно им в вас… гм… не нравится. Сейчас я вам это скажу, ибо я считаю, что, если ученик знает свои недостатки, ему легче исправиться… понять, чего от него ждут, и поступать соответственно. — Он опять откашлялся, негромко и деликатно, и продолжал: — Видимо, они считают вас… гм… немного нахальным.

Эмори не выдержал. Он встал, и, когда загово-

рил, голос его срывался.

— Знаю, неужели вы думаете, что я не знаю? — Он почти кричал. — Знаю я, что они думают, можете мне не говорить. — Он осекся. — Я… я… мне надо идти… простите, если вышло грубо.

Он выбежал из комнаты. Вырвавшись на свежий воздух, по дороге в свое общежитие он бурно радовался, что не пожелал принять чью-то помощь.

— Старый дурак! — восклицал он злобно. — Как будто я сам не знаю!

Однако он решил, что теперь у него есть уважительная причина, чтобы больше сегодня не заниматься, и, уютно устроившись у себя в спальне, сунул в рот вафлю и стал дочитывать «Белый отряд».

Эпизод с чу́дной девушкой

В феврале сверкнула яркая звезда. Нью-Йорк в день рождения Вашингтона внезапно открылся ему во всем блеске. В то первое утро город промелькнул перед ним белой полоской на фоне густо-синего неба, оставив впечатление величия и могущества под стать сказочным дворцам из «Тысячи и одной ночи»; теперь же Эмори увидел

его при свете электричества, и романтикой дохнуло от гигантских световых реклам на Бродвее и от женских глаз в ресторане отеля «Астор», где он обедал с Паскертом из Сент-Реджиса. И позже, когда они шли по проходу в партере, а навстречу им неслась будоражащая нервы какофония настраиваемых скрипок и тяжелый, чувственный аромат духов и пудры, он весь растворялся в эпикурейском наслаждении. Все приводило его в восторг. Давали «Маленького миллионера» с Джорджем М. Коэном, и была там одна миниатюрная брюнетка, которая так танцевала, что Эмори чуть не плакал от восхищения.

Чу́дная девушка,

Как ты чудесна,—

пел тенор, и Эмори соглашался с ним молча, но от всей души.

Чудные речи твои

Мне сердце пронзили…

Смычки пропели последние ноты громко и трепетно, девушка смятой бабочкой упала на подмостки, зал разразился аплодисментами. Ах, влюбиться бы вот так, под звуки этой томной, волшебной мелодии! Последнее действие проис-

ходило в кафе на крыше, и виолончели вздохами славили луну, а на авансцене, легкие, как пена на шампанском, порхали комические повороты сюжета. Эмори изнывал от желания стать завсегдатаем таких вот кафе на крышах, встретить такую девушку — нет, лучше эту самую девушку, и чтобы в волосах ее струилось золотое сияние луны, а из-за его плеча официант-иностранец подливал ему в бокал искрометного вина. Когда занавес опустился в последний раз, он вздохнул так глубоко и горестно, что зрители, сидевшие впереди, удивленно оглянулись, а потом он расслышал слова:

— До чего же красив мальчишка!

Это отвлекло его мысли от пьесы, и он стал думать, действительно ли его внешность пришлась по вкусу населению Нью-Йорка.

К себе в гостиницу они шли пешком и долго молчали. Первым заговорил Паскерт. Его неокрепший пятнадцатилетний голос печально вторгся в размышления Эмори.

— Хоть сейчас женился бы на этой девушке.

О какой девушке шла речь, было ясно.

— Я был бы счастлив привести ее к нам домой и познакомить с моими родителями, — продолжал Паскерт.

Эмори проникся к нему уважением и пожалел, что не сам произнес эти слова. Они прозвучали так внушительно.

— Я вот думаю про актрис. Интересно, они все безнравственные?

— Ничего подобного, — уверенно ответил многоопытный юноша. — Эта девушка, например, безупречна, тут сразу видно.

Они шли, смешавшись с бродвейской толпой, паря на крыльях музыки, вырывавшейся из дверей кафе. Всё новые лица вспыхивали и гасли, как сотни огней, бледные лица или нарумяненные, усталые, но все равно возбужденные. Эмори вглядывался в них с жадностью. Он строил планы на будущее. Он поселится в Нью-Йорке, станет знакомой фигурой во всех ресторанах и кафе, будет носить фрак с раннего вечера до раннего утра, а днем, когда делать нечего, — спать.

— Да-да, я хоть сейчас женился бы на этой девушке!

Эпизод в героических тонах

Октябрь второго, и последнего, года, проведенного в Сент-Реджисе, крепко запомнился Эмори. Матч с Гротоном начался в три часа в про-

хладный погожий день, а закончился, когда уже сгустились холодные осенние сумерки; и Эмори, игравший полузащитником, в отчаянии взывая о поддержке, совершая немыслимые захваты, выкрикивая команды голосом, осевшим до хриплого, исступленного шепота, все же нашел время с гордостью ощутить и белую, в пятнах крови повязку у себя на голове, и героику сцепившихся в беспорядочной схватке потных, наседающих тел, ноющих рук и ног. В эти минуты храбрость, как вино, вливалась в него из октябрьского полумрака, и вот он, извечный герой, родной брат морскому бродяге с ладьи викинга, родной брат Роланду и Горацию, сэру Найджелу и Теду Кою, вырывается вперед и, собственной волей брошенный в прорыв, сдерживает натиск живой стены, слыша издалека одобрительный рев трибуны… и наконец, весь в ушибах и ссадинах, вымотанный, но неуловимый, мчится с мячом по широкой дуге, виляет вправо, влево, меняет темп, работает кулаком и, чувствуя, что сразу двое хватают его за ноги, валится наземь за воротами Гротона, одержав для своей команды желанную победу.

Философия прилизы

С высоты своих успехов в старшем классе Эмори только посмеивался, вспоминая, как нелегко ему пришлось в первый год. Он изменился настолько, насколько Эмори Блейн вообще мог измениться. Эмори, плюс Беатриса, плюс два года в Миннеаполисе — таков он был, когда поступал в Сент-Реджис. Но годы в Миннеаполисе наложили на него лишь очень тонкий внешний слой, недостаточный, чтобы скрыть «Эмори плюс Беатрису» от всевидящих глаз закрытой школы, так что сама эта школа взялась безжалостно вытравливать из него Беатрису и натягивать на изначального Эмори новую, не столь экзотическую оболочку.

Однако ни Сент-Реджис, ни Эмори не оценили того обстоятельства, что изначальный-то Эмори не изменился. Свойства, за которые ему так жестоко доставалось, — обидчивость, позерство, лень, склонность прикидываться дурачком — теперь принимались как должное, как невинные чудачества блестящего полузащитника, способного актера и редактора сент-реджисского «Болтуна»: он с удивлением убеждался, что некоторые младшие школьники подражают тем

самым замашкам, которые еще так недавно в нем осуждались.

Когда кончился футбольный сезон, он расслабился в мечтательном довольстве. В вечер бала перед каникулами он рано улизнул к себе и лег, чтобы насладиться музыкой скрипок, летевшей к нему в окно поверх газонов. И много еще вечеров он провел там, грезя наяву о тайных кабачках Монмартра, где матово-бледные женщины поверяют романтические секреты дипломатам и кондотьерам и оркестр играет венгерские вальсы, а воздух густо настоян на лунном свете, интригах и авантюрах. Весной он по заданию преподавателя прочел «L'Allegro»[4] и, вдохновленный Мильтоном, стал упражняться в лирических стихах на тему Аркадии и свирели Пана. Он передвинул свою кровать к окну, чтобы солнце будило его пораньше, и, едва одевшись, бежал к старым качелям, подвешенным на яблоне возле общежития шестого класса. Раскачиваясь все сильней и сильней, он чувствовал, что возносится в самое небо, в волшебную страну, где обитают сатиры и белокурые нимфы — копии тех девушек, что

[4] notes: 4

«L'Allegro» — ранняя поэма Джона Мильтона (1608–1674), в которой автор изображает себя беззаботным юношей, наслаждающимся созерцательной жизнью на природе.

встречались ему на улицах Истчестера. Раскачавшись до предела, он действительно оказывался над гребнем невысокого холма, за которым бурая дорога терялась вдали золотою точкой.

Среди множества книг, прочитанных им в ту весну, когда ему только-только пошел восемнадцатый год, были «Джентльмен из Индианы», «Новые сказки 1001 ночи», «Человек, который был четвергом» (понравилось, хотя и не понял), «Стоувер в Йеле» (книга, ставшая для него своего рода руководством), «Домби и сын» (когда решил, что надо быть разборчивей в выборе чтения), Роберт Чемберс, Дэвид Грэм Филлипс и Филлипс Оппенгейм — все подряд — и кое-что Теннисона и Киплинга. Из всей школьной программы его кроме «L'Allegro» привлекла только строгая ясность стереометрии.

К началу июня он ощутил потребность в собеседнике, чтобы было перед кем облекать в слова свои новые мысли, и сам удивился, найдя собрата-философа в лице Рэхилла, старосты шестого класса. В долгих беседах — то шагая по дорогам, то лежа на животе на краю бейсбольного поля или поздно вечером попыхивая в темноте сигаретами — они обсуждали школьные дела, и тогда-то родился термин «прилиза».

— Курить есть? — шепнул как-то вечером Рэхилл, всунув голову к Эмори в спальню через пять минут после отбоя.

— Ага.

— Я вхожу.

— Возьми пару подушек и можешь лечь у окна.

Эмори сел в постели и закурил, пока Рэхилл устраивался. Любимой темой Рэхилла была будущность шестиклассников, и Эмори не уставал снабжать его прогнозами.

— Тед Коннерс? Ну, это просто. На экзаменах срежется, все лето будет заниматься с репетитором, по трем-четырем предметам сдаст переэкзаменовки, а первую же сессию опять завалит. Вернется к себе на Запад и с годик будет кутить напропалую, а потом папаша пристроит его торговать красками. Женится, народит четырех безмозглых сыновей. На всю жизнь сохранит уверенность, что Сент-Реджис пошел ему во вред и сыновья его будут ходить в городскую школу в Портленде. Умрет в возрасте сорока одного года от двигательной атаксии, а жена его пожертвует пресвитерианской церкви купель, или как это там называется, и выгравирует на ней его имя, и…

— Стой, Эмори, хватит. Очень уж мрачно. А про себя ты что скажешь?

— Я из другой категории, высшей. И ты тоже. Мы философы.

— Я-то нет.

— Глупости. Котелок у тебя варит здорово.

Но Эмори знал, что любые абстракции, любые обобщения и теории для Рэхилла пустой звук, пока он не наткнется на вполне конкретные и наглядные их иллюстрации.

— Да нет же, — не сдавался Рэхилл. — Я всем даю собой помыкать, а сам ничего от этого не получаю. Я, черт подери, просто жертва моих одноклассников — готовлю за них уроки, выцарапываю их из всяких заварух, летом, как дурак, езжу к ним в гости и развлекаю их малолетних сестер, терплю, когда они ведут себя как эгоисты, а они воображают, что в награду за это делают мне приятное — голосуют за меня, и твердят, что я — вожак Сент-Реджиса. Я хочу жить там, где каждый делает свое дело и любого можно послать подальше. Надоело мне нянчиться со здешними недоумками.

— Ты не прилиза, — сказал вдруг Эмори.

— Не кто?

— Не прилиза.

— Это еще что такое?

— Как бы тебе объяснить… это что-то такое… их очень много. Ты не из них, и я тоже, хотя я, пожалуй, скорее.

— А кто, например, из них? И почему ты такой же?

Эмори ответил, подумав:

— Ну… как тебе сказать… главный признак, по-моему, это когда человек зачесывает волосы назад, смачивает их и прилизывает.

— Как Карстэрс?

— Вот-вот. Он как раз прилиза.

Два вечера ушло на выработку точного определения. У прилизы красивая или, во всяком случае, аккуратная внешность. Он хорошо соображает и использует все средства, совместимые с честностью, чтобы продвинуться в жизни, заслужить популярность и восхищение и избежать неприятностей. Он хорошо одевается, сугубо опрятен, а названием своим обязан тому, что волосы носит короткие, на прямой пробор и, смочив их водой, прилизывает по последней моде. В том году прилизы избрали эмблемой своего братства роговые очки, так что их было очень легко распознать, Эмори и Рэхилл ни одного не пропустили. Прилиза мог попасться в любом классе, всегда

оказывался похитрее и поосмотрительнее своих сверстников и возглавлял какую-нибудь группу или команду, а способности свои тщательно скрывал.

Термин «прилиза» очень помогал Эмори классифицировать людей до первого года в университете, но там его контуры расплылись и смазались до того, что понадобились уже подклассы, из термина он превратился просто в качество. Идеал, который втайне лелеял Эмори, обладал всеми свойствами прилизы, но с добавлением храбрости и недюжинного ума и таланта — а еще Эмори наделил его некоторой долей эксцентричности, что уже никак не входило в портрет чистопородного прилизы.

Это было первым подлинным отходом от ханжества школьных традиций.

Понятие «прилиза» подразумевало известную долю житейского успеха, чем он существенно отличался от школьного «примерного ученика».

Прилиза

1. Тонко чувствует общественную иерархию.

2. Считает, что одежда – чепуха, и не уделяет ей должного внимания.

3. Занимается только тем, в чем можно блеснуть.

4. Поступает в университет и в светском смысле достигает успехов.

5. Волосы прилизывает.

Примерный

1. Глуповат и игнорирует общественную иерархию.

2. Хорошо одевается. Уверяет, что одежда – чепуха, но знает, что это не так.

3. Занимается всем подряд из чувства долга.

4. Поступает в университет, где будущее его проблематично. Теряется вне привычной обстановки и уверяет, что школьные годы как-никак были самые счастливые. Наезжает в школу и произносит речи о полезной деятельности учеников Сент-Реджиса.

5. Волосы не прилизывает.

Эмори окончательно остановил свой выбор на Принстоне, несмотря даже на то что больше никто из его класса туда не поступал. Йель был овеян романтикой по рассказам, слышанным еще в Миннеаполисе, а позднее — от выпускников

Сент-Реджиса, запроданных в «Череп и кости», но Принстон притягивал сильнее — соблазняли его яркая красочность и репутация самого приятного в Америке загородного клуба. Омраченные грозной перспективой вступительных экзаменов, школьные годы Эмори незаметно уплыли в прошлое. Через много лет, когда он снова попал в Сент-Реджис, он словно начисто забыл свои успехи в старшем классе, а себя мог вспомнить только трудным мальчиком, что бегал когда-то по коридорам, спасаясь от издевок сверстников, обезумевших от избытка здравомыслия.

Глава II
Шпили и химеры

Сперва Эмори заметил только яркий солнечный свет — как он струится по длинным зеленым газонам, танцует в стрельчатых окнах, плавает вокруг шпилей, над башнями и крепостными стенами. Постепенно до его сознания дошло, что он в самом деле идет по Университетской улице, стесняясь своего чемодана, приучая себя смотреть мимо встречных, прямо вперед. Несколько раз он мог бы поклясться, что на него оглянулись с неодобрением. Смутно мелькнула мысль, что

он допустил какую-то небрежность в одежде, сожаление, что утром не побрился в поезде. Он чувствовал себя скованным и нескладным среди молодых людей в белых костюмах и без шляп — скорее всего, студентов старших курсов, судя по их уверенному, скучающему виду.

Дом 12 по Университетской, большой и ветхий, показался ему необитаемым, хотя он знал, что обычно здесь живет десятка полтора первокурсников. Наскоро объяснившись с хозяйкой, он вышел на разведку, но, едва дойдя до угла, с ужасом сообразил, что во всем городе, видимо, только он один носит шляпу. Чуть не бегом он вернулся в дом 12, оставил там свой котелок и уже с непокрытой головой побрел по Нассау-стрит. Постоял перед витриной, где были выставлены фотографии спортсменов, в том числе большой портрет Алленби, капитана футбольной команды, потом увидел над окном кафе вывеску «Мороженое», вошел и уселся на высокий табурет.

— Шоколадного, — сказал он лакею-негру.

— Двойной шоколадный сандэ? Что-нибудь еще?

— Пожалуй.

— Булочку с беконом?

— Пожалуй.

Булочки оказались превкусные, он сжевал их четыре штуки, а потом, не наевшись, — еще один двойной шоколадный сандэ. После чего, окинув беглым взглядом развешанные по стенам сувениры, кожаные вымпелы и гибсоновских красавиц, вышел из кафе и, руки в карманах, пошел дальше по Нассау-стрит. Понемногу он учился отличать старшекурсников от новичков, хотя форменные шапки предстояло носить только со следующего понедельника. Те, кто слишком явно, слишком нервно корчил из себя старожилов, были новички, и каждая новая партия их, прибывшая с очередным поездом, тут же растворялась в толпе юнцов без шляп, в белых туфлях, нагруженных книгами, словно нанявшихся без конца шататься взад-вперед по улице, пуская клубы дыма из новеньких трубок. К середине дня Эмори заметил, что теперь уже его самого новички принимают за старшекурсника, и постарался придать себе выражение скучающего превосходства и снисходительной насмешки, которое, как ему казалось, он прочел на большей части окружающих лиц.

В пять часов он ощутил потребность услышать собственный голос и повернул к дому — посмотреть, не приехал ли кто-нибудь еще. Он поднялся по шаткой лестнице и, грустно оглядев свою ком-

нату, пришел к выводу, что нечего и пытаться украсить ее чем-нибудь более облагораживающим, чем те же спортивные вымпелы и портреты чемпионов. В дверь постучали.

— Войдите!

Дверь приоткрылась, и показалось узкое лицо с серыми глазами и веселой улыбкой.

— Молотка не найдется?

— Нет, к сожалению. Может быть, есть у миссис Двенадцать, или как там ее зовут.

Незнакомец вошел в комнату.

— Это, значит, ваше обиталище?

Эмори кивнул.

— Сарай сараем, а плата ого-го.

Эмори был вынужден согласиться.

— Я подумывал о студенческом городке, — сказал он, — но там, говорят, почти нет первокурсников, тоска смертная. Не знают, куда себя девать, — хоть садись за учебники.

Сероглазый решил представиться.

— Моя фамилия Холидэй.

— Моя — Блейн.

Они обменялись рукопожатием, по-модному низко опустив стиснутые руки.

— Вы где готовились?

— Андовер. А вы?

— Сент-Реджис.

— Да? У меня там кузен учился.

Они подробно обсудили кузена, а потом Холидэй сообщил, что в шесть часов сговорился пообедать с братом.

— Хотите к нам присоединиться?

— С удовольствием.

В «Кенилворте» Эмори познакомился с Бэрном Холидэем — сероглазого звали Керри, — и во время скудного обеда с жиденьким бульоном и пресными овощами они разглядывали других первокурсников, которые сидели в ресторане либо маленькими группками — и тогда выглядели весьма растерянно, либо большими группами и тогда словно уже чувствовали себя как дома.

— В университетской столовой, я слышал, кормят скверно, — сказал Эмори.

— Да, говорят. Но приходится там столоваться — или, во всяком случае, платить за еду.

— Безобразие!

— Грабеж!

— О, в Принстоне на первом курсе спорить не полагается. Все равно как в школе.

Эмори со вздохом кивнул.

— Зато здесь настоящая жизнь, — сказал он. — В Йель я бы и за миллион не поехал.

— Я тоже.

— Что-нибудь для себя выбрали? — спросил Эмори у старшего из братьев.

— Я-то нет. Вот Бэрн — тот рвется в «Принц» — ну, знаете, в «Принстонскую газету».

— Знаю.

— А вы что-нибудь для себя выбрали?

— В общем, да. Хочу попробоваться в курсовой футбольной команде.

— Играли в Сент-Реджисе?

— Немножко, — соскромничал Эмори. — Только я в последнее время ужасно похудел.

— Вы не худой.

— Ну, прошлой осенью я был просто крепыш.

— Да?

Из ресторана они пошли в кино, где Эмори с одинаковым интересом прислушивался и к насмешливым замечаниям молодого человека, сидевшего впереди его, и к оглушительным выкрикам из зала.

— Йохо!

— Мой дорогой — такой большой и сильный, — но ах, и нежный притом!

— В клинч!

— В клинч его!

— Ну же, целуй ее, чего медлишь?

— У-у-у!

В одном углу стали насвистывать «На берегу морском», и зал дружно подтянул. За этим последовала песня, в которой слов было не разобрать, так громко все топали ногами, а затем — нечто бесконечное, бессвязное и заунывное:

О! О! О!

На кондитерской фабрике служит она —

Что ж, пусть Бог ей за то пошлет.

Но я не поверю, будто без сна —

Черта с два! —

Она варит варенье всю ночь напролет!

О! О! О!

Проталкиваясь к выходу, бросая вокруг и ловя на себе сдержанно-любопытные взгляды, Эмори решил, что в кино ему понравилось и держаться там надо так, как те старшекурсники, что сидели впереди них, — раскинув руки по спинкам кресел, отпуская едкие, остроумные замечания, проявляя одновременно критический склад ума и веселую терпимость.

— Съедим, что ли, мороженое, то есть, простите, сандэ? — предложил Керри.

— Обязательно.

Они сытно поужинали и не спеша двинулись к дому.

— Вечер-то какой.

— Красота.

— Вам еще распаковывать чемоданы?

— И верно. Пошли, Бэрн.

Эмори пожелал им спокойной ночи — сам он решил еще посидеть на крыльце.

В наступившей темноте купы деревьев чернели как призраки. Луна, едва взойдя, прошлась по крышам бледно-голубой краской, и, пробираясь в ночи, застревая в узких расселинах лунного света, до него доносилась песня — песня, в которой явственно звучала печаль, что-то быстротечное, невозвратное.

Ему вспомнился рассказ человека, окончившего университет еще в девяностых годах, про одну из любимых забав Бута Таркингтона[5] — как он на рассвете, выйдя на университетский двор, пел тенором песни звездам, будя в душах благонравных студентов разнообразные чувства — смотря по тому, кто в каком был настроении.

---

[5] notes: 5

Таркингтон Бут (1869–1946) — американский прозаик и драматург, автор романа «Джентльмен из Индианы». Воспитанник Принстонского университета.

И тут из темной дали Университетской улицы показалась белая колонна — стройным маршем приближались фигуры в белых костюмах, локтями сцепившись в шеренги, откинув головы.

Все назад, все назад,
Все назад – в Нассау-Холл,
Все назад, все назад,
Всё он в мире превзошел!
Все назад, все назад —
Куда бы рок нас ни завел,—
Эй, от-ряд – все на-зад,
Все на-зад – в Нассау-Холл!

Призрачная процессия была уже близко, и Эмори закрыл глаза. Песня взмыла так высоко, что выдержали одни тенора, но те победно пронесли мелодию через опасную точку и сбросили вниз, в припев, подхваченный хором. Тогда Эмори открыл глаза, все еще опасаясь, как бы зрительный образ не нарушил иллюзию совершенной гармонии.

И тут он даже ахнул от волнения. Во главе белой колонны шагал Алленби, футбольный капитан, стройный и гордый, словно помнящий, что в этом году он должен оправдать надежды всего универ-

ситета, что именно он, легковес, прорвавшись через широкие алые и синие линии, принесет Принстону победу.

Замерев, Эмори смотрел, как проходит шеренга за шеренгой — локти сцеплены, лица — мутные пятна над белыми спортивными рубашками, голоса сливаются в торжественном гимне, — а потом шествие втянулось под темную арку Кембла и голоса стали затихать, удаляясь к востоку, в сторону университетского городка.

Эмори еще долго сидел не шевелясь. Он пожалел, что правила запрещают первокурсникам выходить из дому после отбоя, — так хотелось побродить по тенистым, сладко пахнущим улочкам, где старейший колледж Уидерспун, как отец в темных одеждах, осеняет своих ампирных детей Вигов и Клио, где Литл черной готической змеей сползает к Паттону и Койлеру, а те, в свою очередь, таинственно властвуют над тихим лугом, что отлого спускается до самого озера.

Принстон при свете дня постепенно просачивался в его сознание — корпуса Вест и Реюнион, детища шестидесятых годов; Зал Семьдесят Девятого, красно-кирпичный, чванный; Нижняя Пайн и Верхняя Пайн — знатные леди елизаветинских времен, против воли вынужденные жить среди

лавочников, и над всем — устремленные к небу в четком синем взлете романтические шпили башен Холдер и Кливленд.

Он сразу полюбил Принстон — его ленивую красоту, не до конца понятную значительность, веселье тренировок при луне, красивых, нарядных спортсменов и за всем этим пульс борьбы, не утихающей на его курсе. С того первого дня, когда первокурсники, разгоряченные, усталые, сидя в гимнастическом зале, выбрали президентом курса кого-то из школы Хилл, вице-президентом знаменитость из Лоренсвилла, а секретарем — хоккейную звезду из Сент-Пола, и до самого конца второго учебного года она беспрестанно давала себя чувствовать, эта всесильная общественная система, это преклонение, о котором упоминалось лишь изредка, которого как бы и не было, — преклонение перед «вожаком».

Прежде всего — деление по школам. Эмори, единственный питомец Сент-Реджиса, наблюдал, как возникают и растут землячества — Сент-Пол, Помфрет, Хилл, как в столовой они едят за своими определенными столами, в гимнастическом зале переодеваются в определенном углу и бессознательно окружают себя стеной из чуть менее важных, но честолюбивых, которые ограждали

бы их от соприкосновения с дружелюбными и слегка растерянными юнцами из городских средних школ. Подметив это, Эмори тут же возненавидел социальные барьеры как искусственные различия, придуманные сильными для ободрения своих слабых приспешников и отстранения почти таких же сильных, как они сами.

Решив стать одним из богов своего курса, он записался на футбольные тренировки, но через две недели, когда в «Принстонской газете» уже появилась о нем заметка, повредил колено, да так серьезно, что на весь сезон выбыл из строя. Пришлось обдумывать свое положение заново.

В «Униви 12» обитало десятка полтора разношерстных вопросительных знаков. Были среди них три-четыре незаметных испуганных птенца из Лоренс-вилла, два дилетанта-забулдыги из частной школы в Нью-Йорке (Керри Холидэй окрестил их «Пьющие плебеи»), один молодой еврей, тоже из Нью-Йорка, и, в утешение Эмори, братья Холидэй, к которым он сразу проникся симпатией.

Холидэев многие считали близнецами, но на самом деле темный шатен Керри был на год старше блондина Бэрна. Керри был высокий, с веселыми серыми глазами и быстрой, подкупающей улыб-

кой; он сразу стал ментором всего общежития: осаживал сплетников, одергивал хвастунов, всех оделял своим тонким, язвительным юмором. Эмори пытался вместить в разговор о их будущей дружбе все свои идеи о том, какую роль университет призван сыграть в их жизни, но Керри, несклонный принимать слишком многое всерьез, только журил его за преждевременный интерес к сложностям социальной системы, однако же относился к нему хорошо — с усмешкой и с участием.

Бэрн, светловолосый, молчаливый, вечно занятый, появлялся в общежитии как тень — тихо пробирался к себе поздно вечером, а рано утром уже спешил работать в библиотеку — он лихорадочно готовился к конкурсу на редактора «Принстонской», в котором участвовали еще сорок соискателей. В декабре он заболел дифтеритом, и по конкурсу прошел кто-то другой, но в феврале, вернувшись в университет, снова бесстрашно ринулся в бой. Эмори успевал только перекинуться с ним словами по дороге на лекции и обратно и, хотя был, конечно, осведомлен о его заветных планах, по сути, не знал о нем ничего.

У самого Эмори дела шли неважно. Ему недоставало того положения, которое он завоевал в

Сент-Реджисе, где его знали и восхищались им; но Принстон вдохновлял его, и впереди ждало много такого, что могло разбудить дремавшего в нем Макиавелли — лишь бы за что-то зацепиться для начала. Воображение его занимали студенческие клубы, о которых он летом не без труда почерпнул кое-какие сведения у одного окончившего Принстон: «Плющ» — надменный и до ужаса аристократичный; «Коттедж» — внушительный сплав блестящих авантюристов и щеголей-донжуанов; «Тигр» — широкоплечий и спортивный, энергично и честно поддерживающий традиции подготовительных школ; «Шапка и мантия» — антиалкогольный, с налетом религиозности и политически влиятельный; пламенный «Колониальный», литературный «Квадрат» и десяток других, различных по времени основания и по престижу.

Все, чем студент младшего курса мог выделиться из толпы, клеймилось словом «высовываться». Насмешливые замечания в кино принимались как должное, но отпускать их без меры значило высовываться, обсуждать сравнительные достоинства клубов значило высовываться; слишком громко ратовать за что-нибудь, будь то вечеринки с выпивкой или трезвенность, значило высо-

ваться. Короче говоря, привлекать внимание к своей особе считалось предосудительным, и уважением пользовались те, кто держался в тени — до тех пор, пока после выборов в клубы в начале второго учебного года каждый не оказывался при своем деле уже на все время пребывания в университете.

Эмори выяснил, что сотрудничество в «Нассауском литературном журнале» не сулит ничего интересного, зато место в редакционном совете «Принстонской газеты» — подлинно высокая марка. Смутные мечты о том, чтобы прославиться на спектаклях Английского драматического кружка, увяли, когда он установил, что лучшие умы и таланты сосредоточены в «Треугольнике» — клубе, ставившем музыкальные комедии с ежегодным гастрольным турне на рождественских каникулах. А пока, не находя себе места от одиночества и тревожной неудовлетворенности, строя и отметая все новые туманные замыслы, он весь первый семестр бездельничал, снедаемый завистью к чужим удачам, пусть даже самым пустячным, теряясь в догадках, почему их с Керри сразу не причислили к элите курса.

Много часов провели они у окон «Униви 12», глядя, как студенты идут в столовую, отмечая, как

вожаки обрастают свитой, как спешат куда-то, не поднимая глаз от земли, одиночки зубрилы, с какой завидной уверенностью держатся группы тех, кто вместе кончал школу.

— Мы — тот самый злосчастный средний класс, вот в чем беда, — пожаловался он однажды неунывающему Керри, лежа на диване и методично закуривая одну сигарету от окурка другой.

— Ну и что же? Мы для того и уехали в Принстон, чтобы так же относиться к мелким университетам, кичиться перед ними: мол, и одеваемся лучше, и в себе уверены — в общем, задирать нос.

— Да я вовсе не против кастовой системы, — признался Эмори, — пускай будет правящая верхушка, кучка счастливчиков, только понимаешь, Керри, я сам хочу быть одним из них.

— А пока что, Эмори, ты всего-навсего недовольный буржуа.

Эмори отозвался не сразу.

— Ну, это ненадолго, — сказал он наконец. — Только очень уж я не люблю добиваться чего-нибудь тяжелым трудом. Это, понимаешь, оставляет на человеке клеймо.

— Почетные шрамы. — И вдруг Керри, изогнувшись, выглянул на улицу. — Вон, если

интересуешься, идет Лангедюк, а следом за ним и Хамберд.

Эмори вскочил и бросился к окну.

— Да, — сказал он, разглядывая этих знаменитостей, — Хамберд — сила, это сразу видно, ну а Лангедюк — он, видно, играет в неотесанного. Я таким не доверяю. Любой алмаз кажется большим, пока не отшлифован.

— Тебе виднее, — сказал Керри, усаживаясь на место, — ведь ты у нас литературный гений.

— Я все думаю… — Эмори запнулся. — А может быть, правда? Иногда мне так кажется. Звучит это, конечно, безобразной похвальбой, я бы никому и не сказал, кроме тебя.

— А ты не стесняйся, валяй, отрасти волосы и печатай стихи в «Литературном», как Д'Инвильерс.

Эмори лениво протянул руку к стопке журналов на столе.

— Ты в последнем номере его читал?

— Никогда не пропускаю. Это, знаешь ли, пальчики оближешь.

Эмори раскрыл журнал и спросил удивленно:

— Он разве на первом курсе?

— Ага.

— Нет, ты только послушай. О господи! Говорит

служанка:

Как черный бархат стелется над днем!

В серебряной тюрьме белея, свечи

Качают языки огня, как тени.

О Пия, о Помпия, прочь уйдем…

— Как это, черт возьми, понимать?

— Это сцена в буфетной.

Напряжена, как в миг полета птица,

Лежит на белых простынях она;

Как у святой, к груди прижаты руки…

Явись, явись, прекрасная Куницца!

— Черт, Керри, что это все значит? Я, честное слово, не понимаю, а я ведь тоже причастен к литературе.

— Да, закручено крепко, — сказал Керри. — Когда такое читаешь, надо думать о катафалках и о скисшем молоке. Но у него есть и почище.

Эмори швырнул журнал на стол.

— Просто не знаю, как быть, — вздохнул он. — Я, конечно, и сам с причудами, но в других этого терпеть не могу. Вот и терзаюсь — то ли мне развивать свой ум и стать великим драматургом,

то ли плюнуть на словари и справочники и стать принстонским прилизой.

— А зачем решать? — сказал Керри. — Бери пример с меня, плыви по течению. Я-то приобрету известность, как брат Бэрна.

— Не могу я плыть по течению. Я хочу, чтобы мне было интересно. Хочу пользоваться влиянием, хотя бы ради других, стать или главным редактором «Принстонской», или президентом «Треугольника». Я хочу, чтобы мной восхищались, Керри.

— Слишком много ты думаешь о себе.

Это Эмори не понравилось.

— Неправда, я и о тебе думаю. Мы должны больше общаться, именно теперь, когда быть снобом занятно. Мне бы, например, хотелось привести на июньский бал девушку, но только если я смогу держать себя непринужденно, познакомить ее с нашими главными сердцеедами и с футбольным капитаном и все такое прочее.

— Эмори, — сказал Керри, теряя терпение, — ты ходишь по кругу. Если хочешь выдвинуться — займись чем-нибудь, а не можешь — так не ершись. — Он зевнул. — Выйдем-ка на воздух, а то всю комнату прокурили. Пошли смотреть футбольную тренировку.

Постепенно Эмори склонился к этой позиции, решил, что карьера его начнется с будущей осени, а пока можно, заодно с Керри, кое-чем поразвлечься и в стенах «Универ 12».

Они засунули в постель молодому еврею из Нью-Йорка кусок лимонного торта; несколько вечеров подряд, дунув на горелку у Эмори в комнате, выключали газ во всем доме, к несказанному удивлению миссис Двенадцать и домового слесаря; все имущество пьющих плебеев — картины, книги, мебель — они перетащили в ванную, чем сильно озадачили приятелей, когда те, прокутив ночь в Трентоне и еще не проспавшись, обнаружили такое перемещение; искренне огорчились, когда пьющие плебеи решили обратить все в шутку и не затевать ссоры; они с вечера до рассвета дулись в двадцать одно, банчок и «рыжую собаку», а одного соседа уговорили по случаю дня рождения закатить ужин с шампанским. Поскольку виновник торжества остался трезв, Керри и Эмори нечаянно столкнули его по лестнице со второго этажа, а потом, пристыженные и кающиеся, целую неделю ходили навещать его в больнице.

— Скажи ты мне, кто все эти женщины? — спросил однажды Керри, которому обширная

корреспонденция Эмори не давала покоя. — Я тут смотрел на штемпели — Фармингтон и Добс, Уэстовер и Дана-Холл, — в чем дело?

Эмори ухмыльнулся.

— Это все более или менее в Миннеаполисе. — Он стал перечислять: — Вот это — Мэрилин де Витт, она хорошенькая, и у нее свой автомобиль, что весьма удобно; это — Салли Уэдерби, она растолстела, просто сил нет; это — Майра Сен-Клер, давнишняя пассия, позволяет себя целовать, если кому охота…

— Какой у тебя к ним подход? — спросил Керри. — Я и так пробовал, и этак, а эти вертихвостки меня даже не боятся.

— Ты — типичный «славный юноша», может, поэтому?

— Вот-вот. Каждая мамаша чувствует, что со мной ее дочка в безопасности. Даже обидно, честное слово. Если я пытаюсь взять девушку за руку, она смеется надо мной и *не отнимает руку*, как будто это посторонний предмет и к ней не имеет никакого отношения.

— А ты играй трагедию, — посоветовал Эмори. — Говори, что ты — неистовая натура, умоляй, чтобы она тебя исправила, взбешенный уходи домой, а через полчаса возвращайся — бей на

нервы…

Керри покачал головой.

— Не выйдет. Я в прошлом году написал одной девушке серьезное любовное письмо. В одном месте сорвался и написал: «О черт, до чего я вас люблю!» Так она взяла маникюрные ножницы, вырезала «о черт», а остальное показывала всем одноклассницам. Нет, это безнадежно. Я для них просто «добрый славный Керри».

Эмори попробовал вообразить себя в роли «доброго славного Эмори». Ничего не получилось.

Настал февраль с мокрым снегом и дождем, ураганом пронеслась зимняя экзаменационная сессия, а жизнь в «Унири 12» текла все так же интересно, хоть и бессмысленно. Раз в день Эмори заходил поесть сэндвичей, корнфлекса и жюльена в картофеле «У Джо», обычно вместе с Керри или с Алексом Коннеджем. Последний был немногословный прилиза из школы Хочкисс, который жил в соседнем доме и, так же как Эмори, поневоле держался особняком, потому что весь его класс поступил в Йель. Ресторанчик «У Джо» не радовал глаз и не блистал чистотой, но там можно было подолгу кормиться в кредит, и Эмори ценил это преимущество. Его отец недавно провел какие-то рискованные операции с акциями

горнопромышленной компании, и содержание, которое он определил сыну, было хотя и щедрое, но намного скромнее, чем тот ожидал.

«У Джо» было хорошо еще тем, что туда не заглядывали любознательные старшекурсники, так что Эмори, в обществе приятеля или книги, каждый день ходил туда, рискуя сгубить свое пищеварение. Однажды в марте, не найдя свободного столика, он уселся в углу зала напротив другого студента, прилежно склонившегося над книгой. Они обменялись кивками. Двадцать минут Эмори уплетал булочки с беконом и читал «Профессию миссис Уоррен» (на Бернарда Шоу он наткнулся случайно, когда во время сессии рылся в библиотеке); за это время его визави, тоже не переставая читать, уничтожил три порции взбитого молока с шоколадом.

Наконец Эмори стало любопытно, что тот читает. Он разобрал вверх ногами заглавие и фамилию автора «Марпесса», стихи Стивена Филлипса[6]. Это ничего ему не сказало, поскольку до сих пор его познания в поэзии сводились к хрестоматийной классике типа «Мод, сойди в тенистый сад» Теннисона и к навязанным ему на

---

[6] notes: 6
Филлипс Стивен (1868–1915) — английский поэт.

лекциях отрывкам из Шекспира и Мильтона.

Чтобы как-то вступить в разговор, он сперва притворно углубился в свою книгу, а потом воскликнул, как бы невольно:

— Да, вещь первый сорт!

Незнакомый студент поднял голову, и Эмори изобразил замешательство.

— Это вы про свою булочку? — Добрый, чуть надтреснутый голос как нельзя лучше гармонировал с большими очками и с выражением искреннего интереса ко всему на свете.

— Нет, — отвечал Эмори, — это я по поводу Бернарда Шоу. — Он указал на свою книгу.

— Я ничего его не читал, все собираюсь. — И продолжал после паузы: — А вы читали Стивена Филлипса? И вообще поэзию любите?

— Еще бы, — горячо отозвался Эмори. — Филлипса я, правда, читал немного. (Он никогда и не слышал ни о каком Филлипсе, если не считать покойного Дэвида Грэма[7].)

— По-моему, очень недурно. Хотя он, конечно, викторианец.

---

[7] notes: 7

Филлипс Дэвид Грэм (1867–1911) — американский писатель, автор нескольких пьес в стихах. Был близок к литературному движению «разгребателей грязи», написал несколько нашумевших романов о положении женщины в американском обществе.

Они пустились в разговор о поэзии, попутно представились друг другу, и собеседником Эмори оказался «тот заумный Томас Парк Д'Инвильерс», что печатал страстные любовные стихи в «Литературном журнале». Лет девятнадцати, сутулый, голубоглазый, он, судя по общему его облику, не очень-то разбирался в таких захватывающих предметах, как соревнование за место в социальной системе, но литературу он любил, и Эмори подумал, что таких людей не встречал уже целую вечность. Если б только знать, что группа из Сент-Пола за соседним столом не принимает его самого за чудака, он был бы чрезвычайно рад этой встрече. Но те как будто не обращали внимания, и он дал себе волю — стал перебирать десятки произведений, которые читал, о которых читал, про которые и не слышал, — сыпал заглавиями без запинки, как приказчик в книжном магазине Брентано. Д'Инвильерс в какой-то мере поддался обману и возрадовался безмерно. Он уже почти пришел к выводу, что Принстон состоит наполовину из безнадежных филистеров, а наполовину из безнадежных зубрил, и встретить человека, который говорил о Китсе без ханжеских ужимок и в то же время явно привык мыть руки, было для него праздником.

— А Оскара Уайльда вы читали? — спросил он.

— Нет. Это чье?

— Это человек, писатель, неужели не знаете?

— Ах да, конечно. — Что-то слабо шевельнулось у Эмори в памяти. — Это не о нем была оперетка «Терпение»?

— Да, о нем. Я только что прочел одну его вещь, «Портрет Дориана Грея», и вам очень советую. Думаю, что понравится. Если хотите, могу дать почитать.

— Ну конечно, спасибо, очень хочу.

— Может быть, зайдете ко мне? У меня и еще кое-какие книги есть.

Эмори заколебался, бросил взгляд на компанию из Сент-Пола — среди них был и великолепный, неподражаемый Хамберд — и прикинул, что ему даст приобретение этого нового друга. Он не умел, и так никогда и не научился, заводить друзей, а потом избавляться от них — для этого ему не хватало твердости, так что он мог только положить на одну чашу весов бесспорную привлекательность и ценность Томаса Парка Д'Инвильерса, а на другую — угрозу холодных глаз за роговыми очками, которые, как ему казалось, следили за ним через проход между столиками.

— Зайду с удовольствием.

Так он обрел «Дориана Грея», и «Деву скорбей Долорес», и «La belle dame sans merci»[8]. Целый месяц он только ими и жил. Весь мир стал увлекательно призрачным, он пытался смотреть на Принстон пресыщенным взглядом Оскара Уайльда и Суинберна, или «Фингала О'Флаэрти» и «Элджернона Чарльза», как он их называл с претенциозной шутливостью. До поздней ночи он пожирал книги — Шоу, Честертона, Барри, Пинеро, Йейтса, Синга, Эрнеста Доусона, Артура Саймонса, Китса, Зудермана, Роберта Хью Бенсона, «Савойские оперы» — все подряд, без разбора: почему-то ему вдруг показалось, что он годами ничего не читал.

Томас Д'Инвильерс стал сначала не столько другом, сколько поводом. Эмори виделся с ним примерно раз в неделю, они вместе позолотили потолок в комнате Тома, обили ее фабричными гобеленами, купленными на распродаже, украсили высокими подсвечниками и узорными занавесями. Эмори привлекали в Томе ум и склонность к литературе без тени изнеженности или аффектации. Из них двоих больше пыжился сам Эмори. Он старался, чтобы каждое его за-

---

[8] notes: 8

«Безжалостная краса» (*фр.*) — стихотворение Китса.

мечание звучало как эпиграмма, что не так уж трудно, если относиться к искусству эпиграммы не слишком взыскательно. В «Униви 12» все это было воспринято как новая забава.

Керри прочел «Дориана Грея» и изображал лорда Генри — ходил за Эмори по пятам, называл его «Дориан» и делал вид, что поощряет его порочные задатки и томный, скучающий цинизм. Когда Керри вздумал разыграть эту комедию в столовой, к великому изумлению окружающих, Эмори от смущения страшно обозлился и в дальнейшем блистал эпиграммами только при Томе Д'Инвильерсе или у себя перед зеркалом.

Однажды Том и Эмори попробовали читать стихи — свои и лорда Дансэни — под музыку, для чего был использован граммофон Керри.

— Давай нараспев! — кричал Том. — Ты не урок отвечаешь. Нараспев!

Эмори, выступавший первым, надулся и заявил, что не годится пластинка — слишком много рояля. Керри в ответ стал кататься по полу, давясь от смеха.

— А ты заведи «Цветок и сердце», — предложил он. — Ой, не могу, держите меня!

— Выключите вы этот чертов граммофон! — воскликнул Эмори, весь красный от досады. — Я

вам не клоун в цирке.

Тем временем он не оставлял попыток деликатно открыть Д'Инвильерсу глаза на пресловутую социальную систему, — он был уверен, что, по существу, в этом поэте меньше от бунтаря, чем в нем самом, и стоит ему прилизать волосы, ограничить себя в разговорах и завести шляпу потемнее оттенком, как любой ревнитель условностей признает его своим. Однако нотации на тему о фасоне воротничков и строгих галстуках Том пропускал мимо ушей, даже отмахивался от них, и Эмори отступился — только наведывался к нему раз в неделю да изредка приводил его в «Униви 12». Насмешники соседи прозвали их Доктор Джонсон и Босуэлл[9].

Алек Коннедж, чаще заходивший в гости, в общем относился к Д'Инвильерсу хорошо, но побаивался его как «заумного». Керри, разглядевший за его болтовней о поэзии крепкую, почти респектабельную сердцевину, от души наслаждался и, заставляя его часами читать стихи, лежал с закрытыми глазами у Эмори на диване

---

[9] notes: 9

Джонсон Сэмюел (1709–1784) — знаменитый английский лексикограф и писатель. Его друг и почитатель Джеймс *Босуэлл* (1740–1795) составил жизнеописание доктора Джонсона, считающееся классическим образцом жанра литературной биографии.

и слушал:

Она проснулась или спит? На шее
След пурпурный лобзанья все виднее;
Кровь из него сочится – и она
От этого прекрасней и нежнее…

— Это здорово, — приговаривал он вполголоса. — Это старший Холидэй одобряет. По всему видно, великий поэт.

И Том, радуясь, что нашлась публика, без устали декламировал «Поэмы и баллады», так что Керри и Эмори скоро уже знали их почти так же хорошо, как он сам.

Весной Эмори принялся сочинять стихи в садах больших поместий, окружающих Принстон, где лебеди на глади прудов создавали подходящую атмосферу и облака неспешно и стройно проплывали над ивами. Май наступил неожиданно быстро, и, вдруг почувствовав, что стены не дают ему дышать, он стал бродить по университетскому городку в любое время дня и ночи, под звездами и под дождем.

Влажная символическая интерлюдия

Пала ночная мгла. Она волнами скатилась с луны, покружилась вокруг шпилей и башен, потом осела ближе к земле, так что сонные пики по-прежнему гордо вонзались в небо. Фигуры людей, днем сновавшие, как муравьи, теперь мелькали на переднем плане подобно призракам. Таинственнее выглядели готические здания, когда выступали из мрака, прорезанные сотнями бледно-желтых огней. Вдали, непонятно где, пробило четверть, и Эмори, дойдя до солнечных часов, растянулся на влажной траве. Прохлада освежила его глаза и замедлила полет времени — времени, что украдкой пробралось сквозь ленивые апрельские дни, неуловимо мелькнуло в долгих весенних сумерках. Из вечера в вечер над университетским городком красиво и печально разносилось пение старшекурсников, и постепенно, пробившись сквозь грубую оболочку первого курса, в душу Эмори снизошло благоговение перед серыми стенами и шпилями, символическими хранителями духовных ценностей минувших времен.

Башня, видная из его окна, шпиль которой

тянулся все выше и выше, так что верхушка его была едва различима на фоне утреннего неба, — вот что впервые навело его на мысль о том, как недолговечны и ничтожны люди, если не видеть в них преемников и носителей прошлого. Ему приятно было узнать, что готическая архитектура, вся устремленная ввысь, особенно подходит для университетов, и он ощутил это как собственное открытие. Ровные лужайки, высокие темные окна — лишь редко где горит свет в кабинете ученого — крепко завладели его воображением, и символом этой картины стала чистая линия шпиля.

— К черту, — произнес он громким шепотом, смочив ладони о влажную траву и приглаживая волосы. — С будущего года берусь за дело.

И однако он знал, что дух шпилей и башен, сейчас вселивший в него мечтательную готовность к действию, отпугнет его, когда придет время. Пусть сейчас он сознает только свою незначительность — первое же усилие даст ему почувствовать, как он слаб и безволен.

Принстон спал и грезил — грезил наяву. Эмори ощутил какую-то нервную дрожь — может быть, отклик на неспешное биение университетского сердца. Река, в которую ему предстоит бросить

камень, и еле видные круги от него почти тотчас исчезнут. До сих пор он не дал ничего. И не взял ничего.

Запоздалый первокурсник, шурша клеенчатым плащом, прошлепал по отсыревшей дорожке. Где-то под невидимым окном прозвучало неизбежное «Подойди на минутку». И до сознания его наконец дошли сотни мельчайших звуков, заполнивших пелену тумана.

— О господи! — воскликнул он вдруг и вздрогнул от звука собственного голоса.

Моросил дождь. Еще минуту Эмори лежал неподвижно, сжав кулаки. Потом вскочил, ощупал себя и сказал вслух, обращаясь к солнечным часам:

— Промок до нитки!

Немножко истории

Летом того года, когда Эмори перешел на второй курс, в Европе началась война. Бросок немецких войск на Париж вызвал у него чисто спортивный интерес, в остальном же он остался спокоен. Подобно зрителю, забавляющемуся мелодрамой, он надеялся, что спектакль будет длинный и крови прольется достаточно. Если бы война тут

же кончилась, он разозлился бы, как человек, купивший билет на состязание в боксе и узнавший, что противники отказались драться.

А больше он ничего не понял и не почувствовал.

«Ого-Гортензия!»

— Эй, фигурантки!

— Начинаем!

— Эй, фигурантки, может, хватит дуться в кости, время-то не ждет.

— Ну же, фигурантки?

Режиссер бестолково бушевал, президент клуба «Треугольник», сам не свой от волнения, то разражался властными выкриками, то в полном изнеможении валился на стул, уверяя себя, что никаким чудом им не успеть подготовить спектакль к началу каникул.

— Ну, так. Репетируем песню пиратов.

Фигурантки, затянувшись напоследок сигаретами, заняли свои места; премьерша выбежала на передний план, грациозно жестикулируя руками и ногами, и под хлопки режиссера, громко отбивавшего такт, танец, плохо ли, хорошо ли, был исполнен.

Клуб «Треугольник» являл собой подобие огромного растревоженного муравейника. Каждый год он ставил музыкальную комедию, и в течение всех зимних каникул труппа, хор, оркестр и декорации разъезжали из города в город. Текст и музыку писали сами студенты. Клуб пользовался громкой славой: больше трехсот желающих ежегодно домогались чести стать его членами.

Эмори, с легкостью пройдя в первом же туре второго курса в редакционный совет «Принстонской газеты», вдобавок был введен в труппу на роль пирата по кличке Кипящий Вар. Последнюю неделю они репетировали «Ого-Гортензию!» ежедневно, с двух часов дня до восьми утра, поддерживая себя крепким кофе, а в промежутке отсыпаясь на лекциях. Поразительную картину являл собой зал, где шли репетиции. Большое помещение, похожее на сарай, и в нем — студенты-пираты, студенты-девушки, студенты-младенцы; с грохотом воздвигаются декорации; осветитель, проверяя прожектор, направляет слепящие лучи прямо в чьи-то негодующие глаза; и все время либо настраивается оркестр, либо звучит лихая клубная песня. Студент, который сочиняет вставные стихи, стоит в углу и грызет карандаш: через двадцать минут должны быть готовы еще

два куплета — для биса. Казначей и секретарь спорят о том, сколько денег можно истратить на «эти чертовы костюмы для фермерских дочек»; ветеран, бывший президентом клуба в 98-м году, уселся на высокий ящик и вспоминает, насколько проще все это было в его время.

Как «Треугольнику» вообще удавалось подготовить спектакль — это покрыто тайной, но сама подготовка велась азартно, независимо от того, кто из участников заслужит право носить брелок в виде крошечного золотого треугольника. «Ого-Гортензию!» переписывали шесть раз, и на программах значились фамилии всех девяти авторов. Каждая постановка «Треугольника» в первом варианте преподносилась как «что-то новое, не просто еще одна музыкальная комедия», но, пройдя через руки нескольких авторов, режиссера, президента и факультетской комиссии, сводилась все к тем же старым, проверенным канонам, с теми же старыми, проверенными шутками, и так же буквально накануне отъезда оказывалось, что главный комик не то исключен, не то заболел, и так же ругали брюнета из состава фигуранток за то, что «он, черт его дери, не желает бриться два раза в день».

В «Ого-Гортензии!» был один блестящий эпизод.

В Принстоне существует поверье, что, когда питомец Йеля, член прославленного клуба «Череп и кости», слышит упоминание этого священного братства, он обязан покинуть помещение. Существует и другое поверье: что эти люди неизменно достигают больших успехов в жизни — собирают уйму денег, или голосов, или купонов — словом, того, что надумают собирать. И вот на каждом представлении «Ого-Гортензии!» шесть билетов не пускали в продажу, а на непроданные места сажали самых страшных оборванцев, каких удавалось нанять на улице, да еще приукрашенных стараниями клубного гримера. Когда по ходу действия «Арбалет, глава пиратов» говорит, указуя на свой черный флаг: «Я окончил Йель — вот они. Череп и кости!» — шести оборванцам было предписано демонстративно встать и выйти из зала, всем своим видом выражая глубокую печаль и оскорбленное достоинство. Утверждали, впрочем без достаточных оснований, что был случай, когда к шести подставным питомцам Йеля присоединился один настоящий.

За время каникул они выступали перед избранной публикой в восьми городах. Эмори больше всего понравились Луисвилл и Мемфис: здесь умели встретить гостей, варили сногсшибатель-

ный пунш и предлагали взорам поразительное количество красивых женщин. Чикаго он одобрил за особый задор, выражавшийся не только в громком вульгарном говоре, но поскольку Чикаго тяготел к Йелю и через неделю туда должен был прибыть йельский клуб «Веселье», принстонцам досталась только половина оваций. В Балтиморе они чувствовали себя как дома и все поголовно влюбились. Крепкие напитки потреблялись там в изобилии; кто-нибудь из актеров неизменно выходил на сцену в подпитии и потом уверял, что этого требовала его трактовка роли. В их распоряжении было три железнодорожных вагона, но спали только в третьем, так называемом телячьем, куда запихнули оркестрантов. Все происходило в такой спешке, что скучать было некогда, но когда они, уже к самому концу каникул, прибыли в Филадельфию, приятно было отдохнуть от спертой атмосферы цветов и грима, и фигурантки со вздохом облегчения сняли корсеты с натруженных животов.

Когда гастроли кончились, Эмори на всех парах помчался в Миннеаполис, потому что Изабелла Борже, кузина Салли Уэдерби, должна была провести там зиму, пока ее родители будут за границей. Изабеллу он помнил маленькой девоч-

кой, с которой когда-то играл. Потом она уехала в Балтимор — но с тех пор успела обзавестись прошлым.

Эмори чувствовал необычайный подъем, он строил планы, нервничал, ликовал. Лететь на свидание с девушкой, которую он знал в детстве, — это казалось ему в высшей степени интересным и романтичным, так что он без зазрения совести телеграфировал матери, чтобы не ждала его… сидел в поезде и тридцать шесть часов без перерыва думал о себе.

Новое в жизни Америки

Во время гастрольной поездки Эмори постоянно сталкивался с важным новым явлением американской жизни, именуемым «вечеринки с поцелуями».

Ни одна викторианская мать — а викторианскими были почти все матери — и вообразить не могла, как легко и привычно ее дочь позволяет себя целовать. «Так ведут себя только горничные, — говорит своей веселой дочке миссис Хастон-Кармелайт. — Их сначала целуют, а потом делают им предложение». А веселая дочка, Общая Любимица, в возрасте от шестнадцати до

двадцати двух лет каждые полгода объявляет о своей новой помолвке и наконец выходит замуж за молодого Хамбла из фирмы «Камбл и Хамбл», который пребывает в уверенности, что он ее первая любовь, да еще в промежутках между помолвками Общая Любимица (выбранная по тому признаку, что ее чаще всех перехватывают на танцах, в соответствии с теорией естественного отбора) еще нескольких вздыхателей дарит прощальными поцелуями при лунном свете, у горящего камина или в полной темноте.

На глазах у Эмори девушки проделывали такое, что еще на его памяти считалось немыслимым: ужинали в три часа ночи в несусветных кафе, рассуждали о всех решительно сторонах жизни — полусерьезно-полунасмешливо, однако не умея скрыть возбуждения, в котором Эмори усматривал серьезный упадок нравственности. Но как широко это явление распространилось — это он понял лишь тогда, когда все города от Нью-Йорка до Чикаго предстали перед ним как сплошная арена негласной распущенности молодежи.

Отель «Плаза», за окном зимние сумерки, смутно доносится стук барабанов в оркестре… В полном параде они беспокойно слоняются по вестибюлю, заказывают еще по коктейлю и ждут. И

вот через вращающуюся дверь с улицы проскальзывают три фигурки в мехах. Потом — театр, потом — столик в «Ночных забавах» — разумеется, присутствует и чья-то мама, но это только значит, что требуется особая осторожность, и вот чья-то мама уже сидит одна у покинутого столика и думает, что не так страшны эти развлечения, как их малюют, только уж очень утомительны. А Веселая Дочка опять влюблена… И вот что странно: ведь в такси было сколько угодно места, а дочку и этого студентика почему-то не взяли, и пришлось им ехать отдельно, в другом автомобиле. Странно? А вы не заметили, как у Веселой Дочки горели щеки, когда она наконец явилась с опозданием на семь минут? Но этим девицам все сходит с рук.

На смену «царице бала» пришла «фея флирта», на смену «фее флирта» — «вамп». «Царица бала» что ни день принимала по пять-шесть визитеров. Если у Веселой Дочки их случайно встретилось двое, тот из них, с кем она заранее не сговорилась, окажется в очень неудобном положении. В перерывах между танцами «царицу бала» окружал десяток кавалеров. А Веселая Дочка? Где она обретается в перерывах между танцами? Попробуй-ка найди ее!

Та же самая девушка… с головой погрузившаяся в атмосферу дикарской музыки и поколебленных моральных устоев. У Эмори даже сердце замирало при мысли, что любую красивую девушку, с которой он познакомился до восьми часов вечера, он еще до полуночи почти наверняка сможет поцеловать.

— Зачем мы, собственно, здесь? — спросил он однажды девушку с зелеными гребнями, сидя с ней в чьем-то лимузине у загородного клуба в Луисвилле.

— Не знаю. Просто у меня такое настроение.

— Будем честны — ведь мы же никогда больше не встретимся. Мне хотелось прийти сюда с вами, потому что, по-моему, вы здесь самая красивая. Но вам-то совершенно все равно, что больше вы никогда меня не увидите, правда?

— Правда… но скажите, у вас ко всем девушкам такой подход? Чем я это заслужила?

— И вовсе вы не устали танцевать, и вовсе вас не тянуло покурить, это все говорилось для отвода глаз. Вам просто захотелось…

— Раз вам угодно заниматься анализом, — перебила она, — пошли лучше в дом. Не хочу я об этом говорить.

Когда в моду вошел безрукавный, плотной

вязки пуловер, Эмори в минуту вдохновения окрестил его «целовальной рубашкой», и название это Веселые Дочки и их кавалеры разнесли по всей стране.

Описательная

Эмори шел девятнадцатый год, он был чуть ниже шести футов ростом и на редкость, хоть и не стандартно, красив. Лицо у него было очень юное, но наивности его противоречили проницательные зеленые глаза, опушенные длинными темными ресницами. Ему не хватало той чувственной притягательности, что так часто сопутствует красоте и в женщинах, и в мужчинах; обаяние его было скорее духовного свойства, и он не умел то включать его, то выключать, как электричество. Но тем, кто видел его лицо, оно запоминалось надолго.

Изабелла

На верхней площадке она остановилась. В груди ее теснились ощущения, которые полагается испытывать пловцам перед прыжком с высокого

трамплина, премьершам перед выходом в новой постановке, рослым, нескладным юнцам в день ответственного матча. По лестнице ей подошло бы спускаться под барабанный бой или под попурри из «Тайс» или «Кармен». Никогда еще она так не заботилась о своей наружности и не была ею так довольна. Ровно полгода назад ей исполнилось шестнадцать лет.

— Изабелла! — окликнула ее Салли из открытой двери гардеробной.

— Я готова. — От волнения ей слегка сдавило горло.

— Я послала домой за другими туфлями. Подожди минутку.

Изабелла двинулась было в гардеробную, чтобы еще раз взглянуть на себя в зеркало, но почему-то передумала и осталась стоять, глядя вниз с широкой лестницы клуба Миннегага. Лестница делала предательский поворот, и ей были видны только две пары мужских ног в нижнем холле. В одинаковых черных лакированных туфлях, они ничем не выдавали своих владельцев, но ей ужасно хотелось, чтобы одна из них принадлежала Эмори Блейну. Этот молодой человек, которого она еще не видела, тем не менее занял собой значительную часть ее дня — дня ее при-

езда в Миннеаполис. По дороге с вокзала Салли, забросав ее вопросами, рассказами, признаниями и домыслами, между прочим сообщила:

— Ты, конечно, помнишь Эмори Блейна. Так вот, он просто жаждет опять с тобой встретиться. Он решил на день опоздать в колледж и нынче вечером будет в клубе. Он много о тебе слышал — говорит, что помнит твои глаза.

Это Изабелле понравилось. Значит, и он ею интересуется. Впрочем, она привыкла налаживать романтические отношения и без предварительной рекламы. Но одновременно с приятным предчувствием у нее екнуло сердце, и она спросила:

— Ты говоришь, он обо мне слышал? Что именно?

Салли улыбнулась. При своей интересной кузине она чувствовала себя чем-то вроде импресарио.

— Он знает, что тебя считают очень хорошенькой… — она сделала паузу — и, наверно, знает, что ты любишь целоваться.

При этих словах Изабелла невольно стиснула кулачки под меховой накидкой. Она уже привыкла к тому, что ее грешное прошлое следует за нею повсюду, и это ее раздражало — но, с другой

стороны, в новом городе такая репутация могла и пригодиться. Про нее говорят, что она «распущенная»? Ну что ж, пусть проверят.

В окно машины она глядела на морозное снежное утро. Она и забыла, насколько здесь холоднее, чем в Балтиморе. Стекло дверцы обледенело, в окошках по углам налип снег. А мысли ее возвращались все к тому же. Интересно, он тоже одевается, как вон тот парень, что преспокойно шагает по людной улице в мокасинах и каком-то карнавальном костюме? Как это типично для Запада! Нет, он, наверно, не такой, ведь он учится в Принстоне, уже на втором курсе, кажется. Помнила она его очень смутно. Сохранился старый любительский снимок, и на нем главным образом большие глаза (теперь-то он, наверно, и весь не маленький). Но за последний месяц, после того как было решено, что она поедет гостить к Салли, он вырос до размеров достойного противника. Дети, эти хитроумные сводники, строят свои планы быстро, к тому же и Салли по мере сил подогревала ее легко воспламеняющуюся натуру. Изабелла уже не раз оказывалась способна на очень сильные, хоть и очень преходящие чувства…

Они подкатили к внушительному белокаменному особняку, стоявшему отступя от заснежен-

ной улицы. Миссис Уэдерби встретила ее ласково и радушно, из разных углов появились младшие кузены и кузины и вежливо с ней поздоровались. Изабелла держалась с большим тактом. Она, когда хотела, умела расположить к себе всех, с кем встречалась, — кроме девушек старше себя и некоторых женщин. И впечатление, производимое ею, всегда было точно рассчитано. Несколько девиц, с которыми она в тот день возобновила знакомство, по достоинству оценили и ее, и ее репутацию. Но Эмори Блейн остается загадкой. Видимо, он отчаянный ухажер и пользуется успехом, хотя не так чтобы очень, очевидно, все эти девушки рано или поздно с ним флиртовали, но сколько-нибудь полезных сведений не сообщила ни одна. Он непременно в нее влюбится. Салли заранее оповестила об этом своих подружек, и, едва увидев Изабеллу, они сами стали уверять ее в этом. А Изабелла про себя решила, что, если потребуется, она заставит себя им увлечься — не подводить же Салли. Может быть, сама-то она в нем и разочаруется. Салли расписала его в самых привлекательных красках: красив, как бог, и «так благородно держится, когда захочет», и подход у него есть, и непостоянства хватает. Словом — весь букет тех качеств, которые в ее возрасте и в ее

среде ценились на вес золота. Интересно все-таки, это его или не его бальные туфли выделывают па фокстрота на мягком ковре вестибюля?

Впечатления и мысли у Изабеллы всегда сменялись с калейдоскопической быстротой. У нее был тот светски-артистический темперамент, который часто встречается и среди светских женщин, и среди актрис. Свое образование или, вернее, опыт она почерпнула у молодых людей, домогавшихся ее благосклонности, такт был врожденный, а круг поклонников ограничен только числом телефонов у подходящих молодых людей, обитавших по соседству. Кокетство лучилось из ее больших темно-карих глаз, смягчало улыбкой ее откровенную чувственную прелесть.

И вот она стояла на верхней площадке клуба и ждала, пока прибудут забытые дома туфли. Она уже начала терять терпение, но тут из гардеробной появилась Салли, как всегда веселая, сияющая, и пока они вместе спускались по лестнице, словно лучи прожектора освещали в уме Изабеллы поочередно две мысли: «Слава богу, я сегодня не бледная» и «Интересно, а танцует он хорошо?».

Внизу, в большом зале клуба, ее сперва окружили те девицы, с которыми она повидалась

днем, потом она услышала голос Салли, перечислявшей фамилии, и машинально поздоровалась с шестью черно-белыми, негнущимися, смутно знакомыми манекенами. Мелькнула там и фамилия Блейн, но она не сразу разобралась, к кому ее приклеить. Все стали неумело пятиться и сталкиваться и в результате этой путаницы оказались обременены самыми нежелательными партнерами. С Фрогги Паркером, с которым Изабелла когда-то играла в «классы» — теперь он только что поступил в Гарвард, — она ловко ускользнула на диванчик у лестницы. Ей хватило одного шутливого упоминания о прошлом. Просто диву даешься, как она умела обыграть такое невинное замечание. Сперва она повторила его прочувствованным контральто с чуть заметной южной интонацией, потом с чарующей улыбкой, словно оценила со стороны, потом снова произнесла с небольшими вариациями, наделив нарочитой значительностью, — причем все это было облечено в форму диалога. Фрогги, замирая от счастья, не подозревал, что комедия эта разыгрывается вовсе не для него, а для тех зеленых глаз, что поблескивали из-под тщательно приглаженных волос чуть левее от них: Изабелла наконец-то обнаружила Эмори. Подобно актрисе, когда она

чувствует, что уже покорила зрительный зал, и теперь уделяет главное внимание зрителям первого ряда, Изабелла исподтишка изучала Эмори. Оказалось, что волосы у него каштановые, и по тому, что это ее разочаровало, она поняла, что ожидала увидеть жгучего брюнета, притом стройного, как на рекламе новых подтяжек. А еще она отметила легкий румянец и греческий профиль, особенно эффектный в сочетании с узким фраком и пышной шелковой манишкой из тех, что все еще пленяют женщин, хотя мужчинам уже изрядно надоели.

Эмори выдержал ее осмотр не дрогнув.

— Вы со мной не согласны? — вдруг как бы невзначай обратилась к нему Изабелла.

Обходя кучки гостей, к ним приближалась Салли и с ней еще кто-то. Эмори подошел к Изабелле вплотную и шепнул:

— За ужином сядем вместе. Мы же созданы друг для друга.

У Изабеллы захватило дух. Это уже было похоже на «подход». Но одновременно она чувствовала, что одну из лучших реплик отняли у звезды и передали чуть ли не статисту… Нет, этого она не допустит. Под взрывы смеха молодежь рассаживалась за длинным столом и много любопытных

глаз следило за Изабеллой. Польщенная этим, она оживилась и разрумянилась, так что Фрогги Паркер, заглядевшись на нее, забыл пододвинуть Салли стул и отчаянно от этого смутился. По другую руку от нее сидел Эмори — уверенный, самодовольный — и, не скрываясь, любовался ею. Он заговорил сразу, так же как и Фрогги:

— Я много о вас слышал с тех пор, как вы перестали носить косички…

— Смешно сегодня получилось…

Оба одновременно умолкли. Изабелла робко повернулась к Эмори. Обычно ее понимали без слов, но сейчас она не стала молчать:

— От кого слышали? Что?

— От всех — с тех самых пор, как вы отсюда уехали.

Она вспыхнула и потупилась. Справа от нее Фрогги Паркер уже «сошел с дорожки», хотя еще не успел это понять.

— Я вам расскажу, какой помнил вас все эти годы, — продолжал Эмори.

Она чуть наклонилась в его сторону, скромно разглядывая веточку сельдерея у себя на тарелке. Фрогги вздохнул — он хорошо знал Эмори и как тот блестяще использует такие ситуации. Он решительно повернулся к Салли и осведомился,

думает ли она с осени уехать в колледж. Эмори же сразу повел огонь картечью.

— У меня для вас есть один очень подходящий эпитет. — Это был его излюбленный гамбит. Никакого определенного слова он при этом в виду не имел, но в собеседнице пробуждалось любопытство, а на худой конец всегда можно было придумать что-нибудь лестное.

— Правда? Какой же?

Эмори покачал головой.

— Я вас еще недостаточно знаю.

— А потом скажете? — спросила она еле слышно.

Он кивнул.

— Мы пропустим танец и поболтаем.

Изабелла кивнула.

— Вам кто-нибудь говорил, что у вас пронзительные глаза?

Эмори постарался сделать их еще пронзительнее. Ему показалось — или только почудилось? — что она под столом коснулась ногой его ноги. Впрочем, это могла быть просто ножка стола. Трудно сказать. А если все-таки?.. Он стал быстро соображать, как бы им уединиться в маленькой гостиной на втором этаже.

Младенцы в лесу

Невинными младенцами ни Эмори, ни Изабелла, безусловно, не были, но не были они и порочны. К тому же эти ярлыки не играли большой роли в той игре, которую они затеяли и которая в ее жизни должна была занять главное место на ближайшие несколько лет. Как и у Эмори, все началось у нее с красивой внешности и беспокойного нрава, а дальнейшее пришло от прочитанных романов и разговоров, подслушанных среди девушек постарше ее годами. Изабелла уже в десять лет усвоила кукольную походку и наивный взгляд широко раскрытых блестящих глаз. Эмори смотрел на вещи чуть более трезво. Он ждал, когда она сбросит маску, но ее права носить маску не оспаривал. Она, со своей стороны, не обольщалась его личиной многоопытного скептика. Проведя юность в более крупном городе, она повидала больше разных людей. Но позу его приняла — это входило в число мелких условностей, необходимых в такого рода отношениях.

Он понимал, что ее исключительными милостями обязан тщательной подготовке со стороны, знал, что сейчас в ее поле зрения нет никого бо-

лее интересного и что пользоваться этим нужно, пока его не заслонил кто-нибудь другой. И оба проявляли изворотливость и хитрость, от которых ее родители пришли бы в ужас.

После ужина, как положено, начались танцы. Как положено? Изабеллу перехватывали на каждом шагу, а потом молодые люди пререкались по углам: «Мог бы потерпеть еще минут десять!» или «Ей это тоже не понравилось, она сама мне сказала, когда я в следующий раз ее отбил». И это не было ложью — она повторяла то же всем подряд и каждому на прощание пожимала руку, словно говоря: «Вы же понимаете, я сегодня вообще танцую только ради вас».

Но время шло, и часов в одиннадцать, когда менее догадливые кавалеры обратили свои псевдострастные взоры на других претенденток, Изабелла и Эмори уже сидели на диване в верхней маленькой гостиной позади библиотеки. Она твердо помнила, что они самая красивая пара и что им сам бог велел искать интимной обстановки, пока не столь яркие пташки порхают и щебечут внизу.

Молодые люди, проходя мимо маленькой гостиной, заглядывали в нее с завистью, девицы на ходу улыбались, хмурились и кое-что запомина-

ли на будущее.

А они сейчас достигли вполне определенной стадии. Они успели обменяться сведениями о том, как жили после того, как виделись в детстве, причем многое из этого она уже слышала раньше. Он сейчас на втором курсе, член редакционного совета «Принстонской газеты», на будущий год надеется стать ее главным редактором. Эмори, со своей стороны, узнал, что некоторые ее знакомые мальчики в Балтиморе «ужасно распущенные», на танцы приходят нетрезвые, многим из них уже по двадцать лет и почти все разъезжают на красных «штуцах». Чуть не половину их успели исключить из разных школ и колледжей, но некоторые видные спортсмены: одни имена их вызывали в ней уважение. Правду сказать, знакомство Изабеллы с университетской молодежью еще едва началось. Несколько студентов, видевших ее мельком, утверждали, что «малышка недурна — стоит посмотреть, что из нее получится». Но по ее рассказам выходило, что она участвовала в оргиях, способных поразить даже какого-нибудь австрийского барона. Такова сила юного контральто, воркующего на низком широком диване.

Эмори спросил, не считает ли она, что он о себе

слишком высокого мнения. Она ответила, что между высоким мнением о себе и уверенностью в себе — большая разница. А уверенным в себе мужчина должен быть обязательно.

— Вы с Фрогги большие друзья? — спросила она.

— В общем, да, а что?

— Танцует он жутко.

Эмори рассмеялся.

— Он танцует так, точно не ведет девушку, а таскает ее на спине.

Шутка Изабелле понравилась.

— Вы удивительно верно описываете людей.

Он стал энергично отнекиваться, однако тут же описал ей еще нескольких общих знакомых. Потом разговор перешел на руки.

— У вас удивительно красивые руки, — сказала она. — Как у пианиста. Вы играете?

Повторяю, они достигли вполне определенной стадии, более того — стадии критической. Из-за этой девушки Эмори и так опоздал в университет, теперь поезд его отходил ночью, в четверть первого, чемодан и саквояж ждали в камере хранения на вокзале, и часы в кармане тикали все громче.

— Изабелла, — начал он вдруг, — мне надо вам

что-то сказать.

Перед тем они болтали какую-то чепуху насчет «странного выражения ее глаз», и по его изменившемуся голосу Изабелла сразу поняла, что сейчас последует, и даже более — она уже давно этого ждала. Эмори протянул руку назад и вверх и выключил лампу, так что теперь комнату освещала только полоса света из открытой двери библиотеки. И он заговорил:

— Не знаю, может быть, вы уже поняли, что вы… что я хочу сказать. О господи, Изабелла, вы опять скажете, что это подход, но, право же…

— Я знаю, — сказала она тихо.

— Возможно, мы никогда больше так не встретимся, мне обычно зверски не везет. — Он сидел далеко от нее, в другом углу дивана, но его глаза были ей хорошо видны в полумраке.

— Да увидимся мы еще, глупенький. — Последнее слово, чуть подчеркнутое, прозвучало почти как ласка.

Он продолжал сразу охрипшим голосом:

— Я в жизни увлекался уже много раз, и вы, вероятно, тоже, но, честное слово, вы… — Он не договорил и, нагнувшись вперед, уткнул подбородок в ладони. — Э, да что толку. Вы пойдете своей дорогой, а я, надо полагать, своей.

Молчание. Изабелла, взволнованная до глубины души, скомкала платок в тугой комочек и в бледном сумраке не то уронила, не то бросила его на пол. Руки их на мгновение встретились, но ни слова не было сказано. Молчание ширилось, становилось еще слаще. В соседней комнате другая парочка, тоже сбежавшая наверх, наигрывала что-то на рояле. После обычных вступительных аккордов послышалось начало «Младенцев в лесу», и в маленькую гостиную долетел мягкий тенор:

Дай руку мне —
С тобой наедине
Окажемся мы в сказочной стране.

Изабелла стала чуть слышно подпевать и задрожала, когда ладонь Эмори легла на ее руку.

— Изабелла, — шепнул он, — вы же знаете, что свели меня с ума. И я вам не совсем безразличен.

— Да.

— Вы меня любите? Или есть кто-нибудь другой?

— Нет.

Он едва слышал ее, хотя наклонился так близко, что чувствовал на щеке ее дыхание.

— Изабелла, я уезжаю в Принстон на целых

полгода, так неужели нам нельзя… если б я хоть это мог увезти на память о вас…

— Закройте дверь. — Ее голос еле прошелестел, он даже не был уверен, что расслышал. Дверь под его рукой затворилась бесшумно, музыка зазвучала ближе.

Лунный свет мерцает, маня…

Поцелуй на прощанье меня.

Какая чудесная песня, думала она, сегодня все чудесно, а главное — эта романтическая сцена в маленькой гостиной, как они держатся за руки, и вот-вот случится то, что должно случиться. Вся жизнь уже рисовалась ей как бесконечная вереница таких сцен — при луне и в бледном свете звезд, в теплых лимузинах и в уютных двухместных «фордиках», поставленных под тенью деревьев. Только партнер мог меняться, но этот был такой милый. Он нежно держал ее руку в своей. Потом быстро повернул ладонью кверху, поднес к губам и поцеловал.

— Изабелла! — шепот его смешался с музыкой, их словно плавно качнуло друг к другу. Она задышала чаще. — Позволь тебя поцеловать, Изабелла! — Полуоткрыв губы, она повернулась к нему в темноте. И вдруг их оглушили голоса, то-

пот бегущих ног. Мгновенно Эмори включил бра над диваном, и, когда в комнату ворвались трое, в том числе рассерженный, соскучившийся по танцам Фрогги, он уже небрежно листал журналы на столе, а она сидела, спокойная, безмятежная, и даже встретила их приветливой улыбкой. Но сердце у нее отчаянно билось, и она чувствовала себя обделенной.

Все было кончено. Их шумно тащили в зал, они переглянулись, его взгляд выражал отчаяние, ее — сожаление. А потом вечер пошел своим чередом, и кавалеры, вновь обретя уверенность, стали бойчее прежнего перехватывать девушек.

Без четверти двенадцать Эмори чинно простился с Изабеллой, стоя среди кучки гостей, подошедших пожелать ему счастливого пути. На секунду хладнокровие изменило ему, да и ее передернуло, когда какой-то остряк, прячась за чужими спинами, крикнул:

— Вы бы проводили его на вокзал, Изабелла!

Он чуть крепче, чем нужно, сжал ее руку, она ответила ему на пожатие, как ответила в этот вечер уже многим, и это было все.

В два часа ночи, вернувшись домой, Салли Уэдерби спросила, успели ли они с Эмори «развлечься» в маленькой гостиной. Изабелла

обратила к ней невозмутимо спокойное лицо. В глазах ее светилась безгрешная мечтательность современной Жанны Д'Арк.

— Нет, — отвечала она. — Я больше такими вещами не занимаюсь. Он просил меня, но я не захотела.

Ложась в постель, она старалась угадать, что он ей напишет завтра в письме с пометкой «срочное». У него такие красивые губы — неужели она никогда…

— «Тринадцать ангелов их сон оберегали…» — сонно пропела Салли в соседней комнате.

— К черту, — пробормотала Изабелла, кулаком взбивая подушку и стараясь не смять прохладные простыни. — К черту.

Карнавал

Эмори, попав в «Принстонскую газету», наконец-то нашел себя. По мере того как приближались выборы, мелкие снобы, эти безошибочные барометры успеха, относились к нему все почтительнее, и старшекурсники заглядывали к нему и к Тому, неловко усаживались на столы и на ручки кресел и болтали о чем угодно, кроме того, что их действительно интересовало. Эмори забавляли

устремленные на него внимательные взгляды, и если гости представляли какой-нибудь малоинтересный клуб, с превеликим удовольствием шокировал их еретическими высказываниями.

— Минуточку, — ошарашил он как-то вопросом одну делегацию, — как вы сказали, вы какой клуб представляете?

С гостями из «Плюша», «Коттеджа» и «Тифа» он разыгрывал «наивного, неиспорченного юношу», в простоте душевной и не догадывающегося, зачем к нему явились.

В знаменательное утро в начале марта, когда весь университет был охвачен массовой истерией, он, забрав с собой Алека, пробрался в «Коттедж» и стал с интересом наблюдать своих посходивших с ума однокашников.

Были среди них мотыльки, метавшиеся из клуба в клуб, были друзья трехдневной давности, чуть не со слезами заявлявшие, что им непременно нужно быть в одном клубе, что они жить друг без друга не могут; вспыхивали внезапные ссоры, когда студент, только что выдвинувшийся из толпы, припоминал кому-то прошлогоднюю обиду. Еще вчера неизвестные личности, набрав вожделенное число голосов, сразу становились важными птицами, а другие, про которых гово-

рили, что успех им обеспечен, обнаруживали, что успели нажить врагов, и, сразу почувствовав себя одинокими и всеми покинутыми, во всеуслышание заявляли, что уходят из университета.

Вокруг себя Эмори видел людей, забаллотированных — один за то, что носил зеленую шляпу, другой за то, что «одевается, как манекен от портного», за то, что «однажды напился, как не подобает джентльмену», и еще по каким-то причинам, известным только тем, кто сам опускал черные шары.

Эта оргия всеобщей общительности завершилась грандиозным пиршеством в ресторане Нассау, где пунш разливали из гигантских мисок и весь нижний этаж кружился в бредовой карусели голосов и лиц.

— Эй, Дибби, поздравляю!

— Молодец, Том, в «Шапке»-то тебя как поддержали!

— Керри, скажи-ка…

— Эй, Керри, ты, я слышал, прошел в «Тиф» с прочими гиревиками?

— Уж конечно, не в «Коттедж», там пусть наши дамские угодники отсиживаются.

— Овертон, говорят, в обморок упал, когда его приняли в «Плюш». Даже записываться не пошел

в первый день. Вскочил на велосипед и погнал узнавать, не произошло ли ошибки.

— А ты-то, старый повеса, как попал в «Шапку»?

— Поздравляю!

— И тебя также. Голосов ты, я слышал, набрал ого!

Когда закрылся бар, они, сбившись кучками, с песнями разбрелись по засыпанным снегом улицам и садам, теша себя заблуждением, что эпоха напряжения и снобизма наконец-то осталась позади и в ближайшие два года они могут делать все, что пожелают.

Много лет спустя Эмори вспоминал эту вторую университетскую весну как самое счастливое время своей жизни. Душа его была в полной гармонии с окружающим; в эти апрельские дни у него не было иных желаний, кроме как дышать и мечтать, и наслаждаться общением со старыми и новыми друзьями.

Однажды утром к нему ворвался Алек Коннедж, и он, открыв глаза, сразу увидел в окно сверкающее на солнце здание Кембл-холла.

— Ты, Первородный Грех, проснись и пошевеливайся. Через полчаса чтоб был у кафе Ренвика. Имеется автомобиль. — Он снял со стола крышку

и со всем, что на ней стояло, осторожно пристроил на кровати.

— А откуда автомобиль? — недоверчиво спросил Эмори.

— Во временном владении. А вздумаешь придираться, так не видать тебе его как своих ушей.

— Я, пожалуй, еще посплю, — сказал Эмори и, снова откинувшись на подушку, потянулся за сигаретой.

— Что?!

— А чем плохо? У меня в одиннадцать тридцать лекция.

— Филин ты несчастный! Конечно, если тебе не хочется съездить к морю…

Одним прыжком Эмори выскочил из постели, и вся мелочь с крышки стола разлетелась по полу. Море… Сколько лет он его не видел, с тех самых пор, как они с матерью кочевали по всей стране…

— А кто едет? — спросил он, натягивая брюки.

— Дик Хамберд, и Керри Холидэй, и Джесси Ферренби, и… в общем, человек шесть, кажется. Давай поживее!

Через десять минут Эмори уже уписывал у Ренвика корнфлекс с молоком, а в половине десятого веселая компания покатила прочь из города,

держа путь к песчаным пляжам Дил-Бич.

— Понимаешь, — объяснил Керри, — автомобиль прибыл из тех краев. Точнее говоря, неизвестные лица угнали его из Эсбери-Парк и бросили в Принстоне, а сами отбыли на Запад. И наш Хитрый Хамберд получил в городском управлении разрешение доставить его обратно владельцам.

Ферренби, сидевший впереди, вдруг обернулся.

— Деньги у кого-нибудь есть?

Единодушное и громкое «Нет!» было ему ответом.

— Это уже интересно.

— Деньги? Что такое деньги? На худой конец продадим машину.

— Или получим с хозяина вознаграждение за спасенное имущество.

— А что мы будем есть? — спросил Эмори.

— Ну, знаешь ли, — с укором возразил Керри, — ты что же, думаешь, у Керри не хватит смекалки на каких-то три дня? Бывало, люди годами ничего не ели. Ты почитай журнал «Бойскаут».

— Три дня, — задумчиво произнес Эмори. — Ау меня лекции…

— Один из трех дней — воскресенье.

— Все равно, мне можно пропустить еще только

шесть лекций, а впереди целых полтора месяца.

— Выкинуть его за борт!

— Пешком идти домой? Нет, лень.

— Эмори, а тебе не кажется, что ты «высовываешься»?

— Научись относиться к себе критически, Эмори.

Эмори смирился, умолк и стал созерцать окрестности. Почему-то вспомнился Суинберн:

Окончен срок пустоты и печали,
Окончено время снега и сна,
Дни, что влюбленных зло разлучали,
Свет, что слабеет, и тьма, что сильна;
С мыслью о времени – скорби забыты,
Почки набухли, морозы убиты,
И, году листвой возвестив о начале,
Цветок за цветком, возникает весна.

Густым тростником замедлен поток…

— Что с тобой, Эмори? Эмори размышляет о поэзии, о цветочках и птичках. По глазам видно.

— Нет, — соврал Эмори. — Я думаю о «Прин-

стонской газете». Мне сегодня вечером нужно было зайти в редакцию, но, наверно, откуда-нибудь можно будет позвонить.

— О-о, — почтительно протянул Керри, — уж эти мне важные шишки…

Эмори залился краской, и ему показалось, что Ферренби, не прошедший по тому же конкурсу, слегка поморщился. Керри, конечно, просто валяет дурака, но он прав — не стоило упоминать про «Принстонскую газету».

День был безоблачный, они ехали быстро, и, когда в лицо потянуло соленым ветерком, Эмори сразу представил себе океан, и длинные, ровные песчаные отмели, и красные крыши над синей водой. И вот уже они промчались через городок, и все это вспыхнуло у него перед глазами, всколыхнув целую бурю давно дремавших чувств.

— Ой, смотрите! — воскликнул он.

— Что?

— Стойте, я хочу выйти, я же этого восемь лет не видел. Милые, хорошие, остановитесь!

— Удивительный ребенок, — заметил Алек.

— Да, он у нас со странностями.

Однако автомобиль послушно остановили у обочины, и Эмори бегом бросился к прибрежной дорожке.

Его поразило, что море синее, что оно огромное, что оно ревет не умолкая, — словом, все самое банальное, чем может поразить океан, но если б ему в ту минуту сказали, что все это банально, он только ахнул бы от изумления.

— Пора закусить, — распорядился Керри, подходя к нему вместе с остальными. — Пошли, Эмори, брось считать ворон и спустись на землю… Начнем с самого лучшего отеля, — продолжал он, — а потом дальше — по нисходящей…

Они прошествовали по набережной до внушительного вида гостиницы, вошли в ресторан и расположились за столиком.

— Восемь коктейлей «Бронкс», — заказал Алек. — Сэндвич покрупнее и картофель жюльен. Закуску на одного. Остальное на всех.

Эмори почти не ел, он выбрал стул, с которого мог смотреть на море и словно чувствовать его колыхание. Поев, они еще посидели, покурили.

— Сколько там с нас?

Кто-то заглянул в счет.

— Восемь тридцать пять.

— Грабеж среди бела дня. Мы им дадим два доллара и доллар на чай. Ну-ка, Керри, займись сбором мелочи.

Подошел официант, Керри вручил ему доллар,

два доллара небрежно бросил на счет и отвернулся. Они не спеша двинулись к выходу, но через минуту встревоженный виночерпий догнал их.

— Вы ошиблись, сэр.

Керри взял у него счет и внимательно прочитал.

— Все правильно, — сказал он, важно покачав головой, и, аккуратно разорвав счет на четыре куска, протянул их официанту, а тот, ничего не поняв, только бессмысленно смотрел им вслед, пока они выходили на улицу.

— А он не поднимет тревогу?

— Нет, — сказал Керри. — Сперва он решит, что мы сыновья хозяина, потом еще раз изучит счет и пойдет к метрдотелю, а мы тем временем…

Автомобиль они оставили в Эсбери и на трамвае доехали до Алленхерста, потолкались среди тентов на пляже. В четыре часа подкрепились в закусочной, заплатив совсем уж ничтожную долю суммы, указанной в счете, — было что-то неотразимое в их внешности, в спокойной, уверенной манере, и никто не пытался их задержать.

— Понимаешь, Эмори, мы — социалисты марксистского толка, — объяснил Керри. — Мы — против частной собственности и претворяем

свои теории в жизнь.

— Близится вечер, — напомнил Эмори.

— Выше голову, доверься Холидэю.

В шестом часу они совсем развеселились и, сцепившись под руки, двинулись по набережной, распевая заунывную песню про печальные волны морские. Неожиданно Керри заметил в толпе лицо, чем-то его привлекшее, и, отделившись от остальных, через минуту появился снова, ведя за руку одну из самых некрасивых девушек, каких Эмори приходилось видеть. Ее бледный рот растянулся в улыбке, зубы клином выдавались вперед, маленькие косящие глаза заискивающе выглядывали из-за немного скривленного носа. Керри торжественно познакомил ее со всей компанией:

— Мисс Калука, гавайская королева. Разрешите представить вам моих друзей: мистеры Коннедж, Слоун, Хамберд, Ферренби и Блейн.

Девушка всем по очереди сделала книксен. «Бедняга, — подумал Эмори, — наверно, ее еще ни разу никто не замечал, может быть, она не вполне нормальная». За всю дорогу (Керри пригласил ее поужинать) она не сказала ничего, что могло бы его в этом разубедить.

— Она предпочитает свои национальные блю-

да, — серьезно сообщил Алек официанту, — а впрочем, сойдет и любая другая пища, лишь бы погрубее.

За ужином он был с ней изысканно почтителен и вежлив. Керри, сидевший с другой стороны от нее, беспардонно с ней любезничал, а она хихикала и жеманилась. Эмори молча наблюдал эту комедию, думая о том, какой легкий человек Керри, как он самому пустяковому случаю умеет придать законченность и форму. В большей или меньшей мере то же относилось ко всем этим юношам, и Эмори отдыхал душой в их обществе. Как правило, люди нравились ему поодиночке, в любой компании он побаивался, если только сам не был ее центром. Он пробовал разобраться в том, кто какой вклад вносит в общее настроение. Душой общества были Алек и Керри — душой, но не центром. А главенствовали, пожалуй, молчаливый Хамберд и Слоун, чуть раздражительный, чуть высокомерный.

Дик Хамберд еще с первого курса стал для Эмори идеалом аристократа. Он был сухощав, но крепко сбит, черные курчавые волосы, правильные черты лица, смуглая кожа. Что бы он ни сказал — все звучало к месту. Отчаянно храбр, очень неглуп, острое чувство чести и притом обаяние,

не позволявшее заподозрить его в лицемерной праведности. Даже изрядно выпив, он оставался в форме, даже его рискованные выходки не подходили под понятие «высовываться». Ему подражали в одежде, пытались подражать в манере говорить… Эмори решил, что он, вероятно, не принадлежит к авангарду человечества, но видеть его другим не хотел бы…

Хамберд отличался от типичных здоровых молодых буржуа — он, например, никогда не потел. Другим стоит фамильярно поговорить с шофером, и им ответят не менее фамильярно, а Хамберд мог бы позавтракать у «Шерри» с негром — и всем почему-то было бы ясно, что это в порядке вещей. Он не был снобом, хотя общался только с половиной своего курса. В приятелях у него числились и тузы, и мелкая сошка, но втереться к нему в дружбу было невозможно. Слуги его обожали, для них он был царь и бог. Он казался эталоном для всякого, притязающего на принадлежность к верхушке общества.

— Он похож на портреты из «Иллюстрейтед Лондон ньюс», — сказал как-то Эмори Алеку, — знаешь — английские офицеры, погибшие на войне.

— Если тебя не страшит неприглядная прав-

да, — ответил тогда Алек, — могу тебе сообщить, что его отец был продавцом в бакалейной лавке, потом в Такоме разбогател на продаже недвижимости, а в Нью-Йорк перебрался десять лет назад.

У Эмори тревожно засосало под ложечкой.

Эта их вылазка оказалась возможной потому, что после клубных выборов весь курс словно перетряхнуло, словно то была последняя попытка получше узнать друг друга, сблизиться, устоять против замкнутого духа тех же клубов. Это была разрядка после университетских условностей, с которыми они до сих пор так старательно считались.

После ужина они проводили Калуку на набережную, потом побрели по пляжу обратно в Эсбери. Вечернее море вызывало совсем иные чувства — исчезли его краски, его извечность, теперь это была холодная пустыня безрадостных северных саг. Эмори вспомнилась строка из Киплинга:

> «Берега Луканона, когда там не ступала
> нога моржелова…»

И все-таки это тоже была музыка, бесконечно

печальная.

К десяти часам они остались без единого цента. Последние одиннадцать центов поглотил роскошный ужин, и они шли по набережной, пели, заходили в пассажи и под освещенные арки, останавливались послушать каждый уличный оркестр. Один раз Керри организовал сбор пожертвований на французских детей, которых война оставила сиротами; они собрали доллар и двадцать центов и на эти деньги купили бренди, чтобы не простудиться от ночного холода. Закончили они день в кино, где смотрели какую-то старую комедию, время от времени разражаясь громовым хохотом, к удивлению и недовольству остальной публики. В кино они проникли как опытные стратеги: каждый, проходя мимо контролера, кивал через плечо на следующего. Слоун, замыкавший шествие, убедившись, что остальные уже рассыпались по рядам, снял с себя всякую ответственность — он, мол, их и в глаза не видал, а когда разъяренный контролер кинулся в зал, не спеша вошел туда за ним следом.

Позже они собрались у казино и подготовились к ночевке. Керри уломал сторожа, чтобы тот позволил им спать на веранде, вместо матрасов и одеял они натаскали туда целую кучу ковров

из кабинок, проболтали до полуночи, а потом уснули как убитые, хотя Эмори очень старался не спать, чтобы полюбоваться океаном, освещенным совершенно необыкновенной луной.

Так они прожили два счастливых дня, передвигаясь вдоль побережья то на трамвае, то пешком по людной береговой дорожке, изредка пируя за столом какого-нибудь богача, а чаще — питаясь более чем скромно за счет простодушных хозяев закусочных. В моментальной фотографии они снялись в восьми разных видах. Керри придумывал мизансцены: то это была студенческая футбольная команда, то шайка ист-сайдских гангстеров в пиджаках наизнанку, а сам он восседал в центре на картонном полумесяце. Вероятно, снимки эти и по сей день хранятся у фотографа, во всяком случае, заказчики за ними не явились. Погода держалась прекрасная, и они опять ночевали на воздухе, и Эмори опять уснул, как ни старался лежать с открытыми глазами.

Настало воскресенье, торжественно-респектабельное, и они возвратились в Принстон на «фордах» попутных фермеров и разошлись по домам, чихая и сморкаясь, но вполне довольные своей поездкой.

Еще больше, чем в прошлом году, Эмори запус-

кал академические занятия — не умышленно, а из-за лени и переизбытка привходящих интересов. Его не влекла ни аналитическая геометрия, ни монотонные двустишия Корнеля и Расина, и даже психология, от которой он так много ждал, оказалась скучнейшим предметом — не исследование свойств и влияний человеческого сознания, а сплошь мускульные реакции и биологические термины. Занятия эти начинались в полдень, когда его особенно клонило ко сну, и, установив, что почти во всех случаях подходит формула «субъективно и объективно, сэр», он с успехом ею пользовался. Вся группа ликовала, когда Ферренби или Слоун, услышав вопрос, обращенный к нему, толкали его в бок и он в полусне произносил спасительные слова.

То и дело они куда-нибудь уезжали — в Орендж или на море, реже — в Нью-Йорк или Филадельфию, а однажды, собрав четырнадцать официанток от Чайлдса, целый вечер катали их по Пятой авеню на империале автобуса. Все они уже напропускали больше лекций, чем дозволялось правилами, а это означало дополнительные занятия в будущем учебном году, но весна брала свое — очень уж заманчивы были эти эскапады. В мае Эмори выбрали в комиссию по устройству лет-

него бала, и теперь, подробно обсуждая с Алеком возможный состав студенческого совета старших курсов, они среди первых кандидатов неизменно называли себя. В совет, как правило, входило восемнадцать студентов, особенно чем-нибудь отличившихся, и футбольные достижения Алека, а также твердое намерение Эмори сменить Бэрна Холидэя на посту главного редактора «Принстонской газеты» давали все основания для таких предположений. Как ни странно, оба они включали в число кандидатов и Тома Д'Инвильерса, что год назад было бы воспринято как шутка.

Всю весну, то реже, то чаще, Эмори переписывался с Изабеллой Борже, ссорился с ней и мирился, а главным образом подыскивал синонимы к слову «любовь». В письмах Изабелла оказалась огорчительно сдержанной и даже бесчувственной, но Эмори не терял надежды, что в широких весенних просторах этот экзотический цветок распустится так же, как в маленькой гостиной клуба Миннегага. В мае он стал чуть ли не каждый вечер сочинять ей письма на тридцать две страницы и отсылал их по два сразу, надписав на толстых конвертах «Часть 1» и «Часть 2».

— Ох, Алек, по-моему, колледж мне слегка надоел, — грустно признался он во время одной из

их вечерних прогулок.

— Ты знаешь, и мне, пожалуй, тоже.

— Хочу жить в маленьком домике в деревне, в каких-нибудь теплых краях, с женой, а заниматься чем-нибудь ровно столько, чтобы не сдохнуть со скуки.

— Вот-вот, и я так же.

— Хорошо бы бросить университет.

— А девушка твоя как считает?

— Ну что ты! — в ужасе воскликнул Эмори. — Она и не думает о замужестве… по крайней мере, сейчас. Я ведь говорю вообще, о будущем.

— А моя очень даже думает. Мы помолвлены.

— Да ну?

— Правда. Ты, пожалуйста, никому не говори, но, может быть, на будущий год я сюда не вернусь.

— Но тебе же только двадцать лет. Бросить колледж…

— А сам только что говорил…

— Верно, — перебил его Эмори. — Но это так, мечты. Просто как-то грустно бывает в такие вот чудесные вечера. И кажется, что других таких уже не будет, а я не все от них беру, что можно. Если б еще моя девушка жила здесь. Но жениться — нет, куда там. Да еще отец пишет, что доходы у

него уменьшились.

— Да, вечеров жалко, — согласился Алек.

Но Эмори только вздохнул — у него вечера не пропадали даром. Под крышкой старых часов он хранил маленький снимок Изабеллы, и почти каждый вечер он ставил его перед собой, садился у окна, погасив в комнате все лампы, кроме одной, на столе, и писал ей сумасбродные письма.

> …так трудно выразить словами, что я чувствую, когда так много думаю о Вас; Вы стали для меня грезой, описать которую невозможно. Ваше последнее письмо просто удивительное, я перечитал его раз шесть, особенно последний кусок, но иногда мне так хочется, чтобы Вы были откровеннее и написали, что Вы на самом деле обо мне думаете, но последнее Ваше письмо – прелесть, я просто не знаю, как дождусь июня! Непременно устройте так, чтобы приехать на наш бал. Я уверен, что все будет замечательно, и мне хочется, чтобы Вы побывали здесь в конце такого замечательного года. Я часто вспоминаю, что Вы сказали в тот вечер, и все думаю, насколько это было серьезно. Если б это

были не Вы… но понимаете, когда я Вас в первый раз увидел, мне показалось, что Вы – ветреная, и Вы пользуетесь таким успехом, ну, в общем, мне просто не верится, что я Вам нравлюсь больше всех.

Изабелла, милая, сегодня такой удивительный вечер. Где-то вдалеке кто-то играет на мандолине «Луну любви», и эта музыка словно ведет Вас сюда, в мою комнату. А сейчас он заиграл «Прощайте, мальчики, с меня довольно», и это как раз по мне. Потому что с меня тоже всего довольно. Я решил не выпить больше ни одного коктейля, и я знаю, что никогда больше не полюблю – просто не смогу, – Вы настолько стали частью моих дней и ночей, что я никогда и думать не смогу о другой девушке. Я их встречаю сколько угодно, но они меня не интересуют. Я не хочу сказать, что я пресыщен, дело не в этом. Просто я влюблен. О, Изабелла, дорогая (не могу я называть Вас просто Изабеллой и очень опасаюсь, как бы мне в июне не выпалить «дорогая» при Ваших родителях), приезжайте на наш бал обязательно, а потом я на денек приеду к

вам, и все будет чудесно…

И так далее, нескончаемое повторение все того же, казавшееся им обоим безмерно прекрасным, безмерно новым.

Настал июнь, жара и лень так их разморили, что даже мысль об экзаменах не могла их встряхнуть, и они проводили вечера во дворе клуба «Коттедж», лениво переговариваясь о том о сем, пока весь склон, спускающийся к Стони-Брук, не расплывался в голубоватой мгле, и кусты сирени белели вокруг теннисных кортов, и слова сменялись безмолвным дымком сигарет… а потом по безлюдным Проспект-авеню и Мак-Кош, где отовсюду неслись обрывки песен, — домой, к жаркой и неумолчно оживленной Нассау-стрит.

Том Д'Инвильерс и Эмори почти перестали спать: весь курс охватила лихорадка азартных игр, и не раз в эти душные ночи они играли в кости до трех часов. А однажды, наигравшись до одури, вышли из комнаты Слоуна, когда уже пала роса и звезды на небе побледнели.

— Хорошо бы добыть велосипеды и покататься, а, Том? — предложил Эмори.

— Давай. Я совсем не устал, а теперь когда еще выберешься, ведь с понедельника надо готовить-

ся к празднику.

В одном из дворов они нашли два незапертых велосипеда и в четверть четвертого уже катили по дороге на Лоренсвилл.

— Ты как думаешь проводить лето, Эмори?

— Не спрашивай. Наверно, как всегда. Месяца полтора в Лейк-Джинева — между прочим, не забудь, что в июле ты у меня там погостишь, — потом Миннеаполис, а значит, чуть не каждый день танцульки, и нежности, и скука смертная... Но признайся, Том, — добавил он неожиданно, — этот год был просто изумительный, верно?

— Нет, — решительно заявил Том — новый, совсем не прошлогодний Том в костюме от Брукса и модных ботинках. — Эту партию я выиграл, но больше играть мне неохота. Тебе-то что, ты — как резиновый мячик, и тебе это даже идет, а мне осточертело приноравливаться к здешним снобам. Я хочу жить там, где о людях судят не по цвету галстуков и фасону воротничков.

— Ничего у тебя не выйдет, Том, — возразил Эмори, глядя на светлеющую впереди дорогу. — Теперь, где бы ты ни был, ты всех будешь бессознательно мерить одной меркой — либо у человека «это есть», либо нет. Хочешь не хочешь, а клеймо мы на тебе поставили. Ты — принсто-

нец.

— А раз так, — высокий, надтреснутый голос Тома жалобно зазвенел, — зачем мне вообще сюда возвращаться? Все, что Принстон может предложить, я усвоил. Еще два года корпеть над учебниками и подвизаться в каком-нибудь клубе — что это мне даст? Только то, что я окончательно стану рабом условностей и совсем потеряю себя? Я и сейчас уже до того обезличился, что вообще не понимаю, как я еще живу.

— Но ты упускаешь из виду главное, — сказал Эмори. — Вся беда в том, что вездесущий снобизм открылся тебе слишком неожиданно и резко. А вообще-то думающий человек неизбежно обретает в Принстоне общественное сознание.

— Уж не ты ли меня этому выучил? — спросил Том, с усмешкой поглядывая на него в сером полумраке.

Эмори тихонько рассмеялся.

— А разве нет?

— Иногда мне думается, — медленно произнес Том, — что ты мой злой гений. Из меня мог бы получиться неплохой поэт.

— Ну, знаешь ли, это уже нечестно. Ты пожелал учиться в одном из восточных колледжей. И у тебя открылись глаза на то, как люди подличают,

норовя пробиться повыше. А мог бы все эти годы прожить незрячим — как наш Марти Кэй, — и это тебе тоже не понравилось бы.

— Да, — согласился Том, — тут ты прав. Это мне не понравилось бы. А все-таки обидно, когда из тебя к двадцати годам успевают сделать циника.

— Я-то такой от рождения, — негромко сказал Эмори. — Я — циник-идеалист. — Он умолк и спросил себя, есть ли в этих словах какой-нибудь смысл.

Они доехали до спящей Лоренсвиллской школы и повернули обратно.

— Хорошо вот так ехать, правда? — сказал Том после долгого молчания.

— Да, хорошо, чудесно. Сегодня все хорошо. А впереди еще долгое лето и Изабелла!

— Ох уж эта мне твоя Изабелла. Пари держу, что она глупа, как… Давай лучше почитаем стихи.

И Эмори усладил слух придорожных кустов «Одой к соловью».

— Я никогда не стану поэтом, — сказал он, дочитав до конца. — Чувственное восприятие мира у меня недостаточно тонкое. Красота для меня существует только в самых своих явных проявлениях — женщины, весенние вечера, музыка в ночи, море. А таких тонкостей, как «серебром

рокочущие трубы», я не улавливаю. Умственно я кое-чего, возможно, достигну, но стихи если и буду писать, так в лучшем случае посредственные.

Они въехали в Принстон, когда солнце уже расцветило небо, как географическую карту, и помчались принять душ, которым пришлось обойтись вместо сна. К полудню на улицах появились группы бывших принстонцев — в ярких костюмах, с оркестрами и хорами — и устремились на свидание с однокашниками к легким павильонам, над которыми реяли на ветру оранжево-черные флаги. Эмори долго смотрел на павильончик с надписью «Выпуск 69-го года». Там сидели несколько седых стариков и тихо беседовали, глядя на шагающие мимо них новые поколения.

Под дуговым фонарем

И тут из-за гребня июня на Эмори глянули изумрудные глаза трагедии. На следующий день после велосипедной прогулки веселая компания отправилась в Нью-Йорк на поиски приключений, и в обратный путь они пустились часов в двенадцать ночи, на двух автомобилях. В Нью-Йорке они покутили на славу и не все были

одинаково трезвы. Эмори ехал во второй машине, где-то они ошиблись поворотом и сбились с дороги и теперь спешили, чтобы наверстать упущенное время.

Ночь была ясная, ощущение скорости пьянило не хуже вина. В сознании Эмори бродили смутные призраки двух стихотворных строф…

> *В ночи, серея, проползал мотор. Ничто не нарушало тишину… Как расступается морской простор перед акулой, режущей волну, пред ним деревья расступались вмиг, и реял птиц ночных тревожный крик…*
>
> *Желтеющий под желтою луной, трактир в тенях и свете промелькнул – но смех слизнуло тишиной ночной… Мотор в июльский ветер вновь нырнул, и снова тьма пространством сгущена, и синевой сменилась желтизна.*

Внезапный толчок, машина стала, Эмори в испуге высунулся наружу. Какая-то женщина что-то говорила Алеку, сидевшему за рулем. Много позже он вспомнил, как неопрятно выглядел ее старый халат, как глухо и хрипло звучал голос.

— Вы студенты, из Принстона?

— Да.

— Там один из ваших разбился насмерть, а двое других чуть живы.

— Боже мой?

— Вон, глядите.

Они в ужасе обернулись. В круге света от высокого дугового фонаря ничком лежал человек, а под ним расплывалась лужа крови.

Они выскочили из машины, Эмори успел подумать: затылок, этот затылок… эти волосы… А потом они перевернули тело на спину.

— Это Дик… Дик Хамберд!

— Ох господи!

— Пощупай сердце!

И снова каркающий голос старухи, словно бы даже злорадный:

— Да мертвый он, мертвый. Автомобиль перевернулся. Двое, которые легко отделались, внесли других в комнату, а этому уж ничем не поможешь.

Эмори бросился в дом, остальные, войдя за ним следом, положили обмякшее тело на диван в убогой комнатке с окном на улицу. На другой кушетке лежал Слоун, тяжело раненный в плечо. Он был в бреду, все повторял, что лекция по химии будет в 8.10.

— Понять не могу, как это случилось, — сказал Ферренби сдавленным голосом. — Дик вел машину, никому не хотел отдать руль, мы ему говорили, что он выпил лишнего, а тут этот чертов поворот… ой, какой ужас… — Он рухнул на пол и затрясся от рыданий.

Приехал врач, потом Эмори подошел к дивану, кто-то дал ему простыню накрыть мертвого. С непонятным хладнокровием он приподнял безжизненную руку и дал ей снова упасть. Лоб был холодный, но лицо еще что-то выражало. Он посмотрел на шнурки от ботинок — сегодня утром Дик их завязывал. Сам завязывал, а теперь он — этот тяжелый белый предмет. Все, что осталось от обаяния и самобытности Дика Хамберда, каким он его знал, — как это все страшно, и обыденно, и прозаично. Всегда в трагедии есть эта нелепость, эта грязь… все так никчемно, бессмысленно… так умирают животные… Эмори вспомнилась попавшая под колеса изуродованная кошка в каком-то из переулков его детства…

— Надо отвезти Ферренби в Принстон.

Эмори вышел на дорогу и поежился от свежего ночного ветра, и от порыва этого ветра кусок крыла на груде искореженного металла задребезжал тихо и жалобно.

Крещендо!

На следующий день его закружило в спасительном праздничном вихре. Стоило ему остаться одному, как в памяти снова и снова возникал приоткрытый рот Дика Хамберда, неуместно красный на белом лице, но усилием воли он заслонял эту картину спешкой мелких насущных забот, выключал ее из сознания.

Изабелла с матерью приехали в четыре часа и по веселой Проспект-авеню проследовали в «Коттедж» пить чай. Клубы в тот вечер по традиции обедали каждый у себя и без гостей, поэтому в семь часов Эмори препоручил Изабеллу знакомому первокурснику, сговорившись встретиться с ней в гимнастическом зале в одиннадцать, когда старшекурсников допускали на бал младших. Наяву она оказалась не хуже, чем жила в его мечтах, и от этого вечера он ждал исполнения многих желаний. В девять часов старшие, выстроившись перед своими клубами, смотрели факельное шествие первокурсников, и Эмори думал, что, наверно, в глазах этих орущих, глазеющих юнцов он и его товарищи — во фраках, на фоне старинных темных стен, в отблесках факелов — зрелище

столь же великолепное, каким было для него самого год назад.

Вихрь не утих и наутро. Завтракали вшестером в отдельной маленькой столовой в клубе, и Эмори с Изабеллой, обмениваясь нежными взглядами над тарелками с жареными цыплятами, пребывали в уверенности, что их любовь — навеки. На балу танцевали до пяти утра, причем кавалеры беспрестанно перехватывали друг у друга Изабеллу, и чем дальше, тем чаще и веселее, а в промежутках бегали в гардеробную глотнуть из бутылок, оставленных в карманах плащей, чтобы еще на сутки отодвинуть накопившуюся усталость. Группа кавалеров без постоянных дам — это нечто единое, наделенное одною общей душой. Вот проносится в танце красавица брюнетка, и вся группа, тихо ахнув, подается вперед, а самый проворный разбивает парочку. А когда приближается галопом шестифутовая дылда (гостья Кэя, которой он весь вечер пытался вас представить), вся группа, так же дружно отпрянув назад, начинает с интересом вглядываться в дальние углы зала, потому что вот он, Кэй, взмокший от пота и от волнения, уже пробирается сюда сквозь толпу, высматривая знакомые лица.

— Послушай, старик, тут есть одна прелест-

ная…

— Прости, Кэй, сейчас не могу. Я обещал вызволить одного приятеля.

— Ну а следующий танец?

— Да нет, я… гм… честное слово, я обещал. Ты мне дай знак, когда она будет свободна.

Эмори с восторгом принял идею Изабеллы уйти на время из зала и покататься на ее машине. Целый упоительный час — он пролетел слишком быстро! — они кружили по тихим дорогам близ Принстона и разговаривали, скользя по поверхности, взволнованно и робко. Эмори, охваченный странной, какой-то детской застенчивостью, даже не пытался поцеловать ее.

На следующий день они покатили в Нью-Йорк, позавтракали там, а после завтрака смотрели в театре серьезную современную пьесу, причем Изабелла весь второй акт проплакала, и Эмори был этим несколько смущен, хотя и преисполнился нежности, украдкой наблюдая за нею. Ему так хотелось осушить ее слезы поцелуями, а она в темноте потянулась к его руке, и он ласково накрыл ее ладонью.

А к шести они уже прибыли в загородный дом семьи Борже на Лонг-Айленде, и Эмори помчался наверх в отведенную ему комнату переодеваться

к обеду. Вдевая в манжеты запонки, он вдруг понял, что так наслаждаться жизнью, как сейчас, ему, вероятно, уже никогда больше не суждено. Все вокруг тонуло в священном сиянии его собственной молодости. В Принстоне он сумел выдвинуться в первые ряды. Он влюблен, и ему отвечают взаимностью. Он зажег в комнате все лампы и посмотрел на себя в зеркало, отыскивая в своем лице те качества, что позволяли ему и видеть отчетливее, чем большинство других людей, и принимать твердые решения, и проявлять силу воли. Сейчас он, кажется, ничего не захотел бы изменить в своей жизни… Вот только Оксфорд, возможно, сулил бы более широкое поприще…

В молчании он любовался собой. Как хорошо, что он красив, как идет ему смокинг. Он вышел в коридор, но, дойдя до лестницы, остановился, услышав приближающиеся шаги. То была Изабелла, и никогда еще она вся — от высоко зачесанных блестящих волос до крошечных золотых туфелек — не была так прекрасна.

— Изабелла! — воскликнул он невольно и раскрыл объятия.

Как в сказке, она подбежала и упала ему на грудь, и то мгновение, когда губы их впервые встретились, стало вершиной его тщеславия,

высшей точкой его юного эгоизма.

Глава III
Эгоист на распутье

— Ой, пусти!

Эмори разжал руки.

— Что случилось?

— Твоя запонка, ой, как больно… вот, гляди.

Она скосила глаза на вырез своего платья, где на белой коже проступило крошечное голубое пятнышко.

— О, Изабелла, прости, — взмолился он. — Какой же я медведь! Я нечаянно, слишком крепко я тебя обнял.

Она нетерпеливо вздернула голову.

— Ну конечно же, не нарочно, Эмори, и не так уж больно, но что нам теперь делать?

— Делать? — удивился он. — Ах, ты про это пятнышко, да это сейчас пройдет.

— Не проходит, — сказала она после того, как с минуту внимательно себя рассматривала. — Все равно видно, так некрасиво, ой, Эмори, как же нам быть, ведь оно как раз на высоте твоего плеча.

— Попробуй потереть, — предложил Эмори,

которому стало чуточку смешно.

Она осторожно потерла шею кончиками пальцев, а потом в уголке ее глаза появилась и скатилась по щеке большая слеза.

— Ох, Эмори, — сказала она, подняв на него скорбный взгляд, — если тереть, у меня вся шея станет ярко-красная. Как же мне быть?

В мозгу его всплыла цитата, и он, не удержавшись, произнес ее вслух:

— «Все ароматы Аравии не отмоют эту маленькую руку…»

Она посмотрела на него, и новая слеза блеснула, как льдинка.

— Не очень-то ты мне сочувствуешь.

Он не понял.

— Изабелла, родная, уверяю тебя, что это…

— Не трогай меня! — крикнула она. — Я так расстроена, а ты стоишь и смеешься.

И он опять сказал не то:

— Но, Изабелла, милая, ведь это и правда смешно, а помнишь, мы как раз говорили, что без чувства юмора…

Она не то чтобы улыбнулась, но в уголках ее рта появился слабый невеселый отблеск улыбки.

— Ох, замолчи! — крикнула она вдруг и побежала по коридору назад, к своей комнате. Эмори

остался стоять на месте, смущенный и виноватый.

Изабелла появилась снова, в накинутом на плечи легком шарфе, и они спустились по лестнице в молчании, которое не прерывалось в течение всего обеда.

— Изабелла, — сказал он не слишком ласково, едва они сели в машину, чтобы ехать на танцы в Гриничский загородный клуб. — Ты сердишься, и я, кажется, тоже скоро рассержусь. Поцелуй меня, и давай помиримся.

Изабелла недовольно помедлила.

— Не люблю, когда надо мной смеются, — сказала она наконец.

— Я больше не буду. Я и сейчас не смеюсь, верно?

— А смеялся.

— Да не будь ты так по-женски мелочна.

Она чуть скривила губы.

— Какой хочу, такой и буду.

Эмори с трудом удержался от резкого ответа. Он уже понял, что никакой настоящей любви к Изабелле у него нет, но ее холодность задела его самолюбие. Ему хотелось целовать ее, долго и сладко — тогда он мог бы утром уехать и забыть ее. А вот если не выйдет, ему не так-то легко будет

успокоиться… Это помешает ему чувствовать себя победителем. Но с другой стороны, не желает он унижаться, просить милости у столь доблестной воительницы, как Изабелла.

Возможно, она обо всем этом догадалась. Во всяком случае, вечер, обещавший стать квинтэссенцией романтики, прошел среди порхания ночных бабочек и аромата садов вдоль дороги, но без нежного лепета и легких вздохов…

Поздно вечером, когда они ужинали в буфетной шоколадным тортом с имбирным пивом, Эмори объявил о своем решении:

— Завтра рано утром я уезжаю.

— Почему?

— А почему бы и нет?

— Это вовсе не обязательно.

— Ну а я все равно уезжаю.

— Что ж, если ты намерен так глупо себя вести…

— Ну зачем так говорить, — возразил он.

— …просто потому, что я не хочу с тобой целоваться… Ты что же, думаешь…

— Погоди, Изабелла, — перебил он, — ты же знаешь, что дело не в этом, отлично знаешь. Мы дошли до той точки, когда мы либо должны целоваться, либо… либо — ничего. Ты ведь не из

нравственных соображений отказываешься.

Она заколебалась.

— Просто не знаю, что и думать о тебе, — начала она, словно ища обходный путь к примирению. — Ты такой странный.

— Чем?

— Ну, понимаешь, я думала, ты очень уверен в себе. Помнишь, ты недавно говорил мне, что можешь сделать все, что захочешь, и добиться всего, чего хочешь.

Эмори покраснел. Он и вправду много чего наговорил ей.

— Ну, помню.

— А сегодня ты не очень-то был уверен в себе. Может быть, у тебя это просто самомнение.

— Это неверно… — Он замялся. — В Принстоне…

— Ох уж твой Принстон. Послушать тебя, так на нем свет клином сошелся. Может, ты правда пишешь лучше всех в своей газете, может, первокурсники правда воображают, что ты герой…

— Ты не понимаешь…

— Прекрасно понимаю. Понимаю, потому что ты все время говоришь о себе, и раньше мне это нравилось, а теперь нет.

— И сегодня я тоже говорил о себе?

— В том-то и дело. Сегодня ты совсем раскис. Только сидел и следил, на кого я смотрю. И потом, когда с тобой говоришь, все время приходится думать. Ты к каждому слову готов придраться.

— Значит, я заставляю тебя думать? — спросил Эмори, невольно польщенный.

— С тобой никаких нервов не хватает, — сказала она сердито. — Когда ты начинаешь разбирать каждое малюсенькое переживание или ощущение, я просто не могу.

— Понятно, — сказал он и беспомощно покачал головой.

— Пошли. — Она встала.

Он машинально встал тоже, и они дошли до подножия лестницы.

— Когда отсюда есть поезд?

— Есть в девять одиннадцать, если тебе действительно нужно уезжать.

— Да, в самом деле нужно. Спокойной ночи.

— Спокойной ночи.

Они уже поднялись по лестнице, и Эмори, поворачивая к своей комнате, как будто уловил на ее лице легкое облачко недовольства. Он лежал в темноте, и не спал, и все думал, очень ему больно или нет, и в какой мере это внезапное горе — только оскорбленное самолюбие, и, может

быть, он по самой своей природе не способен на романтическую любовь?

Проснулся он весело, словно ничего и не случилось. Утренний ветерок шевелил кретоновые занавески на окнах, и он слегка удивился, почему он не в своей комнате в Принстоне, где над комодом должен висеть снимок их школьной футбольной команды, а на другой стене — труппа «Треугольника». Потом большие часы в коридоре пробили восемь, и он сразу вспомнил вчерашний вечер. Он вскочил и стал быстро одеваться — нужно успеть уйти из дому, не повидав Изабеллы. То, что вчера казалось несчастьем, сейчас казалось досадной осечкой. В половине девятого он был готов и присел у окна, чувствуя, что сердце у него как-никак сжимается от грусти. Какой насмешкой представилось ему это утро — ясное, солнечное, напоенное благоуханием сада. Внизу, на веранде, послышался голос миссис Борже, и он подумал: где-то сейчас Изабелла?

В дверь постучали.

— Автомобиль будет у подъезда без десяти девять, сэр.

Он опять загляделся на цветущий сад и стал снова и снова повторять про себя строфу из Браунинга, которую когда-то процитировал в письме

к Изабелле:

Не знали мы жизни даров,
Не знали судьбы участья:
Слез, смеха, постов, пиров,
Волнений – ну, словом, счастья.

Но у него-то все это впереди. Он ощутил мрачное удовлетворение при мысли, что Изабелла, может быть, всегда была только порождением его фантазии, что выше этого ей не подняться, что никто никогда больше не заставит ее думать. А между тем именно за это она его отвергла, и он вдруг почувствовал, что нет больше сил все думать и думать.

— Ну ее к черту! — сказал он злобно. — Испортила мне весь год!

Сверхчеловек допускает оплошность

В пыльный день в сентябре Эмори прибыл в Принстон и влился в заполнившие улицы толпы студентов, которых ждали переэкзаменовки. Бездарно это было, конечно, так начинать третий учебный год — по четыре часа каждое утро просиживать в душной комнате, усваивая нево-

образимую скуку сечения конусов. Мистер Руни с шести утра до полуночи натаскивал тупиц — выводил с ними формулы и решал уравнения, выкуривая при этом несметное количество сигарет.

— Ну, Лангедюк, если применить эту формулу, то где будет у нас точка! А?

Лангедюк лениво распрямляет все шесть с лишком футов своей футбольной фигуры и пробует сосредоточиться.

— Мм… честное слово, не знаю, мистер Руни.

— Правильно, эту формулу здесь нельзя применить. Этого ответа я от вас и ждал.

— Ну да, ну да, конечно.

— А почему, вам понятно?

— Ну да, в общем, да.

— Если непонятно, скажите. Для этого я с вами и занимаюсь.

— Если можно, мистер Руни, объясните еще раз.

— С удовольствием.

Комната была царством тупости — две огромные этажерки с бумагой, перед ними — мистер Руни без пиджака, а вокруг, развалившись на стульях, — десятка полтора студентов: Фред Слоун, лучший бейсболист, которому во что бы то ни

стало нужно было сохранить свое место в команде; Лангедюк, которому предстояло этой осенью победить йельцев, если только он сдаст свои несчастные пятьдесят процентов; Макдауэлл, развеселый второкурсник, считавший для себя удачей готовиться к переэкзаменовке вместе со всеми этими чемпионами.

— Кого мне жаль, так это тех бедняг, у кого нет денег на эти занятия, — сказал он как-то Эмори, вяло жуя бледными губами сигарету. — Ведь им придется подгонять самим, во время семестра. Скука-то какая, в Нью-Йорке во время семестра можно провести время и поинтереснее. Скорее всего, они просто не подумали, чего себя лишают. — Тон мистера Макдауэлла был до того панибратский, что Эмори чуть не вышвырнул его в окно… Дурачок несчастный, в феврале его мамочка удивится, почему он не вступил ни в какой клуб, и увеличит ему содержание…

В унылой, без искры веселья атмосфере сквозь дым временами звучали беспомощные возгласы: «Не понимаю! Мистер Руни, повторите, пожалуйста!» Но большинство студентов по глупости или по лени не задавали вопросов, даже когда ничего не понимали, и к последним принадлежал Эмори. Он не мог принудить себя вникнуть

в сечение конусов; спокойная, дразнящая их закономерность, заполнявшая неаппетитные апартаменты мистера Руни, превращала любое уравнение в неразрешимый ребус. В последний вечер он посидел над учебником, прикладывая ко лбу мокрое полотенце, а утром беспечно отправился на экзамен, не понимая, куда девалось его весеннее честолюбие и почему жизнь стала такой тусклой и серой. После ссоры с Изабеллой академические успехи как-то сразу перестали его волновать, и к возможному провалу он относился почти равнодушно, хотя этот провал должен был неизбежно повлечь за собой уход с поста редактора «Принстонской газеты» и лишить его каких бы то ни было шансов попасть в члены Совета старшекурсников.

Может, еще кривая вывезет.

Он зевнул, небрежно написал на папке присягу, что работал честно, и вперевалку вышел из аудитории.

— Если ты не сдал, — сказал только что приехавший Алек, сидя у окна в комнате Эмори и обсуждая с ним, как лучше развесить картины и снимки, — значит, ты последний идиот. И в клубе, и вообще в университете твои акции упадут, как камень в воду.

— Сам знаю. Можешь не объяснять.

— И поделом тебе. За такое поведение из «Принстонской» хоть кого вышибут, и правильно сделают.

— Ладно, хватит, — рассердился Эмори. — Посмотрим, как будет, а пока помалкивай. Не желаю я, чтобы в клубе все меня про это спрашивали, точно я картофелина, которую выращивают на приз для выставки огородников.

Вечером неделю спустя Эмори по дороге к Ренвику остановился под своим окном и, увидев наверху свет, крикнул:

— Эй, Том, почта есть?

В желтом квадрате света появилась голова Алека.

— Да, тебе пришло извещение.

У Эмори заколотилось сердце.

— Какой листок, розовый или голубой?

— Не знаю. Сам увидишь.

Он прошел прямо к столу и только тогда вдруг заметил, что в комнате есть и еще люди.

— Здорово, Керри. — Он выбрал самый вежливый тон. — О, друзья мои принстонцы! — Видимо, тут собрались все свои, поэтому он взял со стола конверт со штампом «Канцелярия» и нервно взвесил его на ладони.

— Мы имеем здесь важный документ.

— Да открой ты его, Эмори.

— Для усиления драматического эффекта довожу до вашего сведения, что, если листок голубой, мое имя больше не значится в руководстве «Принстонской газеты» и моя недолгая карьера закончена.

Он умолк и тут только увидел устремленные на него голодные, внимательные глаза Ферренби. Эмори ответил ему выразительным взглядом.

— Читайте примитивные эмоции на моем лице, джентльмены.

Он разорвал конверт и поглядел листок на свет.

— Ну?

— Розовый или голубой?

— Говори же!

— Мы ждем, Эмори.

— Улыбнись или выругайся, ну же!

Пауза… пролетел рой секунд… он посмотрел еще раз, и еще один рой улетел в вечность.

— Небесно-голубой, джентльмены…

Похмелье

Все, что Эмори делал в том учебном году с начала сентября и до конца весны, было так непоследовательно и бесцельно, что и рассказывать об этом едва ли стоит. Разумеется, он тотчас пожалел о том, чего лишился. Вся его философия успеха развалилась на куски, и он мучился вопросом, почему так случилось.

— Собственная лень, вот и все, — сказал однажды Алек.

— Нет, тут причины глубже. Сейчас мне кажется, что эта неудача была предопределена.

— В клубе на тебя уже косятся. Каждый раз, как кто-нибудь проваливается, нашего полку убывает.

— Не принимаю я такой точки зрения.

— Ты, безусловно, мог бы еще отыграться, стоит только захотеть.

— Ну нет, с этим покончено — я имею в виду свой авторитет в колледже.

— Честно тебе скажу, Эмори, меня не то бесит, что ты не будешь ни в «Принстонской», ни в совете, а просто что ты не взял себя в руки и не сдал этот несчастный экзамен.

— Ну а меня, — медленно проговорил Эмори, — меня бесит самый факт. Мое безделье вполне соответствовало моей системе. Просто везение кончилось.

— Скажи лучше, что твоя система кончилась.

— Может, и так.

— И что же ты теперь намерен делать? Поскорее обзавестись новой или прозябать еще два года на ролях бывшего?

— Еще не знаю.

— Да ну же, Эмори, встряхнись!

— Там видно будет.

Позиция Эмори, хоть и опасная, в общем отражала истинное положение дел. Если его реакции на окружающую среду можно было бы изобразить в виде таблицы, она, начиная с первых лет его жизни, выглядела бы примерно так:

1. Изначальный Эмори.

2. Эмори плюс Беатриса.

3. Эмори, плюс Беатриса, плюс Миннеаполис. Потом Сент-Реджис разобрал его по кирпичикам и стал строить заново.

4. Эмори плюс Сент-Реджис.

5. Эмори, плюс Сент-Реджис, плюс Принстон.

Так, приноравливаясь к стандартам, он продвинулся сколько мог по пути к успеху. Изначальный

Эмори, лентяй, фантазер, бунтарь, был, можно сказать, похоронен. Он приноровился, он достиг кое-какого успеха, но поскольку успех не удовлетворял его и не захватил его воображения, он бездумно, почти случайно, поставил на всем этом крест, и осталось то, что было когда-то:

6. Изначальный Эмори.

Эпизод финансовый

В День благодарения тихо и без шума скончался его отец. Эмори позабавило, как не вяжется смерть с красотой Лейк-Джинева и сдержанной, полной достоинства манерой матери, и похороны он воспринял иронически терпимо. Он решил, что погребение все же предпочтительнее кремации, и с улыбкой вспомнил, как мальчиком придумал себе очень интересную смерть: медленное отравление кислородом в ветвях высокого дерева. На следующий день после похорон он развлекался в просторной отцовской библиотеке, принимая на диване разные предсмертные позы, выбирая, что будет лучше, когда придет его час, — чтобы его нашли со скрещенными на груди руками (когда-то монсеньор Дарси отозвался о такой позе как наиболее благообразной) или же с

руками, закинутыми за голову, что наводило бы на мысль о безбожии и байронизме.

Гораздо интереснее, чем уход отца из мира живых, оказался для Эмори разговор, состоявшийся через несколько дней после похорон между ним, Беатрисой и мистером Бартоном из фирмы их поверенных «Бартон и Крогмен». Впервые он был посвящен в финансовые дела семьи и узнал, каким огромным состоянием владел одно время его отец. Он взял приходно-расходную книгу с надписью «1906 год» и тщательно просмотрел ее. Общая сумма расходов за тот год несколько превышала сто десять тысяч долларов. Из них сорок тысяч были взяты из доходов самой Беатрисы, и подробного отчета о них не было: все шло под рубрикой «Векселя, чеки и кредитные письма, предъявленные Беатрисе Блейн». Остальное было перечислено по пунктам: налоги по имению в Лейк-Джинева и оплата произведенных там ремонтных и прочих работ составили без малого девять тысяч долларов, общие хозяйственные расходы, включая электромобиль Беатрисы и купленный в том году новый французский автомобиль, — свыше тридцати пяти тысяч. Записано было и все остальное, причем во многих случаях в записях на правой стороне книги, отсутствовали

данные, из каких источников эти суммы взяты.

В книге за 1912 год Эмори ждало неприятное открытие: уменьшение количества ценных бумаг и резкое снижение доходов. По деньгам Беатрисы разница была не так разительна, а вот отец его, как выяснилось, в предыдущем году провел ряд неудачных спекуляций с нефтью. Нефти эти операции принесли ничтожно мало, а расходов от Стивена Блейна потребовали огромных. Доходы продолжали снижаться и в последующие три года, и Беатриса впервые стала тратить на содержание дома собственные средства. Впрочем, в 1913 году счет ее врача превысил девять тысяч долларов.

Общее положение дел представлялось мистеру Бартону весьма запутанным и неясным. Имелись недавние капиталовложения, о результате которых еще рано было судить, а кроме того, он подозревал, что за последнее время были и еще спекуляции и биржевые сделки, заключенные без его ведома и согласия.

Лишь спустя несколько месяцев Беатриса написала сыну, каково на поверку оказалось их финансовое положение. Все, что осталось от состояния Блейнов и О'Хара, — это поместье в Лейк-Джинева и около полумиллиона долларов,

вложенных теперь в сравнительно надежные шестипроцентные облигации. Кроме того, Беатриса писала, что придется при первой возможности обменять все бумаги на акции железнодорожных и трамвайных компаний.

> В чем я уверена, – писала она, – так это в том, что люди хотят путешествовать. Во всяком случае, из такого положения исходит в своей деятельности этот Форд, о котором столько говорят. Поэтому я дала мистеру Бартону указание покупать акции «Северной Тихоокеанской» и компании «Быстрый транзит» у как они называют трамвай. Никогда себе не прощу, что вовремя не купила акции «Вифлеемской стали». О них рассказывают поразительные вещи. Ты должен пойти по финансовой линии, Эмори, я уверена, что это как раз для тебя. Начинать нужно, кажется, с рассыльного или кассира, а потом можно продвигаться все выше и выше, почти без предела. Я уверена, что, будь я мужчиной, я бы ничего так не хотела, как заниматься денежными операциями, у меня это стало каким-то

старческим увлечением. Но прежде чем продолжать, несколько слов о другом.

Я тут на днях познакомилась в гостях с некой миссис Биспам, на редкость любезной женщиной, у нее сын учится в Йеле, так вот она рассказала мне, что он ей написал, что тамошние студенты всю зиму носят летнее белье и даже в самые холодные дни выходят на улицу с мокрыми волосами и в одних полуботинках. Не знаю, распространена ли такая мода и в Принстоне, но ты уж, пожалуйста, не веди себя так глупо. Это грозит не только воспалением легких и детским параличом, но и всякими легочными заболеваниями, а ты им всегда был подвержен. Нельзя рисковать своим здоровьем. Я в этом убедилась. Я не хочу показаться смешной и не настаиваю, как, вероятно, делают некоторые матери, чтобы ты носил ботики, хотя отлично помню, как один раз на рождественских каникулах ты упорно носил их с расстегнутыми пряжками, они еще так забавно хлопали, а застегивать ты их не хотел, потому что все мальчики так ходили. А на следующее Рождество

ты уж и галоши не желал надевать, как я тебя ни просила. Тебе, милый, скоро двадцать лет, и не могу я все время быть при тебе и проверять, разумно ли ты поступаешь.

Вот видишь, какое деловое получилось письмо. В прошлый разя тебя предупреждала, что, когда не хватает денег, чтобы делать все, что вздумается, становишься домоседкой и скучной собеседницей, но у нас-mo еще есть достаточно, если не слишком транжирить. Береги себя, мой мальчик, и очень тебя прошу, пиши мне хоть раз в неделю, а то, когда от тебя долго нет вестей, я начинаю воображать всякие ужасы.

Целую тебя.

Мама

Первое появление термина «личность»

На Рождество монсеньор Дарси пригласил Эмори погостить недельку в его Стюартовском дворце на Гудзоне, и они провели немало часов в беседах у камина. Монсеньор еще немного

располнел и словно стал еще обходительнее, и Эмори ощутил отдохновение и покой, когда они, расположившись в низких креслах с подушками, степенно, как двое немолодых мужчин, закурили сигары.

— Я все думаю, не бросить ли мне колледж, монсеньор.

— Почему?

— Карьера моя рухнула, вы, конечно, скажете, что это ребячество и все такое, но…

— Вовсе не ребячество, это очень важно. Расскажи-ка мне все по порядку. Обо всем, что ты делал с тех пор, как мы с тобой не виделись.

Эмори заговорил. Он стал подробно описывать крушение своих эгоистических замыслов, и через полчаса от его равнодушного тона не осталось и следа.

— А что бы ты стал делать, если бы ушел из колледжа? — спросил монсеньор.

— Не знаю. Мне хотелось бы поездить по свету, но путешествовать сейчас нельзя из-за этой злосчастной войны. И мама страшно огорчилась бы, если бы я не кончил. Просто не знаю, как быть. Керри Холидэй уговаривает меня ехать вместе с ним в Европу и вступить в эскадрилью имени Лафайета.

— А этого тебе не хочется.

— Когда как. Сейчас я готов хоть завтра уехать.

— Нет, для этого тебе, думается, еще недостаточно надоело жить. Я ведь тебя знаю.

— Наверное, так, — нехотя согласился Эмори. — Просто как подумаешь, что надо бессмысленно тянуть лямку еще год, это кажется самым легким выходом.

— Понимаю. Но, сказать по правде, я не особенно за тебя тревожусь, по-моему, ты эволюционируешь вполне естественно.

— Нет, — возразил Эмори, — я за год растерял половину самого себя.

— Ничего подобного! — решительно заявил монсеньор. — Ты растерял некоторую долю тщеславия, только и всего.

— Ну а чувствую я себя так, как будто опять только что поступил в Сент-Реджис.

— Напрасно. — Монсеньор покачал головой. — То была неудача, а сейчас это к лучшему. Все ценное, что ты приобретаешь в жизни, придет к тебе не теми путями, на которых ты чего-то искал в прошлом году.

— Что может быть никчемнее моей теперешней апатии?

— Да, если не смотреть вперед… но ты растешь.

У тебя есть время подумать, и ты понемногу освобождаешься от своих прежних идей насчет престижа, сверхчеловека и прочего. Такие люди, как мы, не способны ни одну теорию принять целиком. Если мы делаем то, что нужно сейчас, и один час в день оставляем себе на то, чтобы подумать, мы можем творить чудеса, но что касается той или иной всеобъемлющей системы главенства — тут мы обычно садимся в лужу.

— Но я не могу делать то, что нужно сейчас, монсеньор.

— Скажу тебе по секрету, Эмори, я и сам только совсем недавно этому научился. Я могу делать сто дел второстепенных, а вот на том, что нужно сейчас, спотыкаюсь, как ты нынче осенью споткнулся на математике.

— А почему обязательно нужно делать то, что нужно сейчас? Мне всегда кажется, что именно это делать ни к чему.

— Это нужно потому, что мы не индивидуумы, а личности…

— Как интересно. Но что это значит?

— Индивидуальности — это то, чем ты себя воображал, то, чем, судя по твоим рассказам, являются твои Слоун и Керри. Индивидуальность — категория главным образом физическая, она

человека скорее принижает, и я знаю случаи, когда после долгой болезни она вообще исчезает. Но пока индивидуум действует, он отмахивается от «ближайшего нужного дела». А личность неизбежно что-то накапливает. Она неразрывно связана с поступками. Это — веревка, на которой навешано много всякого добра, иногда, как у нас с тобой, заманчиво-яркого, но личность пользуется этим добром с расчетом и смыслом.

— А из моих самых ярких сокровищ, — с живостью подхватил Эмори его метафору, — многие рассыпались в прах, как раз когда они были мне нужнее всего.

— Да, в том-то и дело. Когда тебе кажется, что накопленный тобою престиж, и таланты, и прочее у всех на виду, тебе ни до кого нет дела, ты сам без труда с любым справляешься.

— Но с другой стороны, без своих сокровищ я совершенно беспомощен.

— Безусловно.

— А ведь это идея.

— Ты сейчас можешь начать с нуля, а Слоуну и Керри это по самой их природе недоступно. Три-четыре побрякушки с тебя слетели, а ты с досады отшвырнул и все остальное. Теперь дело за тем, чтобы собрать новую коллекцию, и чем дальше

в будущее ты будешь при этом заглядывать, тем лучше. Но помни, делай то, что нужно сейчас.

— Как вы умеете все прояснить!

В таком духе они беседовали — часто о себе, иногда о философии, о религии, о жизни — что она такое: игра или тайна. Священник словно угадывал мысли Эмори еще раньше, чем тот сам успевал их для себя сформулировать, — так похоже и параллельно работало их сознание.

— Почему я все время составляю списки? — спросил как-то вечером Эмори. — Самые разнообразные списки.

— Потому что ты человек Средневековья, — отвечал монсеньор. — Мы оба с тобой такие. Это страсть к классификации и поискам единого типа.

— Это желание додуматься до чего-то определенного.

— Это ядро схоластики.

— Я, перед тем как поехал к вам, уже стал подозревать, что я ненормальный. Наверно, это была просто поза.

— Пусть это тебя не тревожит. Возможно, для тебя отсутствие позы и есть самая настоящая поза. Позируй на здоровье, но…

— Да?

— Делай то, что нужно сейчас.

По возвращении в колледж Эмори получил от монсеньора несколько писем, давших ему обильную пищу для дальнейших размышлений о себе.

> Боюсь, я внушил тебе, что в конечном счете тебе ничто не грозит, пойми, я просто верю, что ты способен на усилия, а отнюдь не хочу сказать, что ты чего-нибудь добьешься без борьбы. С некоторыми чертами твоего характера тебе неизбежно предстоит сражаться, но оповещать о них окружающих не рекомендую. Ты лишен чувствительности, почти не способен на любовь, в тебе есть острота ума, но нет смекалки, есть тщеславие, но нет гордости.
>
> Не поддавайся ощущению собственной никчемности: в жизни ты не раз проявишь себя с самой худшей стороны, как раз когда тебе будет казаться, что ты поступил как герой; и перестань скорбеть об утрате своей «индивидуальности», как ты любишь выражаться. В пятнадцать лет ты весь сиял, как раннее утро, в двадцать ты начнешь излучать печальный

свет луны, а когда доживешь до моих лет, от тебя, как от меня сейчас, будет исходить ласковое золотое тепло летнего дня.

Если будешь писать мне, очень прошу, пиши попроще. Твое последнее письмо с рассуждениями об архитектуре было противно читать, до того оно заумно, будто ты обитаешь в каком-то умственном и эмоциональном вакууме; и остерегайся слишком четко делить людей на определенные типы, – ты убедишься, что в молодости люди только и делают, что перепрыгивают из одной категории в другую, и когда ты на каждого нового знакомого наклеиваешь какой-нибудь нелестный ярлык, ты всего-навсего засовываешь его под крышку, а едва у тебя начнутся подлинные конфликты с жизнью, он выскочит из-под крышки, да еще покажет тебе язык. Более ценным маяком для тебя был бы сейчас такой человек, как Леонардо да Винчи.

Ты еще узнаешь и взлеты, и падения, как и я знавал в молодости, но старайся сохранить ясную голову и не кори себя сверх меры, когда дураки или умники

вздумают тебя осуждать.

Ты говоришь, что в «женском вопросе» тебе не дает сбиться с пути только уважение к условностям; но дело не только в этом, Эмори: тут замешан и страх, что, раз начав, ты не сможешь остановиться; здесь тебя ждет безумие и гибель, и поверь, я знаю, о чем говорю. Это то необъяснимое шестое чувство, которым человек распознает зло, полуосознанный страх Божий, который мы носим в сердце.

Чему бы ты ни посвятил себя впоследствии – философии, архитектуре, литературе, – я убежден, что ты чувствовал бы себя увереннее, обретя опору в Церкви, но не хочу тебя уговаривать, рискуя утерять твою дружбу, хотя в душе не сомневаюсь, что рано или поздно перед тобой разверзнется «черная бездна папизма». Пиши мне, не забывай.

Искренне тебе преданный

Тэйер Дарси.

Даже чтение у Эмори в этот период пошло под уклон. Он то углублялся в такие туманные зако-

улки литературы, как Гюисманс, Уолтер Патер и Теофиль Готье, то выискивал особо смачные страницы у Рабле, Боккаччо, Петрония и Светония. Однажды он из любопытства решил обследовать личные библиотеки своих товарищей и решил, что самый типичный образчик — библиотека Слоуна: сочинения Киплинга, О. Генри, Джона Фокса-младшего и Ричарда Хардинга Дэвиса; «Что следует знать каждой немолодой женщине» и «Зов Юкона»; «подарочное издание» Джеймса Уиткомба Райли, растрепанные, исчерканные учебники и, наконец, собственное недавнее открытие, сильно удивившее его на этих полках, — стихи Руперта Брука.

Вместе с Томом Д'Инвильерсом он выискивал среди принстонских светил кандидата в основоположники Великой Традиции Американской Поэзии.

Младшие курсы в том году оказались интереснее, чем в насквозь филистерском Принстоне два года назад. Сейчас жизнь там стала намного разнообразнее, хотя обаяние новизны улетучилось. В прежнем Принстоне они, конечно же, не заметили бы Танадьюка Уайли. Когда этот Танадьюк, второкурсник с огромными ушами, изрекал «Земля крутясь несется вниз сквозь зло-

вещие луны предрешенных поколений!», они только недоумевали слегка, почему это звучит не совсем понятно, но в том, что это есть выражение сверхпоэтической души, не сомневались ни минуты. Так, во всяком случае, восприняли его Том и Эмори. Они всерьез уверяли его, что по своему духовному облику он сродни Шелли, и печатали его поэтические опусы, написанные сверхсвободным стихом и прозой, в «Литературном журнале Нассау». Однако гений Танадьюка смешал все краски своего времени, и вскоре, к великому разочарованию товарищей, он окунулся в богему. Теперь он толковал уже не про «кружение полуденных лун», а про Гринич-Виллидж и вместо шеллиевских «детей мечты», которые так восхищали их и, казалось, столько сулили в будущем, стал общаться с зимними музами, отнюдь не академическими и заточенными в кельях Сорок второй улицы и Бродвея. И они уступили Танадьюка футуристам, решив, что он и его кричащие галстуки придутся там более к месту. Том напоследок посоветовал ему на два года бросить писательство и четыре раза прочесть полное собрание сочинений Александра Попа, но Эмори возразил, что Поп нужен Танадьюку, как собаке — пятая нога, и они с хохотом удалились, гадая,

слишком ли велик или слишком мелок оказался для них этот гений.

Эмори с чувством легкого презрения сторонился университетских преподавателей, которые для завоевания популярности чуть ли не каждый вечер приглашали к себе студентов и потчевали их пресными эпиграммами и рюмочкой шартреза. И еще его поражало сочетание доктринерства и полной неуверенности в подходе к любой научной теме; эти свои взгляды он воплотил в коротенькой сатире под заглавием «На лекции» и уговорил Тома поместить ее на страницах «Журнала Нассау».

День добрый, шут…
Который раз
Ты лекцией терзаешь нас
И, рассуждая, как всегда,
Речешь миропорядку «да».
Внимая словесам твоим,
Мы, сто баранов, мирно спим…
Считается, что ты учен:
Из пыльных книг былых времен
От трепета ни мертв, ни жив
И ноздри плесенью забив,

Вынюхивал ты матерьял,
Сверял, выписывал, кропал,
С колен в восторге встал потом
И вычихнул толстенный том…
А мой сосед, чей взгляд тяжел,
Зубрила-мученик, осел,
Подлиза и любимчик твой,
Склонясь с почтеньем головой,
Тебе сюсюкнет, что вчера
Читал всю ночь он до утра
Твою стряпню… Как тем польщен
Ты будешь! Вундеркиндом он
Прикинется, и властно труд
Вновь призовет к себе зануд.

Двенадцать дней тому назад
Ты возвратил мой реферат —
Узнать я из пометок мог,
Что я наукой пренебрег,
Что я от логики ушел
И зубоскальство предпочел.
«У вас сомненья в этом нет!»
И «Шоу – не авторитет!»

Но ведь зубрила, хоть и скор,
Тебе подсунет худший вздор.

Эстет, какую благодать
Вкушаешь ты, когда пахать
Начнет Шекспира, впавши в жар,
Пронафталиненный фигляр!
Твой здравый смысл и строг и чист,
О правоверный атеист,
И если радикал начнет
Вещать, то ты раззявишь рот.
Кичась идейной широтой,
И в церковь ты зайдешь порой,
В почете у тебя, педант,
Равно и Вильям Бус[10]*, и Кант.*
Живешь ты долгие года,
Уныло повторяя «да».

…Ура, счастливчики – звонок!
И топотом двух сотен ног
Твои слова заглушены.

---

[10] notes: 10

Бус Вильям (1829–1912) — английский филантроп, основатель общества «Армия спасения» (1865).

Нет больше сонной тишины,
И вмиг забудет наш отряд
Зевок, которым ты зачат.

В апреле Керри Холидэй расстался с университетом и отплыл во Францию, чтобы вступить в эскадрилью имени Лафайета. Но восхищение и зависть, испытанные Эмори в связи с этим поступком, заслонили одно его собственное переживание, которое он так никогда и не сумел понять и оценить, хотя оно целых три года не давало ему покоя.

Дьявол

Из кафе «Хили» они вышли в полночь и на такси покатили к «Бистол ари». Их было четверо — Акасия Марлоу и Феба Колем из труппы «Летний сад», Фред Слоун и Эмори. Время было еще не позднее, энергия в них била ключом, и в кафе они ворвались, как юные сатиры и вакханки.

— Самый лучший столик нам, на двух мужчин и двух дам! — завопила Феба. — Поживее, старичок, усади нас в уголок!

— Пусть сыграют «Восхищение»! — крикнул Слоун. — Мы с Фебой сейчас покажем класс. А вы

пока заказывайте.

И они влились в толпу танцующих. Эмори и Аксия, познакомившиеся час назад, протиснулись вслед за официантом к удобно расположенному столику, сели и огляделись.

— Вон Финдл Марботсон из Нью-Хейвена! — заорала она, перекрикивая шум. — Эй, Финдл, алло! Привет!

— Эй, Аксия! — гаркнул тот радостно. — Иди к нам!

— Не надо, — шепнул Эмори.

— Не могу, Финдл, я не одна! Позвони мне завтра, примерно в час.

Финдл, веселящийся молодой человек невзрачной наружности, ответил что-то неразборчивое и отвернулся к яркой блондинке, с которой он пытался пройтись «елочкой».

— Врожденный идиот, — определил Эмори.

— Да нет, он ничего. А вот и наш официант. Лично я заказываю двойной «Дайкири».

— На четверых.

Толпа кружилась, сменялась, мельтешила. Все больше студенты, там и тут молодчики с задворок Бродвея и женщины двух сортов — хористки и хуже. В общем, типичная публика, и их компания — такая же типичная, как любая другая.

Три четверти из них веселились напоказ, эти были безобидны, расставались у дверей кафе, чтобы поспеть на пятичасовой поезд к себе в Йель или в Принстон, остальные захватывали и более мутные часы и собирали сомнительную дань в сомнительных местах. Их компания по замыслу принадлежала к безобидным. Фред Слоун и Феба Колем были старые знакомые, Аксия и Эмори — новые. Но странные вещи рождаются и в ночное время, и Необычное, которому, казалось бы, нет места в кафе, этих пристанищах всего прозаического и банального, уже готовилось убить в глазах Эмори всю романтику Бродвея. То, что произошло, было так неимоверно страшно, так невообразимо, что впоследствии рисовалось ему не как личное переживание, а как сцена из туманной трагедии, сыгранная в загробном мире, но имеющая — это он знал твердо — некий определенный смысл.

Около часа ночи они перебрались к «Максиму», в два уже были у «Девиньера». Слоун пил без передышки и пребывал в бесшабашно веселом состоянии, Эмори же был до противности трезв; нигде им не встретился ни один из тех старых нью-йоркских распутников, что всех подряд угощают шампанским.

Они кончили танцевать и пробирались на свои места, когда Эмори почувствовал на себе чей-то взгляд. Он оглянулся… Немолодой мужчина в свободном коричневом пиджаке, сидевший один за соседним столиком, внимательно посматривал на всю их компанию. Встретившись глазами с Эмори, он чуть заметно улыбнулся. Эмори повернулся к Фреду.

— Что это за бледнолицый болван за нами следит? — спросил он недовольно.

— Где? — вскричал Слоун. — Сейчас мы велим его отсюда выставить. — Он встал и, покачнувшись, ухватился за спинку стула.

Аксия и Феба вдруг перегнулись друг к другу через стол, пошептались, и не успел Эмори опомниться, как все они уже двинулись к выходу.

— А теперь куда?

— К нам домой, — предложила Феба. — У нас и бренди найдется, и содовая, а здесь сегодня что-то скучно.

Эмори стал быстро соображать. До сих пор он почти ничего не пил, и если держаться и дальше, то почему не поехать, так вдруг отколоться от остальных было бы неудобно. Более того, поехать, пожалуй, даже необходимо, чтобы присмотреть за Слоуном — тот ведь уже вообще не спосо-

бен соображать. И вот он подхватил Аксию под руку, и они, дружно ввалившись в такси, поехали в район Сотых улиц и остановились перед высоким белым квартирным домом… Никогда ему не забыть этой улицы… Она была широкая, окаймленная точно такими же высокими белыми домами с темными квадратами окон, дома тянулись вдаль, сколько хватало глаз, залитые театрально ярким лунным светом. Наверно, подумалось ему, в каждом таком доме есть доска для ключей, есть лифт и при нем лифтер-негр. В каждом восемь этажей и квартиры по три и по четыре комнаты. Он не без удовольствия вошел в веселенькую гостиную и опустился на тахту, а девушки побежали хлопотать насчет закуски.

— Феба — девочка что надо, — вполголоса сообщил ему Слоун.

— Я побуду полчаса и уйду, — строго сказал Эмори и тут же одернул себя — кажется, это прозвучало брезгливо.

— Еще чего, — возмутился Слоун. — Уж раз мы здесь, так нечего торопиться.

— Мне здесь не нравится, — угрюмо сказал Эмори, — а есть я не хочу.

Появилась Феба, она несла сэндвичи, бутылку, сифон и четыре стакана.

— Эмори, наливай, мы сейчас выпьем за Фреда Слоуна, а то он нас безобразно обскакал.

— Да, — сказала Аксия, входя. — И за Эмори. Мне Эмори нравится. — Она села рядом с ним и склонилась желтой прической ему на плечо.

— Я сам налью, — сказал Слоун, — а ты, Феба, займись сифоном.

Полные стаканы выстроились на подносе.

— Готово. Начали!

Эмори замер со стаканом в руке.

Была минута, когда соблазн овеял его, как теплый ветер, и воображение воспламенилось, и он взял протянутый Фебой стакан. На том и кончилось: в ту же секунду, когда пришло решение, он поднял глаза и в десяти шагах от себя увидел того человека из кафе. В изумлении он вскочил с места и выронил стакан. Человек сидел на угловом диванчике, прислонясь к подушкам. И лицо у него было такое же бледное, словно из воска — не одутловатое и матовое, как у мертвеца, и нездоровым его не назовешь, — скорее это бледность крепкого мужчины, который долго проработал в шахте или трудился по ночам в сыром климате. Эмори как следует рассмотрел его — позже он мог бы, кажется, нарисовать его в мельчайших подробностях. Роту него был из

тех, что называют откровенными, спокойные серые глаза оглядывали их всех по очереди с чуть вопросительным выражением. Эмори обратил внимание на его руки — совсем не красивые, но в них чувствовалась сноровка и сила… нервные руки, легко лежащие на подушках дивана, и пальцы то сжимались слегка, то разжимались. А потом Эмори вдруг заметил его ноги, и что-то словно ударило его — он понял, что ему страшно. Ноги были противоестественные… он не столько понял это, сколько почувствовал… как тайный грешок у порядочной женщины, как кровь на атласе; одна из тех пугающих несуразностей, от которых что-то сдвигается в мозгу. Обут он был не в ботинки, а в нечто вроде мокасин, только с острыми, загнутыми кверху носами, вроде той обуви, что носили в XIV веке. Темно-коричневые, и носы не пустые, а как будто до конца заполненные ступней… Неописуемо страшные…

Видимо, он что-то сказал либо изменился в лице, потому что из пустоты вдруг донесся голос Аксии, до странности добрый:

— Гляньте-ка на Эмори! Бедному Эмори плохо — что, головка закружилась?

— Смотрите, кто это? — крикнул Эмори, указывая на угловой диванчик.

— Ты это про зеленого змия? — расхохоталась Аксия. — Ой, не могу! На Эмори смотрит зеленый змий!

Слоун бессмысленно ухмыльнулся.

— Что, сцапал тебя зеленый змий?

Наступило молчание… Невидимка насмешливо поглядывал на Эмори… Потом словно издали донеслись человеческие голоса.

— А мне казалось, что ты не пьешь, — съязвила Аксия, но слышать ее голос было приятно.

Весь диван, на котором сидел «тот», ожил, пришел в движение, как воздух над раскаленным асфальтом, как извивающиеся черви…

— Куда ты, куда? — Аксия схватила его за рукав. — Эмори, миленький, не уходи! — Он уже был на полпути к двери.

— Не бросай нас, Эмори.

— Что, тошнит?

— Ты лучше сядь.

— Выпей воды.

— Глотни бренди…

Лифт был рядом, полусонный лифтер от усталости побледнел до оттенка лиловатой бронзы. Сверху еще несся умоляющий голос Аксии. Эти ноги… ноги…

Не успел лифт остановиться внизу, как они

возникли в тусклом электрическом свете на каменном полу холла.

В переулке

По длинной улице приближалась луна, Эмори повернулся к ней спиной и пошел. В десяти — пятнадцати шагах от него звучали другие шаги. Точно падали капли — медленно, но как бы настойчиво напоминая о себе.

Тень Эмори футов на десять обгоняла его, и настолько же, очевидно, отставали мягкие подошвы. Инстинктивно, как ребенок, Эмори жался к синему мраку белых зданий, испуганно перепрыгивал через полосы света, один раз пустился бежать, неуклюже спотыкаясь. Потом вдруг остановился. Мелькнула мысль — нельзя распускаться. Он облизал пересохшие губы.

Если бы встретить кого-нибудь хорошего — а есть ли еще на земле хорошие люди, или все они теперь живут в белых квартирных домах?

Неужели за каждым кто-то крадется в лунном свете? Но если бы встретить кого-нибудь хорошего, кто понял бы его и услышал эти чертовы шаги… И тут шаги сразу зазвучали ближе, а луну закрыло черное облако. Когда бледное сияние

опять заструилось по карнизам, шаги были почти рядом, и Эмори послышалось чье-то негромкое дыхание. Ему вдруг стало ясно, что шаги звучат не позади его… а впереди и что так было все время, и он не уходит от них, а идет за ними следом. Он побежал, ничего не видя, стиснув кулаки, чувствуя только, как колотится сердце. Далеко впереди появилась черная точка и постепенно приняла очертания человеческой фигуры. Но теперь это уже не имело значения, он свернул в какой-то переулок, узкий, темный, пропахший помойкой. Виляя, бежал по длинной извилистой тьме, куда лунный свет проникал только маленькими блестками и пятнами… и вдруг, задыхаясь, в полном изнеможении опустился наземь в каком-то углу у забора. Шаги впереди остановились, он слышал, как они тихонько шуршат в непрестанном движении, как волны у причала.

Он закрыл лицо руками, зажмурился, заткнул уши. За все это время ему ни разу не пришло в голову, что он бредит или пьян. Напротив, ничто материальное никогда не вселяло в него такого чувства реальности. Сознание его покорно подчинялось этому чувству, и оно было под стать всему, что он когда-либо пережил. Оно не вносило путаницы. Точно задача, где ответ известен,

а решение никак не дается. Ужаса он уже не испытывал. Сквозь тонкую корку ужаса он провалился в пространство, где те ноги и страх перед белыми стенами стали реальными, живыми, неотвратимыми. Только в самой глубине души еще вспыхивало крошечное пламя и кричало, что что-то тянет его вниз, пытается втолкнуть куда-то и захлопнуть за ним дверь. А когда эта дверь захлопнется, останутся только шаги и белые здания в лунном свете, и может быть, сам он станет одним из этих шагов.

За те пять или десять минут, что он ждал в тени забора, пламя не угасло… иначе он потом не умел это назвать. Он помнил, что взывал вслух: «Мне нужен кто-нибудь глупый! Пришлите мне кого-нибудь глупого!» — взывал к черному забору, в тени которого те шаги все шаркали, шаркали… «Глупый» и «хороший», видимо, слились воедино в силу каких-то давнишних ассоциаций.

Воля в этих призывах не участвовала — воля заставила его убежать от той фигуры, что появилась впереди, — а взывал инстинкт, слой за слоем копившаяся традиция либо бездумная молитва, рожденная давно, еще до этой ночи. А потом вдали словно тихо ударили в гонг, и перед ним над теми ногами сверкнуло лицо, бледное,

искаженное каким-то несказанным пороком, от которого оно кривилось, как пламя на ветру, но те полминуты, что гонг звенел и глухо замирал вдали, *он знал, что это лицо Дика Хамберда.*

Вскоре затем он вскочил на ноги, смутно сознавая, что звуков больше нет и что он один в редеющем мраке переулка. Было холодно, и он побежал, ровно и без остановок, в ту сторону, где светилась улица.

У окна

Когда он проснулся, телефон у его кровати в гостинице звонил не умолкая, и он вспомнил, что просил разбудить его в одиннадцать. На другой кровати храпел Слоун, одежда его была свалена в кучу на полу. Они молча оделись и позавтракали, потом вышли на воздух. Мысль у Эмори работала медленно, он все старался осознать случившееся и вытянуть из хаоса образов, заполнявших память, какие-то обрывки действительности. Если бы утро было холодным и пасмурным, он сразу ухватил бы прошедшее, но выдался один из тех редких для Нью-Йорка майских дней, когда воздух на Пятой авеню сладостен, как легкое вино. Сколько и что именно помнил Слоун — это

Эмори не интересовало, судя по всему, Слоун не испытывал того нервного напряжения, которое не отпускало его самого, ходило у него в мозгу туда-сюда, как визжащая пила.

Потом на них накатился Бродвей, и от пестрого шума и накрашенных лиц Эмори стало дурно.

— Ради бога, пойдем обратно. Подальше от этого… этого места.

Слоун удивленно воззрился на него.

— Ты что?

— Эта улица, это же ужас! Пошли обратно на Пятую.

— Ты хочешь сказать, — повторил Слоун невозмутимо, — что у тебя было вчера несварение желудка и ты вел себя как маньяк, а посему ты уже и на Бродвей больше никогда не выйдешь?

Эмори тут же причислил его к толпе, — прежний Слоун с его легким характером и беспечным юмором стал всего лишь одним из порочных призраков, несшихся мимо в мутном потоке.

— Пойми ты! — выкрикнул он так громко, что кучка прохожих на углу оглянулась и проводила их глазами. — Это же грязь, и если ты этого не видишь, значит, ты и сам грязный.

— Ничего не поделаешь, — упрямо отозвался Слоун. — Да что с тобой стряслось? Совесть заму-

чила? Хорош бы ты сейчас был, если б остался с нами до конца!

— Я ухожу, Фред, — медленно произнес Эмори. Ноги у него подкашивались, и он чувствовал, что если еще минуту пробудет на этой улице, то просто упадет и не встанет. — Ко второму завтраку приду в «Вандербильт».

Он быстро зашагал прочь и свернул на Пятую авеню. В гостинице ему стало легче, когда он вошел в парикмахерскую, решив сделать массаж головы, запах пудры и одеколона вызвал в памяти лукавую, двусмысленную улыбку Аксии, и он поспешил уйти. В дверях его номера внезапная тьма хлынула на него с двух сторон, как два рукава реки.

Он очнулся с четким ощущением, что прошло несколько часов. Рухнул ничком на кровать, объятый смертельным страхом, что сходит с ума. Ему нужны были люди, люди, кто-нибудь нормальный, глупый, хороший. Он не знал, сколько времени пролежал неподвижно. В висках явственно бились горячие жилки, ужас затвердел на нем, словно гипс. Он чувствовал, что снова выбирается наверх сквозь тонкую корку ужаса, и только теперь яснее различил сумеречные тени, едва не поглотившие его. Видимо, он опять за-

снул — следующим, что сохранила память, было, что он уже расплатился по счету в гостинице и садится в такси. На улице лил дождь.

В поезде на Принстон не было знакомых лиц, только стайка совсем, видно, выдохшихся юнцов из Филадельфии. Оттого, что напротив него сидела накрашенная женщина, к горлу снова подступила тошнота, и он перешел в другой вагон, попытался прочесть статью в каком-то журнальчике. Поймав себя на том, что раз за разом перечитывает те же пол страницы, он отказался от этой попытки и устало припал горячим лбом к отсыревшему стеклу окна. В вагоне курили, было жарко и душно, словно здесь смешались запахи разноплеменного населения всего штата; он попробовал открыть окно, и его обдало холодом облако ворвавшегося снаружи тумана. Два часа пути тянулись как два дня, и он чуть не закричал от радости, когда за окнами поплыли башни Принстона и сквозь синий дождь замелькали желтые квадраты света.

Том стоял посреди комнаты, раскуривая потухшую сигару. Эмори показалось, что при виде его на лице Тома изобразилось облегчение.

— Дурацкий сон мне про тебя снился, — прозвучал сквозь сигарный дым надтреснутый

голос. — Будто с тобой случилась какая-то беда.

— Не рассказывай! — громко вскрикнул Эмори. — Не говори ни слова. Я устал, совсем вымотался…

Том искоса взглянул на него, потом сел и раскрыл свою тетрадь с записями по итальянскому языку. Эмори скинул пальто и шляпу на пол, расстегнул воротничок и наугад взял с полки томик Уэллса. «Уэллс нормальный, — подумал он, — а если и он не поможет, буду читать Руперта Брука».

Прошло полчаса. За окном поднялся ветер, и Эмори вздрогнул, когда мокрые ветки задвигались и стали царапать ногтями по стеклам. Том весь ушел в работу, и в комнате стояла тишина — только чиркнет изредка спичка или скрипнет кожа, когда повернешься в кресле. А потом в один миг все изменилось. Эмори рывком выпрямился в кресле и застыл. Том смотрел на него в упор, недоуменно скривив губы.

— О господи! — воскликнул Эмори.

— Боже милостивый! — крикнул Том. — Оглянись.

Эмори молниеносно сделал иол-оборота. И увидел только темное стекло окна.

— Все исчезло, — раздался после короткого

молчания испуганный голос Тома. — На тебя что-то смотрело.

Эмори, весь дрожа, снова опустился в кресло.

— Я должен тебе рассказать, — начал он. — Со мной произошла ужасная вещь. Кажется, я видел… видел дьявола… или что-то вроде. Ты какое лицо сейчас видел?.. Впрочем, нет, не говори!

И он все рассказал Тому. Когда он кончил, уже наступила полночь, и после этого, при полном освещении, два полусонных перепуганных мальчика читали друг другу вслух «Нового Макиавелли»[11], пока небо над Ундерспун-Холлом не посветлело, и за дверью с легким стуком не упал свежий номер «Принстонской газеты», и птицы не запели, встречая солнце, омытое вчерашним дождем.

Глава IV
Нарцисс не у дел

В переходный период Принстона, иными словами — за те два последних года, которые Эмори там провел, наблюдая, как университет меня-

[11] notes: 11

«Новый Макиавелли» (1910) — роман Герберта Уэллса (1866–1946), пропагандирующий идею союза ученых и предпринимателей для осуществления социальных реформ.

ется, раздается вширь и начинает оправдывать свою готическую красоту средствами более интересными, чем ночные процессии, в его поле зрения появилось несколько студентов, разбудораживших устоявшуюся университетскую жизнь до самых глубин. Одни из них поступали на первый курс одновременно с Эмори, другие были курсом моложе, и эти-то люди в начале его последнего учебного года, сидя за столиками в кафе «Нассау», стали в полный голос критиковать те самые установления, которые Эмори и многие-многие другие уже давно критиковали про себя. Прежде всего, как-то почти случайно, речь зашла о некоторых книгах, о том особом роде биографического романа, который Эмори окрестил «романом поисков». В таких книгах герой вступает в жизнь, вооруженный до зубов и с намерением использовать свое оружие как принято — чтобы продвинуться вперед без оглядки на других и на все, что его окружает, однако со временем убеждается, что этому оружию можно найти и более благородное применение. Среди таких книг были «Нет других богов», «Мрачная улица» и «Благородные искания»; последняя из них в начале четвертого курса особенно поразила воображение Бэрна Холидэя и навела его

на мысль — а стоит ли довольствоваться столь высоким положением, как светило и властитель дум в своем клубе на Проспект-авеню? Положением этим он, кстати говоря, был целиком обязан университетской элите. Эмори до сих пор был знаком с ним очень поверхностно, только как с братом Керри, но на последнем курсе они стали друзьями.

— Слышал новость? — спросил как-то вечером Том, прибежавший под дождем домой с тем победоносным видом, какой у него всегда бывал после успешного словопрения.

— Нет. Кто-нибудь срезался? Или немцы пустили ко дну еще один пароход?

— Хуже. На третьем курсе примерно треть студентов выходит из состава клубов.

— Что?!

— Факт.

— Почему?

— Реформистские веяния и прочее в этом духе. Это все работа Бэрна Холидэя. Сейчас заседают президенты клубов — изыскивают пути для совместного противодействия.

— Но какие все-таки причины?

— Да разные: клубы, мол, наносят вред принстонской демократии, дорого стоят, подчерки-

вают сомнительные различия, отнимают время — все то же, что слышишь иногда от разочарованных второкурсников. И Вудро Вильсон, видите ли, считал, что их нужно упразднить, да мало ли что еще.

— И это не шутки?

— Отнюдь. Я думаю, что они одержат верх.

— Да расскажи ты толком.

— Так вот, — начал Том. — Видимо, идея эта зародилась одновременно в нескольких умах. Я недавно разговаривал с Бэрном, и он уверяет, что это логический вывод, к которому приходит всякий разумный человек, если даст себе труд подумать о социальной системе. У них состоялась какая-то дискуссия, и кто-то выдвинул предложение упразднить клубы. Все за это ухватились, потому что так или иначе сами об этом думали и недоставало только искры, чтобы разгорелся пожар.

— Здорово! Вот это будет спектакль! А как на это смотрят в «Шапке и мантии»?

— С ума сходят, конечно. Спорят до хрипоты, ругаются, лезут в бутылку, кто пускает слезу, кто грозит кулаками. И так во всех клубах. Я везде побывал, убедился. Припрут к стенке какого-нибудь радикала и закидывают его вопросами.

— А радикалы как держатся?

— Да ничего, молодцом. Бэрн ведь первоклассный оратор, а уж искренен до того, что его ничем не проймешь. Слишком очевидно, что для него добиться поголовного ухода из клубов куда важнее, чем для нас — помешать этому. Вот и я — попробовал с ним поспорить, а сам чувствую, что это безнадежно, и в конце концов очень ловко занял некую нейтральную позицию. Бэрну, по-моему, даже показалось, что он меня убедил.

— Ты как сказал, на третьем курсе треть студентов решили уйти?

— Ну уж четверть — во всяком случае.

— О господи, кто бы подумал, что такое возможно?

В дверь энергично постучали, и появился сам Бэрн.

— Привет, Эмори. Привет, Том.

Эмори поднялся с места.

— Добрый вечер, Бэрн. Прости, что убегаю, — я собрался к Ренвику.

Бэрн быстро обернулся к нему.

— Тебе, наверно, известно, о чем я хочу поговорить с Томом. Тут никаких секретов нет. Хорошо бы ты остался.

— Да я с удовольствием.

Эмори снова сел и, когда Бэрн, примостившись на столе, вступил в оживленный спор с Томом, пригляделся к этому революционеру внимательнее, чем когда-либо раньше. Бэрн, широколобый, с крепким подбородком и с такими же честными серыми глазами, как у Керри, производил впечатление человека прочного, надежного. Что он упрям, тоже было несомненно, но упрямство было не тупое, и, послушав его пять минут, Эмори понял, что в его увлеченности нет ничего от дилетантства.

Позже Эмори ощутил, какая сила исходит от Бэрна Холидэя, и это было совсем не похоже на то восхищение, которое некогда внушал ему Дик Хамберд. На этот раз все началось с чисто рассудочного интереса. Другие люди, становившиеся его героями, сразу покоряли его своей неповторимой индивидуальностью, а в Бэрне не было той непосредственной притягательности, перед которой он обычно не мог устоять. Но в тот вечер Эмори поразила предельная серьезность Бэрна — свойство, которое он привык связывать только с глупостью, и огромная увлеченность, разбудившая в его душе замолкшие было струны. Бэрн каким-то образом олицетворял ту далекую землю, к которой, как надеялся Эмори, его са-

мого несло течение и которой уже пора, давно пора было показаться на горизонте. Том, Эмори и Алек зашли в тупик, никакие новые интересы их не объединяли: Том и Алек последнее время так же впустую заседали в своих комитетах и правлениях, как Эмори впустую бездельничал, а темы обычных обсуждений — колледж, характер современного человека и тому подобное — были жеваны-пережеваны.

В тот вечер они обсуждали вопрос о клубах до полуночи и в общих чертах согласились с Бэрном. Тому и Эмори этот предмет представлялся не столь важным, как два-три года назад, но логика, с какой Бэрн обрушивался на социальную систему, так совпадала с их собственными соображениями, что они не столько спорили, сколько задавали вопросы и завидовали здравомыслию, позволявшему Бэрну так решительно ниспровергать любые традиции.

Потом Эмори увел разговор в новое русло и убедился, что Бэрн неплохо осведомлен и в других областях. Он давно интересовался экономикой и был близок к социализму. Занимали его ум и пацифистские идеи, и он прилежно читал журнал

«Мэссис»[12] и Льва Толстого.

— А как с религией? — спросил его Эмори.

— Не знаю. Я еще многого для себя не решил. Я только что обнаружил, что наделен разумом, и начал читать.

— Что читать?

— Все. Приходится, конечно, выбирать, но главным образом такие книги, которые будят мысль. Сейчас я читаю четыре Евангелия и «Многообразие религиозного опыта».

— А что послужило толчком?

— Уэллс, пожалуй, и Толстой, и еще некий Эдвард Карпентер. Я уже больше года как начал читать — по разным линиям, по тем линиям, которые считаю важнейшими.

— И поэзию?

— Честно говоря, не то, что вы называете поэзией, и не по тем же причинам. Вы-то оба пишете, так что у вас, естественно, другое восприятие. Уитмен, вот кто меня интересует.

— Уитмен?

— Да. Он — ярко выраженный этический фактор.

---

[12] notes: 12

«Мэссис» — американский литературный ежемесячник, в котором печатались Джон Рид и другие передовые писатели эпохи. Был закрыт в 1917 г. за антивоенную агитацию.

— К стыду своему, должен сказать, что ровным счетом ничего о нем не знаю. А ты, Том?

Том смущенно кивнул.

— Так вот, — продолжал Бэрн, — у него есть вещи и скучноватые, но я беру его творчество в целом. Он грандиозен — как Толстой. Оба они смотрят фактам в лицо и, как это ни странно для таких разных людей, по существу выражают одно и то же.

— Тут я пасую, Бэрн, — сознался Эмори. — Я, конечно, читал «Анну Каренину» и «Крейцерову сонату», но вообще-то Толстой для меня — темный лес.

— Такого великого человека не было в мире уже много веков! — убежденно воскликнул Бэрн. — Вы когда-нибудь видели его портрет, видели эту косматую голову?

Они проговорили до трех часов ночи обо всем на свете, от биологии до организованной религии, и когда Эмори, совсем продрогший, забрался наконец в постель, голова у него гудела от мыслей и от досадного чувства, что кто-то другой отыскал дорогу, по которой он уже давно мог бы идти. Бэрн Холидэй так явно находился в процессе роста, а ведь Эмори воображал то же самое о себе. А чего он достиг? Пришел к циничному

отрицанию всего, что попадалось ему на дороге, утверждая только неисправимость человека, да читал Шоу и Честертона, чтобы не скатиться в декадентство, — сейчас вся умственная работа, проделанная им за последние полтора года, вдруг показалась пошлой и никчемной, какой-то пародией на самоусовершенствование… и темным фоном для всего этого служило таинственное происшествие, случившееся с ним прошлой весной, — оно до сих пор заполняло его ночи тоскливым ужасом и лишило его способности молиться. Он даже не был католиком, а между тем только католичество было для него хотя бы призраком какого-то кодекса — пышное, богатое обрядами, парадоксальное католичество, пророком которого был Честертон, а клакерами — такие раскаявшиеся литературные развратники, как Гюисманс и Бурже, которое в Америке насаждал Ральф Адамс Крам[13] со своей одержимостью соборами XIII века, — такое католичество Эмори готов был принять как нечто удобное, готовенькое, без священников, таинств и жертвоприношений.

---

[13] notes: 13

Крам Ральф Адамс (1863–1942) — американский архитектор и писатель, крупный специалист по истории готики. В 1911 г. перестроил собор Св. Иоанна в Нью-Йорке, придав ему готические очертания.

Не спалось, он зажег лампу у изголовья и, достав с полки «Крейцерову сонату», пробовал вычитать в ней первопричину увлеченности Бэрна. Стать вторым Бэрном вдруг показалось ему настолько соблазнительнее, чем просто быть умным. Но он тут же вздохнул… может быть, еще один колосс на глиняных ногах?

Он перебрал в памяти прошедшие два года — представил себе Бэрна нервным, вечно спешащим куда-то первокурсником, затененным более яркой фигурой брата. А потом вспомнил один эпизод, в котором главную роль предположительно сыграл Бэрн.

Большая группа студентов слышала, как декан Холлистер пререкался с шофером такси, доставившим его со станции. По ходу спора рассерженный декан заявил, что «лучше уж просто купит весь таксомотор». Потом он расплатился и ушел в дом, а на следующее утро, войдя в свой служебный кабинет, обнаружил на месте, обычно занятом его письменным столом, целое такси с надписью «Собственность декана Холлистера. Куплено и оплачено»… Двум опытным механикам потребовалось полдня, чтобы разобрать машину на мелкие части и вынести из помещения, — что только доказывает, как деятельно

может проявиться юмор второкурсников под умелым руководством.

И той же осенью Бэрн произвел еще одну сенсацию. Некая Филлис Стайлз, усердно посещавшая любые вечеринки и праздники в любом колледже, на этот раз не получила приглашения на матч Гарвард — Принстон.

За две недели до того Джесси Ферренби привозил ее на какие-то менее интересные состязания и завербовал в помощники Бэрна, чем нанес этому женоненавистнику чувствительный удар.

— А на матч с Гарвардом вы приедете? — спросил ее Бэрн, просто чтобы о чем-то поговорить.

— А вы меня пригласите? — живо откликнулась она.

— Разумеется, — сказал Бэрн без особого восторга.

Уловки Филлис были ему внове, и он был уверен, что это не более как скучноватая шутка. Однако не прошло и часа, как он понял, что связал себя по рукам и ногам. Филлис вцепилась в него намертво, сообщила, каким поездом приедет, и привела его в полное отчаяние. Мало того что он всеми силами души ее ненавидел — он рассчитывал в тот день провести время с приятелем из Гарварда.

— Я ей покажу, — заявил он делегации, явившейся к нему в комнату специально, чтобы подразнить его. — Больше она ни одного невинного младенца не уговорит водить ее на матчи.

— Но послушай, Бэрн, чего же ты ее приглашал, раз она тебе ни к чему?

— А признайся, Бэрн, втайне ты в нее влюблен, вот в чем беда.

— А что ты можешь сделать, Бэрн? Что ты можешь против Филлис?

Но Бэрн только качал головой и бормотал угрозы, выражавшиеся главным образом в словах «Я ей покажу!».

Неунывающая Филлис весело вынесла из поезда свои двадцать пять весен, но на перроне взору ее представилось жуткое зрелище. Там стояли Бэрн и Фред Слоун, наряженные в точности как карикатурные фигуры на университетских плакатах. Они купили себе ярчайшие костюмы с брюками галифе и высоченными подложенными плечами, на голове лихо заломленная студенческая шапка с черно-оранжевой лентой, а из-под целлулоидного воротничка пылает огнем оранжевый галстук. На рукаве черная повязка с оранжевым «П», в руках — тросточка с принстонским вымпелом, и для полного эффекта — носки

и торчащий наружу уголок носового платка в той же цветовой гамме. На цепочке они держали огромного сердитого кота, раскрашенного под тигра.

Собравшаяся на платформе публика уже глазела на них — кто с жалостливым ужасом, кто — давясь от смеха. Когда же приблизилась Филлис с удивленно вздернутыми изящными бровками, двое озорников, склонившись в поклоне, испустили оглушительный университетский клич, не забыв четко добавить в конце имя «Филлис». С громогласными приветствиями они повели ее в университетский городок, сопровождаемые целой оравой местных мальчишек, под приглушенный смех сотен бывших принстонцев и гостей, причем многие понятия не имели, что это розыгрыш, а просто решили, что два принстонских спортсмена пригласили знакомую девушку на студенческий матч.

Можно себе представить, каково было Филлис, когда ее торжественно вели мимо принстонской и гарвардской трибун, где сидело много ее прежних поклонников. Она пыталась уйти немножко вперед, пыталась немножко отстать, но Бэрн и Фред упорно держались рядом, чтобы ни у кого не осталось сомнений насчет того, с кем она яви-

лась, да еще громко перебрасывались шутками о своих друзьях из футбольной команды, так что она почти слышала, как ее знакомые шепотом говорят друг другу: «Плохи, видно, дела у Филлис Стайлз, если она не нашла кавалеров получше!»

Вот каким был когда-то Бэрн — неуемный шутник и серьезный мыслитель. Из этого корня и выросла та энергия, которую он теперь старался направить в достойное русло…

Проходили недели, наступил март, а глиняные ноги, которых опасался Эмори, все не показывались. На волне праведного гнева около ста студентов третьего и четвертого курсов покинули клубы, и клубы, бессильные их удержать, обратили против Бэрна свое самое сильное оружие — насмешку. К самому Бэрну все, кто его знал, относились с симпатией, но его идеи (а они возникали у него одна за другой) подвергались столь язвительным нападкам, что более хрупкая натура нипочем бы не выдержала.

— А тебе не жаль терять престиж? — спросил как-то вечером Эмори. Они теперь бывали друг у друга по нескольку раз в неделю.

— Конечно нет. Да и что такое престиж?

— Про тебя говорят, что в политических вопросах ты большой оригинал.

Бэрн расхохотался.

— Это самое мне сегодня сказал Фред Слоун. Видно, не миновать мне взбучки.

Однажды они затронули тему, уже давно интересовавшую Эмори, — влияние физического склада на характер. Бэрн, коснувшись биологической стороны вопроса, сказал:

— Разумеется, здоровье играет очень большую роль. У здорового вдвое больше шансов стать хорошим человеком.

— Не согласен. Не верю я в «мускулистое христианство».

— А я верю. Я уверен, что Христос был наделен большой физической силой.

— Не думаю, — возразил Эмори. — Слишком уж тяжело он работал. По-моему, он умер сломленным, разбитым человеком. И святые не были силачами.

— Некоторые были.

— Пусть даже так, я все равно не считаю, что здоровье влияет на душевные свойства. Конечно, для святого очень важно, если он способен выносить огромные физические нагрузки, но мания дешевых проповедников, которые поднимаются на цыпочки, чтобы показать, какие они атлеты, и вопят, что спасение мира в гимнастике, — нет,

это не для меня.

— Ну что ж, не будем спорить — мы ни до чего не договоримся, да к тому же я и сам еще не вполне в этом разобрался. Но одно я знаю твердо — внешность человека очень много значит.

— Цвет глаз, цвет волос? — живо откликнулся Эмори.

— Да.

— Мы с Томом тоже к этому пришли, — сказал Эмори. — Мы взяли журналы за последние десять лет и просмотрели снимки членов Совета старшекурсников. Я знаю, ты не высоко ценишь это августейшее учреждение, но в общих чертах оно отражает личные успехи в пределах колледжа. Так вот, в каждом выпуске примерно треть — блондины, а среди членов совета блондинов — две трети. Не забудь, мы просмотрели портреты за десять лет, это значит, что из каждых пятнадцати блондинов старшекурсников в совет попадает один, а из брюнетов — только один из пятидесяти.

— Вот именно, — согласился Бэрн. — В общем, светлые волосы — признак более высокого типа. Я это как-то проверил на президентах Соединенных Штатов, — оказалось, что больше половины из них блондины, и это при том, что в стране у

нас преобладают брюнеты.

— Подсознательно все это признают, — сказал Эмори. — Обрати внимание, все считают, что белокурые умеют хорошо говорить. Если блондинка не умеет поддержать разговор, мы называем ее «куклой»; молчаливого блондина считаем болваном. А наряду с этим мир полон «интересных молчаливых брюнетов» и «томных брюнеток», абсолютно безмозглых, но никто их почему-то за это не винит.

— А большой рот, квадратный подбородок и крупный нос — несомненные признаки высшего типа.

— Ну, не знаю. — Эмори был сторонником классических черт лица.

— Да-да, вот смотри. — И Бэрн достал из ящика стола пачку фотографий. То были сплошь косматые, бородатые знаменитости — Толстой, Уитмен, Карпентер и другие.

— Удивительные лица, верно?

Из вежливости Эмори хотел было поддакнуть, но потом со смехом махнул рукой.

— Нет, Бэрн, на мой взгляд, это скопище уродов. Богадельня, да и только.

— Что ты, Эмори, ты посмотри, какой у Эмерсона лоб, какие глаза у Толстого! — В голосе его

звучал укор.

Эмори покачал головой.

— Нет! Их можно назвать интересными или как-нибудь там еще, но красоты я здесь не вижу.

Ни на йоту не поколебленный, Бэрн любовно провел рукой по внушительным лбам и убрал фотографии обратно в ящик.

Одним из его любимых занятий были ночные прогулки, и однажды он уговорил Эмори пойти вместе.

— Ненавижу темноту, — отбивался Эмори. — Раньше этого не было, разве что когда дашь волю фантазии, но теперь — ненавижу, как последний дурак.

— Но ведь в этом нет смысла.

— Допускаю.

— Пойдем на восток, — предложил Бэрн, — а потом лесом, там есть несколько дорог.

— Не могу сказать, что это меня прельщает, — неохотно признался Эмори. — Ну да ладно, пойдем.

Они пустились в путь быстрым шагом, оживленно беседуя, и через час огни Принстона остались далеко позади, расплывшись в белые пятна.

— Человек с воображением не может не испы-

тывать страха, — серьезно сказал Бэрн. — Я сам раньше очень боялся гулять по ночам. Сейчас я тебе расскажу, почему теперь я могу пойти куда угодно без всякого страха.

— Расскажи. — Они уже подходили к лесу, и нервный, увлеченный голос Бэрна зазвучал еще убедительнее.

— Я раньше приходил сюда ночью один, еще три месяца тому назад, и всегда останавливался у того перекрестка, который мы только что прошли. Впереди чернел лес, вот как сейчас, двигались тени, выли собаки, а больше — ни звука, точно ты один на всем свете. Конечно, я населял лес всякой нечистью, как и ты, наверно?

— Да, — признался Эмори.

— Так вот, я стал разбирать, в чем тут дело. Воображение упорно совало в темноту всякие ужасы, а я решил сунуть в темноту свое воображение — пусть глядит на меня оттуда, — я приказывал ему обернуться бродячей собакой, беглым каторжником, привидением, а потом видел себя, как я иду по дороге. И получалось очень хорошо — как всегда получается, когда целиком поставишь себя на чье-нибудь место. Не буду я угрозой для Бэрна Холидэя, ведь он-то мне ничем не грозит. Потом я подумал о своих

часах. Может быть, лучше вернуться, оставить их дома, а потом уже идти в лес — и решил: нет, уж лучше лишиться часов, чем поворачивать обратно, — и вошел-таки в лес, не только по дороге, но углубился в самую чащу, и так много раз, пока совсем не перестал бояться, так что однажды сел под деревом и задремал. Тогда уж я убедился, что больше не боюсь темноты.

— Уф, — выдохнул Эмори, — я бы так не мог. Я бы пошел, но если бы проехал автомобиль и фары осветили дорогу, а потом стало бы еще темнее, тут же повернул бы обратно.

— Ну вот, — сказал вдруг Бэрн после короткого молчания, — полдороги по лесу мы прошли, давай поворачивать к дому.

На обратном пути он завел разговор про силу воли.

— Это самое главное, — уверял он. — Это единственная граница между добром и злом. Я не встречал человека, который вел бы скверную жизнь и не был бы безвольным.

— А знаменитые преступники?

— Те, как правило, душевнобольные. А если нет, так тоже безвольные. Такого типа, как нормальный преступник с сильной волей, в природе не существует.

— Не согласен, Бэрн. А как же сверхчеловек?

— Ну что сверхчеловек?

— Он, по-моему, злой, и притом нормальный и сильный.

— Я его никогда не встречал, но пари держу, что он либо глуп, либо ненормален.

— Я его встречал много раз, он ни то ни другое. Потому мне и кажется, что ты не прав.

— А я уверен, что прав, и поэтому не признаю тюремного заключения, кроме как для умалишенных.

С этим Эмори никак не мог согласиться. В жизни и в истории сколько угодно сильных преступников — умных, но часто ослепленных славой, их можно найти и в политических и в деловых кругах, и среди государственных деятелей прежних времен, королей и полководцев; но Бэрн стоял на своем, и от этой точки их пути постепенно разошлись.

Бэрн уходил все дальше и дальше от окружавшего его мира. Он отказался от поста вице-президента старшего курса и почти все свое время заполнял чтением и прогулками. Он посещал дополнительные лекции по философии и биологии, и когда он их слушал, глаза у него становились внимательные и беспокойные, словно он ждал,

когда же лектор доберется до сути. Порой Эмори замечал, как он ерзает на стуле и лицо у него загорается от страстного желания поспорить.

На улице он теперь бывал рассеян, не узнавал знакомых, его даже обвиняли в высокомерии, но Эмори знал, как это далеко от истины, и однажды, когда Бэрн прошел от него в трех шагах, ничего не видя, словно мысли его витали за тысячу миль, Эмори чуть не задохнулся, такой романтической радости исполнило его это зрелище. Бэрн, казалось ему, покорял вершины, до которых другим никогда не добраться.

— Уверяю тебя, — сказал он как-то Тому, — Бэрн — единственный из моих сверстников, чье умственное превосходство я безоговорочно признаю.

— Неудачное ты выбрал время для такого признания, многие склоняются к мнению, что у него не все дома.

— Он просто на голову выше их, а ты и сам говоришь с ним, как с недоумком, — боже мой, Том, ведь было время, когда ты умел противопоставить себя этим «многим». Успех окончательно тебя стандартизировал.

Том был явно раздосадован.

— Он что, святого из себя корчит?

— Нет! Он совсем особенный. Никакой мистики, никакого сектантства. В эту чепуху он не верит. И не верит, что все мировое зло можно исправить с помощью общедоступных бассейнов и доброго слова во благовремении. К тому же выпивает, когда придет охота.

— Куда-то не туда он заворачивает.

— Ты с ним в последнее время разговаривал?

— Нет.

— Ну так ты ровным счетом ничего о нем не знаешь.

Спор окончился ничем, но Эмори стало еще яснее, как сильно изменилось в университете отношение к Бэрну.

— Странно, — сказал он Тому через некоторое время, когда их беседы на эту тему стали более дружескими, — те, кто ополчается на Бэрна за радикализм, это самые что ни на есть фарисеи — то есть самые образованные люди в колледже: редакторы наших изданий, как ты и Ферренби, молодые преподаватели… Неграмотные спортсмены вроде Лангедюка считают его чудаком, но они просто говорят: «У нашего Бэрна появились завиральные идеи» — и проходят мимо. А уж фарисеи — те издеваются над ним немилосердно.

На следующее утро он встретил на улице Бэрна,

спешившего куда-то с лекции.

— В какие края, государь?

— В редакцию «Принстонской», к Ферренби. — И помахал свежим номером газеты. — Он там написал передовую.

— И ты решил спустить с него шкуру?

— Нет, но он меня ошарашил. Либо я неверно судил о нем, либо он вдруг превратился в отъявленного радикала.

Бэрн умчался, и Эмори только через несколько дней узнал, какой разговор состоялся в редакции.

Бэрн вошел в редакторский кабинет, бодро потрясая газетой.

— Здорово, Джесси.

— Здорово, Савонарола.

— Только что прочел твою передовицу.

— Благодарю, не ожидал удостоиться такой чести.

— Джесси, ты меня удивил.

— Это чем же?

— Ты не боишься, что заработаешь нагоняй от начальства, если не перестанешь шутить с религией?

— Что?!

— А вот как сегодня.

— Какого черта, ведь передовая была о системе репетиторства.

— Да, но эта цитата…

— Какая цитата?

— Ну как же, «Кто не со мной, тот против меня».

— Ну и что?

Джесси был озадачен, но не встревожен.

— Вот тут ты говоришь… сейчас найду. — Бэрн развернул газету и прочитал: — «„Кто не со мной, тот против меня“, как выразился некий джентльмен, заведомо способный только на грубые противопоставления и ничего не значащие трюизмы».

— Ну и что же? — На лице Ферренби отразилась тревога. — Ведь это, кажется, сказал Кромвель? Или Вашингтон? Или кто-то из святых? Честное слово, забыл.

Бэрн покатился со смеху.

— Ах, Джесси! Милый, добрый Джесси!

— Да кто это сказал, черт возьми?

— Насколько мне известно, — отвечал Бэрн, овладев своим голосом, — святой Матфей приписывает эти слова Христу.

— Боже мой! — вскричал Джесси и, откинувшись назад, свалился в корзину для мусора.

Эмори пишет стихотворение

Недели проносились одна задругой. Эмори изредка удирал в Нью-Йорк в надежде найти что-нибудь новенькое, что могло бы своим дешевым блеском поднять его настроение. Один раз он забрел в театр, на возобновленную постановку, название которой показалось ему смутно знакомым. Раздвинулся занавес, на сцену вышла девушка, он почти не смотрел на нее, но какие-то реплики коснулись его слуха и слабо отдались в памяти. Где?.. Когда?..

Потом рядом с ним словно зашептал кто-то, очень тихо, но внятно: «Ой, я такая дурочка, вы мне всегда говорите, если я что делаю не так».

Блеснула разгадка, и ласковым воспоминанием на минуту возникла Изабелла.

Он нашел свободное место на программе и стал быстро писать:

Опять в партере я. Темнеет зал.
Вот взвился занавес, а вместе с ним —
Завеса лет. И мы с тобой следим
За скверной пьесой. Радостный финал

Нам не смешон. О, как я трепетал,
Как был я восхищен лицом твоим!
Гнушаясь представлением плохим,
Его вполглаза я воспринимал.

Теперь, зевая, здесь опять я сел —
Один… И гомон слушать не дает
Единственную сносную из сцен
(Ты плакала, а я тебя жалел) —
В ней мистер Игрек защищал развод
В страдальческих объятьях миссис Н.

Все еще спокойно

— Привидения — глупый народ, — заявил Алек. — Просто тупицы. Я любое привидение могу перехитрить.

— Как именно? — осведомился Том.

— Это смотря по тому где. Возьмем, к примеру, спальню. Если действовать осмотрительно, в спальне привидение никогда тебя не настигнет.

— Ну, допустим, ты подозреваешь, что у тебя в спальне завелось привидение, какие ты принимаешь меры, когда поздно вечером возвращаешься домой? — заинтересованно спросил

Эмори.

— Надо взять палку, — отвечал Алек наставительно и серьезно, — длиной примерно как ручка от половой щетки. Первым делом комнату необходимо обследовать. Для этого вбегают в нее с закрытыми глазами и зажигают все лампы, после чего с порога тщательно обшаривают палкой чулан, три или четыре раза. Затем, если ничего не случится, можно туда заглянуть. Но только в таком порядке: *сначала* основательно пройтись палкой, а *затем* уже заглянуть.

— Это, конечно, старинный кельтский рецепт, — без улыбки сказал Том.

— Да, только они обычно начинают с молитвы. Так или иначе, этот метод годится для поисков в чуланах, а также за дверями…

— И под кроватью, — подсказал Эмори.

— Что ты, Эмори, ни в коем случаев, — в ужасе вскричал Алек. — Кровать требует особой тактики. От кровати следует держаться подальше. Если в комнате есть привидение — а это бывает в одном случае из трех, — оно *почти всегда* прячется под кроватью.

— Ну так, значит… — начал Эмори, но Алек жестом заставил его замолчать.

— Смотреть туда нельзя. Нужно стать посреди

комнаты, а потом сразу, не дав ему опомниться, одним прыжком перемахнуть в постель. Ни в коем случае не прохаживаться около постели. Для привидения твое самое уязвимое место — лодыжка. А там ты в безопасности, оно пусть лежит под кроватью хоть до утра, тебе уже ничто не грозит. А если все еще сомневаешься, накройся с головой одеялом.

— Все это чрезвычайно интересно, не правда ли, Том?

— Еще бы! — Алек горделиво усмехнулся. — И выдумано мною лично. Я сэр Оливер Лодж[14] в американском издании.

Эмори опять от души наслаждался жизнью в колледже. Вернулось ощущение, что он продвигается вперед по четкой прямой линии; молодость бурлила в нем и нащупывала новые возможности.

Он даже накопил избыточной энергии, чтобы испробовать новую позу.

— Ты что это уставился в пространство? — спросил как-то Алек, видя, что Эмори застыл над книгой в нарочитой неподвижности. — Ради Христа, хоть при мне не разыгрывай мистика

---

[14] notes: 14

Лодж Оливер (1851–1940) — английский физик; пытался научно обосновать идеи спиритов о возможности общения с умершими.

— Бэрна.

Эмори поднял на него невинный взгляд.

— В чем дело?

— В чем дело? — передразнил его Алек. — Ты что, хочешь довести себя до транса с помощью… а ну-ка, дай сюда книгу.

Он схватил ее, насмешливо глянул на заголовок.

— Так что же? — спросил Эмори чуть вызывающе.

— «Житие святой Терезы», — прочел Алек вслух. — Ну и ну!

— Послушай, Алек!

— Что?

— Это тебя раздражает?

— Что именно?

— А вот что я бываю как будто в трансе и вообще…

— Да нет, почему же раздражает.

— Тогда будь добр, не порть мне удовольствие. Если мне нравится с видом наивного ребенка внушать людям, будто я считаю себя гением, не препятствуй мне в этом.

— Ты, видимо, хочешь сказать, что решил прослыть чудаком, — рассмеялся Алек.

Но Эмори не сдался, и в конце концов Алек

пошел на то, чтобы при посторонних принимать его игру как должное, но с условием, что с глазу на глаз ему будет разрешено отводить душу, и Эмори лицедействовал напропалую, приглашая на обед в клубе «Коттедж» самых эксцентричных типов — шальных аспирантов, преподавателей с диковинными теориями относительно Бога и правительства — и тем повергая высокомерных членов клуба в негодующее изумление.

К концу зимы, когда февраль редкими солнечными днями устремился навстречу марту, Эмори несколько раз съездил на воскресенье к монсеньору, а один раз захватил с собой Бэрна — и получилось отлично: он с одинаковой гордостью и радостью показывал их друг другу. Монсеньор несколько раз возил его в гости к Торнтону Хэнкоку, а раза два — к некой миссис Лоренс, ушибленной Римом американке, которая понравилась Эмори чрезвычайно.

А потом от монсеньора пришло письмо с интересным постскриптумом:

> Знаешь ли ты, что в Филадельфии живет твоя дальняя родственница Клара Пейдж? Она полгода тому назад овдовела и сильно нуждается. Ты, кажется, с

ней не знаком, но у меня к тебе просьба: съезди ее навестить. Намой взгляд, она женщина незаурядная и примерно одних с тобой лет.

Эмори вздохнул, но решил съездить, выполнить просьбу…

Клара

Она была древняя как мир… Клара, прекрасная Клара с волнистыми золотыми волосами, недосягаемая для Эмори, как, впрочем, и для любого мужчины. Ее прелесть была чужда вульгарной морали охотниц за мужьями, не подпадала под скучное мерило женских добродетелей.

Горе она несла легко, и Эмори, когда он разыскал ее в Филадельфии, показалось, что ее серо-синие глаза излучают только счастье; дремавшая в ней сила и трезвый взгляд на вещи полностью проявились в столкновении с фактами, перед которыми поставила ее жизнь. Она была одна на свете с двумя маленькими детьми, почти без денег и, что хуже всего, с кучей знакомых. Он сам видел, что по вечерам в ее гостиной бывает полно мужчин, а у нее, как он знал, не было прислуги,

если не считать девочки-негритянки, охранявшей малышей в детской на втором этаже. Он видел, как один из завзятых филадельфийских распутников, человек, только и знавший, что пить и буянить как у себя дома, так и в гостях, целый вечер сидел напротив нее, скромно и заинтересованно беседуя о закрытых школах для девочек. Каким тонким умом наделена была Клара! Она умела строить захватывающую, почти блестящую беседу на самом пустом месте, какое только можно воображать в гостиной.

Помня, что эта женщина прозябает в бедности, Эмори дал волю воображению. По пути в Филадельфию он ясно представил себе дом 921 по Арк-стрит как мрачное трущобное жилище. Убедившись в своей ошибке, он даже испытал разочарование. Дом был старый, много лет принадлежавший семье ее мужа. Престарелая тетка, не пожелавшая его продать, оставила в распоряжении поверенного деньги в счет уплаты налогов на десять лет вперед, а сама ускакала в Гонолулу, предоставив Кларе отапливать дом как сумеет. И хозяйка, встретившая Эмори на пороге, была совсем не похожа на растрепанную женщину с голодным младенцем на руках и выражением грустной покорности во взгляде: судя по оказан-

ному ему приему, Эмори мог бы предположить, что она не ведает в жизни ни трудов, ни забот.

Спокойное мужество и ленивый юмор в отличие от ее обычной уравновешенности — вот убежища, в которых она порой спасалась. Она могла заниматься самыми прозаическими делами (впрочем, у нее хватало ума не смешить публику пристрастием к «художественному» вязанию и вышивке), а потом сразу взяться за книгу и дать воображению носиться по ветру бесформенным облачком. Из самой глубины ее существа исходило золотое сияние. Как горящий в темной комнате камин отбрасывает на спокойные лица блики романтики и высокого чувства, так она по любой комнате, в которой находилась, разбрасывала собственные блики и тени, превращая своего скучного старого дядюшку в самобытного и обаятельного мыслителя, а мальчишку-рассыльного — в прелестное и неповторимое создание, подобное эльфу Пэку. Вначале эта ее способность немного раздражала Эмори. Он считал свою исключительность вполне достаточной и как-то смущался, когда Клара пыталась, для услаждения других своих поклонников, наделить его новыми интересными чертами. Словно вежливый, но настойчивый

режиссер навязывал ему новое толкование роли, которую он заучил уже давным-давно.

Но как умела Клара говорить, как она рассказывала пустячный эпизод про себя, шляпную булавку и подвыпившего мужчину… Многие пробовали пересказывать ее анекдоты, но, как ни старались, получалось бессмысленно и пресно. Люди дарили ее невинным вниманием и такими хорошими улыбками, какими многие из них не улыбались с детства, сама Клара была скупа на слезы, но у тех, кто ей улыбался, глаза увлажнялись.

В очень редких случаях Эмори задерживался у нее на полчаса после того, как остальные придворные удалялись, тогда они пили чай и ели хлеб с вареньем, если дело было днем, а по вечерам «завтракали кленовым соком», как она это называла.

— Вы совсем особенная, правда? — Эмори, забравшись на стол в столовой, уже изрекал со своего насеста банальности.

— Вовсе нет, — отвечала она, доставая из буфета салфетки. — Я — самая обыкновенная, каких тысячи. Одна из тех женщин, которые не интересуются ничем, кроме своих детей.

— Как бы не так, — усмехнулся Эмори. — Вы

— как солнце, и знаете это. — И он сказал ей то единственное, что могло ее смутить, те слова, с которыми первый надоеда обратился к Адаму.

— Расскажите мне о себе, — попросил он, и она ответила так же, как, должно быть, в свое время ответил Адам:

— Да рассказывать-то нечего.

Но в конце концов Адам, вероятно, рассказал надоеде, о чем он думает по ночам, когда в сухой траве звенят цикады, да еще добавил самодовольно, как сильно он отличается от Евы, забыв о том, как сильно Ева отличается от него… короче говоря, Клара в тот вечер многое рассказала Эмори о себе. Она не знала свободной минуты с шестнадцати лет, и образование ее кончилось вместе с досугом. Роясь в ее библиотеке, Эмори нашел растрепанную серую книжку, из которой выпал пожелтевший листок бумаги. Эмори бесцеремонно развернул его — это были стихи, написанные Кларой в школе, стихи о серой монастырской стене в серый день и о девушке в плаще, развеваемом ветром, которая сидит на стене и думает о многоцветном мире. Обычно такие стихи вызывали у него зевоту, но эти были написаны так просто, с таким настроением, что он сразу представил себе Клару — Клара в такой

вот прохладный, серенький день смотрит вдаль своими синими глазами, пытается разглядеть трагедии, что надвигаются на нее из-за горизонта. Он завидовал этим стихам. Какое это было бы наслаждение — увидеть ее на стене, словно парящей в воздухе у него над головой, и, подойдя ближе, плести ей какой-нибудь романтический вздор. Он познал жестокую ревность ко всему, что касалось Клары: к ее прошлому, ее детям, к мужчинам и женщинам, которые шли к ней, чтобы напиться из источника ее спокойной доброты и дать отдых усталым мозгам, как на захватывающем спектакле.

— Вам никто не кажется скучным, — возмущался он.

— Нет, половина тех, с кем я общаюсь, мне скучны, но это не так уж много, верно? — И она потянулась за томиком Браунинга, чтобы найти строки на эту тему. Из всех, кого он знал, она одна умела прервать разговор, чтобы отыскать в книге нужный отрывок или цитату, не доводя его этим до белого каления. Она проделывала это часто и с таким искренним увлечением, что он полюбил смотреть на ее золотые волосы, склоненные над книгой, на брови, чуть сдвинутые от старания найти нужную фразу.

Он стал ездить в Филадельфию каждую неделю, на субботу и воскресенье. Почти всегда у Клары бывали в эти дни и другие гости, и она как будто не стремилась остаться с ним наедине — было много случаев, когда одно ее слово могло бы подарить ему лишних полчаса для сладостного обожания. Но он влюблялся все сильнее и уже носился с мыслью о браке. Мысль эта не только бродила у него в голове, но и выливалась в слова, однако позже он понял, что желание его было не глубоко. Однажды ему приснилось, что оно сбылось, и он проснулся в ужасе, потому что во сне Клара была глупая, белобрысая, волосы ее уже не золотились, а с языка, словно ее подменили, срывались невыносимо пошлые трюизмы. Но она была первой в его жизни интересной женщиной, была по-настоящему хорошим человеком, не казавшимся ему скучным, как почти все хорошие люди, которых он встречал. Порядочность только украшала ее. Эмори считал, что обычно хорошие люди либо следуют чувству долга, либо искусственно приучают себя к человеколюбию, и еще, конечно, имеются ханжи и фарисеи (их-то, впрочем, он никогда не причислял к праведникам).

Святая Цецилия

Пусть бархатный наряд тяжел —
Под златом кос, под светом глаз
Румянец розы вдруг расцвел,
То вспыхнул, то опять погас —
И от нее и до него
Истомой все напоено,
И не поймет он: есть иль нет
Мгновенный смех и розы цвет.

— Я вам нравлюсь?

— Конечно, — серьезно ответила Клара.

— Чем?

— Во-первых, у нас с вами много общего. Разные черточки, которые проявляются в нас непосредственно — или раньше так проявлялись.

— Вы хотите сказать, что я неважно использовал свои возможности?

Клара ответила не сразу.

— Знаете, мне трудно об этом судить. У мужчины, конечно, жизнь куда сложнее, а я была защищена от внешнего мира.

— Прошу вас, Клара, не увиливайте, — перебил

ее Эмори. — Вы только поговорите немножко обо мне, ладно?

— Почему же нет, с удовольствием. — Она не улыбнулась.

— Вот какая вы милая. Прежде всего ответьте на несколько вопросов. По-вашему, я очень высокого мнения о себе?

— Да пожалуй, нет — тщеславие у вас безграничное, но для людей, которые его замечают, это только забавно.

— Вот как.

— В сущности вы смиренный. Когда вам кажется, что вас обидели, вы погружаетесь в бездонное отчаяние. Скажу больше — вам недостает самоуважения.

— Опять в яблочко. Как вам это удается, Клара? Ведь вы мне не даете слова сказать.

— Ну конечно. Я никогда не сужу о человеке по его словам. Но я не договорила. Почему вы, в сущности, так неуверены в себе, хотя готовы всерьез уверять филистеров, что считаете себя гением? А потому, что вы придумали себе кучу смертных грехов и пытаетесь оправдать эту выдумку. Например, вы все твердите, что вы — раб коктейлей.

— Так оно и есть, потенциально.

— И уверяете, что вы бесхарактерный, безвольный.

— Да, абсолютно безвольный. Я — раб своих чувств, своих вкусов, своего страха перед скукой, своих желаний…

— Неправда! — Она ударила одним стиснутым кулачком по другому. — Вы — раб, закованный в цепи раб, но только своего воображения.

— Это интересно. Если вам не надоело, продолжайте.

— Я заметила, что, когда вам хочется лишний день не появляться в колледже, вы действуете вполне уверенно. Вы не принимаете решения, пока вам еще более или менее ясно, что лучше — прогулять или не прогулять. Вы даете своему воображению поиграть несколько часов с вашими желаниями, а потом уж решаете. А воображение, естественно, подсказывает вам миллион оправданий для прогула, так что когда решение приходит, оно уже неправильное. Оно пристрастно.

— Да, но позволять воображению играть в запретные игры — разве это не отсутствие силы воли? — возразил Эмори.

— Милый мой мальчик, вот тут-то вы ошибаетесь. К силе воли это не имеет никакого

отношения. И вообще это только лишние, ничего не значащие слова. Чего вам недостает — это здравомыслия, умения понять, что воображение подведет вас, дай ему только волю.

— Черт побери! — удивленно воскликнул Эмори. — Вот этого я не ожидал.

Клара не злорадствовала. Она сразу заговорила о другом. Но он задумался над ее словами и пришел к выводу, что она отчасти права. Он чувствовал себя как фабрикант, который обвинил служащего в нечестности, а затем обнаружил, что это его родной сын из недели в неделю подделывал записи в книгах. Его бедная, оклеветанная сила воли, которую он так упорно отрицал для обольщения себя и своих друзей, стояла перед ним, омытая от грехов, а здравомыслие под конвоем шагало в тюрьму, и рядом, насмешливо приплясывая, бежал неуемный бесенок — воображение. Клара была единственным человеком, с которым он советовался, самолично не диктуя ответа, — Клара да еще, может быть, монсеньор Дарси.

Как он любил проводить время с Кларой! Ходить с ней за покупками было поистине мечтой эпикурейца. В магазинах, где ее знали, о ней перешептывались как о «красавице миссис Пейдж».

— Помяните мое слово, она-то недолго останется одинокой вдовой.

— А ты помалкивай, она и без твоего мнения обойдется.

— Надо же, какая красавица!

(Входит старший приказчик. Продавщицы умолкают, а он с улыбочками устремляется к покупательнице.)

— Она, говорят, из высшего общества?

— Да, только теперь, я слышала, с деньгами у нее плохо.

— Ох, девушки, но до чего же хороша!

А Клара всех одинаково дарила своей лаской. Эмори подозревал, что в магазинах ей делают скидку, когда с ее ведома, а когда и нет. Он видел, что она отлично одевается, что в доме у нее все высшего качества и что обслуживает ее всякий раз старший приказчик, а то и хозяин магазина.

По воскресеньям они ходили иногда вместе в церковь, — он шел рядом с ней и упивался тем, как капельки влажного воздуха оседают на ее щеках. Она была очень набожна, с самого детства, и одному богу известно, на какие высоты она возносилась и какую силу там черпала, когда стояла на коленях, свесив золотые волосы, озаренные светом витражей.

— Святая Цецилия! — вырвалось у него однажды, и многие оглянулись на него, священник запнулся посреди проповеди, а Клара и Эмори залились краской.

Это было их последнее воскресенье, потому что в тот вечер он сам все испортил. Просто не удержался.

Они шли, окутанные мартовскими сумерками, теплыми, как в июне, и счастье молодости так переполняло его душу, что он не мог не заговорить.

— Мне кажется, — сказал он дрогнувшим голосом, — что если бы я потерял веру в вас, я бы потерял веру в Бога.

Она оглянулась на него так удивленно, что он спросил, в чем дело.

— Да ни в чем, — протянула она. — Просто я уже пять раз слышала это от разных мужчин, и это меня пугает.

— Ах, Клара, значит, это вам на роду написано?

Она не ответила.

— Для вас любовь — это, вероятно… — начал он.

Она резко оборвала его.

— Я никогда не любила.

Они пошли дальше, и постепенно ему открылось огромное значение ее слов… «никогда не

любила»… Внезапно она предстала перед ним как дочь небесного света. Сам он начисто выпал из ее мира, и ему лишь хотелось коснуться ее одежды — такое чувство испытал, должно быть, Иосиф, когда ему открылась непреходящая святость Марии. Но одновременно, словно со стороны, он услышал собственный голос, говоривший:

— А я вас люблю — все, что во мне заложено высокого… Нет, не могу я это выразить, Клара, но если я приду к вам снова через два года, когда добьюсь чего-то и смогу просить вашей руки…

Она покачала головой.

— Нет, я больше никогда не выйду замуж. У меня двое детей, и я нужна себе для них. Вы мне нравитесь, мне все умные мужчины нравятся, а вы тем более, но вы меня немного знаете, и пора бы вам понять, что я никогда не вышла бы замуж за умного мужчину.

Она помолчала.

— Эмори!

— Что?

— Вы ведь меня не любите. Вы не собирались на мне жениться. Разве не так?

— Это сумерки виноваты, — недоуменно произнес Эмори. — Я как-то не осознал, что говорю вслух. Но я люблю вас… или обожаю… или бо-

готворю…

— Это на вас похоже — проиграть за пять секунд всю гамму эмоций.

Он невольно улыбнулся.

— Не изображайте меня таким легковесом, Клара; право же, вы умеете иногда облить холодной водой.

— Вы что угодно, только не легковес, — сказала она серьезно, взяв его под руку и широко раскрыв глаза, — в меркнущем свете он разглядел, какие они добрые. — Легковес — это тот, кто все отрицает.

— Такая весна сегодня в воздухе, такая сладость в вашем сердце!

Она отпустила его руку.

— Сейчас вам хорошо, а я и вовсе на седьмом небе. Дайте мне сигарету. Вы не знали, что я курю? Курю примерно раз в месяц.

А потом эта непостижимая женщина и Эмори со всех ног побежали к перекрестку, как двое шаловливых детей, взбудораженных голубыми сумерками.

— На завтра я уезжаю за город, — сообщила она, запыхавшись, стоя в надежном свете фонаря на углу. — Упускать такие дивные дни просто грех, хотя, может быть, они больше чувствуются

именно в городе.

— Клара, Клара, каким бесовским обаянием наделил бы вас Бог, если бы чуть направил вашу душу в другую сторону!

— Возможно, — отвечала она. — Впрочем, не думаю. Я, в сущности, не сумасбродка. Никогда не была. А эта моя маленькая вспышка — просто дань весне.

— Вы и сама вся весенняя.

Они уже снова шли рядом.

— Нет, вы опять ошиблись. И как только человек с вашим признанным вами же умом может раз за разом во мне ошибаться? Я — как раз обратное всему весеннему. Если я получилась похожей на идеал сентиментального древнегреческого скульптора, это просто несчастная случайность, но уверяю вас — будь у меня другое лицо, я ушла бы в монастырь и тихо жила… — она ускорила шаг и закончила громче, чтобы он, едва поспевая за ней, мог услышать, — без моих драгоценных малюток, по которым я ужасно соскучилась.

Только с Кларой ему становилось понятно, что женщина может предпочесть ему другого. Не раз он встречал чужих жен, которых знавал молоденькими девушками, и, вглядываясь в них, воображал, что читает в их лицах сожаление:

«Ах, вот если бы я тогда сумела покорить *вас*!» Ах, как много мнил о себе Эмори Блейн!

Но этот вечер был вечером звезд и песен, и светлая душа Клары все еще озаряла пути, пройденные ими вместе.

«Вечер, вечер золотой, — негромко запел он лужицам на тротуаре, — *воздух золотой... золотые мандолины сыплют золото в долины — радость и покой... Золотых переплетений по земле ложатся тени, словно юный бог смертным золото оставил, беззаботно улетая без путей-дорог...»*

Эмори недоволен

Медленно и неотвратимо, а под конец одним мощным всплеском — пока Эмори разговаривал и мечтал — война накатилась на берег и поглотила песок, на котором резвился Принстон. По вечерам в гимнастическом зале теперь гулко топал взвод за взводом, стирая на полу метки от баскетбола. В Вашингтоне, куда Эмори съездил на следующие свободные дни, его ненадолго захватило общее чувство лихорадочного подъема, которое, однако, в спальном вагоне на обратном пути сменилось брезгливым отвращением, потому что через проход от него спали какие-то

неаппетитные чужаки, скорее всего, решил он, греки или русские. Он думал о том, насколько легче дается патриотизм однородным нациям, насколько легче было бы воевать, как воевали американские колонии или Южная конфедерация. Он не заснул в эту ночь, а все слушал, как гогочут и храпят чужаки, наполняя вагон тяжким духом современной Америки.

В Принстоне все шутливо утешали друг друга — а в глубине души и себя — перспективой хотя бы пасть смертью храбрых.

Любители литературы зачитывались Рупертом Бруком; щеголей волновало, разрешит ли правительство офицерам носить военную форму английского образца, иные из закоренелых бездельников направляли прошения в Военный департамент — об освобождении от строевой службы и о тепленьком местечке.

Однажды Эмори после долгого перерыва встретил Бэрна и сразу понял, что спорить с ним бесполезно: Бэрн заделался пацифистом. Социалистические журналы, изучение Толстого и собственное горячее стремление послужить делу, которое потребовало бы всех его душевных сил, определили его окончательное решение ратовать за мир как за личный идеал каждого человека.

— Когда немцы вступили в Бельгию, — начал он, — если бы жители продолжали спокойно заниматься своими делами, германская армия оказалась бы дезорганизованной за какие-нибудь…

— Знаю, — перебил его Эмори. — Все это я слышал. Но я не намерен тебя пропагандировать. Может быть, ты и прав, но еще не пришло и еще сотни лет не придет время, когда непротивление могло бы стать для нас чем-то реальным.

— Но пойми ты, Эмори…

— Что толку спорить.

— Хорошо, не будем.

— Я только одно могу сказать: я не прошу тебя подумать о своей семье, о друзьях — я ведь знаю, что для тебя это нуль по сравнению с чувством долга, — но, Бэрн, не приходило ли тебе в голову, что эти твои журналы, и кружки, и агитаторы, что за всем этим, может быть, стоят немцы?

— В некоторых случаях, конечно, так и есть.

— А может быть, они все за Германию — все эти трусы с немецко-еврейскими фамилиями?

— И это не исключено, — медленно проговорил Бэрн. — Я не могу сказать с уверенностью, в какой мере моя позиция обусловлена пропагандой, которой я наслушался. Мне-то, конечно, кажется,

что это мое глубочайшее убеждение, что другой дороги у меня просто нет.

У Эмори упало сердце.

— Но ты подумай, какая это дешевка. Никто ведь не подвергнет тебя гонениям за твой пацифизм, он всего-то втянет тебя в компанию самых худших…

— Едва ли, — перебил Бэрн.

— Ну а на мой взгляд, все это сильно отдает нью-йоркской богемой.

— Я тебя понимаю, поэтому я еще и не решил, заняться ли мне агитацией.

— Неужели тебя прельщает в одиночку говорить с людьми, которые не захотят тебя слушать, — и это с твоими-то данными!

— Так, вероятно, рассуждал много лет назад великомученик Стефан. Но он стал проповедовать, и его убили. Умирая, он, возможно, подумал, что зря старался. Но, понимаешь, мне-то всегда казалось, что смерть Стефана — это то самое, что вспомнилось Павлу на пути в Дамаск и заставило его идти проповедовать учение Христа по всему миру.

— Ну, дальше.

— А дальше — все. Это мой личный долг. Даже если сейчас я просто пешка, просто жертва

чьих-то козней. Боже ты мой, Эмори, неужели ты думаешь, что я люблю немцев?

— Ну, больше мне сказать нечего — я исчерпал свои доводы насчет непротивления, и передо мной стоит только исполинский призрак человека, такого, какой он есть и каким всегда будет. И этому призраку одинаково импонирует логическая необходимость Толстого и логическая необходимость Ницше… — Эмори осекся. — Ты когда уезжаешь?

— На будущей неделе.

— Значит, еще увидимся.

Они разошлись, и Эмори подумал, что очень похожее выражение было на лице Керри, когда они прощались под аркой Блера два года назад. Он с грустным недоумением спросил себя, почему сам он не способен на такие же элементарно честные поступки, как эти двое.

— Бэрн — фанатик, — сказал он Тому, — и он не прав, и я сильно подозреваю, что он слепое орудие в руках анархистов-издателей и агитаторов на жалованье у немцев, — но я все время о нем думаю — как он мог вот так поставить крест на всем, для чего стоит жить…

Бэрн уехал неделю спустя, как-то трагически-незаметно. Он распродал все свое имущество и

зашел проститься, ведя за руль обшарпанный старый велосипед, на котором решил добираться до родного дома в Пенсильвании.

— Петр-отшельник прощается с кардиналом Ришелье, — изрек Алек, который сидел развалясь у окна, пока Бэрн и Эмори пожимали друг другу руки.

Но Эмори было не до шуток, и, глядя вслед Бэрну, крутящему своими длинными ногами педали нелепого велосипеда, он знал, что ему предстоит очень тоскливая неделя. В вопросе о войне у него сомнений не было, Германия по-прежнему олицетворяла в его глазах все, против чего возмущалась его душа, — грубый материализм и полный произвол власти, — но лицо Бэрна не забывалось, и ему претили истерические выкрики, звучавшие вокруг.

— Какой смысл в том, что все вдруг обрушились на Гёте? — взывал он к Алеку и Тому. — К чему писать книги, доказывающие, что это он развязал войну или что недалекий, перехваленный Шиллер — Сатана в человеческом образе?

— Ты что-нибудь их читал? — лукаво спросил Том.

— Нет, — честно признался Эмори.

— И я нет, — рассмеялся Том.

— Пусть их кричат, — спокойно сказал Алек. — А Гёте все равно стоит на своей полке в библиотеке, чтобы всякий, кому вздумается, мог над ним поскучать.

Эмори промолчал, и разговор перешел на другое.

— Ты в какие части пойдешь, Эмори?

— Пехота или авиация — никак не решу. Технику я терпеть не могу, но авиация для меня, конечно, самое подходящее.

— Вот и я так же думаю, — сказал Том. — Пехота или авиация. Авиация, конечно, — это вроде бы романтическая сторона войны, то, чем в прежнее время была кавалерия; но я, как и Эмори, не отличу поршня от лошадиной силы.

Эмори сознавал, что ему недостает патриотического пыла, и недовольство собой вылилось в попытку возложить ответственность за войну на предыдущее поколение… на тех, кто прославлял Германию в 1870 году, на воинствующих материалистов, на восхвалителей немецкой науки и деловитости. И вот однажды он сидел на лекции по английской литературе, слушал, как лектор цитирует «Локсли-Холл», и с мрачным презрением судил Теннисона и все, что тот собой олицетворял, — потому что считал его викто-

рианцем.

Господа внкторпанцы, чужды вам и скорбь, и гнев,

Ваши дети пожинают ваш безрадостный посев,—

записал Эмори в своем блокноте. Лектор что-то сказал о цельности Теннисона, и пятьдесят студенческих голов склонились над тетрадями. Эмори перевернул страницу и опять стал писать:

Вы дрожали, узнавая то, что Дарвин возвестил,

И когда убрался Ньюмен, и в обычай вальс входил…

Впрочем, вальс появился намного раньше… Эту строку он вычеркнул.

— …и озаглавленное «Песня времен порядка!», — донесся откуда-то издали тягучий голос профессора. «Времен порядка»! Боже ты мой! Все запихнуто в ящик, а викторианцы уселись на крышку и безмятежно улыбаются… И Браунинг на своей вилле в Италии бодро восклицает: «Все к лучшему!» Эмори опять стал писать:

Вы колена в Божьем храме преклоняли

то и знай,

Восхваляли за «доходы», упрекали за Китай.

Почему у него никогда не получается больше одного двустишия зараз? Теперь ему нужна рифма к строке:

Бог спивался, ни пытались вы научно подтвердить…

Ну ладно, пока пропустим.

И полвека жил в Европе всяк из вас, ханжа и сноб,

И считал, что все в порядке, и сходил прилично в гроб.

— К этому в общих чертах сводятся идеи Теннисона, — гудел голос профессора. — Он вполне мог бы озаглавить свое стихотворение, как Суинберн, «Песня времен порядка». Он воспевал порядок в противовес хаосу, в противовес бесплодному растрачиванию сил.

Вот оно, почувствовал Эмори. Он снова перевернул страницу и те двадцать минут, что еще оставались до конца лекции, писал, уже не отрываясь. Потом подошел к кафедре и положил на нее вырванный из тетради листок.

— Это стихи, посвященные викторианцам, сэр, — сказал он сухо.

Профессор с интересом потянулся к листку, Эмори же тем временем быстро вышел из аудитории.

Вот что он написал:

Песни времен порядка —
Вот наследье ваших времен.
Аргументы без заключенья,
В рифмах – на жизнь ответ,
Ключ блюстителей заточенья,
Колокольный старый трезвон…
Завершилась с годами загадка,
А мы – завершенье лет.

Нам – море в разумных пределах,
Крыша неба над низким жильем,
Не для дуэли перчатка,
Пушки, чтоб нас стерегли,
Сотни чувств устарелых
С пошлостью о любом,
Песни времен порядка
И язык, чтобы петь мы могли.

Многое кончилось

Апрель промелькнул как в тумане — в туманной дымке долгих вечеров на веранде клуба, когда в колоннадах граммофон пел «Бедняжку Баттерфляй», любимую песенку минувшего года. Война словно бы и не коснулась их, так могла бы протекать любая весна на старшем курсе, если не считать проводившейся через день военной подготовки, однако Эмори остро ощущал, что это последняя весна старого порядка.

— Это массовый протест против сверхчеловека, — сказал Эмори.

— Наверно, — согласился Алек.

— Сверхчеловек несовместим ни с какой утопией. Пока он существует, покоя не жди, он пробуждает худшие инстинкты у толпы, которая слушает его речи и поддается их влиянию.

— А сам он всего-навсего одаренный человек без моральных критериев.

— Вот именно. Мне кажется, опасность тут вот в чем: раз все это уже бывало в прошлом, когда оно повторится снова? Через полвека после Ватерлоо Наполеон стал для английских школьников таким же героем, как Веллингтон. Почем

знать, может быть, наши внуки будут вот так же возносить на пьедестал Гинденбурга.

— А почему так получается?

— Виновато время, черт его дери, и те, кто пишет историю. Если бы нам только научиться распознавать зло как таковое, независимо от того, рядится ли оно в грязь, в скуку или в пышность…

— О черт, мы, по-моему, только и делали эти четыре года, что крушили все на свете.

А потом настал их последний вечер в Принстоне. Том и Эмори, которым наутро предстояло разъехаться в разные учебные лагеря, привычно бродили по тенистым улочкам и словно все еще видели вокруг знакомые лица.

— Сегодня из-за каждого дерева смотрят призраки.

— Их тут везде полным-полно.

Они постояли у колледжа Литтл, посмотрели, как восходит луна и серебрится в ее сиянии шиферная крыша соседнего здания, а деревья из черных становятся синими.

— Ты знаешь, — шепотом сказал Том, — ведь то, что мы сейчас испытываем, — это чувства всей замечательной молодежи, которая прошумела здесь за двести лет.

От арки Блера донеслись последние звуки ка-

кой-то песни — печальные голоса перед долгой разлукой.

— И то, что мы здесь оставляем, — это нечто большее, чем наши товарищи, это наследие молодости. Мы всего лишь одно поколение, мы разрываем все звенья, которые словно бы связывали нас с поколением, носившим ботфорты и шейные платки. В эти темно-синие ночи мы ведь бродили здесь рука об руку с Бэрром[15] и с Генри Ли...[16] Да, именно темно-синие, — отвлекся он. — Всякое яркое пятно испортило бы их, как ненужная экзотика. Шпили на фоне неба, сулящего рассвет, и синее сияние на шиферных крышах... грустно это... очень.

— Прощай, Аарон Бэрр! — крикнул Эмори, повернувшись к опустевшему Нассау-Холлу. — Нам с тобой случалось заглядывать в причудливые закоулки жизни.

Голос его отозвался эхом в тишине.

— Факелы погасли, — прошептал Том. — О Мессалина, длинные тени минаретами прочертили

---

[15] notes: 15

Бэрр Аарон (1756–1836) — политический деятель времен Войны за независимость, вице-президент США в 1805–1807 гг.

[16] notes: 16

Ли Генри (1756–1818) — генерал американской армии в годы революции.

арену цирка…

На минуту вокруг них зазвучали голоса их первого курса, и они посмотрели друг на друга влажными от слез глазами.

— К черту!

— К черту!

Скользит последний луч. Ласкает он ряд шпилей, солнцем только что залитый, и духи вечера, тоской повиты, запели жалобно под лирный звон в сени дерев, что служат им защитой. Скользит по башням бледный огонек… Сон, грезы нам дарующий, возьми ты, возьми на память лотоса цветок и выжми из него мгновений этих сок.

Средь звезд и шпилей, в замкнутой долине, нам снова лунный лик не просквозит. Зарю желаний время обратит в сиянье дня, не жгущее отныне. Здесь в пламени нашел ты, Гераклит, тобой дарованные предвещанья, и ныне в полночь страсть моя узрит отброшенные тенью средь пыланья великолепие и горечь мирозданья.

Интерлюдия
Май 1917 – февраль 1919

Письмо, помеченное «январь 1918», от монсеньора Дарси Эмори Блейну, младшему лейтенанту 171-го пехотного полка, порт погрузки — лагерь Миллз, Лонг-Айленд.

Дорогой мой мальчик!

Мне нужно знать о тебе одно: что ты жив; для остального мне довольно поворошить свою беспокойную память – градусник, показывающий только подскоки температуры, – и вспомнить, чем я сам был в твоем возрасте. Но людям свойственно болтать языком, и мы с тобой будем по-прежнему перекрикиваться через всю сцену, пока последний занавес не упадет прямо нам на головы. Но ты включил свой подрагивающий волшебный фонарь жизни с тем же примерно набором картинок, какой был у меня, так что мне просто необходимо написать тебе, хотя бы только для того, чтобы возопить о беспредельной человеческой глупости…

Один этап закончен: что бы с тобой ни случилось, ты никогда уже не будешь тем Эмори Блейном, которого я знал, никогда уже мы не встретимся так, как встречались, потому что твое поколение становится суровым и жестким, куда более суровым и жестким, чем суждено было стать моему поколению, вскормленному на легкой пище девяностых годов.

Я тут недавно перечитывал Эсхила, и в божественной иронии «Агамемнона» я нахожу единственную разгадку нашего жестокого века, когда рушится весь мир и ближайшую аналогию можно сыскать только в безнадежной резиньяции древних. Порой я думаю о наших солдатах во Франции как о римских легионерах, посланных за тридевять земель от своего развратного города сдерживать натиск варварских орд… а орды-то несут опасность посерьезнее, чем этот развратный город… еще один удар вслепую по всему человечеству, фурии, которых мы много лет назад вознесли на пьедестал, над чьими трупами мы победно блеяли с начала до конца Викторианской эпохи…

А останется от всего этого мир, насквозь пропитанный материализмом, и – католическая церковь. Я все думаю, как ты найдешь в нем свое место. В одном я уверен: кельтом ты проживешь свою жизнь и кельтом умрешь; так что если ты не используешь небо как неизменное мерило для своих идей, земля будет столь же неизменно опрокидывать твои честолюбивые замыслы.

Эмори, я как-то неожиданно понял, что я старик. Как у всех стариков, у меня были свои фантазии, и я тебе о них расскажу. Я тешил себя выдумкой, что ты мой сын, что, может быть, в молодости я однажды впал в бессознательное состояние и зачал тебя, а когда сознание вернулось – я об этом не помнил… Это инстинкт отцовства, Эмори, ведь безбрачие касается не только плоти, оно глубже…

Иногда мне думается, что мы с тобой потому так похожи, что у нас был общий предок, и я установил, что единственная кровь, общая для семейств Дарси и О'Хара, – это кровь О Донагю… кажется, его звали Стивен…

Когда молния ударяет в одного из нас, она ударяет в обоих: стоило тебе отбыть в порт отправления, как я получил бумаги для поездки в Рим и теперь с минуты на минуту жду указаний, где мне сесть на пароход. Еще до того, как ты получишь это письмо, я буду в пути, а потом настанет и твой черед. Ты пошел на войну, как подобает джентльмену, так же, как пошел в школу и в университет, – потому что так было нужно. Похвальбу и геройские позы вполне медлю оставить на долю средних классов, у них это получается гораздо лучше.

Помнишь ли ты те дни в марте прошлого года, когда ты привозил ко мне из Принстона Бэрна Холидэя? Какой это чудесный юноша! Позже, когда ты мне написал, что я, по его мнению, молодец, меня это просто сразило. Как мог он так обмануться? Вот уж чего нельзя сказать ни про тебя, ни про меня. Допускаю, что мы с тобой незаурядные, умные, можно даже, пожалуй, сказать – блестящие.

Мы способны привлекать к себе людей, создавать атмосферу, способны почти до

конца растворить свои кельтские души в кельтских неуловимостях, почти всегда можем настоять на своем. Но молодцы? Нет, это не о нас.

В Рим я еду с интереснейшим досье и с рекомендательными письмами во все столицы Европы, и когда я там появлюсь, это «произведет впечатление». Эх, если бы я мог взять тебя с собой! Последние строки звучат, пожалуй, несерьезно, не с такими бы словами пожилому священнику обращаться к юноше, уезжающему на войну; единственное мое оправдание в том, что пожилой священник, в сущности, разговаривает с самим собой. Многое у нас с тобой скрыто очень глубоко, и ты не хуже меня знаешь, что именно. У нас обоих есть глубокая вера, хотя у тебя она еще не осознанная; и непомерная честность, которую не уничтожить никакой нашей софистике, и, главное – детская простота души, уберегающая нас от подлинной злобы.

Я написал для тебя ирландский плач, который и прилагаю. Жаль, что твои «ланиты» не соответствуют описанию их,

которое ты там найдешь, вольно ж тебе ночи напролет курить и читать.

Итак, вот мое творение.

Плач по названому сыну, уходящему на войну против чужеземного короля

Ochone

Он ушел от меня сын души моей

В пору золотого расцвета как Энгус Ог

Энгус сияющих птиц

А разум его могуч и тонок подобно разуму Кухулина на Мюиртиме.

Awirra sthrue

Чело его бело как молоко коров из стада королевы Мэйв

Ланиты его алы как вишни с того древа

Что склонилось дабы Мария угостила Сына Божия.

Aveelia Vrone

Кудри его подобны золотому оплечью королей Тары

Очи его подобны четырем серым морям Эрина

Затуманенным дождем.

Mavrone go Gudyo

Он ринется в веселую багряную битву

Среди вождей свершающих великие подвиги

И жизнь его уйдет от него

И ослабнут струны моего сердца.

A Vieh Deelish

Мое сердце это сердце моего сына

И конечно моя жизнь это его жизнь

Можно второй раз быть молодым

Только в сыновьях.

Jia du Yaha Alanav

Да будет Сын Божий над ним и под ним впереди него и сзади него

Да затуманит взор чужеземному королю властитель стихий

Да проведет его владычица милосердия за руку сквозь

гущу его супостатов так что они не

увидят его

Да оградят его надежнее щита Патрик Гэльский

и Колумб Церковный и пять тысяч святых Эрина

Когда он ринется в битву.

Och ochone.

Эмори, Эмори, почему-то я чувствую, что это конец. Один из нас (а может быть, и оба) не переживет эту войну. Я все пытаюсь дать тебе понять, как много значило для меня последние несколько лет это перевоплощение в тебя… поразительно мы с тобой одинаковые… поразительно разные…

Прощай, мой мальчик, да хранит тебя Бог.

Тэйер Дарси

Ночная погрузка

Эмори продвигался по палубе к носу, пока не нашел табуретку под электрической лампой.

Порывшись в карманах, он достал блокнот и карандаш и стал писать, медленно и старательно:

Пора нам в путь…
Мы молча шли по улице пустой,
Где смолк нестройный гам,
И страшен был наш серый, зыбкий строй
Мятущимся теням,
И откликался эхом порт ночной
Размеренным шагам.

Вот палуба… А ветер все смирней.
Уходит призрак-брег —
Там жалкие обломки сотен дней…
Оплачем ли мы бег
Бесплодных лет?
Как пенна моря муть!
А тучи раздались, и небосвод
Небес огни стремятся захлестнуть,
И за кормою клокотанье вод
Нам всеобъемлющий ноктюрн поет
…Пора нам в путь.

Письмо от Эмори, помеченное «Брест, 11

марта 1919 г. — лейтенанту Т. П. Д'Инвильерсу, лагерь Гордон, Джорджия».

Дорогой Бодлер!

Встречаемся в Манхэттене 30-го самого что ни на есть сего месяца, затем подыскиваем себе шикозную квартиру – ты, я и Алек, который в данную минуту находится рядом со мной. Я еще не знаю, чем займусь, но смутно мечтаю посвятить себя политике. Почему это в Англии избранная молодежь из Оксфорда и Кембриджа идет в политику, а мы в США доверяем ее всякому сброду, людям, взращенным на уличных митингах, воспитанным мелкими политиканами, и посланным в Конгресс толстопузым продажным мошенникам, не имеющим «ни идей, ни идеалов», как мы, бывало, выражались на диспутах. Еще сорок лет назад у нас были среди политиков хорошие люди, но нас, нас-то для того воспитали, чтобы мы умели нажить миллион и «показать, из какого мы теста». Иногда я жалею, что я не англичанин, американская жизнь кажется мне до того глупой, бессмысленной

и гигиеничной, что хоть на крик кричи.

Теперь, после смерти бедной Беатрисы, у меня будет немного денег – увы, очень, очень немного. Я могу простить матери почти все, не могу простить одного: незадолго до смерти, в припадке религиозности, она завещала половину того, что у нее еще оставалось, на церковные витражи и стипендии в духовных семинариях. Мистер Бартон, мой поверенный, пишет, что мои тысячи вложены главным образом в акции трамвайных компаний, а оные компании терпят убытки, потому что цена за проезд всего пять центов. Представляешь себе платежную ведомость, по которой неграмотному человеку платят 350 долл. в месяц?! И все же я в это верю, хотя и видел своими глазами, как состояние, некогда весьма приличное, растаяло в результате спекуляций, транжирства, демократического законодательства и подоходных налогов, – да, малютка, я человек современный.

Как бы там ни было, квартира у нас будет первый сорт. Ты можешь получить работу в каком-нибудь журнале мод, Алек

может поступить в ту цинковую компанию, или чем там владеют его родители, – он читает через мое плечо и говорит, что компания медная, но, по-моему, это не имеет значения, а ты как считаешь? Нажиты деньги на цинке или на меди – один черт, коррупция, надо думать, везде одинаковая. Что касается широко известного Эмори, он бы стал писать бессмертные литературные произведения, будь он хоть в чем-нибудь достаточно уверен для того, чтобы сообщить об этом публике. А искусно сформулированная банальщина – это самый опасный дар потомству.

Том, почему бы тебе не принять католичество? Конечно, чтобы стать хорошим католиком, тебе пришлось бы отказаться от бурных романов, в которые ты меня когда-то посвящал, но стихам твоим пошло бы на пользу, если бы в них появились высокие золотые подсвечники и долгие песнопения, и, хотя американское духовенство весьма буржуазно, как любила говорить Беатриса, ты мог бы посещать только церкви самого высокого полета,

и я познакомил бы тебя с монсеньором Дарси, он-то не человек, а чудо.

Смерть Керри я пережил очень тяжело и смерть Джесси тоже, но не настолько. И мне очень, очень хотелось бы узнать, в каких несусветных потемках затерялся Бэрн. Как ты думаешь, может быть, он сидит в тюрьме под вымышленным именем? Покаюсь тебе, война не сделала меня правоверным, что было бы законной реакцией, а, наоборот, превратила в рьяного агностика. Католической церкви за последнее время так часто подрезали крылья, что в войне она играла робкую, почти незаметную роль, и хороших писателей у католиков не осталось. Честертоном я сыт по горло.

Мне попался всего один солдат, который пережил столь широко разрекламированное духовное обновление наподобие этого Доналда Хэнки, к тому же тот, которого я знал, еще до войны готовился принять сан, так что он уже и для духовного обновления созрел. Честно говоря, по-моему, все это чушь, хотя для тех, кто оставался дома, это, видимо, по-

служило своего рода сентиментальным утешением и, возможно, заставит многих родителей оценить по достоинству своих детей. Этакая религиозность под влиянием катастрофы никакой ценности не представляет и в лучшем случае недолговечна. Думаю, что на каждого солдата, открывшего для себя Бога, приходится четыре, которые открыли Париж.

Номы – ты, я и Алек, – мы заведем, черт возьми, слугу японца и будем переодеваться к обеду, и пить вино, и вести бесстрастную созерцательную жизнь. Ох, лишь бы хоть что-нибудь случилось! Я себе места не нахожу от тревоги и безумно боюсь растолстеть или влюбиться и стать семьянином.

Поместье в Лейк-Джинева будет сдано в аренду.

Сразу, как вернусь, съезжу на Запад, повидаюсь с мистером Бартоном и узнаю от него все подробности. Пиши мне на отель «Блекстон» в Чикаго.

Засим остаюсь, дорогой Босуэлл,

Сэмюел Джонсон.

Книга вторая
Воспитание личности
Глава I
Ее первый бал

Время действия — февраль. Место действия — большая нарядная спальня в особняке Коннеджей на Шестьдесят восьмой улице в Нью-Йорке. Комната явно девичья: розовые стены и занавески, розовое покрывало на кремовой кровати. Вся комната выдержана в розовых и кремовых тонах, но из обстановки прежде всего бросается в глаза роскошный туалетный стол со стеклянной крышкой и трехстворчатым зеркалом. На стенах — дорогая гравюра с картины «Спелые вишни», несколько вежливых собачек Лендсира и «Король Черных островов» Максфилда Пэрриша[17].

Страшный беспорядок, а именно: 1) семь-восемь пустых картонок, из пасти которых свисают, пыхтя, языки папиросной бумаги; 2) гора уличных

---

[17] notes: 17

Пэрриш Максфилд (1870–1966) — американский художник, иллюстратор и декоратор, прославившийся в начале века как поборник современного стиля в искусстве.

костюмов вперемешку с вечерними платьями — все лежат на столе, все, несомненно, новые; 3) рулон тюля, потерявший всякое самоуважение и раболепно обвившийся вокруг всевозможных предметов; 4) на двух изящных стульчиках — стопки белья, не поддающегося подробному описанию. Возникает желание узнать, в какую сумму обошлось все это великолепие, и еще большее желание увидеть принцессу, для которой… Вот! Кто-то входит. Какое разочарование! Это всего лишь горничная, она что-то ищет. Под одной кучкой белья — нет. Под другой, на туалете, в ящиках шифоньерки. Мелькают несколько очень красивых ночных рубашек и сногсшибательная пижама, но это не то, что ей нужно. Уходит.

Из соседней комнаты слышна неразборчивая воркотня. Теплее. Это мать Алека, миссис Коннедж, пышная, важная, нарумяненная и вконец замученная. Губы ее выразительно шевелятся, она тоже принимается искать. Ищет не так старательно, как горничная, но зато яростнее. Спотыкается о размотавшийся тюль и отчетливо произносит: «О черт». Удаляется с пустыми руками.

Опять разговор за сценой, и девичий голос, очень избалованный голос, произносит: «В жизни не

видела таких безмозглых...»

Входит третья искательница — не та, что с избалованным голосом, а другое издание, помоложе. Это Сесилия Коннедж, шестнадцати лет, хорошенькая, смышленая и от природы незлобивая. Она уже одета для вечера, и нарочитая простота ее платья, вероятно, ей не по душе. Подходит к ближайшей стопке белья, выдергивает из нее что-то маленькое, розовое и любуется, держа на вытянутой руке.

С е с и л и я. Розовый?

Р о з а л и н д а *(за сценой)*. Да.

С е с и л и я. Очень модный?

Р о з а л и н д а. Да.

С е с и л и я. Нашла! *(Бросает на себя взгляд в зеркало и от радости начинает танцевать шимми.)*

Р о з а л и н д а *(за сценой).* Что ты там делаешь? На себя примеряешь?

Сесилия, перестав танцевать, выходит, унося добычу на правом плече.

Из другой двери входит Алек Коннедж. Быстро оглядевшись, зовет зычным голосом: «Мама!» В соседней комнате хор протестующих голосов, он делает шаг в ту сторону, но останавлива-

ется, потому что голоса протестуют громче прежнего.

А л е к. Так вот где вы все попрятались! Эмори Блейн приехал.

С е с и л и я *(живо).* Уведи его вниз.

А л е к. А он и есть внизу.

М и с с и с К о н н е д ж. Так покажи ему, где расположиться. Передай, что я очень жалею, но сейчас не могу к нему выйти.

А л е к. Он и так обо всех вас все знает. Вы там поскорее. Папа просвещает его относительно войны, и он уже грызет удила. Он, знаете ли, очень темпераментный.

Последние слова заинтересовали Сесилию, она входит.

С е с и л и я *(усаживается прямо на кучки белья).* В каком смысле темпераментный? Ты и в письмах так о нем отзывался.

А л е к. Ну, пишет всякие произведения.

С е с и л и я. А на рояле играет?

А л е к. Кажется, нет.

С е с и л и я *(задумчиво).* Пьет?

А л е к. Да. Он не сумасшедший.

С е с и л и я. Богат?

А л е к. О господи, это ты спроси у него. Семья бы-

ла богатая, и сейчас какой-то доход у него есть.

Появляется миссис Коннедж.

М и с с и с К о н н е д ж. Алек, мы, конечно, очень рады принять любого твоего товарища…

А л е к. С Эмори-то, во всяком случае, стоит познакомиться.

М и с с и с К о н н е д ж. Конечно, с удовольствием. Но мне кажется, это чистое ребячество с твоей стороны — когда можно жить с семьей, в хорошо поставленном доме, поселиться с двумя другими молодыми людьми в какой-то немыслимой квартире. Надеюсь, вы придумали это не для того, чтобы пить без всяких ограничений. *(Пауза.)* Сегодня мне, правда, не до него. Эта неделя посвящена Розалинде. Когда у девушки первый большой бал, ей следует уделять внимание в первую очередь.

Р о з а л и н д а *(за сценой).* Ты докажи это. Пойди сюда и застегни мне крючки.

Миссис Коннедж уходит.

А л е к. Розалинда ничуть не изменилась.

С е с и л и я *(понизив голос).* Она ужасающе избалована.

А л е к. Ну, сегодня ей найдется кто-то под па-

ру.

С е с и л и я. Мистер Эмори Блейн?

Алек кивает.

Пока что Розалинду еще никто не перещеголял. Честное слово, Алек, она просто жутко обращается с мужчинами. Ругает их, подводит, не является на свидания и зевает им прямо в лицо — а они возвращаются и просят добавки.

А л е к. Им только того и надо.

С е с и л и я. Ничего подобного. Она… она, по-моему, вроде вампира, и от девушек она тоже обычно добивается всего, что ей нужно, только девушек она терпеть не может.

А л е к. Сильная личность — это у нас семейное.

С е с и л и я *(смиренно).* На меня этой силы, наверно, не хватило.

А л е к. А ведет она себя прилично?

С е с и л и я. Да не очень. А в общем — ничего особенного, как все. Курит понемножку, пьет пунш, часто целуется… да-да, это все знают, это, понимаешь, одно из последствий войны.

Входит миссис Коннедж.

М и с с и с К о н н е д ж. Розалинда почти готова,

теперь я могу сойти вниз и познакомиться с твоим товарищем.

Мать и сын уходят.

Р о з а л и н д а *(за сценой).* Ах да, мама…
С е с и л и я. Мама пошла вниз.

И вот входит Розалинда. Розалинда до кончиков ногтей. Это одна из тех девушек, которым не требуется ни малейших усилий для того, чтобы мужчины в них влюблялись. Участи этой обычно избегают два типа мужчин: недалеких мужчин страшит ее живой ум, а мужчин интеллектуального склада страшит ее красота. Все остальные — ее рабы по праву сильнейшего.

Если бы Розалинду можно было избаловать, этот процесс был бы уже завершен; и в самом деле, характер у нее не идеальный; если уж ей чего-нибудь хочется, так вынь да положь, и, когда ее желание оказывается невыполнимым, она умеет отравить существование всем окружающим. Но баловство не вконец ее испортило. Способность радоваться, желание расти и учиться, беспредельная вера в неисчерпаемость романтики, мужество и честность по большому счету — все это осталось при ней.

Бывает, что она подолгу ненавидит все свое

семейство. Твердых принципов у нее не имеется, жизненная философия сводится к carpe diem[18] *для себя и Laissez-faire*[19] *для других. Она обожает нецензурные анекдоты: в ней нет-нет да и проявляется грубоватость, свойственная широким натурам. Она хочет нравиться, но осуждение ничуть ее не заботит и никак не влияет на нее.*

Примерной ее не назовешь.

Образование для красивой женщины — это умение разбираться в мужчинах. Один мужчина за другим не оправдывал ее ожиданий, но в мужчин вообще она верила свято. Зато женщин терпеть не могла. Они воплощали те свойства, которые она чувствовала и презирала в себе, — потенциальную подлость, самомнение, трусость и нечестность по мелочам. Однажды она объявила целой группе дам, сидевших в гостях у ее матери, что женщин можно терпеть только потому, что они вносят в среду мужчин необходимый элемент легкого волнения. Танцевала она восхитительно, рисовала мило, но небрежно и обладала редкостной легкостью слога, которую использовала только в любовных письмах.

---

[18] notes: 18
Лови мгновенье (*лат.*).

[19] notes: 19
Не мешай жить по-своему (*фр.*).

Но перед красотой Розалинды всякая критика умолкает. Роскошные волосы того особого желтого оттенка, на подражании которому богатеет наша красильная промышленность. Просящий поцелуев рот, небольшой, немного чувственный, бесконечно волнующий. Серые глаза и безупречной белизны кожа, на которой вспыхивает и гаснет нежный румянец. Была она тоненькая, гибкая, но крепкая, с хорошо развитой фигурой, и чистым наслаждением было смотреть, как она движется по комнате, идет по улице, замахивается клюшкой для гольфа, а то и пройдется колесом.

И последняя поправка — ее живость, непосредственность были свободны от того налета лицедейства, который Эмори усмотрел в Изабелле. Монсеньор Дарси сильно затруднился бы, как ее назвать — индивидуумом или личностью. Возможно, она была бесценным, раз в сто лет встречающимся сплавом того и другого.

Сегодня, в день своего первого большого бала, она, несмотря на свою умудренность, всего-навсего счастливая девочка. Горничная матери только что причесала ее, но она тут же решила, что сама сумеет причесаться гораздо лучше. От волнения она не может ни минуты посидеть на

месте. Поэтому мы и увидели ее в этой неприбранной комнате. Сейчас она заговорит. Низкие модуляции Изабеллы напоминали скрипку, но доведись вам услышать голос Розалинды, вы бы сказали, что он мелодичен, как водопад.

Р о з а л и н д а. Честное слово, я только в двух нарядах чувствую себя хорошо — в кринолине и в купальном костюме. В том и другом я выгляжу очаровательно.

С е с и л и я. Рада, что выплываешь в свет?

Р о з а л и н д а. Очень, а ты?

С е с и л и я *(безжалостно)*. Ты рада, потому что сможешь теперь выйти замуж и жить на Лонг-Айленде среди «наших молодых супружеских пар современного типа». Ты хочешь, чтобы жизнь у тебя была цепочкой флиртов — что ни звено, то новый мужчина.

Р о з а л и н д а. «Хочу»! Ты лучше скажи, что так оно и есть, и я в этом давно убедилась.

С е с и л и я. Уж будто!

Р о з а л и н д а. Сесилия, крошка, тебе не понять, до чего это тяжело быть… такой, как я. На улице я должна сохранять каменное лицо, чтобы мужчины мне не подмигивали. В театре, если я рассмеюсь, комик потом весь вечер играет только для меня. Если на танцах я скажу что-то шепотом,

или опущу глаза, или уроню платок, мой кавалер потом целую неделю изо дня в день звонит мне по телефону.

С е с и л и я. Да, это, должно быть, утомительно.

Р о з а л и н д а. И, как назло, единственные мужчины, которые меня хоть сколько-нибудь интересуют, абсолютно не годятся для брака. Будь я бедна, я пошла бы на сцену.

С е с и л и я. Правильно. Ты и так все время играешь, так пусть бы хоть деньги платили.

Р о з а л и н д а. Иногда, когда я бываю особенно неотразима, мне приходит в голову — к чему растрачивать все это на одного мужчину?

С е с и л и я. А я, когда ты бываешь особенно не в духе, часто думаю: к чему растрачивать все это на одну семью? *(Встает.)* Пойду, пожалуй, вниз, познакомлюсь с мистером Эмори Блейном. Люблю темпераментных мужчин.

Р о з а л и н д а. Таких нет в природе. Мужчины не умеют ни сердиться, ни наслаждаться по-настоящему, а те, что умеют, тех хватает ненадолго.

С е с и л и я. У меня-то, к счастью, твоих забот нет. Я помолвлена.

Р о з а л и н д а *(с презрительной улыбкой)*. По-

молвлена? Ах ты, глупышка! Если бы мама такое услышала, она бы отправила тебя в закрытую школу, где тебе и место.

С е с и л и я. Но ты ей не расскажешь, потому что я тоже могла бы кое-что рассказать, а это тебе не понравится, тебе твое спокойствие дороже.

Р о з а л и н д а *(с легкой досадой)*. Ну, беги, малышка. А с кем это ты помолвлена? С тем молодым человеком, который развозит лед, или с тем, что держит кондитерскую лавочку?

С е с и л и я. Дешевое остроумие! Счастливо оставаться, дорогая, мы еще увидимся.

Р о з а л и н д а. Надеюсь, ведь ты моя единственная опора.

Сесилия уходит. Розалинда, закончив прическу, встает, напевая. Потом начинает танцевать перед зеркалом, на мягком ковре. Она смотрит не на свои ноги, а на глаза, смотрит внимательно, даже когда улыбается. Внезапно дверь отворяется рывком и снова захлопывается. Вошел Эмори, как всегда очень спокойный и красивый. Секунда замешательства.

О н. Ох, простите! Я думал…

О н а *(с лучезарной улыбкой)*. Вы — Эмори Блейн?

О н *(рассматривая ее)*. А вы — Розалинда?

О н а. Я буду называть вас Эмори. Да вы входите, не бойтесь, мама сейчас придет… *(едва слышно)* к сожалению.

О н *(оглядываясь по сторонам)*. Это для меня что-то новое.

О н а. Это — «ничья земля».

О н. Это здесь вы… *(Пауза.)*

О н а. Да, тут все мое. *(Подходит к туалетному столу.)* Вот видите — мои румяна, мой карандаш для бровей.

О н. Я не думал, что вы такая.

О н а. А чего вы ждали?

О н. Я думал, вы… ну, как бы бесполая — играете в гольф, плаваете…

О н а. А я этим и занимаюсь, только не в приемные часы.

О н. Приемные часы?

О н а. От шести вечера до двух ночи. Ни минутой дольше.

О н. Я не прочь войти пайщиком в эту корпорацию.

О н а. А это не корпорация — просто «Розалинда, компания с неограниченной ответственностью». Пятьдесят один процент акций, имя, стоимость фирмы и все прочее оценивается в двадцать пять

тысяч годового дохода.

О н *(неодобрительно).* Холодноватое, я бы сказал, начинание.

О н а. Но вам от этого ни холодно ни жарко, Эмори, верно? Когда я встречу человека, который за две недели не надоест мне до смерти, кое-что, возможно, изменится.

О н. Забавно, вы держитесь такой же точки зрения на мужчин, как я — на женщин.

О н а. Я-то, понимаете, не типичная женщина… по складу ума.

О н *(заинтригован)*. Продолжайте.

О н а. Нет, лучше вы — вы продолжайте. Вы заставили меня заговорить о себе. А это против правил.

О н. Правил?

О н а. Моих правил. Но вы… Ах, Эмори, я слышала, что вы блестящий человек. Мои родные так много от вас ждут.

О н. Это вдохновляет!

О н а. Алек говорит, что вы научили его думать. Это правда? Мне казалось, что на это никто не способен.

О н. Нет. На самом деле я очень заурядный. *(Явно с расчетом, что это не будет принято всерьез.)*

О н а. Не верю.

О н. Я… я религиозен… я причастен к литературе, я… даже пишу стихи.

О н а. Вольным стихом? Прелестно! *(Декламирует.)*

Деревья зеленые,
На деревьях поют птицы,
Девушка маленькими глотками пьет яд,
Птица улетает, девушка умирает.

О н *(смеется).* Нет, не такие.

О н а *(неожиданно).* Вы мне нравитесь.

О н. Не надо.

О н а. И такая скромность…

О н. Я вас боюсь. Я любой девушки боюсь — пока не поцелую ее.

О н а *(назидательно).* Сейчас не военное время.

О н. Значит, я всегда буду вас бояться.

О н а *(не без грусти).* Видимо, так.

Оба минуту колеблются.

О н *(обдумав все за и против).* Я понимаю, это чудовищная просьба…

О н а *(заранее зная продолжение).* После пяти минут знакомства.

О н. Но прошу вас, поцелуйте меня. Или бои-

тесь?

О н а. Я ничего не боюсь, но ваши доводы как-то не убеждают.

О н. Розалинда, я так хочу вас поцеловать.

О н а. Я тоже.

Поцелуй — долгий, на совесть.

О н *(переводя дух).* Ну как, удовлетворили свое любопытство?

О н а. А вы?

О н. Нет, оно только-только проснулось. *(Видно, что он не лжет.)*

О н а *(мечтательно).* Я целовалась с десятками мужчин. Впереди, скорей всего, еще десятки.

О н *(рассеянно).* Да, это вы могли.

О н а. Почти всем нравится со мной целоваться.

О н *(спохватившись).* Господи, а как же иначе! Поцелуйте меня еще, Розалинда!

О н а. Нет, мое любопытство обычно удовлетворяется с первого раза.

О н *(обескуражен).* Это правило?

О н а. Я создаю правила для каждого случая.

О н. У нас с вами есть кое-что общее — только я, конечно, намного старше и опытнее.

О н а. Вам сколько лет?

О н. Скоро двадцать три. А вам?

О н а. Девятнадцать — только что исполнилось.

О н. Вы, надо полагать, продукт какой-нибудь фешенебельной школы?

О н а. Нет, я, можно сказать, сырой материал. Из Спенса меня исключили, за что — не помню.

О н. А вообще вы какая?

О н а. Ну — яркая, эгоистка, возбудима, люблю поклонение…

О н *(перебивая)*. Я не хочу в вас влюбиться.

О н а *(вздернув брови).* А вас никто и не просил.

О н *(невозмутимо продолжает).* Но, вероятно, влюблюсь. У вас чудесный рот.

О н а. Чш! Ради бога, не влюбляйтесь в мой рот. Волосы, плечи, туфли — что угодно, только не рот. Все влюбляются в мой рот.

О н. Не удивительно, он очень красивый.

О н а. Слишком маленький.

О н. Разве? По-моему, нет.

Снова целует ее, также на совесть.

О н а *(слегка взволнованная).* Скажите что-нибудь милое.

О н *(испуганно).* О господи!

О н а *(отодвигаясь).* Ну и не надо — если это

так трудно.

О н. Начнем притворяться? Уже?

О н а. У нас для времени не такие мерки, как у других.

О н. Вот видите — уже появились «другие».

О н а. Давайте притворяться.

О н. Нет, не могу — это сантименты.

О н а. А вы не сентиментальны?

О н. Нет. Я — романтик. Человек сентиментальный воображает, что любовь может длиться, — романтик вопреки всему надеется, что конец близко. Сентиментальность — это эмоции.

О н а. А вы не эмоциональны? *(Опустив веки.)* Вам, вероятно, кажется, что вы до этого не снисходите?

О н. Нет, я… Розалинда, Розалинда, не надо спорить. Поцелуйте меня.

О н а *(на этот раз совсем холодно).* Нет — не чувствую такого желания.

О н *(откровенно уязвленный).* Но минуту назад вам хотелось меня целовать.

О н а. А сейчас не хочется.

О н. Мне лучше уйти.

О н а. Пожалуй.

Он направляется к двери.

Ах да!

Он оборачивается.

(Смеясь.) Очко. Счет — сто — ноль в пользу нашей команды.

Он делает шаг назад.

(Быстро.) Дождь, игра отменяется.

Он уходит. Она спокойно идет к шифоньерке, достает портсигар и прячет в боковом ящике письменного столика. Входит ее мать с блокнотом в руке.

М и с с и с К о н н е д ж. Хорошо, что ты здесь. Я хотела поговорить с тобой, прежде чем мы сойдем вниз.

Р о з а л и н д а. Боже мой! Ты меня пугаешь.

М и с с и с К о н н е д ж. Розалинда, ты в последнее время обходишься нам недешево.

Р о з а л и н д а *(смиренно).* Да.

М и с с и с К о н н е д ж. И тебе известно, что состояние твоего отца не то, что было раньше.

Р о з а л и н д а *(с гримаской).* Очень тебя прошу, не говори о деньгах.

М и с с и с К о н н е д ж. А без них — шагу ступить нельзя. В этом доме мы доживаем последний год

— и, если так пойдет дальше, у Сесилии не будет тех возможностей, какие были у тебя.

Р о з а л и н д а *(нетерпеливо).* Ну, так что ты хотела сказать?

М и с с и с К о н н е д ж. Будь добра прислушаться к нескольким моим пожеланиям, которые я тут записала в блокноте. Во-первых, не прячься по углам с молодыми людьми. Допускаю, что иногда это удобно, но сегодня я хочу, чтобы ты была в бальной зале, где я в любую минуту могу тебя найти. Я хочу познакомить тебя с несколькими гостями, и мне не улыбается разыскивать тебя за кустами в зимнем саду, когда ты болтаешь глупости — или выслушиваешь их.

Р о з а л и н д а *(язвительно).* Да, «выслушиваешь» — это вернее.

М и с с и с К о н н е д ж. А во-вторых, не трать столько времени попусту со студентами — мальчиками по девятнадцать — двадцать лет. Почему не побывать на университетском балу или на футбольном матче? Против этого я не возражаю. Но ты, вместо того чтобы ездить в гости в хорошие дома, закусываешь в дешевых кафе с первыми встречными…

Р о з а л и н д а *(утверждая собственный кодекс, по-своему не менее возвышенный, чем у матери).*

Мама, сейчас все так делают, нельзя же равняться на девяностые годы.

М и с с и с К о н н е д ж *(не слушая).* Есть несколько друзей твоего отца, холостых, с которыми я хочу тебя сегодня познакомить, люди еще не старые.

Р о з а л и н д а *(умудренно кивает).* Лет на сорок пять?

М и с с и с К о н н е д ж *(резко).* Ну и что ж?

Р о з а л и н д а. Да нет, ничего, они знают жизнь и напускают на себя такой обворожительно усталый вид. *(Качает головой.)* Ипритом непременно желают танцевать.

М и с с и с К о н н е д ж. С мистером Блейном я еще незнакома, но едва ли он тебя заинтересует. Судя по рассказам, он не умеет наживать деньги.

Р о з а л и н д а. Мама, я никогда не думаю о деньгах.

М и с с и с К о н н е д ж. Тебе некогда о них думать, ты их только тратишь.

Р о з а л и н д а *(вздыхает).* Да, когда-нибудь я, скорее всего, выйду замуж за целый мешок с деньгами — просто от скуки.

М и с с и с К о н н е д ж *(заглянув в блокнот).* Я получила телеграмму из Хартфорда. Досон Райдер сегодня будет в Нью-Йорке. Вот это приятный

молодой человек, и денег куры не клюют. Мне кажется, что раз Хауорд Гиллеспи тебе надоел, ты могла бы обойтись с мистером Райдером поласковее. Он за месяц уже третий раз сюда приезжает.

Р о з а л и н д а. Откуда ты знаешь, что Хауорд Гиллеспи мне надоел?

М и с с и с К о н н е д ж. У бедного мальчика теперь всегда такие грустные глаза.

Р о з а л и н д а. Это был один из моих романтических флиртов довоенного типа. Они всегда кончаются ничем.

М и с с и с К о н н е д ж (*она свое сказала).* Как бы то ни было, сегодня мы хотим тобой гордиться.

Р о з а л и н д а. Разве я, по-вашему, не красива?

М и с с и с К о н н е д ж. Это ты и сама знаешь.

Снизу доносится стон настраиваемой скрипки, рокот барабана. Миссис Коннедж быстро поворачивается к двери.

Пошли!

Р о з а л и н д а. Иди, я сейчас.

Мать уходит. Розалинда, подойдя к зеркалу, с одобрением себя рассматривает. Целует свою руку и прикасается ею к отражению своего рта в зеркале. Потом гасит лампы и выходит из

комнаты. Тишина. Аккорды рояля, приглушенный стук барабана, шуршание нового шелка — все эти звуки, слившись воедино на лестнице, проникают сюда через приоткрытую дверь. В освещенном коридоре мелькают фигуры в манто. Внизу кто-то засмеялся, кто-то подхватил, смех стал общим. Потом кто-то входит в комнату, включает свет. Это Сесилия. Подходит к шифоньерке, заглядывает в ящики, подумав, направляется к столику и достает из него портсигар, а оттуда — сигарету. Закуривает и, старательно втягивая и выпуская дым, идет к зеркалу.

С е с и л и я *(пародируя светскую львицу)*. О да, в наше время эти «первые» званые вечера — не более как фарс. Столько успеваешь повеселиться еще до семнадцати лет, что это больше похоже на конец, чем на начало. *(Пожимает руку воображаемому титулованному мужчине средних лет.)* Да, ваша светлость, помнится, мне говорила о вас моя сестра. Хотите закурить? Сигареты хорошие. Называются… называются «Корона». Не курите? Какая жалость! Наверно, вам король не разрешает?.. Да, пойдемте танцевать. *(И пускается танцевать по всей комнате под музыку, доносящуюся снизу, протянув руки к невидимому кавалеру, зажав в пальцах сигарету.)*

Спустя несколько часов

Маленькая гостиная на первом этаже, почти полностью занятая очень удобной кожаной тахтой. В потолке две неяркие лампы, а посредине, над тахтой, висит писанный маслом портрет очень старого, очень почтенного джентльмена, одетого по моде 1860-х годов.

За сценой звучит музыка фокстрота.

Розалинда сидит на тахте, слева от нее — Хауорд Гиллеспи, нудный молодой человек лет двадцати четырех. Он явно страдает, а ей очень скучно.

Г и л л е с п и *(вяло).* В каком смысле я изменился? К вам я отношусь все так же.

Р о з а л и н д а. А мне вы кажетесь другим.

Г и л л е с п и. Три недели назад вы говорили, что я вам нравлюсь, потому что я такой пресыщенный, такой равнодушный, — я и сейчас такой.

Р о з а л и н д а. Только не по отношению ко мне. Раньше вы мне нравились, потому что у вас карие глаза и тонкие ноги.

Г и л л е с п и *(беспомощно*). Они и сейчас карие и тонкие. А вы просто кокетка, вот и все.

Р о з а л и н д а. Кокетки меня интересуют только те, что в модных журналах. Мужчин обычно сбивает с толку то, что я вполне естественна. Я-то думала, что вы никогда не ревнуете. А вы теперь глаз с меня не спускаете, куда бы я ни пошла.

Г и л л е с п и. Я вас люблю.

Р о з а л и н д а *(холодно)*. Знаю.

Г и л л е с п и. И вы уже две недели не даете себя поцеловать. Мне казалось, что после того, как девушку поцелуешь, она… она завоевана.

Р о з а л и н д а. Это в прежнее время так было. Меня каждый раз надо завоевывать сызнова.

Г и л л е с п и. Вы шутите?

Р о з а л и н д а. Как всегда, не больше и не меньше. Раньше были поцелуи двух сортов: либо девушку целовали и бросали, либо целовали и объявляли о помолвке. А теперь есть новая разновидность — не девушку, а мужчину целуют и бросают. В девяностых годах, если мистер Джонс похвалялся, что поцеловал девушку, всем было ясно, что он с ней покончил. Если тем же похваляется мистер Джонс выпуска тысяча девятьсот двадцатого года, всем понятно, что ему, значит, больше не разрешается ее целовать. В наше время девушка, стоит ей удачно начать, всегда перещеголяет мужчину.

Г и л л е с п и. Так зачем вы играете мужчинами?

Р о з а л и н д а *(наклонясь к нему, доверительно)*. Ради первой секунды — пока ему только любопытно. Есть такая секунда — как раз перед первым поцелуем, — одно шепотом сказанное слово, что-то неуловимое, ради чего стоит все это затевать.

Г и л л е с п и. А потом?

Р о з а л и н д а. А потом заставляешь его заговорить о себе. Скоро он уже только о том и думает, как бы остаться с тобой наедине, — он дуется, не пробует бороться, не хочет играть — победа!

Входит Досои Райдер — двадцати шести лет, красив, богат, знает себе цену, скучноват, пожалуй, но надежен и уверен в успехе.

Р а й д е р. По-моему, этот танец за мной, Розалинда.

Р о з а л и н д а. Как приятно, что вы меня узнали, Досон. Значит, я не слишком накрашена. Познакомьтесь: мистер Райдер — мистер Гиллеспи.

Они пожимают друг другу руки, и Гиллеспи уходит, погрузившись в бездну уныния.

Р а й д е р. Что и говорить, ваш вечер — боль-

шая удача.

Р о з а л и н д а. Да, кажется… Не берусь об этом судить. Я устала… Посидим немного, вы не против?

Р а й д е р. Против? Да я в восторге. Вы же знаете, я ненавижу торопиться и торопить других. Лучше видеться с девушкой вчера, сегодня, завтра.

Р о з а л и н д а. Досон!

Д о с о н. Что?

Р о з а л и н д а. Интересно, вы понимаете, что влюблены в меня?

Р а й д е р *(поражен)*. О, вы замечательная девушка.

Р о з а л и н д а. А то ведь со мной, знаете ли, сладить трудно. Тот, кто на мне женится, не будет знать ни минуты покоя. Я скверная, очень скверная.

Р а й д е р. Ну, этого я бы не сказал.

Р о з а л и н д а. Правда, правда — особенно по отношению к самым близким людям. *(Встает.)* Пошли. Я передумала, хочу танцевать. Мама там, наверное, уже голову потеряла.

Уходят. Входят Алек и Сесилия.

С е с и л и я. Вот уж повезло — в перерыве между танцами оказаться с родным братом.

А л е к *(мрачно).* Пожалуйста, могу уйти.

С е с и л и я. Ни в коем случае. С кем же мне тогда начинать следующий танец? *(Вздыхает.)* С тех пор как уехали французские офицеры, балы уже стали не те.

А л е к *(хмурясь).* Я не хочу, чтобы Эмори влюбился в Розалинду.

С е с и л и я. Да? А мне казалось, что ты именно этого хочешь.

А л е к. Я и хотел, но как посмотрел на этих девиц, что-то засомневался. Эмори мне очень дорог. Он уязвимая натура, и я вовсе не хочу, чтобы сердце у него оказалось разбитым из-за девушки, которой он безразличен.

С е с и л и я. Он очень красивый.

А л е к *(все еще хмурясь*). Замуж она за него не выйдет, но разбить человеку сердце можно и без этого.

С е с и л и я. Чем она их привораживает? Хорошо бы узнать секрет.

А л е к. Ах ты, хладнокровный котенок. Счастье еще, что у тебя нос курносый, а то никому бы спасения не было.

Входит миссис Коннедж.

М и с с и с К о н н е д ж. Господи, да где же

Розалинда?

А л е к *(в тоне милой шутки)*. Да уж, ты знала, у кого спросить. С кем же ей быть, как не с нами!

М и с с и с К о н н е д ж. Отец созвал восемь холостых миллионеров, специально чтобы представить ей.

А л е к. Ты их построй по ранжиру, и шагом марш по всему дому.

М и с с и с К о н н е д ж. Я не шучу — с нее станется в вечер первого бала удрать с каким-нибудь футболистом в кафе «Кокос». Ты пойди влево, а я…

А л е к *(непочтительно)*. А может, тебе лучше послать дворецкого поискать в погребе?

М и с с и с К о н н е д ж *(на полном серьезе)*. Неужели ты думаешь, что она там?

С е с и л и я. Да он шутит, мама.

А л е к. Мама уже представила себе, как она пьет пиво прямо из бочки с каким-нибудь чемпионом.

М и с с и с К о н н е д ж. Пойдемте же, пойдемте ее искать.

Уходят. Входят Розалинда и Гиллеспи.

Г и л л е с п и. Розалинда, я вас спрашиваю еще раз — неужели я вам совершенно безразличен?

Быстро входит Эмори.

Э м о р и. Этот танец за мной.

Р о з а л и н д а. Мистер Гиллеспи, это мистер Блейн, познакомьтесь.

Г и л л е с п и. Мы с мистером Блейном встречались. Вы ведь из Лейк-Джинева?

Э м о р и. Да.

Г и л л е с п и *(хватаясь за соломинку)*. Я там бывал. Это… это на Среднем Западе, так, кажется?

Э м о р и *(с издевкой).* Более или менее. Но меня всегда больше прельщало быть провинциальным рагу с перцем, чем пресной похлебкой.

Г и л л е с п и. Что?!

Э м о р и. О, прошу не принимать на свой счет.

Гиллеспи, отвесив поклон, удаляется.

Р о з а л и н д а. Очень уж он примитивен.

Э м о р и. Я когда-то был влюблен в такой вот примитив.

Р о з а л и н д а. В самом деле?

Э м о р и. Да-да, ее звали Изабелла — и ничего в ней не было, кроме того, чем я сам ее наделил.

Р о з а л и н д а. И что получилось?

Э м о р и. В конце концов я убедил ее, что мне до нее далеко, — и тогда она дала мне отставку. Заявила, что я все на свете критикую и к тому же

непрактичен.

Р о з а л и н д а. В каком смысле непрактичен?

Э м о р и. Ну, понимаете, вести автомобиль могу, а шину сменить не сумею.

Р о з а л и н д а. Что вы намерены делать в жизни?

Э м о р и. Да еще не знаю, избираться в президенты, писать…

Р о з а л и н д а. Гринич-Виллидж?

Э м о р и. Боже сохрани, я сказал «писать», а не «пить».

Р о з а л и н д а. Я люблю деловых людей. Умные мужчины обычно такие невзрачные.

Э м о р и. Мне кажется, что я вас знал тысячу лет.

Р о з а л и н д а. Ой, сейчас начнется рассказ про пирамиды!

Эмори. Нет, у меня была в мыслях Франция. Я был Людовиком XIV, а вы — одной из моих… моих… *(Совсем другим тоном.)* А что, если нам влюбиться друг в друга?

Р о з а л и н д а. Я предлагала притвориться влюбленными.

Э м о р и. Нам бы это легко не прошло.

Р о з а л и н д а. Почему?

Э м о р и. Потому что именно эгоисты, как ни

странно, способны на большую любовь.

Р о з а л и н д а *(поднимая к нему лицо).* Притворитесь.

Долгий, неспешный поцелуй.

Э м о р и. Милых вещей я говорить не умею. Но вы прекрасны.

Р о з а л и н д а. Ой, только не это.

Э м о р и. А что же?

Р о з а л и н д а *(грустно).* Да ничего. Просто я жду чувства, настоящего чувства — и никогда его не нахожу.

Э м о р и. А я только это и нахожу кругом и ненавижу от всей души.

Р о з а л и н д а. Так трудно найти мужчину, который удовлетворял бы вашим эстетическим запросам.

Где-то отворили дверь, и в комнату ворвались звуки вальса. Розалинда встает.

Слышите? Там играют «Поцелуй еще раз».

Он смотрит на нее.

Э м о р и. Так что?

Р о з а л и н д а. Так что?

Э м о р и *(тихо, признавая свое поражение).* Я

вас люблю.

Р о з а л и н д а. И я вас люблю — сейчас.

Поцелуй.

Э м о р и. Боже мой, что я наделал?

Р о з а л и н д а. Ничего. Не надо говорить. Поцелуй меня еще.

Э м о р и. Сам не знаю, почему и как, но я полюбил вас с первого взгляда.

Р о з а л и н д а. И я… я тоже, сегодня такой вечер…

В комнату не спеша входит ее брат, вздрагивает, потом громко произносит: «Ох, простите» — и выходит.

(Едва шевеля губами.) Не отпускай меня. Пусть знают, мне все равно.

Э м о р и. Повтори!

Р о з а л и н д а. Люблю — сейчас. *(Отходят друг от друга.)* О, я еще очень молода, слава богу, и, слава богу, довольно красива, и, слава богу, счастлива… *(После паузы, словно в пророческом озарении, добавляет.)* Бедный Эмори!

Он снова ее целует.

Неотвратимое

Еще две недели — и Эмори с Розалиндой уже любили глубоко и страстно. Критический зуд, в прошлом испортивший и ему, и ей немало любовных встреч, утих под окатившей их мощной волною чувства.

— Пусть этот роман безумие, — сказала она однажды встревоженной матери, — но уж, во всяком случае, это не пустое времяпрепровождение.

В начале марта все той же мощной волной Эмори внесло в некое рекламное агентство, где он попеременно показывал образцы незаурядной работы и погружался в сумасбродные мечты о том, как вдруг разбогатеет и увезет Розалинду в путешествие по Италии.

Они виделись постоянно — за завтраком, за обедом и почти каждый вечер — словно бы не дыша, словно опасаясь, что с минуты на минуту чары рассеются и они окажутся изгнаны из этого пламенеющего розами рая. Но чары с каждым днем обволакивали их все крепче, они уже говорили о том, чтобы пожениться в июне — в июле. Вся жизнь вне их любви потеряла смысл, весь опыт, желания, честолюбивые замыслы свелись

к нулю, чувство юмора забилось в уголок и уснуло, прежние флирты и романы казались детской забавой, способной вызвать лишь мимолетную улыбку и легкий вздох.

Второй раз в жизни Эмори совершился полный переворот, и он спешил занять место в рядах своего поколения.

Маленькая интерлюдия

Эмори медленно брел по тротуару, думая о том, что ночь всегда принадлежит ему — весь этот пышный карнавал живого мрака и серых улиц… словно он захлопнул наконец книгу бледных гармоний и ступил на объятые чувственным трепетом дороги жизни. Повсюду кругом огни, огни, сулящие целую ночь улиц и пения, в каком-то полусне он двигался с потоком прохожих, словно ожидая, что из-за каждого угла ему навстречу выбежит Розалинда — и тогда незабываемые лица ночного города сразу сольются в одно ее лицо, несчетные шаги, сотни намеков сольются в ее шагах и мягкий взгляд ее глаз, глядящих в его глаза, опьянит сильнее вина. Даже в его сновидениях теперь тихо играли скрипки — летние звуки, тающие в летнем воздухе.

В комнате было темно, только светился кончик сигареты, с которой Том сидел без дела у отворенного окна. Эмори закрыл за собой дверь и постоял, прислонившись к ней.

— Привет, Бенвенуто Блейн. Ну, как там дела в рекламной промышленности?

Эмори растянулся на диване.

— Гнусно, как и всегда. — Перед глазами встало агентство с его бестолковой сутолокой и тут же сменилось другим видением. — Бог ты мой, она изумительна.

Том вздохнул.

— Я просто не могу тебе выразить, до чего она изумительна, — повторил Эмори. — Я и не хочу, чтобы ты знал. Я хочу, чтобы никто не знал.

От окна снова донесся вздох — вздох человека, смирившегося со своей участью.

Глаза у Эмори защекотало от слез.

— Том, Том, ты только подумай!

Сладкая горечь

— Давай посидим, как тогда, — шепнула она.

Он сел в глубокое кресло и протянул руки, чтобы принять ее в объятия.

— Я знала, что ты сегодня придешь, — сказала

она тихо. — Как раз когда ты больше всего был мне нужен… милый… милый.

Губы его легко запорхали по ее лицу.

— Ты такая вкусная, — вздохнул он.

— Как это, любимый?

— Ты сладкая, сладкая… — Он крепче прижал ее к себе.

— Эмори, — шепнула она, — когда ты будешь готов на мне жениться, я за тебя выйду.

— Для начала нам придется жить очень скромно.

— Перестань! — воскликнула она. — Мне больно, когда ты себя упрекаешь за то, чего не можешь мне дать. У меня есть ты — большего мне не надо.

— Скажи…

— Ведь ты это знаешь? Ну конечно знаешь.

— Да, но я хочу, чтоб ты это сказала.

— Я люблю тебя, Эмори, люблю всем сердцем.

— И всегда будешь?

— Всю жизнь… Ох, Эмори…

— Что?

— Я хочу быть твоей. Хочу, чтоб твои родные были моими родными… Хочу иметь от тебя детей.

— Но родных-то у меня никого нет.

— Не смейся надо мной, Эмори. Поцелуй меня.

— Я сделаю все, как ты хочешь.

— Нет, это я сделаю все, как ты хочешь. Мы — это ты, а не я. Ты настолько часть меня, насколько я вся…

Он закрыл глаза.

— Я так счастлив, что мне страшно. Какой был бы ужас, если б это оказалось высшей точкой.

Она устремила на него задумчивый взгляд.

— Красота и любовь не вечны, я знаю. И от печали не уйти. Наверно, всякое большое счастье немножко печально. Красота — это благоухание роз, а розы увядают.

— Красота — это муки приносящего жертву и конец этой муки.

— А мы прекрасны, Эмори, я это чувствую. Я уверена, что Бог нас любит.

— Он любит тебя. Ты — самое ценное Его достояние.

— Я не Его, Эмори, я твоя. Первый раз в жизни я жалею о всех прежних поцелуях, теперь-то я знаю, что может значить поцелуй.

Потом они закуривали, и он рассказывал ей, как прошел день на работе и где им можно будет поселиться. Порой, когда ему случалось разговориться не в меру, она засыпала в его объятиях, но он любил и эту Розалинду — любил всех Ро-

залинд, как раньше не любил никого на свете. Быстротечные, неуловимые, навек ускользающие из памяти часы.

Эпизод на воде

Однажды Эмори и Хауорд Гиллеспи встретились случайно в деловой части города. Они вместе зашли в кафе позавтракать, и Эмори выслушал рассказ, очень его позабавивший. У Гиллеспи после нескольких коктейлей развязался язык, и для начала он сообщил Эмори, что Розалинда, по его мнению, девушка со странностями.

Как-то раз они целой компанией ездили купаться в Уэстчестер, и кто-то упомянул, что туда приезжала Аннет Келлерман и прыгала в воду с шаткой тридцатифутовой вышки. Розалинда тут же потребовала, чтобы Хауорд лез туда вместе с ней — посмотреть, как это выглядит сверху.

Через минуту, когда он сидел на краю вышки, болтая ногами, рядом с ним что-то мелькнуло — это Розалинда безупречной «ласточкой» пронеслась вниз, в прозрачную воду.

— После этого мне, сами понимаете, тоже пришлось прыгать, я чуть не убился до смерти. Меня стоило похвалить уже за то, что я вообще решил-

ся. Больше никто из компании не пробовал. Так у Розалинды потом хватило нахальства осведомиться, зачем я во время прыжка пригнул голову. Это, видите ли, не облегчает дела, а только портит впечатление. Ну я вас спрашиваю: как быть с такой девушкой? Я считаю, это уже лишнее.

Гиллеспи было невдомек, почему Эмори до конца завтрака не переставал блаженно улыбаться. Скорее всего, решил он, это признак тупого оптимизма.

Пять недель спустя

Библиотека в доме Коннеджей. Розалинда одна, сидит на диване, хмуро глядя в пространство. Она заметно изменилась, даже похудела немного. Блеск ее глаз потускнел, можно подумать, что она стала по крайней мере на год старше.

Входит ее мать, кутаясь в манто. Окидывает Розалинду тревожным взглядом.

М и с с и с К о н н е д ж. Ты сегодня кого ждешь?

Розалинда не слышит, во всяком случае, не отзывается.

Сейчас заедет Алек, он везет меня на эту пьесу Барри «И ты, Брут». *(Спохватывается, что говорит сама с собой.)* Розалинда! Я тебя спросила, кого ты ждешь.

Р о з а л и н д а *(вздрогнув).* Я?.. Что… Да Эмори…

М и с с и с К о н н е д ж *(язвительно).* У тебя последнее время столько поклонников, что я просто не могла угадать, который на очереди. *(Розалинда не отвечает.)* Досон Райдер оказался терпеливее, чем я думала. Ты на этой неделе ни одного вечера ему не уделила.

Р о з а л и н д а *(несвойственным ей раньше, до предела усталым тоном).* Мама, прошу тебя…

М и с с и с К о н н е д ж. О, я-то вмешиваться не намерена. Ты уже два месяца потратила на гения без гроша за душой, но, пожалуйста, продолжай, потрать на него хоть всю жизнь. Я вмешиваться не буду.

Р о з а л и н д а *(словно повторяя скучный урок).* Тебе известно, что небольшой доход у него есть и что он зарабатывает тридцать долларов в неделю в рекламном…

М и с с и с К о н н е д ж. И что этого даже на твои туалеты не хватит. *(Делает паузу, но Розалинда молчит.)* Я пекусь только о твоих интересах,

когда отговариваю тебя от безрассудного шага, о котором ты до конца дней будешь жалеть. И на папину помощь рассчитывать нечего. Он немолод, и дела у него последнее время идут плохо. Единственной твоей опорой оказался бы мечтатель, очень милый юноша, из хорошей семьи, но мечтатель — умный мальчик, и больше ничего. *(Дает понять, что ум — черта сама по себе отрицательная.)*

Р о з а л и н д а. Мама, ради бога…

Входит горничная, докладывает о приходе мистера Блейна, и тут же входит он сам. Друзья Эмори уже десять дней твердят ему, что он «выглядит как Божий гнев», и они правы. А последние полтора суток он не был в состоянии проглотить ни куска.

Э м о р и. Добрый вечер, миссис Коннедж.

М и с с и с К о н н е д ж *(вполне ласково).* Добрый вечер, Эмори.

Эмори и Розалинда переглядываются. Входит Алек. Тот все время держался нейтральной позиции. В душе он уверен, что предполагаемый брак будет для Эмори унизительным, а для Розалинды несчастным, но глубоко сочувствует им обоим.

А л е к. Здорово, Эмори!

Э м о р и. Здорово, Алек! Том сказал, что встретится с тобой в театре.

А л е к. Да, я его видел. Как дела с рекламой? Сочинил что-нибудь блестящее?

Э м о р и. Да ничего особенного. Получил прибавку… *(все взгляды с интересом обращаются к нему)* два доллара в неделю.

Все разочарованно отводят глаза.

М и с с и с К о н н е д ж. Идем, Алек. Я слышу, автомобиль подали.

Все прощаются — кто более, кто менее сердечно. Миссис Коннедж и Алек уходят, после чего наступает молчание. Розалинда по-прежнему хмуро смотрит в камин. Эмори подходит и обнимает ее.

Э м о р и. Девочка моя. *(Поцелуй. Снова пауза, потом она, схватив его руку, осыпает ее поцелуями и прижимает к груди.)*

Р о з а л и н д а *(печально).* Я люблю твои руки, больше всего люблю. Я часто вижу их, когда тебя здесь нет, — такие усталые… Я знаю их до мельчайшей черточки — милые руки!

На минуту их взгляды встречаются, а потом

она разражается сухими рыданиями.

Э м о р и. Розалинда!

Р о з а л и н д а. Ой, мы такие жалкие!

Э м о р и. Розалинда!

Р о з а л и н д а. Ой, я хочу умереть!

Э м о р и. Розалинда, еще один такой вечер, и силы мои кончатся. Ты уже четыре дня такая. Влей в меня хоть немножко бодрости, а то я не могу ни работать, ни есть, ни спать. *(Беспомощно озирается, точно в поисках новых слов взамен старых, сносившихся.)* С чего-то надо начинать. Начинать вместе — это даже лучше. *(Отклика нет, и наигранная уверенность покидает его.)* В чем дело? *(Рывком встает и ходит по комнате.)* Это все Досон Райдер, я знаю. Он изматывает тебе нервы. Ты всю эту неделю каждый день с ним виделась. Люди мне говорят, что видели вас вместе, а я должен улыбаться, кивать и делать вид, что для меня это не имеет ни малейшего значения. А ты за все это время не нашла нужным ничего мне рассказать.

Р о з а л и н д а. Эмори, если ты не сядешь, я закричу.

Э м о р и *(садясь с ней рядом).* О господи!

Р о з а л и н д а *(беря его за руку, мягко).* Ты ведь знаешь, что я тебя люблю.

Э м о р и. Да.

Р о з а л и н д а. И что буду тебя любить всегда…

Э м о р и. Не надо так говорить. Ты меня пугаешь. Как будто нам предстоит расстаться. *(Она опять заплакала, встала и перешла с дивана на кресло.)* Я весь день чувствовал сегодня, как что-то ускользает. На работе я чуть с ума не сошел, не мог написать ни строчки. Расскажи мне все.

Р о з а л и н д а. Да правда же, нечего рассказывать. Я просто нервничаю.

Э м о р и. Розалинда, ты прикидываешь, не выйти ли замуж за Досона Райдера.

Р о з а л и н д а *(после паузы).* Он сегодня весь день меня об этом просил.

Э м о р и. У него-то, видно, нервы крепкие.

Р о з а л и н д а *(снова после паузы).* Он мне нравится.

Э м о р и. Не говори так. Мне больно.

Р о з а л и н д а. Не дури. Ты же знаешь, что, кроме тебя, я никого не любила и не буду любить.

Э м о р и. Розалинда, давай поженимся — на будущей неделе.

Р о з а л и н д а. Это невозможно.

Э м о р и. Почему?

Р о з а л и н д а. Невозможно. Это значит мне стать твоей рабыней — в какой-нибудь гадкой

дыре.

Э м о р и. У нас будет двести семьдесят пять долларов в месяц.

Р о з а л и н д а. Дорогой мой, я обычно даже не причесываюсь сама.

Э м о р и. Я буду тебя причесывать.

Р о з а л и н д а *(со смешком, похожим на всхлип).* Спасибо.

Эмори. Розалинда, я не верю, что ты можешь думать о браке с кем-то другим. Ты что-то от меня скрываешь. Скажи мне! Если скажешь, я помогу тебе с этим справиться.

Розалинда. Все дело… в нас. Мы жалкие, вот и все. Именно из-за тех качеств, которые я в тебе люблю, ты всегда останешься неудачником.

Э м о р и *(угрюмо).* Ну, дальше.

Р о з а л и н д а. О, ну хорошо. Да, всему виной Досон Райдер. Он такой надежный. Чувствуется, что он мог бы стать… хорошим фоном.

Э м о р и. Ты его не любишь.

Р о з а л и н д а. Не люблю, но зато уважаю, он хороший человек и сильный.

Э м о р и *(неохотно соглашаясь).* Да, этого у него не отнимешь.

Р о з а л и н д а. Ну вот хотя бы такой пример. Во вторник мы встретили в Райе какого-то бедного

мальчика, и, знаешь, Досон посадил его к себе на колени, разговаривал с ним и пообещал подарить ему индейский костюм — а на следующий день вспомнил и купил ему костюм, и, и… так это получилось заботливо, и я невольно подумала, как он хорошо относился бы к… нашим детям, заботился бы о них, и мне не о чем было бы тревожиться.

Э м ор и *(в отчаянии).* Розалинда, Розалинда!

Р о з а л и н д а *(чуть лукаво).* Не напускай на себя такой страдальческий вид.

Э м о р и. Какую боль мы способны причинять друг другу.

Р о з а л и н д а *(опять заливается слезами).* Это было так замечательно — ты и я. Так похоже на то, о чем я мечтала и боялась, что никогда не найду. Первый раз, что я думала не о себе. И я не могу допустить, чтобы это чувство увяло в серой, тусклой атмосфере.

Э м о р и. Не увянет оно, не увянет!

Р о з а л и н д а. Лучше сохранить его как прекрасное воспоминание, упрятанное глубоко в сердце.

Э м о р и. Да, женщины это умеют, но мужчины — нет. Я бы всегда помнил не то, как это было прекрасно, пока длилось, а только горечь, неизбывную горечь.

Р о з а л и н д а. Не надо!

Э м о р и. Никогда больше не видеть тебя, не целовать — словно ворота захлопнули и задвинули засов, — ты просто боишься стать моей женой.

Р о з а л и н д а. Нет, нет, я выбираю более трудный путь, более решительный. Наш брак был бы неудачей, а я неудачницей не была и не буду… Если ты не перестанешь ходить взад-вперед, я закричу!

Он снова в изнеможении опускается на диван.

Э м о р и. Поди сюда и поцелуй меня.

Р о з а л и н д а. Нет.

Э м о р и. Ты не хочешь меня поцеловать?

Р о з а л и н д а. Сегодня я хочу, чтобы ты любил меня спокойно, издали.

Э м о р и. Начало конца.

Р о з а л и н д а *(в интуитивном озарении)*. Эмори, ты еще очень молод. И я молода. Сейчас нам прощают наши позы, нашу дерзость, то, что мы никого не уважаем, и это нам сходит с рук. Но тебя ждет в жизни много щелчков…

Э м о р и. И ты боишься, что заодно они достанутся и тебе.

Р о з а л и н д а. Нет, не этого я боюсь. Где-то я читала одни стихи… Ты скажешь — Элла Уилер

Уилкокс, и посмеешься, но вот послушай:

В этом и мудрость – любить и жить,
Брать, что судьба решит подарить,
Не молиться, вопросов не задавать,
Гладить кудри, уста целовать,
Плыть, куда страсти несет поток,
Обладать – и проститься, чуть минет срок.

Э м о р и. Но мы-то не обладали!

Р о з а л и н д а. Эмори, я твоя, ты это знаешь. За последний месяц бывали минуты, когда я стала бы совсем твоей, если б ты захотел. Но я не могу выйти за тебя замуж и загубить и твою жизнь, и свою.

Э м о р и. Надо рискнуть — может, и будет счастье.

Р о з а л и н д а. Досон говорит, что я научусь его любить.

Эмори, опустив лицо в ладони, сидит неподвижно. Жизнь словно покинула его.

Любимый! Я не могу с тобой и не могу представить себе жизнь без тебя.

Э м о р и. Розалинда, мы раздражаем друг друга.

Просто у нас обоих нервы не в порядке, и эта неделя…

Голос у него словно состарился. Она подходит к нему и, взяв его лицо в ладони, целует.

Р о з а л и н д а. Не могу, Эмори. Не могу я жить, отгороженная от цветов и деревьев, запертая в маленькой квартирке, и ждать тебя целыми днями. Ты бы меня возненавидел в этом спертом воздухе. И я же была бы виновата.

Снова ее ослепили неудержимые слезы.

Э м о р и. Розалинда…

Р о з а л и н д а. Ох, милый, уходи. А то будет еще труднее. Я больше не могу…

Э м о р и *(лицо его осунулось, голос напряжен)*. Ты думаешь, что говоришь? Значит, это навсегда?

Оба страдают, но по-разному.

Р о з а л и н д а. Неужели ты не понимаешь?

Э м о р и. Не понимаю, если ты меня любишь. Тебе страшно вместе со мной на два года смириться с некоторыми трудностями.

Р о з а л и н д а. Я была бы уже не той Розалиндой, которую ты любишь.

Э м о р и *(на грани истерики)*. Не могу я от тебя отказаться! Не могу, и все тут. Ты должна быть моей.

Р о з а л и н д а *(с жесткой ноткой в голосе).* А теперь ты говоришь, как ребенок.

Э м о р и *(закусив удила).* Ну и пусть! Ты нам обоим испортила жизнь.

Р о з а л и н д а. Я выбрала разумный путь, единственно возможный.

Э м о р и. И ты выйдешь за Досона Райдера?

Р о з а л и н д а. Не спрашивай. Ты же знаешь, в некоторых отношениях я уже не молода, но в других... в других я как маленькая девочка. Люблю солнце, и красивые вещи, и чтоб было весело, до смерти боюсь ответственности — не хочу думать про кухню, про кастрюли и веники. Мои заботы — это загорят ли у меня ноги, когда я летом поеду на море.

Э м о р и. Но ты меня любишь.

Р о з а л и н д а. Поэтому-то и нужно кончать. Неопределенность — это так больно. Такой сцены, как сегодня, мне больше не выдержать.

Снимает с пальца кольцо и протягивает ему. Глаза у обоих снова наполняются слезами.

Э м о р и *(целуя ее в мокрую щеку).* Не надо!

Сохрани его, ну пожалуйста! Не разбивай мне сердце!

Она мягко вдавливает кольцо ему в ладонь.

Р о з а л и н д а *(безнадежно)*. Уйди, прошу тебя.
Э м о р и. Прощай…

Она бросает на него еще один взгляд, полный бесконечного сожаления, бесконечной тоски.

Р о з а л и н д а. Не забудь меня, Эмори…
Э м о р и. Прощай…

Он идет к двери, как слепой ищет ручку, находит; она видит, как он вскидывает голову, и вот он ушел. Ушел — она приподнимается, потом падает на диван, лицом в подушки.

Р о з а л и н д а. О господи, лучше умереть!

Через минуту встает и с закрытыми глазами пробирается к двери. Потом еще раз окидывает взглядом комнату. Здесь они сидели и мечтали; в этот подносик она столько раз насыпала ему спичек; этот абажур они в какое-то блаженно долгое воскресенье предусмотрительно опустили. С блестящими от слез глазами она стоит и вспоминает, потом произносит вслух:

Эмори, дорогой мой, что же я с тобой сделала!

И глубже, чем боль и грусть, которые со временем пройдут, в ней живет чувство, что она что-то потеряла — неведомо что, неведомо как.

Глава II
Методы излечения

В баре «Никербокер», на который с широкой улыбкой взирал многоцветный, веселый «Старый дедушка Коль» работы Максфилда Пэрриша, было людно. Эмори, войдя, остановился и посмотрел на часы: ему необходимо было узнать точное время, присущая ему любовь к перечням и рубрикам требовала отчетливости во всем. Когда-нибудь ему доставит смутное удовлетворение мысль, что «это кончилось ровно в двадцать минут девятого в четверг, десятого июня 1919 года». Было учтено и то, сколько времени он шел сюда от ее дома, — путь, который затем начисто выпал из его памяти.

Он пребывал в каком-то непонятном состоянии. После двух суток непрестанной нервной тревоги, без еды и без сна, завершившихся раздирающей сценой и неожиданно твердым решением Ро-

залинды, его мозг погрузился в спасительное забытье. Он неуклюже рылся в маслинах у стола с бесплатной закуской и, когда к нему подошел и заговорил с ним какой-то человек, выронил маслину из трясущихся пальцев.

— Кого я вижу, Эмори…

Кто-то знакомый по Принстону. Фамилия? Хоть убей, не вспомню.

— Здорово, дружище, — услышал он собственный голос.

— Джим Уилсон. Ты, я вижу, забыл.

— Ну как же, Джим. Конечно помню.

— На встречу собираешься?

— Еще бы. — И тут же сообразил, что на встречу однокашников он не собирается.

— За морем побывал?

Эмори кивнул, уставясь в пространство. Отступив на шаг, чтобы дать кому-то дорогу, он сшиб на пол тарелку с маслинами, и она звеня разлетелась на куски.

— Жалость какая, — пробормотал он. — Выпьем?

Уилсон, изображая тактичность, похлопал его по спине.

— Ты уже и так набрался, старина.

Эмори в ответ только посмотрел на него, и Уил-

сону стало не по себе от этого взгляда.

— Набрался, говоришь? — произнес наконец Эмори. — Да у меня сегодня капли во рту не было.

Уилсон явно ему не поверил.

— Так выпьем или нет? — грубо крикнул Эмори.

Они двинулись к стойке.

— Виски.

— Мне — «Бронкс».

Уилсон выпил еще одну, Эмори — еще несколько. Они решили посидеть за столиком. В десять часов Уилсона сменил Карлинг из выпуска 15-го года. У Эмори блаженно кружилась голова, мягкое довольство слой за слоем ложилось на душевные увечья, и он без удержу разглагольствовал о войне.

— П-пустая трата духовных сил, — твердил он с тяжеловесным апломбом. — Д-два года жизни в интеллектуальном вакууме. Был идеалист, мечтатель, стал животное. — Он выразительно погрозил кулаком «Дедушке Колю». — Стал пруссаком, насчет женщин в особенности. Раньше я с женщинами по-честному, теперь плевать на них хотел. — В доказательство своей беспринципности он широким жестом смахнул со

стола бутылку зельтерской, уготовив ей громкую гибель на полу, но это не помешало ему продолжать: — Лови момент, завтра умрем. В-вот какая у меня теперь философия.

Карлинг зевнул, но Эмори уже не мог унять свое красноречие.

— Раньше хотел понять, откуда компромиссы, половинчатая позиция в жизни. Теперь не хочу понимать, не хочу… — Он так старался внушить Карлингу, что не хочет ничего понимать, что утерял нить своих рассуждений и еще раз объявил во всеуслышание, что он теперь «животное, и точка».

— Ты какое событие празднуешь, Эмори?

Эмори доверительно склонился над столиком.

— Праздную крах всей своей ж-жизни. Величайшее бытие. Рассказать про это не могу…

Он услышал, как Карлинг окликнул бармена:

— Дайте стакан бромо-зельцера.

Эмори возмущенно замотал головой:

— Н-не желаю!

— Но послушай, Эмори, тебе сейчас станет дурно. На тебе лица нет.

Эмори обдумал эти слова. Хотел посмотреть на себя в зеркале за стойкой, но, даже скосив глаза, не увидел ничего дальше ряда бутылок.

— Мне бы чего-нибудь пожевать, — сказал он. — Пойдем поищем чего-нибудь п-пожевать.

Движением плеч он поправил пиджак с потугой на небрежность манер, но, едва отнял руку от стойки, мешком свалился на стул.

— Пошли через дорогу к «Шенли», — предложил Карлинг, подставляя ему локоть.

С его помощью Эмори заставил свои ноги кое-как пересечь Сорок вторую улицу.

У «Шенли» все было в тумане. Он смутно сознавал, что громко и, как ему казалось, очень четко и убедительно толкует о своем желании раздавить кое-кого каблуком. Уничтожил три огромных сэндвича, жадно и быстро, словно три шоколадные конфеты. Потом в сознание снова стала наведываться Розалинда, а губы беззвучно повторяли и повторяли ее имя. А потом его стало клонить ко сну, и ум лениво, равнодушно отметил, что к их столику стягиваются мужчины во фраках, скорей всего — официанты…

…Он был в какой-то комнате, и Карлинг что-то говорил про узел на шнурках.

— Б-брось, — едва выговорил он сквозь дремоту. — Буду спать так…

Все еще в винных парах

Он проснулся, смеясь, и лениво обвел глазами комнату — очевидно, номер с ванной в хорошем отеле. Голова у него гудела, картина за картиной складывалась, расплывалась и таяла перед глазами, не вызывая, однако, никакого отклика, кроме желания посмеяться. Он потянулся к телефону на тумбочке.

— Алло, это какой отель?.. «Никербокер»? Отлично. Пришлите в номер два виски.

Он еще полежал, зачем-то гадая, что ему пришлют — бутылку или просто два стакана, уже налитых. Потом с усилием выбрался из постели и зашлепал в ванную.

Когда он вышел оттуда, неспешно растираясь полотенцем, официант уже был в комнате, и Эмори вдруг захотелось его разыграть. Подумав, он решил, что это будет дешево, и жестом отпустил его.

От первых же глотков алкоголя он согрелся, и разрозненные картины стали медленно складываться в киноленту о вчерашнем дне. Снова он увидел Розалинду, как она плакала, зарывшись в подушки, снова почувствовал ее слезы на своей

щеке. В ушах зазвучали ее слова: «Не забудь меня, Эмори, не забудь…»

— Черт! — выдохнул он, и поперхнулся, и рухнул на постель, скрученный судорогой горя.

Но через минуту открыл глаза и устремил взгляд к потолку.

— Идиот несчастный! — воскликнул он гадливо, вздохнул всей грудью, встал и пошел к бутылке. А выпив еще стакан, дал волю облегчающим слезам. Он нарочно вызывал к жизни мельчайшие воспоминания сгинувшей весны, облекал эмоции в слова, чтобы растравить свою боль.

— Мы были так счастливы, — декламировал он, — так безмерно счастливы. — И, захлебнувшись, опустился на колени возле кровати, лицом в подушку. — Родная моя девочка… родная… О…

Он так стиснул зубы, что слезы ручьем хлынули из глаз.

— Девочка моя, самая хорошая, единственная… Вернись ко мне, вернись… Ты так мне нужна… Мы такие жалкие… столько страданий причинили друг другу… Ее спрячут от меня… Я не смогу ее видеть, не смогу быть ей другом… Так суждено… суждено…

И опять сызнова:

— Мы были так счастливы, так безмерно счастливы…

Он встал и бросился на кровать в пароксизме чувства и тут постепенно сообразил, что накануне вечером был сильно пьян и что мозги у него опять завихряются. Он рассмеялся, встал и побрел к бутылке…

В полдень он встретил подходящую компанию в баре отеля «Билтмор», и все началось сначала. Позже ему смутно вспоминалось, что он рассуждал о французской поэзии с английским офицером, которого ему представили так: «Капитан Корн его величества пехоты», что за завтраком он пытался прочесть вслух «Glair de lune»[20]; потом проспал в глубоком мягком кресле почти до пяти часов, когда его обнаружила и разбудила уже другая компания. Последовала пьяная подготовка несходных темпераментов к тягостному ритуалу обеда. У Тайсона они купили билеты на спектакль с тремя антрактами для выпивки — спектакль всего с двумя монотонными голосами, с мутными, мрачными сценами и световыми эффектами, за которыми было нелегко уследить, когда глаза вели себя так странно.

---

[20] notes: 20
«Лунный свет» (*фр.*) — стихотворение Верлена.

Впоследствии он решил, что это, по-видимому, была «Шутка»…

Потом — «Кокосовая пальма», где Эмори опять поспал на балкончике… Еще позже, у «Шенли», он стал мыслить почти последовательно и, педантично ведя счет выпитым коктейлям, сделался очень прозорлив и разговорчив. Выяснилось, что их компания состоит из пяти мужчин, из которых двое ему слегка знакомы, он заявил, что намерен нести свою долю расходов, как честный человек, и громко твердил, что рассчитаться надо немедленно, чем вызвал шумное веселье за соседними столиками…

Кто-то упомянул, что в зале сидит известная звезда эстрады, и Эмори, встав с места, подошел к ней и галантно представился… Тут же он оказался втянут в спор сперва с ее кавалером, а затем с метрдотелем, причем сам он держался чуть надменно и изысканно вежливо… и, поддавшись на неоспоримо логичные доводы, согласился, чтобы его отвели обратно к его столику.

— Решил покончить с собой, — объявил он ни с того ни с сего.

— Когда? В будущем году?

— Теперь же. Завтра утром. Сниму номер в «Коммодоре», залезу в горячую ванну и вскрою

вену.

— Ну и разговорчики!

— Вам бы еще стаканчик выпить, старина.

— Обсудим это завтра.

Но Эмори не желал ничего слушать — он желал говорить.

— С вами так бывает? — выпросил он театральным шепотом.

— А как же!

— И часто?

— У меня это хроническое.

Последовала дискуссия. Один из собутыльников сказал, что порой ему бывает до того скверно, что он серьезно об этом подумывает. Другой согласился, что жить, собственно, не для чего. «Капитан Корн», каким-то образом снова оказавшийся среди них, высказал мнение, что обычно так чувствуешь себя, когда плохо со здоровьем. Эмори внес предложение — заказать по «Бронксу», намешать туда битого стекла и выпить залпом. К тайной его радости, никто этой идеи не поддержал, и тогда он, допив бокал, подпер подбородок ладонью, а локоть поставил на стол, уверив себя, что так можно поспать, грациозно и почти незаметно, и застыл в оцепенении.

Проснулся он от того, что в него вцепилась

женщина — очень хорошенькая, синеглазая, с растрепанными темными волосами.

— Проводи меня домой! — взмолилась она.

— Что такое? — спросил Эмори, моргая.

— Ты мне нравишься, — сообщила она нежно.

— Ты мне тоже.

Он заметил, что на заднем плане маячит какой-то горластый мужчина, а ему самому толкует что-то один из его компании.

— Этот, с которым я пришла, — болван, — пояснила синеглазая. — Ну его. Отвези меня домой.

— Напилась? — осведомился Эмори, воплощенное благоразумие.

Она застенчиво кивнула.

— Поезжай домой с ним, — посоветовал он веско. — С кем пришла, с тем и поезжай.

Тут горластый мужчина на заднем плане вырвался из удерживавших его рук и приблизился.

— Эй! — произнес он злобно. — Эта девушка со мной, чего встреваешь?

Эмори окинул его холодным взглядом, а девушка вцепилась в него крепче прежнего.

— Отпусти девушку! — крикнул горластый.

Эмори постарался сделать грозные глаза.

— Подите вы к черту, — постановил он наконец и перенес свое внимание на девушку.

— Любовь с первого взгляда? — предположил он.

— Я тебя люблю, — шепнула она, прижимаясь к нему.

А глаза у нее и правда были красивые.

Кто-то, наклонившись, сказал ему на ухо:

— Это же Маргарет Даймонд. Она напилась, а пришла сюда с этим типом. Оставьте ее в покое.

— Так пусть он о ней и заботится! — яростно выкрикнул Эмори. — Я не нанимался следить за ее нравственностью!

— Оставьте ее в покое!

— Она сама, черт возьми, на мне повисла. Ну и пусть висит!

Все больше людей теснилось вокруг столика. Драка уже казалась неизбежной, но тут проворный официант разогнул пальцы Маргарет Даймонд, и та, выпустив Эмори, залепила официанту пощечину, а потом бросилась на шею своему взбешенному кавалеру.

— О господи! — воскликнул Эмори.

— Пошли!

— Живо, а то и такси не достанешь!

— Официант, счет!

— Пошли, Эмори. Кончился твой романчик.

Эмори расхохотался.

— Знали бы вы, до чего вы правы! Да откуда вам знать. В этом-то все и горе.

Эмори о производственных отношениях

Через два дня, явившись с утра в рекламное агентство «Баском и Барлоу», он постучал в кабинет директора.

— Войдите.

Эмори вошел нетвердой походкой.

— Доброе утро, мистер Барлоу.

— А-а, мистер Блейн. Мы вас уже несколько дней не видели.

— Да, — сказал Эмори. — Я увольняюсь.

— В самом деле? Это, знаете ли…

— Мне здесь не нравится.

— Очень сожалею. Мне казалось, наши отношения как раз… э-э… налаживаются. Вы производили впечатление старательного работника, немного, может быть, увлекающегося…

— А мне надоело, — грубо перебил его Эмори. — Мне в высокой степени наплевать, чья детская мука самая питательная, Хэрбелла или кого другого. Я ее и не пробовал. И расписывать ее другим мне надоело… Да, у меня был запой, знаю.

Лицо у мистера Барлоу посуровело на несколько делений.

— Вы просили работы…

Эмори не дал ему говорить.

— И платили мне безобразно мало. Тридцать пять долларов в неделю, меньше, чем хорошему плотнику.

— Вы только начинали. А раньше вообще еще не работали, — хладнокровно возразил мистер Барлоу.

— Но на мое образование потратили десять тысяч долларов, чтобы я мог писать для вас эту белиберду. А если говорить о стаже, так у вас некоторые стенографистки уже пять лет получают пятнадцать монет в неделю.

— Я не намерен вступать с вами в споры, сэр, — сказал мистер Барлоу, вставая.

— Я тоже. Просто хотел вам сообщить, что увольняюсь.

С минуту они постояли, невозмутимо глядя друг на друга, потом Эмори повернулся и вышел.

Передышка

Спустя еще четыре дня он наконец вернулся в свою квартиру. Том сочинял рецензию для «Но-

вой демократии», где он теперь был штатным сотрудником. Некоторое время они молча смотрели друг на друга.

— Ну?

— Ну?

— Боже мой, Эмори, где ты заработал синяк под глазом? И скула…

Эмори расхохотался.

— Это еще что, пустяки!

Он стянул пиджак и обнажил плечи.

— Гляди!

Том присвистнул.

— Что на тебя свалилось?

Эмори опять расхохотался.

— Да много всяких людей. Меня избили. Факт. — Он привел в порядок сорочку. — Рано или поздно это должно было случиться, а переживание ценнейшее.

— Кто они были?

— Ну, скорей всего, официанты, и парочка матросов, и несколько случайных прохожих. Удивительное ощущение. Стоит попробовать, хотя бы для обогащения опыта. В какой-то момент валишься с ног, и, пока ты не упал, каждый норовит ударить еще раз, а когда упал — пинают.

Том закурил.

— Я целый день гонялся за тобой по городу, но ты все время от меня ускользал. Воображаю, в какой компании.

Эмори плюхнулся на стул и попросил сигарету.

— Сейчас ты трезвый? — язвительно спросил Том.

— Более или менее. А что?

— Так вот слушай. Алек съехал. Родные уже сколько времени его допекали, чтобы жил дома, вот он и…

У Эмори больно сдавило горло.

— Жалость какая.

— Да, жаль. Если мы останемся здесь, надо подыскивать кого-нибудь другого. Плата за квартиру растет.

— Правильно. Подыщи кого-нибудь, Том. Я заранее согласен.

Эмори прошел в свою комнату. Первое, что бросилось ему в глаза, был снимок Розалинды, который он собирался окантовать, а пока поставил на комод, прислонив к зеркалу. При виде его Эмори ничего не почувствовал. После тех живых портретов, что рисовала ему память, снимок казался нереальным, мертвым. Он вернулся в общую комнату.

— У тебя нет какой-нибудь картонки?

— Нет, — ответил Том удивленно. — Откуда у меня картонки? Впрочем, погоди, может быть, у Алека осталась.

Эмори нашел-таки, что искал, и, вернувшись к комоду, выдвинул ящик, где лежали письма, записки, обрывок цепочки, два крошечных носовых платка и несколько любительских снимков. Пока он аккуратно перекладывал все это в картонку, ему вспомнилось место из какой-то книги, когда герой, после того как целый год хранил кусок мыла, некогда принадлежавший его неверной возлюбленной, моет им руки. Он засмеялся, стал было напевать «Когда ты уедешь»... Умолк на полуслове.

Бечевка два раза рвалась, но он с ней справился, бросил коробку на дно чемодана, щелкнул замком и вернулся к Тому.

— Уходишь? — В голосе Тома скрывалась тревога.

— Угу.

— Куда?

— Сам не знаю, старик.

— Давай пообедаем вместе.

— Я бы с удовольствием, да уже сговорился пообедать с Сьюки Бреттом.

— Понятно.

— Пока.

В кафе напротив он пропустил коктейль, потом дошел до Вашингтон-сквер и залез на империал автобуса. Сошел он у Сорок третьей улицы и ввалился в бар отеля «Билтмор».

— Ого! Эмори!

— Что будешь пить?

— Официант, сюда!

Температура нормальная

Сухой закон разом положил конец попыткам Эмори утопить горе в вине, и когда он, проснувшись однажды утром, обнаружил, что дни хождений из бара в бар миновали, он не почувствовал ни раскаяния за эти безумные три недели, ни сожаления о том, что повторить их невозможно. Он понимал, что выбрал самый жестокий, хоть и самый пассивный путь, чтобы защититься от кинжала памяти, и, хотя другим он не порекомендовал бы такой способ самозащиты, своей цели он в конце концов достиг — первый приступ боли остался позади.

Поймите его правильно. Эмори любил Розалинду, как ему не суждено было полюбить никого другого. Она забрала себе первое цветение его

молодости, извлекла из немереных глубин его существа нежность, поразившую его самого, мягкость и самоотречение, которыми он еще никого не дарил. У него и потом бывали романы, но иного рода — когда он вновь занимал более, вероятно, типичную для него позицию, видя в женщине только зеркало собственного настроения. Розалинда пробудила в нем нечто большее, чем страстное восхищение. К Розалинде он сохранил глубокое, неумирающее чувство.

Но к концу их отношения обрели такой трагический накал, вылившийся в причудливый кошмар его трехнедельного загула, что эмоционально он был опустошен. Убежище, казалось, сулили люди и отношения, которые запомнились ему как тихие либо утонченно-искусственные. Он написал рассказ, в котором в циничных тонах изобразил похороны своего отца, и, отослав его в журнал, получил в ответ чек на шестьдесят долларов и просьбу присылать еще материал в таком же духе. Это польстило его тщеславию, но на дальнейшие усилия не подвигло.

Он запоем читал. Был озадачен и угнетен «Портретом художника в юности», с огромным интересом проглотил «Неугасимый огонь» и «Джоун и Питер», не без удивления открыл, с по-

мощью критика по фамилии Менкен, несколько превосходных американских романов: «Вандовер и зверь», «Проклятие Терона Уэра», «Дженни Герхардт». Маккензи, Честертона, Голсуорси, Беннета он воспринимал уже не как прозорливых, вскормленных жизнью гениев, а всего лишь как занятных современников. Только отрешенная ясность и блестящая логика Шоу и неистовое стремление Уэллса подобрать ключ романтического единства к вечно меняющемуся замку правды не переставали пленять его.

Ему хотелось повидать монсеньора Дарси, которому он написал, вернувшись из Франции, но не получил ответа. К тому же он знал, что свидеться с монсеньором означало бы рассказать о Розалинде, а одна эта мысль приводила его в содрогание.

В поисках тихих людей он вспомнил про миссис Лоренс, очень неглупую, очень достойную леди, принявшую католичество и глубоко преданную монсеньору.

Однажды он позвонил ей по телефону. Да, она прекрасно его помнит, нет, монсеньор сейчас в отъезде, кажется — в Бостоне; обещал, когда вернется, у нее пообедать. А может быть, Эмори навестит ее как-нибудь на этих днях?

— Я решил не терять времени, — не очень ловко начал он, входя в ее гостиную.

— Монсеньор был здесь на прошлой неделе, — с сожалением сказала миссис Лоренс. — Он тоже мечтал с вами встретиться, но забыл дома ваш адрес.

— Он уж не опасается ли, что я ударился в большевизм? — с интересом спросил Эмори.

— Ох, ему сейчас очень трудно.

— Почему?

— Из-за Ирландской республики. Он считает, что ей недостает собственного достоинства.

— В самом деле?

— Когда приезжал ирландский президент, он тоже поехал в Бостон и был чрезвычайно расстроен, потому что члены приемного комитета, когда ехали с президентом в автомобиле, все время тянулись его обнимать.

— Бедный монсеньор, я его понимаю.

— Расскажите, какие у вас остались самые сильные впечатления от пребывания в армии? Внешне вы сильно изменились.

— Это следы другой, более опустошительной битвы, — отвечал он с невольной улыбкой. — А что касается армии — что ж, я установил, что физическая храбрость во многом зависит от того,

насколько физически тренирован человек. Убедился, что сам я не более и не менее храбр, чем другие, — раньше я боялся, что окажусь трусом.

— Что еще?

— Еще — вывод, что человек может выдержать что угодно, если привыкнет, и что я хорошо сдал экзамен по психологии.

Миссис Лоренс посмеялась. Эмори испытывал огромное облегчение от того, что находится в этом тихом доме на Риверсайд-драйв, вдали от более скученных кварталов Нью-Йорка, где людям словно бы некуда выдыхать отработанный легкими воздух. Миссис Лоренс чем-то напоминала ему Беатрису — не темпераментом, но безупречной грацией и уверенностью манер. Дом, обстановка, ритуал обеда — все являло разительный контраст с тем, что он видел в поместьях богачей на Лонг-Айленде, где слуги были так назойливы, что их приходилось буквально отталкивать, или даже в более традиционных семействах, примыкавших к почтенному старому «Юнион-клубу». Он задумывался над тем, откуда взялась эта благопристойная сдержанность, это изящество, в котором ему чудилось что-то неамериканское, — было ли все это унаследовано миссис Лоренс от предков, поколениями живших в Новой Англии,

или приобретено во время длительного пребывания в Италии и Испании?

После двух бокалов сотерна язык у него развязался, и, чувствуя, что к нему возвращается былое обаяние, он свободно заговорил о религии, литературе, опасных социальных тенденциях. Миссис Лоренс как будто осталась им довольна, и особенно ее заинтересовал его склад ума, а ему как раз и хотелось, чтобы людей снова привлек его ум — через какое-то время это могло стать уютным прибежищем.

— Монсеньор Дарси до сих пор считает, что вы — его новое воплощение, что в конце концов ваша вера оформится.

— Возможно, — отозвался он. — Сейчас-то я в некотором роде язычник. В моем возрасте всем, вероятно, кажется, что религия не имеет ни малейшего отношения к жизни.

Простившись с ней, он шел по Риверсайд-драйв душевно удовлетворенный. Забавно было опять побеседовать на такие темы, как интересный молодой поэт Стивен Винсент Бене или Ирландская республика. В последние месяцы, из-за пошлых взаимных обвинений Карсона и судьи Кохалона, весь ирландский вопрос изрядно ему опротивел, а ведь было время, когда он строил свою жиз-

ненную философию именно на кельтских чертах собственного характера.

Он вдруг почувствовал, что в жизни еще много чего осталось, если только пробуждение прежних интересов не означало, что он движется вспять — вспять от самой жизни.

Метания

— Я très[21] стар, и мне très скучно, Том, — сказал однажды Эмори, с удобством растянувшись на кушетке у окна. В лежачем положении он всегда чувствовал себя лучше. — Ты был занятным собеседником, пока не начал писать, — продолжал он. — А теперь держишь при себе любую мысль, если есть шансы ее напечатать.

Существование снова устоялось на нормальном безвзлетном уровне. Они решили, что при известной экономии им хватит денег платить за эту квартиру, к которой Том, домоседливый, как кошка, успел привязаться. Старые английские гравюры — сцены охоты — принадлежали Тому, так же как и большой гобелен — реликвия декадентских увлечений студенческих лет, и

---

[21] notes: 21
Очень (*фр.*).

множество опустевших подсвечников, и резного дерева стульчик в стиле Людовика XV, с которого все через минуту вскакивали от невыносимой боли в спине, — Том объяснял это тем, что сидеть приходилось на коленях у призрака мадам де Монтеспан[22], — так или иначе, именно имущество Тома обусловило их решение остаться на этой квартире.

Выходили они очень мало: изредка в театр или пообедать в «Рице» либо в Принстонском клубе. Сухой закон нанес смертельные раны обычным местам веселых сборищ; уже нельзя было заглянуть в бар отеля «Билтмор» хоть в пять, хоть в двенадцать часов, суверенностью, что найдешь там родственные души, а танцевать с юными девицами из Нью-Джерси или со Среднего Запада в Розовом зале отеля «Плаза» ни Тома, ни Эмори не тянуло — они уже вышли из этого возраста, да к тому же и тут требовалось несколько коктейлей, «чтобы спуститься до интеллектуального уровня этих женщин», как выразился однажды Эмори, чем привел в ужас некую почтенную матрону.

---

[22] notes: 22

Мадам де Монтеспан (1641–1707) — фаворитка Людовика XIV. С. 789. *«Герой как великий человек».* — Имеется в виду книга английского писателя и историка Томаса Карлайла (1795–1881) «Герои, культ героев и героические истории» (1841), в которой утверждается, что историю создают не народы, а великие одиночки.

От мистера Бартона Эмори получил несколько весьма неутешительных писем: сдать дом в Лейк-Джинева оказалось нелегко, уж очень он велик, максимальной арендной платы, какую можно получить в этом году, хватит только на уплату налогов и самый необходимый ремонт; мнение поверенного сводилось к тому, что вся эта недвижимость обременительна и не нужна. Однако Эмори, даже готовый к тому, что в ближайшие три года не получит с нее ни цента, все же из каких-то сентиментальных соображений решил пока что дом не продавать.

Тот день, когда он объявил Тому, что ему скучно, мало чем отличался от других. Он встал в полдень, завтракал у миссис Лоренс и домой добрался своим любимым способом — на империале автобуса.

— А почему тебе не должно быть скучно? — зевнул Том. — Разве это не приличествует молодому человеку твоего возраста и положения?

— Так-то так, — задумчиво протянул Эмори, — но мне не только скучно. Мне неспокойно.

— Любовь и война тебя доконали.

— Ну, не знаю, — возразил Эмори. — Думается, война как таковая не оказала особенно сильного влияния ни на тебя, ни на меня, но прежние устои

она, безусловно, разрушила, вроде как вытравила из нашего поколения всякий индивидуализм.

Том удивленно поднял голову.

— Да-да, — убежденно продолжал Эмори. — Может, она изо всех на свете его вытравила. О господи, как чудесно было когда-то мечтать, что я стану великим диктатором, или писателем, или религиозным или политическим вождем, а теперь даже какой-нибудь Леонардо да Винчи или Лоренцо ди Медичи не мог бы по старинке прославиться на весь мир. Жизнь стала слишком огромной и сложной. Мир так разросся, что уже не в состоянии шевельнуть собственным пальцем, а я мечтал стать таким важным пальцем…

— Я с тобой не согласен, — перебил его Том. — Люди не оказывались в таком исключительном положении уже со времен… ну, скажем, со времен Французской революции.

Эмори стал горячо возражать:

— Ты неправильно расцениваешь наше время. Сейчас каждый чудак — индивидуалист на период своего индивидуализма. Вильсон был силой, только пока он кого-то представлял, а сколько раз ему пришлось идти на компромисс. Даже Фош вполовину не такая значительная фигура, как Джексон Каменная Стена. Война когда-то

была самым индивидуальным занятием, а между тем популярные военные герои не пользовались авторитетом и не знали ответственности. Гайнемер и сержант Йорк. Какому школьнику придет в голову выбрать в герои Першинга? У великого человека нет времени ни на что, кроме как быть великим.

— Так, по-твоему, героев в мировом масштабе вообще больше не будет?

— Будут — в истории, но не в жизни. Карлайлу было бы сейчас нелегко найти материал для новой главы в разделе «Герой как великий человек».

— Давай дальше. Я сегодня в настроении слушать.

— Люди сейчас так стараются верить в вождей, просто до умиления. Но стоит выдвинуться и завоевать популярность какому-нибудь борцу за реформы, или государственному деятелю, или писателю, или философу, будь то Рузвельт, или Толстой, или Вуд, или Шоу, или Ницше, как его смывает прочь встречным течением уничтожающей критики. В наши дни никто не способен выдержать громкой славы. Это самый верный путь к забвению. Людям надоедает без конца слышать одно и то же имя.

— Выходит, во всем виновата пресса?

— Безусловно. Возьми хоть себя. Ты работаешь в «Новой демократии», она считается самым блестящим американским еженедельником, ее читают наши виднейшие деятели и проч., и проч. В чем же твоя задача? Да в том, чтобы как можно умнее, интереснее и язвительнее высказываться о любом человеке, учении, книге или политической теории, какие тебе поручают преподнести публике. Чем больше энергии и сарказма ты в это вкладываешь, тем больше тебе платят, тем лучше расходится данный номер. Ты, Том Д'Инвильерс, несостоявшийся Шелли, изменчивый, верткий, умный, беспринципный, воплощаешь в себе критическую мысль нации… нет, не возражай, я знаю, о чем говорю. Я сам в университете писал рецензии на книги. И до чего же это было весело — человек честно, добросовестно пытается обосновать какую-то теорию или предложить лекарство, а ты клеймишь это как «легкое чтение для летнего времяпрепровождения». Попробуй скажи, что это не так.

Том рассмеялся, а Эмори с торжеством продолжал:

— Мы очень хотим верить. Молодые ученые стараются верить в своих предшественников,

избиратели стараются верить в своих конгрессменов, страны стараются верить в своих государственных деятелей — но они *не могут* верить. Слишком велика разноголосица, слишком велик разнобой нелогичной, непродуманной критики. А с газетами и вовсе дело дрянь. Богатый ретроград с тем особым хищным, стяжательским складом ума, который зовется финансовым гением, может стать владельцем газеты, а эта газета — единственная духовная пища для тысяч усталых, издерганных людей, неспособных в условиях современной жизни заглатывать ничего, кроме жвачки. За два цента избиратель покупает себе политические взгляды, предрассудки и мировоззрение. Через год политическая верхушка сменяется или газета переходит в другие руки — и что же? Снова путаница, снова противоречия, внезапный натиск новых идей, их смягчают, разбавляют водичкой, потом против них начинается реакция…

Он перевел дух.

— Вот поэтому я и зарекся писать что бы то ни было до тех пор, пока мои идеи либо устоятся, либо уж вовсе сгинут. У меня на душе и так достаточно грехов, не хватает еще, чтобы я забивал людям мозги пустышками в форме изящных афо-

ризмов. Того и гляди, я бы толкнул какого-нибудь скромного, безобидного капиталиста на пошлую связь с бомбой или впутал юного невинного большевика в серьезный флирт с пулеметной лентой…

Том уже поеживался от этого пасквиля на его сотрудничество в «Новой демократии».

— Но какое это имеет отношение к тому, что тебе скучно?

Эмори считал, что самое непосредственное.

— Я-то при чем остаюсь? — вопросил он. — На что я годен? Множить потомство? Американские романы внушают, что «здоровый молодой американец» в возрасте от девятнадцати до двадцати пяти лет — существо абсолютно бесполое. А на самом деле чем он здоровее, тем это большая ложь. Единственное спасение от этого — найти какой-нибудь всепоглощающий интерес в жизни. Ну так вот: война кончилась, писать я не могу — слишком верю в ответственность, которую берет на себя писатель, а деловая жизнь — что о ней говорить. Она не связана ни с чем, что меня когда-либо интересовало, если не считать очень приблизительной, чисто утилитарной связи с экономикой. Но случись мне на ближайшие, лучшие десять лет моей жизни погрязнуть в кон-

торской работе, интеллектуально это обогатило бы меня не больше, чем кинолента на индустриальную тему.

— А беллетристика? — предложил Том.

— Безнадежно. Когда я начинаю писать рассказ, меня угнетает, что я пишу, вместо того чтобы жить, — все время думаю, что жизнь-то, может быть, ждет меня в японском саду «Рица», или в Атлантик-Сити, или в трущобах Ист-Сайда. Да и вообще нет у меня к этому настоящей тяги. Я хотел быть просто нормальным человеком, но моя избранница не смогла стать на мою точку зрения.

— Найдешь другую.

— О черт! Забудь об этом думать. Ты еще скажешь, что, если бы девушка была стоящая, она бы меня дождалась? Нет, мой милый, девушка, которой действительно стоит добиваться, никого ждать не станет. Если б я думал, что найдется другая, я бы растерял последние остатки веры в человеческую природу. Развлекаться я, может быть, буду, но Розалинда — единственная на свете женщина, которая могла меня удержать.

— Ну ладно, — зевнул Том. — Я уже битый час выслушиваю твои признания. А все-таки я рад, что у тебя опять появились хоть какие-то резкие

суждения.

— Да, — нехотя согласился Эмори. — И, однако, я не могу видеть счастливых семей — с души воротит.

— А счастливые семьи нарочно стараются произвести такое впечатление, — утешил его циник Том.

Том в роли цензора

Бывало и так, что слушал Эмори. Это случалось, когда Том, окутанный клубами дыма, принимался со смаком изничтожать американскую литературу. Ему не хватало слов, он захлебывался.

— Пятьдесят тысяч долларов в год! — восклицал он. — Боже мой, да кто они, кто они? Эдна Фербер, Говернор Моррис, Фанни Хербст, Мэри Робертс Рейнхарт — кто из них создал хотя бы один рассказ или роман, который еще будут помнить через десять лет? А этот Кобб — я не считаю его ни способным, ни занимательным, да и не думаю, чтобы многие его высоко ценили, разве что его издатели. Ему реклама ударила в голову. А уж эти… ах, Гарольд Белл Райт, ах, Зейн Грей…

— Они стараются по мере сил.

— Неправда, они даже не стараются. Некоторые из них умеют писать, но не дают себе труда сесть и создать хотя бы один честный роман. А по большей части они просто не умеют писать, тут я с тобой согласен. Я верю, что Руперт Хьюз старается нарисовать правдивую, широкую картину американской жизни, но стиль и угол зрения у него варварские. Эрнест Пул старается, и Дороти Кэнфильд тоже, но им мешает полное отсутствие чувства юмора; эти двое хоть пишут компактно, не рассусоливают. Каждый писатель должен бы писать каждую свою книгу так, будто в тот день, когда он ее закончит, ему отрубят голову.

— Это как понимать, фигурально?

— Не сбивай меня! Так вот, у некоторых как будто и культура есть, и ум, и литературная хватка, но они просто не желают писать честно, а оправдываются тем, что на хорошую литературу, мол, нет спроса. Тогда почему же, скажи на милость, у Уэллса, Конрада, Голсуорси, Шоу, Беннета больше половины тиражей расходятся в Америке?

— А поэтов маленький Томми тоже не любит?

Том в отчаянии воздел руки, потом дал им бессильно повиснуть и тихо застонал.

— Я сейчас пишу на них сатиру, называется «Бо-

стонские барды и херстовские обозреватели»[23].

— А ну почитай, — с интересом попросил Эмори.

— Пока у меня написан только конец.

— Что ж, это очень современно. Прочти конец, если он смешной.

Том извлек из кармана сложенный лист бумаги и стал читать, делая паузы, чтобы было ясно, что это свободный стих.

Итак,
Уолтер Аренсберг,
Альфред Креймборг,
Карл Сэндберг,
Луис Унтермайер,
Юнис Тийенс,
Клара Шанафельт,
Джеймс Оппенгейм,
Максуэлл Боденгейм,

---

[23] notes: 23

«Бостонские барды и херстовские обозреватели». — Иронически перефразированное заглавие сатиры Байрона «Английские барды и шотландские обозреватели» (1808), направленной против консервативной критики его времени. Бостон — в XIX и начале XX в. центр так называемых браминов — поэтов и критиков, тяготевших к европейской культуре. Газеты, издаваемые Херстом, пользуются репутацией желтой прессы.

Ричард Глензер,
Шармел Айрис,
Конрад Эйкен,
Я включаю сюда ваши имена,
Чтобы вы жили,
Пусть только как имена,
В разделе «Ювенилии»
Моего полного собрания сочинений.

Эмори покатился со смеху.

— Здорово! За беспримерную наглость двух последних строк приглашаю тебя пообедать.

Эмори не мог бы подписаться под огульным разносом, который Том учинял американским писателям и поэтам. Он любил и Вэчела Линдзи, и Бута Таркингтона, восхищался изощренным, хоть и неглубоким артистизмом Эдгара Ли Мастерса.

— Что я ненавижу, так это их идиотские бредни насчет «Я бог — я человек — я оседлал бурю — я видел сквозь дым — я сила жизни».

— Ужас!

— И хорошо бы американские прозаики отказались от попыток романтизировать бизнес. Никому не интересно про это читать, если только бизнес не мошеннический. Будь это интересная

тема, люди читали бы биографию Джеймса Дж. Хилла, а не эти длиннющие конторские трагедии, где все толкуют о вреде дыма…

— А мрачность! — подхватил Том. — Вот еще один из любимых мотивов, хотя тут, надо признать, пальма первенства у русских. Наша специальность — это истории про маленьких девочек, которые ломают позвоночник, после чего их усыновляют брюзгливые старики, потому что они все время улыбаются. Можно подумать, что мы нация неунывающих калек, а у русских крестьян одна общая цель — самоубийство.

— Шесть часов, — сказал Эмори, взглянув на часы. — Пошли, угощу тебя роскошным обедом за ювенилии твоего полного собрания сочинений.

Взгляд в прошлое

Июль изнемог от последней особенно жаркой недели, и Эмори, снова не находя себе места, подсчитал, что прошло ровно пять месяцев с того дня, когда он впервые увидел Розалинду. Впрочем, ему уже трудно было почувствовать себя тем молодым человеком, который сошел с военного транспорта, свободный, сам себе хозяин, жаждущий окунуться в гущу жизни. Однажды вечером,

когда в окна его комнаты дышал изнурительный, расслабляющий зной, он несколько часов бился над стихами, пытаясь увековечить щемящую радость тех дней.

В ночи ветра февральские летели и шлепали по стенам все сильней, пустые мостовые заблестели. Притихла жизнь. Под светом фонарей, как масло золотое, снег лоснился в час звезд и слякоти.

Как много взглядов снежные заплаты скрывали между слякотных прорех! Я молод был. Со мною шла тогда ты, прекраснее и завершенней всех. Полузабытые мечты впивал я из губ твоих.

Был некий привкус в воздухе полночном, звук не вставал, мертвела тишина – и жизнь вдруг прозвенела льдом непрочным… Мы были вместе… Началась весна. (На крышах быстро таяли сосульки, и город падал в обморок.)

Все наши мысли – иней средь карнизов; мы, тени, целовались в проводах – не жуткий полу смех бросает вызов, а вздох о прежних огненных годах. Все, что она любила, – в сожаленье превращено.

Еще что-то кончилось

В середине августа пришло письмо от монсеньора Дарси, — видимо, ему только что попался на глаза адрес Эмори.

Дорогой мой мальчик!

Твое последнее письмо меня встревожило. Словно и не ты его писал. Читая между строк, я догадываюсь, что помолвка с этой девушкой не принесла тебе безоблачного счастья, и ты, я вижу, утратил романтический взгляд на жизнь, который был у тебя до войны. Ты сильно ошибаешься, если думаешь, что можно быть романтиком без религии. Иногда мне кажется, что для нас с тобой секрет успеха, какого ни на есть, заключен в мистическом элементе нашего существа: что-то вливается в нас такое, что расширяет нашу сущность, а с отливом его наша сущность съеживается; два твоих последних письма я бы назвал прямотаки ссохшимися. Бойся потерять себя в сущности другого человека, будь то муж-

чина или женщина.

В настоящее время у меня гостят его высокопреосвященство кардинал О'Нийл и епископ Бостонский, поэтому мне трудно выбрать время для письма, но потом я очень хочу, чтобы ты ко мне приехал, хотя бы только на субботу и воскресенье. На этой неделе я должен съездить в Вашингтон.

Чем я буду занят дальше, еще не ясно. Строго между нами, не исключено, что в ближайшие восемь месяцев на мою недостойную голову опустится алая кардинальская шляпа. Так или иначе, мне бы хотелось иметь свой дом в Нью-Йорке или в Вашингтоне, куда ты мог бы приезжать на свободные дни.

Эмори, я очень рад, что оба мы живы; эта война вполне могла прикончить наш славный род. Но что касается брака – ты сейчас переживаешь самый опасный период своей жизни. Ты рискуешь жениться «на скорую руку, да на долгую муку», но думаю, что этого не случится. Судя по тому, что ты пишешь о плачевном состоянии твоих финансов, теперешняя

твоя мечта, разумеется, неосуществима. Однако, меряя тебя моей обычной меркой, я бы сказал, что еще в ближайшие годы тебя ждет серьезное эмоциональное потрясение.

Непременно пиши мне. Куда это годится, что я так плохо о тебе осведомлен.

Искренне к тебе расположенный

Тэйер Дарси.

А через неделю после получения этого письма их маленькое хозяйство развалилось, как карточный домик. Непосредственной причиной послужила тяжелая, видимо, неизлечимая болезнь матери Тома. И вот они свезли мебель на склад, распорядились сдать квартиру от их имени и пожали друг другу руки на Пенсильванском вокзале. Том и Эмори словно только и делали, что прощались.

Оставшись в тоскливом одиночестве, Эмори махнул на юг, надеясь поймать монсеньора в Вашингтоне. Они разминулись на два часа, и тогда, решив провести несколько дней у полузабытого престарелого дядюшки, Эмори покатил по тучным полям Мэриленда в округ Рамильи. Но вместо нескольких дней он пробыл там с середи-

ны августа почти до конца сентября, потому что в Мэриленде он встретил Элинор.

Глава III
Ирония юности

Еще много лет, когда Эмори вспоминал Элинор, ему снова слышалось, как плачет ветер, пронизывая сквознячками сердце. В ту ночь, когда они верхом поднимались в гору и холодная луна плыла сквозь тучи, он потерял еще какую-то невосполнимую часть себя, а потеряв ее, потерял и способность жалеть о ней. Можно сказать, что с Элинор к Эмори в последний раз подкралось Зло под маской красоты, в последний раз жуткая тайна заворожила его и растерзала в клочки его душу.

С ней его воображение не знало удержу, вот почему они и поднялись на самую высокую точку в округе и смотрели, как плывет высоко в небе злая луна, — они знали, что видят друг в друге дьявола. Но сама Элинор — или она приснилась ему? Позже затевали игру их призраки, но оба они от души надеялись, что больше не встретятся. Бесконечная ли печаль ее глаз околдовала его или собственное отражение, которое он увидел,

как в зеркале, в великолепной ясности ее ума? Другого такого переживания, как Эмори, у нее не будет, и если она прочтет эти строки, то скажет: «А у Эмори не будет другого такого переживания, как я».

И не вздохнет, как не вздохнул бы и он.

Однажды Элинор попыталась написать об этом:

Все дорогое нам с тобой
Мы позабудем…
Смех и грусть
Растают, словно снег весной…
Мечты избудем —
Ну и пусть!
Рассвет, что пробуждал экстаз,
Гнетет свечением пустым,
И чувств, что опьяняли нас,
Не ощутим.

Нет, милый, полно, не тоскуй…
Чувств угасанью
Не перечь…
Увял последний поцелуй,
Да и молчанье

В пору встреч
Не даст по вспененным волнам
Метаться призракам былым:
Их, если и предстанут нам,
Не разглядим.

Они чуть не рассорились, потому что Эмори утверждал, что непозволительно рифмовать «угасанью» и «молчанье». И еще был у Элинор кусок другого стихотворения, для которого она никак не могла подобрать начало:

Проходит мудрость… Хоть дано
Годам учить нас день за днем,
Но их уроки все равно
Мы не поймем.

Элинор всем сердцем ненавидела Мэриленд. Она принадлежала к старейшему из старых семейств округа Рамильи и жила с дедом в большом мрачном доме. Родилась и росла она во Франции… Но не с этого надо было начинать. Попробую начать по-другому.

Эмори скучал, как с ним всегда бывало в деревне. Он уходил один на далекие прогулки, читал кукурузным полям «Улялюм» и одобрял Эдгара По, спившегося до смерти в этой атмосфере

улыбчивого благодушия. Как-то раз он отшагал несколько миль по незнакомой дороге, потом, на беду послушав совета какой-то негритянки, свернул в лес и окончательно заблудился. Пролетная гроза решила разразиться именно здесь, и, к великой его досаде, небо почернело, дождь закапал сквозь листву деревьев, сразу ставших неуютными и призрачными. Гром угрожающе заворчал вдалеке, глухими залпами стал прокатываться по лесу. Он шел напролом, надеясь выйти из лесу, и наконец сквозь сетку перепутанных веток увидел просвет между деревьями и дальше — открытое место, то и дело озаряемое молниями. Добежав до опушки, он остановился, не решаясь пуститься через поле к домику — светящейся точке вдали. Было всего половина шестого, но за десять шагов впереди ничего не было видно, только при вспышках молнии все вокруг выступало четкими пугающими очертаниями.

Внезапно слуха его коснулись странные звуки — звуки песни, и пел ее низкий, хрипловатый голос — женский голос — где-то совсем близко. Год назад он, вероятно, рассмеялся бы или задрожал, но сейчас, снедаемый беспокойством, он только стоял и слушал, давая словам проникнуть в сознание.

Les sanglots longs
Des violons
De l'automne
Blessent mon coeur
D'une langueur
Monotone.

Новая молния раскололa небо, но пение продолжалось, даже не дрогнув. Певица явно была на лугу, и голос ее как будто исходил из стога сена шагах в двадцати впереди.

Потом голос умолк: умолк и зазвучал снова, — точно скорбный хорал взлетал ввысь, повисал в воздухе и падал, сливаясь с дождем.

Tout suffocant
Et blême quand
Sonne l'heure
Je me souviens
Des jours anciens

Et je pleure…[24]

— Вздумалось же кому-то в округе Рамильи, — проговорил Эмори вслух, — петь Верлена на мотив собственного сочинения, когда услышать его может только мокрый стог сена!

— Кто-то идет! — крикнул голос, ничуть не встревоженный. — Кто вы? Манфред, святой Христофор или королева Виктория?

— Я Дон Жуан! — экспромтом отозвался Эмори, стараясь перекричать шум дождя и ветра.

Из стога раздался громкий радостный смех.

— Я знаю, кто вы, вы — тот юный блондин, что любит «Улялюм», я вас по голосу узнала.

— Как мне к вам подняться? — крикнул он, подбегая к стогу, уже промокший до нитки. Из-за края стога появилась голова — было так темно,

---

[24] notes: 24

Издалека
Льется тоска
Скрипки осенней —
И, не дыша,
Стынет душа
В оцепененье.

Час прозвенит —
И леденит
Отзвук угрозы,
А помяну В сердце весну —

Катятся слезы (фр.).

Перевод А. Гелескула.

что он разглядел только черные влажные волосы и два глаза, светящихся, как у кошки.

— Надо разбежаться и прыгнуть, — отвечал голос, — а я подам вам руку… Нет, не здесь, с другой стороны.

Он послушался, и, когда стал карабкаться на стог, по колено увязая в сене, маленькая белая рука протянулась ему навстречу, ухватила его руку и помогла добраться до верху.

— Вот и вы, Жуан! — громко приветствовала его обладательница влажных волос. — Без «Дона» мы обойдемся, ладно?

— У вас большой палец в точности как мой! — воскликнул он.

— А вы все держите меня за руку, это рискованно, ведь вы еще не видели моего лица.

Он поспешно выпустил ее руку.

Словно в ответ на его молитву сверкнула молния, и он жадно глянул на ту, что стояла рядом с ним на мокром сене, в десяти футах над землей. Но она закрыла лицо, и он увидел только стройную фигурку, темные, влажные стриженые волосы и маленькие белые руки с большими пальцами, которые отгибались назад, как у него.

— Присаживайтесь, — вежливо предложила она, и их снова окутал мрак. — Если сядете на-

против меня в эту ямку, уступлю вам половину моего плаща. Он мне служил палаткой, пока вы так грубо не нарушили мое уединение.

— Вы сами меня позвали, — с готовностью парировал Эмори, — сами позвали, и прекрасно это знаете.

— Дон Жуан всегда вот так поворачивает дело, — отвечала она, смеясь, — но я больше не буду называть вас Дон Жуаном, потому что вы блондин, даже рыжеватый. Лучше прочтите мне «Улялюм», а я буду Психеей, вашей душой.

Эмори вспыхнул и порадовался, что его не видно за пеленой ветра и дождя. Они сидели друг против друга в небольшой выемка в сене, частично защищенные плащом. Эмори изо всех сил старался разглядеть Психею, но молний, как назло, не было, и оставалось только ждать. Боже мой! А что, если она совсем не красивая, что, если она — сорокалетняя ученая женщина, о господи, что, если она сумасшедшая? Но он тут же отбросил эту мысль как недостойную. Провидение ниспослало ему девушку, чтобы было кому его позабавить, как ниспосылало Бенвенуто Челлини мужчин, чтобы было кого убить, а он гадает, не сумасшедшая ли она, только потому, что она так пришлась к его настроению.

— Нет, — сказала она.

— Что нет?

— Не сумасшедшая. Я же не решила, что вы сумасшедший, когда в первый раз вас увидела, значит, и с вашей стороны нечестно так обо мне думать.

— Но как вы могли…

С начала до конца своего знакомства Эмори и Элинор могли поговорить о чем-то, потом замолчать, продолжая об этом думать, а через десять минут заговорить снова, и оказывалось, что мысль у обоих за это время работала одинаково и достигла одинаковой точки, в которой другие не усмотрели бы никакой связи с предыдущей.

— Скажите мне, — попросил он, взволнованно подавшись вперед, — откуда вы знаете про «Улялюм» и какого цвета у меня волосы? Как вас зовут? Что вы тут делали? Отвечайте сразу про все.

Молния вдруг сверкнула неимоверно ярко, и он увидел Элинор, впервые глянул в эти ее глаза. Она была прекрасна — бледная кожа цвета мрамора при свете звезд, тонкие брови и глаза, блеснувшие двумя изумрудами в ослепительной вспышке. Колдунья лет девятнадцати, быстрая и томная, и над верхней губой — узкая выбеленная

полоска, очаровательное свидетельство женской слабости. Он тихо ахнул и откинулся на сено.

— Теперь вы меня видели, — сказала она спокойно, — и сейчас, вероятно, скажете, что мои зеленые глаза горят у вас в мозгу.

— Какого цвета у вас волосы? — спросил он тревожно. — Они ведь стриженые?

— Да, стриженые. А какого цвета — не знаю, — продолжала она задумчиво. — Меня столько мужчин об этом спрашивали. Наверно, какого-нибудь среднего цвета. На мои волосы никто не заглядывался, а вот глаза у меня красивые. Можете сказать что угодно, а я все равно знаю, глаза у меня красивые.

— Ответь мне на вопросы, Маделина.

— Я уж их все не помню… и зовут меня, между прочим, не Маделина, а Элинор.

— Как я сразу не догадался. Вы и на вид Элинор, у вас элиноровская внешность… ну, вы меня понимаете.

В наступившем молчании они слушали дождь…

— За шиворот затекает, собрат помешанный, — сообщила она наконец.

— Ответьте на мои вопросы.

— Хорошо. Итак: фамилия — Сэведж, имя —

Элинор, живу в большом старом доме, отсюда миля по дороге; ближайший родственник, которого в случае чего известить, — дед, Рамильи Сэведж; рост — пять футов четыре дюйма, номер на крышке часов — триста семь тысяч семьсот тринадцать, нос с изящной горбинкой, нрав — бесовский…

— А меня, — перебил ее Эмори, — где вы меня видели?

— Ах, вы, значит, один из тех мужчин, — отвечала она надменно, — для которых единственная интересная тема разговора, — они сами. Извольте, милейший, я как-то на прошлой неделе загорала за изгородью и слышу — по дороге идет человек и говорит таким приятно-самодовольным тоном:

Ночь зачахла, рассвет неизбежный

Предвещало движенье светил,

(говорит)

Вдоль аллеи к нам призрачный, нежный

(говорит)

Возникающий свет доходил.

Ну, я, конечно, высунулась из-за изгороди по-

смотреть, но вы, неизвестно почему, пустились бежать, так что я увидела только ваш прелестный затылок. Ага, говорю, вот мужчина, по которому многие девушки вздыхают, и так далее в лучшем ирландском…

— Понятно, — перебил Эмори, — теперь давайте дальше о себе.

— Хорошо. Я иду по жизни, доставляя людям сильные ощущения, сама же таковых почти не испытываю, разве что выдумаю себе кого-нибудь в такой вечер, как сегодня. Смелости, чтобы пойти на сцену, у меня бы хватило, но нет энергии. Чтобы писать книги, нужно терпение, его у меня тоже нет. И я ни разу не встретила мужчину, за которого могла бы выйти замуж. Впрочем, мне еще только восемнадцать лет.

Гроза понемногу стихала, лишь ветер дул с прежним нездешним упорством, и стог степенно раскачивался из стороны в сторону. Эмори был словно в трансе. Он чувствовал, что каждое мгновение бесценно. Никогда еще он не встречал такой девушки, никогда уже она не покажется ему в точности такой же. Он совсем не ощущал себя актером на сцене, что было бы естественно в столь необычной ситуации, — нет, скорее он чувствовал, что вернулся домой.

— Я только что пришла к важному решению, — сказала Элинор, опять помолчав, — потому я и здесь, и это, кстати, ответ на еще один ваш вопрос. Я решила, что не верю в бессмертие.

— Только-то? Как банально!

— Очень, — согласилась она, — и, однако же, огорчительно до противности. Я пришла сюда, чтобы промокнуть — стать как мокрая курица. Мокрые куры всегда отличаются ясностью мышления, — заключила она.

— Продолжайте, — вежливо сказал Эмори.

— Ну, темноты я не боюсь, так что надела плащ и резиновые сапоги и вышла из дому. Понимаете, раньше я всегда боялась сказать, что не верю в Бога, — вдруг меня за это поразит молния, — но вот она я, здесь, и молния меня, конечно, не поразила, но главное то, что сегодня мне было не страшнее, чем в прошлом году, когда я верила в «христианскую науку»[25]. Так что теперь я поняла, что я — материалистка и такая же вещь, как вот это сено, а тут из леса появились вы, стали на опушке и трясетесь от страха.

---

[25] notes: 25

«Христианская наука» — религиозная доктрина, суть которой — исцеление молитвой духовных и физических недугов. Сформулированная в 1864 г. Мэри Бейкер Эдди, эта доктрина имела в США на рубеже XIX и XX вв. множество приверженцев.

— Это уже нахальство! — возмущенно вскричал Эмори. — Чего же мне было пугаться?

— Самого себя! — крикнула она так громко, что он подскочил.

Она, смеясь, захлопала в ладоши.

— Друзья, друзья! Убейте совесть, как я! Элинор Сэведж, материолог, не бойся, не дрожи, не опаздывай…

— Но без души мне никак нельзя, — возразил он. — Не могу я быть только рациональным, а скопищем молекул быть не хочу.

Она наклонилась к нему, впиваясь в его глаза своим горящим взглядом, и прошептала с какой-то романтической одержимостью:

— Так я и думала, Жуан, этого и опасалась, — вы сентиментальны, не то что я. Я — романтичная материалисточка.

— Я не сентиментален. Я романтик не хуже вас. Ведь сентиментальные люди, как известно, воображают, что мгновение можно продлить, а романтики тешат себя уверенностью, что нельзя. (Это различие Эмори проводил не впервые.)

— Парадоксы? Я пошла домой, — сказала она с грустью. — Давайте слезать, до развилки дойдем вместе.

Они стали осторожно спускаться со своего на-

шеста. Она не приняла его помощи — сделав ему знак отойти, грациозно плюхнулась в мягкую грязь и посидела так, смеясь над собой. Потом вскочила, взяла его за руку, и они пустились по мокрому лугу, перепрыгивая с кочки на кочку. Каждая лужица словно искрилась небывалой радостью — взошла луна, и гроза умчалась на запад Мэриленда. Всякий раз, что Элинор касалась его, он холодел от страха, как бы не выронить волшебную кисть, которой воображение расцвечивало ее в сказочные краски. Он поглядывал на нее краем глаза, как и позже, на их прогулках, — она была прелесть и безумие, и он жалел, что ему не суждено до скончания дней сидеть на стоге сена, глядя на жизнь ее зелеными глазами. В тот вечер он был вдохновенным язычником, и, когда она серым призраком растворилась вдали на дороге, тихое пение поднялось от земли и сопровождало его до самого дома. Всю ночь в окно его комнаты залетали и кружились летние бабочки; всю ночь огромные звуки-призраки плыли в таинственном хороводе сквозь серебряную пыль, а он слушал, лежа без сна в светящейся тьме.

Сентябрь

Эмори выбрал травинку и стал сосредоточенно ее жевать.

— Я никогда не влюбляюсь в августе и в сентябре, — объявил он.

— А когда?

— На Рождество или на Пасху. Я чту церковные праздники.

— Пасха! — Она сморщила нос. — Фу! Весна в корсете.

— По-вашему, весне от Пасхи скучно? Пасха заплетает волосы в косы, носит строгий костюм.

– Стяни стопы ремнями сандалий,
Чтоб ярче при беге они сияли,—

негромко процитировала Элинор, а потом добавила: — Для осени День всех святых, наверно, лучше, чем День благодарения.

— Гораздо лучше. А для зимы неплох сочельник, но лето…

— У лета нет своего праздника, — сказала она. — Летняя любовь не для нас. Люди столько раз пробовали, что самые эти слова вошли в поговорку. Лето — это всего лишь невыполненное

обещание весны, подделка вместо тех теплых блаженных ночей, о которых мечтаешь в апреле. Печальное время жизни без роста… Время без праздников.

— А Четвертое июля? — шутливо напомнил Эмори.

— Не острите! — сказала она, уничтожая его взглядом.

— Так кто же мог бы выполнить обещание весны?

Она минуту подумала.

— Ну, например, провидение, если бы оно существовало, этакое языческое провидение… Вам бы следовало быть материалистом, — добавила она ни к селу ни к городу.

— Почему?

— Потому что вы похожи на портреты Руперта Брука.

В какой-то мере Эмори пытался играть Руперта Брука все время, что длилось их знакомство. Его слова, его отношение к жизни, к Элинор, к самому себе — все это были отзвуки литературных настроений недавно умершего англичанина. Часто Элинор сидела на траве, и ветер лениво играл ее короткими волосами, а хрипловатый ее голос пробегал по всей шкале от Грантчестера

до Ваикики. В чтение стихов она вкладывала подлинную страсть. Они острее ощущали свою близость, не только духовную, но и физическую, когда читали, чем когда она лежала в его объятиях, а это тоже бывало часто, потому что они почти с самого начала были словно бы влюблены. Но был ли Эмори еще способен на любовь? Он мог, как всегда, за полчаса проиграть всю гамму эмоций, но даже в минуты, когда оба давали волю воображению, он знал, что ни он, ни она не могут любить так, как он любил однажды, — поэтому, вероятно, они и обратились к Бруку, Суинберну, Шелли. Спасение их было в том, чтобы придать всему красоту, законченность, образное богатство, протянуть крошечные золотые щупальца от его воображения к ее и тем заменить большую, глубокую любовь, которая была где-то совсем близко, но оставалась неуловимой, как сон.

Одно стихотворение — «Торжество времени» Суинберна — они читали снова и снова, и одно четверостишие из него звучало потом в его памяти всякий раз, когда теплыми летними ночами он видел светляков среди темных деревьев и слышал заунывный хор лягушек. Потом из мрака словно появлялась Элинор и стояла с ним рядом, и он слышал ее хрипловатый голос, напоминаю-

щий по тембру заглушенные барабаны:

Сто́ит ли часа или слезы
Думать про смытое бегом времен:
Про стебель, сломанный гневом грозы,
Несвершенный подвиг, несбывшийся сон?

Через два дня после первой встречи состоялось их официальное знакомство, и тетка рассказала ему историю Элинор. Жили они сейчас вдвоем: дед и внучка. Элинор провела юность во Франции с матерью, беспокойной особой, которую Эмори представил себе в чем-то очень похожей на Беатрису, а после смерти матери приехала в Америку. Сперва она поселилась у дяди-холостяка в Балтиморе и там, семнадцати лет, пожелала приобщиться к светской жизни. Всю зиму она веселилась напропалую, а в марте прибыла в деревню, бурно рассорившись с благопристойными балтиморскими родичами, в ярости восставшими против ее поведения. Была обнаружена легкомысленная компания — члены ее распивали коктейли в лимузинах и держались до неприличия снисходительно и покровительственно по отношению к старшим, — и Элинор, как выяснилось, с дерзостью, сильно отдающей парижскими

бульварами, завлекла многих невинных юношей, только что со школьной скамьи, на путь беспардонной богемы. Когда сведения об этом дошли до ее дядюшки, успевшего забыть, что и сам он был повесой, только в более ханжескую эпоху, разразился семейный скандал, после чего Элинор, укрощенная, но негодующая и несмирившаяся, нашла пристанище у деда, пребывавшего в деревне на грани старческого слабоумия. Вот все, что было сообщено Эмори; остальное Элинор рассказала ему сама, но уже много позже.

Они вместе ходили купаться, и Эмори, лениво покачиваясь на воде, выключал из сознания все мысли, оставляя только грезу о туманной стране, где солнце вечно струится сквозь пьяную от ветра листву. Зачем думать, терзаться, что-нибудь делать? Нет, только плавать, плескаться, нырять здесь, на краю времени, когда летние дни становятся все короче. Пусть дни бегут: печаль, воспоминания, боль — все это так, и, прежде чем опять к ним приобщиться, так хочется побыть здесь, безвольным и молодым.

Порой Эмори бывало обидно, что его жизнь из ровного продвижения по дороге, уходящей вдаль среди единого стройного ландшафта, превратилась в ряд быстро сменяющихся, не связанных

между собой сцен — два года пота и крови, внезапная, нелепая мечта об отцовстве, которую разбудила в нем Розалинда, получувственная, полуневрастеническая окраска этой осени с Элинор. Он думал о том, сколько времени — а где его взять? — потребуется на то, чтобы наклеить эти бесформенные картинки на место в альбоме его жизни. Точно он на полчаса своей молодости уселся за банкетный стол и пытается насладиться сменой роскошных, усладительных блюд.

Он давал себе туманные обещания когда-нибудь спаять все это воедино. Ему долго казалось, что его то несет вперед потоком любви или увлечения, то прибивает в заводь, и в заводи не хочется думать, хочется только, чтобы со временем новая волна подхватила и понесла дальше.

— Изверившееся, умирающее лето и наша любовь, как они слитны, — печально сказала Элинор, когда они однажды, накупавшись, лежали на берегу.

«Прощальный отблеск наших сердец…» — Он осекся.

— Скажи мне, — попросила она, — у нее волосы были светлые или темные?

— Светлые.

— Она была красивее меня?

— Не знаю, — отрезал он.

Как-то поздно вечером они гуляли в саду, и взошла луна, разливая вокруг густое великолепие, так что сад превратился в сказочную страну, где Эмори и Элинор, воплощение вечной красоты, были как смутные тени в причудливой любовной игре. Из лунного света они шагнули в тьму беседки, увитой диким виноградом, где запахи были так жалобны, что казались звуками музыки.

— Зажги спичку, — шепнула она, — я хочу тебя видеть.

Чирк! Вспых!

Ночь и корявые стволы напоминали декорацию, и в том, что он здесь с Элинор, ускользающей, нереальной, Эмори почудилось что-то знакомое. Почему это, подумал он, только прошлое кажется странным и невероятным? Спичка погасла.

— Темно, как в колодце.

— Теперь мы — только голоса, — тихо проговорила Элинор. — Слабые, одинокие голоса. Зажги еще спичку.

— Та была последняя, больше нет.

И вдруг он схватил ее в объятия.

— Ты моя, ты же знаешь, что моя! — воскликнул он страстно…

Лунный свет прокрался сквозь лозы и слушал…

Светляки ловили их шепот, словно просили его оторваться взглядом от ее глаз.

Лето кончилось

— «Все тишиной обволокло, и под луною ветерок почил. В озерах потаенных спит вода, как льдистое стекло, что золотой подарок погребло», — декламировала Элинор деревьям, тонкими штрихами расчертившими ночь. — Жутко здесь, правда? Поедем прямо лесом искать потаенные озера, только смотри, чтобы лошадь не споткнулась.

— Второй час ночи, — возразил он, — тебе нагорит. Да и в лошадях я мало что смыслю, не сумею потом расседлать в полной темноте.

— Замолчи, старый дурак, — прошептала она, неожиданно вспылив, и тут же, перегнувшись в седле, лениво похлопала его по руке стеком. — Своего одра можешь оставить у нас в конюшне, я его завтра пришлю.

— Но на этом одре дядя в семь часов утра должен отвезти меня на станцию.

— Да перестань ты брюзжать. И помни: тебе свойственна нерешительность, это мешает тебе стать украшением моей жизни.

Эмори подъехал к ней вплотную и схватил ее за руку.

— Скажи, что я — украшение твоей жизни, сейчас же скажи, а не то перетащу тебя к себе и будешь сидеть сзади.

Она с улыбкой взглянула на него и замотала головой.

— Давай! То есть нет, не надо. И почему это все самое интересное связано с неудобствами? Война, путешествия, лыжи в Канаде. Кстати, мы скоро поднимемся на Харперов обрыв. Кажется, в нашей программе это назначено на пять часов.

— Вот бесенок, — проворчал Эмори. — Ты мне всю ночь не дашь отдохнуть, придется отсыпаться в поезде, как иммигранту.

— Тсс! Кто-то идет по дороге. Исчезаем. Ур-ра!

С этим воплем, от которого запоздалого путника наверняка пробрала дрожь, она направила лошадь в чащу, и Эмори осторожно свернул за ней следом, как следовал за ней изо дня в день вот уже три недели.

Лето кончилось, но все эти последние недели он наблюдал, как Элинор, легкий грациозный Манфред, воздвигает себе интеллектуальные и психологические пирамиды, упивается своими фантазиями, как малый ребенок, и за обеденным

столом вместе с ним сочиняет стихи.

Когда ликующий порыв преобразил их бытие, он, зачарованный, решив, что должен помнить мир ее, любовь и смерть зарифмовал с ее глазами… «Времена над ней не властны!» – Он вскричал, но все же умерла она с его дыханьем. Красота ушла, как на заре туман…

Живет искусство – не уста, живут стихи – не стройный стан…

«Будь мудр, начав слагать сонет, не торопи слова певца». Пусть лжи в моих признаньях нет, пусть был правдив я до конца при восхваленье красоты, но беспощаден лёт годин, и не поверит мир, что ты была прекрасна день один.

Он написал это однажды, размышляя о том, как холодно мы относимся к «Смуглой леди сонетов» и как помним ее совсем не такой, какой великий поэт хотел ее обессмертить. Ибо ясно, что если Шекспир мог писать с таким божественным отчаянием, значит, он хотел, чтобы эта женщина осталась жить в веках… а теперь она нам, в сущности, не интересна… И какая ирония! Если бы не женщина, а поэзия стояла для него на первом

месте, сонет был бы не более чем откровенной подражательной риторикой и через двадцать лет никто его уже не читал бы…

Это было последнее в его жизни свидание с Элинор. Наутро он уезжал в Нью-Йорк, и они уговорились совершить небольшую прощальную прогулку верхом при холодном лунном свете. Она сказала, что ей хочется поговорить, может быть, в последний раз в жизни показать себя разумным существом (она имела в виду — всласть попозировать).

И вот они свернули в лес и полчаса ехали молча, только время от времени она шепотом произносила «Черт!», зацепившись за докучливую ветку, — произносила с чувством, недоступным никакой другой девушке. Потом стали подниматься к Харперову обрыву, пустив усталых лошадей шагом.

— Господи, как тут тихо! — шепнула Элинор. — Гораздо пустыннее, чем в лесу.

— Ненавижу лес! — сказал Эмори, передернувшись. — И вообще всякую листву и кусты ночью. Здесь так просторно и дышится легче.

— Долгий подъем по долгому склону.

— И холодная луна катит навстречу свое сияние.

— И самое главное — ты и я.

Было очень тихо. По прямой дороге, ведущей к краю обрыва, и вообще-то мало кто ездил. Лишь кое-где негритянская хижина, серебристая в дробящемся о камни лунном свете, нарушала однообразие голого плоскогорья, позади чернела опушка — темная глазурь на белом торте, впереди — высокое, ясное небо. Стало еще холоднее, так холодно, что все теплые ночи словно выветрились из памяти.

— Кончилось лето, — тихо сказала Элинор. — Слышишь, как наши лошади стучат копытами: тук-тук-тук. С тобой так бывало, что, когда поднимается температура, все звуки сливаются в такое вот «тук-тук-тук», кажется, оно может звучать до скончания века? Вот так я себя и сейчас чувствую — старые лошади копытами: тук-тук. Наверно, только это и отличает нас от лошадей и часов. Человек, если будет жить под «тук-тук-тук», непременно свихнется.

Ветер усилился. Элинор плотно запахнулась в накидку и поежилась.

— Очень озябла? — спросил Эмори.

— Нет. Я думаю о себе, о своей черной сути, самой подлинной, с изначальной честностью, которая только и не дает мне стать безнадежной

грешницей, потому что заставляет признавать собственные грехи.

Они ехали по краю обрыва, и Эмори глянул вниз. Там, на глубине ста футов, чернела речка, четкая линия, прерываемая бликами на быстрой воде.

— Гадостный мир! — внезапно взорвалась Элинор. — И самое скверное в нем — это я. Господи, почему я не мужчина? Почему я не дура? Вот ты — ты глупее меня, не намного, но все-таки, а волен резвиться, пока не наскучит, а потом переменить обстановку и снова резвиться, волен развлекаться с девушками, не запутываясь в сети эмоций, волен думать что угодно, и никто тебя не осудит. А я — ума у меня хоть отбавляй, но я прикована к тонущему кораблю неотвратимого замужества. Мне бы надо родиться на сто лет позже, а сейчас — что меня ждет? Придется выходить замуж, ничего не поделаешь. А за кого? Для большинства мужчин я слишком умна, а между тем, чтобы привлечь их внимание, вынуждена спускаться до их уровня, тогда они хоть получают удовольствие, могут отнестись ко мне покровительственно. С каждым годом у меня остается все меньше шансов встретить мужчину без изъянов. И выбирать я могу от силы в двух-трех городах,

ну и конечно, только в своем кругу.

— Понимаешь, — она опять перегнулась к нему, — я люблю умных мужчин, и красивых, и, конечно, незаурядных. А что такое секс — это, дай бог, один человек из пятидесяти хотя бы смутно понимает. Фрейд и прочее — это мне все известно, но все-таки свинство, что всякая *настоящая* любовь — на девяносто пять процентов страсть плюс щепотка ревности. — Она умолкла так же неожиданно, как начала.

— Ты, конечно, права, — согласился Эмори. — Это какая-то неприятная, неодолимая сила, и она подоплека всего остального. Словно актер, который демонстрирует тебе свою технику… погоди, дай подумать…

Он помолчал, подыскивая метафору. Они повернули и ехали теперь по дороге футах в пятидесяти от обрыва.

— Понимаешь, каждому нужно набрасывать на это какое-то покрывало. Мелкие умишки — второе сословие, по Платону, — те пускают в ход остатки рыцарской романтики, разбавленной викторианской чувствительностью; а мы, претендующие на высокую интеллектуальность, притворяемся, будто видим в этом другую сторону своей сущности, ничего общего не имеющую

с нашим замечательным разумом. Мы притворяемся, будто самый факт, что мы это понимаем, гарантирует от опасности попасть к нему в рабство. Но на самом-то деле секс таится в самой сердцевине наших чистейших абстракций, так близко, что загораживает вид… Вот сейчас я могу поцеловать тебя и поцелую. — Он потянулся к ней, но она отстранилась.

— Не могу. Не могу я сейчас с тобой целоваться. У меня организация тоньше.

— Не тоньше, а глупее, — заявил он раздраженно. — Ум не защита от секса, так же как и чувство приличия.

— А что защита? — вспылила она. — Католическая церковь? Максимы Конфуция?

Эмори от удивления не нашелся что ответить.

— В этом, что ли, твоя панацея? — крикнула она. — Сам ты старый ханжа, и больше ничего. Тысячи злющих священников треплются насчет шестой и девятой заповедей, призывая к покаянию кретинов итальянцев и неграмотных ирландцев. Все это покрывала, маски, сантименты, духовные румяна, панацеи. Говорю тебе, Бога нет, нет даже абстрактного доброго начала, каждый должен сам для себя до всего додумываться, правда — вот она, за высоким белым лбом, таким,

как у меня, а ты по своей ограниченности не желаешь это признать. — Она выпустила поводья и кулачком погрозила звездам. — Если Бог есть, пусть убьет меня!

— Типичные рассуждения атеистов о Боге, — резко сказал Эмори.

От кощунственных слов Элинор его материализм, и всегда-то непрочная оболочка, затрещал по всем швам. Она это знала, и то, что она знает, бесило его.

— И подобно большинству интеллигентов, которым при жизни религия только мешает, — продолжал он холодно, — подобно Наполеону и Оскару Уайльду и прочим людям твоего склада, на смертном одре ты будешь со слезами призывать священника.

Элинор резко осадила лошадь, и Эмори, догнав ее, тоже остановился.

— Ты так думаешь? — Голос ее прозвучал до того странно, что он испугался. — Ну так гляди! Сейчас я прыгну с обрыва. — И не успел он опомниться, как она рывком повернула лошадь и во весь опор понеслась к краю плато.

Он бросился вслед — тело как лед, нервы гудят набатным звоном. Остановить ее нечего и думать. Луну скрыло облако, лошадь не заметит

опасности. Но не доезжая футов десяти до края, Элинор с пронзительным воплем бросила тело вбок, грохнулась наземь и, два раза перевернувшись, застыла в кустарнике в пяти шагах от обрыва. Лошадь с отчаянным ржанием исчезла из глаз. Он подбежал к Элинор и увидел, что глаза у нее открыты.

— Элинор! — крикнул он.

Она не ответила, но губы шевельнулись, и глаза вдруг наполнились слезами.

— Элинор, ты расшиблась?

— Кажется, нет, — сказала она едва слышно и заплакала. — Лошадь… насмерть?

— О господи, конечно.

— Ой, — простонала она, — я ведь тоже хотела… я думала…

Он бережно помог ей подняться, посадил на свою лошадь. Так они пустились домой — Эмори вел лошадь, а Элинор, склонившись на луку, горько рыдала.

— Я ведь не совсем нормальная, — выговорила она с усилием. — Я уже два раза такие вещи проделывала. Когда мне было одиннадцать лет, мама помешалась, по-настоящему, была буйно-помешанная. Мы тогда жили в Вене…

Всю дорогу она, запинаясь, рассказывала о себе,

и любовь в сердце Эмори медленно убывала вместе с луной. У дверей ее дома они по привычке чуть не поцеловались, но она не кинулась ему на шею, да и он не раскрыл ей объятия, как было бы неделю назад. Минуту они постояли ненавидя друг друга с лютой печалью. Но Эмори и раньше любил в Элинор самого себя и теперь ненавидел лишь зеркало. В бледном рассвете их фантазии усыпали землю, как битое стекло. Звезды давно погасли, только ветер еще вздыхал, негромко, с перерывами… но обнаженные души — кому они нужны? — и вскоре Эмори зашагал к своему дому, готовый с восходом солнца встретить новый день.

Стихи, которые Элинор прислала Эмори несколько лет спустя

Здесь, земнородные, мы над журчанием водным,

Тем, чья беспечная музыка света полна,

День обнимали со смехом лучисто-свободным…

Здесь нам удобно шептаться и ночь не страшна.

Здесь мы вдвоем... Красотой ли с величьем мы были

Вместе увенчаны вольною летней порой?

Рваные тени листвы на тропе мы любили

И гобелены прозрачные дали немой.

Это был день... А о ночи преданье иное —

Бледной, как сон, в карандашной штриховке ветвей:

Призраки звезд нам шептали о дивном покое,

Славы велели не ждать и не думать о ней.

Звезды твердили о вере, что гибнет с рассветом...

Юность – медяк, ею куплены чары луны.

Смысл и порыв ощущали с тобой мы лишь в этом,

Эти проценты мы были июню должны.

Здесь мы, у струй, что о прошлом рас-

скажут едва ли

То, что не следует знать, и, мечты углубя,

Молвят, что свет – только солнце… Но воды молчали…

Кажется, вместе мы… Как я любила тебя!

Что было прошлою ночью, в час гибели лета?

К дому что́ нас потянуло в вечерних тенях?

Кто там из мрака, оскалясь, уставился где-то?

Ах, как ты, спящий, метался! Объял тебя страх.

Что ж… Мы прошли… Мы теперь обратились в преданье —

Метеоритов чудной искривленный металл,—

И подменило навеки меня мирозданье,

Ты же, усталости чуждый, смертельно устал.

Страх – это зов… Безопасность нужна

земнородным…

Мы – голоса лишь и лица, навеки бледны…

Шепчется полулюбовь над журчанием водным…

Юность – медяк, ею куплены чары луны.

Стихи, которые Эмори послал Элинор, озаглавленные «Летняя гроза»

Звук песни, дуновенье ветерков,

И чей-то легкий смех в дали немой,

И дождь, и над полями чей-то зов…

На солнце туча бурая нашла

И, трепеща, скликает за собой

Сестер. В деревьях – крыльям нет числа.

Тень промелькнула – это голубок…

И сквозь долину, по ее стволам

Скользит на темную грозу намек —

То дух, присущий высохшим морям,

Чуть слышный гром…

О ливень и туман,

Вам снова бы чадру судьбы сорвать!
Власы ей взвихри, бурный ураган!
Я ожидаю вас!
И вот опять
Меня захлестывает все страшней
Нагромождение грозы и мглы.
Когда-то были все дожди нежней,
Когда-то были все ветра теплы...
И ты идешь в тумане... Меж кудрей
Сверкающие капли, на губах —
Что старше делает тебя и злей —
Надрыв иронии, веселый страх.
Ты, словно призрак, обгоняешь дождь,
Идешь в лугах, где мертвые мечты,
Где мертвая любовь, и листья рощ
Мертвы, как сон, и дымкой залиты...
(Ползет чуть слышный шепот в темноте,
Деревья молкнут.)
А ночная мгла
Прочь сорвала хитон промокший дня...
Скользнула по холмам и размела

По долу кудри… Сумрак воцарен…
Деревья стихли… все молчит… покой…
О тьма… сиянье будущих времен…
И чей-то легкий смех в дали немой…

Глава IV
Высокомерное самопожертвование

Атлантик-Сити. К концу дня Эмори шел по пешеходной эстакаде над набережной, убаюканный однообразным шумом вечно сменяющихся волн, вдыхая чуть похоронный запах соленого ветра. Море, думал он, хранит память о прошлом крепче, чем изменчивая земля. Оно все еще шепчет о ладьях викингов, что бороздили океан под черными крыльями-флагами, об английских дредноутах — серых оплотах цивилизации, что в черном июльском тумане сумели выйти в Северное море.

— Да это Эмори Блейн!

Эмори глянул вниз, на мостовую, где только что остановился низкий гоночный автомобиль и за ветровым стеклом расплылась в улыбке знакомая физиономия.

— Спускайся к нам, бродяга! — крикнул Алек.

Эмори ответил и, спустившись по деревянной лестнице, подошел к машине. Все это время они с Алеком изредка виделись, но между ними преградой стояла Розалинда. Эмори это огорчало, ему очень не хотелось терять Алека.

— Мистер Блейн, знакомьтесь: мисс Уотерсон, мисс Уэйн, мистер Талли.

— Очень приятно.

— Эмори, — радостно возгласил Алек, — полезай в машину, мы тебя свезем в одно укромное местечко и дадим кое-чего глотнуть.

Эмори обдумал предложение.

— Что ж, это идея.

— Джилл, подвинься немножко, получишь от Эмори обворожительную улыбку.

Эмори втиснулся на заднее сиденье, рядом с разряженной пунцовогубой блондинкой.

— Привет, Дуглас Фербенкс, — сказала она развязно. — Для моциона гуляете или ищете компанию?

— Я считал волны, — невозмутимо ответил Эмори. — Моя специальность — статистика.

— Хватит заливать, Дуг.

Доехав до какого-то безлюдного переулка, Алек затормозил в черной тени домов.

— Ты что тут делаешь в такой холод, Эмори? —

спросил он, доставая из-под меховой полости кварту виски.

Эмори не ответил — он и сам не мог бы сказать, почему его потянуло на взморье. Вместо ответа он спросил:

— А помнишь, как мы на втором курсе ездили к морю?

— Еще бы! И ночевали в павильоне в Эсбери-Парк…

— О господи, Алек, просто не верится, что ни Джесси, ни Дика, ни Керри уже нет в живых.

Алек поежился.

— Не говори ты мне об этом. Осень, холод, и без того тошно.

— И правда, — подхватила Джилл, — этот твой Дуг не очень-то веселый. Ты ему скажи, пусть хлебнет как следует. Когда еще такой случай представится.

— Меня вот что интересует, Эмори, ты где обретаешься?

— Да более или менее в Нью-Йорке.

— Нет, я имею в виду сегодня. Если ты еще нигде не устроился, ты мог бы здорово меня выручить.

— С удовольствием.

— Понимаешь, мы с Талли взяли номер у Ранье — две комнаты с ванной посередине, а ему нужно

вернуться в Нью-Йорк. Мне переезжать не хочется. Вопрос: хочешь занять вторую комнату?

Эмори согласился с условием, что водворится сейчас же.

— Ключ возьмешь у портье, номер на мое имя.

И Эмори, поблагодарив за приятную прогулку и угощение, решительно вылез из машины и не спеша зашагал обратно по эстакаде к отелю.

Опять его прибило в заводь, глубокую и неподвижную, не хотелось ни писать, ни работать, ни любить, ни развратничать. Впервые в жизни он почти мечтал о том, чтобы смерть поглотила его поколение, уничтожив без следа их мелкие страсти, усилия, взлеты. Никогда еще молодость не казалась так безвозвратно ушедшей, как теперь, когда по контрасту с предельным одиночеством этой поездки к морю вспоминалась та бесшабашно веселая эскапада четырехлетней давности. То, что в тогдашней жизни было повседневностью, — крепкий сон, ощущение окружающей красоты, сила желаний — улетело, испарилось, а оставшиеся пустоты заполняла лишь бескрайняя апатия.

Чтобы привязать к себе мужчину, женщина должна будить в нем худшие инстинкты. Вокруг этого изречения почти всегда строилась его бес-

сонница, а бессонница, он чувствовал, ожидала его и сегодня. Мысль его уже начала разыгрывать вариации на знакомую тему. Неуемная страсть, яростная ревность, жажда овладеть и раздавить — вот все, что осталось от его любви к Розалинде, все, что было уплачено ему за утрату молодости, — горькая пилюля под тонкой сахарной оболочкой любовных восторгов.

У себя в комнате он разделся и, закутавшись в одеяло от холодного октябрьского воздуха, задремал в кресле у открытого окна.

Вспомнились прочитанные когда-то стихи:

О сердце, честен был всегда твой труд.
В морских скитаньях годы зря идут…

Но не было сознания, что годы прожиты зря, и не было связанной с ним надежды. Жизнь просто отвергла его.

«Розалинда, Розалинда!» Он нежно выдохнул эти слова в полумрак, и теперь комната полнилась ею; соленый ветер с моря увлажнил его волосы, краешек луны обжег небо, и занавески стали мутные, призрачные. Он уснул.

Проснулся он не скоро. Стояла глубокая тишина. Одеяло сползло у него с плеч, кожа была влажная и холодная на ощупь.

Потом шагах в десяти от себя он уловил напряженный шепот.

Он застыл в кресле.

— И чтобы ни звука! — говорил Алек. — Джилл, поняла?

— Да. — Чуть слышное, испуганное. Они были в ванной.

Потом слуха его достигли другие звуки, погромче, из коридора.

Неясные голоса нескольких мужчин и негромкий стук в дверь. Эмори сбросил одеяло и подошел к двери в ванную.

— Боже мой! — расслышал он голос девушки. — Придется тебе впустить их!

— Ш-ш.

Тут начался упорный настойчивый стук в дверь, ведущую к Эмори из коридора, и одновременно из ванной появился Алек, а за ним — пунцовогубая девица. Оба были в пижамах.

— Эмори! — тревожным шепотом.

— Что там случилось?

— Гостиничные детективы. Господи, Эмори, это проверка.

— Так их, наверно, надо впустить?

— Ты не понимаешь. Они могут подвести меня под закон Манна.

Девушка едва передвигала ноги — сейчас она казалась худой и жалкой.

Эмори стал быстро соображать.

— Ты пошуми и впусти их к себе, — предложил он неуверенно, — а я выпущу ее в эту дверь.

— У твоей двери они тоже сторожат.

— Назовись другим именем.

— Не выйдет. Я зарегистрировался под своей фамилией, да и по номеру машины узнают.

— Скажи, что она твоя жена.

— Джилл говорит, один из здешних детективов ее знает.

Девушка тем временем повалилась на кровать и, глотая слезы, прислушивалась. В дверь уже не стучали, а дубасили, потом раздался мужской голос, сердитый и повелительный:

— Откройте, не то взломаем дверь!

В молчании, последовавшем за этим возгласом, Эмори почувствовал, что в комнате кроме людей есть и другое… над скорчившейся на кровати фигурой нависла пелена, прозрачная, как лунный луч, отдающая выдохшимся слабым вином, но страшная, грозящая опутать их всех троих… а у окна, полускрытое колышущимися занавесками, стояло еще что-то, безликое и неразличимое, но странно знакомое… Две проблемы, одинаково

важные, одновременно встали перед Эмори; все, что произошло затем в его сознании, заняло по часам не больше десяти секунд.

Первым озарением была мысль о том, что всякое самопожертвование — чистая абстракция, он понял, что ходячие понятия «любовь» и «ненависть», «награда» и «наказание» имеют к нему не больше касательства, чем, скажем, день и час. В памяти молниеносно пронеслась одна история, которую он слышал в университете: некий студент смошенничал на экзамене, его товарищ в приступе самопожертвования взял вину на себя, за публичным позором потянулась цепь сожалений и неудач, неблагодарность истинного виновника переполнила чашу. Он покончил с собой, а много лет спустя правда всплыла наружу. В то время история эта озадачила Эмори, долго не давала ему покоя. Теперь он понял, в чем дело: никакими жертвами свободы не купишь. Самопожертвование, как высокая выборная должность, как унаследованная власть, для каких-то людей, в какие-то моменты — роскошь, но влечет оно за собой не гарантию, а ответственность, не спокойствие, а отчаянный риск. Собственной инерцией оно может толкнуть к гибели, — спадет эмоциональная волна, породившая его, и

человек навсегда останется один на голой скале безнадежности.

Эмори уже знал, что Алек будет втайне ненавидеть его за ту огромную услугу, что он ему окажет…

Все это Эмори словно прочел на внезапно развернувшемся свитке, а вне его существа, размышляя о нем, слушали, затаив дыхание, эти две силы: прозрачная пелена, нависшая над девушкой, и то знакомое Нечто у окна.

Самопожертвование по самой своей сути высокомерно и безлично; жертвовать собой следует с горделивым презрением.

«Не обо мне плачь, но о детях своих». Вот в таком духе, подумал Эмори, мог бы говорить с ним Господь.

К сердцу его вдруг прихлынула радость, и тут же пелена над кроватью растаяла, как лицо на киноэкране; подвижная тень у окна — иначе он не сумел бы ее назвать — задержалась еще на мгновение, а потом ее словно выдуло ветром из комнаты. Он стиснул кулаки, он ликовал… десять секунд истекли…

— Делай все, как я скажу, Алек. Не спорь, понял?

Алек молча смотрел на него — воплощенный

страх и отчаяние.

— У тебя есть семья, — медленно продолжал Эмори. — У тебя есть семья, и тебе необходимо выпутаться из этой истории. Слышишь, что я говорю? — Он повторил еще раз, четко и раздельно: — Ты меня слышишь?

— Слышу. — Голос звучал напряженно, глаза не отрывались от глаз Эмори.

— Алек, ты сейчас ляжешь в постель, здесь у меня. Если кто войдет, притворись пьяным. Слушайся меня, а то я, скорей всего, тебя убью.

Еще мгновение они смотрели друг на друга. Потом Эмори быстро подошел к комоду, взял свой бумажник и сделал девушке знак следовать за ним. Алек что-то сказал, Эмори как будто уловил слово «тюрьма», а потом вместе с Джилл юркнул в ванную и запер дверь на задвижку.

— Ты здесь со мной, — предупредил он строго. — Провела со мной весь вечер.

Она всхлипнула и кивнула.

Тогда он отпер дверь второй комнаты, и из коридора вошли трое. Комнату сразу залил электрический свет, он заморгал и зажмурился.

— Опасную игру затеяли, молодой человек!

Эмори засмеялся.

— А дальше?

Тот, что вошел первым, сделал знак ражему детине в клетчатом костюме.

— Действуйте, Олсон.

— Понятно, мистер О'Мэй, — сказал Олсон, кивая. Двое других с любопытством глянули на свою добычу и удалились, сердито стукнув дверью.

Ражий презрительно воззрился на Эмори.

— Вы что, про закон Манна не слышали? Это надо же — явиться сюда с ней, — он ткнул большим пальцем в сторону Джилл, — с нью-йоркским номером на машине, и в такую гостиницу! — Он покачал головой, давая понять, что долго боролся за Эмори, но теперь ставит на нем крест.

— Так чего вы от нас хотите? — спросил Эмори раздраженно.

— Одевайтесь, живо, да скажите вашей приятельнице, пусть заткнет глотку. — Джилл громко рыдала на постели, но при этих словах утихла и, хмуро собрав одежду, ушла в ванную.

Эмори, натягивая брюки Алека, с удовольствием обнаружил, что ситуация представляется ему комичной. Этот ражий детина печется о добродетели, смех, да и только!

— Кто-нибудь еще здесь есть? — спросил Олсон, напустив на себя вид многоопытного сыщика.

— Тот парень, что снял номер, — небрежно

ответил Эмори. — Он пьян как стелька. С шести часов дрыхнет.

— Ладно, заглянем и к нему.

— Как вы узнали? — полюбопытствовал Эмори.

— Ночной дежурный видел, как вы поднимались по лестнице с этой женщиной.

Эмори кивнул, из ванной вышла Джилл, полностью, хоть и не слишком аккуратно одетая.

— Так, — начал Олсон, доставая блокнот, — запишем, кто вы такие. Только давайте по-честному, никаких там «Джон Смит» и «Мэри Браун».

— Минутку, — спокойно перебил Эмори. — Советую вам сбавить тон. Ну, мы попались, так что же из этого?

Олсон сердито выпучил глаза.

— Фамилия! — рявкнул он.

Эмори назвал свою фамилию и нью-йоркский адрес.

— А дамочка?

— Мисс Джилл…

— Эй, — возмутился Олсон, — вы меня детскими стишками не кормите. Как вас звать? Сара Мэрфи? Минни Джексон?

— Ой господи! — воскликнула девушка, закрыв руками заплаканное лицо. — Только бы моя мама

не узнала! Не хочу, чтобы моя мама узнала!

— Ну, долго мне ждать?

— Полегче, — прикрикнул Эмори.

Минута молчания.

— Стелла Роббинс, — пролепетала она наконец. — До востребования, Рагуэй, Нью-Гэмпшир.

Олсон захлопнул блокнот и поглядел на них с глубокомысленным выражением.

— По правилам гостиница могла бы передать эти сведения в полицию, и вы бы, как пить дать, угодили в тюрьму за то, что привезли женщину из одного штата в другой с безнравственной целью. — Он помолчал, чтобы дать им прочувствовать все значение этих слов. — Но гостиница проявит к вам снисхождение.

— Не хотят в газеты попадать! — яростно выкрикнула Джилл. — Снисхождение, скажет тоже!

Эмори почувствовал себя легким, как пушинка. Он понял, что спасен, и только сейчас до его сознания дошло, какой гнусной процедуре его могли подвергнуть.

— Однако, — продолжал Олсон, — гостиницы решили сообща защищать свои интересы. За последнее время эти безобразия участились, и у нас есть договоренность с газетами, чтобы они бесплатно создавали вам кое-какую рекламу.

Название отеля не упоминается, а так, несколько строк, что, мол, у вас в Атлантик-Сити вышли неприятности. Ясно?

— Ясно.

— Вы легко отделались, черт возьми, очень легко, но…

— Ладно, — оборвал его Эмори. — Пошли отсюда. Напутственных речей нам не требуется.

Олсон, пройдя через ванную, для порядка взглянул на неподвижное тело Алека. Потом погасил свет и первым вышел в коридор. Войдя в лифт, Эмори ощутил соблазн побравировать — и поддался ему. Он легонько похлопал Олсона по плечу.

— Будьте добры, снимите шляпу. В лифте дама.

Олсон помедлил, но шляпу снял. Последовали две малоприятные минуты под лампами вестибюля, когда ночной дежурный и несколько запоздалых гостей с любопытством глазели на них — безвкусно разодетая девица с опущенной головой, красивый молодой человек с вызывающе задранным подбородком: вывод напрашивался сам собой. Потом холодная улица, где соленый воздух стал еще свежее и резче с приближением утра.

— Вон такси, выбирайте любое и катитесь

отсюда, — сказал Олсон, указывая на смутные очертания двух машин, в которых угадывались фигуры спящих шоферов. Он красноречиво потянулся к карману, но Эмори фыркнул, взял девушку под руку и пошел прочь.

— Вы куда велели ехать? — спросила Джилл, когда они уже мчались по тускло освещенной улице.

— На вокзал.

— Если этот тип напишет моей матери…

— Не напишет. Никто ничего не узнает… кроме наших друзей и наших врагов.

Над морем занимался рассвет.

— Голубеет, — сказала она.

— Несомненно, — подтвердил он одобрительно, а потом спохватился: — Скоро время завтракать, вам поесть не хочется?

— Еда… — Она вдруг рассмеялась. — Из-за еды все и вышло. Мы часа в два ночи заказали в номер шикарный ужин. Алек не дал официанту на чай, так он, гаденыш, наверно, и донес.

Уныние Джилл рассеялось едва ли не быстрее, чем ночная тьма.

— Я вам вот что скажу, — заявила она, — ежели хотите покутить в веселой компании, держитесь подальше от спиртного, а ежели хотите напиться,

держитесь подальше от спален.

— Запомню.

Он постучал в стекло, и машина остановилась у подъезда ночного ресторана.

— Алек вам очень близкий друг? — спросила Джилл, когда они взобрались на высокие табуреты и облокотились о грязную стойку.

— Был когда-то. Теперь, вероятно, больше не захочет и сам не будет понимать почему.

— Сумасшедшим надо быть, чтобы этакое взять на себя. Он что, очень важный человек? Важнее вас?

Эмори рассмеялся.

— Это покажет будущее, — отвечал он. — В этом и есть самый главный вопрос.

Рушатся несколько опор

Через два дня, уже снова в Нью-Йорке, Эмори нашел в газете то, что искал, — коротенькую заметку о том, что мистеру Эмори Блейну, заявившему, будто он проживает там-то, предложили покинуть отель в Атлантик-Сити, поскольку он принимал у себя в номере женщину, не являющуюся его женой.

А дочитав, он вздрогнул, и пальцы у него задро-

жали, потому что чуть выше в том же столбце он увидел другую заметку, подлиннее, которая начиналась словами:

«Мистер и миссис Леланд Р. Коннедж объявляют о помолвке своей дочери Розалинды с Дж. Досоном Райдером из Хартфорда, штат Коннектикут…»

Он выронил газету и лег на кровать, изнемогая от дурнотного ужаса. Она ушла из его жизни — теперь уже окончательно, безвозвратно. До сих пор где-то в глубине его души еще теплилась надежда, что когда-нибудь он ей понадобится, и она пошлет за ним, и скажет, что это было ошибкой, что сердце ее ноет от боли, которую она ему причинила. Не тешить ему себя больше даже темным желанием — не была желанна ни сегодняшняя Розалинда, что стала старше, черствее, ни та угасшая, сломленная женщина, которую воображение нет-нет да и приводило на порог к нему сорокалетнему. Эмори нужна была ее молодость — сияющее цветение ее души и тела, все, что теперь будет ею продано. С этого дня для Эмори юная Розалинда умерла.

Через день он получил письмо от мистера Бартона из Чикаго — в сухих и четких выражениях

тот извещал его, что, поскольку еще три трамвайные компании обанкротились, ни на какие денежные переводы Эмори в ближайшее время рассчитывать не должен. А в довершение всего пустым воскресным вечером пришла телеграмма, из которой он узнал, что пять дней назад монсеньор Дарси скоропостижно скончался в Филадельфии.

И тогда он понял, что привиделось ему за занавесками гостиничного номера в Атлантик-Сити.

Глава V
Эгоист становится личностью

На сажень в сон я погружен.
Влеченья, что смирял, теперь
Из заточенья рвутся вон,
Как сумрак ломится сквозь дверь.
Хочу, чтобы помог сыскать
Мне веру новую рассвет…
Увы! Уныло все опять!
Конца завесам ливня нет.

О, встать бы вновь! Когда бы мог
Стряхнуть я хмеля давний пыл

И в небе сказочный чертог
Рассвет, как встарь, нагромоздил!
Когда б мираж воздушный стать
Мог символом, что даст ответ! Увы!
Уныло все опять:
Конца завесам ливня нет.

Стоя под стеклянным навесом какого-то театра, Эмори увидел, как первые крупные капли дождя шлепнулись на тротуар и расплылись темными пятнами. Воздух стал серым и матовым; в доме напротив вдруг возникло освещенное окно, потом еще огонек; потом целая сотня их замерцала, заплясала вокруг. Под ногами у него обозначилось желтым подвальное окно с железными шляпками гвоздей, фары нескольких такси прочертили полосы света по сразу почерневшей мостовой. Незваный ноябрьский дождь подло украл у дня последний час и снес его в заклад к старой процентщице — ночи.

Тишина в театре у него за спиной взорвалась каким-то странным щелчком, за которым последовал глухой гул разом задвигавшихся людей и оживленный многоголосый говор. Дневной спектакль кончился.

Он отступил немного в сторону, под дождь,

чтобы дать дорогу толпе. Из подъезда выбежал мальчик, потянул носом свежий, влажный воздух и поднял воротник пальто; появились три-четыре спешащие пары, появилась небольшая кучка зрителей, и все, как один, взглядывали сперва на мокрую улицу, потом на повисший в воздухе дождь и наконец на хмурое небо, но вот из дверей густо повалила публика, и он задохнулся от тяжкого запаха, в котором мешался табачный дух мужчин и чувственность разогревшейся на женщинах пудры. После густой толпы опять выходили редкие группки, потом еще человек пять; мужчина на костылях; и, наконец, стук откидных сидений внутри здания возвестил, что за работу взялись капельдинеры.

Нью-Йорк, казалось, не то чтобы проснулся, а заворочался в постели. Милю пробегали бледные мужчины, придерживая под подбородком поднятые воротники; в резких взрывах смеха из универсального магазина высыпал говорливый рой усталых девушек — по три под одним зонтом; промаршировал отряд полицейских, чудом успевших уже облачиться в клеенчатые накидки.

Дождь словно обострил внутреннее зрение Эмори, и перед ним грозной вереницей прошли

все невзгоды, уготованные в большом городе человеку без денег. Гнусная, зловонная давка в метро — рекламы лезут в глаза, назойливые, как те невыносимо скучные люди, которые держат тебя за рукав, норовя рассказать еще один анекдот, брезгливое ощущение, что вот-вот кто-то на тебя навалится; мужчина, твердо решивший не уступать место женщине и ненавидящий ее за это, а женщина ненавидит его за то, что он не встает; в худшем случае — жалкая мешанина из чужого дыхания, поношенной одежды и запахов еды, в лучшем случае — просто люди, изнывающие от жары или дрожащие от холода, усталые, озабоченные.

Он представил себе комнаты, где живут эти люди, — где на вспученных обоях бесконечно повторяются крупные подсолнухи по желто-зеленому фону, где цинковые ванны и темные коридоры, а за домами — голые, без единой травинки дворы; где даже любовь сведена к совращению — прозаическое убийство за углом, незаконный младенец этажом выше. И неизменно — зимы в четырех стенах из соображений экономии и долгие летние месяцы с кошмарами в духоте липких, тесных квартирок… грязные кафе, где усталые, равнодушные люди кладут в кофе сахар

своими уже облизанными ложками, оставляя в сахарнице твердые коричневые комки.

Если где-то собираются одни мужчины или одни женщины, это еще куда ни шло, особенно противно, когда они оказываются вместе, тут и стыд женщин, которых мужчины поневоле видят усталыми и нищими, и отвращение, которое усталые, нищие женщины внушают мужчинам. Тут больше грязи, чем на любом поле сражения, видеть это тягостнее, чем реальные ужасы, — пот, и размокшая глина, и смертельная опасность; это атмосфера, в которой рождение, брак и смерть равно омерзительны и таятся от глаз.

Он вспомнил, как однажды в метро, когда вошел рассыльный с большим погребальным венком из живых цветов, от их аромата воздух сразу стал легче и все лица в вагоне на мгновение засветились.

«Терпеть не могу бедных, — вдруг подумал он. — Ненавижу их за то, что они бедные. Когда-то бедность, возможно, была красива, сейчас она отвратительна. Самое безобразное, что есть на свете. Насколько же чище быть испорченным и богатым, чем невинным и бедным». Перед глазами у него четко возникла картина, в свое время показавшаяся ему полной значения. Хорошо

одетый молодой человек, глядя из окна клуба на Пятой авеню, сказал что-то другому, и лицо его выразило предельную гадливость. Вероятно, подумал Эмори, он тогда сказал: «О господи, до чего же люди противны!»

Никогда раньше Эмори не интересовался бедняками. Теперь он холодно установил, что абсолютно не способен кому-либо сочувствовать. ОТенри обнаружил в этих людях романтику, высокие порывы, любовь, ненависть, Эмори же видел только грубое убожество, грязь и тупость. Он в этом не раскаивался: никогда с тех пор он уже не корил себя за чувства естественные и искренние. Все свои реакции он принимал как часть себя, неизменную и вненравственную. Когда-нибудь эта проблема бедности, в ином, более широком аспекте, подчиненная какой-нибудь более возвышенной, более благородной позиции, возможно, даже станет его личной проблемой, теперь же она вызывала только сильнейшую брезгливость.

Он вышел на Пятую авеню, увертываясь от черной слепой угрозы зонтов, и, остановившись перед «Дельмонико», сделал знак автобусу. Застегнув пальто на все пуговицы, поднялся на империал и ехал под упорным моросящим

дождем, снова и снова ощущая на щеках прохладную влагу. Где-то в его сознании начался разговор, вернее, не начался, а опять заставил к себе прислушаться. Вели его не два голоса, а один, который и спрашивал, и сам же отвечал на вопросы.

Вопрос. Ну, как ты расцениваешь положение?

Ответ. А так, что у меня осталось двадцать четыре доллара или около того.

В. У тебя еще есть поместье в Лейк-Джинева.

О. Его я намерен сохранить.

В. Прожить сумеешь?

О. Не представляю, чтобы не сумел. В книгах люди всегда наживают богатства, а я убедился, что могу делать все, что делают герои книг. Собственно, я только это и умею делать.

В. Нельзя ли поточнее?

О. Я еще не знаю, что буду делать, — и не так уж стремлюсь узнать. Завтра я навсегда уезжаю из Нью-Йорка. Нехороший город, если только не оседлать его.

В. Тебе нужно очень много денег?

О. Нет, я просто боюсь бедности.

В. Очень боишься?

О. Боюсь, но чисто пассивно.

В. Куда тебя несет течением?

О. А я почем знаю?

В. И тебе все равно?

О. В общем, да. Я не хочу совершать морального самоубийства.

В. Хоть какие-то интересы у тебя остались?

О. Никаких. И не осталось добродетели, которую можно бы потерять. Как остывающий чайник отдает тепло, так мы на протяжении всего отрочества и юности отдаем калории добродетели. Это и называется непосредственностью.

В. Любопытная мысль.

О. Вот почему свихнувшийся «хороший человек» всегда привлекает людей. Они становятся в круг и буквально греются о калории добродетели, которые он отдает. Сара в простоте душевной сказала что-то смешное, и на всех лицах появляется приторная улыбка: «Как она невинна, бедняжка!» Но Сара уловила приторность и никогда не повторит то же словечко. Однако после этого ей станет похолоднее.

В. И твои калории ты все растерял?

О. Все до единой. Я сам уже начинаю греться около чужой добродетели.

В. Ты порочен?

О. Вероятно. Не уверен. Я уже не могу с уверенностью отличить добро от зла.

В. Это само по себе плохой признак?

О. Не обязательно.

В. В чем же ты усмотрел бы доказательство порочности?

О. В том, что стал бы окончательно неискренним — называл бы себя «не таким уж плохим человеком», воображал, что жалею об утраченной молодости, когда на самом деле жалею только о том, как приятно было ее утрачивать. Молодость — как тарелка, горой полная сластей. Люди сентиментальные уверяют, что хотели бы вернуться в то простое, чистое состояние, в котором пребывали до того, как съели сласти. Это неверно. Они хотели бы снова испытать приятные вкусовые ощущения. Замужней женщине не хочется снова стать девушкой — ей хочется снова пережить медовый месяц. Я не хочу вернуть свою невинность. Я хочу снова ощутить, как приятно было ее терять.

В. Куда тебя сносит течением?

Этот диалог несуразно вмешался в его обычное состояние духа — несуразную смесь из желаний, забот, впечатлений извне и физических ощущений.

Сто двадцать седьмая улица… Или Сто тридцать седьмая? Двойка и тройка похожи — впрочем, не

очень. Сиденье отсырело… Это одежда впитывает влагу из сиденья или сиденье впитывает сухость из одежды?.. Не сиди на мокрой земле, схватишь аппендицит, так говорила мать Фрогги Паркера. Ну, это мне уже не грозит… Я предъявлю иск Пароходной компании, сказала Беатриса, а четвертой частью их акций владеет мой дядя — интересно, попала Беатриса в рай?.. Едва ли. Он сам — вот бессмертие Беатрисы и еще увлечения многих умерших мужчин, которые ни разу о нем и не подумали… Ну, если не аппендицит, так, может быть, инфлюэнца… Что? Сто двадцатая улица? Значит, тогда была Сто вторая — один, ноль, два, а не один, два, семь. Розалинда не похожа на Беатрису, Элинор похожа, только она отчаяннее и умнее. Квартиры здесь дорогие — наверно, полтораста долларов в месяц, а то и двести. В Миннеаполисе дядя за весь огромный дом платил только сто в месяц. Вопрос: лестница на второй этаж была, как войдешь, слева или справа? В «Униви 12» она, во всяком случае, была прямо вперед и налево. Какая грязная река — подойти поближе, посмотреть, правда ли грязная, — во Франции все реки бурые или черные, так и у нас на Юге. Двадцать четыре доллара — это четыреста восемьдесят пончиков. Можно прожить на

них три месяца, а спать на скамейке в парке. Где-то сейчас Джилл — Джилл Бейн, Фейн, Сейн, — о черт, шея затекла, ужасно неудобно сидеть. Ни малейшего желания переспать с Джилл, и что хорошего нашел в ней Алек? У Алека грубые вкусы по части женщин. Мой вкус куда лучше. Изабелла, Клара, Розалинда, Элинор — истые американки. Элинор — подающий, скорее всего, левша. Розалинда — отбивающий, удар у нее замечательный. Клара, пожалуй, первая база. Как-то сейчас выглядит труп Хамберда… Не будь я инструктором по штыковому бою, я попал бы на позиции на три месяца раньше, вероятно, был бы убит. Где тут этот чертов звонок…

На Риверсайд-драйв номера улиц едва проглядывали сквозь сетку дождя и мокрые деревья, но один он наконец разглядел — Сто двадцать седьмая. Он сошел с автобуса и, сам не зная зачем, свернул под гору по извилистой дороге, которая вывела его к реке, там, где за длинным молом приютилась стоянка мелких судов — моторок, каноэ, гребных шлюпок, парусников. Он пошел вдоль берега на север, перескочил через низкую проволочную ограду и очутился на большом дворе, примыкающем к пристани. Вокруг было множество лодок, ждущих ремонта, пахло опилками,

краской и, едва уловимо и пресно, — Гудзоном. Сквозь густую мглу к нему приблизился какой-то человек.

— Пропуск есть?

— Нет. А это частное владение?

— Это яхт-клуб «Гудзон».

— Вот как, я не знал. Я просто хотел отдохнуть.

— Ну… — начал тот с сомнением в голосе.

— Если скажете, я уйду.

Сторож проворчал что-то, не означавшее ни «да» ни «нет», и прошел мимо. Эмори сел на перевернутую лодку и, наклонившись вперед, подпер щеку ладонью.

— Все эти напасти, того и гляди, сделают из меня совсем никудышного человека, — проговорил он медленно.

В часы упадка

Под непрестанно моросящим дождем Эмори вяло оглянулся на реку своей жизни, на все ее сверкающие излучины и грязные отмели. Страх все еще владел им — не физический страх, но страх перед людьми, перед предрассудками, нуждой, однообразием. Однако в глубине своей усталой души он спрашивал себя, в самом ли деле

он настолько хуже других. Он знал, что с помощью двух-трех софизмов сумеет прийти к выводу, что его слабость обусловлена просто средой и обстоятельствами, что еще не раз, когда он начнет яростно обличать свой эгоизм, какой-то голос вкрадчиво шепнет: «Нет, гений!» Это было одним из проявлений страха — этот голос, нашептывающий, что нельзя быть одновременно великим и добрым, что гениальность — единственно возможное сочетание необъяснимых изломов и бороздок в его сознании, что всякая дисциплина сведет ее к нулю. Сильнее любого отдельно взятого порока или недостатка он презирал самого себя, с отвращением сознавая, что и завтра, и через тысячу дней он будет пыжиться в ответ на комплимент и обижаться на неодобрительное слово, как третьестепенный музыкант или первоклассный актер. Он стыдился того, что очень простые и честные люди обычно относились к нему с недоверием; что он часто проявлял жестокость к тем, кто готов был в нем раствориться, — к нескольким девушкам и кое-кому из мужчин в студенческие годы, что он оказал дурное влияние на людей, время от времени пускавшихся следом за ним в теоретические похождения, из которых он один выходил невредимым.

Обычно в такие вечера — а за последнее время их было много — ему помогали избавиться от этого изнурительного самокопания мысли о детях и о безграничных возможностях, в них заложенных. Он весь обращался в слух, когда в доме напротив просыпался в испуге младенец и ночная тишина звенела тоненьким плачем. Он содрогался от ужаса — неужели это его мрачное отчаяние легло тенью на крошечную душу? Дрожь пробирала его. Что, если настанет день, когда равновесие нарушится и он превратится в чудовище, которое пугает детей, во мраке пробирается в комнаты, общается с призраками, что поверяют жуткие тайны безумцам, обитающим на темных просторах луны…

Улыбка тронула его губы.

«Слишком ты поглощен самим собой», — сказал кто-то.

И еще: «Ступай, займись настоящим делом».

«Перестань терзаться…»

Когда-нибудь он, возможно, и ответит:

«Да, в молодости я, пожалуй, был эгоистом, но скоро понял, что слишком много думать о себе не полезно».

Внезапно его захлестнуло желание послать все

к черту и исчезнуть — не покончить с собой, как подобает джентльмену, а спокойно и сладостно скрыться от людских глаз. Он вообразил себя в глинобитном доме в Мексике: полулежит на тахте, покрытой коврами, в тонких изящных пальцах зажата папироса, рядом гитары наигрывают печальную мелодию, рожденную в Кастилии в незапамятные времена, и девушка с оливковой кожей и карминовыми губами гладит его по волосам. Здесь он мог бы жить день за днем, избавленный от добра и зла, от мук совести и от любого бога (кроме экзотического мексиканского бога, который и сам не без греха и не в меру привержен восточным благовониям), избавленный от успеха, и надежды, и бедности, блаженно скользя вниз по наклонной дороге, что спускается, в конце концов, всего лишь к искусственному озеру смерти.

Сколько есть на свете мест, где можно с приятностью идти ко дну, — Порт-Саид, Шанхай, некоторые уголки Туркестана, Константинополь, Южные моря — все края печальной, завораживающей музыки и многих ароматов, где наслаждение может стать укладом и смыслом жизни, где тени ночного неба и закаты отражают только состояния страсти — краски маков и губ.

Мысли, мысли

Когда-то он безошибочно чуял зло, как лошадь ночью чует впереди сломанный мост. Но остроногий дьявол в комнате Фебы обернулся всего лишь светящейся пеленой над Джилл. Инстинктом он улавливал зловоние бедности, но уже не мог добраться глубже — до зла гордыни и похоти.

Не осталось мудрецов, не осталось героев; Бэрн Холидэй исчез, словно никогда и не жил, монсеньор умер; Эмори одолел сотни книг, сотни лживых вымыслов; он долго и жадно прислушивался к людям, которые притворялись, что знают, а не знали ничего. Мистические откровения святых, некогда наполнявшие его благоговением, теперь слегка ему претили. Байроны и Бруки, бросавшие жизни вызов с горных вершин, оказались на поверку позерами и фланерами, в лучшем случае принимавшими видимость мужества за реальную мудрость. Скопившееся в нем разочарование было словно пышное, старое как мир шествие пророков, философов, мучеников, святых, ученых, донжуанов, иезуитов, пуритан, Фаустов, поэтов, пацифистов, подобно питомцам колледжа, явившимся в парадных мантиях на

встречу однокашников, они проходили перед ним: так некогда их мечты, их личности и идеи по очереди отбрасывали яркие отблески на его душу; каждый из них в свое время пытался прославить жизнь и утвердить первостепенную значимость человека; каждый похвалялся, что сумел связать прошлое с собственными шаткими построениями; каждый в конечном счете исходил из готовой мизансцены и из театральной условности, состоящей в том, что человек, алчущий веры, питает свой ум той пищей, что ближе и доступней.

Женщины, от которых он так многого ждал, чью красоту он надеялся выразить в формах искусства, чьи непостижимые инстинкты, божественно противоречивые и невнятные, мечтал увековечить на основе опыта, стали всего лишь истоками собственного потомства. Изабелла, Клара, Розалинда, Элинор — самая их красота, на которую слетались мужчины, лишила их возможности обогатить его чем-либо, кроме сердечной тоски да странички, растерянно исписанной словами.

Утрату веры в помощь извне Эмори обосновывал несколькими смелыми силлогизмами. Допустим, что его поколение, хоть и поредевшее

после этой викторианской войны, и травмированное ею, призвано наследовать прогресс. Но даже если отбросить мелкие расхождения в выводах, временами приводящие к смерти нескольких миллионов молодых мужчин, однако же поддающиеся объяснению, если признать, что в конечном счете Бернард Шоу и Бернгарди[26], Бонар Лоу[27] и Бетман-Хольвег[28] равноправные наследники прогресса хотя бы потому, что все они выступали против мракобесия, — если отбросить антитезы и взять этих людей, этих властителей дум, по отдельности, — с отвращением замечаешь, до чего непоследователен и противоречив каждый из них.

Вот, к примеру, Торнтон Хэнкок — его уважает половина образованных людей во всем мире, он авторитет в вопросах жизни, человек, следующий собственному кодексу и верящий в него, наставник наставников, советчик президен-

---

[26] notes: 26

Бернгарди Фридрих фон (1849–1930) — немецкий генерал, командовавший войсками Германии на Западном фронте в годы Первой мировой войны.

[27] notes: 27

Лоу Бонар (1858–1923) — английский политический деятель, ставший в 1922 г. премьер-министром.

[28] notes: 28

Бетман-Хольвег Теобальд фон (1856–1921) — канцлер Германии в 1909–1924 гг.

тов, — а ведь Эмори знал, что в глубине души этот человек равнялся на священника другой церкви.

А у монсеньора, на которого полагался сам кардинал, бывали минуты странных и страшных колебаний, необъяснимых в религии, которая даже безверие объясняет формулами собственной веры: если ты усомнился в существовании дьявола, это дьявол внушил тебе сомнение в том, что он существует. Эмори сам видел, как монсеньор, чтобы спастись от этого наваждения, ходил в гости к тупым филистерам, запоем читал дешевые романы, глушил себя повседневными делами.

И монсеньор, это Эмори тоже знал, был пусть поумнее, почище, но ненамного старше его самого.

Эмори остался один — из маленького загона он вырвался в большой лабиринт. Он был там, где был Гёте, когда начинал «Фауста», где был Конрад, когда писал «Каприз Олмейера»[29].

Эмори подумал, что есть две категории людей, которые, в силу природной ясности мышления или в силу разочарования, покидают загон и стремятся в лабиринт. Во-первых, это люди, подобные

---

[29] notes: 29

«Каприз Олмейера» (1897) — роман, которым дебютировал английский прозаик Джозеф Конрад (1857–1924). Здесь уже намечена главная тема писателя — тема одиночества людей в буржуазном обществе.

Платону и Уэллсу, отмеченные своеобразной полуосознанной ортодоксальностью, приемлющие для себя только то, что считают приемлемым для всех, неисправимые романтики: им, как они ни стараются, никогда не войти в лабиринт в числе отважных душ. А во-вторых, это бесстрашные бунтари, первооткрыватели — Сэмюел Батлер, Ренан, Вольтер, — которые продвигаются намного медленнее, но заходят намного дальше — не по пути пессимистической умозрительной философии, но в неустанных попытках утвердить реальную ценность жизни…

Эмори прервал себя. Впервые в жизни он четко ощутил недоверие к каким бы то ни было обобщениям и афоризмам. Слишком они опасны, слишком легко воспринимаются общественным сознанием. А между тем именно в таком виде серьезные идеи обычно лет через тридцать доходят до публики. Бенсон и Честертон популяризировали Гюисманса и Ньюмена[30]; Шоу завернул в глянцевую обложку Ницше, Ибсена и Шопенгауэра. Рядовой человек знакомится с выводами умерших гениев по ловким парадоксам и назида-

[30] notes: 30

Ньюмен Джон (1801–1890) — английский католический кардинал и религиозный писатель. С деятельностью Ньюмена связано обновленческое движение в англокатолицизме.

тельным афоризмам, созданным кем-то другим.

Жизнь — чертова неразбериха… футбол, в котором все игроки «вне игры», а судьи нет, и каждый кричит, что судья был бы на его стороне…

Прогресс — лабиринт… Человек врывается в него как слепой, а потом выбегает обратно как безумный, вопя, что нашел его, вот он, незримый король, — élan vital[31] — принцип эволюции… и пишет книгу, развязывает войну, основывает школу…

Эмори, даже не будь он эгоистом, начал бы поиски истины с себя самого. Для себя он — самый наглядный пример, вот он сидит под дождем — человеческая особь, наделенная полом и гордостью, волею случая и собственным темпераментом отторгнутая от блага любви и отцовства, сохраненная, чтобы участвовать в формировании сознания всего человечества…

С чувством вины, одиночества, утраты всех иллюзий подошел он к входу в лабиринт.

Новый рассвет повис над рекой, запоздалое такси промчалось по набережной, его непогашенные фары горели, как глаза на лице, побелевшем после ночного кутежа. Вдали печально прогудел

---

[31] notes: 31
Сила жизни (*фр.*).

пароход.

Монсеньор

Эмори все думал о том, как доволен остался бы монсеньор своими похоронами. То был апофеоз католичества и обрядности. Торжественную мессу служил епископ О'Нийл, последнее отпущение грехов прочел над покойным сам кардинал. Все были здесь — Торнтон Хэнкок, миссис Лоренс, послы, итальянский и английский, без счета друзей и духовенства, — но неумолимые ножницы перерезали все эти нити, которые монсеньор собрал в своей руке. Эмори в безутешном горе смотрел, как он лежит в гробу, с руками, сложенными поверх алого облачения. Лицо его не изменилось и не выражало ни боли, ни страха — ведь он ни минуты не знал, что умирает. Для Эмори это был все тот же милый старый друг, и не для него одного — в церкви было полно людей с растерянными, подавленными лицами, и больше всех, казалось, были удручены самые высокопоставленные.

Кардинал, подобный архангелу в ризах и в митре, покропил святой водой, загудел орган, и

певчие запели «Requiem Eternam»[32].

Все эти люди горевали потому, что при жизни монсеньора в той или иной мере полагались на него. Горе их было больше, чем грусть о его «чуть надтреснутом голосе или чуть припадающей походке», как выразил это Уэллс. Эти люди опирались на веру монсеньора, на его дар не падать духом, видеть в религии и свет, и тени, видеть всякий свет и всякие тени лишь как грани Бога. Когда он был близко, люди переставали бояться.

Из попытки Эмори принести себя в жертву родилось только твердое понимание того, что никаких иллюзий у него не осталось, а из похорон монсеньора родился романтический эльф, готовый вместе с Эмори вступить в лабиринт. Он обрел нечто такое, в чем всегда ощущал, всегда будет ощущать потребность, — не вызывать восхищение, чего прежде опасался, не вызывать любовь, в чем сумел себя убедить, но стать нужным другим, стать необходимым, он вспомнил, какая спокойная сила исходила от Бэрна.

Жизнь раскрывалась в одном из своих поразительных озарений, и Эмори разом и бесповоротно отбросил старый афоризм, которым не прочь

---

[32] notes: 32
«Вечный покой» (*лат.*).

бывал лениво себя потешить: «Очень мало что имеет значение, а большого значения не имеет ничто».

Сейчас, напротив, он ощущал сильнейшее желание вливать в людей уверенность и силы.

Толстяк в консервах

В тот день, когда Эмори пустился пешком в Принстон, небо было как бесцветный свод, прохладное, высокое, не таящее угрозы дождя. Пасмурный день, самая бесплотная погода, день для мечтаний, далеких надежд, ясных видений. День, словно созданный для тех чистых построений и абстрактных истин, что испаряются на солнце либо тонут в издевательском смехе при свете луны. Деревья и облака были прорисованы с классической четкостью, деревенские звуки сливались в единый гул, металлический, как труба, беззвучный, как греческая урна у Китса.

Погода привела Эмори в столь созерцательное настроение, что он причинил немалую досаду нескольким автомобилистам: чтобы не наехать на него, им пришлось значительно сбавить скорость. Так глубоко он ушел в свои мысли, что не очень удивился, когда какая-то машина затор-

мозила рядом с ним и чей-то голос окликнул его — проявление человечности, почти небывалое в радиусе пятидесяти миль от Манхэттена. Подняв голову, он увидел роскошный автомобиль, в котором сидели двое немолодых мужчин: один — маленький человечек с озабоченным лицом, по всей видимости паразитирующий на втором — крупном, внушительном, в очках-консервах.

— Хотите, подвезем? — спросил паразитирующий, уголком глаза взглянув на внушительного, словно по привычке испрашивая у него молчаливого подтверждения.

— Еще бы не хотеть. Спасибо.

Шофер распахнул дверцу, и Эмори, усевшись посередине заднего сиденья, с интересом пригляделся к своим спутникам. Он решил, что отличительная черта толстяка — безграничная уверенность в себе, притом что все окружающее вызывает у него смертельную скуку. Его лицо, в той части, что не была скрыта очками, принадлежало к разряду «сильных»; подбородок утопал в респектабельных валиках жира; выше имелись длинные тонкие губы и черновой набросок римского носа, ниже плечи без борьбы давали себя поглотить мощной массе груди и живота. Одет он был превосходно и строго. Эмори заметил, что он

почти все время смотрит в затылок шоферу, словно упорно, но тщетно стараясь решить какую-то сложную шевелюрную проблему.

Второй, маленький, был примечателен лишь тем, что без остатка растворялся в первом. Человечек секретарского типа, из тех, что к сорока годам заводят себе визитные карточки со словами «Помощник президента» и без вздоха обрекают себя до конца дней на второстепенные роли.

— Далеко путь держите? — спросил человечек безразлично-любезным тоном.

— Да не близко.

— Решили пройтись для моциона?

— Нет, — деловито ответил Эмори. — Я иду пешком, потому что на проезд у меня нет денег.

— Вот как. — И после паузы: — Ищете работу? А работы, между прочим, сколько угодно, — продолжал он неодобрительно. — Уши вянут слушать эти толки о безработице. Особенно не хватает рабочих рук на Западе. — Слово «Запад» он подчеркнул, широко поведя рукой справа налево. Эмори вежливо кивнул.

— Специальность у вас есть?

Нет, специальности нет.

— Служили клерком?

Нет, клерком Эмори не служил.

— Чем бы вы ни занимались, — сказал человечек, словно согласившись с доводами Эмори, — сейчас время великих возможностей, блестящих деловых перспектив. — Он опять взглянул на толстяка — так адвокат, когда тянет жилы из свидетеля, невольно взглядывает на присяжных.

Эмори решил, что нужно что-то ответить, но хоть убей не мог придумать ничего, кроме фразы:

— Я, конечно, хочу нажить много денег.

Человечек посмеялся невесело, но старательно.

— Этого сейчас хотят все, а вот поработать ради этого никто не хочет.

— Ну что ж, вполне естественная, здравая точка зрения. Почти всякий нормальный человек хочет разбогатеть без особых усилий, это только в проблемных пьесах финансисты «идут на все ради миллиона». А вас разве не прельщают незаработанные деньги?

— Разумеется, нет! — возмутился человечек.

— Однако, — продолжал Эмори, пропустив его слова мимо ушей, — поскольку в настоящее время я очень беден, я в некотором роде склоняюсь к социализму.

Оба спутника с любопытством на него погля-

дели.

— Эти террористы с бомбами… — Человечек умолк, потому что из чрева толстяка прозвучало гулко и внушительно:

— Если б я думал, что вы бросаете бомбы, я бы вас доставил прямо в тюрьму в Ньюарке. Вот мое мнение о социалистах.

Эмори рассмеялся.

— Вы кто? — вопросил толстяк. — Салонный большевик? Идеалист? Большой разницы я, кстати сказать, между ними не вижу.

Идеалисты — бездельники, только и могут, что писать чепуху, которая вводит в соблазн неимущих иммигрантов.

— Что ж, — сказал Эмори, — если быть идеалистом и безопасно, и прибыльно, почему не попробовать.

— С вами-то что стряслось? Потеряли работу?

— Не совсем, а впрочем, можно сказать и так.

— Какая была работа?

— Писал тексты для рекламного агентства.

— Реклама — дело денежное.

Эмори скромно улыбнулся.

— Да, я согласен, в конце концов оно может стать денежным. Таланты у нас теперь не умирают с голоду. Даже искусство ест досыта. Худож-

ники рисуют вам обложки для журналов, пишут вам тексты реклам, сочиняют регтаймы для ваших театров. Переведя печать на коммерческие рельсы, вы обеспечили безвредное, приличное занятие каждому гению, который мог бы заговорить собственным голосом. Но берегитесь художника, который в то же время интеллигент. Художника, которого не подстричь под общую гребенку, — такого, как Руссо, или Толстой, или Сэмюел Батлер, или Эмори Блейн.

— Это еще кто? — подозрительно спросил человечек.

— Это, — сказал Эмори, — это один интеллигент, еще не очень широко известный.

Человечек посмеялся своим старательным смехом и разом умолк под пылающим взглядом Эмори.

— Чему вы смеетесь?

— Ох уж эти интеллигенты…

— А вам понятно, что означает это слово?

Человечек беспокойно заморгал.

— Обычно оно означает…

— Оно *всегда* означает: умный и широко образованный, — перебил его Эмори. — Активно осведомленный в истории человечества. — Он намеренно говорил очень грубо. Он обратился к

толстяку: — Этот молодой человек, — он указал на секретаря большим пальцем и назвал его «молодым человеком», как слугу называют «бой» безотносительно возраста, — весьма смутно представляет себе истинное значение многих заезженных слов — явление довольно обычное.

— Вы против контроля капитала над прессой? — спросил толстяк, уставившись на него очками.

— Да, я против того, чтобы проделывать за других всю умственную работу. У меня сложилось впечатление, что цель бизнеса состоит в том, чтобы выжимать максимум работы, безобразно низко оплачиваемой, из дураков, которые на это идут.

— Ну, знаете ли, — возразил толстяк, — рабочим-то платят немало — с этим вы не можете не согласиться, — и рабочий день шесть часов, а то и пять, просто смешно. А если он член профсоюза, его вообще не заставишь работать как следует.

— Вы сами в этом виноваты, — стоял на своем Эмори. — Вы никогда не идете на уступки, пока их не вырвут у вас силой.

— Кто это мы?

— Ваш класс, тот класс, к которому и я принадлежал до недавнего времени. Те, кого отцовское

наследство, или собственное упорство, или смекалка, или нечестность привели в ряды имущего класса.

— Вы что же, воображаете, что вон тот рабочий, что ремонтирует дорогу, охотнее расстался бы со своими деньгами, если бы они у него были?

— Нет, но при чем здесь это?

Собеседник его помолчал, подумал.

— Пожалуй, что ни при чем. А какая-то связь все-таки есть.

— Мало того, — продолжал Эмори, — он повел бы себя хуже. У низших классов более узкий кругозор, они менее гибки, и, как индивидуумы, более эгоистичны, и, уж конечно, более тупы. Но все это не имеет ни малейшего отношения к интересующему нас вопросу.

— А в чем же именно состоит вопрос, который нас интересует?

Здесь Эмори пришлось призадуматься, прежде чем решить, в чем состоит этот вопрос.

Эмори придумал новый оборот речи

— Когда умный и неплохо образованный человек попадает в лапы к жизни, — начал Эмори медленно, — другими словами, когда он женится,

он в девяти случаях из десяти становится консерватором во всем, что касается существующих социальных условий. Пусть он отзывчивый, добрый, даже по-своему справедливый, все равно главная его забота — добывать деньги и держаться за свое место под солнцем. Жена подстегивает его — от десяти тысяч в год к двадцати тысячам в год, а потом еще и еще, без конца крутить педали в помещении без окон. Он погиб! Жизнь заглотнула его! Он уже ничего не видит вокруг! У него душа женатого человека.

Эмори умолк и подумал, что последняя фраза прозвучала неплохо.

— Есть, правда, люди, — продолжал он, — которым удается избежать этого рабства. Либо их жены не заражены честолюбием, либо они вычитали в какой-нибудь «опасной книге» особенно полюбившуюся им мысль, либо они, как я, например, уже начали было крутить педали, но получили по шапке. Так или иначе, это те конгрессмены, что не берут взяток, те президенты, что не занимаются политиканством, те писатели, ораторы, ученые, государственные деятели, что не пожелали стать всего лишь источником земных благ для нескольких женщин и детей.

— Это и есть радикалы?

— Да, — сказал Эмори. — Есть разновидности — вплоть до такого трезвого критика, как старый Торнтон Хэнкок. Так вот, у этого человека с душой неженатого нет прямой власти, так как, к несчастью, человек с душой женатого в ходе своей погони за деньгами прибрал к рукам серьезную газету, популярный журнал, влиятельный еженедельник — все для того, чтобы миссис Газета, миссис Журнал, миссис Еженедельник могла обзавестись более шикарным лимузином, чем тот, каким владеет нефтяное семейство в доме напротив или цементное семейство в доме за углом.

— А чем это плохо?

— Тем, что богачи становятся охранителями общественного сознания, а человек, владеющий деньгами при одной социальной системе, конечно же, не станет рисковать благополучием своей семьи и не допустит, чтобы в его газете появились требования изменить эту систему.

— Однако же они появляются.

— Где? В дешевых изданиях, которых никто не читает. В паршивых журнальчиках на скверной бумаге.

— Ладно, давайте дальше.

— Так вот, я утверждаю, что в результате ряда условий, из которых главное — семья, есть умные

люди двух видов. Одни принимают человеческую природу такой, как она есть, используя в своих целях и ее робость, и слабость, и силу. А противостоит им человек с душой неженатого — тот непрерывно ищет новые системы, способные контролировать или обуздывать человеческую природу. Ему приходится труднее. Сложна не жизнь, а задача направлять и контролировать ее. В этом и состоит его цель. Он — элемент прогресса, а человек с душой женатого — нет.

Толстяк извлек на свет три толстые сигары и, как на блюде, предложил их спутникам на своей огромной ладони. Человечек сигару взял. Эмори покачал головой и потянулся за сигаретой.

— Поговорите еще, — сказал толстяк. — Мне давно хотелось послушать вашего брата.

На первую скорость

— Современная жизнь, — снова заговорил Эмори, — меняется уже не от века к веку, а от года к году, в десять раз быстрее, чем когда-либо раньше. Население в некоторых странах удвоилось, цивилизации все больше сближаются, экономическая взаимозависимость, расовый вопрос, а мы — мы топчемся ни месте. Я считаю, что нам нуж-

но двигаться гораздо быстрее. — Последние слова он слегка подчеркнул, и шофер бессознательно прибавил скорость. Эмори и толстяк рассмеялись, человечек, чуть отстав, рассмеялся тоже.

— У всех детей, — сказал Эмори, — должны быть для начала равные шансы. Если отец на первых ступенях воспитания может дать ребенку физическую закалку, а мать — привить ему начатки здравого смысла, это и должно стать его наследством. Если отец не в силах дать ему физическую закалку, если мать в те годы, когда она должна была готовиться к воспитанию детей, только гонялась за мужчинами, тем хуже для ребенка. Не надо дарить ему искусственные подпорки в виде денег, обучать в этих отвратных частных школах, протаскивать через университет… у всех детей должны быть равные шансы.

— Понятно, — сказал толстяк, и очки его не выразили ни одобрения, ни протеста.

— А еще я попробовал бы передать всю промышленность в собственность государства.

— Пробовали. Не получается.

— Вернее, пока не получилось. Будь у нас государственная собственность, лучшие аналитические умы в государственном аппарате работали бы не только для себя. Вместо Бэрлсонов

у нас были бы Маккеи. В казначействе у нас были бы Морганы; торговлей между штатами ведали бы Хиллы. В сенате заседали бы лучшие юристы.

— Они не стали бы работать в полную силу задаром. Макаду…

— Нет, — Эмори покачал головой, — деньги не единственный стимул, который выявляет лучшее в человеке, даже в Америке.

— А сами только что говорили, что единственный.

— Сейчас — да. Но если бы частная собственность была ограничена законом, лучшие люди устремились бы в погоню за единственной другой наградой, способной привлечь человечество, — за почетом.

Толстяк насмешливо фыркнул.

— Глупее этого вы еще ничего не сказали.

— Это не глупо. Это вполне вероятно. Если б вы учились в колледже, вы бы не могли не заметить, что некоторые богатые студенты учились ради всяких мелких почестей вдвое прилежнее, чем те, которым приходилось еще и зарабатывать.

— Ребячество, детская игра, — издевался его противник.

— Ничего подобного — или тогда мы все, значит, дети. Вы когда-нибудь видели взрослого

человека, который стремится стать членом тайного общества? Или недавно разбогатевшую семью, которая мечтает быть принятой в широко известный клуб? У них при одном упоминании этих мест глаза разгораются. Что человека можно заставить работать, только если держать у него перед глазами золото, — это не аксиома, а наслоение. Мы так давно это делаем, что уже забыли, что есть и иные пути. В мире, который мы создали, это стало необходимостью. Уверяю вас, — Эмори все больше воодушевлялся, — если взять десять человек, застрахованных и от богатства, и от голода, и предложить им на выбор — работать по пять часов в день за зеленый бант или по десять часов в день за синий, девять из них стали бы состязаться за синий. Инстинкту соперничества не хватает только эмблемы. Если эмблема — большой дом, они будут трудиться не покладая рук ради самого большого дома. Если это всего лишь синий бант, я, черт возьми, уверен, что они будут стараться не меньше.

— Не согласен.

— Я знаю. — Эмори грустно покивал головой. — Но сейчас это уже не так важно. Думаю, что недалеко то время, когда эти люди сами возьмут у вас то, что им нужно.

Человечек злобно прошипел:

— Пулеметы?

— Вы же и научили их пускать в ход пулеметы.

Толстяк покачал головой.

— У нас в стране достаточно собственников, они этого не допустят.

Эмори пожалел, что не знает процентного отношения американцев, владеющих и не владеющих собственностью, и решил переменить тему.

Но толстяк был задет за живое.

— Когда вы говорите «взять», вы касаетесь опасной темы.

— А как иначе им получить свое? Сколько лет народ кормили обещаниями. Социализм — это, может быть, и не шаг вперед, но угроза красного флага, безусловно, есть движущая сила всякой реформы. Чтобы к вам прислушались, нужно пустить пыль в глаза.

— Примером благотворного насилия, надо думать, служит для вас Россия?

— Пожалуй, — признал Эмори. — Разумеется, там хватают через край, как было и во время Французской революции, но я не сомневаюсь, что это интереснейший эксперимент и проделать его стоило.

— А умеренность вы не цените?

— Умеренных вы не желаете слушать, да и время их прошло. Дело в том, что с народом произошло нечто поразительное, какое бывает раз в сто лет: он ухватился за идею.

— Какую именно?

— Что ум и способности у людей бывают разные, а вот желудки у всех в основном одинаковые.

Человечку тоже достается

— Если бы взять все деньги, существующие в мире… — глубокомысленно произнес человечек, — и разделить их на рав…

— А, бросьте! — отмахнулся Эмори и, даже не взглянув на его возмущенную физиономию, продолжал свое. — Человеческий желудок… — Но тут толстяк раздраженно перебил его:

— Я слушал вас внимательно, но очень прошу, не касайтесь желудков. Мой мне сегодня с утра не дает покоя. В общем, с половиной того, что вы тут наговорили, я не согласен. В основе всех ваших рассуждений — государственная собственность, а государственный аппарат — рассадник коррупции. Не станут люди работать ради синих бантов. Чепуха это.

Когда он умолк, человечек уверенно кивнул и заговорил снова, словно решив на этот раз не дать себя сбить с толку.

— Есть вещи, заложенные в самой природе человека, — изрек он с умным видом. — Так было всегда и всегда будет, и изменить это невозможно.

Эмори беспомощно перевел взгляд с него на толстяка.

— Вот, слышали? Ну как тут не отчаяться в прогрессе? Нет, вы только послушайте! Да я могу с ходу назвать вам десятки природных явлений, которые человеческая воля изменила, десятки инстинктов, которые цивилизация убила или обезвредила. То, что сказал сейчас этот человек, тысячелетиями служило последним прибежищем для болванов всего мира. Ведь этим сводятся на нет усилия всех ученых, государственных деятелей, моралистов, реформаторов, врачей и философов, которые когда-либо посвящали свою жизнь служению человечеству. Это отрицание всего, что есть в человеческой природе достойного. Каждого гражданина, достигшего двадцатипятилетнего возраста, который всерьез это утверждает, надо лишать права голоса.

Человечек, побагровев от ярости, откинулся на

спинку сиденья. Эмори продолжал, обращаясь к толстяку:

— Полуграмотные, косные люди, такие как этот ваш приятель, только воображают, что способны думать, а на самом деле, какой вопрос ни возьми, в голове у них полнейшая путаница из готовых штампов… То это «бесчеловечная жестокость пруссаков», то «немцев надо истребить — всех до единого». Вечно они толкуют, что «дела сейчас плохи», но притом «нет у них веры в этих идеалистов». Сегодня Вильсон у них «мечтатель, оторванный от практической жизни», — а через год они осыпают его бранью за то, что он пытается претворить свои мечты в жизнь. Мыслить четко, логически они не умеют, умеют только тупо противиться любой перемене. Они считают, что необразованным людям не следует много платить за работу, но не понимают, что, если не платить прилично необразованным людям, их дети тоже останутся без образования, и так мы и будем ходить по кругу. Вот он — великий класс, средняя буржуазия!

Толстяк, расплывшись в улыбке, пригнулся к своему секретарю.

— Здорово он вас честит, Гарвин. Ну и как оно?

Человечек попытался улыбнуться и сделать

вид, будто все эти нелепости и слушать не стоит. Но Эмори еще не кончил.

— Теория, согласно которой народ способен сам собой управлять, упирается в этого человека. Если возможно научить его мыслить четко, сжато и логично, освободить его от привычки прятаться за трюизмы, предрассудки и сентиментальный вздор, тогда я — воинствующий социалист. Если это невозможно, тогда, думается мне, не так уж важно, что станется с человеком и с обществом сейчас или когда бы то ни было.

— Слушать вас интересно и забавно, — сказал толстяк. — Вы очень молоды.

— Это может означать только одно — что современный опыт еще не успел ни развратить меня, ни запугать. Я владею самым ценным опытом, опытом истории, потому что, хоть и учился в колледже, сумел получить хорошее образование.

— Язык у вас неплохо подвешен.

— Не все это чепуха! — страстно воскликнул Эмори. — Сегодня я в первый раз в жизни ратовал за социализм. Другой панацеи я не знаю. Я неспокоен. Все мое поколение неспокойно. Мне осточертела система, при которой кто богаче, тому достается самая прекрасная девушка, при которой художник без постоянного дохода вы-

нужден продавать свой талант пуговичному фабриканту. Даже не будь у меня таланта, я бы не захотел трудиться десять лет, обреченный либо на безбрачие, либо на тайные связи, ради того, чтобы сынок богача мог кататься в автомобиле.

— Но если вы не уверены…

— Все равно! — вскричал Эмори. — Хуже моего положения ничего не придумаешь. Революция могла бы вынести меня на поверхность. Да, я, конечно, эгоист. Я чувствую, что при всех этих обветшалых системах был как рыба, вынутая из воды. Из всего моего выпуска в колледже только я и еще каких-нибудь два десятка человек получили приличное образование. А они там принимали в футбольную команду любого идиота-зубрилу, а меня считали недостойным этой чести, потому, видите ли, что какой-то выживший из ума старикашка считал, что мы все должны усвоить коническое сечение. Армия мне глубоко противна. Деловая жизнь тоже. Я влюблен во всякую перемену и убил в себе совесть.

— И будете кричать на всех перекрестках, что нам следует двигаться быстрее.

— Это хотя бы бесспорно, — не сдавался Эмори. — Реформы не будут поспевать за требованиями цивилизации, если их не подгонять. Политика

невмешательства — это все равно как баловать ребенка, уверяя, что в конце концов он станет порядочным человеком. Да, станет — если его принудить.

— Но вы сами не верите во все эти социалистические бредни.

— Не знаю. До разговора с вами я об этом серьезно не задумывался. Во многом из того, что я сказал, я не уверен.

— Вы меня удивляете, — сказал толстяк. — А впрочем, все вы такие. Говорят, Бернард Шоу, несмотря на все свои доктрины, самый прижимистый из драматургов, когда дело касается гонорара. Не уступит ни фартинга.

— Что ж, — сказал Эмори, — я просто констатирую, что во мне говорит пытливый ум беспокойного поколения, и я имею все основания поставить свой ум и перо на службу радикалам. Даже если бы в глубине души я считал, что все мы — слепые атомы в мире, который теснее, чем размах маятника, я и мне подобные стали бы бороться против отжившего, пытаться, на худой конец, заменить старые прописи новыми. В разное время мне начинало казаться, что я правильно смотрю на жизнь, но верить очень трудно. Одно я знаю. Если не посвятить жизнь

поискам святого Грааля, можно провести ее не без приятности.

Минуту оба молчали, потом толстяк спросил:

— Вы в каком университете учились?

— В Принстоне.

Толстяк как-то сразу оживился. Выражение его очков слегка изменилось.

— У меня сын был в Принстоне.

— В самом деле?

— Может быть, вы его знали. Его звали Джесси Ферренби. Он убит во Франции, в прошлом году.

— Я очень хорошо его знал. Могу даже сказать, что он был одним из моих ближайших друзей.

— Он был… хороший мальчик. Мы с ним были очень дружны.

Теперь Эмори заметил сходство между отцом и погибшим сыном, и ему уже казалось, что он с самого начала уловил в лице толстяка что-то знакомое. Джесси Ферренби, тот, что завоевал корону, которой он сам домогался. Как давно это было. Какими они были детьми, лезли из кожи вон ради синих бантов…

Автомобиль замедлил ход у въезда в обширное владение, обсаженное густой изгородью и обнесенное высокой железной оградой.

— Может, заедете ко мне позавтракать?

— Большое спасибо, мистер Ферренби, но я спешу.

Толстяк протянул ему руку. Эмори было ясно, что тот факт, что он знал Джесси, намного перевесил неодобрение, которое он заслужил своими еретическими взглядами. Как могущественны призраки! Даже человечек пожелал пожать ему руку.

— До свидания! — крикнул толстяк, когда машина стала сворачивать в ворота. — Желаю удачи вам и неудачи вашим теориям.

— И вам того же, сэр! — отозвался Эмори, улыбаясь, и помахал ему вслед.

«От камелька, из комнаты уютной...»

До Принстона оставалось еще восемь часов ходьбы, когда Эмори сел отдохнуть у дороги и окинул взглядом тронутую морозцем окрестность. Природа, думалось ему, если понимать ее как нечто в общем-то грубое, состоящее по преимуществу из полевых цветов, которые при ближайшем рассмотрении оказываются поблекшими, и муравьев, вечно снующих по травинкам, таит в себе одни разочарования; куда предпочтительнее природа в виде неба, водного простора и

далеких горизонтов. Сейчас мороз, предвестник зимы, будоражил его, вызвал в памяти отчаянную схватку между командами Сент-Реджиса и Гротона, с которой прошла целая вечность — семь лет, и осенний день во Франции год назад, когда он залег со своим взводом в высокой траве и выжидал, прежде чем тронуть за плечо пулеметчика. Он видел обе картины разом, и обе воскрешали в душе наивный восторг — две игры, в которых ему довелось участвовать, по-разному азартные, но равно далекие от Розалинды и от темы лабиринтов, к чему в конечном счете свелась его жизнь.

«Я эгоист», — подумал он.

«Это свойство не изменится от того, что я буду „видеть чужие страдания“, или „потеряю родителей“, или стану „помогать людям“».

«Эгоизм — не просто часть моего существа. Это его самая живучая часть.

Внести в мою жизнь какую-то устойчивость и равновесие я могу не освободившись от эгоизма, а скорее шагнув за его пределы.

Нет тех достоинств неэгоистичной натуры, которые я не мог бы использовать. Я могу принести жертву, проявить сострадание, сделать другу подарок, претерпеть за друга, отдать жизнь за друга

— все потому, что для меня это может оказаться лучшим способом самовыражения; но простой человеческой доброты во мне нет ни капли».

Проблема зла для Эмори претворилась в проблему пола. Он уже начал отождествлять зло с фаллическим культом у Брука и раннего Уэллса. Неразрывно связанной со злом оказалась красота — красота как непрестанное волнение крови, мягкая в голосе Элинор, в старой песне ночною порой, безоглядно бушующая, как цепь водопадов, полуритм-полутьма. Эмори помнил, что всякий раз, как он с вожделением тянулся к ней, она поворачивалась к нему лицом, перекошенным безобразной гримасой зла. Красота большого искусства, красота радости, в первую очередь — красота женщины.

Слишком много в ней общего с развратом и пороком. Слабость часто бывает красива, но добра в ней нет никогда. И в том новом одиночестве, на которое он обрек себя во имя еще неясной великой цели, красота не должна главенствовать; иначе, оставаясь сама по себе гармоничной, она прозвучит диссонансом.

В каком-то смысле это постепенное отречение от красоты было следующим шагом после окончательной потери иллюзий. Он чувствовал, что

оставляет позади всякую надежду стать определенного типа художником. Казалось настолько важнее стать определенного склада человеком.

Мысль его сделала крутой поворот, и он поймал себя на том, что думает о католической церкви. У него сложилось убеждение, что тем, кому нужна ортодоксальная религия, недостает чего-то важного, а религия для Эмори означала католичество. Вполне возможно, что это не более чем пустой ритуал, но, видимо, это единственная неизменно действенная защита от падения нравственности. Пока у широких масс не удастся воспитать нравственные критерии, кто-то должен кричать им «Нельзя!». И однако, принять это для себя он считал пока невозможным. Для этого требовалось время и отсутствие нажима со стороны. Требовалось сохранить идею в чистом виде без внешних украшений, до конца осознать направление и силу этого нового разбега.

После трех часов целительную прелесть осеннего дня сменило золотое великолепие. Еще позднее он прошел сквозь ноющую боль заката, когда даже облака словно исходили кровью, и в сумерки оказался возле кладбища. Там темно и тихо пахло цветами, в небе чуть наметился лунный серп, шевелились тени. Внезапно у него

возникло желание отомкнуть ржавую железную дверь склепа, встроенного в склон холма, — склепа, чисто вымытого дождем, поросшего поздними немощными водянисто-голубыми цветами, может быть выросшими из чьих-то мертвых глаз, липкими на ощупь, издающими запах гнили.

Эмори захотелось *почувствовать*, что значит «Уильям Дэйфилд, 1864».

Он подумал, почему это могилы наводят людей на мысль о тщете жизни. Сам он не видел ничего безнадежного в том, что какое-то время прожил на свете. Все эти поверженные колонны, сцепленные руки, голубки и ангелы дышали романтикой прошлого. Он подумал, что было бы приятно, если бы через сто лет кто-то молодой стал гадать, какие у него были глаза, карие или синие, и от души понадеялся, что его могила будет производить впечатление очень, очень давнишней. Странным показалось, почему из длинного ряда надгробий солдатам Гражданской войны только два или три вызвали у него мысль об умершей любви и умерших любовниках, хотя они были точь-в-точь такие же, как и остальные, во всем, вплоть до облепившего их желтоватого мха.

Далеко за полночь он различил впереди башни и шпили Принстона, кое-где — освещенные

окна и вдруг, из прозрачного мрака, — колокольный звон. Звон этот длился, как бесконечное сновидение, дух прошлого, благословляющий новое поколение, избранную молодежь из мира, полного пороков и заблуждений, которую все еще вскармливают на ошибках и полузабытых мечтах давно умерших государственных мужей и поэтов. Новое поколение, день за днем, ночь за ночью, как в полусне выкрикивающее старые лозунги, приобщаемое к старым символам веры, обреченное рано или поздно по зову любви и честолюбия окунуться в грязную серую сутолоку, новое поколение, еще больше, чем предыдущее, зараженное страхом перед бедностью и поклонением успеху, обнаружившее, что все боги умерли, все войны отгремели, всякая вера подорвана…

Жалея их, Эмори не жалел себя. Он чувствовал, что какое бы поприще ни ждало его — искусство, политика, религия, — теперь он в безопасности, свободен от всяческой истерии, способен принять то, что приемлемо, скитаться, расти, бунтовать, крепко спать по ночам…

Он не носил в сердце Бога, во взглядах его все еще царил хаос, по-прежнему была при нем и боль воспоминаний, и сожаление об ушедшей юности, и все же воды разочарований не начисто

оголили его душу — осталось чувство ответственности и любовь к жизни, где-то слабо шевелились старые честолюбивые замыслы и несбывшиеся надежды. Но — ах, Розалинда, Розалинда!

— Все это в лучшем случае слабое возмещение, — произнес он печально.

И он не мог бы сказать, почему бороться стоит, почему он твердо решил без остатка тратить себя и наследие тех выдающихся людей, которых встретил на своем пути.

Он простер руки к сияющему хрустальному небу.

— Я знаю себя, — воскликнул он, — но и только!

Прекрасные и обреченные

Книга первая
Глава первая
Энтони Пэтч

В 1913 году Энтони Пэтчу исполнилось двадцать пять лет, и вот уже два года, как на него, во всяком случае, предположительно, снизошел святой дух тех дней, именуемый иронией. Ирония являла собой наведенный в последнюю минуту глянец, придающий ботинку безупречный вид, завершающее прикосновение щетки к костюму, в некотором роде интеллектуальное «Есть!». Однако в начале этого повествования Энтони пока пребывает на стадии осознания. При первой встрече его еще волнует, не утратил ли он честь и благородство, а заодно и рассудок. Не представляет ли собой постыдное, непристойное ничтожество, жирно поблескивающее на лике окружающего мира подобно масляному пятну на чистой поверхности пруда. Разумеется, настроения менялись, и наступали периоды, когда Энтони считал себя юношей в определенном смысле исключительным, в достаточной степени утонченным и искушенным, прекрасно приспо-

собившимся к условиям, в которых приходится жить, и, пожалуй, более содержательным из всех своих знакомых.

Такое состояние оказывало на Энтони благотворное действие и делало его жизнерадостным, симпатичным и привлекательным для наделенных умом мужчин и абсолютно всех женщин. Пребывая в нем, он полагал, что в один прекрасный день совершит некое скромное, отмеченное печатью изысканности деяние, которое избранные сочтут достойным поступком, и со временем вольется в сонм неярких звезд на туманном небосклоне, на полпути между смертью и бессмертием. А пока не настало время для решительных действий, пусть он будет просто Энтони Пэтчем, не застывшим портретом, а самобытной энергичной личностью, своенравной, с долей высокомерия и идущими из глубины души порывами. Человеком, который, зная, что чести в этом мире нет и быть не может, тем не менее ее имеет, кто понимает всю надуманность представлений о мужестве и при этом является храбрецом.

Достойный человек и его даровитый сын

Внук Адама Дж. Пэтча, Энтони впитал в себя сознание социальной защищенности и стабильности, словно вел происхождение от некогда обитавших за океаном крестоносцев. И это неизбежно. Как бы там ни было, виргинская и бостонская аристократия опиралась исключительно на деньги и ставила богатство непременным условием.

Итак, Адам Дж. Пэтч, более известный как Брюзга Пэтч, в начале 1861 года покинул отцовскую ферму в Тэрритауне и записался в Нью-Йоркский кавалерийский полк. Вернувшись с войны в чине майора, он взял штурмом Уолл-стрит и среди царившей там суеты и неразберихи, громких восторгов и недоброжелательности умудрился скопить около семидесяти пяти миллионов долларов.

До пятидесяти семи лет сбор денег отнимал всю энергию. Именно в этом возрасте, после жестокого приступа склероза он решил потратить остаток жизненных сил на моральное возрож-

дение окружающего мира, став выдающимся реформатором. По примеру Энтони Комстока, прославившегося блистательной деятельностью на этом поприще, в честь которого и был назван внук, он обрушил град апперкотов и мощных ударов по корпусу на алкоголь, литературу и искусство, любые проявления порока, патентованные лекарства и воскресный любительский театр. Под воздействием вероломной плесени, которая со временем прокрадывается в мозг, щадя лишь немногих избранных, Адам с жаром реагировал на любое проявление общественного возмущения, случавшегося в те дни. Из кресла в кабинете особняка в Тэрритауне он развернул против предполагаемого могущественного противника, называемого «нечестивость», кампанию, длившуюся пятнадцать лет, в течение которых показал себя неистовым воителем и нестерпимым занудой. В год начала нашего повествования силы стали ему изменять, и сокрушительные атаки отлаженной военной кампании свелись к беспорядочной стрельбе. События далекого 1861 года постепенно заслоняли жизнь, бурлившую в году 1895-м, и мысли Адама Пэтча сосредоточились на Гражданской войне. Иногда он вспоминал покойную жену и сына, а о

внуке Энтони практически забыл.

В начале карьеры Адам Пэтч женился на анемичной тридцатилетней даме по имени Алисия Уитерс, которая принесла ему в приданое сто тысяч долларов и обеспечила беспрепятственный доступ в банковские круги Нью-Йорка. Проявив недюжинную отвагу, она в кратчайшие сроки родила сына и, словно обессилев от этого подвига, затерялась в пространстве затененной детской комнаты. Мальчик, названный Адамом Улиссом Пэтчем, стал со временем завсегдатаем клубов, знатоком хорошего тона, лихо управлял запряженными цугом лошадьми и в возрасте двадцати шести лет, ко всеобщему удивлению, начал писать мемуары под названием «Нью-йоркское общество, каким я его видел». Судя по слухам, идея книги представляла интерес, и среди издателей началась борьба за право ее опубликовать. Однако после смерти автора оказалось, что мемуары не в меру многословны и невероятно скучны, а потому их не стали печатать даже частным порядком.

Наш Честерфилд с Пятой авеню в возрасте двадцати двух лет женился на Генриетте Лебрюн, которую называли «контральто бостонского света». Единственный плод этого брака по просьбе

деда получил имя Энтони Комсток Пэтч. При поступлении в Гарвардский университет приставка «Комсток» была предана забвению, и с той поры о ней никто не вспоминал.

У молодого Энтони имелась фотография родителей, запечатленных вместе. В детстве она так часто попадалась на глаза, что стала безликим предметом мебели, однако люди, заглядывающие к нему в спальню, рассматривали снимок с интересом. Он изображал красивого подтянутого денди в духе девяностых годов рядом с высокой темноволосой дамой с муфтой и неким намеком на турнюр. Между ними пристроился мальчик с длинными каштановыми локонами, облаченный в бархатный костюмчик а-ля лорд Фаунтлерой. Это был Энтони в пятилетнем возрасте, в год, когда умерла его мать.

О «контральто бостонского света» сохранились смутные воспоминания, наполненные музыкой. Мать все время что-то пела в музыкальной гостиной их дома на Вашингтон-сквер, иногда в окружении гостей. Мужчины со сложенными на груди руками балансировали на краешке дивана, боясь вздохнуть, а женщины время от времени что-то им нашептывали, сопровождая каждую песню аплодисментами и похожими на

голубиное воркование возгласами. Гораздо чаще она пела только для Энтони на итальянском или французском языке, а еще на каком-то жутком диалекте, на котором, по ее мнению, говорят негры в южных штатах.

О галантном Улиссе, первом мужчине в Америке, отвернувшем лацканы пиджака, остались гораздо более яркие воспоминания. После того как Генриетта Лебрюн Пэтч «отправилась петь в ином хоре», о чем время от времени упоминал хриплым голосом вдовец, отец с сыном переехали жить к дедушке в Тэрритаун. Улисс ежедневно навещал Энтони в детской и около часа произносил приятные для слуха заманчивые речи. Он постоянно обещал взять Энтони на охоту, рыбалку или экскурсию в Атлантик-Сити. «Потерпи немножко, совсем скоро», — заверял Улисс. Однако ни одно из обещаний так и не претворилось в жизнь. Во время их единственного путешествия за границу, в Англию и Швейцарию, когда Энтони было одиннадцать лет, в самом шикарном отеле Люцерна отец умер, обливаясь потом и умоляя о глотке свежего воздуха. Охваченного паническим ужасом и отчаянием Энтони привезли обратно в Америку, и с тех пор смутная меланхолия сопровождала его до конца дней.

Личность героя и его прошлое

В одиннадцатилетнем возрасте он познал ужас смерти. В течение шести запечатлевшихся в памяти лет умерли родители и как-то незаметно угасла бабушка, впервые с момента замужества сделавшись на один день полновластной хозяйкой в собственной гостиной. Жизнь Энтони стала непрерывной борьбой с подстерегающей за каждым углом смертью. У него возникла привычка читать в постели. Чтение успокаивало, хотя и являлось данью мнительности и больному воображению. Он читал до изнеможения и часто засыпал, не выключив света.

До четырнадцати лет любимым развлечением Энтони, которому он отдавался со всей мальчишеской страстью, стало коллекционирование марок. Дедушка по глупости думал, что оно помогает в изучении географии. А Энтони наладил переписку с шестью филателистическими компаниями, и редкий день по почте не приходил новый альбом с марками или пачка глянцевых подписных листов. Бесконечное перекладывание драгоценных приобретений из одного альбома в другой превратилось в завораживающее таин-

ство. Марки стали для Энтони самой большой радостью, и он раздраженно хмурился на любого, кто мешал любимой игре. Марки пожирали все карманные деньги, что выдавались на месяц, а их владелец лежал ночами без сна, не уставая размышлять о разнообразии и пестром великолепии своих сокровищ.

В шестнадцать лет Энтони полностью замкнулся в себе. Молчаливый парень, совсем непохожий на американца, взирающий на современников с вежливым недоумением. Два предыдущих года он провел в Европе с домашним учителем, который убедил юношу, что образование надо непременно продолжить в Гарвардском университете. Это впоследствии «откроет все двери», укрепит дух и поможет приобрести огромное количество готовых к самопожертвованию преданных друзей. И Энтони поступил в Гарвард, единственный раз за всю жизнь послушавшись голоса разума.

Не замечая окружающих и ни с кем не общаясь, он жил в одиночестве в роскошной комнате в Бек-холл. Стройный темноволосый юноша среднего роста, с нерешительным нежным ртом. Денег у Энтони было более чем достаточно, и он решил собрать библиотеку, начав с покупки у

странствующего библиофила первых изданий Суинберна, Мередита и Харди, а также неразборчивого пожелтевшего письма с автографом Китса; впоследствии обнаружилось, что цену за них заломили заоблачную. Энтони вырос изящным денди с утонченными манерами и обзавелся вызывающей слезу умиления коллекцией шелковых пижам, парчовых халатов и ярких галстуков, слишком вычурных, чтобы появиться в них на людях. Облачившись в оберегаемые от посторонних глаз пышные одежды, он расхаживал в своей комнате перед зеркалом или возлежал на обитом атласом диванчике у окна и смотрел вниз, во двор. Наблюдая царящую за окном шумную суету, Энтони преисполнялся смутным сознанием, что сам он, похоже, никогда не примет в ней участия.

Как ни странно, в последний год обучения обнаружилось, что он завоевал определенный авторитет среди однокурсников. Энтони узнал, что его считают фигурой романтической, эдаким ученым затворником, средоточием образованности и эрудированности. Такое мнение удивило и втайне порадовало. Энтони начал выходить в свет, сначала редко, а потом все чаще. Он участвовал в вечеринках с рождественским пудингом

и пил с соблюдением установленных традиций, не привлекая к себе внимания. Говорили, что не поступи Энтони в колледж в столь юном возрасте, и «диплом с отличием был бы ему обеспечен». В 1909 году, когда ему исполнилось всего двадцать лет, Энтони закончил университет.

Потом он снова отправился за границу, на сей раз в Рим, где поочередно заигрывал с архитектурой и живописью, брал уроки игры на скрипке и написал на итальянском несколько отвратительных сонетов в виде размышлений о радостях созерцания бытия с точки зрения жившего в тринадцатом веке монаха.

Приятелям по Гарварду стало известно, что Энтони в Риме, и кто оказался в тот год в Европе, наведывались к нему и во время многочисленных прогулок лунными ночами вместе открывали для себя город, превосходящий по возрасту не только Возрождение, но и само понятие республики. Например, Мори Ноубл приехал из Филадельфии и провел в компании Энтони два месяца; молодые люди постигали своеобразное очарование римлянок, упиваясь восхитительным чувством свободы и юности в центре цивилизации. Многие знакомые деда тоже навещали Энтони, и при желании он мог бы стать персоной грата в

дипломатических кругах. Юноша и сам заметил, что тяга к веселой компании и пирушкам растет с каждым днем, однако его поведение по-прежнему определяли давняя подростковая замкнутость и появившаяся вследствие нее робость.

В 1912 году из-за внезапной болезни деда Энтони вернулся в Америку и после утомительной беседы с неизменно выздоравливающим стариком решил отказаться от мысли навсегда перебраться в Европу до его смерти. После долгих поисков он снял квартиру на Пятьдесят второй улице и успокоился, по крайней мере в глазах окружающих.

В 1913 году процесс приспособления Энтони Пэтча к окружающему миру находился в завершающей стадии. По сравнению со студенческими годами он заметно похорошел: сохраняя несколько излишнюю худощавость, стал шире в плечах, а смуглое лицо утратило испуганное выражение, характерное для студента-первокурсника. Он отличался внутренней собранностью, одевался с безукоризненным вкусом, и приятели утверждали, что ни разу не застали его со взъерошенными волосами. Нос у Энтони был резко очерченным и слишком острым, а рот представлял собой предательское зеркало, отражающее малейшую

перемену настроения. В минуты уныния уголки губ тут же опускались вниз. Зато голубые глаза неизменно поражали красотой, светились ли живым умом или выражали меланхоличную иронию, когда их обладатель смотрел на мир из-под полуопущенных век.

Энтони не мог похвастаться симметричными чертами лица, которые лежат в основе арийского идеала красоты, и тем не менее многие находили его красивым. К тому же юношу отличала исключительная внешняя опрятность, полностью соответствующая внутреннему содержанию, особая чистота, что является спутницей истинной красоты.

Безупречное жилище

Пятая и Шестая авеню казались Энтони гигантской лестницей, простирающейся от Вашингтон-сквер до Центрального парка. Поездки на крыше автобуса в направлении Пятьдесят второй улицы неизменно вызывали ощущение, будто он карабкается по ненадежным, коварным перекладинам, цепляясь за них руками, и когда автобус подъезжал к нужной остановке, он испытывал некоторое облегчение, спустившись на тротуар

по непродуманно крутым металлическим ступенькам.

Теперь оставалось пройти полквартала по Пятьдесят второй, мимо вереницы массивных домов из бурого песчаника, и вот он уже под высокими сводами своей замечательной во всех отношениях гостиной. Настоящая жизнь для Энтони начиналась именно здесь. Тут он спал, завтракал, читал книги и предавался развлечениям.

Дом представлял собой мрачный особняк, построенный в конце 1890-х годов. Принимая во внимание растущий спрос на небольшие квартиры, все этажи перестроили и сдавали внаем частями. Из четырех квартир, расположенных на втором этаже, жилище Энтони было самым завидным.

В гостиной с высокими потолками имелось три больших окна с прекрасным видом на Пятьдесят вторую улицу. Обстановка благополучно избежала претензий на принадлежность к какой-либо определенной эпохе. Благодаря идеально соблюденному чувству меры комната не выглядела излишне загроможденной или не в меру аскетической и не несла на себе печати декадентства. Здесь не пахло ни дымом, ни благовониями —

обычное просторное жилище с легким налетом грусти. Из мебели был овеянный дремотной дымкой диван с обивкой из мягчайшей коричневой кожи и высокая китайская ширма, которую украшала черная с золотом роспись с геометрическими фигурками рыбаков и охотников. Она отгораживала нишу, где находилось массивное кресло; рядом, словно в карауле, стоял оранжевый торшер. На задней стенке камина виднелся разделенный на четыре части, обгоревший до черноты неизвестный герб.

Пройдя через столовую, носившую это название чисто символически, так как хозяин здесь только завтракал, выходишь в довольно длинный коридор, а оттуда попадаешь в самое сокровенное место квартиры — спальню Энтони и ванную комнату.

Обе они необъятных размеров. Под высокими сводами спальни даже огромная кровать под балдахином выглядела не слишком внушительно. На полу красовался мягкий, как руно, ласкающий босые ноги причудливый ковер малинового бархата. В отличие от несколько мрачноватой спальни ванная, больше похожая на жилую комнату, имела жизнерадостный и исключительно уютный вид с легким налетом

шаловливости. На стенах висели фотографии в рамках с изображением четырех именитых актрис, общепризнанных красавиц того времени. Джулия Сэндерсон в «Жизнерадостной девчонке», Инна Клер в роли юной квакерши, Билли Берк в образе девушки-хористки и Хейзл Дон в «Даме в розовом». Между Билли Берк и Хейзл Дон поместилась репродукция: бескрайние просторы, занесенные снегом, над которыми светит огромное неприветливое солнце. По утверждению Энтони, картина символизировала холодный душ.

Огромная низкая ванна была снабжена затейливой подставкой для книг. Рядом с ней стенной шкаф ломился от одежды — хватило бы на троих человек — и внушительной коллекции галстуков. Вместо традиционного убогого коврика, больше похожего на полотенце, пол ванной комнаты украшал роскошный ковер, не хуже того, что в спальне. Казалось, пушистое чудо нежно массирует ноги, извлеченные из воды.

Словом, место для священных ритуалов. Сразу видно, что Энтони здесь одевается, укладывает в безупречную прическу волосы, а также занимается другими делами, не считая сна и приема пищи. Ванная комната являлась предметом гордости, и

он точно знал, что если обзаведется возлюбленной, то повесит ее портрет лицом к самой ванне, дабы, затерявшись в успокоительных клубах горячего пара, без помех созерцать предмет своей любви, предаваясь нежным и чувственным мечтам о красоте избранницы.

Без суеты

За порядком в квартире следил слуга-англичанин, носивший фамилию Баундс, которая до странности ему подходила, что даже выглядело несколько ненатуральным. Единственный недостаток этого истинного мастера своего дела состоял в том, что он носил мягкие воротнички. Принадлежи слуга одному Энтони, и подобный дефект сумели бы быстро устранить, но он работал «Баундсом» еще у двух джентльменов, живших по соседству. Ежедневно с восьми до одиннадцати утра Баундс находился всецело в распоряжении Энтони. Он приносил почту и готовил завтрак, а в половине десятого дергал за край одеяла, которым укрывался Энтони, и произносил несколько коротких слов. Энтони никак не мог вспомнить, что это за слова, но подозревал, что в них звучит осуждение. Затем слуга подавал

завтрак на карточном столе в гостиной, застилал кровать и, поинтересовавшись неприязненным тоном, не надо ли чего еще, удалялся восвояси.

Не реже одного раза в неделю Энтони навещал утром своего брокера. С денег, доставшихся в наследство от матери, он получал годовой доход немногим меньше семи тысяч. Дедушка, который и собственному сыну не позволял выходить за рамки весьма щедрого пособия, считал, что этой суммы для молодого Энтони вполне достаточно. Каждое Рождество он посылал внуку пятисотдолларовую облигацию, которую тот, как правило, продавал, так как всегда испытывал нужду в деньгах, хоть и не слишком острую.

Во время визитов к брокеру темы разговоров менялись от обычной светской болтовни до обсуждения надежности вложений под восемь процентов, неизменно доставляя Энтони огромное удовольствие. Внушительное здание трастовой компании, казалось, обеспечивало надежную связь с несметными богатствами и их владельцами, чью сплоченность и чувство взаимовыручки он так чтил, и служило гарантией, что финансовый мир позаботится о достойном месте для Энтони. Эти вечно спешащие люди внушали то самое чувство надежности и защищенности,

что неизменно возникало при размышлении о дедовских капиталах. Только оно было еще сильнее, так как деньги деда представлялись Энтони некой ссудой до востребования, которую общество выдало Адаму Пэтчу за его добродетельность, тогда как здешние капиталы скорее являлись захваченной добычей и удерживались ценой невероятных усилий воли и несгибаемого упорства. Кроме того, они виделись более определенно и четко как непосредственно деньги.

Хотя Энтони зачастую наступал на пятки своим доходам, он считал получаемое содержание вполне приличным. Разумеется, в один поистине прекрасный день он станет обладателем многомиллионного состояния, а пока находил оправдание своему существованию, строя планы написать ряд очерков о римских папах эпохи Ренессанса. Этот факт и заставляет вернуться к разговору с дедом, состоявшемуся сразу по приезде Энтони из Рима.

В душе он лелеял надежду не застать дедушку в живых, однако, позвонив прямо с пристани, обнаружил, что Адам Пэтч пребывает в относительно добром здравии, и на следующий день, скрывая разочарование, отправился в Тэрритаун. Такси отошло от вокзала и, проехав пять миль,

оказалось на ухоженной подъездной аллее, проложенной в настоящем лабиринте из высоких стен и проволочных ограждений, защищающих дедовские владения. Поговаривали, если вдруг социалисты одержат верх, первым человеком, с которым они расправятся, вне всякого сомнения, станет престарелый Брюзга Пэтч.

Энтони опоздал, и почтенный филантроп, поджидая его на застекленной террасе, уже во второй раз просматривал утренние газеты.

Секретарь деда Эдвард Шаттлуорт до духовного возрождения слыл заядлым игроком, владел питейным заведением, вел распутную жизнь и вообще считался отпетым мерзавцем. Он и проводил Энтони в комнату, демонстрируя своего благодетеля и спасителя, словно тот являл собой бесценное сокровище.

Дед и внук степенно пожали друг другу руки.

— Рад, что ваше здоровье заметно улучшилось, — начал разговор Энтони.

Старший Пэтч извлек из кармана часы и, будто не видел внука всего неделю, с сочувственным видом осведомился:

— Что, поезд опоздал?

Необязательность Энтони вызывала досаду. Старик не только пребывал в стойком заблужде-

нии, что с ранней молодости соблюдает исключительную пунктуальность в делах и на все встречи является в точно указанный срок, но и считал это главной причиной своего успеха в жизни.

— В этом месяце он то и дело опаздывает, — заметил старший Пэтч с легкой тенью упрека в голосе и, тяжело вздохнув, предложил внуку сесть.

Энтони изучал деда в молчаливом изумлении, которое испытывал всякий раз при виде его персоны. Никак не верилось, что этот тщедушный недалекий старик наделен огромной властью и вопреки заявлениям желтой прессы во всей стране вряд ли найдется достаточное количество людей, души которых он не смог бы купить тем или иным способом, чтобы их хватило на заселение небольшого пригорода Нью-Йорка Уайт-Плейнс. А уж представить, что он когда-то был розовощеким младенцем, и вовсе казалось невозможным.

Вся семидесятипятилетняя жизнь Адама Пэтча напоминала работу сказочных кузнечных мехов. В течение ее первой четверти в Адама вдувались жизненные силы, а последняя — высасывала их обратно. Она сделала впалыми щеки и грудь, иссушила руки и ноги, отняла один за другим

зубы, окружила маленькие глазки дряблыми сизыми мешками и проредила волосы. Серый цвет стал белым, а розовый пожелтел, все краски смешались, будто коробка, где их хранили, попала в руки неразумного дитя. Завладев душой и телом, старость атаковала мозг, посылая по ночам беспричинные страхи, слезы и холодный пот. Исключительная практичность раскололась, перерождаясь в легковерие и подозрительность. Зиждущийся на трезвом расчете энтузиазм распался на десятки мелких, но вздорных навязчивых идей, неуемная энергия съежилась до нелепых капризов избалованного ребенка, а на смену жажде власти пришло глупое ребяческое желание создать на земле рай с песнопениями под аккомпанемент арф.

После сдержанного обмена любезностями Энтони понял, что от него ждут четкого изложения дальнейших намерений, однако промелькнувший в старческих глазах тусклый огонек вовремя подсказал: упоминать о желании поселиться за границей пока не стоит. Энтони очень хотелось, чтобы ненавистный Шаттлуорт проявил присущую воспитанным людям тактичность и покинул комнату. Однако секретарь, напустив на себя угодливый вид, надежно обосновался в

кресле-качалке и время от времени переводил взгляд выцветших глазок со старшего Пэтча на младшего.

— Ну, раз ты вернулся, следует чем-нибудь заняться, — проникновенным голосом начал дед. — Добиться определенных результатов.

Энтони ждал, что он закончит вступление словами «оставить после себя что-то значительное», и решил высказать собственное мнение:

— Я вот подумал… Пожалуй, лучше всего мне подойдет писательская деятельность.

Адам Пэтч поморщился, представив среди членов семьи длинноволосого поэта в компании трех любовниц.

— Попробую писать очерки на исторические темы, — закончил свою мысль Энтони.

— Значит, тебя интересует история? Но чего именно? Гражданской войны или Войны за независимость?

— Да нет же, сэр. Речь об истории Средних веков. — В этот момент Энтони посетила идея осветить историю папства эпохи Возрождения, представив ее в совершенно новом свете. И все же он был доволен, что упомянул Средние века.

— Средние века? — переспросил дед. — А почему не написать о своей стране? О том, что хорошо

знаешь?

— Видите ли, я так долго жил за границей…

— Не понимаю, с чего ты решил писать о Средних веках. Мы называли их «Мрачными временами». Никто не знает, что тогда творилось, да никому и не интересно. Они остались в далеком прошлом, вот и все. — В течение нескольких минут дед пространно рассуждал о бесполезности подобных сведений, упомянув, разумеется, испанскую инквизицию и «поразивший монастыри порок». После чего поинтересовался: — Как думаешь, ты способен заняться каким-нибудь делом в Нью-Йорке и намерен ли вообще работать? — В последних словах прозвучала тонкая, едва уловимая издевка.

— Разумеется, намерен, сэр.

— Ну и когда же сподобишься?

— Понимаете, нужно набросать план и многое прочесть, прежде чем приступить к работе.

— Полагаю, это уже давно следовало сделать.

Беседа исчерпала себя и резко оборвалась. Энтони поднялся с места и, взглянув на часы, сообщил, что после обеда должен встретиться со своим брокером. Он собирался провести у деда несколько дней, но утомился от вызывающей раздражение корабельной качки и не желал

терпеть завуалированные, полные ханжеского лицемерия упреки и нападки. Перед уходом Энтони пообещал вскоре заглянуть.

Тем не менее именно благодаря этому разговору мысль о работе прочно засела у него в голове и стала частью жизни. За год, прошедший после разговора с дедом, он составил несколько списков авторитетных источников, пробовал придумать названия глав и делил свой труд по периодам, однако ни одной строчки готового текста так и не появилось, и не было даже намека, что когда-нибудь это событие произойдет. Энтони предавался безделью и вопреки общепризнанной логике умудрялся при этом в полной мере вкушать радости жизни.

После полудня

Шел октябрь 1913 года, самая середина выдавшейся недели погожих дней, когда солнечные лучи праздно скользят по поперечным улицам и все вокруг наполнено ленивой истомой, которую оживляет лишь призрачный танец падающих листьев. Было приятно сидеть в праздности у открытого окна, дочитывая главу из «Едгина» Сэмюэля Батлера. Около пяти часов Энтони, слад-

ко зевнув, небрежно бросил книгу на стол и не спеша прошествовал по коридору в ванную. «К тебе, красавица, я обращаю взор, — напевал он, отворачивая кран. — Услышь же сердца бедного укор».

Он запел громче, состязаясь с шумом льющейся в ванну воды, и, глянув на фотографию Хейзл Дон на стене, прижал к плечу воображаемую скрипку и нежно тронул струны несуществующим смычком. Не разжимая губ, Энтони издавал жужжащие звуки, которые в его представлении напоминали пение скрипки. В следующее мгновение он прекратил манипуляции с инструментом и принялся расстегивать пуговицы на рубашке. Сняв с себя одежду, Энтони стал в позу облаченного в тигровую шкуру атлета с рекламного плаката и с явным удовлетворением разглядывал себя в зеркале. Прервав это занятие, он поболтал ногой, пробуя воду, отрегулировал кран и с предвещающим грядущее удовольствие урчанием нырнул в ванну.

Привыкнув к температуре воды, он впал в состояние сладкой дремы. После принятия ванны Энтони не спеша оденется и прогуляется по Пятой авеню до отеля «Ритц», где договорился поужинать с двумя наиболее близкими прияте-

лями Диком Кэрамелом и Мори Ноублом. Потом они с Мори намеревались отправиться в театр, а Кэрамел, вероятно, поспешит домой, чтобы продолжить работу над книгой, которую нужно закончить как можно скорее.

Энтони тихо радовался, что он-то трудиться над своей книгой не собирается. Необходимость корпеть не только над словами, выражающими мысли, но и над мыслями, которые стоят того, чтобы их облачили в слова, никоим образом не совпадала с его желаниями.

Выбравшись из ванны, он принялся наводить лоск с дотошностью заправского чистильщика обуви. Затем прошествовал в спальню, насвистывая причудливую мелодию, походил взад-вперед, застегивая пуговицы, поправляя костюм и наслаждаясь теплом пушистого ковра под ногами.

Энтони зажег сигарету, выбросил спичку в открытую фрамугу и вдруг замер на месте, не донеся ее до открывшегося в изумлении рта. Взгляд приковало яркое пятно на крыше одного из домов, расположенных дальше по переулку.

Это была девушка в красном, разумеется, шелковом пеньюаре, которая сушила волосы под все еще жарким солнцем клонившегося к вечеру дня. Свист оборвался и умолк в душном возду-

хе комнаты. Энтони сделал осторожный шаг к окну, проникнувшись внезапным сознанием, что девушка прекрасна. Она сидела на каменном парапете, облокотившись на подушку того же цвета, что и пеньюар, и смотрела вниз, на залитую солнцем улицу, откуда до слуха Энтони доносились крики играющих детей.

Несколько минут он наблюдал за девушкой. В душе что-то всколыхнулось, но теплый аромат угасающего дня и победоносная яркость красного цвета были тут ни при чем. Энтони не покидало чувство, что девушка красива, и вдруг его осенило, что все дело в расстоянии, не в редкой драгоценной отдаленности душ, а в нескольких ярдах обычного земного пространства. Их разделял осенний воздух, крыши домов и приглушенные голоса. И все же на какое-то непостижимое мгновение, вопреки всем законам зависшее во времени, он испытал чувство, гораздо более близкое к обожанию, чем при самом горячем поцелуе.

Завершив туалет, он отыскал черный галстук-бабочку и аккуратно надел его перед трельяжем в ванной. Поддавшись порыву, Энтони вернулся в спальню и снова посмотрел в окно. Теперь женщина выпрямилась, откинув назад волосы,

и он мог хорошо ее рассмотреть. Она оказалась толстухой старше тридцати пяти, с самой заурядной внешностью. Прищелкнув языком, Энтони вернулся в спальню и принялся расчесывать волосы на пробор. «К тебе, красавица, я обращаю взор», — беззаботно напевал он.

Завершающее прикосновение щетки придало волосам безупречный переливчатый глянец, после чего Энтони вышел из ванной, а затем и из квартиры, и направился вдоль по Пятой авеню к отелю «Ритц-Карлтон».

Трое мужчин

В семь часов Энтони с другом Мори Ноублом сидят за угловым столиком на прохладной крыше. Мори Ноубл поразительно похож на большого, полного изящной импозантности кота. Прищуренные глаза светятся расходящимися в разные стороны лучиками, волосы прямые и гладкие, словно, буде такое возможно, его облизала исполинская мама-кошка. Во время учебы Энтони в Гарварде Мори считался самой выдающейся фигурой на курсе, самым блистательным, оригинальным, умным и выдержанным студентом, причисленным к разряду избранных.

Этого человека Энтони считает лучшим другом. Из всех знакомых Мори единственный, кем он восхищается и кому втайне завидует, хотя ни за что в этом не признается.

Они рады встрече, глаза светятся добротой, и каждый в полной мере ощущает эффект новизны после недолгой разлуки. В обществе друг друга они черпают безмятежное умиротворение. Мори Ноубл скрывает чувства за вальяжными манерами и непроницаемой, до невероятности похожей на кошачью физиономией и, кажется, вот-вот замурлычет, а нервный и непостоянный, будто блуждающий огонек, Энтони сейчас спокоен.

Они увлечены легкой светской беседой, от которой получают удовольствие только мужчины до тридцати лет или мужчины в состоянии сильного волнения.

Э н т о н и (*с нетерпением*). Семь часов. Куда подевался Кэрамел? Скорей бы завершил свой нескончаемый роман. Умираю от голода…

М о р и. Он придумал новое название — «Демонический любовник». Недурно, а?

Э н т о н и (*заинтересованно*). «Демонический любовник»? Ну как же, дамы обольются слезами. Нет, вполне сносно! Очень даже неплохо! Что скажешь?

М о р и. Приемлемо. Так который, говоришь, час?

Э н т о н и. Семь.

М о р и (*щурится, но без раздражения, просто чтобы выразить легкое неодобрение*). На днях довел меня до бешенства.

Э н т о н и. Каким образом?

М о р и. Да своей привычкой все записывать.

Э н т о н и. Со мной та же история. Прошлым вечером я что-то сказал, а он усмотрел в моих словах глубокий смысл, но забыл суть, вот и привязался. Говорит: «Неужели не можешь сосредоточиться и вспомнить?» А я ему: «Ты наводишь на меня тоску. С какой стати я должен держать в голове всякую ерунду?»

Мори беззвучно смеется, лицо расплывается в вежливую понимающую ухмылку.

М о р и. Дик видит не больше остальных, но умеет записать основную часть увиденного.

Э н т о н и. Ничего не скажешь, впечатляющий талант…

М о р и. Да уж, впечатляет!

Э н т о н и. А его энергия, честолюбивые помыслы движутся целенаправленно. Он такой занятный, страшно будоражит и увлекает людей.

Иногда рядом с ним просто дух захватывает.

М о р и. О да.

После короткого молчания разговор возобновляется.

Э н т о н и (*его худое нерешительное лицо выражает глубокую убежденность*). Только нет у него неукротимой энергии, и настанет день, когда она вся иссякнет, а вместе с ней пропадет и «впечатляющий талант», а останется только осколок человека, сварливый самовлюбленный болтун.

М о р и (*смеется*). Вот мы тут пытаемся убедить друг друга, что малыш Дик в отличие от нас не вникает столь глубоко в суть вещей, но бьюсь об заклад — он со своей стороны чувствует некоторое превосходство творческого ума над умом критическим, ну и все такое прочее.

Э н т о н и. Разумеется. Но он ошибается. Он склонен разбрасываться на множество глупых увлечений. Не погрузись он в реализм, в результате чего приходится рядиться в одежды циника, поддался бы такому же легковерию, как религиозный лидер в колледже. Он ведь на самом деле идеалист, хотя думает иначе, потому что отвергает христианство. Помнишь его в колледже? Проглатывал книги всех писателей, одну за другой, легко и без разбора, заимствуя идеи,

писательские приемы и персонажей. Честертон, Шоу, Уэллс.

М о р и (*обдумывая свое последнее наблюдение*). Помню.

Э н т о н и. Ведь это правда. По своей природе фетишист, непременно нужно перед кем-нибудь преклоняться. Возьмем, к примеру, искусство…

М о р и. Давай-ка что-нибудь закажем. Он скоро…

Э н т о н и. Да, конечно. Закажем. Я ему говорил…

М о р и. А вот и он. Сейчас столкнется с официантом. (*Мори поднимает палец, подзывая официанта, и палец у него похож на добродушный и ласковый кошачий коготь.*) Наконец-то, Кэрамел.

Н о в ы й г о л о с (*с энтузиазмом*). Привет, Мори. Привет, Энтони Комсток Пэтч. Сколько лет внуку Адама? Молоденькие дебютантки по-прежнему бегают за тобой толпами, а?

Р и ч а р д К э р а м е л — невысокий блондин, из породы тех, кто лысеет к тридцати пяти годам. У него желтоватые глаза: один — поразительно ясный, а другой — мутноватый, наподобие грязной лужицы, и выпуклый лоб, как у младенца из комиксов. Выпуклости имеются и в иных местах:

пророчески выпячивается брюшко, и слова будто выбухают изо рта. Даже карманы смокинга распухли волдырями. Они набиты обтрепанными расписаниями поездов, программками и прочим бумажным хламом, на котором он делает заметки, сощурив разные глаза и призывая свободной левой рукой окружающих к тишине.

Подойдя к столику, он здоровается за руку с Энтони и Мори. Кэрамел всегда здоровается за руку, даже если видел людей час назад.

Э н т о н и. Привет, Кэрамел. Рад встрече. Так не хватает чего-нибудь веселенького в нашей печальной жизни.

М о р и. Опаздываешь. Гонялся по всему кварталу за почтальоном? А мы тут перемываем тебе косточки.

Д и к (*сверлит Энтони своим ясным глазом*). Как ты сказал? Повтори, я запишу. Сегодня выкинул из первой части книги три тысячи слов.

М о р и. Благородный эстет. А вот я накачивался спиртным.

Д и к. Кто бы сомневался. Держу пари, вы тут битый час болтаете о выпивке.

Э н т о н и. Мы никогда не напиваемся до беспамятства, мой юный друг.

М о р и. И никогда не приводим домой дам, с

которыми познакомились, будучи навеселе.

Э н т о н и. И вообще наши дружеские пирушки носят возвышенный характер.

Д и к. Только глупцы хвастают умением пить! Беда в том, что вы задержались в восемнадцатом веке, следуя примеру старых английских сквайров. Тихо напиваетесь, пока не окажетесь под столом. И никакой радости. Нет, это никуда не годится.

Э н т о н и. Даю голову на отсечение, ты цитируешь главу шестую.

Д и к. Идете в театр?

М о р и. Да, намереваемся посвятить вечер глубоким размышлениям над вопросами жития. Пьеса называется коротко: «Женщина». Полагаю, многообещающее название себя оправдает.

Э н т о н и. О Господи! Неужели так и называется? Давай лучше снова сходим в варьете.

М о р и. Надоело. Я видел их представление три раза. (*Обращается к Дику*.) В первый раз мы вышли в антракте и отыскали изумительный бар, а когда вернулись в зал, оказалось, что попали в другой театр.

Э н т о н и. И долго пререкались с перепуганной молодой парой. Решили, что они заняли наши места.

Д и к (*якобы разговаривая сам с собой*). Думаю написать еще один роман и пьесу или сборник рассказов, а потом займусь музыкальной комедией.

М о р и. Представляю. С заумными куплетами, которые никто не станет слушать. А критики примутся ворчать и охать, вспоминая старый добрый «Крейсер “Пинафор”»[33]. А я так и буду блистать бессмысленной фигурой в лишенном всякого смысла мире.

Д и к (*напыщенно*). Искусство не бессмысленно.

М о р и. Само по себе оно именно таковым и является, однако приобретает определенный смысл, если пытается сделать жизнь менее бессмысленной.

Э н т о н и. Иными словами, Дик, ты играешь перед трибуной, заполненной призраками.

М о р и. Как бы там ни было, постарайся, чтобы представление получилось хорошим.

Э н т о н и (*обращаясь к Мори*). А по мне так зачем вообще писать, если мир такой бессмысленный? Сама попытка отыскать там какую-то цель бесполезна.

Д и к. Даже если признать вашу правоту, сде-

---

[33] notes: 33

«Крейсер “Пинафор”» — комическая опера английского композитора Артура Салливана (1842—1900). — *Здесь и далее примеч. пер.*

лайте милость, оставайтесь благопристойными прагматиками и даруйте бедному человечеству возможность сохранить инстинкт выживания. Но вам-то хочется, чтобы все согласились с софистической чушью, что вы несете?

Э н т о н и. Именно так.

М о р и. Нет, сэр! Я считаю, что всех жителей Америки, за исключением тысячи избранных, необходимо принудительно приобщить к самой строгой системе моральных ценностей. Например, к римскому католицизму. Я не критикую общепринятую мораль, но выступаю против отступивших от нее посредственностей, которые, опираясь на достижения софистики, принимают позу нравственной свободы, не имея на то ни малейшего права в силу заурядных умственных способностей.

В этот момент на сцене появляется суп, и все, что Мори намеревался изложить, так и остается невысказанным.

Ночь

Затем друзья навестили перекупщика билетов и за заоблачную цену приобрели места на новую

музыкальную комедию «Бурное веселье». В фойе они задержались на несколько минут, обозревая явившуюся на премьеру толпу. Непрерывным потоком двигались меховые манто и накидки из разноцветных шелков. По рукам, шеям и бело-розовым мочкам ушей струились каплями драгоценные камни, на шелковых шляпках, которым несть числа, мерцали широкие ленты, мелькали туфельки цвета золота и бронзы, красные и лакированные черные. Проплывали высокие, тщательно уложенные, туго стянутые прически дам, лоснились напомаженные волосы ухоженных мужчин. Жизнерадостное людское море накатывало волнами, бурлило, пенилось, разражаясь оживленной болтовней и смехом, отступало и медленно вздымалось вновь, вливая сверкающий поток в сотворенное на сегодняшний вечер самими людьми озеро всеобщего веселья.

После спектакля друзья расстались: Мори намеревался потанцевать у «Шерри», а Энтони отправился домой спать.

Он медленно проталкивался сквозь толпу, наводняющую по вечерам Таймс-сквер, которая благодаря гонкам экипажей и их многочисленным приверженцам выглядела на удивление

яркой и красивой, создавая атмосферу карнавала. Вокруг, словно в калейдоскопе, мелькали лица, безобразные, как смертный грех: то слишком жирные, то непомерно тощие, и все же они плыли в осеннем воздухе, будто удерживаемые собственным жарким и страстным дыханием, выплескивающимся в ночь. Энтони подумал, что, несмотря на всю вульгарность, в этих лицах чувствуется едва уловимая, ускользающая тайна. Он осторожно вдыхал аромат духов и не вызывавший неприятных ощущений запах дымивших со всех сторон сигарет. Встретился взглядом с юной темноволосой красавицей, одиноко сидевшей в закрытом такси. В сгущающихся сумерках ее глаза наводили на мысли о ночи и фиалках. На короткое мгновение в душе Энтони всколыхнулось полузабытое воспоминание об оставшемся далеко в прошлом дне.

Мимо прошли два молодых еврея. Они громко разговаривали, вытягивая шеи, и с глупым высокомерием поглядывали по сторонам. Фигуры обтягивали слишком облегающие костюмы, которые еще кое-где считались модными, отложные воротнички со стойкой врезались в кадыки, на ногах красовались серые гетры, а набалдашники трости сжимали руки в серых же перчатках.

Промелькнула пожилая дама, которую, словно корзину с яйцами, тащили под руки двое мужчин, оживленно повествующих о чудесах Таймс-сквер. Они тараторили так быстро, что женщина, желая проявить интерес к рассказу обоих, крутила головой, будто перекатывалась увлекаемая ветром высохшая апельсиновая кожура.

— Мама, вот это Астор!

— Смотри, вот объявление о гонках на экипажах…

— А вот тут мы сегодня были. Да нет же, вон там!

— Боже правый!

— Принимай все близко к сердцу, и высохнешь в щепку, — узнал Энтони популярную в этом году шутку, которую произнес рядом чей-то скрипучий голос.

— А я ему говорю, вот так прямо и говорю…

Мимо с тихим шорохом проезжали такси, слышался несмолкаемый смех, хриплый, как воронье карканье, сливаясь с гулом подземки. И над всем этим царил круговорот огней, которые то становились ярче, то тускнели, разлетаясь жемчужной россыпью, образуя сверкающие круги и полосы, складываясь в уродливые гротескные фигуры, покрывающие небо причудливой резьбой.

С чувством облегчения Энтони свернул в затишье, сквозившее с пересекающей магистраль улицы, миновал булочную, при которой имелся небольшой ресторанчик. В окне виднелся автоматический вертел с дюжиной вращающихся куриных тушек, а из дверей шел аромат горячей выпечки. Следующий дом, где находилась аптека, источал запахи лекарств и пролитой содовой, а к ним примешивалось слабое благоухание от прилавка с косметикой. Потом на пути была душная китайская прачечная с облаками пара, она еще работала и пахла выглаженным бельем и чем-то неуловимо азиатским. Все это произвело на Энтони удручающее впечатление, и, дойдя до Шестой авеню, он заглянул в находившуюся на углу табачную лавку. После ее посещения настроение заметно улучшилось. Окутанная облаками синего дыма табачная лавка настраивала на жизнерадостный и бодрый лад, приглашая потратиться на приятную роскошь.

Добравшись до своей квартиры, Энтони уселся в темноте у открытого окна и выкурил последнюю сигарету. Впервые за прошедший год он почувствовал, что жизнь в Нью-Йорке может быть весьма приятной. Определенно, в этом городе есть редко встречающаяся жгучая, почти

южная пряность. И все же порой здесь бывает тоскливо и одиноко. Энтони, выросший в одиночестве, в последнее время научился его избегать, стараясь занять все вечера. Если никакой встречи не намечалось, он спешил в один из клубов в поисках общения. Да, чего-чего, а одиночества здесь хватало…

Сигарета еще тлела в руке, обволакивая белесоватым дымом складки тонких штор, а часы на церкви Святой Анны, что находилась чуть дальше по этой же улице, с раздражительностью элегантной дамы уже пробили час ночи. Из соседнего, погруженного в сон квартала донесся барабанный грохот. Если бы Энтони потрудился выглянуть из окна, то увидел бы вылетевший из-за угла поезд, который, подобно разгневанному орлу, несся в темноте. Энтони пришел на память недавно прочитанный фантастический роман, где города бомбили с летающих по воздуху поездов. На мгновение он представил, что Вашингтон-сквер объявил войну Центральному парку и надвигающаяся с севера угроза несет с собой кровавые сражения и сеет смерть. Но поезд умчался вдаль, разрушая иллюзию. Барабаны грохотали все тише, а потом некоторое время слышался только клекот улетающего орла.

С Пятой авеню доносились звон колокольчиков и приглушенное гудение автомобильных рожков, но на его улице стояла тишина, и Энтони чувствовал себя защищенным от всех опасностей, которые таит жизнь. Вот дверь его квартиры, длинный коридор и главный защитник — спальня. И никакой опасности! Причин для страха нет! Падающий в окно свет фонаря в этот час похож на лунное сияние, только еще ярче и прекраснее.

В раю. Взгляд в прошлое

Красота, рождающаяся раз в сто лет, сидела в неком подобии находящейся под открытым небом приемной, сквозь которую проносились порывы прозрачного ветерка и время от времени пролетала запыхавшаяся звезда. Звезды заговорщически подмигивали Красоте, а ветер без устали трепал волосы. Она была непостижимой, так как ее душа и натура составляли единое целое и красота тела выражала сущность души. Философы на протяжении многих столетий стремятся отыскать такое единство. А она сидела в этом зале ожидания среди ветров и звезд уже сто лет, в мире и покое занимаясь самосозерцанием.

Наконец Красота узнала, что ей предстоит

родиться заново. Вздохнув, она завела долгую беседу с неким Голосом, который принес непорочный ветер. Их разговор продолжался много часов, и здесь я намерен привести лишь короткий отрывок.

К р а с о т а (*едва заметно шевеля губами, ее взор, как обычно, устремлен в себя*). Куда мне предстоит отправиться теперь?

Г о л о с. В незнакомую страну, которую ты прежде не видала.

К р а с о т а (*недовольным тоном*). Ненавижу врываться в неизвестные цивилизации. И сколько же времени предстоит провести там на сей раз?

Г о л о с. Пятнадцать лет.

К р а с о т а. Как называется это место?

Г о л о с. Самая богатая и прекрасная страна в мире, край, где мудрейшие немногим умнее последних глупцов, земля, в которой разум правителей невинен, как у младенцев, а законодатели верят в Санта-Клауса, где уродливые женщины властвуют над сильными мужчинами.

К р а с о т а (*в изумлении*). Как ты сказал?

Г о л о с (*удрученно*). Воистину печальное зрелище. Женщины с безобразными срезанными подбородками и бесформенными, как лепешка,

носами расхаживают средь бела дня и командуют: «Делай то! Делай это!» И все мужчины, даже самые богатые, покорно подчиняются воле своих женщин, к которым высокопарно обращаются не иначе как «миссис такая-то» или «моя супруга».

К р а с о т а. Не может быть! Разумеется, я могу понять, когда идет речь о покорности прелестным женщинам. Но толстухи или уродливые худышки? Неужели подчиняются даже женщинам с морщинистыми впалыми щеками?

Г о л о с. Именно так.

К р а с о т а. А как же я? Что меня там ждет?

Г о л о с. Путь предстоит нелегкий, если уместно так выразиться.

К р а с о т а (*выдержав паузу, разочарованно*). Почему не отправить меня в знакомые страны, в края, где растет виноград и живут мужчины, умеющие произносить сладкие речи? Или туда, где море и множество кораблей?

Г о л о с. Предполагается, что в скором времени их ждут иные дела.

К р а с о т а. Ах, как жаль!

Г о л о с. Твое пребывание на земле, как всегда, станет паузой между двумя чрезвычайно важными событиями, отраженными в зеркале мироздания.

К р а с о т а. Скажи, а кем я буду?

Г о л о с. Поначалу предполагалось, что ты явишься киноактрисой, но потом это оказалось нецелесообразным. Последующие пятнадцать лет ты проживешь под маской так называемой девушки из общества.

К р а с о т а. А что это значит?

Здесь к пению ветра примешивается новый звук, наводящий на мысль, что Голос решил почесать голову.

Г о л о с (*после длительной паузы*). Ну, нечто вроде липовой аристократки.

К р а с о т а. Липовой? Что это значит?

Г о л о с. И это тебе предстоит узнать в стране, куда вскоре отправишься. Там найдется много чего липового. Кстати, и к твоим поступкам и всему поведению тоже подойдет это слово.

К р а с о т а (*с безмятежным видом*). Как вульгарно.

Г о л о с. На самом деле все еще гораздо вульгарнее. В эти пятнадцать лет ты прославишься как «дитя рэгтайма», «эмансипе», «джаз-беби» и «беби-вамп» и исполнишь новые танцы не менее грациозно, чем танцевала старые.

К р а с о т а (*шепотом*). А мне заплатят?

Г о л о с. Да, как всегда — любовью.

К р а с о т а (*с легким смешком, от которого едва заметно шевельнулись губы*). Мне понравится называться «джаз-беби»?

Г о л о с (*рассудительно*). Очень понравится…

Здесь разговор обрывается. Красота по-прежнему сидит неподвижно, звезды замирают в благоговейном восторге, а прозрачный и чистый порывистый ветер треплет ей волосы.

Диалог, приведенный выше, состоялся за семь лет до дня, в который Энтони, сидя у окна в своей квартире, будет прислушиваться к колокольному перезвону на церкви Святой Анны.

Глава вторая
Портрет сирены

Месяц спустя на Нью-Йорк опустились бодрящие холода, а вместе с ними пришел ноябрь, который принес три ответственных футбольных матча и изобилие мехов, колышущихся бескрайним потоком по Пятой авеню. С наступлением заморозков город охватило чувство напряженности и сдержанного возбуждения. Теперь каждое утро Энтони получал по почте приглашения.

Три дюжины целомудренных представительниц женского пола из высшего слоя общества заявляли если не о явном желании, то по крайней мере о способности родить детей трем дюжинам миллионеров. Пять дюжин добродетельных девиц из следующего, более низкого слоя отважно сообщали не только о своей пригодности, но и о серьезных притязаниях в отношении вышеупомянутых трех дюжин молодых людей и, разумеется, приглашали на все девяносто шесть званых вечеров. Как и друзей семейств, из которых происходили юные дамы, а также знакомых, приятелей по колледжу и жаждущих попытать счастья рьяных юношей со стороны. Существовал и третий слой, обитающий на городских окраинах, Ньюарка и других городов Нью-Джерси до сурового Коннектикута, но не имеющий никаких шансов в районе Лонг-Айленда. Были и слои, расположившиеся еще ниже, у самого городского дна: от Риверсайда до Бронкса еврейских невест выводили в иудейское общество в предвкушении встречи с подающим надежды молодым брокером или ювелиром с последующим кошерным бракосочетанием. Ирландские девицы на выданье, получив наконец официальное разрешение, бросали взгляды на молодых политиков из Там-

мани-холла, благочестивых предпринимателей и повзрослевших мальчиков из церковного хора.

Как и следовало ожидать, весь город заразился атмосферой ожидания и надежды. И девушки из рабочей среды, бедные дурнушки, упаковывающие мыло на фабриках или демонстрирующие наряды и украшения в крупных магазинах, мечтали обрести в царившей той зимой кутерьме, от которой захватывало дух, своего вожделенного мужчину. Так неумелый вор-карманник тешит себя надеждой, что в карнавальной толчее его шансы на успех возрастают. И задымили трубы, и наросли новые слои грязи от подземки. Актрисы играли в новых пьесах, издатели напечатали новые книги, а Айрин и Вернон Каслы выступили с новыми танцами. Железные дороги выпустили новые расписания поездов с новыми ошибками вместо старых, к которым обладатели сезонных билетов уже успели привыкнуть.

Весь город выходил в свет!

Однажды, прогуливаясь под серо-стальным небом Сорок второй улицы, Энтони неожиданно столкнулся с Ричардом Кэрамелом, который вышел из парикмахерской отеля «Манхэттен». Стоял первый по-настоящему холодный день, и Кэрамел был одет в отороченное овчиной пальто

до колен, какие с давних пор носит рабочий люд на Среднем Западе и которые только что начали входить в моду. Из-под полей мягкой шляпы сдержанного темно-коричневого цвета горел, подобно топазу, ясный глаз. Кэрамел радостно бросился к Энтони и принялся хлопать того по плечам скорее из желания согреться, а не ради шалости. После непременного рукопожатия Дик разразился речью:

— Чертовски холодно. Весь день трудился как проклятый, пока комната совсем не выстудилась, и я испугался, что заработаю пневмонию. Окаянная домохозяйка экономит на угле и появилась только после того, как я полчаса орал на лестнице. Принялась оправдываться, что да как. Господи! Поначалу она меня взбесила, а потом вдруг пришло в голову, что из нее получится яркий персонаж, вот и начал делать заметки, пока старуха разглагольствовала. Так, чтобы не заметила, будто я просто что-то записываю.

Он схватил Энтони под руку и потащил по Мэдисон-авеню.

— Куда это мы идем?

— Да так, никуда, просто прогуливаемся.

— Что толку в такой прогулке? — удивился Энтони.

Они остановились, глядя друг на друга в упор, и Энтони вдруг представил, что, вполне вероятно, от холода его лицо стало таким же отталкивающим, как у Дика Кэрамела. Нос у приятеля сделался малиновым, выпуклый лоб посинел, а разные глаза покраснели и слезились. Постояв мгновение, друзья двинулись дальше.

— Замечательно поработал над романом, — с многозначительным видом сообщил Дик, глядя себе под ноги. — Но надо иногда выходить на люди. — Он бросил на Энтони извиняющийся взгляд, словно ища поддержки. — Мне необходимо выговориться. Полагаю, очень мало людей, способных по-настоящему думать о серьезных вещах. То есть сесть и погрузиться в размышления, в результате чего рождаются идеи. Мне лучше всего думается, когда я пишу или разговариваю. Главное — начать что-нибудь отстаивать или возражать и спорить… как считаешь?

Энтони что-то невнятно буркнул, осторожно высвобождая руку.

— Тебя, Дик, я еще могу на себе тащить, но что до пальто…

— Хочу сказать, — с серьезным видом продолжал Ричард Кэрамел, — что на бумаге уже в первом абзаце рождается мысль, которую ты

собираешься отбросить в сторону или же развить дальше. В разговоре в твоем распоряжении последнее высказывание собеседника… когда же просто размышляешь, идеи следуют чередой одна за другой, как картинки в волшебном фонаре, где каждая последующая вытесняет предыдущую.

Друзья миновали Сорок пятую улицу, чуть замедлили шаг и закурили, выдыхая огромные облака дыма и пара.

— Давай зайдем в «Плазу» и выпьем по эгногу, — предложил Энтони. — Тебе пойдет на пользу. Свежий воздух выгонит вредоносный никотин из легких. Ну что, согласен? А по дороге можешь рассказывать о своей книге.

— Не хочу, если это наводит на тебя скуку. То есть нет нужды делать мне одолжение. — Слова торопливо выскакивали одно за другим, и несмотря на старания придать лицу безразличное выражение, оно обиженно сморщилось.

— Наводит скуку? Да что ты! Вовсе нет! — вынужденно запротестовал Энтони.

— У меня есть кузина, — начал Дик, но Энтони не дослушал и, широко расставив руки, с ликованием воскликнул:

— Изумительная погода, верно? Заставляет чувствовать себя десятилетним мальчишкой.

То есть именно такие ощущения следовало бы испытывать в десять лет. Сногсшибательно! О Господи! Вот я властвую над миром, а в следующее мгновение играю в нем роль шута. Сегодня мир принадлежит мне, и все так легко, так легко. Даже Пустота!

— У меня кузина живет в отеле «Плаза». Прелестная девушка, пользуется популярностью в обществе. Можем зайти. Она проводит здесь зиму вместе с родителями. Во всяком случае, в последнее время…

— Не знал, что у тебя появились кузины в Нью-Йорке.

— Ее зовут Глория. Она из Канзас-Сити. Матушка — практикующая билфистка[34], а отец несколько туповат, зато истинный джентльмен.

— Что они собой представляют? Подходящий литературный материал?

— Во всяком случае, стараются. А папаша то и дело твердит, что недавно встретил потрясающий персонаж для романа. Потом примется рассказывать о каком-то придурковатом приятеле и непременно закончит словами: «Вот настоящий герой, словно для тебя создан! Поче-

---

[34] notes: 34

Билфизм — одно из оккультных течений, популярных в начале XX века.

му его не описать? Всем будет интересно». Или начнет распространяться о Японии, Париже или другом всем известном месте, а при этом приговаривает: «А написал бы ты об этом месте? Так и просится в роман или рассказ!»

— А девушка? — небрежно поинтересовался Энтони. — Глория… Глория, как ее там?

— Гилберт. Да ты о ней слышал. Глория Гилберт. Посещает вечера танцев в колледжах. В общем, девушка известная.

— Слышал это имя.

— Симпатичная. По правде сказать, чертовски хорошенькая.

Они дошли до Пятидесятой улицы и свернули на Пятую авеню.

— Вообще-то молоденькие девушки меня не интересуют, — нахмурился Энтони.

Он слукавил. Хотя Энтони и считал, что среднестатистическая дебютантка день напролет говорит и думает о перспективах, которые для нее откроет в течение следующего часа огромный мир, любая девушка, зарабатывающая на жизнь красивой внешностью, вызывала у него огромный интерес.

— Глория обворожительна… и совсем глупенькая.

Энтони саркастически фыркнул:

— Хочешь сказать, кузина не способна вести беседы на литературные темы?

— Вовсе нет.

— Слушай, Дик, сам знаешь, что в твоем понимании подразумевается под умственными способностями женщины. Серьезные молодые девицы, которые сядут с тобой в уголке и с глубокомысленным видом заведут разговор о жизни. Из тех, что в шестнадцать лет с важными физиономиями спорят, можно целоваться или нет, и прилично ли для первокурсника пить пиво.

Ричард Кэрамел имел вид человека, оскорбленного в лучших чувствах. Его нахмуренное лицо еще больше сморщилось, став похожим на мятую бумагу.

— Нет… — начал он, но Энтони безжалостно перебил:

— Да-да, именно так. Те, что и сейчас разбежались по углам и обсуждают новоиспеченного скандинавского Данте, творения которого появились в английском переводе.

Дик повернулся к приятелю, все его лицо странным образом опало, и в обращенном к Энтони вопросе слышалась мольба:

— Да что случилось с тобой и Мори? Разгова-

риваете, будто я существо низшего сорта, эдакий дурачок.

Энтони смутился, но он замерз и чувствовал себя неуютно, а потому решил, что лучшая защита — нападение.

— Дик, речь идет вовсе не о твоих умственных способностях.

— Разумеется, о них! — сердито воскликнул Дик. — И вообще, что ты хочешь сказать? Почему это они не имеют значения?

— Возможно, твои знания слишком обширны, чтобы выразить их пером.

— Так не бывает.

— Я вполне могу представить человека, — настойчиво продолжал свою мысль Энтони, — знания которого слишком велики и не соответствуют его таланту. Взять, к примеру, меня. Представь, что я мудрее тебя, но менее талантлив, а потому не могу членораздельно выразить свои мысли. У тебя же, напротив, имеется достаточно воды, чтобы наполнить ведро, а к тому же есть и само ведро.

— Ничего не понимаю, — пожаловался Дик упавшим голосом. Он пришел в полное смятение, и все выпуклости на его теле стали еще заметнее, словно в знак протеста. С обиженным видом он

уставился на Энтони, загораживая дорогу прохожим, которые награждали его возмущенными взглядами.

— Я всего лишь хочу сказать, что, обладая талантом Уэллса, можно осилить мысли Спенсера. Однако если талант рангом ниже, следует с благодарностью заняться более мелкими идеями, и чем уже взгляд на предмет, тем увлекательнее ты его опишешь.

Дик задумался, не в силах оценить суровую критику, содержащуюся в словах приятеля. А Энтони продолжал свою речь с легкостью, которая время от времени так и рвалась в свободный полет. Темные глаза сияли на худощавом лице, подбородок вздернулся вверх, голос стал громче, и сам он будто стал выше ростом.

— Скажем, я полон гордости, благоразумия и мудрости — ни дать ни взять афинянин среди греков. И все же я могу потерпеть неудачу, где человек с более скромными достоинствами преуспеет. Ведь он способен подражать, что-то приукрасить, проявить восторг и вселяющую надежду склонность к созиданию. А моему гипотетическому «я» гордость не позволит унизиться до подражания, оно слишком благоразумно, чтобы восторгаться, и чувствует себя слишком

искушенным, чтобы стать утопистом, в высшей степени греком, натуре которого противно украшательство.

— Значит, по-твоему, творение художника не является плодом его собственного ума?

— Нет, он, если может, совершенствует свое заимствование в области стиля, выбирая из собственной интерпретации окружающего мира наиболее подходящий для себя материал. В конечном итоге любой писатель занимается своим ремеслом, потому что таков его образ жизни. И не говори, что тебе нравится вся эта чепуха о «божественном предназначении художника».

— Да мне как-то непривычно употреблять применительно к себе слово «художник».

— Дик, — обратился Энтони к приятелю, меняя тон, — хочу попросить у тебя прощения.

— За что?

— За неуместный всплеск эмоций. Я правда сожалею. Разболтался тут из желания покрасоваться.

— Вот я и говорю, что в душе ты филистер, — немного успокоившись, заметил Дик.

На город уже опустились сумерки, и друзья, укрывшись за белыми стенами отеля «Плаза», не спеша наслаждались густым эггногом с обильной

желтой пеной. Энтони бросил взгляд на собеседника. Нос и лоб Ричарда Кэрамела постепенно приобретали естественную окраску: с первого сходила краснота, а со второго — синюшная бледность. Посмотрев в зеркало, Энтони с радостью отметил, что его собственная кожа не претерпела изменений. Напротив, на щеках играл легкий румянец, и вдруг подумалось, что никогда еще он не выглядел так хорошо.

— Все, мне достаточно, — заявил Дик тоном спортсмена на тренировке. — Хочу подняться наверх и навестить Гилбертов. Пойдешь со мной?

— Ну, вообще-то я не прочь. Если только не отдашь меня на заклание родителям, а сам уединишься в укромном уголке с Дорой.

— Ее зовут не Дора, а Глория.

Портье сообщил по телефону об их приходе. Поднявшись на десятый этаж, приятели прошли извилистым коридором и постучали в дверь номера 1088. Им открыла дама средних лет, миссис Гилберт собственной персоной.

— Как поживаете? — Она говорила на принятом между американскими светскими дамами языке. — Страшно рада вас видеть…

Дик торопливо выдавил пару междометий.

— Мистер Пэтс? Входите же, оставьте паль-

то здесь. — Она показала на стул, переходя на умильный тон, перемежающийся смешками с придыханием. — Прелестно, в самом деле прелестно. Что же, Ричард, вы так долго нас не навещали? Нет! Нет! — Односложные восклицания служили отчасти ответом на невнятные оправдания Ричарда, отчасти средством для заполнения пауз. — Присаживайтесь и расскажите, чем занимались все это время.

Потом пришлось обмениваться дежурными фразами, стоя кланяться и изображать на лице беспомощные в своей глупости улыбки, думая лишь о том, когда же хозяйка наконец сядет и можно будет с облегчением погрузиться в кресло и приступить к приятной беседе.

— Полагаю, причиной всему ваша занятость… впрочем, могут быть и другие, — предположила миссис Гилберт с несколько двусмысленной улыбкой. Намеком «впрочем, могут быть и другие» она приводила в равновесие и гармонию остальные более шаткие высказывания. У нее в запасе имелась еще пара подобных фраз: «во всяком случае, так мне кажется» и «совершенно очевидно». Миссис Гилберт применяла их по очереди, что превращало каждое ее замечание в обобщенную точку зрения на жизнь, будто после

тщательного подсчитывания всех причин она наконец указывала пальцем на главную.

Энтони отметил, что лицо Ричарда Кэрамела приобрело вполне приличный вид. Лоб и щеки снова стали телесного цвета, нос тоже не выделялся, скромно стушевавшись на их фоне. Он сверлил тетушку ярко-желтым глазом с преувеличенным вниманием, которое молодые мужчины обычно проявляют ко всем особам женского пола, больше не представляющим для них никакой ценности.

— Вы тоже писатель, мистер Пэтс? Возможно, все мы погреемся в лучах славы, доставшейся Ричарду. — Миссис Гилберт сопроводила свои слова легким смешком. — А Глории нет дома, — сообщила она, будто изрекая аксиому, из которой намеревалась сделать дальнейшие выводы. — Где-то танцует. Вечно куда-то бежит, торопится. Я говорю, что так нельзя. Не понимаю, как она все это выдерживает. Танцует день и ночь напролет, пока не доведет себя до полного истощения и не превратится в тень. Отец сильно обеспокоен ее образом жизни.

Миссис Гилберт наградила улыбкой обоих гостей, и те улыбнулись в ответ.

Энтони вдруг осознал, что миссис Гилберт

состоит из чередующихся полуокружностей и парабол, наподобие тех фигур, что сообразительные умельцы творят с помощью пишущей машинки: голова, руки, грудь, бедра и лодыжки представляли собой расположенные ярусами округлости, являвшие ошеломляющее зрелище. Она выглядела ухоженной и опрятной, с красивой сединой искусственного происхождения и крупным лицом, на котором приютились выцветшие с годами голубые глаза и украшали едва заметные белесые усики.

— Я всегда говорила, — обратилась она к Энтони, — что у Ричарда душа древняя.

Наступила напряженная пауза, во время которой Энтони размышлял над каламбуром по поводу того, как жизнь потрепала Дика.

— У всех нас души имеют разный возраст, — с сияющим видом продолжила миссис Гилберт. — Во всяком случае, я думаю именно так.

— Вполне возможно, — согласился Энтони, изображая живую заинтересованность столь многообещающей гипотезой.

— А вот у Глории душа юная и легкомысленная, это совершенно очевидно. У нее полностью отсутствует чувство ответственности.

— Она блистательна, тетя Кэтрин, — любезно

возразил Ричард. — Чувство ответственности ее бы только испортило. Глория для этого слишком красива.

— Ну, не знаю, — призналась миссис Гилберт. — Только вижу, что она все время куда-то бежит, бежит.

Обсуждение частых отлучек Глории, которые рассматривались как серьезный недостаток, прервал скрип поворачивающейся дверной ручки, после чего в комнате появился мистер Гилберт.

Это был низенький человек с белым облачком усов, пристроившихся под весьма заурядным носом. Он достиг стадии, когда ценность человека как существа общественного сошла на нет и уже начался отсчет в обратную сторону. Его бредовые идеи волновали умы двадцать лет назад, а мышление плелось, спотыкаясь, в фарватере передовиц ежедневных газет. По окончании не самого известного, но устрашающего своими строгими правилами университета где-то на Западе он занялся производством целлулоида, и так как для этого бизнеса было достаточно весьма скромных умственных способностей, мистер Гилберт преуспел, и дела его несколько лет шли хорошо, до 1911 года. Именно тогда он отказался от контрактов с кинопромышленностью, отдав

предпочтение весьма ненадежным личным договоренностям. К 1912 году киноиндустрия задумала его «проглотить», однако в тот раз, выражаясь фигурально, мистеру Гилберту удалось, опасно балансируя, удержаться на кончике ее языка. В настоящее время он являлся управляющим дочерней компанией по производству кинопленки на Среднем Западе, проводил полгода в Нью-Йорке, а остальное время в Канзас-Сити и Сент-Луисе. Мистер Гилберт свято верил, что совсем скоро подвернется счастливый случай, который изменит жизнь в лучшую сторону. Супруга и дочь придерживались того же мнения.

Поведение Глории вызывало неодобрение мистера Гилберта. Девушка постоянно задерживалась по вечерам, никогда толком не ела, и вся ее жизнь представляла собой сплошной сумбур. Однажды в ответ на замечание дочь выразила свое раздражение в словах, о наличии которых в лексиконе молодой девушки он и не подозревал. С женой дело обстояло проще. После пятнадцати лет непрерывной партизанской войны мистер Гилберт одержал верх над супругой. Все эти годы шло сражение между беспорядочным оптимизмом и упорядоченной тупостью, где победу мистеру Гилберту принесла его способность пе-

ремежать речь бессчетным количеством «да», способным отравить любую беседу.

— Да-да-да-да, — заводил он, — да-да-да. Дай соображу. Это было летом… Постой-ка… летом девяносто первого или девяносто второго года. Да-да-да…

Пятнадцатилетнее «даканье» вымотало миссис Гилберт, а последующие пятнадцать лет беспрерывного словоблудия, сопровождаемого щелчками пальцев, сбивающих пепел с тридцати двух тысяч сигар, добили ее окончательно. И тут она пошла на последнюю в супружеской жизни уступку мужу, которая стала окончательной и полной в сравнении с первой, когда она согласилась выйти за него замуж. Миссис Гилберт стала слушать супруга, убеждая себя, что прожитые годы сделали ее более терпимой, тогда как на самом деле они уничтожили остатки духовных сил, которыми эта женщина некогда обладала.

— Это мистер Пэтс, — представила она Энтони мужу.

Старик и юноша пожали друг другу руки. Рука мистера Гилберта была мягкой и вялой, словно грейпфрут, из которого выжали сок. Затем настал черед обмена приветствиями между супругами. Мистер Гилберт сообщил жене, что на

улице похолодало, а он прогулялся до газетного киоска на Сорок четвертой улице, чтобы купить издаваемую в Канзас-Сити газету. Намеревался вернуться на автобусе, но решил, что слишком холодно. «Да-да-да, слишком холодно».

Миссис Гилберт придала пикантности этому приключению, выразив восхищение мужеством, которое проявил супруг, бросивший вызов стихии.

— Да ты настоящий храбрец! — с умилением воскликнула она. — Просто герой! Я бы ни за что на свете не вышла на улицу в такую стужу.

Мистер Гилберт с истинно мужским бесстрастием проигнорировал благоговейный трепет, который вызвал у супруги, и, устремив взор на молодых людей, с ликующим видом принялся подталкивать их к продолжению разговора о погоде. Ричарда Кэрамела призвали вспомнить ноябрь в Канзасе. Однако едва тот успел открыть рот, как нить беседы перехватил сам инициатор и принялся занудливо обсасывать предложенную тему со всех сторон, пока не лишил разговор остатков живости.

Для начала он выставил на обсуждение древний как мир тезис, что дни в неких краях были теплыми, а ночи приятно прохладными, затем ре-

шил вычислить точное расстояние между двумя пунктами на неведомой железной дороге, названия которых по неосторожности упомянул Дик. Энтони, устремив на мистера Гилберта внимательный взгляд, начал впадать в гипнотическое состояние, куда незамедлительно ворвался жизнерадостный голос собеседника:

— По-моему, холод в здешних краях усугубляется сыростью и прямо-таки пробирает до костей.

Поскольку это же замечание, но приправленное соответствующим количеством «да» уже вертелось у мистера Гилберта на языке, его вряд ли можно упрекнуть в резкой смене темы разговора:

— А где Глория?

— Ждем с минуты на минуту.

— Вы знакомы с моей дочерью, мистер?..

— Не имел удовольствия, но много слышал о ней от Дика.

— Они с Ричардом двоюродные брат и сестра.

— Вот как? — Энтони выдавил улыбку. Он не привык к обществу старших по возрасту людей, и рот уже начало сводить от вымученных проявлений веселья. И правда, как приятно узнать, что Дика и Глорию связывают узы родства. В следующее мгновение он ухитрился бросить полный

отчаяния взгляд на приятеля.

Ричард Кэрамел выразил сожаление, что настало время прощаться.

Миссис Гилберт страшно огорчило это известие.

Мистер Гилберт тоже счел его весьма прискорбным.

Миссис Гилберт не преминула развить эту мысль, сообщив, что визит молодых людей доставил несказанную радость, пусть они и застали дома только пожилую даму, которой возраст не позволяет пофлиртовать с гостями. Энтони и Дик, видимо, сочли остроту забавной, так как смеялись в течение целого музыкального такта размером в три четверти.

Ведь они заглянут еще?

— О да, непременно.

— Глория страшно расстроится!

— До свидания…

— До свидания…

Улыбки!

Еще улыбки!

Хлопает дверь!

Двое безутешных юношей движутся по коридору десятого этажа отеля «Плаза» в сторону лифта.

Дамские ножки

За очаровательной леностью, любовью к праздности и изящной насмешливостью Мори скрывались на удивление зрелая целеустремленность и упорство. Еще в колледже он заявил, что намерен провести три года в путешествиях, последующие три года повеселиться всласть, а затем, не откладывая в долгий ящик, несметно разбогатеть.

Три года странствий остались позади. Он изучил земной шар с настойчивой пытливостью, исключающей любое проявление стихийности, — ни дать ни взять ходячий путеводитель Бэдекера в человеческом обличье. У любого другого подобные действия расценивались бы как проявление педантизма, но в случае с Мори они приобретали некий загадочный смысл, направленный на осуществление важной цели. Будто Мори Ноублу было предначертано судьбой стать подобием Антихриста, дабы обойти всю землю вдоль и поперек и увидеть миллиарды человеческих существ, которые плодятся, убивают друг друга и плачут.

Вернувшись в Америку, он с таким же упор-

ством и рвением пустился на поиски развлечений. Мори, который никогда прежде не выпивал за один раз больше пары коктейлей или пинты вина, приучил себя пить так, как если бы взялся самостоятельно изучать греческий язык. Словно алкоголь, подобно греческому языку, способен открыть путь к сокровищнице новых ощущений, неизведанных психических состояний и манеры поведения в минуты радости и горя.

Образ жизни Мори являлся предметом эзотерических размышлений. Он снимал три комнаты в холостяцкой квартире на Сорок четвертой улице, но появлялся там нечасто. Телефонистка получила четкие указания никого с ним не соединять без предварительного сообщения имени. Ей также передали список полудюжины людей, для которых Мори постоянно отсутствовал, и еще один список с таким же количеством имен, для которых он был дома всегда. Первыми во втором списке значились Энтони Пэтч и Ричард Кэрамел.

Мать Мори жила с его женатым братом в Филадельфии, куда он обычно уезжал на выходные, а потому Энтони страшно обрадовался, когда одним субботним вечером, бродя в приступе тоски по зябким неприветливым улицам, заглянул в

Молтон-Армз и застал мистера Ноубла дома.

Его настроение поднималось на глазах, опережая стремительно мчащийся вверх лифт. Как чудесно, невообразимо прекрасно встретиться и поболтать с Мори, а тот, в свою очередь, искренне обрадуется визиту приятеля. Друзья будут смотреть друг на друга, скрывая за добродушной насмешкой светящееся во взгляде чувство глубокой привязанности. Будь сейчас лето, они бы прогулялись, расстегнув воротнички, лениво потягивали бы из высоких стаканов коктейль «Том Коллинз» и смотрели не слишком увлекательное, вялое представление в каком-нибудь окутанном августовской праздностью кабаре. Но за окном стоял холод, между высокими зданиями свистел ледяной ветер, а по улицам прогуливался декабрь, и, стало быть, куда приятней скоротать вечер вместе с другом при неярком свете лампы и пропустить по стаканчику виски «Олд Бушмилл» или ликера «Гранд Марнье». По стенам комнаты, подобно церковным ризам, мерцают корешки книг, а похожий на большого кота Мори развалился в кресле, излучая вокруг себя божественную апатию.

Наконец-то добрался! Стены комнаты сомкнулись вокруг Энтони, обволакивая теплом. Сияние

ума, обладающего мощным даром убеждения, внешняя невозмутимость, схожая с той, что встречается на Востоке, согрели неприкаянную душу Энтони, подарив покой, который можно обрести только в обществе глупой женщины. Надо либо все понимать, либо принимать как должное. Подобный божеству, похожий на царственного тигра Мори заполнил собой все пространство. Ветер за окном стих, а медные подсвечники на каминной полке сияли, словно перед алтарем.

— Что тебя сегодня задержало? — Энтони развалился на мягком диване, упершись локтями в подушки.

— Вернулся домой час назад. Чаепитие с танцами. Вот припозднился и не успел на поезд в Филадельфию.

— Странно, что тебя хватило так надолго.

— Действительно. А чем ты занимался?

— Джеральдин. Маленькой билетершей у Китса. Да я о ней рассказывал.

— Понятно!

— Нанесла визит около трех и просидела до пяти. Занятное существо. Что-то меня в ней трогает. Полная глупышка.

Мори хранил молчание.

— Как ни странно, — продолжил Энтони, — но

по отношению ко мне и вообще, насколько я знаю, Джеральдин — образец добродетели.

С Джеральдин, девушкой с неопределенным образом жизни и тягой к перемене обстановки, он познакомился около месяца назад. Ее случайно представили Энтони, и девушка показалась ему забавной, а еще понравились целомудренные, легкие, как прикосновение эльфа, поцелуи, которыми Джеральдин осыпала его на третий вечер знакомства, когда они ехали в такси по Центральному парку. О ее семье Энтони имел расплывчатое представление, знал только, что есть где-то дядя с тетей, с которыми она делит квартиру в лабиринте улиц с сотыми номерами. Она была общительной, без неожиданностей, в меру задушевной и оказывала на Энтони успокаивающее действие. Более близких отношений он не искал, не желая экспериментировать, и поступал так не по соображениям нравственности, а из боязни любой привязанности, способной нарушить плавное течение жизни, которая становилась все безмятежнее.

— У Джеральдин два излюбленных трюка, — поведал Энтони другу. — Она навешивает волосы на глаза, а потом сдувает их в сторону, а еще говорит «Ты спя-я-я-тил!» всякий раз, когда слышит

что-либо выше своего понимания. Меня это приводит в восторг. Наблюдаю за ней часами, теряясь в догадках, какие еще маниакальные симптомы обнаружатся с ее помощью в моем воображении.

Мори пошевелился в кресле и заговорил:

— Удивительно, что подобный человек может жить в нашей сложной цивилизации, практически не имея о ней представления. Такая женщина воспринимает вселенную с полным безразличием, как нечто совершенно обыденное. Ей чуждо все, от влияния идей Руссо на человечество до формирования цен на собственный ужин. Ее вырвали из века копьеносцев и перенесли к нам, где предлагают, вооружившись луком, принять участие в дуэли на пистолетах. Можно отбросить целый исторический пласт, а она не почувствует никакой разницы.

— Вот бы наш Ричард о ней написал.

— Энтони, ты же понимаешь, что она того не стоит.

— Как и все прочие, — откликнулся, зевая, Энтони. — Знаешь, сегодня я поймал себя на мысли, что верю в Ричарда. Если он заинтересуется людьми, а не идеями и станет черпать вдохновение из жизни, а не искусства, его талант будет развиваться нормально, и, не сомневаюсь, он станет

большим писателем.

— И мне думается, что свидетельством обращения к реальной жизни служит черная записная книжка, что у него появилась.

Энтони приподнялся на локте и с воодушевлением подхватил:

— Он старается идти в ногу с жизнью, как любой литератор, за исключением самых никчемных, и все же большинство из них питаются переваренной пищей. Сам сюжет или персонаж можно взять из жизни, но писатель, как правило, трактует их, основываясь на последней прочитанной книге. Например, предположим, встречает он капитана корабля и видит в нем самобытный персонаж. Однако в действительности он ищет сходство между этим капитаном и образом, который создал Ричард Генри Дана, или кто там еще пишет о капитанах кораблей. Вот почему он знает, как изобразить своего капитана на бумаге. Дик, разумеется, может описать заведомо колоритный персонаж, какие уже встречались и прежде, только способен ли он точно передать характер собственной сестры?

Следующие полчаса они посвятили обсуждению вопросов литературы.

— Классической, — выдвинул предположение

Энтони, — считается удачная книга, которая выдержала испытание временем и вызывает интерес у следующего поколения. Тогда ей ничто не грозит, как стилю в архитектуре или мебели, ибо взамен скоротечной моды она обретает художественную значимость.

Через некоторое время тема себя исчерпала, так как интерес к ней со стороны обоих молодых людей не являлся профессиональным. Просто они обожали обобщения. Энтони недавно открыл для себя Сэмюэла Батлера и считал его бойкие афоризмы из записной книжки вершиной искусства критики. Мори, чей разум окончательно созрел благодаря детально разработанной жесткой жизненной позиции, был из двух друзей более мудрым, однако в целом они не сильно отличались друг от друга по умственным способностям.

С литературы они плавно перешли к перипетиям прожитого дня.

— У кого устраивали чаепитие?

— У Эберкромби.

— И почему же ты задержался? Встретил миленькую дебютантку?

— Угадал.

— Неужели? — изумился Энтони, повышая голос.

— Ну, строго говоря, она не дебютантка. Сказала, что начала выезжать в Канзас-Сити два года назад.

— Стало быть, засиделась?

— Ничего подобного, — весело запротестовал Мори. — Это слово совсем к ней не подходит. Она… в общем, она казалась там самой юной из всех.

— Однако ее опыта хватило, чтобы ты опоздал на поезд.

— Прелестное дитя.

Энтони насмешливо фыркнул:

— Ах, Мори, ты сам впадаешь в детство. Что подразумевается под словом «прелестное»?

Мори с беспомощным видом уставился в пространство.

— Ну, не могу ее точно описать. Скажу одно: она прекрасна. Удивительно живая и непосредственная. А еще она жевала желатиновые пастилки.

— Что?!

— Ну, в некотором роде тайный порок. Она очень нервная. Говорит, что всегда жует желатиновые пастилки на чаепитиях, потому что приходится долгое время находиться без движения на одном месте.

— Ну и о чем же вы говорили? О Бергсоне или

билфизме? Или обсуждали аморальность уанстепа?

Мори сохранял невозмутимость, шерсть была гладкой и не дыбилась ни в одном месте.

— Мы и в самом деле затронули тему билфизма. Кажется, ее мать билфистка, хотя большей частью мы говорили о ногах.

Энтони буквально затрясся от смеха.

— О Господи! И о чьих же ногах?

— О ее. Она много рассказывала о своих ногах, будто они антикварная редкость. У меня возникло непреодолимое желание на них взглянуть.

— Она что, танцовщица?

— Нет, я выяснил, что она кузина Дика.

Энтони так резко выпрямился, что подушка, на которую он опирался, встав на дыбы, спикировала на пол, словно живое существо.

— А звать ее Глория Гилберт? — воскликнул он.

— Ну разве она не чудо?

— Затрудняюсь сказать… судя по тупости ее папаши…

— Знаешь, — решительно перебил Мори, — возможно, ее семейство наводит уныние не хуже профессиональных плакальщиков, но я склонен думать, что сама девушка — человек своеобраз-

ный и искренний. На вид заурядная выпускница Йельского университета, но на самом деле совсем другая, совершенно особенная.

— Ну-ну! — подтрунивал Энтони. — Как только Дик назвал ее безмозглой, я сразу понял, что девушка наверняка очаровательная.

— А он так и сказал?

— Клянусь. — Энтони снова насмешливо фыркнул.

— Ну, у женщины он под мозгами подразумевает…

— Это мне хорошо известно, — нетерпеливо перебил Энтони. — Он имеет в виду болтовню о литературе.

— Вот именно. Дамы из тех, которые считают ежегодный упадок нравственности в стране либо хорошим признаком, либо дурным тоном. Непременное пенсне на носу или корчат из себя невесть что. А эта девушка говорила о своих ножках, а еще о коже… о своей коже. Всегда говорит о чем-нибудь своем. Рассказала, как хочет загореть летом и насколько ей обычно удается достигнуть желаемой цели.

— И ты сидел, околдованный ее контральто?

— Контральто?! Да нет же, ее загаром! Я и сам задумался о загаре, вспомнил, какого добился

оттенка, когда загорал в последний раз два года назад. Да, загорал я в прежние времена хорошо, до цвета бронзы, если память мне не изменяет.

Энтони снова откинулся на подушки, сотрясаясь от смеха.

— Ох, Мори, да она тебя здорово завела! Мори, коннектикутский спасатель. Человек с кожей цвета мускатного ореха. Потрясающе! Богатая наследница сбегает с береговым охранником, покоренная его сногсшибательной пигментацией! А потом выясняется, что в его жилах течет кровь аборигенов Тасмании!

Мори, вздохнув, поднялся с места и, подойдя к окну, отдернул занавеску.

— Метель.

Энтони, продолжая тихо смеяться, ничего не ответил.

— Снова наступила зима, — донесся от окна шепот Мори. — Мы стареем, Энтони. Мне уже двадцать семь. О Господи! Через три года будет тридцать, а потом я стану одним из тех, кого студент последнего курса называет пожилым человеком.

Энтони мгновение помолчал.

— Ты старик, Мори, — согласился он наконец. — И первым признаком стремительно

приближающейся непотребной дряхлости является обсуждение девичьих ножек и загара, которому ты посвятил весь день.

Мори резким движением опустил штору.

— Идиот! — вскричал он. — И это я слышу от тебя! Так вот, юный Энтони, я сижу здесь и буду сидеть дальше, пока не вырастет следующее поколение, наблюдая, как весельчаки вроде тебя, Дика и Глории проносятся мимо в танце, распевая, любя и ненавидя друг друга. В вечном вихре движения и страстей. А меня трогает только полное отсутствие чувств и переживаний. И я буду сидеть, и будет падать снег… Эх, где же Кэрамел с его записной книжкой! Наступит еще одна зима, и мне исполнится тридцать. А ты с Диком и Глорией будешь вечно кружиться в танце и петь, пролетая мимо меня. А когда вы все исчезнете, я стану подбрасывать мысли другим Дикам и выслушивать циничные рассуждения о разочарованиях других Энтони… и, разумеется, обсуждать оттенки загара на будущее лето с другими Глориями.

В камине ярко вспыхнул огонь. Мори, отойдя от окна, помешал головешки кочергой и положил новое полено на подставку для дров, а потом вернулся в кресло, и последние слова его речи

заглушил треск разгорающегося дерева, изрыгающего красно-желтые вспышки пламени.

— В конце концов, Энтони, это ты у нас юный романтик. Именно ты, в силу чрезмерной впечатлительности, боишься, что нарушится твой покой. А я делаю очередную попытку сдвинуться с места, почувствовать, что меня что-то тронуло… и даже в тысячный раз я остаюсь самим собой. И ничто… ничто на свете не способно меня расшевелить.

— И все-таки, — после затянувшейся паузы пробормотал Мори, — в этой малышке вместе с ее нелепым загаром что-то есть, нечто непостижимо древнее и вечное… совсем как я.

Тревога

Энтони сонно повернулся на кровати, вперив взгляд в пересеченное тенью оконного переплета холодное солнечное пятно на стеганом одеяле. В комнате воцарилось утро. Резной комод в углу и старинный, хранивший непроницаемый вид платяной шкаф возвышались мрачными символами, сулившими вечное забвение, и только ковер манил своей недолговечностью такие же бренные, обреченные на тление ноги. Картину

дополнял Баундс, ужасно непотребный в своем мягком воротничке и такой же расплывчатый, что и облачко пара, которое выдыхал. Он стоял рядом с кроватью, устремив невозмутимый взгляд темно-карих глаз на хозяина. Баундс отпустил край одеяла, который только что энергично дергал.

— Баус! — пробормотало находившееся в состоянии полудремы божество. — Эфо фы, Баус?

— Я, сэр.

Энтони повернул голову, силясь открыть глаза, и когда в этом преуспел, с довольным видом заморгал.

— Баундс…

— Да, сэр?

— Не могли бы вы… О-ох, о Господи! — На Энтони напала неуемная зевота, от которой мозги, казалось, слиплись в плотный ком. Он сделал еще одну попытку выразить свою мысль: — Не могли бы вы прийти часам к четырем, накрыть стол для чаепития и приготовить сандвичи, ну и все прочее?

— Да, сэр.

Энтони пытался сообразить что-нибудь еще, мучаясь от удручающего недостатка вдохновения.

— Разные сандвичи, — с беспомощным видом повторил он. — Ну да, с сыром, конфитюром, а еще с курятиной и маслинами. О завтраке не тревожьтесь.

Напряжение в результате изобретательской деятельности оказалось слишком велико. Энтони устало закрыл глаза, бессильно уронив голову и расслабляя мышцы, которые успел привести в действие. Из тайников сознания выползал туманный, но неумолимый призрак предыдущей ночи. На сей раз им оказался всего лишь бесконечно долгий разговор с Ричардом Кэрамелом, который пришел к Энтони в полночь. Приятели выпили четыре бутылки пива, закусывая сухариками, а в это время Энтони слушал первую часть «Демонического любовника».

И сейчас, по прошествии многих часов, Энтони слышал чей-то голос, но отмахивался от него, так как снова накатил сон, окутывая мягкими складками и заползая во все уголки сознания.

Внезапно он проснулся от звука собственного голоса:

— Что?

— На сколько персон накрыть? — В изножье кровати застыл Баундс, олицетворяя само терпение. Тот самый Баундс, что делил отработанный

стиль поведения между тремя джентльменами.

— На сколько чего?

— Полагаю, сэр, мне следует знать количество гостей, которых вы ожидаете. Ведь нужно определиться с сандвичами.

— Двое, — хриплым голосом буркнул Энтони. — Леди и джентльмен.

— Благодарю, сэр, — откликнулся Баундс и удалился, унося постыдный мягкий воротничок, оскорбляющий чувства всех троих джентльменов, каждому из которых принадлежала лишь треть Баундса.

По прошествии довольно долгого времени Энтони встал и облачил свою красивую стройную фигуру в коричневый с синим переливчатый халат. Зевнув напоследок, он направился в ванную и включил светильник на туалетном столике, поскольку выходящих на улицу окон не имелось. Затем Энтони принялся с интересом рассматривать свое отражение в зеркале и пришел к выводу, что представляет собой жалкое зрелище. Эта мысль посещала его каждое утро, так как после сна лицо приобретало неестественную бледность. Закурив сигарету, он просмотрел несколько писем и утренний номер «Трибьюн».

Спустя час, гладко выбритый и полностью оде-

тый, он сидел за письменным столом и изучал листок с неразборчивыми каракулями, который извлек из бумажника: «Встретиться с мистером Хаулэндом в пять. Постричься. Оплатить счет от Риверса. Зайти в книжный магазин».

Следующая запись гласила: «Наличных денег в банке 690 долларов (зачеркнуто), 612 долларов (зачеркнуто), 607 долларов».

В самом низу наспех сделана приписка: «Дик и Глория Гилберт приглашены на чай».

Последняя запись доставила Энтони явное удовольствие. Его обычный день, студенистый, расплывчатый и бесформенный, как медуза, неожиданно уподобился устойчивому скелету гиганта из мезозойской эры, уверенно и бойко шагая к кульминации, как и полагается в каждой пьесе и непременно должно распространяться на повседневную жизнь. Энтони страшился мгновения, когда хребет радостного дня будет сломан и он, наконец встретившись и поговорив с этой девушкой, с поклоном распрощается у двери, за которой она исчезнет, унося с собой смех. Ему лишь останется вернуться к столу, где уныло стоят чашки с недопитым чаем и черствеют недоеденные сандвичи.

Жизнь Энтони становилась все более бес-

цветной. Он постоянно это чувствовал и порой связывал свое состояние с разговором с Мори Ноублом, который состоялся месяц назад. Нелепо думать, что Энтони угнетало нечто надуманное и недостойное, вроде осознания собственной расточительности. Однако нельзя отрицать факт, что три недели назад против воли вспыхнувшее преклонение перед прежними кумирами повлекло его в публичную библиотеку, где по карточке Ричарда Кэрамела он набрал с полдюжины книг по итальянскому Возрождению. То, что книги с тех пор так и лежали грудой на столе, увеличивая ежедневно задолженность перед библиотекой на двенадцать центов, никак не умаляло их ценности как свидетелей. Облаченные в коленкор и сафьян, они подтверждали факт его отступничества. Энтони пережил несколько часов панического страха, который вызвал у него сильное удивление.

Оправданием такого уклада прежде всего, разумеется, являлось утверждение о бессмысленности самой жизни. Советниками, министрами, придворными, а также лакеями и дворецкими этому великому владыке служили тысячи книг, поблескивавших корешками на полках, его квартира и все деньги, что достанутся, когда

старик, живущий вверх по реке, задохнется от последнего приступа нравственности. От мира, полного угроз со стороны дебютанток и глупости многочисленных Джеральдин, он благополучно освободился, и теперь, пожалуй, следует взять за пример для подражания кошачью невозмутимость Мори и гордо нести достигшую апогея мудрость предыдущих поколений.

Всем этим доводам противостояло нечто такое, что настойчиво анализировал мозг, воспринимая как сложную, вызывающую раздражение совокупность. И это нечто, несмотря на методичные старания от него избавиться, отважно попирая ногами, все же вытолкнуло Энтони на слякотные ноябрьские улицы и погнало в библиотеку, где не оказалось ни одной нужной книги. Вполне допустимо подвергать анализу действия Энтони до того предела, который он установил сам. Заходить дальше являлось бы с нашей стороны самонадеянностью. Он обнаружил у себя растущий страх перед одиночеством. Сама мысль об одинокой трапезе внушала ужас, и Энтони часто ужинал в компании людей, к которым испытывал неприязнь. Путешествия, в свое время такие увлекательные, сделались невыносимыми, превратившись в бессодержательное мелькание

разноцветных красок, в погоню за призрачной тенью собственной мечты.

— Если я по сути своей так слаб, — рассуждал Энтони, — нужно работать, заняться каким-нибудь делом.

Мучила мысль, что он представляет собой лишенную глубокого содержания посредственность, которая к тому же не обладает хладнокровием Мори и страстной увлеченностью Дика. Полное отсутствие каких-либо желаний казалось трагедией… И все-таки ему чего-то хотелось, чего-то неясного и неопределенного. В моменты прозрения Энтони понимал, что это некий путь надежды, который неминуемо приведет к надвигающейся зловещей старости.

После нескольких коктейлей и ленча в университетском клубе настроение Энтони несколько улучшилось. Он случайно встретил двух сокурсников по Гарварду, и в сравнении с тяжеловесной серостью их откровений собственная жизнь приобрела определенную яркость. Оба бывших однокашника успели жениться, и один из них за чашкой кофе живописал свои проказы на стороне, подбадриваемый понимающей ухмылкой приятеля. Глядя на них, Энтони подумал, что эти люди уже в утробе матери были готовыми мисте-

рами Гилбертами. Лет через двадцать количество произносимых ими «да» возрастет вчетверо, а характер окончательно испортится, и превратятся они в отживший свой век бесполезный хлам с претензией на мудрость. И женщины, жизнь которых они загубили, будут нянчиться с ними до полного одряхления.

Нет, Энтони — совсем другое дело и способен на большее. Проходя по окончании трапезы по устланному ковром вестибюлю, он задержался у окна, чтобы взглянуть на шумную, вызывающую раздражение улицу. Он был Энтони Пэтчем, блистательным, наделенным притягательной силой наследником многочисленных поколений людей. Раскинувшийся за окном мир принадлежит ему, и уже маячит на горизонте долгожданная всепобеждающая ирония, которой он так жаждал.

С бесшабашной ребячливостью он воображал себя властелином мира. Получив дедовские деньги, он может воздвигнуть себе пьедестал, на котором утвердится, подобно Талейрану или лорду Веруламу. С его ясностью мышления, при изощренном и многогранном уме, достигнувшем стадии зрелости, движимом некой целью, которую еще предстоит обрести, дело для него

непременно найдется. На этой неутешительной ноте фантазия иссякала… легко сказать, найти подходящее дело. Энтони представлял себя в конгрессе, копающимся в грудах мусора, скопившихся в этом огромном свинарнике, наводненном узколобыми свиноподобными личностями, снимки которых попадаются порой на глаза в воскресных выпусках газет. Хваленые пролетарии лепечут заученные истины, достойные интеллекта старшеклассника, и пытаются навязать их народу! Ничтожные человечки с убогими амбициями, которые за счет многочисленных посредственностей стремятся вырваться из общей серости, чтобы вознестись на тусклые, лишенные романтики небеса, откуда управляют людьми. На самом верху дюжина лучших представителей. Изворотливые дельцы, эгоистичные и бесстыдные. Согласившиеся дирижировать хором облаченных во фраки снобов, которые исполняют поражающий нестройностью гимн из путаных куплетов о богатстве как награде за добродетель и о нем же — как свидетельстве порока. И все это под бодрые возгласы, восхваляющие Господа, конституцию и Скалистые горы.

Лорд Верулам! Талейран!

Дома его снова ожидала безотрадная серость.

Действие коктейлей выветрилось, навевая дремоту и настраивая на угрюмый лад. Это он-то лорд Верулам? Сама мысль вызывала горечь. Энтони Пэтч, не достигший в жизни заслуживающих восхищения высот, лишенный мужества и силы принять с чувством удовлетворения правду, когда она открывает свое лицо. Ах, напыщенный дурак, предающийся фантазиям под влиянием выпитых коктейлей, тайком бессильно сожалея о крушении своего убогого, ущербного идеализма. С отменным вкусом он нарядил свою душу в изящные одежды, а теперь тоскует по прежним лохмотьям. Энтони чувствовал себя опустошенным, как старая, давно выпитая до дна бутыль…

У дверей раздался звонок, и Энтони поднес к уху трубку, из которой донесся шутливо-высокопарный голос Ричарда Кэрамела:

— Позвольте доложить о прибытии мисс Глории Гилберт.

Прекрасная дама

— Здравствуйте! — с улыбкой приветствовал Энтони гостей, распахивая дверь.

— Глория, знакомься. Это Энтони, — с поклоном представил кузину Дик.

— Да ну тебя! — воскликнула девушка, протягивая маленькую руку в перчатке.

Под шубкой виднелось светло-голубое платье, отороченное у самой шеи кружевным в сборку воротником.

— Позвольте ваши вещи.

Энтони протянул руки, и в них соскользнул коричневый меховой водопад.

— Благодарю.

— Ну, что скажешь, Энтони? — спросил Ричард Кэрамел с откровенностью дикаря. — Разве она не красавица?

— Перестань! — с вызовом воскликнула девушка, сохраняя внешнюю невозмутимость.

Глория была ослепительна. Она вся излучала свет, от которого делалось больно глазам, не давая им в полной мере постигнуть эту красоту. Божественное сияние волос озаряло по-зимнему блеклую комнату, наполняя ее радостью.

Энтони подошел к светильнику в форме гриба и жестом фокусника заставил его вспыхнуть оранжевым великолепием. Язычки ожившего пламени в камине весело лизали решетку для дров.

— Я просто превратилась в ледышку, — с небрежным видом сообщила Глория, осматривая

комнату прозрачными глазами едва уловимого голубоватого оттенка. — Какой славный огонек! Мы нашли местечко, где можно встать на железную решетку, из которой дует теплый воздух, но Дик не захотел меня ждать. И я сказала, чтобы он шел один, а мне и тут замечательно.

В словах Глории не было ничего особенного. Казалось, она говорит для собственного удовольствия, не прилагая ни малейшего усилия. Энтони, сидя на другом конце дивана, изучал ее профиль, выделяющийся на фоне светового пятна от лампы. Изящная, безупречно правильная линия носа и верхней губы, подбородок с едва заметным намеком на решительность прелестно смотрится на довольно короткой шее. На фотографии ее лицо, должно быть, выглядит образцом холодной классической красоты, но сияние, исходящее от волос, и нежный румянец на щеках делают его на удивление живым в сравнении со всеми остальными людьми, с которыми Энтони доводилось встречаться.

— По-моему, у вас самое замечательное имя из всех мне известных. — Девушка по-прежнему говорила исключительно для себя. Ее взгляд на мгновение задержался на Энтони, потом скользнул по итальянским бра, словно приклеенным

с равными промежутками к стенам и похожим на светящихся желтых черепашек, пробежал по рядам книг и наконец остановился на кузене. — Энтони Пэтч. Вот только по внешнему виду вы должны походить на лошадь, с таким длинным, узким лицом. А еще вам полагается носить лохмотья.

— Ну, ваши слова относятся к фамилии Пэтч[35]. А как же должен выглядеть человек по имени Энтони?

— Вы и выглядите как Энтони, — с серьезным видом заверила девушка, и Энтони подумалось, что вряд ли она успела его рассмотреть. — Довольно величественно и внушительно.

Энтони выдавил смущенную улыбку.

— Только мне нравятся выразительные, созвучные имена, — продолжила девушка. — Все, за исключением собственного. Мое имя слишком вычурное. Впрочем, я была знакома с девушками по фамилии Джинкс, и только представьте, если бы их звали иначе: Джуди Джинкс и Джерри Джинкс. Здорово, верно? Или у вас иное мнение? — Она ждала ответа, приоткрыв детский ротик.

---

[35] notes: 35
Фамилия героя Пэтч переводится как «заплата».

— В следующем поколении, — предположил Дик, — всех будут звать Питер или Барбара, так как в данный момент литературные персонажи с налетом пикантности носят именно эти имена.

— И разумеется, — развил пророчество Энтони, — Глэдис и Элинор. Украсив собой последнее поколение героинь и будучи в настоящее время всеобщими любимицами, они достанутся следующему поколению продавщиц…

— Вытеснив Эллу и Стелу, — перебил Дик.

— А также Перл и Джуэл, — живо поддержала Глория. — А еще Эрла и Элмера.

— А потом наступит мой черед, — заметил Дик. — И, откопав преданное забвению имя Джуэл, я назову им прелестную в своей эксцентричности героиню, и оно обретет новую жизнь.

Глория подхватывала нить разговора, и голос девушки кружил возле него на слегка повышенных тонах, акцентируя конец предложения полунасмешливой интонацией, будто защищаясь от попыток перебить себя, временами прерываясь сдавленным смешком. Дик рассказал, что слугу Энтони зовут Баундс, и Глории это страшно понравилось. Дик придумал неудачный каламбур по поводу того, что Баундс латает дыры своего хозяина Пэтча. И Глория тут же заявила,

что хуже каламбура может быть только человек, который в качестве обязательного приложения стремится обидеть его автора насмешливо-укоряющим взглядом.

— Откуда вы? — поинтересовался Энтони. Ответ он знал, но при виде ее красоты все мысли из головы испарились.

— Из Канзас-Сити, штат Миссури.

— Ее оттуда выставили сразу же после введения запрета на продажу сигарет.

— Так там запретили сигареты? Чувствую руку дедушки-праведника.

— Ведь он реформатор или что-то в этом роде?

— Мне приходится за него краснеть.

— Мне тоже, — призналась Глория. — Ненавижу реформаторов, особенно тех, что стремятся переделать меня.

— И много таких?

— Полно. «Ах, Глория, если будешь злоупотреблять курением, испортишь свой прелестный цвет лица!» Или вот еще: «Ах, Глория, вышла бы ты замуж и угомонилась!»

Энтони поспешил согласиться, но ему сделалось любопытно, кто дерзнул разговаривать в подобном тоне с такой личностью, как Глория.

— А еще есть реформаторы более утончен-

ные, — продолжала Глория. — Те, что передают жуткие истории, которые якобы о вас слышали, и не преминут упомянуть, как яростно вас защищали от злобных нападок.

Энтони наконец рассмотрел, что глаза у девушки серые, очень спокойные и невозмутимые, и когда их взгляд останавливался на его персоне, понимал, что хотел сказать Мори, утверждая, что Глория одновременно юна и стара как мир. Она всегда говорила только о себе, как прелестное дитя, и ее замечания по поводу собственных пристрастий были неожиданными и полными искренности.

— Должен признаться, — начал серьезно Энтони, — что даже я кое-что о вас слышал.

Мгновенно насторожившись, Глория выпрямилась. Глаза нежного серого оттенка незыблемой гранитной скалы встретились с его взглядом.

— Расскажите, и я поверю. Всегда верю тому, что обо мне говорят. А вы?

— Всенепременно! — дружно откликнулись оба юноши.

— Тогда рассказывайте.

— Право, не знаю, стоит ли?.. — поддразнил девушку Энтони, не в силах сдержать улыбку. Ее интерес был совершенно очевидным, а по-

глощенность собственной персоной выглядела почти смешной.

— Он имеет в виду твое прозвище, — вмешался кузен Глории.

— Какое прозвище? — поинтересовался Энтони с вежливым недоумением.

— Глория-Странница! — В голосе девушки звучал смех, такой же неуловимый, как переменчивые тени от пламени камина и лампы, играющие на ее волосах. — О Господи!

Энтони был по-прежнему озадачен:

— И что это означает?

— Означает меня. Именно эта кличка прилипла ко мне с легкой руки каких-то глупых мальчишек.

— Неужели не понимаешь, Энтони, — пустился в объяснения Дик, — что имеешь дело со всенародно известной путешественницей и все такое прочее? Ведь ты это о ней слышал? Глорию называют так много лет, с той поры, как ей исполнилось семнадцать.

Глаза Энтони сделались насмешливо-печальными.

— Что за Мафусаила в женском обличье ты ко мне привел, Кэрамел?

Даже если замечание обидело девушку, она

пропустила слова Энтони мимо ушей, возвращаясь к главной теме:

— Так что вы обо мне слышали?

— Кое-что о вашей внешности.

— Вот как? — разочарованно бросила Глория. — И только-то?

— О вашем загаре.

— Моем загаре? — Она была явно озадачена. Рука скользнула к шее и на мгновение замерла, будто изучая пальцами оттенки упомянутого загара.

— Помните Мори Ноубла? Вы с ним встретились около месяца назад и произвели неизгладимое впечатление.

Глория на секунду задумалась:

— Помню. Но он так мне и не позвонил.

— Уверен, бедняга просто не отважился.

За окном стояла непроглядная тьма, и Энтони удивился, что его жилище когда-то представлялось серым и унылым. Такими теплыми и полными дружелюбия выглядели книги и картины на стенах, и старина Баундс подавал чай, почтительно держась в тени, а трое приятных людей оживленно обменивались шутками у весело горящего камина.

Неудовлетворенность

В четверг днем Глория и Энтони пили чай в бифштексном зале ресторана «Плаза». Отороченный мехом костюм Глории был серого цвета. «В серой одежде нужно непременно сильно краситься», — пояснила она. Голову девушки украшала маленькая щегольская шляпка без полей, позволяя золотистым локонам весело струиться во всем их великолепии. При верхнем освещении лицо Глории выглядело гораздо нежнее, и вся она казалась Энтони такой юной — на вид не дашь и восемнадцати лет. Ее бедра, затянутые в узкий облегающий футляр с перехватом у щиколоток, который в ту пору назывался юбкой, смотрелись изумительно округлыми и изящными. Руки Глории, не «артистичные» и не короткопалые, были просто маленькими, как и положено у ребенка.

Когда они вошли в зал, оркестр заиграл первые заунывные аккорды матчиша, мелодия которого, наполненная звоном кастаньет и томными переливами скрипок, как нельзя лучше подходила для зимнего ресторана, заполненного радостно-оживленной по случаю приближающихся каникул толпой студентов. Внимательно осмотрев сво-

бодные места, Глория, к немалому раздражению Энтони, торжественно повела его кружным путем к столику на двоих, расположенному в дальнем конце зала. Здесь ее снова охватили сомнения: где лучше сесть, справа или слева? По прекрасным глазам и губам девушки было видно, как серьезно она относится к вопросу выбора. И Энтони в который раз удивился наивной непосредственности каждого ее жеста. Ко всему в жизни она относилась так, будто выбирала себе подарки, разложенные во всем неистощимом многообразии на бескрайнем прилавке.

Некоторое время Глория рассеянно следила за танцующими и делала негромкие замечания, когда пара приближалась к их столику.

— Вот миленькая девушка в синем платье…

И Энтони послушно поворачивал голову в указанном направлении.

— Да нет же! Прямо у вас за спиной! Вон там!

— Действительно, — беспомощно соглашался Энтони.

— Но вы же ее не видели.

— Я предпочитаю смотреть на вас.

— Знаю. Но она правда прелестна, если не брать в расчет толстые лодыжки.

— Неужели? То есть вы правы, — с безразлич-

ным видом обронил Энтони.

К их столику приблизилась очередная пара, и девушка помахала рукой:

— Эй, Глория, привет!

— Привет, — откликнулась Глория.

— Кто это? — поинтересовался Энтони.

— Понятия не имею. Так, где-то встречались. — Ее внимание уже переключилось на кого-то другого. — Привет, Мюриэл! Это Мюриэл Кейн, — пояснила она Энтони. — По-моему, симпатичная, хотя и не очень.

Энтони хмыкнул, по достоинству оценив замечание Глории.

— Симпатичная, хотя и не очень, — повторил он.

Глория улыбнулась, тут же проникаясь интересом.

— И что здесь забавного? — В ее тоне сквозило трогательное желание немедленно узнать причину.

— Просто забавно, вот и все.

— Хотите потанцевать?

— А вы?

— Можно. Но лучше посидим, — решила Глория.

— И побеседуем о вас. Вы ведь любите о себе

говорить, верно?

— Да, — рассмеялась уличенная в тщеславии Глория.

— Думаю, у вас классическая биография.

— Дик считает, что у меня ее вообще нет.

— Дик! Да что ему о вас известно?

— Ничего. Но он говорит, что биография каждой женщины начинается с первого серьезного поцелуя и заканчивается, когда ей кладут на руки последнего родившегося ребенка.

— Он цитирует свою книгу.

— Дик утверждает, что у нелюбимых женщин нет биографии, а есть только прошлое.

— Ну, на роль нелюбимой женщины вы наверняка не претендуете! — снова рассмеялся Энтони.

— Полагаю, вы правы.

— Тогда почему же у вас нет биографии? Разве в вашей жизни еще не случилось серьезного поцелуя? — Едва слова сорвались с губ, Энтони сделал судорожный вдох, будто хотел заглотнуть их обратно. Она же совсем ребенок!

— Не понимаю, что вы подразумеваете под словом «серьезный», — с неодобрением в голосе отозвалась Глория.

— Хотелось бы знать, сколько вам лет.

— Двадцать два, — серьезно ответила она, глядя Энтони в глаза. — А вы думали сколько?

— Лет восемнадцать.

— Значит, пусть такой и останусь. Не хочу, чтобы мне было двадцать два. Больше всего на свете ненавижу свой возраст.

— Двадцать два года?

— Нет, не хочу стареть и все такое. Выходить замуж.

— Неужели вам вообще не хочется замуж?

— Не хочу взваливать на себя ответственность и возиться с кучей детей.

Глория не сомневалась, что в ее устах любые слова звучат приятно. Энтони, затаив дыхание, ждал следующей реплики в надежде, что она станет продолжением начатой темы. Глория мило улыбалась, не выражая особого восторга, и после недолгого молчания в пространство была брошена фраза:

— Вот бы пожевать желатиновых пастилок.

— Вы их непременно получите! — Энтони жестом подозвал официанта и отправил его к прилавку с сигаретами.

— Вы не возражаете? Обожаю желатиновые пастилки. Все надо мной подшучивают, потому что я их все время жую, когда папы нет поблизости.

— Нисколько. А кто все эти ребята? Вы с ними знакомы? — неожиданно спросил Энтони.

— Нет, что вы. Они все… ну, словом, собрались отовсюду. А вы разве сюда не заглядываете?

— Очень редко. Я не любитель «симпатичных девушек».

Ответ Энтони тут же вызвал живейший интерес. Глория с решительным видом повернулась спиной к танцующим, устроилась поудобнее на стуле и требовательным тоном спросила:

— Чем же вы занимаетесь?

Благодаря выпитому коктейлю вопрос показался Энтони очень уместным. У него возникло желание поговорить, более того, захотелось произвести впечатление на эту девушку, чье внимание то и дело переключалось с одного предмета на другой. Она останавливалась пощипать травку в самых непредсказуемых местах, торопливо пробегая пастбища, ненавязчиво притягивающие к себе взор. Ему хотелось порисоваться, неожиданно предстать перед ней в новом героическом облике, стряхнуть небрежное безразличие, с которым она относилась ко всему вокруг за исключением собственной персоны.

— Я ничего не делаю, — начал Энтони и тут же понял, что его слова лишены добродушного

изящества, которое хотелось в них вложить. — Ничем не занимаюсь, так как не могу ничего сделать, что бы сделать стоило.

— Ну и что?

Энтони не удивил ее и даже не заинтересовал, но Глория его определенно поняла, если он и правда сказал нечто достойное понимания.

— Разве вы не относитесь с одобрением к ленивым мужчинам?

Глория кивнула:

— Пожалуй, если в их лени присутствует изящество. А для американца это возможно?

— А почему нет? — смутился Энтони.

Но ее мысли уже переключились на другой объект и витали на высоте десятого этажа.

— Папа на меня страшно злится, — заметила Глория безразличным тоном.

— За что? И все же мне хочется знать, почему американец не может лениться с изяществом. — Его голос приобретал уверенность. — Это меня удивляет. Не понимаю, чего ради люди решили, что каждый молодой человек обязан идти в центр города и по десять часов в день заниматься нудной, не требующей фантазии и не имеющей ничего общего с бескорыстием работой, отдавая ей двадцать лучших лет своей жизни.

Он прервал свою речь. Глория наблюдала за ним с непроницаемым видом. Энтони ждал, что она согласится или станет возражать, но не случилось ни того ни другого.

— Разве вы никогда не пробовали составить какие-либо суждения? — с некоторым раздражением поинтересовался он.

Глория отрицательно покачала головой и, снова устремив взгляд на танцующие пары, ответила:

— Не знаю. Понятия не имею, чем следует заниматься вам или всем остальным.

Глория его смутила, запутав ход мыслей. Никогда самовыражение не казалось ему столь желанным и совершенно невозможным.

— Ну хорошо, — извиняющимся тоном согласился Энтони. — Разумеется, я и сам не знаю, но…

— Я просто думаю о людях, — продолжила Глория. — На своем ли они находятся месте и вписываются ли в общую картину. И я не возражаю, если при этом они ничего не делают. Не понимаю, почему они должны чем-то заниматься. И вообще меня всегда удивляет, когда люди посвящают себя какой-то работе.

— То есть вы трудиться не желаете?

— Мне хочется спать.

Секунду он пребывал в полном замешательстве, поняв ее слова в буквальном смысле.

— Спать?

— Вроде того. Просто хочу жить в праздности и чтобы люди вокруг меня занимались какими-то делами, тогда я чувствую себя комфортно и уверенно. И пусть некоторые из них вообще ничего не делают, потому что они могут составить мне приятную компанию. Но у меня никогда не возникало желания изменить людей или переживать за них.

— Да вы оригинальная маленькая детерминистка, — рассмеялся Энтони. — И мир вам представляется таким, верно?

— Ну… — протянула Глория, поднимая глаза к потолку. — А разве он не такой? Пока я… молода.

Она немного помолчала перед заключительным словом, и Энтони подумалось, что сейчас она скажет «красива». Ведь именно это она и имела в виду.

Глаза девушки загорелись, и он ждал, что Глория станет развивать тему дальше. Все-таки ее удалось разговорить. Энтони даже слегка подался вперед, чтобы не пропустить ни слова.

Но она только предложила:

— Пойдемте потанцуем!

Восхищение

Зимний вечер в отеле «Плаза» стал первым в бесконечной веренице свиданий, проходивших в предрождественские дни, полные сумбурного оживления. Глория была вечно занята, и Энтони долго выяснял, какие именно события в светской жизни города влекут ее с такой силой. Оказалось, что девушка не отличается особой разборчивостью. Она посещала полуофициальные благотворительные мероприятия с танцами, которые устраивались в больших отелях, несколько раз они с Энтони встречались на званых обедах в «Шерри». А однажды, ожидая, пока Глория оденется, в промежутках между сетованиями миссис Гилберт по поводу постоянных отлучек дочери он узнал о ее восхитительных планах на праздничные дни, среди которых значилось с полдюжины танцевальных вечеров, куда был приглашен и Энтони.

Несколько раз он приглашал Глорию на ленч и чаепитие, но во время ленча встречи проходили второпях и не приносили удовлетворения, по крайней мере для Энтони. Девушка выглядела

сонной и рассеянной, не могла сосредоточиться и с подобающим вниманием выслушать его излияния. Когда после двух таких скудных трапез Энтони обвинил Глорию в намерении уморить его голодом, она рассмеялась и осчастливила его тремя вечерними чаепитиями, которые доставили несравненно больше радости.

Однажды в воскресенье перед самым Рождеством он позвонил Глории и обнаружил, что та приходит в себя после некой серьезной и весьма загадочной ссоры. Гневным тоном, в котором прослушивались радостные нотки, она сообщила, что только что выставила из своей квартиры мужчину. При этом известии мозг Энтони лихорадочно заработал, теряясь в догадках. А Глория уже докладывала, что этот самый мужчина устраивает сегодня вечером обед в ее честь, но она, разумеется, не пойдет. Таким образом, Энтони пригласил ее на ужин.

— Давайте куда-нибудь сходим, — предложила Глория, когда они спускались на лифте. — Хочется посмотреть представление. Вы не против?

При обследовании билетной кассы отеля выяснилось, что на воскресный вечер намечено всего два концерта.

— Все на один манер, — с несчастным видом

посетовала Глория. — Опять те же престарелые евреи-комедианты. Давайте же куда-нибудь пойдем!

Стараясь заглушить чувство вины, что не сумел организовать представление, достойное одобрения Глории, Энтони с напускной веселостью предложил:

— Сходим в хорошее кабаре.

— Я уже побывала во всех, что есть в городе.

— А мы найдем что-нибудь новенькое.

Но было совершенно очевидно, что Глория пребывает в расстроенных чувствах, и сейчас ее серые глаза действительно уподобились граниту. Она молча смотрела перед собой, будто в вестибюле появилось нечто непонятное и омерзительное.

— Хорошо, идемте.

Энтони последовал за девушкой к такси. Даже укутанная в пушистые меха, она выглядела грациозной. С видом человека, точно знающего пункт назначения, он приказал таксисту ехать на Бродвей, а затем свернуть на юг. Он сделал несколько ненавязчивых попыток начать разговор, но Глория облачилась в непробиваемую броню безмолвия и в ответ бросала короткие угрюмые фразы, холодные, как полумрак, на-

полнявший нетопленое такси. Чувствуя, что его настроение тоже начинает портиться, Энтони оставил свои старания, погружаясь в мрачное молчание.

Кварталах в десяти дальше по Бродвею внимание Энтони привлекла большая незнакомая вывеска, на которой желтыми затейливыми буквами, украшенными цветами и листьями из электрических лампочек, сверкало название «Марафон». Лампочки вспыхивали и гасли, и их отблески отражались на мокрой мостовой. Энтони наклонился и постучал по стеклу водительской кабины. Уже в следующее мгновение он получал нужную информацию из уст темнокожего швейцара. Да, это действительно кабаре. Замечательное кабаре. Лучшее шоу в городе!

— Может, зайдем?

Глория со вздохом выбросила недокуренную сигарету в приоткрытую дверцу и приготовилась последовать за ней. Они прошли под кричащей вывеской через парадную дверь, и душная кабина лифта доставила их наверх, в этот никем не воспетый дворец наслаждений.

Беспечные пристанища несметного богатства и шокирующей нищеты, места, где собираются самые дерзкие и бесшабашные, вынырнувшие из

глубин преступного мира, не говоря уже о представителях богемы, которые в последнее время их так полюбили. Объятые благоговейным трепетом старшеклассницы из Огасты в штате Джорджия и из Ред-Уинг в Миннесоте черпают информацию из красочно-увлекательных разворотов воскресных театральных приложений и постигают атмосферу подобных мест по потрясенно-тревожному настрою, наполняющему фильмы мистера Руперта Хьюза и прочих летописцев безумного темпа, в котором живет Америка. Однако эти набеги Гарлема на Бродвей, сатанинские проказы тупоумных и разгульное веселье респектабельных являются прерогативой исключительно самих участников сего действа.

Молва не дремлет, и в заведении, о котором неоднократно и к месту упомянуто, по субботним и воскресным вечерам собираются представители класса, не обремененного строгой моралью: не озабоченные проблемами человечки, которых представляют в комиксах как «Клиента» или «Публику». Их присутствие подтверждает, что заведение соответствует трем признакам: оно дешевое, с убогой претензией скопировать сверкающую роскошь шикарных кафе в театральном районе, и, что самое важное, здесь можно «снять

симпатичную девушку». Разумеется, имеется в виду развлечение невинное и робкое, а по причине отсутствия денег и фантазии — попросту неинтересное.

Здесь по воскресным вечерам собираются доверчивые, сентиментальные, много работающие за низкую зарплату люди, чьи профессии состоят из двух слов: помощник бухгалтера, билетный кассир, управляющий делами, коммивояжер. Но чаще всего встречаются мелкие служащие: курьеры, почтовые и банковские работники, брокеры, бакалейщики. Им составляют компанию хихикающие, не в меру энергично жестикулирующие, умилительно претенциозные женщины. Вместе со своими спутниками они толстеют, рожают непомерно много детей и плавают, беспомощные и неудовлетворенные, по безрадостному и унылому морю отупляющей работы и разбитых надежд.

Низкопробные кабаре часто получают названия в честь пульмановских вагонов. Взять тот же «Марафон»! Их не сравнить со сладострастным шиком парижских кафе! Сюда сговорчивые патроны приводят своих «милашек», чьей изголодавшейся фантазии с трудом хватает, чтобы представить любовную сцену беззаботно весе-

лой, игривой и даже слегка безнравственной. Вот это и есть жизнь! А до завтрашнего дня никому нет дела.

Никчемные люди!

Энтони и Глория сели и стали осматриваться по сторонам. За соседним столиком компания из четырех человек принимала в свои ряды другую компанию, состоящую из двух мужчин и девушки, которые явно пришли с опозданием. Манера поведения девушки вполне могла стать предметом изучения национальной социологии. Ей представляли незнакомых мужчин, и в этот момент она являла собой образец притворства. Словами и жестами и даже легким движением век девушка изо всех сил старалась показать, что принадлежит к классу, который пусть и незначительно, но все же выше тех людей, с которыми ей сейчас приходится иметь дело. Что совсем недавно она вращалась в более изысканных кругах и очень скоро окажется там снова. Девушка выглядела до болезненности утонченной в своей шляпке, модной в прошлом сезоне и украшенной фиалками, такими же претенциозными и фальшивыми, как она сама.

Энтони и Глория, словно зачарованные, смотрели на девушку. А та уселась за столик, всем видом

давая понять, что оказывает заведению честь своим присутствием. «Для меня, — говорили ее глаза, — это всего лишь занимательная экскурсия в трущобы, вот и приходится маскироваться, прикрываясь снисходительными смешками и неловкими оправданиями».

Остальные женщины лезли вон из кожи, пытаясь создать впечатление, что хотя они и оказались в этой толпе, никакого отношения к ней не имеют. Посещать места подобного рода не в их правилах, а сюда заглянули просто потому, что местечко оказалось весьма кстати по пути. Все присутствующие в ресторане компании также старались выглядеть случайными посетителями… Однако кто знает? Все эти люди легко меняли социальное положение. Женщины зачастую сверх всякого ожидания выходили удачно замуж, а мужчины, как в противоречащей всякому здравому смыслу красивой рекламе, внезапно наживали огромное богатство, будто сами небеса протянули им благословенный рожок с мороженым. Но сейчас все они пришли сюда просто поесть, закрывая глаза на несвежие скатерти, которые в целях экономии менялись реже положенного, на случайный состав артистов кабаре и особенно на не слишком сдержанных на язык, фа-

мильярных официантов. С первого взгляда было понятно, что они не слишком-то чтят начальство и того гляди подсядут за столик к кому-нибудь из посетителей.

— Вам здесь не нравится? Может, уйдем? — предложил Энтони.

Лицо Глории утратило хмурое выражение, и впервые за вечер она улыбнулась.

— Здесь чудесно, — призналась девушка, и ее искренность не вызывала сомнений.

Взгляд серых глаз с нескрываемым наслаждением блуждал по залу, то с ленивым любопытством, то настороженно, задерживаясь на каждой компании и тут же перебегая к следующему столику. А Энтони открывал новые достоинства ее профиля, полные живой прелести движения губ, неповторимую красоту лица, всего облика и манер, благодаря которым Глория напоминала прекрасный цветок среди груды дешевых безделушек. При виде ее радости у Энтони перехватило дыхание, от нервного напряжения пересохло в горле, а на глаза навернулись слезы умиления. Зал погрузился в тишину. Фальшивые переливы скрипок и саксофонов, визгливый жалобный плач ребенка за соседним столиком, голос девушки в шляпке с фиалками — все постепенно меркло

и удалялось, пока не исчезло совсем, подобно расплывчатым отражениям на натертом паркете. Они остались вдвоем. По крайней мере так казалось Энтони. Одни, бесконечно далеко от суеты и шума. Дышащее пленительной свежестью лицо Глории, несомненно, являло собой прозрачное отображение из мира хрупких загадочных теней, а покоившаяся на покрытой пятнами скатерти рука светилась перламутровой раковиной из далеких неведомых морей.

Внезапно наваждение рассеялось, словно унесенная ветром паутина, и зал снова принял Энтони в свои объятия. Голоса, лица, раздражающе яркий свет ламп над головой стали зловещей реальностью. Отчетливо ощущалось их с Глорией дыхание в унисон с покорной толпой, вздымание и опадание грудных клеток, вечная бессмысленная игра, перебрасывание одними и теми же словами и фразами — все это безжалостно обрушилось на Энтони, придавливая чувства удушающим бременем житейской круговерти. А потом послышался ее невозмутимый голос, и слова повисли в воздухе, как только что пригрезившееся Энтони видение.

— Мое место среди этих людей, — пробормотала Глория. — Я одна из них.

На мгновение ее признание показалось издевкой, нелепым парадоксом, обрушившимся на Энтони из бескрайнего замкнутого пространства, которым окружила себя Глория. Девушка все больше входила в экстаз, ее взгляд задержался на скрипаче с семитской внешностью, который покачивал плечами в такт самого популярного в том году фокстрота:

Нежной песенки мотив,
Ринг-а-тинг, линг-а-тинг,
Твой ласкает слух…

И снова из глубин хрупкой иллюзии, которую создала Глория, донесся ее голос, и слова девушки повергли Энтони в изумление, будто он услышал богохульство из уст младенца.

— Да, я на них похожа, такая же, как японские фонарики, гофрированная бумага или музыка, которую исполняет местный оркестр.

— Да вы просто юная идиотка! — с жаром воскликнул Энтони.

Глория лишь покачала золотистой головкой:

— Нет, я действительно одна из них… И вам следует это понять… Ведь вы меня совсем не знаете. — Девушка задумалась, скользнув взглядом по Энтони. На мгновение их глаза встретились, и

Глория посмотрела на него с удивлением, будто не ожидала здесь встретить. — На мне налет того, что называется низким пошибом. Не знаю, откуда это взялось, но меня привлекают кричащие цвета, безвкусица и вульгарность. Да, мое место здесь. И эти люди оценили бы меня по достоинству и приняли такой, какая есть. Здешние мужчины могли бы в меня влюбиться, и я бы вызывала у них восхищение. А умники, с которыми приходится общаться, разбирают меня по косточкам и пытаются объяснить, почему я такая, а не иная.

Энтони вдруг страстно захотелось написать ее портрет, запечатлеть такой, какой видит сейчас и какой Глория уже никогда не будет, меняясь с каждой неумолимо ускользающей секундой.

— О чем задумались? — поинтересовалась Глория.

— Всего лишь о том, что реалиста из меня не получится, — признался Энтони и добавил: — Нет, только романтик способен сохранить то, что стоит беречь.

В глубинах изощренной натуры Энтони зрело сознание, лишенное чего бы то ни было атавистического или неясного и вообще едва ли имеющее отношение к материальному миру. Сознание,

полученное в наследство от настроенных на романтический лад умов из прошлых поколений, понимание того, что манера Глории разговаривать, ее случайно пойманный взгляд и поворот прелестной головки трогают до глубины души и вызывают волнение, которого он прежде никогда не испытывал. Просто становилось понятным назначение оболочки, в которую заключена душа Глории, — вот и все. Глория была сияющим солнцем, которое занимает весь небосклон и хранит свет, чтобы спустя вечность излить его во взгляде или обрывке фразы на ту часть в душе Энтони, что лелеет и бережет всю красоту и прелесть иллюзии.

Глава третья
Ценитель поцелуев

Еще в ранние студенческие годы, в бытность редактором «Гарвард Кримсон» Ричард Кэрамел испытывал желание писать. Но на выпускном курсе он поддался пресловутой иллюзии, что предназначением отдельных людей является «служение» и в сей мир они являются исключительно для осуществления некой туманной, наполняющей душу щемящей тоской цели. За

выполнение этой миссии ждет либо награда на небесах, либо, на худой конец, чувство личного удовлетворения за стремление сотворить великое благо для как можно большего количества людей.

Такое настроение уже долгое время сотрясало американские колледжи. Как правило, все начинается в пору незрелых поверхностных впечатлений первого студенческого года, а иногда и со школьной скамьи. Преуспевающие проповедники, славящиеся эмоциональной актерской игрой, совершают обход университетов и, запугивая добродушных овечек, притупляя растущий интерес и пытливость ума, которые и являются целью любого образования, выкристаллизовывают таинственное осуждение греха, вновь и вновь обращаясь к детским преступлениям и «извечному злу, которое несут женщины». Озорная молодежь приходит на их лекции позабавиться и покуролесить, а застенчивые и робкие студенты глотают приятные на вкус пилюли, которые не представляли бы никакого вреда, пропиши их фермерским женам и благочестивым аптекарям, но которые превращаются в довольно опасное лекарство для будущих «вождей человечества».

У этого спрута хватило сил опутать цепкими

щупальцами Ричарда Кэрамела и через год после окончания университета увлечь в нью-йоркские трущобы, где он убивал время вместе с суматошными итальянцами, работая секретарем в «Ассоциации по спасению молодых иммигрантов». Протрудившись там более года, Ричард стал уставать от повседневной рутины. Иммигранты прибывали неиссякаемым потоком: итальянцы, поляки, скандинавы, чехи, армяне — все с одними и теми же правонарушениями, одинаково уродливыми, отталкивающими лицами и таким же мерзким запахом. Правда, по истечении нескольких месяцев Ричарду уже казалось, что запах бьет в нос все сильнее, обогащаясь новыми разнообразными оттенками. Он так и не сформировал окончательного мнения относительно целесообразности этой службы, однако решение по поводу собственного в ней участия было принято окончательно и бесповоротно. Любой приятный молодой человек, в ушах которого еще звучали призывы очередной кампании по защите обездоленных, мог не хуже его справиться со спасением прибывшего из Европы отребья. А для Ричарда настало время заняться писательским трудом.

Жил он тогда при «Ассоциации молодых хри-

стиан» в деловой части города, но, расставшись с неблагодарным занятием по перевоспитанию иммигрантов, перебрался в жилые кварталы и сразу же получил место репортера в газете «Сан», где продержался в течение года, время от времени пописывая на сторону, что особого успеха не принесло. Но тут неудачное стечение обстоятельств положило конец его карьере газетчика. Как-то в феврале Ричарду поручили написать статью о параде кавалерийского эскадрона. Однако, испугавшись надвигающегося снегопада, он уснул перед горящим камином, а пробудившись, настрочил складную статью, упомянув приглушенный топот конских копыт по свежевыпавшему снегу… Свое произведение он сдал в редакцию, а на следующее утро редактору отдела местных новостей прислали экземпляр газеты с нацарапанной в углу резолюцией: «Уволить автора этой писанины». Оказалось, в кавалерийском эскадроне тоже стало известно о грозящем снегопаде и парад перенесли на другой день. Спустя неделю Ричард приступил к работе над «Демоническим любовником».

В январе месяце, которому отведена роль понедельника года, нос Ричарда Кэрамела покрылся непреходящей, издевательски-зловещей си-

невой, вызывающей туманные ассоциации с адским пламенем, лижущим грешника. Книга была почти готова, и по мере непрестанного совершенствования она предъявляла все более высокие требования к самому автору, подавляя его и высасывая все силы, пока тот не превратился в изможденную и безвольную тень своего творения. Все надежды, сомнения и тщеславные помыслы Ричард Кэрамел изливал не только Энтони и Мори, но и первому встречному, которого удавалось заманить в слушатели. Он донимал визитами вежливых, но несколько сбитых с толку издателей и обсуждал роман со случайными собеседниками из Гарвардского клуба. А Энтони даже утверждал, что однажды воскресным вечером застал Ричарда в одном из темных уголков на промозглой и мрачной станции метро в Гарлеме, когда тот делился планами по переработке второй главы с грамотного вида билетным контролером. Последним доверенным лицом Ричарда Кэрамела стала миссис Гилберт, с которой они просиживали часами и вели яростный перекрестный огонь, то и дело перескакивая с дискуссии о билфизме на обсуждение вопросов литературы.

— Шекспир был билфистом, — утверждала

миссис Гилберт с застывшей улыбкой на лице. — Да-да, билфистом! Это уже доказано.

В ответ на это заявление Дик с озадаченным видом хлопал глазами.

— И если ты читал «Гамлета», то не мог этого не заметить.

— Видите ли, он жил во времена, когда люди были легковерными и религиозными.

Но миссис Гилберт могла удовлетворить только полная победа.

— Разумеется. Но ведь билфизм — не религия, а научная теория, лежащая в основе всех религий. — Она одарила собеседника вызывающей улыбкой. Эта фраза остроумно выражала смысл ее веры. Само сочетание слов так прочно завладело умом дамы, что упомянутое утверждение уже не требовало дальнейших толкований. Можно предположить, что миссис Гилберт приняла бы любую идею, облаченную в столь блистательную формулировку, которая, пожалуй, и не являлась формулировкой как таковой, а представляла собой сведение к абсурду всех существующих доктрин.

В конце концов доходила очередь и до Дика, и уж тут он получал возможность блеснуть во всем великолепии.

— Вы, разумеется, слышали о новом направлении в поэзии. Нет? Речь идет о многочисленной группе молодых поэтов, которые отвергают прежние формы и у них неплохо получается. Так вот, своей книгой я намерен положить начало новой тенденции в прозе, в некотором роде осуществить ее возрождение.

— Уверена, что так и будет, — с сияющим видом поддержала миссис Гилберт. — Нисколько не сомневаюсь. В прошлый вторник я ходила к Дженни Мартин, что гадает по руке. Ну, ты знаешь, все сходят по ней с ума. Я рассказала, что мой племянник поглощен неким трудом, и гадалка сообщила радостную весть, что его, несомненно, ждет необыкновенный успех. А ведь она ни разу тебя не видела и даже имени не знает.

Издав подобающие для такого случая звуки, чтобы выразить изумление сим невероятным явлением, Дик подхватил предложенную миссис Гилберт тему и с ловкостью регулировщика дорожного движения направил ее по нужному пути.

— Я действительно увлечен работой, тетя Кэтрин, — подтвердил он. — Все друзья надо мной подтрунивают. О, я и сам вижу, что это смешно, но мне все равно. Думаю, человек дол-

жен научиться сносить насмешки. Но у меня имеются собственные убеждения, — завершил Дик с мрачным видом.

— Я всегда говорила, что у тебя древняя душа.

— Возможно. — Дик дошел до состояния, когда бороться дальше нет сил и остается только соглашаться. Да, должно быть, у него действительно душа старца, такая древняя, что насквозь прогнила. Однако, представив эту абсурдную картину, Дик пришел в некоторое замешательство, и от повторенных про себя слов по спине пробежал неприятный холодок. Он предпочел поскорее сменить тему: — А где же моя утонченная кузина Глория?

— Где-то бегает неизвестно с кем.

Дик помолчал, что-то обдумывая, и его лицо скривилось в гримасу, которая изначально задумывалась как улыбка, но в конечном итоге превратилась в кислую мину, способную навести уныние на кого угодно.

— Думаю, мой друг Энтони Пэтч в нее влюблен, — изрек он наконец.

Миссис Гилберт встрепенулась и, с небольшим опозданием изобразив сияющую улыбку, выдохнула шепотом свое знаменитое «Неужели?», как в пьесе с детективным сюжетом.

— Полагаю, что так, — с серьезным видом подтвердил Дик. — На моей памяти она первая девушка, с которой Энтони проводит так много времени.

— Ну да, конечно, — с наигранной беспечностью заметила миссис Гилберт. — Глория никогда не делится со мной своими тайнами. Такая скрытная! Между нами говоря, — она осторожно наклонилась к Дику, полная решимости доверить свое признание только Всевышнему и племяннику, — мне хочется, чтобы Глория наконец-то угомонилась.

Дик встал и принялся с озабоченным видом расхаживать по комнате. Маленький, энергичный, уже успевший округлиться молодой человек, нелепо засунувший руки в оттопыренные карманы.

— Заметьте, я не берусь ничего утверждать, — обратился он к висевшей с незапамятных времен на стене отеля гравюре, которая чинно усмехнулась в ответ. — Я не говорю ничего, что стало бы для Глории новостью. Однако считаю, что наш безрассудный Энтони весьма и весьма к ней неравнодушен. Только о ней и говорит. У любого другого это считалось бы дурным признаком.

— У Глории совсем юная душа, — с воодушевле-

нием произнесла миссис Гилберт, но племянник поспешно ее перебил:

— Глория действительно окажется юной дурочкой, если не выйдет за него замуж. — Он остановился и посмотрел тетушке в глаза. От напряжения лицо Дика невероятным образом исказилось, напоминая в тот момент карту боевых действий, испещренную линиями и вмятинами от карандаша. Словно желая искупить искренностью неучтивые слова, он продолжил: — Тетя Кэтрин, Глория — сумасбродка, она совершенно неуправляема. Не знаю, как случилось, но в последнее время ее окружает множество весьма странных друзей. А ее это, кажется, не беспокоит. Мужчины, с которыми кузину прежде видели в Нью-Йорке, были… — Дик замолчал, переводя дыхание.

— Да-да-да, — отозвалась миссис Гилберт, делая слабую попытку скрыть живейший интерес к словам Ричарда.

— Так вот, — угрюмо продолжил Ричард Кэрамел, — мы и получили то, что видим. Я хочу сказать, мужчины, да и вообще все люди, с которыми она встречалась раньше, принадлежали к высшим слоям общества, а теперь все изменилось.

Миссис Гилберт часто заморгала, ее грудь всколыхнулась, делая вдох, и на мгновение замерла, а на выдохе из уст дамы выплеснулся нескончаемый поток слов. Да, ей все известно. О, мать не может не заметить подобных вещей, изливала душу надрывным шепотом миссис Гилберт. Но что ей оставалось? Ведь Ричард знает характер Глории и достаточно давно с ней знаком, а потому понимает полную безнадежность любых попыток вразумить кузину. С самого детства Глория страшно избалована, и с ней нет никакого слада. К примеру, ее до трех лет кормили грудью, хотя к тому времени она могла разгрызть дерево. Хотя как знать — может, именно благодаря этому девочка отличается крепким здоровьем и выносливостью. А потом, едва Глории исполнилось двенадцать лет, просто не стало прохода от мальчиков. В шестнадцать она стала ходить на танцы, сначала в школы, потом в колледжи, и где бы ни появилась, всюду ее окружали мальчики, мальчики… толпы мальчиков. Поначалу, лет до восемнадцати, их было так много, что казалось, Глория не делает между ними различия, но потом она стала выбирать.

Миссис Гилберт знала о ряде увлечений дочери за прошедшие три года, наверное, их было около

дюжины. Порой кавалерами Глории становились студенты выпускных курсов или юноши, только что закончившие учебу. Каждый роман длился несколько месяцев, а в промежутках вклинивались новые короткие увлечения. Пару раз отношения принимали более длительный характер, и мать надеялась, что Глория вот-вот объявит о помолвке, но вскоре появлялся очередной поклонник, потом еще один, и так без конца…

Мужчины? Да Глория буквально втаптывала их в грязь! Лишь одному удалось сохранить подобие достоинства, да и тот был совсем еще ребенком. Картер Керби из Канзас-Сити. Самонадеянный юнец, но именно тщеславие его и спасло. В один прекрасный день он просто уехал с отцом в Европу. А остальные представляли собой жалкое зрелище. Юноши не чувствовали, что начинают надоедать Глории, а она редко кого обижала намеренно. И они продолжали звонить, забрасывали письмами, искали встречи, ездили за ней по всей стране. Некоторые избрали миссис Гилберт своим доверенным лицом и со слезами на глазах уверяли, что никогда не смогут оправиться от нанесенного Глорией удара… Правда, по крайней мере двое из них уже женаты. Однако в большинстве случаев дочь сражала наповал. И

по сей день мистер Карстерс раз в неделю звонит и присылает цветы, которые Глория уже устала отсылать обратно.

Несколько раз, насколько известно миссис Гилберт, это случалось дважды, дело доходило до негласной помолвки… с Тюдором Бэрдом и молодым Холкомом из Пасадены. Да, несомненно, так и было… пожалуй, кое о чем не стоит говорить, но все же… однажды миссис Гилберт неожиданно зашла в комнату и застала Глорию… ну, дочь вела себя так, как будто действительно была помолвлена. Разумеется, она ничего не сказала Глории, ведь ей не чуждо чувство такта, а кроме того, всякий раз со дня на день ожидалось официальное объявление помолвки. Но никакого объявления не последовало, а вместо него появился очередной кавалер.

Какие устраивались сцены! Молодые люди метались по библиотеке, словно тигры в клетке! Испепеляли друг друга взглядами, встречаясь в коридоре, когда один уходил, а другой только заходил в дом! А охваченные отчаянием юноши, когда в ответ на телефонный звонок бросали трубку! От расстройства они грозили уехать в Южную Америку! Какие трогательные и проникновенные сочинялись письма! (Миссис Гилберт

не стала вдаваться в подробности, но Дику показалось, что некоторые из упомянутых посланий она видела воочию.)

…И Глория, то в слезах, то заливаясь смехом, переходила от печали к радости, влюблялась и охладевала, выглядела несчастной, нервничала или оставалась равнодушной. Без конца возвращала подарки и меняла фотографии в древних рамках, а потом принимала горячую ванну, и все начиналось заново… со следующим претендентом на руку и сердце.

Такое положение дел приобрело постоянный характер и, казалось, будет продолжаться вечно. Ничто не тревожило Глорию, не меняло ее характера и не трогало. И вдруг громом среди ясного неба прозвучало высказанное матери признание, что студенты ей надоели и на танцевальные вечера в колледже она больше не пойдет.

И с этого момента начались перемены, которые, впрочем, не слишком отразились на привычках Глории, так как свиданий и танцев в ее жизни не стало меньше. Однако отношение к свиданиям в корне изменилось. Раньше они являлись в определенном смысле предметом гордости, средством потешить тщеславие. Глория, похоже, была самой знаменитой и модной из юных красавиц по

всей стране. Подумать только, Глория Гилберт из Канзас-Сити! И она упивалась плодами своей славы, используя ее самым немилосердным образом. Наслаждалась видом толпившихся вокруг мужчин и стараниями самых достойных из них завоевать ее благосклонность. Глорию приводила в восторг неистовая ревность других девушек и радовали невероятные, если не сказать скандальные слухи, ходившие вокруг ее имени, которые, впрочем, по словам матери, не имели под собой почвы. Например, поговаривали, что однажды на вечеринке в Йельском университете она нырнула в бассейн в шифоновом бальном платье.

И вдруг после свойственного скорее мужчине упоения подобным образом жизни — а ее взлет был сродни головокружительной блестящей карьере — Глория ударилась в эстетство и стала стремиться к уединению. Она, безраздельно царившая на бесчисленных балах, пролетевшая по всем танцевальным залам в сиянии благоуханного ореола в сопровождении нежных взглядов, вдруг потеряла к этому всякий интерес. Очередной влюбленный поклонник был решительно и даже с гневом отвергнут. Теперь равнодушную ко всему Глорию видели в обществе самых заурядных мужчин. У девушки вошло в привычку не

являться на свидания, и если в прежние времена она поступала так, свято веря в собственную неотразимость, ради которой оскорбленный мужчина прибежит по первому зову, как комнатная собачонка, то теперь Глория не испытывала ни презрения, ни гордости от одержанной победы. Только полное безразличие. Она редко обрушивала гнев на мужчин, которые не вызывали ничего, кроме зевоты. Такое поведение выглядело странным, и матери стало казаться, что Глория постепенно утрачивает способность испытывать какие-либо чувства.

Поначалу Ричард Кэрамел слушал стоя. Однако по мере того как исповедь тетушки обрастала все новыми подробностями — здесь она урезана вполовину за счет бесконечных отступлений, касающихся юной души Глории и страданий, пережитых самой миссис Гилберт, — он придвинул стул. Теперь, уже сидя, Дик с суровым видом наблюдал, как течение несет ее по длинной повести о жизни дочери, заставляя то обливаться слезами, то демонстрировать достойную жалости беспомощность. Когда дело дошло до сказания о последнем злополучном годе и окурках, разбросанных по всему Нью-Йорку в пепельницы, на которых красовалось клеймо таких заведений,

как «Полуночные забавы» и «Клуб Джастины Джонсон», Ричард стал кивать, сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее. Наконец миссис Гилберт завершила повествование раскатистым стаккато, а голова Дика к тому времени подпрыгивала вверх и вниз, как у куклы на пружинах, и истолковать эти движения можно было как угодно.

О прошлом Глории он не узнал ничего нового. Ричард давно наблюдал за ее жизнью глазами журналиста, так как собирался когда-нибудь написать о кузине книгу. В данный же момент Дика занимали интересы семьи. В частности, Кэрамел хотел знать, кто такой пресловутый Джозеф Блокмэн, с которым Глорию видели несколько раз, а также некие две девицы, ставшие ее неразлучными подругами. «Эта» Рейчел Джеррил и «эта» мисс Кейн. Что до мисс Кейн, она определенно не самая подходящая компания для Глории!

Однако удобный момент был упущен. Миссис Гилберт, достигнув апогея своего повествования, намеревалась стремительно скользить вниз по крутому трамплину, ведущему к трагической развязке. Ее глаза напоминали синее небо, на которое смотришь через два круглых оконца с красными переплетами. Складки вокруг рта

жалобно вздрагивали.

Именно в этот момент дверь распахнулась, впуская в комнату двух упомянутых выше юных особ.

Две юные дамы

— Вот и мы!

— Здравствуйте, миссис Гилберт!

Мистеру Ричарду Кэрамелу представляют мисс Кейн и мисс Джеррил.

— Знакомьтесь, это Дик (слышится смех).

— Я столько о вас слышала, — заявляет мисс Кейн, переходя с хихиканья на визг.

— Здравствуйте, — застенчиво приветствует Ричарда мисс Джеррил.

Ричард Кэрамел без устали перемещается по комнате в надежде скрыть недостатки фигуры. Его раздирают противоречивые чувства: с одной стороны, хочется проявить врожденную любезность, но с другой — этих девушек он считает заурядными особами, не имеющими ничего общего с типом женщин, учившихся в Фармоувере.

Тем временем Глория удалилась в спальню.

— Да садитесь же! — Миссис Гилберт, которая уже успела прийти в себя, лучезарно улыбает-

ся. — Снимите теплые вещи.

Дик боится, что сейчас она примется делать замечания по поводу возраста его души, но тут же забывает о своих опасениях и с добросовестной дотошностью романиста изучает обеих молодых женщин.

Мюриэл Кейн происходила из стремительно богатеющей семьи из Ист-Оранджа, штат Нью-Джерси. Девушка была скорее низенькой, чем миниатюрной, а ее фигура дерзко балансировала на грани, отделяющей приятную округлость от не радующей глаз полноты. Черные волосы, тщательно уложенные в прическу, в сочетании с красивыми, как у коровы, глазами и неестественно красными губами делали ее похожей на Теду Бара, известную киноактрису. Люди не раз называли Мюриэл «женщиной-вамп», и она верила их словам. Мисс Кейн втайне надеялась, что окружающие ее боятся, и всеми силами и при любых обстоятельствах старалась создать впечатление опасной роковой красавицы. Однако наделенный воображением мужчина мог без труда разглядеть красный флаг, который Мюриэл всегда держала при себе, с отчаянной мольбой размахивая им во все стороны. К несчастью, без сколько-нибудь ощутимого результата. Кроме

того, она была страшно современной девушкой, знала абсолютно все новые песенки и, когда одну из них проигрывали на патефоне, тут же вскакивала на ноги и, покачивая в такт плечами, начинала прищелкивать пальцами. Если музыка отсутствовала, Мюриэл аккомпанировала себе, напевая знакомый мотив.

Ее речь также соответствовала духу времени. «Мне плевать, — говаривала Мюриэл. — Была охота переживать да фигуру портить. Ах, беби! Как услышу эту музыку, ноги сами пускаются в пляс!»

Вычурно-длинные ногти девушки отполированы до неестественного, лихорадочно-розового блеска. Одежда слишком облегающая, чересчур модная и яркая, глаза не в меру плутоватые, а улыбка очень уж жеманная. И вся она с головы до ног состоит из сплошных излишеств, являя собой зрелище, достойное жалости.

Вторая девушка казалась натурой более утонченной. Темноволосая, изысканно одетая еврейка с прелестной молочно-белой кожей. Она выглядела застенчивой и неуверенной, и два этих качества подчеркивали окружавшее ореолом нежное очарование. Она происходила из семьи, принадлежащей епископальной церкви, кото-

рая владела тремя магазинами модной женской одежды на Пятой авеню и проживала в шикарной квартире на Риверсайд-драйв. Спустя несколько минут у Дика создалось впечатление, что девушка пытается копировать Глорию, и он удивился в душе, почему люди непременно хотят походить на тех, кому подражать невозможно.

— Ох, еле добрались! Думали, не переживем! — возбужденно тараторила Мюриэл. — За нами в автобус зашла какая-то ненормальная! Все бормотала, как она собирается с кем-то расправиться. От страха я боялась пошевелиться, а Глория уперлась и никак не хотела выходить из автобуса.

Миссис Гилберт открыла рот, выражая благоговейный ужас.

— Неужели?

— Нет, правда, тронутая. Слава Богу, на нас не набросилась. А какая уродина! Боже правый! Мужчина напротив сказал, что с такой физиономией надо работать ночной сиделкой в приюте для слепых. Мы просто рыдали от смеха, а он надумал за нами волочиться.

В этот момент из спальни вышла Глория, и все взгляды устремились на нее. Обе девушки вдруг отошли в тень, превратившись в незаметный фон.

— А мы вот о тебе беседовали, — торопливо сообщил Дик, — с твоей матерью.

— Ну что ж!.. — бросила Глория.

Наступила короткая пауза, которую нарушила Мюриэл.

— Вы ведь великий писатель, так? — обратилась она к Дику.

— Я — писатель, — скромно подтвердил Дик.

— Я вот думаю, — серьезно начала Мюриэл, — если бы у меня хватало времени записывать все свои приключения, вышла бы замечательная книга.

Рейчел сочувственно хихикнула, Ричард Кэрамел с величественным видом наклонил голову, а Мюриэл не унималась:

— Только не возьму в толк, как это можно сесть и что-то написать? А стихи! Да я и двух строк не зарифмую. Ну и ладно, наплевать!

Ричард Кэрамел с трудом сдерживал хохот, а Глория жевала невесть откуда взявшуюся желатиновую пастилку, с унылым видом глядя в окно. Миссис Гилберт откашлялась, и ее лицо озарила сияющая улыбка.

— Видите ли, — изрекла она тоном человека, делающего мировое открытие, — вы не обладаете древней душой, как Ричард.

Древняя Душа вздохнул с облегчением — наконец-то долгожданные слова прозвучали.

Вдруг Глория объявила как о деле давно решенном:

— Я собираюсь устроить званый вечер.

— Ой, а меня пригласишь? — с шутливой дерзостью выкрикнула Мюриэл.

— Обед на семь человек: Мюриэл, Рейчел, я, ты, Дик, Энтони и этот парень по имени Ноубл. Он мне нравится. А еще Блокмэн.

Мюриэл и Рейчел выражали восторг тихим урчанием, миссис Гилберт моргала и лучезарно улыбалась, и тут Дик с небрежным видом задал давно не дававший покоя вопрос:

— Скажи, Глория, а кто этот Блокмэн?

Уловив в его тоне скрытую враждебность, Глория быстро повернулась к кузену:

— Джозеф Блокмэн? Да он из киношников. Вице-президент компании «Филмз пар экселенс». У них с отцом общие дела.

— Ах вот оно что!

— Так вы все придете?

Разумеется, придут все. Дату назначили за неделю. Дик поднялся с места и, облачившись в пальто, шляпу и шарф, изобразил на лице улыбку, обращенную ко всем присутствующим.

— Пока-пока! — весело помахала рукой Мюриэл. — Позвоните мне как-нибудь.

Ричарду стало стыдно за девушку, и он покраснел.

Бесславный конец шевалье О'Кифи

Наступил понедельник, и Энтони повел Джеральдин Берк обедать в «Боз-ар», после чего они отправились к нему на квартиру. Энтони выкатил маленький столик на колесах и, изучив хранившийся там запас спиртного, выбрал в качестве бодрящего средства вермут, джин и абсент.

Джеральдин Берк, работавшая билетершей у Китса, уже в течение нескольких месяцев скрашивала жизнь Энтони. Малышка требовала так мало, что Энтони к ней искренне привязался, так как после досадного случая с одной из дебютанток прошлым летом, когда после нескольких поцелуев от него ожидалось предложение руки и сердца, к девушкам своего круга стал относиться подозрительно. Его критический взгляд тут же отмечал все изъяны, будь то отсутствие внешнего изящества или недостаточная утонченность натуры. Но к простолюдинке, служившей биле-

тершей у Китса, отношение совсем иное. Можно смириться с некоторыми особенностями характера у собственного лакея, но те же слабости совершенно непростительны для людей, которые стоят с тобой на одной ступени. Джеральдин, свернувшись калачиком у дивана, искоса поглядывала на Энтони, прищурив глаза.

— Ты ведь постоянно пьешь, верно? — неожиданно поинтересовалась она.

— Ну, в общем, да, — откликнулся Энтони, удивляясь заставшему врасплох вопросу. — А ты разве не пьешь?

— Нет. Ты же знаешь, иногда хожу на вечеринки раз в неделю, но выпиваю бокала два или три. А ты с приятелями пьешь не просыхая. По-моему, так и здоровье загубить недолго.

Слова Джеральдин растрогали Энтони.

— Значит, беспокоишься обо мне? Как мило с твоей стороны!

— Вот именно, беспокоюсь.

— Да не так уж много я и пью, — признался он. — Вот в прошлом месяце капли в рот не брал целых три недели. И вообще набираюсь по полной не чаще раза в неделю.

— Каждый день хоть чуть-чуть, да приложишься. А ведь тебе всего двадцать пять. Неужели нет

никакой цели в жизни? Представь только, во что превратишься в сорок лет!

— Искренне надеюсь, что не протяну так долго.

Девушка только зацокала языком.

— Ну, ты спя-я-я-тил! — протянула она, смешивая очередной коктейль, и тут же спросила: — А вы, случайно, не родственники с Адамом Пэтчем?

— Он мой дед.

— Правда? — Девушка была явно заинтригована.

— Чистая правда.

— Забавно. Мой отец у него работал.

— Чудаковатый старик.

— А он добрый?

— Ну, в личной жизни он редко бывает противным без особой надобности.

— Расскажи о нем.

— Ну, что сказать, — задумался Энтони, — он весь высох, а на голове остатки седых волос, и кажется, что их растрепало ветром. Высоконравственный человек, что и говорить.

— И сделал много добра, — серьезно заявила Джеральдин.

— Вздор! — презрительно хмыкнул Энтони. —

Благочестивый болван с куриными мозгами.

Джеральдин предпочла переключиться на другую тему:

— А почему ты с ним не живешь?

— А может, сразу податься в служки к пастору методистской церкви?

— Ну, ты спя-я-я-тил!

В знак неодобрения девушка снова цокнула языком. А Энтони удивился, сколько нравственной силы в душе этой маленькой бродяжки. Но что останется от моральных устоев, когда неумолимо надвигающаяся волна смоет ее с зыбкого островка респектабельности?

— Ты его ненавидишь?

— Да как сказать. Особой любви к нему никогда не питал. Никто не любит своих благодетелей.

— А он тебя ненавидит?

— Милая Джеральдин, — запротестовал Энтони, шутливо хмуря брови, — лучше сделай себе еще один коктейль. Я раздражаю деда. Стоит закурить сигарету, как он заходит в комнату и начинает недовольно сопеть носом. Он самодовольный зануда и порой лицемер. Я не стал бы пускаться с тобой в откровения, если бы предварительно не выпил. Да и какое это имеет значение.

Однако интерес Джеральдин ничуть не ослаб. Так и не пригубив бокал, девушка держала его большим и указательным пальцами, а в устремленном на Энтони взгляде сквозил благоговейный страх.

— Почему ты считаешь деда лицемером?

— Ну, может, и не лицемер, — согласился Энтони, теряя терпение. — Но ему не по душе все, что я люблю, да и вообще, на мой взгляд, личность деда не представляет никакого интереса.

Джеральдин лишь хмыкнула в ответ. Похоже, она наконец удовлетворила свое любопытство и снова забилась в уголок дивана, принявшись за коктейль.

— Да ты чудак, — задумчиво подытожила девушка. — И видимо, всем хочется за тебя замуж из-за богатого деда…

— Ну, не всем, хотя я не рискнул бы ставить им в вину подобное желание. И знаешь, я вообще не собираюсь жениться.

Джеральдин пропустила его слова мимо ушей.

— Однажды ты влюбишься. О, я точно знаю. — Она с умудренным видом покивала головой.

— Какой идиотизм с моей стороны вести откровенные беседы. Именно это и погубило шевалье О'Кифи.

— А это кто такой?

— Плод моего блестящего ума. Да, шевалье — мое единственное творение.

— Ну, ты спя-я-я-тил! — протянула Джеральдин с очаровательным видом, используя любимую фразу как грубую веревочную лестницу, с помощью которой преодолевала все пропасти, карабкаясь за людьми, превосходящими ее умом. Подсознательно она чувствовала, что это средство уничтожает любые преграды и возвращает в пределы досягаемости ускользающее от Джеральдин воображение собеседника.

— Ох, нет, Джеральдин! — запротестовал Энтони. — Только не относись к шевалье как психиатр, удостоверяющий вменяемость преступника. Если чувствуешь, что не способна его понять, я и начинать не стану. Кроме того, я уже и так испытываю неловкость по поводу его достойной сожаления репутации.

— Думаю, я способна понять все, что имеет хоть какой-то смысл, — с легкой досадой возразила Джеральдин.

— В таком случае некоторые эпизоды из жизни шевалье могут показаться занимательными.

— И что дальше?

— Именно безвременная кончина шевалье

навела меня на мысль упомянуть о нем в разговоре. Крайне неприятно начинать знакомство со смерти, но, похоже, шевалье суждено войти в твою жизнь, пятясь назад. Этого не избежать.

— Так что с ним стряслось? Умер, что ли?

— Именно так! И вот как это случилось! Он был ирландцем, Джеральдин. Одним из ставших легендой ирландцев с неистовым нравом, певучим акцентом и «огненной шевелюрой». На закате рыцарства его изгнали из Ирландии, и, разумеется, он направился во Францию. Видишь ли, Джеральдин, у нас с шевалье О'Кифи имелась одна общая слабость. Он сверх всякой меры был подвержен влиянию женщин всех народностей и сословий.

Кроме того, шевалье принадлежал к натурам сентиментальным, склонным к романтизму и тщеславию. Человек безумных страстей, чуть подслеповатый на один глаз и почти слепой на второй. Мужчина, странствующий по свету в подобном состоянии, так же беззащитен, как потерявший зубы лев. И как следствие, в течение двадцати лет шевалье терпел издевательства со стороны многочисленных женщин, которые его ненавидели, использовали, надоедали и изводили, одаривали различными болезнями, тратили

его деньги и дурачили всеми способами. Одним словом, как говорят в миру, любили его.

Дело обстояло скверно, Джеральдин. И шевалье, который, не считая единственной упомянутой слабости, был человеком целеустремленным, решил раз и навсегда избавиться от всех утрат и убытков. С этой целью он отправился в знаменитый монастырь, находившийся в Шампани, который носил… несколько устаревшее название в честь Святого Вольтера. В монастыре Святого Вольтера существовало правило, запрещавшее монахам в течение всей жизни спускаться на нижний этаж. Им надлежало предаваться молитвам и размышлениям в одной из четырех башен, получивших названия по четырем заповедям монастырского устава: Бедность, Целомудрие, Покорность и Безмолвие.

В день, знаменующий прощание шевалье с грешным миром, он чувствовал себя абсолютно счастливым. Греческие книги подарил хозяйке, у которой снимал жилье, свой меч в золоченых ножнах отослал королю Франции, а все вещи, напоминавшие об Ирландии, отдал молодому гугеноту, торговавшему рыбой на той улице, где жил шевалье О'Кифи.

Затем он отправился верхом в монастырь Свя-

того Вольтера, у ворот обители заколол коня и презентовал тушу монастырскому повару.

В пять часов вечера он впервые в жизни почувствовал себя свободным от зова плоти. Ни одна женщина не могла переступить порог монастыря, и ни одному монаху не разрешалось спускаться ниже второго этажа. Взбираясь по винтовой лестнице в отведенную ему на самом верху башни Целомудрие келью, шевалье на минуту задержался у открытого окна. Оно выходило на дорогу в пятидесяти футах от земли. О'Кифи поразила красота мира, который предстояло покинуть. Золотой дождь солнечных лучей, заливающий бескрайние поля, темнеющая вдалеке дымка леса, умиротворенно зеленеющие виноградники и простирающееся без конца и края наполненное свежестью пространство. Он облокотился на подоконник и застыл на месте, всматриваясь в извивающуюся внизу дорогу.

И надо же было случиться, что именно в тот самый момент по дороге мимо монастыря проходила шестнадцатилетняя крестьянка Тереза из соседней деревни. Пятью минутами раньше старенькая ленточка, поддерживающая чулок на прелестной левой ножке, оборвалась. Будучи девушкой на редкость скромной, она поначалу

решила дойти до дома и уж там починить ленточку. Но идти было так неудобно, что терпеть дольше не хватило сил. И вот, проходя мимо башни Целомудрие, девушка остановилась и полным очарования движением, справедливости ради отметим, совсем чуть-чуть приподняла юбку. Просто чтобы поправить подвязку.

А наверху в башне новоиспеченный послушник древнего монастыря Святого Вольтера, словно подталкиваемый неумолимой гигантской рукой, свесился из окна. Он наклонялся все дальше и дальше, и вдруг один из камней, не выдержав тяжести, с мягким стуком выпал из кладки. Сначала головой вперед, потом вперед ногами и наконец, распластавшись в головокружительном вращении, кувыркался в воздухе шевалье О'Кифи, неуклонно стремясь навстречу твердой земле и вечному проклятию.

Терезу так расстроило это событие, что оставшийся путь до дома она проделала бегом, а последующие десять лет каждый день по часу тайно молилась за душу монаха, который в тот злополучный воскресный день нарушил данный обет и сломал себе шею.

Заподозренного в самоубийстве шевалье О'Кифи не разрешили похоронить в освященной

земле и закопали поблизости в поле, где он в последующие годы несомненно улучшил качество почвы. Вот такой была безвременная кончина сего отважного и галантного джентльмена. Ну, что скажешь, Джеральдин?

Однако Джеральдин давно упустила нить повествования и лишь, проказливо улыбаясь, погрозила ему пальцем, а затем протянула спасительное и всеобъемлющее:

— Ну, ты спя-я-я-тил!

Мысли девушки занимало тонкое лицо Энтони, которое казалось добрым, а глаза смотрели так ласково. Он нравился Джеральдин, потому что в его высокомерии не было самодовольства, и в отличие от мужчин, которых она встречала в театре, Энтони приходил в ужас, когда его персона привлекала внимание. Какая странная и бессмысленная история! Однако ей пришлось по душе место, где рассказывалось о чулках.

После пятого коктейля Энтони принялся целовать девушку, и так за смехом и шутливыми ласками, сдерживая огонь страсти, они провели час. В половине пятого Джеральдин заявила, что у нее назначена встреча, и отправилась в ванную приводить в порядок растрепавшиеся волосы. Она отказалась от предложения Энтони вызвать

такси и на минуту задержалась в дверях.

— Ты непременно женишься, — уверенно заявила Джеральдин. — Погоди, сам увидишь.

Энтони вертел в руках старый теннисный мяч и, ударив им об пол несколько раз, язвительно усмехнулся:

— Ты просто маленькая идиотка, Джеральдин.

В ответ девушка задорно улыбнулась:

— Неужели? Может, поспорим?

— Ну уж это полная глупость.

— Разумеется, как же иначе. И все-таки держу пари, что в течение года ты непременно на ком-нибудь женишься.

Энтони с силой ударил мячом об пол, и девушка подумала, что сегодня он особенно красив. Вместо обычного меланхоличного выражения в темных глазах светилось оживление.

— Послушай, Джеральдин, — изрек он наконец, — во-первых, нет на свете женщины, на которой бы мне хотелось жениться; во-вторых, у меня не хватит денег, чтобы содержать нас двоих; в-третьих, таким, как я, женитьба вообще решительно противопоказана; и наконец, в-четвертых, одна мысль о ней вызывает у меня глубочайшее отвращение.

Но Джеральдин только с умудренным видом

сощурила глаза и, цокнув в очередной раз языком, заявила, что ей надо торопиться, потому что уже очень поздно.

— Смотри же, позвони мне, — напомнила она, целуя Энтони на прощание. — В прошлый раз ты куда-то пропал на три недели.

— Непременно позвоню! — с жаром пообещал Энтони.

Закрыв за девушкой дверь, он вернулся в комнату и некоторое время стоял, погруженный в мысли, по-прежнему сжимая в руке теннисный мячик. Надвигалось очередное одиночество, один из периодов, когда Энтони бесцельно бродил по улицам или просто сидел подавленный за письменным столом и грыз карандаш. Это был уход в себя, не приносивший успокоения, неутоленная потребность выразить свои чувства, ощущение времени, проносящегося впустую мимо. Утешала лишь уверенность, что терять-то нечего, так как все усилия и достижения ничего не стоят.

Энтони чувствовал себя уязвленным и сбитым с толку. В сердцах он выплеснул свои эмоции вместе со словами, произнесенными вслух:

— Господи, да я и не думал о женитьбе!

Внезапно Энтони резким движением швырнул мяч через всю комнату, и тот, едва не угодив в

лампу, подпрыгнул несколько раз и замер на полу.

Солнечный свет и лунное сияние

Для званого ужина Глория заказала столик в «Каскадах» отеля «Билтмор», и когда приглашенные джентльмены встретились в начале девятого в холле, «этот тип Блокмэн» тут же попал под обстрел трех пар мужских глаз. Он оказался склонным к полноте евреем лет тридцати пяти, с выразительным румяным лицом в обрамлении гладких рыжеватых волос. Вне всякого сомнения, на деловых встречах этот человек производил самое благоприятное впечатление. Блокмэн направился к трем молодым людям, которые курили в сторонке в ожидании хозяйки вечера, и представился, проявляя несколько чрезмерную самоуверенность. Трудно сказать, заметил ли Блокмэн демонстративный ироничный холодок в свой адрес. Во всяком случае, по его поведению понять это не представлялось возможным.

— А вы, случайно, не в родстве с Адамом Пэтчем? — обратился он к Энтони, выпуская из ноздрей две тонкие струйки дыма.

В ответ по лицу Энтони пробежала тень улыб-

ки.

— Замечательный человек, — убежденно изрек Блокмэн. — Великолепный образец истинного американца.

— Разумеется, — согласился Энтони. — Вне всякого сомнения, так оно и есть.

«Как же я ненавижу этих типов, похожих на полусырое блюдо, — подумал Энтони с холодным раздражением. — Строят из себя хозяев жизни, а на самом деле взять бы, да и засунуть их обратно в печь на пару минут, чтобы довести до нужной кондиции!»

Блокмэн бросил взгляд на часы:

— Пора бы и барышням появиться…

От возмущения у Энтони перехватило дыхание. Ну, уж это выходит за всякие рамки…

— …впрочем, — широко улыбнулся Блокмэн, — всем известно, что с женщинами всегда так.

Трое молодых людей согласно кивнули в ответ, а Блокмэн стал рассеянно осматриваться по сторонам. Его придирчивый взгляд задержался на потолке, а потом скользнул вниз. Выражением лица он напоминал фермера со Среднего Запада, оценивающего урожай пшеницы, или актера, которому не терпится выяснить, наблюдают ли за ним в данный момент. Впрочем, все

благовоспитанные американцы ведут себя на людях подобным образом. Завершив обзор, он стремительно повернулся к неразговорчивой троице, полный решимости поразить юношей в самое сердце.

— Вы, вероятно, студенты? Из Гарварда, верно? Я видел, как ребята из Принстона побили ваших товарищей в хоккейном матче.

Бедолага. Снова промазал мимо цели. Молодые люди окончили университет три года назад и теперь следили только за крупными футбольными матчами. Не представляется возможным установить, понял ли Блокмэн после очередной неудачной остроты, что стал мишенью презрительных насмешек, так как…

В этот момент прибыла Глория. А за ней Мюриэл и наконец Рейчел. «Привет всем!» — торопливо бросила Глория, и обе девушки эхом повторили ее слова, после чего все три скрылись в туалетной комнате.

Минутой позже снова появилась Мюриэл в продуманном до мелочей наряде, который открывал гораздо больше, чем скрывал, и крадущейся походкой направилась к мужчинам. Она была в своей стихии: черные волосы гладко зачесаны назад, глаза ярко подведены, а следом тянется

шлейфом резкий запах крепких духов. Девушка изо всех сил старалась изобразить сирену или, попросту говоря, «роковую красавицу», покорительницу мужских сердец, безжалостно отвергающую надоевших поклонников, не гнушающуюся никакими средствами в достижении цели и равнодушно играющую чужими страстями. Эта женщина с пышными бедрами и неуемным стремлением походить на грациозную пантеру пленила Мори с первого взгляда. Пока еще несколько минут ждали Глорию, а заодно, по законам вежливости, вместе с ней и Рейчел, Мори был не в силах отвести от Мюриэл взгляд. А та вдруг отвернулась и, опустив ресницы, прикусила нижнюю губку, демонстрируя крайнее смущение. Упершись руками в бедра, она принялась покачиваться в такт мелодии:

— Вы когда-нибудь слышали такой изумительный рэгтайм? Стоит его заиграть, и я уже ничего не могу с собой поделать.

Мистер Блокмэн вежливо зааплодировал.

— Вам нужно выступать на сцене.

— Да я с радостью! — воскликнула Мюриэл. — А вы составите протекцию?

— Непременно.

С подобающей случаю скромностью Мюриэл

прекратила исполнять танцевальные пируэты и спросила Мори, что он «видел» в этом году. Мори решил, что речь идет о мире драматического искусства, и между ними начался оживленный обмен названиями спектаклей, который звучал примерно так:

М ю р и э л. Вы видели «Пег в моем сердце»?

М о р и. Нет, не видел.

М ю р и э л (*пылко*). Изумительно! Непременно посмотрите.

М о р и. А вы видели «Омара-Палаточника»?

М ю р и э л. Нет, но слышала, что вещь превосходная. Очень хочется посмотреть. А видели вы «Коктейль “Фэйр энд уормер”» Эвери Хопвуда?

М о р и (*с надеждой в голосе*). Да.

М ю р и э л. По-моему, ничего хорошего. Полная ерунда.

М о р и (*смиренно*). Совершенно верно.

М ю р и э л. Зато вчера я посмотрела «В рамках закона». Замечательно! А ходили вы на «Маленькое кафе»?

Беседа продолжалась, пока не исчерпался запас названий пьес. А Дик тем временем сосредоточил внимание на Блокмэне, твердо намереваясь выяснить, сколько крупиц золота можно извлечь

из этой бесперспективной породы.

— Я слышал, что все новые романы сразу же после публикации закупаются для киносценариев.

— Сущая правда. Безусловно, самое главное для фильма — добротный сюжет.

— Согласен.

— Так много романов перегружено разговорами и рассуждениями на темы психологии. Подобные произведения не представляют для нас ценности. На их основе невозможно создать что-то интересное на экране.

— Значит, прежде всего — интригующий сюжет, — проницательно заметил Ричард.

— Вот именно, сюжет — прежде всего… — Блокмэн вдруг оборвал речь на полуслове, его взгляд скользнул в сторону, и все остальные тоже погрузились в молчание, будто он поднял палец, призывая к вниманию. Из туалетной комнаты выходила Глория в сопровождении Рейчел.

В ходе ужина, помимо прочего, выяснилось, что Джозеф Блокмэн никогда не танцует, а наблюдает за другими со снисходительно-усталым видом взрослого, оказавшегося в детской компании. Он обладал чувством собственного достоинства и был человеком гордым. Уроженец Мюнхена, Блокмэн начал свою американскую карьеру

продавцом арахисовых орешков в бродячем цирке. В восемнадцать лет он выступал в цирковых репризах и вскоре стал управляющим, а потом и владельцем второсортного варьете. К тому времени, когда кинематограф из вызывающей любопытство новинки превратился в многообещающую индустрию, Блокмэн был честолюбивым молодым человеком двадцати шести лет, располагавшим некоторой суммой для вложения в дело. Не дававшие покоя амбиции в финансовой сфере сочетались у него с хорошим практическим знанием шоу-бизнеса. С той поры прошло девять лет. Развивающаяся киноиндустрия подняла и вынесла его наверх, вышвырнув десятки людей с лучшими финансовыми способностями, более богатым воображением и ценными практическими идеями. И вот теперь он сидит здесь и созерцает божественную Глорию, из-за которой юный Стюарт Холком покинул Нью-Йорк и отправился в Пасадену. Киноделец наблюдал за девушкой, точно зная, что сейчас она закончит танец, подойдет к столику и сядет по левую руку от него.

Блокмэн тешил себя надеждой, что Глория не станет медлить. Ведь устриц подали еще несколько минут назад.

А в это время Энтони, чье место находилось слева от Глории, танцевал с ней, упорно придерживаясь одной и той же четверти танцпола. Эти действия, на случай окажись здесь кавалеры без дам, являли собой деликатный намек на некоторые права в отношении партнерши и означали следующее: «Черт бы вас побрал! Не вздумайте сунуться!» Энтони умышленно давал понять, что отношения между ними глубоко личные и все остальные тут лишние.

— Знаете, — начал он, глядя на Глорию сверху вниз, — сегодня вы обворожительны.

Девушка встретилась с ним взглядом. Их разделяло всего несколько сантиметров.

— Благодарю… Энтони.

— Вообще-то вы так прекрасны, что даже делается как-то неловко и тревожно, — добавил он, на сей раз без улыбки.

— И вы очень милый.

— Вот славно! — рассмеялся Энтони. — Мы хвалим друг друга.

— А разве обычно вы ведете себя иначе? — быстро спросила Глория, будто поймав его на слове. Она поступала так всегда при малейшем намеке на свою особу, требующем объяснений.

Энтони понизил голос, и теперь в его тоне едва

улавливалась добродушная насмешка:

— А разве священнику полагается хвалить папу?

— Ну, не знаю… пожалуй, это самый изысканный и туманный комплимент из всех, что я слышала.

— Может, сказать пару банальностей?

— Нет, не трудитесь. Взгляните-ка лучше на Мюриэл! Да вот же, рядом с нами.

Энтони бросил взгляд через плечо. Искрящаяся щека Мюриэл покоилась на лацкане смокинга, принадлежащего Мори Ноублу, а напудренная рука обвилась вокруг его головы. Сам собой напрашивался вопрос, почему она не воспользовалась возможностью ухватить его за шиворот. Глаза Мюриэл то устремлялись в потолок, то блуждали по сторонам, бедра покачивались, и она что-то тихонько напевала во время танца. Сначала создавалось впечатление, что она переводит песню на неизвестный иностранный язык, но вскоре становилось ясно, что девушка пытается заполнить такты единственно знакомыми ей словами, которые являлись названием песенки:

Он поклонник регги,

Поклонник регги,

Большой поклонник регги,
Поклонник, поклонник,
Регги, регги, регги…

И дальше в том же духе. С каждым разом фразы становились все более непонятными и варварскими. Встречаясь с изумленными взглядами Энтони и Глории, Мюриэл одаривала их лишь слабой улыбкой и наполовину прикрывала глаза, давая понять, что мелодия завладела ее душой, повергая в исступленный и невероятно обольстительный экстаз.

Музыка закончилась, и они вернулись за столик, одинокий, но исполненный чувства собственного достоинства, обитатель которого поднялся им навстречу и встретил такой чарующей улыбкой, будто, пожимая руку, поздравлял с блистательным выступлением.

— Блокхед вечно не желает танцевать! По-моему, у него деревянная нога, — заметила Глория, обращаясь ко всем присутствующим за столом. Трое молодых людей от неожиданности вздрогнули, а джентльмен, которому были адресованы эти слова, поморщился.

За все время знакомства Блокмэна с Глорией это был единственный неприятный момент.

Девушка безжалостно коверкала его фамилию. Сначала называла Блокхаузом, а потом еще более оскорбительно — Блокхедом[36]. Пытаясь казаться ироничным, он настоятельно попросил Глорию звать его по имени, и та послушно исполнила просьбу, правда, всего несколько раз. Потом, смеясь и раскаиваясь в оплошности, Глория снова стала называть его Блокхедом.

Это было печально и очень неразумно.

— Боюсь, мистер Блокмэн сочтет нас толпой легкомысленных насмешников, — вздохнула Мюриэл, указывая в его сторону болтающейся на вилке устрицей.

— Именно так он и думает, — пробормотала Рейчел. Энтони стал вспоминать, произнесла ли она хоть слово за весь вечер. Пожалуй, нет. Это было ее первое замечание.

Мистер Блокмэн вдруг откашлялся и громким отчетливым голосом произнес:

— Напротив. Когда говорит мужчина, это дело обычное. За его спиной стоят тысячелетние традиции. Совсем иное дело — женщина. Она, как бы точнее выразиться… она является чудодейственным рупором грядущих поколений.

---

[36] notes: 36
Болван (*англ.*).

В ошеломляющей тишине, последовавшей за этим удивительным высказыванием, Энтони вдруг поперхнулся устрицей и торопливо прикрыл лицо салфеткой. Рейчел и Мюриэл, несколько удивленные, тихонько хихикнули. Их поддержали Дик и Мори. У обоих покраснели лица от отчаянных попыток сдержать рвущийся наружу хохот.

«Господи! — подумал Энтони. — Да он повторяет субтитры из фильма. Оказывается, этот тип их заучивает наизусть!»

Только Глория не проронила ни звука, устремив на мистера Блокмэна полный немого укора взгляд.

— Ради всех святых! Где вы это откопали?

Блокмэн бросил на Глорию растерянный взгляд, не понимая, куда та клонит, но уже в следующее мгновение пришел в себя и изобразил снисходительно-вежливую улыбку осведомленного умного человека, оказавшегося среди избалованных и испорченных юнцов.

Из кухни прибыл суп, но одновременно из бара вышел дирижер оркестра, лицо которого приобрело оттенок, свойственный людям после принятия большой кружки крепкого пива. Итак, суп оставили остывать, пока исполнялась бал-

лада под названием «Все на месте, кроме твоей жены».

Потом подали шампанское, и компания заметно повеселела. Мужчины, за исключением Ричарда Кэрамела, пили без стеснения, Глория и Мюриэл тоже то и дело отхлебывали из своих бокалов, и только Рейчел Джеррил даже не притронулась к спиртному. Во время исполнения вальсов они оставались за столиком, но танцевали под другие мелодии… все, кроме Глории, которая, похоже, устала и предпочитала сидеть, покуривая сигарету. Ленивое безразличие во взгляде девушки вдруг сменялось живым интересом, в зависимости от того, слушала ли она Блокмэна или наблюдала за хорошенькой женщиной, которую заметила среди танцующих пар. Энтони очень хотелось знать, что именно рассказывает Блокмэн Глории. А тот жевал сигару, перекатывая ее из одного угла рта в другой, и после ужина стал вести себя настолько развязно, что позволял себе достаточно вольные жесты.

В десять часов Глория и Энтони вышли танцевать, и когда удалились от столика, где их уже не могли слышать, девушка чуть слышно попросила:

— Ведите меня к двери. Хочу спуститься в апте-

карский магазин.

Энтони стал послушно продвигаться сквозь танцующую толпу в указанном направлении. В холле Глория его ненадолго покинула и появилась уже с накинутым на руку манто.

— Мне надо купить желатиновых пастилок, — шутливо извинилась она. — На сей раз ни за что не догадаетесь, зачем они понадобились. Просто тянет погрызть ногти, и я таки начну их грызть, если не достану пастилок. — Она вздохнула и уже в лифте продолжила: — Случается, грызу их целыми днями. Нервничаю и грызу себя. Простите за каламбур, я и не думала острить, слова сами собой сорвались с языка. Подумать только, Глория Гилберт — шутница.

Добравшись до нижнего этажа, они простодушно прошли мимо киоска со сладостями при отеле, спустились по широкой парадной лестнице вниз и, побродив по коридорам, нашли аптекарский магазин на вокзале Гранд-централ. Тщательно изучив прилавок с духами и косметикой, Глория купила желаемое, а потом, повинуясь взаимному невысказанному порыву, они взялись за руки и направились прочь от места, откуда пришли, прямо на Сорок третью улицу.

Ночь дышала оттепелью, и чувство, что вот-вот

наступит тепло, было таким сильным, что легкий ветерок, гулявший вдоль тротуара, навеял Энтони образ невозможной сейчас весны с цветением гиацинтов. Над головой, в синем продолговатом небе, и вокруг, в ласковом колыхании воздуха, парила зыбкая иллюзия, сулящая новые времена, которые принесут освобождение от удушливой и затхлой атмосферы, из которой они только что спаслись бегством. На короткий миг шум автомобилей и журчание воды в сточных канавах показались продолжением мелодии, под которую совсем недавно танцевали. Энтони заговорил, и его слова сложились из затаившего дыхание желания, которое ночь зародила в их сердцах.

— Давайте возьмем такси и немного прокатимся, — предложил Энтони, не глядя на девушку.

Ах, Глория, Глория!

Такси скучало у бордюра, а когда тронулось с места и, подобно кораблю в океанских просторах, затерялось среди первобытных громад зданий и то затихающих, то звучащих с новой силой криков и металлического скрежета, Энтони обнял девушку, привлек к себе и поцеловал в по-детски влажные губы.

Глория молчала и только подняла к нему бледное лицо, по которому, как лунное сияние сквозь

листву, бродили пятна света и тени. Ее глаза казались сияющей рябью на белой глади лица-озера, а тень от волос обрамляла чело резкой сумрачной кромкой. Ни о какой любви не шло и речи. Ни намека на любовь. Красота Глории была холодной, как напитанный сыростью ветер, как влажная нежность ее губ.

— При этом свете вы словно лебедь, — прошептал Энтони.

Наступила журчащая тишина. Молчание, готовое вот-вот разбиться вдребезги. И удержать его, окунаясь в забвение, сохранить ощущение, что Глория еще здесь, словно пойманное во мраке невесомое перышко, летящее сквозь мрак, можно только крепче сжимая ее в объятиях. Энтони, ликуя, беззвучно засмеялся, поднял голову и отвернулся от девушки, чтобы скрыть переполняющий его восторг, при виде которого нарушится изумительная недвижность ее черт. А поцелуй… он уподоблялся прижатому к лицу цветку, который никак не опишешь, да и вспомнить едва ли удастся; словно сияние, излучаемое ее красотой, пролетая мимо, нечаянно опустилось на сердце Энтони и уже начало таять.

Здания отступили, превращаясь в неясные тени. Они уже ехали по Центральному парку, и

спустя некоторое время величественным белым призраком проплыл мимо Метрополитен-музея, откликаясь звонким эхом на шум такси.

— Боже мой, Глория! Боже мой!

Ее глаза смотрели на Энтони сквозь глубину тысячелетий. И все чувства, что она могла испытывать, все слова, что могла произнести, казались неуместными в сравнении с естественностью ее молчания, совершенно невыразительными и неубедительными на фоне ее красноречивой красоты… и тела, изящного и безразличного, так близко от Энтони.

— Попросите таксиста повернуть назад, — пробормотала Глория, — и пусть поторопится.

* * *

В зале было жарко. Стол, загроможденный пепельницами и салфетками, выглядел старым и утратившим свежесть. Энтони и Глория вошли во время перерыва между танцами, и Мюриэл Кейн встретила их не в меру шаловливым взглядом.

— И где же вы пропадали?

— Ходили звонить матери, — холодно откликнулась Глория. — Я обещала. Мы разве пропустили танец?

Потом произошел случай сам по себе незначи-

тельный, который Энтони по веским причинам вспоминал много лет спустя. Джозеф Блокмэн, откинувшись на спинку стула, устремил на него странный взгляд, в котором невероятным и запутанным образом смешалось несколько разных чувств. При виде Глории он лишь привстал со стула и тут же вернулся к разговору с Ричардом Кэрамелом о влиянии литературы на кинематограф.

Волшебство

Неистовое, нежданное чудо, свершившееся ночью, угасает вместе с медленной смертью последних звезд и преждевременным появлением мальчишек, торгующих газетами. Яркое пламя костра уменьшается до размеров тлеющего вдалеке платонического огонька; железо уже не раскалено добела, и из догорающих углей ушел жар.

Вдоль книжных полок, занимавших всю стену в библиотеке Энтони, дерзко полз холодный тонкий лучик солнечного света, безразлично, а порой с осуждением скользя по лицам Терезы Французской, Энн-суперженщины, Дженни из «Восточного балета» и Зюлейки-Волшебницы…

и, наконец, уроженки Индианы Коры. Потом он нырнул вниз, в глубины столетий, с жалостью задерживаясь на призраках Елены, Таис, Саломеи и Клеопатры, которым до сих пор не дают покоя.

Энтони, умытый и выбритый, сидел в самом уютном из кресел и наблюдал за лучиком, пока тот не исчез с восходом солнца, сверкнув на прощание по ворсинкам ковра.

Было десять часов утра. У ног Энтони валялась «Санди таймс». Из фотографий, передовой статьи, страниц, посвященных проблемам общественности, а также из спортивных новостей следовало, что за последнюю неделю мир сильно преуспел в деле продвижения к некой блистательной, хотя и не слишком ясной цели. За это время Энтони со своей стороны один раз навестил деда, дважды встретился с брокером и трижды побывал у портного… а в последний час последнего дня недели поцеловал прелестную, изумительно красивую девушку.

Когда Энтони добрался до дома, его воображение переполняли возвышенные, непривычные мечты. Вдруг исчезли все вопросы, не стало вечной проблемы, связанной с решениями, которые приходилось менять. Он испытывал чувство, не имеющее ничего общего ни с плотскими страстя-

ми, ни с разумом. Его даже нельзя было назвать сочетанием обеих упомянутых сфер. В данный момент Энтони всецело поглотила любовь к жизни, вытеснив все остальное, и он был согласен оставить это переживание обособленным от мира и сохранить его уникальность.

Энтони пришел к беспристрастному выводу, что ни одна из знакомых ему женщин не выдерживает никакого сравнения с Глорией. Она была абсолютно естественной и невероятно искренней. В этом Энтони нисколько не сомневался. Рядом с ней две дюжины школьниц и дебютанток, молодых замужних дам, бродяжек и беспутных девиц, с которыми Энтони имел дело, казались толпой особей женского пола в самом презрительном смысле слова. Призванные вынашивать и рожать детей, они источали вокруг себя едва уловимый запах пещеры и детской.

До сих пор, насколько понимал Энтони, Глория не подчинилась его воле и не тешила тщеславия… разве что утешала уже сама радость от общения с ней. Действительно, у него не было причин думать, что Глория подарила ему нечто большее, чем всем остальным. И это естественно. Мысль о некой запутанной ситуации, возникшей после вчерашнего вечера, была расплывчатой

и вызывала отвращение. Да и Глория отреклась от этого эпизода и погребла как полный обман. Просто двое молодых людей, обладающих достаточным воображением, чтобы отличить игру от действительности, случайной небрежностью своих встреч и развития дальнейших отношений заявляли, что сложившееся положение дел их нисколько не ранит.

Придя к такому заключению, Энтони направился к телефону и позвонил в отель «Плаза». Глории дома не оказалось, и мать не знала ни куда она ушла, ни когда придет.

И тут стало совершенно ясно, что все прежние размышления о вчерашнем случае изначально ошибочны. В отсутствии Глории просматривалась бездушность, граничащая с непристойностью, и Энтони подумалось, что своим уходом из дома девушка намеренно ставит его в неловкое положение и по возвращении с довольной улыбкой примет известие о его звонке. Как неосмотрительно с его стороны! Надо было выждать несколько часов и дать Глории понять: он тоже не принимает всерьез вчерашний случай. Непростительная глупость! Еще возомнит, что Энтони теперь считает себя фаворитом, которому оказана особая милость, и придает без всяких на

то оснований важное значение, по сути, банальному эпизоду, а это уж совершенно нелепо.

Энтони вспомнил, как в прошлом месяце прочел привратнику довольно запутанную лекцию о братстве людей, и тот счел это достаточным поводом, чтобы на следующий день явиться к нему домой и, устроившись на диване у окна, проболтать добрых полчаса. И Энтони вдруг пришел в ужас от мысли, что и Глория относится к нему точно так же, как он сам к злополучному привратнику. К нему, Энтони Пэтчу! Какой ужас!

Энтони и в голову не приходило, что он является пассивной игрушкой, которой управляет некая высшая сила, и Глория здесь ни при чем. Просто он играет роль светочувствительной пластинки, на которой делают фотографию. Неведомый фотограф-великан навел объектив на Глорию, щелк! — и бедной пластинке только остается воспринимать и удерживать изображение, следуя своему предназначению, как происходит со всеми предметами.

Но Энтони лежал на диване, уставившись на оранжевую лампу, беспокойно перебирал тонкими пальцами темные волосы и рисовал в воображении все новые картины. Вот сейчас Глория, наверное, в магазине, идет грациозной

походкой среди мехов и бархата, мягко шурша платьем в этом мире шелестящего шелка, смеха, льющегося легким сопрано, и аромата множества погубленных, но еще живых цветов. Все Минни, Перл, Джуэл и Дженни кружат возле нее, словно придворные дамы, разворачивая легкий как дымка воздушный креп-жоржет, тонкий шифон, в котором отражается нежная пастель ее лица, молочно-белое кружево, беспорядочным водопадом льющееся по шее. Дамастная ткань использовалась в то время только для одеяний священника и обивки мебели, а ткани Самарканда остались лишь в воспоминаниях поэтов-романтиков.

Вот Глория уже в другом месте, примеряет сотню шляпок, наклоняя головку в разные стороны в тщетных поисках искусственной вишенки, которая подойдет по цвету к ее губам, или перьев, таких же изящных, как ее гибкое тело.

Наступает полдень, и Глория спешит вдоль Пятой авеню, эдакий нордический Ганимед[37]. Полы шубки изящно развеваются на ходу, ветер, подобно живописцу, прикасается невидимой кистью к щекам, и они загораются румянцем, дыхание вырывается восхитительным легким

[37] notes: 37

Ганимед — прекрасный троянский юноша, которого похитил Зевс и сделал виночерпием на Олимпе.

облачком тумана в бодрящем морозном воздухе. Вращаются двери отеля «Ритц», толпа расступается, и десятки мужских глаз, загоревшись восторгом, устремляются на ту, что вернула забытые мечты мужьям всех этих тучных, до нелепости смешных женщин.

Уже час пополудни. Глория вонзает вилку в сердце обожающего ее артишока, а ее спутник роняет бессмысленные фразы, обычные для мужчины в состоянии восторга.

Четыре часа. Маленькие ножки движутся в такт мелодии, лицо выделяется среди толпы, партнер счастлив, как щенок, которого погладили, и так же безрассуден, как приснопамятный торговец шляпами… А потом… потом наступит ночь и, возможно, еще одна оттепель. Огни рекламы зальют своим светом улицу. И кто знает? Может быть, с таким же безумцем, как Энтони, они попробуют воссоздать картину игры света и теней, увиденную на притихшей улице прошлой ночью. И может быть, ах, может быть, им это удастся! Тысячи такси будут дремать на тысячах перекрестков, и только для него тот поцелуй утрачен безвозвратно. В тысяче обличий Таис подзовет такси и поднимет лицо, жаждущее любви и нежности. И в ее бледности будет очаро-

вание невинности, а поцелуй — целомудренным, как лунный свет…

В волнении он вскочил на ноги. Как некстати, что ее нет дома! Энтони наконец понял, чего хочет: снова поцеловать Глорию, обрести покой, растворившись в ее потрясающей невозмутимости. Только она навсегда положит конец беспокойному недовольству.

Энтони оделся и вышел на улицу, что следовало сделать гораздо раньше, и направился к Ричарду Кэрамелу, слушать окончательную редакцию последней главы «Демонического любовника». Он не звонил Глории до шести часов, не мог ее застать до восьми, и — о, вершина унижения! — она назначила свидание только во вторник после обеда. Энтони с силой бросил трубку на рычаг, и об пол звякнул отломившийся гуттаперчевый осколок.

Черная магия

Во вторник стоял ледяной холод. Промозглым днем, ровно в два часа Энтони пришел к Глории и, в замешательстве пожимая ей руку, усомнился, целовал ли он эту девушку. Теперь в события той ночи верилось с трудом, и у Энтони возникли

серьезные опасения, что Глория даже не помнит о них.

— В воскресенье я звонил вам четыре раза, — сообщил он.

— Правда?

В ее голосе слышалось удивление, а лицо выражало интерес. Энтони мысленно проклинал себя за откровенность. Мог бы сообразить, что такая ничтожная победа не польстит ее гордости. Даже сейчас он не догадывался о правде, не понимал, что не привыкшая добиваться внимания мужчин Глория редко прибегала к робким уловкам, заигрываниям и кокетству, являющимся обычными приемами дочерей Евы. Если Глории нравился мужчина, добиться цели не составляло труда. Но стоило возникнуть подозрению, что она влюбилась, и незамедлительно следовал окончательный и бесповоротный разрыв. Ее красота неизменно себя оберегала.

— Я очень хотел вас увидеть, — без обиняков признался Энтони. — Нам нужно поговорить, и чтобы никто не мешал, только мы вдвоем. Что скажете?

— Как вас понимать?

Энтони сглотнул застрявший в горле ком, верный признак паники. Ему казалось, Глория знает,

чего он хочет.

— Ну, не за чайным столом, — уточнил он.

— Хорошо, только не сегодня. Мне нужно размяться. Давайте прогуляемся!

На улице стоял пробирающий до костей холод и промозглая сырость. Всю губительную ненависть, которую скопил в своем бешеном сердце февраль, он вложил в ледяной ветер, прорывающийся в отчаянии через Центральный парк и дальше, по Пятой авеню. Разговаривать не представлялось возможным, и от испытываемого неудобства Энтони сделался рассеянным. Свернув на Шестьдесят первую улицу, он неожиданно обнаружил, что Глории рядом нет. Оглядевшись по сторонам, увидел в полутора метрах ее неподвижную фигурку. Лицо, наполовину скрытое воротником шубки, выражало не то гнев, не то насмешку, что именно, не разобрать. Энтони поспешил назад.

— Не стоит из-за меня прерывать прогулку! — воскликнула Глория.

— Ради Бога, простите, — пробормотал в смущении Энтони. — Я слишком быстро иду?

— Я замерзла, — объявила девушка. — И хочу домой. И вы действительно слишком быстро идете.

— Простите.

Теперь уже рядом, они направились в сторону отеля «Плаза». Энтони очень хотелось увидеть ее лицо.

— Обычно в моем обществе мужчины не погружаются столь глубоко в свои мысли.

— Извините.

— Это действительно очень интересно.

— Слишком холодно для прогулки, — торопливо откликнулся Энтони, скрывая раздражение.

Глория ничего не ответила, и Энтони гадал, попрощается ли она у дверей отеля. Ни слова не говоря, девушка зашла внутрь и уже в лифте бросила через плечо:

— Вам, пожалуй, стоит подняться наверх.

Энтони колебался лишь долю секунды.

— Зайду лучше в другой раз.

— Как хотите, — обронила Глория куда-то в сторону. В данный момент главной заботой в жизни являлся выбившийся из прически локон, который она поправляла перед зеркалом в лифте. На ее щеках горел румянец, глаза сияли, и никогда еще она не казалась такой прелестной и изящной и такой желанной.

Презирая себя, он, словно раб, плелся по коридору десятого этажа за Глорией, а потом ждал в гостиной, пока она сбросит с себя меха. Что-то не

сложилось, и в собственных глазах Энтони частично утратил достоинство, а вернее, потерпел полное поражение в непредвиденном, но весьма важном сражении.

Однако когда Глория снова появилась в гостиной, Энтони с помощью изощренной софистики уже все себе объяснил и теперь испытывал удовлетворение. В конце концов он сделал решительный шаг. Хотел подняться наверх и поднялся. И все же события сегодняшнего дня привели к унижению, которое он пережил в лифте; эта девушка доставляла нестерпимые огорчения, и когда она вошла в комнату, Энтони не сдержался, давая волю накопившемуся раздражению.

— Глория, а что представляет собой этот Блокмэн?

— Деловой партнер отца.

— Странный тип!

— И вы ему не нравитесь, — с улыбкой сообщила Глория.

Энтони рассмеялся:

— Весьма для меня лестно. Он явно считает меня, как бы это сказать… — Энтони неожиданно оборвал речь на полуслове. — Он в вас влюблен?

— Понятия не имею.

— Ну как же? — не унимался он. — Разумеется,

влюблен! Не забуду его взгляд, когда мы вернулись к столу. Если бы вы не придумали историю с телефонным звонком, он наверняка натравил бы команду статистов и приказал потихоньку со мной расправиться.

— Вовсе нет, Блокмэну безразлично. Я потом ему рассказала, что произошло.

— Рассказали… ему?!

— Он же спросил.

— Мне это не нравится! — возмутился Энтони.

Глория снова рассмеялась.

— Неужели?

— Какое ему дело?

— Никакого, именно потому я и рассказала.

Энтони в смятении закусил губу.

— А с какой стати я должна лгать? — спросила она без обиняков. — Я не стыжусь ни одного своего поступка. Ему стало интересно, целовалась ли я с вами, ну а я была в хорошем настроении и удовлетворила его любопытство простым и четким «да». Будучи человеком в своем роде разумным, он оставил в покое эту тему.

— И только сказал, что ненавидит меня.

— А это вас тревожит? Ну что ж, если непременно надо докопаться до всех подробностей такого исключительно важного дела, он не говорил,

что вас ненавидит. Просто мне это известно и без слов.

— Меня нисколько не…

— Ах, давайте прекратим! — с горячностью воскликнула Глория. — Мне совершенно не интересно.

Ценой неимоверного усилия Энтони заставил себя поменять тему разговора, и они окунулись в древнюю игру вопросов и ответов, касающихся прошлого друг друга, постепенно теплея душой, по мере того как в старых воспоминаниях выявлялось сходство во вкусах и мыслях. Они пускались в откровения больше, чем сами того хотели, но оба делали вид, что принимают речи собеседника за чистую монету, хотя бы для видимости.

Близость между людьми устанавливается и крепнет следующим образом. Сначала каждый представляет себя в самом выгодном свете, создает яркий, законченный портрет, приукрашенный ложью с долей юмора. Потом понадобятся подробности, и создается второй, а затем и третий портрет. Очень скоро самые лучшие черты стираются, и сквозь них проступает тщательно скрываемая тайна. Плоскостные проекции картин перемешиваются, окончательно разоблачая нас, и хотя мы продолжаем вносить поправки,

продать такой портрет уже нельзя. Приходится тешить себя надеждой, что дурацкий и пустой образ самих себя, который мы предлагаем нашим женам, детям и коллегам по бизнесу, люди примут за правду.

— Мне кажется, — убежденно говорил Энтони, — что положение человека, не имеющего ни обязательств, ни честолюбия, весьма незавидно. Господь свидетель, грех жаловаться, но порой я завидую Дику.

Молчание Глории его воодушевило. Вряд ли можно ждать от нее более весомого одобрения.

— Для джентльмена, располагающего свободным временем, всегда найдутся более созидательные занятия, чем загрязнение ландшафта дымом или манипулирование чужими деньгами. Разумеется, в первую очередь речь идет о науке. Иногда я жалею, что не получил достойной подготовки, скажем, в техническом колледже при Бостонском университете. Однако теперь мне пришлось бы корпеть над основами физики и химии два года.

Глория зевнула.

— Я же говорила, что не знаю, кому и чем следует заниматься, — заявила она весьма нелюбезным тоном, и при виде ее безразличия в душе

Энтони вновь закипел гнев.

— Неужели вас ничего не интересует, кроме собственной персоны?

— Мало что.

Энтони сверкнул на девушку глазами. Растущая в душе радость от беседы разбилась вдребезги. Весь день Глория была раздражительной и как будто за что-то мстила. В эту минуту Энтони ненавидел ее непробиваемый эгоизм. С угрюмым видом он уставился на огонь в камине. И тут случилось нечто странное. Глория повернулась к нему и улыбнулась. И при виде ее улыбки весь гнев и обида от уязвленного самолюбия свалились словно шелуха, будто все его переживания являлись внешним отражением настроения Глории и ни одно чувство не могло зародиться в груди, пока она не сочтет нужным потянуть за всемогущую веревочку.

Энтони придвинулся ближе и, взяв Глорию за руку, нежно привлек к себе, а она прильнула к его плечу. Девушка подняла голову, улыбнулась, и Энтони ее поцеловал.

— Глория, — прошептал он едва слышно. Она снова сотворила волшебство, нежное и заполняющее собой все пространство, словно сладкий запах разлитых духов, перед которым невозмож-

но устоять.

Потом, ни на следующий день, ни много лет спустя он не мог вспомнить важные детали того дня. Вызвали ли они у Глории какие-нибудь чувства? Говорила ли она что-то в его объятиях или молчала? Какую радость получила от его поцелуев? И забылась ли хоть на мгновение?

В отношении себя у Энтони сомнений не возникло. Вскочив на ноги, он принялся в возбуждении мерить комнату шагами. Вот такой и должна быть девушка — свернуться калачиком в уголке дивана, словно ласточка, только что возвратившаяся из стремительного полета, и смотреть на него загадочными глазами. А он прекратит метаться взад-вперед и, поначалу всякий раз смущаясь, обовьет ее стан руками и станет искать губы для поцелуя.

Энтони называл Глорию обворожительной, говорил, что никогда прежде не встречал такой девушки, с небрежным изяществом, но вполне серьезно просил прогнать его прочь; он не хочет влюбляться и больше не собирается с ней встречаться, она уже и так играет непомерно важную роль в его жизни.

Какая восхитительная романтическая история! Энтони не испытывал ни страха, ни сожалений,

только всепоглощающее счастье находиться рядом с ней, которое скрашивало банальность сказанных слов, превращало сентиментальную слащавость в грусть, придавая позерству мудрый вид. Конечно, он придет еще и будет возвращаться снова и снова. Давно следовало это понять!

— Вот и все. Было замечательно узнать вас ближе. Удивительное, прекрасное чувство. Но так не может продолжаться. Нет, не может.

Произнося эти слова, он испытывал дрожь, которую мы часто принимаем у себя за искренность.

Впоследствии он вспоминал одну из реплик Глории в ответ на свой вопрос. Она запомнилась именно в такой форме, хотя, возможно, Энтони неосознанно кое-что изменил и приукрасил. «Женщине следует научиться целовать мужчину романтично и нежно, не испытывая при этом желания стать его женой или любовницей».

И как всегда случалось в ее обществе, Глория, казалось, становилась все старше, и в конце концов в ее глазах застывал зимний холод от размышлений, слишком глубоких, чтобы их выразить словами.

Прошел час. В камине порой вспыхивал огонь, словно наслаждаясь своей угасающей жизнью.

Было уже пять часов, о чем известили часы на каминной полке. И тогда, будто нечастые резкие удары напомнили дремлющему в Энтони животному инстинкту, что с этого цветущего дня опадают лепестки, он торопливо поставил Глорию на ноги и едва не задушил поцелуем, который не был ни игрой, ни положенной в подобных случаях данью.

Руки Глории бессильно повисли вдоль тела, но она тут же высвободилась из его объятий.

— Не надо! — спокойно попросила она. — Я так не хочу.

Она уселась в дальнем уголке дивана, устремив взгляд в пространство. Девушка нахмурилась, и между бровей образовалась морщинка. Энтони опустился рядом с ней и взял ее за руку. Она была безжизненной и безразличной.

— В чем дело, Глория? — Он сделал жест, будто хотел обнять, но девушка отодвинулась в сторону.

— Я так не хочу, — повторила она.

— Простите, — сказал он с некоторым раздражением, — не знал, что вы столь чувствительны и способны улавливать такие тонкие различия.

Она ничего не ответила.

— И вы не поцелуете меня, Глория?

— Не хочу.

Энтони казалось, что она остается неподвижной уже долгие часы.

— Неожиданная перемена, не правда ли? — Раздражение в его голосе нарастало.

— Неужели? — Казалось, Глория потеряла к нему всякий интерес и смотрела как на незнакомого человека.

— Пожалуй, я пойду.

Ответа не последовало. Он поднялся с места и бросил на девушку сердитый взгляд, в котором сквозила неуверенность, и снова сел.

— Ах, Глория, Глория, неужели вы меня не поцелуете?

— Нет, — откликнулась она, едва шевеля губами.

Он снова вскочил на ноги, теперь уже не так решительно, теряя уверенность.

— Тогда я ухожу.

В ответ молчание.

— Что ж, я пошел.

Он осознавал безнадежную банальность своих слов. Сама атмосфера в комнате действовала на него угнетающе. Энтони хотел, чтобы Глория заговорила, набросилась на него с бранью и упреками, закричала, все, что угодно, только

не заполняющее пространство ледяное молчание. Он проклинал себя, называя никчемным дураком, и самым сильным желанием было обидеть Глорию, увидеть, как она вздрогнет от боли. Чувствуя собственную беспомощность, он непроизвольно допустил очередную ошибку.

— Если вы устали со мной целоваться, я лучше уйду.

Энтони увидел, как скривились губы девушки, и остатки достоинства его покинули. Наконец Глория заговорила:

— По-моему, вы уже несколько раз произнесли эту фразу.

Энтони огляделся по сторонам и, увидев на стуле пальто и шляпу, стал неуклюже натягивать их на себя, испытывая невыносимые мучения. Бросив напоследок взгляд на диван, он понял, что Глория даже не повернула головы и вообще не пошевелилась. Пробормотав дрожащим голосом «Прощайте!» и тут же об этом пожалев, он стремительно выбежал из комнаты, совершенно не заботясь о достоинстве.

Некоторое время Глория сидела тихо, по-прежнему скривив губы. Она смотрела прямо перед собой, и во взгляде сквозило высокомерное отчуждение. Потом ее глаза чуть затуманились, и

она прошептала два слова, обращаясь к обреченному на смерть огню в камине:

— Прощай, осел!

Паника

Человеку нанесли тяжелейший в жизни удар. Он наконец понял, чего хочет, но тут же навеки утратил возможность обрести желаемое. До дома Энтони добрался в жалком состоянии, рухнул в кресло, не сняв пальто, и просидел так больше часа, а его мысли в отчаянии блуждали по лабиринтам, выстроенным в процессе бесполезного и мучительного самоанализа. Глория прогнала его прочь! Этот факт давил вечным бременем безысходности! Вместо того чтобы схватить девушку в объятия и, удерживая силой, подчинить своей страсти, вместо того чтобы сокрушить ее волю могуществом своего духа, он ушел поверженный и беспомощный, с горестно опущенными уголками губ. И если в его скорби и гневе сохранились остатки силы, их было невозможно рассмотреть за повадками школьника, которого выпороли розгами. А ведь одно мгновение он нравился Глории, и даже очень. Ах, да она уже почти влюбилась. Но уже в следующую минуту потеряла к

нему всякий интерес и подвергла продуманному унижению как мужчину, допустившего непростительную дерзость.

Энтони не занимался самобичеванием, разве что самую малость, но сейчас его волновали гораздо более важные вещи. Он был даже не влюблен в Глорию, а просто полностью потерял по ее милости рассудок. Пока она снова не будет рядом, пока он не прижмет ее, уже покорную, к груди и не покроет поцелуями, ничего другого от жизни не надо. Три минуты полного, убийственного безразличия подняли девушку с довольно высокого, хотя и несколько ненадежного места, которое она занимала в душе Энтони, и вознесли на недосягаемый пьедестал, превратив в смысл всей жизни. И сколько бы ни метались его сумасбродные мысли между страстным желанием целовать Глорию и столь же неистовым стремлением причинить ей боль и страдания, в потаенных уголках сознания теплилась более возвышенная мечта обладать этой победоносной душой, которая сияла в течение трех незабываемых минут. Глория была прекрасна и, самое главное, безжалостна, и Энтони должен овладеть той неприступной силой, что сумела прогнать его прочь.

Однако в данный момент Энтони не имел сил на такой тонкий анализ. Ясность ума, все неисчерпаемые ресурсы, которые, как он полагал, обеспечила ирония, были отметены в сторону. Не только в тот вечер, но и в последующие дни и недели книги превратились для него всего лишь в предмет мебели, а друзья — в людей, живущих и движущихся в расплывчатом внешнем мире, от которого он старался убежать. Этот мир был холодным, там дул промозглый ветер, а Энтони вдруг на мгновение заглянул в теплый дом, где в камине горит огонь.

Около полуночи он почувствовал, что проголодался, и направился на Пятьдесят вторую улицу, а там стоял страшный холод, и дыхание застывало льдинками в уголках губ и на ресницах, мешая открыть глаза. С севера накатил мрак и окутал тусклую безрадостную улицу с редкими прохожими, чьи закутанные черные силуэты казались еще темнее на фоне ночи. Люди ковыляли по тротуару сквозь завывания ветра, осторожно волоча ноги, будто на них надеты лыжи. Энтони свернул на Шестую авеню, погруженный в свои мысли, не замечая подозрительных взглядов прохожих, брошенных в его сторону. Он шел в расстегнутом нараспашку пальто, под которое

задувал пронизывающий ветер, несущий безжалостную смерть.

Через некоторое время к нему обратилась официантка, толстая женщина в очках в черной оправе, с которых свисал черный шнурок.

— Будьте добры, заказывайте!

Голос официантки показался без нужды громким, и Энтони с возмущением поднял глаза.

— Так будете заказывать или нет?

— Разумеется, буду, — ответил с раздражением Энтони.

— Я обращаюсь к вам уже в третий раз. Здесь вам не общественный туалет.

Он бросил взгляд на большие часы и с изумлением обнаружил, что они показывают третий час. Энтони сообразил, что находится в районе Тридцатой улицы, и в следующее мгновение прочел расположенные белым полукругом перевернутые буквы на витринном стекле: ЧАЙЛД. Посетителей было мало, три или четыре дрожащих от холода полуночника.

— Будьте добры, принесите яичницу с беконом и кофе.

Официантка напоследок наградила его полным отвращения взглядом и поспешно удалилась. Очки на шнурке придавали ей до смешного за-

умный вид.

Господи! Поцелуи Глории словно цветы. Энтони предавался воспоминаниям, словно все произошло много лет назад: ее полный свежести грудной голос, прекрасные линии тела, просвечивающие сквозь одежду, лилейное лицо в свете уличных фонарей… уличных фонарей.

Боль с новой силой обрушилась на Энтони, и к ней примешивались страх и тоска. Он потерял Глорию. Такова правда, ее нельзя ни отрицать, ни смягчить. И вдруг сердце обожгла неожиданная мысль. Господи, Блокмэн! Что теперь будет? Богатый человек, достаточно умудренный опытом прожитых лет, чтобы проявить терпимость в отношении красавицы жены, потакать ее капризам, потворствовать глупым выходкам, обращаться так, как, возможно, хочется ей самой, носить ярким цветком в петлице, храня и оберегая от всех перипетий и страхов. Энтони догадывался, что Глория, пусть и не всерьез, подумывала о возможности выйти замуж за Блокмэна, и вполне возможно, разочарование в Энтони толкнет ее прямо в объятия к кинодельцу.

При этой мысли Энтони охватила ребяческая ярость. Ему хотелось убить Блокмэна, заставить заплатить за омерзительную самонадеянность.

Стиснув зубы, с глазами, горящими ненавистью и страхом, он снова и снова повторял про себя одну и ту же фразу.

И все-таки, несмотря на неистовую до неприличия ревность, Энтони наконец полюбил — глубоко и искренне, как только мужчина может любить женщину.

Возле локтя поставили чашку с дымящимся кофе, который постепенно остывал. Ночной смотритель, сидевший за конторкой, поглядывал на неподвижную фигуру за последним столиком, а потом, вздохнув, направился в ее сторону как раз в тот момент, когда стрелка на больших часах пересекла цифру три.

Мудрость

Прошел еще один день, смятение утихло, и Энтони обрел способность рассуждать более или менее разумно. Он влюблен и в порыве страсти выкрикивает про себя этот факт. Обстоятельства, которые еще неделю назад казались непреодолимым препятствием — скромный доход, стремление не брать на себя ответственность и любой ценой сохранять независимость, — вихрь безумной любви разметал в разные стороны как

солому. Если он не женится на Глории, жизнь превратится в жалкую пародию на собственную юность. Чтобы общаться с людьми и выдерживать неотступные мысли о Глории, которые заполнили все его существование, нужно обрести надежду. И он с отчаянным упорством стал строить эту надежду из своей мечты, надежду слишком зыбкую, чтобы на нее рассчитывать, надежду, которая дает трещину и рассыпается в прах по десять раз на дню, надежду, взлелеянную насмешкой, но, несмотря ни на что, надежду, на которой основано самоуважение.

Память коротка, рассуждал Энтони.

Действительно, так коротка. Вот президент треста в критический момент выступает в качестве свидетеля на суде, он потенциальный преступник, еще немного — и сядет в тюрьму. Его презирают все честные граждане в округе. Предположим, его оправдали — и через год история забыта. «Да, у него однажды были неприятности, но я полагаю, чисто формального характера». О, память очень коротка!

Энтони встречался с Глорией дюжину раз, все свидания заняли вместе около двадцати четырех часов. Допустим, он оставит девушку в покое на месяц. Не станет искать встреч и повода начать

разговор, постарается не посещать места, где можно ее встретить. И кто знает, вдруг случится — тем более что Глория его никогда не любила, — что к концу этого срока вихрь событий сотрет его образ из сознания девушки, а вместе с образом и его обиду и унижение. Глория все забудет, потому что вокруг появятся другие мужчины. Энтони болезненно поморщился, вникая в смысл своих рассуждений. Другие мужчины… Два месяца… Господи! Уж лучше три, нет, две недели…

Эти мысли посетили Энтони на второй вечер после катастрофы, когда он раздевался перед сном. В смятении он упал на кровать и лежал так, уставившись на полог, а все тело била мелкая дрожь.

Две недели — это еще хуже, чем вообще ничего. Через две недели он подойдет к Глории, и все останется по-прежнему, как сейчас. Ни уважения к себе, ни уверенности. Для нее он останется мужчиной, который зашел слишком далеко, а потом на мгновение, оказавшееся на деле вечностью, расхныкался. Нет, две недели — слишком короткий срок. И требуется время, чтобы притупились мучительные переживания того дня. Да, надо дать Глории время, за которое инцидент сотрется из памяти, и тогда наступит новый период, когда

она постепенно начнет о нем думать, пусть и не всерьез, однако есть надежда, что вспомнится не только унижение Энтони, но и удовольствие, полученное в его обществе.

В конце концов он остановился на шести неделях как на промежутке времени, наиболее подходящем для намеченной цели, и, вычеркнув на настольном календаре дни, обнаружил, что срок заканчивается девятого апреля. Прекрасно, в этот день он позвонит и попросит разрешения зайти. А до тех пор — ни звука.

Приняв окончательное решение, Энтони почувствовал себя заметно лучше. Во всяком случае, он сделал шаг в направлении, указанном надеждой, и осознавал, что чем меньше станет думать о Глории, тем легче произведет желаемое впечатление при встрече.

В промежутке

Время шло, и, несмотря на то что сияние ее волос для Энтони ощутимо померкло, а после года разлуки, возможно, исчезло бы совсем, в течение намеченных шести недель выдалось немало отвратительных дней. Он страшился встречи с Диком и Мори, так как вообразил, что

друзьям известно о его позоре. Однако когда все трое встретились на квартире у Ричарда Кэрамела, в центре внимания оказался вовсе не Энтони. «Демонического любовника» решили без промедления издать, и Энтони почувствовал, что с этого момента отдаляется от друзей. Он больше не стремился обрести безмятежное тепло и уют в обществе Мори, которое еще в ноябре доставляло несказанную радость. Теперь это могла дать только Глория и никто иной. А потому успех Дика обрадовал лишь мимоходом и не на шутку встревожил. Он означал, что мир вокруг движется вперед, пишет, читает и издает книги. Одним словом — живет. А Энтони хотелось, чтобы вселенная, затаив дыхание, неподвижно выжидала шесть недель — пока Глория все забудет.

Две встречи

Самую большую радость Энтони приносила компания Джеральдин. Однажды он пригласил девушку на ужин, а потом в театр и несколько раз развлекал у себя дома. Джеральдин увлекала, но не так, как Глория. Она заглушала эротическое возбуждение, которое не давало покоя в обществе Глории. Не имело значения, как он целует Дже-

ральдин. Поцелуй и есть поцелуй, он и призван дать наибольшее удовольствие за короткий миг. Джеральдин все расставляла по строго установленным местам: поцелуй — одно дело, а то, что следует дальше, — совсем другое. В поцелуе нет ничего предосудительного, а вот остальное — это «плохо».

По истечении половины назначенного срока одно за другим произошли два события, нарушившие крепнувшее спокойствие Энтони и ставшие причиной временного рецидива.

Сначала он встретил Глорию. Встреча была короткой, оба раскланялись, что-то говорили, не слыша друг друга. А потом Энтони три раза кряду прочел колонку в «Сан», не понимая ни единого предложения.

Шестая авеню казалась местом вполне безопасным, и вот тебе на! Отказавшись от услуг парикмахера в отеле «Плаза», Энтони отправился утром в парикмахерскую за углом, намереваясь побриться. В ожидании своей очереди он снял пиджак и жилет и, расстегнув воротничок, стоял у парадной двери. День походил на оазис в холодной мартовской пустыне, и тротуар заполняли радостные толпы любителей солнца. Затянутую в бархат тучную даму с обвислыми от злоупотреб-

ления массажем щеками тащил за собой, словно вихрь, рвавшийся с поводка пудель. Картина напоминала океанский лайнер на буксире. Следом шел мужчина в синем костюме в полоску и белых гетрах, с усмешкой наблюдая за зрелищем. Встретившись с Энтони взглядом, он подмигнул ему сквозь стекло. Энтони рассмеялся, и тут же на него накатило настроение, когда все мужчины и женщины кажутся уродливыми нелепыми призраками с причудливыми изгибами и округлостями в состоящей из прямоугольников жизни, которая является их собственным творением. Они вызывали у Энтони те же чувства, что и странные до безобразия рыбы, обитающие в загадочном зеленом мире аквариумов.

Его внимание случайно привлекли еще два прохожих, мужчина и девушка. И вдруг, к ужасу Энтони, девушка оказалась Глорией. Он замер на месте, не в силах пошевелиться. Пара подошла ближе, и Глория его заметила. Глаза девушки расширились, а на лице появилась вежливая улыбка. Глория шевелила губами, их разделяло всего метра полтора, не больше.

— Как поживаете? — с глупым видом пробормотал Энтони.

Глория, счастливая, прекрасная и юная — в

обществе мужчины, которого Энтони прежде не встречал! Именно тогда, усевшись в освободившееся кресло, он три раза кряду прочел одну и ту же колонку в газете.

Вторая встреча произошла на следующий день. Около семи часов Энтони заглянул в бар «Манхэттен» и столкнулся лицом к лицу с Блокмэном. Посетителей в зале почти не было, и прежде чем мужчины узнали друг друга, Энтони уже устроился рядом с ним, и, таким образом, уклониться от разговора не представлялось возможным.

— Здравствуйте, мистер Пэтч, — довольно любезно приветствовал его Блокмэн.

Энтони пожал протянутую руку, и они обменялись традиционными замечаниями о колебаниях ртутного столба в термометрах.

— Часто сюда заходите? — поинтересовался Блокмэн.

— Нет, крайне редко. — Энтони предпочел умолчать, что до недавнего времени отдавал предпочтение бару отеля «Плаза».

— Замечательный бар, один из лучших в городе.

Энтони согласно кивнул. Блокмэн допил бокал и взялся за трость. Он был одет в смокинг.

— Ну, я тороплюсь. Ужинаю сегодня с мисс

Гилберт.

Из двух голубых глаз на Энтони глянула сама смерть. Если бы Блокмэн вдруг сообщил, что собирается прикончить собеседника, пережитое Энтони потрясение не стало бы сильнее. Молодой человек, должно быть, заметно покраснел от напряжения, так как каждый его нерв выражал яростный протест. Неимоверным усилием воли он заставил себя улыбнуться, и улыбка получилась натянутой и вымученной, а затем пробормотал принятое в подобных случаях «до свидания». В ту ночь Энтони заснул уже в пятом часу, обезумев от страха и горя, и до самого утра его терзали жуткие видения.

Слабость

Шла пятая неделя, и в один прекрасный день он позвонил Глории. Энтони сидел дома и старался занять себя чтением «Воспитания чувств». И что-то в этой книге подтолкнуло его мысли в направлении, которым, едва вырвавшись на волю, они следовали всегда, словно лошади, торопящиеся в родную конюшню. Дыхание неожиданно участилось, и Энтони направился к телефону. Когда он называл номер, голос прерывался и

дрожал, как у школьника. Телефонистка на центральной станции, должно быть, слышала удары его сердца. Щелчок снятой на другом конце трубки прозвучал трубным гласом, призывавшим на Страшный суд, а приторно-сладкий, как стекающий в банку кленовый сироп, голос миссис Гилберт поверг Энтони в ужас одним-единственным словом «Алло?».

— Мисс Глории нездоровится, она прилегла отдохнуть. А кто ее спрашивает?

— Никто! — выкрикнул Энтони.

Охваченный паникой, он с грохотом швырнул трубку на рычаг и упал без сил в кресло, задыхаясь и обливаясь холодным потом, но тем не менее испытывая при этом неожиданное облегчение.

Серенада

Он встретил Глорию словами: «А вы постригли волосы». И она ответила: «Да, правда здорово?»

Короткая стрижка еще не вошла в моду, это произойдет лет через пять или шесть, а в то время такая прическа считалась крайней дерзостью.

— На улице светит солнце, — с серьезным видом сообщил Энтони. — Не хотите прогуляться?

Глория надела легкое пальто и затейливую

пикантную шляпку бледно-голубого цвета а-ля Наполеон. По Пятой авеню они добрались до зоопарка и выразили должное восхищение невозмутимым величием слона и длинной шеей жирафа, а вот к домику, где жили обезьяны, не пошли, так как Глория заявила, что от них дурно пахнет.

Потом они отправились обратно к отелю «Плаза», болтая о пустяках и радуясь пению весны, наполнявшему воздух, и теплому благоуханию, окутавшему внезапно засиявший золотом город. Справа находился Центральный парк, а слева — нагромождение гранита и мрамора глухо нашептывало обращение неведомого миллионера, адресованное всем, кто его услышит. Звучало оно примерно так: «Я трудился и копил деньги, я оказался хитрее и изворотливее всех сыновей Адама, и вот теперь, черт возьми, сижу здесь! Да, вот так!»

По Пятой авеню разъезжали самые красивые автомобили последних моделей, а впереди маячил непривычно белый и манящий отель «Плаза». Глория ленивой плавной походкой шла чуть впереди Энтони, бросая время от времени небрежные замечания, которые, прежде чем достичь его слуха, несколько мгновений витали

в ослепительно искрящемся воздухе.

— Ах! — воскликнула девушка. — Так хочется уехать на юг, в Хот-Спрингс! Меня тянет на свежий воздух, просто поваляться на молодой травке и забыть, что на свете есть зима.

— Да, замечательно!

— Хочу услышать многоголосый галдеж малиновок. Люблю птиц.

— Все женщины и есть птицы, — осмелился заметить Энтони.

— И какая же я, по-вашему, птица? — живо поинтересовалась Глория.

— Наверное, ласточка, а иногда — райская птичка. Впрочем, большинство девушек — это серые воробышки. Взгляните вон на тех нянюшек. Ни дать ни взять — стайка воробьев, верно? А может, они, скорее, сороки? Разумеется, вы встречали девушек-канареек и девушек-малиновок.

— А еще девушки-лебеди и попугаи. А все пожилые женщины — ястребы или совы.

— А кто тогда я? Может быть, гриф?

Глория, смеясь, покачала головой:

— Нет, вы вообще не птица. Вы — русская борзая.

Энтони вспомнил этих собак. Белые и выглядят вечно голодными. Впрочем, их обычно изобра-

жают рядом с герцогами и принцессами, так что сравнение польстило.

— А вот Дик — фокстерьер, шаловливый фокстерьер, — продолжала Глория.

— А Мори — кот. — В то же мгновение Энтони подумал, что Блокмэн удивительно напоминает здоровенного противного кабана, но деликатно промолчал.

Потом, уже во время прощания, Энтони спросил Глорию о новой встрече.

— Неужели вы никогда не назначаете свиданий на весь день? — прошептал он умоляющим голосом. — Пусть это случится через неделю. По-моему, чудесно провести этот день вместе, с утра до вечера.

— Пожалуй, вы правы. — Глория на мгновение задумалась. — Давайте встретимся в следующее воскресенье.

— Прекрасно. Я составлю программу, рассчитаю все до минуты.

Так он и поступил. И даже продумал до мелочей, что произойдет за долгие два часа, когда Глория придет к нему домой на чай; старина Баундс откроет настежь окна, чтобы в квартиру шел свежий воздух, но надо непременно разжечь огонь в камине, а то будет чувствоваться сырость.

Большие прохладные вазы украсятся охапками цветов, которые Энтони купит специально для знаменательного случая. И они с Глорией сядут на диван.

Когда наступил долгожданный день, они действительно сидели на диване. Через некоторое время Энтони уже целовал девушку, потому что случилось это как-то само собой. Он ощутил дремлющую на губах Глории сладость, как будто никогда с ней не расставался. В камине ярко горел огонь, легкий ветерок, пробиваясь сквозь шторы, веял нежной влагой, предвещая грядущий май и долгое лето. Душа Энтони трепетала, отзываясь на чуть слышные мелодичные напевы; ему чудились аккорды далеких гитар и плеск волн, лижущих теплый средиземноморский берег. Потому что сейчас он был молод, как уже никогда больше не будет, и в этот момент победил смерть.

Шесть часов подкрались незаметно и быстро, о чем недовольно возвестили колокола на церкви Святой Анны. В сгущающихся сумерках они направились в сторону Пятой авеню, по которой после долгой зимы упругим шагом двигались толпы людей, словно выпущенные из тюрьмы узники. Верхние места в автобусах заполнили

прирожденные хозяева жизни, а магазины изобиловали прекрасными мягкими вещами для лета, удивительного, веселого и многообещающего лета, которое, казалось, предназначено для любви, так же как зима — для накопления денег. Жизнь распевала на углу, зарабатывая себе на ужин! Жизнь раздавала коктейли прямо на улице! В толпе встречались старухи, которые чувствовали, что способны принять участие в забеге на сто ярдов и выйти победителями!

В ту ночь, при выключенном свете, Энтони лежал без сна в залитой лунным светом прохладной комнате и перебирал в памяти каждую минуту минувшего дня. Как ребенок, который играет по очереди с долгожданными игрушками, полученными в подарок на Рождество. Целуя Глорию, он нежно прошептал, что любит ее. Девушка улыбнулась и, прижавшись теснее, глядя Энтони в глаза, тихо ответила: «Я счастлива». В ее отношении к Энтони произошла перемена, усилилось физическое влечение, которое выражалось в необычной эмоциональной напряженности. Достаточно, чтобы при одном воспоминании об этом руки сжимались сами собой, а дыхание в груди замирало. Никогда прежде не возникало между ними такой близости, и в порыве неопи-

суемого восторга Энтони громко крикнул на всю комнату о своей любви к Глории.

На следующее утро он позвонил, на сей раз не испытывая ни колебаний, ни неуверенности, только пьянящее возбуждение, которое лишь усилилось при звуках ее голоса.

— Доброе утро, Глория.

— Доброе утро.

— Звоню, чтобы просто пожелать тебе доброго утра… дорогая.

— Рада, что ты позвонил.

— Так хочется тебя увидеть!

— Увидишь завтра вечером.

— Долго ждать, верно?

— Да, — неохотно откликнулась она.

Энтони крепче сжал в руке трубку.

— А можно мне прийти сегодня вечером? — Он был готов на все в блаженном предвкушении почти сказанного в ответ «да».

— У меня свидание.

— Вот как…

— Но я могла бы… пожалуй, его можно отменить.

— О! — задыхаясь от восторга, воскликнул Энтони. — Глория?

— Что?

— Я люблю тебя!

После недолгого молчания из трубки донеслось:

— Я… я счастлива.

Счастье, как однажды заметил Мори Ноубл, длится всего лишь в течение первого часа после избавления от особо тяжкого страдания. Но надо было видеть лицо Энтони, когда он шел в тот вечер по коридору десятого этажа отеля «Плаза»! Его темные глаза сияли, а решительные линии возле рта представляли собой отрадное зрелище. Он был красив, как никогда, благодаря одному из бессмертных моментов, являющихся людям в лучах такого яркого света, что воспоминаний о нем хватает на долгие годы.

Энтони постучал в дверь и, когда ему ответили, зашел в комнату. Глория, вся в розовых одеждах, накрахмаленная и свежая, как цветок, неподвижно стояла, глядя на него широко раскрытыми глазами.

Когда Энтони закрыл за собой дверь, она тихо вскрикнула и двинулась ему навстречу, стремительно преодолевая разделяющее их пространство, на ходу протягивая руки в предвкушении ласки. Смяв хрустящие складки платья, они слились в долгом, полном ликования объятии.

Книга вторая
Глава первая
Лучезарное время

Спустя две недели Энтони и Глория радовали себя «практическими дискуссиями», как они называли беседы, во время которых под прикрытием сурового реализма совершали прогулки в сиянии вечного лунного света.

— Но не так сильно, как я тебя, — настаивал литературный критик. — Если бы ты действительно меня любила, то хотела бы, чтобы все об этом знали.

— Я и хочу! — возмущалась она. — Хочу стать на перекрестке, как человек-реклама, и сообщать о своей любви каждому прохожему.

— Тогда назови причины, по которым намереваешься выйти за меня замуж в июне.

— Ну, потому что ты чистый, такой же чистый, как и я. Существует два вида чистоты. Вот Дик чист, как надраенная сковородка. А мы с тобой чисты, как ручей или ветер. Я с первого взгляда могу определить, чист человек или нет и что собой представляет его чистота.

— Значит, мы с тобой близнецы.

Какой восторг вызывает эта мысль!

— Мама говорит, — Глория запнулась, — мама говорит, иногда две души создаются одновременно и любят друг друга еще до рождения.

Итак, Глория стала легкой добычей билфизма… Некоторое время Энтони беззвучно смеялся, устремив взор в потолок, а когда снова взглянул на Глорию, обнаружил, что та сердится.

— Над чем ты смеешься? — возмутилась девушка. — И до этого еще дважды. В наших отношениях нет ничего забавного. Я и сама не прочь повалять дурака и тебе не запрещаю, но когда мы вместе, это невыносимо.

— Прости.

— Только не извиняйся! Если не можешь придумать ничего лучшего, просто помолчи!

— Я люблю тебя.

— А мне безразлично.

Наступила пауза. Энтони чувствовал себя подавленным… Наконец Глория прошептала:

— Прости, я такая злюка.

— Нет, я сам виноват.

Мир был восстановлен, и последующие мгновения прошли еще более сладостно и трогательно, с некоторой долей остроты. Они оказались звезда-

ми на сцене, и каждый играл для двух зрителей. Страсть, кроющаяся в притворстве, породила истину. В конечном итоге именно в этом и заключается сущность самовыражения. И все же, пожалуй, любовь между ними более ярко выражалась в Глории, а не в Энтони, и тот часто чувствовал себя гостем, которого едва терпят на званом вечере, что устраивает Глория.

В разговоре с миссис Гилберт Энтони пережил ощутимое смущение. Водрузившись в миниатюрное кресло, дама слушала его с сосредоточенным вниманием и часто моргала. Наверняка она сама обо всем догадалась, так как в течение трех недель Глория ни с одним из поклонников не встречалась. И разумеется, миссис Гилберт не могла не заметить разительную перемену в поведении дочери. Ее часто просили отправить с нарочным корреспонденцию, и, как все матери, она прислушивалась к обрывкам телефонных разговоров, в которых, несмотря на старания скрыть истинный смысл, явно слышалась нежность.

Тем не менее миссис Гилберт тактично изобразила удивление, заявив, что новость ее бесконечно обрадовала, что, впрочем, действительно не вызывало сомнений. А вместе с ней радовались

герани, цветущие в прикрепленных к подоконнику ящиках, и таксисты, в автомобилях которых романтичные влюбленные искали уединения, и — вот странное дело! — даже внушительные счета, на которых они царапали «ты знаешь, что я тоже» и передавали друг другу.

Однако в промежутках между поцелуями Энтони и его ненаглядная золотоволосая девушка постоянно ссорились.

— Подожди, Глория, — нетерпеливо начинал Энтони, — позволь мне объяснить!

— Ничего не объясняй, просто поцелуй меня.

— Нет, так нельзя. Если я задел твои чувства, необходимо это выяснить. Мне не нравится твой подход «поцелуй меня — и все забыто».

— Но я не хочу спорить. Разве не чудесно, что мы целуемся и забываем все плохое? А вот когда не сможем, тогда и наступит время споров.

Однажды незначительная размолвка приняла такой угрожающий оборот, что Энтони, вскочив с места, стал в гневе натягивать пальто. Казалось, еще мгновение, и повторится знакомая февральская сцена, но, зная, какую глубокую привязанность питает теперь к нему Глория, Энтони сумел унять гордыню. И вот уже Глория рыдает в его объятиях, а прелестное личико де-

лается несчастным и жалким, как у испуганной девочки.

Постепенно они, сами того не желая, открывали друг друга с помощью непреднамеренных поступков и уловок, неприязней и предубеждений, а также намеков на прошлое, которые делались без всякого умысла. Из-за неуемной гордости Глория не умела ревновать, а поскольку Энтони был в высшей степени ревнив, эта черта характера уязвляла его самолюбие. Он рассказывал девушке о наиболее сокровенных моментах в своей жизни, желая зажечь хоть искру ревности, но все старания оказались тщетными. Теперь Энтони принадлежит ей, а о давно ушедших в забвение годах она не желает знать.

— Ах, Энтони, — говорила Глория, — всякий раз, обижая тебя, я потом страшно переживаю. Отдала бы правую руку на отсечение, лишь бы избавить тебя от боли.

В такие моменты ее глаза наполнялись слезами, и Глория не чувствовала обмана в своих словах. Однако Энтони знал, что бывают дни, когда они намеренно задевают друг друга, получая едва ли не удовольствие от обмена колкостями. Глория не переставала его озадачивать: обворожительно родная и понятная, отчаянно стремящаяся к

неизведанной предельной близости, она вдруг умолкала и обдавала холодом, ее уже не трогали слова любви, да и вообще все, что говорил Энтони. Потом он часто находил причину зловещей замкнутости в физическом недомогании, на которое, впрочем, Глория никогда не жаловалась, пока оно не заканчивалось, или в своей небрежности и самонадеянности. А иногда случалось, что Глории просто пришлось не по вкусу одно из блюд за ужином. Но и тогда средства, с помощью которых она окружала себя непреодолимым пустым пространством, оставались для Энтони загадкой, скрытой где-то в глубинах ее двадцатидвухлетней жизни, наполненной несгибаемой гордыней.

— Почему тебе нравится Мюриэл? — поинтересовался однажды Энтони.

— И вовсе не нравится.

— Тогда зачем ты повсюду таскаешь ее за собой?

— Нужно же с кем-то выходить в свет. С такими девушками легко, они верят каждому моему слову. Но мне больше по душе Рейчел. Такая изящная, чистенькая, как глянцевая картинка. А тебе она как? В Канзас-Сити у меня были подруги, еще в школе. И все случайные, так, девочки, ока-

завшиеся рядом только потому, что мальчишки куда-то пригласили нас вместе. А когда поводов для встреч не стало, они меня больше не интересовали. Теперь почти все вышли замуж. Да какое это имеет значение? Просто люди, случайно встретившиеся на пути.

— Тебе больше нравятся мужчины, верно?

— О, гораздо больше. У меня мужской склад ума.

— Склад ума у нас с тобой одинаковый и вряд ли имеет отношение к определенному полу.

Впоследствии Глория рассказала, как завязалась ее дружба с Блокмэном. Однажды Глория и Рейчел случайно встретили в ресторане «Делмонико» мистера Гилберта и Блокмэна. Мужчины обедали. Подстегиваемая любопытством Глория решила к ним присоединиться, и трапезу продолжили уже вчетвером. Блокмэн произвел весьма благоприятное впечатление и стал отдушиной после общения с более молодыми поклонниками. Он довольствовался малым, развлекал Глорию и смеялся сам, независимо от того, понимал ли смысл ее острот или нет. Несмотря на открытое неодобрение со стороны родителей, девушка стала встречаться с Блокмэном, а через месяц он сделал ей предложение, обещая осыпать всеми

благами, начиная виллой в Италии и кончая блистательной карьерой на экране. Глория рассмеялась ему в лицо — и он тоже рассмеялся в ответ.

Но от своих намерений не отказался и к моменту появления на сцене Энтони сумел закрепить успех. Девушка испытывала к нему теплые чувства и все же не переставала награждать незаслуженно обидными прозвищами, понимая, что, фигурально выражаясь, Блокмэн терпеливо бредет рядом, пока она движется по узкой кромке, но готов в любую минуту схватить в случае падения.

Накануне объявления о помолвке Глория сообщила Блокмэну. Для него это стало тяжелым ударом. Девушка не просветила Энтони относительно подробностей, но намекнула, что Блокмэн не преминул затеять ссору. Энтони представил их разговор, закончившийся на повышенных тонах. Глория, холодная и невозмутимая, устроилась в уголке дивана, а Джозеф Блокмэн, один из первых людей на студии «Филмз пар экселенс», мечется по ковру с низко опущенной головой и сердито сощуренными глазами. Глории было жаль Блокмэна, но она рассудила, что лучше не показывать своих чувств. Напоследок, в порыве

доброты, она попыталась внушить к себе ненависть. Однако Энтони, отлично зная, что главной притягательной силой Глории является безразличие, понимал всю тщетность этой попытки. Он часто, правда, мимоходом, вспоминал о Блокмэне, но в конце концов окончательно выбросил его из головы.

Расцвет

Однажды они нашли места на залитой солнечным светом верхней площадке автобуса и долгие часы ехали от таявшей вдали Вашингтон-сквер вдоль грязной реки. Потом, когда блуждающие лучи нашли пристанище на западных улицах, выплыли на распухшую от транспорта, погружающуюся в сумерки Пятую авеню с угрожающе жужжащими, словно пчелиные ульи, универмагами. Движение становилось все более интенсивным и вскоре окончательно застряло в хаотично образовавшейся пробке. Автобусы по четыре в ряд возвышались гигантскими платформами над толпой в ожидании свистка регулировщика.

— Восхитительно! — воскликнула Глория. — Только посмотри!

Впереди маячил припорошенный мукой фур-

гон мельника, запряженный двумя лошадьми, черной и белой масти, которыми управлял напудренный клоун.

— Какая жалость! — воскликнула Глория. — Вот если бы обе лошади были белыми. Как чудесно смотрелись бы они в сумерках. Я так счастлива, что именно сейчас нахожусь в этом городе.

Энтони с сомнением покачал головой.

— А мне город кажется дешевым фигляром. Все время пыжится, стараясь соответствовать впечатляющей светскости, которую приписывают жизни больших городов. Из кожи вон лезет, изображая эдакий романтичный столичный лоск.

— А вот по-моему, он действительно впечатляет.

— Только на короткое время. В действительности же это насквозь фальшивое представление. Здесь имеются разрекламированные агентами звезды, шаткие колченогие декорации и, должен признать, самая многочисленная армия статистов. — Энтони на мгновение замолчал и, коротко хмыкнув, закончил: — С технической точки зрения, наверное, выглядит великолепно, но неубедительно.

— Наверняка полицейские считают всех людей дураками, — задумчиво заметила Глория,

наблюдая, как дородную и весьма трусливую даму переводят через улицу. — Они всегда видят людей испуганными, беспомощными и старыми… впрочем, так оно и есть. Пожалуй, нам надо сойти, — предложила она. — Я обещала маме пораньше поужинать и лечь спать. Черт возьми, она говорит, что у меня усталый вид.

— Скорей бы пожениться, — мечтательно прошептал Энтони. — Тогда не нужно расставаться на ночь и можно делать все, что пожелаешь.

— Да, чудесно! Думаю, нам следует отправиться в путешествие. Хочется побывать на Средиземном море, в Италии. А еще хорошо бы какое-то время играть на сцене… скажем, около года.

— Так и будет. А я напишу для тебя пьесу.

— Замечательно! И я в ней сыграю. А потом, когда у нас будет больше денег, — во время подобных разговоров непременно делалась тактичная ссылка на скорую кончину старого Адама, — мы построим шикарный особняк, правда?

— Да, с собственными бассейнами.

— Их будут десятки. А еще собственные реки. Ох, хорошо бы иметь все это прямо сейчас!

По странному совпадению Энтони хотелось того же. Подобно ныряльщикам, они окунулись в темный водоворот толпы и, выплыв уже в рай-

оне прохладных Пятидесятых улиц, ленивым шагом направились к дому, полные романтических чувств друг к другу… оба прогуливались в одиночестве по погруженному в невозмутимое спокойствие саду, и каждого сопровождал обретенный в мечтах призрак.

Безмятежно-тихие дни плыли подобно лодкам по медленному течению рек. Весенние вечера, полные меланхолии, представляли прошлое в прекрасном свете с некоторым оттенком горечи, заставляя оглянуться назад и убедиться, что любовь, пережитая за множество прошлых лет, давно канула в Лету и умерла вместе с забытыми вальсами, звучавшими в ту пору. Самые трогательные, полные остроты моменты всегда случались, когда влюбленных разделяла какая-нибудь искусственно воздвигнутая преграда. В театре руки украдкой соприкасались в темноте для нежного пожатия, в многолюдных помещениях движением губ передавались слова, которые должны прочесть любимые глаза. Они не осознавали, что идут по стопам минувших и уже покрывшихся слоем пыли поколений, однако смутно догадывались, что если правда есть конец жизни, то счастье — одна из ее разновидностей, и нужно лелеять его краткие трепетные

мгновения. А затем одной волшебной ночью на смену маю пришел июнь. Теперь оставалось всего шестнадцать дней… потом пятнадцать, четырнадцать…

Три отступления

Перед объявлением помолвки Энтони отправился в Тэрритаун навестить деда. С момента их последней встречи тот еще больше усох и поседел, не в силах устоять перед шутками, которое играет с людьми время, и встретил новость с глубоким скептицизмом.

— Так, значит, собрался жениться? — поинтересовался он с подозрительной кротостью и так долго кивал, что Энтони не на шутку встревожился. Не зная точных намерений деда, он все же предполагал, что значительная часть дедовских денег достанется ему. Разумеется, приличная сумма уйдет на благотворительность, ну и, конечно же, на проведение реформ в бизнесе.

— А работать ты собираешься?

— Собственно… — стараясь выиграть время, протянул несколько сбитый с толку Энтони. — Я же и так работаю. Сами знаете…

— Я имею в виду настоящее дело, — бесстраст-

ным тоном пояснил Адам Пэтч.

— Пока не знаю точно, чем займусь. Ведь я, дедушка, не нищий, — с обидой заявил Энтони.

Старик слушал внука, прикрыв глаза, а затем почти извиняющимся тоном спросил:

— Сколько ты отложил за год?

— Пока ничего…

— Значит, если в одиночку ты как-то умудряешься прожить на свои средства, то, вероятно, рассчитываешь на чудо, которое поможет существовать на них вдвоем.

— У Глории есть собственные деньги. Достаточно для покупки одежды.

— Сколько?

Не обращая внимания на бестактность вопроса, Энтони ответил:

— Около ста долларов в месяц.

— То есть всего примерно семь с половиной тысяч в год. — Немного подумав, он ласково продолжил: — Что ж, немало. Если имеешь голову на плечах, вполне хватит. Однако вопрос в том, есть ли у тебя хоть капля здравого смысла, о котором я говорю.

— Полагаю, есть. — Энтони было стыдно, что приходится терпеть нотации старого ханжи, и в его следующих словах уже зазвучало холодное

высокомерие: — Я прекрасно справлюсь. А вы, похоже, считаете меня ни на что не годным человеком. В любом случае я приехал сюда, только чтобы сообщить о предстоящей в июне свадьбе. Всего хорошего, сэр. — Отвернувшись от деда, он направился к двери, не зная, что впервые за все время сумел тому понравиться.

— Подожди! — крикнул вслед Адам Пэтч. — Хочу с тобой поговорить.

— В чем дело, сэр?

— Присядь. Останься на вечер.

Несколько смягчившись, Энтони снова занял прежнее место.

— Простите, сэр, но вечером я встречаюсь с Глорией.

— Как ее зовут?

— Глория Гилберт.

— Из Нью-Йорка? Одна из твоих знакомых?

— Она со Среднего Запада.

— А чем занимается ее отец?

— Работает в целлулоидной корпорации или тресте, что-то в этом роде. Они из Канзас-Сити.

— Свадьба будет там?

— Нет, чего ради? Мы думаем пожениться в Нью-Йорке, тихо, скромно.

— А что, если устроить свадьбу здесь?

Энтони пребывал в нерешительности. Предложение деда не слишком привлекало, и все же следовало проявить благоразумие и по возможности попытаться пробудить в старике личный интерес к их с Глорией супружеской жизни. Кроме того, Энтони слегка растрогался.

— Очень любезно с вашей стороны, дедушка, только ведь это доставит множество хлопот.

— Вся жизнь состоит из сплошных хлопот. И твой отец здесь женился, только в старом доме.

— Но мне казалось, он женился в Бостоне.

Адам Пэтч задумался.

— Ты прав. Он женился в Бостоне.

Энтони стало неловко за попытку поправить деда, и он тут же загладил оплошность:

— Я поговорю с Глорией. Лично мне предложение нравится, но вы же понимаете, нужно посоветоваться с Гилбертами.

Дед с глубоким вздохом прикрыл глаза и устроился поглубже в кресле.

— Торопишься? — спросил он уже другим тоном.

— Не очень.

— Интересно, — начал Адам, устремив спокойный подобревший взгляд на шелестящие за окнами кусты сирени. — Интересно, задумыва-

ешься ли ты когда-нибудь о будущем?

— Ну… иногда.

— А вот я много размышляю о том, что будет дальше. — Его глаза затуманились, но голос звучал отчетливо и уверенно. — И сегодня сидел здесь и думал, что нас ждет в будущем, и вдруг вспомнился один день почти шестьдесят пять лет назад, когда мы играли с младшей сестренкой Энни вон там, где сейчас стоит летний дом. — Старик показал на большой цветник, на глаза навернулись слезы, и голос дрогнул. — Мне приходят в голову разные мысли… по-моему, тебе следует больше думать о будущем. Нужно быть… более уравновешенным и целеустремленным… — он замолчал, подыскивая нужное слово, — проявлять больше трудолюбия, что ли…

Тут выражение его лица переменилось, захлопнувшись, словно капкан, и когда Адам Пэтч снова заговорил, от былой мягкости в голосе не осталось и следа.

— Кстати, я был всего на два года старше тебя, — проскрипел дед с хитрым смешком, — когда отправил в богадельню троих членов правления компании «Ренн и Хант».

Энтони вздрогнул, окончательно смутившись.

— Ладно, прощай, — неожиданно заявил

Адам, — а то опоздаешь на поезд.

Энтони покидал дедовский дом с чувством величайшего облегчения, испытывая странную жалость к старику. И не из-за того, что богатство не могло вернуть «ни молодость, ни хорошее пищеварение», а потому, что он попросил Энтони устроить свадьбу у себя в доме, а еще потому, что дед забыл некоторые подробности, касающиеся свадьбы собственного сына, которые следовало помнить.

Ричард Кэрамел, являющийся одним из шаферов, в последние недели доставил Энтони и Глории немало неприятностей, постоянно перетягивая на себя всеобщее внимание. «Демонический любовник» вышел в свет в апреле и сразу же вмешался в плавное течение их романа, как вмешивался, можно сказать, во все, с чем соприкасался его автор. Произведение представляло собой в высшей степени самобытное и довольно витиеватое и затянутое описание похождений некоего донжуана из нью-йоркских трущоб. Как еще раньше отметили Энтони и Мори, а впоследствии и наиболее благосклонно настроенные критики, во всей Америке не нашлось писателя, который с такой мощью описывал полные первобытной грубости нравы этого

общественного слоя.

Некоторое время книга лежала на полках, а потом неожиданно «пошла». Издания, сначала малым тиражом, а потом все больше и больше, следовали одно за другим чуть ли не каждую неделю. Представитель Армии спасения объявил книгу циничным искажением всех тенденций духовного подъема, которые имеют место среди обитателей «дна». Хитроумные рекламные агенты распустили не имеющий под собой почвы слух, что «Джипси» Смит возбуждает уголовное дело о клевете, так как один из главных героев романа является уродливой карикатурой на него самого. Книгу изъяли из публичной библиотеки в Берлингтоне, штат Айова, а некий обозреватель одной газеты на Среднем Западе намекнул, что Ричард Кэрамел находится в лечебнице с приступом белой горячки.

Автор «Демонического любовника» действительно проводил дни в состоянии восторженного помешательства. О чем бы ни шел разговор, три четверти времени отводилось его книге. Ричарду не терпелось ознакомить всех с «последними новостями». Он заходил в магазин и громким голосом заказывал несколько экземпляров с доставкой на дом, и все это делалось ради капли

внимания со стороны продавца или покупателя. Он точно знал, в какой части страны продажи идут лучше всего и какие поправки он внес в каждое переиздание. При встрече с людьми, которые книги не читали, а случалось это чаще, чем хотелось, или вовсе о ней не слышали, Ричард погружался в глубокое уныние.

Таким образом, Энтони и Глория, обуреваемые завистью, пришли к естественному выводу, что Ричард Кэрамел превратился в страшного зануду, которого распирает тщеславие. К большой досаде Дика, Глория публично хвасталась, что не читала «Демонического любовника» и не собирается этого делать, пока не прекратятся все споры по поводу романа. Собственно говоря, сейчас ей не хватало времени на чтение, так как словно из рога изобилия посыпались свадебные подарки, сначала тонким ручейком, превратившимся вскоре в бурную лавину. Они были разными, от безделушек, присланных забытыми друзьями семьи, до фотографий преданных забвению бедных родственников.

Мори подарил набор для вина тонкой работы, состоящий из двух серебряных бокалов, шейкера для коктейлей и нескольких отверток. Дик раскошелился на более традиционный подарок — чай-

ный сервиз от Тиффани. Джозеф Блокмэн прислал простые изящные дорожные часы с открыткой. Даже Баундс подарил мундштук, чем растрогал Энтони до слез. Действительно, любое проявление чувств, не считая истерики, было вполне уместным для этих людей, сраженных видом дани, приносимой установленным традициям. Отдельная комната в отеле «Плаза» ломилась от подношений, присланных товарищами по Гарвардскому университету и компаньонами деда, памятных вещиц о днях, проведенных Глорией в колледже Фармоувер, и довольно трогательных подарков от бывших поклонников. Последние сопровождались понятными лишь посвященным, полными меланхолической грусти открытками наподобие «Думал ли я…», «Разумеется, я желаю вам огромного счастья…» или даже «Когда вы получите это послание, я буду на пути в…».

Самый щедрый дар принес наиболее горькое разочарование — презент от Адама Пэтча в виде чека на пять тысяч долларов.

К большинству подарков Энтони не проявлял интереса, полагая, что теперь в течение последующих пятидесяти лет им придется следить за переменами в семейном статусе всех знакомых. Зато Глория бурно радовалась каждой вещи,

разрывая упаковочную бумагу и копошась в стружках с хищной алчностью собаки, которая пытается вырыть из земли кость. Затаив дыхание, она хваталась за край ленты или металлическую кромку и наконец извлекала на свет весь предмет и принималась его придирчиво изучать, при этом ее серьезное лицо не выражало ничего, кроме сосредоточенного интереса.

— Взгляни, Энтони!

— Чертовски мило!

Ответ он получал только через час, когда Глория представляла скрупулезный отчет о своих впечатлениях относительно подарка, насколько бы он выиграл, если бы был меньше или больше размером, удивил ли ее, и если да, то до какой степени.

Миссис Гилберт без устали обставляла воображаемый дом молодых супругов, распределяя подарки по разным комнатам, сортируя их как «хорошие часы, но не самые лучшие» или «серебро на каждый день» и приводя Энтони и Глорию в смущение шутливыми намеками на комнату, которую называла детской. Миссис Гилберт обрадовалась чеку от старого Адама и впоследствии определила, что у него «по-настоящему древняя душа». Поскольку Адам Пэтч так и не решил, что

она имеет в виду, его прогрессирующее старческое слабоумие или свои личные способности к ясновидению, нельзя сказать, что слова дамы доставили ему удовольствие. В разговоре с Энтони он всегда называл ее «старуха мать», будто миссис Гилберт была персонажем комедии, которую он уже неоднократно видел. Что касается Глории, он не мог прийти к определенному мнению. Девушка ему нравилась, но, по словам самой Глории, старик считал ее ветреной и потому опасался хвалить.

Пять дней! На лужайке в Тэрритауне уже строилась эстрада для танцев, и был заказан поезд, чтобы доставить гостей из Нью-Йорка и отвезти обратно.

Дневник

Глория уже облачилась в голубую шелковую пижаму и стояла у кровати, положив руку на выключатель с намерением погрузить комнату в темноту. Неожиданно она передумала и, выдвинув один из ящиков в столе, извлекла небольшую книжицу в черном переплете — дневник, который вела в течение семи лет. Многие записи, сделанные карандашом, читались с трудом, а в

некоторых из них говорилось о давно забытых днях и ночах. Несмотря на старое как мир начало «Я хочу сохранить этот дневник для своих детей», его нельзя было назвать личным дневником в прямом смысле слова. И все же когда Глория переворачивала страницу за страницей, казалось, из-за наполовину стертых имен на нее смотрят глаза множества мужчин. Вот с этим она впервые уехала в Нью-Хейвен… 1908 год, ей тогда было шестнадцать лет, и в Йельском университете вошли в моду накладные плечи. Ей льстило внимание знаменитого «нападающего Мишо», который «волочился» за ней весь вечер. Глория вздохнула, вспоминая атласное платье, как у взрослой дамы, которым так гордилась, и мелодию, что играл оркестр «Йама-йама, май йама-мэн» и «Джангл-таун». Как же давно это было! А сколько имен! Элтиндж Риардон, Джим Парсонз, «Кудряшка» Макгрегор, Кеннет Кауэн, Фрай «Рыбий Глаз», который покорил ее своей безобразной внешностью. Картер Керби… этот прислал подарок, и Тюдор Бэрд тоже; Марти Реффер, первый мужчина, в которого она была влюблена дольше одного дня, и Стюарт Холком, он увез Глорию в автомобиле и хотел насильно заставить выйти за него замуж. А Ларри Фенвик,

которым Глория неизменно восхищалась с тех пор, когда однажды вечером тот заявил, что если она его не поцелует, то может убираться из машины и идти до дома пешком… Ах, какой список!

Однако уже устаревший. Сейчас она влюблена и настроена на вечную любовь, которая соберет в себе все лучшее от прежних романов. И все-таки ей было жаль тех мужчин и лунные ночи, и трепет, который тогда испытывала… и поцелуи. Прошлое, ее прошлое… Сколько в нем радости! Она действительно была неимоверно счастлива.

Глория переворачивала страницу за страницей, лениво скользя глазами по разбросанным записям последних четырех месяцев. Несколько последних прочла внимательно.

***Первое апреля**. Знаю, Билл Карстейрс меня ненавидит, так как я вела себя весьма нелюбезно, только порой я не выношу, когда со мной сентиментальничают. Мы ехали в загородный клуб «Рокиер», а сквозь деревья пробивался восхитительный лунный свет. Мое серебристое платье изнашивается. Забавно, как забываются другие ночи в «Рокиере» — с Кеннетом Кауэном, когда я была в него так влюблена!*

***Третье апреля**. После двух часов, проведенных со Шредером, у которого, как говорят, милли-*

онное состояние, я решила, что ситуация, когда привязан к чему-то одному, меня изматывает, особенно если речь идет о мужчинах. Незачем себя мучить, клянусь, с сегодняшнего дня буду наслаждаться. Мы говорили о «любви». Как банально! Со сколькими же мужчинами я говорила о любви?

***Одиннадцатое апреля**. А ведь Пэтч сегодня позвонил! Месяц назад в ярости выбежал за дверь и клялся больше со мной не встречаться. Я постепенно перестаю верить в способность мужчин испытывать смертельную обиду.*

***Двадцатое апреля**. Провела день с Энтони. Возможно, когда-нибудь выйду за него замуж. Мне по душе его мысли, он пробуждает все подлинное, что во мне есть. Около десяти заехал Блокмэн на новой машине и повез меня по Риверсайд-драйв. Сегодня он мне понравился, такой предупредительный. Понял, что я не настроена на разговор, и сам всю дорогу молчал.*

***Двадцать первое апреля**. Проснулась с мыслями об Энтони, и, разумеется, он позвонил. Голос у него был такой нежный, что я ради него отменила свидание. Сегодня чувствую, что для него отреклась бы от чего угодно, включая Десять заповедей и саму себя. Он придет в восемь, я*

надену розовое платье и буду выглядеть чистой и неприступной.

На этом месте она остановилась, вспоминая, что в тот вечер после ухода Энтони разделась, дрожа от апрельского ветра, дующего в окно. И все же холода не ощущала, согретая пылающими в сердце проникновенными банальностями.

Следующая запись сделана несколькими днями позже.

***Двадцать четвертое апреля**. Хочу выйти замуж за Энтони, потому что мужья зачастую так и остаются «мужьями», а я должна выйти за возлюбленного. Существует четыре основных типа мужей:*

(1) Муж, который любит сидеть дома по вечерам, не имеет порочных наклонностей и работает ради зарплаты. Крайне нежелательно!

(2) Первобытный повелитель, у которого главное предназначение жены — доставлять ему удовольствие. Этот тип считает всех хорошеньких женщин «пустышками» и похож на павлина, затормозившего в развитии.

(3) Дальше следует обожатель, создающий из жены кумира и забывающий обо всем остальном. Такому типу в качестве жены нужна вдохновен-

ная актриса. Господи! Как же утомительно все время притворяться безгрешной!

(4) И Энтони... временами пылкий возлюбленный, у которого хватает здравого смысла понять, когда все прошло, и, главное, он понимает, что так и должно быть. И я хочу выйти за Энтони.

Какими навозными червями кажутся женщины, ползущие на брюхе по серой и безрадостной супружеской жизни! Брак существует не для того, чтобы превращать его в фон, на котором протекает жизнь, а вот ему самому необходим определенный антураж. Мое супружество будет необыкновенным, оно не может стать и не станет декорацией, а превратится в представление, живое, прекрасное и яркое, и декорациями для него будет весь мир. Отказываюсь посвятить свою жизнь потомству. Разумеется, все мы в долгу как перед своим поколением, так и нежеланными детьми. Что за участь — до непристойности растолстеть, утратить любовь к себе и сосредоточить все мысли на молоке, овсянке, выкармливании детей и пеленках... Насколько приятнее воображаемые детишки, милые крошечные создания, которые порхают (а в мечтах дети непременно порхают) на золотых

крылышках…

Однако эти бедные крошки имеют мало общего с супружеской жизнью.

***Седьмое июня**. Вопрос нравственности. Не было ли ошибкой влюбить в себя Блокмэна? Потому что именно это я и сделала. Сегодня вечером он был нежно-печальным, и это оказалось так к месту, что у меня перехватило горло, а на глаза навернулись слезы. Но он — уже прошлое и посыпан лавандой, которой у меня в избытке.*

***Восьмое июня**. А сегодня я пообещала больше не кусать губы. Что ж, не буду… только лучше бы он попросил меня отказаться от еды.*

Пускаем пузыри, вот чем мы занимаемся, Энтони и я. Сегодня мы выдули таких красавцев, они лопаются, а мы пускаем все новые и новые, такие же огромные и красивые. Пока не закончилось мыло и вода.

На этой записи дневник обрывается. Глория искала глазами страницы с упоминанием восьмого июня 1912-го, 1910-го, 1907 года. Самая ранняя запись нацарапана округлым почерком шестнадцатилетней девочки. Это было имя «Боб Ламар» и еще одно слово, разобрать которое не удавалось. Потом Глория поняла, что оно означает, и глаза затуманились слезами. Серо-голубым пят-

нышком расплылась запись о первом поцелуе, выцветшая, как тот сокровенный день на мокрой от дождя веранде семь лет назад. Казалось, вот сейчас вспомнится, что они тогда говорили, но ничего не вышло. Слезы полились ручьем, и она уже не видела страницу. Глория говорила себе, что плачет, потому что может вспомнить только дождь, мокрые цветы во дворе и запах сырой травы.

Затем она отыскала карандаш и, держа его в нетвердой руке, подчеркнула тремя параллельными линиями последнюю запись, написала крупными печатными буквами слово «КОНЕЦ», положила дневник обратно в ящик стола и нырнула в постель.

Дыхание пещеры

Дома после ужина в честь невесты Энтони выключил свет и, ощущая себя бесплотным и хрупким, как фарфоровая чаша, стоящая в ожидании на сервировочном столике, улегся спать. Ночь стояла теплая, и даже под легкой простыней было уютно. Сквозь открытое окно доносился едва уловимый, полный неясного ожидания шум, какой обычно слышится летом. Энтони думал

об оставшихся позади годах юности, бессодержательных, но веселых и ярких. Прожитых в беспечном, лишенном убежденности скептицизме в отношении чувств, описанных людьми, которые давно превратились в прах. Теперь он понял, что есть нечто более возвышенное — слияние душ его и Глории. Ее сияющий огонь и чистота и являются тем живым материалом, из которого создается мертвая красота книг.

Из глубин ночи в комнату с высокими стенами шел настойчивый, растворяющийся в воздухе шум, будто город, словно разыгравшийся ребенок, подбрасывает вверх и снова ловит мяч. В Гарлеме, Бронксе, Грамерси-парке, в районе порта, в тесных гостиных и на посыпанных гравием, залитых лунным светом крышах этот звук издавали тысячи влюбленных, выплескивая его частицы в воздух. В синем сумраке летней ночи весь город играл с этим звуком, подбрасывая его вверх и призывая обратно, обещая, что совсем скоро жизнь станет прекрасной, как волшебная сказка, суля счастье и уже давая его этим обещанием. Своей долговечностью нескончаемый гул дарил надежду на любовь. Можно ли совершить большее?..

Именно в этот момент из нежного зова ночи

резким диссонансом прозвучала новая нота. Шум доносился со стороны заднего окна, футах в пятидесяти снизу, это был звук женского смеха. Сначала тихий, непрекращающийся, с легким повизгиванием. Наверное, служанка со своим дружком, подумал Энтони. Потом смех зазвучал громче, стал истеричным, и тут на память пришла девушка, заходившаяся в приступе хохота, которую Энтони видел на представлении водевиля. Смех вдруг затих, прекратился, но тут же возобновился, уже со словами какой-то грубой шутки, после чего послышалась приглушенная возня, Энтони не мог разобрать. На мгновение все затихло, и Энтони уловил рокочущий мужской голос, потом все началось снова, без перерыва, поначалу вызывая раздражение, а потом непонятный страх. Он вздрогнул и, встав с кровати, подошел к окну. Напряженный сдавленный смех достиг кульминации и уже больше походил на крик. Потом он умолк, оставив после себя зияющую зловещей пустотой тишину, подобную бесконечному молчанию вечности. Постояв еще немного у окна, Энтони, расстроенный и потрясенный до глубины души, вернулся в постель, изо всех сил стараясь заглушить неожиданно возникшее чувство. Но что-то животное, скры-

вавшееся в этом разнузданном смехе, вцепилось в сознание, и впервые за четыре месяца вновь ожило отвращение и ужас перед всем, что представляет собой жизнь. В комнате стало душно, и Энтони захотелось вырваться наружу, на холодный обжигающий ветер, подняться высоко над городами и существовать обособленно и безмятежно, скрывшись в потайных уголках сознания. А жизнь — это тот безобразный, несмолкающий женский смех за окном.

— Господи! — воскликнул Энтони задыхаясь.

Зарывшись лицом в подушку, он тщетно старался сосредоточиться на деталях грядущего дня.

Утро

В серых сумерках Энтони обнаружил, что еще всего пять часов, и с раздражением пожалел о столь раннем пробуждении. Значит, на свадьбе будет выглядеть измученным. И тут же позавидовал Глории, которая может скрыть усталость с помощью искусно нанесенной косметики.

В ванной комнате он принялся рассматривать себя в зеркало и обнаружил, что неестественно бледен, а на фоне белой кожи стало заметно множество мелких изъянов. Кроме того, за ночь

отросла короткая щетина, и Энтони был вынужден признать, что его внешний вид производит весьма неблагоприятное впечатление: из зеркала смотрел измученный, не вполне здоровый человек.

На туалетном столике были разложены предметы, которые он тщательно пересчитывал, перебирая сделавшимися вдруг непослушными пальцами. Вот билеты в Калифорнию, книжка дорожных чеков, его часы, на которых время установлено с точностью до тридцати секунд, ключи от квартиры — только бы не забыть передать их Мори. И наконец, самое важное — кольцо, платиновое, украшенное по ободку мелкими изумрудами. Куплено по настоянию Глории, она всегда мечтала об обручальном кольце с изумрудами.

Это третий подарок, который ей преподнес Энтони. Первым стало кольцо для помолвки, а за ним последовал миниатюрный золотой портсигар. Теперь придется снабжать Глорию множеством вещей: покупать одежду и драгоценности, знакомить с друзьями и развлекать. Казалось нелепым, что с этого дня он должен оплачивать ее обеды и ужины, и выльется это в немалую сумму. Энтони вдруг подумал, что

недооценил расходы на путешествие, возможно, следует обменять на наличные чек на более крупную сумму. Этот вопрос не давал покоя.

Затем неизбежность приближающегося события заставила отмести в сторону все мелочи. Вот он, этот день — всего полгода назад нежданный и непрошеный, а сейчас разгорается золотым светом в выходящем на восток окне и танцует по ковру, будто солнце улыбается своей старой как мир, бесконечно повторяющейся шутке.

— Черт подери, — пробормотал с нервным смешком Энтони, — а я ведь уже, считай, женат!

Шаферы

Шестеро молодых людей, расположившихся в библиотеке Брюзги Пэтча, приходили во все более веселое расположение духа под влиянием сухого шампанского «Момм», спрятанного в ведерках со льдом между книжными шкафами.

П е р в ы й м о л о д о й ч е л о в е к. Ей-богу! В следующей книге опишу сцену свадьбы, которая всех сразит наповал! Уж можете мне поверить.

В т о р о й м о л о д о й ч е л о в е к. На днях познакомился с дебютанткой, она считает твою

книгу очень сильной. Как правило, молоденькие девушки без ума от примитивной писанины.

Третий молодой человек. А где Энтони?

Четвертый молодой человек. Бродит по дому и разговаривает сам с собой.

Второй молодой человек. Боже правый! Видели вы священника? Что за странные зубы.

Пятый молодой человек. А он-то думает, что так и надо. Люди с золотыми зубами выглядят чудаковато.

Шестой молодой человек. А им так нравится. Мой зубной врач как-то рассказывал, что к нему пришла женщина и потребовала поставить две золотые коронки. Без всякой на то нужды, зубы у нее и так были хорошие.

Четвертый молодой человек. Слышал, у тебя вышла книга, Дики. Поздравляю!

Дик (*сдержанно*). Благодарю.

Четвертый молодой человек (*с невинным видом*). И о чем она? Россказни о колледже?

Дик (*еще сдержаннее*). Нет, не россказни о колледже.

Четвертый молодой человек. Жаль! Сто лет не выходило ни одной путной книги о Гарварде.

Д и к (*с раздражением*). Почему бы тебе не наверстать это упущение?

Т р е т и й м о л о д о й ч е л о в е к. Кажется, я вижу толпу гостей в «паккарде». Он только что свернул на подъездную дорогу.

Ш е с т о й м о л о д о й ч е л о в е к. Может, откроем по этому случаю еще пару бутылок?

Т р е т и й м о л о д о й ч е л о в е к. Я был потрясен, когда узнал, что старикан устраивает свадьбу со спиртным. Он же ярый сторонник «сухого закона».

Ч е т в е р т ы й м о л о д о й ч е л о в е к (*в волнении щелкает пальцами*). Черт возьми! Ведь знал, что непременно что-то забуду! Все время помнил, что надо надеть жилет.

Д и к. И что же ты забыл?

Ч е т в е р т ы й м о л о д о й ч е л о в е к. Вот, черт возьми, незадача!

Ш е с т о й м о л о д о й ч е л о в е к. Ну-ну, что за трагедия?

В т о р о й м о л о д о й ч е л о в е к. Так что же ты забыл, дорогу домой?

Д и к (*ядовито*). Он забыл сюжет своей книги о Гарварде.

Ч е т в е р т ы й м о л о д о й ч е л о в е к. Ошибаетесь, сэр. Я забыл подарок. О Господи! Забыл

купить старине Энтони подарок. Все откладывал, откладывал — и, черт возьми, совсем из головы вылетело! Что теперь люди подумают!

Ш е с т о й м о л о д о й ч е л о в е к (*шутливо*). Вот, вероятно, почему свадьба задерживается.

Под общий смех Четвертый молодой человек нервно поглядывает на часы.

Ч е т в е р т ы й м о л о д о й ч е л о в е к. Право слово, какой же я осел!

В т о р о й м о л о д о й ч е л о в е к. Что скажете о подружке невесты, той, что строит из себя Нору Бэйес? Болтала без умолку, все говорила, как ей хочется, чтобы свадьба была в стиле рэгтайм. Кажется, ее зовут Хейнс или Хэмптон.

Д и к (*поспешно мобилизуя воображение*). Кейн, Мюриэл Кейн. В некотором роде это долг чести. Как-то она спасла Глорию, когда та тонула, уже точно не припомню, что там произошло.

В т о р о й м о л о д о й ч е л о в е к. И как она умудрилась не вилять бедрами при плавании? По-моему, в ее случае это невозможно. Налей-ка мне еще, будь другом. Мы только что имели со стариком долгую беседу о погоде.

М о р и. С кем? Со стариком Адамом?

В т о р о й м о л о д о й ч е л о в е к. Нет, с

отцом невесты. Должно быть, он служит в бюро прогноза погоды.

Д и к. Не забывай, Отис, он мой дядя.

О т и с. А что? Вполне достойное занятие. (*Слышится смех.*)

Ш е с т о й м о л о д о й ч е л о в е к. А невеста — твоя кузина, верно?

Д и к. Да, Кейбл, кузина.

К е й б л. Она, безусловно, красавица, не то что ты, Дики. Держу пари, она заставит старину Энтони плясать под свою дудку.

М о р и. Почему все женихи получают звание «старина»? По-моему, женитьба — это ошибка молодости.

Д и к. Мори, ты профессиональный циник.

М о р и. Тогда ты — интеллектуальный плут!

П я т ы й м о л о д о й ч е л о в е к. Э, да тут сражение великих умов, Отис. Подбирай крохи, какие сумеешь.

Д и к. Сам ты плут! И вообще, что ты знаешь?

М о р и. А ты что знаешь?

Д и к. Спроси что хочешь. Из любой области знаний.

М о р и. Идет. Какой принцип лежит в основе биологии?

Д и к. Да ты сам не знаешь.

М о р и. Не увиливай от ответа!

Д и к. Ну, естественный отбор.

М о р и. Неверно.

Д и к. Ладно, сдаюсь.

М о р и. Онтогенез воспроизводит филогенез.

П я т ы й м о л о д о й ч е л о в е к. Учись уму-разуму!

М о р и. Следующий вопрос. Какое влияние оказывают мыши на урожай клевера? (*Общий смех.*)

Ч е т в е р т ы й м о л о д о й ч е л о в е к. А как влияют крысы на десять заповедей?

М о р и. Закрой рот, олух! Связь есть.

Д и к. И какая же?

М о р и (*на мгновение задумывается, приходя все в большее замешательство*). Погодите, дайте сообразить. Совсем вылетело из головы. Что-то связано с пчелами, которые питаются клевером.

Ч е т в е р т ы й м о л о д о й ч е л о в е к. А клевер поедает мышей! Ха-ха!

М о р и (*нахмурившись*). Дайте минутку подумать.

Д и к (*внезапно выпрямляется на стуле*). Слушайте!

Из соседней комнаты слышатся громкие возбужденные голоса. Шестеро молодых людей дружно встают с места и поправляют галстуки.

Д и к (*авторитетно*). Пожалуй, нам следует присоединиться к этой салютной команде. Они собираются фотографироваться. Нет, это потом.

О т и с. Кейбл, ты берешь на себя поклонницу рэгтайма, подружку невесты.

Ч е т в е р т ы й м о л о д о й ч е л о в е к. О Господи, лучше бы я отослал подарок!

М о р и. Дайте подумать еще минутку, и я вспомню, какую роль играют мыши.

О т и с. В прошлом месяце я был шафером у старины Чарли Макинтайра и…

Все медленно движутся к двери, а громкие голоса в соседней комнате перерастают в галдеж, сквозь который прорываются жалобные стоны органа, принадлежащего Адаму Пэтчу, на котором репетируются вступительные аккорды.

Энтони

Пять сотен глаз сверлили его облаченную в визитку спину, и отблески солнца сверкали на неуместных в своей буржуазности зубах священника. Энтони с трудом сдерживал смех. Глория что-то говорила четким голосом, в котором звучала гордость, а он старался думать, что это событие

означает крутой поворот в судьбе и каждое его мгновение наполнено важным смыслом, отныне его жизнь рассекается на два периода и сам облик окружающего мира меняется на глазах. Он пытался восстановить трепетное волнение десяти предыдущих недель, но все чувства угасли, и в то утро Энтони не испытывал даже обычной нервозности. Все событие слилось в единый гигантский отзвук прежних переживаний. А тут еще эти золотые зубы! Интересно, женат ли священник? А еще Энтони не давала покоя крамольная мысль: может ли священник совершить обряд собственного венчания?

Но стоило обнять Глорию, и душа Энтони откликнулась новой волной бурных переживаний. Кровь быстрее побежала по жилам. Томное радостное удовлетворение снизошло приятным грузом, неся с собой чувство ответственности и обладания. Он был женат.

Глория

Так много самых разных эмоций переплелось в один клубок, что выделить какую-то одну не представлялось возможным! Она была готова разрыдаться от жалости к матери, которая са-

ма тихо плакала за спиной, и над прелестью июньского солнца, льющего свой свет в окна. Осознанное восприятие покинуло Глорию, осталось лишь усиленное лихорадочным, безумным волнением чувство исключительной важности происходящего. А еще вера, неистовая и страстная, обжигающая, как молитва, что еще немного — и она навеки обретет благополучие и надежную защиту.

Однажды вечером они приехали в Санта-Барбару, и ночной портье в отеле «Лакфадио» отказался их принять на том основании, что они не женаты.

Портье оценил красоту Глории и решил, что у такого дивного создания не может быть ничего общего с принципами нравственности.

Con Amore[38]

Первые полгода… путешествие по Западу, долгие месяцы бесцельного блуждания по побережью Калифорнии и серый домик недалеко от Гринвича, в котором они жили, пока с на-

---

[38] notes: 38
С любовью (*лат.*).

ступлением поздней осени окрестный пейзаж не превратился в угрюмую картину. Те дни и те места стали свидетелями долгих часов, наполненных восторгом. Осталась в прошлом идиллия помолвки, от которой захватывало дух, уступив поначалу место более проникновенно-романтичным и страстным отношениям, но и они себя исчерпали. Умопомрачительная пастораль покинула, улетела к другим влюбленным; однажды Энтони и Глория огляделись по сторонам и увидели, что идиллии больше нет, а как и когда она исчезла, вряд ли и сами понимали. Если бы один из них потерял возлюбленного в те дни, утраченная любовь воплотилась бы в смутное неутоленное желание, преследующее всю жизнь. Но волшебство должно спешить дальше, а влюбленные остаются…

Итак, идиллия прошла, взяв непомерно высокую плату за юность. И наступил день, когда Глория обнаружила, что другие мужчины больше ее не утомляют и не вызывают раздражения. И Энтони вдруг понял, что снова может засиживаться допоздна по вечерам, обсуждая с Диком необъятные абстрактные темы, на которых некогда был сосредоточен весь его мир. Однако, осознавая, что уже вкусили все лучшее, что

может дать любовь, они цеплялись за остатки. Теперь любви продляли жизнь и удерживали ночными разговорами, продолжающимися до той поры, когда время застывает на месте и разум уподобляется острию иглы, а заимствованные из снов картины становятся материей, из которой построена вся жизнь. Проникновенной близостью и добротой друг к другу, смеясь над тем, что оба считали нелепым, одинаковыми мыслями о том, что является благородным или достойным сожаления.

Но прежде всего это была пора открытий. Черты, которые они обнаруживали друг у друга, оказались в высшей степени разнообразными и запутанными, а кроме того, так обильно подслащенными любовью, что выглядели в то время не открытиями, а вполне допустимыми отдельными явлениями, на которые можно закрыть глаза, а то и вовсе выбросить из головы. Так Энтони узнал, что живет с девушкой в высшей степени неуравновешенной, своевольной и эгоистичной. А Глория спустя месяц после свадьбы поняла, что ее муж — отчаянный трус, который боится миллиона призраков, созданных его же воображением. Воспринимала она поведение супруга по-разному, так как оно носило скачкообразный

характер. Иногда его трусость становилась до неприличия откровенной, а затем меркла и исчезала совсем, будто являлась всего лишь плодом ее воображения. Реакция Глории была нехарактерной для представительниц ее пола: трусость супруга не вызывала у нее ни раздражения, ни преждевременного материнского чувства. Сама практически полностью лишенная чувства физического страха, она была не способна понять состояние мужа и потому прилагала все усилия, чтобы оправдать его страхи. И хотя Энтони вел себя как трус в минуты сильного волнения или в состоянии нервного напряжения, когда давал волю разыгравшемуся воображению, случались у него и порывы безрассудной храбрости, которые в те краткие мгновения вызывали у Глории чувство, близкое к восхищению. Была у Энтони и гордость, которая помогала сохранять хладнокровие, когда он знал, что на него смотрят люди.

Трусость поначалу проявилась в ряде обыденных случаев и объяснялась простой нервозностью — во время их первого путешествия в Чикаго он отчитал таксиста за слишком высокую скорость, а потом отказался повести Глорию в кафе, имеющее сомнительную репутацию, которое ей так хотелось посетить. Разумеется, таким по-

ступкам находилось объяснение, не выходившее за рамки общепринятых правил, — ведь Энтони в первую очередь заботился о безопасности жены. Однако напряжение двигалось к кульминационной точке, тяжким грузом давя на Глорию и вызывая нешуточную тревогу. Впрочем, случай, происшедший в Сан-Франциско, когда они были женаты всего неделю, придал ситуации определенность.

Было за полночь, в комнате стояла непроглядная тьма. Глория уже дремала и, слыша рядом ровное дыхание Энтони, решила, что муж тоже спит. Вдруг он приподнялся, опираясь на локоть, и уставился в окно.

— Что случилось, милый?

— Ничего. — Он откинулся на подушку и повернулся к Глории. — Ничего, моя любимая жена.

— Не называй меня женой. Я — твоя возлюбленная. Твоя «вечная любовница», это ближе к действительности и гораздо больше мне по душе… Иди ко мне, — добавила она в порыве нежности. — Мне так сладко спится, когда ты в моих объятиях.

Понятие «прийти в объятия к Глории» имело вполне определенный смысл. Энтони должен был одной рукой обнять жену за плечи, затем

сцепить обе руки у нее на груди, прижимаясь как можно ближе и создавая подобие колыбели для ее безмятежного сна. А у Энтони, привыкшего вертеться с боку на бок, после получаса неподвижности затекали руки. Он ждал, пока Глория заснет, а затем бережно перекатывал ее на другой край кровати и засыпал сам, привычно свернувшись калачиком.

Глория, получив полагающуюся порцию нежности, снова задремала. На дорожных часах, подаренных Блокмэном, прошло пять минут; вся комната с чужой безликой мебелью и гнетущим потолком, незаметно сливавшимся с невидимыми стенами, погрузилась в безмолвие. Вдруг что-то часто забарабанило по оконному стеклу; в замкнутом пространстве комнаты звук вышел отрывистым и громким.

Энтони вскочил с кровати и замер.

— Кто там?! — выкрикнул он полным ужаса голосом.

Глория лежала, затаившись, она уже проснулась, и сейчас ее занимал не столько дробный стук в окно, сколько застывшая фигура мужа, чей крик нарушил зловещую темноту.

Шум прекратился, и в комнате снова наступила тишина. Затем голос Энтони что-то сбивчиво

забормотал в телефонную трубку.

— Кто-то только что пытался проникнуть в комнату! За окном кто-то есть! — Теперь его голос звучал настойчиво, однако в нем все еще слышался испуг. — Хорошо! Поторопитесь! — Он повесил трубку и застыл рядом с телефоном.

В коридоре послышалась суетливая возня, а затем раздался стук в дверь. Энтони пошел открывать. На пороге стоял взволнованный ночной портье, а у него за спиной топтались трое коридорных. Ночной портье сжимал двумя пальцами перьевую ручку, словно та была смертельным оружием, а один из коридорных прихватил телефонную книгу и теперь робко на нее поглядывал. К компании присоединился срочно вызванный детектив, служивший при отеле, и вся компания разом ввалилась в номер.

Щелкнул выключатель, и комната озарилась светом. Глория, натянув на себя простыню, забилась в дальний уголок кровати и зажмурила глаза, отгораживаясь от ужаса, вызванного неожиданным вторжением. Потрясенное сознание жгла одна-единственная мысль: ее Энтони допустил непоправимую, позорную ошибку.

У окна послышался голос ночного портье, в котором к почтительности слуги примешивались

назидательные нотки строгого учителя, отчитывающего нерадивого ученика.

— Да никого там нет! — объявил он решительно. — Да и кому там быть, ей-богу? Ведь до земли пятьдесят футов. Просто ветер стучал веткой по ставням.

— Ах да… — выдохнул Энтони.

И Глории стало жаль мужа до боли. Хотелось только одного: успокоить его, нежно прижав к себе, и попросить этих людей убраться восвояси. Ведь повод, который их сюда привел, вызывал отвращение. Но от стыда она не могла поднять головы. До ушей доносились обрывки фраз, извинения, обычные слова, которые говорят в подобных случаях, а один из коридорных не сдержался и сдавленно хихикнул.

— Я весь вечер был не в себе, страшно нервничал, — оправдывался Энтони. — И этот стук почему-то меня напугал. Я уже почти заснул.

— Понимаю-понимаю, — деликатно соглашался ночной портье, — и со мной такое случалось.

Дверь закрылась, свет погас, Энтони подошел на цыпочках к кровати и скользнул под одеяло. Глория, притворяясь спящей, тихо вздохнула и обняла мужа.

— Что там случилось, милый?

— Ничего, — откликнулся Энтони. В его голосе все еще слышалась дрожь. — Подумал, кто-то стоит под окном, выглянул, но никого не увидел, но стук не прекращался, вот я и позвонил вниз. Прости, если потревожил тебя, но я весь вечер сам не свой.

От этой лжи Глория внутренне содрогнулась. Энтони не только не выглянул в окно, но даже к нему не приблизился, а стоял рядом с кроватью и, трясясь от страха, названивал ночному портье.

— Ах, ну ладно, — вздохнула Глория. — Как спать-то хочется.

Около часа они лежали рядом без сна. Глория так сильно зажмурила глаза, что перед ними в сгущающемся розовато-лиловом пространстве поплыли синие круги. А Энтони смотрел невидящим взглядом в потолок.

И лишь по прошествии нескольких недель ночной инцидент извлекли на свет божий, сделав его предметом насмешек и шуток. У супругов появилась традиция, помогавшая преодолевать ночные страхи Энтони. Всякий раз, когда они накатывали, Глория обнимала мужа и нежно, словно колыбельную, ворковала: «Не дам в обиду моего Энтони. Никто не посмеет причинить ему зло».

И Энтони смеялся, будто они вместе развлекались шутливой игрой. Но для Глории это не было шуткой. Сначала наступило глубокое разочарование, за которым последовало состояние, когда приходилось сдерживать рвущуюся наружу раздражительность.

А чуть ли не главной ежедневной обязанностью Энтони стала необходимость обуздывать нрав жены, будь вспышка гнева вызвана отсутствием горячей воды для принятия ванны или перепалкой с супругом. В зависимости от обстоятельств следовало действовать так: где-то промолчать, проявить непреклонность, а в отдельных случаях и уступить или, при необходимости, заставить силой. Непомерная самовлюбленность Глории проявлялась в приступах ярости, сопровождающихся жестокими выходками. Благодаря своей смелости, избалованности, вызывающей возмущение, но достойной похвалы независимости суждений и, наконец, высокомерной уверенности, что она в жизни не встречала девушки красивее себя, Глория превратилась в убежденную последовательницу Ницше, успешно претворяющую его идеи в жизнь. Разумеется, все это приправлялось глубоко прочувствованной сентиментальной нотой.

Взять хотя бы пристрастия в еде. Глория привыкла к определенным блюдам и пребывала в твердой уверенности, что не может употреблять в пищу что-то иное. К позднему завтраку непременно подавался лимонад и сандвич с помидором, а легкий ленч состоял из помидора, но уже фаршированного. Глория не только требовала конкретные яства, но и приготовить их следовало определенным способом. Один из самых досадных моментов произошел в Лос-Анджелесе, во время первых двух недель свадебного путешествия. Незадачливый официант принес помидор, фаршированный не сельдереем, а салатом из курицы.

— Мы всегда так готовим, мадам, — оправдывался официант перед пылающими гневом серыми глазами.

Глория ничего не ответила, но когда он благоразумно ретировался, принялась колотить кулачками по столу так, что зазвенели серебро и фарфор.

— Бедняжка Глория, — опрометчиво рассмеялся Энтони, — никогда не можешь получить желаемое, да?

— Не могу есть эту дрянь! — вспыхнула она.

— Тогда опять позову официанта.

— Не вздумай! Этот проклятый дурак ничего не понимает!

— Ну, служащие отеля здесь не виноваты. Либо отошли блюдо назад, либо будь хорошей девочкой и скушай его…

— Заткнись! — оборвала мужа Глория.

— Зачем срывать на мне злость?

— Я и не срываю, — захныкала она. — Просто не могу это есть.

Чувствуя собственное бессилие, Энтони сдался.

— Пойдем в другое место, — предложил он.

— Не хочу никуда идти. Устала от беготни по кафе, где нельзя заказать нормальной еды.

— Когда это мы бегали по кафе?

— А в этом городе иначе нельзя, — упорствовала Глория.

Энтони, сбитый с толку, попробовал другой подход:

— Почему не попробовать? Наверняка не так противно, как ты вообразила.

— Да потому что я не-на-ви-жу курятину!

Глория принялась с отвращением ковырять вилкой злополучный помидор, и Энтони стал опасаться, что сейчас она станет расшвыривать в разные стороны его содержимое. Он понимал, что раздражение жены достигло предела, ибо заме-

тил в ее глазах жгучую ненависть, направленную как на супруга, так и на любого, кто подвернется в данный момент под руку. В минуты гнева Глорию лучше не трогать.

И вдруг, к своему изумлению, он увидел, как она осторожно подносит ко рту вилку и пробует салат из курицы. С лица не исчезает хмурое выражение, и Энтони в тревоге безмолвно следит за каждым ее жестом, боясь даже дышать. Глория попробовала еще немного и тут же приступила к еде. Энтони с трудом сдерживал смех, а когда заговорил, в его речи не прозвучало ни единого намека на салат с курицей.

Этот инцидент в различных вариациях, словно полная скорби фуга, преследовал Энтони в течение всего первого года супружества, всякий раз сбивая с толку и вызывая удручающее раздражение. Но еще более досадным оказался непримиримый конфликт характеров, поводом для которого послужили мешки с грязным бельем. Для Энтони эти стычки неизбежно заканчивались полным поражением.

Однажды в Коронадо, где они сделали самую длительную остановку во время свадебного путешествия и прожили более трех недель, Глория наряжалась к чаепитию, намереваясь предстать

в полном блеске. Энтони, прослушав последние сводки о войне в Европе, поднялся наверх и, зайдя в комнату, поцеловал жену в напудренную шею. Затем он подошел к своему комоду с зеркалом и принялся выдвигать один за другим все ящики. Не найдя желаемого, он обратился к Незавершенному Шедевру:

— Глория, есть у нас чистые носовые платки?

В ответ Глория только покачала золотистой головкой:

— Ни единого. Я сама пользуюсь твоим.

— Полагаю, он был последним, — холодно усмехнулся Энтони.

— Правда? — Она обводила губы выразительным, но не бросающимся в глаза контуром.

— А разве белье из прачечной не принесли?

— Понятия не имею.

Энтони мгновение стоял в нерешительности, а потом, словно под действием внезапного озарения, открыл стенной шкаф. Его подозрения оправдались. На крючке висел синий мешок, который выдавали в отеле. Там находилось белье Энтони: он уложил все вещи сам. А на полу валялась впечатляющая груда дамского белья, чулок, платьев, ночных сорочек и пижам. Все это едва ли надели один раз, но, по твердому

убеждению Глории, вещи нуждались в отправке в прачечную.

Энтони стоял возле шкафа, держа дверь нараспашку.

— Что это значит, Глория?

— А в чем дело?

Линия губ подправлялась и совершенствовалась, стремясь к достижению некого загадочного результата; пенал с губной помадой не дрогнул в руке, и Глория даже не удосужилась взглянуть в его сторону, являя собой полный триумф сосредоточенного внимания.

— Ты разве не сдавала белье в прачечную?

— А оно в шкафу?

— Именно так.

— Значит, не сдавала.

— Послушай, Глория, — начал Энтони, усаживаясь на кровать и стараясь встретиться в зеркале взглядом с женой, — ты действительно замечательный компаньон! После отъезда из Нью-Йорка я несколько раз сдавал белье в стирку, а неделю назад ты, для разнообразия, пообещала сделать это сама. И всего-то дел — затолкать свое барахло в мешок и вызвать горничную.

— К чему поднимать столько шума из-за грязного белья? — обиделась Глория. — Сейчас все

сделаю.

— Я вовсе не собирался скандалить. Мне тоже неприятно, но когда не найти ни одного чистого носового платка, самое время принять какие-то меры.

Энтони считал свое поведение в высшей степени логичным, но на Глорию это не произвело должного впечатления. Отложив косметику в сторону, она повернулась к мужу спиной.

— Застегни-ка мне крючки, — попросила она. — Энтони, милый, я совсем забыла о белье. Честно, хотела отправить в стирку и сегодня же это сделаю. Не сердись на свою возлюбленную.

Энтони ничего не оставалось, как посадить ее к себе на колени и в поцелуе стереть помаду с губ.

— А я и не против, — с лучезарной улыбкой мурлыкала Глория, воплощая собой великодушие. — Разрешаю сцеловывать с меня помаду, когда пожелаешь.

Они спустились к чаю, купили в галантерейном магазине несколько носовых платков, и инцидент был предан забвению.

Однако двумя днями позже Энтони снова заглянул в стенной шкаф и обнаружил все тот же мешок, уныло свисающий с крючка, а разноцветная живописная груда под ним выросла до

потрясающих воображение размеров.

— Глория! — крикнул Энтони.

— Ах! — В ее голосе слышалось неподдельное страдание. В отчаянии Энтони направился к телефону и вызвал горничную.

— Мне кажется, — он терял терпение, — ты отводишь мне роль лакея при своей особе.

Глория рассмеялась так заразительно, что Энтони, позабыв о бдительности, улыбнулся в ответ. Бедняга! Каким-то не поддающимся объяснению образом эта неосмотрительная улыбка сделала ее полной хозяйкой положения. С видом оскорбленной в лучших чувствах праведницы она решительно направилась к стенному шкафу и принялась с яростью заталкивать свое белье в мешок. Энтони молча наблюдал за женой, сгорая от стыда.

— Вот! — объявила Глория, давая понять, что до крови стерла себе пальцы непосильным трудом.

Тем не менее он решил, что преподал жене наглядный урок и инцидент можно считать исчерпанным. Однако это было только начало. Через довольно длительные промежутки времени груды грязного белья появлялись одна за другой, а в более короткие интервалы наблюдалась постоянная нехватка носовых платков,

не говоря уже об отсутствии чистых носков, рубашек и прочих составляющих мужского и женского гардероба. В итоге Энтони понял, что либо должен отправлять белье в стирку сам, либо выдерживать словесные баталии с Глорией, которые принимали все более неприятный оборот.

Глория и генерал Ли

По пути на западное побережье супруги остановились на пару дней в Вашингтоне. С некоторой неприязнью прогуливались они при резком отталкивающем свете в атмосфере холодного равнодушия без свободы и лишенной подлинного величия помпезности. Вашингтон оставлял впечатление города тусклого и настороженного. На второй день они совершили опрометчивое путешествие в Арлингтон, где находится старый дом генерала Ли.

Автобус, который их вез, был набит разгоряченными, не слишком богатыми людьми, и Энтони, тонко чувствующий настроения жены, понимал, что надвигается буря. Гроза разразилась в зоопарке, где компания задержалась минут на десять. Весь зоопарк, казалось, пропитался запахом обезьян. Энтони только посмеивался, зато

Глория призывала страшные проклятия на головы обезьян, а заодно, по злобе, и на пассажиров автобуса вместе с их неумеренно потеющими отпрысками, которые стремглав бросились к обезьяньим клеткам.

Наконец автобус продолжил путь в Арлингтон и там встретил другие автобусы, и тут же образовалась толпа женщин и детей, оставляющая за собой шлейф из шелухи от арахисовых орехов по коридорам дома, где некогда обитал генерал Ли. В конце концов все сгрудились в комнате, где генерал сочетался браком. На стене красовалась приятная для глаз табличка с надписью, сделанной крупными красными буквами: «Дамский туалет». Этот удар стал последней каплей и окончательно доконал Глорию.

— По-моему, омерзительное зрелище! — возмутилась она, кипя от ярости. — Кому пришло в голову пустить сюда этих людей?! Да еще поощрять их пакости, превращая такие дома в места для увеселительных прогулок.

— Ты не права, — возразил Энтони. — Если бы за старинными домами никто не следил, от них остались бы только руины.

— Ну и пусть! — воскликнула Глория, когда они подходили к просторной веранде с колонна-

ми. — Думаешь, они сберегли здесь атмосферу 1860 года? Нет, это творение принадлежит году 1914-му.

— А разве тебе не хочется сохранить предметы старины?

— Но это же невозможно, Энтони! Все прекрасное растет и развивается до определенного предела, а потом наступает период разрушения и увядания, и в процессе разложения оно выдыхает из себя воспоминания. И когда какая-то отдельная эпоха разрушается в нашей памяти, принадлежащие ей предметы тоже должны истлеть, и таким образом они могут на какое-то время сохраниться в немногих сердцах, таких как мое, которое откликается на их зов. Взять хотя бы кладбище в Тэрритауне. Болваны, что тратят деньги на сохранение старины, испортили и его. Спящей Долины больше нет, и Вашингтон Ирвинг умер, а его книги год за годом истлевают в нашем сознании, теряя свою ценность. Так пусть разрушается старое кладбище, как и положено ему, да и всему остальному на свете. Старание удержать минувший век, регулярно подновляя то, что от него осталось, напоминает попытку продлить жизнь умирающему человеку с помощью стимуляторов.

— Значит, по-твоему, с уходом эпохи должны рассыпаться в прах и построенные в то время дома?

— Разумеется! Разве не утратило бы свою ценность письмо Китса, которое ты хранишь, если бы подпись обвели чернилами и подновили, чтобы продлить ее век? Именно из любви к прошлому мне хочется, чтобы этот дом помнил блистательную пору своей прекрасной юности. И я хочу, чтобы его лестницы скрипели под шагами женщин, одетых в юбки с кринолинами, и мужчин в сапогах со шпорами. А его превратили в шестидесятилетнюю старуху с толстым слоем белил и румян на лице. У этого дома больше нет права на столь процветающий вид. А генерал Ли не станет возражать, если из стен его дома будут время от времени выпадать кирпичи. И сколькие из этих… этих животных, — она обвела вокруг себя рукой, — хоть что-нибудь извлекут из всех экскурсов в историю, путеводителей и отреставрированных стен? И многие ли из тех, кто считает, что для проявления уважения вполне достаточно разговаривать вполголоса и ходить на цыпочках, приехали бы сюда, окажись это путешествие связано хоть с самыми малыми хлопотами? Нет, мне хочется, чтобы здесь пахло

магнолиями, а не арахисовыми орехами, а под моими туфлями поскрипывал тот же гравий, что под сапогами генерала Ли. Нет красоты без оттенка горечи, а терпкий привкус рожден чувством, что все в этом мире преходяще: люди, имена, книги, дома — все обречено обратиться в прах… ничто не вечно…

К ним подбежал маленький мальчик и с размаха швырнул полную пригоршню банановой кожуры в сторону Потомака.

Сентиментальность

Приезд Энтони и Глории в Нью-Йорк совпал с падением Льежа. Оглядываясь назад, эти шесть недель казались сказочно счастливыми. Подобно большинству молодых супружеских пар, они успели выяснить, что имеют множество общих навязчивых идей, причуд и странностей, и между ними установились в высшей степени доверительные отношения.

Однако часто стоило большого труда удержать разговор на уровне мирной дискуссии. Любые возражения оказывали на характер Глории пагубное действие. Всю свою жизнь она имела дело либо с людьми, уступающими в умственном

отношении, либо с мужчинами, которые под действием грозной силы ее красоты не осмеливались противоречить. А потому вполне естественно, что ее раздражало, когда Энтони стал нарушать заведенное правило, согласно которому только ее суждение признавалось безошибочным и окончательным.

Поначалу он не понимал, что это в определенной степени вытекает из ее «женского» образования, а отчасти является следствием красоты, и был склонен причислить жену и всех представительниц ее пола к созданиям явно и до странности ограниченным. Энтони выводило из себя полное отсутствие у Глории чувства справедливости, однако он установил, что если какой-либо предмет представляет для супруги интерес, ее ум устает не так быстро, как у него самого. Чего, по мнению Энтони, действительно не хватало уму Глории, так это педантичного чувства телеологии или предопределенности, что все на свете происходит в соответствии с точно установленным высшей силой порядком. Восприятия жизни как отдельного лоскутка, таинственным образом сочетающегося с остальными фрагментами пестрой мозаики. Однако через некоторое время он понял, что такое качество было бы со-

вершенно неуместно применительно к Глории.

Самым замечательным из всего, что их объединяло, была почти сверхъестественная тяга понять сердцем друг друга. В день отъезда из отеля в Коронадо Глория, в процессе упаковывания вещей, села на одну из кроватей и стала горько плакать.

— Любимая… — Он уже обнимал Глорию, прислонив ее голову к плечу. — Что случилось, моя несравненная Глория? Расскажи.

— Мы уезжаем, — выдавила сквозь рыдания Глория. — Ах, Энтони, ведь это вроде как наш первый совместный дом. Вот две наши кроватки, стоят рядышком и всегда будут ждать нас, а мы сюда больше не вернемся.

И, как бывало всегда, она разрывала на части сердце Энтони. В приливе сентиментальности он почувствовал, как на глаза сами собой наворачиваются слезы.

— Ну что ты, Глория, мы переедем в другой номер, и там будут стоять две другие кроватки. А мы проведем вместе всю жизнь.

Она заговорила низким охрипшим голосом, и слова полились потоком:

— Но именно вот этих кроватей уже никогда не будет… никогда. Куда бы мы ни поехали, при

любых переменах что-то теряется… что-то остается позади. И уже ничего нельзя в точности повторить, вернуть, а здесь мы были с тобой так близки…

Он страстно прижал к себе жену, разглядев за ее сентиментальностью исполненное мудрости стремление удержать мгновение, и критиковать этот порыв желания не возникало, разве что упрекнуть за чрезмерную слезливость. Глория, эта бездельница, лелеющая собственные мечты, извлекает мучительно-горькую остроту из незабываемых событий юности и всей жизни.

Тем же днем, вернувшись с вокзала с билетами, он застал Глорию спящей на одной из кроватей, обняв рукой какой-то черный предмет, который он поначалу не мог распознать. Подойдя ближе, Энтони обнаружил, что это одна из его туфель, не первой новизны и не слишком чистая, но Глория прижималась к ней заплаканным лицом, и он понял ее древнее как мир откровенное послание. С исступленным восторгом Энтони будил Глорию, глядя, как она ему улыбается, робкая, но прекрасно осознающая тонкое изящество своих фантазий.

Не расценивая оба этих поступка как нечто в высшей степени значимое или бренное, Энто-

ни полагал, что их место там, где бьется сердце любви.

Серый дом

Миновав двадцатилетний рубеж, темп жизни неизменно начинает сбавлять скорость, и только человеку простодушному покажутся существенно важными те же ценности, что и десять лет назад. В тридцать лет шарманщик — это всего лишь побитый молью тип, который крутит ручку шарманки, а ведь когда-то он действительно был шарманщиком! Безошибочно узнаваемым клеймом, лежащим на человечестве, отмечена величественная беспристрастная красота, которую во всем ее равнодушном великолепии способна воспринимать только юность. Шелка и атлас, украшающие блистательный праздничный бал, его полное романтики веселье и беззаботный смех со временем изнашиваются и тускнеют. И вот уже в прорехи виден каркас, созданный рукой человека. Ах эта с незапамятных времен существующая рука! Полная трагизма, божественная пьеса превращается в вереницу речей, которую выдавил из себя обливающийся липким потом бессмертный плагиатор. А играют

в ней люди, страдающие коликами, трусостью и порой не лишенные чувства отваги.

У Глории и Энтони этот период пришелся на первый год супружеской жизни, и мысль о сером домике настигла их в той стадии, когда шарманщик уже неторопливо претерпевал неотвратимые метаморфозы. Ей было двадцать три года, а ему — двадцать шесть.

Намерение обзавестись серым домиком поначалу носило чисто пасторальный характер. Первые две недели после возвращения из Калифорнии они провели в суете на квартире у Энтони, в гнетущей обстановке открытых чемоданов, избытка визитеров и неизменных мешков с бельем, которые надо отправить в прачечную. Они обсуждали с друзьями наиболее насущные проблемы будущего, а Дик и Мори, приняв глубокомысленно-торжественный вид, соглашались с их планами, пока Энтони зачитывал список, что следует сделать и где лучше жить.

— Хотелось бы свозить Глорию за границу, — сетовал он. — Если бы не проклятая война. А затем надо бы подыскать подходящее место в сельской местности, разумеется, недалеко от Нью-Йорка, где я могу писать… или заниматься каким-либо другим делом, которое выберу.

Глория рассмеялась.

— Вот умник! — обратилась она к Мори. — Делом, которое он выберет! А чем прикажете заниматься мне, пока он работает? Мори, будете выводить меня в свет, если Энтони надумает работать?

— Ну, работать я пока не собираюсь, — торопливо откликнулся Энтони.

Между супругами существовала негласная договоренность, что когда-нибудь в маячащем вдали будущем Энтони поступит на блистательную дипломатическую службу, и все главы государств и премьер-министры умрут от зависти, любуясь его красавицей женой.

— Ну вот, — беспомощно развела руками Глория. — Абсолютно ничего не понимаю. Мы все говорим и говорим, но так ни к чему и не пришли. Спрашиваем друзей, а они отвечают то, что нам хочется слышать. Хоть бы кто-нибудь о нас позаботился.

— А почему не проехаться по окрестностям, скажем, до Гринвича или куда-то еще? — предложил Ричард Кэрамел.

— Хорошо бы! — обрадовалась Глория, светлея лицом. — Думаете, там можно снять дом?

Дик только пожал плечами, а Мори рассме-

ялся.

— Вы двое приводите меня в умиление, — заявил он. — Потрясающая непрактичность! Стоит упомянуть какое-нибудь место, и уже предполагается, что мы тут же вытащим из карманов кипы фотографий бунгало, построенных в различных архитектурных стилях, какие только приемлемы для домов этого типа.

— Как раз этого я и не хочу! — капризно захныкала Глория. — Бунгало, в которых задыхаешься от жары, да еще с кучей ребятишек по соседству, а их папаша подстригает траву, облачившись в рубашку с засученными рукавами…

— Ради всего святого, Глория, — прервал ее излияния Мори, — никто не собирается запереть вас в бунгало. Господи, да кто вообще упомянул в разговоре слово «бунгало»? Только вы никогда не найдете подходящего места, если не поездите и хорошенько не поищете.

— А куда ехать? Вот вы говорите «езжайте и как следует поищите», а где искать?

Мори исполненным достоинства жестом обвел комнату рукой, похожей на большую кошачью лапу.

— Да где угодно, по всей округе. Хороших мест много.

— Благодарим.

— Послушайте! — Ричард Кэрамел лихо привел в действие свой желтый глаз. — Вся беда в том, что вы живете неорганизованно, без плана. Известно ли вам что-нибудь о штате Нью-Йорк? Помолчи, Энтони. Я разговариваю с Глорией.

— Ну, — подумав, призналась Глория, — два-три раза меня приглашали на семейные вечеринки в Порчестере, а еще в Коннектикуте… но это же не в штате Нью-Йорк, верно? И Морристаун тоже, — неуверенно протянула она.

В ответ раздался хохот.

— Боже правый! — возмутился Дик. — Морристаун, Глория, действительно не в штате Нью-Йорк, так же как и Санта-Барбара. А теперь послушайте. Для начала, если только вы не являетесь владельцами крупного состояния, не стоит принимать в расчет такие места, как Ньюпорт, Саутгемптон или Такседо. О них не может быть и речи.

Все присутствующие с серьезным видом согласились.

— Лично я терпеть не могу Нью-Джерси. Но ведь есть еще и север штата Нью-Йорк, за Такседо.

— Слишком холодно, — лаконично откликнулась Глория. — Меня туда как-то возили в

автомобиле.

— Но, по-моему, между Нью-Йорком и Гринвичем полно городков наподобие рая, где можно купить небольшой серый домик и…

При этих словах Глория подпрыгнула от восторга. Впервые после возвращения из восточных штатов она знала, чего хочет.

— Да, разумеется! — воскликнула она. — Да-да! Именно серый домик, а вокруг — все белое, и много-много кленов, коричневых и золотистых, как на картине с октябрьским пейзажем, что я видела в галерее. А где его найти?

— На беду, я куда-то засунул список серых домиков в окружении кленов, но постараюсь его отыскать. А пока возьмите лист бумаги, напишите названия семи предполагаемых городков и каждый день отправляйтесь в один из них, и так всю неделю.

— О Господи! — запротестовала Глория, у которой от умственного напряжения случился упадок сил. — А почему не сделать это вам? Ненавижу поезда.

— Тогда наймите машину и…

— Устала от разговоров, — зевнула Глория. — Похоже, мы только тем и занимаемся, что обсуждаем, где нам жить.

— Тонкую натуру моей супруги утомляет процесс мышления, — иронично заметил Энтони. — Для восстановления измотанных нервов ей срочно требуется сандвич с помидором. Давайте сходим куда-нибудь и выпьем чая.

Разговор привел к плачевному результату: они восприняли совет Дика буквально и двумя днями позже отправились в Рай, где бродили в компании раздражительного агента по недвижимости, словно заплутавшие в лесу дети. Им показали дома за сотню в месяц, стоящие вплотную к другим домам за ту же сотню; затем они осмотрели дома, которые стояли отдельно и неизменно вызывали у супругов острую неприязнь. Однако они покорно подчинялись настойчивым предложениям агента взглянуть на плиту: «Вот это плита, где еще найдешь такую!» И трясли изо всей силы дверные косяки, и стучали по стенам: все эти действия, вероятно, преследовали цель доказать, что дом не рухнет сей же час, несмотря на то что создавал именно такое впечатление. Супруги заглядывали в окна и видели либо бездушную «коммерческую обстановку» в виде массивных стульев и жестких канапе, либо претендующие на создание домашнего уюта сентиментальные безделушки, оставшиеся от прежних лет:

скрещенные теннисные ракетки, продавленные кушетки и наводящие тоску портреты гибсоновских девушек. С некоторым чувством вины они осмотрели несколько действительно хороших домов, надменных, полных холодного достоинства — но за триста долларов в месяц. Энтони и Глория уехали из Рая, предварительно выразив искреннюю благодарность агенту.

В переполненном вагоне поезда, следующего в Нью-Йорк, место за ними занял громогласно сопящий латиноамериканец, последние трапезы которого, несомненно, состояли исключительно из чеснока. Добравшись до своей квартиры, они испытали чувство невыразимого облегчения, готового обернуться истерикой. Глория тут же ринулась принимать горячую ванну в своей безупречной ванной комнате. В течение последующей недели при каждом упоминании о будущем жилье оба супруга демонстрировали полную несостоятельность.

В конце концов вопрос решился сам собой, причем неожиданно романтичным образом. Однажды пополудни Энтони влетел в гостиную, буквально светясь осенившей его идеей.

— Вот оно! — радостно выкрикивал он, будто только что изловил мышь. — Мы покупаем ав-

томобиль.

— Черт возьми! У нас и без того хлопот хватает.

— Погоди, дай объяснить. Мы просто оставим вещи у Дика и просто забросим пару чемоданов в машину… ну, ту, которую купим. Если мы собираемся жить в деревне, без автомобиля все равно не обойтись. И просто направляемся в сторону Нью-Хейвена. Понимаешь, стоит отъехать подальше от Нью-Йорка, куда не добраться пригородным поездом, и арендная плата становится дешевле. И как только подыщем подходящий дом, тут же обоснуемся.

Без конца перемежая свою речь успокоительным словом «просто», Энтони снова пробудил у Глории впавший в летаргический сон энтузиазм. Он мерил комнату энергичными шагами, создавая обманчивое впечатление неуемной деловитости, сметающей на своем пути все преграды.

— Решено, завтра покупаем автомобиль.

Неделю спустя проза жизни, вечно хромающая следом за мчащейся семимильными шагами фантазией, узрела супругов за пределами города в дешевом, но сверкающем двухместном автомобиле с открытым кузовом. И наблюдала, как

они пробираются через хаотичную неразбериху Бронкса, а потом едут по обширной мрачной местности, где унылые сине-зеленые пустыри чередуются с пригородами, в которых бурлит уродливая повседневность. За пределы Нью-Йорка они выехали в одиннадцать, и уже давно минул полный жаркого блаженства полдень, когда машина лихо катила по Пелэму.

— Нет, это не населенные пункты, — презрительно процедила Глория, — а просто городские кварталы, которые равнодушно и бездумно расшвыряли по пустошам. Наверное, у всех здешних мужчин усы перепачканы кофе, который они второпях пьют по утрам.

— И играют в пинокль в пригородных поездах, которые везут их на работу и обратно.

— А что такое пинокль?

— Ну не воспринимай все так буквально. Почем мне знать? Но, по-моему, эти люди просто обязаны в него играть.

— Мне нравится слово «пинокль». Звук похож на хруст пальцев или что-то в этом роде… Давай я сяду за руль.

Энтони бросил на жену подозрительный взгляд.

— Можешь поклясться, что хорошо водишь

машину?

— С четырнадцати лет.

Энтони бережно затормозил у обочины, и они поменялись местами. В следующее мгновение машина со страшным скрежетом рванула с места под аккомпанемент звонкого смеха Глории, который не на шутку встревожил ее мужа и показался в высшей степени неприличным.

— Поехали! — взвизгнула Глория. — Ух ты!

Головы супругов откинулись назад, как у связанных одной ниточкой марионеток, и машина понеслась вперед, с ревом обогнув фургон молочника, что стоял на дороге. Водитель фургона вскочил на сиденье и что-то орал им вслед. Придерживаясь традиций, существующих на дороге с незапамятных времен, Энтони ответил парой метких фраз относительно грубого ремесла молочника, но тут же прекратил упражнения в остроумии, сосредоточив внимание на Глории. Он все больше убеждался, что допустил непростительную ошибку, позволив жене сесть за руль. Водителем она была весьма экстравагантным и в высшей степени неосмотрительным.

— Не забывай, — заметно нервничая, предупредил он Глорию. — Продавец сказал, первые пять тысяч нельзя ехать быстрее двадцати миль

в час.

Глория коротко кивнула и чуть прибавила скорость, явно намереваясь как можно скорее преодолеть запретное расстояние. Немного подождав, Энтони сделал вторую попытку:

— Видишь тот знак? Хочешь, чтобы нас задержали?

— Ой, ради Бога! — раздраженно крикнула Глория. — Ты всегда преувеличиваешь!

— Но мне не хочется попасть под арест.

— А кто тебя арестовывает? Какой же ты настырный… повторяется история с лекарством от кашля, которое заставлял выпить вчера вечером.

— Для твоего же блага.

— Ха! Будто снова живу с мамочкой.

— Что ты такое говоришь?!

За поворотом показалась фигура полицейского и быстро исчезла из поля зрения.

— Видела? — требовательно спросил Энтони.

— Ох, ты выводишь меня из терпения! Ведь он нас не арестовал, так?

— Когда арестует, будет поздно, — с блеском парировал Энтони.

Ответ Глории был полон презрения и обиды:

— Эта старая колымага не выжимает и тридца-

ти пяти миль.

— Она не старая.

— Да из нее уже и дух вон.

В тот день, помимо мешков с бельем и аппетита Глории, триаду поводов для раздора увенчал автомобиль. Энтони предупреждал жену о железнодорожных переездах, указывал на встречные машины и в конце концов добился своего: между городами Ларчмонт и Рай кипящая яростью, разобиженная Глория уступила руль и заняла место рядом с мужем.

Однако именно ее гневное молчание и помогло воплотить в жизнь абстрактный образ серого домика, так как на выезде из Рая Энтони, не выдержав гнетущей тишины, уныло покорился и руль снова оказался в руках у Глории. С немой мольбой в глазах смотрел он на Глорию, а та, мгновенно повеселев, обещала вести машину более осторожно. Но невоспитанный трамвай нахально отказывался съехать с рельсов, и Глории пришлось свернуть в боковую улочку. В тот день она так и не сумела выехать на Почтовый тракт. Улица, которую супруги ошибочно приняли за главную дорогу, утратила какое-либо с ней сходство, когда машина отъехала на пять миль от Кос-Коба. Вместо макадама появился гравий,

вскоре сменившийся проселочной грязью. Хуже того, дорога стала сужаться, а по краям появились ряды кленов, а сквозь них просачивались лучи движущегося к западу солнца, которое производило бесконечные эксперименты с играющими на траве тенями.

— Вот мы и заблудились, — посетовал Энтони.

— Прочти этот знак!

— Мариэтта — пять миль. Что еще за Мариэтта?

— Никогда не слышала, но все равно едем дальше. Здесь не развернуться, а там, возможно, есть объездной путь на Почтовый тракт.

Дорога была изрыта колеями, то тут, то там выступали валуны. Мелькнули и исчезли три фермерских дома. Городок вынырнул скоплением тусклых крыш, сгрудившихся вокруг высокой колокольни.

Потом Глория замешкалась на развилке, а когда определилась с выбором, было уже поздно: налетев на пожарный гидрант, она буквально вырвала из машины коробку передач.

Местный агент по продаже недвижимости показывал им серый домик уже в темноте. Энтони и Глория наткнулись на него западнее поселка, где он прислонился к небу, похожему на синий плащ,

застегнутый на мелкие пуговички-звезды. Серый дом стоял здесь с тех пор, когда всех женщин, которые держали кошек, считали ведьмами, когда Пол Ревир делал вставные зубы в Бостоне, готовясь пробудить великих коммерсантов, а наши доблестные предки покидали Вашингтон. За время, прошедшее с той поры, укрепили балками ненадежный угол, переделали изнутри и отштукатурили, расширили, пристроив кухню и боковую веранду. А в остальном, не считая крыши кухни, которую какой-то развеселый олух покрыл красной жестью, дом хранил вызывающе колониальный вид.

— Каким ветром вас занесло в Мариэтту? — поинтересовался агент по продаже недвижимости тоном, в котором сквозили нотки подозрительности. Он как раз показывал супругам четыре просторные спальни, где так легко дышится.

— Машина сломалась, — пояснила Глория. — Я наехала на пожарный гидрант, и пришлось отбуксировать нас в гараж, а там мы и увидели вашу вывеску.

Агент кивнул, не в силах уразуметь стихийные действия супружеской пары. От манеры принимать серьезные решения без предварительного полугодичного обдумывания и взвешивания всех

мелочей отдавало чем-то безнравственным.

Тем же вечером они подписали договор об аренде и, полные ликования, вернулись на машине агента в охваченную дремотой старенькую гостиницу в Мариэтте. Она в силу ветхости не могла служить приютом даже для случайных непристойных шалостей и сопутствующего им веселья, характерных для сельских придорожных трактиров. Полночи Глория и Энтони пролежали без сна, строя планы дальнейшей жизни в сером домике. Энтони намеревался приступить к работе над своим трудом по истории, проявить небывалую прыть и снискать тем самым расположение цинично настроенного деда… А когда починят машину, они обследуют окрестности и станут членами ближайшего «очень милого» клуба, где Глория сможет играть в гольф, пока Энтони будет заниматься работой. Разумеется, эта идея принадлежала Энтони. Что до Глории, она хотела только читать и предаваться мечтам, а еще — чтобы ангелоподобная служанка, которая пока обитает в неведомых краях, приносила сандвичи с помидорами и поила лимонадом. В промежутках между написанием параграфов Энтони придет поцеловать жену, а она будет нежиться в гамаке… Гамак! Стимул для новых

мечтаний, созвучных с его воображаемым ритмом, когда он раскачивается на ветру, а волны солнечного света плывут по полю колышущейся пшеницы, или пыльная дорога, испещренная первыми каплями, постепенно темнеет под тихим летним дождем…

А еще гости… тут они долго спорили и оба старались проявить максимальную зрелость и дальновидность. Энтони настаивал, что гостей надо приглашать через уик-энд, так, «для разнообразия». Его слова спровоцировали сбивчивый и в высшей степени прочувствованный монолог. Неужели Энтони не хватает разнообразия в обществе Глории? И как он ни убеждал жену, что вполне хватает, она упорствовала в своих сомнениях… В конце концов разговор приобрел привычную монотонность: «А что потом? Чем мы займемся потом?»

— Ну, давай заведем собаку, — предложил Энтони.

— Не хочу. Лучше котеночка. — И Глория принялась с энтузиазмом и в мельчайших подробностях описывать историю жизни, привычки и вкусы кошки, которая когда-то у нее была. Слушая жену, Энтони сделал вывод, что это было существо с отвратительным нравом, лишенное

какого бы то ни было обаяния и неспособное на привязанность.

Потом супруги уснули и пробудились за час до рассвета, а перед их ослепленным взором кружился в торжествующем танце призрак серого дома.

Душа Глории

Той осенью серый дом приветствовал их наплывом чувств, совсем не вязавшихся со склонным к цинизму почтенным возрастом. Конечно же, остались мешки с бельем, не отправленным в прачечную, и придирки к еде со стороны Глории доставляли немало хлопот, осталась прежней склонность Энтони к болезненным размышлениям и его надуманная «нервозность», но случались и периоды нежданного безмятежного счастья. Сидя рядышком на веранде, они ждали, когда луна зальет серебристым сиянием фермерские угодья, переметнется в густой лес, а потом хлынет струящимся лучезарным потоком к их ногам. В такие лунные ночи лицо Глории светилось белизной, вызывающей сладкие воспоминания. И не стоило больших усилий сбросить установленные обыденностью шоры и заново открыть друг

в друге те же романтические чувства, составлявшие суть их отношений в далеком, ушедшем в прошлое июне.

Однажды ночью, когда голова жены покоилась на груди у Энтони, а огоньки их сигарет светились дрожащими точками под куполом темноты, распростертым над кроватью, Глория впервые, обрывочными намеками, заговорила о мужчинах, которые на краткий миг прильнули к ее красоте.

— Ты когда-нибудь о них думаешь? — поинтересовался Энтони.

— Временами, когда что-то вызывает в памяти образ конкретного мужчины.

— И что тебе вспоминается, их поцелуи?

— Разное… Мужчины сильно отличаются от женщин.

— В чем именно?

— Во всем. Так сразу и не объяснить. Мужчины с вполне определенной устойчивой репутацией порой вели себя в моем обществе совсем по-иному. Известные своими буйствами грубияны проявляли удивительную нежность, ничем не примечательные ничтожные типы поражали преданностью и казались симпатичными. А как часто мужчины, считающиеся благородными и

великодушными, совершали поступки, не имеющие ничего общего с этими качествами!..

— Например?

— Ну, был такой парень по имени Перси Уолкотт из Корнелла. В колледже он снискал репутацию настоящего героя. Отличный спортсмен, к тому же спас много людей во время пожара или что-то в этом роде. Но вскоре я обнаружила, что он просто опасен в своей глупости.

— Как это проявилось?

— По-моему, у парня было примитивное представление о женщине, «годящейся ему в жены», меня оно доводило до бешенства, и я не раз насмехалась над этой теорией. Перси требовалась девушка, которая ни с кем прежде не целовалась, любительница рукоделия и домоседка, лелеющая самолюбие супруга. Хотелось бы взглянуть на идиотку, что сидит дома, пока муженек пускается во все тяжкие на стороне с более бойкими особами.

— Остается только посочувствовать его жене.

— А мне таких не жаль. Подумай только, какой надо быть дурищей, чтобы не понять этого до свадьбы. Представление Перси об уважении к женщине заключается в том, чтобы не дать ей возможности проявить чувства. Со своими

благими намерениями он безнадежно увяз в Средневековье.

— А как он относился к тебе?

— Вот об этом и хочу рассказать. Я уже говорила — или нет? — он был настоящим красавцем. Большие честные карие глаза и улыбка, глядя на которую не сомневаешься, что у ее обладателя сердце из чистого золота. В ту пору я была молода и доверчива и, решив, что Перси наделен достаточным тактом и деликатностью, однажды ночью наградила его пылким поцелуем. Мы катались после танцев в Хоумстеде возле Хот-Спрингс. Помнится, всю неделю стояла чудная погода. Роскошные деревья зеленой пеной покрывали равнину, а между ними поднимался утренний октябрьский туман, словно дым от костров, которым предстояло покрасить их в коричневый цвет.

— А что твой приятель с его принципами?

— Вероятно, поцеловав меня, он решил, что может позволить себе все остальное и что я не достойна уважения, как простушка Беатрис Фэрфакс, чей образ создала его фантазия.

— И чего же он добился?

— Немногого. Прежде чем Перси успел приступить к действиям, я столкнула его с дамбы

высотой шестнадцать футов.

— Сильно ушибся? — со смехом спросил Энтони.

— Сломал руку и вывихнул лодыжку. Разнес эту историю по всему Хот-Спрингс, а когда рука зажила, один парень по имени Барли, которому я очень нравилась, подрался с Перси и сломал ее снова. Ох, сколько было шума! Он угрожал подать на Барли в суд, а люди видели, как Барли — он сам из Джорджии — покупает в городе револьвер. Но еще до этого мама увезла меня обратно на Север, разумеется, против воли. Так что конец истории мне неизвестен, хотя я как-то встретила Барли в вестибюле особняка Вандербилта.

Энтони долго и громко смеялся над рассказом жены.

— Какой успех! Вероятно, мне полагается прийти в ярость из-за того, что ты целовалась с таким количеством мужчин, но не получается.

После слов мужа Глория села на кровати.

— Странно, но я уверена, что их поцелуи не оставили на мне следа, не запятнали неразборчивостью в отношениях. Хотя один мужчина как-то совершенно серьезно сказал, что ему противно думать обо мне как о доступном любому желающему стакане для питья в общественном месте.

— Вот наглец!

— А я только рассмеялась и сказала, что меня скорее следует считать круговой чашей, которая, переходя из рук в руки, не утрачивает своей ценности.

— В общем-то меня это мало тревожит… хотя, разумеется, обеспокоило бы, если бы ты позволила нечто большее, чем поцелуи. По-моему, ты не способна испытывать ревность, разве что из-за уязвленного самолюбия. А почему тебя не интересует, чем занимался я? Разве не хочется, чтобы я сохранил невинность?

— Все зависит от того, какой след оставили эти отношения. Я целовала мужчину, потому что он красив, или ярко светила луна, или просто на меня накатилась сентиментальность и я расчувствовалась. Вот и все — не больше. Такие поцелуи не оставляют следа. А вот ты — другое дело, тебя воспоминания тревожат и не дают покоя.

— Неужели никого прежде не целовала, как меня?

— Нет, — просто ответила Глория. — Я же говорю, многие мужчины пытались… да мало ли что они пытались. Любая хорошенькая девушка проходит через это… Видишь ли, мне безразлично, сколько женщин у тебя было в прошлом, если

отношения ограничивались простым удовлетворением физических потребностей. Но, пожалуй, я бы не вынесла мысли, что ты долгое время жил с другой женщиной или даже хотел жениться на какой-то девушке. Это меняет дело. Будут вспоминаться все интимные подробности, которые приглушают чистоту и свежесть чувств, являющуюся в конечном итоге самой драгоценной составляющей любви.

Задыхаясь от восторга, Энтони привлек к себе жену и уложил рядом на подушку.

— Любимая, — прошептал он, — да разве я могу что-то помнить, кроме твоих чудесных поцелуев?

После этого признания послышался тихий, вкрадчивый голос Глории:

— Энтони, мне вдруг показалось, что кое-кто просто умирает от жажды.

Энтони коротко рассмеялся и со счастливой смущенной улыбкой выбрался из постели.

— И не забудь положить в воду маленький кусочек льда, — добавила Глория. — Как думаешь, могу я на это рассчитывать?

Глория всегда добавляла слово «маленький», когда просила об одолжении, так просьба звучала менее требовательно. Но Энтони снова рассмеял-

ся. Размер и форма льда не имеют значения, ведь все равно придется спускаться за ним вниз на кухню… а по коридору вслед за ним несся голос Глории:

— И маленький крекер с капелькой джема…

— Черт возьми! — с восторгом выдохнул Энтони, не замечая грубости своих слов. — Она просто чудо, моя девочка! Этого у нее не отнять!

— Когда у нас появится малыш, — завела однажды разговор Глория — супруги уже решили, что произойдет это событие через три года, — я хочу, чтобы он был похож на тебя.

— Не считая ног, — хитро улыбнулся Энтони.

— Ну да, кроме ног. Ноги у него должны быть мои. Но все остальное — твое.

— И нос тоже?

Глория пребывала в нерешительности.

— Пожалуй, и нос тоже мой. Но глаза непременно как у тебя, а рот — мой. И овал лица — тоже. А еще с моими волосами он выглядел бы просто милашкой.

— Дорогая Глория, ты полностью завладела ребенком.

— Ну, я нечаянно! — весело прощебетала она извиняющимся тоном.

— По крайней мере пусть у него останется хотя

бы моя шея, — настаивал Энтони, с серьезным видом разглядывая себя в зеркало. — Сама говорила, что тебе нравится моя шея, потому что не выступает кадык, а кроме того, твоя шея слишком короткая.

— Неправда! — возмущенно воскликнула Глория, поворачиваясь к зеркалу. — Безупречная шея, в жизни не видала красивее.

— Нет, слишком короткая, — поддразнивал Энтони.

— Короткая? — В голосе Глории слышалось изумление, смешанное с досадой. — Короткая? Да ты сошел с ума! — Она принялась вытягивать шею и снова втягивать в плечи, желая убедиться, что шея обладает змеиной гибкостью. — И ты называешь это короткой шеей?

— Самой короткой из всех, что довелось видеть.

Впервые за многие недели глаза Глории наполнились слезами, а во взгляде отразилась непритворная боль.

— Ах, Энтони…

— Господи, Глория! — В смущении он подбежал к жене и обнял. — Ради Бога, не плачь! Ведь я только пошутил, неужели не поняла? Посмотри на меня, Глория! Любимая, да более красивой

и длинной шеи я не встречал за всю жизнь. Честно!

Слезы сменились вымученной улыбкой.

— Нельзя так шутить. Давай лучше поговорим о м-малыше.

Энтони, меряя комнату шагами, разглагольствовал, словно готовил речь для диспута:

— Короче, мы можем завести двоих детей. Двоих совершенно не похожих друг на друга разумных детей. Один ребенок будет сочетать в себе все наши лучшие качества. Твое тело, мои глаза, мой образ мышления, твой ум… а во втором ребенке воплотятся все наши худшие черты: мое тело, твой характер и моя нерешительность.

— Мне нравится этот второй ребенок, — призналась Глория.

— На самом деле, — продолжил Энтони, — мне бы хотелось иметь две тройни, с разницей в возрасте один год, а потом экспериментировать с этими шестерыми мальчишками.

— Бедная я, — вставила Глория.

— Я бы отправил их получать образование в разные страны, по различным системам, а когда им исполнится двадцать три года, собрал бы всех вместе и посмотрел, что получилось.

— И пусть у всех будет моя шея, — подвела

черту Глория.

Конец главы

Машину наконец отремонтировали, и она, проявляя изощренную мстительность, снова превратилась в извечное яблоко раздора. Кто сядет за руль? С какой скоростью следует ездить Глории? Решение этих двух вопросов и сопутствующие встречные обвинения занимали целые дни. Они посещали населенные пункты вдоль Почтового тракта: Рай, Портчестер и Гринвич, навещая друзей. В основном это были подруги Глории, которые находились на разных стадиях материнства и по этой и многим другим причинам доводили Глорию до нервного расстройства. В течение часа после каждого визита она яростно кусала пальцы и имела тенденцию вымещать свой гнев на Энтони.

— Ненавижу женщин! — кричала она, пребывая в относительно спокойном расположении духа. — О чем, скажите на милость, с ними говорить? Разве что обычные женские сплетни? Я восторгалась дюжиной младенцев, которых просто хотелось задушить! И каждая из этих женщин либо начинает ревновать мужа и подозревать

во всех грехах, если он хорош собой, либо уже испытывает раздражение, если он не красавец.

— Неужели ты не собираешься общаться с женщинами?

— Не знаю. По-моему, они никогда не бывают чистыми. Нет, никогда. За исключением Констанс Шо… ну, помнишь, та самая миссис Мерриам, что навещала нас в прошлый вторник. Пожалуй, она единственная. Такая высокая, статная и выглядит очень свежо.

— А мне высокие женщины не нравятся.

Супруги побывали на нескольких танцевальных вечерах в местных клубах и решили, что этой осенью с них хватит «выходов в свет», даже если и возникнет такое желание. Энтони ненавидел гольф, да и Глория была к нему равнодушна. И хотя однажды вечером ей доставила удовольствие напряженная партия с участием студентов и радовало, что Энтони может гордиться красотой жены, от ее внимания не ускользнуло недовольство хозяйки вечера, некой миссис Грэнби. Дама не на шутку встревожилась, когда бывший однокурсник Энтони Алек Грэнби с энтузиазмом включился в соревнование. Грэнби больше не звонили, и хотя Глория только посмеивалась, такое отношение ее сильно задело.

— Понимаешь, — объясняла она Энтони, — не будь я замужем, мое поведение ни у кого бы не вызвало беспокойства. Но она насмотрелась фильмов и возомнила меня вампиром. Ведь чтобы эти люди были довольны и чувствовали себя спокойно, надо прилагать определенные усилия, а мне решительно не хочется… А смазливые первокурсники, что строят глазки и говорят идиотские комплименты! Нет, Энтони, я уже выросла из таких игр.

Светская жизнь в Мариэтте не отличалась разнообразием. Вокруг городка шестиугольником разместились полдюжины фермерских хозяйств, но они принадлежали древним старикам, которые выезжали в люди на задних сиденьях лимузинов, откуда виднелись только их седые взъерошенные головы, и поездки их, как правило, ограничивались вокзалом. Иногда их сопровождали столь же престарелые, раза в два более дородные жены. Жители городка принадлежали к удивительно неинтересному типу людей. Основную часть населения составляли старые девы, пределом фантазии которых являлись школьные праздники, а их унылые души напоминали малопривлекательную архитектуру белых англиканских церквей в трех епархиях

Соединенных Штатов. Единственной местной жительницей, с которой супруги установили близкие отношения, стала широкоплечая и широкобедрая девушка-шведка, приходившая каждый день помогать по дому. Она была немногословной и трудолюбивой, и после того как Глория застала прислугу на кухне, когда та горько плакала, уронив лицо в сложенные на столе руки, она стала испытывать к шведке необъяснимый страх и перестала жаловаться на приготовленную еду. Благодаря невысказанному, таинственному горю девушка и прижилась в доме.

Склонность Глории верить в предчувствия и вспышки интереса ко всему загадочному и сверхъестественному стали для Энтони неожиданностью. Либо некий комплекс, должным образом и с соблюдением научных принципов сдерживаемый ее матерью-билфисткой, либо наследственная сверхчувствительность делали Глорию восприимчивой к любым намекам на потусторонние силы. Крайне недоверчивая ко всему, что касается мотивов, которыми руководствуются живые люди, она была склонна верить в любые невероятные происшествия, которые якобы являлись результатом своенравных выходок покойников. Страшный скрип, разносившийся

по старому дому по ночам, когда разыгрывался ветер, означал для Энтони вломившихся в дом грабителей с револьверами наготове. Глория же полагала, что это неугомонные злобные призраки ушедших в небытие поколений, которые хотят искупить не поддающееся искуплению смертельное проклятие, тяготеющее над древним, полным мрачных тайн жилищем. Однажды ночью их разбудили два громких удара, донесшихся снизу. Дрожа от страха, Энтони попытался установить их происхождение, но безрезультатно. Так они и пролежали без сна до рассвета, задавая друг другу экзаменационные вопросы по всемирной истории.

В октябре с двухнедельным визитом приехала Мюриэл. Глория позвонила ей по междугородному телефону, и мисс Кейн закончила разговор привычной фразой: «Здор-р-рово. Уже лечу!» Она привезла под мышкой дюжину пластинок с популярными песенками.

— Здесь в деревне вам непременно надо купить патефон, — заявила она. — Обычную маленькую виктролу. Они недорогие. Вот вдруг станет тоскливо на душе, а тут вам, пожалуйста, и Карузо, и Эл Джолсон.

Она удручала Энтони до умопомрачения раз-

говорами, что «он первый умный мужчина, встретившийся на пути, и ее страшно утомили недалекие люди». Он не понимал, как мужчины могут влюбляться в таких женщин, и все же приходил к выводу, что, если судить беспристрастно, даже в Мюриэл можно рассмотреть определенную, вселяющую надежду нежность.

А Глория, рьяно демонстрировавшая свою любовь к Энтони, просто мурлыкала от радости.

И наконец, на полный нескончаемых речей и, по мнению Глории, наводящий тоску литературный уик-энд прибыл Ричард Кэрамел. Их дискуссии с Энтони продолжались, когда Глория уже давно спала сном младенца наверху.

— Странная штука этот успех и все, что с ним связано, — вещал Дик. — Еще до издания романа я безуспешно пытался продать несколько рассказов. А когда книга вышла в свет, немного подправил три рассказа и отдал в журнал, который раньше от них отказался. С тех пор я часто так делаю. Издатели не заплатят за книгу до зимы.

— Не дай себе пасть жертвой славы.

— Намекаешь, что я пишу ерунду? — заключил Дик. — Если имеется в виду преднамеренное переливание из пустого в порожнее, я этим не

грешу. Но, пожалуй, я уже не так кропотлив и придирчив. Пишу теперь быстрее и не уделяю столько времени размышлениям. Наверное, из-за недостатка общения, после того как ты женился, а Мори уехал в Филадельфию. И нет уже прежних порывов честолюбия.

— Разве тебя это не тревожит?

— Неимоверно тревожит. Возникает состояние, которое я называю писательской лихорадкой, что, должно быть, сродни лихорадке охотничьей. Это некое литературное самоосмысление, и проявляется оно особенно сильно при попытках заставить себя писать. Но самые ужасные дни — это когда мне кажется, что писать я не умею. Тогда я задаю себе вопрос: а стоит ли вообще писать? То есть не являюсь ли я добившимся славы дешевым фигляром?..

— Мне нравится, когда ты так рассуждаешь, — признался Энтони, и в его голосе прозвучали забытые снисходительно-покровительственные нотки. — Опасался, что ты совсем одурел со своими литературными трудами. Вот как-то прочел совершенно отвратительное интервью, которое ты недавно дал…

Дик перебил с исказившимся гримасой страдания лицом:

— Боже мой! Даже не напоминай! Его написала одна не в меру восторженная молодая особа. Все повторяла, что моя книга исполнена «силы», вот я и потерял голову и наделал множество необдуманных заявлений. Хотя некоторые были не лишены смысла, как тебе кажется?

— Да, те слова о мудром писателе, который пишет для молодых представителей своего поколения, критиков поколения грядущего и школьных учителей всех последующих поколений в целом.

— Но я действительно так считаю, — признался Ричард Кэрамел, светлея лицом. — Просто не следовало заявлять об этом публично.

В ноябре супруги переехали в квартиру Энтони, откуда совершали полные ликования вылазки на футбольные матчи Йель — Гарвард и Гарвард — Принстон, на каток возле церкви Святого Николая, обошли все театры и всевозможные увеселительные мероприятия, от незаметных танцевальных вечеринок до блистательных балов, которые так любила Глория. Они устраивались в домах, где под присмотром великана-мажордома расхаживали исполненные достоинства лакеи в напудренных париках на английский манер. Энтони и Глория намеревались отправиться за

границу в начале следующего года или когда закончится война. Энтони практически завершил очерк о двенадцатом веке в стиле Честертона, который хотел сделать вступлением к задуманной книге, а Глория тем временем провела всестороннее исследование рынка шубок из русских соболей. По всем признакам зима обещала много приятного, но тут демиург билфизма в середине декабря внезапно решил, что душа миссис Гилберт в своем нынешнем воплощении достаточно состарилась. Как следствие, Энтони повез убитую горем, бьющуюся в истерике Глорию в Канзас-Сити, где в соответствии с принятыми среди представителей рода человеческого обычаями отдали усопшей ужасную, потрясающую воображение дань.

В первый и последний раз в жизни мистер Гилберт представлял собой трогательную фигуру. Женщина, которую он сломил, заставляя обслуживать его тело и играть роль благодарной паствы для проповедей, по иронии судьбы его покинула — и именно в тот момент, когда он уже не смог бы достаточно долго ее выносить. Никогда больше он не получит возможности с таким упоением измываться над живой душой, изводя нелепыми капризами.

Глава вторая
Симпозиум

Глория усыпила разум Энтони. Она, казавшаяся самой мудрой и утонченной из женщин, повисла сверкающим занавесом на двери, закрыв доступ солнечному свету. В первые годы совместной жизни, которые, по мнению Энтони, неизменно несли на себе печать Глории, он видел солнце только сквозь расписанную причудливым рисунком портьеру.

Следующим летом их привело обратно в Мариэтту некое подобие утомленности своим образом жизни. Всю золотую, полную томной неги весну они без устали колесили по побережью Калифорнии, порой присоединяясь к другим компаниям. Кочевали из Пасадены в Коронадо, а из Коронадо в Санта-Барбару без какой-либо видимой цели, не считая желания Глории танцевать под разную музыку или любоваться едва различимыми оттенками переменчивой глади моря. Прямо из Тихого океана поднимались в первозданном величии, приветствуя супругов, скалы и приютившиеся рядом такие же далекие от

цивилизации гостиницы с примитивной обстановкой. Во время вечернего чая постоялец мог убить время на приютившемся поблизости сонном базарчике под крышей из ивовых прутьев. Он славился костюмами для игры в поло с символикой Саутгемптона и Лейк-Форест, Ньюпорта и Палм-Бич. И подобно волнам, которые, искрясь на солнце, встречаются с плеском в тихой бухте, супруги прибивались то к одной, то к другой компании, переезжали с места на место, непрестанно ведя беседы об удивительных иллюзорных развлечениях и праздниках, которые непременно ждут вот за этой зеленой плодородной долиной.

Курс простого здорового досуга, который не без удовольствия изучают самые достойные из мужчин. Похоже, они числятся в списке вечных кандидатов некой эфемерной организации «Фарфоровая чаша» или «Череп и кости», распространившейся по всему миру. Красота женщин превосходит средний уровень: хрупкого, но спортивного телосложения, они несколько глуповаты в качестве хозяек, но очаровательны как гостьи и украсят любую компанию. Со спокойной грацией они танцуют по своему выбору па в дурманящие часы вечернего чая, с достоинством выполняя движения, которые превратили в уродливую

карикатуру клерки и хористки по всей стране. И кажется насмешкой, что американцы, бесспорно, превзошли всех в этой изолированной, пользующейся самой дурной славой области искусства.

Беспечно протанцевав и вволю наплескавшись за щедрую на развлечения весну, Глория и Энтони в один прекрасный день обнаружили, что истратили слишком много денег. По этой причине пришлось на время удалиться от мирской суеты. Предлогом послужила «работа» Энтони. Сами не помня как, они возвратились в серый дом, уже ясно понимая, что до них здесь спали другие влюбленные, над лестничными перилами звучали другие имена и другие пары сидели на ступеньках веранды, любуясь сероватой зеленью полей и чернеющей вдалеке полоской леса.

Энтони с виду не изменился, только стал более беспокойным и нервным и оживлялся лишь после нескольких коктейлей с виски. Совсем чуть-чуть, едва заметно он охладел к Глории. А Глория… в феврале ей исполнялось двадцать четыре года, и по этому поводу она пребывала в состоянии очаровательной в своей искренности паники. До тридцати остается всего шесть лет! Если бы она меньше любила Энтони, это ощущение улетающего времени выразилось бы во вновь

проснувшемся интересе к другим мужчинам, в продуманном намерении зажечь мимолетную искру романтического чувства в каждом потенциальном поклоннике, который бросает украдкой взгляд через роскошно сервированный обеденный стол. Однажды она призналась Энтони:

— Знаешь, я чувствую, что если бы чего-то захотела, то просто бы взяла. Так я и думала всю жизнь, а получилось, что хочу только тебя, а для других желаний не осталось места.

Они ехали на восток по выжженной солнцем Индиане, и Глория, поняв, что случайно начатый разговор неожиданно принимает серьезный оборот, оторвала взгляд от своего любимого журнала о кино.

Энтони хмуро смотрел на дорогу из окна машины. Всякий раз, когда шоссе пересекала проселочная дорога, на ней возникал фермер со своим фургоном. Он лениво жевал соломинку и по всем признакам был тем же самым фермером, мимо которого они уже успели проехать раз десять. Эдакий безмолвный мрачный символ. Энтони повернулся к жене, еще больше хмурясь.

— Ты меня расстраиваешь, — начал он, не скрывая неодобрения. — Я могу представить, что

в определенной мимолетной ситуации желаю другую женщину, но чтобы быть с ней — нет, нельзя даже вообразить.

— А вот я, Энтони, чувствую по-другому. Не могу сопротивляться своим желаниям. Но я так устроена, что хочу только тебя и никого больше.

— И все-таки когда я думаю, что тебе случится кем-нибудь увлечься…

— Не будь идиотом! — рассердилась Глория. — В таких вещах не может быть случайностей. Нет, совершенно невозможно!

На этой выразительной ноте разговор закончился. Неизменная способность Энтони понимать ее чувства и делала Глорию счастливой рядом с мужем, как ни с одним другим мужчиной. Общение с ним определенно приносило радость — она любила Энтони. И лето начиналось совсем так же, как и в прошлом году.

Одна радикальная перемена, имеющая отношение к домашнему хозяйству, все же произошла. Невозмутимую скандинавскую девицу, чья аскетическая стряпня и язвительная манера прислуживать за столом так угнетали Глорию, сменил в высшей степени проворный японец по имени Таналахака. Впрочем, он признался, что откликается на любое имя, включающее два

слога «Тана».

Тана был необычайно миниатюрным даже для японца и пребывал в наивной убежденности, что является человеком светским. В день приезда из «Японского агентства по найму надежной рабочей силы Р. Гузимоники» Тана призвал Энтони к себе в комнату, чтобы продемонстрировать сокровища, хранящиеся в его дорожном сундуке. Они состояли из обширной коллекции японских почтовых открыток, каждую из которых он намеревался описать хозяину во всех подробностях. С десяток из них носили порнографический характер и были явно американского происхождения, хотя изготовитель из скромности предпочел не упоминать имени и почтового адреса. Затем он извлек образцы собственного рукоделия: пару американских брюк, которые сшил сам, и два импозантного вида комплекта шелкового нижнего белья. О цели, для которой он их берег, Тана сообщил Энтони в доверительной беседе. Следующим экспонатом оказалась довольно качественная копия с гравюры, изображающей Авраама Линкольна, причем Тана постарался придать лицу президента отчетливо выраженные японские черты. Последней извлекли на свет божий флейту: ее Тана также смастерил

сам. Правда, флейта сломалась, но Тана вскоре собирался ее починить.

После соблюдения формальностей, продиктованных вежливостью, которая, по предположениям Энтони, являлась отличительной чертой японцев, Тана разразился длинной речью на ломаном английском языке относительно характера отношений между хозяином и слугой. Из этого монолога Энтони понял, что Тана работал в крупных поместьях и неизменно ссорился с другими слугами, так как те были недостаточно честными. Особенно подробно и долго обсуждалось слово «честный», после чего Энтони и Тана почувствовали некоторую досаду друг на друга, так как Энтони упорно настаивал, что японец произносит его как «шершни», и даже дошел до того, что принялся жужжать, уподобляясь пчеле, и размахивать руками, имитируя крылья.

После беседы, занявшей три четверти часа, Энтони был отпущен на свободу с любезными заверениями, что в дальнейшем им предстоит множество приятных разговоров, в ходе которых Тана поведает, «как это дерают в моей странье».

Вот таким потоком красноречия сопровождалось первое появление Таны в сером домике. И он выполнил все свои обещания. Несмотря на

исключительную добросовестность и честность, японец оказался невообразимым занудой и, похоже, был не способен управлять своим языком, перескакивая по ходу речи с одной мысли на другую с выражением болезненной растерянности в узеньких карих глазках.

По воскресеньям и понедельникам после обеда он читал раздел комиксов в газетах. Одна картинка, изображавшая жизнерадостного японца-дворецкого, несказанно развеселила Тану, хотя он уверял, что персонаж, в котором Энтони отчетливо виделись азиатские черты, является настоящим американцем. Но главная трудность при чтении комиксов заключалась в другом. Когда Тана с помощью Энтони прочитывал подписи к трем последним картинкам и с сосредоточенностью, достойной человека, постигающего суть кантовских «Критик», старался уразуметь их смысл, он уже начисто забывал, о чем велась речь в подписях под первыми картинками.

В середине июня Энтони и Глория отпраздновали первую годовщину свадьбы, назначив друг другу «свидание». Энтони постучал в дверь, и она бросилась открывать. Супруги сидели рядом на кушетке, вспоминая имена, которые придумали друг для друга, представляющие собой новые со-

четания старых как мир проявлений нежности. И все же этому свиданию не хватило восторженного, полного сожаления прощания с пожеланием спокойной ночи.

В конце июня Глория заглянула в глаза ужасу, нанесшему удар, который наполнил страхом безмятежно-ясную душу, состарив ее на несколько десятилетий. Потом его отголоски постепенно померкли и в конце концов исчезли в непроглядной тьме, откуда и выплыл кошмар, безжалостно унося с собой частицу юности.

С безошибочным чутьем он выбрал местом действия для драматической сцены маленькую железнодорожную станцию в жалкой деревушке недалеко от Портчестера. Пустынная, словно прерия, платформа была открыта лучам запыленного желтого солнца и взглядам представителей наиболее неприятного типа сельских жителей, которые, живя вблизи крупного города, успели нахвататься дешевого шика, не приобщив к нему культуру городской жизни. Свидетелями инцидента и стала дюжина этих красноглазых, похожих на вороньи пугала мужланов. Происшествие едва ли затронуло их невосприимчивый затуманенный разум и в целом было воспринято как грубая шутка, а если вдаваться в тонкости

— как «срам». Тем не менее именно на этой платформе мир слегка поблек, утратив частицу своей яркой красоты.

В тот день Энтони проводил жаркие послеполуденные часы в обществе Эрика Мерриама за графином шотландского виски, пока Глория и Констанс Мерриам плавали и загорали на пляже одного из клубов. Правда, Констанс пряталась под полосатым зонтиком, а Глория, растянувшись на горячем песке, не удержалась от соблазна подставить солнцу ноги. Потом все четверо перекусили незатейливыми сандвичами, и тут Глория, встав с места, постучала зонтиком по колену Энтони, желая привлечь его внимание.

— Милый, нам нужно идти.

— Прямо сейчас? — Он бросил на жену недовольный взгляд. В тот момент для него самым важным являлось пребывание в праздности на тенистой веранде, попивая выдержанное шотландское виски, пока хозяин предается бесконечным воспоминаниям об эпизодах канувшей в Лету политической кампании.

— Нам действительно пора, — повторила Глория. — Можно взять такси и доехать до вокзала. Ну же, Энтони! — В ее голосе слышались властные нотки.

— Да нет, послушайте… — Мерриам потерял нить повествования и принялся выдвигать обычные в подобных случаях возражения. Попутно он наполнил стакан гостя очередной порцией виски с содовой, на поглощение которой ушло бы еще минут десять. Но, услышав от Глории настойчивое «нам пора», Энтони залпом осушил стакан, встал с места и с подчеркнутой любезностью раскланялся с хозяйкой.

— Похоже, нам и правда «пора», — заметил он с нескрываемой досадой.

Через минуту он уже шел за женой по садовой дорожке между высокими кустами роз, ее зонтик с тихим шуршанием скользил по сочной июньской листве. Какое пренебрежение к чувствам других людей! С этой мыслью Энтони следом за Глорией вышел на дорогу. Он выглядел обиженным ребенком. Глории не следовало прерывать абсолютно невинное и такое приятное времяпровождение. Виски одновременно успокоило и прояснило его неугомонный ум, и тут Энтони пришло в голову, что жена проделывает подобный трюк уже не в первый раз. Неужели всю жизнь придется прерывать доставляющее радость занятие, повинуясь удару зонтика или неодобрительному взгляду? Недовольство пере-

растало в злобу, которая все сильнее закипала в душе. Энтони молчал, с трудом подавляя желание обрушиться на жену с упреками. Перед гостиницей они нашли такси и в полном молчании поехали на станцию.

И тут Энтони понял, чего хочет. Продемонстрировать свою непреклонную волю этой равнодушной и черствой девчонке, одним мощным усилием обрести над ней власть, которая казалась сейчас такой желанной.

— Давай навестим Барнсов, — предложил он, не глядя на жену. — У меня нет желания ехать домой.

У миссис Барнс, урожденной Рейчел Джеррил, имелся летний домик в нескольких милях от Редгейта.

— Мы там были позавчера, — лаконично возразила Глория.

— А по-моему, они обрадуются. — Энтони чувствовал, что выразил свою мысль недостаточно решительно, и, собравшись с духом, упрямо продолжил: — Хочу повидаться с Барнсами. Не имею ни малейшего желания ехать домой.

— А у меня нет настроения для визита к Барнсам.

Они сердито смотрели друг на друга.

— Послушай, Энтони, — с раздражением сказала Глория, — сегодня воскресенье, и к ним, вероятно, приедут на ужин гости. С какой стати вваливаться к людям в дом в такой час?..

— Тогда почему мы не остались у Мерриамов? — вспылил он. — Зачем ехать домой, если мы так приятно проводили время? Мерриамы просили нас остаться на ужин.

— Им пришлось пригласить нас. Дай денег, и я куплю билеты на поезд.

— И не подумаю! Не собираюсь задыхаться в этом проклятом поезде.

Глория нетерпеливо топнула ногой.

— Энтони, ты ведешь себя как пьяный!

— Напротив, я абсолютно трезв.

Однако голос Энтони вдруг стал хриплым, и Глория поняла, что это неправда.

— Если ты трезв, дай денег на билеты.

Но разговаривать с ним в подобном тоне было уже бесполезно. Сознание Энтони сверлила одна мысль: Глория — эгоистка, всегда такой была и не прекратит свои выходки, если здесь и сейчас он не утвердится в качестве хозяина положения. И случай самый что ни на есть подходящий, ведь по глупой прихоти она лишила мужа удовольствия. Решимость крепла с каждой секундой, перерас-

тая в тупую мрачную злобу.

— Я не сяду в поезд, — заявил Энтони дрожащим от гнева голосом. — Мы навестим Барнсов.

— Не хочу! — с досадой выкрикнула Глория. — В таком случае я поеду домой одна.

— Счастливого пути.

Ни слова не говоря, она направилась к билетной кассе, и тут Энтони вспомнил, что у Глории есть при себе сколько-то денег. И до него дошло, что не такой он победы желал, не к тому стремился. Бросившись вслед за женой, он схватил ее за руку.

— Слушай меня! — задыхаясь, выдавил он. — Ты одна никуда не поедешь!

— Еще как поеду! Что ты делаешь, Энтони?! — воскликнула Глория, пытаясь вырваться, но Энтони только сильнее сжал руку, глядя на жену прищуренными, горящими злобой глазами. — Отпусти! — с яростью крикнула Глория. — Если осталась хоть капля порядочности!

— С какой стати? — Разумеется, он понимал с какой, но, подстрекаемый гордыней, к которой примешивалась неуверенность, считал, что непременно должен ее удержать.

— Я еду домой, понимаешь? И ты меня отпустишь!

— И не подумаю.

Глаза Глории горели гневом.

— Хочешь устроить здесь сцену?

— Сказал же: ты никуда не поедешь. Устал от твоего вечного эгоизма!

— Я всего лишь хочу домой. — Из глаз Глории выкатились две сердитые слезы.

— На сей раз будешь делать то, что говорю я.

Очень медленно ее фигура распрямилась, голова откинулась назад в жесте бесконечного презрения.

— Ненавижу тебя! — Тихие слова просачивались ядом сквозь крепко сжатые зубы. — Отпусти меня! Ох, как я тебя ненавижу! — Она снова попыталась вырваться, но теперь Энтони схватил ее за обе руки. — Ненавижу! Ненавижу!

Ярость жены поколебала решимость Энтони, но он понимал, что зашел слишком далеко и отступать поздно. Он всегда уступал Глории, и, похоже, в душе она презирала мужа. А сейчас она, конечно, испытывает ненависть, но потом станет восхищаться его силой и властностью.

Приближающийся поезд дал предупредительный гудок, и тот с манерным переливом прокатился по сияющим голубым рельсам. Глория не оставляла попыток вырваться, и слетевшие с губ

слова были древнее Книги Бытия.

— Скотина! — выкрикнула она сквозь рыдания. — Ах ты, скотина! Скотина!

Находившиеся на платформе предполагаемые пассажиры стали на них оборачиваться, бросая недоуменные взгляды. Отдаленный гул поезда становился все громче, перерастая в рев. Глория вырывалась с удвоенной яростью, а потом вдруг затихла и стояла, беспомощная и униженная, дрожа всем телом, с горящими обидой глазами. А поезд уже с грохотом подъезжал к станции.

— Окажись здесь хоть один мужчина, ты бы не посмел! Не посмел! Ах ты, трус! Какой же ты трус! Трус!

Энтони крепко держал ее, не произнося ни слова, смутно, как во сне, осознавая, что к нему обращены десятки застывших любопытных лиц. Послышались металлические удары станционного колокола, болью отозвавшиеся в ушах, и в воздух медленно взмыли клубы дыма. В облаках серого пара проплыл мимо ряд лиц, которые слились в расплывчатую массу, а потом и вовсе исчезли, и остались только падающие на рельсы косые лучи солнца, устремленные на восток, и удаляющийся, похожий на раскаты грома грохот поезда. Энтони отпустил руки жены. Он победил.

Теперь при желании можно и посмеяться. Испытание выдержано, и он утвердил свою волю, прибегнув к насилию. А после одержанной победы можно проявить снисходительность.

— Мы возьмем такси и вернемся в Мариэтту, — объявил он с удивительным хладнокровием.

Вместо ответа Глория схватила его руку и, поднеся ко рту, впилась зубами в большой палец. Энтони едва почувствовал боль, и только увидев брызнувшую кровь, рассеянно вынул носовой платок и приложил к ране, полагая, что это тоже является частью триумфа. Поражение неизбежно требует мщения, а потому не заслуживает внимания. Глория горько рыдала без слез.

— Не поеду! Не поеду! Ты меня не заставишь! Ты… Ты убил всю любовь, что я к тебе испытывала, все уважение. И все, что еще во мне живет, умрет, прежде чем я сдвинусь с этого места! Если бы я только знала, что ты посмеешь поднять на меня руку…

— Ты поедешь со мной! — жестко заявил Энтони. — Даже если придется тащить силой.

Подозвав такси, он объяснил водителю, что хочет ехать в Мариэтту. Тот вышел из машины и распахнул дверцу. Повернувшись к жене, Энтони процедил сквозь зубы:

— Не соизволишь ли сесть? Или подсадить?

Со сдавленным криком боли и отчаяния Глория подчинилась и заняла место в машине.

Всю долгую дорогу в сгущающихся сумерках Глория сидела, забившись в дальний угол машины, и лишь изредка тихо всхлипывала. Энтони смотрел в окно, медленно переосмысливая значение инцидента на перроне. Что-то пошло не так. Слова, что напоследок выкрикнула Глория, словно ударили по струне, которая отозвалась посмертным эхом в его сердце, вызывая нелепую тревогу. Разумеется, он прав, но Глория сейчас похожа на маленькую обиженную девочку, такую трогательную, униженную и сломленную под тяжестью непосильного бремени. Рукава платья порваны, зонтик исчез, остался там, на платформе. Энтони вспомнил, что она надела новый костюм и еще утром, до отъезда из дома, так им гордилась… Интересно, видел ли кто-нибудь из знакомых сцену на перроне? А в ушах все звучали слова Глории: «Все, что во мне осталось, умрет…»

Замешательство усиливалось, а с ним росла и смутная тревога, которая вполне соответствовала настроению сжавшейся в клубочек Глории. Не той гордой Глории, которую он знал. Энтони сам себя спрашивал, не сон ли это. Он не верил, что

Глория его разлюбит, — даже в мыслях не допускал. И все же в душу закрались сомнения, сумеет ли Глория, утратившая высокомерие и независимость, целомудренную самоуверенность и смелость, остаться девушкой, которой он восхищался, лучезарной женщиной, вся неповторимая прелесть которой в способности неизменно выходить победительницей, оставаясь самой собой.

Энтони еще был так пьян, что не понимал степени своего опьянения. Когда супруги наконец добрались до серого дома, он отправился к себе в комнату, а ум с угрюмым упорством безуспешно бился над вопросом, что же он все-таки натворил. Рухнув на кровать, Энтони впал в глубокое оцепенение.

Шел второй час ночи, и в доме стояла тишина. Вдруг Глория, ни на секунду не сомкнувшая глаз, проскользнула по коридору и распахнула дверь его комнаты. Энтони был настолько пьян, что не удосужился открыть окна, и воздух стал спертым от перегара. Она мгновение постояла у кровати мужа, стройная, полная изящества и грации фигурка в шелковой пижаме мальчишеского фасона. Потом в порыве отчаяния упала на Энтони, едва не разбудив страстными объятиями, и, роняя слезы ему на грудь, с жаром воскликнула:

— О, Энтони, любимый, ты сам не понимаешь, что натворил!

А рано утром он пришел к Глории в комнату, опустился на колени рядом с кроватью и заплакал, как маленький мальчик, словно это ему разбили сердце.

— Прошлой ночью, — серьезно начала Глория, теребя волосы мужа, — я подумала, что та часть во мне, которую ты любил, которая действительно стоила, чтобы узнать ее лучше, вся гордость, вся страсть куда-то исчезли. Знаю, то, что осталось у меня в душе, будет всегда тебя любить, но не так, как раньше. К прежнему возврата нет.

И все-таки даже тогда Глория понимала, что постепенно все забудется, ведь в жизни всегда так бывает и она не сразу, но потихоньку стирает все ненужное из памяти. С того утра об инциденте больше не упоминали, а глубокую рану, что после него осталась, залечили чуткие руки Энтони. Если здесь и имел место триумф, то все лавры достались неведомой темной силе, ей же перепали плоды победы и извлеченный из нее опыт.

Любовь Глории к независимости, как случается со всеми искренними, имеющими глубокие корни порывами, поначалу была неосознанной. Однако когда Энтони, очарованный своим от-

крытием, обратил внимание жены на эту черту ее характера, она мгновенно приобрела форму чуть ли не официального кодекса. Из слов Глории следовал вывод, что вся ее энергия и жизненная сила направлены на яростное утверждение негативного принципа «На все наплевать!».

«Мне нет дела ни до кого и ни до чего, — заявляла она, — кроме меня самой (и, как следствие, Энтони). Таково правило жизни, а если и нет, я все равно его бы придерживалась. Никто бы и пальцем ради меня не пошевелил, если бы это не доставляло удовольствия, и я не собираюсь что-то делать для этих людей».

Свой страстный монолог Глория произносила, стоя на веранде дома одной из самых очаровательных в Мариэтте дам, а по окончании, коротко вскрикнув, упала в обморок прямо на пол.

Хозяйка дома привела Глорию в чувство и отвезла домой в своей машине. Достойной всяческого уважения Глории пришло в голову, что она ждет ребенка.

Глория лежала внизу на шезлонге. За окном стоял теплый день, лениво лаская поздние розы у колонн веранды.

— Я постоянно думаю только о любви к тебе, — причитала Глория. — И так высоко ценю свое

тело, потому что ты находишь его красивым. И вот это мое тело… которое принадлежит тебе… вдруг становится бесформенным и безобразным, это как? Невыносимо! Ах, Энтони, я ведь не боюсь боли…

Он, как мог, утешал жену, но безрезультатно. Глория продолжала стенания:

— А потом я, возможно, раздамся в бедрах, стану бледной, и пропадет вся моя свежесть, и волосы станут тусклыми и ломкими.

Энтони мерил комнату шагами, засунув руки в карманы.

— Ты уверена?

— Ничего не знаю. Ненавижу этих акушеров… или как там их называют. Я собиралась завести ребенка, но не сейчас.

— Ради Бога, только не надо отчаиваться и так сильно переживать.

Рыдания прекратились. Опустившиеся на комнату сумерки принесли умиротворение и немного успокоили Глорию.

— Включи свет, — попросила она умоляющим тоном. — Эти июньские дни такие короткие… в детстве они казались гораздо длиннее.

Загорелись лампочки, и за окном на улице словно опустился синий занавес из тончайшего

шелка. Бледность Глории, ее пассивность, теперь уже без тени печали, пробудили в душе Энтони сочувствие.

— Ты хочешь, чтобы я родила ребенка? — вяло спросила она.

— Мне все равно. То есть совершенно безразлично. Если ты родишь ребенка, может быть, я обрадуюсь. Если нет — тоже хорошо.

— Хорошо бы ты принял какое-то решение, в ту или другую сторону!

— Полагаю, решение принимать тебе.

Глория смотрела на него с презрением, не удостаивая ответом.

— Вообразила, что из всех женщин на свете это страшное оскорбление выпало именно на твою долю?

— А хоть бы и так! — сердито выкрикнула Глория. — Для них здесь нет ничего унизительного, потому что только так можно оправдать их существование. Ни для чего другого они просто не годятся. А вот для меня это — действительно оскорбление!

— Послушай, Глория, что бы ты ни решила, я тебя поддержу, только, ради Бога, будь умницей.

— Ах, не читай мне мораль! — простонала она.

Супруги молча обменялись мимолетными пол-

ными взаимного раздражения взглядами, после чего Энтони, взяв с полки книгу, рухнул в кресло. Спустя полчаса напряженную тишину в комнате нарушил голос Глории, фимиамом разнесшийся в воздухе:

— Завтра навещу Констанс Мерриам.

— Прекрасно. А я съезжу в Тэрритаун повидаться с дедом.

— Понимаешь, — продолжила Глория, — ведь дело вовсе не в страхе, просто я остаюсь верной себе, ты же понимаешь.

— Понимаю, — согласился Энтони.

Практичные люди

Адам Пэтч, пылающий праведным гневом, направленным против германцев, кормился военными сводками. Стены кабинета были обклеены истыканными булавками картами, а все столы завалены атласами, чтобы они всегда находились под рукой. Здесь же лежали «История мировых войн в фотографиях», официальные бюллетени и «Личные впечатления» военных корреспондентов, а также рядовых X, У и Z. Секретарь деда Эдвард Шаттлуорт, в свое время практиковавший в ирландской общине в Хобо-

кене в качестве лекаря, исцеляющего все недуги джином, также проникся святым негодованием к врагу. Во время визита Энтони он неоднократно появлялся в кабинете со свежими материалами в руках. Старик с неуемной яростью набрасывался на каждую газету и, вырезав заметки, которые казались наиболее достойными внимания, отправлял их в одну из раздувшихся до невероятных размеров папок.

— Ну и чем же ты занимался все это время? — ласково поинтересовался он. — Ничем? Так я и думал. Все лето собирался к тебе заехать.

— Я писал. Помните, прислал вам очерк, тот самый, что потом продал «Флорентайн» прошлой зимой?

— Очерк? Никакого очерка мне ты не присылал.

— Да нет же, присылал. Мы вместе его обсуждали.

Адам Пэтч только покачал головой:

— Мне ты ничего не присылал. Вероятно, собирался послать, но он так и не дошел до адресата.

— Но, дедушка, вы же его прочли, — уже с раздражением настаивал Энтони. — Прочли и раскритиковали.

И тут старик вдруг вспомнил, но ничем себя не

выдал, и только чуть приоткрылся старческий рот, обнажая серые десны. Устремив на Энтони древний как мир взгляд зеленых глаз, он колебался между намерением признать ошибку и желанием ее скрыть.

— Стало быть, занимаешься литературой? — торопливо начал он. — Ну а почему не поехать в Европу и не написать об этих германцах? Напиши что-нибудь стоящее о том, что происходит на самом деле, то, что смогут читать люди.

— Стать военным корреспондентом не так просто, — возразил Энтони. — Нужно, чтобы одна из газет захотела купить материал. А для поездки в качестве внештатного корреспондента у меня нет денег.

— А я отправлю тебя за свой счет, — неожиданно предложил дед. — Собственным корреспондентом любой газеты, которую выберешь.

Предложение старика Пэтча как громом поразило Энтони и одновременно пробудило интерес.

— Н-ну, не знаю.

Придется покинуть Глорию, которая любит его всем сердцем и стала неотъемлемой частью жизни. К тому же она беременна. Нет, это нереально… И тем не менее Энтони уже представил

себя в мундире цвета хаки, опирающегося, как все военные корреспонденты, на массивную трость, и непременно с портфелем под мышкой, на манер англичан.

— Хотелось бы обдумать это предложение, — честно признался он. — Очень великодушно с вашей стороны. Я все взвешу и сообщу вам.

Процесс обдумывания занимал мысли по дороге в Нью-Йорк. Энтони переживал один из моментов прозрения, которые нисходят на всех мужчин, находящихся под влиянием сильной, горячо любимой женщины. В такие мгновения перед их взором предстает мир людей более решительных и жестких, выросших в более суровых условиях, готовых противостоять как понятиям отвлеченным, так и сражаться на настоящей войне. В этом мире руки Глории означают всего лишь пылкие объятия случайной любовницы, которые не вызывают страсти и быстро забываются.

Неведомые доселе плоды воображения преследовали Энтони и когда он садился на Центральном вокзале в поезд на Мариэтту. В вагоне было многолюдно, но Энтони удалось занять последнее свободное место. Прошло некоторое время, прежде чем он удосужился взглянуть на сидя-

щего рядом мужчину. Увидев резко очерченный подбородок с тяжелой челюстью, массивный нос и маленькие припухшие глазки, Энтони тут же узнал в соседе Джозефа Блокмэна.

Оба одновременно привстали с места, испытывая некоторое смущение, обменялись вялым рукопожатием и в завершение ритуала изобразили некое подобие дружеского смеха.

— Да, — начал Энтони без особого воодушевления, — давно мы с вами не встречались. — И, тут же пожалев о сорвавшихся с языка словах, продолжил: — Не знал, что вы живете по этому направлению.

Однако Блокмэн, предупреждая дальнейшие расспросы, любезно осведомился:

— Как поживает ваша супруга?

— Замечательно. А как вы?

— Превосходно. — Тон, каким Блокмэн произнес это слово, лишь усилил его величие и значимость.

Энтони казалось, что за прошедший год у Блокмэна невероятно выросло чувство собственного достоинства. Исчезла суетливость, и он создавал впечатление человека, наконец добившегося в жизни чего-то стоящего. Кроме того, одежда больше не поражала пестротой, игривые

яркие галстуки сменила солидная темная гамма, правая рука, на которой некогда сверкали два крупных перстня, была лишена каких-либо украшений и даже явных следов маникюра.

Достоинство проявлялось во всем внешнем облике. Пропала аура успешного коммивояжера, нарочито заискивающие манеры, худшей формой проявления которых является готовность поддержать непристойную шутку в вагоне для курящих. Возникало чувство, что осчастливившее своим перстом финансовое благополучие сделало Блокмэна надменным, а пренебрежение, с которым прежде его принимали в обществе, научило сдержанности. Но что бы ни придавало ему веса, помимо внушительной комплекции, Энтони больше не испытывал в присутствии этого человека подобающего случаю превосходства.

— Помните Ричарда Кэрамела? По-моему, вы как-то с ним встречались.

— Помню. Он еще писал книгу.

— И продал ее для сценария. Книгу передали некому сценаристу по имени Джордан. Ну, Дик договорился с одним бюро, чтобы ему присылали вырезки с рецензиями, и просто был вне себя от ярости, когда узнал, что половина кинообозревателей говорит о яркой мощи «Демонического

любовника», приписывая авторство Джордану и ни словом не упоминая старину Дика. Можно подумать, этот тип Джордан сам придумал сюжет и написал книгу.

— Большинство контрактов предусматривает упоминание имени первоначального автора в любой платной рекламе. А Кэрамел по-прежнему пишет?

— Да, он усердно трудится над рассказами.

— Превосходно… превосходно… А вы часто ездите этим поездом?

— Примерно раз в неделю. Мы живем в Мариэтте.

— В самом деле? Ну и ну! Я и сам живу в Кос-Кобе. Совсем недавно купил там дом. От вас до меня всего пять миль.

— Вы должны непременно нас навестить, — предложил Энтони, удивляясь собственной любезности. — Глория, несомненно, обрадуется встрече со старым другом. Я объясню, как нас найти. Мы здесь уже второй год.

— Благодарю. — И, словно отплачивая ответной любезностью, Блокмэн поинтересовался: — А как поживает дедушка?

— Хорошо. Сегодня я у него обедал.

— Выдающаяся личность, — серьезно конста-

тировал Блокмэн. — Замечательный образец настоящего американца.

Торжество апатии

Жену Энтони нашел в гамаке на веранде, сладострастно поглощающую сандвич с помидором и лимонад. Она вела оживленную беседу с Таной на одну из замысловатых тем, которых у японца имелось в избытке.

— В моей старане… — Мгновенно узнал Энтони любимое японцем вступление. — Люди все время кушать рис… потому что нет… Нельзя кушать чего нет. — Если бы не ярко выраженные национальные черты, можно было подумать, что все сведения о родине Тана черпает из американских учебников географии для начальных школ.

После того как уроженца Востока вынудили прервать словоизлияния и выдворили на кухню, Энтони вопросительно взглянул на жену.

— Все обошлось, — объявила Глория с сияющей улыбкой. — И я удивлена даже больше, чем ты.

— Точно?

— Да! Точнее не бывает!

Оба бурно радовались вновь обретенной возможности ни за что не отвечать. Затем Энтони

рассказал жене о предложении поехать за границу и что ему чуть ли не стыдно ответить отказом.

— А *ты* что скажешь? Только честно.

— Но, Энтони! — В глазах Глории застыл испуг. — Ты и правда хочешь ехать? Без меня?

Энтони поник лицом. Услышав вопрос жены, он понял, что уже слишком поздно. Вокруг него обвились нежные, душащие в объятиях руки Глории, ведь свой выбор он сделал год назад в номере отеля «Плаза». А сейчас имеет дело с пережитком тех лет, когда в голову еще приходили подобные мечты.

— Что ты, Глория! — лгал он в порыве озарения. — Разумеется, нет! Я вот думал, что ты могла бы поехать сестрой милосердия или еще кем-нибудь. — Тут же мелькнула мысль, приходил ли деду в голову такой поворот дела.

Глория улыбнулась, и Энтони в который раз удивился, как она прекрасна, изумительная девушка сказочной свежести с такими ясными и искренними глазами. Глория с поразительной живостью ухватилась за предложение и, подняв его над головой, словно сотворенное своими руками солнце, грелась в его лучах. И, не теряя времени, набросала краткий план их удивитель-

ных совместных приключений на войне.

После позднего ужина, пресытившись разговорами, она начала зевать. Желание что-либо обсуждать пропало, и Глория, растянувшись на кушетке, до полуночи читала «Пенрод». Энтони же, после того как отнес жену на руках в спальню, как и полагается романтическому влюбленному, еще долго бодрствовал, обдумывая события прошедшего дня, испытывая при этом легкую злость на Глорию и неудовлетворенность.

— Ну и что мне теперь делать? — завел он разговор за завтраком. — Вот мы уже год женаты, а все бестолково суетимся и даже досуг свой организовать не умеем.

— Да, тебе непременно надо найти занятие, — согласилась Глория, которая с утра пребывала в добродушном и разговорчивом настроении. Подобные беседы были не в новость, но, поскольку главная роль в них отводилась Энтони, Глория старалась их избегать.

— Не то чтобы меня терзали угрызения совести по поводу работы, — продолжал Энтони. — Но любимый дедушка может умереть завтра — или с тем же успехом прожить еще лет десять. А мы, тратя больше, чем позволяет доход, приобрели всего лишь машину, на которой ездят фермеры,

да кое-что из одежды. Платим за квартиру, в которой прожили всего три месяца, и снимаем этот домик в глухой провинции. Часто нам становится скучно, но мы и пальцем не пошевелим, чтобы познакомиться с кем-нибудь, помимо толпы, все лето слоняющейся по Калифорнии в спортивных костюмах, в ожидании смерти одного из родственников.

— Как сильно ты изменился! — заметила Глория. — А ведь когда-то сам говорил, что не понимаешь, почему американец не способен с изяществом предаваться лени.

— Черт побери, тогда я не был женат! И ум работал в полную силу, а сейчас крутится и крутится, как шестеренка, которой не за что зацепиться. И вообще я считаю, что если бы не встретил тебя, то сумел бы чего-то добиться в жизни. Но с тобой праздное времяпровождение приобретает такое очарование…

— Ах, значит, во всем виновата я?!

— Я не то имел в виду, ты же знаешь. Но мне уже скоро двадцать семь и…

— Ох, — с досадой перебила Глория, — ты наводишь на меня тоску! Говоришь так, будто я возражала против твоей работы или мешала!

— Глория, я просто размышлял! Неужели нель-

зя обсудить…

— А по-моему, у тебя должно хватить силы воли решить…

— …обсудить с тобой без этих…

— …решить свои проблемы, не тревожа меня. Ты много говоришь о необходимости работать. Вот я могу спокойно тратить больше денег, но я же не жалуюсь. Работаешь ты или нет, я все равно тебя люблю.

Ее последние слова упали мягким пушистым снежком на промерзшую землю, но в тот момент супруги не прислушивались к словам друг друга. Оба занимались утверждением своей позиции, на которую наводили глянец, стараясь придать безупречный вид.

— Но я же работал. — Со стороны Энтони было опрометчиво выдвигать это прибереженное про запас оправдание. Глория рассмеялась, не то шутливо веселясь, не то издеваясь. Склонность мужа к софистике вызывала негодование, и в то же время она восхищалась беззаботностью Энтони. И никогда бы не поставила ему в вину праздное времяпровождение, пока делалось это искренне, с твердым убеждением, что ни одно занятие не стоит того, чтобы на него тратились силы.

— Работа! — фыркнула Глория. — Ах ты, бед-

няжка! Обманщик! Работа — это наведение порядка на письменном столе с последующей установкой лампы. Потом затачиваются карандаши, и то и дело слышишь: «Глория, прекрати петь! И убери отсюда этого проклятого Тану!» Или вот еще: «Давай я прочту тебе вступление. Я не скоро закончу. Не жди, ложись спать». И чрезмерное потребление чая и кофе. На этом дело и заканчивается. А через час карандаш уже не скрипит, ты достал книгу и что-то «ищешь». Потом начинаешь читать, зеваешь... И наконец ложишься спать и без конца ворочаешься в кровати, так как накачался кофеином и уснуть не можешь. Спустя пару недель спектакль повторяется.

Энтони стоило большого труда сохранить жалкие остатки достоинства.

— Ну, ты, мягко говоря, преувеличиваешь. Ведь прекрасно знаешь, что я продал очерк во «Флорентайн», и он вызвал большой интерес, учитывая тираж «Флорентайн». И кроме того, Глория, ты сама видела, как я сидел до пяти утра, когда заканчивал работу над очерком.

Глория погрузилась в молчание, бросая мужу спасительную веревку. Если он не самоубийца, то вешаться не станет, а ухватится за ее конец.

— Во всяком случае, — вяло подвел итог Энтони, — мне действительно хочется поработать военным корреспондентом.

Глория полностью соглашалась с мужем. Оба были озабочены, их желания совпадали, и они с жаром уверяли в этом друг друга. Вечер закончился на прочувствованной ноте. Говорили о прелестях досуга, плохом здоровье Адама Пэтча и любви во что бы то ни стало.

— Энтони! — неделю спустя окликнула мужа сверху Глория. — К нам кто-то приехал.

Энтони лежал, развалившись в гамаке, на залитой пятнами солнечного света южной веранде. Машина иностранной марки, большая и внушительная, припала к земле у края дорожки, как зловещий гигантский жук. Энтони приветствовал мужчина в мягком костюме из чесучи и кепке в тон.

— Здравствуйте, Пэтч. Вот проезжал мимо и решил заглянуть.

Это был Блокмэн, как всегда ставший за это время чуточку импозантнее, с более утонченными интонациями в речи и более убедительной непринужденностью манер.

— Рад вас видеть. — Энтони повысил голос и крикнул в направлении увитого виноградом

окна: — Глория! У нас гость!

— Я принимаю ванну, — любезно откликнулась Глория.

Оба мужчины с улыбкой признали неоспоримость такого алиби.

— Она сейчас спустится. Пойдемте на боковую веранду. Хотите выпить? Глория вечно сидит в ванной. Сегодня уже третий раз.

— Жаль, что она живет не в Саунде.

— Мы не можем себе позволить такую роскошь.

Из уст внука Адама Пэтча Блокмэн воспринял фразу как обычную шутку. Через четверть часа, которую мужчины провели, состязаясь в остроумии, появилась Глория, свежая, в накрахмаленном желтом наряде, наполняя все вокруг жизнерадостной энергией.

— Хочу произвести сенсацию в кинематографе, — заявила она. — Слышала, Мэри Пикфорд получает миллион долларов в год.

— А знаете, у вас бы получилось, — поддержал Блокмэн. — По-моему, вы бы прекрасно смотрелись на экране.

— Ты позволишь, Энтони? Если буду играть целомудренных девушек?

Беседа продолжалась в высокопарной манере,

а Энтони в душе изумлялся, что его с Блокмэном эта девушка когда-то возбуждала и будоражила душу, как никто другой на свете. И вот сейчас все трое сидят рядом, напоминая не в меру добросовестно смазанные механизмы. И нет ни противоречий, ни страха, ни восторга, просто густо покрытые эмалью крошечные фигурки, надежно укрывшиеся за своими радостями в мире, где война и смерть, тупость и доблестная жестокость окутывают континент дымными клубами кошмара.

Вот сейчас Энтони позовет Тану, и они станут вливать в себя несущую радость утонченную отраву, которая ненадолго вернет радостное волнение детства. Когда каждое лицо в толпе несет обещание прекрасных и значительных событий, которые происходят где-то во имя великой и светлой цели… Жизнь ограничилась этим летним днем, легким ветерком, что играет кружевным воротничком на платье Глории, медленно накатывающей на веранду сонливостью… Казалось, все они застыли в нестерпимой неподвижности, отгородившись от какого бы то ни было романтического чувства, требующего действия. Даже красоте Глории не хватало бушующих страстей, остроты и обреченности…

— В любой день на будущей неделе, — обращался Блокмэн к Глории. — Вот, возьмите визитную карточку. Вам всего лишь устроят пробы, на которые уйдет около трехсот футов пленки, а уж потом сообщат результат.

— А что, если в среду?

— Прекрасно, в среду. Просто позвоните мне, и я сам схожу с вами…

Блокмэн поднялся с места, обменялся с Энтони коротким рукопожатием, и вот его автомобиль уже несется пыльным облаком по дороге. Энтони в растерянности обратился к жене:

— Что это значит, Глория?

— Ты ведь не возражаешь, если я пройду пробы? Энтони, ведь это всего лишь пробы! Все равно надо ехать в город в среду.

— Несусветная глупость! Ты ведь не собираешься сниматься в кино, болтаться целый день по студии с толпой статистов…

— А вот Мэри Пикфорд болтается!

— Не всем удается стать Мэри Пикфорд.

— Не понимаю твоих возражений против проб…

— Тем не менее я возражаю. Терпеть не могу актеров.

— Ох, ты наводишь на меня тоску. Неужели

думаешь, я с восторгом провожу весь день в полудреме на этой проклятой веранде?

— Была бы в восторге, если бы меня любила…

— Разумеется, я тебя люблю, — нетерпеливо перебила Глория, придумывая на ходу продолжение. — Именно поэтому не имею сил смотреть, как ты губишь себя, маясь от безделья, и все время твердишь, что должен работать. Может быть, если я временно займусь делом, мой пример подстегнет и тебя.

— Это всего лишь твоя неуемная жажда острых ощущений.

— Возможно, ты прав! Только жажда-то вполне естественная, верно?

— Вот что я тебе скажу. Если надумаешь сниматься в кино, я уеду в Европу.

— Вот и езжай! Останавливать не стану!

В подтверждение своих слов Глория залилась разрывающими сердце слезами. Вместе они, словно готовые к бою армии, выстраивали свои чувства и отношения, облачая их в слова, поцелуи, проявления нежности, подкрепляя процесс самобичеванием. И ни к чему не пришли. Как и следовало ожидать, как всегда и случалось. В конце концов, в бурном порыве чувств, своим размахом делающих честь Гаргантюа, оба сели

за стол и написали письма: Энтони — деду, а Глория — Джозефу Блокмэну. Апатия праздновала полную победу.

Однажды в начале июля Энтони вернулся во второй половине дня из Нью-Йорка и окликнул Глорию. Не получив ответа, он решил, что жена спит, и отправился в буфетную комнату с намерением подкрепиться маленьким сандвичем, которые всегда готовились про запас. По пути он обнаружил Тану, восседающего за кухонным столом над грудой хлама, в которой виднелись коробки из-под сигар, ножи, карандаши, крышки от консервных банок и клочки бумаги с искусно выполненными рисунками и чертежами.

— Какого дьявола ты здесь делаешь? — с подозрением осведомился Энтони.

Тана расплылся в любезной улыбке.

— Я покажу, — с воодушевлением начал он. — Я расскажу…

— Мастеришь собачью будку?

— Нет, са. — Лицо Таны снова озарила улыбка. — Делаю писчая масина.

— Пишущую машинку?

— Да, са. Резу в кровати и думаю, думаю про писчая масинка.

— Значит, надеешься ее соорудить?

— Подоздите, я сказу.

Энтони, дожевывая сандвич, облокотился на раковину, а Тана несколько раз открыл и закрыл рот, словно проверяя его способность к действию, и внезапно затараторил:

— Я думар… писчая масинка… много-много-много стучек… ох, много-много-много…

— Понятно. Много клавишей.

— Не-е-е? Да, кравиши. Много-много-много буква. «Эй», «Би», «Си».

— Ты абсолютно прав.

— Подоздите, я сказу. — Японец принялся почесывать лицо в невероятном усилии выразить свою мысль. — Я думар, много сров — конец один. Вот «нг».

— Верно. Таких слов полно.

— Вот я дераю писчая масинка… Чтобы быстро, не так много буквы…

— Блестящая мысль, Тана! Это сэкономит время, а ты заработаешь целое состояние. Нажимаешь одну клавишу и сразу печатаешь «инг». Надеюсь, тебе удастся сделать такую машинку.

Тана пренебрежительно хмыкнул.

— Подоздите, я сказу…

— А где миссис Пэтч?

— Ушра. Подоздите, я сказу… — Он снова при-

нялся чесать лицо. — Моя писчая масинка…

— Где она?

— Здесь… Я дерай. — Японец показал на кучу хлама на столе.

— Я говорю о миссис Пэтч.

— Ушра. Сказара, вернется пять часов, — утешил Тана.

— Поехала в поселок?

— Нет. Ушра до завтрак. С мистер Брокмэн.

Энтони вздрогнул.

— Как, уехала с мистером Блокмэном?

— Вернется пять часов.

Ни слова не говоря, Энтони вышел из кухни, а вслед несся вопль безутешного Таны: «Я сказу!» Вот, значит, как себе представляет Глория острые ощущения, черт возьми! Пальцы сами собой сжались в кулаки, и через мгновение он уже достиг высшей степени негодования. Приоткрыв дверь, Энтони выглянул на улицу — в поле зрения не наблюдалось ни одной машины, а часы уже показывали без четырех минут пять. Подстегиваемый яростью, он устремился к краю тропинки — на милю вокруг, до самого поворота, дорога была пустынной. Разве что… нет, это просто фермерская колымага. Затем, в унизительной погоне за остатками достоинства, он бросился

под защиту родных стен столь же стремительно, как их покинул.

Меряя шагами гостиную, Энтони приступил к репетиции обвинительной речи, предназначавшейся для Глории, когда та вернется.

«Значит, это и есть любовь!» — начнет он. Нет, не годится! Похоже на избитую фразу «Значит, это и есть Париж!». Нужно с достоинством продемонстрировать обиду, глубокую печаль или что там еще… «Так вот ты чем занимаешься, пока я день-деньской бегаю по душному городу, улаживая дела! Неудивительно, что я не имею возможности писать! И не могу ни на секунду оставить тебя без присмотра!» — теперь надо развить тему и подойти к главному. «Вот что я скажу, — продолжал воображаемую речь Энтони, — я скажу…» — он вдруг запнулся, неожиданно уловив в своих словах до боли знакомые ноты, и сразу же понял, что это Тана со своим извечным «я сказу».

Однако Энтони не рассмеялся и даже не подумал, что выглядит глупо. В его не на шутку разыгравшемся воображении уже пробило шесть, а потом семь и восемь часов. А Глории все нет! Блокмэн, увидев, что она скучает и не слишком счастлива, уговорил ее уехать вместе в Калифорнию…

У парадного входа послышался шум, а затем голос Глории весело крикнул: «Эй, Энтони!» Дрожа всем телом, он поднялся с места, ощущая приятную слабость в ногах, и с радостью наблюдал, как Глория легко порхает по дорожке. Блокмэн шел следом с кепкой в руке.

— Любимый! — воскликнула Глория. — Мы совершили самую увлекательную прогулку по штату Нью-Йорк!

— Мне пора домой, — торопливо сообщил Блокмэн. — Жаль, что вас не оказалось дома, когда я заехал.

— И я сожалею, — сухо откликнулся Энтони.

Блокмэн уехал, а Энтони пребывал в нерешительности. Сковавший сердце страх пропал, и все же он чувствовал, что сейчас вполне уместно выразить некоторый протест. Сомнения разрешила Глория.

— Я знала, ты не станешь возражать. Он явился как раз перед обедом и сказал, что должен ехать в Гаррисон по делам, и пригласил меня составить компанию. Ах, Энтони, он выглядел таким одиноким. А я зато всю дорогу вела машину.

Энтони с безучастным видом упал в кресло. Его ум утомился без видимой причины и потерял ко всему интерес, устал от бремени, которое окру-

жающий мир, не спросив, то и дело взваливал на плечи. И в этой ситуации он, как всегда случалось, проявил себя беспомощным неудачником. Относясь к типу личностей, которые, несмотря на многословие, не умеют выразиться внятно, Энтони, казалось, унаследовал необъятную традицию человеческой несостоятельности… а еще сознание смерти.

— Что ж, поступай как знаешь, — отозвался он наконец.

В подобных ситуациях следует проявлять широту взглядов, и Глория, молодая и красивая, должна пользоваться привилегиями в разумных пределах. И все-таки Энтони выводила из терпения неспособность смириться с этим фактом.

Зима

Она перевернулась на спину и лежала без движения на широкой кровати, наблюдая, как изящный лучик февральского солнца с трудом пробивается сквозь окно в свинцовом переплете. Некоторое время Глория не могла точно определить, где находится, или вспомнить события вчерашнего и позавчерашнего дня. Потом память, подобно раскачивающемуся маятнику,

стала отбивать такты повествования, с каждым взмахом выпуская на свободу определенный, наполненный событиями отрезок времени, пока перед мысленным взором Глории не предстала вся ее жизнь.

Теперь она слышала тяжелое дыхание лежащего рядом Энтони, чувствовала запах виски и сигаретного дыма и обнаружила, что тело не желает слушаться. Стоило пошевелиться, и движение, результатом которого является распределяющееся по всему телу напряжение, не получалось. Теперь оно стоило огромного усилия нервной системы, будто Глории приходилось всякий раз подвергать себя гипнозу, чтобы осуществить совершенно невыполнимое действие.

В ванной комнате она почистила зубы, желая избавиться от мерзкого привкуса во рту, а потом вернулась в спальню, прислушиваясь, как у входной двери гремит ключами Баундс.

— Энтони, просыпайся! — решительно потребовала она.

А потом забралась к нему под бок и закрыла глаза.

Пожалуй, последнее, что помнила Глория, был разговор с мистером и миссис Лейси.

— Уверены, что не нужно вызвать такси? —

спросила миссис Лейси, и Энтони ответил, что они прекрасно доберутся пешком, прогуляются по Пятой авеню. Затем супруги дружно сделали необдуманную попытку откланяться и в следующее мгновение, непонятно как, рухнули на целую батарею пустых бутылок из-под молока, стоявших за дверью. Их было не менее тридцати, с разинутыми горлышками притаившихся в темноте. И Глория не могла найти разумного объяснения их несносному присутствию. Возможно, бутылки привлекло звучавшее в доме Лейси пение, и они сбежались поглазеть на веселье. Одним словом, Глория и Энтони едва выбрались из этой передряги и с трудом встали на ноги. А проклятые бутылки все катались…

В конце концов им удалось поймать такси.

— У меня не работает счетчик, и поездка обойдется в полтора доллара, — заявил таксист.

— Что ж, — парировал Энтони, — я молодой Пэки Макфарленд. А ну, выходи из машины, и я вышибу из тебя дух!

После этих слов таксист уехал, оставив их на улице. Должно быть, им подвернулось другое такси, ведь как-то же они добрались до своей квартиры…

— Который час? — Энтони сидел в кровати,

устремив на жену остекленевший совиный взгляд.

Вопрос явно носил риторический характер. Чего ради Глория должна знать, который сейчас час?

— Ой, ей-богу, как же мне паршиво! — вяло пробормотал Энтони. Обмякнув всем телом, он снова рухнул на подушку. — Ох, зовите сюда старуху с косой!

— Послушай, Энтони, а как мы в конце концов добрались вчера до дома?

— Такси.

— А!.. — И после короткой паузы: — Ты донес меня до кровати?

— Понятия не имею. Кажется, это ты уложила меня в постель. Какой сегодня день?

— Вторник.

— Вторник? Хорошо бы. Ведь в среду я должен приступить к работе в этой идиотской конторе. Надо туда явиться в девять или в какую-то еще совершенно возмутительную рань.

— Спроси у Баундса, — слабым голосом предложила Глория.

— Баундс! — позвал Энтони.

Бодрый, трезвый как стеклышко — голос из мира, который они, казалось, два дня назад поки-

нули навсегда, — Баундс протопал по коридору частыми шагами, и его силуэт возник в полутьме дверного проема.

— Какой сегодня день, Баундс?

— Полагаю, двадцать второе февраля, сэр.

— Я про день недели.

— Вторник, сэр.

— Благодарю.

— Подавать завтрак, сэр? — осведомился Баундс после короткой паузы.

— Да. И слушайте, Баундс, принесите сначала кувшин с водой и поставьте здесь, рядом с кроватью. Что-то хочется пить.

Баундс, являя собой пример трезвого достоинства, удалился в коридор.

— День рождения Линкольна, — сообщил без особого энтузиазма Энтони. — Или День святого Валентина, или еще кого-нибудь. Когда началась эта безумная вакханалия?

— В воскресенье вечером.

— Вероятно, после вечерней молитвы? — язвительно предположил Энтони.

— Мы разъезжали по всему городу на нескольких такси, а Мори сидел рядом с водителем. Неужели не помнишь? Потом приехали домой, и он захотел зажарить бекон… Вышел из кухни

с обугленными остатками в руках и утверждал, что бекон зажарен до ставшей притчей во языцех корочки.

Они оба неожиданно, хоть и с некоторым трудом, рассмеялись и, лежа рядышком, принялись восстанавливать в памяти цепочку событий, оборвавшуюся этим неприветливым беспорядочным утром.

Уже почти четыре месяца как супруги переехали в Нью-Йорк, когда в конце октября жить в деревне стало слишком холодно. От путешествия по Калифорнии в этом году отказались, отчасти из-за недостатка средств, а еще из-за планов отправиться за границу, если все-таки зимой закончится тянущаяся уже второй год война. В последнее время их доход утратил былую эластичность и никак не желал растягиваться для покрытия расходов на веселые причуды и экстравагантные забавы. Энтони без видимого результата часами ломал голову над исписанным цифрами блокнотом. Составлял изумительную в своей практичности финансовую смету, обеспечивающую широкие возможности для «развлечений, путешествий и тому подобного», безуспешно стараясь пропорционально распределить прошлые затраты.

Энтони помнил времена, когда, отправляясь на пирушку с двумя лучшими друзьями, именно они с Мори оплачивали львиную долю расходов. Покупали билеты в театр или спорили между собой за столом, кому платить за ужин. И это принималось как должное. Дику с его простодушием и огромным объемом информации о своей персоне отводилась роль забавного мальчика-подростка, придворного шута при их королевских величествах. Теперь ситуация изменилась, и именно Дик всегда был при деньгах, а Энтони приходилось ограничивать себя в развлечениях, не считая случайных, полных подогретого вином разгульного веселья вечеринок. На следующее утро, под презрительным взглядом Глории, в котором сквозило отвращение, он торжественно произносил извечную фразу: «В следующий раз надо вести себя более осмотрительно».

За два года со дня публикации «Демонического любовника» Дик заработал более двадцати пяти тысяч долларов, причем большую часть получил недавно, когда благодаря ненасытной жадности кинодельцов до увлекательных сценариев гонорары автора рассказов достигли беспрецедентных цифр. За каждое свое творение Дик получал семьсот долларов, по тем временам

солидный заработок для молодого человека, не достигнувшего тридцатилетнего возраста. Еще тысячу платили, если рассказ подходил для киносценария и в нем было «достаточно действия», то есть стрельбы, поцелуев и принесенных жертв. Рассказы были разными, написаны живым языком, и во всех неизменно просматривалось подсказанное природной интуицией мастерство. Но ни один из них не мог соперничать по выразительности с «Демоническим любовником», а некоторые Энтони считал низкопробной дешевкой. Дик с суровым видом вещал, что эти произведения призваны расширить его читательскую аудиторию. Кто рискнет оспорить факт, что достигнувшие истинного признания писатели, от Шекспира до Марка Твена, адресовали свои шедевры не только избранным, но и широкой публике? Несмотря на возражения со стороны Энтони и Мори, Глория посоветовала ему продолжать в том же духе и зарабатывать по возможности больше денег. Ведь только они и имеют цену при любых обстоятельствах…

Мори, успевший слегка раздобреть и приобрести некоторую слащавость в манерах, уехал работать в Филадельфию. Пару раз в месяц он наведывался в Нью-Йорк, и тогда все четверо

отправлялись по знакомому маршруту: прямо с ужина в театр, а оттуда в «Фролик». Или, по настоянию любопытной Глории, в один из погребков Гринич-Виллидж, пользующийся громкой, хотя и мимолетной славой пристанища для представителей «нового направления в поэзии».

В январе, после многочисленных монологов, предназначенных для ушей хранящей молчание супруги, Энтони решил «подыскать какое-нибудь занятие», хотя бы на зиму. Хотелось доставить удовольствие деду и заодно выяснить, как ему самому понравится работать. После нескольких пробных полуофициальных звонков стало ясно, что работодателей не слишком интересует молодой человек, который желает потрудиться пару месяцев интереса ради. Как внука Адама Пэтча его повсюду принимали с подчеркнутой любезностью, но старик давно отошел от дел. Его звездный час сначала как угнетателя, а потом вдохновителя человечества на борьбу со злом пришелся на последние двадцать лет перед уходом на покой. Энтони даже встретил несколько молодых людей, пребывавших в твердой уверенности, что Адам Пэтч скончался много лет тому назад.

В конце концов Энтони пришел к деду за сове-

том, и тот рекомендовал поработать на рынке ценных бумаг в качестве агента по продажам. Предложение показалось скучным, но в результате Энтони решил последовать совету старика Пэтча. Ловкие манипуляции с деньгами имеют прелесть при любых обстоятельствах, тогда как всякий вид производства навевает нестерпимую скуку. Подумывал он и о работе газетчика, однако потом решил, что ее график не подходит женатому человеку. Предаваясь сладостным мечтам, Энтони видел себя в разных обличьях. Например, редактором блестящего еженедельника вроде «Меркюр де Франс» на американский манер. Или купающимся в лучах славы продюсером сатирической комедии, а то и музыкального ревю в парижском стиле. Однако для доступа в упомянутые гильдии требовалось знать определенные профессиональные секреты, которые люди постигают, продвигаясь окольными путями писательского или актерского труда. Не приобретя такого опыта, получить работу в журнале не представлялось возможным.

Таким образом, с помощью написанного дедом письма он проник в американскую святыню, где за чистым столом восседал президент компании «Уилсон, Химер и Харди», и вышел оттуда

работающим человеком. Приступить к работе предстояло двадцать третьего февраля.

В честь этого знаменательного события и была запланирована двухдневная пирушка после заявления Энтони, что по причине устройства на работу всю неделю придется рано ложиться спать. Мори Ноубл прибыл из Филадельфии, чтобы встретиться с одним человеком на Уолл-стрит (с которым он, кстати, так и не повидался), а Ричарда Кэрамела уговорили присоединиться к всеобщему веселью с помощью убедительных аргументов и обмана. В понедельник днем компания снизошла до какой-то модной свадьбы с обилием спиртного, а вечером наступила развязка. Глория, превысив обычную норму из четырех точно рассчитанных коктейлей, устроила разудалую вакханалию, какой друзья в жизни не видели, проявив при этом удивительное знание балетных па и песенок, которым, по ее собственному признанию, научилась у кухарки, будучи невинной семнадцатилетней девушкой. В течение вечера она по просьбам зрителей исполняла их несколько раз и так самозабвенно, что Энтони вовсе не испытывал раздражения, от души радуясь новому источнику увеселения. Остались в памяти и другие незабываемые моменты.

Взять, к примеру, долгий разговор между Мори и усопшим крабом, которого он держал на весу за ус, пытаясь выяснить, знаком ли тот с биномом Ньютона. Была еще и упомянутая выше гонка на двух такси, где в качестве зрителей выступали незыблемо-внушительные тени Пятой авеню и которая после беспорядочного блуждания завершилась бегством в сумрак Центрального парка. В завершение Энтони и Глория нанесли визит одной зажигательной молодой супружеской паре, тем самым Лейси, где и рухнули на груду пустых молочных бутылок.

И вот теперь предстоит провести утро за подсчетом чеков, обналиченных в клубах, магазинах и ресторанах. Выветрить застоявшийся запах вина и сигарет из просторной голубой гостиной, собрать осколки стекла и вывести пятна на обивке диванов и кресел. Да, не забыть сказать Баундсу, чтобы отнес почистить костюмы и платья. И наконец, вытащить свои все еще задыхающиеся от лихорадочного возбуждения тела и поникшие удрученные души на морозный февральский воздух, чтобы вдохнуть в них жизнь, дабы завтра утром в девять часов компания «Уилсон, Химер и Харди» получила возможность воспользоваться услугами молодого энергичного сотрудника.

— А помнишь, — вещал из ванной комнаты Энтони, — как Мори вышел на углу Сотой и Десятой улиц и стал изображать из себя регулировщика? Одни машины пропускал, а другие заворачивал назад! Люди, должно быть, решили, что он частный детектив.

Каждое воспоминание вызывало у обоих приступ безудержного смеха. Перевозбужденные нервы реагировали одинаково остро и на радость, и на горе.

Глядя в зеркало, Глория удивлялась великолепному цвету и свежести лица. Похоже, никогда в жизни она не выглядела так замечательно, хотя сильно беспокоил желудок и раскалывалась голова.

Неспешно потянулся день. Энтони взял такси, намереваясь заехать к брокеру и взять взаймы денег под долговое обязательство. Неожиданно он обнаружил, что в кармане всего два доллара. Они, безусловно, уйдут на оплату такси, но именно сегодня Энтони чувствовал, что просто не в состоянии путешествовать на метро. А следовательно, когда счетчик достигнет предельной отметки, придется выгружаться из машины и тащиться пешком.

С этой мыслью Энтони окунулся в привычные

фантазии… В мечтах он обнаружил, что счетчик щелкает слишком быстро. Мошенник-водитель, разумеется, подстроил это специально. С невозмутимым видом он добрался до нужного места и небрежно вручил шоферу сумму, которую действительно должен заплатить. Парень выразил желание подраться, но прежде чем успел поднять руку, Энтони сразил его одним сокрушительным ударом. А когда мерзавец все же встал на ноги, Энтони быстро отступил в сторону и окончательно уложил его наземь коротким ударом в висок.

И вот Энтони уже в суде. Судья приговорил его к штрафу в пять долларов, но денег при себе нет. Примет ли суд чек? Но ведь его здесь не знают. Правда, личность можно легко установить, позвонив на квартиру.

…так и поступают. Да, у телефона миссис Энтони Пэтч, но откуда ей знать, что упомянутый человек ее муж? Да, откуда? Пусть сержант спросит, помнит ли она бутылки из-под молока…

Энтони торопливо наклонился вперед и постучал в стекло. Такси еще только проезжало Бруклинский мост, а счетчик уже показывал доллар и восемьдесят центов. О чаевых меньше десяти процентов не могло быть и речи.

Ближе к вечеру он вернулся домой. Глория тоже

отсутствовала почти весь день, делая покупки, а теперь спала, свернувшись калачиком в уголке дивана, не выпуская из рук свое приобретение. Ее лицо хранило безмятежное, как у ребенка, выражение, а сверток, что она прижимала к груди, оказался куклой, играющей роль безотказно действующего целительного бальзама для растревоженного детского сердечка Глории.

Судьба

С этой пирушки, а в частности, с роли, которую сыграла на ней Глория, начались решительные перемены, коснувшиеся всего образа жизни супругов. Впечатляющая позиция плевать на все за одну ночь превратилась из обычного догмата, взятого на вооружение Глорией, в главное утешение и оправдание своих действий, а также последствий, к которым они ведут. Не огорчаться, не издавать ни стона жалобы и раскаяния, жить в соответствии с четким кодексом чести по отношению друг к другу и с жаром и настойчивостью, на которые только способны, ловить моменты счастья.

— Энтони, всем на нас наплевать, кроме нас самих, — сказала как-то Глория мужу. — Смешно

делать вид, будто я чувствую себя чем-то обязанной этому миру и меня волнует, что думают обо мне люди. Да мне просто безразлично, и все тут. Еще в детстве, в школе танцев, матери всех девочек, которые не вызывали всеобщего восхищения, как я, вечно перемывали мне кости, и с тех пор воспринимаю любую критику как проявление зависти.

Поводом для разговора послужила ночная вечеринка в «Буль-Миш», где Констанс Мерриам увидела Глорию в развеселой компании из четырех человек и на правах «старой школьной подруги» не поленилась пригласить ее на следующий день в гости, чтобы в красках описать, как ужасно смотрелась непристойная сцена со стороны.

— А я сказала, что при всем желании не могла ее наблюдать, — делилась Глория с мужем. — Эрик Мерриам — облагороженная разновидность Перси Уолкотта, ну, помнишь, тот парень из Хот-Спрингс, я о нем рассказывала. В его представлении уважение к Констанс заключается в том, чтобы держать ее взаперти за шитьем или книгой и заставлять возиться с младенцем. Ну или предаваться другим невинным развлечениям, пока супруг бежит на очередную пирушку,

где смертельной скукой и не пахнет.

— Ты ей прямо так и сказала?

— Разумеется. Да еще добавила, что причина ее возмущения кроется в зависти: ведь я провожу время гораздо веселее.

Энтони одобрял Глорию и страшно гордился, что в любой компании она неизменно затмевает всех присутствующих дам, а мужчины радостно собираются вокруг нее шумной толпой, только чтобы насладиться красотой и теплом живой энергии, не претендуя ни на что большее.

Такие вечеринки постепенно сделались для них главным источником развлечений. Все еще влюбленные и проявляющие живой интерес друг к другу, они с приближением весны тем не менее обнаружили, что сидеть дома по вечерам надоело. Книги казались далекими от действительности, прежнее очарование уединения давно пропало, и теперь супруги предпочитали скучать на глупой комедии или ужинать с наименее интересными из своих знакомых, при условии достаточного количества коктейлей, чтобы беседа не стала абсолютно невыносимой. Разношерстная компания молодых женатых мужчин, с которыми Энтони и Глория дружили еще в школе или колледже, а также обширный круг холостяков подсозна-

тельно вспоминали о них всякий раз, когда хотелось ярких ощущений. А потому редкий день в квартире не раздавался телефонный звонок и кто-нибудь непременно интересовался: «Кстати, что вы делаете сегодня вечером?» Жены, как правило, побаивались Глорию. Легкость, с которой она становилась центром всеобщего внимания, невинная, но причиняющая беспокойство манера завоевывать симпатию их мужей вызывали подспудно глубокое недоверие, которое только усиливалось из-за нежелания Глории сблизиться с кем-либо из женщин, несмотря на их попытки.

В назначенное время в среду Энтони явился в импозантную контору компании «Уилсон, Химер и Харди», где выслушал расплывчатые наставления от энергичного молодого человека примерно одних с ним лет по имени Калер, на голове которого красовался вызывающе взбитый чуб соломенного цвета. Он представился помощником секретаря, всем видом давая понять, что этой должностью награждают за выдающиеся способности.

— Здесь вы найдете два типа людей, — доверительно сообщил он. — Тех, что становятся помощниками секретаря или казначеями и включаются в каталог фирмы до тридцати лет, и

тех, чье имя попадает туда в сорок пять. Так вот, последние остаются там до конца жизни.

— А как насчет человека, попавшего в него в тридцать лет? — вежливо поинтересовался Энтони.

— Ну, он поднимется сюда. — Калер указал на список помощников вице-президентов в том же каталоге. — А возможно, он станет президентом или секретарем, или казначеем.

— А вон те?

— Те? О, это попечители, люди с капиталом.

— Понятно.

— Некоторые считают, — развивал свою мысль Калер, — что успешное начало карьеры зависит от того, получили вы образование в колледже или нет, но они ошибаются.

— Понятно.

— Вот я, например, закончил Бакли, выпуск 1911 года, но когда пришел на Уолл-стрит, очень скоро понял, что нужны-то мне вовсе не бредни, которым учили в колледже. Да, много пришлось выкинуть из головы всякой ерунды.

До Энтони все не доходило, какой такой «ерунде» обучался Калер в Бакли в 1911 году, и в продолжение всего разговора в голове вертелась неотвязная мысль, что это некий вид рукоделия.

— Видите вон того человека? — Калер указал на моложавого мужчину с красивой сединой, письменный стол которого находился за загородкой из красного дерева. — Мистер Эллинджер, первый вице-президент. Всюду побывал и все повидал, имеет прекрасное образование.

Энтони тщетно старался проникнуться романтикой финансового дела и представлял мистера Эллинджера исключительно в роли одного из покупателей собраний сочинений Теккерея, Бальзака и Гиббона в красивых кожаных переплетах, выстроившихся рядами на полках книжных магазинов.

В течение сырого, наводящего уныние марта его обучали ремеслу торговли ценными бумагами. Энтони, не слишком жаждая овладеть этим искусством, мог рассмотреть в царящей вокруг суете и неразберихе лишь напрасное стремление к достижению некой неясной цели, осязаемым подтверждением которой служили только особняки конкурентов, мистера Фрика и мистера Карнеги, на Пятой авеню. Казалось невероятным, что эти напыщенные вице-президенты и попечители на самом деле могли быть отцами «лучших ребят», которых Энтони знал по Гарварду.

Обедал он наверху, в столовой для сотрудников

компании, терзаясь подозрением, что его все время стараются взбодрить. В первую неделю пребывания на службе вызывало недоумение поведение сотрудников. Десятки молодых клерков, весьма проворных, не вызывающих нареканий и получивших образование в колледже, жили радужной мечтой вписать свое имя на заветный кусочек картона, прежде чем перевалят роковой тридцатилетний рубеж. Разговоры велись о повседневной работе и неизменно сводились к одной теме. Обсуждалось, каким образом мистер Уилсон сколотил капитал и какие средства использовали для достижения той же цели мистер Химер и мистер Харди. Пересказывались избитые, но всякий раз с восторгом встречаемые истории, как некий мясник, бармен или — ей-богу, не поверите, какой-то паршивый посыльный! — в мгновение ока нажили на Уолл-стрит огромные состояния. Затем заводился разговор о текущей игре на бирже, что разумнее: гнаться за сотней тысяч долларов в год или довольствоваться двадцатью? В прошлом году один из помощников секретаря вложил все сбережения в акции «Бетлехем стил», и повесть о его блистательном пути к нынешнему величию, о том, с каким надменным видом он отказался в январе от должности,

а также о символизирующем полный триумф дворце, что сейчас строится в Калифорнии, стала излюбленной темой для обсуждения. Само имя этого человека приобрело магический смысл, воплотив в себе чаяния всех добропорядочных американцев. О нем тоже рассказывались истории, как однажды кто-то из вице-президентов посоветовал продать акции, а он — ей-богу! — придерживал их до конца да еще прикупал. И вот теперь смотрите, каких высот достиг!

В этом, безусловно, и заключался смысл жизни. Впереди всех ждет слепящий глаза успех, что пророчит велеречивая гадалка-цыганка, помогая смириться с жалким жалованьем и невозможностью конечного триумфа, которую легко доказать путем простых арифметических действий.

Такая позиция наполняла душу Энтони отвращением. Он понимал: для продвижения в компании нужно сделаться одержимым идеей успеха и ограничить ею все свои стремления. У Энтони также создалось впечатление, что главной чертой людей, занимающих высшие должности, была вера в глубокий смысл своей деятельности, которая и лежит в основе существования всего человечества. При прочих равных условиях самонадеянность и умение извлекать

выгоду при любых обстоятельствах неизменно одерживали победу над истинным знанием дела. Однако также не вызывало сомнений, что львиная доля работы, требующей высокой квалификации, выполняется ближе к дну, а потому прилагались соответствующие усилия, чтобы не дать хорошим специалистам оттуда подняться.

Решимости Энтони проводить в течение рабочей недели все вечера дома хватило ненадолго. По утрам он, как правило, являлся в контору с разламывающейся от тошнотворной боли головой, а в ушах, словно эхо из преисподней, звучал гул переполненной подземки.

Потом он неожиданно бросил работу. Как-то в понедельник просто остался лежать в постели, а вечером, страдая очередным приступом угрюмого отчаяния, которые периодически на него накатывали, написал и отправил письмо мистеру Уилсону, признаваясь, что не считает себя пригодным для подобной работы. Глория, вернувшись из театра с Ричардом Кэрамелом, нашла его в шезлонге. Энтони в молчании тупо уставился в потолок, и за всю супружескую жизнь Глория не видела его таким удрученным и подавленным.

Ей хотелось, чтобы муж начал жаловаться, тогда можно обрушиться на него с полными горечи

упреками, так как Глория была не на шутку раздосадована. Но Энтони лежал такой потерянный, что ей стало его жалко. Опустившись на колени, Глория гладила мужа по голове, приговаривая, что его уход не имеет никакого значения, да и вообще все не важно, пока они любят друг друга. Как и в первый год совместной жизни, Энтони, отзываясь на прикосновение прохладной руки, на нежный, как дыхание, голос, ласкающий слух, почти развеселился и принялся обсуждать с женой планы на будущее. А перед тем как лечь спать, даже пожалел про себя, что поспешил отправить письмо об отставке.

— Даже когда все вокруг кажется мерзким, нельзя доверять первому впечатлению, — убеждала Глория. — Имеет значение только результат всех твоих суждений, собранных воедино.

В середине апреля пришло письмо из Мариэтты от агента по продаже недвижимости, где предлагалось снять серый домик еще на год, но уже за чуть более высокую арендную плату. К письму прилагался договор об аренде, на котором требовалось поставить свои подписи. В течение недели и письмо, и договор валялись у Энтони на письменном столе. Супруги не собирались возвращаться в Мариэтту, им там надоело, а ми-

нувшее лето прошло в невероятной скуке. Кроме того, машина превратилась в гремящую груду металла удручающего вида, а покупка новой была неразумной с финансовой точки зрения.

Однако в процессе длившейся четыре дня очередной разнузданной пирушки, в которой на разных этапах приняли участие более дюжины человек, они таки подписали договор. И, к своему ужасу, обнаружили, что не только подписали, но и тотчас отослали агенту по продаже недвижимости, словно услышали приглушенный зловещий зов серого дома, жадно облизывающегося в предвкушении сожрать свою жертву.

— Энтони, а где договор об аренде? — с тревогой в голосе поинтересовалась в воскресенье Глория, с больной головой, но успевшая достаточно протрезветь, чтобы адекватно воспринимать действительность. — Где ты его оставил? Он же лежал здесь!

Внезапно до нее дошло, где находится договор. Вспомнила попойку у них дома на пике разухабистого веселья, комнату, полную мужчин, которым, даже не пребывай они в столь приподнятом настроении, не было ни малейшего дела до Энтони и Глории. Хвастливую болтовню Энтони о выдающихся достоинствах и заманчивой уеди-

ненности их серого домика, который так далеко от другого жилья, что можно шуметь, сколько душа пожелает. Потом приехал в гости Дик и с воодушевлением заорал, что это лучший домик, о каком можно только мечтать, и они будут полными идиотами, если не снимут его еще на одно лето. Не составило труда вообразить, как душно и пусто будет в городе летом и какая благоуханная отрада ждет их в Мариэтте. Схватив договор, Энтони стал в исступлении им размахивать под молчаливое одобрение Глории. Затем во время последнего приступа говорливости супруги окончательно утвердились в своей решимости, а гости обменялись торжественными рукопожатиями, обещая прибыть с визитом. Вот тогда-то и случилось непоправимое…

— Энтони! — воскликнула Глория. — Мы его подписали и отправили!

— Что?

— Договор об аренде!

— Какого черта?!

— Ох, Энтони!

В ее голосе звучало неподдельное горе. На все лето, на целую вечность, они выстроили себе темницу. Этот шаг подрубил корни, на которых держались остатки стабильности. Энтони ду-

мал, что можно договориться с агентом, ведь им больше не по карману двойная арендная плата. Кроме того, отъезд в Мариэтту означал отказ от квартиры, его идеальной квартиры с изысканной ванной и комнатами, для которых Энтони сам покупал мебель и портьеры. Жилище, больше всего соответствующее его представлению о «домашнем очаге» и хранящее воспоминания четырех ярких лет.

Но с агентом по продаже недвижимости не договорились и вообще ничего не уладили. В подавленном состоянии, ни словом не обмолвившись о необходимости смириться и использовать ситуацию наилучшим образом, и даже отказавшись от традиционного, годившегося на все случаи жизни постулата «а мне наплевать», супруги вернулись в дом, которому, как теперь стало известно, не нужна ни любовь, ни юность. Он лишь сберег обрывки горьких воспоминаний, которыми уже никогда не смогут поделиться друг с другом.

Зловещее лето

Тем летом в доме поселился ужас. Он явился вместе с Глорией и Энтони и повис мрачной пе-

леной, постепенно расползаясь от комнат внизу по узким лестницам вверх, пока не придавил тяжким грузом сон супругов. Энтони и Глория возненавидели уединение. Ее спальня, еще недавно казавшаяся полной юной розовой нежности, что сочеталась с пастельными тонами белья, небрежно разбросанного по стульям и кровати, теперь будто нашептывала шелестом штор:

— Ах, моя прекрасная юная госпожа, ты не первая, чье утонченное изящество увяло здесь, под лучами летнего солнца… Целые поколения нелюбимых женщин наряжались перед этим же зеркалом ради влюбленного взгляда неотесанных деревенских кавалеров. Но мужланы оставляли без внимания их ухищрения… Юность зашла в твою комнату в нежнейших голубых одеждах, а вышла в сером саване отчаяния. И долгими ночами множество девушек лежали без сна вот на этом самом месте, где стоит кровать, изливая во мрак ночи свои страдания.

В конце концов Глория собрала всю одежду и косметику и бесславно бежала из спальни, заявив, что будет теперь жить с Энтони, и оправдывая свой поступок сломанной сеткой на окне, через которую проникают насекомые. Ее спальню отдали в распоряжение не склонных к сентимен-

тальности гостей, а хозяева одевались и спали в комнате Энтони, которую Глория называла «благополучной», будто присутствие мужа отгоняло тревожные тени прошлого, которые, возможно, нашли приют в ее стенах.

Различие между «благополучным» и «неблагополучным», давно определенное коротко и ясно на основании их жизненного опыта, было восстановлено в ином виде. По настоянию Глории любой гость в сером доме обязан нести на себе печать «благополучия». Если речь шла о девушке, это означало одно из двух: либо не вызывающая нареканий простушка, либо, если упомянутые качества отсутствуют, обладательница твердого характера и несгибаемой воли. Помимо прежнего скептицизма в отношении представительниц своего пола, теперь Глорию тревожил вопрос, насколько они чисты. Под «нечистотой» подразумевались абсолютно разные понятия, включая недостаток гордости, отсутствие силы духа и, главное, окружающая женщину атмосфера неразборчивости и распущенности, которую Глория безошибочно определяла.

— Женщины с легкостью влезают в грязь, гораздо легче мужчин. Если только девушка не слишком молода и отважна, ее падению неиз-

бежно сопутствуют истеричные животные потребности, грязные и не лишенные коварства. Мужчины совсем другие. Полагаю, вот почему одним из популярнейших персонажей в романах является элегантный мужчина, смело отправляющийся в лапы к дьяволу.

Глории нравились многие представители сильного пола, особенно те, кто выказывал по отношению к ней искреннюю почтительность и не упускал случая развлечь. Однако часто, осененная вспышкой проницательности, она заявляла Энтони, что кто-то из друзей просто его использует, а следовательно, лучше не иметь с ним дела. Энтони по привычке возражал, настаивая, что «обвиняемый» относится к разряду «благополучных», но впоследствии оказывалось, что суждения жены более верные. Несколько раз это подтвердилось с особой наглядностью, когда Энтони остался в одиночестве с пачкой ресторанных счетов, которые следовало оплатить.

Скорее из страха перед одиночеством, чем из желания окунуться в досадную суету очередной пирушки, они каждый уик-энд приглашали в дом гостей, а зачастую и среди недели. В выходные дни вечеринки не отличались разнообразием. Когда приглашались трое или четверо мужчин,

считалось вполне уместным начать с выпивки, после чего следовали шумный ужин и поездка в местный клуб «Крэдл-Бич». Энтони и Глория стали его членами, так как клуб, пусть и не из самых модных, оказался достаточно дешевым и оживленным, а в их случае без такого заведения было просто не обойтись.

Кроме того, никого не интересовало, чем вы там занимаетесь, и пока Пэтчи и их гости не выходили за разумные пределы и не слишком шумели, законодатели общественного мнения в «Крэдл-Бич» смотрели сквозь пальцы на веселящуюся в зале Глорию, которая принимала в течение вечера коктейль за коктейлем.

Суббота обычно заканчивалась чарующей суматохой, и часто возникала необходимость помочь отяжелевшим от выпивки гостям добраться до постели. Воскресенье несло с собой нью-йоркские газеты и тихое утро, посвященное восстановлению сил на веранде. Во второй половине дня в воскресенье прощались с одним или парой гостей, которым требовалось вернуться в город, а те, кто оставался до следующего дня, снова приступали к поглощению спиртного, и завершалось все шумным вечерним пиршеством.

Преданный Тана, педант по натуре и мастер на

все руки, последовал за хозяевами. Самые частые гости установили определенную традицию в отношениях с японцем. Однажды Мори Ноубл заявил, что его настоящее имя — Танненбаум, а сам он германский шпион, которого забросили в страну для распространения тевтонской пропаганды по округу Уэстчестер. После этого из Филадельфии сбитому с толку азиату стали приходить загадочные письма, адресованные лейтенанту Эмилю Танненбауму. В них содержалось несколько шифровок с подписью «Генеральный штаб» и два столбца витиеватых якобы японских иероглифов. Энтони без тени улыбки на лице вручал письма Тане, и адресат долгие часы корпел на кухне над посланиями, с серьезным видом заявляя, что состоящие из перпендикулярных линий символы не только не похожи на японские иероглифы, но и вообще таковыми не являются.

Глория невзлюбила японца с того дня, когда неожиданно вернулась из поселка и застала его за изучением газет, полуразвалившимся на кровати Энтони. Под действием неведомого инстинкта слуги обожали Энтони и терпеть не могли Глорию, и Тана не являлся исключением из правила. Однако он испытывал отчаянный страх перед хозяйкой и проявлял свою неприязнь толь-

ко в моменты угрюмого настроения, обращаясь к Энтони с замечаниями, явно предназначенными для ушей его супруги.

— Что миз Пэтс хотет узинать? — спрашивал он, глядя на хозяина. Или начинал туманно намекать на нестерпимый эгоизм отдельных «мериканцев», и по его виду можно было безошибочно определить, кто именно из «мериканцев» имеется в виду.

Но Пэтчи не рискнули уволить японца. Подобный шаг претил их пассивности, и они терпели Тану и принимали как плохую погоду, телесные недуги и волю Всевышнего, как мирились со всем, включая самих себя.

Во тьме

Как-то знойным июльским днем из Нью-Йорка позвонил Ричард Кэрамел и объявил, что они с Мори едут в гости и везут с собой приятеля. Друзья появились около пяти, в легком подпитии, а сопровождал их низенький коренастый мужчина лет тридцати пяти, представленный как мистер Джо Халл, один из лучших людей, с которыми доводилось встречаться Энтони и Глории.

Лицо Джо Халла покрывала соломенного цвета

щетина, яростно пробивавшаяся сквозь кожу, а его голос представлял собой нечто среднее между басом-профундо и хриплым шепотом. Энтони помог Мори отнести наверх чемоданы и зашел вслед за другом в комнату, тщательно прикрыв дверь.

— Кто этот тип? — потребовал он объяснений.

Мори радостно хохотнул:

— Кто, Халл? О, все в порядке, он «благополучный».

— Не сомневаюсь, но что он собой представляет?

— Халл? Просто славный малый. Настоящий принц. — Мори снова хохотнул, сопровождая свои действия умилительными кошачьими ужимками. Энтони не мог сообразить, как поступить: разделить веселье приятеля или нахмурить брови?

— Мне он кажется странным. И одет как-то чудаковато. — Он немного помолчал. — Подозреваю, вы оба подцепили его где-то прошлой ночью.

— Не смеши! — возмутился Мори. — Да нет же, я сто лет с ним знаком.

Однако поскольку он завершил свою речь очередной серией смешков, Энтони был вынужден

огрызнуться:

— Черта с два!

Позже, перед самым ужином, пока Мори и Дик что-то шумно обсуждали, а Джо Халл молча слушал, время от времени отхлебывая из своего стакана, Глория увлекла мужа в столовую.

— Не нравится мне этот тип Халл, — заявила она. — Пусть моется в ванной Таны.

— Но я же не могу ему так прямо сказать.

— А я не желаю, чтобы он пользовался нашей ванной.

— По-моему, он глуповат.

— А эти жуткие белые туфли, похожие на перчатки! Сквозь них видно все пальцы. Фу! Да кто он вообще?

— Спроси что-нибудь полегче.

— Ну, со стороны твоих друзей большая наглость притащить его к нам в дом. Здесь не приют для потерпевших крушение матросов!

— Они, когда звонили, были уже под мухой. Мори сказал, что празднуют со вчерашнего дня.

Глория сердито встряхнула головой и, ни слова не говоря, вернулась на веранду. Энтони понимал, что жена пытается избавиться от сомнений и получить удовольствие от вечера.

День выдался тропический, и даже в поздних

сумерках с иссушенной дороги накатывали подрагивающие, словно желе, волны душного жара. Небо было безоблачным, но вдали за лесом, по направлению к Саунду, слышались слабые раскаты грома. Тана объявил, что ужин готов, и мужчины, сняв с разрешения Глории пиджаки, зашли в дом.

Мори затянул песенку, присутствующие дружно подхватили и исполняли ее, пока ели первое блюдо. Плод фантазии Мори состоял всего из двух строчек и пелся на мотив «Милой Дейзи»:

Страшная паника нас обуяла,

Силу моральную подло украла!

Каждый повтор встречали восторженными воплями и продолжительными аплодисментами.

— Не хмурься, Глория! — весело крикнул Мори. — Похоже, ты сегодня не в духе!

— Ничего подобного, — солгала Глория.

— Эй, Танненбаум! — крикнул он через плечо. — Я тебе налил, иди сюда!

Глория попыталась остановить его руку.

— Пожалуйста, Мори, прекрати!

— А в чем дело? Может, после ужина он сыграет нам на флейте. Эй, Тана!

Тана, ухмыляясь, унес свой стакан на кухню. Через пару минут Мори налил ему еще один.

— Не хмурься, Глория! — снова выкрикнул он. — Ради всех святых, давайте развеселим Глорию!

— Любимая, выпей еще стаканчик, — уговаривал Энтони.

— Ну, пожалуйста!

— Не хмурься, Глория! — с развязным видом поддержал Джо Халл.

Неуместное обращение по имени покоробило Глорию. Она осмотрелась по сторонам, желая выяснить, заметил ли кто-нибудь из присутствующих эту вопиющую бестактность. Ее имя, так легко сорвавшееся с губ человека, к которому она испытывала глубокую неприязнь, резануло слух. Минуту спустя она заметила, как Джо Халл снова наполнил стакан Таны, и гнев, подогреваемый действием алкоголя, усилился.

— ...и вот однажды, — разглагольствовал Мори, — часа в два ночи отправились мы с Питером Грэнби в турецкие бани в Бостоне. Там никого не было, кроме хозяина. Мы запихали его в сортир и заперли дверь. Потом притащился какой-то тип, попариться, видите ли, захотел. Решил, что мы массажисты, ну ей-богу! Мы его схватили и

зашвырнули прямо в одежде в бассейн. А потом вытащили, уложили на скамью и отхлестали так, что он синяками пошел. «Полегче, ребята! — пищал он. — Полегче!»

«Неужели это Мори?» — думала Глория. В устах кого-то другого эта история ее бы позабавила, но Мори, человек тонких чувств, воплощение тактичности и предупредительности…

Страшная паника нас обуяла,

Силу-у-у-у…

Удар грома заглушил конец песенки. Глория вздрогнула и хотела допить содержимое бокала, но вдруг почувствовала тошноту и поставила бокал на место. Ужин закончился, и все отправились в гостиную, прихватив с собой несколько бутылок и графинов. Кто-то закрыл дверь на веранду, чтобы не было сквозняка, и вскоре и без того спертый воздух оплели щупальца сигарного дыма.

— Лейтенант Танненбаум, сюда! — И снова место Мори занял какой-то оборотень. — Неси флейту!

Энтони и Мори устремились на кухню, а Ричард Кэрамел завел патефон и подошел к Глории.

— Потанцуй со знаменитым кузеном.

— У меня нет желания танцевать.

— Тогда я понесу тебя на руках.

Будто выполняя исключительно важное дело, Дик схватил ее толстенькими ручками и тяжело затрусил по комнате.

— Отпусти! У меня кружится голова! — требовала Глория.

Кузен, словно мешок, бросил ее на диван и с воплями «Тана! Тана» бросился на кухню.

И вдруг Глория почувствовала, как кто-то без предупреждения поднимает ее с дивана. Джо Халл держал ее на руках и, пьяно кривляясь, пытался подражать Дику.

— Отпустите меня! — приказала Глория.

Пьяная ухмылка и покрытый желтой щетиной подбородок у самого ее лица вызвали неописуемое отвращение.

— Немедленно!

— Страшная паника… — завел он и тут же умолк, так как рука Глории, стремительно описав дугу, впечаталась в щеку. Халл тут же ее отпустил, и Глория упала на пол, попутно ударившись плечом о стол.

Потом комната наполнилась мужчинами и табачным дымом. Тана в белом пиджаке едва держался на ногах, и Мори его поддерживал под руки.

На своей флейте японец выдувал дикую смесь звуков, известную, по утверждению Энтони, как японская дорожная песня. Джо Халл нашел коробку со свечами и принялся ими жонглировать, выкрикивая: «Одной меньше!», всякий раз, когда ронял свечу. Дик танцевал сам с собой, кружа в затейливом вихре по комнате. Глории казалось, что все вокруг шатается, проваливаясь сквозь пересекающиеся размытые голубые плоскости в гротескный четырехмерный круговорот.

А за окном началась буря. В промежутках между ударами грома слышался шум ударяющихся о стены дома веток и дробь, выбиваемая дождем по жестяной крыше кухни. Без конца сверкали молнии, за которыми следовали оглушительные раскаты, словно из раскаленной добела печи выпадали тяжелые чугунные болванки. Глория видела, как дождь хлещет в три открытых окна, но не имела силы встать и закрыть их…

Вот она уже в коридоре. Пожелала всем спокойной ночи, но никто не услышал и не ответил. На мгновение показалось, что незнакомая фигура следит за ней, перегнувшись через перила, но заставить себя вернуться в гостиную Глория не могла. Лучше сойти с ума, чем смотреть на это неистовое безумие… Поднявшись наверх,

она принялась шарить рукой в поисках выключателя, но в потемках его никак не удавалось нащупать. И только очередная вспышка молнии осветила кнопку на стене, но тут комната снова погрузилась во мрак, и она ускользнула из-под непослушных пальцев. В темноте Глория стащила с себя платье и нижнюю юбку и упала без сил на не успевшую промокнуть половину кровати.

Она закрыла глаза. Снизу доносились громкие голоса пьяных мужчин, послышался дребезжащий звон разбитого стекла, потом еще… бормотание сменилось фальшивым нестройным пением…

Впоследствии, собирая воедино отдельные обрывки той ночи, Глория подсчитала, что пролежала так около двух часов. Она была в сознании и даже понимала, что прошло довольно много времени. Галдеж внизу стал затихать, а гроза ушла на запад, оставив за собой шлейф тяжелого и безжизненного, как душа Глории, гула, который впитывался в напоенные влагой поля. Какое-то время слышался ленивый шум дождя и вой ветра, а потом за окном наступила тишина, нарушаемая лишь робким постукиванием капель и шелестом мокрого плюща, трущегося о подоконник. Глория находилась в состоянии полудремы и не

могла ни уснуть, ни окончательно пробудиться… неотступно преследовало желание избавиться от тяжести, давившей на грудь. Она чувствовала, что стоит заплакать, и тяжесть исчезнет, и изо всех сил сжимала веки, пытаясь вызвать спазм в горле… но напрасно…

Кап! Кап! Кап! Звук не вызывал неприятных ощущений, словно прохладный весенний дождь времен детства. После него на заднем дворе оставалась такая замечательная, радующая глаз грязь. А еще дождь поливал садик, где Глория вскапывала землю маленькой лопаткой и рыхлила такими же миниатюрными граблями и мотыгой. Кап, ка-а-ап! Совсем как в те дни, когда дождик лился с золотистых небес, которые таяли в наступающих сумерках, бросив наискосок последний сияющий сноп солнечного света в гущу влажных зеленых деревьев. Такая чистая, ясная прохлада… а в самом центре вселенной, среди потоков ливня стоит мама, надежная, сильная и совсем не промокшая. Глории страстно хотелось, чтобы мать оказалась рядом, но она умерла, ушла навеки, невозможно ни увидеть, ни дотронуться. А невидимая тяжесть все сильнее давит на грудь… Ох, как невыносимо тяжело!

Глория замерла. Кто-то подошел к двери и

молча ее разглядывал, слегка покачиваясь. Она различила очертания фигуры, отчетливо вырисовывающейся на фоне непонятного, едва заметного свечения. Не было слышно ни звука, только заполнившее все пространство великое безмолвие, прекратился даже стук капель. Остался лишь покачивающийся в дверном проеме силуэт, таящий едва уловимую угрозу, скрытое под глянцем уродство, как оспины, проступающие сквозь толстый слой пудры. И все-таки ее измученное отчаявшееся сердце бешено билось, сотрясая грудь и вселяя уверенность, что в ней еще теплится искра жизни…

Прошла минута или затянувшаяся до бесконечности череда минут, и расплывчатое пятно стало обретать четкие формы под взглядом Глории, с детской настырностью всматривающейся в затаившийся у двери мрак. В следующее мгновение почудилось, что невероятная сила уничтожит ее, вышвырнет из мира живых… но потом фигура у двери — а теперь она видела, что это Халл, — медленно повернулась и, по-прежнему покачиваясь, отступила назад и исчезла, будто растворилась в непонятном свечении, из которого и возникла.

По жилам вновь заструилась кровь, возвращая к жизни. Резкий толчок заставил Глорию сесть

в кровати. Постепенно передвигая тело, она наконец коснулась ногами пола. Теперь она знает, что надо делать, и немедленно, пока не стало слишком поздно. Нужно бежать из дома в сырую прохладу ночи, почувствовать шелест мокрой травы у ног и живительную влагу на лбу.

Глория машинально натянула платье и принялась рыться в стенном шкафу в поисках шляпки. Она должна покинуть этот дом, где бродит что-то непонятное, камнем давящее на грудь, или, того хуже, превращается в раскачивающиеся во мраке фигуры призраков. В панике она принялась надевать непослушными руками пальто и уже засунула их в рукава, когда внизу на лестнице послышались шаги Энтони. Медлить нельзя, муж может помешать, ведь даже Энтони является частью непосильной тяжести и наполненного злом дома, по которому расползается сгущающаяся тьма…

Скорее в коридор… Спускаясь по лестнице через черный ход, Глория услышала голос Энтони, доносившийся из спальни, которую она только что покинула:

— Глория! Глория!

Но она уже добралась до кухни и, открыв дверь, выскользнула в ночь. Порыв ветра окатил до-

ждем капель с мокрого дерева, и Глория радостно размазывала их по лицу горячими ладонями.

— Глория! Глория!

Голос доносился откуда-то издалека, заглушаемый оставшимися позади стенами. Обогнув дом, она направилась вдоль тропинки к проезжей дороге. Свернула на обочину и с чувством, близким к ликованию, стала осторожно передвигаться в темноте по травяному ковру.

— Глория!

Она побежала, споткнулась о вырванный ветром сук. Теперь голос раздавался с улицы. Энтони, обнаружив, что в спальне пусто, вышел на веранду. Но нечто неведомое гнало Глорию вперед, оно осталось там, с Энтони, а ей предстоит бегство под унылым гнетущим небом, прорываясь сквозь подкарауливающее впереди безмолвие, что вдруг превратилось в реально осязаемую преграду.

Примерно полмили она шла вдоль смутно вырисовывающейся в темноте дороги, минула заброшенный амбар, неясный черный силуэт которого возвышался предзнаменованием беды. Кроме него, между серым домом и Мариэттой не было ни одной постройки. Добравшись до развилки, Глория пошла по дороге, ведущей в лес, и побежала между двух стен из покрытых

листьями ветвей, почти смыкающихся высоко над головой. Вдруг впереди на дороге показалась тонкая серебристая полоса, словно кто-то уронил в грязь сверкающий меч. Приблизившись, она радостно вскрикнула — перед ней лежала заполненная водой колея. Взглянув на небо, Глория увидела просвет и поняла, что взошла луна.

— Глория!

Она вздрогнула. Энтони отстал всего футов на двести.

— Глория, подожди меня!

Глория плотно сжала губы, чтобы не закричать, и только ускорила шаг. Вскоре лес закончился, скатившись с дороги, будто черный чулок с ноги. Впереди, в трех минутах ходьбы, возникло подвешенное в бескрайнем пространстве изящное переплетение сверкающих линий и блесток, сходившихся равномерными волнами в невидимой точке. Внезапно Глория поняла, как поступит. Переплетение оказалось огромным каскадом проводов, которые, подобно лапам паука с зеленым горящим глазом на будке с коммутационным устройством, простирались над рекой и вместе с железнодорожным мостом уходили к станции. Станция! А там поезд, который увезет от проклятого места.

— Глория! Это я, Энтони! Глория, я не стану тебя задерживать! Ради Бога, где ты?

Она не откликнулась и бросилась бежать, придерживаясь нагорной стороны дороги, перепрыгивая через светящиеся в темноте призрачным золотом бесформенные лужи. Резко свернув влево, Глория помчалась по узкой гужевой дороге, обогнула лежащую на пути темную груду, похожую на человеческое тело. С одинокого дерева уныло ухнула сова, и Глория невольно подняла голову. Прямо перед ней виднелась эстакада с лесенкой, ведущая к железнодорожному мосту. Станция находилась за рекой.

Раздался еще один звук, напугавший Глорию, это был тоскливый гудок приближающегося поезда, и почти одновременно с ним до слуха донесся теперь уже далекий приглушенный зов:

— Глория! Глория!

Энтони, должно быть, шел по главной дороге. Глория рассмеялась с озорным злорадством. Ей удалось ускользнуть, и теперь есть время переждать, пока пройдет поезд.

Снова послышался гудок, совсем рядом, а потом, без предварительного грохота и лязга, из-за поворота на высокую насыпь вынырнуло темной волной длинное туловище и, не издавая ника-

ких звуков, кроме свиста рассекаемого воздуха и похожего на тиканье часов перестука рельсов, понеслось к мосту. Это был электропоезд. Между двумя яркими пятнами синего света над локомотивом образовалась потрескивающая искрящаяся полоска, которая, подобно дрожащему огоньку лампы рядом с покойником, осветила на мгновение ряды деревьев. Глория инстинктивно перешла на дальнюю сторону дороги. Свет был чуть теплым, как кровь… Перестук слился в равномерный гул, и поезд, упруго растягиваясь, пронесся мимо. Вот он с грохотом въехал на мост, состязаясь с мертвенно-бледным лучом прожектора, упавшим на погруженную в торжественное безмолвие реку. Потом состав стремительно сжался, всасывая в себя весь шум, и вскоре слышалось только раскатистое эхо, затихающее на дальнем берегу.

На промокшую землю снова наползала тишина, начал накрапывать дождик, и вдруг на Глорию обрушился ливень, выводя ее из похожего на транс оцепенения, вызванного зрелищем проходящего поезда. Она побежала по склону к берегу и стала взбираться по железной лесенке на мост, вспомнив, что именно этого ей всегда и хотелось. Совсем скоро она получит новые

острые ощущения при переходе реки по настилу менее метра шириной, проложенному рядом с рельсами.

Есть! Вот так-то лучше! Она добралась до верха, и окрестности предстали в виде плавно чередующихся кругов на открытой местности, испещренных отдельными редкими рядами деревьев или разбросанными, как заплаты, рощами, что спят в холодном сиянии луны. Справа от Глории, в полумиле вниз по реке, которая уходила вдаль за лунным светом, словно поблескивающий липкий след улитки, подмигивали разбросанные огни Мариэтты. Не далее чем в двух сотнях ярдов, там, где заканчивается мост, находилось приземистое здание станции, освещаемое единственным тусклым фонарем. Тяжесть спала. Верхушки деревьев внизу баюкали юные звездочки, навевая полную сновидений дрему. Глория широко раскинула руки, радуясь свободе. Вот чего ей хотелось: забраться высоко-высоко и стоять одной среди прохлады.

— Глория!

Словно испуганный ребенок, она устремилась вприпрыжку по настилу, воодушевленная ощущением собственной легкости. Теперь пусть приходит — она больше не испытывает страха.

Только сначала надо добраться до станции, так как это является частью игры. Глория была счастлива. Сорванную с головы шляпку она крепко сжимала в руках, короткие завитки волос за ушами подпрыгивали вверх-вниз, и казалось, что никогда снова она уже не почувствует себя такой юной. Но сегодня ее ночь, и весь мир принадлежит ей. Сойдя с настила, Глория торжествующе рассмеялась, а потом добралась до деревянной платформы и радостно уселась рядом со столбом, подпирающим крышу навеса.

— Я здесь! — крикнула она, веселая и беззаботная, как ликующая утренняя заря. — Я здесь! Энтони, милый, бедный мой старичок! Ты так за меня переживал!..

— Глория! — Добежав до платформы, он бросился к жене. — С тобой ничего не случилось?

Подойдя ближе, он опустился на колени и обнял Глорию.

— Все хорошо.

— А что произошло? Почему ты убежала? — с тревогой в голосе расспрашивал он.

— Пришлось спасаться бегством. Там что-то было. — Она замолчала, и вновь зарождающаяся тревога хлыстом стегнула по сознанию. — Что-то на мне сидело… вот здесь. — Она приложила руку

к груди. — И я была вынуждена от него бежать.

— Что ты имеешь в виду, когда говоришь «это»?

— Не знаю… тот тип, Халл…

— Он тебя побеспокоил?

— Он приходил в мою комнату, пьяный. Думаю, в тот момент у меня помутился рассудок.

— Глория, любимая…

Она устало положила голову на плечо мужу.

— Давай вернемся, — предложил Энтони.

Глория вздрогнула.

— Ах нет! Не могу. Оно снова явится и усядется на грудь. — Ее голос сорвался на крик, горестно повисший в тишине. — Ну, то самое!..

— Ну-ну, успокойся, — утешал ее Энтони, крепче прижимая к себе. — Поступим как пожелаешь. А чего тебе хочется? Просто посидеть здесь?

— Хочу… хочу уехать.

— Куда?

— Куда глаза глядят.

— Ей-богу, Глория! — воскликнул он. — Да ты все еще пьяна!

— Нет, и весь вечер была трезвой. Я поднялась наверх… не знаю, наверное, через полчаса после ужина… Ой!

Энтони нечаянно задел ее правое плечо.

— Больно. Я где-то ушиблась. Не помню… кто-то меня схватил, а потом уронил.

— Глория, пойдем домой. Уже поздно, и на улице такая сырость…

— Не могу, — жалобно всхлипнула она. — Ох, Энтони, даже не проси! Завтра приду. Ты иди домой, а я подожду поезда. Поеду в отель…

— И я с тобой.

— Нет, не надо. Мне надо побыть одной. Хочется спать… ох, как хочется спать. А завтра, когда ты выветришь из дома запах виски и сигарет, наведешь порядок и уберется этот Халл, тогда я вернусь. А если пойду с тобой сейчас, то оно… ох! — Глория закрыла глаза рукой. И Энтони понял всю тщетность попыток убедить жену вернуться.

— Когда ты ушла, я был абсолютно трезв, — оправдывался он. — Дик уснул в шезлонге, а мы с Мори что-то обсуждали. А этот тип, Халл, где-то бродил. Потом я вдруг понял, что уже несколько часов тебя не видел, и поднялся наверх…

Он замолчал, так как из темноты раздалось громогласное приветствие:

— Эй вы там, привет!

Глория вскочила на ноги, и Энтони вслед за ней.

— Голос Мори! — взволнованно воскликнула она. — Если с ними Халл, пусть убираются, не подпускай их!

— Кто там? — выкрикнул в темноту Энтони.

— Всего лишь Дик и Мори, — дружно успокоили два голоса.

— А где Халл?

— Спит. Вырубился.

На платформе показались два неясных силуэта.

— Какой черт занес вас с Глорией сюда? — поинтересовался Ричард Кэрамел, плохо соображая спросонья.

— А вас чего ради принесло?

Мори рассмеялся в ответ:

— Будь я проклят, если знаю! Мы пошли за тобой и здорово натерпелись, пока догнали. Я слышал, как ты вышел на веранду и стал звать Глорию. Вот и пришлось будить Кэрамела. Стоило большого труда вдолбить ему в голову: уж коли здесь организуется поисковая экспедиция, непременно следует принять участие. Но Дик только был помехой в пути, то и дело усаживался прямо на дорогу и спрашивал, что, собственно, происходит. Мы напали на твой след по восхитительному аромату «Канадского клуба».

Под навесом платформы послышались нервные смешки.

— Как же вы все-таки нас отыскали?

— Ну, шли за тобой по шоссе, а потом вдруг потеряли. Похоже, ты свернул на гужевую дорогу. Через некоторое время кто-то нас окликнул и поинтересовался, не ищем ли мы молодую девушку. Мы подошли ближе и увидели маленького, дрожащего всем телом старичка, который сидел на поваленном дереве, как сказочный персонаж. «Она свернула вон туда, — объяснил старичок. — Чуть на меня не наступила, так торопилась. А потом мимо пробежал какой-то тип в коротких штанах для гольфа. Так за ней и припустился. А еще швырнул мне вот это», — старик помахал долларовой купюрой.

— Ах, бедный старичок! — воскликнула, растрогавшись, Глория.

— Я бросил ему еще доллар и пошел дальше, хотя старикашка уговаривал остаться и рассказать, в чем дело.

— Бедный старичок, — горестно повторила Глория.

Дик с сонным видом уселся на кстати подвернувшийся ящик.

— Ну и что теперь? — осведомился он со стои-

ческим смирением.

— Глория сильно расстроена, — пояснил Энтони, — и мы с ней отправимся в город следующим поездом.

Мори извлек из кармана расписание поездов.

— Зажги спичку.

В темноте вспыхнул слабый огонек, освещая четыре лица, таких нелепых и совсем не похожих на себя в безмолвии ночи.

— Так, давай посмотрим. Два, два тридцать… нет, это вечером. Ей-богу, вам не сесть на поезд до половины шестого.

Энтони замялся.

— Ну, — неуверенно пробормотал он, — мы решили остаться здесь и ждать поезда, а вы можете вернуться и лечь спать.

— И ты иди с ними, Энтони, — принялась упрашивать Глория. — Хочу, чтобы ты поспал, любимый. Ты сегодня весь день такой бледный, точно привидение.

— С чего ты взяла, маленькая дурочка?..

Дик зевнул:

— Прекрасно. Раз вы остаетесь, то и мы тоже.

Выйдя из-под навеса, он устремил взгляд в небеса.

— Довольно славная ночка, в конце концов.

Звезды сияют и все такое прочее. И с каким тонким вкусом подобран их ассортимент.

— Давайте посмотрим. — Глория двинулась за Диком, и остальные последовали ее примеру. — Посидим здесь, — предложила она. — Мне так больше нравится.

Энтони с Диком превратили длинный ящик в подобие спинки, а потом отыскали достаточно сухую доску, чтобы Глория могла сесть. Энтони пристроился рядом, а Дик не без труда взгромоздился на бочку из-под яблок.

— Тана уснул в гамаке на веранде, — сообщил он. — Мы отнесли его на кухню и положили рядом с плитой, чтоб просох. Он насквозь промок.

— Ах, этот ужасный маленький японец! — вздохнула Глория.

— Как поживаете? — раздался сверху зычный замогильный голос.

Все подняли головы и с изумлением обнаружили, что Мори неведомым образом забрался на крышу навеса и сидит, свесив ноги через край, вырисовываясь на фоне звездного неба, как тень фантастической химеры.

— Должно быть, именно для таких случаев, — неторопливо начал он, и его слова, казалось, струились вниз с невероятной высоты, мягко

утверждаясь на головах слушателей, — обитающие на этой земле праведники украшают железную дорогу рекламными щитами с написанными красными и желтыми буквами утверждениями, что «Иисус Христос есть Бог». И помещают их рядом с весьма уместными заявлениями типа «Виски “Гантерс” — здорово».

Послышался тихий смех, и три головы внизу остались поднятыми вверх.

— Полагаю, следует поведать вам историю моего развития, — продолжал Мори, — под этими язвительно усмехающимися созвездиями.

— Давай! Просим!

— Думаете, действительно стоит?

Слушатели застыли в предвкушении, а рассказчик послал задумчивый зевок улыбающейся белой луне.

— Итак, во времена детства я предавался молитвам. Запоминал молитвы на случай будущих грехов. За один год скопил про запас тысячу девятьсот молитв. «Сон безмятежен и мирен мне даруй».

— Брось сигаретку, — пробормотал кто-то.

Небольшая пачка коснулась платформы одновременно с громогласной командой:

— Тихо! Я намереваюсь избавиться от бреме-

ни незабываемых наблюдений, хранимых для темноты, царящей на этой земле, и сияния, озаряющего эти небеса.

Внизу зажженная спичка переходила от сигареты к сигарете, а голос сверху продолжал:

— Я поднаторел в искусстве дурачить Господа. Молился после каждого прегрешения, пока в конце концов для меня перестало существовать различие между молитвой и проступком. Искренне верил, что если человек восклицает «О Господи!», когда на него падает несгораемый шкаф, это служит доказательством глубоко укоренившейся в его сердце веры. Потом я пошел в школу. В течение четырнадцати лет полсотни серьезных честных людей, показывая на кремниевое ружье, заявляли: «Вот стоящая вещь. А эти новые винтовки — всего лишь не очень умная поверхностная имитация». Они ругали книги, которые я читал, и мои мысли, называя их безнравственными; потом мода изменилась, и они ругали те же предметы и понятия, называя их «замысловатыми».

Для своих лет я оказался юношей весьма сообразительным и, отринув преподавателей, перекинулся на поэтов, вслушиваясь в лирический тенор Суинберна и драматический тенор

Шелли, внимая изумительного диапазона баритону Шекспира, басу Теннисона, который порой срывался на фальцет, и басом-профундо Мильтона и Марло. Вникал в непринужденный говор Браунинга, пафосную декламацию Байрона и занудное гудение Вордсворта. Во всяком случае, мне это не повредило. Я узнал кое-что о красоте, вполне достаточно, чтобы понять: она не имеет ничего общего с истиной. Более того, обнаружил, что никакой великой литературной традиции не существует, а есть только традиция чреватой важными последствиями гибели любой литературной традиции.

Потом я повзрослел и уже не воспринимал очарование сладостных иллюзий. Мой разум огрубел, а глаза сделались нестерпимо зоркими. Жизнь бурлила подобно морю вокруг моего островка, и вдруг я обнаружил, что уже плыву.

Переходный период прошел незаметно — все это уже давно меня поджидало. С виду безобидная, но коварная западня для всякого. А что же я? Нет, я не делал попыток соблазнить жену дворника и не бегал нагишом по улицам, демонстрируя половую зрелость. Ведь не страсть правит миром, эта роль отведена одеждам, в которые она наряжается. Я заскучал, вот и все. Скука, которая

является еще одним названием, а зачастую и маской для жизнелюбия, стала подсознательным мотивом всех моих действий. Красота осталась позади. Понимаете? Я повзрослел. — Мори ненадолго умолк. — Завершение учебы в школе и колледже. Далее следует часть вторая…

По трем огонькам сигарет можно было определить местонахождение слушателей. Глория полулежала на коленях у Энтони, а он так крепко сжал жену в объятиях, что ей были отчетливо слышны удары сердца. Ричард Кэрамел, примостившийся на бочке из-под яблок, время от времени пробовал пошевелиться, сопровождая свои действия тихим урчанием.

— Итак, я стал взрослым, окунулся в мир джаза и тут же испытал сильнейшее смятение. Жизнь нависла надо мной подобно забывшей о нравственности школьной учительнице, внося поправки в мое упорядоченное мышление. Но я, придерживаясь ложной веры в силу разума, продвигался вперед. Прочел Смита, который глумился над милосердием, настаивая, что именно осмеяние и есть наивысшая форма самовыражения. И вот уже Смит, подменив собой милосердие, заслоняет мне свет. И я прочел Джонса, который так ловко отверг индивидуализм. И нате вам!

Джонс так и стоит у меня на пути. Я не думал сам, а являлся полем боя для мыслей множества других людей. Или, скорее, напоминал одну из тех пленительных, но немощных стран, по которым разгуливают, извлекая выгоду, великие державы.

И вот я достиг зрелости, пребывая под впечатлением, что набираюсь опыта, который направит мою жизнь прямиком к счастью. Действительно, я овладел не таким уж редкостным искусством мысленно решать все вопросы задолго до того, как они возникнут в жизни. Но от ударов судьбы и прочих передряг это не уберегло.

Однако, отведав последнее из вышеупомянутых блюд, я вскоре был сыт по горло. «Ага! — сказал я себе. — Опыт не стоит затраченных усилий. Он не сваливается на голову, пока ты пребываешь в счастливом бездействии. Нет, это высокая стена, и предстоит немало трудов, чтобы на нее взобраться». И тогда я облачился в неуязвимый, как мне думалось, скептицизм, решив, что на этом процесс моего развития завершен. Но было уже слишком поздно. По возможности обезопасив себя отказом от новых отношений со скорбным, обреченным на гибель человечеством, я запутался во всем остальном. Принимал борьбу с

любовью за борьбу с одиночеством, а борьбу с жизнью — за борьбу со смертью…

Он замолчал, подчеркивая значимость последнего умозаключения, и через некоторое время, зевнув, продолжил исповедь:

— Полагаю, вторая фаза моего образования и развития началась с жестокого разочарования, ибо меня использовали против воли для достижения непонятной цели, о конечном результате которой я не имел представления. Если таковой результат вообще существовал. Передо мной снова встал трудный выбор. Школьная учительница заявила: «Играем в футбол и ни в какую другую игру. Не хочешь в футбол, вообще ни во что не будешь играть».

И что мне оставалось? На игру отводится так мало времени!

Видите ли, я понимал, что нас лишают даже того слабого утешения, что испытывает, поднимаясь с коленей, являющийся плодом воображения некий игрок команды. Думаете, я ухватился за этот пессимизм, как за сладостно-сентиментальное средство, которое наводит тоску не больше, чем понурый осенний день, проведенный у камина? Нет, ничего подобного не произошло. Слишком горяча еще была кровь, слишком много

оставалось во мне жизненной силы.

Ибо я считал, что для человека не существует конечной цели. Человек затеял нелепое, заводящее в тупик сражение с природой, той самой природой, которая посредством божественного в своем величии случая вознесла нас до высот, с которых мы можем бросать ей вызов. Она изобрела способы избавить человечество от худших его представителей, давая возможность остальным осуществить ее возвышенные или, скажем, более занятные, хотя все еще неосознанные и второстепенные намерения. А мы, побуждаемые высочайшими дарами просвещения, стали искать пути, как ее перехитрить. В этой республике я наблюдал, как черное смешивается с белым, а в Европе происходит экономическая катастрофа во имя спасения трех-четырех пораженных болезнью, бездарно управляемых народов от единственной власти, способной обеспечить материальное процветание.

Мы создаем Христа, который может исцелить прокаженного, а сейчас потомки этого прокаженного становятся солью земли. Если кто-нибудь сумеет извлечь из этого урок, что ж, желаю удачи.

— Как бы там ни было, из жизни можно извлечь

лишь один-единственный урок, — вмешалась Глория без намерения возразить, а просто с грустью констатируя факт.

— И какой же? — оживился Мори.

— Что из нее вообще невозможно извлечь урока.

После короткой паузы Мори изрек:

— Юная Глория, прекрасная, чуждая милосердию дама. Первая, кто взглянул на мир со всеобъемлющей искушенностью, к которой всячески стремлюсь я, которой никогда не достигнуть Энтони, а Дику ни за что не осмыслить в полной мере.

С бочки донеслось сердитое ворчание. Энтони успел привыкнуть к темноте и отчетливо видел, как вспыхнул желтый глаз Ричарда Кэрамела и каким обиженным сделалось его лицо.

— Сумасшедший! Из твоего же заявления выходит, что я уже должен приобрести некий опыт, просто делая попытку.

— Какую попытку?! — в неистовстве выкрикнул Мори. — Попытку пронзить тьму политического идеализма безумным, обреченным на провал стремлением к правде? День за днем пассивно сидеть на жестком стуле, бесконечно далеко от реальной жизни, и смотреть на виднеющуюся

сквозь деревья верхушку церковного шпиля, пытаясь окончательно и на все времена провести различие между познаваемым и тем, что познать нельзя? Выхватить кусок действительности, покрыть глянцем, извлеченным из собственной души, чтобы восполнить те невыразимые качества, которыми он обладает в жизни и которые утрачиваются при переносе на бумагу или холст? Годами изнурять себя работой в лаборатории среди колесиков и пробирок ради единственной капли истины, да и та носит относительный характер…

— А ты пробовал?

Мори задумался, а когда ответил, в его словах слышалась усталость, горькой нотой задержавшаяся на мгновение в сознании троих слушателей, прежде чем взлететь вверх, подобно пузырьку воздуха, устремляющегося к луне.

— Нет, это не для меня, — тихо откликнулся он. — Я родился с усталостью в душе, но со свойственным всем матерям умом, даром, которым наделены такие женщины, как Глория. И несмотря на то что я говорил и слушал, на напрасное ожидание вечной всеобщности, которая, казалось, лежит за каждым доводом и предположением, я никуда не добавил от себя ни йоты.

Глухой звук, слышавшийся уже несколько мгновений, материализовался в горестное мычание коровы-великанши и похожую на жемчужину точку прожектора. На сей раз с грохотом и стонами состав тащил за собой паровоз. Не прекращая громогласных стенаний, он пронесся мимо, обдав платформу дождем брызг и кусочками шлака.

— Ни йоты! — И снова голос Мори будто обрушился на слушателей с большой высоты. — Как немощен разум с его продвижением мелкими шажками, нерешительностью, метаниями взад-вперед и гибельными ретирадами! Он всего лишь орудие обстоятельств. Некоторые утверждают, что вселенную построил разум. Куда там! Он не создал даже парового двигателя! Паровой двигатель — детище обстоятельств, а разум — всего лишь складная линейка, которой мы измеряем бесчисленные достижения обстоятельств.

Я мог бы сослаться на современную философию, но, насколько известно, через пятьдесят лет мы, возможно, станем свидетелями, как неприятие, которым одержимы нынешние мыслители, превратится в свою противоположность, победу Христа над Анатолем Франсом… — Мгновение он находился в нерешительности, а потом про-

должил свою мысль: — Но я не сомневаюсь в огромной важности, которую для себя представляю, и в необходимости самому признать эту важность… то есть уверен во всех тех вещах, со знанием которых родилась мудрая прелестная Глория, да еще в бесполезности мучительных попыток постигнуть что-либо еще.

Итак, я начал рассказывать о процессе своего развития и обучения, верно? Но я ничему не научился, да и о себе узнал немного. А если бы и узнал, то умер бы с плотно сжатыми губами и надетым на авторучку колпачком, как, впрочем, и поступают мудрейшие с тех пор… да, со времен провала одного дела… кстати сказать, дела довольно необычного. Оно имело отношение к неким скептикам, что считали себя дальновидными, совсем как мы с вами. Позвольте поведать эту историю в качестве вечерней молитвы, пока вы еще не отошли ко сну.

Давным-давно все люди на свете, наделенные великим умом и гениальностью, приняли одну веру, точнее сказать — безверие. Но их тревожила мысль, что по прошествии нескольких лет после смерти им припишут множество разных вероисповеданий, культов и пророчеств, о которых они и не помышляли. И вот они решили между

собой: «Давайте соберемся и напишем великую книгу, которая будет жить вечно, высмеивая людское легковерие. Уговорим самых искусных в любовных стихах поэтов описать плотские радости и убедим наших здравомыслящих журналистов внести свой вклад в виде нескольких знаменитых любовных историй. Мы включим в книгу все самые нелепые сплетни, что сейчас в ходу среди людей. Отыщем самого сообразительного из ныне здравствующих сатириков и попросим из всех божеств, которым поклоняется человечество, создать образ одного божества. Бога, превосходящего величием всех прежних идолов и в то же время наделенного такими человеческими слабостями, что он станет притчей во языцех и поводом для насмешек во всем мире. Припишем ему все остроты и забавные случаи, суетное тщеславие и гневные выходки, в которых он, как будут думать, не отказывает себе ради развлечения. Одним словом, чтобы люди читали нашу книгу и размышляли о ней, и тогда в мире исчезнут сумасбродство и бессмыслица.

И наконец, давайте позаботимся о достоинствах стиля, которыми должна обладать книга, чтобы она жила вечно, как свидетельство нашего глубокого скептицизма и всеобъемлющей иронии».

Так они и поступили и перешли в мир иной.

А книга осталась навеки, так прекрасно она написана и изумляет фантазией и выдумками, что ей подарили те великие, гениальные умы. Они не потрудились дать книге название, но после их смерти она получила известность как Библия.

Мори закончил рассказ, и все молчали, будто околдованные влажной истомой, дремлющей в ночном воздухе.

— Я уже упоминал, что повествую историю моего развития. Однако виски с содовой успело выветриться, да и ночь на исходе. Совсем скоро повсюду начнется ужасающая трескотня: на деревьях, в домах и двух маленьких магазинчиках за станцией. В течение нескольких часов вся земля будет занята бессмысленной беготней… Ну да ладно, — закончил он со смешком, — хвала Господу, мы четверо можем обрести вечный покой с чувством, что после нас этот мир стал чуточку лучше.

Поднялся легкий ветерок, порывы которого несли слабое дуновение жизни, затихая на фоне утреннего неба.

— Твои рассуждения становятся беспорядочными и неубедительными, — сонно пробормотал Энтони. — Ты ждал одного из тех моментов

чудесного озарения, с помощью которого высказываешь свои самые блистательные и содержательные умозаключения в обстановке, идеально подходящей для философской беседы. А тем временем Глория продемонстрировала дальновидную отстраненность, погрузившись в сон. Могу это утверждать с точностью, принимая во внимание факт, что она изловчилась сосредоточить весь свой вес на моем разбитом усталостью теле.

— Я заставил вас скучать? — обиженно поинтересовался Мори, с некоторым беспокойством заглядывая под навес.

— Нет, ты нас разочаровал. Выпустил столько стрел, а попал ли хоть в одну пташку?

— Пташек я оставляю Дику, — поспешно откликнулся Мори. — Моя речь беспорядочна и состоит из отдельных, не связанных между собой фрагментов.

— Меня тебе не расшевелить, — буркнул Дик. — Ум мой занят вещами земными и насущными. Слишком сильно желание принять горячую ванну, чтобы беспокоиться о смысле своей профессии и решать, какая часть человечества является фигурами, достойными жалости или презрения.

Рассвет напомнил о себе светлым пятном на

востоке за рекой и прерывистым птичьим чириканьем, доносящимся с соседних деревьев.

— Без четверти пять, — вздохнул Дик. — Ждать почти час. Смотрите, двое уже отошли ко сну. — Он указал на Энтони, который смежил веки. — Сон семейства Пэтчей…

Но прошло минут пять, и, несмотря на набирающее силу птичье щебетание, его голова упала на грудь, качнулась раз, другой, третий…

Только Мори Ноубл остался бодрствовать, сидя на крыше станционного навеса. Широко раскрытые глаза с усталой сосредоточенностью всматривались в зарождающееся вдалеке утро. Он думал о призрачности идей, угасающем сиянии бытия и навязчивых мыслишках, что настырно заползали в жизнь, словно крысы в разрушенный дом. В данный момент Мори не утруждал себя переживаниями. В понедельник утром начнется работа, а чуть позже придет девушка, принадлежащая к другому классу, для которой он является смыслом жизни. И именно это ближе всего сердцу. На фоне удивительно яркого своеобразия грядущего дня казалась верхом самонадеянности некогда предпринятая попытка осуществлять мыслительный процесс с помощью такого хилого и ущербного орудия, как

человеческий разум.

Взошло солнце, устремляя на землю сияющие потоки тепла; повсюду бурлила жизнь, шумно суетилась вокруг, как рой мух… Запыхтел клубами черного дыма паровоз, послышался отрывистый окрик «По вагонам!», за которым последовал звон колокола. Мори, смущаясь, заметил на себе любопытные взгляды пассажиров поезда, развозившего молоко. Потом услышал, как спорят Энтони и Глория, решая, ехать ли им в город вместе. Шумные возражения напоследок — и она уехала одна, а трое мужчин, бледные, похожие на привидений, одиноко стояли на платформе, слушая, как чумазый угольщик, что ехал в кузове грузовика, хриплым голосом воспевает летнее утро.

Глава третья
Сломанная лютня

Август, половина восьмого вечера. Окна гостиной в сером доме распахнуты настежь. Терпеливо ждут, когда затхлый от спиртного перегара и табачного дыма воздух вытеснит из помещения сонливая свежесть напоенных теплом поздних сумерек. Запах тронутых увяданием цветов,

такой нежный и едва уловимый, будто уже намекает на недалекий конец лета, что наступит в положенный срок. Но август настойчиво заявляет о себе многоголосым стрекотанием сверчков у боковой веранды, а их собрат, которому удалось пробраться в дом и надежно укрыться за книжным шкафом, время от времени громко извещает о своей исключительной сообразительности и неукротимой энергии.

В комнате царит страшный беспорядок. На столе стоит блюдо с фруктами, они настоящие, но выглядят как муляж. Вокруг него выстроилась угрожающего вида батарея графинов, бокалов и переполненных пепельниц. Из них еще поднимаются волнистые струйки дыма, растворяющиеся в спертом воздухе. Не хватает только черепа для полного сходства с достойной почитания литографией. В свое время она являлась неотъемлемой принадлежностью любого богемного «логова», с благоговейным восторгом изображая детали, дополняющие представление о разгульной жизни.

Через некоторое время в радостную арию суперсверчка вклинивается диссонансом новый звук — тоскливый вопль флейты, отверстия которой перебирают неуверенные пальцы. Со-

вершенно ясно, что музыкант упражняется, а не играет для публики, так как время от времени неровная трель обрывается и после короткой паузы, заполненной невнятным бормотанием, мелодия звучит заново.

Как раз перед седьмым фальстартом нестройная разноголосица обогащается третьим звуком. К дому подъезжает такси. После минутной тишины снова слышится рев двигателя. Шумное отбытие такси почти заглушает шорох шагов по посыпанной гравием дорожке. По всему дому разносится надрывный вопль звонка.

Из кухни выходит маленький усталый японец, торопливо застегивая на ходу пиджак из белой парусины, какие носит прислуга. Он открывает парадную дверь, затянутую сеткой, и впускает красивого молодого человека лет тридцати, одежда которого свидетельствует о неких благих намерениях, свойственных людям на службе у человечества. Благонамеренностью дышит и весь его облик. Он окидывает комнату взглядом, в котором любопытство смешано с непоколебимым оптимизмом. При виде Т а н ы в его глазах отражается титаническое напряжение, вызванное намерением вразумить безбожника-азиата. Зовут молодого человека Ф р е д е р и к Э. П э р

а м о р. Он учился с Энтони в Гарвардском университете, и из-за одинаковых первых букв в фамилии в аудитории их постоянно усаживали рядом. Поверхностное знакомство имело продолжение, но после окончания учебы они ни разу не встречались.

Тем не менее П э р а м о р заходит в комнату с видом человека, намеревающегося остаться на весь вечер.

Т а н а отвечает на вопросы гостя.

Т а н а (*с заискивающей улыбкой*). Уехари гостиниса ужинать. Назад через порчаса. Уехари поровина седьмого.

П э р а м о р (*рассматривая бокалы на столе*). У них гости?

Т а н а. Да, гости. Миста Кэрамел, миста и мисса Барнс, мисс Кейн, все тут.

П э р а м о р. Понятно. (*С добродушным видом.*) Похоже, они славно порезвились. Да, так и есть.

Т а н а. Не понимая.

П э р а м о р. Покутили на славу.

Т а н а. Да-да, пири, много-много пири.

П э р а м о р (*деликатно меняя тему разговора*). Когда я стоял у двери, из дома доносились звуки музыки. Мне не послышалось?

Т а н а (*сдавленно хихикая*). Да, я играть.

П э р а м о р. На одном из японских инструментов?

Ясно, что он является подписчиком журнала «Нэшнл джиографик».

Т а н а. Я играй японский фре-е-ейта. Японский фре-е-ейта.

П э р а м о р. И какую песню ты наигрывал? Какая-нибудь японская мелодия?

Т а н а (*морщит лоб от неимоверного напряжения*). Я играй песня поезд. Как у вас? Зерезнодорозная песня. Так говорят в моя старана. Как поезд. Ухо-о-одит. Знасит, свисток. Поехари. Идее-е-ет. У-у-у-у. Осень красивая песня в моя старана. Дети поют.

П э р а м о р. Действительно, очень приятная мелодия.

В этот момент совершенно очевидно, что лишь огромное усилие воли удерживает Тану от желания немедленно броситься наверх и принести открытки, включая те шесть, напечатанных в США.

Т а н а. Сдерать зентремена коктейр?

П э р а м о р. Нет, благодарю. Не употребляю. (*Улыбается.*)

Тана удаляется на кухню, оставив дверь слегка приоткрытой. Неожиданно сквозь щель снова доносится мотив японской дорожной песни. На сей раз это не просто упражнения, а полная силы вдохновенная игра. Раздается телефонный звонок. Тана поглощен музыкой и не отзывается. Трубку снимает Пэрамор.

П э р а м о р. Алло… Да… Нет, его нет дома, но он вот-вот вернется. Что? Баттеруорт? Алло! Я не расслышал имя… Алло, алло, алло! А?

Телефон упорно отказывается воспроизводить членораздельные звуки. Пэрамор кладет трубку на рычаг.

В этот момент вновь звучит тема подъезжающего к дому такси, а вместе с ней появляется еще один молодой человек с чемоданом в руках. Он открывает парадную дверь без предварительного звонка.

М о р и (*уже в прихожей*). Эй, Энтони! Ау! (*Заходит в зал и видит Пэрамора.*) Добрый вечер.

П э р а м о р (*всматриваясь в его лицо*). Неужели… Уж не Мори ли Ноубл?

М о р и. Он самый. (*Подходит ближе и протягивает руку.*) Как дела, старина? Сто лет не виделись.

Лицо Пэрамора вызывает смутные ассоциации с Гарвардом, но Мори не уверен в своих предположениях. Если он когда и знал имя, то давно забыл. Пэрамор проявляет достойное похвалы понимание ситуации и с тактичным великодушием спасает положение.

П э р а м о р. Неужели забыли Фреда Пэрамора? Мы вместе изучали историю в классе Анка Роберта.

М о р и. Разве можно забыть? Анк, то есть Фред… Фред был… То есть Анк был потрясающий старикан, да?

П э р а м о р (*шутливо кивает*). Да, замечательный старик. Во всех отношениях замечательный.

М о р и (*после короткой паузы*). Да, был… А где же Энтони?

П э р а м о р. Слуга-японец сказал, что он уехал ужинать в какую-то гостиницу.

М о р и (*глядя на часы*). Давно?

П э р а м о р. Полагаю, да. Японец говорит, они скоро вернутся.

М о р и. А не выпить ли нам пока?

П э р а м о р. Нет, благодарю. Я не употребляю. (*Улыбается.*)

М о р и. Не возражаете, если я выпью? (*Зевая,*

наливает себе из бутылки.) А чем вы занимались после колледжа?

П э р а м о р. О, много чем. Вел очень активную жизнь. Где только не побывал. (*Его тон подразумевает все, что угодно, от охоты на львов до организованной преступности.*)

М о р и. А в Европе бывали?

П э р а м о р. К сожалению, не бывал.

М о р и. Думаю, мы все туда скоро отправимся.

П э р а м о р. Вы действительно так считаете?

М о р и. Разумеется! Страну два года кормят сенсациями, вот народ и забеспокоился. Всем не терпится поразвлечься.

П э р а м о р. Значит, вы не верите, что на карту поставлены идеалы?

М о р и. Какие там идеалы. Иногда люди испытывают потребность в острых ощущениях.

П э р а м о р (*сосредоточенно*). Все это очень интересно, то, что вы говорите. А я вот беседовал с одним человеком, который там побывал…

В течение последовавшего монолога, который читатель дополнит сам фразами наподобие «Видел своими глазами», «Великий дух Франции» и «Спасение цивилизации», Мори сидит с полуопущенными веками, явно испытывая скуку.

М о р и (*при первой подвернувшейся возмож-*

ности). Кстати, известно ли вам, что в доме германский шпион?

П э р а м о р (*опасливо улыбаясь*). Вы серьезно?

М о р и. Абсолютно серьезно. Считаю своим долгом вас предупредить.

П э р а м о р (*поверил*). Гувернантка?

М о р и (*шепчет, показывая большим пальцем в сторону кухни*). Тана! Это не настоящее имя. Мне известно, что он регулярно получает почту на имя лейтенанта Эмиля Танненбаума.

П э р а м о р (*стараясь выглядеть снисходительно*). Вы меня разыгрываете?

М о р и. Возможно, я обвиняю его зря. Но вы так и не рассказали, чем занимаетесь?

П э р а м о р. Ну, вообще-то я пишу.

М о р и. Беллетристику?

П э р а м о р. Нет, документальную литературу.

М о р и. А что это такое? Художественный вымысел, основанный на фактах?

П э р а м о р. О, я ограничиваюсь одними фактами. Много работаю в системе социального обслуживания.

М о р и. А!

Его взгляд становится подозрительным. С таким же успехом Пэрамор мог назваться карманником-любителем.

П э р а м о р. В настоящее время я занимаюсь социальным обслуживанием в Стэмфорде. И только на прошлой неделе узнал от кого-то, что Энтони Пэтч живет по соседству.

Беседу прерывает доносящийся с улицы шум, который можно безошибочно определить как разговор представителей обоих полов, перемежающийся смехом. В комнату толпой заходят Э н т о н и, Г л о р и я, Р и ч а р д К э р а м е л, М ю р и э л К е й н, Р е й ч е л Б а р н с и Р о д м а н Б а р н с, ее муж. Вновь прибывшие дружно бросаются к Мори и отвечают невпопад «Чудесно!» на его обращенное ко всей компании приветствие. Тем временем Энтони направляется к гостю.

Э н т о н и. Вот, черт возьми, не ожидал! Здравствуй. Страшно рад тебя видеть.

П э р а м о р. А уж я-то как рад встрече, Энтони. Я обосновался в Стэмфорде, вот и решил к тебе заехать. (*Шаловливо.*) Мы вечно вынуждены работать до седьмого пота, а стало быть, имеем право отдохнуть пару часиков.

Энтони тщетно старается вспомнить имя гостя. Это стоит неимоверного напряжения сродни родовым потугам. Наконец память разрешается от бремени коротким словом «Фред», и Энтони

поспешно строит предложение «Рад встрече, Фред!». Вся компания умолкает, ожидая, когда представят гостя. Мори может прийти на выручку, но предпочитает наблюдать за сценой с нескрываемым злорадством.

Э н т о н и (*в отчаянии*). Леди и джентльмены, знакомьтесь, это… Это Фред.

М ю р и э л (*с легкомысленной любезностью*). Привет, Фред!

Ричард Кэрамел и Пэрамор называют друг друга по имени, как добрые приятели. Последний припоминает, что Дик был на курсе одним из тех, кто ни разу не удостоил его беседы. Дик по глупости считает, что ранее встречался с Пэрамором в доме у Энтони.

Три молодые дамы поднимаются наверх.

М о р и (*вполголоса Дику*). Не виделся с Мюриэл со свадьбы Энтони.

Д и к. Она сейчас в расцвете, а ее последнее любимое изречение: «Я же говорила!»

Энтони некоторое время мучительно подыскивает темы для разговора с Пэрамором и наконец делает попытку привлечь к беседе остальных гостей, предлагая всем выпить.

М о р и. Я успел хорошенько причаститься к этой бутыли. Начал с градусов и закончил названием завода. (*Показывает вышеназванные слова на этикетке.*)

Э н т о н и (*обращаясь к Пэрамору*). Невозможно угадать, когда эта парочка снова нагрянет в дом. Попрощался с ними как-то в пять вечера, а они, дьявол их забери, опять заявились в два ночи. Наняли в Нью-Йорке большой автомобиль для туристических поездок, который довез их до самого порога, и вывалились оттуда, разумеется, пьяные вдрызг.

Пэрамор с почтительным восторгом рассматривает обложку книги, которую держит в руках. Мори и Дик переглядываются между собой.

Д и к (*с простодушным видом обращается к Пэрамору*). Вы работаете в городе?

П э р а м о р. Нет, в поселении на Лэрд-стрит в Стэмфорде. (*Обращается к Энтони.*) Ты и представить не можешь, какая страшная нищета в этих городишках в Коннектикуте. Итальянцы и другие иммигранты. В основном католики, а потому очень сложно найти с ними общий язык.

Э н т о н и (*вежливо*). Высокий уровень преступности?

П э р а м о р. Не столько преступности, сколько невежества и грязи.

М о р и. По-моему, всех невежд и грязнуль следует немедленно подвергать казни на электрическом стуле. Что до преступников — я за них горой… существенно разнообразят жизнь, придают некую остроту. Только вот беда, если заниматься истреблением невежества, начать придется с первых семейств в стране, потом взяться за дельцов кинобизнеса и наконец добраться до конгресса и духовенства.

П э р а м о р (*с натянутой улыбкой*). Я имел в виду более фундаментальное невежество… взять хотя бы язык.

М о р и (*глубокомысленно*). Да, тяжко. Бедняги даже не могут следить за новинками поэзии.

П э р а м о р. Только проработав в поселении несколько месяцев, начинаешь понимать весь ужас сложившейся ситуации. Как сказал наш секретарь в одной из бесед, если не мыть руки, грязи под ногтями не видно. Разумеется, мы уже привлекаем большое внимание общественности.

М о р и (*грубо*). Как сказал бы ваш секретарь, если набить в камин бумаги, несколько секунд она будет ярко гореть.

В этот момент к компании, в сопровождении

двух подруг, присоединяется Глория. Она искусно подкрашена и жаждет всеобщего восхищения и развлечений. Некоторое время ведется обрывочный разговор. Глория отзывает Энтони в сторонку.

Глория. Энтони, пожалуйста, не пей много.

Энтони. А что?

Глория. Потому что, напившись, ты становишься ужасно глупым.

Энтони. О господи! Что на сей раз?

Глория (*после короткой паузы, во время которой она холодно смотрит в глаза мужу*). Вопросов несколько. Прежде всего почему ты упорно оплачиваешь все расходы? У обоих джентльменов денег побольше, чем у тебя!

Энтони. Но, Глория, они же мои гости!

Глория. Это не повод платить за бутылку шампанского, которую разбила Рейчел Барнс. Дик попытался оплатить второй счет за такси, но ты не позволил.

Энтони. Но, Глория…

Глория. Когда нам постоянно приходится продавать облигации, чтобы уладить счета, самое время отказаться от щедрых жестов. Кроме того, не стоит уделять так много внимания Рейчел Барнс. Ее мужу твое поведение нравится не

больше, чем мне!

Э н т о н и. Но, Глория…

Г л о р и я (*сердито передразнивает*). Но Глория! Этим летом подобные вещи случаются слишком уж часто — с каждой хорошенькой женщиной, что попадается тебе на глаза. Это уже входит в привычку, и я не собираюсь терпеть подобное безобразие! Желаешь заводить любовные интрижки на стороне? Что ж, отплачу тебе той же монетой. (*Потом, будто ее внезапно осенило.*) Да, кстати, этот Фред не окажется еще одним Джо Халлом?

Э н т о н и. О господи! Да нет же! Наверное, он явился клянчить денег для своей паствы и хочет, чтобы я попросил их у деда.

Глория отворачивается от крайне удрученного Энтони и возвращается к гостям. Всех присутствующих к девяти часам вечера можно разделить на две группы: тех, кто пил без перерыва, и тех, кто пил мало или не употреблял спиртного вообще. Во второй группе оказываются супруги Барнсы, Мюриэл и Фредерик Пэрамор.

М ю р и э л. Жаль, я не умею писать. Столько мыслей в голове, но, как ни стараюсь, не могу облечь их в слова.

Д и к. Совсем как Голиаф. «Понимаю, что чувствует Давид, а выразить словами не могу». Его высказывание филистимляне тут же сделали своим девизом.

М ю р и э л. Что-то до меня не доходит. Наверное, глупею к старости.

Г л о р и я (*шаткой походкой бродит среди гостей, как захмелевший ангел*). Если кому-то хочется поесть, в столовой еще остались пирожные.

М о р и. Ненавижу викторианские завитушки, которыми их снабдили.

М ю р и э л (*с неуемной веселостью*). Ну, я скажу, вы и нализались, Мори.

Грудь Мюриэл по-прежнему подобна мостовой. Девушка с готовностью подставляет ее под копыта проезжих жеребцов, надеясь, что их железные подковы высекут хотя бы искру романтической страсти среди всеобщего мрака…

Супруги Барнсы и Пэрамор заняты беседой на высоконравственную тему. Обсуждаемый предмет столь возвышен, что мистер Барнс уже в течение нескольких минут пытается ускользнуть на территорию, более подверженную пороку, которая находится в районе дивана. Трудно назвать причины, задерживающие Пэрамора в сером

доме. Возможно, это обычная вежливость или праздное любопытство. Не исключено, что он намерен написать впоследствии социологический отчет и с этой целью анализирует процесс разложения американского обществ.

М о р и. Фред, полагаю, вы человек широких взглядов.

П э р а м о р. Так оно и есть.

М ю р и э л. И я тоже. В моем понимании все религии равны и все такое.

П э р а м о р. В каждой религии есть что-то хорошее.

М ю р и э л. Я католичка, но честно признаюсь — не слишком ревностная.

П э р а м о р (*проявляя недюжинное терпение*). Католическая религия очень… очень влиятельная религия.

М о р и. Ну, человек таких широких взглядов просто обязан испытать бурю возвышенных чувств и прилив оптимизм, что таит в себе этот коктейль.

П э р а м о р (*с вызывающим видом берет бокал*). Благодарю. Пожалуй, попробую… один.

М о р и. Один? Неслыханное безобразие! У нас тут встреча выпускников тысяча девятьсот десятого года, а ты не желаешь хотя бы для приличия

малость набраться. Ну же, смелее!

Выпьем за здоровье короля Карла,
Выпьем за здоровье короля Карла,
Кубок скорее неси…

Пэрамор с воодушевлением подпевает.

М о р и. Наполни бокал, Фредерик! Ведь хорошо известно, что все в мире подчиняется велению природы, а тебя она решила сотворить отъявленным пьяницей.

П э р а м о р. Если человек умеет пить, как истинный джентльмен…

М о р и. А что такое джентльмен?

Э н т о н и. Кто никогда не вкалывает булавки под лацкан пиджака.

М о р и. Чепуха! Социальный статус человека определяется количеством хлеба, который он съедает в сандвиче.

Д и к. Кто предпочитает первое издание книги последнему выпуску газеты.

Р е й ч е л. И ни при каких обстоятельствах не создает впечатления наркомана.

М о р и. Американец, способный поставить на место дворецкого-англичанина и убедить, что именно он и является джентльменом.

М ю р и э л. Человек из хорошей семьи, который закончил Йель, Гарвард или Принстон, при деньгах, искусный танцор и все такое.

М о р и. Наконец-то мы слышим идеальное определение! Кардинал Ньюмен о таком и мечтать не смеет.

П э р а м о р. Полагаю, этот вопрос нужно рассматривать в более широком смысле. Не Авраам ли Линкольн сказал, что джентльмен — это тот, кто никогда не причинит боли ближнему?

М о р и. Думаю, слова принадлежат генералу Людендорфу.

П э р а м о р. Вы, разумеется, шутите.

М о р и. Выпей-ка еще.

П э р а м о р. Мне больше не стоит. (*Понизив голос, шепчет, чтобы никто не услышал, кроме Мори.*) Должен признаться, это всего третий бокал в моей жизни. Ну, что теперь скажете?

Дик заводит патефон. Мюриэл тут же вскакивает с места и начинает раскачиваться из стороны в сторону. Она сгибает руки в локтях, выставляя их вперед, как рыбьи плавники.

М ю р и э л. Ах, давайте уберем ковры и потанцуем!

Услышав это предложение, Энтони и Глория

в душе стонут, но кисло улыбаются, выражая согласие.

М ю р и э л. Ну же, лентяи! Поднимайтесь и двигайте мебель.

Д и к. Подождите, дайте допить.

М о р и (*полон решимости осуществить свои намерения в отношении Пэрамора*). Слушайте меня! Давайте наполним бокалы, выпьем, а потом и потанцуем.

Волна протеста разбивается, столкнувшись со скалой, коей является неумолимый Мори.

М ю р и э л. Ну вот, теперь у меня голова идет кругом.

Р е й ч е л (*тихим голосом обращается к Энтони*). Глория просила держаться от меня подальше?

Э н т о н и (*сконфуженно*). Нет, что вы! И речи не было.

Рейчел одаривает его загадочной улыбкой. За два года ее красота приобрела холодную элегантность.

М о р и (*поднимая бокал*). Выпьем за поражение демократии и падение христианства.

М ю р и э л. Да ну вас!

Она бросает на Мори насмешливо-осуждающий взгляд, а затем выпивает содержимое бокала. Все пьют, испытывая при этом разную степень затруднения.

М ю р и э л. Очистить пол!

Энтони и Глория понимают, что испытания не избежать, смиряются и включаются в работу. Передвигаются столы, громоздятся друг на друга стулья, скатываются ковры и бьются лампочки. Наконец мебель свалена вдоль стен безобразными грудами, и в центре комнаты освобождается площадка футов в восемь.

М ю р и э л. Ах, включите музыку!

М о р и. Тана исполнит любовную песню специалиста по глазам, уху, горлу и носу.

Среди некоторого замешательства, вызванного уходом Таны на покой, ведутся необходимые приготовления к спектаклю. Облаченного в пижаму Т а н у с флейтой в руке заворачивают в стеганое одеяло и водружают в кресло, которое стоит на столе. Японец представляет собой смехотворное зрелище. Пэрамор уже заметно опьянел и настолько захвачен представлением, что это лишь усиливает эффект. Он самозабвенно копирует жесты персонажей из комиксов и даже позволяет

себе время от времени икать.

П э р а м о р (*обращается к Глории*). Не желаете со мной потанцевать?

Г л о р и я. Нет, сэр! Хочу исполнить лебединый танец. А вы умеете?

П э р а м о р. Конечно. Умею все танцы.

Г л о р и я. Прекрасно. Идите с того конца комнаты, а я — вот с этого.

М ю р и э л. Поехали!

И тут из бутылок начинает расползаться во все стороны затаившееся до поры до времени безумие. Тана бродит по извилистым лабиринтам дорожной песни, заунывное «тутл-тут-тут» сливается с тоскливыми каденциями «Бедняжка бабочка (тинк-атинк) замерла на цветке», которые льются из патефона. Обессилев от смеха, Мюриэл только отчаянно цепляется за Барнса. А тот танцует с мрачной стойкостью армейского офицера, топчась на одном месте без тени улыбки на лице. Энтони вслушивается в шепот Рейчел, стараясь не привлечь внимания Глории…

Но абсурдное, невероятное в своей театральности событие уже вот-вот свершится. Один из тех случаев, когда жизнь вдруг решает подражать литературным образцам самого низкого пошиба.

Пэрамор старается превзойти Глорию и, когда шабаш достигает апогея, начинает кружиться по комнате. Он все кружится, кружится, кружится, стремительнее и стремительнее… спотыкается, умудряется устоять на ногах и снова спотыкается, а затем падает в направлении коридора… и едва не оказывается в объятиях старого А д а м а П э т ч а, чье появление осталось незамеченным среди царящего в комнате столпотворения.

Адам Пэтч очень бледен. Он опирается на трость. Человек, который его сопровождает, не кто иной, как Э д в а р д Ш а т т л у о р т, и именно он хватает Пэрамора за плечо, изменяя траекторию его свободного полета и отводя удар от почтенного филантропа.

Промежуток времени, потребовавшийся для установления тишины, которая опускается на комнату подобно чудовищному занавесу, вероятно, длится минуты две. Хотя по их прошествии продолжает издавать квакающие звуки патефон, а ноты дорожной японской песни падают капельками из флейты Таны. Из девяти присутствующих только Барнс, Пэрамор и Тана не знакомы с личностью вновь прибывшего. И ни одному из девятерых неведомо, что сегодня утром Адам Пэтч сделал взнос в размере пятидесяти

тысяч долларов, которые пойдут на дело запрещения спиртных напитков во всей стране.

Честь нарушить сгущающуюся тишину принадлежит Пэрамору. И он изрекает совершенно немыслимую фразу, которая, подобно морскому приливу, возносит его на вершину безнравственности.

П э р а м о р (*торопливо отползая на четвереньках в сторону кухни*). Я не гость… Я тут на работе.

И снова комната погружается в тишину. На сей раз гнетущую и еще больше утяжеленную передающимися друг другу дурными предчувствиями. Рейчел не выдерживает и нервно хихикает. Дик осознает, что без конца повторяет строчку из Суинберна, которая по нелепому совпадению подходит к сложившейся ситуации: «Один цветок, поблекший, бездыханный».

…Среди всеобщего молчания слышится голос Энтони, трезвый и сдавленный. Он что-то говорит Адаму Пэтчу. Потом и он умолкает.

Ш а т т л у о р т (*с жаром*). Ваш дедушка решил, что ему следует приехать и взглянуть на дом. Я позвонил из Рая и предупредил.

Во время очередной паузы раздаются короткие

сдавленные вздохи неизвестного происхождения. Энтони стоит бледный как мел. Глория, приоткрыв рот, смотрит остановившимся, полным ужаса взором на старика. Никто не улыбается. Ой ли? Или все-таки у Брюзги Пэтча чуть вздрагивают губы, обнажая два ровных ряда редких зубов? Тихо, но отчетливо он произносит четыре слова.

А д а м П э т ч. Теперь едем обратно, Шаттлуорт.

И все. Старик поворачивается и, опираясь на трость, проходит по коридору. Потом выходит через парадную дверь. Его неуверенные шаги, словно посланное дьяволом предзнаменование беды, шуршат по посыпанной гравием дорожке, освещенной сиянием августовской луны.

Ретроспектива

Оказавшись в отчаянной ситуации, супруги напоминали пару золотых рыбок в аквариуме, из которого вылили всю воду, и теперь они даже не могут подплыть друг к другу.

В мае Глории исполнялось двадцать шесть лет. По ее словам, она всего лишь стремилась как можно дольше оставаться юной красави-

цей, веселой, счастливой и беззаботной, иметь деньги и любовь. Одним словом, хотела того же, что и большинство женщин, только ее желания выражались ярче и с большей страстностью. Уже пошел третий год после замужества. Поначалу дни протекали в ничем не омраченном взаимопонимании, которое порой переходило в исступленную восторженность и рождало чувство гордости за обладание любимым человеком. Случались и короткие периоды неприязни, и невнимательность, но уже к полудню от них не оставалось и следа. Так продолжалось полгода.

Потом безмятежная радость померкла, подернулась налетом скуки, и очень редко, при вспышках ревности или после вынужденной разлуки возвращалась прежняя страсть с бурей чувств и неизменным единением двух душ.

Теперь Глория могла в течение целого дня испытывать ненависть к мужу и злиться без видимой причины всю неделю. На смену любви и чувству близости пришли взаимные упреки, которым всячески потворствовали, превращая чуть ли не в развлечение. Случалось, вечером, отходя ко сну, они старались вспомнить, кто первым затеял ссору и кому наутро полагается чувствовать себя обиженным. К концу второго года супру-

жеской жизни в их отношениях появились две новые особенности. Глория вдруг поняла, что Энтони может проявлять полное безразличие, которое носило мимолетный характер, будто в полудреме, от которой, впрочем, уже нельзя пробудить нежным словом, прошептанным на ухо, или особенной, только для него предназначенной улыбкой. Случались дни, когда казалось, что муж задыхается от ее ласк. Все происходящие перемены Глория замечала, но никогда в этом себе не признавалась.

А совсем недавно осознала, что, несмотря на обожание, ревность, готовность рабски подчиняться мужу и гордость за него, она испытывает к Энтони глубокое презрение. И презрение как-то незаметно стало примешиваться ко всем остальным чувствам… Все это называлось любовью, жизненно важной женской иллюзией, которая избрала своим объектом Энтони одним апрельским вечером много месяцев назад.

Что до Энтони, то, невзирая на упомянутые перемены, только Глория по-прежнему занимала главное место в его жизни. Потеряй он сейчас жену, и утрата сломила бы его, превратив в горемыку, который до конца дней живет слезливыми воспоминаниями. Теперь он редко проводил на-

едине с Глорией целый день и больше не получал удовольствия от ее компании. Все чаще Энтони предпочитал присутствие третьих лиц. Случались моменты, когда он чувствовал, что если не останется один, то просто сойдет с ума. А несколько раз испытывал настоящую ненависть к жене. Находясь под хмельком, он мог ненадолго увлечься другими женщинами. Пока это были всего лишь всплески чувственности, стремящейся к новым ощущениям, которые легко подавлялись.

Той весной и летом они мечтали о будущем счастье, как отправятся в путешествие по южным краям, а потом возвратятся в роскошный особняк к предполагаемым идиллическим детям. Затем Энтони займется дипломатией или политикой, где свершит нечто замечательное и важное, и в конце концов они станут седовласой парой (с изумительно красивой сединой на шелковистых волосах), купаясь в лучах безоблачной славы, почитаемые буржуазией страны…

Обычно подобные разговоры начинались со слов «когда мы получим свои деньги»; все надежды основывались именно на мечтах, а не на реальной жизни, которая не приносила удовлетворения и становилась все более беспорядочной. Хмурым утром, когда шутки прошлой ночи вос-

принимались как непристойность, лишенная остроумия и достоинства, они все еще могли извлечь на свет божий общие надежды, перебрать их, а потом, улыбнувшись друг другу, решить все сомнения лаконичной, но искренней фразой, которой Глория, следуя учению Ницше, выражала протест: «А, все равно!»

Положение дел ощутимо ухудшалось. Все чаще вставал вопрос денег, принимая все более угрожающий характер и усиливая раздражение; пришло понимание, что спиртное стало неотъемлемой частью увеселений — вполне обычное явление для британской аристократии лет сто назад, но вызывающее некоторую тревогу в обществе, настойчиво стремящемся к умеренности и благоразумию. Кроме того, они оба слегка ослабли духом, и это выражалось не столько в поступках, сколько в отношении к окружающему миру, которое претерпело едва уловимые изменения. Так, у Глории зародилась одна особенность характера, до недавнего времени совершенно ненужная. Пока в виде незавершенного эскиза, но уже можно было безошибочно определить, что это совесть, всегда вызывавшая у нее стойкое отвращение. Это событие совпало с медленным угасанием физической отваги.

И вот в то августовское утро после неожиданного визита Адама Пэтча они проснулись с подступающей к горлу тошнотой, разбитые и разочарованные в жизни, способные испытывать только одно всепоглощающее чувство — страх.

Паника

— Ну и что дальше? — Энтони сидел в кровати и смотрел сверху вниз на жену. Уголки губ удрученно опущены, голос глухой и вымученный.

Вместо ответа Глория поднесла ко рту руку и принялась сосредоточенно грызть палец.

— Доигрались, — продолжил он после недолгого молчания. Глория по-прежнему не отвечала, и это начинало раздражать. — Почему ты молчишь?

— А что ты хочешь от меня услышать?

— Твое мнение.

— Его нет.

— Тогда прекрати кусать палец!

Последовала короткая сбивчивая перепалка, в ходе которой выяснялось, способна ли Глория вообще составить свое мнение. Для Энтони было очень важно, чтобы жена громко высказалась по поводу случившейся прошлой ночью катастро-

фы. Ее молчание расценивалось как попытка возложить всю ответственность на него. Глория же, в свою очередь, не видела необходимости в словах, а создавшаяся ситуация просто требовала, чтобы она грызла палец, как нервное дитя.

— Нужно уладить с дедом это проклятое недоразумение, — заявил Энтони, стараясь скрыть растерянность за показной уверенностью. Новое, едва зародившееся чувство уважения выразилось словом «дед» вместо привычного «дедушка».

— Ничего не выйдет, — категорично заявила Глория. — Ни сейчас, ни потом. Он не простит тебя до конца жизни.

— Возможно, и не простит, — с несчастным видом согласился Энтони. — И все-таки можно попытаться как-то реабилитировать себя. Дать обещание исправиться, ну и все в таком роде…

— Он выглядит больным, — перебила Глория. — Весь мучнисто-бледный.

— Он и правда болен. Я же говорил об этом еще три месяца назад.

— Лучше бы он умер на прошлой неделе! — с обидой выпалила Глория. — Бесчувственный старый дурак!

Ни один из них даже не улыбнулся.

— Послушай, что я тебе скажу, — продолжила

Глория уже спокойнее, — если еще раз замечу, что ты любезничаешь с другой женщиной, как вчера с Рейчел Барнс, я тебя брошу. Просто возьму и уйду, вот так! Не собираюсь терпеть подобные мерзости!

Энтони не на шутку струсил.

— Не говори глупости! — запротестовал он. — Ты же знаешь, для меня на свете не существует других женщин, кроме тебя. Просто не существует, милая…

Его попытка сыграть на струнах нежности бесславно провалилась — на переднем плане с новой силой обозначилась куда более серьезная угроза.

— А что, если поехать к нему, — рассуждал Энтони, — и покаяться, употребив подходящие цитаты из Библии? Якобы я слишком долго блуждал в потемках, встав на неправедный путь. И вот наконец прозрел и увидел свет… — Он оборвал свою речь и с капризным видом глянул на жену. — Интересно, как бы он поступил?

— Не знаю.

Глорию мучил вопрос, хватит ли у их гостей сообразительности и такта уехать сразу после завтрака.

Прошла неделя, а Энтони все никак не мог собраться с мужеством и нанести визит в Тэр-

ритаун. Сама перспектива этого путешествия вызывала отвращение, и если бы не постоянное давление со стороны жены, он ни за что бы туда не поехал. Однако за последние три года ослабла не только его воля, но и способность сопротивляться настойчивым просьбам. Глория заставила мужа поехать в Тэрритаун, заявив, что вполне достаточно выждать неделю и дать время, чтобы гнев деда остыл. Ждать дольше — непростительная ошибка, которая даст старику лишний шанс укрепиться в своем враждебном чувстве к внуку.

Дрожа от страха, он пустился в путь… и зря потратил время. Адаму Пэтчу нездоровилось, о чем не преминул сообщить кипящий негодованием Шаттлуорт. Были даны четкие распоряжения никого не пускать к больному. Под мстительным взором бывшего лекаря, считавшего джин панацеей от всех бед, Энтони сдал позиции. Чуть ли не крадучись он шел к такси и только в поезде вновь обрел толику собственного достоинства, с мальчишеской радостью убегая к своим сказочным замкам, которые сулили утешение, по-прежнему сияя в воображении манящими высокими башнями.

Энтони вернулся в Мариэтту, где Глория встретила его презрительной насмешкой. Почему он

не прорвался к деду силой? Она сама именно так бы и поступила.

Супруги стали обдумывать письмо к старику и после многочисленных поправок наконец написали и отправили адресату. В письме наряду с извинениями предпринимались нелепые попытки оправдаться. Ответа не последовало.

И вот наступил сентябрьский день, когда солнце чередуется с дождем. Только солнце больше не грело, а дождь не приносил свежести. В тот день супруги покинули серый дом, который видел расцвет их любви. Четыре дорожных сундука и три угрожающего вида корзины возвышались посреди пустой комнаты, где два года назад они предавались томной неге и мечтали, далекие от суеты окружающего мира и всем довольные. Комната откликнулась гулким эхом. Глория, одетая в новое коричневое платье, отороченное мехом, сидела на сундуке и молчала, а Энтони нервно расхаживал взад-вперед и курил в ожидании грузовика, который должен отвезти вещи в город.

— Что это? — требовательным голосом спросила Глория, указывая на альбомы, лежавшие поверх корзины.

— Моя старая коллекция марок, — робко признался Энтони. — Забыл упаковать.

— Энтони, но ведь глупо таскать их за собой.

— Ну, я их просматривал прошлой весной, когда мы уезжали из квартиры, и решил не сдавать на хранение.

— Неужели нельзя это продать? Или у нас мало хлама?

— Прости, — покорно откликнулся он.

К порогу с грохотом подкатил грузовик. Глория с вызовом погрозила пустым стенам кулачком.

— Как я рада, что уезжаю! — выкрикнула она. — Господи, как же я ненавижу этот дом!

Итак, блистательная красавица отправилась в Нью-Йорк в сопровождении мужа. И прямо в поезде, уносившем их от серого дома, супруги затеяли ссору. Горькие упреки Глории сыпались с той же неотвратимой частотой и регулярностью, что и станции, которые мелькали за окном.

— Ну не сердись, — жалобным голосом упрашивал Энтони. — Ведь, в конце концов, у нас ничего не осталось, кроме друг друга.

— Большую часть времени мы лишены и этого! — выкрикнула Глория.

— Когда же такое было?

— Много раз, начиная со случая на платформе в Редгейте.

— Уж не хочешь ли сказать…

— Не хочу, — холодно перебила Глория. — Не хочу копаться в прошлом. Было и прошло, но, уходя, что-то с собой унесло.

Она оборвала речь на полуслове. Энтони тоже сидел молча, растерянный и подавленный. Проносились друг за другом однообразные серые станции: Мамаронек, Ларчмонт, Рай, Пелэм, между которыми разбросаны унылые пустоши, безрезультатно претендующие на звание сельского пейзажа. Энтони вспомнил, как однажды летним утром они выехали из Нью-Йорка и отправились на поиски счастья. Возможно, они и не надеялись его найти, и все же сам процесс поиска оказался самым счастливым временем в жизни. Получается, что жизнь — это определенный подбор декораций вокруг каждого человека, и если его нет, наступает катастрофа. Нет ни отдыха, ни покоя. Он потратил много времени, стремясь плыть по течению и предаваться мечтам. Только никому еще не удавалось уберечься от водоворота, где все мечты превращаются в причудливые кошмары, вызванные неуверенностью и сожалениями.

Пелэм! В Пелэме они поссорились, потому что Глории захотелось сесть за руль. Когда она нажала ножкой на педаль газа, машина резко

рванула вперед, а их головы дружно откинулись назад, как у двух марионеток, связанных одной ниточкой.

Бронкс… скопление домов, поблескивающих под солнцем, которое, прорываясь сквозь необъятные сияющие небеса, роняет потоки света на улицы. Нью-Йорк Энтони считал своим домом. Город роскоши и тайны, бессмысленных надежд и причудливых мечтаний. Здесь, на окраинах, в холодных лучах заката высились нелепые оштукатуренные дворцы и, зависнув на мгновение в застывшем нереальном мире, ускользали вдаль, уступая место неразберихе на Гарлем-Ривер. В сгущающихся сумерках поезд проезжал мимо оживленных, исходящих потом улиц Верхнего Ист-Сайда. И каждая, мелькнув за окном вагона, словно промежуток между спицами гигантского колеса, как сокровенную тайну открывала жизнерадостную красочную картину с неугомонными ребятишками из бедных семей. Собравшись стайками, дети копошились, будто муравьи на дорожках, посыпанных красным песком. Из окон многоквартирных домов, что сдаются в аренду, выглядывали их тучные луноликие матери, словно плеяды звезд на убогом в своей нищете небосклоне. Женщины, своим

несовершенством напоминающие неограненные драгоценные камни, женщины, уподобившиеся овощам, женщины, похожие на огромные мешки с омерзительно грязным бельем.

— Мне нравятся эти улицы, — будто размышляя вслух, произнес Энтони. — Возникает чувство, что здесь идет спектакль, поставленный специально для меня. Но стоит пройти мимо, и все прекратят прыгать и веселиться. Станут печальными, вспомнив о своей бедности, а потом с поникшими головами разбредутся по домам. Подобное ощущение часто возникает за границей, а на родине — очень редко.

Внизу, на оживленной улице с высокими домами он прочел на вывесках магазинов с десяток еврейских фамилий. В дверях каждого магазинчика стоял темноволосый маленький человечек, пристально наблюдающий за прохожими. В его глазах светились подозрительность, гордыня, алчность и изворотливый ясный ум. Нью-Йорк… Энтони уже не мог представить его без этих людей, постепенно расползающихся по городу. Маленькие магазинчики росли, расширялись, сливались и переезжали. Распространяясь во всех направлениях, следили хищным ястребиным взором за бурлящей вокруг жизнью, не упуская

ни одной самой мелкой детали с поистине пчелиной кропотливостью. Зрелище впечатляло и впоследствии обещало стать грандиозной картиной.

Голос Глории ворвался в его размышления и, как ни странно, прозвучал им в унисон:

— Интересно, где провел это лето Блокмэн?

Квартира

После свойственной юности уверенности наступает неимоверно запутанный и сложный период. У продавца газированной воды этот период так короток, что проходит почти незаметно. Люди, занимающие более высокие ступени на общественной лестнице, стараются как можно дольше сберечь все тонкости отношений и «непрактичные» представления о честности и порядочности. Но к тридцати годам это занятие становится слишком обременительным, и все, что казалось до сих пор неизбежным и сбивающим с толку, постепенно отходит на задний план, приобретая все более расплывчатые очертания. Наползает повседневность и, подобно сумеркам, спускающимся на суровый ландшафт, сглаживает резкие линии и делает картину

приемлемой. В своем запутанном многообразии жизнь неуловимо переменчива, и всякий раз, когда наносится урон жизненным силам, происходит пересмотр ценностей. И вот уже кажется, что нельзя извлечь урока из прошлого, чтобы идти с ним дальше в будущее, и тогда утрачивается способность к душевным порывам, нас уже невозможно ни в чем убедить, и не интересно, где находится тонкая грань между моралью и безнравственностью. Понятие честности заменяется общепринятыми правилами поведения, и стабильность ценится выше романтических чувств, а мы сами неосознанно превращаемся в прагматиков. И лишь очень немногим суждено и дальше копаться в разнообразных нюансах человеческих отношений, но и они занимаются этим лишь в специально отведенные часы.

Энтони Пэтч перестал быть личностью с авантюрным, пытливым складом ума и превратился в человека, находящегося во власти предрассудков и предубеждений, со страстным стремлением к безмятежному душевному покою. Постепенное перерождение происходило в течение последних семи лет и ускорилось чередой опасений и страхов, хищно впившихся в сознание. В первую очередь возникло чувство потери, всегда

дремавшее в сердце и пробудившееся в силу создавшихся обстоятельств и положения, в котором он оказался. В минуты, когда Энтони чувствовал себя особенно незащищенным и уязвимым, его преследовала мысль, что жизнь в конечном итоге, возможно, не лишена смысла. Перешагнув двадцатилетний рубеж, Энтони первое время по-прежнему считал бесполезными все попытки что-либо изменить и видел великую мудрость в отрицании. Уверенность подкреплялась философскими учениями, которыми он неизменно восхищался. А кроме того, общением с Мори Ноублом и впоследствии с женой. И все же возникали ситуации — как, например, перед первой встречей с Глорией или после предложения деда отправиться в Европу военным корреспондентом, — когда неудовлетворенность едва не толкнула его на созидательный шаг.

Однажды, перед окончательным отъездом из Мариэтты, небрежно перелистывая «Бюллетень выпускников Гарварда», Энтони наткнулся на колонку, где говорилось о достижениях его ровесников, окончивших университет около шести лет назад. Действительно, большинство из них занимались бизнесом, а несколько человек приобщали язычников в Китае или Америке к

расплывчатым догмам протестантизма; но, как выяснилось, были и такие, чья созидательная деятельность не имела ничего общего ни с синекурами, ни с повседневной рутиной. Например, Келвин Бойд. Едва закончив медицинский колледж, он открыл новое средство для лечения тифа, а потом отправился за океан, где пытался смягчить последствия отдельных цивилизованных санкций, которые великие державы применили к Сербии. Был еще Юджин Бронсон, чьи статьи в «Нью демократи» характеризовали его как человека с мышлением, выходящим за рамки пошлых понятий своевременности и повсеместно распространенной истерии. Студента по имени Дейли однажды выгнали с факультета некого респектабельного университета за пропаганду марксистских доктрин в аудитории. В искусстве, науке и политике Энтони находил достойных представителей своего поколения. Даже футболист, квотербек Северенс, проявил истинное мужество и без лишнего шума отдал жизнь, сражаясь в рядах Иностранного легиона на реке Эна.

Энтони отложил в сторону журнал и некоторое время размышлял о судьбе этих совершенно разных людей. В дни былой непорочности он

стал бы до конца отстаивать свою точку зрения. Пребывая, подобно Эпикуру, в счастливой равнодушной отрешенности, он принялся бы выкрикивать, что бороться — значит верить, а вера устанавливает для человека ограничительные рамки. И пристрастился бы ходить в церковь, так как перспектива бессмертия доставляла радость, и с таким же успехом мог бы заняться кожевенным делом, потому что жестокая конкуренция не позволяет предаваться печали. Но сейчас у него не было таких утонченных моральных принципов. Этой осенью, на двадцать девятом году жизни, у Энтони появилась склонность закрывать свой разум для многих вещей, не заниматься глубоким исследованием мотивов и первопричин. Вместо этого возникло страстное стремление защититься от окружающего мира и себя самого. Он ненавидел одиночество, но, как уже упоминалось, зачастую боялся оставаться и вдвоем с Глорией.

Из-за пропасти, разверзшейся перед Энтони в результате визита деда и отказа от привычного образа жизни, что он вел в последнее время, возникла необходимость осмотреться в этом городе, который неожиданно стал враждебным, поискать друзей и окружения, где ему некогда

жилось так уютно и безопасно. Первым шагом стала отчаянная попытка вернуть свою прежнюю квартиру.

Весной 1912 года Энтони подписал договор об аренде на четыре года, при условии выплачивать по семьсот долларов в год, с правом возобновления. Договор истек в мае прошлого года. Когда Энтони в первый раз снял эти комнаты, он сумел рассмотреть их глубоко скрытые возможности и указал в договоре, что они вместе с хозяином дома затратят некоторые средства на придание квартире более респектабельного вида. За истекшие четыре года арендная плата выросла, и когда прошлой весной Энтони отложил возобновление договора, домовладелец, некий мистер Зохенберг, быстро смекнул, что может получить гораздо больше за эту теперь привлекательную во всех отношениях квартиру. Соответственно, когда в сентябре Энтони заговорил об интересующем его предмете, мистер Зохенберг предложил возобновить договор на три года с арендной платой две с половиной тысячи долларов в год. Энтони счел это предложение возмутительным. Оно означало, что более трети дохода супругов уйдет на оплату жилья. Тщетно он доказывал домовладельцу, что квартира стала такой заманчивой исключитель-

но благодаря его деньгам и идеям.

Тщетно предлагал он две тысячи в год, а потом и две двести, хотя мог с трудом позволить себе эту сумму. Мистер Зохенберг стоял на своем. Оказывается, на квартиру претендуют еще два джентльмена, ибо в настоящее время именно такое жилье пользуется самым высоким спросом, и чего ради отдавать квартиру мистеру Пэтчу в ущерб своим интересам? Кроме того, раньше он об этом никогда не упоминал, но от других жильцов поступали жалобы на шум среди ночи, громкое пение, танцы и все такое прочее.

Кипя от возмущения, Энтони поспешил в отель «Ритц», чтобы поведать жене о крушении своих надежд.

— Так и вижу, как ты позволяешь окунать себя носом в грязь! — обрушилась на мужа Глория.

— Что я мог возразить?

— Нужно было сказать, кто он есть на самом деле. Я бы такого не стерпела. И ни один человек в мире не стал бы мириться с подобным унижением! Ты просто разрешаешь людям топтать себя ногами, дурачить, шантажировать, помыкать, как маленьким глупым мальчиком. Какая нелепость!

— Ох, ради всех святых, не выходи из себя.

— Ладно, Энтони, только какой же ты все-таки осел!

— Возможно. В любом случае мы не можем позволить себе такую квартиру, хотя это все равно дешевле, чем жить в «Ритце».

— Ты же сам настоял, чтобы мы поселились здесь.

— Да, потому что понимаю, как унизительно для тебя жить в дешевом отеле.

— Разумеется, унизительно!

— Как бы там ни было, нам надо подыскивать жилье.

— Какую плату мы можем себе позволить? — поинтересовалась Глория.

— Видишь ли, мы даже можем заплатить цену, что просит домовладелец, если опять продадим облигации, но вчера вечером мы договорились, что пока я не найду определенного занятия, мы…

— Все это мне давно известно, а сейчас интересует, сколько мы в состоянии заплатить непосредственно из дохода.

— Считается, что на жилье не полагается тратить больше четверти.

— И что представляет собой эта четверть?

— Сто пятьдесят долларов в месяц.

— Уж не хочешь ли сказать, что у нас всего

шестьсот долларов в месяц? — В ее голосе сквозили испуганные нотки.

— А ты как думала?! — огрызнулся Энтони. — Или решила, что мы можем тратить более двенадцати тысяч в год, не залезая в основной капитал?

— Я знала, что мы продали облигации, но неужели потратили так много? И как только умудрились? — Теперь в ее голосе слышался неприкрытый страх.

— Погоди, сейчас загляну в счетные книги, что велись с такой скрупулезностью, — съязвил Энтони и тут же продолжил: — Две арендные платы все это время, одежда, путешествия… только представь, каждая весна в Калифорнии обходилась в четыре тысячи долларов. А этот чертов автомобиль, он с самого начала был сплошной тратой денег. А все пирушки, развлечения… да что там, какая теперь разница?

Оба не на шутку встревожились и приуныли. В пересказе для Глории ситуация выглядела еще более удручающей, чем когда Энтони впервые открыл ее для себя.

— Нужно достать денег, — неожиданно заявила Глория.

— Еще бы! Ясно как день.

— Надо снова попытаться встретиться с дедом.
— Так и поступлю.
— Когда?
— Когда мы устроимся.

Это событие произошло неделей позже. Супруги сняли маленькую квартиру на Пятьдесят седьмой улице за сто пятьдесят долларов в месяц. Она находилась в многоквартирном доме из белого камня и состояла из спальни, гостиной, крошечной кухоньки и ванной. Хотя комнаты оказались слишком маленькими и не представлялось возможным разместить даже лучшую мебель Энтони, они были новенькими, чистыми и светлыми и даже не лишены некоторого очарования. Баундс уехал за океан, записавшись в британскую армию, а вместо него появилась сухопарая ширококостная ирландка, чьи услуги приходилось терпеть, не испытывая особой радости. Глория в очередной раз прониклась к прислуге ненавистью по причине, что та, подавая завтрак, неизменно восхваляла достоинства ирландского политического движения «Шинн Фейн». Однако супруги поклялись никогда впредь не нанимать японцев, а найти слугу-англичанина на данный момент было очень трудно. Как и Баундс, ирландка готовила только завтрак, а обедать и ужинать

приходилось в ресторанах и отелях.

В конечном итоге нестись в Тэрритаун во весь опор заставило появившееся в нескольких нью-йоркских газетах сообщение, что Адам Пэтч, мультимиллионер, филантроп, всеми почитаемый подвижник, серьезно болен и надежды на выздоровление нет.

Котенок

Повидаться с дедом Энтони не удалось. Доктора запретили больному разговаривать, сообщил мистер Шаттлуорт и любезно предложил взять любое послание, которое Энтони, возможно, пожелает передать Адаму Пэтчу через секретаря, когда позволит здоровье дедушки. Из недвусмысленных намеков Энтони лишь утвердился в грустной догадке, что присутствие внука-расточителя у постели умирающего в высшей степени нежелательно. Во время беседы Энтони, памятуя о полученных от Глории наставлениях, попробовал прошмыгнуть мимо дедовского секретаря, но Шаттлуорт с улыбкой расправил крепкие плечи, и он понял всю тщетность своей попытки. Жалкий и запуганный, он вернулся в Нью-Йорк, где супруги провели полную тревоги неделю.

Незначительный инцидент, случившийся как-то вечером, показал, как напряжены у них нервы.

Как-то раз они возвращались домой после ужина, и Энтони заметил бродячую кошку, крадущуюся вдоль ограды.

— Стоит увидеть кошку, и тут же возникает желание пнуть ее ногой, — лениво сообщил он.

— А я люблю кошек.

— Как-то раз я поддался этому желанию.

— И когда же?

— О, много лет назад, задолго до знакомства с тобой. Однажды вечером, в антракте между действиями. Стоял чудесный вечер, как сейчас, я был слегка навеселе — это был вообще один из первых случаев, когда я здорово выпил, — пояснил он. — Маленькая бродяжка искала место для ночлега, а я был в паршивом настроении, вот и вздумалось ее пнуть…

— Бедненькая! — воскликнула Глория, искренне принимая к сердцу рассказ мужа.

Вдохновленный собственным красноречием, он продолжил повествование.

— Да, это было гадко с моей стороны, — признался он. — Маленькая тварюшка посмотрела так жалобно, будто надеялась, что я возьму ее с собой и стану заботиться. Это был всего лишь

котенок, и не успел он опомниться, как огромная ножища обрушилась на его хилую спинку…

— Ах! — В голосе Глории слышалась боль.

— Ночь стояла такая холодная! — не унимался Энтони, придавая голосу заунывное звучание. — Думаю, котенок ждал, что его приласкают, а получил только боль и страдания…

Он резко оборвал свое сказание — Глория сотрясалась от рыданий. Они уже добрались до дома, и когда зашли в квартиру, жена рухнула на диван и плакала так горько, будто Энтони поразил ее в самое сердце.

— Бедный маленький котеночек! — жалобно повторяла Глория. — Бедный крошка. Так холодно…

— Глория…

— Не подходи ко мне! Пожалуйста, не подходи! Ты убил маленького пушистого котеночка.

Растрогавшись до глубины души, Энтони опустился на колени рядом с Глорией.

— Любимая, — начал он, — Глория, милая, здесь нет ни слова правды. Я все выдумал.

Но Глория не поверила. В самих подробностях повествования таилось нечто, заставившее ее проплакать весь вечер, пока не сморил сон, — о котенке, об Энтони, о себе, а также горечи и боли,

которыми наполнен жестокий окружающий мир.

Кончина американского моралиста

Старик Адам умер в конце ноября в полночь, с благочестивой хвалой Господу на иссохших устах. Он, выслушавший столько лести, сам отошел в мир иной, улещивая Всемогущую Абстрактную Силу, которую, как полагал, имел неосторожность разгневать в распутные годы юности. Было объявлено, что покойный установил с Богом нечто вроде перемирия, условия которого не предавались гласности, хотя подразумевалось, что речь идет о крупной сумме наличными. Во всех газетах опубликовали его биографию, а в двух — поместили передовицы, посвященные безукоризненной репутации и многочисленным достоинствам покойного, а также роли в драме под названием «Индустриализация», вместе с которой он вырос. Сдержанно коснулись реформ, которые Адам Пэтч финансировал. Вновь воскресили память о Комстоке и Катоне-Цензоре, чьи худосочные призраки маршировали парадным шагом по газетным колонкам.

В каждой газете упоминалось, что у усопшего

остался единственный внук Энтони Комсток Пэтч, проживающий в Нью-Йорке.

Похороны состоялись на кладбище в Тэрритауне, на участке, выкупленном семьей. Энтони и Глория ехали в первом экипаже и были слишком встревожены, чтобы осознать нелепость своего положения. Оба отчаянно старались рассмотреть на лицах слуг, остававшихся рядом с покойным до конца, предзнаменование грядущего богатства.

Из приличия они выждали наполненную безумием неделю, и, не получив никаких уведомлений, Энтони позвонил адвокату деда. Мистера Бретта не оказалось на месте, его ожидали через полчаса. Энтони оставил свой номер телефона.

Шел последний день ноября, прохладный и хрустящий, с блеклым солнцем, безрадостно заглядывающим в окна. Пока супруги ждали телефонного звонка, делая вид, что заняты чтением, атмосфера в комнате и снаружи, казалось, переполнилась предчувствием плачевного обмана, сулящего крушение надежд. После бесконечно долгого ожидания наконец зазвонил телефон, и Энтони, вздрогнув, вскочил с места.

— Алло… — Его голос звучал глухо и напряженно. — Да, я просил перезвонить. Кто говорит? Да… Речь идет об имуществе. Естественно, меня

это интересует, и я не получил информации относительно прочтения завещания… Решил, что, вероятно, у вас нет моего адреса… Что?.. Да…

Глория упала на колени. Паузы в речи Энтони ложились жгутами на артерию, перекрывая доступ крови к сердцу. Она вдруг поняла, что беспомощно крутит большие пуговицы на бархатной подушке. Потом послышалось:

— Все это очень и очень странно… да, странно. Нет даже… упоминания… или указания какой-либо причины?

Его голос стал слабым и далеким. Глория выдохнула слабый вскрик со всхлипом.

— Да, понимаю… Хорошо, благодарю… Благодарю…

Раздался щелчок положенной на рычаг трубки. Глория, потупившись, смотрела в пол, на ноги Энтони, нарушающие рисунок из солнечных пятен на ковре. Потом поднялась с места и перевела пристальный сумрачный взгляд на мужа. И в этот момент вокруг нее обвились руки Энтони.

— Любимая моя, — хрипло шептал Энтони. — Старик таки это сделал. Черт бы его побрал!

На следующий день

— Кто наследники? — спросил мистер Хейт. — Понимаете, при столь скудных сведениях о деле…

Мистер Хейт был высоким сутулым мужчиной с нависающими на глаза бровями. Его порекомендовали Энтони как изворотливого адвоката с цепкой хваткой.

— Могу рассказать лишь в общих чертах, — признался Энтони. — Человек по имени Шаттлуорт, который являлся в некотором роде любимцем покойного, занимался всеми делами как администратор, за исключением непосредственных завещательных отказов движимости в благотворительных целях, пособий для слуг и двух родственников из Айдахо.

— В какой степени родства они находятся с покойным?

— В третьем или четвертом колене. Я о них даже не слышал.

Мистер Хейт с глубокомысленным видом кивнул.

— Значит, вы намерены опротестовать условия завещания?

— Да, полагаю, что так, — в растерянности признался Энтони. — Хочу выбрать самый обнадеживающий вариант… Вот именно об этом и прошу вас рассказать.

— Хотите отложить утверждение завещания судом?

Энтони беспомощно тряхнул головой.

— Вы ставите меня в тупик. Не имею ни малейшего понятия, что такое «утверждение завещания». Хочу всего лишь получить свою долю наследства.

— Тогда расскажите о деле во всех подробностях. Например, известна ли вам причина, которая заставила завещателя лишить вас наследства?

— Ну да, — приступил к объяснениям Энтони. — Понимаете, он всю жизнь был сторонником духовных реформ и тому подобное…

— Понимаю, — откликнулся мистер Хейт без тени улыбки.

— Думаю, он всегда выражал недовольство по моему поводу. Видите ли, я не стал заниматься бизнесом. Однако не сомневаюсь, что до прошлого лета я числился среди бенефициариев. Мы с женой арендовали дом в Мариэтте, и однажды вечером деду взбрело в голову явиться в гости. В

общем, веселая вечеринка шла полным ходом, а старик нагрянул без предупреждения. Ну, хватило одного взгляда. Да еще этот тип Шаттлуорт, что ошивался рядом. Оба тут же развернулись и понеслись назад в Тэрритаун. После того случая дед не ответил ни на одно из писем и не допустил к себе.

— Покойный был сторонником «сухого закона», не так ли?

— Всё сразу. Настоящий религиозный фанатик.

— Как задолго до смерти составлено завещание, лишающее вас наследства?

— Недавно. Наверное, в августе.

— И вы полагаете, что прямой причиной, по которой покойный лишил вас доли наследства, явилось недовольство вашим поведением?

— Да.

Мистер Хейт задумался. На каком основании Энтони может опротестовать завещание?

— А нельзя ли это связать со злоупотреблением влиянием?

— Злоупотребление влиянием в корыстных целях является одним из оснований. Однако его труднее всего доказать. Вам придется убедить суд, что на покойного оказывалось давление, в результате которого он был доведен до такого

состояния, что распорядился собственностью вопреки своим намерениям…

— Хорошо, предположим, этот тип Шаттлуорт притащил деда в Мариэтту, так как предполагал, что именно в это время там празднуется некое торжество?

— Это никак не повлияет на ход дела. Существует четкое различие между советом и влиянием. И вам придется доказывать, что секретарь действовал со злым умыслом. Я предлагаю другой путь. Завещанию автоматически отказывается в утверждении в случае невменяемости завещателя, алкоголизма, — тут Энтони невольно улыбнулся, — или слабоумия как следствия старческого возраста.

— Нет, — тут же возразил Энтони, — его личный врач, который является одним из бенефициариев, подтвердит, что покойный не страдал слабоумием. Да так оно и есть. Дело в том, что, вероятно, он распорядился своими деньгами, как хотел, и это полностью соответствует принципам, которыми он руководствовался всю свою жизнь.

— Понимаете, слабоумие во многом схоже со злоупотреблением влиянием, в обоих случаях подразумевается, что имуществом распорядились не так, как изначально предполагалось.

Самым распространенным основанием является принуждение, то есть оказание физического воздействия.

Энтони только покачал в ответ головой:

— Боюсь, это маловероятно. Злоупотребление влиянием мне больше по душе.

После дальнейшего обсуждения дела, технические детали которого Энтони был не в состоянии уразуметь, он нанял мистера Хейта в качестве своего адвоката. Мистер Хейт предложил организовать встречу с Шаттлуортом, который вместе с Уилсоном, Химером и Харди являлся душеприказчиком. Договорились, что Энтони придет на этой неделе через несколько дней.

Поступили сведения, что состояние покойного составляет около сорока миллионов долларов. Самая крупная сумма, завещанная одному лицу, которым являлся Шаттлуорт, равнялась одному миллиону долларов. Кроме того, он получал ежегодное жалованье в тридцать тысяч как распорядитель тридцатимиллионного доверительного фонда, выделенного для помощи благотворительным и реформаторским организациям на усмотрение вышеупомянутого Шаттлуорта. Оставшиеся девять миллионов были в разных долях распределены между двумя

родственниками из Айдахо и двадцатью пятью другими бенефициариями: друзьями, секретарями, прислугой и служащими, которые в тот или иной период времени заслужили благосклонность Адама Пэтча.

В конце второй недели мистер Хейт за предварительный гонорар в пятнадцать тысяч начал готовиться к опротестованию завещания.

Зима разочарований

Супруги не успели прожить в маленькой квартирке на Пятьдесят седьмой улице и двух месяцев, как она приобрела едва уловимый, но физически ощутимый налет, определявший атмосферу серого дома в Мариэтте. Повсюду чувствовался застоялый запах табака, потому что оба непрестанно курили. Табаком пропитались одежда, одеяла, шторы и испачканные пеплом ковры. К этому добавлялся затхлый винный дух, неизбежно ассоциирующийся с втоптанной в грязь красотой и омерзительными воспоминаниями о попойках. Отвратительный запах давал о себе знать с особой силой возле серванта, на котором выстроились стеклянные бокалы. А в гостиной стол красного дерева пестрел белыми пятнами от

следов, оставленных теми же бокалами. Пирушек устраивалось великое множество. Гости ломали мебель и били посуду, их рвало в ванной комнате Глории, они проливали вино и устраивали невероятный беспорядок на крошечной кухоньке.

Все это превратилось в неотъемлемую часть существования супругов. Несмотря на решения, которые принимались по понедельникам, приближающийся уик-энд по молчаливому обоюдному согласию подразумевалось ознаменовать очередным нечестивым весельем. Наступала суббота, и один из них без предварительных обсуждений брал телефонную трубку и звонил кому-нибудь из привычного окружения, состоящего из ненадежных и легкомысленных приятелей, с предложением встретиться. И только когда вся компания была в сборе, а на столе расставлены графины, Энтони небрежно бросал: «Пожалуй, и я выпью с вами один бокал».

Потом Энтони и Глория отключались на два дня. И только позже, встречая унылый похмельный рассвет, вспоминали, что были самыми одиозными фигурами в самой шумной и привлекающей всеобщее внимание компании в «Буль-Миш», «Клаб-Рамэ» или иных местах отдыха, где не обращают особого внимания на буйства

посетителей. Вскоре выяснялось, что они ухитрились промотать восемьдесят или девяносто долларов, сами не понимая, как это случилось, и неизменно объясняя этот факт вечной бедностью «приятелей», которые их сопровождали.

Наиболее искренние из друзей все чаще высказывали прямо на вечеринках свои сомнения, предрекая супругам печальный конец, который неизбежно наступит, когда Глория утратит красоту, а Энтони — замечательную фигуру. Слухи о приснопамятной летней попойке в Мариэтте, прерванной появлением Адама Пэтча, просочились наружу во всех пикантных деталях. «Мюриэл не собиралась откровенничать с первым встречным, — убеждала Глория мужа. — Только ей всегда кажется, что каждый, кому она доверилась, и есть тот самый человек, с которым хотелось поделиться новостью». Окутанная прозрачной вуалью, история заняла заметное место среди городских сплетен. Когда условия завещания Адама Пэтча предали гласности, а в газетах стали появляться сообщения о судебном процессе, затеянном Энтони, повествование обросло множеством новых подробностей, казавшихся ему в высшей степени унизительными. Со всех сторон до супругов доходили слухи об их беспут-

ной жизни, которые, по правде сказать, нельзя было назвать безосновательными. Однако они явно грешили обилием нелепостей и злобных выпадов.

Внешних признаков старения не наблюдалось. Глория в двадцать шесть лет все еще выглядела на двадцать. Свежее юное лицо по-прежнему оставалось изумительной оправой для лучистых глаз; по-девичьи сияющие волосы слегка потемнели и вместо цвета спелой пшеницы приобрели красновато-коричневый оттенок старого золота. Стройное тело неизменно наводило на мысль о нимфе, кружащейся в танце в орфических рощах. Когда Глория проходила по вестибюлю отеля или между рядами в театре, десятки мужских глаз завороженно смотрели ей вслед. Мужчины искали с ней знакомства, пребывая в состоянии длительного искреннего восхищения, неизменно влюблялись и начинали оказывать знаки внимания, так как Глория до сих пор являлась существом, поражающим воображение окружающих невероятной утонченной красотой. И Энтони, в свою очередь, пожалуй, выиграл, а не потерял во внешности. На его лице появилась едва уловимая трагическая тень, составляющая романтический контраст с безукоризненно

опрятным обликом.

В начале зимы, когда все разговоры сводились к возможному вступлению Америки в войну, а Энтони, искренне желая заняться писательским трудом, делал отчаянные попытки на этом поприще, в Нью-Йорк приехала Мюриэл Кейн и не замедлила явиться в гости к Пэтчам. Как и Глория, она ничуть не изменилась внешне, знала все модные словечки, танцевала новые танцы и рассуждала о самых популярных песенках и пьесах с тем же жаром, что и в первый сезон в Нью-Йорке, прибыв туда без определенной цели. Напускная застенчивость демонстрировалась всякий раз на новый лад и, увы, по-прежнему безрезультатно. Одежда отличалась экстравагантностью, а черные волосы теперь были коротко подстрижены, как у Глории.

— Я приехала на зимний студенческий бал в Нью-Хейвене, — объявила Мюриэл, открывая восхитительную тайну. Она была старше всех юношей, учившихся в колледже, но, несмотря на это, каким-то образом умудрялась получать приглашения, лелея в душе надежду, что во время очередного бала завяжется флирт, который приведет ее к романтическому алтарю любви.

— Где же ты была? — поинтересовался Энтони,

явно забавляясь беседой.

— В Хот-Спрингс. Этой осенью там было просто здорово… столько мужчин!

— Ты влюблена, Мюриэл?

— А что ты подразумеваешь под словом «любовь»? — Это был риторический вопрос года. — Хочу вам кое-что сказать, — резко переменила тему Мюриэл. — Понимаю, дело не мое, но считаю своим долгом предупредить: вам обоим пора остепениться.

— Но мы уже давно остепенились.

— Как же! — лукаво усмехнулась она. — Куда ни пойдешь, только и разговоров, что о шальных выходках супругов Пэтчей. А знаете, как приходилось несладко, когда я была вынуждена вас защищать?..

— Не стоило беспокоиться, — холодно откликнулась Глория.

— Послушай, Глория, — принялась увещевать Мюриэл. — Ты же знаешь, я одна из твоих самых близких подруг.

Глория хранила молчание, и Мюриэл продолжила:

— Дело вовсе не в том, что женщина пьет, но ведь Глория такая красавица, многие знают ее в лицо, ее поведение бросается в глаза, давая пищу

разным пересудам…

— Так, и какие последние сплетни? — требовательно спросила Глория, под натиском любопытства отодвинув на задний план чувство собственного достоинства.

— Ну, например, что та пирушка в Мариэтте убила деда Энтони.

Супруги мгновенно напряглись, охваченные досадой.

— Но это же возмутительно.

— Однако именно так и говорят, — настаивала Мюриэл.

Энтони беспокойно заходил по комнате.

— Полная нелепость! — негодовал он. — Те же люди, что приходят к нам на вечеринки, рассказывают эту историю как анекдот, и в результате она возвращается к нам в таком непристойном виде.

Глория теребила пальцами выбившийся из прически рыжеватый локон. Мюриэл облизнула губы, задев кончиком языка вуаль, готовясь высказать следующее замечание:

— Вам следует завести ребенка.

Глория с измученным видом воздела глаза к потолку.

— Мы не можем себе этого позволить.

— Все жители трущоб имеют детей, — торжествующе провозгласила Мюриэл.

Энтони и Глория обменялись улыбками. Они дошли до той стадии яростных ссор, после которых никогда не наступает окончательное примирение. Конфликты тлеют слабым огоньком и время от времени вспыхивают снова или угасают от полного безразличия. Однако визит Мюриэл на время объединил супругов. Замечания об их беспорядочной жизни, поступающие от третьих лиц, служили толчком к сплочению перед враждебным миром. Правда, теперь этот порыв к воссоединению крайне редко возникал по причине духовной близости.

Энтони обнаружил, что проводит параллель между собственным существованием и жизнью ночного лифтера в их доме, бледного человека лет шестидесяти с неряшливой бородой, который создавал впечатление человека, знававшего лучшие времена. Возможно, именно благодаря этому качеству ему и удалось сохранить за собой место. Жалкая запоминающаяся фигура лифтера являла собой символ неудачника. Энтони без тени юмора вспомнил избитую шутку, где говорилось, что карьера лифтера — это череда взлетов и падений. Как бы там ни было, но это была жизнь в замкну-

том пространстве, наполненная беспросветным унынием. Всякий раз заходя в кабину лифта, Энтони, затаив дыхание, ждал, когда старик скажет неизменное: «Похоже, сегодня будет светить солнышко». И Энтони думал, как мало радости получает лифтер от дождика и солнечного света, запертый в клетке с видом на прокуренный вестибюль без окон.

Фигура, окутанная мраком. Уход лифтера из жизни, которая так несправедливо и подло с ним обошлась, стал трагедией. Однажды ночью в дом проникли трое вооруженных юнцов, связали его и бросили на груду угля в подвале, а сами отправились в комнату, где хранились вещи квартиросъемщиков. Когда на следующее утро лифтера нашел дворник, тот совсем окоченел от холода и через четыре дня умер от пневмонии.

Его место занял бойкий негр из Мартиники с нелепым британским акцентом и грубыми манерами. Энтони его сразу невзлюбил. Кончина старика лифтера подействовала на него примерно так же, как в свое время история с котенком на Глорию. Она напомнила о жестокости жизни вообще и, как следствие, о преумножающихся печалях и горестях его собственного существования.

Энтони занялся писательским делом — наконец всерьез. Он навестил Дика и битый час слушал наставления относительно тонкостей ремесла, к которому до сих пор относился с высокомерным презрением. Деньги нужно было добыть немедленно. Каждый месяц приходилось продавать облигации, чтобы оплатить счета. Дик высказался откровенно и без обиняков.

— Пока статьи по вопросам литературы печатаются в малоизвестных журналах, не заработаешь даже на оплату квартиры. Разумеется, если человек наделен юмористическим даром, обладает какими-то особыми познаниями и информацией или у него интересная биография, есть шанс разбогатеть. Но для тебя единственный выход — беллетристика. Говоришь, деньги нужны прямо сейчас?

— Позарез.

— Так вот, за роман получишь не раньше чем через полтора года. Попробуй писать пользующиеся спросом рассказы. Да, кстати, если они не поразят читателя блистательным мастерством, пусть будут по крайней мере веселыми и развлекательными, то есть сыграют роль тяжелой артиллерии, которая пробьет дорогу к деньгам.

Энтони вспомнил последние шедевры Дика,

появляющиеся в популярных еженедельниках. Как правило, они посвящались несуразным выходкам карикатурных персонажей с опилками вместо мозгов, которые, как уверяли публику, и представляют нью-йоркское общество. Обычно сюжет вертелся вокруг чисто технических вопросов, связанных с девственностью героини, а в качестве приправы предлагались колкие намеки социологического характера, наподобие «шутовских ужимок четырехсот бездельников».

— А как же твои рассказы?.. — не сдержавшись, упрекнул Энтони.

— О, это совсем другое дело, — отстаивал свою позицию Дик. — Видишь ли, я пользуюсь определенной репутацией, и люди ждут, что я затрону глобальные вопросы.

Энтони внутренне содрогнулся, поняв из слов приятеля, как низко пал Ричард Кэрамел. Неужели Дик искренне верит, что вышедшие из-под его пера поражающие нелепостью недавние творения так же хороши, как и первый роман?

По возвращении домой Энтони засел за работу. И вскоре обнаружил, что сохранять оптимизм — дело непростое. После полудюжины неудачных попыток он отправился в публичную библиотеку и в течение недели штудировал подшивки

популярных журналов. Основательно подковавшись, Энтони наконец завершил первый рассказ «Судьбоносный диктофон». В основу легло одно из немногих впечатлений, сохранившихся от прошлогоднего шестинедельного пребывания на Уолл-стрит. Веселая сказочная история о молодом служащем, который случайно напел на диктофон изумительную мелодию. Кассета попала в руки брата босса, известного постановщика музыкальных комедий, но тут же была потеряна. Основная часть рассказа посвящалась поискам утраченной кассеты, которые завершились женитьбой благородного юноши (успевшего стать процветающим композитором) на мисс Руни, добропорядочной стенографистке, сочетающей в себе в равных долях достоинства Жанны д'Арк и Флоренс Найтингейл.

Энтони казалось, что журналы и ждут чтива подобного рода. В качестве главных героев он предложил типичных представителей окрашенного в розово-голубые тона литературного мира, окунув их в слащавый сюжет, который не вызвал бы несварения ни у одного желудка в Мариэтте. Рукопись напечатали через два интервала, как рекомендовала брошюра «Легкий путь к писательскому успеху» Р. Меггса Уиддлстейна. Автор

убеждал честолюбивого водопроводчика в нецелесообразности трудиться до седьмого пота, если, освоив курс из шести уроков, можно заработать по меньшей мере тысячу долларов в месяц.

Энтони прочел рассказ скучающей Глории и, добившись от нее старого как мир заверения «это лучше большинства ерунды, что сейчас печатают», смеха ради подписался псевдонимом «Жиль де Сад». Приложив конверт для ответа, он отправил пакет со своим творением в редакцию одного из журналов.

После титанических усилий, затраченных при написании первого произведения, Энтони решил не начинать новый рассказ, пока не получит известий о судьбе первого. Дик предполагал, что можно заработать долларов двести. Если по какой-либо причине рассказ не примут, редактор, без сомнения, сообщит в письме, какие нужно внести изменения и поправки.

— Самый отвратительный образец литературного творчества из всех, что существуют на свете, — охарактеризовал Энтони свой труд.

Редактор, по-видимому, полностью разделял его мнение и вернул рукопись с письменным отказом от публикации. Тогда Энтони разослал ее в разные журналы и принялся за второй рассказ

под названием «Открытая дверца», который написал за три дня. Главной темой стал оккультизм. Отдаляющаяся друг от друга супружеская пара воссоединяется благодаря стараниям медиума, встреченного на эстрадном представлении.

Всего их насчитывалось шесть. Шесть убогих, вызывающих жалость попыток «написать хоть что-нибудь», предпринятых человеком, который никогда прежде вообще не занимался всерьез писательским трудом. В рассказах не было ни искры жизненной правды, а красоты стиля и таланта — не больше, чем в обычной газетной колонке. За время странствий по разным журналам они получили тридцать одно уведомление с отказом, которые ложились надгробными плитами на уподобившиеся трупам пакеты, сваленные у двери.

В середине января умер отец Глории, и снова пришлось поехать в Канзас-Сити — безрадостное путешествие, так как Глория была поглощена своими мыслями, но не о кончине отца, а о матери. После выяснения финансовых дел Рассела Гилберта супруги стали обладателями примерно трех тысяч долларов и большого количества мебели, которая хранилась на складе, так как покойный провел последние дни жизни в небольшом отеле.

В результате его смерти Энтони сделал еще одно открытие, касающееся Глории. На обратном пути она, к удивлению мужа, проявила себя сторонницей билфизма.

— Как же так, Глория! — недоумевал Энтони. — Неужели ты серьезно хочешь сказать, что веришь в эту чушь?!

— А что такого? — с вызовом воскликнула Глория.

— Потому что все это выдумки. Ведь ты агностик чистой воды. Всегда смеялась над ортодоксальными течениями в христианстве. И вдруг заявляешь, что веришь в такую глупость, как перевоплощение.

— А если и верю? Я слушала, как ты, Мори и другие люди, к эрудиции которых испытываю хоть долю уважения, утверждают, что жизнь, какой мы ее видим, совершенно лишена смысла. Но мне всегда казалось, что если я неосознанно постигну что-нибудь еще здесь, в этом мире, она может стать не такой уж бессмысленной.

— Ничего ты не постигаешь, а только утомляешься. И если уж непременно нужно обрести веру, смягчающую ужасы бытия, выбери такую, что взывает к разуму, а не будоражит воображение истеричных дамочек. Человек твоего склада

ничего не принимает на веру без соответствующих наглядных доказательств.

— Да плевать мне на правду, просто хочется счастья.

— Ну, если ты обладаешь достаточным здравомыслием, то должна понять, что второе является следствием первого. И только простаки позволяют ввести себя в заблуждение подобным умственным мусором.

— Мне все равно, — упорствовала Глория. — А кроме того, я никому не навязываю никаких доктрин.

На этом разговор себя исчерпал, но впоследствии Энтони не раз к нему возвращался. Склонность к древним верованиям вызывала тревогу. Разумеется, Глория усвоила их от матери, и теперь они проявились в извечном обличье образа мыслей, полученного при рождении.

В марте, после стоившей больших расходов бессмысленной недели в Хот-Спрингс, они вернулись в Нью-Йорк, и Энтони возобновил бесплодные попытки преуспеть на литературном поприще. Когда обоим супругам стало ясно, что беллетристика не принесет избавления от бед, их вера друг в друга стала стремительно таять, а вместе с ней покидало и мужество. Между Энтони

и Глорией непрестанно шла запутанная, трудная для понимания борьба. Все попытки сократить расходы глушила полная бездеятельность, и к марту они снова цеплялись за любой предлог, чтобы устроить очередную вечеринку. С заносчивым безрассудством Глория предлагала взять все деньги и прокутить одним махом. Все лучше, чем наблюдать, как они тают по каплям.

— Глория, тебе развлечения нужны не меньше, чем мне.

— Дело не во мне. Я живу в соответствии со своими принципами. Пока молода, нужно пользоваться каждой минутой и веселиться на всю катушку.

— А что потом?

— А потом — хоть трава не расти.

— Да нет же, придется задуматься.

— Возможно, но тогда уже ничего не изменишь. Вот и буду себя утешать, что славно провела время.

— Да все останется по-прежнему. В конце концов, мы действительно повеселились на славу и от души покуролесили, а вот теперь настал час расплаты.

Тем не менее деньги продолжали таять. Два дня неуемного веселья сменялись безысходной

двухдневной тоской, и этот цикл повторялся без конца с завидным постоянством. Внезапные моменты просветления, когда таковые имели место, вызывали у Энтони всплеск трудолюбия, а Глория, раздражительная и скучающая, лежала целый день в постели и с отрешенным видом жевала пальцы. Вскоре назначалась встреча с кем-нибудь из приятелей, а потом… Да разве не все равно? Эта ночь с ее блеском, отключение от тревог и ощущение, что если жизнь и лишена содержания, то в любом случае в высшей степени романтична! Вино придавало геройский вид их несостоятельности.

Тем временем судебный процесс неторопливо продвигался вперед, с бесконечными допросами свидетелей и выстраиванием доказательств. Предварительное судебное рассмотрение дела о разделе наследства было закончено, и мистер Хейт не видел причин, которые могут помешать слушанию до наступления лета.

В конце марта в Нью-Йорк приехал Блокмэн. Почти год он провел в Англии, занимаясь делами «Филмз пар экселенс». Процесс его рафинирования шел полным ходом. При каждой встрече он одевался чуть лучше, интонации речи становились все приятнее, а в манерах появилась

уверенность, что все прекрасное на свете принадлежит ему по естественному и неотъемлемому праву. Блокмэн навестил супругов, пробыв у них всего час, в течение которого говорил главным образом о войне, и ушел, пообещав заглянуть снова. Во время второго визита Энтони не оказалось дома, но когда он вернулся после полудня домой, его встретила поглощенная своими мыслями, взволнованная Глория.

— Энтони, — начала она, — ты все еще возражаешь, если я стану сниматься в кино?

Энтони всем сердцем противился затее жены. При малейшей угрозе потерять Глорию ее присутствие, пусть и не представляющее теперь особой ценности, тут же превращалось в насущную необходимость.

— Ах, Глория!

— Блокхед обещал оказать содействие. Только начинать надо прямо сейчас, если я вообще собираюсь чем-то заняться. В кино спрос только на молодых женщин. Подумай о деньгах, Энтони!

— Для тебя это выход. А как быть со мной?

— Неужели еще не понял, что все мое принадлежит и тебе?

— Ужасная профессия! — возмутился добродетельный Энтони, проявляя завидную осмотри-

тельность. — А какое там кошмарное сборище! И вообще мне надоело, что этот тип Блокмэн является сюда и везде сует свой нос. Ненавижу все эти театральные фокусы.

— При чем здесь театр? Ничего общего!

— А мне что прикажешь делать? Носиться за женой по всей стране? Жить за твой счет?

— Тогда зарабатывай сам.

Беседа вылилась в одну из самых ожесточенных ссор в их жизни. После последующего за ней примирения и неминуемого периода духовной апатии Глория поняла, что муж вытряхнул душу из ее плана сниматься в кино, попросту лишил его жизни. Ни один из супругов и словом не обмолвился, что Блокмэн определенно руководствовался корыстными целями, хотя оба понимали, что именно это и стало главной причиной возражений со стороны Энтони.

В апреле объявили войну Германии. Вильсон и его кабинет, который своим отсутствием индивидуальности до странности напоминал двенадцать апостолов, спустили с цепи изголодавшихся псов войны. Пресса захлебывалась от истеричных воплей по поводу зловещей морали, зловещей философии и не менее зловещей музыки, созданной тевтонским характером. Кто

мнил себя людьми широкого образа мыслей, делали изящную оговорку: мол, всему виной германское правительство. Остальные постепенно скатывались до непристойного состояния, вызывающего тошноту. Любой песенке, где звучало слово «мать» или «кайзер», был обеспечен огромный успех. Наконец появилась общая тема для разговоров, и почти всем она доставляла удовольствие, будто предложили роли в пьесе, полной мрачного романтизма.

Энтони, Мори и Дик послали прошения о зачислении в Корпус подготовки офицеров, и двое последних расхаживали повсюду в неимоверно приподнятом настроении, чувствуя себя рыцарями без страха и упрека. Они болтали друг с другом, как студенты колледжа, утверждали, что только война оправдывает существование аристократии, создавая в воображении некую немыслимую офицерскую касту, состоящую главным образом из лучших выпускников трех или четырех университетов на восточном побережье. И Глории казалось, что в свете предчувствия грядущих бед, лавиной растекающегося по всей стране, даже Энтони приобрел некий новый романтический шарм.

Солдат Десятого пехотного полка, прибывшего

в Нью-Йорк из Панамы, охваченные патриотическими настроениями граждане водили из одного питейного заведения в другое, вызывая у военных огромное недоумение и замешательство. Впервые за долгие годы на улицах стали замечать курсантов и выпускников военного училища в Уэст-Пойнте, и складывалось общее мнение, что все идет замечательно, но и вполовину не так блестяще, как будет совсем скоро. Люди вокруг казались славными ребятами, а каждый народ — великим, — разумеется, за исключением германцев. Изгоям и козлам отпущения всех сословий достаточно было облачиться в мундир, и им прощались все грехи. Их встречали радостными приветствиями и оплакивали родственники, бывшие друзья и совсем незнакомые люди.

К несчастью, некий щуплый въедливый врач решил, что у Энтони имеются проблемы с кровяным давлением. Будучи человеком добросовестным и ответственным, он не имел права послать его в Корпус подготовки офицеров.

Сломанная лютня

Третью годовщину свадьбы не праздновали, она вообще прошла незамеченной. Наступили

оттепели, постепенно растапливаясь в лето, которое, постепенно закипая, становилось все жарче и наконец вырвалось на свободу. В июле завещание представили для утверждения. После опротестования судья по делам о наследстве отправил его на доследование перед передачей в суд. Слушание отложили до сентября по моральным соображениям, в связи с возникновением трудностей при составлении списка беспристрастных присяжных. К огромному разочарованию Энтони, приговор в конце концов был вынесен в пользу завещателя, после чего мистер Хейт возбудил апелляционный иск против Эдварда Шаттлуорта.

Лето увядало, а Энтони с Глорией предавались мечтам. Строили планы на будущее, когда получат деньги, решали, куда поедут после войны. Между супругами «снова установилось согласие». Оба жили в предвкушении лучших времен и надежде, что их любовь, подобно птице феникс, возродится из пепла и обретет новую жизнь в своем окутанном непостижимой тайной пристанище.

Ранней осенью Энтони призвали на службу, и осматривавший его врач ни словом не упомянул о низком давлении. Однажды ночью Энтони

сообщил Глории о своем желании погибнуть на войне. Признание было бесцельным и грустным. Как всегда, супруги жалели друг друга, но опять не по делу и в неподходящее время…

Они решили, что пока Глория не поедет на юг в учебный лагерь, куда направили часть Энтони. Она останется в Нью-Йорке, чтобы «квартира не простаивала зря», будет экономить деньги и следить за продвижением дела, которое увязло в отделе апелляций. По словам мистера Хейта, все сроки давно истекли.

Их последний разговор едва не превратился в бессмысленный спор о рациональном распределении доходов. Каждый был без колебаний готов отказаться от своей доли в пользу другого. В суете и неразберихе, что наполнили жизнь супругов, Энтони прибыл октябрьским вечером на Центральный вокзал для отправки в учебный лагерь. И появление Глории в последнюю минуту выглядело вполне естественным. Она лишь успела встретиться с мужем взглядом поверх множества голов, слившихся в толпу. В тусклом свете огней на станционных перекрытиях их глаза устремились навстречу друг другу над охваченной истерикой толпой, с ее отвратительными рыданиями и запахом нищих женщин. Должно

быть, Энтони и Глория вспомнили о боли, что причинили друг другу, и каждый винил себя в сотворении мрачного безысходного лабиринта, по которому приходится блуждать в темноте. И вот уже расстояние, их разделявшее, оказалось так велико, что не стало видно застывших в глазах слез.

Книга третья
Глава первая
Вопрос цивилизации

Повинуясь безумной команде, исходящей из невидимого источника, Энтони пробрался в вагон. Не давала покоя мысль, что впервые за три года он расстается с Глорией дольше чем на одну ночь. Необратимость этого события отзывалась в душе тоской. Ведь сейчас он покидает свою чистую прелестную девочку.

По мнению Энтони, они пришли к наиболее разумному решению финансового вопроса: Глории полагалось триста семьдесят пять долларов в месяц, не слишком много, если учесть, что более половины этой суммы уходит на оплату квартиры. Себе он оставил пятьдесят долларов в дополнение к жалованью, так как считал, что больше солдату и не потребуется. Едой, одеждой и жильем его обеспечат, а общественных обязательств у рядового нет.

В вагоне собралось полно народу, и от горячего дыхания воздух успел стать спертым. Это был один из вагонов, известный как «туристический».

Дешевая подделка под пульмановский, с голыми полами и ненадежными плетеными сиденьями, которые давно нуждались в чистке. Тем не менее Энтони обрадовался и вздохнул с облегчением. Он подозревал, что отправится в путешествие на юг в товарном вагоне, в одном конце которого стоят восемь лошадей, а в другом — сорок человек. Энтони так часто слышал рассказы о вагонах с надписью «40 человек, 8 лошадей», что они перепутались в голове и приобрели некий зловещий оттенок.

Пробираясь по проходу с вещевым мешком на плече, болтающимся, как чудовищная синяя колбаса, он не обнаружил ни одного свободного места. Но тут взгляд упал на единственный просвет, оккупированный в данный момент ногами смуглолицего коротышки-сицилийца. Сам парень нахлобучил на глаза шляпу и, приняв воинственный вид, пристроился в уголке. Когда Энтони остановился рядом, сицилиец бросил на него сердитый взгляд, явно намереваясь запугать. Должно быть, он таким образом защищался от всеобщей, принявшей гигантские размеры уравниловки. В ответ на отрывистое: «Здесь занято?» — сицилиец очень медленно поднял ноги, будто они сделаны из бьющегося материала, и

осторожно переместил на пол, не спуская глаз с Энтони. А тот тем временем уселся и расстегнул воротничок мундира, выданного в Кэмп-Аптоне днем раньше. Френч натирал под мышками.

Не успел Энтони рассмотреть ближайших соседей, как в головном конце вагона появился молоденький младший лейтенант и с беспечным видом понесся по проходу, выкрикивая противным въедливым голосом:

— В вагоне не курить! Не курить! Ребята, в вагоне не курить!

— Вот те на!

— Ну, ей-богу!

— Как это не курить?

— Эй, парень, вернись, давай поговорим!

— Что за фокусы?

Две-три сигареты вылетели за окно, остальные остались у владельцев, только их предусмотрительно убрали с глаз долой. Время от времени слышались реплики, полные бравады, насмешки и юмора, в котором чувствовалась покорность судьбе, но вскоре они растаяли в установившейся в вагоне безразличной тишине.

Вдруг заговорил один из четверых обитателей купе, где находился Энтони.

— Прощай, свобода! — угрюмо изрек он. —

Прощай, вольная жизнь! Будем собачонками на побегушках у офицерья.

Энтони посмотрел на соседа. Это был высокий ирландец с безразлично-презрительным выражением лица. Его взгляд задержался на Энтони, будто в ожидании ответа, и скользнул дальше. Встретившись глазами с дерзким итальянцем, он испустил глухой стон и, смачно плюнув на пол, снова погрузился в гордое молчание.

Спустя несколько минут дверь опять распахнулась, и легкое дуновение зефира, по-видимому, сопутствующее младшему лейтенанту на службе, снова занесло его в вагон. На сей раз звучали иные речи:

— Все в порядке, ребята! Курите сколько хотите! Виноват, ребята! Все в порядке — курите. Виноват!

Теперь Энтони хорошенько его рассмотрел. Совсем молодой, худенький, но уже с признаками увядания, он походил на собственные усы. Эдакая огромная, блестящая на солнце охапка соломы. Подбородок чуть скошен, но дефект компенсируется полным величия и весьма неубедительным суровым взглядом, который Энтони предстояло наблюдать на лицах многих молодых офицеров в течение всего следующего года.

Тут же все принялись курить, даже если поначалу не собирались этого делать. Сигарета Энтони внесла свою лепту в сизую завесу окислившегося воздуха, которая прокатывалась переливчатыми клубами взад-вперед по вагону в такт движению поезда. Разговоры, стихшие в промежутке между оставившими неизгладимое впечатление визитами молодого офицера, снова как бы нехотя оживали. Сидевшие через проход соседи стали проводить неуклюжие эксперименты с плетеными сиденьями, пытаясь обеспечить себе относительный комфорт. Без особого энтузиазма началась игра в карты и привлекла нескольких зрителей, усевшихся на поручни сидений. Через некоторое время в сознание Энтони проник неумолкающий, надоедливый звук — дерзкий коротышка-сицилиец уснул, и процесс этот проходил весьма шумно. Созерцание скопившейся вокруг живой протоплазмы, разумность которой можно признать лишь с большой натяжкой, вызывало тоску. Запертую в вагон по непостижимым законам цивилизованного мира, ее везли непонятно куда, для неясных свершений, без всякой цели и смысла, не думая о последствиях. Вздохнув, Энтони открыл газету, которую сам не помнил, когда купил, и приступил к чтению в

тусклом свете желтой лампочки.

Десять часов сердито врезались в одиннадцать, время сбилось в запутанный клубок и замедлило свой бег. Неожиданно поезд остановился посреди погруженной в темноту сельской местности, время от времени производя короткие обманные рывки и хрипло высвистывая некую хвалебную песнь в глухую октябрьскую ночь. Энтони прочел газету от корки до корки, включая передовицу, комиксы и посвященные войне стихи. Вдруг его взгляд упал на колонку, озаглавленную «Шекспирвилль, Канзас». Оказывается, торговая палата Шекспирвилля недавно затеяла энергичные дебаты, в ходе которых решалось, как лучше называть американских солдат: «Сэмми» или «Сражающиеся христиане»? От этого известия у Энтони пропал дар речи. Уронив газету, он зевнул и пустил свои мысли в свободный полет. Задумался, почему опоздала Глория. Казалось, произошло это так давно, и одиночество отозвалось в сердце острой болью. Энтони пытался представить, как жена рассматривает свое новое положение и какое место в ее мыслях отведено мужу. Эти размышления повергли еще в более глубокое уныние, и Энтони снова открыл газету и углубился в чтение.

Члены торговой палаты Шекспирвилля остановили свой выбор на «Солдатах свободы».

* * *

Две ночи и два дня тряслись они в поезде, движущемся на юг. Время от времени он делал загадочные, не поддающиеся объяснению остановки среди местности, явно представлявшей собой высохшие пустоши, а затем с напыщенным видом пролетал мимо крупных городов, притворяясь, что страшно торопится. Прихоти поезда стали для Энтони предзнаменованием грядущих причуд всего армейского начальства.

На бесплодных пустошах им приносили из багажного вагона бобы с беконом, которые Энтони поначалу не мог взять в рот, а потому приходилось довольствоваться скудным ужином в виде молочного шоколада, выданного в одной из деревенских лавок. Но уже на второй день угощение из багажного вагона стало казаться на удивление аппетитным. Утром третьего дня поползли слухи, что примерно через час поезд прибудет к месту назначения в лагерь Кэмп-Хукер.

В вагоне стояла нестерпимая жара, и все сняли френчи. В окна пробивалось солнце, усталое и древнее, желтое, как пергамент, во время дви-

жения поезда оно расплывалось, теряя форму. Солнце пыталось проникнуть в вагон ликующими квадратами окон, но получались лишь бесформенные аляповатые мазки. Зрелище вызывало отвращение своим однообразием, и Энтони не на шутку встревожился, что превратится в ось вращения для всех этих неуместных лесопилок, деревьев и телеграфных столбов, вертевшихся вокруг с безумной скоростью. А за окном солнце рассыпалось тяжеловесным тремоло над дорогами цвета оливок и коричнево-желтыми хлопковыми полями. Вдали виднелась неровная полоска леса, в которую местами вклинивались серые скалы. Вдоль железнодорожного полотна встречались редко разбросанные кое-как залатанные убогие лачуги. Между ними то тут, то там мелькала фигура одного из представителей апатичного и медлительного населения Южной Каролины или бесцельно шатающегося темнокожего с угрюмым растерянным взглядом.

Потом лес отступил, и поезд выкатил на широкую равнину, похожую на запеченную корочку гигантского пирога, посыпанную, словно сахаром, бесчисленными палатками, которые расположились в виде геометрических фигур. Поезд нерешительно остановился, солнце, теле-

графные столбы и деревья постепенно приобрели привычные очертания, и окружающий мир плавно вкатился обратно в повседневность, в центре которой оказался Энтони Пэтч. Усталые потные люди вывалили из вагона, ловя ноздрями незабываемый аромат, которым пропитаны все постоянно действующие военные лагеря, — запах гниющих отбросов.

Лагерь Кэмп-Хукер представлял собой удивительно живописную и впечатляющую картину, при виде которой возникало предположение, что перед вами горняцкий поселок, построенный в 1870 году, а от роду ему — две недели. Лагерь состоял из деревянных лачуг и грязно-белых палаток, что соединялись между собой дорогами, а также утоптанных учебных плацев, обсаженных по периметру деревьями. Тут и там виднелись зеленые домики «Союза христианской молодежи», малопривлекательные оазисы с удушливым запахом мокрого фланелевого белья и наглухо закрытых телефонных будок. Напротив каждого домика обычно располагалась войсковая лавка, где кипела жизнь под вялым руководством одного из офицеров. Благодаря мотоциклу с коляской он, как правило, ухитрялся превратить очередной наряд в приятное времяпровождение

с радующими душу беседами.

По пыльным дорогам сновали солдаты квартирмейстерской службы, тоже на мотоциклах с колясками. Разъезжали генералы в выделенных правительством автомобилях, делая время от времени остановки, чтобы скомандовать «смирно!» утратившему бдительность наряду, испепелить грозным взглядом капитанов, марширующих во главе своих рот, с подобающей помпезностью задать темп вычурной игре в показуху, которая восторженно велась по всей стране.

Первую неделю после прибытия к месту службы заполнили прививки, медосмотры и начальная строевая подготовка. В конце каждого дня Энтони чувствовал себя совершенно измотанным. Общительный беззаботный сержант-снабженец выдал ему ботинки не того размера, и в результате ноги так распухли, что последние часы перед отбоем превратились в настоящую пытку. Впервые в жизни, в промежутке между обедом и сигналом на вечернюю подготовку, он бросался в койку, с каждой секундой погружаясь все глубже в ее бездны, и немедленно засыпал. Шум и смех вокруг тускнели и блекли и уже воспринимались как дремотное летнее жужжание. Утром Энтони просыпался с болью во всем одеревенелом теле,

опустошенный, словно выходец с того света, и спешил на улицу, чтобы встретиться с такими же призрачными фигурами, которые копошились на дорожках между палатками. А сигнальная труба, захлебываясь, изрыгала в серые небеса визгливые хриплые звуки.

Энтони определили в не полностью укомплектованную пехотную роту численностью около ста человек. После неизменного завтрака, состоящего из жирного бекона, остывшего тоста и хлопьев, вся сотня устремлялась в отхожие места, которые, хотя и содержались в надлежащем порядке, напоминали туалеты в дешевых гостиницах, и пребывание там вызывало самые неприятные ощущения. Потом неровным строем шли на поле — прихрамывающий человек слева нелепыми движениями мешает вялым попыткам Энтони держать шаг. Взводный сержант, как правило, либо свирепствует, чтобы произвести впечатление на офицеров и запугать новобранцев, либо скрывается невдалеке от беговой дорожки, умудряясь не участвовать в тренировках и не привлекать к своей персоне лишний раз ненужного внимания начальства.

Добежав до спортивных площадок, снимали рубашки и немедленно приступали к зарядке.

За весь день это было единственное занятие, доставлявшее Энтони удовольствие. Лейтенант Кретчинг, под предводительством которого проходила эта буффонада, был человеком мускулистым и жилистым, и Энтони добросовестно копировал его движения с чувством, что делает нечто полезное для здоровья. Остальные офицеры и сержанты слонялись среди новобранцев с видом зловредных проказливых школьников. Собирались стайкой возле какого-нибудь бедолаги, не владеющего своим телом, и начинали давать сбивающие с толку рекомендации и команды. Обнаружив особо безнадежный, недокормленный экземпляр, они задерживались на полчаса, упражняясь между собой в язвительных замечаниях и насмешках.

Особую досаду вызывал низкорослый офицер по фамилии Хопкинс, который служил сержантом в регулярной армии. Войну он воспринимал как ниспосланный богами дар осуществить возмездие. Главной темой для разглагольствований становились «салаги», неспособные в полной мере оценить, сколь серьезной и ответственной является воинская служба. Он свято верил, что достиг высот нынешнего положения исключительно благодаря дальновидности, бесстрашию

и оперативности. Хопкинс добросовестно копировал все проявления деспотизма и жестокости офицеров, под началом которых ему когда-либо доводилось служить. Угрюмое выражение словно примерзло к лицу. Прежде чем дать рядовому увольнительную в город, Хопкинс с глубокомысленным видом взвешивал последствия его отсутствия для роты, всей армии и благополучного развития военного дела в мировом масштабе.

Белокурый, туповатый и флегматичный сержант Кретчинг занудливо знакомил Энтони с командами «смирно!», «направо!», «кругом!» и «вольно!». Главным недостатком сержанта была забывчивость. Стоя перед строем и объясняя очередную тонкость военного искусства, он мог пять минут держать роту по команде «смирно!». В результате лишь новобранцы, находившиеся в центре, понимали, о чем идет речь. У их товарищей, стоявших на обоих флангах, все силы тратились на смотрение в одну точку прямо перед собой.

Занятия продолжались до полудня и заключались в зазубривании весьма далеких от жизни деталей, и хотя Энтони понимал, что все сведения имеют отношение к военной логике, такое положение дел его сильно раздражало. Так же, как

абсурдная ситуация с не соответствующим норме кровяным давлением, совершенно неприемлемым для офицера и нисколько не мешающим рядовому солдату исполнять свои обязанности. Иногда после прослушивания затянувшейся обличительной речи, касающейся скучного и нелепого предмета, известного как «воинский этикет», в душу Энтони закрадывались крамольные подозрения. И скрытая цель войны виделась в том, чтобы дать возможность офицерам регулярной армии — людям с интеллектом и стремлениями под стать школьникам — проявить себя, поучаствовав в настоящей бойне. И вот по иронии судьбы Энтони пал жертвой Хопкинса, который терпеливо ждал этого момента двадцать лет!

Из троих соседей по палатке — парень с унылым лицом из Теннесси, отказывавшийся от воинской службы по убеждению совести, грузный трусоватый поляк и полный презрения к миру кельт, с которым Энтони сидел рядом в поезде, — двое последних вечерами писали бесконечные послания домой. А ирландец, сидя у входа в палатку, насвистывал с десяток однообразных пронзительных птичьих трелей. И вовсе не в поисках развлечений, а из стремления на

часок избавиться от их общества, Энтони в конце недели, когда сняли карантин, направился в город. Он сел в одно из маршрутных такси, что ходили по лагерю каждый вечер, и спустя полчаса сошел возле отеля «Стоунуолл» на сонной от зноя главной улице.

В сгущающихся сумерках город приобрел неожиданное очарование. По тротуарам расхаживали слишком ярко накрашенные девушки в кричащих одеждах. Они оживленно переговаривались грудными напевными голосами. Здесь же десятки таксистов атаковали проходящих мимо офицеров, выкрикивая вслед: «Лейтенант, отвезу куда прикажете!» Среди этого многолюдья, раболепно шаркая ногами, шли вереницей одетые в лохмотья негры. Энтони неторопливо брел в напитанном жарой полумраке, впервые за долгие годы ощущая томное, сладострастное дыхание Юга. Оно накатывало волнами полного жаркой неги воздуха, убаюкивая сознание и на время приглушая понятие времени.

Он успел пройти квартал, как вдруг откуда-то снизу, у самого локтя, раздался грубый окрик:

— Вас разве не научили отдавать честь офицерам?

Энтони в растерянности смотрел на обращаю-

щегося к нему человека, тучного черноволосого капитана, который сверлил его гневным взглядом выпученных карих глаз.

— Смир-рна! — Команда возымела действие оглушительного раската грома. Несколько прохожих остановились и с интересом наблюдали за сценой. Какая-то девушка с томным взглядом, одетая в сиреневое платье, захихикала на пару с подружкой.

Энтони вытянулся по стойке «смирно».

— Из какого полка и роты?

Энтони ответил.

— Запомните, встретив на улице офицера, вы обязаны подтянуться и приветствовать его, как полагается по уставу!

— Хорошо!

— Надо отвечать «Так точно, сэр!».

— Так точно, сэр!

Дородный офицер что-то буркнул и, резко развернувшись, пошел своей дорогой. С минуту постояв, Энтони тоже двинулся дальше, но город уже утратил экзотическую праздность, и из окутывающего его полумрака вдруг ушло волшебство. Внутренним взглядом он оценивал всю недостойность и унизительность своего положения. Энтони испытывал ненависть к по-

павшемуся на пути офицеру и ко всем офицерам вообще. Жизнь казалась невыносимой.

Пройдя полквартала, он заметил, что девушка в сиреневом платье, которая хихикала над его конфузом, идет вместе с подругой впереди, шагах в десяти. Несколько раз она оборачивалась, и ее большие глаза, которые казались того же цвета, что и платье, искрились веселыми смешинками.

На углу девушки замешкались, и перед Энтони встал выбор: составить им компанию или, не замечая, пройти мимо. Он обогнал подруг, задумался и в конце концов сбавил шаг. В следующее мгновение веселая парочка снова с ним поравнялась, буквально покатываясь со смеха. Но не назойливо-резкого, как у участниц этой хорошо знакомой комедии в Нью-Йорке, а приглушенно-нежного, заливистого, словно бьющее через край веселье, вызванное остроумной шуткой, предметом которой он, сам того не ведая, стал.

— Здравствуйте, — приветствовал Энтони девушек.

Ее глаза казались бархатистыми, как полумрак улицы. То ли действительно фиолетовые, то ли к их густой синеве примешиваются серые тени сумерек?

— Приятный вечер, — неуверенно продолжил

Энтони.

— Точно, — откликнулась вторая девушка.

— Ну, для вас-то он оказался не слишком приятным, — вздохнула подруга в сиреневом платье. Ее голос гармонировал с южной ночью, как и сонный ветерок, шевеливший широкие поля шляпы.

— Не мог упустить шанс порисоваться, — заметил Энтони с презрительным смешком.

— Определенно, — согласилась девушка.

Завернув за угол, они неспешно побрели по боковой улочке, словно привязанные к невидимому буксиру. В этом городе казалось вполне естественным вот так свернуть за угол и идти без цели неведомо куда, ни о чем не думая… Погруженная в темноту улочка походила на неожиданно появившийся отросток растения, уводивший в мир изгородей из шиповника и тихих домиков, притаившихся вдали от центра.

— Куда направляетесь? — вежливо поинтересовался Энтони.

— Просто гуляем. — Ответ можно было расценить по-разному: как оправдание, намек или обычное разъяснение.

— Позволите составить вам компанию?

— Да, пожалуйста.

Непривычная манера разговаривать давала свои преимущества. Энтони не мог определить по говору, к какому сословию принадлежит житель Юга. В Нью-Йорке девица из низших слоев общества поражала грубостью, и общение с ней не доставляло радости, разве что глядя сквозь розовые очки пьяного угара.

Темнота, сгущаясь, наползала на всю компанию. Разговаривали мало. Энтони задавал ни к чему не обязывающие вопросы, а подруги, как свойственно жителям провинции, не отличались многословностью. Они прошли один поворот, потом следующий. Посреди квартала остановились у фонарного столба.

— Я здесь живу, — пояснила вторая девушка.

— А я — через несколько кварталов, — откликнулась ее подруга в сиреневом платье.

— Разрешите проводить вас до дома?

— До угла, если желаете.

Вторая девушка отступила на несколько шагов назад. Энтони галантно приподнял фуражку.

— Вам полагается взять под козырек, — рассмеялась девушка в сиреневом платье. — Как всем солдатам.

— Непременно научусь, — с серьезным видом заверил Энтони.

— Ну ладно, — сказала вторая девушка и, немного помедлив, добавила: — Позвони мне завтра, Дот. — Она вышла из желтого круга света.

Энтони и Дот в полном молчании прошли три квартала и остановились у ветхого дома. Здесь она жила. Возле деревянной калитки Дот задержалась.

— Что ж, спасибо.

— А вам непременно надо домой так рано?

— В общем, да.

— А нельзя еще немного погулять?

Дороти смотрела на Энтони спокойным, ничего не выражающим взглядом.

— Мы с вами даже не знакомы.

— Еще не поздно, — рассмеялся Энтони.

— Пожалуй, мне пора.

— Мы могли бы прогуляться, а потом сходить в кино.

— Хорошо бы.

— И я проводил бы вас домой. Времени достаточно. В лагерь я должен вернуться к одиннадцати.

Стояла такая темень, что Энтони едва мог ее разглядеть: только колышущееся на ветру платье и светящиеся озорным блеском глаза.

— Почему вы не хотите… Дот? Неужели не любите кино? Пойдемте.

Дот покачала головой:

— Пожалуй, не стоит.

Энтони нравилась Дот, и он понимал, что та нарочно медлит с ответом, стараясь произвести впечатление. Он подошел ближе и взял ее за руку.

— А если мы вернемся к десяти, согласны? Просто сходим в кино?

— Ну, так и быть…

Рука об руку они отправились обратно к центру города вдоль подернутой дымкой плохо освещенной улицы. Мальчишка-негр, продающий газеты, предлагал экстренный выпуск в характерной для местных торговцев манере с мягкой модуляцией в голосе, который звучал музыкально, как песня.

Дот

Роман Энтони с Дороти Рейкрофт стал неизбежным следствием растущего небрежения к себе. Энтони приходил к ней не из желания обладать предметом своих вожделений и не из растерянности перед личностью более энергичной и напористой, как произошло четыре года назад при знакомстве с Глорией. Просто соскользнул в любовную связь из-за неспособности принимать

конкретные решения. Энтони не мог сказать «нет!» ни мужчине, ни женщине; он был одинаково покладист и уступчив и с человеком, просящим взаймы денег, и с соблазнительницей. Он вообще редко принимал решения, а когда подобное все же случалось, это были близкие к истеричности порывы в состоянии паники, нахлынувшей после пробуждения от неотступного кошмара.

Слабость, которой он потворствовал в данном случае, вызывалась стремлением к острым ощущениям, необходимостью получить некий стимул извне. Впервые за четыре года он снова почувствовал способность к самовыражению. Эта девушка сулила покой, и часы, проводимые каждый вечер в ее обществе, смягчали нездоровые и, как всегда, бесплодные скачки воображения. Энтони превратился в настоящего труса — стал рабом многочисленных беспорядочно блуждающих мыслей, которые вырвались на волю после краха искренней привязанности к Глории. Именно это чувство, словно тюремщик, караулило его несостоятельность, не позволяя сбежать из темницы.

В тот первый вечер, когда они стояли у калитки, Энтони поцеловал Дороти и назначил свидание

в следующую субботу. Потом вернулся в лагерь и при свете тайком зажженной лампы написал длинное письмо Глории, страстное, полное мрачной сентиментальности, воспоминаний о благоухающих цветах и искренней, переполняющей душу нежности. Все это Энтони познал снова на краткое мгновение, что длился взаимный поцелуй под роскошной южной луной всего час назад.

В субботу вечером Дот ждала у входа в кинотеатр «Бижу». Как и в минувшую среду, на ней было надето платье из тончайшей сиреневой ткани органди. Правда, его предварительно постирали и накрахмалили, и теперь оно выглядело свежим, без единой лишней складочки. При дневном свете первое впечатление Энтони подтвердилось: Дот обладала своеобразным очарованием с оттенком незавершенности, как эскиз к портрету. Чистенькая, с мелкими неправильными, но выразительными и гармонирующими между собой чертами лица, она напоминала темный маленький недолговечный цветок. И все же Энтони полагал, что открыл в Дот некую духовную замкнутость и силу, которую девушка черпала, пассивно принимая все, что происходит вокруг. Впрочем, здесь он ошибался.

Дороти Рейкрофт исполнилось девятнадцать лет. Ее отец держал маленький, приносящий скромный доход магазинчик. Дот окончила среднюю школу одной из четырех худших учениц в классе, за два дня до смерти отца. В школе ее репутация оказалась подмоченной. По сути дела, поведение на пикнике, который и дал пищу слухам, можно назвать обычной неосмотрительностью, так как Дот сохранила девственность в течение всего последующего года. Парень работал продавцом в одном из магазинов на Джексон-стрит и на следующий день после того случая неожиданно отбыл в Нью-Йорк. Он уже давно туда собирался, но медлил, намереваясь довести до конца любовное приключение.

Спустя некоторое время Дот рассказала о своем романе подруге и потом, наблюдая, как та удаляется по сонной, залитой солнцем пыльной улице, вдруг в момент озарения поняла, что ее тайна теперь является всеобщим достоянием. И все же, поделившись с подругой, она почувствовала себя гораздо лучше, хотя и испытывала некоторую горечь и максимально приблизилась к тому образу, что ей приписывала молва. Потом Дот сошлась со следующим мужчиной, уже не скрывая намерения снова доставить себе удовольствие.

Так и пошло. Девушка не была слабой, потому что внутренний голос об этом молчал, не была она и сильной, так как не знала, что для некоторых поступков, которые совершает, требуется храбрость. Дороти никому не бросала вызов, не приспосабливалась и не шла на компромисс.

Чувство юмора у Дот отсутствовало, но его заменяло счастливое чутье, благодаря которому в обществе мужчин она смеялась именно там, где требовалось. Определенных намерений девушка не имела, но порой втайне жалела, что неблаговидная репутация мешает обеспечить себе надежный тыл. Открыто эта тема не обсуждалась, и никаких разоблачений не делалось: мать следила лишь за тем, чтобы дочь каждое утро вовремя встала и отправилась в ювелирный магазин, где зарабатывала четырнадцать долларов в неделю. Однако некоторые парни, которых Дот знала по школе, прогуливаясь в обществе «приличных девушек», стали отворачиваться и делать вид, что с ней не знакомы. Подобные случаи ранили самолюбие, и по возвращении домой Дот плакала.

Помимо продавца с Джексон-стрит, в жизни Дот встретилось еще двое мужчин. Первый — морской офицер, который проезжал через городок в

самом начале войны. Прислонившись к колонне отеля «Стоунуолл», он присматривал девушку на ночь, и в это время мимо проходила Дот. Морской офицер провел в городе четыре дня. Дот, решив, что любит его, выплеснула все неистовство первой страсти, которая изначально предназначалась трусливо сбежавшему продавцу. Морская форма — а в то время она встречалась не так уж часто — возымела свое магическое действие. Офицер уехал, надавав сбивчивых обещаний, и, уже оказавшись в поезде, тихо радовался, что не назвал своего настоящего имени.

Последовавшая за этим депрессия толкнула Дот в объятия Сайруса Филдинга, сына местного продавца одежды и тканей, который однажды окликнул девушку из окна родстера, когда та шла по тротуару. Дот знала его по имени и, если бы занимала более высокую ступеньку в обществе, познакомилась бы с Сайрусом раньше. Теперь она опустилась чуть ниже, но, как бы там ни было, молодые люди встретились. Через месяц Сайрус уехал в учебные лагеря, немного испуганный их близостью и испытывая некоторое облегчение при мысли, что Дот не питала к нему глубоких чувств и что она вообще не из тех, кто забивает себе подобными вещами голову. Дот

придала этой связи романтический окрас и, теша самолюбие, убеждала себя, что обоих мужчин отняла война. Она говорила себе, что вполне могла бы выйти замуж за морского офицера. Тем не менее девушку беспокоило, что за восемь месяцев у нее сменилось трое мужчин. С чувством скорее похожим на страх, чем на удивление, она думала, что уподобится одной из «скверных девиц» с Джексон-стрит. Вместе с хихикающими подружками с жевательной резинкой во рту Дот смотрела на них с благоговейным ужасом всего три года назад.

Некоторое время Дот старалась вести себя более благоразумно. Она позволяла мужчинам «знакомиться» и целовать себя, а иногда допускала и другие вольности, но ее трио пока никем не пополнилось. По прошествии нескольких месяцев решимость или одолевавшие страхи существенно ослабли. Дот стала беспокойной, в полудреме наблюдая, как вместе с ускользающими летними месяцами мимо проходит жизнь. Солдаты, которые попадались на пути, либо были во всех отношениях ниже и примитивнее, либо, но уже не так очевидно для Дот, значительно превосходили по положению в обществе. В этом случае ее просто стремились использовать. Гру-

бые неотесанные янки, расхаживающие толпами по улицам… А потом она встретила Энтони.

В памятный первый вечер он воспринимался всего лишь как симпатичное печальное лицо, приятный голос, средство убить час-другой, но, придя на свидание в субботу, Дот присмотрелась внимательнее. И Энтони ей понравился. В его лице девушка, как в зеркале, неосознанно видела отражение собственных трагедий.

Снова ходили в кино и бродили по тенистым улицам, наполненным разнообразными запахами, на сей раз держась за руки. Разговаривали приглушенными голосами. Пройдя через калитку, они направились к маленькому крыльцу.

— Можно мне ненадолго остаться?

— Ш-ш! — прошептала Дот. — Надо вести себя тихо. Мама еще не спит, читает свои «Пикантные истории».

В подтверждение Энтони услышал тихий шелест переворачиваемой страницы. Сквозь щели жалюзи пробивались горизонтальные полоски света, которые падали параллельными линиями на юбку Дот. На улице стояла тишина, и только компания, расположившаяся на крыльце в доме напротив, время от времени заводила тихими голосами шутливую песенку:

А когда проснешься утром,
Всех хорошеньких лошадок
Ты получишь вдруг в подарок…

Потом, будто специально дожидаясь на соседней крыше их прихода, неожиданно проскользнула сквозь виноградные лозы луна, и лицо девушки стало цвета белой розы.

Память озарилась яркой вспышкой, и перед закрытыми глазами сформировалась картина, отчетливая, как стоп-кадр на кинопленке, — повесеннему теплая ночь с оттепелью, случившаяся среди зимы пять лет назад и уже полузабытая. Другое лицо, сияющее в свете фонаря, похожее на цветок и переменчивое, как звезды…

Ах, la belle dame sans merci, чуждая милосердия дама, живущая в его сердце, заявила о себе ускользающим великолепием темных глаз в «Ритц-Карлтоне», мимолетным взглядом из экипажа, проезжающего по Булонскому лесу! Но те ночи были лишь куплетом песни, всплывшим в памяти лучезарным сиянием. А здесь лишь слабое дуновение ветерка да иллюзии — вечный дар в предвкушении романтичной любви.

Колдовские чары развеялись, рассыпавшиеся осколки звезд снова стали светом фонаря, пение

на улице превратилось в монотонное жужжание, сквозь которое проступало хныкающее стрекотание цикад в траве. Сдерживая вдох, Энтони поцеловал ее пылающие губы, а руки Дот уже обвились вокруг плеч.

Воин во всеоружии

Иссушенные недели одну за другой уносило ветром, и дальность совершаемых Энтони вылазок увеличивалась по мере постижения особенностей лагерной жизни и окружающей обстановки. Впервые в жизни он близко общался с официантами, которым раньше давал чаевые, с водителями, что снимали перед ним фуражку, плотниками, водопроводчиками, парикмахерами и фермерами, которые удостаивались мимолетного внимания при раболепном исполнении своих служебных обязанностей. За два месяца, прожитых в лагере, он не разговаривал ни с одним человеком дольше десяти минут кряду.

В послужном списке в графе «род занятий» значилось «студент», хотя при заполнении первой анкеты Энтони опрометчиво написал «литератор». Однако на вопросы сослуживцев он обычно

отвечал, что работал в банке. Если бы он сказал правду и признался, что вообще ни дня не работал, его бы заподозрили в принадлежности к классу тунеядцев.

Сержант взвода Поп Доннелли имел неряшливый вид и относился к категории «старых служак», изнуренных пьянством. В прошлом он числился завсегдатаем гауптвахты, где провел долгие недели, но недавно благодаря нехватке инструкторов строевой подготовки вознесся до нынешних высот. Его лицо, изрытое оспинами, словно снарядами, вызывало ассоциации с аэрофотосъемкой «поля боя при пункте “N”». Раз в неделю сержант напивался виски в центре города, затем тихо возвращался в лагерь и падал на койку. Во время утренней побудки Доннелли присоединялся к роте, напоминая внешним обликом посмертную гипсовую маску.

Он пребывал в поразительном заблуждении, что ловко «дурачит» правительство. Восемнадцать лет сержант состоял на службе за мизерное жалованье, но совсем скоро он выйдет в отставку (здесь Доннелли обычно хитро подмигивал) и получит внушительный ежемесячный доход в размере пятидесяти пяти долларов. Такой исход расценивался как замечательная шутка, которую

славный воин сыграл с десятками людей, подвергавших его, сельского паренька из Джорджии, издевательствам и унижению с девятнадцатилетнего возраста.

В данный момент в роте имелось в наличии всего два лейтенанта: Хопкинс и всеобщий любимец Кретчинг. Последнего считали славным парнем и отличным командиром, пока год спустя он не исчез, прихватив тысячу сто долларов из общего котла. Как многих обожаемых народом предводителей, отыскать его оказалось делом весьма хлопотным.

И наконец, был еще капитан Даннинг, местный божок в недолговечном, но вполне самостоятельном и независимом микромире. Он числился офицером запаса и слыл человеком нервным, энергичным и восторженным. Это последнее качество часто обретало материальное воплощение в виде небольшого количества пены в уголках рта. Подобно многим руководителям, капитан видел своих подопечных только с лицевой стороны, и, на его оптимистичный взгляд, вверенная рота являлась отличной боевой единицей, именно такой, какая и требуется на этой замечательной войне. Несмотря на все заботы и погруженность в работу, он переживал лучший период в своей

жизни.

Батисте, коротышка-сицилиец из поезда, столкнулся с Даннингом на второй неделе муштры. Капитан неоднократно приказывал новобранцам являться на утреннее построение чисто выбритыми. И вот однажды выявилось вопиющее нарушение установленного для всех правила — несомненно, здесь не обошлось без происков тевтонов: за прошедшую ночь четверо новоиспеченных военнослужащих успели обрасти щетиной. То обстоятельство, что трое из них были знакомы лишь с азами английского языка, лишний раз подтверждало необходимость преподать наглядный урок. Итак, капитан Даннинг, не колеблясь, отправил парикмахера-добровольца обратно в роту за бритвой, после чего во имя сохранения демократии со щек троих итальянцев и одного поляка соскоблили всухую всю замеченную растительность.

За пределами мирка, в котором жила рота, время от времени появлялся полковник, тучный мужчина с неровными зубами. Верхом на красивой лошади вороной масти он разъезжал кругами по батальонному плацу. Полковник был выпускником Уэст-Пойнта и изо всех сил старался выглядеть истинным джентльменом. Безвкусно

одетая супруга как нельзя лучше соответствовала неказистому уму мужа, который большую часть времени проводил в городе, пользуясь всеми благами, что обеспечивал выросший в последнее время престиж армии. Наконец, существовал еще и генерал. Этот колесил по лагерным дорогам с личным штандартом, возвещающим о появлении важного начальства. Фигура столь суровая и недоступная в своем великолепии, что понять ее значение не представлялось возможным.

Декабрь. Холодный пронизывающий ветер по ночам и сырое промозглое утро на плацу. Жара давно спала, и Энтони обнаружил у себя возрастающую способность получать радость от жизни. Непривычно обновленный телом, он ни о чем не тревожился и в данный период существовал с чувством некой животной удовлетворенности. Не то чтобы Глория или та часть жизни, что она занимала, реже приходили на ум, просто с каждым днем ее образ становился менее реальным, утрачивая живые краски. В течение недели велась страстная переписка на грани истерики, потом, по молчаливой договоренности, стали писать дважды, а вскоре всего раз в неделю. Глория сетовала на скуку и, если бригада Энтони надолго задержится в лагере, собиралась приехать к

мужу. Мистер Хейт намеревался представить более убедительное письменное изложение дела с привлечением фактов и документов, чем он первоначально предполагал. Однако адвокат считал, что рассматриваемое в апелляционном порядке дело решится не раньше конца весны. В Нью-Йорк приехала Мюриэл и теперь работает в Красном Кресте. Они часто проводят время вместе. Как отнесется Энтони к ее желанию тоже поработать в Красном Кресте? Вот только говорят, что, возможно, придется обтирать спиртом негров. После этого сообщения патриотический порыв Глории несколько угас. В городе полно военных, и она уже встретила многих парней, с которыми не виделась сто лет…

Энтони не хотел, чтобы жена приезжала на Юг, убеждая себя, что на то есть множество причин. Им нужно отдохнуть друг от друга. В городе Глория умрет со скуки, ведь видеться супруги смогут лишь по нескольку часов в сутки. Но в глубине души он боялся, что главной причиной является влечение к Дороти. Фактически Энтони жил в постоянном страхе, что Глория, случайно или руководствуясь определенной целью, узнает о его связи. К концу второй недели запутанная ситуация стала причинять страдания по поводу

супружеской неверности. Тем не менее в конце каждого дня Энтони, не в силах сопротивляться соблазну, словно его влекла непреодолимая сила, выходил из палатки и шел к телефонной будке в доме, где обосновались молодые христиане.

— Дот!

— Да?

— Сегодня вечером, пожалуй, смогу приехать.

— Как я рада!

— Хочешь несколько часов выслушивать при свете звезд потоки моего изумительного красноречия?

— Ой, какой ты смешной…

В памяти вдруг всплыл эпизод пятилетней давности и образ Джеральдин. А потом…

— Приеду около восьми.

В семь он уже садился в маршрутное такси, едущее в город, где сотни девушек-южанок ждали своих возлюбленных на залитых лунным светом верандах. Энтони уже предвкушал теплые долгие поцелуи и удивленно-безмятежный взгляд, который ему дарили. В глазах Дот читалось чувство, близкое к обожанию, которого Энтони прежде ни в ком не вызывал. С Глорией они были равны, отдаваясь друг другу без благодарности или каких-либо обязательств. А для этой девушки

любая ласка становилась неоценимым благодеянием. Тихонько всхлипывая, Дот призналась, что Энтони у нее не первый и прежде в ее жизни присутствовал другой мужчина. Энтони решил, что это увлечение было коротким и давно забылось.

Действительно, во всем, что касалось ее самой, Дороти не лгала. Она забыла продавца, морского офицера и сына торговца одеждой. Из памяти стерлась яркость пережитых чувств, в чем, собственно, и заключается смысл истинного забвения. Девушка знала, что когда-то в подернутом туманной дымкой прошлом она кому-то принадлежала… но все это происходило будто бы во сне.

Почти каждый вечер Энтони отправлялся в город. Проводить время на веранде стало слишком холодно, и мать Дороти уступила крошечную гостиную, украшенную десятками литографий в дешевеньких рамках и метрами декоративной бахромы. Воздух в комнате был тяжелым от двадцатилетнего соседства с кухней. Они разводили огонь в камине, а потом Дот с неутомимой радостью предавалась любви. Каждый вечер в десять часов она провожала Энтони до двери — черные волосы растрепаны, бледное лицо без косметики выглядит еще белее при свете луны. Обычно

улица серебрилась ясным сиянием, время от времени начинался тихий теплый дождик, который, казалось, из-за лени так и не доберется до земли.

— Скажи, что любишь меня, — шептала девушка.

— Ну конечно, милая моя малышка.

— Разве я ребенок? — В голосе Дот слышалась задумчивость.

— Совсем дитя.

Она кое-что слышала о Глории, и мысли о другой женщине причиняли боль, вот Дороти и представляла соперницу высокомерной холодной гордячкой. Она решила, что Глория старше мужа и любви между супругами никогда не было. Иногда Дот давала волю фантазии и мечтала, что после войны Энтони получит развод и они поженятся. Однако никогда в разговоре не касалась этой темы, сама не понимая причины. Как и сослуживцы, Дот пребывала в уверенности, что Энтони работал банковским клерком, достойным уважения и бедным.

— Милый, будь у меня деньги, я бы отдала тебе все до цента… Хорошо бы иметь тысяч пятьдесят.

— Да, сумма приличная, — соглашался Энтони.

В своем послании в тот день Глория писала:

«Полагаю, если нас устроит миллион, лучше сообщить об этом мистеру Хейту и пусть улаживает дело исходя из этой суммы. Только страшно жаль упустить…»

— …и мы могли бы купить автомобиль! — задыхаясь от восторга, восклицала Дот.

Впечатляющее событие

Капитан Даннинг с гордостью считал себя знатоком людских душ. Через полчаса после встречи он обычно причислял любого человека к одной из не поддающихся пониманию категорий: замечательный человек, хороший малый, смышленый парень, теоретик, поэт и «никчемный». Однажды в начале февраля Энтони получил приказ явиться в палатку, где находилась ротная канцелярия, дабы предстать перед очами капитана.

— Пэтч, — начал он нравоучительным тоном, — я наблюдаю за вами уже несколько недель.

Энтони вытянулся в струнку, не смея шелохнуться.

— И я считаю, у вас имеются задатки хорошего солдата.

Он выдержал паузу, чтобы остыл вызванный его словами румянец, и продолжил речь, насупив

брови:

— Это не детские игрушки.

— Никак нет, сэр, — меланхолично согласился Энтони.

— Это мужская игра, и нам нужны лидеры. — Тут наступила стремительная, как кавалерийский наскок, кульминация: — Пэтч, я намерен произвести вас в капралы.

Ошарашивающая новость заставила Энтони слегка отшатнуться назад. Значит, ему суждено стать одним из двухсот пятидесяти тысяч, кому оказано столь безграничное доверие. Теперь можно выкрикивать знакомую фразу «За мной!» семи другим перепуганным сослуживцам.

— Кажется, вы получили образование, — заметил капитан Даннинг.

— Так точно, сэр!

— Вот это хорошо, очень хорошо. Образование — великая вещь, только не следует забивать им голову. Продолжайте в том же духе, и из вас получится отличный солдат.

С еще звучавшими в ушах напутственными словами капитана капрал Пэтч повернулся через правое плечо кругом и покинул палатку.

Разговор позабавил Энтони и в то же время натолкнул на мысль, что в звании сержанта жизнь

для него станет куда приятнее, а если попадется менее привередливый врач, то можно подумать и о чине офицерском. Сама служба, не имеющая ничего общего с хваленой армейской доблестью, его интересовала мало. Готовясь к проверке, мундир приводят в порядок не для того, чтобы выглядеть хорошо, а чтобы не ударить в грязь лицом.

Однако уже к исходу короткой бесснежной зимы, что запомнилась сырыми промозглыми ночами и прохладными дождливыми днями, Энтони сам удивился, как быстро втянулся в армейский уклад. Он — солдат, а все остальные — гражданские, и мир в первую очередь делится на эти две категории.

Энтони пришел к заключению, что представители четко выраженных каст, например, военные, делят всех людей на два вида: своих и чужих. Так, для священника существует духовенство и миряне. В глазах католика мир состоит из католиков и представителей остальных вероисповеданий. Для негра — из чернокожих и белых, а для заключенного — из оказавшихся в тюрьме и гуляющих на воле. С точки зрения больного человека, все люди либо страдают какой-нибудь хворью, либо здоровы. И вот, ни разу в жизни не задумываясь об этом факте, Энтони успел

побывать гражданским лицом, мирянином, некатоликом, не-иудеем, представителем белой расы, свободным и здоровым…

Американские войска хлынули потоком во французские и британские окопы, и Энтони стал находить в списках убитых, раненых и пропавших без вести, публикуемых в газете «Армия и флот», имена бывших выпускников Гарварда. Однако, несмотря на проливаемую кровь и пот, ситуация оставалась неизменной, и в обозримом будущем войне не было видно конца и края. В старинных хрониках правый фланг армии неизменно побеждал левый фланг противника, а левый фланг, в свою очередь, терпел поражение от правого фланга вражеской армии. После этого наемники обращались в бегство. Как же все бесхитростно и просто складывалось в те далекие времена, будто по заранее намеченному плану.

Глория писала, что много читает, и высказывала сожаления, что они так запутали свою жизнь. Заняться было нечем, и она проводила время, фантазируя, как их отношения могли сложиться по-другому. Окружающий мир представлялся зыбким и непрочным — а ведь всего несколько лет назад в ее маленьких ручках находились все нити…

В июне ее письма стали торопливыми и приходили реже. Глория вдруг перестала упоминать о намерении приехать на юг.

Поражение

С наступлением марта в окрестностях зацвели жасмин и нарциссы, а в теплой траве появились полянки, усеянные фиалками. Впоследствии Энтони вспоминал один день, полный волшебной юной прелести. Он стоял в стрелковой ячейке, отмечая мишени, и вдруг взялся декламировать «Аталанту в Каледоне» находившемуся поблизости недоумевающему поляку. Его голос смешивался со свистом пролетающих над головой пуль и их ударами о мишень.

Когда гончие псы весны…

Спэнг!

Припустились по следу зимы…

Фр-р-р!

Матерь всех месяцев…

Хей!

Приготовиться! Мишень три!

Городские улицы вновь погрузились в ленивую

дремоту, и Энтони вместе с Дот бродили по собственным следам, оставшимся с прошлой осени. Он стал вдруг испытывать усыпляющую привязанность к Югу, тому, что скорее напоминал Алжир, чем Италию. Югу, который с угасающим желанием направляет вас назад, над головами бесчисленных минувших поколений, к некому теплому первозданному пространству, где нет ни страданий, ни забот, ни чаяний. Здесь в каждом голосе слышится понимание и сердечность. Будто уговаривают: «Жизнь играет со всеми нами одну и ту же прелестную мучительную шутку». Пленительные в своей печали каденции, достигнув наивысшей точки, обрываются на недопетой ноте.

Энтони нравилась парикмахерская, которую он регулярно посещал.

— Привет, капрал! — встречал его бледный чахлый юноша и начинал брить. А потом бесконечно долго водил прохладной вибрирующей машинкой по голове, жаждущей продолжения ритуала. Энтони нравилось и в «Джонсонс гарденс». Они с Дот ходили туда танцевать, и негр с трагическим лицом выводил на саксофоне мелодии, до боли бередящие душу. И вдруг безвкусно разукрашенный зал превращался в зачарованные джунгли,

наполненные варварскими ритмами и смехом с привкусом дыма, а пределом всех мечтаний и чаяний становилось желание забыть о бессодержательном течении времени, вслушиваясь в тихое дыхание и шепот Дороти.

В характере Дороти просматривался налет грусти, осознанное стремление отстраниться от всего, кроме приятных мелочей, что дарит жизнь. Ее фиалковые глаза могли часами сохранять бездумное отрешенное выражение, и тогда Дот напоминала пригревшуюся на солнце кошку. Энтони терялся в догадках, что думает об их отношениях усталая, апатичная мать Дороти и представляет ли она даже в моменты самого циничного настроения их истинный характер.

В воскресные дни Энтони и Дороти гуляли по окрестностям, присаживаясь на сухой мох, росший по опушкам леса. Здесь собирались стайками птицы, цвели фиалки и белый кизил. Покрытые росой деревья сияли хрустальной прохладой, не ведая о поджидающем за пределами леса изнуряющем зное. И Энтони произносил сбивчивые речи, ленивые монологи, вел бессмысленный разговор, не нуждающийся в ответах собеседника.

* * *

Июль обрушился испепеляющей жарой. Капитан Даннинг получил приказ откомандировать одного из солдат для обучения кузнечному делу. Полк постоянно пополнялся до численности, предусмотренной в военное время, и все ветераны были нужны в качестве инструкторов по строевой подготовке. В результате выбор капитана пал на коротышку Батисте, которого капитан мог принести в жертву с наименьшим ущербом для дела. Итальянец никогда в жизни не имел дела с лошадьми, а его страх перед животными лишь усугубил положение. Однажды он пришел в ротную канцелярию и заявил Даннингу о своем желании умереть, если его не освободят от ненавистной обязанности. Батисте жаловался, что лошади его лягают, и называл себя никудышным работником. В конце концов сицилиец упал на колени и принялся умолять Даннинга на смеси ломаного английского и библейского итальянского избавить его от нестерпимой муки. Три ночи он не спал, а когда удавалось вздремнуть, тут же являлись чудовищные жеребцы, становящиеся на дыбы.

Капитан Даннинг одернул ротного писаря, ко-

торый не к месту расхохотался, слушая сетования Батисте, и пообещал итальянцу подумать, чем можно помочь. Однако, рассмотрев все возможные варианты, капитан пришел к выводу, что не может пожертвовать более ценным солдатом. А дела коротышки Батисте шли все хуже. Казалось, лошади догадываются о его страхе и не упускают случая воспользоваться к своей выгоде. Две недели спустя огромная вороная кобыла проломила итальянцу копытом череп, когда тот попытался вывести ее из стойла.

В середине июля поползли слухи, а потом вышел приказ о смене лагеря. Бригаду перебрасывали в пустые казармы в ста милях к югу, где ее предполагалось укомплектовать до дивизии. Сначала солдаты решили, что их отправляют в окопы, и весь вечер небольшие компании расхаживали по центральному проходу между палаток, хвастливо перекликаясь между собой: «Ну, ясное дело!» Когда правда просочилась наружу, ее с негодованием отвергли, как отговорку скрыть истинное место назначения. Солдаты упивались чувством собственной значимости и в тот вечер сообщили городским подружкам, что отправляются на фронт, «разделаться с германцами». Немного побродив по лагерю вместе

с несколькими группами сослуживцев, Энтони сел в маршрутное такси и поехал в город, чтобы сообщить Дороти о своем отъезде.

Она ждала на темной террасе, одетая в дешевенькое белое платье, подчеркивающее юность и нежные черты лица.

— Ох, милый, — прошептала Дот, — как долго я тебя ждала. Весь день.

— Мне надо тебе кое-что сказать.

Девушка усадила его рядом на качалку, не замечая угрюмого тона.

— Скажи.

— На следующей неделе мы уезжаем.

Руки, готовые обнять Энтони за плечи, застыли в воздухе, подбородок вздернулся, и когда Дот заговорила, в ее голосе уже не слышалось прежней мягкости:

— Уезжаете во Францию!

— Нет, нам повезло чуть меньше. Отбываем в какой-то чертов лагерь в штате Миссисипи.

Девушка закрыла глаза, и Энтони увидел, как дрожат ее веки.

— Милая малышка Дот, жизнь дьявольски тяжелая штука.

Дороти рыдала у него на плече.

— Так чертовски тяжела, так тяжела, — без-

думно повторял он. — Все бьет да колотит, пока боль от ударов не становится такой сильной, что хуже уже и не бывает. И вот это самое последнее и гадкое, что она с нами делает.

Обезумев от горя, Дороти прижала его к груди.

— Господи! — шептала она потерянно. — Ты не можешь от меня уехать. Я умру.

Энтони начинал понимать, что его отъезд не удастся представить как безликий удар судьбы. Он стал девушке слишком близок и теперь не находил ничего лучшего, как повторять:

— Бедная малышка Дот, бедная малышка.

— И что будет потом? — устало выдохнула она.

— Ты о чем?

— В тебе вся моя жизнь, понятно? Если скажешь, я умру здесь, на месте, возьму нож и убью себя. Ты не можешь меня бросить.

Тон, которым говорила Дороти, напугал Энтони.

— В жизни всякое случается, — промямлил он бесцветным голосом.

— Тогда я поеду с тобой. — По щекам Дороти катились слезы, губы горестно вздрагивали, в глазах застыл страх.

— Милая, — расчувствовавшись, бормотал Энтони, — милая девочка. Неужели ты не видишь,

что мы просто на время откладываем неизбежное? Через несколько месяцев нас отправят во Францию…

Девушка отстранилась от Энтони и, сжав кулачки, подняла лицо к небу.

— Мне хочется умереть, — четко произнесла она, и каждое слово, тщательно взвешенное, шло из самого сердца.

— Дот, — лепетал Энтони, испытывая неловкость, — все забудется. Утрата приобретает особую сладость. Уж я-то знаю, потому что однажды страстно желал и получил желаемое. То единственное, что мне было нужно, Дот. И вот когда я получил свое сокровище, оно обратилось в прах прямо у меня в руках.

— Понятно.

Окунувшись в свои мысли, Энтони продолжал:

— Я часто думаю, что если бы не получил тогда желаемого, вся жизнь могла бы пойти по-другому. Возможно, у меня появились бы идеи, которые я бы затем обнародовал, и получил бы радость от работы, потешил свое тщеславие успехом. Полагаю, в определенный момент я мог добиться чего угодно, в разумных пределах, но мне страстно хотелось лишь одного. Боже мой! И я извлек урок, что в жизни вообще ничего нельзя иметь.

Ничего! Потому что желание просто нас дурачит, играет злую шутку. Как солнечный луч, скользящий по комнате. Вот он задерживается на самом никчемном предмете и золотит своим светом, а мы, несчастные безумцы, стремимся схватить вожделенный дар… но когда это удается, солнечный лучик перебрасывается на что-нибудь другое, а в руках остается дешевая безделушка, только блеск, что так манил, уже пропал… — Энтони, смутившись, оборвал свою речь.

Девушка встала с качалки, слезы на глазах высохли, и теперь она обрывала листья с виноградной лозы.

— Дот…

— Уходи, — холодно откликнулась она.

— Что такое? Почему?

— Мне не нужны слова. Если для меня нет ничего другого, лучше уйди.

— Но почему, Дот…

— То, что для меня означает смерть, для тебя — поток пустых слов. Ты так красиво их связываешь между собой.

— Прости, но я говорил о тебе, Дот.

— Уходи отсюда.

Он подошел ближе, протянул руки, чтобы обнять, но девушка остановила его.

— Не хочешь взять меня с собой, — произнесла она ровным голосом. — Может, встретишься с той… той девушкой. — Она не могла себя заставить произнести слово «жена». — Откуда мне знать? Что ж, ты больше не мой парень, а раз так — уходи.

На краткое мгновение, пока Энтони прислушивался к предостерегающему голосу разума и боролся с чувствами, настало подходящее время сделать решительный шаг, руководствуясь здравым смыслом. Но он медлил. А потом накатила волна усталости. Слишком поздно… все слишком поздно. Долгие годы он жил в придуманном мире, основывая решения на чувствах, изменчивых, как вода. А эта девочка в белом платьице одержала победу и сейчас, на фоне строгой гармоничности своих желаний, выглядит едва ли не красавицей. Казалось, пламя, пылающее во мраке израненного сердца, окружает ее сияющим ореолом. Глубоко запрятанная, не подававшая признаков жизни гордость сделала Дот бесконечно далекой и помогла добиться поставленной цели.

— Дот, я не то хотел сказать… Не думай, что я такой бессердечный.

— Какая разница?..

Энтони обдало жаром, отозвавшись резкой болью внутри. Он стоял перед Дот, обессиленный и беспомощный.

— Поедем со мной, Дот… моя верная малышка Дот. Едем, разве я могу тебя оставить?..

Дот с рыданием бросилась Энтони на шею и повисла всей тяжестью, а в это время луна в своем неутомимом старании загримировать дурной цвет лица бренного мира щедро поливала запретным медом сонную улицу.

Катастрофа

Начало сентября в лагере Кэмп-Бун, штат Миссисипи. Кишащая насекомыми тьма ударяется о москитную сетку, под защитой которой Энтони делает очередную попытку написать письмо. Из соседней палатки доносятся обрывочные фразы игроков в покер, а снаружи кто-то бродит по дорожке, мурлыча под нос бессмысленную песенку о Кэти.

Сделав над собой усилие, Энтони оперся на локти и, не выпуская из рук карандаш, устремил взгляд на чистый лист бумаги. Затем без всякого вступления написал: «Не возьму в толк, что происходит, Глория. Две недели от тебя ни строчки,

и вполне естественно, что я беспокоюсь…»

Сердито хмыкнув, он отшвырнул листок и начал заново: «Не знаю, что и подумать, Глория. Твое последнее письмо, короткое, равнодушное, где нет ни слова о любви или хотя бы внятного рассказа, чем ты сейчас занимаешься, пришло две недели назад. И мое недоумение вполне естественно. Если в твоем сердце теплится хоть искра прежней любви, по крайней мере избавь меня от лишних волнений…».

Он снова скомкал листок и в сердцах выбросил в прореху на палатке, тут же сообразив, что утром придется его подобрать.

Желание писать окончательно пропало. Энтони не мог вложить в строки ни капли теплоты — только неотступно преследующую ревность и подозрения. С середины лета настрой писем Глории все более заметно менялся. Поначалу Энтони не обратил на это внимания. Он так привык к безликим обращениям «любимый» и «милый», обильно разбросанным по посланиям Глории, что не придавал значения их наличию или отсутствию. Но в последние две недели Энтони все больше утверждался в подозрении, что дело нечисто.

Он отправил жене телеграмму, в которой со-

общал, что сдал экзамены для учебы в Корпусе по подготовке офицеров и предполагает вскоре отправиться в Джорджию. Она не ответила. Энтони послал еще одну телеграмму и, не получив ни слова в ответ, стал себя убеждать, что Глории нет в городе. Однако неотвязная мысль, что она никуда не уезжала, не давала покоя, а вслед за ней стали преследовать безумные фантазии. Допустим, Глория, вечно скучающая и неудовлетворенная, нашла кого-нибудь, как, впрочем, поступил он сам. Мысль ужасала своей реальностью. Ведь, свято веря в непорочность и порядочность жены, он позволил себе такое пренебрежительное отношение в последний год. А теперь, когда в душу закрались сомнения, вновь ожили прежние приступы мучительной ярости, которые испытывает собственник, только стали они в тысячу раз сильнее. Действительно, чему удивляться, если Глория снова влюбилась?

Вспомнилось заявление Глории, что если она чего-то пожелает, то просто возьмет и останется при этом незапятнанной, так как действует исключительно ради собственного удовольствия. Ибо в расчет принимаются только поступки, оставляющие след в душе и сознании, а ее реакция будет чисто мужской: насыщение, которое

сменяется легкой неприязнью.

Но так было в начале супружеской жизни. Потом, обнаружив в себе способность ревновать Энтони, Глория, по крайней мере внешне, изменила мнение. Другие мужчины для нее не существовали, это Энтони знал наверняка. Поняв, что разборчивость всегда будет служить для нее сдерживающим фактором, Энтони расслабился и уже не прилагал усилий, чтобы сохранить всю полноту любви Глории, которая в конечном итоге и являлась краеугольным камнем их отношений.

Между тем Энтони все лето оплачивал расходы Дот и снял для нее меблированную комнату в центре города. Для этой цели приходилось постоянно обращаться к брокеру за деньгами. Дот скрывала свое намерение последовать за Энтони и за день до отправки его бригады оставила матери записку, в которой сообщала, что уезжает в Нью-Йорк. Вечером следующего дня Энтони навестил их, якобы желая повидаться с Дот. Миссис Рейкрофт пребывала в полном смятении, а в гостиной сидел полицейский. Последовал допрос, из которого Энтони удалось выпутаться с трудом.

В сентябре, с возникновением подозрений по поводу неверности Глории, компания Дот пона-

чалу стала утомлять, а потом сделалась и вовсе невыносимой. Энтони раздражался и нервничал из-за недосыпания, а сердце заходилось от страха и дурных предчувствий. Три дня назад он пошел к капитану Даннингу и попросил разрешения на отпуск, однако получил любезный отказ. Дивизию отправляли за океан, а Энтони — лишь в Корпус по подготовке офицеров, и все положенные отпуска должны достаться людям, покидающим страну.

Получив отказ, Энтони направился на телеграф с намерением попросить Глорию приехать на Юг. У самой двери его охватило отчаяние, и он отказался от этой затеи, понимая всю ее нелепость. Потом весь вечер ушел на ссору с Дот, и в лагерь он вернулся раздраженный, угрюмый и злой на весь белый свет. Произошла неприятная сцена, в разгар которой он стремительно ретировался. В данный момент Энтони не слишком задумывался, как поступить с Дот, так как все мысли занимало приводящее в уныние молчание жены…

Полог палатки неожиданно откинулся, образуя треугольник, и на фоне ночи появилась темноволосая голова.

— Сержант Пэтч? — спросил голос с итальян-

ским акцентом, и Энтони, взглянув на пряжку, понял, что это дежурный по штабу.

— Да, в чем дело?

— Десять минут назад в штаб звонила дама. Говорит, ей надо с вами поговорить. Очень срочно.

Энтони откинул москитную сетку и встал. Возможно, по телефону передали телеграмму от Глории.

— Просила вас позвать. В десять позвонит снова.

— Хорошо, благодарю. — Энтони взял фуражку и уже в следующую секунду шагал рядом с дежурным в жаркой удушливой темноте. В казарме, где размещался штаб, он козырнул сонному офицеру.

— Присаживайтесь и подождите, — небрежно предложил лейтенант. — Девушке прямо-таки невтерпеж с вами побеседовать.

Все надежды Энтони разом рухнули.

— Благодарю, сэр. — Когда на стене задребезжал телефон, он уже знал, кто звонит.

— Это Дот, — послышался дрожащий голос. — Мне надо с тобой увидеться.

— Дот, я же сказал, что несколько дней не смогу выбраться.

— Мы должны встретиться сегодня вечером.

Это очень важно.

— Уже слишком поздно, — холодно возразил он. — Десять часов, а мне нужно быть в лагере в одиннадцать.

— Ну ладно. — В эти два слова было вложено столько отчаяния, что Энтони почувствовал угрызения совести.

— Что случилось?

— Хочу с тобой попрощаться.

— Ну не будь же такой идиоткой! — воскликнул Энтони, но настроение у него поднялось. Вот удача, если она уедет из города сегодня же вечером! Какой тяжкий камень свалится с души. Но в трубку сказал: — Пожалуй, до завтра тебе все равно не уехать.

Краешком глаза он видел, как дежурный офицер бросает на него насмешливые взгляды. Потом словно гром среди ясного неба прозвучали слова Дот:

— Нет, я «исчезну» не так, как ты думаешь.

Пальцы намертво вцепились в телефонную трубку. Энтони чувствовал, как тепло вытекает из тела и нервы превращаются в ледышки.

— Что?!

В ответ прерывистый голос пролепетал:

— Прощай… ах, прощай!

Клик! Со сдавленным рыданием она бросила трубку. Энтони выбежал из штаба. На улице, в свете звезд, свисающих серебряными кисточками среди деревьев в рощице, он остановился, не зная, на что решиться. Неужели девчонка и правда покончит с собой? Вот дурочка! Сердце переполняла жгучая ненависть к Дот. Придя к такому финалу, он теперь и сам не понимал, как ввязался в эту запутанную историю, уродливое переплетение горестных тревог и боли.

Энтони опомнился и огляделся по сторонам. Он медленно брел, не разбирая дороги, в сотый раз повторяя про себя, что для беспокойства нет причин. Сейчас лучше всего вернуться в палатку и уснуть. Господи, как хочется спать! Дадут ли ему когда-нибудь снова выспаться? В голове шумело, и мысли путались. Дойдя до шоссе, он развернулся и побежал, но не в расположение роты, а в противоположную сторону. Сейчас солдаты возвращаются из города, и можно поймать такси. В следующее мгновение из-за поворота показались два желтых глаза. В отчаянии Энтони ринулся на их свет.

— Такси! Такси! — Машина оказалась пустым «фордом». — Мне надо в город.

— Обойдется в доллар.

— Идет. Только поскорее…

Время тянулось бесконечно долго. Наконец он взбежал на крыльцо погруженного в темноту ветхого домика. Ворвался внутрь и едва не сшиб с ног необъятных размеров негритянку, важно шествующую по коридору со свечой в руках.

— Где моя жена? — выкрикнул он задыхаясь.

— Легла спать.

Перепрыгивая через три ступеньки, он взлетел наверх, побежал по скрипучим половицам коридора. В темной комнате царила тишина. Дрожащими пальцами Энтони чиркнул спичкой — два широко раскрытых глаза смотрели на него из сбившегося в ком белья на кровати.

— Ах, я знала, что ты придешь, — отрывисто пробормотала Дот.

Внутри у Энтони все похолодело от злости.

— Значит, это очередная игра, чтобы вытащить меня сюда, и я влип в неприятную историю! — выкрикнул он в гневе.

Дот смотрела на него жалобным взглядом.

— Мне надо было тебя увидеть. Иначе я бы умерла. О, мне необходимо было с тобой встретиться…

Энтони присел на кровать и только тихо качал головой.

— Скверный поступок, — принялся он убеждать Дот, бессознательно копируя Глорию. — Ты же знаешь, я не заслуживаю подобного отношения.

— Придвинься ближе. — Что бы ни говорил Энтони, Дот была счастлива. Значит, она ему не безразлична. Девушка привлекла его к себе.

— О Господи! — беспомощно выдохнул Энтони. Неумолимой волной накатила усталость, и гнев угас, пропал, испарился. Внезапно силы иссякли, и он, всхлипывая, упал на кровать рядом с Дот.

— Не плачь, любимый, — умоляла она. — О, только не плачь!

Прижав голову Энтони к груди, Дот принялась его утешать, и слезы радости смешивались со слезами горечи. Пальцы Дот ласково перебирали его темные волосы.

— Я такая дурочка, — бормотала она прерывистым шепотом, — но я тебя люблю, а когда ты со мной холоден, то кажется, что жить дальше нет смысла.

В конце концов, здесь покой. Тихая комнатка с запахом пудры и духов, нежная рука Дот, словно теплый ветерок, гладит волосы, у уха слышится ее мерное дыхание. На мгновение Энтони показалось, что рядом Глория, будто он отдыхает в самом чудесном и защищенном от бед доме из

всех, что знал.

Прошло некоторое время. Из коридора донесся бой часов. Энтони вскочил на ноги и взглянул на фосфоресцирующие стрелки наручных часов, что показывали полночь.

Он с трудом нашел такси, водитель которого согласился ехать в столь поздний час за город. Поторапливая таксиста, Энтони обдумывал, как бы лучше проникнуть на территорию лагеря. В последнее время он уже несколько раз опаздывал и понимал, что если снова попадется, его фамилию вычеркнут из списка кандидатов в офицеры. Не лучше ли отпустить такси и попытаться проскользнуть в темноте мимо часового? Однако офицеры зачастую приезжают в лагерь после полуночи…

— Стоять! — донесся односложный окрик из ярко-желтого света фар, падающего на неровную дорогу. Таксист нажал на тормоз, и к машине подошел часовой с винтовкой через плечо. На беду, рядом с ним оказался начальник караула.

— Опаздываете, сержант.

— Так точно, сэр. Задержался.

— Плохо. Придется записать ваше имя.

Пока офицер ждал, держа в руках блокнот и карандаш, с губ Энтони сами собой сорвались слова,

порожденные паникой, смятением и отчаянием:

— Сержант Р.А. Фоли.

— Часть?

— Рота «Q», восемьдесят третий пехотный.

— Понятно. Дальше придется прогуляться пешком, сержант.

Энтони взял под козырек, быстро расплатился с таксистом и побежал туда, где квартировал названный им полк. Скрывшись из виду, он резко поменял направление и с бешено бьющимся сердцем поспешил к себе в роту, понимая, что совершил роковую ошибку.

Двумя днями позже офицер, командовавший в ту ночь караулом, узнал его в парикмахерской. В сопровождении военного патруля Энтони доставили в лагерь, где без суда разжаловали в рядовые и на месяц лишили права покидать расположение роты.

После полученного удара Энтони впал в полное уныние, и на неделе его снова задержали в городе, где он бродил пьяный с бутылкой контрабандного виски в кармане. Только ввиду явно невменяемого состояния и неадекватного поведения на суде трибунал приговорил его всего к трем неделям гауптвахты.

Кошмар

С первых дней отбывания наказания в душе Энтони укоренилась уверенность, что он сходит с ума. В сознании поселились толпы окутанных мраком и в то же время живых и отчетливых образов. Некоторых он узнавал, остальные были незнакомыми и вселяли ужас. Их сдерживал маленький надсмотрщик, который сидел где-то высоко и наблюдал за происходящим. Больше всего тревожило, что надсмотрщик болен и с трудом управляет своими подопечными. Стоит ему на мгновение отвлечься и ослабить бдительность, и жуткие создания вырвутся на волю. И только Энтони понимал, какая воцарится кромешная тьма, если все худшее, что в нем есть, будет бесконтрольно бродить по сознанию.

Палящий дневной зной непонятным образом переходил в отдающую матовым глянцем тьму, которая обрушивалась на опустошенную землю. Над головой в бесконечном хороводе вращались синие диски неведомых солнц, и скопления огня без конца и края кружили перед глазами. Энтони казалось, будто он лежит под обжигающими лучами в лихорадочном оцепенении, не в силах

пошевелиться. В семь утра нечто призрачное, до нелепости нереальное, что на самом деле являлось его бренным телом, вместе с семью другими арестантами и двумя конвойными выходило на дорожные работы. В первый день они грузили и выгружали гравий, посыпали им дорогу, разравнивали граблями. На следующий день работали с бочками, заполненными горячим гудроном, заливали гравий черными, сверкающими на солнце потоками расплавленного жара. Вечером, запертый в помещении гауптвахты, он лежал опустошенный, не имея мужества ухватиться хоть за какую-то мысль, и до трех часов разглядывал неровные балки на потолке, после чего погружался в прерывистый тревожный сон.

В рабочее время Энтони трудился не покладая рук, с торопливой нервозностью, и к часу, когда день начинал клониться к знойному закату, старался измотать себя до предела, чтобы окунуться в тяжелый сон. Однажды, во вторую неделю срока, Энтони обнаружил, что за ним наблюдают два глаза, укрывшихся в нескольких футах за спиной у конвойного. Это открытие повергло в ужас. Он повернулся к глазам спиной и принялся яростно орудовать лопатой, но потом понадобился гравий, и пришлось повернуться к ним лицом. Глаза

снова оказались в поле зрения, и тут уже взвинченные до предела нервы Энтони не выдержали. Глаза буравили со злобным вожделением. Из раскаленного безмолвия звучал трагический голос, окликающий по имени, земля странно подалась назад, потом наклонилась вперед под царящий вокруг гам и всеобщее столпотворение.

В себя он пришел уже в помещении гауптвахты, где остальные арестанты бросали в его сторону любопытные взгляды. Глаза больше не тревожили, и прошло много дней, прежде чем Энтони понял, что голос, должно быть, принадлежал Дот. Это она окликала по имени и стала причиной последовавшей за этим кутерьмы. К такому выводу Энтони пришел перед самым окончанием срока, когда давившая туча ушла прочь, оставив после себя беспросветную апатию. По мере того как его духовный посредник, надсмотрщик, сдерживающий злобную свору призраков, набирал силу, сам Энтони становился все слабее. Он с трудом выдержал два последних дня изнурительного труда, и когда дождливым днем вышел на свободу и вернулся в расположение роты, хватило сил лишь на то, чтобы рухнуть на койку и тут же погрузиться в тяжелую дрему. Проснувшись перед рассветом, он почувствовал усталость и боль

во всем теле. Рядом с койкой ждали два письма, которые все это время пролежали в штабной канцелярии. Первое письмо, короткое и холодное, было от Глории:

«Слушание дела назначено на конец ноября. Может, сумеешь получить отпуск? Я несколько раз пробовала тебе писать, но от этого только хуже. Мне нужно повидаться с тобой по нескольким вопросам, но сам знаешь, что однажды уже отговорил меня от поездки, а напрашиваться еще раз не хочется. Ввиду ряда обстоятельств, нам необходимо встретиться. Очень рада твоему назначению. Глория».

Энтони слишком устал и измучился, чтобы попытаться что-либо понять. Его поглотила нахлынувшая волна безразличия. Слова и намерения Глории остались далеко, в туманном прошлом. На письмо от Дот он едва взглянул — бессвязные залитые слезами каракули, шквал протестов, нежности и безысходного горя. Энтони пробежал глазами по первой странице, и листки выскользнули из ослабевшей руки, а сам он снова утонул в туманной бездне беспамятства. Утром Энтони проснулся для построения, но поднялась высокая температура, и при попытке выйти из

палатки он потерял сознание. Днем его отправили в эвакуационный госпиталь с диагнозом «инфлюэнца».

Энтони воспринял болезнь как перст провидения, спасший от повторного приступа безумия. И выздоровел он в тот самый ноябрьский день, когда их часть погрузили в поезд и отправили в Нью-Йорк. А впереди ждала бойня без конца и края.

Полк прибыл в лагерь Кэмп-Миллз на Лонг-Айленде, и Энтони больше всего на свете хотелось как можно скорее выбраться в город и встретиться с Глорией. Теперь уже не вызывало сомнений, что перемирие подпишут в течение недели. Однако поползли слухи, что в любом случае войска будут отправляться во Францию до последнего момента. Энтони с ужасом думал о предстоящем долгом путешествии, утомительной выгрузке во французском порту и пребывании за границей в течение целого года. По-видимому, им предстоит сменить войска, которым выпало на долю участвовать в боевых действиях.

Энтони хотел получить двухдневный отпуск, но Кэмп-Миллз находился на строгом карантине по причине эпидемии инфлюэнцы, и даже офицерам разрешалось оставлять лагерь исклю-

чительно по делам службы. Что до рядовых, то об этом не шло и речи.

В холодном, продуваемом насквозь ветром, неряшливом лагере царила жуткая неразбериха, и каждая вновь прибывшая дивизия исправно добавляла свою порцию грязи к той, что уже успела накопиться. Эшелон прибыл в семь вечера, и они ждали в очереди, пока где-то впереди решался один из извечных армейских конфликтов. Бегали взад-вперед офицеры, выкрикивая команды и производя страшный шум. Оказалось, причиной неувязки стал полковник, охваченный праведным гневом, ибо являлся «уэст-пойнтером», а войну, похоже, собирались прекратить, прежде чем он успеет пересечь океан. Если бы воинствующее правительство могло представить количество разбитых за эту неделю сердец доблестных «уэст-пойнтеров», то непременно продлило бы бойню еще на месяц-другой. Бедняга представлял собой зрелище, достойное жалости.

Глядя на огромное пространство, занятое палатками, растянувшимися на несколько миль по вытоптанному месиву из грязи и снега, Энтони понимал, что вечером до телефона не добраться. Он позвонит Глории утром, при первой же возможности.

Поднявшись промозглым рассветом по сигналу к побудке, Энтони внимал пламенным речам капитана Даннинга:

— Вы, ребята, может, вообразили, что война закончена? Так вот что я вам скажу — ничего подобного! Эти парни и не думают подписывать договор о перемирии. Очередная уловка, и если мы здесь, в роте, позволим себе расслабиться, это будет полным безумием. Потому что, и уж можете мне поверить, на этой неделе мы отплываем, а когда прибудем на место, то понюхаем настоящего пороха. — Он на некоторое время умолк, дабы присутствующие могли вникнуть в смысл сказанного, а затем продолжил: — Если вы решили, что войне конец, поговорите с любым фронтовиком и увидите сами, верят ли они, что германцы пойдут на перемирие. Нет, и никто этому не верит. Я говорил со знающими людьми, и они считают, что война продлится еще год. Они уверены, что это еще не конец. Так что вы, ребятки, выбросьте из головы дурацкие мыслишки.

Дважды подчеркнув последний тезис, он приказал роте разойтись.

В полдень Энтони бросился на поиски войсковой лавки, где имелся телефон. Когда он дошел до места, соответствующего центру лагеря, то обра-

тил внимание, что многие солдаты тоже куда-то бегут, а один из них вдруг подпрыгнул и прищелкнул в воздухе каблуками. Желание бежать охватило поголовно всех, тут и там собирались небольшие возбужденные группки и слышались радостные крики. Энтони остановился, прислушиваясь, — над окутанной холодом равниной разносились свистки паровозов, и вдруг зычно зазвонили колокола на церквях Гарден-Сити.

Энтони снова побежал, теперь крики стали отчетливей, поднимаясь в морозный воздух вместе с клубами пара от дыхания множества людей:

— Германия капитулировала! Германия капитулировала!

Ложное перемирие

В шесть вечера, в тусклых сумерках, Энтони проскользнул между двумя товарными вагонами и, выйдя за железнодорожные пути, направился в сторону Гарден-Сити, где и сел в электричку до Нью-Йорка. Энтони опасался, так как понимал, что военная полиция часто ходит по вагонам, проверяя пропуска, но решил, что сегодня бдительность стражей порядка притупится. В любом случае он попытается добраться до города, так

как отыскать Глорию по телефону не удалось, а на еще один день мучительного ожидания не было сил.

После непонятных остановок и задержек, которые напомнили ночь, когда он покидал Нью-Йорк год назад, электричка наконец прибыла на Пенсильванский вокзал, и Энтони пошел по знакомой дороге к стоянке такси. Называя собственный адрес, он испытал странное волнение.

Бродвей поражал буйством огней. Никогда не видел здесь Энтони такой многолюдной праздничной толпы, которая сверкающим потоком стремилась вперед, утопая по щиколотку в бумажном хламе, сваленном на тротуарах. Тут и там, водрузившись на скамейки и ящики, солдаты обращались с речами к толпе неблагодарных слушателей, и каждое лицо в ней отчетливо и резко вырисовывалось на фоне ослепительно яркого белого света над головами. Энтони удалось рассмотреть нескольких человек: пьяного матроса, едва держащегося на ногах; его поддерживали под руки приятели, а парень с диким ревом размахивал бескозыркой. Раненого солдата с костылем несла на плечах визжащая от восторга толпа гражданских; темноволосая девушка, закинув ногу на ногу, с задумчивым

видом сидела на крыше такси. Не вызывало сомнений, что сюда победа пришла вовремя и кульминация была запланирована с поистине неземной дальновидностью. Великая, богатая нация завершила победоносную войну, претерпев достаточно страданий для приобретения острых ощущений, но не ожесточилась. И теперь самое время праздновать триумф. В ярких огнях блестели лица представителей народов, чья слава давно канула в прошлое, чьи цивилизации были мертвы. Их предки слышали известия о победах в Вавилоне и Ниневии, в Багдаде и Тире сотни лет тому назад. Люди, предки которых видели украшенный руками рабов кортеж, проплывающий по улицам императорского Рима, а за ним нескончаемый поток пленных…

Мимо Риальто и сияющего фасада «Астора», роскошного великолепия Таймс-сквер… впереди залитая ярким светом улица… Потом — неужели так было прежде? — Энтони расплатился с таксистом перед белым зданием на Пятьдесят седьмой улице. Вот он уже в вестибюле, а вот и негр из Мартиники, такой же ленивый и апатичный, ничуть не изменился.

— Миссис Пэтч дома?

— Я только заступил, сэр, — объявил парень с

нелепым британским акцентом.

— Подними меня наверх.

Неспешное жужжание лифта, три шага до двери, распахнувшейся настежь от сильного толчка.

— Глория! — Голос Энтони дрожит. Ответа не последовало. Из пепельницы поднимается тонкая струйка сигаретного дыма, на столе лежит корешком вверх номер «Ванити фэр». — Глория!

Он забежал в спальню и ванную комнату. Никого. На кровати брошено неглиже голубого цвета, распространяя по комнате тонкий аромат духов, ускользающий и такой знакомый. На стуле — пара чулок и платье для выхода на улицу; на комоде зевает широко открытым ртом пудреница. Должно быть, она куда-то вышла.

Раздался резкий звонок телефона, и Энтони вздрогнул от неожиданности, а потом взял трубку, чувствуя себя самозванцем.

— Алло, миссис Пэтч дома?

— Нет, сам ее ищу. А кто спрашивает?

— Мистер Крофорд.

— А я мистер Пэтч. Только что приехал и не знаю, где ее искать.

— Вот как?.. — В голосе мистера Крофорда слышалась некоторая растерянность. — Думаю, она

поехала на бал в честь перемирия. Она туда собиралась, но я не думал, что так рано.

— И где же бал?

— В «Асторе».

— Благодарю.

Энтони бросил трубку на рычаг и поднялся с места. Кто этот мистер Крофорд? И с кем Глория поехала на бал? Сколько времени это продолжается? Вопросы возникали один за другим, и тут же находились десятки ответов. Мысль, что Глория где-то поблизости, доводила до исступления.

Терзаясь самыми мрачными подозрениями, он метался по квартире в поисках каких-либо признаков присутствия мужчины, открыл шкафчик в ванной комнате, перерыл все ящики в комоде. И тут обнаружил предмет, заставивший его немедленно прекратить поиски и присесть на одну из кроватей. Краешки губ опустились, будто Энтони вот-вот заплачет. В самом дальнем углу ящика, перевязанные тонкой синей ленточкой, лежали все письма и телеграммы, которые он посылал жене в течение года. Энтони переполнило чувство счастливого стыда, от которого на глаза навертываются слезы.

— Я даже не достоин прикоснуться к Глории! — воскликнул он, обращаясь к четырем

стенам. — Не смею дотронуться до ее маленькой ручки!

Тем не менее Энтони незамедлительно отправился на поиски жены.

В вестибюле отеля «Астор» его сразу же подхватила толпа, столь многолюдная, что продвинуться вперед не представлялось возможным. Человек у десяти Энтони спросил, где находится танцевальный зал, и только после этого получил вразумительный и внятный ответ. Отстояв в длинной очереди, он наконец сдал в гардероб шинель.

Несмотря на ранний час — всего девять часов, — танцы были в полном разгаре. Вокруг творилось нечто невообразимое. Женщины, куда ни кинь взгляд — всюду женщины. Разгоряченные вином девушки пели пронзительными голосами, перекрывая шум обсыпанной конфетти пестрой толпы. Девушки на фоне военной формы десятка разных стран, тучные матроны, падающие на пол, позабыв о достоинстве и сохраняющие чувство самоуважения исключительно благодаря возгласам: «Да здравствуют союзники!» Три седовласые дамы, взявшись за руки, танцевали вокруг моряка, который вертелся волчком на полу, прижимая к сердцу пустую бутыль из-под

шампанского.

Затаив дыхание, Энтони всматривался в толпу танцующих, в запутанный рисунок танца, то затягивающий людей внутрь, то выталкивающий наружу, направляя их между столами. Вглядывался в дующих в трубы, целующихся, кашляющих, смеющихся и пьющих вино под огромными развернутыми флагами, что склонились, горя яркими цветами, над всем шумным помпезным зрелищем.

Потом он увидел Глорию. Она сидела напротив, за столиком на двоих, в другом конце зала. В черном платье, над которым сияло оживленное лицо неописуемо прелестного розового оттенка. Оно показалось Энтони средоточием живой и трогательной красоты в этом зале. Сердце сжалось, как при звуках чарующей незнакомой мелодии. Энтони стал проталкиваться к столику, за которым сидела Глория, и окликнул жену по имени как раз в тот момент, когда та подняла серые глаза и увидела его. На мгновение, когда их тела, встретившись, слились воедино, весь мир с шумным весельем и визгливой музыкой поблек и растворился в приглушенном монотонном звуке, похожем на пчелиное жужжание.

— О, моя Глория! — воскликнул Энтони.

Ее поцелуй был прохладным родником, бьющим из самого сердца.

Глава вторая
Вопрос эстетики

В тот вечер год назад, когда Энтони отбыл в учебный лагерь Кэмп-Хукер, все, что осталось от прекрасной Глории Гилберт — ее оболочка, прелестное юное тело, — поднялось по широким мраморным ступеням вокзала Гранд-централ, а в ушах, словно во сне, отдавалось мерное пыхтение паровоза. Она вышла на Вандербильт-авеню с нависшей громадой отеля «Билтмор», чьи низкие, ярко освещенные двери всасывали внутрь многообразные разноцветные манто вместе с их обладательницами, роскошно одетыми девушками. На мгновение Глория задержалась возле стоянки такси, наблюдая за ними и удивляясь про себя, что всего несколько лет назад была одной из их числа. Вечно стремящаяся к неясной манящей цели, всегда готовая ввязаться в отчаянное приключение с кипящими страстями. Ведь ради этого и шились отороченные мехом элегантные манто, румянились щеки, а сердца возносились выше стен дворца мимолетных наслаждений,

который заглатывает свои жертвы вместе с прической, манто и всем прочим.

Начало холодать, и проходившие мимо мужчины поднимали воротники пальто. Такая перемена оказала на Глорию благотворное действие. Но еще лучше, если бы переменился весь окружающий мир: погода, улицы и люди, а она сама улетела далеко и проснулась в просторной комнате, наполненной ароматом свежести. Одна, застывшая, словно изваяние, изнутри и снаружи, как в былые времена непорочного яркого прошлого.

Сев в такси, Глория расплакалась от собственного бессилия. Тот факт, что уже более года она не была счастлива с Энтони, существенного значения не имел. С некоторых пор его присутствие только пробуждало воспоминания о канувшем в Лету незабываемом июне. В последнее время Энтони, сварливый, слабый и жалкий, не мог не вызвать ответное раздражение, вечно наводил тоску и представлял интерес только как память о полной упоительных фантазий юности, когда их обоих захватила восторженная буря чувств. Во имя этой общей, не утратившей сверкающих красок памяти Глория была готова сделать для Энтони больше, чем для кого-либо другого. Вот

почему она разрыдалась в такси, с трудом сдерживая желание без конца повторять вслух имя мужа.

Одинокая и несчастная, словно забытый всеми ребенок, она сидела в ставшей вдруг тихой квартире и писала Энтони сбивчивое, полное смятения письмо.

«…Я словно вижу перед собой рельсы, что уносят поезд вдаль. Но без тебя, мой любимый, любимый, я не в состоянии видеть, слышать, чувствовать или думать. Разлука — что бы с нами ни случилось в прошлом или произойдет в будущем — это, Энтони, все равно что просить милосердия у стихии, все равно что стареть. Так хочется тебя поцеловать, в затылок, там, где начинается темная полоска волос. Потому что я люблю тебя, и что бы мы ни наговорили друг другу, что бы ни натворили сейчас или в прошлом, ты должен знать, как я тебя люблю, как все во мне омертвело с твоим отъездом. Даже не могу питать ненависть к проклятым ЛЮДЯМ, тем людям, что толпятся на вокзале и не имеют никакого права жить. Нет сил на негодование к жалким ничтожествам, что вносят грязь в наш мир, потому что я поглощена только одним желанием — быть рядом с тобой.

Если бы ты меня вдруг возненавидел, покрыл-

ся язвами, как прокаженный, сбежал к другой женщине, морил меня голодом и бил — как нелепо это звучит! — я бы все равно желала тебя и, невзирая ни на что, любила. Я ЗНАЮ, любимый.

Уже поздно. Я открыла все окна, и воздух на улице тихий и ласковый, как весной, нет, более юный и переменчивый, чем весной. Почему весну принято изображать юной девушкой, почему эта иллюзия, приплясывая и распевая противным голосом, в течение трех месяцев разгуливает по нелепому в своем бесплодии миру? Весна — это тощая старая кляча с выпирающими наружу ребрами, куча отбросов в поле, которую солнце и дождь иссушают и отмывают до состояния не предвещающей ничего хорошего чистоты.

Через несколько часов ты проснешься, любимый, — и снова будешь страдать, испытывая отвращение к жизни. Приедешь в Делавэр или Каролину, или в другое место, никому не нужный. Не верю, что среди живущих на земле кто-то рассматривает себя как недолговечное создание, вроде предмета роскоши или излишнего зла. На свете очень мало людей, которые, заявляя о бесполезности жизни, признают собственную никчемность. Возможно, они думают, что, провозглашая губительность человеческого

существования, спасают от разрушения свою значимость и ценность. Только нет, никому это не удастся, даже нам с тобой…

И все-таки я тебя вижу. Там, где ты проезжаешь, деревья окутаны голубой дымкой, слишком красивой, чтобы сохраниться надолго. Нет, куда чаще встречаются бурые квадраты вспаханной земли… они лежат вдоль железнодорожных путей, как грязные простыни из грубого коричневого холста, сохнущие на солнце. Живые и в то же время похожие на детали неведомого механизма. Отвратительное зрелище. Природа, неряшливая старая карга, спит на них с любым фермером, негром или иммигрантом, которому вздумается ее покрыть…

Вот видишь, стоило тебе уехать, и я написала письмо, полное презрения и отчаяния. А это лишь значит, что я люблю тебя, Энтони, каждой клеточкой, всем, что есть способного любить у твоей

ГЛОРИИ».

Надписав конверт, она легла на кровать, сжимая в руках подушку Энтони, будто силой любви могла превратить ее в живое теплое тело. В два часа слезы на глазах высохли. Устремив в темноту неподвижный горестный взгляд, Глория предавалась воспоминаниям. Не щадя себя и об-

виняя в многочисленных воображаемых грехах, она создавала образ Энтони сродни принявшему мученическую смерть и воскресшему Христу. Именно таким он, вероятно, и виделся себе в приливе очередного приступа сентиментальности.

В пять Глория еще не спала. Таинственный скрежещущий звук, прокатывающийся каждое утро по окрестностям, подсказал, который сейчас час. Она услышала звонок будильника и увидела желтый квадратик света на казавшейся нереальной пустой стене напротив. Почти созревшее решение без промедления ехать на Юг притупило горе, сделало далеким и абстрактным, а потом оно и вовсе ушло вместе с отступающим на запад мраком. И Глория уснула.

Когда она проснулась, вид пустой кровати рядом снова пробудил тоску, которая, впрочем, рассеялась с наступлением безразличного в своей неотвратимости ясного утра. Глория испытывала неосознанное облегчение, завтракая в одиночестве и не видя перед собой усталого озабоченного лица Энтони напротив. Теперь, когда она осталась одна, желание привередничать по поводу еды пропало. Она решила, что будет разнообразить завтрак лимонадом и сандвичем с помидором вместо опостылевшей яичницы с

беконом и тоста.

Тем не менее в полдень, обзвонив нескольких знакомых, включая военнообязанную Мюриэл, и выяснив, что все с кем-нибудь встречаются в обед, Глория дала волю тихой жалости к себе и своему одиночеству. Свернувшись калачиком на кровати, она взяла карандаш и бумагу и написала Энтони еще одно письмо.

Ближе к вечеру курьер принес срочное письмо, отправленное из какого-то маленького городка в Нью-Джерси. Привычные фразы, в которых явственно слышалась приглушенная тревога и неудовлетворенность, были до боли знакомыми и подействовали успокаивающе. Как знать? Возможно, армейская дисциплина закалит Энтони и приучит к мысли о необходимости работать. Глория свято верила, что война закончится, прежде чем Энтони отправят на фронт. Тем временем они выиграют дело и смогут все начать заново, на сей раз совершенно по-другому. Прежде всего заведут ребенка. Невыносимо жить в безысходном одиночестве.

Прошла неделя, прежде чем Глория смогла оставаться дома и при этом поминутно не плакать. Город не баловал интересными событиями. Мюриэл перевели в госпиталь в Нью-Джерси,

где увольнения в Нью-Йорк давались раз в две недели, и с этой утратой Глория начала понимать, как мало друзей завелось у нее за все годы, прожитые в Нью-Йорке. Знакомые мужчины служили в армии. «Знакомые мужчины»? Она почему-то решила, что все мужчины, которые были когда-либо в нее влюблены, считаются друзьями. Каждому из них она в свое время была дороже всего на свете. Но где они теперь? По крайней мере двоих уже нет в живых, человек десять женились, а остальных разбросало по всему миру от Франции до Филиппин. Интересно, вспоминает ли кто-нибудь о ней? Как часто и что именно? Большинство, наверное, представляет себе семнадцатилетнюю девочку, юную сирену, какой была Глория девять лет назад.

Девушки тоже разъехались в разные стороны. В годы учебы Глорию не любили. Она была слишком красива и ленива, не ценила чести быть ученицей школы Фармоувер и не горела желанием стать в будущем Женой и Матерью с большой буквы. Девочки, которых никто не целовал, с возмущенным выражением на заурядных, но не слишком добродетельных личиках намекали, что у Глории в таких делах богатый опыт. Потом эти девочки разъехались, кто на восток, кто на

запад или юг, вышли замуж и превратились в «людей», предрекающих Глории «плохой конец» при каждом удобном случае. Бедняжки не понимали, что плохих концов не бывает и что они, как и Глория, не являются хозяйками своих судеб.

Глория перебирала в памяти посетителей серого дома в Мариэтте. В то время казалось, у них с Энтони нет недостатка в общении, и она тешилась верой, что все гости с тех пор в некотором роде ей обязаны. Их моральные обязательства рассматривались как некое подобие десятидолларовой купюры, и в случае надобности Глория, так сказать, может потребовать возвращения иллюзорного долга. Но все эти люди исчезли, разлетелись, как солома, загадочным образом пропали, ушли, кто из жизни Глории, а кто из жизни вообще.

К Рождеству Глория утвердилась в решении воссоединиться с мужем, и на сей раз оно проявилось уже не в виде всплеска эмоций, а как стойкая потребность. Она собиралась известить Энтони о приезде, но отложила поездку по совету мистера Хейта, который каждую неделю ждал слушания дела в суде.

Однажды в конце января, прогуливаясь по Пятой авеню, пестревшей мундирами и стягами

добродетельных наций, Глория встретила Рейчел Барнс, с которой не виделась уже почти год. Даже вызывавшая в прежние времена стойкую антипатию Рейчел вдруг стала истинным избавлением от скуки, и дамы отправились вместе в «Ритц» попить чая.

После второго коктейля они заметно оживились и прониклись друг к другу симпатией. Говорили о мужьях, Рейчел — с присущим всем женам тщеславием, не касаясь сугубо личных вопросов.

— Родмэн служит сейчас в чине капитана за океаном, в Интендантском корпусе. Решил, что обязан поехать, а в другой род войск его не возьмут.

— Энтони в пехоте. — При этих словах щеки Глории зарделись, что отчасти являлось следствием выпитого коктейля с виски. С каждым глотком в ее душе креп страстный, оказывающий удивительно взбадривающее действие патриотизм.

— Кстати, — сообщила Рейчел через полчаса, когда они выходили из отеля, — не желаешь со мной поужинать завтра вечером? Придут в гости два очень милых офицера. Готовятся к отправке за океан. Думаю, нужно постараться и устроить

для них приятный вечер.

Глория с радостью приняла приглашение. Записывая адрес, она по номеру узнала фешенебельный многоквартирный дом на Парк-авеню.

— Страшно приятно было с тобой повидаться.

— Да, просто замечательно. Я очень рада.

Этими тремя предложениями была предана забвению некая ночь в Мариэтте два года назад, когда Энтони и Рейчел без особой нужды проявляли друг к другу не в меру пристальное внимание. Глория простила Рейчел, а та, в свою очередь, — Глорию. Рейчел получила прощение и за то, что стала невольной свидетельницей самого грандиозного бедствия в жизни мистера и миссис Пэтч.

Время течет, идя на компромисс с миром.

Происки капитана Коллинза

Два офицера, оба капитаны, являлись представителями вызывающей всеобщее восхищение военной профессии пулеметчиков. За ужином они с напускной скукой называли себя членами «Клуба самоубийц». В то время все, кто служил в недоступных для всеобщего понимания родах войск, именовали себя подобным образом. Один

из капитанов, закрепленный, по наблюдениям Глории, за Рейчел, был высоким, похожим на лошадь мужчиной лет тридцати с красивыми усами и уродливыми зубами. Второй офицер, капитан Коллинз, круглолицый и розовощекий, самозабвенно смеялся всякий раз, когда встречался взглядом с Глорией. Он сразу же проникся к ней симпатией и в течение всего ужина забрасывал глупыми комплиментами. После второго бокала шампанского Глория решила, что впервые за много месяцев с приятностью проводит время.

После ужина поступило предложение пойти куда-нибудь потанцевать.

Офицеры запаслись бутылкой виски из буфета Рейчел — закон запрещал продавать спиртное военнослужащим — и, экипированные надлежащим образом, прошлись по сверкающим огнями караван-сараям на Бродвее, где станцевали бессчетное количество фокстротов, по-честному меняясь партнерами. А Глория становилась все оживленнее и все сильнее нравилась розовощекому капитану, с лица которого не сходила доброжелательная улыбка.

В одиннадцать часов Глория, к своему изумлению, оказалась в меньшинстве, когда решался вопрос о продолжении танцев. Остальные хо-

тели вернуться на квартиру Рейчел, якобы для пополнения запасов спиртного. Глория яростно доказывала, что фляжка капитана Коллинза наполовину полная, она сама только что видела… Однако, встретившись взглядом с Рейчел, заметила, как та недвусмысленно подмигивает. В недоумении Глория решила, что хозяйка вечера хочет отделаться от офицеров, и позволила погрузить себя в такси.

Капитан Вулф занял место слева и посадил на колени Рейчел. Капитан Коллинз сидел посредине и, устроившись поудобнее, обнял Глорию за плечи. Сначала его рука лежала неподвижно, а потом сжала плечо как тисками. Он наклонился к Глории.

— Вы потрясающе красивы, — прошептал капитан.

— Очень любезно с вашей стороны, сэр. — Поведение офицера не вызывало ни раздражения, ни удовольствия. До встречи с Энтони множество рук проделывало те же манипуляции, и это воспринималось как обычный жест, выражающий определенные чувства, но ничего не означающий.

Наверху, в овальной гостиной Рейчел все освещение ограничивалось едва теплившимся огнем

в камине и двумя лампами под оранжевыми шелковыми абажурами, вследствие чего по углам сгустились сонные тени. Хозяйка расхаживала в свободном платье из шифона с темным рисунком, что только подчеркивало и без того дышавшую чувственностью обстановку. Некоторое время они сидели вчетвером, угощаясь сандвичами, оставленными на чайном столике. Потом Глория вдруг обнаружила, что находится в обществе капитана Коллинза на кушетке возле камина. Рейчел и капитан Вулф удалились в другой конец комнаты, откуда доносились их приглушенные голоса.

— Как жаль, что вы замужем, — промолвил капитан Коллинз, при этом его лицо являло собой смехотворную пародию на абсолютную серьезность.

— Почему? — Глория протянула бокал, ожидая, что его наполнят коктейлем с виски.

— Не пейте больше, — попросил, нахмурившись, капитан.

— А в чем дело?

— Вы бы лучше… лучше бы не пили.

Глория вдруг уловила скрытый в этом замечании намек, ту атмосферу, которую пытался создать Коллинз. Ей стало смешно и в то же вре-

мя понятно, что смеяться тут не над чем. Она с приятностью проводит вечер и не имеет желания возвращаться домой. Однако гордость была уязвлена неловкой попыткой флиртовать на таком уровне.

— Налейте мне еще, — настаивала Глория.

— Прошу вас…

— Ах, прекратите валять дурака! — воскликнула она с досадой.

— Ну хорошо, — согласился он с неохотой.

Потом его рука снова оказалась на плече у Глории, и снова она не возмутилась, но когда розовая щека приблизилась к лицу, слегка отстранилась.

— Вы невероятно красивы, — изрек Коллинз без видимой цели.

Глория принялась тихонько напевать, ей хотелось только одного — чтобы капитан убрал руку. Вдруг она заметила в другом конце комнаты интимную сцену — Рейчел и капитан Вулф слились в долгом поцелуе. Глорию передернуло, и она не понимала причины, вызвавшей чувство омерзения. Розовощекое лицо опять оказалось совсем близко.

— Не нужно на них смотреть, — прошептал Коллинз, и тут же его вторая рука обняла Глорию. Она чувствовала дыхание капитана на своей

щеке. И снова абсурдность ситуации восторжествовала над отвращением, а смех стал оружием, которое ранит больнее любых слов.

— А я-то думал, вы девушка компанейская, — бормотал капитан Коллинз.

— А что это такое?

— Ну, та, кто любит получать от жизни удовольствие.

— И что, целоваться с вами считается приятным занятием?

Их разговор прервали неожиданно оказавшиеся рядом Рейчел и капитан Вулф.

— Глория, уже поздно, — обратилась к ней Рейчел. Ее лицо разрумянилось, а волосы растрепались. — Пожалуй, тебе лучше остаться у меня на ночь.

На мгновение Глории показалось, что офицерам предлагают удалиться, но потом она все поняла, а поняв, как можно непринужденнее поднялась с места.

Не сообразив, в чем дело, Рейчел продолжала:

— Можете занять комнату рядом с этой. Я принесу все необходимое.

В глазах Коллинза светилась собачья мольба, а капитан Вулф привычным жестом обнял Рейчел за талию. Они выжидали.

Но соблазн беспорядочных связей, ярких, разнообразных, запутанных, с легким застоялым душком, не привлекал Глорию и не обещал ничего приятного. При желании она бы осталась без колебаний и угрызений совести, но поскольку такового не возникло, пришлось мужественно выдерживать взгляд трех пар враждебных обиженных глаз, которым под аккомпанемент натянуто-любезных слов ее провожали до двери.

«А капитан, оказывается, не такой уж «компанейский». Даже не предложил проводить до дома, — размышляла Глория уже в такси и тут же с нарастающим возмущением воскликнула про себя: — Какая пошлость!»

Доблесть

В феврале с Глорией произошел случай совсем иного рода. Тюдор Бэрд, старая любовь, юноша, за которого она одно время даже всерьез намеревалась выйти замуж, прибыл в Нью-Йорк с летным корпусом и тут же явился с визитом. Несколько раз они сходили в театр, и через неделю, к великому удовольствию Глории, Тюдор был снова влюблен, как в прежние времена. Глория намеренно приложила к этому усилия и слиш-

ком поздно поняла, что ее проказы обернулись жестокой шуткой. Теперь, куда бы они ни отправились вместе, Бэрд сидел молча рядом, жалкий и потерянный.

Тюдор числился членом студенческого общества «Свиток и ключ» в Йельском университете и отличался сдержанностью, характерной для образа «славного малого», руководствовался правильными представлениями о рыцарстве и следовал девизу «положение обязывает». К несчастью, всем этим достоинствам сопутствовали соответствующие предубеждения и узость мышления — черты, которые Энтони учил презирать, но которые тем не менее вызывали у его жены восхищение. Глория обнаружила, что в отличие от большинства мужчин этого типа он не зануда. Тюдор Бэрд был красив, обладал долей остроумия, и в его обществе Глория чувствовала, что в силу некой черты характера — назовите ее глупостью, сентиментальностью, преданностью или чем-нибудь еще, не подпадающим под эти три определения, — он пойдет на все, лишь бы доставить радость предмету своей любви.

Тюдор сам упомянул об этом в разговоре, корректно, с истинно мужской тяжеловесностью, за которой скрывалось непритворное страдание.

Глория нисколько не любила бывшего приятеля, но однажды вечером поцеловала из сентиментальной жалости. Ведь он был такой милый — пережиток исчезающего поколения, которое всю жизнь с педантичным упорством питается иллюзиями, полными элегантной утонченности, а на смену ему идут уже куда менее доблестные глупцы. Впоследствии она радовалась, что поцеловала Тюдора, потому что на следующий день самолет Бэрда рухнул с высоты в тысячу пятьсот футов и осколком двигателя ему пробило сердце.

Глория в одиночестве

Мистер Хейт сообщил, что суд состоится не раньше осени, и Глория твердо решила сниматься в кино, не оповещая о своих планах Энтони. Муж увидит, какого блестящего актерского успеха и финансового благополучия она добилась с помощью Джозефа Блокмэна, ничего не давая взамен, и откажется от глупых предрассудков. Однажды она лежала полночи без сна, предвкушая в мечтах оглушительный успех, а наутро позвонила на студию «Филмз пар экселенс». Мистер Блокмэн находился на данный момент в Европе.

Однако мысль об актерской карьере на сей раз

так прочно засела в голове, что Глория решила пройтись по агентствам по найму киноактеров. И, как часто случалось, органы обоняния в очередной раз воспрепятствовали осуществлению благих намерений. Отвратительный запах, стоявший в агентстве, наводил на мысль о трупе, пролежавшем там длительное время. Глория выждала пять минут, изучая малопривлекательных соперниц, а затем стремительно покинула помещение и направилась в самый отдаленный уголок Центрального парка, где надолго задержалась и в результате схватила простуду. Очень уж хотелось выветрить дух агентства из костюма для прогулок.

Весной из писем Энтони — не какого-то одного, а по общему настроению — Глория поняла, что он против приезда жены на Юг. С фрейдистской навязчивостью повторялись странные отговорки, которые, казалось, занимают все его мысли и мучают в силу своей полной несостоятельности. Энтони в каждом письме исправно перечислял надуманные предлоги, отчаянно стараясь убедить Глорию в их целесообразности. Уменьшительные, ласковые слова, появляющиеся в письмах, выглядели фальшивыми и вымученными. Создавалось впечатление, что, закончив

очередное послание, Энтони просматривает его снова и вставляет нежные обращения, как эпиграммы в пьесу Оскара Уайльда. Глория сделала определенный вывод и тут же отвергла его. Гнев сменялся приступами подавленности, и в конце концов она гордо решила не обращать внимания на новые странности мужа и наполнила свою часть корреспонденции холодностью, которая в каждом последующем письме проявлялась все сильнее.

В последнее время у нее находилось достаточно занятий. Несколько авиаторов, с которыми Глория познакомилась через Тюдора Бэрда, приезжали в Нью-Йорк и навещали ее. Объявились и два других старых поклонника, их часть расквартировали в Кэмп-Дикс. Когда молодые люди получили приказ отправляться за океан, они, так сказать, передали Глорию с рук на руки своим приятелям. Однако после очередного неприятного инцидента с претендентом на лавры капитана Коллинза она при знакомстве с мужчинами давала ясно понять, что для заблуждений относительно ее статуса и намерений повода нет.

С приходом лета Глория, как и Энтони, стала просматривать списки погибших офицеров, испытывая некую сладостную грусть, когда

узнавала о гибели одного из парней, с которыми когда-то самозабвенно танцевала. А иногда она узнавала по фамилии младших братьев своих бывших почитателей. По мере развития наступления на Париж Глория приходила к выводу, что мир наконец подошел к черте, за которой ждет неизбежный и давно заслуженный крах.

Ей исполнилось двадцать семь. День рождения промелькнул незаметно. Несколько лет назад, в день двадцатилетия, Глория испугалась, в двадцать шесть испытала легкую тревогу, а сейчас с удовольствием любовалась в зеркале по-британски свежим цветом лица и по-мальчишески стройной фигурой, совсем не изменившейся за прошедшие годы.

Глория старалась не думать об Энтони. Возникало чувство, что она пишет чужому человеку. Глория рассказала друзьям, что мужа произвели в капралы, и была страшно раздосадована их любезной безучастностью. Однажды ночью она расплакалась, жалея Энтони, и будь он чуть отзывчивее, Глория с первым же поездом помчалась бы без колебаний на Юг. Чем бы Энтони там ни занимался, ему требовалась моральная поддержка, и Глория чувствовала, что в данный момент способна даже на это. В последнее время,

когда Энтони не выкачивал из нее духовных сил, Глория чудесным образом ожила. До его отъезда она имела обыкновение размышлять о своих упущенных возможностях, копаясь в воспоминаниях. Теперь же она вернулась к привычному для себя образу мыслей, основательному, полному презрения к окружающему миру, со стойким убеждением, что жить надо сегодняшним днем. Глория купила куклу и нарядила ее, а однажды всю неделю проплакала над повестью «Итан Фром». В следующий раз она с наслаждением прочла несколько романов Голсуорси, которого любила за способность воссоздать иллюзию юной романтичной любви, зарождающейся подобно рассвету в темноте. Любви, которую женщины вечно жаждут обрести в будущем или ищут в прошлом.

В октябре письма от Энтони приходили все чаще, их тон становился все более истеричным, а потом он вдруг и вовсе перестал писать. В течение полного тревоги месяца Глории потребовалось призвать на помощь всю выдержку, чтобы удержаться от желания без промедления поехать в Миссисипи. Потом из телеграммы она узнала, что Энтони лежал в госпитале и в течение десяти дней прибудет в Нью-Йорк. В тот ноябрьский

вечер он, подобно образу из сна, пройдя через танцевальный зал, возвратился в ее жизнь. И долгие часы, наполненные знакомой радостью, Глория прижимала Энтони к груди, лелея иллюзию счастья и благополучия, которые уже не надеялась обрести вновь.

Крушение генеральских надежд

Через неделю полк Энтони снова отправился в военный лагерь в Миссисипи для расформирования. Офицеры заперлись в купе пульмановских вагонов и пили виски, которым запаслись в Нью-Йорке. В пассажирских вагонах солдаты тоже по мере возможностей напивались и, когда поезд останавливался на станциях в небольших поселках, делали вид, что возвращаются из Франции, где именно их стараниями разгромили германскую армию. Поскольку все носили форменные пилотки и утверждали, что просто не успели нашить золотые шевроны, это производило сильное впечатление на сельское население. Местные жители подходили к поезду и расспрашивали, как там в окопах. На что неизменно следовал ответ: «Эх, парень, тебе не понять!», сопровождаемый прищелкиванием языком и покачиванием

головы. Кто-то раздобыл кусок мела и написал на вагоне: «Мы выиграли войну — теперь по домам!» Офицеры посмеялись, но возражать не стали. Все по возможности старались придать некий шик бесславному возвращению.

На подъездах к лагерю Энтони не на шутку забеспокоился, опасаясь встретить на вокзале Дот, терпеливо дожидающуюся его приезда. К огромному облегчению, ее там не оказалось. Энтони ничего не знал о судьбе бывшей возлюбленной, однако решил, что, окажись Дот в городе, она непременно попыталась бы его найти. Стало быть, девушка уехала, а куда — Энтони не интересовало. Неотступно преследовало лишь одно желание — вернуться к Глории, возрожденной, удивительно живой и настоящей Глории. Наконец Энтони демобилизовали, и он покинул роту в кузове огромного грузовика вместе с толпой таких же демобилизованных солдат, которые добродушно и даже с долей грусти приветствовали напоследок офицеров, в особенности капитана Даннинга. Капитан, в свою очередь, со слезами на глазах разразился речью о счастье, которое испытал, работая со своими подчиненными, и т. д., о времени, не потраченном напрасно, и т. д., о долге и т. д. Это звучало глупо и очень по-чело-

вечески, Энтони, чей разум взбодрился за неделю пребывания в Нью-Йорке, вслушиваясь в речи капитана, в очередной раз испытал глубокое отвращение к воинской службе и всему, что с ней связано. В своих по-детски наивных душах двое из трех кадровых офицеров свято верили, что войны изобретаются для армий, а не наоборот. Со злорадством наблюдал он за генералом и лишившимися подчиненных старшими офицерами, что с несчастным видом слонялись по опустевшему лагерю. С удовольствием прислушивался, как товарищи по роте презрительно посмеиваются над предложением остаться в армии. Им полагалось посещать «школы», но Энтони хорошо знал, что кроется за этими словами.

Двумя днями позже он был с Глорией в Нью-Йорке.

Еще одна зима

Как-то к вечеру в конце февраля Энтони вернулся домой и, пробравшись на ощупь через маленькую прихожую, где в зимних сумерках не было видно ни зги, обнаружил сидящую у окна Глорию. Услышав шаги, она обернулась.

— Что сказал мистер Хейт? — поинтересовалась

она безразличным тоном.

— Ничего, — ответил Энтони. — Как всегда, «может быть, в следующем месяце».

Глория пристально посмотрела на мужа. Чуткое ухо, привыкшее к его голосу, уловило, что последнее слово было произнесено заплетающимся языком.

— Ты пил, — спокойно констатировала Глория.

— Всего пару стаканчиков.

— Понятно.

Энтони позевывал, сидя в кресле, и некоторое время оба молчали. Вдруг Глория требовательным голосом спросила:

— Ты действительно ходил к мистеру Хейту?

— Нет, — робко улыбнулся Энтони. — В общем-то я просто не успел.

— Так я и знала. Он за тобой присылал.

— А мне наплевать. Надоело торчать у него в конторе. Можно подумать, этот тип делает мне великое одолжение. — Энтони глянул на жену, словно ожидая моральной поддержки, но она вернулась к созерцанию сомнительной красоты пейзажа за окном. — Сегодня жизнь меня окончательно вымотала, — неуверенно вымолвил он, но Глория по-прежнему хранила молчание. — Встретил приятеля, и мы посидели немного в

баре в «Билтморе».

Сумерки вдруг стремительно сгустились, однако ни один из супругов не пошевелился, чтобы включить свет. Так и сидели, погруженные каждый в свои мысли бог весть о чем. Порыв ветра за окном взметнул в воздух снежный вихрь, и из груди Глории вырвался тихий вздох.

— А как ты провела день? — спросил Энтони, чувствуя, что молчание начинает действовать угнетающе.

— Читала журнал — сплошь идиотские статейки богатеньких писак, что беднякам, мол, ни к чему шелковые рубашки. И пока я читала, не могла думать ни о чем другом, кроме серой беличьей шубки, о которой давно мечтаю, и о том, что мы не можем себе позволить подобную роскошь.

— Почему же, можем.

— Ой, ради Бога!

— Не сомневайся! Хочешь шубку — иди и купи.

В прозвучавшем в темноте голосе Глории слышалась презрительная насмешка:

— И под этим следует понимать продажу очередной облигации?

— Если потребуется. Не хочу, чтобы ты одевалась как попало. Впрочем, с тех пор как я

вернулся, мы порядком поистратились…

— Ох, замолчи! — с досадой перебила Глория.

— С какой стати?

— Просто я сыта по горло разговорами, сколько мы потратили и чем занимались. Ты вернулся домой два месяца назад, и с тех пор практически каждый вечер мы весело проводим время. Нам обоим хочется выйти в люди, что мы и делаем. И разве ты слышал от меня хоть слово жалобы или упрека? А сам только и знаешь, что ныть. Мне безразлично, как мы живем и что с нами станет. По крайней мере я последовательна в своих мыслях и поступках. Но вечных жалоб и паникерства не потерплю…

— Ну знаешь, и с тобой не всегда приятно иметь дело.

— А я и не обязана тебя развлекать. Даже пальцем не пошевелил, чтобы исправить положение.

— Неправда, я стараюсь…

— Ха! Я уже где-то это слышала раньше. Утром ты обещал не притрагиваться к спиртному, пока не получишь работу. А у самого даже не хватило храбрости сходить к мистеру Хейту, когда он прислал за тобой, чтобы обсудить наше дело.

Энтони вскочил на ноги и включил свет.

— Послушай! — выкрикнул он, часто моргая. —

Мне начинают надоедать ядовитые замечания!

— Ну и что ты собираешься в связи с этим предпринять?

— Неужели думаешь, меня переполняет счастье? — продолжал Энтони, пропуская вопрос жены мимо ушей. — По-твоему, я не понимаю, что мы живем не так, как следовало бы?

Глория вскочила с места и стала рядом с мужем, дрожа от злости.

— Я этого не потерплю! — взорвалась она. — Не позволю читать нравоучения. Вечно ты со своими страданиями! Убогий слабак и всегда таким был!

Они стояли лицом к лицу, чувствуя себя глупо, уже не в состоянии произвести друг на друга желаемое впечатление… и обоих терзала мучительная скука. Потом Глория вышла в спальню, плотно прикрыв за собой дверь.

С возвращением Энтони вновь выдвинулись на передний план довоенные причины для недовольства и ссор. Цены подскочили до угрожающих высот, и обратно пропорционально им, более чем наполовину, сократился первоначальный доход супругов. Росла задолженность мистеру Хейту, и некоторые акции, купленные по сотне долларов, упали в цене до тридцати — сорока за штуку. Имелись и другие вложения,

не приносившие никакой прибыли. Прошлой весной Глорию поставили перед выбором: съехать с квартиры или подписать договор еще на год, но уже за двести двадцать пять долларов в месяц. Договор она подписала. И как всегда, когда возникала острая необходимость урезать расходы, супруги обнаружили, что совершенно не способны жить экономно. И тогда они прибегли к испытанному приему ухода от реальности. Устав от неурядиц, мечтали, что станут делать, скажем, завтра. Или как прекратят «бегать по пирушкам» и Энтони наконец начнет работать. Но с наступлением темноты Глория, привыкшая к ежевечерним увеселениям, начинала ощущать заползающее в душу привычное беспокойство. Она стояла в дверях спальни, яростно покусывая пальцы и время от времени ловя взгляд Энтони, когда тот поднимал глаза от книги. Потом раздавался телефонный звонок, и нервное напряжение спадало. Глория отвечала с плохо скрываемым пылом. Кто-то собирался заглянуть «буквально на пять минут» — и вот оно! — прощай утомительное притворство! С появлением уставленного бутылками столика наблюдается подъем истощенного морального духа… А далее следует пробуждение, как кульминация бессон-

ной ночи, в которую они окунулись.

Зима близилась к концу на фоне марширующих по Пятой авеню войск, возвращающихся из-за океана, и супруги все отчетливее понимали, что после приезда Энтони их отношения в корне изменились. После всплеска вновь расцветшей страстной нежности каждый возвратился в свою мечту и не мог разделить ее с любимым. И ласковые слова, что произносились по привычке, казалось, перебрасываются из одного опустошенного сердца в другое, отдаваясь эхом в пропасти, куда безвозвратно сгинуло что-то драгоценное. И теперь оба наконец осознали потерю.

Энтони снова обошел редакции городских газет в поисках работы и, как в первый раз, получил отказ от пестрой толпы посыльных, секретарш и редакторов. Везде неизменно отвечали: «Бережем вакансии для своих сотрудников, которые еще не вернулись из Франции». В конце марта взгляд нечаянно задержался на объявлении в утренней газете, и, как следствие, Энтони нашел наконец некое подобие работы.

«ВЫ МОЖЕТЕ ПРОДАВАТЬ!!!

Зарабатывайте в процессе обучения.

Наши работники получают от 50 до 200 долларов в неделю».

Далее указывался адрес на Мэдисон-авеню и просьба явиться в час дня в тот же день. Глория, после традиционно позднего завтрака заглянув через плечо мужа, увидела, что он с праздным видом изучает объявление.

— Почему не попробовать? — предложила она.

— Да что ты, какая-нибудь очередная безумная затея.

— А может, и нет. По крайней мере стоит попытаться.

По настоянию жены Энтони пришел в час дня по указанному адресу и оказался одним из многолюдной разношерстной толпы мужчин, ожидающих перед входной дверью. Кого тут только не было, от мальчишки-посыльного, который явно прогуливал рабочее время, до древнего типа со сгорбленным телом и сучковатой тростью под стать владельцу. У некоторых мужчин вид был потрепанный: впалые щеки, припухшие покрасневшие глаза, но встречалось и много молодежи, похоже, учеников средней школы. Минут пятнадцать присутствующие толкались и разглядывали друг друга с флегматичной подо-

зрительностью. Наконец появился щеголеватый духовный пастырь с манерами церковного служки, одетый в приталенный костюм. Он провел присутствующих наверх, в просторную комнату, напоминающую класс с множеством парт. Здесь будущие продавцы расселись по местам и снова принялись ждать. Через некоторое время кафедру в конце помещения заняли с полдюжины серьезных, но бойких на вид людей, которые, за исключением одного, расселись полукругом лицом к публике.

Исключением являлся самый молодой и бойкий мужчина из всей компании. Он-то и вышел вперед, к краю кафедры. Присутствующие с надеждой воззрились на него. Невысокого роста, приятной наружности, характерной скорее для коммерсанта, чем человека искусства. У юноши были прямые светлые брови и до абсурда честные глаза. Вот он приблизился к краю кафедры и буквально метнул взгляд своих неподкупных очей прямо в публику, одновременно выбросив вперед руку с двумя вытянутыми пальцами. Пока он покачивался, устанавливая равновесие, в аудитории наступила желаемая тишина. Молодой человек уже уверенно завладел вниманием слушателей, и когда заговорил, в словах слыша-

лась твердость, а голос звучал доверительно. Что называется, парень «рубил сплеча».

— Ребята! — начал он свою речь и замолчал.

Слово отозвалось долгим эхом в конце аудитории. Все взоры, светящиеся надеждой, цинизмом или усталостью, были прикованы к молодому человеку, который сосредоточил всеобщее внимание на своей персоне. Шесть сотен глаз дружно смотрели вверх. Равномерным, тяжеловесным потоком, как перекатывающиеся шары при игре в боулинг, оратор выплеснул свое красноречие в бескрайнее море излагаемой проблемы.

— Этим ясным солнечным утром вы открыли свою любимую газету и нашли объявление, где просто и без прикрас говорится, что вы можете продавать. Вот и все, что там сказано. И не упоминается, что продавать, как и зачем. Просто утверждается, что вы, вы и вы, — речь сопровождалась красноречивыми жестами, — способны продавать. Моя задача не в том, чтобы сделать из вас преуспевающих людей, потому что каждый человек рождается удачливым и сам делает из себя неудачника. И не в том, чтобы научить вас вести беседу, потому что каждый человек — оратор от природы и собственными руками превращает себя в молчуна. Моя задача — по-

ведать одну вещь так, чтобы до вас дошло, то есть сообщить, что вы, вы и вы уже получили в наследство деньги и благополучие, и они только ждут, когда вы придете и заявите о своих правах.

После этих слов ирландец угрюмой наружности, сидевший в заднем ряду, поднялся с места и покинул аудиторию.

— Этот человек думает, что найдет все перечисленное мной в пивном баре за углом (*слышится смех*). Нет, там он ничего не найдет. Одно время я и сам пробовал отыскать что-то путное в подобных местах (*снова смех в аудитории*). Но это случилось задолго до того, как я совершил поступок, на который каждый из вас, будь он стар или молод, беден или богат (*по аудитории прокатывается волна ироничного смеха*), тоже способен. Да, все это имело место до того, как я нашел себя.

А теперь скажите, ребята, знает ли кто-нибудь из вас, что такое «Разговор по душам»? «Разговор по душам» — это небольшая книжица, которую я начал писать около пяти лет назад с намерением выразить на бумаге все, что мне известно о главных причинах неудач и успеха в жизни разных людей. Начиная с Джона Д. Рокфеллера и кончая Джоном Д. Наполеоном (*слышится смех*). И еще раньше, с тех времен, когда Авель отказался от

первородного права за порцию похлебки. Здесь сто экземпляров «Разговора по душам». Все, кто искренне заинтересовался нашим предложением, а главное, все, кто не удовлетворен тем, как складывается их жизнь в данный момент, получат сегодня по книге, вон там, на выходе, и возьмут ее домой.

У меня в кармане находятся четыре только что полученных письма, которые касаются «Разговора по душам». Имена людей, подписавшихся под этими письмами, в США знают в каждом доме. Слушайте, вот это — из Детройта: «Уважаемый мистер Карлтон! Хочу заказать еще три тысячи экземпляров «Разговора по душам», чтобы распространить их среди своих продавцов. Эти книги повысили работоспособность моих сотрудников лучше любых премий. Я сам постоянно к ним обращаюсь за консультацией и хочу от всей души вас поздравить с проникновением в суть величайшей проблемы, которая стоит перед нашим поколением сегодня и которая заключается в умении продать товар. Искусство заинтересовать покупателя — вот та несокрушимая скала, на которой держится вся наша страна.

С наилучшими пожеланиями, искренне Ваш
ГЕНРИ У. ТЭРРЕЛ».

Молодой человек произнес имя автора в три рокочущих ликованием приема и выждал, пока оно возымеет свое магическое действие. Затем он прочел еще два письма, от изготовителя пылесосов и президента «Грейт норзерн дойли кампани».

— А сейчас, — продолжил мистер Карлтон, — я в нескольких словах расскажу, в чем заключается предложение, которое сделает преуспевающими и тех, кто возьмется за него с надлежащим настроем. Попросту говоря, «Разговор по душам» является зарегистрированной компанией, и мы намерены передать эти книжечки каждой торгующей фирме, каждому продавцу и каждому человеку, который знает — повторяю, знает, а не предполагает, — что может продавать! Мы выставляем для продажи на рынке часть акций концерна «Разговор по душам», с целью их максимально широкого распространения. А также чтобы продемонстрировать конкретный, живой, облеченный в плоть и кровь пример искусства продажи. Или, иными словами, даем самым стоящим из вас шанс продавать эти акции. Повторяю, мне все равно, продавали ли вы что-нибудь раньше и сколько вам лет. Хочу знать только две вещи: во-первых, стремитесь ли вы к успеху? И

во-вторых, готовы ли вы для этого трудиться?

Меня зовут Сэмми Карлтон, не мистер Карлтон, а просто Сэмми. Я обычный деловой человек без дурацких фантазий в голове. Хочу, чтобы вы называли меня «Сэмми».

Вот, собственно, и все, что я собирался сегодня сообщить. Завтра пусть те из вас, кто все хорошенько обдумает и прочтет «Разговор по душам» — не забудьте взять книгу при выходе, — придут сюда в то же время. И тогда я расскажу о нашем предложении подробнее и объясню основные составляющие успеха, которые я открыл. Хочу заставить вас поверить, что вы, вы и вы можете продавать!

Голос мистера Карлтона пронесся эхом по аудитории и замер. Под топот множества ног толпа вынесла Энтони на улицу.

Дальнейшие приключения с «Разговором по душам»

Иронично усмехаясь, Энтони поведал Глории историю своего коммерческого начинания, но жена слушала его без тени улыбки.

— Опять откажешься? — холодно поинтересовалась она.

— Но не ждешь же ты…

— Я от тебя никогда ничего не жду.

Энтони почувствовал неуверенность.

— Ну, не вижу причин хохотать до упаду над этой авантюрой. Да и вообще все новое — это хорошо забытое старое.

Глория затратила немало моральных сил, чтобы заставить Энтони сходить по указанному адресу еще раз. На следующий день он все же там появился, несколько удрученный после внимательного прочтения маразматических банальностей, кокетливо изложенных в «Разговоре по душам»… и застал всего пятьдесят из первоначальных трехсот человек, ожидающих появления жизнерадостного и напористого Сэмми Карлтона. На сей раз талант мистера Карлтона внушать веру в собственные силы и принуждать к действиям был направлен на разъяснение великого искусства, дающего богатую пищу для размышлений — как нужно продавать. Казалось бы, дело ясное. Следуя традиционному методу, нужно предложить товар, а потом спросить: «Ну что, берете?» Но нет, оказывается, такой способ продажи никуда не годится! А действовать надо так: разъяснить свое предложение, а затем, доведя противника до полного изнеможения, добить

ультиматумом: «Послушайте, я потратил время, вводя вас в курс дела! Вы согласились с моими доводами, и теперь единственное, что я хочу знать, — сколько вы хотите купить?»

По мере того как мистер Карлтон самозабвенно громоздил друг на друга свои сентенции, Энтони начал испытывать к нему некоторое доверие, смешанное с отвращением. Похоже, парень знает, о чем говорит. Вид у него человека явно преуспевающего, а значит, он поднялся до положения, дающего право наставлять других. Энтони не приходило в голову, что люди, добившиеся успеха в коммерческих делах, редко понимают, каким образом и почему это произошло. Как и в случае с дедом, если и называются причины успеха, они, как правило, оказываются ошибочными и абсурдными.

Энтони обратил внимание, что из множества пожилых людей, откликнувшихся на объявление, на следующий день пришли только двое. А среди тридцати, собравшихся на третий день в надежде получить от мистера Карлтона инструкции по продаже товара, виднелась всего одна седая голова. Зато оставшаяся тридцатка горела желанием обратиться в новую веру. Молодые люди повторяли движения губ мистера Карлтона,

с энтузиазмом раскачиваясь на сиденьях, а во время коротких пауз переговаривались между собой возбужденным одобрительным шепотком. И все-таки среди немногих избранных, кому, если верить словам мистера Карлтона, «самой судьбой начертано владеть принадлежащими по праву богатствами», лишь человек пять сочетали в себе мало-мальски приятную внешность с великим даром «толкача». Но присутствующим уже вдолбили, что все они по природе люди пробивные и теперь нужно всего лишь с неистовой страстью уверовать в насущную необходимость продаваемого товара. Мистер Карлтон даже призывал купить по нескольку акций, дабы выглядеть более убедительно перед потенциальным покупателем.

На пятый день Энтони вынырнул на улицу, чувствуя себя преступником, которого разыскивает полиция. Действуя в соответствии с полученными указаниями, он выбрал высокое офисное здание, чтобы спускаться с верхнего этажа вниз и навещать каждую контору, на дверях которой имеется табличка с именем. Однако в последний момент его одолели сомнения. Не целесообразнее ли подготовиться к холодному приему, который, как подозревал Энтони, его ожидает, и

посетить для начала несколько контор, скажем, на Мэдисон-авеню? Он нырнул в аркаду, которая выглядела всего лишь относительно процветающей, и, увидев табличку «Перси Б. Уэзерби, архитектор», отважно открыл дверь и зашел внутрь. Чопорная молодая особа устремила на посетителя вопросительный взгляд.

— Могу я видеть мистера Уэзерби? — осведомился Энтони, втайне опасаясь за дрожь в голосе.

Дама с сомнением положила руку на телефон.

— Будьте добры, ваше имя?

— Он… э-э-э… он не знает моего имени.

— По какому вопросу? Страховой агент?

— Что вы, ни в коем случае! — поспешил заверить Энтони. — Нет, это, так сказать, личное дело, — пустился он в объяснения и тут же засомневался, правильно ли поступает. Слушая наставления, которыми снабжал свою паству мистер Карлтон, все выглядело легко и просто. «Не позволяйте выставить себя за дверь! Дайте понять, что решительно настроены на разговор, и вас непременно выслушают».

Девушка не устояла перед обаятельным меланхоличным лицом Энтони: в следующее мгновение дверь в кабинет распахнулась и в

приемную зашел высокий косолапый мужчина с прилизанными волосами. С плохо скрываемым нетерпением он обратился к Энтони:

— Вы хотели встретиться со мной по личному делу?

Энтони пал духом.

— Хочу с вами поговорить, — с вызовом заявил он.

— Так, ну и о чем же?

— Объяснение займет некоторое время.

— Так в чем, собственно, дело? — повторил вопрос мистер Уэзерби с нарастающим раздражением.

И тогда Энтони, растягивая слова, чеканя каждый слог, завел:

— Не знаю, слышали ли вы о серии брошюр «Разговор по душам»…

— Боже правый! — перебил Перси Б. Уэзерби, архитектор. — Вы что, собираетесь беседовать по душам, хотите растрогать?

— Нет, это деловой разговор, а «Разговор по душам» — это зарегистрированная компания, и мы выпускаем на рынок часть своих акций…

Голос Энтони медленно угасал, утрачивая уверенность под пристальным, полным презрения взглядом яростно сопротивляющейся жертвы.

Еще с минуту он продолжал борьбу, все больше смущаясь и путаясь в словах. Вера в свои силы вытекала из организма мощными, вызывающими тошнотворное чувство толчками. И тут Перси Б. Уэзерби безжалостно прервал беседу.

— Боже мой! — возмутился он, не скрывая досады. — И это называется личным делом? — Резко развернувшись, он с гневным видом прошествовал в кабинет и с грохотом захлопнул за собой дверь. Энтони не осмелился поднять глаза на стенографистку и непонятным для самого себя образом позорно ретировался из приемной. Обливаясь потом, он стоял в коридоре и удивлялся, почему полиция не идет его арестовывать. В каждом пойманном мимолетном взгляде прохожих чудилась презрительная насмешка.

Через час, подкрепившись двумя порциями неразбавленного виски, Энтони заставил себя попытать счастья еще раз. Он заглянул в мастерскую водопроводчика, но едва упомянул о своем деле, как хозяин стал поспешно натягивать пальто, довольно неприветливо намекнув о перерыве на обед. Энтони вежливо заметил, мол, бесполезно пытаться что-либо продать голодному человеку, с чем водопроводчик полностью согласился.

Этот эпизод несколько приподнял боевой дух, и

Энтони убеждал себя, что если бы водопроводчик не торопился на обед, то непременно выслушал бы заманчивое предложение.

Пройдя мимо сверкающих огнями и вызывающих обоснованные опасения универмагов, Энтони зашел в бакалейную лавку. Разговорчивый хозяин пояснил, что перед покупкой акций нужно определить, каким образом прекращение военных действий повлияет на рынок ценных бумаг. Энтони счел такой ответ верхом несправедливости. В утопическом труде мистера Карлтона единственным поводом для отказа от покупки акций являлось сомнение потенциального покупателя в перспективности такого вложения капитала. Совершенно очевидно, что человек, пребывающий в подобном состоянии, представляет собой легкую добычу, и окончательно сломить сопротивление противника можно с помощью разумного применения убедительных коммерческих доводов, обосновывающих целесообразность приобретения. Но с людьми, попадавшимися на пути Энтони, ничего не получалось, они упорно отказывались вообще что-либо покупать.

Перед посещением четвертого потенциального клиента, агента по продаже недвижимости,

Энтони принял еще несколько порций виски. Однако вскоре он был сражен наповал убедительным, как любой силлогизм, аргументом. Агент по продаже недвижимости сообщил, что трое его братьев занимаются инвестиционным делом. Чувствуя себя разрушителем семейного бизнеса, Энтони, извинившись, удалился.

После очередного стаканчика он разработал блистательный план продажи акций барменам на Лексингтон-авеню. Его осуществление заняло несколько часов. В каждой точке следовало пропустить несколько стаканчиков, чтобы настроить хозяев баров на соответствующий лад, а потом уже приступать к обсуждению дела. Но бармены один за другим заявляли, что имей они деньги на покупку облигаций, то не прозябали бы за стойкой бара. Будто все они сговорились, выбрав именно такой ответ. По мере приближения промозглого вечера — а время неумолимо двигалось к пяти часам — Энтони обнаружил у потенциальных клиентов еще более досадную тенденцию отделываться шутками.

В пять часов, заставив себя невероятным усилием воли сосредоточиться, Энтони решил внести разнообразие в процесс агитации. Остановив выбор на небольшом магазине готовых продуктов,

он зашел внутрь. И тут его осенило, что нужно очаровать не только хозяина магазина, но заодно и всех находящихся там покупателей. Возможно, повинуясь стадному инстинкту, они толпой ринутся приобретать акции.

— Добр-рй день, — громко начал он заплетающимся языком. — Им-мею интр-есное прдложение.

Если Энтони ставил цель добиться тишины, он ее достиг. Несколько покупательниц и седовласый старик в колпаке и переднике, нарезающий ломтиками курятину, замерли в благоговейном молчании.

Энтони вытащил из болтающегося в руке портфеля пачку бумаг и стал ими с воодушевлением размахивать.

— Купите облигацию, — предложил он. — Не хуже займа Свободы! — Идея пришлась Энтони по душе, и он решил ее развить. — Луч-чше займа Св-вободы. Кажж-дыя стоит двух обль-гаций Св-боды. — Тут в сознании произошел провал, и оно совершило непредвиденный скачок к заключительной части речи, которую Энтони сопроводил красноречивыми жестами. Правда, эффект был несколько смазан из-за необходимости держаться одной, а то и обеими руками за

прилавок. — Т-так, те-ерь слушь-те. Я потратил время и не ж-жлаю за-нать, пач-чему вы не х-тите пак-упать. Я х-хачу, чтоб вы ск-зали пач-чему. Хх-ачу, чтоб с-казали с-колько!

Теперь всем присутствующим следовало кинуться к Энтони с чековыми книжками и авторучками в руках. Смекнув, что присутствующие, должно быть, не вникли в суть дела, он, повинуясь актерскому инстинкту, решил повторить финальную часть речи:

— С-слушьте с-сюда! В-вы ук-крали м-мое время. П-поньли пр-дложение? С-сагласны с дов-дами? Все, что м-мне н-надо — с-сколька обль-гаций Св-вабоды?

— Эй ты, послушай-ка! — прервал излияния Энтони новый голос. Дородный мужчина с лицом, симметрично украшенным золотистыми завитками волос, вышел из стеклянной будки и, по-медвежьи переваливаясь, двинулся на Энтони. — А ну-ка приди в себя!

— С-сколько? — упрямо твердил коммерсант. — В-вы отняли мое время…

— Эй ты! — рявкнул хозяин магазина. — Сейчас твое время отнимет еще и полиция, потому что именно туда я тебя и сдам!

— Н-ни з-за что! — с вызовом парировал Энто-

ни. — В-все, что хочу знать, — с-сколько!

Со всех концов магазина робкими облачками понеслись комментарии и увещевания:

— Какой кошмар!

— Да он же помешанный.

— Просто напился как свинья.

Хозяин магазина грубо схватил Энтони за руку.

— Убирайся, или я вызову полицию.

Остатки здравого смысла сделали свое дело, и Энтони, кивнув, принялся запихивать акции в портфель.

— С-колько? — нерешительно повторил он.

— Весь полицейский участок, если понадобится! — прогрохотал его противник, свирепо топорща усы.

— Им все оптом и пр-рдам.

Придя к такому выводу, Энтони повернулся, с серьезным видом откланялся своим последним зрителям и, покачиваясь, покинул магазин. На углу нашел такси, которое довезло до дома, где он рухнул на диван и заснул крепким сном. Там-то и нашла мужа Глория. Его дыхание наполнило комнату едким запахом перегара, а рука все еще сжимала открытый портфель.

В редкие дни, когда Энтони не напивался, диапазон его ощущений был беднее и уже, чем у

старика, сохранившего крепкое здоровье. В июле ввели «сухой закон», и вдруг обнаружилось: все, кто может себе позволить, стали пить еще больше, чем прежде. Каждый хозяин дома выставлял на стол бутылку по любому поводу. Тенденция демонстрировать наличие спиртного была проявлением того же инстинкта, который заставляет мужчину вешать на жену драгоценности. Выпивка превратилась в предмет гордости и некий символ респектабельности.

По утрам Энтони просыпался измотанным, нервным и озабоченным. Тихие летние сумерки и лиловая прохлада утра не вызывали никаких эмоций. И каждый день лишь на краткое мгновение, ощущая теплоту обновленной жизни после первого коктейля с виски, его разум обращался к переливающимся яркими красками мечтам о грядущих наслаждениях. Таково общее наследие счастливых и обреченных. Но скоро радужному настроению наступал конец. По мере того как Энтони все больше пьянел, грезы тускнели, и он превращался в охваченный смятением беспокойный призрак. Блуждал в таинственных лабиринтах сознания, строил непредсказуемые планы. В лучшем случае испытывал непреодолимое презрение или погружался в глубокое

уныние, вызванное пьяным отупением. Однажды июньским вечером он вконец рассорился с Мори из-за полной ерунды. На следующее утро припомнил, что все началось с разбитой бутылки шампанского. Мори посоветовал Энтони протрезветь, и тот, смертельно обидевшись, с видом оскорбленного достоинства поднялся из-за стола, схватил за руку умирающую со стыда Глорию и чуть ли не силой поволок в такси. А Мори остался с тремя несъеденными ужинами и билетами в оперу.

Подобные фиаско с оттенком трагизма вошли в привычку, и когда случались, Энтони уже ничего не предпринимал, чтобы загладить вину. Если Глория начинала возмущаться — хотя в последнее время она предпочитала погружаться в презрительное молчание, — он либо занимал глухую оборону и становился озлобленным, либо с мрачным видом уходил из дома. Но ни разу с того злополучного инцидента на перроне в Редгейте не поднял на Глорию руку, хотя сдерживал его лишь неясный инстинкт, и этот факт приводил Энтони в неистовую ярость. Несмотря на то что Глория по-прежнему оставалась для Энтони самым дорогим существом на свете, он все чаще испытывал к ней нарастающую ненависть.

Судьи отдела по апелляциям до сих пор не объявили официального решения, однако после очередной отсрочки наконец утвердили постановление суда низшей инстанции, при двух голосах против. Теперь апелляционный иск был возбужден против Эдварда Шаттлуорта. Дело передавалось в суд последней инстанции, и супругам снова предстояло бесконечно долгое ожидание. Полгода, а может, год. Дело утратило реальность, стало далеким и недосягаемым, как небеса.

В течение всей прошлой зимы мелкий, но неотступно преследующий вопрос отравлял жизнь. Дело касалось серой беличьей шубки для Глории. На Пятой авеню на каждом шагу встречались дамы, укутанные в беличьи меха. Женщины напоминали детскую игрушку «волчок». Выглядели свиноподобными и непристойными, похожими на содержанок, которые маскируют свое двусмысленное положение за счет богатства сего женского одеяния в анималистическом стиле. Но несмотря ни на что, Глории хотелось серую беличью шубку.

В ходе обсуждения этого вопроса, а вернее, ссор по его поводу — так как чаще, чем в первый год семейной жизни, любая дискуссия пере-

растала в ожесточенную перепалку, где градом сыпались фразы «ну разумеется», «совершенно возмутительно», «и тем не менее это так» и верх выразительности «но несмотря на это», — они пришли к выводу, что позволить себе такую покупку не могут. И постепенно беличья шубка сделалась символом растущего беспокойства супругов по поводу создавшегося финансового положения.

Для Глории сокращение доходов представляло собой явление поразительное, беспрецедентное и не поддающееся объяснению. Сам факт, что нечто подобное могло происходить в течение пяти лет, воспринимался чуть ли не как жестокая насмешка зловредного Господа Бога. Когда они с Энтони поженились, семь с половиной тысяч казались приличной для молодой пары суммой, особенно если принять во внимание ожидаемые миллионы. До Глории не доходило, что их доход уменьшается не только в количественном выражении, но одновременно падает и покупательная способность. Однако выплата пятнадцати тысяч задержанного гонорара мистера Хейта вдруг сделала этот факт абсолютно очевидным. После призыва Энтони в армию супруги подсчитали, что их доход составляет более четырех сотен в ме-

сяц, при том что доллар уже и тогда падал в цене. Тем не менее по возвращении Энтони в Нью-Йорк обнаружилось, что дела находятся в еще более плачевном состоянии. Капиталовложения приносили всего четыре с половиной тысячи в год. И хотя завершение дела о завещании маячило заманчивым миражом, отодвигаясь с каждым разом все дальше, а опасная черта финансового краха приближалась с каждым днем, они решили, что жить, не выходя за рамки основного дохода, просто невозможно.

Итак, Глория обходилась без беличьих мехов и всякий раз, проходя по Пятой авеню, переживала по поводу своей изрядно поношенной коротенькой шубейки из шкуры леопарда, безнадежно вышедшей из моды. Каждый месяц приходилось продавать по облигации, и все равно после оплаты счетов оставшуюся сумму целиком поглощали ненасытные текущие расходы. По расчетам Энтони получалось, что их капитала хватит еще на семь лет. И потому сердце Глории переполнилось жестокой обидой. За одну неделю затянувшейся безумной оргии, во время которой Энтони, повинуясь эксцентричному капризу, сбросил с себя в театре пиджак, жилет и рубашку, после чего его удалось выдворить с помощью набросившихся

всем скопом билетеров, они потратили сумму, вдвое превосходящую стоимость вожделенной беличьей шубки.

Стоял ноябрь, больше похожий на бабье лето, и теплая-претеплая ночь, никому не нужная, так как лето уже завершило свою работу. Бейсболист Бейб Рут впервые побил рекорд по «хоумранам», а Джек Демпси сломал челюсть Джессу Уилларду в Огайо. В Европе, как всегда, у определенного количества детей раздувались от голода животы, и дипломаты занимались привычным делом — охраняли покой в мире, готовя его к будущей войне. В Нью-Йорке «призывали к порядку» пролетариат, а на футбольных матчах за Гарвард, как правило, ставили пять против трех. Наступил настоящий мир, ознаменовавший начало новой эры.

Наверху, в спальне квартиры на Пятьдесят седьмой улице Глория ворочалась с боку на бок в постели, время от времени поднималась, чтобы сбросить мешавшее одеяло и попросить лежавшего рядом без сна Энтони принести стакан холодной воды. «Не забудь положить лед, — напутствовала она мужа. — Вода в кране теплая».

Сквозь прозрачные занавески виднелся лунный диск над крышами, а над ним — золотые

отблески с Таймс-сквер. Глория смотрела на эти два не сочетающиеся между собой источника света, а сознание тщательно перерабатывало некое ощущение или, вернее, сложное переплетение разных ощущений. Они не давали покоя весь минувший день, а также день вчерашний, и еще раньше, до того времени, когда она могла мыслить последовательно и ясно. То есть в период службы Энтони в армии.

В феврале ей исполняется двадцать девять лет. Этот месяц приобретал грозный, неотвратимо надвигающийся смысл, заставляя проводить в тягостных размышлениях наполненные смутной тревогой лихорадочные часы. Неотступно терзала мысль: не растратила ли она попусту свою начавшую едва заметно увядать красоту? И существует ли понятие полезности для любого качества, ценность которого ограничена суровыми моральными устоями, преодолеть которые невозможно?

Несколько лет назад, когда Глории исполнился двадцать один год, она написала в дневнике: «Красота существует лишь для того, чтобы ею восхищались, обожали, бережно собирали ее плоды, чтобы потом бросить их, подобно букету роз, своему возлюбленному, своему избраннику. И

сейчас, насколько я могу судить, с моей красотой следует обращаться именно так…»

И теперь весь безжизненный ноябрьский день под грязно-белым небом Глория думала, что, возможно, ошибалась. Сохраняя в чистоте свой главный дар, она не искала новой любви. Когда пламя первой страсти потускнело, стало затухать, а потом и вовсе погасло, она решила сберечь… а что, собственно, она берегла все эти годы? Глория пришла в замешательство, так как перестала понимать, что именно лелеет: воспоминания о прежних чувствах или принципиальное понятие чести? Одолевали сомнения, имелись ли вообще какие-либо моральные принципы в выбранном образе жизни. Когда она без забот и сожалений прогуливалась по самой оживленной и радостной из существующих тропинок, хранила гордость, всегда оставаясь собой и делая только то, что казалось прекрасным. Всем мужчинам, начиная с первого мальчика в воротничке студента Итона, «девушкой» которого она считалась, и кончая случайно встреченным прохожим, чьи глаза, задержавшись на ней, вспыхнули оценивающим блеском, требовалась только ни с чем не сравнимая непорочность. И Глория вкладывала ее в каждый ненароком брошенный взгляд и

очередную лишенную логики фразу. А она всегда имела обыкновение говорить бессвязными обрывочными предложениями, чтобы отдалиться на недосягаемое расстояние в ореоле неземного сияния, окружив себя сплетением пленительно прекрасных иллюзий. Для пробуждения лучших чувств в мужских душах, даря возвышенное счастье и столь же возвышенное отчаяние, нужно оставаться неприступно гордой и не допустить осквернения, даже растворяясь в нежности под властью неистовой страсти и желания принадлежать любимому.

Глория в глубине души понимала, что никогда не хотела иметь детей. Ее отталкивала приземленная реальность и невыносимая мысль о беременности, представляющей угрозу для красоты. Глории хотелось уподобиться наделенному разумом цветку и по возможности продлить такое существование, всячески оберегая себя. И пусть сентиментальность сколь угодно долго цепляется за иллюзии, но ироничная душа Глории коварно нашептывает, что материнство является привилегией самки бабуина. В мечтах ей виделись туманные образы воображаемых детей, которые всего лишь являлись безупречным символом ее ранней идеальной любви к Энтони.

В конце концов, только красота ее никогда не подводила. Глория не встречала красоты, равной своей. И все доводы, основанные на этике и эстетике, меркли перед роскошными своей реальностью бело-розовыми ножками, девственно совершенным телом и по-детски пухлым ртом — материальным воплощением поцелуя.

В феврале ей исполняется двадцать девять. По мере приближения конца долгой ночи в Глории крепла уверенность, что она в компании со своей драгоценной красотой должна с максимальной пользой провести оставшиеся три месяца. Поначалу она не знала, как это осуществить, но постепенно решение созрело само по себе в виде давно манившего экрана. На сей раз Глория была настроена серьезно. Там, где нужда оказалась бессильной, к решительным действиям подтолкнул страх. Энтони во внимание не принимался. Убогий духом, сломленный жизнью слабак с налитыми кровью глазами. Хотя временами она все еще испытывает к мужу нежность. В феврале Глории исполнится двадцать девять — остается сто дней, это много. И завтра же она пойдет к Блокмэну.

Приняв такое решение, Глория почувствовала облегчение. Ее утешало, что каким-то образом

можно продлить иллюзию красоты, запечатлеть на целлулоидной пленке, после того как реальная красота увянет. Итак, решено — завтра.

На следующее утро Глория проснулась больной и разбитой. Попыталась выйти на улицу и не упала только потому, что успела ухватиться за почтовый ящик возле парадной двери. Лифтер из Мартиники помог подняться наверх. Глория легла на кровать и стала ждать возвращения Энтони, у нее даже не хватило сил расстегнуть бюстгальтер.

Пять дней она пролежала с инфлюэнцей, которая, подобно свернувшему за угол и плавно перетекшему в зиму ноябрю, переросла в двустороннюю пневмонию. В затуманенном лихорадочным бредом сознании она бродила по неосвещенному дому, заглядывая в каждую комнату в поисках матери. Больше всего на свете Глории хотелось вновь стать маленькой девочкой, о которой заботится покладистая, но более совершенная сила, пусть не слишком умная, но более стойкая и надежная, чем она сама. А еще казалось, что единственный возлюбленный, которого она желала и ждала всю жизнь, так и остался плодом воображения.

Odi Profanum Vulgus[39]

Однажды в разгар болезни с Глорией произошел странный случай, озадачивший приглашенную медсестру мисс Макговерн. Уже наступил полдень, но в комнате больной было темно и тихо. Мисс Макговерн стояла рядом с кроватью, готовя какое-то лекарство, как вдруг миссис Пэтч, которая до того крепко спала, села на кровати и разразилась страстной речью.

— Миллионы людей, — в неистовстве бормотала она, — карабкаются, как крысы, лопочут, словно обезьяны, и жутко смердят… обезьяны! Или, пожалуй, вши. За один-единственный, построенный с утонченной роскошью дворец… скажем, на Лонг-Айленде… или пусть даже в Гринвиче… за один дворец с картинами старых мастеров и изящными украшениями… с аллеями деревьев и зелеными лужайками, видом на синее море, с красивыми людьми в изысканных одеждах… Я бы пожертвовала сотнями тысяч, миллионами. — Она с трудом подняла руку и щелкнула пальцами. — Мне на них наплевать…

---

[39] notes: 39
Презираю невежественную толпу (*лат.*).

ясно?

Во взгляде, которым одарили мисс Макговерн по завершении речи, светились странное лукавство и необычная сосредоточенность. С коротким презрительным смешком миссис Пэтч упала на подушки и снова погрузилась в сон.

Мисс Макговерн недоумевала, стараясь понять, какие сотни тысяч и миллионы миссис Пэтч намеревалась принести в жертву ради своего дворца. В конце концов сиделка пришла к выводу, что это доллары… хотя вроде бы речь велась не о них.

Кинематограф

На дворе стоял февраль, и до дня рождения оставалось семь дней. Обильно выпавший снег заполнил поперечные улицы, как набившаяся в щели пола грязь, превращаясь в мокрое месиво, которое выдворялось в сточные канавы с помощью шлангов, принадлежащих отделу по очистке улиц. Переменчивый ветер, не ставший от того менее обжигающим и пронизывающим до костей, врывался в открытые окна гостиной, принося мрачные тайны темных переулков и унося в своем круговороте из квартиры Пэтчей

затхлый запах табачного дыма.

Глория, закутанная в теплое кимоно, зашла в выстуженную комнату и, сняв телефонную трубку, позвонила Джозефу Блокмэну.

— Вы имеете в виду мистера Джозефа Блэка? — переспросила телефонистка на студии «Филмз пар экселенс».

— Блокмэн, Джозеф Блокмэн. «Бэ», «эль», «о»…

— Мистер Джозеф Блокмэн сменил имя, и теперь он Блэк. Желаете с ним поговорить?

— Ах да, разумеется. — Испытывая чувство неловкости, Глория вспомнила, как некогда прямо в лицо называла этого человека Блокхедом.

С его кабинетом соединили после обмена любезностями с еще двумя женскими голосами, последний из которых принадлежал личной секретарше мистера Блэка. Глорию попросили представиться… И только услышав в микрофоне журчание знакомого, но несколько холодноватого голоса, она вспомнила, что не виделась с Блокмэном уже три года. Итак, он сменил имя и называет себя Блэком.

— Мы можем встретиться? — спросила Глория непринужденным тоном. — Разумеется, по делу. Наконец-то я решила сниматься в кино.

— Очень рад. Всегда считал, что это занятие

вам подойдет.

— Можно устроить для меня пробы? — осведомилась Глория самоуверенным тоном, свойственным всем красивым женщинам, а также женщинам, которые когда-либо считали себя таковыми.

Блокмэн заверил, что все зависит от ее желания посетить киностудию. В любое время? Прекрасно, он позвонит сегодня же и сообщит, когда прийти. Разговор завершился традиционным обменом любезностями с обеих сторон. А потом с трех до пяти Глория просидела у телефона — но безрезультатно.

На следующее утро пришло письмо, которое обрадовало и взволновало:

«Дорогая Глория! По счастью, мне на глаза попался один сценарий, который, по-моему, вас заинтересует. Мне бы хотелось, чтобы вы начали с роли, где вас заметят. В то же время, если такую красивую девушку, как вы, ввести в картину наравне с одной из побитых молью «звезд», что вечно доставляют массу хлопот на любой киностудии, пойдут ненужные толки. Но в фильме Перси Б. Дебриса есть роль молодой особы, которая, как мне кажется, просто создана для вас и принесет известность. В главных ролях заняты

Уилла Сэйбл и Гастон Мирс, а вы, полагаю, могли бы сыграть младшую сестру героини.

В любом случае режиссер картины Перси Б. Дебрис согласен устроить пробы, если вы приедете на студию послезавтра, в четверг, в десять. Если время подходит, я вас встречу.

С наилучшими пожеланиями, всегда преданный вам

Джозеф Блэк».

Глория решила не посвящать в свои дела Энтони до окончательного прояснения ситуации и на следующее утро, пока муж спал, быстро оделась и выскользнула из дома. По ее мнению, в зеркале предстала та же картина, что и всегда. Однако Глория тревожилась, не осталось ли на лице следов болезни. Она еще не успела набрать свой обычный вес, и несколько дней назад ей показалось, что щеки слегка запали. Но потом решила, что это явление временное и сегодня она выглядит, как всегда, свежо. Глория надела новую шляпку и, поскольку погода стояла теплая, оставила шубейку из шкуры леопарда дома.

На студии «Филмз пар экселенс» о приходе Глории доложили по телефону и сообщили, что мистер Блэк сейчас спустится. Глория осмотрелась. Появились две девушки в сопровождении

толстого коротышки в пиджаке с прорезными карманами. Одна из девушек показала на стопку тонких пакетов высотой по грудь взрослому человеку и футов двадцати в длину, сваленных у стены.

— Студийная почта, — пояснил толстяк. — Фотографии «звезд», работающих с «Филмз пар экселенс».

— О!

— Каждая с автографом Флоренс Келли, Гастона Мирса или Макдоджа. — Он доверительно подмигнул. — Во всяком случае, когда какая-нибудь Минни Макглук из Саук-Сентр получит заветную фотографию, то непременно решит, что это настоящий автограф.

— Так они просто наштампованы?

— Разумеется. Чтобы подписать все фотографии, нужно заниматься этим по восемь часов в день. Говорят, Мэри Пикфорд рассылка фотографий ежегодно обходится в пятьдесят тысяч долларов.

— Подумать только!

— Да-да, пятьдесят тысяч. Но лучшего способа рекламы нет…

Троица скрылась из виду, и в этот момент появился Блокмэн, обходительный смуглоли-

цый джентльмен, элегантно вписывающийся в сорокапятилетний возраст. Поприветствовав Глорию с сердечной любезностью, он заявил, что та нисколько не изменилась за три года. Затем он проводил Глорию в просторный, словно оружейный склад, зал со множеством незнакомых предметов. Местами помещение пересекали мерцающие полосы света. На каждой декорации красовалась выведенная крупными белыми буквами надпись: «Гастон Мирс компани», «Макдодж компани» или просто «Филмз пар экселенс».

— Приходилось прежде бывать на киностудии?

— Нет, никогда.

Глории здесь нравилось. Отсутствовал удушающий запах грима и грязных кричащих костюмов, который несколько лет назад вызвал отвращение за кулисами Театра музыкальной комедии. Профессия киноактера окрашена в яркие утренние тона, и весь реквизит выглядит роскошным и новым. На съемочной площадке с декорациями в виде маньчжурских драпировок расхаживал самый настоящий китаец и выполнял подаваемые в мегафон команды. Он походил на огромную блестящую механическую куклу, что представляет поучительную древнюю притчу в назидание

современному поколению соплеменников.

К ним подошел рыжеволосый человек и заговорил с Блокмэном привычным почтительным тоном.

— Приветствую вас, Дебрис, — откликнулся Блокмэн. — Хочу представить миссис Пэтч. Как я уже говорил, она изъявила желание сниматься в кино. Ну ладно, куда нам пройти?

Мистер Дебрис — великий Перси Б. Дебрис, подумала Глория, — проводил их на площадку, имевшую вид кабинета. Вокруг камеры, установленной у переднего края площадки, стояли три стула, на которые они и уселись.

— Бывали раньше на киностудиях? — поинтересовался мистер Дебрис, окидывая Глорию взглядом, который являл собой воплощение проницательности. — Нет? Тогда я объясню, чем мы займемся. Прямо сейчас проведем так называемую пробу, чтобы выяснить, насколько вы фотогеничны и естественны в кадре и как воспринимаете указания режиссера. Нервничать не надо. Я просто попрошу оператора отснять несколько метров пленки с эпизодом, который отмечен в сценарии. А пока давайте решим, что нужно делать.

Он достал отпечатанный на машинке сценарий

фильма и принялся объяснять эпизод, который предстояло сыграть. Оказывается, некая Барбара Уэйн тайно вышла замуж за младшего компаньона фирмы, чей кабинет и расположился на съемочной площадке. Вот Барбара случайно заходит в пустую комнату и, естественно, проявляет интерес к месту, где работает муж. Тут раздается телефонный звонок, и после некоторых колебаний она снимает трубку. И узнает, что мужа сбила машина и он погиб на месте. Барбара в смятении. Поначалу она не понимает, что произошло, но потом до нее доходит весь ужас случившегося, и девушка падает без чувств на пол.

— Вот, собственно, и все, что требуется, — сказал в заключение мистер Дебрис. — Я встану вот здесь и буду подсказывать, как себя вести, а вы должны сыграть сцену так, будто меня нет, то есть по своему усмотрению. Не бойтесь, мы не станем судить слишком строго. Просто хотим получить общее представление о вашем экранном образе.

— Понятно.

— Необходимый грим найдете в комнате за съемочной площадкой. Только не переусердствуйте. Особенно с красным.

— Понятно, — повторила Глория, кивая и нервно облизывая губы.

Проба

Глория вошла на площадку через настоящую деревянную дверь и тщательно ее за собой закрыла. И сразу же почувствовала неловкость по поводу своей одежды, не соответствующей случаю. Надо было купить что-нибудь более «девичье», пока еще можно позволить себе платье в подобном стиле. И оно стало бы выгодным вложением денег, удачно подчеркнув по-юношески грациозную фигуру владелицы.

Голос мистера Дебриса, донесшийся из ослепительно яркого пятна белого света, резким толчком вернул Глорию к действительности.

— Так, вы оглядываетесь, ищете мужа… его здесь нет… и вы начинаете осматривать кабинет…

До сознания Глории донеслось монотонное жужжание камеры. Звук вызывал раздражение. Она невольно бросила взгляд в сторону камеры и тут же встревожилась, правильно ли наложила грим. Потом усилием воли заставила себя играть сцену. Никогда в жизни движения собственного тела не казались такими неуклюжими и банальными, начисто лишенными выразительности и

изящества. Глория праздно бродила по кабинету, брала в руки какие-то предметы, смотрела на них пустым взглядом. Потом принялась изучать потолок и пол и не имеющий никакого отношения к делу карандаш на письменном столе. Наконец, не в силах что-либо выразить, она не придумала ничего лучшего, как выдавить из себя улыбку.

— Так, хорошо. Теперь звонит телефон: дзынь-дзынь-дзынь. Вы медлите, а потом поднимаете трубку.

Глория изобразила нерешительность, а потом, как ей показалось, слишком быстро взяла трубку.

— Слушаю.

Голос звучал невыразительно и ненатурально. Слова разносились звоном по пустой площадке, лишенные жизненной силы, будто их произносит призрак. Нелепость предъявленных требований привела Глорию в смятение. Неужели предполагается, что она вот так, с ходу, сможет поставить себя на место несуразной, недоступной для понимания нормального человека героини?

— Нет-нет, еще рано! Теперь слушайте: Джона Саммера сбила машина, и он скончался на месте!

Глория чуть приоткрыла детский ротик и тут

же услышала:

— Бросайте трубку! С грохотом!

Она послушно выполнила указание режиссера, по-прежнему не отрывая широко раскрытых глаз от стола. Наконец-то она слегка приободрилась, чувствуя, как растет уверенность в своих силах.

— Господи! — воскликнула Глория и подумала, что голос звучит неплохо. — О Боже мой!

— Теперь падайте без чувств!

Подавшись вперед, она упала на колени, а потом рухнула ничком на пол и замерла, не дыша.

— Хорошо, хватит! — крикнул мистер Дебрис. — Достаточно, благодарю. Все, вставайте.

Глория поднялась, отряхнула юбку, пытаясь выглядеть достойно.

— Ужасно! — выдохнула она с натянутым смешком, чувствуя, как бешено колотится сердце. — Отвратительно, правда?

— Вам не понравилось? — осведомился мистер Дебрис с любезной улыбкой. — Показалось тяжело? Ничего не могу сказать, пока не просмотрю отснятый материал.

— Разумеется, — согласилась Глория, стараясь уловить скрытый смысл в его замечании, но не сумела. Обычные дежурные слова, которые и следовало сказать, чтобы не слишком обнаде-

живать.

Затем она покинула студию. Блокмэн обещал сообщить результат пробы в ближайшие дни. Слишком гордая, чтобы настаивать на более конкретном ответе, Глория вдруг ощутила сбивающую с толку неуверенность. Только сейчас, когда решительный шаг был сделан, она поняла, насколько в последние три года стала привычной поселившаяся в глубинах сознания мысль об успешной карьере в кино. Всю ночь Глория мысленно перебирала каждую деталь, которая могла повлиять на решение в ее пользу или наоборот. Тревожило, хорошо ли она загримировалась и не слишком ли серьезно себя вела на площадке, пробуясь на роль двадцатилетней девушки. Совсем не нравилась собственная игра. Первый выход был ужасным. По сути дела, до сцены с телефоном она никак не могла себя проявить — а потом проба закончилась. Если бы они только поняли! Глории страшно хотелось попытаться еще раз. Тут же возникла безумная идея позвонить утром на студию и попросить, чтобы устроили повторную пробу. Но этот порыв угас так же внезапно, как и появился. Снова просить Блокмэна об одолжении казалось шагом невежливым и недипломатичным.

На третий день ожидания Глория пребывала в крайне взвинченном состоянии и, не переставая, покусывала внутреннюю часть щеки, пока та не превратилась в кровоточащую рану и вызывала жгучую боль, когда ее промывали листерином. Она так самозабвенно ссорилась с Энтони, что тот в приступе ярости удрал из дома. Необычная холодность жены сильно напугала, и через час он позвонил, извинился и сообщил, что ужинает в клубе «Амстердам», единственном, в котором пока сохранил членство.

Уже шел второй час. Позавтракала Глория в одиннадцать и теперь решила перед ленчем прогуляться в Центральном парке. Почту принесут в три, а к этому времени она успеет вернуться.

Стоял один из теплых дней, какие случаются наступившей раньше положенного срока весной. На дорожках парка подсыхали лужицы, и маленькие девочки с серьезным видом катали под редкими деревьями белые коляски с куклами. За ними следом шли парами скучающие нянюшки, обсуждая между собой страшные тайны, которые обычно интересуют женщин их профессии.

Золотые часики Глории показывали два. Надо бы купить новые, те овальные из платины, инкрустированные бриллиантами. Только стоят

они подороже беличьей шубки и сейчас недоступны, впрочем, как и все остальное. Если только дома ее не ждет нужное письмо, то самое, что исправит положение… примерно через час, а точнее, пятьдесят восемь минут. Десять минут, чтобы добраться до дома, остается в запасе сорок восемь… нет, уже сорок семь минут.

Девочки с невозмутимым видом катали коляски по залитым солнцем, но еще не просохшим дорожкам, нянюшки болтали о своих невероятных тайнах. Кое-где появлялись потрепанного вида мужчины, присаживались на влажные скамейки с расстеленными газетами. Они не имели ничего общего с этим восхитительным сияющим днем и наводили на мысли о грязном снеге, который на последнем издыхании дремал по закоулкам в ожидании истребления.

Прошла целая вечность. Глория зашла в вестибюль и увидела лифтера из Мартиники, который застыл нелепой фигурой в пятне света, падающего сквозь витражное стекло.

— Есть для нас почта? — поинтересовалась Глория.

— Наверху, мадам.

Мерзко взвизгнула панель управления, и Глория терпеливо ждала, пока лифтер возился с

телефоном. Лифт со стонами двинулся наверх, вызывая тошноту: этажи проплывали мимо застывшими во времени столетиями, и каждый, исполненный важности, сулил беду и обличал. Письмо белым струпом проказы валялось на грязном кафельном полу в прихожей.

«Дорогая Глория! Вчера днем мы просмотрели отснятую пробу, и у мистера Дебриса создалось впечатление, что роль рассчитана на более молодую женщину. Он отметил неплохую игру и сказал, что еще есть характерная роль заносчивой богатой вдовы, которую, по его мнению, вы могли бы...»

Взгляд убитой горем Глории заскользил вверх, пока не остановился на нише под окном. Но противоположной стены она не видела, так как серые глаза застилали слезы. Глория прошла в спальню, комкая в руке письмо, и опустилась на колени перед высоким зеркалом, встроенным в створку платяного шкафа. Сегодня ее двадцать девятый день рождения, и мир медленно тает перед глазами. Она попробовала себя убедить, что дело в неудачном гриме, но все чувства были до предела обострены и не реагировали на увещевания, которые предлагал разум.

Глория напряженно всматривалась в свое ли-

цо, пока не свело скулы. Да, щеки чуть впалые, а от уголков глаз разбегаются в разные стороны тоненькие морщинки. И глаза стали другими. Да, они определенно не такие, как прежде! И вдруг Глория поняла, какие у нее сейчас усталые глаза.

— Ах, мое прелестное личико! — страстно зашептала она с отчаянием. — Милое мое личико! Не хочу жить без моего прекрасного личика! Господи, что же с ним стало?

Потом она еще ближе склонилась к зеркалу и, как на кинопробе, упала ничком на пол и разрыдалась. Впервые в жизни движения Глории выглядели неуклюжими.

Глава третья
Нет вопросов!

Уже целый год Энтони и Глория вели себя как актеры, растерявшие костюмы и утратившие гордость, и этот факт не позволял доиграть пьесу на трагической ноте. А потому, когда однажды вечером миссис и мисс Халм отказались узнать их при встрече в отеле «Плаза», все объяснялось просто — они, подобно большинству людей, питали отвращение к зеркальным отражениям своей атавистической сущности.

Новая квартира, за которую супруги платили восемьдесят пять долларов в месяц, находилась на Клермонт-авеню, в двух кварталах от реки Гудзон, в туманных закоулках улиц под сотыми номерами. Они прожили здесь уже месяц, когда однажды вечером в гости наведалась Мюриэл Кейн.

Спустились дивные, безупречные сумерки на исходе весны. Энтони возлежал на диване, созерцая Сто двадцать седьмую улицу, ведущую к реке. Поблизости виднелся лишь одинокий клочок зелени, засаженный деревьями, которые сулили Риверсайд-драйв жалкое подобие тени. За рекой просматривалась полоска скал Пэлисейдс, увенчанная уродливым каркасом парка аттракционов. Но вскоре с наступлением темноты паутина из металла засверкает на фоне неба, словно заколдованный дворец, вознесшийся над мягким блеском вод тропического канала.

На соседних улицах, как обнаружил Энтони, играли дети, и улицы эти выглядели немногим лучше тех, что попадались по дороге в Мариэтту. Примерно в том же духе, кое-где с шарманками и девушками, которые прохладным вечером прогуливаются парами до аптеки на углу, чтобы купить мороженое с крем-содой, и предаются

безудержным мечтаниям под низко нависшим над головой небом.

Темнеет, и играющие внизу дети что-то возбужденно выкрикивают, но их слова не долетают до открытых окон. И Мюриэл, что пришла навестить Глорию, разговаривает с Энтони из погруженного в темноту противоположного угла комнаты.

— Зажги лампу. Что за радость сидеть в потемках, — попросила она. — Без света здесь как-то уж больно мрачно.

Превозмогая усталость, он поднялся и исполнил просьбу; серые просветы оконных стекол исчезли. Энтони потянулся. За последнее время он отяжелел, над ремнем нависал дряблый живот, все тело раздалось и обрюзгло. Энтони исполнилось тридцать два года, а его разум превратился в беспорядочное нагромождение наводящих уныние руин.

— Хочешь выпить, Мюриэл?

— Нет уж, уволь. Я с этим покончила. А чем ты сейчас занимаешься, Энтони? — поинтересовалась гостья.

— Ну, все время отнимает судебный процесс, — безразличным голосом откликнулся он. — Дело передали в апелляционный суд — к осени все должно решиться в ту или иную сторону. Возник-

ли возражения по поводу полномочий апелляционного суда рассматривать подобные случаи.

Мюриэл, склонив голову набок, прищелкнула языком.

— Подумать только! Никогда не слышала, чтобы судебное разбирательство тянулось так долго.

— Так происходит со всеми делами по завещаниям, — бесцветным голосом пояснил Энтони. — Говорят, только в редких случаях на них уходит меньше четырех-пяти лет.

— О Господи! — Тут Мюриэл отважно поменяла курс: — А почему тебе не устроиться на работу, лодырь!

— Куда? — спросил в лоб Энтони.

— Да куда угодно. Ты ведь еще молод.

— Если это комплимент, весьма признателен, — сухо откликнулся он и неожиданно скучающим голосом добавил: — Неужели тебя и правда беспокоит мое нежелание работать?

— Меня — нисколько, а вот многих людей, которые утверждают, что…

— Господи! — горестно воскликнул Энтони. — Похоже, за три года не слышал в свой адрес ничего, кроме диких выдумок и глупых наставлений, якобы преследующих благую цель. Надоело! Если не желаете с нами знаться, оставьте в покое.

Я же не обременяю своей персоной так называемых бывших друзей. И не нуждаюсь ни в благотворительных визитах, ни в критических замечаниях под видом дружеского совета. — Секунду помолчав, он заговорил извиняющимся тоном: — Прости, Мюриэл, но правда, не стоит корчить из себя благодетельницу, добровольно вызвавшуюся поработать в трущобах, даже если пришла в гости к «низам среднего класса». — Энтони с упреком посмотрел на нее покрасневшими глазами — глазами, которые некогда поражали бездонной, ничем не замутненной синевой, а теперь выглядели измученными и подслеповатыми, вконец испорченными чтением в пьяном виде.

— Разве можно говорить такие ужасные вещи? — возмутилась Мюриэл. — Тебя послушать, так получается, вы с Глорией принадлежите к низшему классу.

— А к чему притворяться, что мы к нему не имеем отношения? Ненавижу людей, строящих из себя утонченных аристократов, когда они не способны создать даже видимость и соблюсти внешние приличия.

— По-твоему, чтобы считаться аристократом, надо непременно иметь деньги?

Ну, Мюриэл… перетрусившая демократка!

— Разумеется. Аристократизм — это лишь признание факта, что определенные черты, которые свидетельствуют о благородстве, к примеру, мужество, честь, красота и тому подобное, развиваются наилучшим образом в благоприятных условиях, где их не уродуют невежество и нужда.

Мюриэл, закусив нижнюю губу, качала из стороны в сторону головой.

— А я скажу, что если ты из хорошей семьи, то на всю жизнь останешься славным человеком. В этом-то и заключается ваша с Глорией беда. Решили, если сейчас дела не слишком хороши, старые друзья стараются избежать общения с вами. Вы чересчур обидчивые…

— На самом деле, — перебил Энтони, — ты ведь ничего не знаешь. Для меня это вопрос гордости, а Глория в кои-то веки проявила достаточно благоразумия, согласившись не появляться там, где нас не хотят видеть. А люди не желают с нами общаться. Мы прямо-таки идеальный образец, недостойный подражания.

— Чепуха! И не пытайся омрачить пессимизмом солнечную террасу. Думаю, следует выбросить из головы все нездоровые мысли и пойти работать.

— Вот я весь перед тобой, мне тридцать два го-

да. Предположим, я найду место в какой-нибудь идиотской конторе и, возможно, через два года стану получать пятьдесят долларов в неделю. Если повезет и я вообще сумею найти работу. Ведь кругом полно безработных. Ладно, допустим, мне дадут пятьдесят долларов в неделю. Неужели думаешь, это сделает меня счастливее? Действительно веришь, что я смогу выдержать такую жизнь, если не получу дедовское наследство?

Мюриэл любезно улыбнулась.

— Ну, — заметила она, — возможно, это и умно, только полностью лишено здравого смысла.

Вскоре появилась Глория, и вместе с ней в комнату словно вошло темное облако неясной грусти. Она обрадовалась, увидев Мюриэл, но воли чувствам не дала, а Энтони лишь небрежно бросила «Привет!».

— Мы вот с твоим мужем занимаемся обсуждением философских вопросов, — сообщила неугомонная мисс Кейн.

— Затронули ряд фундаментальных понятий, — пояснил Энтони со слабой улыбкой, от которой чуть дрогнули щеки, казавшиеся еще бледнее под двухдневной щетиной.

Не замечая его иронии, Мюриэл изложила предмет спора, после чего Глория с невозмути-

мым видом ответила:

— Энтони прав. Никакого удовольствия выходить в люди, если все время ловишь на себе определенного рода взгляды.

— А по-моему, — вмешался в их разговор Энтони, не в силах скрыть нахлынувшую горечью, — уж если Мори Ноубл, что считался моим лучшим другом, не желает с нами встречаться, самое время перестать докучать людям. — В его глазах застыли слезы обиды.

— Ну, что касается Мори Ноубла, сам виноват, — холодно заметила Глория.

— Неправда.

— Чистая правда.

Мюриэл поспешила вмешаться:

— На днях я встретила девушку, которая знакома с Мори Ноублом. Так вот она говорит, что Мори бросил пить. И вообще стал ужасно скрытным.

— Не может быть!

— Вообще не пьет и зарабатывает уйму денег. Он сильно изменился после войны. Собирается жениться на девушке из Филадельфии, Сэси Ларрэби, миллионерше… Во всяком случае, такие ходят слухи.

— Ему тридцать три года, — размышлял вслух Энтони. — Трудно представить, что он женится.

Я всегда считал его человеком выдающимся.

— Был таким когда-то, — буркнула Глория, — в некотором роде.

— Но люди выдающиеся не посвящают себя бизнесу. Или посвящают? И что становится с теми, кого хорошо знал и с кем имел много общего?

— Вы отдаляетесь и становитесь чужими, — предположила Мюриэл с мечтательным видом.

— Люди меняются, — заключила Глория. — И все те качества, которые они не используют в повседневной жизни, покрываются паутиной.

— Во время последней встречи Мори заявил о намерении трудиться и забыть, что работать вообще ни ради чего не стоит, — припомнил Энтони.

Мюриэл тут же ухватилась за его слова.

— Вот и тебе нужно последовать его примеру! — воскликнула она с ликующим видом. — Разумеется, я не верю, что кто-нибудь станет работать бесплатно. Но по крайней мере хоть будет чем заняться. А как вы вообще проводите время? Вас не видно в «Монмартре», да и вообще нигде. Неужели экономите?

Глория презрительно хмыкнула, поглядывая на мужа.

— Ну, — обиделся Энтони, — и над чем сме-

ешься?

— Сам знаешь над чем, — невозмутимо ответила она.

— Над тем ящиком виски?

— Именно. — Она обратилась к Мюриэл: — Вчера мой муж выложил семьдесят пять долларов за ящик виски.

— И что из этого следует? Гораздо дешевле, чем покупать бутылками. И не надо делать вид, что ты не станешь его пить.

— По крайней мере я не пью в дневное время.

— Действительно, какое тонкое различие! — в бессильном гневе выкрикнул Энтони, вскакивая на ноги. — И вообще будь я проклят, если позволю всякий раз тыкать мне в нос этим несчастным виски и изводить попреками!

— Но я говорю правду.

— Ничего подобного! Осточертело выслушивать критику в свой адрес, да еще в присутствии гостей! — Энтони взвинтил себя до предела, и было заметно, как дрожат у него руки и плечи. — Значит, считаешь, во всем виноват я. Будто не ты подбиваешь меня на ненужные расходы… да и вообще изводишь на себя гораздо больше денег, чем я.

Теперь уже с места вскочила Глория.

— Не позволю разговаривать со мной в подобном тоне!

— И не надо, черт возьми!

Энтони стремительно выбежал из комнаты, и женщины услышали его шаги в коридоре, а потом с грохотом закрылась парадная дверь. Глория сидела, откинувшись в кресле, и лицо ее при свете лампы казалось обворожительным, спокойным и непроницаемым.

— О! — горестно воскликнула Мюриэл. — Что происходит?

— Ничего особенного. Он просто пьян.

— Пьян? Не может быть, Энтони — абсолютно трезвый. Он говорил…

Глория только покачала головой:

— А ничего и не заметно, пока он способен держаться на ногах. И говорит складно, если не волнуется. Да, говорит он даже лучше, чем в трезвом виде. Только ведь Энтони сидел весь день и пил, не считая времени, которое ушло на покупку газеты в киоске на углу.

— Ох, какой ужас! — Мюриэл искренне расстроилась, и на глаза навернулись слезы. — И часто такое случается?

— Часто ли он напивается?

— Нет, убегает из дома.

— Да, часто. Явится около полуночи, расплачется и станет просить прощения.

— А ты?

— Не знаю. Просто живем дальше, вот и все.

Две женщины сидели при свете лампы и смотрели друг на друга, каждая на свой лад беспомощная перед лицом действительности. Глория была по-прежнему красива, как всегда — с горящими румянцем щеками, в новом платье, опрометчиво купленном за пятьдесят долларов. Она надеялась уговорить Энтони сходить сегодня вечером в ресторан или в один из роскошных кинодворцов, где несколько мужчин обратят на нее внимание и ей, в свою очередь, не будет противно на них смотреть. Глории хотелось развеяться, потому что щеки пылали румянцем и новое платье очень ей шло, подчеркивая по-девичьи хрупкую фигуру. Приглашения теперь супруги получали крайне редко. Но Мюриэл она об этом не сказала.

— Глория, дорогая, как хотелось бы вместе поужинать, но я уже пообещала одному человеку. Ох, уже половина восьмого, мне надо бежать.

— Ну, в любом случае все равно ничего бы не вышло. Весь день плохо себя чувствую, и в рот ничего не лезет.

Проводив Мюриэл до двери, Глория вернулась

в комнату, выключила свет и, опершись локтями о подоконник, стала всматриваться в парк «Пэлисейдс», где в сверкающем огнями колесе обозрения, как в дрожащем зеркале, отражались лунные блики. Улица опустела, дети разошлись по домам, в доме напротив семья садилась ужинать. Люди то принимались бесцельно расхаживать вокруг стола, то садились, и, глядя на их нелепые движения, казалось, что кто-то ради забавы небрежно дергает их за ниточки.

Глория взглянула на часы. Уже восемь. Часть дня все же она провела с удовольствием. Сразу после полудня, когда прогуливалась по Бродвею, там, где он соединяется с Гарлемом, в районе Сто двадцать пятой улицы. Чуткие ноздри ловили разнообразные запахи, и вдруг ее неожиданно поразила необыкновенная красота итальянских детишек. Открытие повлияло на нее странным образом. Такое же действие в свое время оказывала Пятая авеню, когда Глория с безмятежной верой в свою красоту не сомневалась, что улица целиком принадлежит ей, каждый магазин со всем содержимым, и игрушки для взрослых, выставленные в сверкающих витринах… стоит лишь захотеть. А здесь, на Сто двадцать пятой улице, ходили отряды Армии спасения, на по-

рогах домов сидели старухи в пестрых шалях, детишки с сияющими на солнце волосами сжимали в грязных ручонках липкие леденцы… и предзакатное солнце, роняющее лучи на стены высоких многоквартирных домов. Повсюду богатый пряный колорит, как блюдо, приготовленное бережливым французским шеф-поваром. Не можешь удержаться и ешь с удовольствием, хотя и подозреваешь, что приготовлено оно, вероятнее всего, из разных остатков…

Глория вздрогнула от неожиданности, услышав стон пароходной сирены, донесшийся с реки и пролетевший над темными крышами. Она отклонилась назад и, когда воздушная занавеска соскользнула с плеч, включила свет. Уже было поздно. Припомнила, что в кошельке осталась какая-то мелочь, и сразу же оказалась перед выбором: спуститься вниз и выпить кофе с булочкой у станции метро, где вырвавшаяся на свободу подземка превращает Манхэттен-стрит в ревущую пещеру, или довольствоваться бутербродом с опостылевшей ветчиной у себя на кухне.

Через час воцарившаяся в комнате тишина сделалась невыносимой. Взгляд Глории бесцельно скользил от журнала к потолку, задерживаясь там на некоторое время. Вдруг она резко подня-

лась с места, чуть помедлила, покусывая палец, а затем подошла к буфету, взяла с полки бутылку виски и налила в стакан. Разбавив напиток имбирным ситро, она вернулась в кресло и дочитала статью в журнале. Там рассказывалось о последней вдове времен Войны за независимость, которая юной девушкой вышла замуж за старика ветерана Континентальной армии и умерла в 1906 году. Это показалось Глории страшно романтичным и странным — ведь эта женщина была ее современницей.

Перевернув страницу, она узнала, что кандидат в члены конгресса обвиняется оппонентом в атеизме. Однако удивление Глории тут же прошло, когда выяснилось, что обвинение ложное. Кандидат всего лишь отрицал вероятность чуда с пятью хлебами и двумя рыбами, но признался под нажимом, что верит в хождение по морю аки посуху.

Допив первый стакан, Глория налила вторую порцию. Переодевшись в халат и удобно устроившись на кушетке, она вдруг осознала, что несчастна, и по щекам градом покатились слезы. Глория задумалась об их причине: возможно, она просто жалеет себя. Сделала над собой усилие, чтобы перестать плакать. Но жалкое существова-

ние без искры надежды на счастье угнетало, и она только без конца покачивала из стороны в сторону головой. Дрожащие уголки губ опустились, будто их обладательница не желала смириться с приговором, вынесенным неизвестно кем и бог весть где. Глория не ведала, что этот жест стар как мир и нестерпимое, неизбывное горе научило сотни поколений выражать с его помощью неприятие, протест и растерянность перед лицом силы, более могущественной и неумолимой, чем сам Господь Бог, сотворивший человека по своему образу и подобию. Силой, перед которой Господь, существуй он на самом деле, оказался бы тоже беспомощным. И суть трагедии заключается в том, что эта сила никогда не дает ни ответов, ни объяснений, она неуловима, как воздух, и материальна в своей неотвратимости, как смерть.

Ричард Кэрамел

В начале лета Энтони перестал быть членом клуба «Амстердам», последнего, где еще до сих пор состоял. Он посещал клуб не чаще двух раз в год, и уплата членских взносов легла на плечи непосильным бременем. Энтони вступил в «Амстердам» после возвращения из Италии, потому

что его посещали дед и отец, а еще потому, что при возможности его членом без долгих размышлений стал бы любой здравомыслящий человек. Однако Энтони отдавал предпочтение «Гарварду», главным образом потому, что туда ходили Дик и Мори. Правда, с возникновением финансовых проблем «Амстердам» превратился для него в игрушку, которая с каждым днем становится все желаннее… Но в конце концов с ней, несмотря на некоторое огорчение, пришлось расстаться.

С десяток нынешних приятелей Энтони представляли собой прелюбопытную компанию. С некоторыми из них он познакомился в заведении под вывеской «У Сэмми» на Сорок третьей улице, куда, постучавшись в дверь и получив разрешение на вход от охранника из-за решетки, можно было зайти и посидеть за большим круглым столом, попивая вполне сносное виски. Именно там Энтони встретил человека по имени Паркер Эллисон, который в свое время считался отъявленным бездельником в Гарварде, а сейчас торопился промотать перепавшее по случаю внушительное состояние. Понятие Паркера Эллисона об оригинальности заключалось в том, чтобы разъезжать по Бродвею в красно-желтом гоночном автомобиле с двумя разодетыми в пух

и прах девицами с пустым взором. Паркер относился к типу мужчин, предпочитающих ужинать в обществе не одной, а двух дам, по той причине, что у него попросту не хватало фантазии поддерживать диалог.

Помимо Эллисона, был еще Пит Лайтелл, расхаживающий в сером котелке набекрень. Всегда при деньгах, он обычно пребывал в бодром расположении духа, а потому Энтони все лето и осень вел с ним беспредметные, нудные беседы и обнаружил, что Лайтелл не только говорит, но и думает заученными фразами. Его философия состояла из череды таких фраз, схваченных там и сям в процессе бурной и беспечной жизни. У Лайтелла имелись в запасе заготовленные высказывания о социализме, общеизвестные с незапамятных времен, и о том, что у каждого существует свой бог… а еще о крушении поезда, свидетелем которого он стал, и об ирландской проблеме, о женщинах, вызывающих уважение, и о бесполезности «сухого закона». Единственный раз его речь все же возвысилась над привычным словоблудием, при помощи которого Лайтелл освещал наиболее экстравагантные события в своей богатой происшествиями жизни. Тогда он принялся во всех подробностях обсуждать

плотские радости жизни. Оказывается, сей джентльмен был гурманом, тонким знатоком вин и ценителем определенного типа женщин, которому отдавал предпочтение.

Лайтелл являл собой пример самого обычного и вместе с тем выдающегося продукта цивилизации. Он принадлежал к девяти из десятка людей, которых ежедневно встречаешь на городской улице, — и при этом был не лучше лишенной шерсти обезьяны, в распоряжении которой два десятка ужимок и трюков. Он стал героем тысячи романов в жизни и искусстве. И одновременно являлся полным идиотом, степенно и вместе с тем до абсурда нелепо играющим роль в замысловатых и вызывающих неизменное изумление эпических шедеврах на протяжении шести десятков лет.

Вот с такими людьми, как эти двое, Энтони Пэтч пил и вел дискуссии, снова пил и снова спорил. Они нравились Энтони, потому что ничего о нем не знали, жили очевидным и банальным, не подозревая о неотвратимой, неразрывной целостности окружающего мира. Смотрели не фильм с последовательно сменяющимися кадрами, а покрытые плесенью диапозитивы в устаревшем фильмоскопе, с застывшими картинками

и перепутанным текстом. Но джентльменов это нимало не смущало в силу полного отсутствия способности пережить подобное чувство. Из месяца в месяц они меняли фразы, как меняются галстуки.

Обходительный, утонченный и проницательный Энтони ежедневно напивался «У Сэмми» вместе с приятелями или у себя дома за книгой, которую знал почти наизусть. И очень редко с Глорией, проявлявшей, по его мнению, все признаки сварливой и несносной жены. Конечно, это была уже не та Глория прежних лет, которая, заболев, предпочитала сделать несчастными всех вокруг, чем признаться, что нуждается в сочувствии и помощи. Теперь она опускается до хныканья и жалости к себе. Каждый раз перед сном густо намазывает лицо каким-то кремом, который, как она по глупости надеется, вернет сияющую свежесть увядающей красоте. В пьяном виде Энтони донимал жену язвительными насмешками по этому поводу. В моменты трезвости он был любезен с Глорией, а порой даже нежен. Казалось, на короткое время к нему частично возвращалась былая способность тонко чувствовать и так хорошо понимать человека, что для обвинений не оставалось места. Вот это качество,

которое являлось главным достоинством Энтони, стремительно и неуклонно вело его к гибели.

Жить на трезвую голову Энтони уже не мог, это будило в душе ненависть. Тогда он осознавал присутствие людей, тот дух борьбы и ненасытного честолюбия, надежду, что омерзительнее отчаяния постоянное скольжение вверх-вниз, которое в каждом крупном городе наиболее заметно среди неустойчивого среднего класса. Не имея возможности жить среди богатых, он решил, что может существовать только среди самых бедных. Все, что угодно, только не эта чаша, наполненная потом и слезами.

Энтони никогда в полной мере не ощущал всей необъятности бурлящей вокруг жизни, а теперь это чувство едва тлело, готовое вот-вот окончательно погаснуть. Теперь очень редко какое-либо происшествие или поступок Глории будили интерес — и тут же неумолимо опускалась тяжелая серая завеса. С возрастом все чувства поблекли и притупились, и в утешение осталось только вино.

Опьянение приносило облегчение и придавало всему вокруг неописуемый глянец, как воспоминания о мимолетных, давно угасших вечерах. После нескольких коктейлей с виски здание

«Буш терминал» приобретало магическое сияние сказок «Тысячи и одной ночи», а его роскошный шпиль сверкал золотом на фоне недосягаемых небес. И даже грубовато-пошлая Уолл-стрит снова символизировала торжество золота. Пышное, полное смысла зрелище. Именно здесь великие короли бизнеса хранят свои деньги для грядущих войн.

Плоды юности или ягоды на виноградной лозе, мимолетное волшебство краткого перехода из тьмы во тьму — древняя иллюзия, что правда и красота неведомым образом переплетаются между собой.

Однажды вечером, стоя у ресторана «Дельмонико», Энтони закурил сигарету и тут заметил два двухколесных экипажа, подъехавших к самому бордюру в ожидании подвыпивших клиентов. Экипажи были старыми и изношенными: лакированная кожа сморщилась, как лицо старика, а подушки вытерлись до коричневато-лилового оттенка. Даже лошади казались древними и измученными, под стать двум седовласым кучерам, которые, пристроившись на облучке, с показной удалью щелкали кнутами. Остатки минувшей веселой жизни!

Поддавшись неожиданно накатившему уны-

нию, Энтони Пэтч пошел прочь, размышляя о горечи, которая неизменно сопутствует такой долговечности. И получалось, что самым скоропортящимся продуктом является наслаждение.

Однажды днем, впервые за много месяцев, Энтони встретил на Сорок второй улице Ричарда Кэрамела, процветающего и растолстевшего Ричарда Кэрамела, чье лицо настолько округлилось, что вполне соответствовало его выпуклому «бостонскому» лбу.

— Только на этой неделе вернулся с побережья. Собирался тебе позвонить, но не знал вашего нового адреса.

— Мы переехали.

От внимания Ричарда Кэрамела не ускользнула заношенная рубашка Энтони и не слишком сильно, но достаточно заметно потрепанные манжеты, а также припухлые полукружия под глазами цвета сигарного дыма.

— Так я и думал, — откликнулся Дик, сверля приятеля ярко-желтым глазом. — А где же Глория? Как она? Господи, Энтони, даже до Калифорнии доходят совершенно невероятные слухи о ваших похождениях. А когда я вернулся в Нью-Йорк, ты вообще куда-то пропал. Почему не попробовать взять себя в руки?

— А теперь послушай меня, — сбивчивой скороговоркой начал Энтони. — На долгую лекцию у меня не хватит сил. Мы теряем деньги где только можем, и, естественно, среди людей пошли толки… что касается судебного процесса, окончательное решение станет известно этой зимой… да, наверняка…

— Ты так тараторишь, что я ничего не могу разобрать, — с невозмутимым видом перебил Дик.

— Я сказал все, что намеревался, — огрызнулся Энтони. — Если желаешь, навести нас, а не хочешь — не приходи!

С этими словами он повернулся и пошел прочь, сливаясь с толпой, но Дик его догнал и схватил за руку.

— Послушай, Энтони, только не надо заводиться с пол-оборота! Ведь Глория — моя кузина, а ты — лучший друг, а потому нет ничего удивительного, что я не могу оставаться спокойным, когда слышу, как ты катишься в пропасть и тащишь за собой Глорию.

— Не желаю выслушивать нотации.

— Ну ладно, успокойся. А не зайти ли нам ко мне и немного выпить? Я только что обустроился. Купил три ящика джина «Гордонс» у таможенного чиновника.

Приятели пошли по улице вместе, и Дик, уже не скрывая раздражения, спросил:

— А что с деньгами твоего деда, ты их когда-нибудь получишь?

— Видишь ли, — принялся возмущенно объяснять Энтони, — старый дурак Хейт на что-то надеется, особенно сейчас, когда людям надоели глупые реформы. Понимаешь, это может сыграть свою роль. Вот если, к примеру, судья решит, что по милости Адама Пэтча ему теперь трудно достать спиртное.

— Без денег не проживешь, — нравоучительно заметил Дик. — А ты в последнее время не пробовал писать?

Энтони молча покачал головой.

— Странно как-то получается, — произнес задумчиво Дик. — Я всегда думал, что вы с Мори рано или поздно займетесь писательским трудом, но он превратился в скупердяя-аристократа, а ты…

— Я неудачный пример.

— Интересно почему?

— Ты, вероятно, думаешь, что знаешь, в чем дело, — предположил Энтони, стараясь сосредоточиться. — И неудачник, и человек везучий оба в душе верят, что у них гармоничный взгляд на

жизнь. Удачливый так считает, потому что преуспел, а невезучий — потому что вечно терпит поражение. Человек успешный учит сына извлекать выгоду из отцовского везения, а неудачник советует сыну учиться на ошибках отца.

— Не могу согласиться. В молодости я привык слушать вас с Мори, и ваши рассуждения производили на меня впечатление, потому что вы были так последовательно циничны. Но теперь… Господи, да, в конце концов, к чему лукавить? Кто из нас троих пристрастился… посвятил себя умственному труду? Не хочу показаться тщеславным пустословом, но ведь это я. А я всегда верил в существование нравственных ценностей и всегда буду верить.

— Нет, — возразил, в свою очередь, Энтони, который был весьма доволен собой, — даже считая так, ты все равно понимаешь, что в реальной жизни ни один вопрос не решается с однозначной категоричностью.

— А для меня такая ситуация возможна. На свете не существует вещи, ради которой я поступился бы своими принципами.

— А как ты узнаешь, когда именно ты ими поступаешься? Просто действуешь наугад, как большинство людей. Оглядываясь назад, при-

ходится распределять ценности, расставлять их по местам. Ты заканчиваешь портрет, а потом выписываешь детали и полутона.

Дик с горделивым упорством встряхнул головой.

— Остался таким же никчемным циником, — констатировал он. — Такая манера жалеть себя. Раз ничего не делаешь, значит, все вокруг не имеет значения.

— Да, я мастер себя жалеть, — признался Энтони, — и я не утверждаю, что получаю такую же радость от жизни, как и ты.

— Ты говоришь — по крайней мере говорил прежде, — что счастье — единственная стоящая вещь в жизни. Думаешь, оставаясь пессимистом, ты становишься счастливее?

Энтони что-то сердито буркнул. Разговор перестал доставлять удовольствие. Он нервничал, испытывая непреодолимое желание выпить.

— Черт возьми! — воскликнул он. — Да где же ты живешь? Нельзя же так бродить до бесконечности!

— Твоя выдержка распространяется лишь на сферу умственную, да? — сердито парировал Дик. — Уже пришли. Вот здесь и живу.

Он свернул к многоквартирному дому на Со-

рок девятой улице, и через несколько минут приятели уже сидели в просторной, только что отремонтированной комнате с камином и увешанными книжными полками стенами. Темнокожий дворецкий подал коктейль «джинрики», и час пролетел незаметно, скрашенный любезной беседой, неспешной выпивкой и осенними отблесками огня в камине.

— Искусство состарилось, — изрек через некоторое время Энтони. После нескольких стаканов нервное напряжение прошло, и он обнаружил, что снова обрел способность думать.

— Какое искусство ты имеешь в виду?

— Все его виды. Первой умирает поэзия. Рано или поздно ее поглотит проза. Сейчас, например, яркие эпитеты, сверкающие остроумием метафоры и блистательные сравнения являются достоянием прозы. Для привлечения внимания поэзия вынуждена пускаться на поиски необычного слова, грубого и низменного, которое никогда прежде не считалось прекрасным. Красота как совокупность нескольких великолепных составляющих достигла своего апофеоза у Суинберна. Дальше пути нет, разве что в роман…

Дик нетерпеливо перебил:

— Знаешь, эти новомодные романы наводят

на меня скуку. Господи! Куда ни приду, везде найдется глупая девица, которая непременно поинтересуется, читал ли я «По эту сторону рая»? Неужели наши девушки и правда такие, как описано в этой книге? Если в жизни действительно так происходит, чему лично я не верю, юное поколение катится в пропасть. Мне опротивел этот вульгарный низкопробный реализм. По-моему, в литературе всегда есть место романтике.

Энтони старался вспомнить, какие последние книги Ричарда Кэрамела он читал. Пресловутый «“Бритый хвост” во Франции», роман «Земля сильных мужчин» и несколько десятков рассказов, которые были еще хуже. Среди молодых остроумных критиков вошло в привычку упоминать имя Ричарда Кэрамела с презрительной улыбкой. Они называли Дика «мистер Ричард Кэрамел». Его «труп» непотребно волочили по всем литературным приложениям, обвиняя в том, что он сколотил огромное состояние низкопробными сценариями для кинофильмов. По мере того как в моду входили новые литературные веяния, Дик сделался притчей во языцех, не заслуживающей ничего, кроме презрения.

Энтони предавался размышлениям, а Дик встал с места и, казалось, терзался сомнениями, стоит

ли делать признание.

— Я вот собрал кое-какие книги, — объявил он вдруг.

— Вижу.

— Полную коллекцию хорошей американской литературы, старой и современной. Только мне не хотелось следовать общепринятому правилу Лонгфелло — Уитьер… Здесь большая часть книг принадлежит современным авторам.

Он подошел к одной из стен, и Энтони, понимая, чего от него ждут, тоже встал и последовал за Диком.

— Взгляни!

Под отпечатанной на машинке табличкой красовалось шесть длинных рядов книг в красивых переплетах и, совершенно очевидно, тщательно подобранных.

— А вот здесь современные романисты.

И тут Энтони понял, в чем здесь загвоздка. Вклинившись между Марком Твеном и Драйзером, странным образом и совершенно неуместно расположились восемь томов, принадлежащих перу самого Ричарда Кэрамела. «Демонический любовник» — куда ни шло, но остальные семь, лишенные изящества и искренности, смотрелись здесь ужасно до омерзения.

Энтони невольно перевел взгляд на Дика, заметив на лице приятеля выражение неуверенности.

— Разумеется, я поставил сюда свои книги, — торопливо, как бы оправдываясь, сообщил Ричард Кэрамел. — Конечно, не все они равноценны, одна или две не слишком удачные. Пришлось спешить, когда подписал контракт с журналом. Но я не верю в ложную скромность. Разумеется, некоторые критики больше не уделяют мне так много внимания, с тех пор как я достиг определенного положения… но, в конце концов, решение не за критиками. Они ведь просто безмозглые овцы.

Впервые за долгое время — Энтони и сам не помнил, когда это было в последний раз, — он испытывал привычное, греющее душу презрение к своему другу. А Ричард Кэрамел продолжал:

— Знаешь, издатели рекламируют меня как «американского Теккерея» — конечно, благодаря роману о Нью-Йорке.

— Ясно, — умудрился выдавить Энтони. — Полагаю, в твоих словах кроется глубокий смысл.

Он понимал, что нет никаких оснований презирать приятеля, и без колебаний поменялся бы с ним местами. При попытке заняться писательским трудом Энтони и сам прилагал максимум

усилий, подменяя искренность иронией. Ах, да разве способен человек, вот так запросто, дать низкую оценку делу всей свой жизни?

В ту ночь Ричард Кэрамел трудился в поте лица, ошибался, ударяя по клавишам пишущей машинки и напрягая из последних сил измученные разноцветные глаза. Корпел над своей макулатурой до безрадостных часов, когда гаснет огонь в камине, а голова идет кругом от долгих стараний сосредоточиться. А в это же время Энтони, до безобразия напившись, распростерся на заднем сиденье такси, которое везло его домой, на Клермонт-стрит.

Полный разгром

С наступлением зимы Энтони оказался во власти душевного расстройства. По утрам он просыпался возбужденным и раздражительным, и Глория видела, как муж, лежа рядом в кровати, дрожит всем телом и собирается с силами, чтобы доковылять до буфета за порцией спиртного. Он сделался совершенно невыносимым, если не был пьян, и Глория, наблюдая, как он грубеет и деградирует на глазах, отдалилась от него душой и телом. Теперь, когда Энтони не ночевал дома

— а такое уже случалось несколько раз, — она не только перестала переживать по этому поводу, но даже испытывала своего рода облегчение, наполняющее душу унынием. На следующий день он испытывал легкое раскаяние и в нарочито грубоватой манере с видом побитой собаки отмечал, что, пожалуй, сверх меры злоупотребляет спиртным.

Энтони часами в полном оцепенении просиживал в массивном кресле, привезенном с его первой квартиры. Казалось, угас даже интерес к любимым книгам, и хотя между мужем и женой по-прежнему случались неизбежные ссоры, единственной темой, которую они серьезно обсуждали, был судебный процесс о наследстве. Трудно представить, на что надеялась Глория в темных уголках своей души, чего хотела добиться, получив в наследство огромные деньги. Условия, в которых оказалась Глория, согнули ее, превратив в карикатурное подобие домохозяйки. Она, которая три года назад не удосуживалась даже сварить кофе, теперь, случалось, готовила еду три раза в день. Днем много гуляла, а вечерами читала книги, журналы и все, что попадалось под руку. Если сейчас ей и хотелось ребенка, пусть даже от Энтони, который заползал к ней

в постель мертвецки пьяным, она ни разу, ни словом, ни жестом не проявила интереса к детям. Сомнительно, что она могла четко объяснить, чего хочет. Да и чего могла хотеть тридцатилетняя женщина, одинокая и прелестная, ограничившая себя непреодолимым запретным комплексом, который родился и существовал вместе с ее красотой.

Однажды, когда снег вдоль Риверсайд-драйв снова стал грязным месивом, Глория, возвратившись из бакалейного магазина, застала Энтони в нервозном возбуждении расхаживающим по комнате. Устремленные на нее лихорадочно блестевшие глаза избороздила сетка розовых прожилок, которые вызвали у Глории ассоциации с рисунком рек на карте, и сразу же бросилось в глаза, как внезапно и сильно постарел муж.

— Есть у тебя деньги? — торопливо осведомился он.

— Что? О чем ты?

— О чем слышала. Деньги! Деньги! Ты что, не понимаешь по-английски?

Не обращая внимания на Энтони, Глория проскользнула мимо в кладовую, намереваясь положить в ледник купленные бекон и яйца. После приема спиртного, превышавшего обычную

норму, Энтони неизменно впадал в плаксивое настроение. На сей раз он пошел следом за женой и, став в дверях кладовой, повторил вопрос:

— Слышала, что я спросил? Есть у тебя деньги?

Глория повернулась и посмотрела на мужа в упор.

— Опомнись, Энтони! Ты, должно быть, совсем рехнулся! Сам ведь знаешь, что денег у меня нет, разве что доллар мелочью.

Энтони круто поменял тактику, вернулся в гостиную и снова принялся мерить ее шагами. Не вызывало сомнений: он задумал очередную выходку, не предвещающую ничего хорошего, и очень хочет, чтобы жена спросила, в чем, собственно, дело. Войдя через несколько минут вслед за мужем в комнату, Глория села на кушетку и стала распускать волосы. Они уже не были коротко подстрижены и за последний год поменяли роскошный золотистый цвет, с легким рыжим оттенком, на тусклый светло-каштановый. Глория купила шампунь и собиралась вымыть голову, а сейчас размышляла, стоит ли добавить в воду для ополаскивания пузырек перекиси водорода.

«Ну, в чем дело?» — как бы говорила без слов ее поза.

— Проклятый банк! — срывающимся голо-

сом выкрикнул Энтони. — Больше десяти лет я держал там свой счет — десять лет. А у них, видите ли, какое-то драконовское правило, по которому надо иметь на счете более пятисот долларов, а иначе тебя отказываются обслуживать. Несколько месяцев назад мне пришло из банка письмо, в котором сообщалось, что я почти исчерпал свои ресурсы. А как-то я выписал два недействительных чека. Помнишь, в ту ночь, в ресторане Рейзенвебера? Но на следующий день я все уладил и внес деньги, пообещав старине Хэллорану — это их управляющий, скряга Мик, — что впредь буду более осмотрительным. И решил, что все в порядке. Регулярно проверял корешки в чековой книжке. Вот и сегодня пришел в банк, чтобы обналичить чек, и тут выходит Хэллоран и объявляет, что вынужден закрыть мой счет. Мол, слишком много необеспеченных чеков. Но я никогда не выходил за эти пятьсот долларов — разве что иногда на денек. Ну, черт побери, и знаешь, что он мне ответил?

— И что же?

— Сказал, что самое время закрыть мой счет, потому что на нем нет ни цента!

— Ни цента?

— Так он сказал. Оказывается, я выписал этим

ребятам Бедроса чек на шестьдесят долларов за последний ящик виски, а на счету оставалось всего сорок пять долларов. Ну, парни Бедроса внесли на мой счет пятнадцать долларов, а потом все до цента сняли.

По неведению Глория тут же вообразила, что впереди маячат тюрьма и позор.

— Да нет, они ничего не предпримут, — заверил Энтони. — Бутлегерство — слишком рискованный бизнес. Просто пришлют счет на пятнадцать долларов, и я заплачу.

— Так. — Глория на мгновение задумалась. — Ну что ж, можно продать еще одну облигацию.

В ответ послышался саркастический смех.

— Ну да, самый простой выход. Только те немногие облигации, что приносят какую-то прибыль, стоят всего от пятидесяти до восьмидесяти центов за доллар номинала, и всякий раз, продавая облигацию, мы теряем едва ли не половину ее стоимости.

— Что же делать?

— Ну, что-нибудь продадим, как обычно. У нас ценных бумаг на восемьдесят тысяч долларов по номинальной стоимости. — Он снова недобро рассмеялся. — На открытом рынке это около тридцати тысяч.

— Я всегда испытывала недоверие к вложениям под десять процентов.

— Черта с два ты испытывала! — взорвался Энтони. — Только делала вид, чтобы потом терзать меня, если дело провалится, а на самом деле, как и я, хотела попытать счастья.

Глория некоторое время молчала, будто что-то обдумывая, а потом неожиданно заговорила:

— Энтони, лучше уж ничего, чем двести долларов в месяц. Давай продадим все облигации и положим деньги в банк. А если проиграем дело, сможем жить три года в Италии, а потом просто умрем. — Впервые за долгое время она вдруг с волнением обнаружила у себя слабую вспышку былой сентиментальности.

— Три года, — раздраженно повторил Энтони. — Три года! Да ты с ума сошла. Если мы проиграем дело, мистер Хейт заберет гораздо больше этой суммы. Думаешь, он работает даром, в благотворительных целях?

— Я об этом забыла.

— Сегодня суббота, — продолжал Энтони, — а у меня всего доллар и какая-то мелочь, а надо дожить до понедельника, и тогда я могу сходить к брокеру… А в доме ни капли выпивки, — с опозданием сделал он важный вывод.

— А если позвонить Дику?

— Пробовал. Слуга говорит, он уехал в Принстон выступать в литературном клубе или что-то в этом духе. До понедельника не вернется.

— Давай подумаем. Разве у тебя нет друзей, к которым можно обратиться?

— Пару раз пробовал. Никого не смог застать на месте. Надо было продать письмо Китса, как я и собирался на прошлой неделе.

— А если попросить людей, с которыми ты играешь в карты «У Сэмми»?

— Как ты могла подумать, что я пойду к ним? — В голосе Энтони звенел ужас оскорбленной в лучших чувствах добродетели. От слов мужа Глория только поморщилась. Он предпочитает смотреть на ее страдания, вместо того чтобы пересилить отвращение и попросить о позорном одолжении. — Я вот подумал о Мюриэл, — предложил Энтони.

— Она в Калифорнии.

— А как насчет тех мужчин, которые выказали такую трогательную заботу о твоем приятном времяпровождении, пока я служил в армии? По-моему, они с радостью сделали бы тебе маленькое одолжение!..

Глория бросила на мужа полный презрения

взгляд, но тот ничего не заметил.

— Или твои старые приятельницы, Рейчел и Констанс Мерриам?

— Констанс Мерриам умерла год назад, а просить Рейчел я не стану.

— Ну а джентльмен, что в свое время так горел желанием тебе помочь, что просто удержу не было? Как его там, Блокмэн?

— Боже мой!

Наконец Энтони удалось задеть жену, и он был не настолько глуп или ненаблюдателен, чтобы этого не заметить.

— А почему и правда к нему не обратиться? — безжалостно настаивал он.

— Потому что я ему больше не нравлюсь, — с трудом выдавила Глория и, видя, что муж не отвечает, а только смотрит с нескрываемой издевкой, пояснила: — Если хочешь знать причину, я расскажу. Год назад я ходила к Блокмэну — кстати, он сменил имя и теперь называется Блэком — и просила устроить меня в кино.

— Ты ходила к Блокмэну?

— Да.

— А почему мне не сказала? — недоверчиво спросил он уже без улыбки.

— Потому что ты, вероятно, в это время где-ни-

будь пьянствовал. Он договорился насчет пробы, и там сказали, что я недостаточно молода и в моем возрасте можно играть только характерные роли.

— Характерные роли?

— Тридцатилетних женщин. Но тогда мне не было тридцати, и я уверена, что выглядела не на тридцать, а гораздо моложе.

— Но с какой стати, черт его побери! — возмутился Энтони, яростно бросаясь на защиту жены, движимый необъяснимым чувством. — Почему…

— Именно поэтому я не могу к нему обратиться.

— Это же оскорбление! — явно нервничая, настаивал Энтони. — Какая наглость!

— Энтони, сейчас это не имеет никакого значения. Надо пережить воскресенье, когда в доме только буханка хлеба, полфунта бекона и два яйца на завтрак. Вот это — действительно важно, — Глория отдала ему содержимое своего кошелька. — Здесь семьдесят… восемьдесят… всего доллар пятнадцать центов. Вместе с тем, что осталось у тебя, около двух с половиной долларов, так? Послушай, Энтони, мы продержимся. На эти деньги можно купить уйму еды, больше,

чем можно съесть.

Позвякивая мелочью в руке, он покачал головой:

— Нет, мне надо выпить. Так разнервничался, что весь дрожу. — Неожиданно его осенило. — А может, Сэмми заплатит по чеку наличными, а в понедельник я тут же побегу в банк и положу деньги на счет.

— Но твой счет закрыли.

— Да, верно, верно — а я и забыл. Давай поступим так: я пойду к Сэмми и найду, кто даст в долг денег. Правда, мне ненавистна сама мысль, что придется просить у этих людей. — Вдруг он прищелкнул пальцами. — Я знаю, что делать. Заложу свои часы. За них можно получить долларов двадцать, а в понедельник добавлю шестьдесят центов и заберу обратно. Я уже их закладывал, когда был в Кембридже.

Он быстро натянул пальто и, бросив через плечо «Пока!», побежал по коридору к входной двери.

Глория вскочила с места. До нее вдруг дошло, куда первым делом направится муж.

— Энтони! — окликнула она. — Может, оставишь два доллара мне? Тебе надо только на дорогу.

Входная дверь с грохотом захлопнулась — Энтони сделал вид, что не расслышал просьбу жены. Глория некоторое время смотрела ему вслед, а потом пошла в ванную комнату, к своим прискорбным баночкам с мазями и кремами и стала готовить все необходимое для мытья головы.

В заведении Сэмми Энтони встретил Паркера Эллисона и Пита Лайтелла, которые сидели за столом и пили виски с лимоном. Шел седьмой час, и Сэмми, или Самюэл Бендири, как его нарекли при крещении, сметал в угол окурки и осколки разбитых стаканов.

— Привет, Тони! — окликнул Энтони Паркер Эллисон. Он называл его то Тони, то Дэном. По мнению Паркера, все Энтони на свете должны идти по жизни под этими уменьшительными именами. — Присаживайся. Что будешь пить?

В метро Энтони подсчитал деньги и обнаружил, что у него в наличии почти четыре доллара. Можно заплатить за два круга по пятьдесят центов за порцию — а значит, выпить шесть порций. Потом он пойдет на Шестую авеню, где получит двадцать долларов и закладную квитанцию в обмен на часы.

— Ну что, бандиты, — весело приветствовал он компанию, — как там жизнь, в преступном

мире?

— Лучше не бывает, — отозвался Эллисон и подмигнул Питу Лайтеллу. — Скверно, что ты человек женатый. У нас тут около одиннадцати намечается веселье с такими красавицами, когда закончатся представления в варьете. Да, сэр, поганая штука быть женатым, верно, Пит?

— Да уж.

В половине восьмого, после завершения шестого круга, Энтони обнаружил, что благие намерения идут на попятный, уступая натиску непреодолимых желаний. Сейчас он был счастлив и бодр и получал радость от жизни. Ему казалось, что история, которую только что поведал Пит, необыкновенно смешная и остроумная. И Энтони решил, как это случалось всякий раз, когда он доходил до определенной кондиции, что приятели «ей-богу, чертовски славные ребята». И они сделают для Энтони гораздо больше, чем кто бы то ни было. В субботу ломбарды открыты допоздна, и Энтони чувствовал, что еще одна порция виски приведет его в самое радужное настроение, когда мир окрашивается в роскошные розовые тона.

Он принялся сосредоточенно рыться в карманах жилета, выудил две монеты по двадцать

пять центов и уставился на них с притворным удивлением.

— Будь я проклят! — огорченно воскликнул он. — Надо же, забыл дома бумажник.

— Надо деньжат? — добродушно поинтересовался Лайтелл.

— Оставил бумажник на комоде, а ведь еще хотел вас угостить.

— Да не переживай. — Лайтелл небрежно отмахнулся от предложения Энтони. — Мы и сами можем напоить хорошего парня чем он только пожелает. Будешь пить, что и раньше?

— Слушайте меня, — предложил Паркер Эллисон, — а что, если послать Сэмми через дорогу за сандвичами, тут и поужинаем.

Все согласились.

— Хорошая мысль.

— Эй, Сэмми, хочешь нам услужить…

В начале десятого Энтони, пошатываясь, встал из-за стола и, пожелав всем веселого вечера, неуверенной походкой направился к двери. Проходя мимо Сэмми, он сунул ему в руку одну из оставшихся монет. На улице Энтони некоторое время пребывал в нерешительности, а затем направился в сторону Шестой авеню, где, как он помнил, находятся ссудные конторы, мимо

которых он часто проходил. Миновав газетный киоск и две аптеки, он понял, что стоит напротив заведения, которое искал, а также что оно закрыто на замок и даже на решетку. Нимало не смутившись, он продолжил поиски и, пройдя полквартала, нашел еще один ломбард, который тоже оказался запертым, как и два других через улицу, и пятый, что на площади. Заметив в последнем ломбарде слабый свет, он принялся стучать в стеклянную дверь и прекратил это занятие, только когда из глубин помещения возник сторож и гневным жестом предложил идти своей дорогой. Растерянность росла, совершенно сбитый с толку Энтони перешел на другую сторону и двинулся назад, по направлению к Сорок третьей улице. На углу, недалеко от заведения Сэмми, он остановился в нерешительности. Если вернуться домой, как того требует измученное тело, непременно нарвешься на горькие упреки жены. Тем не менее теперь, когда все ломбарды закрылись, он не имел представления, где достать денег. Наконец Энтони решил, что на худой конец можно обратиться и к Паркеру Эллисону. Однако, дойдя до заведения Сэмми, обнаружил только запертую дверь и темные окна. Энтони взглянул на часы — половина десятого — и продолжил странствия.

Минут через десять он без видимой цели остановился на углу Сорок третьей улицы и Мэдисон-авеню, как раз напротив ярко освещенного, но на данный момент фактически безлюдного входа в отель «Билтмор». Постояв с минуту, он тяжело опустился на сырую доску, валявшуюся среди строительного мусора. Так он просидел с полчаса. В голове, словно в калейдоскопе, мелькали случайные мысли, главная из которых заключалась в том, что надо непременно добыть денег и отправляться домой, пока совсем не отупел от пьянства и помнит дорогу.

Потом, бросив взгляд в сторону «Билтмора», он заметил мужчину, стоявшего в свете ламп над крытым входом в ресторан, а рядом с ним женщину в горностаевой шубке. Энтони видел, как они прошли вперед и жестом подозвали такси, и вдруг уловил нечто знакомое в походке мужчины, и тут же голос сердца безошибочно подсказал, что перед ним старый друг Мори Ноубл.

Энтони вскочил на ноги и окликнул его:

— Мори!

Мори посмотрел в его сторону, а потом снова повернулся к своей спутнице. В этот момент подъехало такси. Путаясь в мыслях, Энтони, подталкиваемый стремлением любой ценой занять

десять долларов, что есть духу понесся через Мэдисон-авеню вдоль по Сорок третьей улице. Добежав до места, он застал Мори уже стоящим перед открытой настежь дверцей такси. Девушка с любопытством разглядывала Энтони.

— Привет, Мори! — обрадованно воскликнул он, протягивая руку. — Как дела?

— Благодарю, великолепно.

Руки приятелей повисли вдоль тела. Энтони смущенно переминался с ноги на ногу. Мори не делал попыток представить его даме, а только молча смотрел на друга загадочным кошачьим взглядом.

— Я хотел с тобой встретиться, — неуверенно начал Энтони. Он чувствовал, что не сможет попросить взаймы денег при девушке, которая стояла в полутора метрах, а потому замолчал и сделал красноречивый жест головой, приглашая Мори отойти в сторонку.

— Знаешь, Энтони, я очень тороплюсь.

— Понимаю, но не мог бы ты… может быть… — снова замялся Энтони.

— Встретимся в другой раз, — предложил Мори.

— Но это очень важно.

— Извини, Энтони.

Энтони не успел прийти в себя и выпалить вертевшуюся на языке просьбу. Мори уже повернулся к девушке и с невозмутимым видом помог сесть в такси. Потом небрежно бросил «Приятно провести вечер!» и последовал за спутницей. На прощание он кивнул из окна, и Энтони отметил, что на лице друга не дрогнул ни один мускул, его выражение осталось неизменным. С досадным грохотом такси отъехало, и Энтони остался стоять в одиночестве в свете уличных фонарей.

Он зашел в «Билтмор», без всякой цели, просто потому что дверь находилась рядом, и, поднявшись по широкой лестнице, пристроился в одной из ниш. Кипя от ярости, Энтони осознавал, что его унизили. Он был обижен и зол, насколько это позволяло его состояние. Тем не менее неотступно преследовала мысль о необходимости достать денег до возвращения домой, и он в который раз принялся перебирать в памяти знакомых, к кому можно обратиться в случае крайней нужды. В конце концов пришла в голову мысль позвонить домой своему брокеру мистеру Хаулэнду.

После долгого ожидания выяснилось, что мистера Хаулэнда нет дома. Он вернулся к телефонистке и, склонившись над столом, вертел в руках монету в двадцать пять центов, показы-

вая, что не намерен уходить, пока не добьется желаемого.

— Вызовите мне мистера Блокмэна, — неожиданно попросил он, удивляясь собственным словам. Это имя неожиданно всплыло в памяти, пересекаясь с еще двумя неясными идеями.

— Будьте добры, назовите номер.

Едва соображая, что делает, Энтони принялся искать Джозефа Блокмэна в телефонной книге. Не нашел и уже собирался захлопнуть ее, но тут вдруг осенило: ведь Глория упоминала, что он сменил фамилию. Найти номер Джозефа Блэка оказалось делом одной минуты. Потом Энтони дожидался в кабине, пока телефонистка на центральной станции соединит с нужным номером.

— Алло. Э-э-э, мистер Блокмэн… То есть мистер Блэк дома?

— Нет, сегодня вечером он отсутствует. Желаете что-нибудь передать?

Энтони безошибочно узнал лондонский жаргон, напомнивший о богатых интонациях Баундса, посредством которых он выражал почтительность.

— А где он?

— Собственно… А кто его спрашивает?

— Мистер Пэтч, по очень важному делу.

— Вот как? У него званый ужин в «Буль-Миш», сэр.

Забрав пять центов сдачи, Энтони направился в «Буль-Миш», пользующийся популярностью танцевальный зал на Сорок пятой улице. Было около десяти часов, но темные улицы оставались безлюдными, до тех пор, когда часом позже театры выплеснут собравшуюся там толпу. Энтони хорошо знал «Буль-Миш»: они с Глорией в прежние времена не раз ходили туда. Помнится, по установленному правилу на посетителях должно быть вечернее платье. Ладно, он не станет подниматься наверх, а отправит за Блокмэном посыльного, а сам подождет внизу, в вестибюле. В данный момент Энтони не сомневался, что весь план выглядит вполне естественно и не выходит за рамки приличий. Больное воображение рисовало Блокмэна одним из старых приятелей.

В вестибюле «Буль-Миш» было тепло. Высоко на потолке, над пушистым зеленым ковром, горели желтые светильники, а из центра в танцевальный зал вела белая лестница.

Энтони обратился к портье:

— Мне нужен мистер Блокмэн… то есть мистер Блэк. Он наверху. Вызовите его.

Парень замотал головой:

— Вызывать посетителей запрещено. Знаете, за каким он столиком?

— Нет, но мне нужно срочно с ним увидеться.

— Подождите, я приглашу официанта.

Вскоре появился метрдотель и принес карту, на которой были указаны все посетители, которые заказали на сегодня столики. Он метнул в сторону Энтони презрительный взгляд, который, впрочем, пролетел мимо цели. Вместе они склонились над картой и без труда отыскали нужный столик. Ужин на восемь персон. Столик заказал мистер Блэк.

— Передайте, что его ждет мистер Пэтч, по очень важному делу.

И снова Энтони ждал, облокотившись на перила и вслушиваясь в сбивчивые мелодии «доводящего до безумия джаза», которые струились вниз по лестнице. Стоявшая рядом девушка-гардеробщица напевала:

В психушке для любителей шимми

Собрались шизики, помешанные на джазе.

В психушке той оставил я невесту.

Мозги у девочки от танцев помутились.

Так пусть теперь придет в себя.

А потом он увидел Блокмэна, который спускался по лестнице, и шагнул ему навстречу, протягивая руку.

— Хотели меня видеть? — холодно осведомился тот.

— Да, — кивнул Энтони, — по личному делу. Может, отойдем в сторонку?

Пристально посмотрев на Энтони, Блокмэн последовал за ним в закуток между лестницей и стеной, где никто из людей, заходящих или выходящих из ресторана, не мог их ни видеть, ни слышать.

— Итак? — повторил Блокмэн.

— Хотел поговорить.

— О чем?

Энтони лишь рассмеялся в ответ, но смех получился глуповатым, а не непринужденным, как хотелось.

— Так о чем вы собирались со мной поговорить? — настаивал Блокмэн.

— Куда спешить, старина? — Он попробовал дружески потрепать Блокмэна по плечу, но тот слегка отстранился. — Как идут дела?

— Благодарю, замечательно… Послушайте, мистер Пэтч. Наверху меня ждут гости, и слишком

долгое отсутствие покажется невежливым. Какое дело привело вас ко мне?

Второй раз за вечер сознание Энтони неожиданно выполнило кульбит, и он брякнул вовсе не то, что изначально собирался:

— Как я понимаю, вы выставили мою жену из кино.

— Что?! — Пышущее здоровьем лицо Блокмэна, на которое падали полосы тени, побагровело.

— Вы прекрасно слышали — что!

— Послушайте, мистер Пэтч, — заговорил ровным голосом Блокмэн, сохраняя беспристрастное выражение лица. — Вы пьяны. Безобразно и оскорбительно для приличного человека.

— Ну, не настолько, чтобы не мог с тобой разобраться, — не унимался, входя в раж, Энтони. — И хочу сказать, что моя жена не желает иметь с тобой ничего общего. И никогда не желала. Понял?

— Опомнитесь! — Блокмэн начал терять терпение. — Я полагал, вы в достаточной мере уважаете свою супругу, чтобы не трепать ее имени при подобных обстоятельствах.

— Не твое дело, как я уважаю свою жену. Оставь ее в покое и катись ко всем чертям!

— Послушайте, по-видимому, вы немного не в себе! — возмутился Блокмэн, делая два шага

вперед с намерением обойти Энтони. Но тот преградил путь.

— Не спеши, ты, проклятый еврей.

Мгновение они стояли, глядя друг другу в глаза. Энтони слегка качало из стороны в сторону, а Блокмэн весь кипел от ярости.

— Прикусите язык! — выкрикнул он сдавленным голосом.

Энтони следовало бы вспомнить красноречивый взгляд, которым Блокмэн наградил его в отеле «Билтмор» несколько лет назад. Но он ничего не помнил, абсолютно ничего…

— Я еще раз тебе говорю, ты, проклятый…

И тут Блокмэн ударил, со всей силой, которая имеется в руке сорокапятилетнего мужчины, находящегося в хорошей физической форме. Удар пришелся прямо по губам. Откинувшись назад, Энтони ударился о лестницу, но быстро пришел в себя и в пьяном порыве попытался сразить противника боковым ударом. Однако Блокмэн ежедневно тренировался и имел кое-какие представления о спарринге. Он легко блокировал удар и тут же нанес два прямых сокрушительных в лицо. Со сдавленным хрипом Энтони рухнул на зеленый плюшевый ковер и, уже падая, осознал, что рот его полон крови, а верхняя челюсть

кажется подозрительно пустой. Он с трудом поднялся на ноги, пыхтя и отплевываясь, и уже снова направился к Блокмэну, который стоял в нескольких футах, опустив сжатые в кулаки руки, но тут, откуда ни возьмись, возникли два официанта. Схватив Энтони за руки, они держали его железной хваткой, а сзади, как по мановению волшебной палочки, уже собралось человек десять.

— Я убью его! — рычал Энтони, стараясь вырваться из цепких рук. — Пустите, я его убью…

— Вышвырните его вон! — приказал Блокмэн дрожащим от возбуждения голосом, когда сквозь толпу зевак к ним протолкался низенький человек с изрытым оспинами лицом.

— Возникли проблемы, мистер Блэк?

— Этот негодяй пытался меня шантажировать! — заявил Блокмэн и уже более громким голосом, в котором звучали визгливые, спесивые нотки, добавил: — Нарвался! Что хотел, то и получил!

— Вызовите полицию! — приказал коротышка официанту.

— Нет, не надо, — торопливо запротестовал Блокмэн. — Мне не нужны лишние хлопоты. Просто вышвырните вон… Ух! Какое безобразие!

Развернувшись, он с чувством собственного достоинства удалился в туалетную комнату, а в это время три пары крепких рук поволокли Энтони к двери. «Шантажиста» крепким пинком выбросили на тротуар, где он и шлепнулся на четвереньки и тут же плавно осел набок.

Оглушенный ударами, он некоторое время лежал неподвижно, чувствуя, как острая боль растекается по всему телу. Потом она сосредоточилась в области живота, и Энтони пришел в себя, но лишь для того, чтобы рассмотреть огромную ногу, пинающую в бок.

— Убирайся отсюда, бродяга! Пошел вон!

Нога принадлежала похожему на быка швейцару. У кромки тротуара остановился лимузин, и пассажиры намеревались высадиться. Две дамы уже стояли на подножке, с оскорбленным видом благовоспитанных людей ожидая, когда с их пути уберут возмутительное препятствие.

— Пошел вон! Или я сам тебя вышвырну!

— Погоди, я его заберу.

Голос был незнакомым, и Энтони показалось, что его обладатель настроен более благодушно, чем швейцар. И снова его ухватили чьи-то руки и, чуть приподняв, поволокли в благодатную тень через четыре дома вверх по улице, где и

прислонили к каменному фасаду магазина дамских шляпок.

— Премного обязан, — чуть слышно пробормотал Энтони. Кто-то натянул ему на голову шляпу, и Энтони сморщился от боли.

— Сиди тихо, приятель, и тебе полегчает. Те парни здорово тебя отделали.

— Сейчас вернусь и убью этого грязного… — Он попробовал встать, но тут же свалился без сил, сползая по стене.

— Сейчас ты им ничего не сделаешь, — донесся издалека тот же голос. — Рассчитаешься в другой раз. Понимаешь меня, а? Я хочу тебе помочь.

Энтони кивнул.

— Тебе лучше отправиться домой, приятель. Сегодня тебе выбили зуб, хоть это понимаешь?

Желая удостовериться, Энтони исследовал рот языком, а потом с трудом поднял руку и нащупал брешь.

— С радостью доставлю тебя домой, дружище. Где ты живешь?

— Нет, черт побери! — перебил Энтони, в ярости стискивая кулаки. — Я еще покажу этой грязной своре. Ты поможешь, и мы вместе им покажем. А потом я отблагодарю. Мой дед — Адам Пэтч из Тэрритауна…

— Кто?

— Господи, да говорю же, Адам Пэтч!

— Так ты хочешь прямо сейчас ехать в Тэрритаун?

— Нет.

— Слушай, приятель, скажи, куда тебя отвезти, и я возьму такси.

Энтони рассмотрел своего «доброго самаритянина»: это был коренастый широкоплечий малый весьма потрепанной наружности.

— Эй, так все-таки где ты живешь?

Как ни отупел Энтони от пьянства, к которому добавилось потрясение от полученной взбучки, но все же отдавал отчет, что его место жительства плохо сочетается с хвастливым заявлением о знаменитом дедушке.

— Возьми мне такси, — приказным тоном обратился он к «самаритянину», ощупывая карманы.

Подъехало такси, и Энтони снова попытался встать, но лодыжка подвернулась, как будто была собрана из двух отдельных деталей. «Самаритянину» пришлось заталкивать Энтони в машину, после чего он забрался туда сам.

— Слушай сюда, парень, — обратился он к Энтони, — ты пьян в стельку, да к тому ж тебя еще и поколотили, так что без помощи до дома не до-

берешься. Прокачусь-ка и я за компанию. Вижу, в долгу не останешься. Так где ты живешь?

Энтони не слишком охотно назвал адрес, а когда машина тронулась, водрузил голову на плечо соседа, погружаясь в мрачное, наполненное болью оцепенение. Проснувшись, он увидел, что спаситель уже высадил его из такси и пытается установить в вертикальное положение.

— Идти можешь?

— Да… с грехом пополам. Вам лучше со мной не ходить. — Энтони снова принялся с беспомощным видом ощупывать карманы. — Послушайте, — залепетал он извиняющимся тоном, опасно раскачиваясь на непослушных ногах, — боюсь, у меня нет ни цента.

— А?! Как это?

— Меня обокрали.

— Н-н-ну дела! Ты же обещал расплатиться, или мне послышалось? А кто заплатит за такси? — Он повернулся к водителю, рассчитывая получить поддержку. — Ты слышал, как он обещал заплатить? А еще вся эта трепотня про деда?

— Вообще-то, — пробормотал Энтони, забыв об осмотрительности, — это вы говорили без умолку. Но если зайдете завтра…

В этот момент из машины высунулся водитель

и разразился кровожадной тирадой:

— Да наподдай ему покрепче, чтоб знал! Вот прощелыга поганый! Не будь он побирушкой, не вышвырнули бы на улицу!

В ответ на призыв таксиста кулак «доброго самаритянина» вылетел вперед, словно таран, и сокрушительным ударом поверг Энтони на каменные ступеньки крыльца, где он и остался лежать без движения, глядя, как раскачиваются над головой многоэтажные дома.

Прошла целая вечность, прежде чем он очнулся и понял, что сильно похолодало. Энтони хотел пошевелиться, но мышцы отказывались слушаться. По непонятной причине очень беспокоило, который сейчас час, но, дотянувшись до кармана, он обнаружил, что там пусто. И губы непроизвольно произнесли всем известную с незапамятных времен фразу: «Ну и ночка!»

Как ни странно, он почти протрезвел. Не шевеля головой, Энтони смотрел вверх, где посреди неба замерла луна, роняя свет на Клермонт-авеню, которая казалась таинственной бездонной пропастью. Вокруг не было никаких признаков жизни, на мир спустилась мертвая тишина, и только стоял неумолкающий шум в ушах. Но в следующее мгновение Энтони сам нарушил

безмолвие отчетливым характерным звуком, тем самым, который он пытался воспроизвести в «Буль-Миш», стоя лицом к лицу с Блокмэном. Звук ироничного смеха, который ни с чем не спутаешь. Но из разбитых кровоточащих губ Энтони он вырвался жалким рвотным позывом стенающей души.

* * *

Через три недели судебный процесс завершился. Нить неиссякаемого запутанного клубка юридической волокиты, что разматывался в течение четырех с половиной лет, неожиданно оборвалась. Энтони и Глория, а также их оппонент Эдвард Шаттлуорт вместе с целым взводом бенефициариев давали показания, лгали и в целом вели себя непотребно, охваченные разной степени жадностью и отчаянием. Однажды мартовским утром Энтони проснулся и неожиданно понял, что сегодня в четыре часа дня будет вынесен приговор, и с этой мыслью встал с кровати и начал одеваться. Несмотря на крайне нервозное состояние, к его чувствам примешивался ничем не обоснованный оптимизм относительно исхода дела. Он верил, что решение суда низшей инстанции отменят, хотя бы по причине реакции

на чрезмерно суровый «сухой закон», который в последнее время настроил людей против реформаторов и их реформ. И все же он возлагал больше надежд не на чисто юридические аспекты дела, а на выпады личного характера, направленные против Шаттлуорта.

Одевшись, он налил себе порцию виски, а затем пошел в комнату Глории и обнаружил, что она уже проснулась. Как считал Энтони, она по собственной прихоти пролежала в постели всю неделю, но врач посоветовал ее не беспокоить.

— Доброе утро, — прошептала она без тени улыбки. Ее глаза казались неестественно большими и темными.

— Как себя чувствуешь? — неохотно поинтересовался Энтони. — Стало лучше?

— Да.

— Намного?

— Да.

— Хватит сил пойти со мной днем в суд?

Глория кивнула:

— Да, мне хочется там присутствовать. Если погода хорошая, Дик заедет за мной и отвезет погулять в Центральный парк. Он вчера обещал. И только посмотри — вся комната залита солнечным светом.

Энтони машинально выглянул в окно и снова сел на кровать жены.

— Господи, как я нервничаю! — воскликнул он.

— Будь добр, пересядь, — торопливо попросила Глория.

— А в чем дело?

— От тебя пахнет виски. Я этого не выношу.

Энтони с рассеянным видом встал и вышел из комнаты. Чуть позже Глория позвала мужа, он сходил в магазин и принес картофельного салата и холодной курятины.

В два часа к дому подъехал автомобиль Ричарда Кэрамела. По его звонку Энтони проводил Глорию на лифте вниз и довел до края тротуара.

Глория поблагодарила кузена, сказав, что очень мило с его стороны отвезти сестру на прогулку.

— Ну что за глупости, — добродушно отмахнулся Дик. — Какая ерунда, и говорить не о чем.

Самое любопытное заключалось в том, что он не считал это ерундой. Ричард Кэрамел прощал многих людей за множество нанесенных обид, но так и не простил кузину Глорию Гилберт за заявление, сделанное семь лет назад перед ее свадьбой, когда она сказала, что не намерена читать книгу, принадлежащую перу двоюродного брата.

И Ричард Кэрамел не забыл и помнил это в течение семи лет.

— Когда вас ждать назад? — поинтересовался Энтони.

— Мы не вернемся, — ответила Глория. — Встретимся в четыре в суде.

— Хорошо, — буркнул Энтони. — Тогда до встречи.

Поднявшись наверх, он обнаружил письмо. Это была размноженная на ротаторе листовка, адресованная «настоящим парням» и призывающая на снисходительно-простонародном языке исполнить свой долг по отношению к ветеранам Американского легиона. Энтони нетерпеливым жестом бросил листовку в корзину с мусором, уселся у окна и, облокотившись на подоконник, устремил ничего не видящий взгляд на залитую солнечным светом улицу.

Италия… если приговор вынесут в их пользу, значит — Италия. Это слово стало для Энтони талисманом, земля, где все невыносимые тревоги и горести свалятся с плеч, как изношенная одежда. Сначала они отправятся на воды и среди веселой яркой толпы забудут так долго длившееся отчаяние. Чудесным образом обновленный, он снова будет гулять в сумерках по пьяцца ди

Спанья вместе с дрейфующим потоком смуглолицых женщин, попрошаек в лохмотьях и суровых босоногих монахов нищенствующего ордена. При мысли об итальянских женщинах он слегка оживился. Когда кошелек снова станет тяжелым, возможно, вернется и романтическая любовь, чтобы присесть на обретенное богатство, как на жердочку. Романтика синих каналов Венеции, золотисто-зеленых после дождя холмов Фьезоле… и женщины, женщины, которые меняются, растворяясь и превращаясь в других женщин, исчезают из его жизни, но всегда остаются молодыми и прекрасными.

Только теперь Энтони считал, что отношение к женщинам должно измениться. Причиной всех горестей, душевных страданий и боли, которые ему довелось пережить, являлись женщины. Наблюдалась некая закономерность в том, как женщины, каждая по-своему, порой неосознанно и как бы мимоходом, влияли на него, вероятно, считая слабохарактерным и пугливым, убивали в нем все, что представляло угрозу для их абсолютной власти.

Отвернувшись от окна, он встретился взглядом со своим отражением в зеркале и с нескрываемым унынием принялся изучать болезненное

одутловатое лицо, глаза, покрытые похожей на запекшуюся кровь сетью прожилок, обрюзгшую сутулую фигуру, сама дряблость которой свидетельствовала о полной апатии. Энтони было тридцать три года, а выглядел он на все сорок. Ничего, все еще изменится в лучшую сторону.

Звонок в дверь раздался так неожиданно, что Энтони вздрогнул, как от удара. Придя в себя, он пошел в коридор и открыл входную дверь. На пороге стояла Дот.

Неожиданная встреча

Под ее натиском Энтони отступил в гостиную, различая лишь отдельные слова из выплескивающихся нескончаемым потоком монотонных фраз. Одета Дот была бедно, но она старалась выглядеть прилично. Жалкого вида шляпка, украшенная розовыми и голубенькими цветочками, скрывала темные волосы. Из ее речи Энтони понял, что несколько дней назад Дот увидела в газете заметку, касавшуюся судебного процесса, и узнала его адрес от клерка в апелляционном суде. Она позвонила на квартиру, но какая-то женщина, которой Дот не назвалась, сказала, что его нет дома.

Энтони застыл у дверей гостиной и, остолбенев от ужаса, смотрел на трещавшую без умолку Дот. Им овладело чувство, что весь цивилизованный мир, а вместе с ним и общепринятый уклад жизни на глазах становятся до странности нереальными. Дот работает в шляпном магазине на Шестой авеню, ее жизнь уныла и одинока. После отъезда Энтони в Кэмп-Миллз она долго болела, потом приехала мать и забрала ее обратно в Каролину… А в Нью-Йорк она явилась с единственной целью — отыскать Энтони.

Ее серьезность пугала. Фиалковые глаза покраснели от слез, а протяжную плавную речь то и дело прерывали сдавленные рыдания.

Знакомая картина. Дот ничуть не изменилась. Ей нужен Энтони, и точка. Если она не получит желаемого, то непременно умрет…

— Тебе лучше уйти, — выдохнул наконец Энтони, пытаясь придать своим словам убедительность. — И так неприятностей хоть отбавляй. Господи, да уйдешь ты наконец?!

Разразившись рыданиями, Дот опустилась на стул.

— Я тебя люблю! — выкрикнула она. — Что бы ты ни говорил! Люблю, и все тут!

— А мне плевать! — сорвался на визг Энтони. —

Убирайся! Мало ты мне горя принесла?! Мало напакостила?!

— Ударь меня! — умоляла Дот с тупым остервенением. — Ударь, а я стану целовать твои руки!

Не владея собой, Энтони перешел на истошный крик.

— Я убью тебя! — вопил он. — Убью, если сейчас же не уберешься!

Его глаза горели безумным блеском, но Дот бесстрашно двинулась навстречу.

— Энтони! Энтони!

Лязгнув зубами, Энтони подался назад, будто собирался наброситься на Дот. Потом вдруг передумал и стал дико озираться по сторонам.

— Убью! — задыхаясь, бормотал он. — Убью тебя!

Казалось, он вгрызался в это слово, будто хотел материализовать силой своих эмоций. Наконец почуяв неладное, Дот остановилась и, встретившись с обезумевшим взглядом Энтони, попятилась к двери. Продолжая выкрикивать проклятия, Энтони метался по комнате и вдруг нашел, что хотел — добротный дубовый стул, что стоял у стола. Он издал хриплый вопль, схватил стул и, размахнувшись им над головой, со всей накопившейся яростью швырнул прямо в перепу-

ганное бледное лицо в противоположном конце комнаты. Потом опустилась плотная непроницаемая тьма, заслонившая собой все мысли, гнев и безумие — послышался почти осязаемый щелчок, и лик окружающего мира на глазах изменился.

Глория с Диком вернулись в пять и стали звать Энтони. Не дождавшись ответа, они зашли в гостиную, где обнаружили в дверях стул со сломанной спинкой. В комнате царил беспорядок: коврики на полу сбиты, фотографии и безделушки на комоде валяются как попало, а в воздухе висит тошнотворный запах дешевых духов.

Энтони они нашли в спальне, сидящим на полу в пятне яркого солнечного света. Перед ним лежали три открытых альбома, и Энтони копался в груде марок, которые выгрузил из них. Заметив Глорию и Дика, он с неодобрительным видом склонил голову набок и попросил жестом уйти.

— Энтони! — воскликнула Глория. — Мы выиграли! Приговор отменен!

— Не входите, — тусклым голосом пробормотал он. — Только все перепутаете. Я их сортирую, а вы станете здесь топтаться. И как всегда, устроите беспорядок.

— Что ты делаешь? — изумилась Глория. — Вернулся в детство? Неужели не понял: ты выиграл

судебный процесс. Приговор суда низшей инстанции отменили. Теперь ты владеешь тридцатью миллионами.

Энтони устремил на них полный упрека взгляд.

— Когда будете уходить, закройте за собой дверь, — изрек он с видом капризного задиристого ребенка.

Глория во все глаза смотрела на мужа, и в ее взгляде просыпался страх.

— Энтони! — воскликнула она. — В чем дело? Что произошло? Почему ты не пришел в суд? И что все это значит?

— Слушайте, вы двое, — тихим голосом произнес Энтони, — убирайтесь немедленно, а не то я пожалуюсь дедушке.

Он поднял пригоршню марок, разжал пальцы, и кусочки бумаги полетели вниз, плавно кружась и переворачиваясь в наполненном солнцем воздухе, как осенние листья: разноцветные яркие марки Англии, Эквадора, Венесуэлы, Испании… и Италии…

В компании с воробышками

Божественная, утонченная ирония, та же самая, что суммировала итог жизни бесчисленных поколений воробьев, воспроизводилась, без сомнения, и в тех словесных изысках, которыми блистают пассажиры, путешествующие на таких судах, как «Беренгария». И она определенно навострила уши, когда молодой человек в клетчатом кепи стремительной походкой пересек палубу и заговорил с прелестной девушкой в желтом платье.

— Это он, — сообщил юноша, указывая на укутанную фигуру, сидящую в кресле-каталке возле заграждения. — Энтони Пэтч. Первый раз вышел на палубу.

— Так это действительно он?

— Да. Говорят, как получил деньги, так и тронулся умом. Ну а второй тип, Шаттлуорт, ну, который религиозный и денег не получил, так он заперся в номере гостиницы и пустил себе пулю в лоб.

— Что вы говорите?

— Только полагаю, Энтони Пэтча его судьба не слишком тревожит. Получил свои тридцать мил-

лионов, и теперь при нем личный врач, на случай если вдруг сделается плохо из-за переживаний. А она уже выходила на палубу? — поинтересовался молодой человек.

Хорошенькая девушка в желтом с опаской огляделась по сторонам.

— Была здесь минуту назад. В шубе из русских соболей. Должно быть, стоит целое состояние. — Девушка нахмурилась и решительно закончила свою мысль: — Знаете, терпеть ее не могу. Кажется мне такой неестественной и не слишком чистой. Понимаете, о чем я? У некоторых людей именно такой вид, хотя на самом деле, может, они и другие.

— Конечно, понимаю, — согласился молодой человек в клетчатом кепи. — Однако она недурна собой. — Он немного помолчал. — Интересно, о чем он думает? Наверное, о деньгах. А может, испытывает угрызения совести из-за того парня, Шаттлуорта.

— Возможно…

Однако молодой человек в клетчатом кепи ошибался. Энтони Пэтч, расположившийся у края палубы возле заграждений, устремив взгляд в морскую даль, думал не о деньгах, так как за всю жизнь его редко по-настоящему занимали

мысли по поводу суетной славы, связанной с материальным благополучием. И не об Эдварде Шаттлуорте, потому что в подобных делах лучше быть оптимистом. Нет, он предавался воспоминаниям, как генерал, который, оглядываясь на успешно завершившуюся военную кампанию, подвергает анализу свои победы. Энтони думал о тяготах и лишениях, невыносимых страданиях, через которые прошел. Его пытались покарать за ошибки юности. Он терпел жестокую нужду, а с ним хотели расправиться за само стремление сохранить верность романтическим мечтам. Друзья отвернулись, и даже Глория стала врагом. Остался в полном одиночестве. Один — лицом к лицу с навалившимся несчастьем.

Всего несколько месяцев назад его убеждали прекратить борьбу, покориться, превратиться в серое ничтожество и пойти работать. Но он верил, что выбранный жизненный путь оправдает себя, и стойко шел по нему. И вот те самые друзья, которые оказались наиболее жестокими из всех, теперь снова его уважают, поняв, что он с самого начала был прав. И не Лейси ли вместе с Мередитами и Картрайт-Смитами навестили их с Глорией в номере отеля «Ритц-Карлтон» за неделю до отплытия парохода?

Глаза Энтони застилали слезы, а голос дрожал, когда он шептал себе:

— Я им показал. Битва была тяжелой, но я не отказался от борьбы и победил!

Великий Гэтсби

Глава I

В юношеские годы, когда человек особенно восприимчив, я как-то получил от отца совет, надолго запавший мне в память.

— Если тебе вдруг захочется осудить кого-то, — сказал он, — вспомни, что не все люди на свете обладают теми преимуществами, которыми обладал ты.

К этому он ничего не добавил, но мы с ним всегда прекрасно понимали друг друга без лишних слов, и мне было ясно, что думал он гораздо больше, чем сказал. Вот откуда взялась у меня привычка к сдержанности в суждениях — привычка, которая часто служила мне ключом к самым сложным натурам и еще чаще делала меня жертвой матерых надоед. Нездоровый ум всегда сразу чует эту сдержанность, если она проявляется в обыкновенном, нормальном человеке, и спешит за нее уцепиться; еще в колледже меня незаслуженно обвиняли в политиканстве, потому что самые нелюдимые и замкнутые студенты поверяли мне свои тайные горести. Я вовсе не искал подобного доверия — сколько раз, заметив некоторые симптомы, предвещающие очередное

интимное признание, я принимался сонно зевать, спешил уткнуться в книгу или напускал на себя задорно-легкомысленный вид; ведь интимные признания молодых людей, по крайней мере та словесная форма, в которую они облечены, представляют собой, как правило, плагиат и к тому же страдают явными недомолвками. Сдержанность в суждениях — залог неиссякаемой надежды. Я до сих пор опасаюсь упустить что-то, если позабуду, что (как не без снобизма говорил мой отец и не без снобизма повторяю за ним я) чутье к основным нравственным ценностям отпущено природой не всем в одинаковой мере.

А теперь, похвалившись своей терпимостью, я должен сознаться, что эта терпимость имеет пределы. Поведение человека может иметь под собой разную почву — твердый гранит или вязкую трясину; но в какой-то момент мне становится наплевать, какая там под ним почва. Когда я прошлой осенью вернулся из Нью-Йорка, мне хотелось, чтобы весь мир был морально затянут в мундир и держался по стойке «смирно». Я больше не стремился к увлекательным вылазкам с привилегией заглядывать в человеческие души. Только для Гэтсби, человека, чьим именем названа эта книга, я делал исключе-

ние, — Гэтсби, казалось, воплощавшего собой все, что я искренне презирал и презираю. Если мерить личность ее умением себя проявлять, то в этом человеке было поистине нечто великолепное, какая-то повышенная чувствительность ко всем посулам жизни, словно он был частью одного из тех сложных приборов, которые регистрируют подземные толчки где-то за десятки тысяч миль. Эта способность к мгновенному отклику не имела ничего общего с дряблой впечатлительностью, пышно именуемой артистическим темпераментом, — это был редкостный дар надежды, романтический запал, какого я ни в ком больше не встречал и, наверно, не встречу. Нет, Гэтсби себя оправдал под конец; не он, а то, что над ним тяготело, та ядовитая пыль, что вздымалась вокруг его мечты, — вот что заставило меня на время утратить всякий интерес к людским скоротечным печалям и радостям впопыхах.

Я принадлежу к почтенному зажиточному семейству, вот уже в третьем поколении играющему видную роль в жизни нашего среднезападного городка. Каррауэи — это целый клан, и, по семейному преданию, он ведет свою родословную от герцогов Бэклу, но родоначальником нашей ветви нужно считать брата моего дедуш-

ки, того, что приехал сюда в 1851 году, послал за себя наемника в Федеральную армию и открыл собственное дело по оптовой торговле скобяным товаром, которое ныне возглавляет мой отец.

Я никогда не видел этого своего предка, но считается, что я на него похож, чему будто бы служит доказательством довольно мрачный портрет, висящий у отца в конторе. Я окончил Йельский университет в 1915 году, ровно через четверть века после моего отца, а немного спустя я принял участие в Великой мировой войне — название, которое принято давать запоздалой миграции тевтонских племен. Контрнаступление настолько меня увлекло, что, вернувшись домой, я никак не мог найти себе покоя. Средний Запад казался мне теперь не кипучим центром мироздания, а скорее обтрепанным подолом вселенной; и в конце концов я решил уехать на Восток и заняться изучением кредитного дела. Все мои знакомые служили по кредитной части; так неужели там не найдется места еще для одного человека? Был созван весь семейный синклит, словно речь шла о выборе для меня подходящего учебного заведения; тетушки и дядюшки долго совещались, озабоченно хмуря лбы, и наконец нерешительно выговорили: «Ну что-о ж…» Отец согласился в

течение одного года оказывать мне финансовую поддержку, и вот, после долгих проволочек, весной 1922 года я приехал в Нью-Йорк, как мне в ту пору думалось — навсегда.

Благоразумней было бы найти квартиру в самом Нью-Йорке, но дело шло к лету, а я еще не успел отвыкнуть от широких зеленых газонов и ласковой тени деревьев, и потому, когда один молодой сослуживец предложил поселиться вместе с ним где-нибудь в пригороде, мне эта идея очень понравилась. Он подыскал и дом — крытую толем хибарку за восемьдесят долларов в месяц, но в последнюю минуту фирма откомандировала его в Вашингтон, и мне пришлось устраиваться самому. Я завел собаку, — правда, она сбежала через несколько дней, — купил старенький «додж» и нанял пожилую финку, которая по утрам убирала мою постель и готовила завтрак на электрической плите, бормоча себе под нос какие-то финские премудрости. Поначалу я чувствовал себя одиноким, но на третье или четвертое утро меня остановил близ вокзала какой-то человек, видимо, только что сошедший с поезда.

— Не скажете ли, как попасть в Уэст-Эгг? — растерянно спросил он.

Я объяснил, и когда я зашагал дальше, чувства

одиночества как не бывало. Я был старожилом, первопоселенцем, указывателем дорог. Эта встреча освободила меня от невольной скованности постороннего.

Солнце с каждым днем пригревало сильней, почки распускались прямо на глазах, как в кино при замедленной съемке, и во мне уже крепла знакомая, приходившая каждое лето уверенность, что жизнь начинается сызнова.

Так много можно было прочесть книг, так много впитать животворных сил из напоенного свежестью воздуха. Я накупил учебников по экономике капиталовложений, по банковскому и кредитному делу, и, выстроившись на книжной полке, отливая червонным золотом, точно монеты новой чеканки, они сулили раскрыть передо мной сверкающие тайны, известные лишь Мидасу, Моргану и Меценату. Но я не намерен был ограничить себя чтением только этих книг. В колледже у меня обнаружились литературные склонности — я как-то написал серию весьма глубокомысленных и убедительных передовиц для «Йельского вестника», — и теперь я намерен был снова взяться за перо и снова стать самым узким из всех узких специалистов — так называемым человеком широкого кругозора. Это не

парадокс парадокса ради; ведь, в конце концов, жизнь видишь лучше всего, когда наблюдаешь ее из единственного окна.

Случаю угодно было сделать меня обитателем одного из самых своеобразных местечек Северной Америки. На длинном, прихотливой формы острове, протянувшемся к востоку от Нью-Йорка, есть среди прочих капризов природы два необычных почвенных образования. Милях в двадцати от города, на задворках пролива Лонг-Айленд, самого обжитого куска водного пространства во всем Западном полушарии, вдаются в воду два совершенно одинаковых мыса, разделенных лишь неширокой бухточкой. Каждый из них представляет собой почти правильный овал — только, подобно колумбову яйцу, сплюснутый у основания; при этом они настолько повторяют друг друга очертаниями и размерами, что, вероятно, чайки, летая над ними, не перестают удивляться этому необыкновенному сходству. Что до бескрылых живых существ, то они могут наблюдать феномен еще более удивительный — полное различие во всем, кроме очертаний и размеров.

Я поселился в Уэст-Эгге, менее, — ну, скажем так: менее фешенебельном из двух поселков,

хотя этот словесный ярлык далеко не выражает причудливого и даже несколько зловещего контраста, о котором идет речь. Мой домик стоял у самой оконечности мыса, в полусотне ярдов от берега, затиснутый между двумя роскошными виллами, из тех, за которые платят по двенадцать — пятнадцать тысяч в сезон. Особенно великолепна была вилла справа — точная копия какого-нибудь Hôtel de Ville[40] в Нормандии, с угловой башней, где новенькая кладка просвечивала сквозь редкую еще завесу плюща, с мраморным бассейном для плавания и садом в сорок с лишним акров земли. Я знал, что это усадьба Гэтсби. Точней, что она принадлежит кому-то по фамилии Гэтсби, так как больше я о нем ничего не знал. Мой домик был тут бельмом на глазу, но бельмом таким крошечным, что его и не замечал никто, и потому я имел возможность, помимо вида на море, наслаждаться еще видом на кусочек чужого сада и приятным сознанием непосредственного соседства миллионеров — все за восемьдесят долларов в месяц.

На другой стороне бухты сверкали над водой белые дворцы фешенебельного Ист-Эгга, и, в сущ-

---

[40] notes: 40
Ратуша *(фр.)*

ности говоря, история этого лета начинается с того вечера, когда я сел в свой «додж» и поехал на ту сторону, к Бьюкененам в гости. Дэзи Бьюкенен приходилась мне троюродной сестрой, а Тома я знал еще по университету. И как-то, вскоре после войны, я два дня прогостил у них в Чикаго.

Том, наделенный множеством физических совершенств — нью-хейвенские любители футбола не запомнят другого такого левого крайнего, — был фигурой, в своем роде характерной для Америки, одним из тех молодых людей, которые к двадцати одному году достигают в чем-то самых вершин, и потом, что бы они ни делали, все кажется спадом. Родители его были баснословно богаты, — уже в университете его манера сорить деньгами вызывала нарекания, — и теперь, вздумав перебраться из Чикаго на Восток, он сделал это с размахом поистине ошеломительным: привез, например, из Лейк-Форест целую конюшню пони для игры в поло. Трудно было представить себе, что у человека моего поколения может быть достаточно денег для подобных прихотей.

Не знаю, что побудило их переселиться на Восток. Они прожили год во Франции, тоже без особых к тому причин, потом долго скитались по разным углам Европы, куда съезжаются бога-

чи, чтобы вместе играть в поло и наслаждаться своим богатством. Теперь они решили прочно осесть на одном месте, сказала мне Дэзи по телефону. Я, впрочем, не слишком этому верил. Я не мог заглянуть в душу Дэзи, но Том, казалось мне, будет всю жизнь носиться с места на место в чуть тоскливой погоне за безвозвратно утраченной остротой ощущений футболиста.

Вот как вышло, что теплым, но ветреным вечером я ехал в Ист-Эгг навестить двух старых друзей, которых, в сущности, почти не знал. Их резиденция оказалась еще изысканней, чем я рисовал себе. Веселый красный с белым дом в георгианско-колониальном стиле смотрел фасадом в сторону пролива. Зеленый газон начинался почти у самой воды, добрую четверть мили бежал к дому между клумб и дорожек, усыпанных кирпичной крошкой, и наконец, перепрыгнув через солнечные часы, словно бы с разбегу взлетал по стене вьющимися виноградными лозами. Ряд высоких двухстворчатых окон прорезал фасад по всей длине; сейчас они были распахнуты навстречу теплому вечернему ветру, и стекла пламенели отблесками золота, а в дверях, широко расставив ноги, стоял Том Бьюкенен в костюме для верховой езды.

Он изменился с нью-хейвенских времен. Теперь это был плечистый тридцатилетний блондин с твердо очерченным ртом и довольно надменными манерами. Но в лице главным были глаза: от их блестящего дерзкого взгляда всегда казалось, будто он с угрозой подается вперед. Даже немного женственная элегантность его костюма для верховой езды не могла скрыть его физическую мощь; казалось, могучим икрам тесно в глянцевитых крагах, так что шнуровка вот-вот лопнет, а при малейшем движении плеча видно было, как под тонким сукном ходит плотный ком мускулов. Это было тело, полное сокрушительной силы, — жестокое тело.

Он говорил резким, хрипловатым тенором, очень подходившим к тому впечатлению, которое он производил, — человека с норовом. И даже в разговоре с приятными ему людьми в голосе у него всегда слышалась нотка презрительной отеческой снисходительности, — в Нью-Хейвене многие его за это терпеть не могли. Казалось, он говорил: «Я, конечно, сильнее вас, и вообще я не вам чета, но все же можете не считать мое мнение непререкаемым». На старших курсах мы с ним состояли в одном студенческом обществе, и, хотя дружбы между нами никогда не было,

мне всегда казалось, что я ему нравлюсь и что он по-своему, беспокойно, с вызовом, старается понравиться мне.

Мы немного постояли на освещенном вечерним солнцем крыльце.

— Недурное у меня тут пристанище, — сказал он, посверкивая глазами по сторонам.

Слегка нажимая на мое плечо, чтобы заставить меня повернуться, он широким движением руки обвел открывающуюся с крыльца панораму, включая в нее итальянский, уступами расположенный сад, пол-акра пряно благоухающих роз и тупоносую моторную яхту, покачивающуюся в полосе прибоя.

— Я купил эту усадьбу у Демэйна, нефтяника. — Он снова нажал на мое плечо, вежливо, но круто поворачивая меня к двери. — Ну, пойдем.

Мы прошли через просторный холл и вступили в сияющее розовое пространство, едва закрепленное в стенах дома высокими окнами справа и слева. Окна были распахнуты и сверкали белизной на фоне зелени, как будто враставшей в дом. Легкий ветерок гулял по комнате, трепля занавеси на окнах, развевавшиеся, точно бледные флаги, — то вдувал их внутрь, то выдувал наружу, то вдруг вскидывал вверх, к потолку, похожему

на свадебный пирог, облитый глазурью, а по винно-красному ковру рябью бежала тень, как по морской глади под бризом.

Единственным неподвижным предметом в комнате была исполинская тахта, на которой, как на привязанном к якорю аэростате, укрылись две молодые женщины. Их белые платья подрагивали и колыхались, как будто они обе только что опустились здесь после полета по дому. Я, наверно, несколько мгновений простоял, слушая, как полощутся и хлопают занавеси и поскрипывает картина на стене. Потом что-то стукнуло — Том Бьюкенен затворил окна с одной стороны, — и попавшийся в западню ветер бессильно замер, а занавеси, и ковер, и обе молодые женщины на тахте постепенно опали и пришли в неподвижность.

Младшая из двух женщин была мне незнакома. Она растянулась во весь рост на своем конце тахты и лежала, не шевелясь, чуть закинув голову, как будто на подбородке у нее стоял какой-то предмет, который она с большим трудом удерживала в равновесии. Может быть, она и заметила меня краешком глаза, но виду не подала; и от растерянности я чуть было не забормотал извинений, что помешал ей своим приходом.

Другая — это была Дэзи — сделала попытку встать: слегка подалась вперед с озабоченным выражением; но тут же засмеялась звенящим, обворожительно нелепым смехом, и я тоже засмеялся и шагнул к дивану.

— На м-меня от радости столбняк нашел.

Она опять засмеялась, словно сказала что-то в высшей степени остроумное, и на миг удержала мою руку, заглядывая мне в глаза с таким видом, будто у нее никогда не было более горячего желания, чем меня увидеть. Она умела так смотреть. Потом она шепотком назвала мне фамилию эксвилибристки на другом конце дивана: Бейкер. (Злые языки утверждали, что шепоток Дэзи — уловка, цель которой заставить собеседника наклониться к ней поближе; бессмысленный навет, ничуть не лишающий эту манеру прелести.)

Так или иначе, губы мисс Бейкер дрогнули, она едва заметно кивнула мне головой и тотчас же опять откинула ее назад — должно быть, предмет, стоявший у нее на подбородке, качнулся, и она испугалась, что он упадет. Мне снова неудержимо захотелось извиниться. Апломб и независимость, в чем бы они ни проявлялись, всегда действуют на меня ошеломляюще.

Моя кузина стала задавать мне вопросы своим

низким, волнующим голосом. Слушая такой голос, ловишь интонацию каждой фразы, как будто это музыка, которая больше никогда не прозвучит. Лицо Дэзи, миловидное и грустное, оживляли только яркие глаза и яркий чувственный рот, но в голосе было многое, чего не могли потом забыть любившие ее мужчины, — певучая властность, негромкий призыв «услышь», отзвук веселья и радостей, только что миновавших, и веселья и радостей, ожидающих впереди.

Я рассказал, что по дороге в Нью-Йорк останавливался на день в Чикаго, и передал ей привет от десятка друзей.

— Так обо мне там скучают? — ликуя, воскликнула она.

— Весь город безутешен. У всех машин левое заднее колесо выкрашено черной краской в знак траура, а берега озера всю ночь оглашаются плачем и стенаниями.

— Какая прелесть! Давай вернемся, Том. Завтра же! — И без всякого перехода она добавила: — Посмотрел бы ты на нашу малышку!

— Я бы очень хотел на нее посмотреть.

— Она уже спит. Ей ведь три года. Ты ее никогда не видел?

— Никогда.

— Ну, если бы ты только на нее посмотрел… Она…

Том Бьюкенен, беспокойно бродивший из угла в угол, остановился и положил мне руку на плечо:

— Чем теперь занимаешься, Ник?

— Кредитными операциями.

— У кого?

Я назвал.

— Никогда не слыхал, — высокомерно уронил он.

Меня задело.

— Услышишь, — коротко возразил я. — Непременно услышишь, если думаешь обосноваться на Востоке.

— О, насчет этого можешь быть спокоен, — сказал он, глянул на Дэзи и тотчас же снова перевел глаза на меня, будто готовясь к отпору. — Не такой я дурак, чтобы отсюда уехать.

Тут мисс Бейкер сказала: «Факт!» — и я даже вздрогнул от неожиданности: это было первое слово, которое она произнесла за все время. По-видимому, ее самое это удивило не меньше, чем меня; она зевнула и в два-три быстрых, ловких движения оказалась на ногах.

— Я вся как деревяшка, — пожаловалась она. — Невозможно столько времени валяться

на диване.

— Пожалуйста, не смотри на меня, — отрезала Дэзи. — Я с самого утра пытаюсь вытащить тебя в Нью-Йорк.

— Спасибо, нет, — сказала мисс Бейкер четырем бокалам с коктейлями, только что появившимся на столе. — Никогда не пью накануне.

Хозяин дома с недоверием посмотрел на нее.

— Уж будто! — Он залпом осушил свой бокал, словно там только и было что на донышке. — Как тебе что-то удается, для меня загадка.

Я посмотрел на мисс Бейкер, стараясь угадать, что такое ей «удается». Смотреть на нее было приятно. Она была стройная, с маленькой грудью, с очень прямой спиной, что еще подчеркивала ее манера держаться — плечи назад, точно у мальчишки-кадета. Ее серые глаза с ответным любопытством щурились на меня с хорошенького, бледного, капризного личика. Мне вдруг показалось, что я уже видел ее где-то, может быть, на фотографии.

— Вы живете в Уэст-Эгге? — протянула она несколько свысока. — У меня там есть знакомые.

— А я там никого не…

— Не может быть, чтоб вы не знали Гэтсби.

— Гэтсби? — спросила Дэзи. — Какой это

Гэтсби?

Я хотел было сказать, что это мой ближайший сосед, но тут доложили, что кушать подано, и Том Бьюкенен, властно прижав мускулистой рукой мой локоть, вывел меня из комнаты, точно шахматную фигуру переставил с клетки на клетку.

Томно, неторопливо, слегка придерживая платья на бедрах, обе молодые женщины шли впереди нас к столу, накрытому на розовой веранде, обращенной к закату. Четыре свечи горели на столе, затихающий ветер колебал их пламя.

— Это еще зачем? — нахмурилась Дэзи и пальцами погасила все свечи. — Через две недели будет самый долгий день в году. — Она обвела нас сияющим взглядом. — Случалось вам когда-нибудь ждать этого самого долгого дня — и потом спохватиться, что он уже миновал? Со мной это каждый год случается.

— Давайте придумаем что-нибудь, — зевнула мисс Бейкер, усаживаясь за стол с таким видом, словно она укладывалась в постель.

— Давайте, — сказала Дэзи. — Только что? — Она беспомощно оглянулась на меня. — Что вообще можно придумать?

Не дожидаясь ответа, она вдруг с ужасом уставилась на свой мизинец.

— Смотрите! — воскликнула она. — Я ушибла палец.

Мы все посмотрели — сустав посинел и распух.

— Это ты виноват, Том, — сказала она обиженно. — Я знаю, ты не нарочно, но все-таки это ты. Так мне и надо, зачем выходила замуж за такую громадину, такого здоровенного, неуклюжего дылду.

— Терпеть не могу это слово, — сердито перебил ее Том. — Не желаю, чтобы меня даже в шутку называли дылдой.

— Дылда! — упрямо повторила Дэзи.

Иногда она и мисс Бейкер вдруг принимались говорить разом, но в их насмешливой, бессодержательной болтовне не было легкости, она была холодной, как их белые платья, как их равнодушные глаза, не озаренные и проблеском желания. Они сидели за столом и терпели наше общество, мое и Тома, лишь из светской любезности, стараясь нас занимать или помогая нам занимать их. Они знали: скоро обед кончится, а там кончится и вечер, и можно будет небрежно смахнуть его в прошлое. Все это было совсем не так, как у нас на Западе, где всегда с волнением торопишь вечер, час за часом подгоняя его к концу, которого и ждешь, и боишься.

— Дэзи, рядом с тобой я перестаю чувствовать себя цивилизованным человеком, — пожаловался я после второго бокала легкого, но далеко не безобидного красного вина. — Давай заведем какой-нибудь понятный мне разговор, ну хоть о видах на урожай.

Я сказал это не думая, просто так, но мои слова произвели неожиданный эффект.

— Цивилизация идет насмарку, — со злостью выкрикнул Том. — Я теперь стал самым мрачным пессимистом. Читал ты книгу Годдарда «Цветные империи на подъеме»?

— Нет, не приходилось, — ответил я, удивленный его тоном.

— Великолепная книга, ее каждый должен прочесть. Там проводится такая идея: если мы не будем настороже, белая раса… ну, словом, ее поглотят цветные. Это не пустяки, там все научно доказано.

— Том у нас становится мыслителем, — сказала Дэзи с неподдельной грустью. — Он читает разные умные книги с такими длиннющими словами. Том, какое это было слово, что мы никак…

— Не просто книги, а научные труды, — возразил раздраженно Том. — Этот Годдард развивает свою мысль до конца. От нас, от главенствующей

расы, зависит не допустить, чтобы другие расы взяли верх.

— Мы должны сокрушить их, — шепнула Дэзи, свирепо подмигивая в сторону солнца, пламенев-шего над горизонтом.

— Вот если б вы жили в Калифорнии… — на-чала мисс Бейкер, но Том прервал ее, шумно задвигавшись на своем стуле.

— Суть в том, что мы — представители нордиче-ской расы. Я, и ты, и ты, и… — После мгновенного колебания он кивком головы включил и Дэзи, и она тотчас же снова подмигнула мне. — И все то, что составляет цивилизацию, создано нами — наука там, и искусство, и все прочее. Понятно?

Было что-то патетическое в его настойчивости, как будто ему уже мало было упоения собствен-ной личностью, с годами еще возросшего. Где-то в доме зазвонил телефон, лакей пошел ответить на звонок, и Дэзи, воспользовавшись минутным отвлечением, наклонилась ко мне.

— Я тебе открою фамильную тайну, — ожив-ленно зашептала она. — Про нос нашего лакея. Хочешь узнать тайну про нос нашего лакея?

— Я только затем и приехал.

— Ну, слушай: раньше он был не просто лакеем, он служил в одном доме в Нью-Йорке, где имелось

столового серебра на двести персон, — так вот, он заведовал этим серебром. С утра до вечера он его чистил и чистил, и в конце концов у него от этого сделался насморк…

— Дальше — хуже, — подсказала мисс Бейкер.

— Верно. Дальше — хуже, и дошло до того, что ему пришлось отказаться от места.

Заходящее солнце прощальной лаской коснулось порозовевшего лица Дэзи; я прислушивался к ее шепоту, невольно сдерживая дыхание и вытянув шею, но вот розовое сияние померкло, соскользнуло с ее лица, медленно, неохотно, как ребенок, которого наступивший вечер заставляет расстаться с весельем улицы и идти домой.

Вернувшийся лакей сказал что-то почти на ухо Тому. Том нахмурился, отодвинул свой стул и, не произнеся ни слова, пошел в комнаты. У Дэзи словно что-то быстрее завертелось внутри, она снова наклонилась ко мне и сказала напевным, льющимся голосом:

— Ах, Ник, если б ты знал, как мне приятно видеть тебя за этим столом. Ты похож на… на розу. Ведь правда? — обратилась она к мисс Бейкер за подтверждением. — Он настоящая роза.

Это был чистый вздор. Во мне нет ничего, даже отдаленно напоминающего розу. Она сболтнула

первое, что пришло в голову, но от нее веяло лихорадочным теплом, как будто душа ее рвалась наружу под прикрытием этих неожиданных, огорошивающих слов. И вдруг она бросила салфетку на стол, попросила извинить ее и тоже ушла в комнаты.

Мы с мисс Бейкер обменялись короткими, ничего не выражающими взглядами. Я было хотел заговорить, но она вся подобралась на стуле и предостерегающе цыкнула в мою сторону. Из-за двери глухо доносился чей-то взволнованный голос, и мисс Бейкер, вытянув шею, совершенно беззастенчиво вслушивалась. Голос задрожал где-то на грани внятности, упал почти до шепота, запальчиво вскинулся и совсем затих.

— Этот мистер Гэтсби, о котором вы упоминали, он мой сосед, — начал я.

— Молчите. Я хочу слышать, что там происходит.

— А там что-то происходит? — простодушно спросил я.

— Вы что же, ничего не знаете? — искренне удивилась мисс Бейкер. — Я была уверена, что все знают.

— Я не знаю.

— Ну, в общем… — Она замялась. — У Тома есть

какая-то особа в Нью-Йорке.

— Какая-то особа? — растерянно повторил я.

Мисс Бейкер кивнула.

— Могла бы, между прочим, иметь каплю совести и не звонить ему домой в обеденное время. Верно?

Пока я силился уразуметь смысл услышанного, в дверях зашелестело платье, скрипнули кожаные подошвы — и хозяева дома вернулись к столу.

— Неотложное дело! — нарочито весело воскликнула Дэзи.

Она уселась на свое место, метнула испытующий взгляд на мисс Бейкер, потом на меня и продолжала как ни в чем не бывало:

— Я на минутку выглянула в сад, там сейчас все так романтично. В кустах поет птица, по-моему, это соловей — он, наверно, прибыл с последним трансатлантическим рейсом. И так поет, так поет… — Она и сама почти пела, не говорила. — Ну разве не романтично, Том, скажи?

— Да, сплошная романтика, — сказал он и, словно ища спасенья, повернулся ко мне: — После обеда, если еще не совсем стемнеет, поведу тебя посмотреть лошадей.

Опять затрещал телефонный звонок; Дэзи,

глядя на Тома, решительно покачала головой, и разговор о лошадях, да и весь вообще разговор повис в воздухе. Среди обрывков последних пяти минут, проведенных за столом, мне запомнились огоньки свечей — их почему-то опять зажгли — и мучившее меня желание в упор смотреть на всех остальных, но так, чтобы ни с кем не встретиться взглядом. Не знаю, о чем думали в это время Дэзи и Том, но даже мисс Бейкер с ее очевидной скептической закалкой едва ли удавалось не замечать трескучей стальной навязчивости этого пятого среди нас. Кому-нибудь другому вся ситуация могла показаться заманчиво пикантной, но у меня было такое чувство, что необходимо срочно вызвать полицию.

Понятно само собой, что о лошадях больше и речи не было. Том и мисс Бейкер вернулись в библиотеку, словно бы для сумеречного бдения над невидимым, но вполне материальным покойником, а я, притворяясь светски оживленным и слегка тугим на ухо, шел вместе с Дэзи цепью сообщающихся балконов вокруг дома, пока эта прогулка не привела нас к центральной веранде, где было уже совсем темно. Там мы и уселись рядом на плетеном диванчике.

Дэзи прижала обе ладони к лицу, словно про-

веряя на ощупь его точеный овал, а глазами все пристальней, все напряженней впивалась в бархатистый полумрак. Я видел ее волнение, с которым она не в силах была совладать, и попытался отвлечь ее расспросами о дочке.

— Мы с тобой хоть и родственники, а мало знаем друг друга, Ник, — неожиданно сказала она. — Ты даже на свадьбе у меня не был.

— Я тогда еще не вернулся с войны.

— Да, верно. — Она помолчала. — Знаешь, Ник, мне очень много пришлось пережить, и я теперь как-то ни во что не верю.

Судя по всему, у нее для этого были основания. Я немного подождал, но продолжения не последовало, и тогда я довольно беспомощно ухватился опять за спасительную тему о дочке.

— Она, должно быть, уже разговаривает, и... и ест, и все такое.

— Ну, конечно. — Она рассеянно взглянула на меня. — А хочешь знать, что я сказала, когда она родилась, Ник? Интересно тебе?

— Очень интересно.

— Это тебе поможет понять... многое. Еще и часу не прошло, как она появилась на свет, — а где был Том, бог его знает. Я очнулась после наркоза, чувствуя себя всеми брошенной и забытой,

и сразу же спросила акушерку: «Мальчик или девочка?» И когда услышала, что девочка, отвернулась и заплакала. А потом говорю: «Ну и пусть. Очень рада, что девочка. Дай только бог, чтобы она выросла дурой, потому что в нашей жизни для женщины самое лучшее быть хорошенькой дурочкой».

Я, видишь ли, думаю, что все равно на свете ничего хорошего нет, — продолжала она убежденно. — И все так думают — даже самые умные, самые передовые люди. А я не только думаю, я *знаю*. Ведь я везде побывала, все видела, все попробовала. — Она вызывающе сверкнула глазами, совсем как Том, и рассмеялась звенящим, презрительным смехом. — Многоопытная и разочарованная, вот я какая.

Но как только отзвучал ее голос, принуждавший меня слушать и верить, я сейчас же почувствовал неправду в ее словах. Мне стало не по себе, как будто весь этот вечер был рассчитан на то, чтобы через обман и хитрость заставить меня волноваться чужим волнением. Прошла минута, и в самом деле — на прелестном лице Дэзи появилась самодовольная улыбка, словно ей удалось доказать свое право на принадлежность к привилегированному тайному обществу, к

которому принадлежал и Том.

Алая комната цвела под зажженной лампой. Том сидел на одном конце длинной тахты, а мисс Бейкер, сидя на другом, читала ему вслух «Сатердей ивнинг пост» — в ее чтении все слова сливались в ровную убаюкивающую мелодию. Свет играл яркими бликами на ботинках Тома, тусклым золотом переливался в волосах мисс Бейкер, напоминавших цветом осеннюю листву, скользил по страницам, перевертываемым упругим движением сильных, мускулистых пальцев.

Увидев нас, мисс Бейкер предостерегающе подняла руку.

— «Продолжение в следующем номере», — дочитала она и отбросила журнал. Потом, дернув коленкой, самоуверенно выпрямилась и встала с тахты. — Десять часов, — объявила она, поглядев, чтобы узнать это, на потолок. — Девочке-паиньке пора в постельку.

— У Джордан завтра состязания в Уэстчестере, — пояснила Дэзи. — Ей нужно ехать туда с самого утра.

— Ах, так вы — Джордан Бейкер!

Теперь я понял, почему мне знакомо ее лицо, — эта капризная гримаска достаточно часто мелькала на фотографиях, иллюстрирующих

спортивную хронику Ашвилла, Хот-Спрингса и Палм-Бич. Я даже слышал о ней какую-то сплетню, довольно злую и неприглядную сплетню, но подробности давно вылетели у меня из головы.

— Спокойной ночи, — проворковала она. — И пожалуйста, разбудите меня в восемь часов.

— Ведь все равно не встанешь.

— Встану. Спокойной ночи, мистер Каррауэй. Мы еще увидимся.

— Конечно, увидитесь, — подтвердила Дэзи. — Я даже думаю, не сосватать ли вас. Приезжай почаще, Ник, я буду — как это говорится? — содействовать вашему сближению. Ну, знаешь, — то нечаянно запру вас вдвоем в чулане, то отправлю на лодке в открытое море, то еще что-нибудь.

— Спокойной ночи! — крикнула уже с лестницы мисс Бейкер. — Я ничего не слышала.

— Джордан славная девушка, — сказал Том немного погодя. — Напрасно только ей разрешают вести такую бродячую жизнь.

— А кто это может разрешить ей или не разрешить? — холодно спросила Дэзи.

— Ну как кто — ее родные.

— Ее родные — это тетка, которой сто лет. Но теперь Ник приглядит за ней, правда, Ник? Она будет приезжать к нам каждую субботу. Я считаю,

что атмосфера семейного дома должна оказать на нее благотворное влияние.

Дэзи и Том молча посмотрели друг на друга.

— Она из Нью-Йорка? — поспешно спросил я.

— Из Луисвилла. Подруга моей юности. Моей счастливой, безмятежной юности.

— Ты что, вела с Ником на веранде задушевные разговоры? — спросил вдруг Том.

— Задушевные разговоры? — Она оглянулась на меня. — Не помню, но, кажется, мы беседовали о нордической расе. Да, да, именно об этом. Разговор возник как-то сам собой, мы даже не заметили.

— Ты смотри, Ник, не верь всякой чепухе, — предостерег меня Том.

Я беспечно сказал, что никакой чепухи я не слышал, и немного погодя стал прощаться. Они вышли меня проводить и, стоя рядышком в веселом прямоугольнике света, смотрели, как я усаживаюсь в машину. Я уже включил мотор, как вдруг Дэзи повелительно закричала: «Стой!»

— Я забыла спросить одну важную вещь. Мы слышали, что у тебя там, дома, есть невеста.

— Да, да, — с готовностью подхватил Том. — Мы слышали, что у тебя есть невеста.

— Клевета. Я слишком беден, чтобы жениться.

— А мы слышали, — настаивала Дэзи; к моему удивлению, она опять словно вся расцвела. — Мы слышали от трех разных людей, значит, это правда.

Я отлично знал, о чем идет речь, но дело в том, что у меня в самом деле не было никакой невесты. Дурацкие слухи о моей помолвке и были одной из причин, почему я решил уехать на Восток. Нельзя раззнакомиться со старой приятельницей из-за чьих-то досужих языков, но, с другой стороны, мне вовсе не хотелось, чтобы эти досужие языки довели меня до брачного обряда.

Я был тронут радушным приемом Дэзи и Тома, даже их богатство теперь как будто меньше отдаляло их от меня, но все же по дороге домой я не мог отделаться от какого-то неприятного осадка. Мне казалось, что Дэзи остается одно: схватить ребенка на руки и без оглядки бежать из этого дома, но у нее, видно, и в мыслях ничего подобного не было. Что же касается Тома, то меня не так поразило известие о «какой-то особе в Нью-Йорке», как то, что его душевное равновесие могло быть нарушено книгой. Что-то побуждало его вгрызаться в корку черствых идей, как будто несокрушимое плотское самодовольство больше не насыщало эту властную душу.

Уже совсем по-летнему разогрелись за день крыши придорожных закусочных и асфальт перед гаражами, где в лужицах света торчали новенькие красные бензоколонки. Вернувшись к себе в Уэст-Эгг, я поставил машину под навес и присел на заржавленную газонокосилку, валявшуюся за домом. Ветер утих, ночь сияла, полная звуков, — хлопали птичьи крылья в листве деревьев, органно гудели лягушки от избытка жизни, раздуваемой мощными мехами земли. Мимо черным силуэтом в голубизне прокралась кошка, я повернул голову ей вслед и вдруг увидел, что я не один — шагах в пятидесяти, отделившись от густой тени соседского дома, стоял человек и, заложив руки в карманы, смотрел на серебряные перчинки звезд. Непринужденное спокойствие его позы, уверенность, с которой его ноги приминали траву на газоне, подсказали мне, что это сам мистер Гэтсби вышел прикинуть, какая часть нашего уэст-эггского неба по праву причитается ему.

Я решил окликнуть его. Сказать, что слышал о нем сегодня за обедом от мисс Бейкер, это послужит мне рекомендацией. Но я так его и не окликнул, потому что он вдруг ясно показал, насколько неуместно было бы нарушить его

одиночество: он как-то странно протянул руку к темной воде, и, несмотря на расстояние между нами, мне показалось, что он весь дрожит. Невольно я посмотрел по направлению его взгляда, но ничего не увидел; только где-то далеко светился зеленый огонек, должно быть, сигнальный фонарь на краю причала. Я оглянулся, но Гэтсби уже исчез, и я снова был один в неспокойной темноте.

Глава II

Почти на полпути между Уэст-Эггом и Нью-Йорком шоссе подбегает к железной дороге и с четверть мили бежит с нею рядом, словно хочет обогнуть стороной угрюмый пустырь. Это настоящая Долина Шлака — призрачная нива, на которой шлак всходит как пшеница, громоздится холмами, сопками, раскидывается причудливыми садами; перед вами возникают шлаковые дома, трубы, дым, поднимающийся к небу, и, наконец, если очень напряженно вглядеться, можно увидеть шлаково-серых человечков, которые словно расплываются в пыльном тумане. А то вдруг по невидимым рельсам выползет вереница серых вагонеток и с чудовищным лязгом остановится, и сейчас же шлаковые человечки закопошатся вокруг с лопатами и поднимут такую густую тучу пыли, что за ней уже не разглядеть, каким они там заняты таинственным делом.

Но проходит минута-другая, и над этой безотрадной землей, над стелющимися над ней клубами серой пыли вы различаете глаза доктора Т. Дж. Эклберга. Глаза доктора Эклберга голубые и огромные — их радужная оболочка имеет метр

в ширину. Они смотрят на вас не с человеческого лица, а просто сквозь гигантские очки в желтой оправе, сидящие на несуществующем носу. Должно быть, какой-то фантазер-окулист из Квинса установил их тут в надежде на расширение практики, а потом сам отошел в край вечной слепоты или переехал куда-нибудь, позабыв свою выдумку. Но глаза остались, и, хотя краска немного слиняла от дождя и солнца и давно уже не подновлялась, они и сейчас все так же грустно созерцают мрачную свалку.

С одной стороны Долина Шлака упирается в сильно загаженную речонку, и, когда мост на ней разведен для пропуска барж, пассажирам местного поезда приходится иной раз битых полчаса любоваться унылым пейзажем. Задержка бывает здесь всегда, хотя бы на минуту, и благодаря этому я познакомился с любовницей Тома Бьюкенена.

О том, что у него есть любовница, говорили с уверенностью всюду, где только его знали. Возмущенно рассказывали, что он появляется с нею в модных кафе и, оставив ее за столиком, расхаживает по всему залу, окликая знакомых. Мне было любопытно на нее посмотреть, но знакомиться с нею я вовсе не хотел — однако пришлось. Как-то мы с Томом вместе ехали поездом в Нью-Йорк,

и, когда поезд остановился у шлаковых куч, Том вдруг вскочил и, схватив меня под руку, буквально вытащил из вагона.

— Сойдем здесь, — настаивал он. — Я хочу познакомить тебя с моей приятельницей.

Он, должно быть, изрядно хватил за завтраком и, вздумав провести день в моем обществе, готов был осуществить свое намерение хотя бы силой. Ему даже в голову не приходило, что у меня могут быть другие планы на воскресенье.

Следуя за ним, я перебрался через невысокую беленую стену, ограждавшую железнодорожные пути, и под пристальным взглядом доктора Эклберга мы прошли шагов сто в обратную сторону. Кругом не было видно никаких признаков жилья, кроме трех кирпичных строений, вытянувшихся в ряд на краю пустыря, — этакая Главная улица в миниатюре, которая никуда не вела и ни с чем не пересекалась. В одном было торговое помещение, которое сейчас пустовало, в другом — ресторанчик, открытый круглые сутки, третье занимал гараж с вывеской: «Джордж Уилсон. Автомобили. Покупка, продажа и ремонт». Сюда мы и вошли.

Внутри было голо и убого; только в полутемном углу приткнулся поломанный «форд». Мне вдруг представилось, что этот гараж без машин

— просто маскировка, а над ним, должно быть, скрываются таинственные роскошные апартаменты; но тут из бокового закутка, служившего конторой, выглянул сам хозяин, вытирая ветошью руки. Это был рыхлый вялый блондин, анемичной, но, в общем, довольно приятной внешности. При виде нас в его голубых глазах заиграл влажный отсвет надежды.

— Привет, Уилсон, дружище, — сказал Том, весело хлопнув его по плечу. — Как делишки?

— Жаловаться не могу, — отвечал Уилсон не слишком уверенным тоном. — Когда же вы продадите мне ту машину?

— На той неделе; мой шофер ее приводит в порядок.

— Мне кажется, он не очень спешит.

— А мне не кажется, — холодно отрезал Том. — Если вы не хотите ждать, я, в конце концов, могу продать ее и в другом месте.

— Нет, нет, что вы, — испугался Уилсон. — Вы меня не так поняли, я просто…

Конец фразы как-то заглох. Том в это время нетерпеливо оглядывался по сторонам. На лестнице вдруг послышались шаги, и через минуту плотная женская фигура загородила свет, падавший из закутка. Женщина была лет тридцати

пяти, со склонностью к полноте, но она несла свое тело с той чувственной повадкой, которая свойственна некоторым полным женщинам. В лице, оттененном синим в горошек крепдешиновым платьем, не было ни одной красивой или хотя бы правильной черты, но от всего ее существа так и веяло энергией жизни, словно в каждой жилочке тлел готовый вспыхнуть огонь. Она неспешно улыбнулась, и, пройдя мимо мужа, точно это был не человек, а тень, подошла к Тому и поздоровалась с ним за руку, глядя ему в глаза. Потом облизнула губы и, не поворачивая головы, сказала мужу грудным, хрипловатым голосом:

— Принес бы хоть стулья, людям присесть негде.

— Сейчас, сейчас. — Уилсон торопливо кинулся к своему закутку и сразу пропал на беловатом фоне стены. Налет шлаковой пыли выбелил его темный костюм и бесцветные волосы, как и все кругом; только на женщине, стоявшей теперь совсем близко к Тому, не был заметен этот налет.

— Ты мне нужна сегодня, — властно сказал Том. — Едем следующим поездом.

— Хорошо.

— Встретимся внизу, на перроне, у газетного киоска.

Она кивнула и отошла — как раз в ту минуту, когда в дверях показался Уилсон, таща два стула.

Мы подождали ее на шоссе, отойдя настолько, чтобы нас не было видно. Приближался праздник Четвертого июля, и тщедушный мальчишка-итальянец с серым лицом раскладывал вдоль железнодорожного полотна сигнальные петарды.

— Ужасная дыра, верно? — сказал Том, неодобрительно переглянувшись с доктором Эклбергом.

— Да, хуже не придумаешь.

— Вот она и рада бывает проветриться.

— А муж — ничего?

— Уилсон? Считается, что она ездит в Нью-Йорк к сестре в гости. Да он такой олух, не замечает даже, что живет на свете.

Так случилось, что Том Бьюкенен, его дама и я вместе отправились в Нью-Йорк, — впрочем, не совсем вместе: приличия ради миссис Уилсон ехала в другом вагоне. Со стороны Тома это была уступка щепетильности тех обитателей Уэст-Эгга, которые могли оказаться в поезде.

Она переоделась, и на ней теперь было платье из коричневого в разводах муслина, туго натянувшееся на ее широковатых бедрах, когда Том

помогал ей выйти из вагона на Пенсильванском вокзале. В газетном киоске она купила киножурнал и номер «Таун Тэттл», а у аптекарского прилавка — кольдкрем и флакончик духов. Наверху, в гулком полумраке крытого въезда, она пропустила четыре такси и остановила свой выбор только на пятом — новеньком автомобиле цвета лаванды, с серой обивкой, который наконец вывез нас из громады вокзала на залитую солнцем улицу. Но не успели мы отъехать, как она, резко откинувшись от окна, застучала в стекло шоферу.

— Хочу такую собачку, — потребовала она. — Пусть у нас в квартирке живет собачка. Это так уютно.

Шофер дал задний ход, и мы поравнялись с седым стариком, до нелепости похожим на Джона Д. Рокфеллера. На груди у него висела корзина, в которой копошилось с десяток новорожденных щенков неопределенной масти.

— Это что за порода? — деловито осведомилась миссис Уилсон, как только старик подошел к машине.

— Всякая есть. Вам какая требуется, мадам?

— Мне бы хотелось немецкую овчарку. Такой у вас, наверно, нет?

Старик с сомнением глянул в свою корзину, запустил туда руку и вытащил за загривок барахтающуюся собачонку.

— Это не немецкая овчарка, — сказал Том.

— Да, пожалуй что не совсем, — огорченно согласился старик. — Это скорее эрдельтерьер. — Он провел рукой по коричневой, словно бобриковой, спинке: — Вы посмотрите, шерсть какая. Богатая шерсть. Уж эту собаку вам не придется лечить от простуды.

— Она дуся! — восторженно объявила миссис Уилсон. — Сколько вы за нее хотите?

— За эту собаку? — Он окинул щенка восхищенным взглядом. — Эта собака вам обойдется в десять долларов.

Эрдельтерьер — среди его предков, несомненно, был и эрдельтерьер, несмотря на подозрительно белые лапы, — перекочевал на колени к миссис Уилсон, которая с упоением принялась гладить морозоустойчивую шерсть.

— А это мальчик или девочка? — деликатно осведомилась она.

— Эта собака? Эта собака — мальчик.

— Сука это, — уверенно сказал Том. — Вот деньги, держите. Можете купить на них еще десяток щенков.

Мы выехали на Пятую авеню, такую тихую, мирную, почти пасторально-идиллическую в этот теплый воскресный день, что я не удивился бы, если б из-за угла вдруг появилось стадо белых овечек.

— Остановите-ка на минуту, — сказал я. — Здесь я вас должен покинуть.

— Ну уж нет, — запротестовал Том. — Миртл обидится, если ты не посмотришь ее квартирку. Правда, Миртл?

— Поедемте с нами, — попросила миссис Уилсон. — Я позвоню Кэтрин. Это моя сестра, она красавица — так говорят люди понимающие.

— Я бы с удовольствием, но…

Мы покатили дальше, пересекли парк и выехали к западным Сотым улицам. Вдоль Сто пятьдесят восьмой длинным белым пирогом протянулись одинаковые многоквартирные дома. У одного из ломтиков этого пирога мы остановились. Оглядевшись по сторонам с видом королевы, возвращающейся в родную столицу, миссис Уилсон подхватила щенка и прочие свои покупки и величественно проследовала в дом.

— Позвоню Макки, пусть они тоже зайдут, — говорила она, пока мы поднимались в лифте. — И не забыть сразу же вызвать Кэтрин.

Квартирка находилась под самой крышей — маленькая гостиная, маленькая столовая, маленькая спаленка и ванная комната. Гостиная была заставлена от двери до двери чересчур громоздкой для нее мебелью с гобеленовой обивкой, так что нельзя было ступить шагу, чтобы не наткнуться на группу прелестных дам, раскачивающихся на качелях в Версальском парке. Стены были голые, если не считать непомерно увеличенной фотографии, изображавшей, по-видимому, курицу на окутанной туманом скале. Стоило, впрочем, отойти подальше, как курица оказывалась вовсе не курицей, а шляпкой, из-под которой добродушно улыбалась почтенная старушка с пухленькими щечками. На столе валялись вперемешку старые номера «Таун Тэттл», томик, озаглавленный «Симон, называемый Петром», и несколько журнальчиков из тех, что питаются скандальной хроникой Бродвея. Миссис Уилсон, войдя, прежде всего занялась щенком. Мальчик-лифтер с явной неохотой отправился добывать ящик с соломой и молоко; к этому он, по собственной инициативе, добавил жестянку больших твердокаменных собачьих галет — одна такая галета потом до самого вечера уныло кисла в блюдечке с молоком. Пока шли

все эти хлопоты, Том отпер дверцу секретера и извлек оттуда бутылку виски.

Я только два раза в жизни напивался пьяным; это и был второй раз. Поэтому все происходившее после я видел будто сквозь мутную дымку, хотя квартира часов до восьми по крайней мере была залита солнцем. Миссис Уилсон, усевшись к Тому на колени, без конца звонила кому-то по телефону; потом выяснилось, что нечего курить, и я пошел купить сигареты. Когда я вернулся, в гостиной никого не было; я скромно уселся в уголке и прочел целую главу из «Симона, называемого Петром», — но одно из двух: или это страшная чушь, или в голове у меня путалось после выпитого виски, — во всяком случае, я ровно ничего не мог понять.

Потом Том и Миртл (мы с миссис Уилсон после первой рюмки стали звать друг друга запросто по имени) вернулись в гостиную; вскоре появились и гости.

Кэтрин, сестра хозяйки, оказалась стройной, видавшей виды девицей лет тридцати с напудренным до молочной белизны лицом под густой шапкой рыжих, коротко остриженных волос. Брови у нее были выщипаны дочиста и потом наведены снова под более залихватским

углом; но стремление природы вернуться к первоначальному замыслу придавало некоторую расплывчатость ее чертам. Каждое ее движение сопровождалось позвякиванием многочисленных керамических браслетов, скользивших по обнаженным рукам. Она вошла в комнату таким быстрым, уверенным шагом и так по-хозяйски оглядела всю мебель, что я подумал, — может быть, она и живет здесь. Но когда я ее спросил об этом, она расхохоталась и неумеренно громко повторила вслух мой вопрос и потом сказала, что снимает номер в отеле, вдвоем с подругой.

Мистер Макки, сосед снизу, был бледный женоподобный человечек. Он, как видно, только что брился: на щеке у него засох клочок мыльной пены. Войдя, он долго и изысканно-вежливо здоровался с каждым из присутствующих. Мне он объяснил, что принадлежит к «миру искусства»; как я узнал потом, он был фотографом, и это его творением был увеличенный портрет матери миссис Уилсон, точно астральное тело парившей на стене гостиной. Жена его была томная, красивая мегера с пронзительным голосом. Она гордо поведала мне, что со дня их свадьбы муж сфотографировал ее сто двадцать семь раз.

Миссис Уилсон еще раньше успела переодеться

— на ней теперь был очень нарядный туалет из кремового шифона, шелестевший, когда она расхаживала по комнате. Переменив платье, она и вся стала как будто другая. Та кипучая энергия жизни, которая днем, в гараже, так поразила меня, превратилась в назойливую спесь. Смех, жесты, разговор — все в ней с каждой минутой становилось жеманнее; казалось, гостиная уже не вмещает ее развернувшуюся особу, и в конце концов она словно бы закружилась в дымном пространстве на скрипучем, лязгающем стержне.

— Ах, милая, — говорила она сестре, неестественно повысив голос, — вся эта публика только и смотрит, как бы тебя обобрать. У меня тут на прошлой неделе была женщина, приводила мне ноги в порядок, — так ты бы видела ее счет! Можно было подумать, что она мне удалила *аппендицит*.

— А как ее фамилия, этой женщины? — спросила миссис Макки.

— Миссис Эберхардт. Она ходит на дом приводить клиентам ноги в порядок.

— Мне очень нравится ваше платье, — сказала миссис Макки. — Прелесть!

Миссис Уилсон отклонила комплимент, презрительно подняв брови.

— Это такое старье, — сказала она. — Я его еще иногда надеваю, ну просто, когда мне все равно, как я выгляжу.

— Нет, как хотите, а оно вам очень идет, — не уступала миссис Макки. — Если бы Честер мог снять вас в такой позе, я уверена, это было бы нечто.

Мы все молча уставились на миссис Уилсон, а она, откинув со лба выбившуюся прядь, отвечала нам ослепительной улыбкой. Мистер Макки внимательно посмотрел на нее, склонив голову набок, потом протянул руку вперед, убрал и опять протянул вперед.

— Я бы только дал другое освещение, — сказал он, помолчав немного. — Чтобы лучше выделить лепку лица. И я бы постарался, чтобы вся масса волос попала в кадр.

— Вот уж нипочем бы не стала менять освещение! — воскликнула миссис Макки. — По-моему, это как раз…

— Ш-шш! — одернул ее муж, и мы снова сосредоточились на своем объекте, но тут Том Бьюкенен, шумно зевнув, поднялся на ноги.

— Вы бы лучше выпили чего-нибудь, почтенные супруги, — сказал он. — Миртл, добавь льда и содовой, пока все тут у тебя не заснули.

— Я уже приказала мальчишке насчет льда. — Миртл приподняла брови в знак своего возмущения нерадивостью черни. — Это такая публика! За ними просто нужно ходить следом.

Она взглянула на меня и ни с того ни с сего засмеялась. Потом схватила щенка, восторженно чмокнула его и вышла на кухню с таким видом, словно дюжина поваров ожидала там ее распоряжений.

— У меня на Лонг-Айленде кое-что неплохо получилось, — с апломбом произнес мистер Макки.

Том недоуменно воззрился на него.

— Две вещи даже висят у нас дома.

— Какие вещи? — спросил Том.

— Два этюда. Один я назвал «Мыс Монток. Чайки», а другой — «Мыс Монток. Море».

Рыжая Кэтрин уселась на диван рядом со мной.

— А вы тоже живете на Лонг-Айленде? — спросила она.

— Я живу в Уэст-Эгге.

— Да ну? Я там как-то раз была, с месяц тому назад. У некоего Гэтсби. Вы его не знаете?

— Он мой сосед.

— Говорят, он не то племянник, не то двоюрод-

ный брат кайзера Вильгельма. Вот откуда у него столько денег.

Этим увлекательным сообщениям о моем соседе помешала миссис Макки, которая вдруг воскликнула, указывая на Кэтрин:

— Честер, а ведь с ней бы у тебя тоже что-нибудь получилось!

Но мистер Макки только рассеянно кивнул и снова повернулся к Тому:

— Я бы охотно поработал еще на Лонг-Айленде, если бы представился случай. Мне бы только с чего-то начать, а там уже обойдусь без помощи.

— Обратитесь к Миртл, — хохотнув, сказал Том; миссис Уилсон в эту минуту входила с подносом. — Она вам напишет рекомендательное письмо — напишешь, Миртл?

— Какое письмо? — Она явно была озадачена.

— Рекомендательное письмо к твоему мужу, пусть мистер Макки сделает с него несколько этюдов. — Он пошевелил губами, придумывая: — «Джордж Б. Уилсон у бензоколонки» или что-нибудь в этом роде.

Кэтрин придвинулась ближе и шепнула мне на ухо:

— Она так же ненавидит своего мужа, как Том — свою жену.

— Да что вы!

— Просто не-на-видит! — Она посмотрела сперва на Миртл, потом на Тома. — А я так считаю — зачем жить с человеком, которого ненавидишь? Добились бы каждый развода и потом поженились бы. Я бы по крайней мере так поступила на их месте.

— Значит, она совсем не любит Уилсона?

Ответ меня ошарашил. Ответила сама Миртл, услыхавшая мой вопрос, ответила резко и цинично.

— Вот видите, — торжествующе сказала Кэтрин и потом снова перешла на полушепот: — Все дело в его жене. Она католичка, а католики не признают развода.

Дэзи вовсе не была католичкой, и я подивился хитроумию этой лжи.

— Когда они все-таки поженятся, — продолжала Кэтрин, — они уедут на Запад и там поживут, пока уляжется шум.

— Уж тогда лучше уехать в Европу.

— Ах, вы поклонник Европы? — неожиданно громко воскликнула Кэтрин. — Я совсем недавно вернулась из Монте-Карло.

— Вот как?

— Да, в прошлом году. Ездила вдвоем с подру-

гой.

— И долго пробыли?

— Нет, мы только съездили в Монте-Карло и обратно. Через Марсель. У нас было с собой больше тысячи двухсот долларов, но за два дня в частных игорных залах нас обчистили до нитки. Как мы только домой добрались — даже вспомнить страшно. Господи, до чего ж я возненавидела этот город!

На миг предвечернее небо в окне засинело медвяной лазурью Средиземного моря, но пронзительный голос миссис Макки тут же возвратил меня в тесную гостиную.

— Я сама чуть не совершила такую ошибку, — во всеуслышание объявила она. — Чуть было не вышла за ничтожного человечка, который несколько лет ходил за мной как тень. А ведь знала, что он меня не стоит. И все мне говорили: «Люсиль, этот человек тебя не стоит!» Но, не повстречайся я с Честером, он бы меня в конце концов уломал.

— Да, но послушайте, — сказала Миртл Уилсон, качая головой, — все ж таки вы за него не вышли.

— Как видите.

— А я вышла, — многозначительно сказала

Миртл. — Вот в чем разница между вашим случаем и моим.

— А зачем было выходить, Миртл? — спросила Кэтрин. — Никто тебя, кажется, не неволил.

Миртл не сразу ответила.

— Я за него вышла, потому что думала, что он джентльмен, — сказала она наконец. — Думала, он человек воспитанный, а на самом деле он мне и в подметки не годился.

— Ты же по нему с ума сходила когда-то, — заметила Кэтрин.

— Я сходила по нему с ума? — возмутилась Миртл. — Кто это тебе сказал? Я не больше сходила с ума по нему, чем вот по этому господину.

Она ткнула пальцем в меня, и все посмотрели на меня с укоризной. Я постарался выразить всем своим видом, что ничуть не претендую на ее чувства.

— Вот когда я действительно с ума спятила, это когда вышла за него замуж. Но я сразу поняла свою ошибку. Он взял у приятеля костюм, чтобы надеть на свадьбу, а мне про это и не заикнулся. Через несколько дней — его как раз не было дома — приятель приходит и просит вернуть костюм. «Вот как, это ваш костюм? — говорю я. — Первый раз слышу». Но костюм все-таки отдала, а потом

бросилась на постель и ревмя ревела до самой ночи.

— Ей правда нужно уйти от него, — снова зашептала мне Кэтрин. — Одиннадцать лет они так и живут над этим гаражом. А у нее даже ни одного дружка не было до Тома.

Бутылка виски — уже вторая за этот вечер — переходила из рук в руки; только Кэтрин не проявляла к ней интереса, уверяя, что ей «и так весело». Том вызвал швейцара и послал его за какими-то знаменитыми сандвичами, которые могли заменить целый ужин. Я то и дело порывался уйти; мягкие сумерки манили меня, и хотелось прогуляться пешком до парка, но всякий раз я оказывался втянутым в очередной оголтелый спор, точно веревками привязывавший меня к креслу. А быть может, в это самое время какой-нибудь случайный прохожий смотрел с темнеющей улицы в вышину, на наши освещенные окна, и думал о том, какие человеческие тайны прячутся за их желтыми квадратами. И мне казалось, что я вижу этого прохожего, его поднятую голову, задумчивое лицо. Я был здесь, но я был и там тоже, завороженный и в то же время испуганный бесконечным разнообразием жизни.

Миртл поставила себе кресло рядом со мной, и

вместе с теплым дыханием на меня вдруг полился рассказ о ее первой встрече с Томом.

— Мы сидели в вагоне друг против друга, на боковых местах у выхода, которые всегда занимают в последнюю очередь. Я ехала в Нью-Йорк к сестре и должна была у нее ночевать. Том был во фраке, в лаковых туфлях, я просто глаз не могла от него отвести, но как только встречусь с ним взглядом, сейчас же делаю вид, будто рассматриваю рекламный плакат у него над головой. Когда стали выходить из вагона, он очутился рядом со мной и так прижался крахмальной грудью к моему плечу, что я пригрозила позвать полицейского, да он мне, конечно, не поверил. Я была сама не своя, — когда он меня подсаживал в машину, я даже не очень-то разбирала, такси это или вагон метро. А в голове одна мысль: «Живешь ведь только раз, только раз».

Она оглянулась на миссис Макки, и вся комната зазвенела ее деланным смехом.

— Ах, моя милая, — воскликнула она. — Я вам подарю это платье, когда совсем перестану его носить. Завтра я куплю себе новое. Нужно мне составить список всех дел, которые я должна сделать завтра. Массаж, потом парикмахер, потом еще надо купить ошейник для собачки, и такую

маленькую пепельницу с пружинкой, они мне ужасно нравятся, и венок с черным шелковым бантом мамочке на могилку, из таких цветов, что все лето не вянут. Непременно нужно все это записать, чтобы я ничего не забыла.

Было девять часов — но почти сейчас же я снова посмотрел на часы, и оказалось, что уже десять. Мистер Макки спал в кресле, раздвинув колени и положив на них сжатые кулаки, точно важный деятель, позирующий перед объективом. Я достал носовой платок и стер с его щеки засохшую мыльную пену, которая мне весь вечер не давала покоя.

Щенок сидел на столе, моргал слепыми глазами в табачном дыму и время от времени принимался тихонько скулить. Какие-то люди появлялись, исчезали, сговаривались идти куда-то, теряли друг друга, искали и снова находили на расстоянии двух шагов. Уже около полуночи я услышал сердитые голоса Тома Бьюкенена и миссис Уилсон; они стояли друг против друга и запальчиво спорили о том, имеет ли право миссис Уилсон произносить имя Дэзи.

— Дэзи! Дэзи! Дэзи! — выкрикивала миссис Уилсон. — Вот хочу и буду повторять, пока не надоест. Дэзи! Дэ…

Том сделал короткое, точно рассчитанное движение и ребром ладони разбил ей нос.

Потом были окровавленные полотенца на полу ванной, негодующие возгласы женщин и надсадный, долгий крик боли, вырывавшийся из общего шума. Мистер Макки очнулся от сна, встал и в каком-то оцепенении направился к двери. На полдороге он обернулся и с минуту созерцал всю сцену: сдвинутая мебель, там же суетятся его жена и Кэтрин, браня и утешая, хватаясь то за одно, то за другое в попытках оказать помощь; а на диване лежит истекающая кровью жертва и судорожно старается прикрыть номером «Таун Тэттл» гобеленовый Версаль. Затем мистер Макки повернулся и продолжил свой путь к двери. Схватив свою шляпу с канделябра, я вышел вслед за ним.

— Давайте как-нибудь позавтракаем вместе, — предложил он, когда мы, вздыхая и охая, ехали на лифте вниз.

— А где?

— Где хотите.

— Оставьте в покое рычаг, — рявкнул лифтер.

— Прошу прощения, — с достоинством произнес мистер Макки. — Я не заметил, что прикасаюсь к нему.

— Ну что ж, — сказал я. — С удовольствием.

…Я стоял у его постели, а он сидел на ней в нижнем белье с большой папкой в руках.

— «Зверь и красавица»… «Одиночество»… «Рабочая кляча»… «Бруклинский мост»…

Потом я лежал на скамье, в промозглой сырости Пенсильванского вокзала и таращил слипающиеся глаза на утренний выпуск «Трибюн» в ожидании четырехчасового поезда.

Глава III

Летними вечерами на вилле у моего соседа звучала музыка. Мужские и женские силуэты вились, точно мотыльки, в синеве его сада, среди приглушенных голосов, шампанского и звезд. Днем, в час прилива, мне было видно, как его гости прыгают в воду с вышки, построенной на его причальном плоту, или загорают на раскаленном песке его пляжа, а две его моторки режут водную гладь пролива Лонг-Айленд, и за ними на пенной волне взлетают аквапланы. По субботам и воскресеньям его «роллс-ройс» превращался в рейсовый автобус и с утра до глубокой ночи возил гостей из города или в город, а его многоместный «форд» к приходу каждого поезда торопливо бежал на станцию, точно желтый проворный жук. А в понедельник восемь слуг, включая специально нанятого второго садовника, брали тряпки, швабры, молотки и садовые ножницы и трудились весь день, удаляя следы вчерашних разрушений.

Каждую пятницу шесть корзин апельсинов и лимонов прибывали от фруктовщика из Нью-Йорка — и каждый понедельник эти же апельсины и лимоны покидали дом с черного хода в

виде горы полузасохших корок. На кухне стояла машина, которая за полчаса выжимала сок из двухсот апельсинов — для этого только нужно было двести раз надавить пальцем кнопку.

Раза два или даже три в месяц на виллу являлась целая армия поставщиков. Привозили несколько сот ярдов брезента и такое количество разноцветных лампочек, будто собирались превратить сад Гэтсби в огромную рождественскую елку. На столах, в сверкающем кольце закусок, выстраивались окорока, нашпигованные специями, салаты, пестрые, как трико арлекина, поросята, запеченные в тесте, жареные индейки, отливающие волшебным блеском золота. В большом холле воздвигалась высокая стойка, даже с медной приступкой, как в настоящем баре, и чего там только не было — и джин, и ликеры, и какие-то старомодные напитки, вышедшие из употребления так давно, что многие молодые гостьи не знали их даже по названиям.

К семи часам оркестр уже на местах — не какие-нибудь жалкие полдюжины музыкантов, а полный состав: и гобои, и тромбоны, и саксофоны, и альты, и корнет-а-пистоны, и флейты-пикколо, и большие и малые барабаны. Пришли уже с пляжа последние купальщики и переодеваются

наверху; вдоль подъездной аллеи по пять в ряд стоят машины гостей из Нью-Йорка, а в залах, в гостиных, на верандах, уже запестревших всеми цветами радуги, можно увидеть головы, стриженные по последней причуде моды, и шали, какие не снились даже кастильским сеньоритам. Бар работает вовсю, а по саду там и сям проплывают подносы с коктейлями, наполняя ароматами воздух, уже звонкий от смеха и болтовни, сплетен, прерванных на полуслове, завязывающихся знакомств, которые через минуту будут забыты, и пылких взаимных приветствий дам, никогда и по имени друг дружку не знавших.

Огни тем ярче, чем больше земля отворачивается от солнца; вот уже оркестр заиграл золотистую музыку под коктейли, и оперный хор голосов зазвучал тоном выше. Смех с каждой минутой льется все свободней, все расточительней, готов хлынуть потоком от одного шутливого словца. Кружки гостей то и дело меняются, обрастают новыми пополнениями, не успеет один распасться, как уже собрался другой. Появились уже непоседы из самоуверенных молодых красоток: такая мелькнет то тут, то там среди дам посолидней, на короткий, радостный миг станет центром внимания кружка — и уже спешит дальше, воз-

бужденная успехом, сквозь прилив и отлив лиц, и красок, и голосов, в беспрестанно меняющемся свете.

Но вдруг одна такая цыганская душа, вся в волнах чего-то опалового, для храбрости залпом выпив выхваченный прямо из воздуха коктейль, выбежит на брезентовую площадку и закружится в танце без партнеров. Мгновенная тишина; затем дирижер галантно подлаживается под заданный ею темп, и по толпе бежит уже пущенный кем-то ложный слух, будто это дублерша Гильды Грей из варьете «Фоли». Вечер начался.

В ту субботу, когда я впервые перешагнул порог виллы Гэтсби, я, кажется, был одним из немногих приглашенных гостей. Туда не ждали приглашения — туда просто приезжали, и все. Садились в машину, ехали на Лонг-Айленд и в конце концов оказывались у Гэтсби. Обычно находился кто-нибудь, кто представлял вновь прибывшего хозяину, и потом каждый вел себя так, как принято себя вести в загородном увеселительном парке. А бывало, что гости приезжали и уезжали, так и не познакомившись с хозяином, — простодушная непосредственность, с которой они пользовались его гостеприимством, сама по себе служила входным билетом.

Но я был приглашен по всей форме. Ранним утром передо мной предстал шофер в ливрее цвета яйца малиновки и вручил мне послание, удивившее меня своей церемонностью; в нем говорилось, что мистер Гэтсби почтет для себя величайшей честью, если я нынче пожалую к нему «на небольшую вечеринку». Он неоднократно видел меня издали и давно собирался нанести мне визит, но досадное стечение обстоятельств помешало ему осуществить это намерение. И подпись: *Джей Гэтсби,* с внушительным росчерком.

В начале восьмого, одетый в белый фланелевый костюм, я вступил на территорию Гэтсби и сразу же почувствовал себя довольно неуютно среди множества незнакомых людей; правда, в водовороте, бурлившем на газонах и дорожках, я различал порой лица, не раз виденные в пригородном поезде. Меня сразу поразило большое число молодых англичан, вкрапленных в толпу; все они были безукоризненно одеты, у всех был немножко голодный вид, и все сосредоточенно и негромко убеждали в чем-то солидных, излучающих благополучие американцев. Я тут же решил, что они что-то продают — ценные бумаги, или страховые полисы, или автомобили. Как видно, близость больших и легких денег болезненно

дразнила их аппетит, создавая уверенность, что стоит сказать нужное слово нужным тоном — и эти деньги уже у них в кармане.

Придя на виллу, я прежде всего попытался разыскать хозяина, но первые же два-три человека, которых я спросил, не знают ли они, где его можно найти, посмотрели на меня так удивленно и с таким пылом поспешили убедить меня в своей полной неосведомленности на этот счет, что я уныло поплелся к столу с коктейлями — единственному месту в саду, где одинокому гостю можно было приткнуться без риска выглядеть очень уж бесприютным и жалким.

Вероятно, я бы напился вдребезги просто от смущения, но тут я увидел Джордан Бейкер. Она вышла из дома и остановилась на верхней ступеньке мраморной лестницы, слегка отклонив назад корпус и с презрительным любопытством поглядывая вниз.

Я не знал, обрадуется она мне или нет, но мне до зарезу нужно было за кого-то ухватиться, пока я еще не начал приставать к посторонним с душевными разговорами.

— Здравствуйте! — завопил я, бросившись к лестнице. Мой голос неестественно и громко раскатился по всему саду.

— Я так и думала, что встречу вас здесь, — небрежно заметила Джордан, когда я поднимался по мраморным ступеням. — Вы ведь говорили, что живете рядом с…

Она слегка придержала мою руку в знак того, что займется мною чуть погодя, а сама вопросительно повернулась к двум девицам в совершенно одинаковых желтых платьях, остановившимся у подножия лестницы.

— Здравствуйте! — воскликнули девицы дуэтом. — Как обидно, что победили не вы!

Речь шла о состязаниях в гольф. На прошлой неделе Джордан проиграла финальную встречу.

— Вы нас не узнаете, — сказала одна из желтых девиц, — а мы здесь же и познакомились, с месяц назад.

— У вас тогда волосы были другого цвета, — возразила Джордан.

Я так и подскочил, но девицы уже прошли мимо, и ее замечание могла принять на свой счет только скороспелая луна, доставленная, должно быть, в корзине вместе с закусками. Продев свою руку под тонкую золотистую руку Джордан, я свел ее с лестницы, и мы пошли бродить по саду. Из сумрака выплыл навстречу поднос с коктейлями, и мы, взяв по бокалу, присели к столику, где уже

расположились желтые девицы и трое мужчин, каждый из которых был нам представлен как мистер Брмр.

— Вы часто бываете здесь? — спросила Джордан у ближайшей девицы.

— Последний раз вот тогда, когда познакомилась с вами, — бойко отрапортовала та. — И ты, кажется, тоже, Люсиль? — обратилась она к своей подруге.

Выяснилось, что и Люсиль тоже.

— А мне здесь нравится, — сказала Люсиль. — Я вообще живу не раздумывая, поэтому мне всегда весело. В тот раз я зацепилась за стул и порвала платье. Он спросил мою фамилию и адрес — и через три дня мне приносят коробку от Круарье, а в коробке новое вечернее платье.

— И вы приняли? — спросила Джордан.

— Конечно, приняла. Я даже думала его сегодня надеть, но нужна небольшая переделка: в груди широковато. Цвета лаванды, с вышивкой светло-лиловым бисером. Двести шестьдесят пять долларов.

— Все-таки обыкновенный человек так поступать не станет, — с апломбом сказала первая девица. — Видно, что он старается избегать неприятностей с кем бы то ни было.

— Кто — он? — спросил я.

— Гэтсби. Мне говорили…

Обе девицы и Джордан заговорщически сдвинули головы.

— Мне говорили, будто он когда-то убил человека.

Мороз побежал у нас по коже. Три мистера Брмр вытянули шеи, жадно вслушиваясь.

— А по-моему, вовсе не в этом дело, — скептически возразила Люсиль. — Скорее в том, что во время войны он был немецким шпионом.

Один из мужчин энергично закивал в подтверждение.

— Я сам слышал об этом от человека, который знает его как родного брата. Вместе с ним вырос в Германии, — поспешил он нас заверить.

— Ну как же это может быть? — сказала первая девица. — Ведь во время войны он служил в американской армии. — И наше доверие опять переметнулось к ней, а она торжествующе продолжала: — Вы обратите внимание, какое у него бывает лицо, когда он думает, что его никто не видит. Можете не сомневаться: он убийца.

Она зажмурила глаза и поежилась. Люсиль поежилась тоже. Мы все стали оглядываться, ища глазами Гэтсби. Должно быть, и в самом

деле было что-то романтическое в этом человеке, если слухи, ходившие о нем, повторяли шепотом даже те, кто мало о чем на свете считал нужным говорить, понизив голос.

Стали подавать первый ужин — после полуночи предстоял второй, — и Джордан пригласила меня присоединиться к ее компании, облюбовавшей стол в другом конце сада. Компанию составляли две супружеские пары и кавалер Джордан, студент из породы вечных, изъяснявшийся многозначительными намеками и явно убежденный, что рано или поздно Джордан предоставит свою особу в более или менее полное его распоряжение. Вместо того чтобы по приезде разбрестись кто куда, они держались горделиво замкнутым кружком, взяв на себя миссию представлять здесь положительную, аристократическую часть местного общества. То был Ист-Эгг, снизошедший до Уэст-Эгга и бдительно обороняющийся от его калейдоскопического веселья.

— Уйдем отсюда, — шепнула мне Джордан, когда прошли полчаса, показавшиеся томительными и ненужными. — Мне уже невмоготу от этих церемоний.

Мы оба встали из-за стола; мы хотим поискать хозяина дома, объяснила Джордан: мне неловко,

что я ему до сих пор не представлен. Студент кивнул со снисходительной, меланхолической усмешкой.

В баре, куда мы заглянули прежде всего, было людно и шумно, но Гэтсби там не оказалось. Джордан взошла на крыльцо и оттуда оглядела сад, но его нигде не было видно. Не найдя его и на боковой веранде, мы наугад толкнули внушительного вида дверь и очутились в библиотеке — комнате с высокими готическими сводами и панелями резного дуба на английский манер, должно быть, перевезенной целиком из какого-нибудь разоренного родового гнезда за океаном.

Пожилой толстяк в огромных выпуклых очках, делавших его похожим на филина, сидел на краю стола, явно в подпитии, задумчиво созерцая полки с книгами. Когда мы вошли, он стремительно повернулся и оглядел Джордан с головы до ног.

— Как вам это нравится? — порывисто спросил он.

— Что именно?

Он указал рукой на книжные полки.

— Вот это. Проверять не трудитесь. Уже проверено. Все — настоящие.

— Книги?

Он кивнул головой.

— Никакого обмана. Переплет, страницы, все как полагается. Я был уверен, что тут одни корешки, а оказывается — они настоящие. Переплет, страницы… Да вот, посмотрите сами!

Убежденный в нашем недоверии, он подбежал к полке, выхватил одну книгу и протянул нам. Это был первый том «Лекций» Стоддарда.

— Видали? — торжествующе воскликнул он. — Обыкновенное печатное издание, без всяких подделок. На этом я и попался. Этот тип — второй Беласко. Разве не шедевр? Какая продуманность! Какой реализм! И заметьте — знал, когда остановиться, — страницы не разрезаны. Но чего вы хотите? Чего тут можно ждать?

Он вырвал книгу у меня из рук и поспешно вставил на место, бормоча, что, если один кирпич вынут, может обвалиться все здание.

— Вас кто привел? — спросил он. — А может, вы пришли сами? Меня привели. Тут почти всех приводят.

Джордан метнула на него короткий веселый взгляд, но не ответила.

— Меня привела дама по фамилии Рузвельт, — продолжал он. — Миссис Клод Рузвельт. Не слыхали? Где-то я с ней вчера познакомился. Я, знаете, уже вторую неделю пьян, вот и решил

посидеть в библиотеке, — может, думаю, скорее протрезвлюсь.

— Ну и как, помогло?

— Кажется — немножко. Пока еще трудно сказать. Я здесь всего час. Да, я вам не говорил про книги? Представьте себе, они настоящие. Они…

— Вы нам говорили.

Мы с чувством пожали ему руку и снова вышли в сад.

На брезенте, натянутом поверх газона, уже начались танцы: старички двигали перед собой пятившихся молодых девиц, выписывая бесконечные неуклюжие петли; по краям топтались самодовольные пары, сплетаясь в причудливом модном изгибе тел, — и очень много девушек танцевало в одиночку, каждая на свой лад, а то вдруг давали минутную передышку музыканту, игравшему на банджо или на кастаньетах. К полуночи веселье было в полном разгаре. Уже знаменитый тенор спел итальянскую арию, а прославленное контральто — джазовую песенку, а в перерывах между номерами гости развлекались сами, изощряясь, кто как мог, и к летнему небу летели всплески пустого, беспечного смеха. Эстрадная пара близнецов — это оказались наши желтые девицы — исполнила в костюмах сценку

из детской жизни; лакеи между тем разносили шампанское в бокалах с полоскательницу величиной. Луна уже поднялась высоко, и на воде пролива лежал треугольник из серебряных чешуек, чуть-чуть подрагивая в такт сухому металлическому треньканью банджо в саду.

Мы с Джордан Бейкер по-прежнему были вместе. За нашим столиком сидели еще двое: мужчина примерно моих лет и шумливая маленькая девушка, от каждого пустяка готовая хохотать до упаду. Мне теперь тоже было легко и весело. Я выпил две полоскательницы шампанского, и все, что я видел перед собой, казалось мне исполненным глубокого, первозданного смысла.

Во время короткого затишья мужчина вдруг посмотрел на меня и улыбнулся:

— Мне ваше лицо знакомо, — сказал он приветливо. — Вы случайно не в Третьей дивизии служили во время войны?

— Ну как же, конечно. В Девятом пулеметном батальоне.

— А я — в Седьмом пехотном полку, вплоть до мобилизации в июне тысяча девятьсот восемнадцатого года. Недаром у меня все время такое чувство, будто мы уже где-то встречались.

Мы немного повспоминали серые, мокрые от

дождя французские деревушки. Потом он сказал, что недавно купил гидроплан и собирается испытать его завтра утром — из чего я заключил, что он живет где-то по соседству.

— Может быть, составите мне компанию, старина? Покатаемся по проливу вдоль берега?

— А в какое время?

— В любое, когда вам удобно.

Я уже открыл рот, чтобы осведомиться о его фамилии, но тут Джордан оглянулась на меня и спросила с улыбкой:

— Ну как, перестали хандрить?

— Почти перестал, спасибо. — Я снова повернулся к своему новому знакомцу: — Никак не привыкну к положению гостя, не знакомого с хозяином. Ведь я этого Гэтсби в глаза не видел. Просто я живу тут рядом, — я махнул рукой в сторону невидимой изгороди, — и он прислал мне с шофером приглашение.

Я заметил, что мой собеседник смотрит на меня как-то растерянно.

— Так ведь это я — Гэтсби, — сказал он вдруг.

— Что?! — воскликнул я. — Ох, извините, ради бога!

— Я думал, вы знаете, старина. Плохой, видно, из меня хозяин.

Он улыбнулся мне ласково — нет, гораздо больше, чем ласково. Такую улыбку, полную неиссякаемой ободряющей силы, удается встретить четыре, ну — пять раз в жизни. Какое-то мгновение она, кажется, вбирает в себя всю полноту внешнего мира, потом, словно повинуясь неотвратимому выбору, сосредоточивается на вас. И вы чувствуете, что вас понимают ровно настолько, насколько вам угодно быть понятым, верят в вас в той мере, в какой вы в себя верите сами, и безусловно видят вас именно таким, каким вы больше всего хотели бы казаться. Но тут улыбка исчезла — и передо мною был просто расфранченный хлыщ, лет тридцати с небольшим, отличающийся почти смехотворным пристрастием к изысканным оборотам речи. Это пристрастие, это старание тщательно подбирать слова в разговоре я заметил в нем еще до того, как узнал, кто он такой.

Почти в ту же минуту прибежал слуга и доложил, что мистера Гэтсби вызывает Чикаго. Тот встал и извинился с легким поклоном, обращенным к каждому из нас понемногу.

— Вы тут, пожалуйста, не стесняйтесь, старина, — обратился он ко мне. — Захочется чего-нибудь — только велите лакею. А я скоро вернусь.

Прошу прощения.

Как только он отошел, я повернулся к Джордан: мне не терпелось высказать ей свое изумление. Почему-то я представлял себе мистера Гэтсби солидным мужчиной в летах, с брюшком и румяной физиономией.

— Кто он вообще такой? — спросил я. — Вы знаете?

— Некто по фамилии Гэтсби, вот и все.

— Но откуда он родом? Чем занимается?

— Ну вот, теперь и вы туда же, — протянула Джордан с ленивой усмешкой. — Могу сказать одно: он мне как-то говорил, что учился в Оксфорде.

В глубине картины начал смутно вырисовываться какой-то фон; но следующее замечание Джордан снова все смешало.

— Впрочем, я этому не верю.

— Почему?

— Сама не знаю, — решительно сказала она. — Просто мне кажется, что никогда он в Оксфорде не был.

Что-то в ее тоне напоминало слова желтой девицы: «Мне кажется, что он убийца», — и это лишь подстрекнуло мое любопытство. Пусть бы мне сказали, что Гэтсби — выходец с луизиан-

ских болот или из самых нищенских кварталов нью-йоркского Ист-Сайда, я бы не удивился и не задумался. В этом не было ничего невероятного. Но чтобы молодые люди выскакивали просто ниоткуда и покупали себе дворцы на берегу пролива Лонг-Айленд — так не бывает; по крайней мере, я, неискушенный провинциал, считал, что так не бывает.

— Во всяком случае, у него всегда собирается много народу, — сказала Джордан, уходя от разговора с чисто городской нелюбовью к конкретности. — А мне нравятся многолюдные сборища. На них как-то уютнее. В небольшой компании никогда не чувствуешь себя свободно.

В оркестре бухнул большой барабан, и дирижер вдруг звонко выкрикнул, перекрывая многоголосый гомон:

— Леди и джентльмены! По просьбе мистера Гэтсби мы сейчас сыграем вам новую вещь Владимира Тостова, которая в мае произвела такое большое впечатление в Карнеги-холле. Читатели газет, вероятно, помнят, что это была настоящая сенсация. — Он улыбнулся снисходительно-весело и добавил: — Фу-рор!

Кругом засмеялись.

— Итак, — он еще повысил голос: — Владимир

Тостов, «Джазовая история человечества».

Но мне не суждено было оценить произведения мистера Тостова, потому что при первых же тактах музыки я вдруг увидел Гэтсби. Он стоял на верхней ступеньке мраморной лестницы и с довольным видом оглядывал группу за группой. Смуглая от загара кожа приятно обтягивала его лицо, короткие волосы лежали так аккуратно, словно их подстригали каждый день. Ничего зловещего я в нем усмотреть не мог. Быть может, то, что он совсем не пил, и выделяло его из толпы гостей — ведь чем шумней становилось общее веселье, тем он, казалось, больше замыкался в своей корректной сдержанности. Под заключительные звуки «Джазовой истории человечества» одни девицы с кокетливой фамильярностью склонялись к мужчинам на плечо, другие, пошатнувшись, притворно падали в обморок, не сомневаясь, что их подхватят крепкие мужские руки — и, может быть, даже не одни; но никто не падал в обморок на руки Гэтсби, и ничья под мальчишку остриженная головка не касалась его плеча, и ни один импровизированный вокальный квартет не составлялся с его участием.

— Простите, пожалуйста.

Возле нас стоял лакей.

— Мисс Бейкер? — осведомился он. — Простите, пожалуйста, но мистер Гэтсби хотел бы побеседовать с вами наедине.

— Со мной? — воскликнула удивленная Джордан.

— Да, мисс.

Она оглянулась на меня, недоуменно вскинув брови, встала и пошла за лакеем по направлению к дому. Я заметил, что и в вечернем платье, да и в любом другом, она двигается так, как будто на ней надет спортивный костюм — была в ее походке пружинистая легкость, словно свои первые шаги она училась делать на поле для гольфа ясным погожим утром.

Я остался один. Было уже два часа. Какие-то невнятные загадочные звуки доносились из комнаты, длинным рядом окон выходившей на веранду. Я ускользнул от студента Джордан, пытавшегося втянуть меня в разговор на акушерско-гинекологическую тему, который он успел завести с двумя эстрадными певичками, и пошел в дом.

Большая комната была полна народу. Одна из желтых девиц сидела за роялем, а рядом стояла рослая молодая особа с рыжими волосами, дива из знаменитого эстрадного ансамбля, и пела.

Она выпила много шампанского, и на втором куплете исполняемой песенки жизнь вдруг показалась ей невыносимо печальной, поэтому она не только пела, но еще и плакала навзрыд. Каждую музыкальную паузу она заполняла короткими судорожными всхлипываниями, после чего дрожащим сопрано выводила следующую фразу. Слезы лились у нее из глаз, — впрочем, не без препятствий: повиснув на густо накрашенных ресницах, они приобретали чернильный оттенок и дальше стекали по щекам в виде медлительных черных ручейков. Какой-то шутник высказал предположение, что она поет по нотам, написанным у нее на лице; услышав это, она всплеснула руками, повалилась в кресло и тут же уснула мертвецким пьяным сном.

— У нее вышла ссора с господином, который называет себя ее мужем, — пояснила молодая девушка, стоявшая со мною рядом.

Я огляделся по сторонам. Большинство дам, которые еще не успели уехать, заняты были тем, что ссорились со своими предполагаемыми мужьями. Даже в компанию Джордан, квартет из Ист-Эгга, проник разлад. Один из мужчин увлекся разговором с молоденькой актрисой, а его жена сперва высокомерно делала вид, что

это ее нисколько не трогает и даже забавляет, но в конце концов не выдержала и перешла к фланговым атакам — каждые пять минут она неожиданно вырастала сбоку от мужа и, сверкая, точно разгневанный бриллиант, шипела ему в ухо: «Ты же обещал!»

Впрочем, не одни ветреные мужья отказывались ехать домой. У самого выхода шел спор между двумя безнадежно трезвыми мужчинами и их негодующими женами. Жены обменивались сочувственными репликами в слегка повышенном тоне:

— Стоит ему заметить, что мне весело, — сейчас же он меня тянет домой.

— В жизни не видела такого эгоиста.

— Всегда мы должны уходить первыми.

— И мы тоже.

— Но сегодня мы чуть ли не последние, — робко возразил один из мужей. — Оркестр и то уже час как уехал.

Невзирая на дружные обвинения в неслыханном тиранстве, мужья все же одержали верх; после недолгой борьбы упирающиеся дамы были подхвачены под мышки и вытащены в темноту ночи.

Пока я ждал, когда мне подадут мою шляпу,

отворилась дверь библиотеки, и в холл вышла Джордан Бейкер вместе с Гэтсби. Он что-то взволнованно договаривал на ходу, но, увидев его, несколько человек подошли проститься, и его волнение сразу же заморозила светская любезность.

Спутники Джордан были уже в дверях и нетерпеливо окликали ее, но она остановилась, чтобы попрощаться со мной.

— Я только что выслушала совершенно невероятную историю, — шепнула она. — Что, мы там долго пробыли?

— Добрый час.

— Да… просто невероятно, — рассеянно повторила она. — Но я дала слово, что никому не расскажу, так что не буду вас мучить. — Она мило зевнула мне прямо в лицо. — Заходите как-нибудь, буду очень рада… Телефон есть в справочнике… На имя миссис Сигурни Хауорд… Моя тетя… — Она уже бежала к дверям — легкий взмах смуглой руки на прощанье, и она исчезла среди заждавшихся спутников.

Чувствуя некоторую неловкость от того, что мой первый визит так затянулся, я подошел к Гэтсби, вокруг которого теснились последние гости. Я хотел объяснить, что почти весь вечер

искал случая ему представиться и попросить извинения за свою давешнюю оплошность.

— Ну что вы, какие пустяки, — прервал он меня. — Даже и не думайте об этом, старина. — В этом фамильярном обращении было не больше фамильярности, чем в ободряющем прикосновении его руки к моему плечу. — И не забудьте: завтра в девять часов утра мы с вами отправляемся в полет на гидроплане.

Но тут голос лакея из-за его спины:

— Вас вызывает Филадельфия, сэр.

— Сейчас иду. Скажите, пусть подождут минутку… Спокойной ночи.

— Спокойной ночи.

— Спокойной ночи. — Он улыбнулся, и мне вдруг показалось, что это так и нужно было, чтобы я покинул его дом одним из последних, что он словно бы сам этого хотел и радовался этому. — Спокойной ночи, старина… Спокойной ночи.

Но когда я спустился с лестницы, выяснилось, что вечер еще не окончен. Впереди, шагах в пятидесяти, свет десятка автомобильных фар выхватывал из ночной тьмы странное и беспорядочное зрелище. В придорожном кювете, выставив ободранный правый бок без переднего колеса, покоился новенький двухместный авто-

мобиль, за минуту до этого отъехавший от дома Гэтсби. Острый выступ стены объяснял историю оторванного колеса — оно, кстати, валялось тут же, и несколько шоферов, побросав свои машины, с интересом осматривали его и ощупывали. На дороге тем временем успела образоваться пробка, и неумолчный разноголосый рев клаксонов из задних рядов еще увеличивал сумятицу. Какой-то человек в длиннополом пыльнике вылез из обломков крушения и теперь стоял посреди дороги, с трогательным недоумением переводя взгляд с машины на колесо и с колеса на зрителей.

— Видали? — произнес он. — Угодили в кювет.

Самый факт, по-видимому, безгранично изумлял его. Мне показалась знакомой эта редкостная глубина удивления, и в следующую минуту я узнал его — это был недавний искатель уединения из библиотеки Гэтсби.

— Как это случилось?

Он пожал плечами.

— Я в технике ничего не понимаю, — решительно объявил он.

— Но как это случилось? Вы налетели на стену?

— Меня не спрашивайте, — сказал Филин с видом человека, умывающего руки. — Автомоби-

лист из меня слабый, можно сказать — никакой. Случилось, и все.

— Если вы неопытный водитель, так не пытались бы править ночью.

— А я и не пытался, — возразил он с негодованием. — Я даже и не пытался.

Все кругом замерли от ужаса.

— Вы что же, самоубийство задумали?

— Скажите спасибо, что отделались одним колесом. Человек садится за руль и даже не пытается править!

— Вы не так поняли, — запротестовал преступник. — Я вовсе не сидел за рулем. Нас в машине было двое.

Это заявление положительно оглушило всех. Сдавленное «о-ох!» пронеслось над дорогой. Но тут дверца машины начала медленно отворяться. Толпа (теперь это уже была толпа) невольно попятилась, и, когда дверца откинулась совсем, наступила зловещая пауза. Затем из машины очень медленно, по частям, высунулась бледная разболтанная личность и осторожно стала нащупывать почву бальным башмаком солидных размеров.

Ослепленный ярким светом фар, одуревший от беспрерывного воя клаксонов, призрак поша-

тывался из стороны в сторону, пока наконец не заметил человека в пыльнике.

— В чем дело? — невозмутимо осведомился он. — Бе-бензин кончился?

— Вы взгляните сюда!

Несколько пальцев указывало на ампутированное колесо. Он уставился было на него, потом поднял глаза вверх, будто заподозрил, что оно свалилось с неба.

— Отлетело напрочь, — пояснил кто-то.

Он кивнул.

— А я и не зам-метил, что мы с-стоим.

Пауза. Потом, с шумом набрав воздух в легкие и расправив плечи, он деловито спросил:

— Кто-нибудь знает, где тут м-можно за-заправиться?

С десяток голосов (часть из них звучала немного более твердо) принялись втолковывать ему, что между машиной и колесом более не существует физической связи.

— А вы задним ходом, — посоветовал он, немного подумав. — Назад, потом вперед.

— Так нет же колеса!

Он помедлил в нерешительности.

— П-попробовать-то можно, — сказал он наконец.

Кошачий концерт гудков достиг своего апогея. Я повернулся и прямиком по газону пошел домой. По дороге мне вдруг захотелось оглянуться. Облатка луны сияла над виллой Гэтсби, и ночь была все так же прекрасна, хотя в саду, еще освещенном фонарями, уже не звенели смех и веселые голоса. Нежданная пустота струилась из окон, из широкой двери, и от этого особенно одиноким казался на ступенях силуэт хозяина дома с поднятой в прощальном жесте рукой.

Перечитав написанное, я вижу, что может создаться впечатление, будто я только и жил тогда что событиями этих трех вечеров, разделенных промежутками в несколько недель. На самом же деле это были для меня лишь случайные эпизоды насыщенного событиями лета, и в ту пору, во всяком случае, они занимали меня несравненно меньше, чем личные мои дела.

Прежде всего я работал. Утреннее солнце отбрасывало на запад мою тень, когда я шагал по белым ущельям деловой части Нью-Йорка, торопясь в свое богоугодное заведение. Я знал по именам всех прочих молодых клерков и агентов по продаже ценных бумаг. Мы вместе завтракали в полутемных, переполненных ресторанчиках свиными сосисками с картофельным пюре, за-

пивая их чашкой кофе. У меня даже завязалась интрижка с одной девушкой из Джерси-Сити, которая служила у нас счетоводом, но ее брат стал зловеще коситься на меня при встречах, и, когда в июле она уехала в отпуск, я воспользовался этим, чтобы поставить точку.

Обедал я в Йельском клубе — почему-то это было для меня самым тягостным делом за день, — а после шел наверх, в библиотеку, и час-другой прилежно трудился, вникая в тайны инвестиций и кредитов. Среди завсегдатаев клуба попадалось немало шумных гуляк, но в библиотеку они не заглядывали, и там всегда можно было спокойно поработать. Потом, если вечер был погожий, я брел пешком по Мэдисон-авеню, мимо старой гостиницы Меррэй-хилл и, свернув на Тридцать третью улицу, выходил к Пенсильванскому вокзалу.

Понемногу я полюбил Нью-Йорк, пряный, дразнящий привкус его вечеров, непрестанное мельканье людей и машин, жадно впитываемое беспокойным взглядом. Мне нравилось слоняться по Пятой авеню, высматривать в толпе женщин с романтической внешностью и воображать: вот сейчас я войду в жизнь той или иной из них, и никто никогда не узнает и не осудит.

Иногда я мысленно провожал их домой, на угол какой-нибудь таинственной улочки, и прежде чем нырнуть в теплую темень за дверью, они оглядывались и улыбались мне в ответ на мою улыбку. А бывало, что в колдовских сумерках столицы меня вдруг охватывала тоска одиночества, и эту же тоску я угадывал в других — в бедных молодых клерках, топтавшихся у витрин, чтобы как-нибудь убить время до неуютного холостяцкого обеда в ресторане — молодых людях, здесь, в этой полумгле, растрачивавших впустую лучшие мгновения вечера и жизни.

И позже, в восемь часов, когда в узких проездах Сороковых улиц, района театров, бурлил сплошной поток фыркающих машин, тоска снова сжимала мне сердце. Неясные тени склонялись друг к другу в такси, нетерпеливо дожидающихся у перекрестка, до меня доносился обрывок песни, смех в ответ на неслышную шутку, огоньки сигарет чертили замысловатые петли в темноте. И мне представлялось, что я тоже спешу куда-то, где ждет веселье, и, разделяя чужую радость, я желал этим людям добра.

На некоторое время я потерял из виду Джордан Бейкер, но в разгар лета мы повстречались снова. Поначалу мне просто нравилось бывать вме-

сте с нею на людях — она была чемпионкой по гольфу, которую все знали, и это льстило моему тщеславию. Потом появилось нечто большее. Не то чтобы я был влюблен, но меня влекло к ней какое-то нежное любопытство. Мне чудилось, что за надменной, скучающей миной скрывается что-то — ведь все напускное чему-то служит прикрытием, и рано или поздно истина узнается. В конце концов я понял, в чем дело. Как-то раз, когда мы с ней были в гостях в одном доме в Уорике, она оставила чужую машину под дождем с откинутым верхом, а потом преспокойно солгала — и тут я вдруг припомнил тот связанный с нею слух, который смутно шевелился у меня в памяти при первой нашей встрече у Дэзи. На первом большом состязании в гольф, в котором она участвовала, случилась история, едва не попавшая в газеты: ее обвинили, будто в полуфинале она сдвинула свой мяч, попавший в невыгодную позицию. Дошло чуть ли не до открытого скандала, однако все утряслось. Мальчик, носивший клюшки, отказался от своего заявления, единственный другой свидетель признал, что мог и ошибиться. Но весь инцидент застрял в моей памяти вместе с полузабытым именем.

Джордан Бейкер инстинктивно избегала ум-

ных, проницательных людей, и теперь мне стало ясно почему — она чувствовала себя уверенней среди тех, кому попросту в голову не могло прийти, что бывают поступки, не вполне согласующиеся с общепринятыми нормами поведения. Она была неисправимо бесчестна. Ей всегда казалась невыносимой мысль, что обстоятельства могут сложиться не в ее пользу, и должно быть, она с ранних лет приучилась к неблаговидным проделкам, помогавшим ей взирать на мир с этой холодной, дерзкой усмешкой и в то же время потворствовать любой прихоти своего упругого, крепкого тела.

Для меня это ничего не изменило. Бесчестность в женщине — недостаток, который никогда не осуждаешь особенно сурово. Я слегка огорчился, потом перестал об этом думать. Именно тогда, в Уорике, у нас вышел любопытный разговор насчет поведения за рулем. Началось с того, что она промчалась мимо какого-то рабочего так близко, что крылом у него сорвало пуговицу с куртки.

— Вы никуда не годный водитель, — рассердился я. — Не можете быть поосторожней, так не беритесь управлять машиной.

— Я осторожна.

— Как бы не так.

— Ну, другие осторожны, — беспечно заметила она.

— А это тут при чем?

— Они будут уступать мне дорогу. Для столкновения требуются двое.

— А вдруг вам попадется кто-то такой же неосторожный, как вы сами?

— Надеюсь, что не попадется, — сказала она. — Терпеть не могу неосторожных людей. Вот почему мне нравитесь вы.

Ее серые глаза, утомленные солнечным светом, смотрели не на меня, а на дорогу, но что-то намеренно было сдвинуто ею в наших отношениях, и на миг мне показалось, будто чувство, которое она мне внушает, это — любовь. Но я тяжел на подъем и опутан множеством внутренних правил, которые служат тормозом для моих желаний, и я твердо знал, что прежде всего должен выпутаться из того недоразумения дома. Я раз в неделю писал туда письма, подписываясь: «С приветом, Ник», а думая о той, кому они были адресованы, я вспоминал только светлые усики пота, выступавшие над ее верхней губой, когда она играла в теннис. Но все же какие-то неопределенные узы соединяли нас, и нужно было тактично разомкнуть их — без этого я не

мог считать себя свободным.

Каждый человек склонен подозревать за собой хотя бы одну фундаментальную добродетель; я, например, считаю себя одним из немногих честных людей, которые мне известны.

Глава IV

По воскресеньям с утра, когда в церквах прибрежных поселков еще шел колокольный перезвон, весь большой и средний свет съезжался к Гэтсби и веселым роем заполнял его усадьбу.

— Он бутлегер, — шептались дамы, попивая его коктейли и нюхая его цветы. — Он племянник фон Гинденбурга и троюродный брат дьявола, и он убил человека, который об этом проведал. Сорви мне розу, душенька, и налей, кстати, еще глоточек вон в тот хрустальный бокал.

Я как-то стал записывать на полях железнодорожного расписания имена гостей, бывавших у Гэтсби в то лето. На расписании стоит штамп «Вводится с 5 июля 1922 года», оно давно устарело, и бумага потерлась на сгибах. Но выцветшие записи еще можно разобрать, и по ним легче, чем по моим банальным суждениям, представить себе то общество, которое пользовалось гостеприимством Гэтсби, любезно платя хозяину тем, что ровным счетом ничего о нем не знало.

Из Ист-Эгга приезжали Честер-Беккеры, и Личи, и некто Бунзен, мой университетский знакомый, и доктор Уэбстер Сивет, тот самый, что прошлым

летом утонул в штате Мэн. И Хорнбимы, и Уилли Вольтер с женой, и целый клан Блэкбеков, которые всегда сбивались где-нибудь в кучу и по-козлиному мотали головами, стоило постороннему подойти близко. Потом еще Исмэи, и чета Кристи, точней, Губерт Ауэрбах с супругой мистера Кристи, и Эдгар Бивер, о котором рассказывают, что он поседел как лунь за один вечер, и, главное, ни с того ни с сего.

Кларенс Эндайв, помнится, тоже был из Ист-Эгга. Его я видел только раз, он явился в белых фланелевых бриджах и затеял драку в саду с проходимцем по фамилии Этти. С дальнего конца острова приезжали Чидлзы и О.-Р.-П, Шредеры, и Стонуолл Джексон Эбрэмс из Джорджии, и Фишгард, и Рипли Снелл, все с женами. Снелл был там за три дня до того, как его посадили в тюрьму, и так напился, что валялся пьяный на подъездной аллее, и автомобиль миссис Юлиссез Суэтт переехал ему правую руку. Дэнси тоже бывали там всем семейством, и С. В. Уайтбэйт, которому уже тогда было под семьдесят, и Морис А. Флинк, и Хаммерхеды, и Белуга, табачный импортер, и Белугины дочки.

Из Уэст-Эгга являлись Поулы, и Малреди, и Сесил Роубэк, и Сесил Шён, и Гулик, сенатор штата,

и Ньютон Оркид, главный заправила компании «Филмз пар экселлянс», и Экхост, и Клайд Коген, и Дон С. Шварце (сын), и Артур Маккарти — все они что-то такое делали в кино. А потом еще Кэтлины, и Бемберги, и Дж. Эрл Мэлдун, брат того Мэлдуна, который впоследствии задушил свою жену. Приезжал известный делец Да Фонтано, и Эд Легро, и Джеймс Б. Феррет (Трухлявый), и Де Джонг с женой, и Эрнест Лилли — эти ездили ради карт, и если Феррет выходил в сад и в одиночку разгуливал по дорожкам, это означало, что он проигрался и что завтра «Ассошиэйтед транспорт» подскочат в цене.

Некто Клипспрингер гостил так часто и так подолгу, что заслужил прозвище Квартирант — да у него, наверно, и не было другого местожительства. Из театрального мира бывали Гас Уэйз, и Орэйс О'Донаван, и Лестер Майер, и Джордж Даквид, и Фрэнсис Булл. Кроме того, приезжали из Нью-Йорка Кромы, и Бэкхиссоны, и Деннике-ры, и Рассел Бетти, и Корриганы, и Келлехеры, и Дьюары, и Скелли, и С. В. Белчер, и Смерки, и молодые Квинны (они тогда еще не были в разводе), и Генри Л. Пальметто, который потом бросился под поезд метро на станции «Таймс-сквер».

Бенни Маккленаван приезжал в обществе че-

тырех девиц. Девицы не всегда были одни и те же, но все они до такой степени походили одна на другую, что вам неизменно казалось, будто вы их уже видели раньше. Не помню, как их звали, — обычно или Жаклин, или Консуэла, или Глория, или Джун, или Джуди, а фамилии звучали как названия цветов или месяцев года, но иногда при знакомстве называлась фамилия какого-нибудь крупного американского капиталиста, и если вы проявляли любопытство, вам давали понять, что это дядюшка или кузен.

Припоминаю еще, что видел там Фаустину О'Брайен — один раз, во всяком случае, — и барышень Бедекер, и молодого Бруера, того, которому на войне отстрелили нос, и мистера Олбрексбергера, и мисс Хааг, его невесту, и Ардиту Фицпитерс, и мистера П. Джуэтта, возглавлявшего некогда Американский легион, и мисс Клаудию Хип с ее постоянным спутником, о котором рассказывали, что это ее шофер и что он какой-то сиятельный, мы все звали его герцогом, а его имя я позабыл, если вообще знал когда-нибудь.

Все эти люди в то лето бывали у Гэтсби.

Как-то в девять часов утра роскошный лимузин Гэтсби, подпрыгивая на каменистой дороге, подъехал к моему дому, и я услышал победную

триоль его клаксона. Это было в конце июля, я уже два раза побывал у Гэтсби в гостях, катался на его гидроплане, ходил купаться на его пляж, следуя его настойчивым приглашениям, но он ко мне еще не заглядывал ни разу.

— Доброе утро, старина. Мы ведь сегодня условились вместе позавтракать в городе, вот я и решил за вами заехать.

Он балансировал, стоя на подножке автомобиля с той удивительной свободой движения, которая так характерна для американцев; должно быть, они обязаны ею отсутствию тяжелого физического труда в юности, и еще больше — неопределенной грации наших нервных, судорожных спортивных игр. У Гэтсби это выражалось в постоянном беспокойстве, нарушавшем обычную сдержанность его манер. Он ни минуты не мог оставаться неподвижным: то нога постукивала о землю, то нетерпеливо сжимался и разжимался кулак.

Он заметил, что я любуюсь его машиной.

— Хороша, а? — Он соскочил, чтобы не заслонять мне. — А вы разве ее не видели раньше?

Я ее видел не раз. Все кругом знали эту машину. Она была цвета густых сливок, вся сверкала никелем, на ее чудовищно вытянутом корпусе

там и сям самодовольно круглились отделения для шляп, отделения для закусок, отделения для инструментов, в лабиринте уступами расположенных щитков отражался десяток солнц. Мы уселись словно в зеленый кожаный парник за тройной ряд стекол и покатили в Нью-Йорк.

За этот месяц я встречался с Гэтсби несколько раз и, к своему разочарованию, убедился, что говорить с ним не о чем. Впечатление незаурядной личности, которое он произвел при первом знакомстве, постепенно стерлось, и он стал для меня просто хозяином великолепного ресторана, расположенного по соседству.

И вот теперь эта дурацкая поездка. Еще не доезжая Уэст-Эгга, Гэтсби стал вести себя как-то странно: не договаривал своих безупречно закругленных фраз, в замешательстве похлопывал себя по коленям, обтянутым брюками цвета жженого сахара. И вдруг озадачил меня неожиданным вопросом:

— Что вы обо мне вообще думаете, старина?

Застигнутый врасплох, я пустился было в те уклончивые банальности, которых подобный вопрос достоин. Но он меня тут же прервал:

— Я хочу вам немного рассказать о своей жизни. А то вы можете бог знает что вообразить,

наслушавшись разных сплетен.

Значит, для него не были секретом причудливые обвинения, придававшие пикантность разговорам в его гостиных.

— Все, что вы от меня услышите, святая правда. — Он энергично взмахнул рукой, как бы призывая карающую десницу провидения быть наготове. — Я родился на Среднем Западе в богатой семье, из которой теперь уже никого нет в живых. Вырос я в Америке, но потом уехал учиться в Оксфорд — по семейной традиции. Несколько поколений моих предков учились в Оксфорде.

Он глянул на меня искоса — и я понял, почему Джордан Бейкер заподозрила его во лжи. Слова «учились в Оксфорде» он проговорил как-то наспех, не то глотая, не то давясь, словно знал по опыту, что они даются ему с трудом. И от этой тени сомнения потеряло силу все, что он говорил, и я подумал: а нет ли в его жизни и в самом деле какой-то жутковатой тайны?

— Из какого же вы города? — спросил я как бы между прочим.

— Из Сан-Франциско.

— А-а!

— Все мои родные умерли, и мне досталось большое состояние…

Это прозвучало торжественно-скорбно, будто его и по сю пору одолевали раздумья о безвременно угасшем роде Гэтсби. Я было подумал, уж не разыгрывает ли он меня, но, взглянув на него, отказался от этой мысли.

— И тогда я стал разъезжать по столицам Европы — из Парижа в Венецию, из Венеции в Рим, — ведя жизнь молодого раджи: коллекционировал драгоценные камни, главным образом рубины, охотился на крупную дичь, немножко занимался живописью, просто так, для себя, — все старался забыть об одной печальной истории, которая произошла со мной много лет тому назад.

Мне стоило усилия сдержать недоверчивый смешок. Весь этот обветшалый лексикон вызывал у меня представление не о живом человеке, а о тряпичной кукле в тюрбане, которая в Булонском лесу охотится на тигров, усеивая землю опилками, сыплющимися из прорех.

— А потом началась война. Я даже обрадовался ей, старина, я всячески подставлял себя под пули, но меня, словно заколдованного, смерть не брала. Пошел я на фронт старшим лейтенантом. В Аргоннах я с остатками пулеметного батальона вырвался так далеко вперед, что на флангах у нас оказались бреши шириной по полмили, где пехо-

та не могла наступать. Мы там продержались два дня и две ночи, с шестнадцатью «льюисами» на сто тридцать человек, а когда наконец подошли наши, то среди убитых, валявшихся на каждом шагу, они опознали по петлицам солдат из трех немецких дивизий. Я был произведен в майоры и награжден орденами всех союзных держав — даже Черногория, маленькая Черногория с берегов Адриатики прислала мне орден.

Маленькая Черногория! Он как бы подержал эти слова на ладони и ласково им улыбнулся. Улыбка относилась к беспокойной истории Черногорского королевства и выражала сочувствие мужественному черногорскому народу в его борьбе. Она давала оценку всей цепи политических обстоятельств, одним из звеньев которой был этот дар щедрого сердечка Черногории. Мое недоверие растворилось в восторге; я точно перелистал десяток иллюстрированных журналов.

Гэтсби сунул руку в карман, и мне на ладонь упало что-то металлическое на шелковой ленточке.

— Вот это — от Черногории.

К моему удивлению, орден выглядел как настоящий. По краю было выгравировано: «Orderi di Danilo, Montenegro, Nicolas Rex».

— Посмотрите оборотную сторону.

«Майору Джею Гэтсби, — прочитал я. — За выдающуюся доблесть».

— А вот еще одна вещь, которую я всегда ношу при себе. На память об оксфордских днях. Снято во дворе Тринити-колледжа. Тот, что слева от меня, теперь граф Донкастер.

На фотографии несколько молодых людей в спортивных куртках стояли в непринужденных позах под аркой ворот, за которыми виднелся целый лес шпилей. Я сразу узнал Гэтсби, с крикетной битой в руках; он выглядел моложе, но не намного.

Так, значит, он говорил правду. Мне представились тигровые шкуры, пламенеющие в апартаментах его дворца на Большом Канале, представился он сам, склонившийся над ларцом, полным рубинов, чтобы игрой багряных огоньков в их глубине утишить боль своего раненого сердца.

— Я сегодня собираюсь обратиться к вам с одной просьбой, — сказал он, удовлетворенно рассовывая по карманам свои сувениры, — вот я и решил кое-что вам рассказать о себе. Не хочется, чтобы вы меня бог весть за кого принимали. Понимаете, я привык, что вокруг меня всегда чужие люди,

ведь я так и скитаюсь все время с места на место, стараясь забыть ту печальную историю, которая со мной произошла. — Он замялся. — Сегодня вы ее узнаете.

— За завтраком?

— Нет, позже. Я случайно узнал, что вы пригласили мисс Бейкер выпить с вами чаю в «Плаза».

— Уж не хотите ли вы сказать, что влюблены в мисс Бейкер?

— Ну что вы, старина, вовсе нет. Но мисс Бейкер была так любезна, что согласилась поговорить с вами о моем деле.

Я понятия не имел, что это за «дело», но почувствовал скорей досаду, чем любопытство. Вовсе не для того я приглашал Джордан, чтобы беседовать о мистере Джее Гэтсби. Я не сомневался, что его просьба окажется какой-нибудь несусветной чепухой, и на миг даже пожалел о том дне, когда впервые переступил порог его чересчур гостеприимного дома.

Больше он не сказал ни слова. Чем ближе мы подъезжали к городу, тем глубже он замыкался в своей корректности. Мелькнул мимо Порт-Рузвельт с океанскими кораблями в красной опояске — и мы понеслись по булыжной мостовой убогого пригорода, вдоль темных, хоть

и не безлюдных салунов, еще сохранивших на вывесках линялую позолоту девятисотых годов. Потом по обе стороны открылась Долина Шлака, и я успел заметить миссис Уилсон, энергично орудовавшую у бензоколонки.

На распластанных, как у птицы, крыльях, озаряя все кругом, пролетели мы половину Астории — но лишь одну половину: только мы запетляли между опорных свай надземной дороги, я услышал сзади знакомое фырканье мотоцикла, и нас догнал разъяренный полицейский.

— Ничего, ничего, старина! — крикнул Гэтсби. Мы затормозили. Он вытащил из бумажника какую-то белую карточку и помахал ею перед носом полицейского.

— Все в порядке, — сказал тот, притронувшись пальцами к фуражке. — Теперь буду знать вашу машину, мистер Гэтсби. Прошу извинить.

— Что это вы ему показали? — спросил я. — Оксфордскую фотографию?

— Мне как-то случилось оказать услугу шефу полиции, и с тех пор он мне каждое Рождество присылает поздравительную открытку.

Вот и мост Квинсборо; солнце сквозь переплеты высоких ферм играет рябью бликов на проходящих машинах, а за рекой встает город

нагромождением белых сахарных глыб, воздвигнутых чьей-то волей из денег, которые не пахнут. Когда с моста Квинсборо смотришь на город, это всегда так, будто видишь его впервые, будто он впервые безрассудно обещает тебе все тайное и все прекрасное, что только есть в мире.

Проехал мимо покойник на катафалке, заваленном цветами, а следом шли две кареты с задернутыми занавесками и несколько экипажей менее мрачного вида, для друзей и знакомых. У друзей были трагически скорбные глаза и короткая верхняя губа уроженцев юго-востока Европы, и когда они глядели на нас, я порадовался, что в однообразие этого их унылого воскресенья вплелось великолепное зрелище машины Гэтсби. На Блэквелс-Айленд нам повстречался лимузин, которым правил белый шофер, а сзади сидели трое расфранченных негров, два парня и девица. Меня разобрал смех, когда они выкатили на нас белки с надменно-соперническим видом.

«Теперь все может быть, раз уж мы переехали этот мост, — подумал я. — Все, что угодно…»

Даже Гэтсби мог быть, никого особенно не удивляя.

День на точке кипения. Мы условились встретиться и позавтракать в подвальчике на Сорок

второй улице, славившемся хорошей вентиляцией. Подслеповато моргая после яркого солнечного света, я наконец увидел Гэтсби — он стоял и разговаривал с кем-то в вестибюле.

— Мистер Каррауэй, познакомьтесь, пожалуйста, — мой друг мистер Вулфшим.

Небольшого роста еврей с приплюснутым носом поднял голову и уставился на меня двумя пучками волос, пышно распустившимися у него в каждой ноздре. Чуть позже я разглядел в полутьме и пару узеньких глазок.

— ...я только раз на него посмотрел, — сказал Вулфшим, горячо пожимая мне руку, — и как бы вы думали, что я сделал?

— Что? — вежливо поинтересовался я.

Но, по-видимому, вопрос был адресован не мне, так как он тут же отпустил мою руку и направил свой выразительный нос на Гэтсби.

— Передал деньги Кэтспо и сказал: «Кэтспо, пока он не замолчит, не платите ему ни цента». И он сразу же прикусил язык.

Гэтсби взял нас обоих под руки и увлек в ресторанный зал. Мистер Вулфшим проглотил следующую фразу, после чего впал в состояние сомнамбулической отрешенности.

— С содовой и льдом? — осведомился метр-

дотель.

— Приятное заведение, — сказал мистер Вулфшим, рассматривая пресвитерианских нимф на потолке. — Но я лично предпочитаю то, что через дорогу.

— Да, с содовой и льдом, — кивнул Гэтсби, а затем возразил Вулфшиму: — Там очень душно, через дорогу.

— Душно и тесновато, согласен, — сказал мистер Вулфшим. — Но зато сколько воспоминаний.

— А что за ресторан через дорогу? — спросил я.

— Старый «Метрополь».

— Старый «Метрополь», — задумчиво протянул мистер Вулфшим. — Так много лиц, которых больше никогда не увидишь. Так много друзей, которые умерли и не воскреснут. До конца дней своих не забуду ту ночь, когда там застрелили Рози Розенталя. Нас было шестеро за столом, и Рози ел и пил больше всех. Уже под утро подходит к нему официант и говорит: «Вас там спрашивают, в вестибюле». А у самого вид какой-то странный. «Сейчас иду», — говорит Рози и хочет встать, но я ему не даю. «Слушай, говорю, Рози, если ты каким-то мерзавцам нужен, пусть они идут сюда, а тебе к ним ходить нечего, и ты не пойдешь, вот

тебе мое слово». Был уже пятый час, и если бы не шторы на окнах, было бы светло без ламп.

— И что же, он пошел? — простодушно спросил я.

— Конечно, пошел. — Мистер Вулфшим негодующе сверкнул на меня носом. — В дверях он оглянулся и сказал: «Пусть официант не вздумает уносить мой кофе». И только он ступил на тротуар, ему всадили три пули прямо в набитое брюхо, и машина умчалась.

— Четверых все-таки посадили потом на электрический стул, — сказал я, припомнив эту историю.

— Пятерых, считая Беккера. — Мохнатые ноздри вскинулись на меня с вниманием. — Вы, как я слышал, интересуетесь деловыми контактами?

Я растерялся, ошарашенный таким переходом. За меня ответил Гэтсби.

— Нет, нет! — воскликнул он. — Это не тот.

— Не тот? — Мистер Вулфшим был явно разочарован.

— Это просто мой друг. Я же вам сказал, о том деле разговор будет не сегодня.

— А, ну извините, — сказал мистер Вулфшим. — Я вас принял за другого.

Подали аппетитный гуляш с овощами, и мистер

Вулфшим, позабыв о волнующих преимуществах старого «Метрополя», со свирепым гурманством принялся за еду. Но в то же время он цепким, медленным взглядом обводил ресторанный зал — даже, замыкая круг, обернулся и посмотрел на тех, кто сидел сзади. Вероятно, если бы не мое присутствие, он не преминул бы заглянуть и под стол.

— Послушайте, старина, — наклоняясь ко мне, сказал Гэтсби, — вы на меня не рассердились утром, в машине?

Я увидел знакомую уже улыбку, но на этот раз я на нее не поддался.

— Не люблю загадок, — ответил я. — Почему вы не можете просто и откровенно сказать, что вам от меня нужно? Зачем было впутывать мисс Бейкер?

— Да нет, какие же загадки, — запротестовал он. — Во-первых, мисс Бейкер — спортсменка высокого класса, она бы ни за что не согласилась, если бы тут было что не так.

Он вдруг взглянул на часы, сорвался с места и опрометью выбежал вон, оставив меня в обществе мистера Вулфшима.

— У него разговор по телефону, — сказал мистер Вулфшим, проводив его глазами. — Замечатель-

ный человек, а? И красавец, и джентльмен с головы до ног.

— Да.

— Он ведь окончил Оксворт.

— Умгм!

— Он окончил Оксвортский университет в Англии. Вы знаете, что такое Оксвортский университет?

— Кое-что слышал.

— Один из самых знаменитых университетов в мире.

— А вы давно знаете Гэтсби? — спросил я.

— Несколько лет, — сказал он горделиво. — Имел удовольствие познакомиться сразу после войны. Стоило побеседовать с ним какой-нибудь час, и мне уже было ясно, что передо мной человек отменного воспитания. «Вот, — сказал я себе. — Такого человека приятно пригласить к себе в дом, познакомить со своей матерью и сестрой». — Он помолчал. — Я вижу, вы смотрите на мои запонки.

Я и не думал на них смотреть, но после этих слов посмотрел. Запонки были сделаны из кусочков слоновой кости неправильной, но чем-то очень знакомой формы.

— Настоящие человеческие зубы, — с готовно-

стью сообщил он. — Отборные экземпляры.

— В самом деле! — Я присмотрелся поближе. — Оригинальная выдумка.

— Н-да. — Он одернул рукава пиджака. — Н-да. Гэтсби очень щепетилен насчет женщин. На жену друга он даже не взглянет.

Как только объект этого интуитивного доверия вернулся к нашему столику, мистер Вулфшим залпом проглотил кофе и встал.

— Благодарю за приятную компанию, — сказал он. — А теперь побегу, чтобы не злоупотреблять вашим гостеприимством, молодые люди.

— Куда вы, Мейер, посидите, — сказал Гэтсби не слишком настойчиво.

Мистер Вулфшим простер руку, вроде как бы для благословения.

— Вы очень любезны, но мы люди разных поколений, — торжественно изрек он. — У вас свои разговоры — о спорте, о барышнях, о… — Новый взмах руки заменил недостающее существительное. — А мне уж за пятьдесят, и я не хочу больше стеснять вас своим обществом.

Когда он прощался, а потом шел к выходу, его трагический нос слегка подрагивал. Я подумал: уж не обидел ли я его неосторожным словом?

— На него иногда находит сентименталь-

ность, — сказал Гэтсби. — А вообще он в Нью-Йорке фигура — свой человек на Бродвее.

— Кто он, актер?

— Нет.

— Зубной врач?

— Мейер Вулфшим? Нет, он игрок. — Гэтсби на миг запнулся, потом хладнокровно добавил: — Это он устроил ту штуку с «Уорлд Сириз» в тысяча девятьсот девятнадцатом году.

Я остолбенел. Я помнил, конечно, аферу с бейсбольными соревнованиями «Уорлд Сириз», но никогда особенно не задумывался об этом, а уж если думал, то как о чем-то само собой разумеющемся, последнем и неизбежном звене какой-то цепи событий. У меня не укладывалось в мыслях, что один человек способен сыграть на доверии пятидесяти миллионов с прямолинейностью грабителя, взламывающего сейф.

— Как он мог сделать такую вещь? — спросил я.

— Использовал случай, вот и все.

— А почему его не посадили?

— Не могли ничего доказать, старина. Мейера Вулфшима голыми руками не возьмешь.

Я настоял на том, чтобы оплатить счет. Принимая сдачу от официанта, я вдруг заметил в другом

конце переполненного зала Тома Бьюкенена.

— Мне надо подойти поздороваться со знакомым, — сказал я. — Пойдемте со мной, это одна минута.

Том, завидев нас, вскочил и сделал несколько шагов навстречу.

— Где ты пропадаешь? — воскликнул он. — Хоть бы по телефону позвонил, Дэзи просто в ярости.

— Мистер Гэтсби — мистер Бьюкенен.

Они подали друг другу руки, и у Гэтсби вдруг сделался натянутый, непривычно смущенный вид.

— Как ты вообще живешь? — допытывался Том. — И что тебя занесло в такую даль?

— Мы здесь завтракали с мистером Гэтсби.

Я оглянулся, но мистера Гэтсби и след простыл.

— Как-то раз, в октябре девятьсот семнадцатого года… (рассказывала мне несколько часов спустя Джордан Бейкер, сидя отменно прямо на стуле с прямою спинкой в саду-ресторане при отеле «Плаза»)… я шла по луисвиллской улице, то и дело сходя с тротуара на газон. Мне больше нравилось шагать по газону, потому что на мне были английские туфли с резиновыми шипами на подошве, которые вдавливались в мягкий

грунт. На мне была также новая клетчатая юбка в складку, ветер раздувал ее, и каждый раз, когда это случалось, красно-бело-синие флаги на фасадах вытягивались торчком и неодобрительно цокали.

Самый большой флаг и самый широкий газон были у дома, где жила Дэзи Фэй. Ей тогда было восемнадцать, на два года больше, чем мне, и ни одна девушка во всем Луисвилле не пользовалась таким успехом. Она носила белые платья, у нее был свой маленький белый двухместный автомобиль, и целый день в ее доме звонил телефон, и молодые офицеры из Кэмп-Тэйлор взволнованно домогались чести провести с нею вечер: «Ну хоть бы один часок!»

В тот день, подходя к ее дому, я увидела, что белый автомобиль стоит у обочины, и в нем сидит Дэзи с незнакомым мне лейтенантом. Они были настолько поглощены друг другом, что она меня заметила, только когда я была уже в трех шагах.

— А, Джордан! — неожиданно окликнула она. — Будь добра, подойди сюда на минутку.

Мне крайне польстило, что я могла ей понадобиться, — из всех старших подруг она всегда была для меня самой привлекательной. Она спросила, не в Красный ли Крест я иду, щипать корпию. Я

сказала, что да. Так, может быть, я передам, чтобы сегодня ее там не ждали?

Она говорила, а офицер смотрел на нее особенным взглядом — всякая девушка мечтает, что когда-нибудь на нее будут так смотреть. Мне это показалось очень романтичным, оттого и запомнилось надолго. Звали офицера Джей Гэтсби, и с тех пор я его четыре года в глаза не видела — так что, когда мы встретились на Лонг-Айленде, мне и в голову не пришло, что это тот самый Гэтсби.

Дело было в девятьсот семнадцатом. А на следующий год и у меня уже завелись поклонники, а кроме того, я стала участвовать в спортивных состязаниях, и мы с Дэзи виделись довольно редко. Она развлекалась в другой компании, постарше, если вообще развлекалась. Ходили о ней какие-то фантастические слухи — будто зимой мать однажды застигла ее, когда она укладывала чемодан, чтобы ехать в Нью-Йорк прощаться с каким-то военным, отправлявшимся за океан. Конечно, ее не пустили, но после этого она несколько недель не разговаривала ни с кем в доме. И больше она никогда не флиртовала с военными, ограничивая свой круг теми молодыми людьми, которые из-за близорукости или плоскостопия были непригодны для службы в армии.

К осени она снова стала прежней Дэзи, веселой и жизнерадостной. Сразу после перемирия состоялся ее первый бал, и в феврале все заговорили о ее помолвке с одним приезжим из Нового Орлеана. А в июне она вышла замуж за Тома Бьюкенена из Чикаго, и свадьба была отпразднована с размахом и помпой, каких не помнит Луисвилл. Жених прибыл с сотней гостей в четырех отдельных вагонах, снял целый этаж в отеле «Мюльбах» и накануне свадьбы преподнес невесте жемчужное колье стоимостью в триста пятьдесят тысяч долларов.

Я была подружкой невесты. За полчаса до свадебного обеда я вошла к ней в комнату и вижу — она лежит на постели в своем затканном цветами платье, хороша, как июньский вечер — и пьяна как сапожник. В одной руке у нее бутылка сотерна, а в другой какое-то письмо.

— Поз-поздравь меня, — бормочет. — Напилась первый раз в жизни, и до чего ж, ах до чего ж хорошо!

— Дэзи, что случилось?

Сказать по правде, я испугалась: мне никогда не приходилось видеть девушку в таком состоянии.

— Вот, п-пожалуйста. — Она порылась в корзинке для мусора, стоявшей тут же на постели,

и вытащила оттуда жемчужное колье. — Отнеси это вниз и отдай, кому следует. И скажи, что Дэзи пер-редумала. Так и скажи им всем: «Дэзи пер-редумала».

И в слезы — плачет, просто рыдает. Я бросилась вон из комнаты, разыскала горничную ее матери, мы заперли дверь и втолкнули Дэзи в ванну с холодной водой. Она ни за что не хотела выпустить из рук письмо. Так и сидела с ним в ванне, сжав его в мокрый комок, и только тогда позволила мне положить его в мыльницу, когда увидела, что оно расползается хлопьями, точно снег.

Но ни одного слова она больше не вымолвила. Мы дали ей понюхать нашатырного спирту, положили лед на голову, а потом снова натянули на нее платье, и когда полчаса спустя она вместе со мною спустилась вниз, жемчужное колье красовалось у нее на шее, и инцидент был исчерпан. А назавтра, в пять часов дня, она, не моргнув глазом, обвенчалась с Томом Бьюкененом и уехала в свадебное путешествие по южным морям.

Я встретила их в Санта-Барбаре, уже на обратном пути, и даже удивилась — как можно быть до такой степени влюбленной в собственного мужа. Стоило ему на минуту выйти из комнаты, она уже беспокойно озиралась и спрашивала: «Где

Том?» — и была сама не своя, пока он не появлялся на пороге. Она часами просиживала на пляже, положив его голову к себе на колени, и гладила ему пальцами веки, и, казалось, не могла на него налюбоваться. Это было в августе. А через неделю после моего отъезда из Санта-Барбары Том ночью, на Вентурской дороге, врезался в автофургон, и переднее колесо его машины оторвало напрочь. В газеты попала и девица, с которой он ехал, потому что у нее оказалась сломанной рука, — это была горничная из отеля в Санта-Барбаре.

В апреле у Дэзи родилась дочка, и они на год уехали во Францию. Я встречала их время от времени — то в Каннах, то в Довиле, а потом они вернулись домой и обосновались в Чикаго. Дэзи, как вы помните, знали и любили в Чикаго. Народ вокруг них толокся самый беспутный — все богатая молодежь, шалопаи и кутилы; но Дэзи ухитрилась сохранить совершенно безупречную репутацию. Может быть, благодаря тому, что она не пьет. Это большое преимущество — быть трезвой, когда все кругом пьяны. Не наговоришь лишнего, а главное, если вздумается что-нибудь себе позволить, сумеешь выбрать время, когда никто уже ничего не замечает или всем наплевать. А может быть, Дэзи не интересовали

романы, хотя есть у нее в голосе что-то такое…

И вот месяца полтора тому назад она вдруг услышала фамилию Гэтсби — впервые за все эти годы. Помните, когда вы упомянули, что живете в Уэст-Эгге, я спросила, не знаете ли вы там Гэтсби? Не успели вы тогда уехать домой, она поднялась ко мне в комнату, разбудила меня и спросила: «Как он выглядит, этот Гэтсби?» И когда я спросонок кое-как его описала, она сказала каким-то странным, не своим голосом, что, должно быть, это тот самый, с которым она была знакома когда-то. Тут только я вспомнила офицера в ее белом автомобиле и соединила концы с концами.

Когда Джордан Бейкер досказывала мне эту историю, мы уже давно успели уйти из «Плаза» и в открытой машине ехали по аллеям Центрального парка. Солнце уже скрылось за высокими обиталищами кинозвезд на Пятидесятых улицах западной стороны, и в душных сумерках звенели ясные голоса детей, выводивших, точно сверчки на траве, свою песенку:

Я арабский шейх,
Люблю тебя больше всех.
Я примчусь к тебе во сне
На быстроногом скакуне.

— Странное совпадение, — сказал я.

— А это вовсе не совпадение.

— То есть как?

— Гэтсби нарочно купил этот дом, так как знал, что Дэзи живет недалеко, по ту сторону бухты.

Значит, не только звезды притягивали его взгляд в тот июньский вечер. Он вдруг словно ожил передо мной, освободившись от скорлупы своего бесцельного великолепия.

— Вот он и хотел вас просить, — продолжала Джордан, — может быть, вы как-нибудь позовете Дэзи в гости и позволите ему тоже зайти на часок.

Я был потрясен скромностью этой просьбы. Он ждал пять лет, купил виллу, на сказочный блеск которой слетались тучи случайной мошкары, — и все только ради того, чтобы иметь возможность как-нибудь «зайти на часок» в чужой дом.

— Неужели, чтобы обратиться с такой пустячной просьбой, нужно было посвящать меня во все это?

— Он робеет, ведь он так долго ждал. Думал, вдруг вы обидитесь. Ведь он, в сущности, порядочный дикарь, если заглянуть поглубже.

Что-то мне тут казалось не так.

— Не проще ли было попросить вас устроить

эту встречу?

— Ему хочется, чтобы она увидела его дом, — пояснила Джордан. — А вы живете рядом.

— А-а!

— По-моему, он все ждал, что в один прекрасный вечер она вдруг появится у него в гостиной, — продолжала Джордан. — Но так и не дождался. Тогда он стал, как бы между прочим, заводить с людьми разговоры о ней, в надежде найти общих знакомых, и первой оказалась я. Вот он и обратился ко мне — помните, в тот вечер, когда мы с вами встретились у него на вилле. Послушали бы вы, как он бродил вокруг да около, пока добрался до сути дела. Я, конечно, сразу же предложила завтрак в Нью-Йорке — так он словно взбеленился. «Я не хочу никаких недозволенных встреч! — твердит. — Я хочу просто увидеться с ней в гостях у соседа».

— Когда я сказала, что вы с Томом приятели, он уже готов был отказаться от этой затеи. Он мало что знает о Томе, хотя говорит, что несколько лет просматривал каждый день чикагские газеты — все искал какого-нибудь упоминания о Дэзи.

Уже стемнело, и, когда мы нырнули под небольшой пешеходный мостик, я обхватил рукой золотистые плечи Джордан, слегка притянул ее

к себе и предложил поужинать вместе. И Дэзи, и Гэтсби вдруг перестали меня интересовать; их место заняла эта безмятежная и решительная, узколобая проповедница всеобщего скептицизма, небрежно откинувшаяся на сгиб моей руки. В ушах у меня с каким-то хмельным азартом зазвучала фраза: «Ты или охотник, или дичь, или действуешь, или устало плетешься сзади».

— А Дэзи бы нужно хоть что-то иметь в жизни, — вполголоса сказала Джордан.

— Сама-то она хочет увидеться с Гэтсби?

— Она ничего не знает. Гэтсби не хочет, чтобы она знала. Вы просто пригласите ее к себе на чашку чая.

Мы миновали заслон из темных деревьев, и вот уже за парком мягко и нежно высветились фасады Пятьдесят девятой улицы. У меня, не в пример Гэтсби и Тому Бьюкенену, не было женщины, чей бестелесный образ реял бы передо мной среди темных карнизов и слепящих огней рекламы, поэтому я крепче сжал в объятиях ту, что сидела рядом. Бледный презрительный рот улыбнулся мне, и, сжимая ее все сильней, я потянулся к ее губам.

Глава V

Когда я в ту ночь возвратился в Уэст-Эгг из Нью-Йорка, я было испугался, что у меня в доме пожар. Два часа ночи, а вся оконечность мыса ярко освещена, кусты выступают из мглы, точно призраки, на телеграфных проводах играют длинные блики света. Но такси свернуло за угол, и я увидел, что это вилла Гэтсби сияет всеми огнями от башен до погребов.

Сперва я решил, что происходит очередное сборище, и разгулявшиеся гости, затеяв игру в прятки или в «море волнуется», распространились по всем этажам. Но уж очень тихо было кругом. Только ветер гудел в проводах, и огни то меркли, то снова вспыхивали, как будто дом подмигивал ночи.

Такси с кряхтеньем отъехало от моего крыльца, и тут я увидел Гэтсби, который быстро шел по газону, направляясь ко мне.

— Ваш дом выглядит как павильон Всемирной выставки, — сказал я ему.

— В самом деле? — Он рассеянно оглянулся. — Мне вздумалось пройтись по комнатам. Знаете что, старина, давайте прокатимся на Кони-Ай-

ленд. В моей машине.

— Поздно уже.

— Тогда, может, поплаваем в бассейне? Я за все лето ни разу не искупался.

— Мне пора спать.

— Ну, как хотите.

Он ждал, глядя на меня с плохо скрытым нетерпением.

— Мисс Бейкер говорила со мной, — сказал я наконец. — Завтра я позвоню Дэзи и приглашу ее на чашку чая.

— А, очень мило, — сказал он небрежно. — Только мне не хотелось бы причинять вам беспокойство.

— В какой день вам удобно?

— В какой день удобно вам, — поспешил он поправить. — Я, право же, не хотел бы причинять вам беспокойство.

— Ну, скажем, послезавтра? Подойдет?

Он с минуту раздумывал. Потом неуверенно заметил:

— Надо бы подстричь газон.

Мы оба посмотрели туда, где четко обозначалась граница моего участка, заросшего лохматой травой, а дальше темнела ухоженная гладь его владений. Я заподозрил, что речь идет о моем

газоне.

— И потом еще кое-что… — Он запнулся в нерешительности.

— Так, может быть, отложим на несколько дней?

— Да нет, я не о том. То есть… — Он стал мямлить в поисках подходящего начала. — Видите ли, мне пришло в голову… Дело в том, что… Вы ведь, кажется, немного зарабатываете, старина?

— Совсем немного.

Мой ответ словно придал ему духу, и он продолжал более доверительным тоном:

— Я так и думал. Вы уж извините, если я… Видите ли, я тут затеял кое-что — так, между делом, понимаете. И вот мне пришло в голову, поскольку вы зарабатываете не очень много… Вы ведь занимаетесь реализацией ценных бумаг, верно?

— Пытаюсь, во всяком случае.

— Так для вас это может представить интерес. Много времени не займет, а заработать можно неплохо. Но понимаете, дело в некотором роде конфиденциальное.

Теперь я хорошо понимаю, что при других обстоятельствах этот разговор мог бы всю мою жизнь повернуть по-иному. Но предложение так явно и так бестактно было сделано в благодар-

ность за услугу, что мне оставалось только одно — отказаться.

— К сожалению, не смогу, — сказал я. — У меня решительно нет времени на дополнительную работу.

— Вам не придется иметь дело с Вулфшимом. — Он, видно, решил, что меня смущает перспектива «кхонтактов», о которых шла речь за завтраком, но я заверил его, что он ошибается. Он еще постоял, надеясь, что завяжется разговор; однако я, занятый своими мыслями, не расположен был разговаривать, и он неохотно побрел домой.

Голова у меня приятно кружилась после вечера в Нью-Йорке, и я, кажется, прямо с порога шагнул в глубокий сон. Поэтому я так и не знаю, ездил ли Гэтсби на Кони-Айленд или, может быть, до рассвета «прохаживался по комнатам», озаряя округу праздничным сияньем огней. Утром я из конторы позвонил Дэзи и предложил ей завтра навестить меня в Уэст-Эгге.

— Только приезжай без Тома, — предупредил я.

— Что?

— Приезжай без Тома.

— А кто такой Том? — невинно спросила она.

На следующий день с утра зарядил проливной

дождь. В одиннадцать часов ко мне постучался человек с газонокосилкой, одетый в прорезиненный плащ, и сообщил, что прислан мистером Гэтсби подстричь у меня газон. Тут только я спохватился, что ни о чем не предупредил свою финку; пришлось сесть в машину и ехать разыскивать ее среди нахохлившихся от дождя белых домиков поселка, а заодно купить несколько чашек, лимоны и цветы.

Цветов, впрочем, можно было и не покупать: в два часа от Гэтсби была доставлена целая оранжерея вместе с комплектом сосудов для ее размещения. Спустя еще час дверь стремительно распахнулась и влетел сам Гэтсби в белом фланелевом костюме, серебристой сорочке и золотистом галстуке. Он был бледен, под глазами темнели следы бессонной ночи.

— Ну как, все в порядке? — с ходу спросил он.

— Если вы о траве, так трава просто загляденье.

— Какая трава? — растерянно спросил он. — Ах, газон! — Он посмотрел в окно, но, судя по выражению его лица, вряд ли что-нибудь увидел. — Да, газон хорош, — похвалил он рассеянно. — В какой-то газете писали, что к четырем часам дождь прекратится. Кажется, в «Джорнал». А у вас есть

все для… ну, для чая?

Я повел его в кухню, где он несколько укоризненно покосился на мою финку. Потом мы вдвоем придирчиво осмотрели десяток лимонных пирожных, купленных мною в кондитерской.

— Как, ничего, по-вашему? — осведомился я.

— Да, да! Очень хорошо… — сказал он и несколько принужденно добавил: — Старина…

К половине четвертого дождь превратился в туман, сырой и холодный, в котором, точно роса, плавали тяжелые, редкие капли. Гэтсби невидящим взглядом скользил по страницам «Экономики» Клэя, вздрагивал, когда тяжелая финская поступь сотрясала половицы в кухне, и время от времени напряженно всматривался в мутные от дождя окна, словно там, за ними, разыгрывались незримо какие-то тревожные события. Вдруг он встал и не совсем твердым голосом объявил мне, что уходит домой.

— Это почему же?

— Никто уже не приедет. Поздно! — Он взглянул на часы с видом человека, которого неотложные дела призывают в другое место. — Не могу же я дожидаться тут весь день.

— Не дурите. Еще только без двух минут четыре.

Он снова сел, глядя так жалобно, как будто я его толкнул в кресло, и в ту же минуту послышался шум подъезжающего автомобиля. Мы оба вскочили; сам слегка взбудораженный, я вышел на крыльцо.

Между сиреневых кустов с поникшей, мокрой листвой шла к дому большая открытая машина. Она остановилась. Из-под сдвинутой набок треугольной шляпы цвета лаванды выглянуло лицо Дэзи, сияющее радостной улыбкой.

— Так вот твое гнездышко, птенчик мой!

Журчание ее голоса влилось в шум дождя, как бодрящий эликсир. Я сперва вобрал слухом только мелодию фразы, ее движение вверх и вниз — потом уже до меня дошли слова. Мокрая прядка волос лежала у нее на щеке, точно мазок синей краски, капли дождя блестели на руке, которой она оперлась на меня, выходя из машины.

— Уж не влюбился ли ты в меня? — шепнула она мне на ухо. — Почему я непременно должна была приехать одна?

— Это тайна замка Рэкрент. Отправь своего шофера на час куда-нибудь.

— Ферди, вернетесь за мной через час. — И мне вполголоса, как нечто очень важное: — Его зовут Ферди.

— А у него не делается насморк от бензина?

— Кажется, нет, — простодушно ответила она. — А что?

Мы вошли в дом. К моему невероятному удивлению, гостиная была пуста.

— Что за черт! — воскликнул я.

— О чем это ты?

И тут же она оглянулась: кто-то негромко, с достоинством стучался в парадную дверь. Я пошел отворить. Гэтсби, бледный как смерть, руки точно свинцовые гири в карманах пиджака, стоял в луже у порога и смотрел на меня трагическими глазами.

Не вынимая рук из карманов, он прошагал за мной в холл, круто повернулся, словно марионетка на ниточке, и исчез в гостиной. Все это было вовсе не смешно. С бьющимся сердцем я вернулся к парадной двери и закрыл ее поплотнее.

Шум усилившегося дождя остался за дверью. С минуту стояла полная тишина. Потом из гостиной донеслось какое-то сдавленное бормотанье, обрывок смеха, и тотчас же неестественно высоко и звонко прозвучал голос Дэзи:

— Мне, право, очень приятно, что мы встретились снова.

Опять пауза, затянувшаяся до невозможности.

Торчать без дела в холле было глупо, и я вошел в комнату.

Гэтсби, по-прежнему держа руки в карманах, стоял у камина, мучительно стараясь придать себе непринужденный и даже скучающий вид. Голова у него была так сильно откинута назад, что почти упиралась в циферблат давно отживших свой век часов на каминной полке, и с этой позиции он взглядом безумца смотрел на Дэзи, которая сидела на краешке жесткого стула, немного испуганная, но изящная, как всегда.

— Мы старые знакомые, — пролепетал Гэтсби.

Он глянул на меня и пошевелил губами, пытаясь улыбнуться, но улыбка не вышла. По счастью, часы на полке, которые он задел головой, сочли за благо в эту минуту угрожающе накрениться; Гэтсби обернулся, дрожащими руками поймал их и установил на место. После этого он сел в кресло и, облокотившись на ручку, подпер подбородок ладонью.

— Простите, что так получилось с часами, — сказал он.

Лицо у меня горело, словно от тропической жары. В голове вертелась тысяча банальностей, но я никак не мог ухватить хоть одну.

— Это очень старые часы, — идиотски заметил

я. Кажется, мы все трое искренне считали тогда, что часы лежат на полу, разбитые вдребезги.

— А давно мы с вами не виделись, — произнесла Дэзи безукоризненно светским тоном.

— В ноябре будет пять лет.

Автоматичность ответа Гэтсби застопорила разговор по крайней мере еще на минуту. С отчаяния я предложил пойти всем вместе на кухню готовить чай, и они сразу же встали, но тут вошла распроклятая финка с чаем на подносе.

Началась спасительная суета с передачей друг другу чашек и пирожных, и атмосфера несколько разрядилась, хотя бы по видимости. Мы с Дэзи мирно болтали о том о сем, а Гэтсби, забившись в угол потемнее, следил за нами обоими напряженным, тоскливым взглядом. Однако я не считал мир и спокойствие самоцелью, а потому при первом удобном случае встал и просил позволения ненадолго отлучиться.

— Куда вы? — сразу же испугался Гэтсби.

— Я скоро вернусь.

— Погодите, мне нужно сказать вам два слова.

Он выскочил за мной на кухню, затворил дверь и горестно простонал: «Боже мой, боже мой!»

— Что с вами?

— Это была ужасная ошибка, — сказал он, мо-

тая головой из стороны в сторону. — Ужасная, ужасная ошибка.

— Пустяки, вы просто немного смутились, — сказал я и, к счастью, догадался прибавить: — И Дэзи тоже смутилась.

— Она смутилась? — недоверчиво повторил он.

— Не меньше вашего.

— Тише, не говорите так громко.

— Вы себя ведете как мальчишка, — не выдержал я. — И притом невоспитанный мальчишка. Ушли и оставили ее одну.

Он предостерегающе поднял руку, посмотрел на меня с выражением укора, которое мне запомнилось надолго, и, осторожно отворив дверь, вернулся в гостиную.

Я вышел с черного хода — как Гэтсби полчаса тому назад, когда волнение погнало его вокруг дома, — и побежал к большому черному узловатому дереву с густой листвой, под которой можно было укрыться от дождя. Дождь к этому времени снова припустил вовсю, и мой кочковатый газон, так тщательно выбритый садовником Гэтсби, превратился в сеть мелких болот и доисторических топей. Из-под дерева открывался один-единственный вид — огромный домина

Гэтсби; вот я целых полчаса и глазел на него, как Кант на свою колокольню. Он был возведен для какого-то богатого пивовара лет десять назад, когда только еще начиналось увлечение «стильной» архитектурой, и рассказывали, будто пивовар предлагал соседям пять лет платить за них все налоги, если они покроют свои дома соломой. Возможно, полученный отказ в корне подсек его замысел основать тут Родовое Гнездо — с горя он быстро зачах. Его дети продали дом, когда на дверях висел еще траурный венок. Американцы легко, даже охотно, соглашаются быть рабами, но упорно никогда не желали признать себя крестьянами.

Полчаса спустя солнце выглянуло из-за туч, и на подъездной аллее у дома Гэтсби показался автофургон с провизией для слуг — хозяин, я был уверен, и куска не проглотил бы. В верхнем этаже горничная стала открывать окна. Она поочередно показывалась в каждом из них, а дойдя до большого фонаря в центре, высунулась наружу и задумчиво сплюнула в сад. Пора было возвращаться. Пока вокруг шумел дождь, я как будто слышал в гостиной их голоса, то ровные, то вдруг повышающиеся в порыве волнения. Но сейчас, когда все стихло, мне казалось, что и там

тоже наступила тишина.

Прежде чем войти, я, сколько мог, нашумел в кухне, только что не опрокинул плиту, но они, наверно, и не слышали ничего. Они сидели в разных углах дивана и смотрели друг на друга так, словно лишь сейчас или вот-вот должен был прозвучать какой-то вопрос. От первоначальной скованности не осталось и следа. У Дэзи лицо было мокрое от слез, и, когда я вошел, она вскочила и бросилась вытирать его перед зеркалом. Но что меня поразило, так это перемена, происшедшая в Гэтсби. Его лицо в буквальном смысле сияло; он всем своим существом излучал несвойственный ему блаженный покой, наполняя им мою маленькую гостиную.

— Ах, это вы, старина! — сказал он, как будто мы впервые увиделись после долголетней разлуки. Мне даже показалось, что он хочет поздороваться со мной за руку.

— Дождь перестал.

— Неужели? — Когда смысл моих слов дошел до него, когда он увидел, что по комнате прыгают солнечные зайчики, он радостно улыбнулся, как метеоролог, как ревностный поборник вечной победы света над тьмой, и поспешил сообщить новость Дэзи: — Что вы на это скажете? Дождь

перестал.

— Ну, как хорошо, Джей. — Боль и тоска захлебнулись в ее мелодичном голосе, и в нем прозвучало только радостное удивление.

— Пойдемте сейчас все ко мне, — предложил Гэтсби. — Мне хочется показать Дэзи мой дом.

— А может, вы лучше пойдете одни, без меня?

— Нет, нет, старина, непременно с вами.

Дэзи пошла наверх, умыть лицо — я с запоздалым раскаянием подумал о своих полотенцах, — а мы с Гэтсби ожидали ее, выйдя в сад.

— А хорош отсюда мой дом, правда? — сказал он мне. — Посмотрите, как весь фасад освещен солнцем.

Я согласился, что дом великолепен.

— Да… — Неотрывным взглядом он ощупывал каждый стрельчатый проем, каждую квадратную башенку. — Мне понадобилось целых три года, чтобы заработать деньги, которые ушли на этот дом.

— Я считал, что ваше состояние досталось вам по наследству.

— Да, конечно, старина, — рассеянно ответил он, — но я почти все потерял во время паники, связанной с войной.

Должно быть, он думал в это время о чем-то

другом, потому что, когда я спросил его, чем, собственно, он занимается, он ответил: «Это мое дело», и только потом спохватился, что ответ был не очень вежливый.

— О, я много чем занимался эти годы, — поспешил он поправиться. — Одно время — медикаментами, потом — нефтью. Сейчас, впрочем, не занимаюсь ни тем, ни другим. — Он посмотрел на меня более внимательно: — А что, вы, может быть, передумали насчет моего позавчерашнего предложения?

Ответить я не успел — из дома вышла Дэзи, сверкая на солнце двумя рядами металлических пуговиц, украшавших ее платье.

— Как, неужели *это* — ваш дом? — вскричала она, указывая пальцем на виллу.

— Вам он нравится?

— Очень нравится, но только как вы там живете совсем один?

— А у меня день и ночь полно гостей. Ко мне приезжают очень интересные люди. Известные люди, знаменитости.

Мы не пошли коротким путем вдоль пролива, а отправились в обход по шоссе и вошли через главные ворота. Дэзи восторженно ворковала, любуясь феодальным силуэтом, который с раз-

ных сторон по-разному вырисовывался на фоне неба, восхищалась искристым ароматом нарциссов, пенным благоуханием боярышника и сливы, бледно-золотым запахом жимолости. Было странно не видеть кутерьмы разноцветных платьев на мраморных ступенях и не слышать никаких других звуков, кроме гомона птиц на деревьях.

И потом, когда мы бродили по музыкальным салонам Marie Antoinette и гостиным в стиле Реставрации, мне показалось, что за всеми диванами и под всеми столами прячутся гости, получившие строгий наказ — не пикнуть, пока мы не пройдем мимо. А выходя из готической библиотеки, я мог бы поклясться, что, как только за нами закрылась дверь, я услышал зловещий хохот очкастого Филина.

Мы поднялись и наверх, прошли по стильным спальням, убранным свежими цветами, пестревшими на фоне голубого и розового шелка, по гардеробным и туалетным со вделанными в пол ваннами — и в одной комнате натолкнулись на растрепанного мужчину в пижаме, который, лежа на ковре, делал гимнастические упражнения для печени. Это был мистер Клипспрингер. Квартирант. Утром я видел, как он с голодным видом слонялся по пляжу. Закончился наш обход

в личных апартаментах Гэтсби, состоявших из спальни, ванной и кабинета в стиле Роберта Адама; здесь мы сели и выпили по рюмке шартреза, который Гэтсби достал из потайного шкафчика в стене.

Все это время он пристально следил за Дэзи и, мне кажется, заново оценивал каждую вещь в зависимости от того, какое выражение появлялось при взгляде на эту вещь в любимых глазах. А иногда он вдруг озирался по сторонам с таким растерянным видом, как будто перед ошеломляющим фактом ее присутствия все вещи вообще утратили реальность. Один раз он споткнулся и чуть было не упал с лестницы.

Его спальня была скромнее и проще всех — если не считать туалетного прибора матового золота. Дэзи с наслаждением взяла в руки щетку и стала приглаживать волосы, а Гэтсби сел в кресло, прикрыл глаза рукой и тихо засмеялся.

— Странное дело, старина, — сказал он весело. — Никак не могу… Сколько ни стараюсь.

Он, как видно, прошел через две стадии и теперь вступил в третью. После замешательства, после нерассуждающей радости настала очередь сокрушительного изумления от того, что она здесь. Он так долго об этом мечтал, так подробно

все пережил в мыслях, столько времени ждал, словно бы стиснув зубы в неимоверном, предельном напряжении. И теперь в нем отказала пружина, как в часах, у которых перекрутили завод.

Через минуту, овладев собой, он распахнул перед нами два огромных шкафа, в которых висели его бесчисленные костюмы, халаты, галстуки, а на полках высились штабеля уложенных дюжинами сорочек.

— У меня в Англии есть человек, который мне закупает одежду и белье. Весной и осенью я получаю оттуда все, что нужно к сезону.

Он вытащил стопку сорочек и стал метать их перед нами одну за другой; сорочки плотного шелка, льняного полотна, тончайшей фланели, развертываясь на лету, заваливали стол многоцветным хаосом. Видя наше восхищение, он схватил новую стопку, и пышный ворох на столе стал еще разрастаться — сорочки в клетку, в полоску, в крапинку, цвета лаванды, коралловые, салатные, нежно-оранжевые, с монограммами, вышитыми темно-синим шелком. У Дэзи вдруг вырвался сдавленный стон, и, уронив голову на сорочки, она разрыдалась.

— Такие красивые сорочки, — плакала она, и

мягкие складки ткани глушили ее голос. — Мне так грустно, ведь я никогда... никогда не видела таких красивых сорочек.

После дома нам предстояло осмотреть еще сад, бассейн для плавания, гидроплан и цветники, но тем временем опять полил дождь, и, стоя все втроем у окна, мы глядели на рифленую воду пролива.

— В ясную погоду отсюда видна ваша вилла на той стороне бухты, — сказал Гэтсби. — У вас там на причале всю ночь светится зеленый огонек.

Дэзи порывисто взяла его под руку, но он, казалось, был весь поглощен додумыванием сказанного. Может быть, его вдруг поразила мысль, что зеленый огонек теперь навсегда утратил для него свое колоссальное значение. Раньше, когда Дэзи была так невероятно далеко, ему чудилось, что этот огонек горит где-то совсем рядом с ней, чуть ли не касается ее. Он смотрел на него, как на звездочку, мерцающую в соседстве с луной. Теперь это был просто зеленый фонарь на причале. Одним талисманом стало меньше.

Я принялся расхаживать по комнате, останавливаясь перед разными предметами, привлекавшими мое внимание в полутьме. На глаза мне попалась увеличенная фотография пожилого

мужчины в фуражке яхтсмена, висевшая над письменным столом.

— Кто это?

— Это? Мистер Дэн Коди, старина.

Имя мне показалось смутно знакомым.

— Его уже нет в живых. Когда-то это был мой лучший друг.

На столе стояла карточка самого Гэтсби, снятая, видно, когда ему было лет восемнадцать, — тоже в фуражке яхтсмена на задорно вскинутой голове.

— Какая прелесть, — воскликнула Дэзи. — Этот чуб! Вы мне никогда не рассказывали, что носили чуб. И про яхту тоже не рассказывали.

— А вот посмотрите сюда, — торопливо сказал Гэтсби. — Видите эту пачку газетных вырезок — тут все про вас.

Они стояли рядом, перелистывая вырезки. Я совсем было собрался попросить, чтобы он показал нам свою коллекцию рубинов, но тут зазвонил телефон, и Гэтсби взял трубку.

— Да… Нет, сейчас я занят… Занят, старина… Я же сказал: в небольших городках… Он, надеюсь, понимает, что такое небольшой городок? Ну, если Детройт по его представлениям — небольшой городок, то нам с ним вообще говорить не о чем.

Он дал отбой.

— Идите сюда, скорей! — закричала Дэзи, подойдя к окну.

Дождь еще шел, но на западе темная завеса разорвалась и над самым морем клубились пушистые, золотисто-розовые облака.

— Хорошо? — спросила она шепотом и, помолчав, так же шепотом сказала: — Поймать бы такое розовое облако, посадить вас туда и толкнуть — плывите себе.

Я хотел уйти, но они меня не пустили; может быть, от моего присутствия в комнате они еще острей чувствовали себя наедине друг с другом.

— Знаете, что мы сделаем, — сказал Гэтсби. — Мы сейчас заставим Клипспрингера поиграть нам на рояле.

Он вышел из комнаты, крича: «Юинг!» — и скоро вернулся в сопровождении немного облезлого смущенного молодого человека с реденькими светлыми волосами и в черепаховых очках. Сейчас он был вполне прилично одет в спортивного типа рубашку с отложным воротничком, теннисные туфли и холщовые брюки неопределенного оттенка.

— Мы вам помешали заниматься гимнастикой? — учтиво осведомилась Дэзи.

— Я спал, — выкрикнул Клипспрингер в пароксизме смущения. — То есть это я раньше спал. А потом я встал…

— Клипспрингер играет на рояле, — сказал Гэтсби, прервав его речь. — Правда ведь, вы играете, Юинг, старина?

— Я, собственно говоря, очень плохо играю. Собственно говоря… Нет, я почти не играю. Я совсем разучи…

— Идемте вниз, — перебил Гэтсби. Он щелкнул выключателем. Вспыхнул яркий свет, и серые окна исчезли.

В музыкальном салоне Гэтсби включил одну только лампу у рояля. Он дал Дэзи закурить — спичка дрожала у него в пальцах; он сел рядом с ней на диван в противоположном углу, освещенном лишь отблесками люстры из холла в натертом до глянца паркете.

Клипспрингер сыграл «Приют любви», потом повернулся на табурете и жалобным взглядом стал искать в темноте Гэтсби.

— Вот видите, я совсем разучился. Говорил же я вам. Я совсем разу…

— А вы не разговаривайте, а играйте, старина, — скомандовал Гэтсби. — Играйте!

Днем и ночью,

Днем и ночью

Жизнь забавами полна…

За окном разбушевался ветер, и где-то над проливом глухо урчал гром. Уэст-Эгг уже светился всеми огнями. Нью-йоркская электричка сквозь дождь и туман мчала жителей пригородов домой с работы. Наступал переломный час людского существования, и воздух был заряжен беспокойством.

Наживают богачи денег полные мешки.

Ну, а бедный наживает только кучу детворы,

Между прочим,

Между прочим…

Когда я подошел, чтобы проститься, я увидел у Гэтсби на лице прежнее выражение растерянности — как будто в нем зашевелилось сомнение в полноте обретенного счастья. Почти пять лет! Были, вероятно, сегодня минуты, когда живая Дэзи в чем-то не дотянула до Дэзи его мечтаний, — и дело тут было не в ней, а в огромной жизненной силе созданного им образа. Этот образ был лучше ее, лучше всего на свете. Он творил его с подлин-

ной страстью художника, все время что-то к нему прибавляя, украшая его каждым ярким перышком, попадавшимся под руку. Никакая ощутимая, реальная прелесть не может сравниться с тем, что способен накопить человек в глубинах своей фантазии.

Я видел, что он пытается овладеть собой. Он взял Дэзи за руку, а когда она что-то сказала ему на ухо, повернулся к ней порывистым, взволнованным движением. Мне кажется, ее голос особенно притягивал его своей переменчивой, лихорадочной теплотой. Тут уж воображение ничего не могло преувеличить — бессмертная песнь звучала в этом голосе.

Обо мне они забыли. Потом Дэзи, спохватившись, подняла голову и протянула мне руку, но для Гэтсби я уже не существовал. Я еще раз посмотрел на них, и они в ответ посмотрели на меня, но это был рассеянный, невидящий взгляд — они жили сейчас только своей жизнью. Я вышел из комнаты и под дождем спустился с мраморной лестницы, оставив их вдвоем.

Глава VI

В один из этих дней к Гэтсби заявился какой-то молодой, жаждущий славы репортер из Нью-Йорка и спросил, не желает ли он высказаться.

— О чем именно высказаться? — вежливо осведомился Гэтсби.

— Все равно о чем — просто несколько слов для печати.

После пятиминутной неразберихи выяснилось, что молодой человек услышал фамилию Гэтсби у себя в редакции, в беседе, которую он то ли не совсем понял, то ли не хотел разглашать. И в первый же свой свободный день он с похвальной предприимчивостью устремился «на разведку».

Это был выстрел наудачу, но репортерский инстинкт не подвел. Легенды о Гэтсби множились все лето благодаря усердию сотен людей, которые у него ели и пили и на этом основании считали себя осведомленными в его делах, и сейчас он уже был недалек от того, чтобы стать газетной сенсацией. С его именем связывались фантастические проекты в духе времени, вроде «подземного нефтепровода США — Канада»; ходил также упорный слух, что он живет вовсе не в доме, а на огромной,

похожей на дом яхте, которая тайно курсирует вдоль лонг-айлендского побережья. Почему эти небылицы могли радовать Джеймса Гетца из Северной Дакоты — трудно сказать.

Джеймс Гетц — таково было его настоящее, или, во всяком случае, законное, имя. Он его изменил, когда ему было семнадцать лет, в знаменательный миг, которому суждено было стать началом его карьеры, — когда он увидел яхту Дэна Коди, бросившую якорь у одной из самых коварных отмелей Верхнего озера. Джеймсом Гетцем вышел он в этот день на берег в зеленой рваной фуфайке и парусиновых штанах, но уже Джеем Гэтсби бросился в лодку, догреб до «Туоломея» и предупредил Дэна Коди, что через полчаса поднимется ветер, который может сорвать яхту с якоря и разнести ее в щепки.

Вероятно, это имя не вдруг пришло ему в голову, а было придумано задолго до того. Его родители были простые фермеры, которых вечно преследовала неудача, — в мечтах он никогда не признавал их своими родителями. В сущности, Джей Гэтсби из Уэст-Эгга, Лонг-Айленд, вырос из его раннего идеального представления о себе. Он был сыном божьим — если эти слова вообще что-нибудь означают, то они означают именно

это, — и должен был исполнить предначертания Отца своего, служа вездесущей, вульгарной и мишурной красоте. Вот он и выдумал себе Джея Гэтсби в полном соответствии со вкусами и понятиями семнадцатилетнего мальчишки и остался верен этой выдумке до самого конца.

Больше года он околачивался на побережье Верхнего озера, промышлял ловлей кеты, добычей съедобных моллюсков, всем, чем можно было заработать на койку и еду. Его смуглое тело получило естественную закалку в полуизнурительном, полуизнеживающем труде тех дней. Он рано узнал женщин и, избалованный ими, научился их презирать — юных и девственных за неопытность, других за то, что они поднимали шум из-за многого, что для него, в его беспредельном эгоцентризме, было в порядке вещей.

Но в душе его постоянно царило смятение. Самые дерзкие и нелепые фантазии одолевали его, когда он ложился в постель. Под тиканье часов на умывальнике, в лунном свете, пропитывавшем голубой влагой смятую одежду на полу, развертывался перед ним ослепительно яркий мир. Каждую ночь его воображение ткало все новые и новые узоры, пока сон не брал его в свои опустошающие объятия, посреди какой-нибудь

особо увлекательной мечты. Некоторое время эти ночные грезы служили ему отдушиной; они исподволь внушали веру в нереальность реального, убеждали в том, что мир прочно и надежно покоится на крылышках феи.

За несколько месяцев до того инстинктивная забота об уготованном ему блистательном будущем привела его в маленький лютеранский колледж святого Олафа в Южной Миннесоте. Он пробыл там две недели, не переставая возмущаться всеобщим неистовым равнодушием к барабанным зорям его судьбы и негодовать на унизительную работу дворника, за которую пришлось взяться в виде платы за учение. Потом он вернулся на Верхнее озеро и все еще искал себе подходящего занятия, когда в мелководье близ берегов бросила якорь яхта Дэна Коди.

Коди было в то время пятьдесят лет; он прошел школу Юкона, серебряных приисков Невады и всех вообще металлических лихорадок, начиная с семьдесят пятого года. Операции с монтанской нефтью, принесшие ему несколько миллионов, не отразились на его физическом здоровье, однако привели его чуть не на грань слабоумия, и немало женщин, учуяв это, пытались разлучить его с его деньгами. Страницы газет 1902 года

полны были пикантных рассказов о тех хитросплетениях, которые помогли журналистке Элле Кэй играть роль мадам де Ментенон при слабеющем духом миллионере и в конце концов заставили его спастись бегством на морской яхте. И вот, после пятилетних скитаний вдоль многих гостеприимных берегов, он появился в заливе Литтл-Герл на Верхнем озере и стал судьбой Джеймса Гетца.

Когда юный Гетц, пристав на веслах, глядел снизу вверх на белый корпус яхты, ему казалось, что в ней воплощено все прекрасное и все удивительное, что только есть в мире. Вероятно, он улыбался, разговаривая с Коди, — он уже знал по опыту, что людям нравится его улыбка. Как бы то ни было, Коди задал ему несколько вопросов (ответом на один из них явилось новоизобретенное имя) и обнаружил, что мальчик смышлен и до крайности честолюбив. Спустя несколько дней он свез его в Дулут, где купил ему синюю куртку, шесть пар белых полотняных брюк и фуражку яхтсмена. А когда «Туоломей» вышел в плаванье к Вест-Индии и берберийским берегам, на борту находился Джей Гэтсби.

Обязанности его были неопределенны и со временем менялись — стюард, старший помощник,

капитан, секретарь и даже тюремщик, потому что трезвому Дэну Коди было хорошо известно, что способен натворить пьяный Дэн Коди, и, стараясь обезопасить себя от всевозможных случайностей, он все больше и больше полагался на Джея Гэтсби. Так продолжалось пять лет, в течение которых судно три раза обошло вокруг континента, и так могло бы продолжаться бесконечно, но однажды в Бостоне на яхту взошла Элла Кэй, и неделю спустя Дэн Коди, нарушая долг гостеприимства, отдал богу душу.

Я помню его портрет, висевший у Гэтсби в спальне: седой человек с обветренным лицом, с пустым и суровым взглядом — один из тех необузданных пионеров, которые в конце прошлого века вновь принесли на восточное побережье Америки буйную удаль салунов и публичных домов западной границы. Это ему Гэтсби косвенно был обязан своей нелюбовью к спиртным напиткам. Случалось, на какой-нибудь развеселой вечеринке женщины смачивали ему волосы шампанским; но пил он редко и мало.

Коди оставил ему наследство — двадцать пять тысяч долларов. Из этих денег он не получил ни цента. Ему так и осталось непонятным существо юридических уловок, пущенных в ход против

него, но все, что уцелело от миллионов Коди, пошло Элле Кэй. А он остался при том, что дал ему своеобразный опыт этих пяти лет; отвлеченная схема Джея Гэтсби облеклась в плоть и кровь и стала человеком.

Все это я узнал много позже, но нарочно записываю здесь — в противовес всем нелепым слухам о его прошлом, которые я приводил раньше и в которых не было и тени правды. К тому же он мне рассказывал это в дни больших потрясений, когда я дошел до того, что мог бы поверить о нем всему — или ничему. Вот я и решил воспользоваться этой короткой паузой в своем повествовании, — пока Гэтсби, так сказать, переводит дух, — чтобы рассеять все заблуждения, которые тут могли возникнуть.

В моем непосредственном общении с ним тоже наступила в то время пауза. Недели две я его не видел, не слышал даже его голоса по телефону — я почти все вечера пропадал в Нью-Йорке, шатался с Джордан по городу и усиленно старался втереться в доверие к ее престарелой тетке. Но как-то в воскресенье, уже под вечер, мне вздумалось пойти его проведать. Не прошло и пяти минут после моего прихода, как явилось еще трое гостей; одним из них был Том Бьюкенен. Я так

и подскочил от удивления, хотя удивительным было разве только то, что это не произошло до сих пор.

Они катались верхом и заехали потому, что захотелось выпить, — Том, некто по фамилии Слоун и красивая дама в коричневой амазонке, которая уже бывала здесь прежде.

— Очень рад вас видеть, — говорил Гэтсби, выйдя им навстречу. — Очень, очень рад, что вы заехали.

Как будто их это интересовало!

— Садитесь, пожалуйста. Сигарету? Или, может быть, сигару? — Он озабоченно расхаживал по комнате, нажимая кнопки звонков. — Сейчас принесут чего-нибудь выпить.

Его сильно взволновало, что Том здесь, у него в доме. Впрочем, он все равно не успокоился бы, если бы не угостил их, — должно быть, смутно чувствовал, что только за тем они и явились. Мистер Слоун от всего отказывался. Может быть, лимонаду? Нет, спасибо. Ну, бокал шампанского? Нет, ровно ничего, спасибо… Извините…

— Хорошо покатались?

— Дороги здесь отличные.

— Но мне кажется, автомобили…

— М-да, пожалуй…

Не в силах утерпеть, Гэтсби повернулся к Тому, который ни слова не сказал, когда их знакомили словно бы впервые.

— Мы как будто уже где-то встречались, мистер Бьюкенен?

— Да, да, конечно, — сказал Том с грубоватой вежливостью, хотя явно не вспомнил. — Ну как же. Я отлично помню.

— Недели две тому назад.

— Совершенно верно. Вы тогда были вот с ним — с Ником.

— Я знаком с вашей женой, — продолжал Гэтсби, уже почти агрессивно.

— Неужели?

Том повернулся ко мне.

— Ты, кажется, живешь где-то близко, Ник?

— Рядом.

— Неужели?

Мистер Слоун сидел, надменно развалясь в кресле, и в разговоре участия не принимал; дама тоже помалкивала, но после второй порции виски с содовой вдруг мило заулыбалась.

— Мы все приедем на ваш следующий журфикс, мистер Гэтсби, — объявила она. — Не возражаете?

— Ну что вы. Буду чрезвычайно рад.

— Вы очень любезны, — скучным голосом сказал мистер Слоун. — Мы… Нам, пожалуй, пора.

— Отчего же так скоро? — запротестовал Гэтсби. Он уже овладел собой, и ему хотелось подольше побыть в обществе Тома. — Может быть… может быть, вы останетесь к ужину? Наверно, приедет кто-нибудь из Нью-Йорка.

— А давайте лучше поедем ужинать на мою виллу, — оживилась дама. — Все — и вы тоже.

Последнее относилось ко мне. Мистер Слоун поднялся с кресла.

— Едем, — сказал он, обращаясь только к ней одной.

— Нет, серьезно, — не унималась она. — Это будет очень мило. Места всем хватит.

Гэтсби вопросительно посмотрел на меня. Ему хотелось поехать, и он не замечал, что мистер Слоун уже решил этот вопрос, и решил не в его пользу.

— Я, к сожалению, вынужден отказаться, — сказал я.

— Но вы поедете, мистер Гэтсби, да? — настаивала дама.

Мистер Слоун сказал что-то, наклонясь к ее уху.

— Ничего не поздно, если мы сейчас же вы-

едем, — возразила она вслух.

— У меня нет лошади, — сказал Гэтсби. — В армии мне приходилось ездить верхом, а вот своей лошади я так и не завел. Но я могу поехать на машине следом за вами. Я через минуту буду готов.

Мы четверо вышли на крыльцо, и Слоун с дамой сердито заспорили, отойдя в сторону.

— Господи, он, кажется, всерьез собрался к ней ехать, — сказал мне Том. — Не понимает, что ли, что он ей вовсе ни к чему.

— Но она его приглашала.

— У нее будут гости, все чужие для него люди. — Он нахмурил брови: — Интересно, где этот тип мог познакомиться с Дэзи? Черт дери, может, у меня старомодные взгляды, но мне не нравится, что женщины теперь ездят куда попало, якшаются со всякими сомнительными личностями.

Я вдруг увидел, что мистер Слоун и дама сходят вниз и садятся на лошадей.

— Едем, — сказал мистер Слоун Тому. — Мы и так уже слишком задержались. — И добавил, обращаясь ко мне: — Вы ему, пожалуйста, скажите, что мы не могли ждать.

Том тряхнул мою руку, его спутники ограничились довольно прохладным поклоном и сразу пустили лошадей рысью. Августовская листва

только что скрыла их из виду, когда на крыльцо вышел Гэтсби в шляпе и с макинтошем на руке.

Как видно, Тома все же беспокоило, что Дэзи ездит куда попало одна, — в следующую субботу он появился у Гэтсби вместе с нею. Быть может, его присутствие внесло в атмосферу вечера что-то гнетущее; мне, во всяком случае, этот вечер запомнился именно таким, непохожим на все другие вечера у Гэтсби. И люди были те же — или по крайней мере такие же, — и шампанского столько же, и та же разноцветная, разноголосая суетня вокруг, но что-то во всем этом чувствовалось неприятное, враждебное, чего я никогда не замечал раньше. А может быть, просто я успел привыкнуть к Уэст-Эггу, научился принимать его как некий самостоятельный мир со своим мерилом вещей, со своими героями, мир совершенно полноценный, поскольку он себя неполноценным не сознавал, — а теперь я вдруг взглянул на него заново, глазами Дэзи. Всегда очень тягостно новыми глазами увидеть то, с чем успел так или иначе сжиться.

Том и Дэзи приехали, когда уже смеркалось; мы все вместе бродили в пестрой толпе гостей, и Дэзи время от времени издавала горлом какие-то переливчатые, воркующие звуки.

— Я просто сама не своя, до чего мне все это нравится, — нашептывала она. — Ник, если тебе среди вечера захочется меня поцеловать, ты только намекни, и я это с превеликим удовольствием устрою. Просто назови меня по имени. Или предъяви зеленую карточку. Я даю зеленые карточки тем, кому…

— Смотрите по сторонам, — посоветовал Гэтсби.

— Я смотрю. Я просто в восторге от…

— Вероятно, вы многих узнаете — это люди, пользующиеся известностью.

Нагловатый взгляд Тома блуждал по толпе.

— А я как раз подумал, что не вижу здесь ни одного знакомого лица, — сказал он. — Мы, знаете ли, мало где бываем.

— Не может быть, чтобы вам была незнакома эта дама. — Та, на кого указывал Гэтсби, красавица, больше похожая на орхидею, чем на женщину, восседала величественно под старой сливой.

Том и Дэзи остановились, поддавшись странному чувству неправдоподобности, которое всегда испытываешь, когда в живом человеке узнаешь бесплотную кинозвезду.

— Как она хороша! — сказала Дэзи.

— Мужчина, который к ней наклонился, — ее

режиссер.

Он водил их от одной группы к другой, церемонно представляя:

— Миссис Бьюкенен… и мистер Бьюкенен… — После минутного колебания он добавил: — Чемпион поло.

— С чего вы взяли? — запротестовал Том. — Никогда не был.

Но Гэтсби, видно, понравилось, как это звучит, и Том так и остался на весь вечер «чемпионом поло».

— Ни разу в жизни не видела столько знаменитостей сразу, — воскликнула Дэзи. — Мне очень понравился этот, — как его? — у которого еще такой сизый нос.

Гэтсби назвал фамилию, добавив, что это директор небольшого киноконцерна.

— Все равно, он мне понравился.

— Я бы предпочел не быть чемпионом поло, — скромно сказал Том. — Я бы лучше любовался всеми этими знаменитостями, так сказать, оставаясь в тени.

Дэзи пошла танцевать с Гэтсби. Помню, меня удивило изящество его плавного, чуть старомодного фокстрота — он никогда раньше при мне не танцевал. Потом они потихоньку перебрались

на мой участок и с полчаса сидели вдвоем на ступеньках крыльца, а я в это время, по просьбе Дэзи, сторожил в саду. «А то вдруг пожар или потоп, — сказала она в пояснение. — Или еще какая-нибудь божья кара».

Том вынырнул из тени, когда мы втроем садились ужинать.

— Не возражаете, если я поужинаю вон за тем столом? — сказал он. — Там один тип рассказывает очень смешные анекдоты.

— Пожалуйста, милый, — весело ответила Дэзи. — И вот тебе мой золотой карандашик, вдруг понадобится записать чей-нибудь адрес.

Минуту спустя она посмотрела туда, где он сел, и сказала мне:

— Ну что ж — вульгарная, но хорошенькая. — И я понял, что если не считать того получаса у меня на крыльце, не таким уж радостным был для нее этот вечер.

Мы сидели за столом, где подобралась особенно пьяная компания. Это вышло по моей вине — Гэтсби как раз позвали к телефону, и я подсел к людям, с которыми мне было очень весело на позапрошлой неделе. Но то, что тогда казалось забавным, сейчас словно отравляло воздух.

— Ну, как вы себя чувствуете, мисс Бедекер?

Поименованная девица безуспешно пыталась вздремнуть у меня на плече. Услышав вопрос, она выпрямилась и раскрыла глаза.

— Чего-о?

За нее вступилась рыхлая толстуха, только что настойчиво зазывавшая Дэзи на партию гольфа в местный клуб.

— Ей уже лучше. Она всегда как выпьет пять-шесть коктейлей, так сейчас же начинает громко выть. Сколько раз я ей втолковывала, что ей на спиртное и смотреть нельзя.

— А я и не смотрю, — вяло оправдывалась обвиняемая.

— Мы услышали вой, и я сразу сказала доку Сивету: «Ну, док, тут требуется ваша помощь».

— Она вам, наверно, признательна за заботу, — вмешалась третья дама не слишком ласково, — но только вы ей все платье измочили, когда окунали ее головой в воду.

— Терпеть не могу, когда меня окунают головой в воду, — пробурчала мисс Бедекер. — В Нью-Джерси меня раз чуть не утопили.

— Тем более, значит, не надо вам пить, — подал реплику доктор Сивет.

— А вы за собой смотрите! — завопила мисс Бедекер с внезапной яростью. — У вас вон руки

трясутся. Ни за что бы не согласилась лечь к вам на операцию!

И дальше все в том же роде. Помню, уже под конец вечера мы с Дэзи стояли и смотрели издали на кинорежиссера и его звезду. Они все сидели под старой сливой, и лица их были уже почти рядом, разделенные только узеньким просветом, в котором голубела луна. Мне пришло в голову, что он целый вечер клонился и клонился к ней, понемногу сокращая этот просвет, и только я это подумал, как просвета не стало и его губы прижались к ее щеке.

— Она мне нравится, — сказала Дэзи. — Она очень хороша.

Но все остальное ее шокировало — и тут нельзя было спорить, потому что это была не поза, а искреннее чувство. Ее пугал Уэст-Эгг, это ни на что не похожее детище оплодотворенной Бродвеем лонг-айлендской рыбачьей деревушки, — пугала его первобытная сила, бурлившая под покровом обветшалых эвфемизмов, и тот чересчур навязчивый рок, что гнал его обитателей кратчайшим путем из небытия в небытие. Ей чудилось что-то грозное в самой его простоте, которую она не в силах была понять.

Я сидел вместе с ними на мраморных ступенях,

дожидаясь, когда подойдет их машина. Здесь, перед домом, было темно; только из двери падал прямоугольник яркого света, прорезая мягкую предутреннюю черноту. Порой на спущенной шторе гардеробной мелькала чья-то тень, за ней другая — целая процессия теней, пудрившихся и красивших губы перед невидимым зеркалом.

— А вообще, кто он такой, этот Гэтсби? — неожиданно спросил Том. — Наверно, крупный бутлегер?

— Это кто тебе сказал? — нахмурился я.

— Никто не сказал. Я сам так решил. Ты же знаешь, почти все эти новоявленные богачи — крупные бутлегеры.

— Гэтсби не из них, — коротко ответил я.

Он с минуту молчал. Слышно было, как у него под ногой хрустит гравий.

— Должно быть, ему немало пришлось потрудиться, чтобы собрать у себя такой зверинец.

Подул ветерок, серым облачком распушил меховой воротник Дэзи.

— Во всяком случае, эти люди интереснее тех, которые бывают у нас, — с некоторым усилием возразила она.

— Что-то я не заметил, чтобы тебе было так уж интересно с ними.

— Плохо смотрел.

Том засмеялся и повернулся ко мне:

— Ты видел, какое лицо сделалось у Дэзи, когда та рыжая девица попросила отвести ее под холодный душ?

Дэзи стала подпевать музыке хрипловатым ритмичным полушепотом, вкладывая в каждое слово смысл, которого в нем не было раньше и не оставалось потом. Когда мелодия шла вверх, голос, следуя за ней, мягко сбивался на речитатив, как это часто бывает с грудным контральто, и при каждом таком переходе кругом словно разливалось немножко волшебного живого тепла.

— Очень многие являются без приглашения, — сказала вдруг Дэзи. — Вот и эта девица так явилась. Врываются чуть не силой, а он из деликатности молчит.

— Все-таки любопытно, кто он и чем занимается, — не унимался Том. — Я за это возьмусь и выясню.

— А я тебе и так могу сказать, — ответила Дэзи. — У него свои аптеки, целая сеть аптек в разных городах. Он сам ее создал.

Из-за поворота аллеи показался наконец запоздавший автомобиль.

— Спокойной ночи, Ник, — сказала Дэзи, вста-

вая.

Ее взгляд скользнул мимо меня выше, к свету, к распахнутой двери, из которой неслись звуки простенького, грустного вальса «В три часа утра» — модной новинки года. Как бы там ни было, а в самой пестроте этого случайного сборища таились романтические возможности, которых начисто был лишен ее упорядоченный мир. Чем так притягивала ее эта песенка, почему так не хотелось от нее уезжать? Что еще могло случиться здесь в мглистый, тревожный час наступающего утра? Вдруг появится новый нежданный гость или гостья, какое-нибудь залетное чудо, привлекающее все взоры, девушка в полном блеске нетронутой юности, — и один свежий взгляд, брошенный на Гэтсби, одно завораживающее мгновение сведет на нет пять лет непоколебимой верности.

Я на этот раз задержался очень поздно. Гэтсби просил меня подождать, когда он освободится, и я в одиночестве слонялся по саду, пока не прибежали с пляжа иззябшие, шумные любители ночного купания, пока не погас свет во всех комнатах для гостей наверху. Когда наконец Гэтсби спустился ко мне в сад, его лицо под темным загаром казалось осунувшимся, усталые глаза беспокойно

блестели.

— Ей не понравилось, — сразу же сказал он.

— Что вы, напротив.

— Нет, не понравилось. Ей было скучно.

Он замолчал, но и без слов было ясно, как он подавлен.

— Она как будто далеко-далеко от меня, — сказал он. — Я не могу заставить ее понять.

— Вы о бале?

— О бале? — Одним щелчком пальцев он смахнул со счетов все когда-либо данные им балы. — При чем тут бал, старина?

Ему хотелось, чтобы Дэзи ни больше ни меньше, как пришла к Тому и сказала: «Я тебя не люблю и никогда не любила». А уж после того, как она перечеркнет этой фразой четыре последних года, можно будет перейти к более практическим делам. Так, например, как только она формально получит свободу, они уедут в Луисвилл и отпразднуют свадьбу в ее родном доме, — словно бы пять лет назад.

— А она не понимает, — сказал он. — Раньше она все умела понять. Мы, бывало, часами сидим и…

Он не договорил и принялся шагать взад и вперед по пустынной дорожке, усеянной апель-

синными корками, смятыми бумажками и увядшими цветами.

— Вы слишком многого от нее хотите, — рискнул я заметить. — Нельзя вернуть прошлое.

— Нельзя вернуть прошлое? — недоверчиво воскликнул он. — Почему нельзя? Можно!

Он тревожно оглянулся по сторонам, как будто прошлое пряталось где-то здесь, в тени его дома, и чтобы его вернуть, достаточно было протянуть руку.

— Я устрою так, что все будет в точности, как было, — сказал он и решительно мотнул головой. — Она сама увидит.

Он пустился в воспоминания, и я почувствовал, как он напряженно ищет в них что-то, может быть, какой-то образ себя самого, целиком растворившийся в любви к Дэзи. Вся его жизнь пошла потом вкривь и вкось, но если бы вернуться к самому началу и медленно, шаг за шагом, снова пройти весь путь, может быть, удалось бы найти утраченное…

…Однажды вечером, пять лет тому назад, — была осень, падали листья, — они бродили по городу вдвоем и вышли на улицу, где деревьев не было и тротуар белел в лунном свете. Они остановились, повернувшись лицом друг к другу.

Вечер был прохладный, полный того таинственного беспокойства, которое всегда чувствуется на переломе года. Освещенные окна как будто с тихим гулом выступали из сумрака, на небе среди звезд шла какая-то суета. Краешком глаза Гэтсби увидел, что плиты тротуара вовсе не плиты, а перекладины лестницы, ведущей в тайник над верхушками деревьев, — он может взобраться туда по этой лестнице, если будет взбираться один, и там, приникнув к сосцам самой жизни, глотнуть ее чудотворного молока.

Белое лицо Дэзи придвигалось все ближе, а сердце у него билось все сильней. Он знал: стоит ему поцеловать эту девушку, слить с ее тленным дыханием свои не умещающиеся в словах мечты, — и прощай навсегда божественная свобода полета мысли. И он медлил, еще прислушиваясь к звучанию камертона, задевшего звезду. Потом он поцеловал ее. От прикосновения его губ она расцвела для него как цветок, и воплощение совершилось.

В его рассказе, даже в чудовищной сентиментальности всего этого, мелькало что-то неуловимо знакомое — обрывок ускользающего ритма, отдельные слова, которые я будто уже когда-то слышал. Раз у меня совсем было сложилась сама

собой целая фраза, даже губы зашевелились, как у немого в попытке произнести какие-то внятные звуки. Но звуков не получилось, и то, что я уже почти припомнил, осталось забытым навсегда.

Глава VII

В то самое время, когда общее любопытство, вызванное личностью Гэтсби, достигло предела, в доме его однажды в субботний вечер не засияли огни, — и на том кончилась его карьера Тримальхиона, так же загадочно, как и началась. Я заметил, хоть и не сразу, что машины, бодро сворачивающие в подъездную аллею, минуту спустя разочарованно выезжают обратно. Уж не заболел ли он, подумал я, и пошел узнать. Незнакомый лакей с разбойничьей физиономией подозрительно уставился на меня с порога.

— Что, мистер Гэтсби болен?

— Нет. — Подумав, он неохотно добавил: — Сэр.

— Его нигде не видно, и я забеспокоился. Передайте, что заходил мистер Каррауэй.

— Кто? — грубо переспросил он.

— Каррауэй.

— Каррауэй. Ладно, передам.

И дверь захлопнулась у меня перед носом.

От моей финки я узнал, что неделю назад Гэтсби рассчитал всех своих слуг и завел новых, которые в поселок не ходят и взяток у торговцев не берут,

а заказывают провизию по телефону, причем в умеренных количествах. По свидетельству рассыльного из бакалейной лавки, кухня в доме стала похожа на свинарник и в поселке успело сложиться твердое мнение, что новые слуги вообще не слуги.

На следующий день Гэтсби позвонил мне по телефону.

— Уезжать собираетесь? — спросил я.

— Нет, а почему?

— Говорят, вы отпустили всю прислугу.

— Мне нужна такая, которая не станет сплетничать, старина. Дэзи теперь часто приезжает — по вечерам.

Итак, весь караван-сарай развалился, как карточный домик, от ее неодобрительного взгляда.

— Эти люди — знакомые Вулфшима, он просил их куда-нибудь пристроить, вот я их и взял. Они все из одной семьи, братья и сестры. Когда-то содержали небольшой отель.

— Понятно.

Выяснилось, что звонит он по поручению Дэзи — она хочет, чтобы я на следующий день приехал к ней завтракать. Мисс Бейкер тоже будет. Полчаса спустя позвонила сама Дэзи и так явно обрадовалась моему согласию, что я почувство-

вал: это неспроста. И все же мне не верилось; неужели они собираются устроить сцену — и притом довольно тяжелую сцену, если все будет так, как Гэтсби рисовал мне той ночью в саду.

День выдался — настоящее пекло, один из последних дней лета и, наверное, самый жаркий. Когда мой поезд вынырнул из туннеля на солнечный свет, лишь горячие гудки «Нэшнл бискуит компани» прорезывали раскаленную тишину полдня. Соломенные вагонные сиденья только что не дымились; моя соседка долго и терпеливо потела в своей белой блузке, но наконец, опустив влажную от рук газету, со стоном отчаяния откинулась назад, в духоту. При этом ее сумочка шлепнулась на пол.

— Ах ты господи! — вскрикнула она.

Я с трудом наклонился, подобрал сумочку и протянул ее владелице, держа за самый краешек и как можно дальше от себя, в знак того, что не намерен на нее покушаться; но все кругом, в том числе и владелица сумочки, все равно заподозрили во мне вора.

— Жарко! — повторял контролер при виде каждого знакомого лица. — Ну и денек!.. Жарко!.. Жарко!.. Жарко!.. Вам не жарко? А вам жарко? А вам…

На моем сезонном билете осталось от его пальца темное пятно. В такой зной станешь ли разбирать, чьи пылающие губы целуешь, под чьей головкой мокнет карман пижамы на левой стороне груди, над сердцем?

…Когда мы с Гэтсби дожидались у двери бьюкененовского дома, легкий ветер донес из холла трель телефонного звонка.

— Подать труп хозяина? — зарычал в трубку лакей. — Сожалею, сударыня, но это никак невозможно. В такую жару к нему не прикоснешься.

На самом деле он говорил вот что:

— Да… Да… Сейчас узнаю.

Он положил трубку и поспешил к нам навстречу, чтобы взять наши канотье. Лицо его слегка лоснилось.

— Миссис Бьюкенен ожидает вас в гостиной, — сказал он, указывая дорогу, что, кстати, вовсе не требовалось. В такую жару каждое лишнее движение было посягательством на общий запас жизненных сил.

В гостиной благодаря полотняным тентам над окнами было полутемно и прохладно. Дэзи и Джордан лежали на исполинской тахте, точно два серебряных идола, придерживая свои белые платья, чтобы их не вздувало ветерком от жуж-

жащих вентиляторов.

— Невозможно шевельнуться! — воскликнули они в один голос.

Пальцы Джордан в белой пудре поверх загара на секунду задержались в моей руке.

— А где же мистер Томас Бьюкенен, прославленный спортсмен? — спросил я.

И тотчас же у телефона в холле хрипловато и глухо зазвучал голос Тома.

Стоя на темно-алом ковре посреди гостиной, Гэтсби как завороженный озирался по сторонам. Дэзи посмотрела на него и засмеялась своим мелодичным, волнующим смехом; крохотное облачко пудры взлетело с ее груди.

— Есть слух, что Том сейчас разговаривает со своей дамой, — шепнула мне Джордан.

Мы все примолкли. Голос в холле стал громче, в нем послышалось раздражение.

— Ах вот что, ну тогда я вообще не стану продавать вам эту машину… У меня вообще нет никаких обязательств перед вами… Это вообще безобразие — звонить и надоедать в час, когда люди сидят за столом…

— А трубку прикрыл рукой, — сказала Дэзи с презрительной усмешкой.

— Напрасно ты думаешь, — возразил я. — Он

действительно собирается продать машину. Я случайно знаю об этой сделке.

Дверь распахнулась, Том на миг загородил весь проем своей массивной фигурой, затем стремительно шагнул в комнату.

— Мистер Гэтсби! — С хорошо скрытой неприязнью он протянул широкую, плоскую руку: — Рад вас видеть, сэр… Ник…

— Приготовь нам выпить чего-нибудь холодненького, — громко попросила Дэзи.

Как только он вышел из комнаты, она встала, подошла к Гэтсби и, притянув его к себе, поцеловала в губы.

— Я люблю тебя, ты же знаешь, — прошептала она.

— Ты, кажется, забыла, что здесь еще кто-то есть, — сказала Джордан.

Дэзи недоверчиво оглянулась.

— А ты целуй Ника.

— Фу, бесстыдница!

— Ну и пусть! — выкрикнула Дэзи и, вскочив на кирпичную приступку перед камином, застучала по ней каблуками. Но сразу вспомнила про жару и с виноватым видом вернулась на свое место на тахте. Не успела она сесть, как в гостиную вошла накрахмаленная нянька, ведя за руку маленькую

девочку.

— У, ты, моя радость, — заворковала Дэзи, широко раскрывая объятия. — Иди скорей к мамочке, мамочка тебя так любит.

Девочка, почувствовав, что нянька отпустила ее руку, перебежала через всю комнату и застенчиво укрылась в складках материнского платья.

— У, ты, мое сокровище! Мама не запачкала пудрой твои желтенькие волосики? Ну-ка, стань ровненько и поздоровайся с гостями.

Мы с Гэтсби по очереди нагнулись и пожали неохотно протянутую ручку. И все время, пока девочка была в комнате, Гэтсби не сводил с нее изумленного взгляда. Кажется, он только сейчас поверил в ее существование.

— Я еще не завтракала, а уже в платьице, — сказала малышка, сразу же повернувшись к Дэзи.

— Это потому, что мама хотела показать тебя во всей красе. — Она прижалась лицом к единственной складочке, перерезавшей круглую шейку. — Ты же мое чудо! Самое настоящее маленькое чудо!

— Да, — невозмутимо согласилась малышка. — А у тети Джордан тоже белое платьице.

— Тебе нравятся мамины друзья? — Дэзи повернула девочку лицом к Гэтсби. — Посмотри, они

красивые?

— А папа где?

— Она совершенно не похожа на отца, — сказала нам Дэзи. — Она вся в меня. Мои волосы, мой овал лица.

Она откинулась на валик тахты. Нянька подошла и протянула руку.

— Пойдем, Пэмми.

— До свидания, моя радость.

С сожалением оглянувшись назад, хорошо вымуштрованное дитя взялось за протянутую руку и было уведено в ту самую минуту, когда в гостиной опять появился Том, а за ним — четыре высоких бокала, в которых позвякивал лед.

Гэтсби взял бокал.

— Выглядит освежающе, — с натугой выговорил он.

Мы стали пить долгими жадными глотками.

— Я где-то читал, что Солнце с каждым годом становится горячее, — сообщил Том весело. — И вроде бы Земля скоро упадет на Солнце — или нет, погодите, — как раз наоборот! — Солнце с каждым годом остывает.

— Давайте выйдем, — минуту спустя предложил он Гэтсби. — Я хочу показать вам сад и все угодья.

Я вышел на веранду вместе с ними. Зеленая вода пролива от жары казалась стоячей; одинокий маленький парус полз по ней к прохладе открытого моря. Гэтсби с минуту следил за ним глазами, потом махнул рукой, указывая на другую сторону бухты:

— Мой дом там, как раз напротив.

— Да, верно.

Мы смотрели вдаль, поверх розовых кустов, разогретого газона и выжженной зноем травы на берегу. Белое крыло парусника медленно двигалось к небу, отчеркнутому синей прохладной чертой. Где-то там, в иззубренном берегами океане, было множество благодатных островов.

— Вот это спорт, — тряхнув головой, сказал Том. — Я бы не отказался сегодня поплавать на этой штуке час-другой.

Завтракали в столовой, тоже затененной от солнца, запивая холодным пивом искусственное веселье.

— А куда нам девать себя вечером? — воскликнула Дэзи. — И завтра, и послезавтра, и в ближайшие тридцать лет?

— Пожалуйста, не впадай в меланхолию, — сказала Джордан. — С первым осенним холодком жизнь начнется сначала.

— Да, но сейчас так жарко, — настаивала Дэзи чуть не со слезами. — И все как в тумане. Знаете что, давайте поедем в город!

Ее голос боролся с жарой, сопротивляясь ей, пытаясь обуздать ее нелепость.

— Случается, что в конюшне устраивают гараж, — говорил Том, обращаясь к Гэтсби. — Но я первый устроил в гараже конюшню.

— Кто хочет ехать в город? — не унималась Дэзи. Гэтсби потянулся к ней взглядом. — Ах! — воскликнула она. — Вам словно бы совсем прохладно.

Их взгляды встретились и остановились, не отпуская друг друга. Они были одни во вселенной. Потом Дэзи заставила себя отвести глаза.

— Вам всегда прохладно, — сказала она.

Она говорила ему о своей любви, и Том вдруг понял. Он замер, ошеломленный. Рот его приоткрылся, он посмотрел на Гэтсби, потом снова на Дэзи, как будто только сейчас узнал в ней какую-то очень давнюю знакомую.

— Вы похожи на джентльмена с рекламной картинки, — продолжала Дэзи невинным тоном. — Знаете, бывают такие рекламные картинки…

— Ладно, — перебил ее Том. — В город так в город, не возражаю. Собирайтесь все — мы едем

в город.

Он встал, еще бросая грозные взгляды то на жену, то на Гэтсби. Никто не пошевелился.

— Ну что же вы? — Он еле сдерживался. — В чем дело? Ехать так ехать.

Рукой, дрожавшей от усилий, которые он над собой делал, он опрокинул в рот остатки пива из стакана. Голос Дэзи поднял нас всех из-за стола и вывел на пышущую жаром аллею.

— А почему так сразу? — запротестовала она. — Что за спешка? Почему нельзя спокойно выкурить сигарету?

— Все курили за завтраком.

— Не порть людям удовольствие, — упрашивала она. — В такую жару немыслимо торопиться.

Он не ответил.

— Ну, как хочешь, — сказала она. — Идем, Джордан.

Дамы пошли наверх, привести себя в порядок, а мы все трое стояли, переминаясь с ноги на ногу на горячей гальке, Гэтсби кашлянул, собираясь что-то сказать, потом передумал, но Том уже успел повернуться и выжидательно смотрел ему в лицо.

— Ваша конюшня близко? — с деланной непринужденностью спросил Гэтсби.

— С четверть мили отсюда по шоссе.

— А-а!

Пауза.

— Дурацкая, в общем, затея — ехать в город, — взорвался Том. — Только женщине может прийти в голову такое…

— Прихватим с собой чего-нибудь выпить? — крикнула Дэзи сверху, из окна.

— Я возьму виски, — ответил Том и пошел в комнаты.

Гэтсби сумрачно повернулся ко мне:

— Не могу я разговаривать в этом доме, старина.

— У Дэзи нескромный голос, — заметил я. — В нем звенит… — Я запнулся.

— В нем звенят деньги, — неожиданно сказал он.

Ну конечно же. Как я не понял раньше. Деньги звенели в этом голосе — вот что так пленяло в его бесконечных переливах, звон металла, победная песнь кимвалов… Во дворце высоком, беломраморном, королевна, дева золотая…

Том вышел из дома, на ходу завертывая в полотенце большую бутылку. За ним шли Дэзи и Джордан в маленьких парчовых шапочках, с легкими накидками на руке.

— Мы можем ехать все в моей машине, — предложил Гэтсби. Он пощупал горячую кожу сиденья. — Надо было мне отвести ее в тень.

— У вас переключение скоростей обычное? — спросил Том.

— Да.

— Тогда знаете что, берите вы мой «фордик», а я поведу вашу машину.

Гэтсби это предложение не понравилось.

— Боюсь, бензину у меня маловато.

— Хватит, чего там, — развязно воскликнул Том. Он взглянул на бензомер. — А не хватит, можно по дороге заехать в аптеку. Теперь в аптеках чего только не достанешь.

За этим словно бы безобидным замечанием последовала пауза. Дэзи посмотрела на Тома, сдвинув брови, а у Гэтсби прошла по лицу неуловимая тень, на миг придав ему непривычное и в то же время чем-то странно знакомое выражение — знакомое словно бы понаслышке.

— Садись, Дэзи, — сказал Том, подталкивая жену к машине Гэтсби. — Прокачу тебя в этом цирковом фургоне.

Он отворил дверцу, но Дэзи вывернулась из-под его руки.

— Ты бери Ника и Джордан. А мы поедем сле-

дом на «фордике».

Она подошла к Гэтсби и положила руку на его локоть. Джордан, Том и я уселись на переднем сиденье машины Гэтсби, Том тронул один рычаг, другой — и мы понеслись, разрезая горячий воздух, оставив их далеко позади.

— Видали? — спросил Том.

— Что именно?

Он пристально посмотрел на меня — должно быть, сообразил, что мы с Джордан давно уже знаем.

— Вы, наверно, меня круглым дураком считаете, — сказал он. — Пусть так, а все-таки у меня иногда появляется… ну, второе зрение, что ли, и оно мне подсказывает, как поступить. Может, вы и не верите в такие вещи, но наука…

Он запнулся. Непосредственная действительность напомнила о себе, не дав ему свалиться в бездну отвлеченных умствований.

— Я навел кое-какие справки об этом субъекте, — заговорил он снова. — Можно было копнуть и глубже, если б знать…

— Уж не ходил ли ты к гадалке? — ехидно спросила Джордан.

— Что? — Он вытаращил глаза, озадаченный нашим дружным смехом. — К гадалке?

— Да, насчет Гэтсби.

— Насчет Гэтсби? Нет, зачем. Я же сказал: я навел кое-какие справки о его прошлом.

— И выяснилось, что он учился в Оксфорде, — услужливо подсказала Джордан.

— В Оксфорде! Черта с два! — Он передернул плечами. — Человек, который ходит в розовом костюме!..

— И тем не менее.

— Оксфорд, который в штате Нью-Мексико, — пренебрежительно фыркнул Том. — Или еще где-то.

— Слушай, Том, если ты такой сноб, зачем было приглашать его в гости? — сердито спросила Джордан.

— Дэзи его пригласила; она с ним была знакома еще до замужества, — бог весть, где это ее угораздило!

От выветривавшихся пивных паров всем хотелось злиться, и некоторое время мы ехали молча. Но вот впереди показались выцветшие глаза доктора Т. Дж. Эклберга, и я вспомнил предупреждение Гэтсби насчет бензина.

— Ерунда, до города дотянем, — сказал Том.

— Зачем же, когда вот рядом гараж, — возразила Джордан. — Совсем невесело застрять

где-нибудь на дороге в такое пекло.

Том с досадой затормозил, мы въехали на пыльный пятачок перед вывеской Джорджа Уилсона и круто остановились. Минуту спустя сам хозяин показался в дверях своего заведения и уставился пустым взглядом на нашу машину.

— Нельзя ли поживей? — грубо крикнул Том. — Мы приехали заправиться, а не любоваться пейзажем.

— Я болен, — сказал Уилсон, не трогаясь с места. — Я сегодня с самого утра болен.

— А что с вами?

— Слабость какая-то во всем теле.

— Что же, мне самому браться за шланг? — спросил Том. — По телефону голос у вас был вполне здоровый.

Уилсон переступил порог — видно было, что ему трудно расстаться с тенью и с опорой, — и, тяжело дыша, стал отвинчивать крышку бензобака. На солнце лицо у него было совсем зеленое.

— Я не думал, что помешаю вам завтракать, — сказал он. — Мне сейчас очень нужны деньги, и я хотел знать, что вы решили насчет той машины.

— А моя новая машина вам нравится? — спросил Том. — Я ее купил на прошлой неделе.

— Эта желтая? Хороша, — сказал Уилсон, нале-

гая на рукоять.

— Хотите, продам?

— Вы все шутите. — Уилсон криво усмехнулся: — Нет уж, вы мне лучше продайте старую, я и на ней сумею заработать.

— А на что это вам так спешно понадобились деньги?

— Хочу уехать. Слишком я зажился в этих местах. Мы с женой хотим перебраться на Запад.

— Ваша жена хочет уехать? — в изумлении воскликнул Том.

— Десять лет она только о том и говорила. — Он на миг прислонился к колонке, ладонью прикрыв глаза от солнца. — А теперь, хочет не хочет, все равно уедет. Я ее отсюда увезу.

Мимо в облаке пыли промчался «фордик», чья-то рука помахала на ходу.

— Сколько с меня? — отрывисто спросил Том.

— Дошло тут до моих ушей кое-что неладное, — продолжал Уилсон. — Потому-то я и решил уехать. Потому и насчет машины вам докучал.

— Сколько с меня?

— Доллар двадцать центов.

От несокрушимого напора жары у меня мутилось в голове, и прошло несколько неприятных секунд, прежде чем я сообразил, что подозрения

Уилсона пока еще никак не связаны с Томом. Просто он обнаружил, что у Миртл есть другая, отдельная жизнь в чужом и далеком ему мире, и от этого ему стало физически нехорошо. Я посмотрел на него, затем на Тома — ведь часу не прошло, как Том сделал совершенно такое же открытие, — и мне пришло в голову, что никакие расовые или духовные различия между людьми не могут сравниться с той разницей, которая существует между больным человеком и здоровым. Уилсон был болен, и от этого у него был такой непоправимо виноватый вид, как будто он только что обесчестил беззащитную девушку.

— Хорошо, машину я вам продам, — сказал Том. — Завтра днем она будет у вас.

Всегда для меня в этой местности было что-то безотчетно зловещее, даже при ярком солнечном свете. Вот и сейчас я невольно оглянулся, словно чуя какую-то опасность за спиной. Гигантские глаза доктора Т. Дж. Эклберга бдительно несли свою вахту над горами шлака, но я скоро заметил, что за нами напряженно следят другие глаза, и гораздо ближе.

В одном из окон над гаражом занавеска была чуть сдвинута в сторону, и оттуда на нашу машину глядела Миртл Уилсон. Она вся ушла в этот

взгляд, не замечая, что за ней наблюдают; разнообразные оттенки чувств постепенно проступали на ее лице, как предметы на проявляемой фотографии. Мне и раньше приходилось подмечать на женских лицах подобное выражение, но на этот раз что-то в нем было несообразное, непонятное для меня, — пока я не догадался, что расширенные ревнивым ужасом глаза Миртл устремлены не на Тома, а на Джордан Бейкер, которую она приняла за его жену.

Нет смятения более опустошительного, чем смятение неглубокой души. Том вел машину, словно подхлестываемый обжигающим бичом паники. Еще час назад его жена и его любовница принадлежали ему прочно и нерушимо, а теперь они обе быстрее быстрого ускользали из его рук. И он все сильней нажимал на акселератор, инстинктивно стремясь к двойной цели: догнать Дэзи и уйти от Уилсона. Мы мчались к Астории со скоростью пятьдесят миль в час, пока впереди, в стальной паутине ферм надземки, не замаячил неторопливо катящий синий «фордик».

— В районе Пятидесятой улицы есть большое кино, где довольно прохладно, — сказала Джордан. — Люблю Нью-Йорк летом, во второй половине дня, когда он совсем пустой. В нем тогда

есть что-то чувственное, перезрелое, как будто стоит подставить руки — и в них начнут валиться диковинные плоды.

Слово «чувственный» разбередило тревогу Тома, но прежде чем он успел придумать возражение, «фордик» остановился, и Дэзи замахала рукой, подзывая нас.

— Теперь куда? — спросила она.

— В кино, может быть?

— Ох, в такую жару, — жалобно протянула она. — Вы ступайте, если хотите, а мы покатаемся и приедем за вами к концу сеанса. — Она сделала слабую попытку пошутить: — Назначим свидание на перекрестке. Я буду мужчина с двумя сигаретами во рту.

— Здесь не место спорить, — раздраженно сказал Том, услышав негодующее рявканье грузовика, которому мы загородили путь. — Поезжайте за мной к южному въезду в Центральный парк, тому, что напротив отеля «Плаза».

По дороге он то и дело оглядывался, чтобы посмотреть, едут ли они следом, и, если им случалось застрять среди потока машин, он сбавлял скорость и ждал, когда «фордик» покажется снова. Казалось, он боится, что они вдруг нырнут в боковую улицу и навсегда скроются из виду — и

из его жизни.

Но этого не случилось. И мы все сообща приняли трудно объяснимое решение — снять на вечер гостиную номера-люкс в «Плазе».

Подробности долгого и шумного спора, в результате которого мы были загнаны в эту гостиную, стерлись у меня из памяти; хотя я отчетливо помню неприятное ощущение, которое я испытывал во время этого спора оттого, что мои трусы обвивались вокруг ног, точно влажные змеи, а по спине то и дело скатывались холодные бусинки пота. Началось с предложения Дэзи снять в отеле пять ванных и принять освежающий душ; затем разговор пошел уже о «местечке, где можно выпить мятный коктейль со льдом». При этом раз двадцать было сказано: «Идиотская затея!» — но в конце концов, говоря все разом и перебивая друг друга, мы кое-как сговорились с обалделым портье. Нам казалось — или мы себе внушали, — что все это необыкновенно весело.

Комната была большая и душная, и хотя шел уже пятый час, в окна, когда их распахнули, повеяло только сухостью накалившейся зелени парка. Дэзи подошла к зеркалу и, стоя ко всем спиной, стала поправлять прическу.

— Роскошный апартамент, — благоговейным

шепотом произнесла Джордан. Все расхохотались.

— Отворите еще окно, — не оглядываясь, распорядилась Дэзи.

— А больше нет.

— Ну, тогда придется позвонить, чтобы принесли топор…

— Прежде всего — довольно разговоров о жаре, — сердито сказал Том. — А то долбишь все время: жара, жара — от этого только в сто раз хуже.

Он развернул полотенце и поставил на стол свою бутылку виски.

— Что вы к ней придираетесь, старина? — сказал Гэтсби. — Вы ведь сами захотели ехать в город.

Наступила тишина. Вдруг толстый телефонный справочник сорвался с гвоздя и шлепнулся на пол. Джордан сказала шепотом: «Извините, пожалуйста», — но на этот раз никто не засмеялся.

— Я сейчас подниму, — сказал я.

— Не надо, я сам. — Гэтсби долго рассматривал лопнувший шнурок, потом с интересом хмыкнул и бросил справочник на стул.

— А без этого своего словца вы никак не можете? — резко спросил Том.

— Какого словца?

— Да вот — «старина». Где только вы его откопали?

— Слушай, Том, — сказала Дэзи, отходя от зеркала. — Если ты будешь говорить людям дерзости, я здесь ни минуты не останусь. Позвони лучше, чтобы принесли лед для коктейля.

Том снял трубку, но в эту минуту сжатый стенами зной взорвался потоками звуков — из бальной залы внизу донеслись торжественные аккорды мендельсоновского свадебного марша.

— Нет, вы подумайте — выходить замуж в такую жару! — трагически воскликнула Джордан.

— А что — я сама выходила замуж в середине июня, — вспомнила Дэзи. — Луисвилл в июне! Кто-то даже упал в обморок. Кто это был, Том?

— Билокси, — коротко ответил Том.

— Да, да, его звали Билокси. Блокс Билокси — и он занимался боксом, честное слово, и родом был из Билокси, штат Теннесси.

— Его тогда отнесли к нам в дом, — подхватила Джордан, — потому что мы жили в двух шагах от церкви. И он у нас проторчал целых три недели, в конце концов папе попросту пришлось его выставить. А назавтра после этого папа умер. — Помолчав, она добавила: — Одно к другому не

имело отношения.

— Я знал одного Билокси — Билла Билокси, только тот был из Мемфиса, — вставил я.

— Это его двоюродный брат. За те три недели я успела изучить всю семейную историю. Он мне подарил алюминиевую клюшку для гольфа, я до сих пор ею пользуюсь.

Музыка внизу смолкла — началась брачная церемония. Потом в окна поплыл радостный гул поздравлений, крики: «Ура-а!» — и, наконец, взревел джаз, возвещая открытие свадебного бала.

— А мы стареем, — сказала Дэзи. — Были бы молоды, сразу бы пошли танцевать.

— Вспомни Билокси, — назидательно произнесла Джордан. — Где ты с ним, между прочим, познакомился, Том?

— С Билокси? — Он сосредоточенно наморщил лоб. — Я с ним вовсе не был знаком. Это приятель Дэзи.

— Ничего подобного, — возмутилась Дэзи. — Я его до свадьбы и в глаза не видела. Он вместе со всеми вами приехал из Чикаго.

— Да, но он представился как твой знакомый. Сказал, что вырос в Луисвилле. Эса Берд привел его на вокзал перед самым отходом поезда и просил найти для него местечко.

Джордан усмехнулась:

— Парень просто решил на дармовщинку проехаться в родные места. Мне он рассказывал, что был у вас президентом курса в Йеле.

Мы с Томом недоуменно воззрились друг на друга.

— Билокси?

— Начать с того, что у нас вообще не было никаких президентов курса.

Носком туфли Гэтсби отбивал на полу частую, беспокойную дробь. Том вдруг круто повернулся к нему:

— Кстати, мистер Гэтсби, вы как будто воспитанник Оксфордского университета?

— Не совсем так.

— Но вы как будто там учились?

— Да, я там учился.

Пауза. И затем — голос Тома, издевательский, полный откровенного недоверия:

— Очевидно, это было в то самое время, когда Билокси учился в Йеле.

Снова пауза. Постучавшись, вошел официант, поставил на стол поднос с толченой мятой и льдом, поблагодарил и вышел, мягко притворив за собою дверь, но все эти звуки не нарушили напряженной тишины. Я ждал: вот сейчас на-

конец разъяснится одна важная подробность биографии Гэтсби.

— Я уже сказал вам: да, я там учился.

— Слышал, но мне хотелось бы знать, когда именно.

— Это было в девятнадцатом году. Я пробыл там всего пять месяцев. Поэтому я и не могу себя считать настоящим воспитанником Оксфорда.

Том оглянулся на нас, желая убедиться, что мы разделяем его недоверие, но мы все смотрели на Гэтсби.

— После перемирия некоторые офицеры получили такую привилегию, — продолжал тот. — Нам предоставлялась возможность прослушать курс лекций в любом университете Англии или Франции.

Мне захотелось вскочить и дружески хлопнуть его по спине. Я вновь обрел свою поколебленную было веру в него, как это уже не раз бывало раньше.

Усмехаясь одними уголками губ, Дэзи встала и подошла к столу.

— Открой бутылку, Том, — приказала она, — я тебе приготовлю мятный коктейль. Тогда ты не будешь чувствовать себя таким дураком… Вот, я уже взяла мяту.

— Погоди, — огрызнулся Том. — Я хочу задать мистеру Гэтсби еще один вопрос.

— Пожалуйста, — вежливо сказал Гэтсби.

— По какому, собственно, праву вы пытаетесь устроить скандал в моей семье?

Разговор пошел в открытую — Гэтсби мог быть доволен.

— Никакого скандала он не устраивал. — Взгляд Дэзи испуганно заметался между ними обоими. — Это ты устраиваешь скандал. Умей владеть собой.

— Владеть собой? — вскинулся Том. — Это что, новая мода — молча любоваться, как мистер Невесть Кто, Невесть Откуда амурничает с твоей женой? Если так, то я для этой моды устарел… Хороши пошли порядки! Сегодня наплевать на семью и домашний очаг, а завтра пусть все вообще летит кувырком, и да здравствуют браки между белыми и неграми!

Распалясь собственной рацеей, он уже чувствовал себя одиноким бойцом на последней баррикаде цивилизации.

— Здесь, кажется, все — белые, — вполголоса заметила Джордан.

— Я, конечно, не столь популярная личность. Я не задаю балов на всю округу. Видно, в наше

время, чтобы иметь друзей, нужно устроить из собственного дома хлев.

Как я ни был зол — все мы были злы, — меня невольно разбирал смех при каждом новом выпаде Тома. Уж очень разительно было его превращение из распутника в моралиста.

— Послушайте, что я вам скажу, старина… — начал Гэтсби. Но Дэзи угадала его намерение.

— Нет, нет, не надо, — в страхе перебила она. — Знаете что, поедем домой. Давайте поедем все домой.

— А в самом деле. — Я встал. — Поехали, Том. Пить никому неохота.

— Я желаю узнать, что мне имеет сообщить мистер Гэтсби.

— Ваша жена вас не любит, — сказал Гэтсби. — Она вас никогда не любила. Она любит меня.

— Вы с ума сошли! — выкрикнул Том.

Сам не свой от волнения, Гэтсби вскочил на ноги.

— Она вас никогда не любила, слышите? — закричал он. — Она вышла за вас только потому, что я был беден и она устала ждать. Это была чудовищная ошибка, но все равно, она никогда никого не любила, кроме меня.

Мы с Джордан хотели было уйти, но Том и

Гэтсби, один настойчивее другого, требовали, чтобы мы остались, словно подчеркивая, что скрывать им нечего и что для нас редкостная удача — приобщиться к кипящим в них страстям.

— Сядь, Дэзи. — Том тщетно пытался говорить отеческим тоном. — Что, в конце концов, происходит? Я требую, чтобы мне рассказали все.

— Я вам уже сказал, что происходит, — ответил Гэтсби. — И происходит целых пять лет, а вы не знали.

Том резко повернулся к Дэзи:

— Ты целых пять лет встречалась с этим типом?

— Нет, мы не встречались, — ответил Гэтсби. — Встречаться мы не могли. Но мы все это время любили друг друга, старина, а вы не знали. Я иногда думал о том, что вы не знаете, и мне становилось смешно. — Но глаза его не смеялись.

— И это — все? — Том пасторским жестом соединил концы своих толстых пальцев и откинулся на спинку кресла. Но тут же его прорвало. — Вы сумасшедший! — крикнул он. — Не знаю, что там у вас было пять лет назад, до моего знакомства с Дэзи, хоть убей, не пойму, как это вам вообще удалось попасться ей на глаза, разве что вы доставляли в дом покупки из бакалейной лавки. Но

насчет всего прочего, так это бессовестная ложь. Дэзи и выходила за меня по любви, и сейчас меня любит.

— Нет, — сказал Гэтсби, качая головой.

— Конечно, любит. Просто она иной раз навообразит себе всякий вздор и готова наделать глупостей с досады. — Он кивнул с глубокомысленным видом. — А главное, и я ее люблю. Даже если мне и случается позволять себе маленькие шалости, в конце концов я всегда возвращаюсь к Дэзи и, в сущности, люблю только ее одну.

— Гнусный ты человек, — сказала Дэзи. — Она повернулась ко мне, голос ее стал низким и грудным, и дрожавшее в нем презрение, казалось, заполнило комнату. — Ты знаешь, Ник, почему нам пришлось уехать из Чикаго? Странно, как это он не попытался развлечь тебя рассказами об этой маленькой шалости.

Гэтсби подошел и стал рядом с нею.

— Забудь все это, Дэзи, — сказал он решительно. — Это уже позади и не имеет значения. Ты только скажи ему правду — скажи, что ты никогда его не любила, — и все будет кончено, раз и навсегда.

Она подняла на него слепой, невидящий взгляд.

— Любить — как я могла его любить, если…

— Ты никогда его не любила.

Она медлила. Она оглянулась на меня, на Джордан с каким-то жалобным выражением в глазах, словно бы только сейчас поняла, что делает, — и словно бы все это время вовсе и не думала ничего делать. Но она сделала. Отступать было поздно.

— Я никогда его не любила, — сказала она явно через силу.

— Даже в Капиолани? — неожиданно спросил Том.

— Да.

Снизу, из бальной залы, на волнах горячего воздуха поднимались приглушенные, задыхающиеся аккорды.

— Даже в тот день, когда я нес тебя на руках из Панчбоул, чтобы ты не замочила туфли? — В его голосе зазвучала хрипловатая нежность. — Дэзи?..

— Замолчи. — Тон был холодный, но уже без прежней враждебности. Она посмотрела на Гэтсби. — Ну вот, Джей, — сказала она и стала закуривать сигарету, но рука у нее дрожала. Вдруг она швырнула сигарету вместе с зажженной спичкой на ковер. — Ох, ты слишком многого хочешь! — вырвалось у нее. — Я люблю тебя теперь

— разве этого не довольно? Прошлого я не могу изменить. — Она заплакала. — Было время, когда я любила его, — но тебя я тоже любила.

Гэтсби широко раскрыл глаза — потом закрыл совсем.

— Меня ты *тоже* любила, — повторил он.

— И это — ложь! — остервенело крикнул Том. — Она о вас и думать не думала. Поймите вы, у нас с Дэзи есть свое, то, чего вам никогда не узнать. Только мы вдвоем знаем это и никогда не забудем — такое не забывается.

Казалось, каждое из этих слов режет Гэтсби, как ножом.

— Дайте мне поговорить с Дэзи наедине, — сказал он. — Вы видите, она не в себе…

— Ты от меня и наедине не услышишь, что я совсем, совсем не любила Тома, — жалким голосом откликнулась Дэзи. — Потому что это неправда.

— Конечно, неправда, — подхватил Том.

Дэзи оглянулась на мужа.

— А тебе будто не все равно, — сказала она.

— Конечно, не все равно. И впредь я буду больше беспокоиться о тебе.

— Вы не понимаете, — встревоженно сказал Гэтсби. — Вам уже не придется о ней беспокоиться.

— Вот как? — Том сделал большие глаза и засмеялся. Он вполне овладел собой — теперь он мог себе это позволить. — Это почему же?

— Дэзи уходит от вас.

— Чушь!

— Нет, это верно, — заметно пересиливая себя, подтвердила Дэзи.

— Никуда она не уйдет! — Слова Тома вдруг сделались тяжелыми, как удары. — К кому? К обыкновенному жулику, который даже кольцо ей на палец наденет ворованное?

— Я этого не желаю слышать! — крикнула Дэзи. — Уедем, ради бога, уедем отсюда!

— Кто вы вообще такой? — грозно спросил Том. — Что вы из банды Мейера Вулфшима, мне известно — я навел кое-какие справки о вас и ваших делах. Но я постараюсь разузнать больше.

— Старайтесь сколько угодно, старина, — твердо произнес Гэтсби.

— Я уже знаю, что представляли собой ваши «аптеки». — Он повернулся к нам и продолжал скороговоркой: — Они с Вулфшимом прибрали к рукам сотни мелких аптек в переулках Нью-Йорка и Чикаго и торговали алкоголем за аптечными стойками. Вот вам одна из его махинаций. Я с первого взгляда заподозрил в нем бутлегера и,

как видите, почти не ошибся.

— А если даже и так? — вежливо сказал Гэтсби. — Ваш друг Уолтер Чейз, например, не погнушался вступить с нами в компанию.

— А вы этим воспользовались, чтобы сделать из него козла отпущения. Сами в кусты, а ему пришлось месяц отсидеть в тюрьме в Нью-Джерси. Черт побери! Послушали бы вы, что он говорит о вас обоих!

— Он к нам пришел без гроша за душой. Ему не терпелось поправить свои дела, старина.

— Не смейте называть меня «старина»! — крикнул Том. Гэтсби промолчал. — Уолтеру ничего бы не стоило подвести вас и под статью о противозаконном букмекерстве, да только Вулфшим угрозами заткнул ему рот.

Опять на лице Гэтсби появилось то непривычное и все же чем-то знакомое выражение.

— Впрочем, история с аптеками — это так, детские игрушки, — уже без прежней торопливости продолжал Том. — Я знаю, сейчас вы заняты аферой покрупнее, но какой именно, Уолтер побоялся мне рассказать.

Я оглянулся. Дэзи, сжавшись от страха, смотрела в пространство между мужем и Гэтсби, а Джордан уже принялась сосредоточенно балан-

сировать невидимым предметом, стоявшим у нее на подбородке. Я снова перевел глаза на Гэтсби, и меня поразил его вид. Можно было подумать, — говорю это с полным презрением к злоязычной болтовне, слышанной в его саду, — можно было подумать, что он «убил человека». При всей фантастичности этого определения, в тот момент лучшего было не подобрать.

Это длилось ровно минуту. Потом Гэтсби взволнованно заговорил, обращаясь к Дэзи, все отрицал, отстаивал свое доброе имя, защищался от обвинений, которые даже не были высказаны. Но она с каждым его словом все глубже уходила в себя, и в конце концов он умолк; только рухнувшая мечта еще билась, оттягивая время, цепляясь за то, чего уже нельзя было удержать, отчаянно, безнадежно ловя знакомый голос, так жалобно звучавший в другом конце комнаты.

А голос все взывал:

— Том, ради бога, уедем! Я не могу больше!

Испуганные глаза Дэзи ясно говорили, что от всей ее решимости, от всего мужества, которое она собрала в себе, не осталось и следа.

— Ты поезжай с мистером Гэтсби, Дэзи, — сказал Том. — В его машине.

Она вскинула на него тревожный взгляд, но он

настаивал с великодушием презрения:

— Поезжай. Он тебе не будет докучать. Я полагаю, он понял, что его претенциозный маленький роман окончен.

И они ушли вдвоем, без единого слова, исчезли, как призраки, одинокие и отторгнутые от всего, даже от нашей жалости.

Том взял полотенце и стал снова завертывать нераскупоренную бутылку виски.

— Может, кто-нибудь все-таки выпьет? Джордан?.. Ник?

Я молчал. Он окликнул еще раз:

— Ник?

— Что?

— Может, выпьешь?

— Нет… Я сейчас только вспомнил, что сегодня день моего рождения.

Мне исполнилось тридцать. Впереди, неприветливая и зловещая, пролегла дорога нового десятилетия.

Было уже семь часов, когда мы втроем уселись в синий «фордик» и тронулись в обратный путь. Том говорил без умолку, шутил, смеялся, но его голос скользил, не задевая наших мыслей, как уличный гомон, как грохот надземки вверху. Сочувствие ближнему имеет пределы, и мы охотно

оставляли этот чужой трагический спор позади вместе с отсветами городских огней. Тридцать — это значило еще десять лет одиночества, все меньше друзей-холостяков, все меньше нерастраченных сил, все меньше волос на голове. Но рядом была Джордан, в отличие от Дэзи не склонная наивно таскать за собою из года в год давно забытые мечты. Когда замелькали мимо темные переплеты моста, ее бледное личико лениво склонилось к моему плечу и ободряющее пожатие ее руки умерило обрушившуюся на меня тяжесть тридцатилетия.

Так мы мчались навстречу смерти в сумраке остывающего дня.

На следствии главным свидетелем был молодой грек Михаэлис, владелец ресторанчика у шлаковых куч. Разморенный жарой, он проспал до пяти часов, потом вышел погулять и заглянул в гараж к Джорджу Уилсону. Он сразу увидел, что Уилсон болен, и болен не на шутку — его трясло, лицо у него было желтое, одного цвета с волосами. Михаэлис посоветовал ему лечь в постель, но Уилсон не захотел, сказал, что боится упустить клиентов. Пока они спорили, над головой у них поднялся отчаянный шум и грохот.

— Это моя жена, я ее запер наверху, — спокойно

пояснил Уилсон. — Пусть посидит там до послезавтра, а послезавтра мы отсюда уедем.

Михаэлис оторопел; они прожили бок о бок четыре года, и он бы никогда не поверил, что Уилсон способен на такое. Это был человек, как говорится, заезженный жизнью; когда не работал в гараже, только и знал, что сидеть на стуле в дверях и смотреть на прохожих, на машины, проносившиеся мимо. Заговорят с ним, он непременно улыбнется в ответ ласковой, бесцветной улыбкой. Он самому себе не был хозяин; над ним была хозяйкой жена.

Михаэлис, понятно, стал допытываться, что такое стряслось, но от Уилсона ничего нельзя было добиться — вместо ответа он вдруг стал бросать на соседа косые, подозрительные взгляды и выспрашивать, где он был и что делал в такой-то день, в такой-то час. Михаэлису даже сделалось не по себе, и, завидя на дороге кучку рабочих, направлявшихся в его ресторан, он под этим предлогом поспешил уйти, сказав, что еще вернется. Но так и не вернулся. Попросту забыл, должно быть. И только выйдя опять, уже в восьмом часу, он услышал в гараже громкий, злой голос миссис Уилсон, и ему сразу вспомнился давешний разговор.

— На, бей! — кричала она. — Бей, топчи ногами, ничтожество, трус поганый!

Дверь распахнулась, она выбежала на дорогу, с криком размахивая руками, — и прежде чем он успел сделать хоть шаг, все было кончено.

«Автомобиль смерти», как его потом назвали газеты, даже не остановился; вынырнув из густеющих сумерек, он дрогнул на миг в трагической нерешительности и скрылся за поворотом дороги. Михаэлис и цвета его не успел разглядеть толком — подоспевшей полиции он сказал, что машина была светло-зеленая. Другая машина, которая шла в Нью-Йорк, затормозила, проскочив ярдов на сто, и водитель бегом кинулся назад, туда, где, скорчившись, лежала Миртл Уилсон, внезапно и грубо вырванная из жизни, и ее густая темная кровь смешивалась с дорожной пылью.

Шофер и Михаэлис подбежали к ней первые, но, когда они разорвали еще влажную от пота блузку и увидели, что левая грудь болтается где-то сбоку, точно повисший на ниточке карман, они даже не стали прикладывать ухо к сердцу. Рот был широко раскрыт и в углах чуть надорван, как будто она захлебнулась, отдавая весь тот огромный запас энергии жизни, который так долго в ней копился.

Мы еще издали увидели толпу и машины, сгрудившиеся на дороге.

— Авария! — сказал Том. — Уилсону повезло. Будет ему теперь работа.

Он сбавил газ, но останавливаться не собирался; только когда мы подъехали ближе, хмурое безмолвие толпившихся у гаража людей побудило его затормозить.

— Может, все-таки взглянем, в чем там дело, — сказал он неуверенно. — Только взглянем.

Глухой, прерывистый стон доносился из гаража; когда мы, выйдя из машины, подошли к дверям, стон стал более внятным и можно было расслышать слова «боже мой, боже мой!», без конца повторяемые на одной ноте.

— Что-то, видно, стряслось серьезное, — с интересом сказал Том.

Он привстал на носки и поверх голов заглянул в гараж, освещенный только желтыми лучами лампочки в металлической сетке, подвешенной под самым потолком. Что-то вдруг хрипло булькнуло у него в горле, он с силой наддал своими могучими плечами и протолкался вперед.

Толпа заворчала и сейчас же сомкнулась снова, так что мне ничего не было видно. Но сзади напирало все больше и больше любопытных, и в конце

концов нас с Джордан просто вдавили внутрь.

Тело Миртл Уилсон лежало на верстаке у стены, завернутое в два одеяла, как будто ее знобило, несмотря на жару; склонившись над нею, спиной к нам, стоял неподвижно Том. Рядом полицейский в шлеме мотоциклиста, усиленно потея и черкая, записывал фамилии в маленькую книжечку. Откуда-то несся все тот же прерывистый стон, гулко отдаваясь в пустоте гаража; я огляделся и тут только увидел Уилсона — он стоял на высоком пороге своей конторки, обеими руками вцепившись в дверные косяки, и раскачивался из стороны в сторону. Какой-то человек уговаривал его вполголоса, пытаясь положить ему руку на плечо, но Уилсон ничего не видел и не слышал. Он медленно скользил взглядом от лампочки под потолком к тому, что лежало на верстаке, тотчас же снова вскидывал глаза на лампочку; и все время звучал его страшный, пронзительный вопль:

— Боже мой! Боже мой! Боже мой! Боже мой!

Том вдруг рывком поднял голову, оцепенело посмотрел по сторонам и что-то пробормотал, обращаясь к полицейскому.

— М-и… — по буквам говорил полицейский, записывая, — к…

— Нет, х… — поправил его грек. — М-и-х…

— Да слушайте же! — повысил голос Том.

— А… — говорил полицейский. — Э…

— Л…

— Л… — Тут широкая рука Тома тяжело упала ему на плечо, и он оглянулся: — Ну, чего вам надо?

— Как это случилось? Я хочу знать, как это случилось.

— Автомобиль сшиб ее. Задавил насмерть.

— Задавил насмерть, — повторил Том, глядя в одну точку.

— Она выбежала на дорогу. Мерзавец даже не остановился.

— Шли две машины, — сказал Михаэлис. — Одна оттуда, другая — туда, понятно?

— Куда — туда? — быстро спросил полицейский.

— Одна из города, другая в город. Ну вот, а она… — он было поднял руку в сторону верстака, но сразу же уронил, — …она выбежала на дорогу, и та машина, что шла из города, прямо на нее налетела. Еще бы — скорость-то была миль тридцать или сорок, не меньше.

— Как называется это место? — спросил полицейский.

— Никак. У него нет названия.

Рослый, хорошо одетый мулат выступил вперед.

— Машина была желтая, — сказал он. — Большая желтая машина. Совсем новая.

— Вы что, были при этом?

— Нет, но эта машина обогнала меня на шоссе. Она шла со скоростью больше, чем сорок. Пятьдесят верных, а то и шестьдесят.

— Подойдите сюда и скажите вашу фамилию. Эй, дайте ему пройти, мне нужно записать его фамилию.

Должно быть, кое-что из этого разговора долетело до Уилсона, по-прежнему раскачивавшегося в дверях конторки, — его стоны стали перемежаться новыми выкриками:

— Я знаю, какая это была машина! Знаю, без вас знаю!

Я увидел, как напряглась под пиджаком спина Тома. Он поспешно подошел к Уилсону и крепко схватил его за плечи.

— Ну, ну, возьмите себя в руки, — грубовато подбод– рил он.

Уилсон глянул на Тома и хотел было выпрямиться, но колени у него подогнулись, и он упал бы, если бы не железная хватка Тома.

— Выслушайте меня, — слегка встряхнув его,

сказал Том. — Я только сию минуту подъехал. Я вам привел свой старый «форд», как мы уговаривались. Та желтая машина, на которой я проезжал здесь днем, была не моя — слышите? Я только доехал на ней до Нью-Йорка, а больше и в глаза ее не видел.

Том говорил тихо, и никто, кроме меня и мулата, стоявших неподалеку, не мог разобрать его слов, но самый звук его голоса заставил полицейского насторожиться.

— О чем вы там? — строго спросил он.

— Я его приятель. — Том, не отпуская Уилсона, повернул голову к полицейскому. — Он говорит, что знает машину, которая это сделала. Она желтого цвета.

Следуя какому-то неясному побуждению, полицейский подозрительно взглянул на Тома.

— А какого цвета ваша машина?

— Синего. Двухместный «форд».

— Мы только что из Нью-Йорка, — сказал я.

Кто-то, ехавший следом за нами по шоссе, подтвердил это, и полицейский снова занялся Михаэлисом.

— Ну давайте опять сначала, по буквам…

Приподняв Уилсона точно куклу, Том внес его в конторку, усадил в кресло и вернулся к двери.

— Кто-нибудь идите, побудьте с ним, — коротко распорядился он.

Двое мужчин, из тех, кто стоял поближе, поглядели друг на друга и неохотно двинулись к конторке. Том пропустил их мимо себя, затворил за ними дверь и отошел, стараясь не смотреть в сторону верстака. Поравнявшись со мной, он шепнул: «Поехали!»

С чувством неловкости мы протолкались сквозь прибывавшую толпу — Том властным напором плеч прокладывал дорогу, — и у самого выхода встретился нам спешивший с чемоданчиком врач, за которым послали полчаса назад, вероятно, понадеявшись на чудо.

Сначала Том ехал совсем медленно, но за поворотом шоссе он сразу нажал на педаль, и мы стремглав понеслись в наступившей уже темноте. Немного спустя я услышал короткое, сдавленное рыдание и увидел, что по лицу Тома текут слезы.

— Проклятый трус! — всхлипнул он. — Даже не остановился!

Дом Бьюкененов неожиданно выплыл нам навстречу из купы темных, шелестящих листвою деревьев. Том затормозил почти напротив крыльца и сразу посмотрел вверх; на увитой

виноградом стене светились два окна.

— Дэзи дома, — сказал он. Когда мы выбрались из машины, он взглянул на меня и слегка нахмурился. — Надо было мне завезти тебя в Уэст-Эгг, Ник. Сегодня все равно делать больше нечего.

Какая-то перемена совершилась в нем; он говорил уверенно и с апломбом. Пока мы шли через освещенную луной площадку перед домом, он коротко и энергично распоряжался:

— Сейчас я по телефону вызову тебе такси, а пока вы с Джордан ступайте на кухню, и пусть вам дадут поужинать — если вы голодны. — Он распахнул перед нами дверь: — Входите.

— Спасибо, не хочется. Такси ты мне, пожалуйста, вызови, но я подожду здесь, на воздухе.

Джордан дотронулась до моего локтя.

— Зайдите, Ник, посидим немного.

— Спасибо, не хочется.

Меня подташнивало, и хотелось остаться одному. Но Джордан медлила уходить.

— Еще только половина десятого, — сказала она.

Нет уж, баста — я чувствовал, что сыт по горло их обществом. «Их», к моему собственному удивлению, в данном случае включало и Джордан. Вероятно, это было написано у меня на лице, по-

тому что она вдруг круто повернулась и убежала в дом. Я присел на ступеньку, опустил голову на руки и сидел так несколько минут, пока не услышал в холле голос лакея, вызывавшего по телефону такси. Тогда я поднялся и медленно побрел по аллее, решив дожидаться у ворот.

Я не прошел и двадцати шагов, как меня окликнули по имени, и на аллею, раздвинув боковые кусты, вышел Гэтсби. Должно быть, в голове у меня черт знает что творилось, так как единственное, о чем я в эту минуту подумал, это что его розовый костюм как будто светился при луне.

— Что вы здесь делаете? — спросил я.

— Ничего, старина. Просто так, стою.

Почему-то мне показалось странным такое занятие. Я был даже готов предположить, что он замышляет ограбить дом. Меня бы не удивило, если бы из глубины кустарника за его спиной выглянули зловещие физиономии «знакомых Вулфшима».

— Вы что-нибудь видели на шоссе? — спросил он после короткого молчания.

Он помялся.

— Она — совсем?

— Да.

— Я так и думал; я и Дэзи так сказал. В таких

случаях лучше сказать правду. Конечно, это потрясение, но она с ним справилась.

Он говорил так, словно только это и имело значение: как перенесла случившееся Дэзи.

— Я вернулся в Уэст-Эгг кружным путем, — продолжал он, — и оставил машину в своем гараже. По-моему, нас никто не видел, но ведь наверно не скажешь.

Он мне был теперь так неприятен, что я не стал его разуверять.

— Кто была эта женщина? — спросил он.

— Жена владельца гаража, ее фамилия Уилсон. Как это, черт возьми, произошло?

— Понимаете, я не успел перехватить... — Он запнулся, и я вдруг все понял.

— За рулем была Дэзи?

— Да, — не сразу ответил он. — Но я, конечно, буду говорить, что я. Понимаете, Дэзи очень нервничала, когда мы выехали из Нью-Йорка, и думала, что за рулем ей легче будет успокоиться, а эта женщина вдруг бросилась к нам, и как раз другая машина навстречу. Это произошло буквально в одну минуту, но мне показалось, что она хотела нам что-то сказать, может быть, приняла нас за кого-то знакомого. Дэзи сначала крутнула в сторону от нее, но тут эта встречная машина,

и она растерялась и крутнула обратно. Хватая руль, я уже почувствовал толчок. Вероятно, ее задавило насмерть.

— Разворотило всю…

Он вздрогнул.

— Не надо, старина… Ну, а потом — я просил Дэзи остановиться, но она не могла. Пришлось мне использовать ручной тормоз. Тогда она повалилась мне на колени, и дальше уже повел я.

— К утру она совсем оправится, — продолжал он после короткой паузы. — Но я побуду здесь, на случай, если он вздумает мучить ее из-за того, что вышло в «Плазе». Она заперлась в своей спальне, а если он станет ломиться к ней силой, она мне даст сигнал — включит и выключит свет несколько раз подряд.

— Ничего он ей не сделает, — сказал я. — Ему не до нее.

— Я ему не доверяю, старина.

— Сколько же вы намерены тут простоять?

— Хотя бы и до утра. Во всяком случае, пока все в доме не улягутся.

Мне пришла в голову новая мысль. Что, если Том узнал, что за рулем была Дэзи? Он мог усмотреть тут какую-то связь, мог подумать… мало ли что он мог подумать. Я оглянулся на дом. Два или

три окна нижнего этажа были ярко освещены, да наверху теплились мягким розовым светом окна Дэзи.

— Подождите меня здесь, — сказал я. — Пойду послушаю, не слышно ли чего в доме.

Я по краю газона вернулся назад, стараясь не хрустеть гравием, пересек площадку и на цыпочках поднялся на крыльцо. В гостиной занавеси на окнах не были задернуты, и можно было сразу увидеть, что там никого нет. В конце той веранды, где мы обедали в первый мой приезд, три месяца назад, желтел небольшой прямоугольник света — вероятно, окошко буфетной. Туда я и направился. Штора была спущена, но я нашел место, где она чуть-чуть не доставала до подоконника.

Дэзи и Том сидели друг против друга за кухонным столом, на котором стояли блюдо с холодной курицей и две бутылки пива. Он что-то горячо доказывал ей и в пылу убеждения накрыл рукой ее руку, лежавшую на столе. Она время от времени поднимала на него глаза и согласно кивала.

Им было невесело; курица лежала нетронутая, пива в бутылках не убавилось. Но и грустно им не было. Вся сцена носила характер привычной интимности. Казалось, они дружно о чем-то сговариваются.

Спускаясь на цыпочках с крыльца, я услышал фырканье такси, искавшего, должно быть, поворот к дому. Гэтсби ждал на том месте, где я его оставил.

— Ну как, ничего не слышно? — с тревогой спросил он.

— Нет, все тихо. — Я постоял в нерешительности. — Едемте со мной, вам нужно поспать.

Он покачал головой.

— Я подожду, пока Дэзи не погасит свет, тогда буду знать, что она легла. Спокойной ночи, старина.

Он засунул руки в карманы и поспешил отвернуться, как будто мое присутствие нарушало торжественность его священного бдения. И я пошел, а он остался в полосе лунного света — одинокий страж, которому нечего было сторожить.

Глава VIII

Всю ночь я не мог заснуть; был туман, на проливе беспрестанно гудела сигнальная сирена, и я метался, как в лихорадке, между чудовищной действительностью и тяжелыми кошмарами сновидений. Перед рассветом я услышал, как к вилле Гэтсби подъехало такси; я поспешно спрыгнул с кровати и стал одеваться — мне казалось, я должен сказать ему что-то, о чем-то предупредить, и поскорей, потому что утром уже будет поздно.

Еще издали я увидел, что входная дверь непритворена, а Гэтсби стоит в холле, прислонясь к столу, весь сникший, то ли от физической, то ли от внутренней усталости.

— Ничего не было, — сказал он мне тусклым голосом. — Я прождал почти до четырех, а потом она подошла к окну, постояла минутку и погасила свет.

Никогда еще дом Гэтсби не казался мне таким огромным, как в эту ночь, когда мы рыскали по большим пустым комнатам, охотясь за сигаретами. Мы раздвигали драпировки, похожие на полы палаток, мы водили руками по поверхности темных стен в поисках выключателей; раз я

наскочил в темноте на открытый рояль, и оттуда брызнул фонтан нестройных звуков. Повсюду пахло затхлостью, как будто комнаты уже очень давно не проветривались, и было совершенно непостижимо, откуда взялось в них столько пыли. Наконец на одном столе обнаружилась сигаретница, и в ней две лежалые, высохшие сигареты. Мы уселись перед окном в большой гостиной, предварительно распахнув его настежь, и закурили, глядя в темноту.

— Вам надо уехать, — сказал я. — Полиция наверняка выследит вашу машину.

— Уехать, старина, сейчас?

— Поезжайте на неделю в Атлантик-Сити или в Монреаль.

Но он об этом и слышать не хотел. Как он может оставить Дэзи, не узнав, что она решила делать дальше? Он еще цеплялся за шальную надежду, и у меня не хватило духу эту надежду отнять.

Вот тогда-то он и рассказал мне странную историю своей юности и своих скитаний с Дэном Коди — рассказал потому, что «Джей Гэтсби» разбился, как стекло, от удара о тяжелую злобу Тома, и долголетняя феерия пришла к концу. Вероятно, в тот час он не остановился бы и перед другими признаниями, но ему хотелось говорить о Дэзи,

и только о Дэзи.

Она была первой «девушкой из общества» на его пути. То есть ему и прежде при разных обстоятельствах случалось иметь дело с подобными людьми, но всегда он общался с ними как бы через невидимое проволочное заграждение. С первого раза она показалась ему головокружительно желанной. Он стал бывать у нее в доме, сначала в компании других офицеров из Кэмп-Тэйлор, потом один. Он был поражен — никогда еще он не видел такого прекрасного дома. Но самым удивительным, дух захватывающим было то, что Дэзи жила в этом доме — жила запросто, все равно как он в своей лагерной палатке. Все здесь манило готовой раскрыться тайной, заставляло думать о спальнях наверху, красивых и прохладных, непохожих на другие знакомые ему спальни, о беззаботном веселье, выплескивающемся в длинные коридоры, о любовных интригах — не линялых от времени и пропахших сухою лавандой, но живых, трепетных, неотделимых от блеска автомобилей последнего выпуска и шума балов, после которых еще не увяли цветы. Его волновало и то, что немало мужчин любили Дэзи до него — это еще повышало ее цену в его глазах. Повсюду он чувствовал их незримое при-

сутствие; казалось, в воздухе дрожат отголоски еще не замерших томлений.

Но он хорошо сознавал, что попал в этот дом только невероятной игрою случая. Какое бы блистательное будущее ни ожидало Джея Гэтсби, пока что он был молодым человеком без прошлого, без гроша в кармане, и военный мундир, служивший ему плащом-невидимкой, в любую минуту мог свалиться с его плеч. И потому он старался не упустить время. Он брал все, что мог взять, хищнически, не раздумывая; так взял он и Дэзи однажды тихим осенним вечером, взял, хорошо зная, что не имеет права коснуться даже ее руки.

Он мог бы презирать себя за это — ведь, в сущности, он взял ее обманом. Не то чтобы он пускал в ход россказни о своих мнимых миллионах; но он сознательно внушил Дэзи иллюзию твердой почвы под ногами, поддерживая в ней уверенность, что перед ней человек ее круга, вполне способный принять на себя ответственность за ее судьбу. А на самом деле об этом нечего было и думать — он был никто, без роду и племени, и в любую минуту прихоть безликого правительства могла зашвырнуть его на другой конец света.

Но презирать себя ему не пришлось, и все

вышло не так, как он ожидал. Вероятно, он рассчитывал взять что можно и уйти, а оказалось, что он обрек себя на вечное служение святыне. Дэзи и раньше казалась ему особенной, необыкновенной, но он не представлял себе, до чего все может быть необыкновенно с «девушкой из общества». Она исчезла в своем богатом доме, в своей богатой, до краев наполненной жизни, а он остался ни с чем — если не считать странного чувства, будто они теперь муж и жена.

Когда через два дня они увиделись снова, не у нее, а у Гэтсби захватило дыхание, не она, а он словно бы попал в ловушку. Веранда ее дома тонула в сиянье самых дорогих звезд; плетеный диванчик томно скрипнул, когда она повернулась к Гэтсби и он поцеловал ее в забавно сложенные нежные губы. Она слегка охрипла от простуды, и это придавало особое очарование ее голосу. С ошеломительной ясностью Гэтсби постигал тайну юности в плену и под охраной богатства, вдыхая свежий запах одежды, которой было так много, а под ней была Дэзи, вся светлая, как серебро, благополучная и гордая — бесконечно далекая от изнурительной борьбы бедняков.

— Не могу вам передать, старина, как я был изумлен, когда понял, что люблю ее. Первое

время я даже надеялся, что она меня бросит, но она не бросила — ведь и она меня полюбила. Ей казалось, что я очень много знаю, потому что знания у меня были другие, чем у нее… Вот так и вышло, что я совсем позабыл свои честолюбивые замыслы, занятый только своей любовью, которая с каждой минутой росла. Но мне теперь было все равно. Стоило ли что-то свершать, чего-то добиваться, когда гораздо приятнее было рассказывать ей о том, что я собираюсь свершить.

В последний вечер перед отъездом в Европу они с Дэзи долго сидели обнявшись и молчали. Погода была холодная, сырая, в комнате топился камин, и щеки у Дэзи разгорелись. Иногда она шевелилась в его объятиях, и он тогда слегка менял позу, чтобы ей было удобнее. Один раз он поцеловал ее темные, шелковистые волосы. Они притихли с наступлением сумерек, словно для того, чтобы этот вечер лучше запомнился им на всю долгую разлуку, которую несло с собой завтра. За месяц их любви ни разу они не были более близки, не раскрывались полней друг для друга, чем в эти минуты, когда она безмолвными губами касалась сукна мундира на его плече или когда он перебирал ее пальцы, так осторожно, словно боялся ее разбудить.

Военная карьера удалась ему. Еще до отправки на фронт он был произведен в капитаны, а после аргоннских боев получил чин майора и стал командовать пулеметным батальоном дивизии. После перемирия он сразу стал рваться домой, но какое-то осложнение или недоразумение загнало его в Оксфорд. На душе у него было тревожно — в письмах Дэзи сквозили нервозность и тоска. Она не понимала, почему он задерживается. Внешний мир наступал на нее со всех сторон; ей нужно было увидеть Гэтсби, почувствовать его рядом, чтобы увериться в том, что она не совершает ошибки.

Ведь Дэзи была молода, а в ее искусственном мире цвели орхидеи и господствовал легкий, приятный снобизм, и оркестры каждый год вводили в моду новые ритмы, отражая в мелодиях всю печаль и двусмысленность жизни. Под стон саксофонов, ночи напролет выпевавших унылые жалобы «Бийл-стрит блюза», сотни золотых и серебряных туфелек толкли на паркете сверкающую пыль. Даже в сизый час чаепитий иные гостиные сотрясал непрерывно этот сладкий несильный озноб, и знакомые лица мелькали то здесь, то там, словно лепестки облетевшей розы, гонимые по полу дыханием тоскующих труб.

И с началом сезона Дэзи снова втянуло в круговорот этой сумеречной вселенной. Снова она за день успевала побывать на полдюжине свиданий с полудюжиной молодых людей; снова замертво валилась в постель на рассвете, бросив на пол измятое бальное платье вместе с умирающими орхидеями. Но все время настойчивый внутренний голос требовал от нее решения. Она хотела устроить свою жизнь сейчас, сегодня; и чтобы решение пришло, нужна была какая-то сила — любви, денег, неоспоримой выгоды, — которую не понадобилось бы искать далеко.

Такая сила нашлась в разгар весны, когда в Луисвилл приехал Том Бьюкенен. У него была внушительная фигура и не менее внушительное положение в обществе, и Дэзи это льстило. Вероятно, все совершилось не без внутренней борьбы, но и не без облегчения.

Письмо Гэтсби получил еще в Оксфорде.

Над Лонг-Айлендом уже брезжило утро. Мы прошли по всем комнатам нижнего этажа, раскрывая окно за окном и впуская серый, но уже золотеющий свет. На росистую землю упала тень дерева, призрачные птицы запели в синей листве. Мягкое дуновение свежести, которое даже не было ветерком, предвещало погожий,

нежаркий день.

— Нет, никогда она его не любила. — Гэтсби отвернулся от только что распахнутого окна и посмотрел на меня с вызовом. — Не забывайте, старина, ведь она вчера едва помнила себя от волнения. Он ее просто напугал — изобразил все так, словно я какой-то мелкий жулик. Неудивительно, если она сама не знала, что говорит.

Он сел, мрачно сдвинув брови.

— Может быть, она и любила его какую-то минуту, когда они только что поженились, но даже тогда меня она любила больше.

Он помолчал и вдруг разразился очень странным замечанием.

— Во всяком случае, — сказал он, — это касалось только ее.

Что тут можно было заключить? Разве только, что в своих отношениях с Дэзи он видел глубину, не поддающуюся измерению.

Он вернулся в Штаты, когда Том и Дэзи еще совершали свое свадебное путешествие, и остатки армейского жалованья потратил на мучительную, но неотразимо желанную поездку в Луисвилл. Там он провел неделю, бродил по тем улицам, где в тишине ноябрьского вечера звучали их дружные шаги, скитался за городом в

тех местах, куда они любили ездить на ее белой машине. Как дом, где жила Дэзи, всегда казался ему таинственней и привлекательней всех других домов, так и ее родной город даже сейчас, без нее, был для него полон грустного очарования.

Уезжая, он не мог отделаться от чувства, что, поищи он получше, он бы нашел ее, — что она осталась там, в Луисвилле. В сидячем вагоне — он едва наскреб на билет — было тесно и душно. Он вышел на площадку, присел на откидной стульчик и смотрел, как уплывает назад вокзал и скользят мимо торцы незнакомых построек. Потом открылся простор весенних полей; откуда-то вывернулся и побежал было наперегонки с поездом желтый трамвай, набитый людьми; быть может, этим людям случалось мельком на улице видеть волшебную бледность ее лица.

Дорога сделала поворот; поезд теперь уходил от солнца, а солнце, клонясь к закату, словно бы простиралось в благословении над полускрывшимся городом, воздухом которого дышала она. В отчаянии он протянул в окно руку, точно хотел захватить пригоршню воздуха, увезти с собой кусочек этого места, освященного ее присутствием. Но поезд уже шел полным ходом, все мелькало и расплывалось перед глазами, и он понял, что

этот кусок его жизни, самый прекрасный и благоуханный, утрачен навсегда.

Было уже девять часов, когда мы кончили завтракать и вышли на крыльцо. За ночь погода круто переломилась, и в воздухе веяло осенью. Садовник, единственный, кто остался в доме из прежней прислуги, подошел и остановился у мраморных ступеней.

— Хочу сегодня спустить воду в бассейне, мистер Гэтсби. Того и гляди, начнется листопад, а листья вечно забивают трубы.

— Нет, подождите еще денек, — возразил Гэтсби и, повернувшись ко мне, сказал, как бы оправдываясь: — Верите ли, старина, я так за все лето и не поплавал ни разу в бассейне.

Я взглянул на часы и встал.

— Через двенадцать минут мой поезд.

Мне не хотелось ехать на работу. Я знал, что проку от меня сегодня будет немного, но дело было даже не в этом, — мне не хотелось оставлять Гэтсби. Уже и этот поезд ушел, и следующий, а я все медлил.

— Я вам позвоню из города, — сказал я наконец.

— Позвоните, старина.

— Так около двенадцати.

Мы медленно сошли вниз.

— Дэзи, наверно, тоже позвонит. — Он выжидательно посмотрел на меня, словно надеялся услышать подтверждение.

— Наверно.

— Ну, до свидания.

Мы пожали друг другу руки, и я пошел к шоссе. Уже у поворота аллеи я что-то вспомнил и остановился.

— Ничтожество на ничтожестве, вот они кто, — крикнул я, оглянувшись. — Вы один стоите их всех, вместе взятых.

Как я потом радовался, что сказал ему эти слова. Это была единственная похвала, которую ему привелось от меня услышать, — ведь, в сущности, я с первого до последнего дня относился к нему неодобрительно. Он сперва только вежливо кивнул в ответ, потом вдруг просиял и широко, понимающе улыбнулся, как будто речь шла о факте, признанном нами уже давно и к обоюдному удовольствию. Его розовый костюм — дурацкое фатовское тряпье — красочным пятном выделялся на белом мраморе ступеней, и мне припомнился тот вечер, три месяца назад, когда я впервые был гостем в его родовом замке. Сад и аллея кишмя кишели тогда людьми, не

знавшими, какой бы ему приписать порок, а он махал им рукой с этих самых ступеней, скрывая от всех свою непорочную мечту.

И я поблагодарил его за гостеприимство. Его всегда все за это благодарили — я наравне с другими.

— До свидания, Гэтсби, — крикнул я. — Спасибо за отличный завтрак.

Попав наконец в контору, я занялся было вписыванием сегодняшних курсов в какой-то бесконечный реестр ценных бумаг, да так и заснул над ним в своем вертящемся кресле. Около двенадцати меня разбудил телефонный звонок, и я вскочил, как встрепанный, весь в поту. Это оказалась Джордан Бейкер; она часто звонила мне в это время, поскольку, вечно кочуя по разным отелям, клубам и виллам знакомых, была для меня почти неуловимой. Обычно звук ее голоса в телефонной трубке нес с собой прохладу и свежесть, как будто в окно конторы влетел вдруг кусок дерна с поля для игры в гольф; но в то утро он мне показался жестким и скрипучим.

— Я уехала от Дэзи, — сказала она. — Сейчас я в Хэмстеде, а днем собираюсь в Саутгемптон.

Вероятно, она поступила тактично, уехав от Дэзи, но во мне это почему-то вызвало раздражение,

а следующая ее фраза и вовсе меня заморозила.

— Вы со мной не слишком любезно обошлись вчера вечером.

— До любезностей ли тут было.

Минута молчания. Потом:

— Но я все-таки хотела бы повидать вас.

— Я вас тоже хотел бы повидать.

— Может быть, мне не ехать в Саутгемптон, а приехать во второй половине дня в город?

— Нет, сегодня не нужно.

— Очень мило.

— Я никак не могу сегодня. Есть всякие…

Мы еще несколько минут тянули этот разговор, потом он как-то разом прекратился. Не помню, кто из нас первый резко повесил трубку, но помню, что меня это даже не расстроило. Не мог бы я в тот день мирно болтать с ней за чашкой чая, даже если бы знал, что рискую никогда больше ее не увидеть.

Немного погодя я позвонил к Гэтсби, но у него было занято. Четыре раза я повторял вызов, и в конце концов потерявшая терпение телефонистка сказала мне, что абонент ждет разговора по заказу из Детройта. Я вынул свое железнодорожное расписание и обвел кружочком цифру 3.50. Потом откинулся назад и попытался сосредото-

читься на своих мыслях. Было ровно двенадцать часов.

Когда утром мой поезд приближался к шлаковым кучам, я нарочно пересел на другую сторону. Мне казалось, что там все еще шумит толпа любопытных и мальчишки высматривают темные пятна в пыли, а какой-нибудь словоохотливый старичок снова и снова рассказывает о подробностях происшествия; но с каждым разом его рассказ будет звучать все менее правдоподобно, даже для него самого, и в конце концов он уже не сможет его повторять и трагедия Миртл Уилсон канет в забвение. Но сейчас я хочу немного вернуться назад и рассказать, что происходило в гараже вчера, после того как мы оттуда уехали.

Сестру погибшей, Кэтрин, удалось разыскать не сразу. Должно быть, она в тот вечер изменила своему правилу ничего не пить, потому что, когда ее привезли, голова ее была затуманена винными парами и ей никак не могли втолковать, что санитарный автомобиль уже увез тело во Флашинг. Уразумев это наконец, она тут же хлопнулась в обморок, словно из всего, что случилось, это было самое ужасное. Кто-то по доброте или из любопытства усадил ее в свою машину и повез следом за останками сестры.

Далеко за полночь бурлил у гаража людской прибой — уходили одни, подходили другие, а Джордж Уилсон все сидел на диванчике в конторке и мерно раскачивался из стороны в сторону. Первое время дверь конторки стояла распахнутая настежь, и входившим в гараж трудно было удержаться, чтобы не заглянуть туда. Потом кто-то сказал, что это нехорошо, и дверь затворили. Несколько человек, в том числе Михаэлис, оставались с Уилсоном; сначала их было пятеро или шестеро, потом двое или трое, а под конец Михаэлису пришлось попросить последнего задержаться хоть на четверть часа, пока он, Михаэлис, сходит к себе сварить кофе. После этого он до рассвета просидел с Уилсоном один.

Часа в три в поведении Уилсона наступила перемена — он стал поспокойнее и вместо бессвязного бормотанья заговорил о желтой машине. Твердил, что сумеет узнать, кто хозяин этой машины, а потом вдруг рассказал, что месяца два назад его жена как-то возвратилась из города с распухшим носом и кровоподтеками на лице. Но, услышав собственные слова, он весь передернулся и снова стал качаться и стонать: «Боже мой, боже мой!»

Михаэлис пытался, как умел, отвлечь его мыс-

ли:

— Сколько времени вы были женаты, Джордж? Ну, полно, посиди минутку спокойно и ответь на мой вопрос. Сколько времени вы были женаты?

— Двенадцать лет.

— А детей у вас никогда не было? Ну, посиди же спокойно, Джордж. Ты слышал, о чем я спрашиваю. Были у вас когда-нибудь дети?

В тусклом свете единственной лампочки по полу бегали, сталкиваясь, рыжие тараканы; время от времени слышался шум проносившейся мимо машины, и Михаэлису каждый раз казалось, будто это та самая, что умчалась, не остановившись, несколько часов тому назад. Ему не хотелось выходить в помещение гаража, чтобы не увидеть испятнанный кровью верстак, на котором вчера лежало тело; поэтому он тревожно топтался по конторке — к утру уже все в ней знал наизусть, — а порой, присев рядом с Уилсоном, принимался увещевать его:

— Ты в какую церковь ходишь, Джордж? Может, давно уже не был, так это ничего. Может, я позвоню в твою церковь и попрошу священника прийти поговорить с тобой, а, Джордж?

— Ни в какую я церковь не хожу.

— Нельзя человеку без церкви, Джордж, вот хо-

тя бы на такой случай. И ты ведь, наверно, ходил в церковь прежде. Венчался-то ты в церкви? Да ты слушай, Джордж, слушай меня. Венчался ты в церкви?

— Так то было давно.

Усилия, требовавшиеся для ответа, перебили мерный ритм его качанья, и он ненадолго затих. Потом в его выцветших глазах появилось прежнее выражение — догадка пополам с растерянностью.

— Посмотри, что в том ящике, — сказал он, указывая на свой стол.

— В каком ящике?

— Вон в том.

Михаэлис выдвинул ближайший к нему ящик стола. Там ничего не было, кроме короткого собачьего поводка, кожаного, с серебряным плетеньем. Он был совсем новый и, судя по виду, дорогой.

— Это? — спросил Михаэлис, достав поводок из ящика.

Уилсон так и прилип к нему глазами, потом кивнул.

— Я это нашел у нее вчера днем. Она мне стала что-то объяснять, да я сразу заподозрил неладное.

— Это что же, твоя жена купила?

— Лежало у нее на столике, завернутое в папиросную бумагу.

Михаэлис тут ничего странного не усмотрел и сразу привел Уилсону десяток причин, почему его жене мог понадобиться собачий поводок. Но должно быть, такие же или сходные объяснения давала и Миртл, потому что Уилсон снова застонал: «Боже мой, боже мой!» — и слова его утешителя повисли в воздухе.

— Вот он и убил ее, — сказал вдруг Уилсон. Нижняя челюсть у него отвалилась, рот так и остался разинутым.

— Кто — он?

— А уж я сумею узнать.

— Ты сам не знаешь, что говоришь, Джордж, — сказал приятелю грек. — От горя у тебя помутилось в голове. Постарайся успокоиться и отдохни немножко, скоро уже утро.

— Он ее убийца.

— Это был несчастный случай, Джордж.

Уилсон затряс головой. Глаза его сузились, по губам прошла тень междометия, выражающего уверенность.

— Нет уж, — сказал он решительно. — Я человек простой и никому не желаю зла, но что я знаю,

то знаю. Это он ехал в машине. Она бросилась к нему, хотела что-то сказать, а он не пожелал остановиться.

Михаэлис был свидетелем происшествия, но ему не пришло в голову искать в нем какой-то особый смысл. Он считал, что миссис Уилсон выбежала на шоссе, спасаясь от мужа, а вовсе не для того, чтобы остановить какую-то определенную машину.

— Да с чего бы это она?

— Ты ее не знаешь, — сказал Уилсон, как будто это было ответом на вопрос. — О-о-о-о!..

Он опять начал раскачиваться и стонать, а Михаэлис стоял над ним, теребя в руках поводок.

— Может, есть у тебя какой-нибудь друг, я бы позвонил, вызвал его сюда, а, Джордж?

Напрасная надежда — да Михаэлис и не сомневался, что никаких друзей у Уилсона нет; ведь его не хватало даже для собственной жены.

Немного спустя Михаэлис с облегчением заметил какую-то перемену в комнате. За окном посинело, и он понял, что утро уже близко. К пяти часам синее стало голубым, и можно было выключить свет.

Уилсон остекленевшим взглядом уставился в окно, где над кучами шлака курились маленькие

серые облачка, принимая фантастические очертания по воле предутреннего ветра.

— Я поговорил с ней, — зашептал он после долгого молчания, — сказал ей, что меня она может обмануть, но господа бога не обманет. Я подвел ее к окошку. — Он с трудом поднялся и, подойдя к окну, приник к стеклу лбом. — Подвел и говорю: господь, он все знает, все твои дела. Меня ты можешь обмануть, но господа бога не обманешь.

И тут Михаэлис, став рядом, заметил, куда он смотрит, и вздрогнул — он смотрел прямо в огромные блеклые глаза доктора Т. Дж. Эклберга, только что выплывшие из редеющей мглы.

— Господь, он все видит, — повторил Уилсон.

Михаэлис попробовал его образумить:

— Да это ж реклама!

Но что-то отвлекло его внимание и заставило отойти от окна. А Уилсон еще долго стоял, вглядываясь в сумрак рассвета и тихонько качая головой.

Когда пробило шесть, Михаэлис уже еле держался на ногах и радостно вздохнул, услышав, что у гаража затормозила машина. Это вернулся, как и обещал, один из мужчин, уехавших около полуночи. Михаэлис приготовил завтрак на троих, и они вдвоем его съели. Уилсон тем временем

немного успокоился, и Михаэлис пошел домой поспать; а когда он через четыре часа проснулся и побежал в гараж, Уилсона там не было.

Удалось потом проследить его путь: он шел пешком — до Порт-Рузвельта, а оттуда до Гэдсхилла, где он спросил чашку кофе и сандвич; кофе выпил, а сандвич не съел. Вероятно, он устал и шел очень медленно, судя по тому, что попал в Гэдсхилл только в полдень. Восстановить его передвижения до этого момента не представило труда — в одном месте мальчишки видели, как по дороге шел человек, «вроде бы не в себе», в другом шоферы обратили внимание на странного прохожего, диким взглядом провожавшего каждую машину. Но дальше след его терялся на целых три часа. Полиция, основываясь на словах, сказанных им Михаэлису насчет того, что он «сумеет узнать», сделала предположение, что он в это время обходил окрестные гаражи в поисках желтой машины. Но с другой стороны, ни один владелец гаража о нем не заявил, и возможно, у него нашелся какой-то другой, более верный и простой способ узнать, что нужно. В половине третьего его видели в Уэст-Эгге, где он спрашивал дорогу к вилле Гэтсби. Следовательно, фамилия Гэтсби уже была ему тогда известна.

В два часа Гэтсби надел купальный костюм и отдал распоряжение лакею: если кто-нибудь позвонит, прийти к бассейну и доложить об этом. Он зашел в гараж, где шофер помог ему накачать надувной матрас, которым все лето развлекались его многочисленные гости. И он строго-настрого запретил выводить из гаража открытую машину — что было странно, так как переднее правое крыло нуждалось в ремонте.

Вскинув матрас на плечо, Гэтсби направился к бассейну. Один раз он, остановившись, поправил ношу; шофер спросил, не нужно ли помочь, но он помотал головой и через минуту исчез за желтеющими деревьями.

Никто так и не позвонил, но лакей, жертвуя дневным сном, прождал до четырех часов — когда уже все равно некому было докладывать о звонке. Мне почему-то кажется, что Гэтсби и сам не верил в этот звонок и, может быть, не придавал уже этому значения.

Если так, то, наверно, он чувствовал, что старый уютный мир навсегда для него потерян, что он дорогой ценой заплатил за слишком долгую верность единственной мечте. Наверно, подняв глаза, он встречал незнакомое небо, просвечивающее сквозь грозную листву, и, содрогаясь,

дивился тому, как нелепо устроена роза и как резок свет солнца на кое-как сотворенной траве. То был новый мир, вещественный, но не реальный, и жалкие призраки, дышащие мечтами, бесцельно скитались в нем… как та шлаково-серая фантастическая фигура, что медленно надвигалась из-за бесформенных деревьев.

Шофер — один из протеже Вулфшима — слышал выстрелы; но потом мог сказать лишь одно — что не обратил на них внимания. Я с вокзала поехал прямо на виллу Гэтсби, и взволнованная поспешность, с которой я взбежал на крыльцо, послужила первым сигналом к тревоге.

Но они уже знали, я в этом убежден. Почти не сговариваясь, мы четверо — шофер, лакей, садовник и я — бросились к бассейну.

Лишь легкое, чуть заметное колыхание на поверхности позволяло угадывать ток воды, что вливалась в бассейн с одного конца и уходила с другого. И, покачиваясь на этих игрушечных волнах, медленно плыл надувной матрас с грузом. Малейший ветерок, едва рябивший воду, отклонял этот случайный груз от его случайного направления. Порой на пути попадалась кучка опавших листьев, и, столкнувшись с нею, матрас начинал кружиться на одном месте, точно

ножкою циркуля прочеркивая в воде тоненький алый круг.

Уже когда мы несли Гэтсби к дому, в стороне от дорожки садовник заметил в траве тело Уилсона — последнюю искупительную жертву.

Глава IX

Сейчас, когда миновало уже два года, остаток этого дня, и ночь, и следующий день мне вспоминаются только как беспрестанное коловращение полицейских, фотографов и репортеров на вилле Гэтсби. Поперек ворот протянули веревку и поставили полицейского, чтобы не пропускать любопытных. Но ребятня очень скоро пронюхала, что можно пробраться в сад со стороны моего участка, и около бассейна все время вертелись стайки ротозеев-мальчишек. Какой-то уверенно державшийся мужчина, возможно, детектив, склонясь над телом Уилсона, произнес слово «сумасшедший»; апломб, с которым было брошено это замечание, стал камертоном для отчетов, появившихся в утренних газетах.

Эти отчеты были, как ночные кошмары, фантастичны, навязчивы, обстоятельны в мелочах и далеки от действительности. Когда Михаэлис на следствии рассказал о ревнивых подозрениях Уилсона, я решил, что теперь вся история неминуемо будет преподнесена публике в скабрезно-пасквильном виде, однако Кэтрин, которой тут было что сказать, не сказала ни слова. Она

проявила нежданную силу характера — в упор глядя на следователя из-под своих выправленных бровей, клялась, что этого Гэтсби ее сестра знать не знала, что с мужем ее сестра всегда жила душа в душу и что вообще за ее сестрой никаких грехов не водилось. Она даже себя самое в этом убедила и так рыдала, уткнувшись в платок, как будто и тень сомнения на этот счет оскорбляла ее чувства. И Уилсон был низведен на уровень «невменяемости от горя», с тем чтобы по возможности упростить все дело. Так и осталось.

Впрочем, мне все это представлялось далеким и несущественным. Вышло так, что у Гэтсби не оказалось в наличии близких, кроме меня. С той минуты, как я позвонил в поселок Уэст-Эгг и сообщил о несчастье, любые догадки, любые практические вопросы, требовавшие решения, — все адресовалось мне. Сначала меня это удивляло и смущало; но время шло, и от того, что Гэтсби лежал там, в своем доме, не двигался, не дышал и не говорил, во мне постепенно росло чувство ответственности — ведь больше никто не интересовался им, я хочу сказать — не испытывал того пристального, личного интереса, на который каждый из нас имеет какое-то право под конец.

Я позвонил Дэзи через полчаса после того, как

его нашли, сделал это по непосредственному побуждению, не раздумывая. Но оказалось, что они с Томом уехали еще утром, взяв с собою багаж.

— И не оставили адреса?

— Нет.

— Не говорили, когда вернутся?

— Нет.

— А вы не знаете, где они? Как с ними связаться?

— Не знаю. Не могу сказать.

Мне хотелось найти ему кого-нибудь. Хотелось войти в комнату, где он лежал, и пообещать ему: «Уж я вам найду кого-нибудь, Гэтсби. Будьте спокойны. Положитесь на меня, я вам кого-нибудь найду».

Имя Мейера Вулфшима в телефонной книге не значилось. От мрачного лакея я узнал адрес его конторы в Нью-Йорке и позвонил в справочную, но, когда мне дали номер, был уже шестой час и к телефону никто не подходил.

— Пожалуйста, позвоните еще раз.

— Я уже три раза звонила.

— У меня очень важное дело.

— Сожалею, но там, видимо, никого нет.

Я вернулся в гостиную и увидел, что в ней полно народу — я даже принял было их за случайных

гостей, всех этих представителей власти. Но хотя они откинули простыню и долго смотрели на Гэтсби испуганными глазами, в мозгу у меня не переставало настойчиво биться:

«Послушайте, старина, вы мне должны найти кого-нибудь. Вы должны приложить все силы. Не могу я пройти через это совсем один».

Меня стали спрашивать о чем-то, но я убежал и, поднявшись наверх, принялся торопливо рыться в незапертых ящиках его письменного стола — он мне никогда не говорил определенно, что его родители умерли. Но нигде ничего не было — только со стены смотрел портрет Дэна Коди, свидетель давно забытых бурь.

На следующее утро я послал мрачного лакея в Нью-Йорк к Вулфшиму с письмом, в котором спрашивал о родственниках Гэтсби и просил приехать ближайшим поездом. Впрочем, последняя просьба мне самому показалась излишней. Я не сомневался, что он и так бросится на вокзал, едва прочитает газеты, как не сомневался и в том, что от Дэзи еще утром будет телеграмма. Но ни телеграмма, ни мистер Вулфшим не прибыли; прибывали только все новые полицейские, фотографы и репортеры. Когда я прочитал привезенный лакеем ответ Вулфшима, во мне

поднялось чувство гнева, смешанного с отвращением, и в этом чувстве мы с Гэтсби были заодно против них всех.

«Дорогой мистер Каррауэй! Это для меня один из самых тяжелых ударов за всю мою жизнь, я просто не могу поверить, что это правда. Безумный поступок этого человека должен всех нас заставить призадуматься. Я не могу приехать в данное время, так как занят чрезвычайно важным делом, и мне никак нельзя впутываться в такую историю. Если смогу быть чем-либо полезен потом, уведомьте меня письмом через Эдгара. Меня подобные вещи совершенно выбивают из колеи, я потрясен и не могу прийти в себя.

Искренне ваш

Мейер Вулфшим».

И внизу торопливая приписка:

«Прошу уведомить, как с похоронами и т. д., о родственниках ничего не знаю».

Когда в холле под вечер зазвонил телефон и междугородняя сказала: «Вызывает Чикаго», я

был уверен, что это наконец Дэзи. Но в трубке послышался мужской голос, глухой и плохо слышный издалека:

— Это говорит Слэгл…

— Вас слушают. — Фамилия мне была незнакома.

— Хорошенькая история, а? Вы мою телеграмму получили?

— Никаких телеграмм не было.

— Молодой Паркер влип, — сказал голос скороговоркой. — Его сцапали, когда он передавал бумаги в окошечко. Из Нью-Йорка поступило сообщение с указанием номеров и серий, буквально за пять минут до того. Что вы на это скажете, а? В такой дыре никогда не знаешь, на что нарвешься…

Задыхаясь, я прервал его:

— Алло! Послушайте — вы не с мистером Гэтсби говорите. Мистер Гэтсби умер.

На другом конце провода долго молчали. Потом послышалось короткое восклицание, потом в трубке щелкнуло, и нас разъединили.

Кажется, на третий день пришла телеграмма из какого-то городка в Миннесоте, подписанная: *Генри Ч. Гетц.* В телеграмме говорилось, что податель немедленно выезжает и просит дождаться

его с похоронами.

Это был отец Гэтсби, скорбного вида старичок, беспомощный и растерянный, увернутый, несмотря на теплый сентябрьский день, в дешевое долгополое пальто с поясом. От волнения глаза у него непрерывно слезились, а как только я взял из его рук саквояж и зонтик, он стал дергать себя за реденькую седую бороду, так что мне с трудом удалось снять с него пальто. Видя, что он еле держится на ногах, я повел его в музыкальный салон, усадил там и, вызвав лакея, сказал, чтобы ему принесли поесть. Но есть он не стал, а молоко расплескалось из стакана, так у него дрожала рука.

— Я прочел в чикагской газете, — сказал он. — В чикагской газете было написано. Я сразу же выехал.

— У меня не было вашего адреса.

Его невидящий взгляд все время перебегал с предмета на предмет.

— Это сделал сумасшедший, — сказал он. — Конечно же, сумасшедший.

— Может быть, вы хоть кофе выпьете? — настаивал я.

— Нет, я ничего не хочу. Мне уже лучше, мистер…

— Карраузй.

— Мне уже лучше, вы не беспокойтесь. Где он, Джимми?

Я проводил его в гостиную, где лежал его сын, и оставил там. Несколько мальчишек забрались на крыльцо и заглядывали в холл; я им объяснил, кто приехал, и они неохотно пошли прочь.

Немного погодя дверь гостиной отворилась, и мистер Гетц вышел; рот у него был открыт, лицо слегка побагровело, из глаз катились редкие, неупорядоченные слезы. Он был в том возрасте, в котором смерть уже не кажется чудовищной неожиданностью, и когда он, впервые оглядевшись вокруг, увидел величественную высоту сводов холла и анфилады пышных покоев, открывавшиеся в обе стороны, к его горю стало примешиваться чувство благоговейной гордости. Я отвел его наверх, в одну из комнат для гостей, и, пока он снимал пиджак и жилет, объяснил ему, что все распоряжения были приостановлены до его приезда.

— Я не знал, каковы будут ваши пожелания, мистер Гэтсби…

— Моя фамилия Гетц.

— …мистер Гетц. Я думал, может быть, вы захотите увезти тело на Запад.

Он замотал головой.

— Джимми всегда больше нравилось здесь, на Востоке. Ведь это здесь он достиг своего положения. Вы были другом моего мальчика, мистер?..

— Мы с ним были самыми близкими друзьями.

— Он бы далеко пошел, можете мне поверить. Он был еще молод, но вот здесь у него было хоть отбавляй.

Он внушительно постучал себя по лбу, и я кивнул в знак согласия.

— Поживи он еще, он бы стал ба-а-льшим человеком. Таким, как Джеймс Дж. Хилл. Он бы ба-а-льшую пользу принес стране.

— Вероятно, — сказал я, замявшись.

Он неловко стащил с постели расшитое покрывало, лег, вытянулся и мгновенно уснул.

Вечером позвонил какой-то явно перепуганный субъект, который, прежде чем назвать себя, пожелал узнать, кто с ним говорит.

— Говорит мистер Каррауэй.

— А-а! — радостно отозвался он. — А я — Клипспрингер.

Я тоже обрадовался — можно было, значит, рассчитывать, что за гробом Гэтсби пойдет еще один старый знакомый. Не желая давать извещение в

газеты, чтобы не привлечь толпу любопытных, я решил лично сообщить кое-кому по телефону. Но почти ни до кого не удалось дозвониться.

— Похороны завтра, — сказал я. — Нужно быть на вилле к трем часам. И будьте так любезны, скажите всем, кто захотел бы приехать.

— Да, да, непременно, — поспешно ответил он. — Я вряд ли кого-нибудь увижу, но если случайно…

Его тон заставил меня насторожиться.

— Вы сами, разумеется, будете?

— Постараюсь, непременно постараюсь. Я, собственно, позвонил, чтобы…

— Минутку, — перебил я. — Мне бы хотелось услышать от вас точно: вы будете?

— Мм… видите ли — дело в том, что я теперь живу у одних знакомых в Гриниче, и завтра они на меня в некотором роде рассчитывают. Предполагается что-то вроде пикника или прогулки. Но я, конечно, приложу все старания, чтобы освободиться.

У меня невольно вырвалось: «Эх!» — и он, должно быть, услышал, потому что сразу заторопился:

— Я, собственно, позвонил вот зачем: я там оставил пару туфель, так не затруднит ли вас рас-

порядиться, чтобы мне их прислали. Понимаете, это теннисные туфли, и я без них прямо как без рук. Пусть пошлют на адрес…

На чей адрес, я уже не слыхал — я повесил трубку.

А немного спустя мне пришлось постыдиться за Гэтсби — один из тех, кому я звонил, выразился в том смысле, что, мол, туда ему и дорога. Впрочем, я сам был виноват; этот господин принадлежал к числу самых заядлых любителей позубоскалить насчет Гэтсби, угощаясь его вином, и нечего было звонить такому.

Наутро в день похорон я сам поехал в Нью-Йорк к Мейеру Вулфшиму, не видя другого способа с ним связаться. Лифт остановился против двери, на которой значилось: «Акц. о-во “Свастика”»; по совету лифтера я толкнул дверь — она была незаперта, и я вошел. Сперва мне показалось, что в помещении нет ни души, и только после нескольких моих окликов за перегородкой заспорили два голоса, и минуту спустя из внутренней двери вышла хорошенькая еврейка и недружелюбно уставилась на меня большими черными глазами.

— Никого нет, — сказала она. — Мистер Вулфшим уехал в Чикаго.

Первое из этих утверждений явно не соответствовало действительности, так как за перегородкой кто-то стал фальшиво насвистывать «Розовый куст».

— Будьте добры сказать мистеру Вулфшиму, что его хочет видеть мистер Каррауэй.

— Как же это я ему скажу, если он в Чикаго?

В эту минуту из-за двери позвали: «Стелла!» — и я сразу узнал голос Вулфшима.

— Оставьте на столике вашу карточку, — поспешно сказала женщина. — Он вернется, я ему передам.

— Послушайте, я же знаю, что он здесь.

Она шагнула вперед, негодующе подбоченясь.

— Повадились тоже врываться сюда когда вздумается, — заговорила она сердито. — Покою нет от вашего брата. Раз я говорю, он в Чикаго, значит, он в Чикаго.

Я назвал имя Гэтсби.

— О-о! — Она снова на меня посмотрела. — Тогда погодите минутку. Как, вы сказали, ваша фамилия?

Она исчезла. Мгновение спустя Мейер Вулфшим стоял на пороге, скорбным жестом протягивая ко мне руки. Он увлек меня в свой кабинет, сказал почтительно приглушенным голосом, что сего-

дня печальный день для всех нас, и предложил мне сигару.

— Помню, каким он был, когда мы с ним встретились впервые, — заговорил он, усевшись. — Молодой майор, только что из армии, весь в медалях, полученных на фронте. И ни гроша в кармане — он все еще ходил в военной форме, так как ему не на что было купить штатский костюм. Первый раз я его увидел в бильярдной Уайнбреннера на Сорок третьей улице, куда он зашел попросить какой-нибудь работы. Он уже несколько дней буквально голодал. Я его пригласил позавтракать со мной, так поверите ли — он за полчаса наел на четыре доллара с лишним.

— И вы помогли ему стать на ноги? — спросил я.

— Помог? Я его человеком сделал!

— М-м…

— Я его вытащил из грязи, из ничтожества. Вижу: молодой человек, красивый, обходительный, а когда он еще мне сказал, что учился в Оксворте, я сразу сообразил, что от него может быть прок. Заставил его вступить в Американский легион, он там быстро выдвинулся. А тут и дело для него нашлось, у одного моего клиента в Олбани. Мы с ним были как два пальца на одной руке. — Вул-

фшим поднял два толстых пальца. — Где один, там и другой.

Интересно, подумал я, действовало ли это содружество во время истории с «Уорлд Сириз» в 1919 году.

— А теперь он умер, — сказал я. — И вы, как его ближайший друг, приедете сегодня на похороны.

— Да, я бы очень хотел приехать, — сказал он.

— Вот и приезжайте.

Волосы у него в ноздрях зашевелились, на глазах выступили слезы, и он покачал головой.

— Не могу, мне в такие истории лучше не впутываться, — сказал он.

— А никакой истории и нет. Теперь все уже кончено.

— Если человек умирает не своей смертью, я всегда стараюсь не впутываться. Держусь в стороне. Вот был я помоложе — тогда другое дело; уж если у меня умирал друг, все равно как, я его не покидал до конца. Можете считать меня сентиментальным, но так уж оно было: до самого конца.

Мне стало ясно, что по каким-то причинам он твердо решил на похороны не ездить, и я встал.

— Вы окончили университет? — ни с того ни с сего спросил он.

Я было подумал, что сейчас речь пойдет о «кхонтактах», но он только кивнул и с чувством пожал мне руку.

— Важно быть человеку другом, пока он жив, а не тогда, когда он уже умер, — заметил он. — Мертвому это все ни к чему — лично я так считаю.

Когда я вышел от Вулфшима, небо было обложено тучами, и в Уэст-Эгг я вернулся под накрапывающим дождем. Наскоро переодевшись, я пошел на виллу. В холле мистер Гетц взволнованно расхаживал из угла в угол. Он все больше и больше гордился сыном и сыновним богатством и, как видно, ждал меня, чтобы мне что-то показать.

— Эту карточку Джимми мне прислал. — Он дрожащими пальцами вытащил бумажник. — Вот, посмотрите.

Это была фотография виллы, замусоленная и истертая по краям. Старик возбужденно тыкал в нее пальцем, указывая то на одну, то на другую подробность. «Вот, посмотрите!» И каждый раз оглядывался на меня, ожидая восхищения. Он так привык показывать всем эту фотографию, что, вероятно, она для него была реальнее самой виллы.

— Это мне Джимми прислал. По-моему, очень хорошая карточка. На ней все так красиво.

— Да, очень красиво. А вы давно виделись с ним?

— Он ко мне приезжал два года назад и купил мне дом, в котором я теперь живу. Оно, конечно, нам нелегко пришлось, когда он сбежал из семьи, но я теперь вижу, что он был прав. Он знал, что его ожидает большое будущее. А уж как он вышел в люди, так ничего для меня не жалел.

Ему явно не хотелось расставаться с фотографией, и он медлил, держа ее у меня перед глазами. Наконец он убрал ее в бумажник и взамен вытащил из кармана старую, растрепанную книжонку, озаглавленную: «Прыг-скок, Кэссиди».

— Вот, смотрите, это сохранилось с тех пор, как он был еще мальчишкой. Оно о многом говорит.

Он раскрыл книжку с конца и повернул так, чтобы мне было видно. На последнем, чистом листе было выведено печатными буквами: «РАСПИСАНИЕ», и рядом число: «12 сентября 1906 года». Под этим стояло:

«Подъем – 6.00 утра

Упражнения с гантелями и перелезанье через стену – 6.15–6.30

Изучение электричества и пр – 7.15–8.15

Работа – 8.30–4.30

Бейсбол и спорт – 4.30–5.00

Упражнения в красноречии и выработка осанки – 5.00–6.00

Обдумывание нужных изобретений – 7.00–9.00

ОБЩИЕ РЕШЕНИЯ

Не тратить время на Шефтерса и *(имя неразборчиво)*.

Бросить курить и жевать резинку.

Через день принимать ванну.

Каждую неделю прочитывать одну книгу или журнал для общего развития.

Каждую неделю откладывать 5 дол. *(зачеркнуто)* 3 дол.

Лучше относиться к родителям».

— Мне это попалось на глаза случайно, — сказал старик. — Но это о многом говорит, верно?

— Да, о многом.

— Он бы далеко пошел, Джимми. Бывало, как уж решит что-нибудь, так не отступит. Вы обратили внимание, как у него там написано — для

общего развития. Это у него всегда была особая забота. Он мне раз сказал, что я ем, как свинья, я его еще отодрал тогда за уши.

Ему не хотелось закрывать книгу, он вслух перечитывал одну запись за другой, и каждый раз пытливо оглядывался на меня. Подозреваю, он ждал, что я захочу списать эти записи себе для руководства.

Без четверти три явился лютеранский священник из Флашинга, и я невольно начал поглядывать в окно — не подъезжают ли другие автомобили. Смотрел в окно и отец Гэтсби. А когда время подошло к трем и в холле уже собрались в ожидании слуги, старик беспокойно заморгал глазами и стал бормотать что-то насчет дождливой погоды. Я заметил, что священник косится на часы, и, отведя его в сторонку, попросил подождать еще полчаса. Но это не помогло. Никто так и не приехал.

Около пяти часов наш кортеж из трех машин добрался до кладбища и остановился под дождем у ворот — впереди катафалк, отвратительно черный и мокрый, за ним лимузин, в котором ехали мистер Гетц, священник и я, и, наконец, многоместный открытый «форд» Гэтсби со слугами и уэст-эггским почтальоном, промокшими

до костей. Когда мы уже вошли на кладбище, я услышал, как у ворот остановилась еще машина и кто-то заспешил нам вдогонку, шлепая второпях по лужам. Я оглянулся. Это был тот похожий на филина человек в очках, которого я однажды, три месяца тому назад, застиг изумленно созерцающим книжные полки в библиотеке Гэтсби.

Ни разу с тех пор я его не встречал. Не знаю, как ему стало известно о похоронах, даже фамилии его не знаю. Струйки дождя стекали по его толстым очкам, и он снял и протер их, чтобы увидеть, как над могилой Гэтсби растягивают защитный брезент.

Я старался в эту минуту думать о Гэтсби, но он был уже слишком далек, и я только вспомнил, без всякого возмущения, что Дэзи так и не прислала ни телеграммы, ни хотя бы цветов. Кто-то за моей спиной произнес вполголоса: «Блаженны мертвые, на которых падает дождь», и Филин бодро откликнулся: «Аминь».

Мы в беспорядке потянулись к машинам, дождь подгонял нас. У самых ворот Филин заговорил со мной:

— Мне не удалось поспеть к выносу.

— Никому, видно, не удалось.

— Вы шутите! — Он чуть ли не подскочил. —

Господи боже мой! Да ведь у него бывали сотни людей!

Он опять снял очки и тщательно протер их, с одной стороны и с другой.

— Эх, бедняга! — сказал он.

Одно из самых ярких воспоминаний моей жизни — это поездки домой на рождественские каникулы, сперва из школы, поздней — из университета. Декабрьским вечером все мы, кому ехать было дальше Чикаго, собирались на старом, полутемном вокзале Юнион-стрит; забегали наспех проститься с нами и наши друзья-чикагцы, уже закружившиеся в праздничной кутерьме. Помню меховые шубки девочек из пансиона мисс Такой-то или Такой-то, пар от дыхания вокруг смеющихся лиц, руки, радостно машущие увиденным издали старым знакомым, разговоры о том, кто куда приглашен («Ты будешь у Ордуэев? У Херси? У Шульцев?»), длинные зеленые проездные билеты, зажатые в кулаке. А на рельсах, против выхода на платформу, — желтые вагоны линии Чикаго — Милуоки — Сент-Пол, веселые, как само Рождество.

И когда, бывало, поезд тронется в зимнюю ночь, и потянутся за окном настоящие, наши снега, и мимо поплывут тусклые фонари висконсинских

полустанков, воздух вдруг становился совсем другой, хрусткий, ядреный. Мы жадно вдыхали его в холодных тамбурах на пути из вагона-ресторана, остро чувствуя, что кругом все родное, но так длилось всего какой-нибудь час, а потом мы попросту растворялись в этом родном, привычно и нерушимо.

Вот это и есть для меня Средний Запад — не луга, не пшеница, не тихие городки, населенные шведами, а те поезда, что мчали меня домой в дни юности, и сани с колокольцами в морозных сумерках, и уличные фонари, и тени гирлянд остролиста на снегу, в прямоугольниках света, падающего из окон. И часть всего этого — я сам, немножко меланхоличный от привычки к долгой зиме, немножко самонадеянный от того, что рос я в каррауэевском доме, в городе, где и сейчас называют дома по имени владельцев. Я вижу теперь, что, в сущности, у меня получилась повесть о Западе, — ведь и Том, и Гэтсби, и Дэзи, и Джордан, и я — все мы с Запада, и, быть может, всем нам одинаково недоставало чего-то, без чего трудно освоиться на Востоке.

Даже и тогда, когда Восток особенно привлекал меня, когда я особенно ясно отдавал себе отчет в его превосходстве над жиреющими от скуки, рас-

коряченными городишками за рекой Огайо, где досужие языки никому не дают пощады, кроме разве младенцев и дряхлых стариков, — даже и тогда мне в нем чудилось какое-то уродство. Уэст-Эгг я до сих пор часто вижу во сне. Это скорее не сон, а фантастическое видение, напоминающее ночные пейзажи Эль Греко: сотни домов банальной и в то же время причудливой архитектуры, сгорбившихся под хмурым, низко нависшим небом, в котором плывет тусклая луна; а на переднем плане четверо мрачных мужчин во фраках несут носилки, на которых лежит женщина в белом вечернем платье. Она пьяна, ее рука свесилась с носилок, и на пальцах холодным огнем сверкают бриллианты. В сосредоточенном безмолвии мужчины сворачивают к дому — это не тот, что им нужен. Но никто не знает имени женщины, и никто не стремится узнать.

После смерти Гэтсби я не мог отделаться от подобных видений; все вокруг представлялось мне в уродливо искаженных формах, которые глаз не в силах был коррегировать. И когда закурились синеватые струйки дыма над кучами сухих, ломких листьев и белье на веревках стало лубенеть на ветру, я решил уехать домой, на Запад.

Оставалось только выполнить одно дело,

неприятное, тягостное дело, за которое лучше было, пожалуй, и не браться. Но мне хотелось привести все в порядок перед отъездом, а не полагаться на то, что равнодушное море услужливо смоет оставленный мною мусор. Я встретился с Джордан Бейкер и завел разговор о том, что мы с ней пережили вместе, и о том, что мне после пришлось пережить одному. Она слушала молча, полулежа в большом, глубоком кресле.

На ней был костюм для игры в гольф, и, помню, она показалась мне похожей на картинку из спортивного журнала — задорно приподнятый подбородок, волосы цвета осенней листвы, загар на лице того же кофейного оттенка, что спортивные перчатки, лежавшие у нее на коленях. Когда я кончил, она без всяких предисловий объявила, что выходит замуж. Я не очень поверил, хотя и знал, что, кивни она только головой, за женихами дело не станет, но притворился удивленным. На мгновение у меня мелькнула мысль — может быть, я делаю ошибку? Но я быстро переворошил в памяти все с самого начала и встал, чтобы проститься.

— А все-таки это вы мне дали отставку, — неожиданно сказала Джордан. — Вы мне дали отставку по телефону. Теперь мне уже наплевать,

но тогда я даже растерялась немного — для меня это внове.

Мы пожали друг другу руки.

— Да, между прочим, — сказала она. — Помните, у нас однажды был разговор насчет автомобильной езды?

— Вспоминаю, но не очень ясно.

— Вы тогда сказали, что неумелый водитель до тех пор в безопасности, пока ему не попадется навстречу другой неумелый водитель. Ну так вот, именно это со мной и случилось. Сама не знаю, как я могла так ошибиться. Мне казалось, вы человек прямой и честный. Мне казалось, в этом ваша тайная гордость.

— Мне тридцать лет, — сказал я. — Я пять лет как вышел из того возраста, когда можно лгать себе и называть это честностью.

Она не ответила. Злой, наполовину влюбленный и терзаемый сожалением, я повернулся и вышел.

Как-то раз, в конце октября, я увидел на Пятой авеню Тома Бьюкенена. Он шел впереди меня своей быстрой, напористой походкой, слегка отставив руки, словно в готовности отшвырнуть любую помеху, и вертя головой по сторонам. Я замедлил шаг, чтобы не нагнать его, но он в

это время остановился и, наморщив лоб, стал рассматривать витрину ювелирного магазина. Вдруг он заметил меня и поспешил навстречу, еще издали протягивая руку.

— В чем дело, Ник? Ты что, не хочешь со мной здороваться?

— Не хочу. Ты знаешь, что я о тебе думаю.

— Ты с ума сошел, Ник! — воскликнул он. — Ты просто спятил. Я понятия не имею, о чем ты говоришь.

— Том, — спросил я в упор, — что ты в тот день сказал Уилсону?

Он молча уставился на меня, и я понял, что моя догадка насчет тех трех невыясненных часов была правильна. Я повернулся и хотел уйти, но он шагнул вперед и схватил меня за плечо.

— Я сказал только правду! Он пришел, когда мы собирались в дорогу, и я передал через лакея, что у меня нет времени для разговоров. Тогда он стал силой рваться наверх. Он был в таком состоянии, что пристрелил бы меня на месте, не скажи я ему, чья была машина. У него был заряженный револьвер в кармане.

Он вдруг вызывающе повысил голос:

— А что тут такого, если я и сказал ему? Тот тип все равно добром бы не кончил. Он вам пускал

пыль в глаза, и тебе, и Дэзи, а на самом деле это был просто бандит. Переехал бедную Миртл, как собачонку, и даже не остановился.

Мне нечего было возразить, поскольку я не мог привести тот простой довод, что это неправда.

— А мне, думаешь, не было тяжело? Да когда я пошел отказываться от квартиры и увидел на буфете эту дурацкую жестянку с собачьими галетами, я сел и заплакал, как малое дитя. Черт дери, даже вспомнить жутко…

Я не мог ни простить ему, ни посочувствовать, но я понял, что в его глазах то, что он сделал, оправдано вполне. Не знаю, чего тут было больше — беспечности или недомыслия. Они были беспечными существами, Том и Дэзи, они ломали вещи и людей, а потом убегали и прятались за свои деньги, свою всепоглощающую беспечность или еще что-то, на чем держался их союз, предоставляя другим убирать за ними.

На прощанье я пожал ему руку; мне вдруг показалось глупым упорствовать, у меня было такое чувство, будто я имею дело с ребенком. И он отправился в ювелирный магазин, покупать жемчужное колье — а быть может, всего лишь пару запонок, — избавившись навсегда от моей докучливой щепетильности провинциала.

Вилла Гэтсби еще пустовала, когда я уезжал; трава на газонах разрослась так же беспорядочно, как и у меня на участке. Один из местных шоферов такси, проезжая мимо ворот, всякий раз тормозил на минуту и указывал пассажирам на видневшийся в глубине сада дом; может быть, тот самый шофер вез Дэзи и Гэтсби в Ист-Эгг в ночь, когда случилось несчастье, и, может быть, он потом сочинил целый рассказ по этому поводу. Мне не хотелось выслушивать этот рассказ, и, выйдя с вокзала, я всегда обходил его машину стороной.

По субботам я нарочно задерживался попозже в Нью-Йорке; в моей памяти были настолько живы великолепные празднества на вилле Гэтсби, что мне без конца слышались смутные отголоски музыки и смеха из соседнего сада и шум подъезжающих и отъезжающих машин. Один раз я действительно услышал, как по аллее проехала машина, и даже увидел лучи фар, неподвижно застывшие у самого дома. Вероятно, это был какой-нибудь запоздалый гость, который долгое время пропадал в чужих краях и не знал, что праздник уже окончен. Я не стал выяснять.

Накануне отъезда — мои вещи были уже уложены и мой «додж» уведен купившим его бакалейщиком — я пошел взглянуть последний

раз на эту огромную нелепую хоромину. Какой-то мальчишка нацарапал обломком кирпича непристойное слово на белых ступенях, и оно четко выделялось при свете луны. Я затер его, шаркая подошвой о камень. Потом я спустился к берегу и прилег на песок.

Почти все богатые виллы вдоль пролива уже опустели, и нигде не видно было огней, только по воде неярким пятном света скользил плывущий паром. И по мере того, как луна поднималась выше, стирая очертания ненужных построек, я прозревал древний остров, возникший некогда перед взором голландских моряков — нетронутое зеленое лоно нового мира. Шелест его деревьев, тех, что потом исчезли, уступив место дому Гэтсби, был некогда музыкой последней и величайшей человеческой мечты; должно быть, на один короткий, очарованный миг человек затаил дыхание перед новым континентом, невольно поддавшись красоте зрелища, которого он не понимал и не искал, — ведь история в последний раз поставила его лицом к лицу с чем-то, соизмеримым заложенной в нем способности к восхищению.

И среди невеселых мыслей о судьбе старого неведомого мира я подумал о Гэтсби, о том, с ка-

ким восхищением он впервые различил зеленый огонек на причале, там, где жила Дэзи. Долог был путь, приведший его к этим бархатистым газонам, и ему, наверно, казалось, что теперь, когда его мечта так близко, стоит протянуть руку — и он поймает ее. Он не знал, что она навсегда осталась позади, где-то в темных далях за этим городом, там, где под ночным небом раскинулись неоглядные земли Америки.

Гэтсби верил в зеленый огонек, свет неимоверного будущего счастья, которое отодвигается с каждым годом. Пусть оно ускользнуло сегодня, не беда — завтра мы побежим еще быстрее, еще дальше станем протягивать руки… И в одно прекрасное утро…

Так мы и пытаемся плыть вперед, борясь с течением, а оно все сносит и сносит наши суденышки обратно в прошлое.

Ночь нежна

И я уже с тобой. Как ночь неж-
на!

. . . . . .

Но здесь темно, и только звезд
лучи

Сквозь мрак листвы, как вздох
зефиров робкий,

То здесь, то там скользят по
мшистой тропке.

Дж. Китс. «Ода к соловью»

Книга первая
I

В одном приятном уголке Французской Ривьеры, на полпути от Марселя к итальянской границе, красуется большой розовый отель. Пальмы услужливо притеняют его пышущий жаром фасад, перед которым лежит полоска ослепительно яркого пляжа. За последние годы многие светские и иные знаменитости облюбовали это место в качестве летнего курорта; но лет десять назад жизнь здесь почти замирала с апреля, когда постоянная английская клиентура откочевывала на север. Теперь вокруг «Hôtel des Étrangers»[41] Госса теснится много современных построек, но к началу нашего рассказа лишь с десяток стареньких вилл вянущими кувшинками белели в кущах сосен, что тянутся на пять миль, до самого Канна.

Отель и охряный молитвенный коврик пляжа перед ним составляли одно целое. Ранним утром взошедшее солнце опрокидывало в море далекие улицы Канна, розоватые и кремовые

---

[41] notes: 41
Отель для иностранцев (*фр.*).

стены древних укреплений, лиловые вершины Альп, за которыми была Италия, и все это лежало на воде, дробясь и колеблясь, когда от покачивания водорослей близ отмели набегала рябь. В восьмом часу появлялся на пляже мужчина в синем купальном халате; сняв халат, он долго собирался с духом, кряхтел, охал, смачивал не прогревшейся еще водой отдельные части своей особы и, наконец, решался ровно на минуту окунуться. После его ухода пляж около часу оставался пустым. Вдоль горизонта ползло на запад торговое судно; во дворе отеля перекрикивались судомойки; на деревьях подсыхала роса. Еще час, и воздух оглашался автомобильными гудками с шоссе, которое петляло в невысоких Маврских горах, отделяющих побережье от Прованса, от настоящей Франции.

В миле к северу, там, где сосны уступают место запыленным тополям, есть железнодорожный полустанок, и с этого полустанка в одно июньское утро 1925 года небольшой открытый автомобиль вез к отелю Госса двух женщин, мать и дочь. Лицо матери было еще красиво той блеклой красотой, которая вот-вот исчезнет под сетью багровых прожилок; взгляд был спокойный, но в то же время живой и внимательный. Однако

всякий поспешил бы перевести глаза на дочь, привороженный розовостью ее ладоней, ее щек, будто освещенных изнутри, как бывает у ребенка, раскрасневшегося после вечернего купанья. Покатый лоб мягко закруглялся кверху, и волосы, обрамлявшие его, вдруг рассыпались волнами, локонами, завитками пепельно-золотистого оттенка. Глаза большие, яркие, ясные, влажно сияли, румянец был природный — это под самой кожей пульсировала кровь, нагнетаемая ударами молодого, крепкого сердца. Вся она трепетала, казалось, на последней грани детства: без малого восемнадцать — уже почти расцвела, но еще в утренней росе.

Когда внизу засинело море, слитое с небом в одну раскаленную полосу, мать сказала:

— Я почему-то думаю, что нам не понравится здесь.

— По-моему, уже вообще пора домой, — отозвалась дочь.

Они говорили без раздражения, но чувствовалось, что их никуда особенно не тянет и они томятся от этого — тем более что ехать куда попало все же не хочется. Искать развлечений их побуждала не потребность подстегнуть усталые нервы, но жадность школьников, которые,

успешно закончив год, считают, что заслужили веселые каникулы.

— Дня три пробудем, а потом домой. Я сразу же закажу по телеграфу каюту.

Переговоры о номере в отеле вела дочь; она свободно говорила по-французски, но в самой безупречности ее речи было что-то заученное. Когда они водворились в больших светлых комнатах на первом этаже, девушка подошла к стеклянной двери, сквозь которую палило солнце, и, переступив порог, очутилась на каменной веранде, опоясывавшей здание. У нее была осанка балерины; она несла свое тело легко и прямо, при каждом шаге не оседая книзу, но словно вытягиваясь вверх. Ее тень, совсем коротенькая под отвесными лучами, лежала у ее ног; на миг она попятилась — от горячего света больно стало глазам. В полусотне ярдов плескалось Средиземное море, понемногу отдавая беспощадному солнцу свою синеву; у самой балюстрады пекся на подъездной аллее выцветший «бьюик».

Все кругом словно замерло, только на пляже шла хлопотливая жизнь. Три английские нянюшки, углубясь в пересуды, монотонные, как причитания, вязали носки и свитеры викторианским узором, модным в сороковые, в

шестидесятые, в восьмидесятые годы; ближе к воде под большими зонтами расположились с десяток мужчин и дам, а с десяток их отпрысков гонялись по мелководью за стайками непуганых рыб или же лежали на песке, подставив солнцу голые, глянцевитые от кокосового масла тела.

Розмэри не успела выйти на пляж, как мимо нее промчался мальчуган лет двенадцати и с ликующим гиканьем врезался в воду. Под перекрестным огнем испытующих взглядов она сбросила халат и последовала его примеру. Проплыв несколько ярдов, она почувствовала, что задевает дно, стала на ноги и пошла, с усилием преодолевая бедрами сопротивление воды. Дойдя до места, где ей было по плечи, она оглянулась; лысый мужчина в трусиках и с моноклем, выпятив волосатую грудь и втянув нахально выглядывающий из трусиков пуп, внимательно смотрел на нее с берега. Встретив ее ответный взгляд, мужчина выронил монокль, который тут же исчез в курчавых зарослях на его груди, и налил себе из фляжки стаканчик чего-то.

Розмэри опустила лицо в воду и быстрым кролем поплыла к плоту. Вода подхватила ее, любовно спрятала от жары, просачиваясь в волосы, забираясь во все складочки тела. Розмэри

нежилась в ней, барахталась, кружилась на месте. Наконец, запыхавшаяся от этой возни, она добралась до плота, но какая-то дочерна загорелая женщина с очень белыми зубами встретила ее любопытным взглядом, и Розмэри, внезапно осознав собственную белесую наготу, перевернулась на спину, и волны понесли ее к берегу. Как только она вышла из воды, с ней сейчас же заговорил волосатый мужчина с фляжкой.

— Имейте в виду, дальше плота заплывать нельзя — там могут быть акулы. — Национальность его трудно было определить, но по-английски он говорил, слегка растягивая слова на оксфордский манер. — Вчера только они сожрали двух моряков с флотилии, которая стоит в Гольф-Жуан.

— Боже мой! — воскликнула Розмэри.

— Они охотятся за отбросами, знают, что вокруг флотилии всегда есть чем поживиться.

Сделав стеклянные глаза в доказательство того, что заговорил лишь из желания предостеречь ее, он отступил на два крошечных шажка и налил себе еще стаканчик.

Приятно смущенная приливом общего внимания, который она ощутила во время этого разговора, Розмэри оглянулась в поисках места. По-видимому, каждое семейство считало своей

собственностью клочок пляжа вокруг зонта, под которым оно расположилось; кроме того, от зонта к зонту летели замечания, шутки, время от времени кто-нибудь вставал и переходил к соседям — словом, тут царил дух замкнутого сообщества, вторгнуться в которое было бы неделикатно. Чуть подальше, там, где берег усеян был галькой и обрывками засохших водорослей, Розмэри заметила группу людей с кожей, еще не тронутой загаром, как у нее самой. Вместо огромных пляжных зонтов они укрывались под обыкновенными зонтиками и выглядели новичками на этом берегу. Розмэри отыскала свободное местечко посередине между темнокожими и светлокожими, разостлала на песке свой халат и улеглась.

Сперва она только улавливала неясный гул голосов, слышала скрип шагов, огибавших ее распростертое тело, да по мельканию теней угадывала, когда кто-то, проходя, на миг загораживал солнце. Какой-то любопытный пес обдал ей шею теплым, частым дыханием; от горячего солнца уже саднило кожу, а над ухом звучало тихое, утомленное «оххх» отползающих волн. Мало-помалу она стала различать отдельные голоса и даже выслушала целую историю о том, как

некто, презрительно названный «этот тип Норт», вчера похитил официанта в одном каннском кафе, чтобы распилить его надвое. Рассказчица была седая особа в вечернем туалете; она, видимо, не успела переодеться после вчерашнего вечера: волосы ее украшала диадема, а с плеча уныло свешивался увядший цветок. Охваченная безотчетной антипатией к ней и ее спутникам, Розмэри повернулась к ним спиной.

С другой стороны, совсем неподалеку, лежала под зонтом молодая женщина, что-то выписывавшая из раскрытой на песке книги. Она спустила с плеч лямки купального костюма, и ее обнаженная спина блестела на солнце; нитка матового жемчуга оттеняла ровный апельсинно-коричневый загар. В красивом лице было что-то жесткое и в то же время беспомощное. Ее глаза безразлично скользнули по Розмэри. Рядом сидел стройный мужчина в жокейской шапочке и трусиках в красную полоску; дальше та белозубая женщина, которую Розмэри заметила на плоту; она сразу увидела Розмэри и, как видно, узнала. Еще дальше — мужчина в синих трусиках, с длинным лицом и открытой солнцу львиной гривой был занят оживленной беседой с молодым человеком явно романского происхождения в черных

трусиках; разговаривая, они перебирали песок, выдергивая кусочки засохших водорослей. Почти все они были, видимо, американцы, но что-то отличало их от тех американцев, с которыми ей приходилось в последнее время встречаться.

Немного спустя ей стало ясно, что человек в жокейской шапочке разыгрывает перед своей компанией какую-то комическую сценку; он с важным видом разгребал граблями песок и при этом говорил что-то, видимо, очень смешное и никак не вязавшееся с невозмутимо серьезным выражением его лица. Дошло до того, что уже каждая его фраза, едва ли не каждое слово стали вызывать взрыв веселого хохота. Даже те, кто, как и Розмэри, находился слишком далеко, наставляли антеннами уши, стараясь уловить не долетавшие до них слова, и единственным человеком на всем пляже, который оставался равнодушным к происходящему, была молодая женщина с жемчугом на шее. Она, быть может, из собственнической скромности, лишь ниже склонялась над своими выписками после каждой вспышки веселья.

Прямо с неба над Розмэри раздался вдруг голос волосатого господина с моноклем:

— А вы здорово плаваете.

Розмэри запротестовала.

— Нет, кроме шуток. Моя фамилия Кампион. Тут есть одна дама, она вас на прошлой неделе видела в Сорренто и говорит, что знает, кто вы, и очень хотела бы с вами познакомиться.

Розмэри, скрывая досаду, оглянулась и увидела, что все светлокожие выжидательно на нее смотрят. Она неохотно встала и пошла к ним.

— Миссис Абрамс… Миссис Маккиско… Мистер Маккиско… Мистер Дамфри…

— А мы знаем, кто вы, — сказала дама в вечернем туалете. — Вы Розмэри Хойт, я в Сорренто сразу вас узнала и спросила у портье, и мы все в восторге от вас и от вашего фильма и хотели бы знать, почему вы не в Америке и не снимаетесь еще в каком-нибудь таком же дивном фильме.

Они суетливо задвигались, освобождая ей место. Узнавшая ее дама вопреки своей фамилии была не еврейка. Она принадлежала к породе тех «свойских старушек», которые благодаря превосходному пищеварению и полной душевной глухоте остаются законсервированными на два поколения вперед.

— Нам хотелось предупредить вас, чтоб вы были поосторожнее с солнцем, — продолжала щебетать дама, — в первый день легко обжечься,

а *вам* нужно беречь свою кожу, но здесь все так цирлих-манирлих, на этом пляже, что мы побоялись, а вдруг вы обидитесь.

II

— Мы думали, вы, может быть, тоже участвуете в заговоре, — сказала миссис Маккиско. Это была сокрушительно-напористая молодая особа с хорошеньким личиком и оловянными глазами. — Тут не разберешь, кто участвует, а кто нет. Мой муж целый час очень любезно разговаривал с одним господином, а оказалось, он один из главных участников, чуть ли не второе лицо.

— В заговоре? — недоуменно спросила Розмэри. — Разве существует какой-то заговор?

— Душенька, откуда же нам знать? — сказала миссис Абрамс с конвульсивным смешком, характерным для многих толстых женщин. — Мы-то, во всяком случае, не участвуем. Мы галерка.

Мистер Дамфри, белобрысый молодой человек женственного склада, вставил: «Мамаше Абрамс любой заговор нипочем», — на что Кампион погрозил ему моноклем и сказал:

— Но, но, Ройял, не надо злословить.

Розмэри беспокойно поеживалась, сожалея, что

матери нет рядом. Эти люди были ей несимпатичны, особенно когда она невольно сравнивала их с интересной компанией в другом конце пляжа. Ее мать обладала скромным, но безошибочным светским тактом, который позволял быстро и умело выходить из затруднительных положений. А Розмэри очень легко попадала в такие положения, чему виной была сумбурная смесь французского воспитания с наложившимся позднее американским демократизмом — тем более что знаменитостью она сделалась всего лишь полгода назад.

Мистеру Маккиско, сухопарому господину лет тридцати, рыжему и в веснушках, упоминание о «заговоре» явно не нравилось. Он сидел лицом к морю и смотрел на волны, но тут, метнув быстрый взгляд на жену, повернулся к Розмэри и сердито спросил ее:

— Давно приехали?

— Сегодня только.

— А-а.

Должно быть, он счел, что этим уже дано разговору другое направление, и взглядом призвал остальных продолжать в том же духе.

— Думаете пробыть здесь все лето? — невинно спросила миссис Маккиско. — Если так, вы, веро-

ятно, увидите, чем кончится заговор.

— Ради бога, Вайолет, довольно об этом! — взвился ее супруг. — Найди себе, ради бога, другую тему!

Миссис Маккиско склонилась к миссис Абрамс и проговорила громким шепотом:

— У него нервы.

— Никаких у меня нет нервов, — зарычал мистер Маккиско. — Вот именно, никаких.

Он явно кипятился — бурая краска расползлась по его лицу, смешав все доступные этому лицу выражения в какую-то неопределенную кашу. Смутно чувствуя это, он поднялся и пошел в воду. Жена догнала его на полпути, и Розмэри, воспользовавшись случаем, последовала за ними.

Сделав несколько шагов, мистер Маккиско шумно втянул в себя воздух, бросился вплавь и отчаянно заколотил вытянутыми руками по воде, что, по-видимому, должно было изображать плаванье кролем. Очень скоро воздуха ему не хватило, он встал на ноги и оглянулся, явно удивленный, что все еще находится в виду берега.

— С дыханием у меня не ладится. Не знаю, как правильно дышать. — Он вопросительно смотрел на Розмэри.

— Выдох делается под водой, — объяснила

Розмэри. — А на каждый четвертый счет вы поднимаете голову и делаете вдох.

— Все остальное для меня пустяки, вот только дыхание. Поплывем к плоту?

На плоту, мерно покачивавшемуся от движения волн, лежал человек с львиной гривой. Как только миссис Маккиско ухватилась за край настила, плот неожиданно накренился и сильно толкнул ее в плечо, но человек с львиной гривой вскочил и помог ей влезть.

— Я испугался, как бы вас не стукнуло по голове.

Голос его звучал неуверенно и даже робко; Розмэри удивило необыкновенно печальное выражение его лица, скуластого, как у индейца, с длинной верхней губой и огромными, глубоко запавшими глазами цвета темного золота. Свои слова он произнес одной стороной рта, как будто надеялся, что они дойдут до миссис Маккиско каким-то кружным путем и это умерит их силу. Минуту спустя он прыгнул в воду, и его длинное тело, неподвижно распластавшись на волне, пошло к берегу.

Розмэри и миссис Маккиско следили за ним глазами. Когда затухла инерция толчка, он круто сложился пополам, на миг выставив из воды

худые ляжки, и тотчас же исчез под водой, только пена вскипела на поверхности.

— Прекрасный пловец, — сказала Розмэри.

Миссис Маккиско откликнулась с неожиданной яростью:

— Зато дрянной музыкант. — Она повернулась к мужу, который после двух неудачных попыток кое-как вскарабкался на плот и, обретя равновесие, хотел было принять непринужденную позу, но пошатнулся и чуть не упал. — Я сказала, что Эйб Норт, может быть, и хороший пловец, но музыкант он дрянной.

— Да, да, — ворчливо согласился Маккиско. Видимо, это он определял круг мыслей своей жены и не разрешал ей особых вольностей.

— Лично я — поклонница Антейля. — Миссис Маккиско снова повернулась к Розмэри, на этот раз с некоторым вызовом. — Антейля и Джойса. У вас там, в Голливуде, возможно, и не слыхали о таких, но, к вашему сведению, мой муж — автор первой критической работы об «Улиссе», появившейся в Америке.

— Курить хочется, — сказал мистер Маккиско. — Больше меня в данный момент ничего не интересует.

— У Джойса вся сила в подтексте — верно я

говорю, Элберт?

Вдруг она осеклась. Невдалеке от берега купалась женщина в жемчужном колье вместе со своими двумя детьми, и в это мгновение Эйб Норт, поднырнув под одного из них, вырос из воды, точно вулканический остров, с ребенком на плечах. Малыш визжал от страха и восторга, а женщина смотрела на них без улыбки, спокойно и ласково.

— Это его жена? — спросила Розмэри.

— Нет, это миссис Дайвер. Они не в отеле живут. — Ее глаза, точно объектив фотоаппарата, целились в лицо купальщицы. Потом она резко повернулась к Розмэри: — Вы бывали за границей раньше?

— Да, я училась в Париже.

— А, тогда вы должны знать, что интересно провести время во Франции можно, только если заведешь знакомства среди настоящих французов. Ну что могут вынести отсюда эти люди? — Она указала левым плечом на берег. — Живут тесным кружком, варятся в собственном соку. Вот у нас были рекомендательные письма ко всем самым известным художникам и писателям в Париже. И мы прекрасно там прожили.

— Могу себе представить.

— Вы знаете, мой муж сейчас заканчивает свой первый роман.

— Вот как? — рассеянно спросила Розмэри. Она думала о том, удалось ли ее матери заснуть, несмотря на жару.

— Да, замысел тот же, что и в «Улиссе», — продолжала миссис Маккиско. — Только у Джойса одни сутки, а у моего мужа — целое столетие. Он берет разложившегося старого аристократа-француза и приводит его в столкновение с веком техники…

— Ради бога, Вайолет, перестань всем рассказывать замысел моего романа, — перебил мистер Маккиско. — Я вовсе не желаю, чтобы он сделался общим достоянием еще до того, как книга выйдет из печати.

Розмэри вернулась на берег и, прикрыв халатом уже саднившие плечи, снова улеглась на солнце. Человек в жокейской шапочке обходил теперь своих спутников с бутылкой и стаканчиками в руках, и настроение их все повышалось, а расстояние между ними становилось все меньше, пока наконец все зонты не сбились вместе, и под одним общим навесом сгрудилась вся компания; как поняла Розмэри, кто-то собирался уезжать, и решено было последний раз выпить на прощанье.

Даже дети, возившиеся в песке, почувствовали, где центр веселья, и потянулись туда. Розмэри почему-то казалось, что все веселье исходит от человека в жокейской шапочке.

На небе и на море господствовал полдень — даже белая панорама Канна вдали превратилась в мираж освежительной прохлады; красногрудый, как малиновка, парусник входил в бухту, волоча за собой темный хвост — след открытого моря, еще сохранявшего свою синеву. Казалось, все побережье застыло в неподвижности, и только здесь, под зонтами, просеивавшими солнечный свет, не прекращалась пестрая, разноголосая кутерьма.

Розмэри увидела Кампиона, который шел к ней, но остановился, не дойдя нескольких шагов; она поспешила закрыть глаза, притворяясь спящей, и когда она снова приоткрыла их, перед ней качались два зыбких, расплывчатых столба — чьи-то ноги. Этот кто-то пытался шагнуть в большое, желтое, как песок, облако, но оно уплыло в бескрайность раскаленного неба. Розмэри и в самом деле уснула.

Проснулась она вся в поту и увидела, что на пляже никого нет, только человек в жокейской шапочке складывает последний зонт. Когда

Розмэри села, растерянно моргая глазами, он подошел и сказал:

— А я уже решил было разбудить вас перед уходом. Нехорошо в первый день слишком долго печься на солнце.

— Спасибо. — Розмэри глянула на свои малиновые ноги. — Боже мой!

Она рассмеялась с комическим ужасом, надеясь, что разговор будет продолжен, но Дик Дайвер уже тащил складную кабину и зонт к дожидавшемуся у пляжа автомобилю. Розмэри пошла в воду, чтобы смыть с тела пот. Тем временем он возвратился, собрал раскиданные по песку лопатку, грабли, сито и затолкал все это в расщелину между камнями. Потом огляделся по сторонам, проверяя, не забыто ли что-нибудь.

— Который час, вы не знаете? — крикнула ему Розмэри.

— Около половины второго.

Оба оглянулись на горизонт.

— Час неплохой, — сказал Дик Дайвер. — Не самый худший в сутках.

Он посмотрел на нее, и на миг она жадно и доверчиво окунулась в ярко-синий мир его глаз. Потом он взвалил на плечи остатки своего скарба и зашагал к машине, а Розмэри вышла из воды,

стряхнула песок с халата и медленно побрела в отель.

III

Было уже почти два часа, когда Розмэри с матерью вошли в ресторанный зал. Сложный узор теней, падавших на пустые столы, беспрестанно перемещался оттого, что ветер шевелил ветви сосен за окнами. Два официанта убирали посуду, громко тараторя по-итальянски, но сразу замолчали при их появлении и поторопились принести оскудевший вариант полагающегося по распорядку ленча.

— Я на пляже влюбилась, — сказала Розмэри.

— В кого это?

— Сначала в целую симпатичную компанию. А потом в одного мужчину.

— Ты с ним разговаривала?

— Немножко. Очень хорош. Почти совсем рыжий. — Она уплетала за обе щеки. — Впрочем, он женат — обычная история.

Мать была лучшей подругой дочери и руководила ею, делая на это свою последнюю в жизни ставку — явление, довольно распространенное в околотеатральной среде, но миссис Спирс отли-

чалась от других тем, что не искала тут способа отыграться за собственные неудачи. Она не была в обиде на судьбу — два благополучных брака, оба завершившиеся вдовством, укрепили жизнерадостный стоицизм, заложенный в ней природой. Один из ее мужей был кавалерийским офицером, другой — военным врачом, и оба оставили ей небольшой капитал, который она старательно сберегала для Розмэри. Она не баловала дочь и этим сумела закалить ее характер, но в то же время не щадила себя, пестуя ее заботливо и любовно, и этим воспитала в ней идеализм, уже давший свои плоды: Розмэри боготворила мать и на все смотрела ее глазами. А потому, при всей своей детской непосредственности, она была защищена двойной броней, материнской и собственной, вполне по-взрослому чураясь всякой фальши, пошлости и дешевки. Однако после внезапного успеха Розмэри в кино миссис Спирс почувствовала, что пора отлучить ее от груди, и вполне искренне готова была не огорчиться, а порадоваться, если этот кипучий, страстный и взыскательный идеализм сосредоточится на ком-либо, помимо матери.

— Так тебе здесь нравится? — спросила она.

— Здесь можно очень славно пожить, если

познакомиться с той компанией. На пляже были еще люди, но довольно противные. И меня узнали — удивительно, куда ни приедешь, везде, оказывается, видели «Папину дочку».

Миссис Спирс дала улечься этому дуновенью тщеславия, потом сказала прозаически деловито:

— А кстати, когда ты думаешь повидаться с Эрлом Брэди?

— Можно съездить даже сегодня вечером, если ты не устала.

— Я не поеду, поезжай одна.

— Ну давай отложим до завтра.

— Я вообще хочу, чтобы ты поехала одна. Это не так далеко — и ты, кажется, достаточно хорошо говоришь по-французски.

— Но если мне не хочется, мама?

— Не хочешь сегодня, поезжай в другой раз, но ты должна это сделать, пока мы здесь.

— Хорошо, мама.

После завтрака на обеих вдруг напала тоска, которая часто одолевает американцев в тихих уголках Европы. Ни каких-либо внешних побуждений, ни голосов, на которые нужно откликаться, ни обрывков собственных мыслей, услышанных от кого-то другого, и кажется, что

сама жизнь остановилась и не идет дальше.

— Через три дня мы отсюда уедем, хорошо, мама? — сказала Розмэри, когда они вернулись к себе в номер. Снаружи легкий ветерок с моря бередил сгустившийся зной, обдувал стволы деревьев, гнал струйки горячего воздуха в просветы жалюзи.

— А как же твоя пляжная любовь?

— Никого я не люблю, кроме тебя, мамочка.

Розмэри вышла в вестибюль и справилась у Госса-отца насчет поездов до Канна. Швейцар в светло-коричневой ливрее, скучавший около конторки, уставился на нее вытаращенными глазами, но тут же спохватился, вспомнив о солидности, требуемой его métier.[42] Розмэри поехала на станцию в автобусе вместе с двумя официантами из ресторана; они всю дорогу почтительно безмолвствовали, и ее это раздражало, ей хотелось крикнуть: «Да не молчите вы, разговаривайте, смейтесь, будьте самими собой. Мне это ничуть не помешает!»

В купе первого класса духота была нестерпимая; от пестрых рекламных плакатов железнодорожных компаний — Акведук в Арле, Амфитеатр

---

[42] notes: 42
Профессией *(фр.)*.

в Оранже, зимний спорт в Шамони — больше веяло свежестью, чем от неподвижного моря, бесконечно тянувшегося за окном. В отличие от американских поездов, которые живут собственной напряженной жизнью, едва снисходя к пассажирам — пришельцам из мира иных, не столь головокружительных скоростей, — этот поезд был частью земли, по которой шел. Его дыханье сдувало пыль с пальмовых листьев, его зола вместе с сухим навозом удобряла почву в садах. Розмэри казалось, что стоит протянуть в окно руку, и можно рвать на ходу цветы.

В Канне у вокзала стояло с десяток наемных экипажей; извозчики мирно дремали в ожидании седоков. Вдоль набережной вытянулись большие отели, казино, фешенебельные магазины, обратив к летнему морю глухие, железные маски фасадов. Трудно было поверить, что когда-нибудь здесь наступает «сезон», и Розмэри, не чуждой воздействию моды, сделалось как-то не по себе, словно она проявила нездоровый вкус к мертвечине, словно встречные недоумевают, зачем она здесь в этот период затишья между радостями минувшей зимы и радостями грядущей — здесь, а не на севере, где сейчас бурлит настоящая жизнь.

Выйдя из аптеки, куда она заходила купить кокосового масла, Розмэри увидела женщину с целой охапкой диванных подушек, направлявшуюся к стоявшему у тротуара автомобилю. Она сразу узнала миссис Дайвер. Из окошка автомобиля залаяла черная такса, задремавший шофер встрепенулся и кинулся отворять дверцу хозяйке. Та уселась — прямая, собранная, на прелестном лице ни тени улыбки, глаза бесстрашно и зорко устремлены в пустоту. Из-под ярко-красного платья видны были загорелые ноги без чулок. Густые темные волосы отливали золотом, как шерсть у собаки породы чау-чау.

До обратного поезда оставалось еще полчаса, и Розмэри зашла в «Café des Alliés» на Круазетт, где над столиками зеленел полумрак листвы и оркестр услаждал воображаемую толпу космополитов «Воспоминанием о карнавале» и прошлогодними американскими шлягерами. Она купила «Le Temps» и «Сатердей ивнинг пост» для матери и за стаканом лимонада проглядывала напечатанные в «Пост» мемуары какой-то русской княгини; зыбкие условности девяностых годов казались ей сейчас реальней и ближе, чем заголовки сегодняшней французской газеты. Тут сказывалась все та же безотчетная тоска, что

навалилась на нее еще в отеле, — она привыкла видеть все нелепости континентального бытия четко разграниченными в газетах на комедию и трагедию и не умела сама выделить наиболее существенное для себя, а потому жизнь во Франции казалась ей теперь однообразной и скучной. Тоску еще усугубляли унылые мелодии оркестра, напоминавшие ту надрывную музыку, под которую извиваются эстрадные акробаты. Она рада была вернуться в «Hôtel des Étrangers».

Из-за солнечных ожогов пришлось на следующий день отказаться от купанья в море, поэтому они с матерью наняли автомобиль — основательно поторговавшись, так как Розмэри именно во Франции впервые узнала цену деньгам, — и поехали вдоль Ривьеры, этой дельты многих рек. Шофер, настоящий русский боярин времен Ивана Грозного, добровольно взял на себя обязанности гида, и такие названия, как Ницца, Канн, Монте-Карло, засияли во всем блеске сквозь тусклый камуфляж обыденности, повествуя о государях, приезжавших сюда пировать или умирать, о раджах, швырявших английским танцовщицам глаза Будды, о русских князьях, превращавших свои дни и ночи в сплошные балтийские сумерки воспоминаниями о былом икорном раздолье.

Русский дух был особенно силен на побережье — всюду попадались русские книжные магазины, русские бакалейные лавки, сейчас, правда, заколоченные. В те годы с окончанием сезона на Ривьере закрывались православные церкви, и запасы сладкого шампанского, любимого напитка русских, убирались в погреба до их возвращения. «В будущем сезоне вернемся», — говорили они, уезжая, но то были праздные обещания: они не возвращались никогда.

Приятно было ехать обратно, уже под вечер, над морем, причудливо расцвеченным, словно сердолики и агаты детских лет — зеленоватым, как млечный сок, голубым, как вода после стирки, винно-алым. Приятно было проезжать мимо домиков, где обитатели мирно закусывали на веранде, слушать звуки пианолы из увитых виноградом деревенских таверн. Когда машина свернула с Корниша и покатила к отелю Госса среди темной зелени деревьев, чинно выстроившихся по обочинам, над развалинами древнего акведука уже висела луна…

Где-то в горах над отелем шло гулянье, звуки музыки вместе с призрачным лунным светом просеивались сквозь москитную сетку, которой были затянуты окна номера. Вслушиваясь в зву-

ки далекого чужого веселья, Розмэри думала о тех людях, что так понравились ей вчера на берегу. Может быть, завтра она их опять встретит; впрочем, они, как видно, привыкли держаться особняком, и тот кусок пляжа, на котором они располагаются со своими зонтами, циновками, собаками и детьми, словно обнесен невидимой оградой. Но одно она твердо решила: свои оставшиеся два утра она не потратит на компанию Маккиско.

IV

Все устроилось само собой. Светлокожих на пляже еще не было, и не успела Розмэри разостлать свой халат и лечь, как от группы слева отделились двое мужчин — тот, в жокейской шапочке, и высокий блондин, любитель распиливать официантов пополам, — и подошли к ней.

— Доброе утро, — сказал Дик Дайвер. Но тут же не выдержал: — Слушайте, ожоги ожогами, но почему вас вчера совсем не было видно? Мы даже забеспокоились.

Розмэри села, и ее приветливая улыбка ясно показала, что она отнюдь не обижена этой непрошеной заботой.

— А мы вам хотели предложить: перебирайтесь-ка поближе к нам, — продолжал Дик Дайвер. — У нас найдется, что выпить и чем закусить, так что вы не прогадаете, приняв наше приглашение.

Он был добр, он был обаятелен; его голос сулил ей защиту и покровительство, а в будущем — целый новый, неведомый мир, бесконечную череду перспектив, одна другой увлекательнее. Представляя ее своим друзьям, он сумел обойтись без упоминания ее имени, в то же время дав ей понять, что все отлично знают, кто она, но умеют уважать ее право на частную жизнь — подобной деликатности Розмэри почти не встречала со времени своего успеха, разве что среди товарищей по профессии.

Николь Дайвер, подставив солнцу подвешенную к жемчужному колье спину, искала в поваренной книге рецепт приготовления цыплят по-мэрилендски. Розмэри решила, что ей должно быть года двадцать четыре; на первый взгляд казалось, что для нее вполне достаточно расхожего определения «красивая женщина», но если присмотреться к ее лицу, возникало странное впечатление — будто это лицо задумано было сильным и значительным, с крупной роденовской лепкой черт, с той яркостью красок

и выражения, которая неизбежно рождает мысль о темпераментном, волевом характере; но при отделке резец ваятеля стесал его до обыкновенной красивости — настолько, что еще чуть-чуть — и оно стало бы непоправимо банальным. Особенно эта двойственность сказывалась в рисунке губ; изогнутые, как у красавицы с журнальной обложки, они в то же время обладали неуловимым своеобразием, присущим и остальным чертам этого лица.

— Вы здесь надолго? — спросила Николь Дайвер; у нее был низкий, резковатый голос.

Розмэри вдруг показалось вполне возможным задержаться на недельку.

— Да нет, едва ли, — неопределенно ответила она. — Мы уже давно путешествуем по Европе — в марте приехали в Сицилию и с тех пор потихоньку двигаемся на север. Я в январе во время съемок схватила воспаление легких, и мне нужно было поправиться после болезни.

— Ай-я-яй! Как же это вы?

— Простудилась в воде. — Розмэри не очень хотелось пускаться в биографические подробности. — Снимали эпизод, где я бросаюсь в канал в Венеции. Декорация стоила очень дорого, и устанавливать ее еще раз было бы сложно. Вот

и пришлось мне прыгать в воду раз десять, не меньше, — а у меня уже был грипп, только я не знала. Мама привела врача прямо на съемочную площадку, но все равно дело кончилось воспалением легких. — Она сразу переменила тему, прежде чем кто-либо успел сказать слово. — А вам нравится здесь?

— Им это место не может не нравиться, — неторопливо проговорил Эйб Норт. — Они сами его изобрели. — Он неторопливо повернул свою великолепную голову и поглядел на чету Дайверов с нежностью.

— Как так?

— Здешний отель всего второй год не закрывается в летнее время, — пояснила Николь. — В прошлом году мы уговорили Госса оставить на лето одного повара, одного официанта и одного посыльного. Расходы оправдались, а в этом году дела идут совсем хорошо.

— Но вы, кажется, не живете в отеле?

— У нас тут дом наверху, в Тарме.

— Расчет был такой, — сказал Дик, переставляя один из зонтов, чтобы согнать с плеча Розмэри квадратик солнца. — Северные курорты, как, например, Довиль, заполнены русскими и англичанами, которые привыкли к холоду, ну а

половина американцев живет в тропическом климате и потому охотно будет приезжать сюда.

Молодой человек с романской наружностью перелистывал номер «Нью-Йорк геральд».

— Попробуйте-ка определить национальность этих особ, — сказал он вслух и прочел с легким французским акцентом: — «В „Палас-отеле“ в Веве остановились господин Пандели Власко, госпожа Якобыла — честное слово, так и написано, — Коринна Медонка, госпожа Паше, Серафим Туллио, Мария Амалия Рото Маис, Мозес Тейбель, госпожа Парагорис, Апостол Александр, Иоланда Иосфуглу и Геновефа де Момус». Вот кто меня особенно пленяет — Геновефа де Момус. Пожалуй, стоит прокатиться в Веве, чтоб поглядеть, какова собой Геновефа де Момус.

Он вскочил на ноги, как от толчка; быстрым, сильным движением распрямив тело. Он казался несколькими годами моложе и Дайвера, и Норта. Высокого роста, крепкий, но поджарый — только налитые силой плечи и руки выглядели массивными, — он был бы, что называется, красивый мужчина, если бы постоянная кислая гримаска не портила выражения его лица, освещенного удивительно яркими карими глазами. И все-таки неистовый блеск этих глаз запоминался, а ка-

призный рот и морщины пустой и бесплодной досады на юношеском лбу быстро стирались из памяти.

— В списке американцев, прибывших на прошлой неделе, тоже было несколько хороших фамилий, — сказала Николь. — Миссис Ивлин Чепчик и еще — кто там был еще?

— Еще был мистер С. Труп, — сказал Дайвер, тоже поднимаясь на ноги. Он взял свои грабли и пошел вдоль пляжа, тщательно выгребая и отбрасывая попадавшиеся в песке камушки.

— Да, да — С. Труп, и не выговоришь без содрогания, правда?

С Николь было как-то удивительно спокойно, спокойнее даже, чем с матерью, подумала Розмэри. Эйб Норт и Барбан — молодой француз — обсуждали события в Марокко, а Николь, найдя наконец нужный рецепт и списав его, занялась шитьем. Розмэри с любопытством разглядывала их пляжное имущество: четыре больших зонта, дававших густую, надежную тень, складная кабина для переодевания, надувной резиновый конь — еще незнакомые ей новинки послевоенной промышленности, первые образцы возрожденного производства предметов роскоши, нашедшие первых потребителей. Су-

дя по всему, новые знакомые принадлежали к светскому обществу, но Розмэри вопреки представлениям, издавна внушенным ей матерью, не могла заставить себя смотреть на них как на трутней, от которых нужно держаться подальше. Даже в этот час разнеживающего бдения под утренним солнцем их праздная неподвижность казалась ей осмысленной, деятельной, устремленной к какой-то цели, как будто перед нею совершался акт особого, непонятного ей творчества. Незрелый ум Розмэри не пытался вникнуть в суть их отношений друг к другу, ее занимало только, как они отнесутся к ней, но она смутно угадывала, что тут существует сложное переплетение чувств — догадка, выразившаяся в ее мыслях коротенькой формулой: «живут интересно».

Она стала присматриваться ко всем троим мужчинам, поочередно выделяя каждого. Все трое были, хоть и по-разному, привлекательны внешне, все обладали какой-то особой мягкостью манер, видимо органически им присущей, а не продиктованной обстоятельствами — и так же отличавшейся от простецких ухваток актерской братии, как подмеченная ею раньше душевная деликатность отличалась от грубова-

того панибратства режиссеров, представлявших интеллигенцию в ее жизни. Актеры и режиссеры — других мужчин она до сих пор не встречала, если не считать студентиков, жаждущих любви с первого взгляда, с которыми она познакомилась прошлой осенью на балу в Йельском университете и которые показались ей все на одно лицо.

Эти трое были совсем другими. Барбан, наименее выдержанный из трех, скептик и насмешник, казался несколько поверхностным, порой даже небрежным в обращении. В Эйбе Норте с природной застенчивостью уживался бесшабашный юмор, который привлекал и в то же время отпугивал Розмэри. Цельная натура, она сомневалась в его способности понять и оценить ее.

Но Дик Дайвер — тут не нужны были никакие оговорки. Она молча любовалась им. Солнце и ветер придали его коже красноватый оттенок, и того же оттенка была его короткая шевелюра и легкая поросль волос на открытых руках. Глаза сияли яркой, стальной синевой. Нос был слегка заострен, а голова всегда была повернута так, что не оставалось никаких сомнений насчет того, кому адресован его взгляд или его слова — лестный знак внимания к собеседнику, ибо так ли уж часто на нас смотрят? В лучшем случае

глянут мельком, любопытно или равнодушно. Его голос с едва заметным ирландским распевом звучал подкупающе ласково, но в то же время Розмэри чувствовала в нем твердость и силу, самообладание и выдержку — качества, которыми так дорожила в себе самой. Да, сердце ее сделало выбор, и Николь, подняв голову, увидела это, услышала тихий вздох — ведь избранник принадлежал другой.

Около полудня на пляже появились супруги Маккиско, миссис Абрамс, мистер Дамфри и сеньор Кампион. Они принесли с собой новый большой зонт, водрузили его, искоса поглядывая на Дайверов, и с самодовольными лицами под него залезли — все, кроме мистера Маккиско, который предпочел гордое одиночество на солнце. Дик с граблями прошел совсем близко от них и, вернувшись к своим, сообщил вполголоса:

— Они там читают учебник хорошего тона.

— Собираются врашшаться в вышшем обществе, — сказал Эйб.

Вернулась после купанья Мэри Норт, та дочерна загорелая молодая женщина, которую Розмэри в первый день видела на плоту, и сказала, сверкая озорной улыбкой:

— А-а, я вижу, мистер и миссис Футынуты уже

здесь.

— Тсс, это ведь его друзья, — указывая на Эйба, предостерегла Николь. — Почему вы не идете к своим друзьям, Эйб? Разве вам не приятно их общество?

— Очень приятно, — отозвался Эйб. — До того приятно, что чем от него дальше, тем лучше.

— Так я и знала, что нынешним летом здесь будет слишком много народу, — пожаловалась Николь. — А ведь это *наш* пляж, Дик сам его сотворил из груды камней. — И, подумав, добавила вполголоса, чтобы не услышало трио нянюшек, расположившееся неподалеку: — Но уж лучше эта компания, чем прошлогодние англичане, которые с утра до вечера ахали на весь пляж: «Ах, какое синее море! Ах, какое белое небо! Ах, какой у маленькой Нелли красный носик!»

Розмэри подумала, что не хотела бы иметь Николь своим врагом.

— Да, ведь вы же не видели драки, — продолжала Николь. — Это было за день до вашего приезда: господин со странной фамилией, похожей на название какой-то марки маргарина или горючего…

— Маккиско?

— Вот-вот — он поссорился с женой, и она

бросила ему горсть песку в лицо. Тогда он на нее навалился и давай тыкать ее носом в песок. Мы все так и остолбенели. Я даже просила Дика разнять их.

— А знаешь что, — сказал Дик, рассеянно глядя на соломенную циновку. — Я, пожалуй, приглашу их всех к нам на обед.

— И думать не смей! — воскликнула Николь.

— По-моему, это прекрасная мысль. Раз уж они здесь, не следует их чуждаться.

— Мы и не чуждаемся, — смеясь, защищалась Николь. — Но я вовсе не хочу, чтобы еще *меня,* чего доброго, стали тыкать носом в песок. Я злюка и недотрога, — сказала она Розмэри и, приподнявшись на локте, крикнула: — Дети, купаться! Надевайте костюмы.

Откуда-то у Розмэри возникло предчувствие, что сегодняшнее купанье запомнится ей на всю жизнь, что, когда бы ни зашла речь о купанье в море, тотчас оживет перед ней этот день и час. Пошли в воду охотно, все вместе, истомленные долгим вынужденным бездействием, отдаваясь морской прохладе после палящего зноя с наслаждением гурмана, запивающего пряное карри вином со льда. У Дайверов, как у наших далеких предков, день был размерен так, чтобы извлечь

максимум из того, что дано, чтобы переходом от одного ощущения к другому усилить остроту обоих; Розмэри еще не знала, что предстоит очередной такой переход — от самозабвенного одиночества в волнах к шумному веселью провансальского завтрака. Но ее не покидало чувство, что Дик взял ее под свою защиту и покровительство, и она радостно следовала за всеми, словно подчиняясь его неслышному приказу.

Николь тем временем передала мужу странный предмет, над которым она трудилась все утро. Он скрылся в кабинке и через минуту вышел оттуда в черных кружевных панталонах до колен. Экстравагантность этого костюма вызвала переполох на пляже; впрочем, при ближайшем рассмотрении оказалось, что под кружевом подшит чехол телесного цвета.

— Ну знаете ли, это выходка педераста! — с негодованием воскликнул мистер Маккиско, но тут же спохватился и, оглянувшись на мистера Дамфри и мистера Кампиона, добавил: — Извините, пожалуйста.

Розмэри кружевные панталоны привели в полный восторг. В своей наивности она горячо откликалась на расточительные шалости Дайверов, не догадываясь, что все это далеко не так

просто и не так невинно, как кажется, что все это тщательно отобрано на ярмарке жизни с упором не на количество, а на качество; и так же как и все прочее — простота в обращении, доброжелательность и детская безмятежность, предпочтение, отдаваемое простейшим человеческим добродетелям, — составляет часть кабальной сделки с богами и добыто в борьбе, какую она и вообразить себе не могла. Дайверы в эту пору стояли на самой вершине внешней эволюции целого класса — оттого рядом с ними большинство людей казалось неуклюжими, топорными существами, но уже были налицо качественные изменения, которых не замечала и не могла заметить Розмэри.

Вместе со всеми Розмэри пила херес и грызла сухое печенье. Дик Дайвер смотрел на нее холодными синими глазами; потом его сильные и ласковые губы разжались, и он сказал:

— А вы и в самом деле похожи на нечто в цвету — давно уже я таких девушек не встречал.

Час спустя Розмэри безутешно рыдала у матери на груди:

— Я люблю его, мама. Я влюблена в него без памяти — никогда не думала, что со мной может случиться такое. А он женат, и жена у него замечательная — ну что мне делать? Ох, если б ты

знала, как я его люблю!

— Хотелось бы мне его увидеть.

— Мы к ним приглашены в пятницу на обед.

— Если ты влюблена, ты не плакать должна, а радоваться. Улыбаться должна.

Розмэри подняла голову, взмахнула ресницами, стряхивая слезы, и улыбнулась. Мать всегда имела на нее большое влияние.

V

Розмэри поехала в Монте-Карло в дурном настроении — насколько это вообще было для нее возможно. Крутой и неровный подъем привел ее к Ла-Тюрби, старой Гомоновской студии, теперь перестраивавшейся заново; и пока она, послав Эрлу Брэди свою карточку, дожидалась у решетчатых ворот, ей почудилось, что она в Голливуде. За воротами громоздился пестрый хлам, оставшийся от какой-то уже снятой картины, — кусок улицы индийского селения, большой кит из папье-маше, чудовищная яблоня с яблоками, как баскетбольные мячи, которая здесь, впрочем, казалась просто экзотическим деревом вроде амаранта, мимозы, пробкового дуба или карликовой сосны. Дальше стояли два павильона для

съемок, похожие на большие сараи, и между ними кафе-закусочная; и везде были человеческие лица, густо накрашенные, изнуренные ожиданием и напрасной надеждой.

Минут через десять к воротам прибежал молодой человек с шевелюрой канареечного цвета.

— Прошу вас, мисс Хойт. Мистер Брэди на съемочной площадке, но он вас сейчас же примет. Извините, что вам пришлось ждать, — вы не поверите, до чего назойливы эти француженки, просто уж не знаешь, как от них обороняться…

Молодой человек — по-видимому, администратор студии — отворил незаметную дверь в глухой стене одного из павильонов, и Розмэри с неожиданной радостью узнавания шагнула за ним в полутьму. По сторонам маячили смутные фигуры, обращали к ней пепельные лица, точно души в чистилище, потревоженные явлением смертного в их среде. Слышались голоса, приглушенные до шепота, издалека доносилось воркующее тремоло фисгармонии. Они обогнули выгородку, образованную фанерными щитами, и перед ними открылось залитое белым трескучим светом пространство, посреди которого лицом к лицу стояли двое — американская актриса и французский актер в сорочке с крахмальной гру-

дью, воротничком и манжетами ярко-розового цвета. Они смотрели друг на друга остекленевшими глазами, и казалось, что они стоят так уже несколько часов; но время шло, и ничего не происходило, никто не шевелился. Световая завеса померкла с противным шипеньем, потом разгорелась снова; вдали жалобно застучали молотком в никуда не ведущую дверь; между верхних софитов высунулась голубая физиономия, прокричала что-то невнятное в черноту под крышей. Потом прямо перед Розмэри чей-то голос нарушил царившую на площадке тишину:

— Ты не вздумай снимать чулки, детка, изорвешь хоть дюжину пар, тоже не беда. Это платье стоит пятнадцать фунтов.

Говоривший пятился назад, пока не натолкнулся на Розмэри, и тогда администратор сказал:

— Эрл — мисс Хойт.

Они никогда не встречались раньше. Брэди был кипуч и стремителен. Пожимая ей руку, он окинул ее всю быстрым взглядом — знакомая игра, которая сразу ввела Розмэри в привычную атмосферу и при этом, как всегда, вызвала чувство превосходства над партнером. Если ее особа — ценность, почему не извлечь преимущества из того факта, что эта ценность принадлежит ей?

— Я ждал вас со дня на день, — сказал Брэди; в его голосе, чуть излишне победительном для житейского разговора, слышался легкий призвук лондонского простонародного акцента. — Довольны путешествием?

— Да, но хочется уже домой.

— Нет-нет-нет, — запротестовал он. — Не торопитесь — нам с вами нужно поговорить. Я видел вашу «Папину дочку»; должен сказать, это — первый класс. Я смотрел ее в Париже и сразу же телеграфировал, чтобы узнать, ангажированы вы уже или нет.

— Простите, я только вчера…

— Черт возьми, какая картина!

Чувствуя, что улыбнуться, словно соглашаясь, было бы глупо, Розмэри нахмурила брови.

— Не слишком приятная участь — остаться навсегда героиней одной картины.

— Конечно, конечно, вы правы. Какие же у вас планы?

— Мама считала, что мне нужно отдохнуть. А по возвращении мы или возобновим контракт с «Феймос плейерс», или подпишем новый с «Ферст нэшнл».

— Кто это «мы»?

— Моя мать. Она ведет все мои дела. Без нее я

бы не справилась.

Снова он оглядел ее с головы до ног, и что-то вдруг распахнулось в Розмэри навстречу этому взгляду. Не влечение, нет, ничего похожего на восторженное чувство, так властно захватившее ее утром на пляже. Просто электрический разряд. Этот человек желал ее, и девичья скованность воображения не помешала ей представить себе, что она могла бы уступить. Но через полчаса уже забыла бы о нем — как забывают о том, кого целуют перед кинокамерой.

— Вы где остановились? — спросил Брэди. — Ах да, у Госса. Ну что ж, на этот год и у меня все расписано, но мое предложение остается в силе. После Конни Толмедж в дни ее молодости вы — первая девушка, с которой мне так хочется сделать картину.

— Я тоже охотно поработала бы с вами. Приезжайте в Голливуд.

— Терпеть не могу эту клоаку. Мне и здесь хорошо. Подождите — сейчас закончу эпизод и покажу вам свои владения.

Он вернулся на площадку и вполголоса, неторопливо стал втолковывать что-то французскому актеру.

Прошло пять минут — Брэди все говорил, а

француз слушал, переминаясь с ноги на ногу и время от времени кивая головой. Но вдруг Брэди прервал свою речь и что-то крикнул осветителям. Тотчас же зажужжали и вспыхнули юпитеры. Лос-Анджелес бился в уши Розмэри, громко звал к себе. И, повинуясь зову, она смело скользнула вновь в темноту закоулков тонкостенного города. Она знала, каким выйдет Брэди со съемки, и решила не продолжать сегодня разговор с ним. Все еще завороженная, она вышла из павильона и спустилась вниз. Теперь, после того как она подышала воздухом киностудии, Средиземноморье уже не казалось ей замкнутым и глухим. У прохожих на улицах были симпатичные лица, и по дороге на вокзал она купила себе новые сандалеты.

Мать осталась довольна тем, как Розмэри выполнила ее наставления; ей все время хотелось поставить дочь на рельсы и подтолкнуть. На вид миссис Спирс была цветущая женщина, но в ней накопилась усталость; бодрствовать у постели умирающего — утомительное занятие, а она прошла через это дважды.

VI

Чувствуя приятную истому после розового вина, которое подавалось к завтраку, Николь Дайвер вышла в свой сад, разбитый на горном склоне. Она шла, высоко скрестив на груди руки, и от этого искусственная камелия, прикрепленная у плеча, почти касалась щеки. Сад с одной стороны примыкал к дому, органично сливаясь с ним; с двух сторон он граничил со старой деревней, с четвертой обрывался каменистым уступчатым спуском к морю.

Близ ограды, отделявшей сад от деревни, все было пыльным: завитки виноградных лоз, эвкалипты и лимонные деревья, даже тачка садовника — только что оставленная здесь, она уже вросла в землю, омертвела и припахивала гнилью. Но довольно было пройти несколько шагов и обогнуть клумбу с пионами, чтобы попасть словно в иной мир, зеленый, прохладный, где лепестки цветов и листья кудрявились от ласковой влажности воздуха; Николь всякий раз невольно изумлялась этому.

На шее у Николь был повязан лиловый шарф, и от него даже в обесцвечивающих солнечных

лучах ложились лиловые отсветы на ее лицо и на землю, по которой она ступала. Лицо казалось замкнутым, почти суровым, только во взгляде зеленых глаз сквозило что-то растерянное, жалобное. Волосы, золотистые в юности, потемнели со временем, но сейчас, в свои двадцать четыре года, она была красивее, чем в восемнадцать, когда эти волосы своей яркостью затмевали все прочее в ней.

Дорожка с бордюром из белого камня, за которым зыбилось душистое марево, вывела ее на открытую площадку над морем. Там, у огромной сосны, самого большого и старого дерева в саду, был водружен рыночный зонт из Сиены и стоял стол и плетеные кресла, а по сторонам, в зелени смоковниц, притаились дремлющие днем фонари. Николь на мгновение остановилась и, рассеянно глядя на ирисы и настурции, разросшиеся у подножья сосны в полном беспорядке, точно кто-то наудачу бросил тут горсть семян, прислушалась к шуму, который вдруг донесся из дома, — детский плач и сердитые голоса; должно быть, какая-то баталия в детской. Когда шум затих, она пошла дальше, мимо калейдоскопа пионов, клубившихся розовыми облаками, черных и коричневых тюльпанов, хрупких роз с фиолето-

выми стеблями, прозрачных, как сахарные цветы в витрине кондитерской, пока наконец это буйное скерцо красок, словно достигнув предельного напряжения, не оборвалось вдруг на полуфразе — дальше влажные каменные ступени вели на другой уступ, футов на пять пониже.

Здесь бил родник, и дощатый сруб над ним даже в яркие солнечные дни оставался сырым и скользким. В склоне была вырублена лестничка, и по ней Николь поднялась в огород. Она шла быстрым шагом, она любила движение, хоть подчас казалась воплощением покоя, безмятежного и в то же время загадочного. Это происходило оттого, что у нее было мало слов и еще меньше веры в их силу, и в обществе она была молчалива, внося в светскую болтовню лишь свою необходимую долю, тщательно, чтобы не сказать скупо, отмеренную. Но когда малознакомые собеседники начинали испытывать неловкость, встречая столь скудный отклик, она вдруг подхватывала тему разговора и неслась во всю прыть, сама себе удивляясь, а потом так же внезапно останавливалась, почти оробело, словно охотничий пес, исполнивший все, что от него требовалось, и даже чуть больше.

Стоя среди мохнато просвеченной солнцем

огородной зелени, Николь увидела Дика, направлявшегося в свой рабочий флигелек. Она подождала молча, пока он не скрылся из виду; потом между грядками будущих салатов пробралась к маленькому зверинцу, где ее нестройным и дерзким шумом встретили голуби, кролики и пестрый попугай. Отсюда дорожка снова шла под уклон и выводила на полукруглый выступ скалы, обнесенный невысоким парапетом. Николь облокотилась на парапет и глянула вниз; в семистах футах под ней плескалось Средиземное море.

Место, где она стояла, когда-то было частью горного селения Тарм. Усадьба Дайверов выросла из десятка крестьянских домишек, лепившихся по этим кручам, — пять были перестроены и превратились в виллу, пять снесли и на их месте разбили сад. Наружная ограда осталась нетронутой, и потому снизу, с проезжей дороги, усадьба была неразличима в общей лилово-серой массе домов и деревьев Тарма.

Николь постояла немного, глядя на море, где не к чему было приложить даже ее неутомимые руки. В это время Дик вышел из своего флигелька с подзорной трубой, которую он тут же стал наводить в сторону Канна. Минуту спустя в поле его зрения попала Николь; он снова нырнул во

флигелек и тотчас же вернулся — на этот раз с мегафоном. У него было множество всяких технических игрушек.

— Николь! — прокричал он. — Я забыл тебя предупредить о своем последнем апостольском деянии: я пригласил миссис Абрамс — знаешь, ту седую, полную даму.

— Так я и чувствовала. Просто безобразие.

Ее голос ясно прозвучал в тишине, словно бы в насмешку над мегафоном Дика, и потому она поторопилась крикнуть погромче:

— Ты меня слышишь?

— Слышу. — Он опустил было мегафон, но сейчас же снова упрямо поднес его к губам. — Я и еще кое-кого приглашу. Обоих молодых людей, например.

— Приглашай, пожалуйста, — миролюбиво согласилась она.

— Я хочу устроить по-настоящему скандальный вечер. Со ссорами, с обольщениями чужих жен, с дамскими обмороками в уборной и чтобы кто-то обиделся и ушел не простившись. Вот будет потеха.

Он скрылся во флигельке, но Николь уже поняла, что на него нашло хорошо знакомое ей настроение — взрыв неуемного веселья, зара-

жавшего всех кругом и неизбежно сменявшегося под конец своеобразной депрессией, чего он никогда не показывал, но что она угадывала чутьем. Поводом к веселью служил порой пустяк, раздутый не по значению, и в такие периоды Дик был совершенно неотразим. От него исходила сила, заставлявшая людей подчиняться ему с нерассуждающим обожанием, и лишь какие-нибудь закоренелые брюзги и маловеры могли против этой силы устоять. Реакция наступала потом, вслед за трезвой оценкой допущенных сумасбродств и излишеств. Оглядываясь назад, на вдохновленный им карнавальный разгул, он ужасался, как ужасается иной полководец, взирая на кровавую резню, к которой сам дал сигнал, повинуясь безотчетному инстинкту.

Но те, кто хоть на короткий срок получал доступ в мир Дика Дайвера, уже не могли об этом забыть; им казалось, что он не случайно выделил их среди толпы, распознав их высокое предназначение, из года в год остававшееся погребенным под компромиссами житейской обыденщины. Он быстро завоевывал все сердца необычайной внимательностью, подкупающей любезностью обращения; причем делалось это так непосредственно и легко, что победа бывала одержана

прежде, чем побежденные успевали в чем-либо разобраться. И тогда без предупреждения, не давая увянуть только что распустившемуся цветку дружбы, Дик широко распахивал перед ними ворота в свой занимательный мир. Покуда они безоговорочно соблюдали правила игры, он, казалось, только о том и думал, чтобы им было хорошо и приятно; но стоило им допустить хоть тень сомнения в незыблемости этих правил, он словно испарялся у них на глазах, не оставив и памяти о своих речах и поступках.

В пятницу, ровно в половине девятого, Дик вышел встречать первых гостей, церемонно и выразительно неся пиджак на руке, точно тореадор свой плащ. Поздоровавшись с Розмэри и миссис Спирс, он тактично выждал, когда они сами начнут разговор, словно в расчете на то, что звук собственного голоса поможет им освоиться в незнакомой обстановке.

Слегка возбужденные подъемом в Тарм и свежестью горного воздуха, Розмэри и ее мать с любопытством оглядывались по сторонам. Подобно тому как достоинства людей незаурядных сказываются порой даже в неожиданных обмолвках, тщательно продуманное совершенство виллы «Диана» проступало даже сквозь

досадные мелочи вроде появления горничной без надобности или звука некстати хлопнувшей пробки. Первые гости, вестники начинающегося праздника, еще застали конец домашних будней, воплощенный перед ними маленькими Дайверами, под присмотром гувернантки доедавшими на веранде свой ужин.

— Какой чудесный сад! — воскликнула миссис Спирс.

— Это сад Николь, — сказал Дик. — Она ему покоя не дает, без конца допекает заботами о здоровье растений. Я не удивлюсь, если в один прекрасный день она сама заболеет какой-нибудь мучнистой росой, фитофторой или септорией. — Повернувшись к Розмэри, он строго погрозил ей пальцем и сказал тоном шутки, в которой сквозила, казалось, отеческая заинтересованность: — Я решил принять меры, чтобы уберечь ваш рассудок, — подарю вам шляпу для пляжа.

Он повел гостей из сада на веранду, где занялся приготовлением коктейлей. Приехал Эрл Брэди и был очень удивлен при виде Розмэри. Он здесь держался проще и естественней, будто оставил свою чудаковатую манеру на территории студии, но Розмэри мгновенно сравнила его с Диком Дайвером, и сравнение заставило ее резко качнуться

в сторону последнего. Рядом с Диком Эрл Брэди казался грубоватым, даже вульгарноватым; и все же ее опять словно током пронизало от его близости.

С фамильярностью старого знакомого он обратился к детям, только что вставшим из-за стола:

— Спел бы ты нам что-нибудь, Ланье. Спой нам вместе с Топси хорошую песенку.

— Какую же песенку вам спеть? — спросил мальчик, забавно растягивая слова, как все американские дети, выросшие во Франции.

— Ну вот хотя бы «Mon ami Pierrot».[43]

Без всякого жеманства брат и сестра стали рядом, и два пискливо-звонких голоска понеслись в тишине вечера:

Au clair de la lune,
Mon ami Pierrot,
Prête moi ta plume
Pour écrire un mot.

Ma chandelle est morte,
Je n'ai plus de feu.
Ouvre moi ta porte

---

[43] notes: 43
«Мой друг Пьеро» (*фр.*).

Pour l'amour de Dieu.[44]

Песенка кончилась; разрумяненные закатными лучами, дети с безмятежной улыбкой принимали похвалы и одобрения. Розмэри вилла «Диана» казалась сейчас центром вселенной. На таких подмостках не может не разыграться что-то необыкновенное. Она встрепенулась, услышав, как звякнула калитка, пропуская новых гостей, — это ввалились скопом супруги Маккиско, миссис Абрамс, мистер Дамфри и мистер Кампион и сразу же устремились к веранде.

Розмэри почувствовала досаду — она торопливо глянула на Дика, словно спрашивая, что означает столь странное смешение. Но в его поведении не заметно было ничего необычного. Он приветствовал гостей с горделивым достоинством, всем своим видом показывая, что ценит заложенные в них безграничные и еще не рас-

---

[44] notes: 44

При лунном свете,
Мой друг Пьеро,
Прошу, ссуди мне
Твое перо.

Погасла свечка,
И нет огня,
Я жду у двери,
Впусти меня (фр.).

крытые возможности. И так сильна была ее вера в него, что минуту спустя она уже принимала как должное присутствие Маккиско с компанией, и ей даже казалось, что она с самого начала ожидала их здесь увидеть.

— Мы с вами встречались в Париже, — сказал Маккиско Эйбу Норту, который вместе с женой явился вслед за ними. — Даже два раза встречались.

— Как же, как же, конечно, — подтвердил Эйб.

— А скажите, где это было? — спросил Маккиско, вместо того чтобы благоразумно поставить точку.

— Да, кажется… — Но тут игра надоела Эйбу. — Не помню где.

Этот обмен репликами заполнил возникшую паузу; инстинкт подсказывал Розмэри, что теперь положение требует чьего-то тактичного вмешательства, но Дик не делал никаких попыток изменить порядок, в котором расположилось все общество с приходом последних гостей, или хотя бы сбить спесь со снисходительно улыбающейся миссис Маккиско. Он не старался развязать затянувшийся узел отношений, потому что не придавал этому сейчас значения и знал, что он развяжется сам собой. Свои силы он приберегал

для более значительного момента, когда можно будет, явив себя гостям с новой стороны, дать им насладиться оказанным приемом.

Розмэри стояла рядом с Томми Барбаном, который был в необычно язвительном настроении, — казалось, у него есть на то особые причины. Он сообщил Розмэри, что завтра уезжает.

— Собрались на родину?

— На родину? У меня нет родины. Я собрался на войну.

— На какую войну?

— На какую-нибудь. Я давно не читал газет, но где-то же наверняка идет война — не бывает, чтобы нигде не шла.

— Разве вам все равно, за что сражаться?

— Абсолютно — лишь бы со мной были достаточно обходительны. Когда у меня начинается брожение в крови, я еду к Дайверам, потому что знаю: здесь мне очень скоро захочется на войну.

Розмэри широко раскрыла глаза.

— Но ведь вы друг Дайверов, — сказала она.

— Конечно, особенно *ее* друг, но около них мне всегда хочется на войну.

Она попыталась понять его, но не смогла. Ей около Дайверов всегда хотелось одного: никогда с ними не расставаться.

— Вы наполовину американец, — сказала она, как будто в этом заключалось объяснение.

— Да, но наполовину и француз, а воспитывался я в Англии, и, с тех пор как мне исполнилось восемнадцать лет, я успел послужить в армиях восьми государств. Но я бы не хотел, чтобы у вас создалось впечатление, будто я не люблю Дайверов, — я их очень люблю, особенно Николь.

— Их нельзя не любить, — просто сказала она.

Ее вдруг словно оттолкнуло от этого человека. Какой-то неприятный обертон послышался ей в его речи, и она поспешила заслонить чувство обожания, с которым относилась к Дайверам, от его кощунственного цинизма. Она порадовалась, что не будет сидеть рядом с ним за обедом; когда она вместе с другими шла к столу, накрытому в саду, в ушах ее все еще звучало это «особенно *ее* друг».

По дороге она на какой-то миг оказалась рядом с Диком Дайвером. Перед его несокрушимым, ясным спокойствием все ее сомнения растворились в уверенности, что для него никаких сомнений нет. Весь последний год, а это было все равно что всю жизнь, она располагала деньгами, и уже пользовалась кое-какой славой, и могла общаться со знаменитостями, которые, впрочем, казались ей лишь сильно увеличенными копиями соседей,

докторской вдовы и ее дочери, по парижскому hôtel-pension.[45] Розмэри была романтична от природы, но в ее жизни редко находилось место для романтики. Миссис Спирс, твердо решив, что Розмэри должна сделать карьеру, не позволила бы ей размениваться на мишурные соблазны, навязывавшиеся со всех сторон; да и Розмэри сама уже переросла эту стадию — она работала в мире иллюзий, но не жила в нем. И когда на лице матери она прочитала одобрение Дику Дайверу, это означало, что тут можно не опасаться подделок, это означало разрешение не оглядываясь идти вперед.

— Я все время наблюдал за вами, — сказал Дик, и она знала, что это правда. — Мы вас очень полюбили.

— А я влюбилась в вас с первого раза, как только увидела, — тихо произнесла она.

Он сделал вид, что пропустил ее слова мимо ушей, как обыкновенную любезность.

— С новыми друзьями, — сказал он, словно изрекая важную истину, — часто чувствуешь себя лучше, чем со старыми.

Это замечание, смысл которого не совсем до

---

[45] notes: 45
Отель-пансиону *(фр.)*.

нее дошел, было сделано в последнюю минуту — гости уже рассаживались вокруг стола, отвоеванного у синеватых сумерек медленно разгоравшимися фонарями. Что-то радостно дрогнуло у Розмэри внутри, когда она увидела, что Дик усадил ее мать по правую руку от себя; сама она оказалась между Брэди и Луисом Кампионом.

В избытке чувств она повернулась к Брэди, готовая ему довериться, но холодная искра, сверкнувшая в его глазах при первом упоминании о Дике, ясно показала, что роль исповедника не по нем. В свою очередь, она проявила непреклонность, когда он попытался завладеть ее рукой, и все время обеда они проговорили на профессиональные темы, вернее, он говорил на профессиональные темы, а она слушала с вежливым вниманием, хотя мысли ее так явно витали где-то далеко, что едва ли это могло от него укрыться. Время от времени случайно дошедшая фраза, дополненная тем, что отложилось в подсознании, помогала ей следить за сутью разговора; так иногда лишь с середины прислушаешься к бою часов, но ритм, застрявший в ушах, позволяет сосчитать пропущенные удары.

VII

Воспользовавшись паузой в разговоре, Розмэри перевела взгляд туда, где между Томми Барбаном и Эйбом Нортом сидела Николь и ее каштановые, как шерсть чау-чау, волосы мерцали и пенились в свете ламп и фонарей. Розмэри прислушалась, завороженная звучным голосом, ронявшим нечастые короткие фразы.

— Бедняга! Что вдруг за фантазия — распилить его пополам?

— Просто мне захотелось посмотреть, что у официанта внутри. Разве вам не интересно, что у официанта внутри?

— Старые меню, — смеясь, предположила Николь. — Черепки битой посуды, чаевые, огрызки карандаша.

— Скорей всего, но это требует научного доказательства. И потом, пила ведь была не простая, а музыкальная, что значительно облагородило бы все дело.

— А вы на ней собирались играть во время операции? — осведомился Томми.

— До этого у нас не дошло. Крик помешал. Мы испугались, как бы он не надорвался от крика.

— Все-таки странно, — сказала Николь. — Музыкант хочет употребить инструмент другого музыканта на то, чтобы…

Обед длился уже полчаса, и за это время произошла ощутимая перемена: каждый сумел что-то отбросить — заботу, тревогу, подозрение — и теперь был только дайверовским гостем, самим собой, но в лучшем своем виде. Равнодушная или скучная мина могла быть истолкована как желание обидеть хозяев, и все наперебой старались, чтобы этого не произошло, и Розмэри, видя их старания, испытывала почти нежность ко всем, исключая Маккиско, который и тут ухитрился обособиться от остальных. Впрочем, не столько со зла, сколько из-за того, что решил закрепить вином приподнятое настроение, владевшее им в начале вечера. Своему соседу справа, Эрлу Брэди, он адресовал несколько уничтожающих замечаний о кино, соседку слева, миссис Абрамс, вообще не замечал; под конец он откинулся на спинку стула и уставился на Дика Дайвера с выражением сокрушительной иронии, но время от времени сам портил эффект попытками втянуть Дика в беседу по диагонали через стол.

— Вы, кажется, приятель Денби Ван Бюрена? — спрашивал он.

— Вроде бы не знаю такого.

— А я всегда считал, что вы его приятель, — настаивал он с раздражением.

Вслед за темой о мистере Ван Бюрене, которая засохла на корню, Маккиско испробовал еще несколько, столь же неудачных, но всякий раз его словно парализовала предупредительная вежливость Дика, и прерванный им разговор после короткой паузы шел дальше без него. Пробовал он вторгаться и в другие разговоры, но это выходило так, будто пожимаешь пустую перчатку, и в конце концов он умолк с видом взрослого, вынужденного мириться с детским обществом, и сосредоточил свое внимание на шампанском.

Розмэри время от времени обводила взглядом всех сидящих за столом, так заботливо следя за их настроением, словно готовилась им в мачехи. Свет лампы, искусно скрытой в букете ярких гвоздик, падал на лицо миссис Абрамс, в меру подрумяненное бокалом «Вдовы Клико», пышущее здоровьем, благодушием, детской жизнерадостностью; ее соседом был мистер Ройял Дамфри, девичья миловидность которого не так бросалась в глаза в праздничной атмосфере вечера. Дальше сидела Вайолет Маккиско; винные пары выманили наружу все приятное, что ей дала природа,

и она перестала насильно убеждать себя в двусмысленности своего положения — положения жены карьериста, не сделавшего карьеры.

Потом — Дик, навьюченный грузом скуки, от которой он избавил других, целиком растворившийся в своих хозяйских заботах.

Потом ее мать, безупречная, как всегда.

Потом Барбан, занимавший ее мать беседой, светская непринужденность которой вернула ему расположение Розмэри. Потом Николь. Розмэри вдруг как-то по-новому увидела ее и подумала, что никогда не встречала никого красивее. Ее лицо — лик северной мадонны — сияло в розовом свете спрятанных среди листвы фонарей, за снежной завесой мошкары, кружившейся в освещенном пространстве. Она сидела тише тихого, слушая Эйба Норта, который толковал ей про свой моральный кодекс. «Конечно, у меня есть моральный кодекс, — настаивал он. — Человеку нельзя без морального кодекса. Мой состоит в том, что я против сожжения ведьм. Как услышу, что где-нибудь сожгли ведьму, просто сам не свой становлюсь». От Эрла Брэди Розмэри знала, что Эйб — композитор, который очень рано и очень блестяще начал, но вот уже семь лет ничего не пишет.

Дальше сидел Кампион; ему каким-то образом удалось обуздать свои причудливые замашки и даже проявлять в общении с окружающими почти матерински бескорыстный интерес. Потом Мэри Норт, которая так весело сверкала в улыбке белыми зеркальцами зубов, что, глядя на них, трудно было не улыбнуться в ответ, — казалось, во всех порах кожи вокруг ее полуоткрытого рта разлито удовольствие.

И наконец, Брэди, в чьей свободной манере держаться все больше чувствовалась обходительность светского человека, а не только настойчивое и грубое подчеркиванье собственного душевного здоровья и умения сохранить его ценой равнодушия к чужим слабостям.

Для Розмэри, своей доверчивой непосредственностью похожей на маленькую героиню одного из опусов миссис Бернет, этот вечер был как возвращение домой, как отдых после соленых шуток фронтира. В темноте сада загорались светлячки, где-то далеко внизу лаяла собака. Чудилось, что стол немного приподнялся над землей, как танцплощадка с особым механизмом, и у тех, кто сидел за ним, возникало такое чувство, будто они одни среди мрака вселенной и пища, которую они едят, — единственная оставшаяся в ней пи-

ща, а тепло, согревающее их, — единственное ее тепло. Сдавленно хохотнула миссис Маккиско, и, как будто это был знак, что отрыв от земли совершился, Дайверы вдруг с удвоенной лаской заулыбались своим гостям, — и так уже всячески ублаженным хозяйской любезностью, тонкой хозяйской лестью, возвышавшей их в собственных глазах, — словно желали вознаградить их за все поневоле оставленное на земле. Какой-то миг они оба, казалось, разговаривали с каждым отдельно, спеша уверить его в своей дружбе, своей симпатии. В этот миг повернутые к ним лица походили на лица нищенок на рождественской елке. И вдруг все оборвалось — обед был окончен, смелый порыв, вознесший гостей из простого застольного веселья в разреженную атмосферу высоких чувств, миновал, прежде чем они дерзнули вдохнуть эту атмосферу, прежде чем осознали, что находятся в ней.

Но магия теплой южной ночи, таившаяся в мягкой поступи тьмы, в призрачном плеске далекого прибоя, не развеялась, она перешла в Дайверов, стала частью их существа. Розмэри услышала, как Николь уговаривает ее мать принять в подарок желтую атласную сумочку, которую та похвалила. «Вещи должны принадлежать тем, кому они

нравятся», — смеялась она, засовывая в сумочку разные мелочи желтого цвета, попадавшиеся на глаза, — карандашик, футляр с губной помадой, маленькую записную книжку — «потому что это все одно к одному».

Николь исчезла, и тут только Розмэри заметила, что Дика тоже нет рядом; гости рассыпались по саду, некоторые потянулись к веранде.

— Вы не хотите пойти в уборную? — спросила, подойдя, миссис Маккиско.

У Розмэри такого желания не было.

— А я пойду, — объявила миссис Маккиско. — Мне нужно в уборную. — И твердой походкой женщины, презирающей условности, открыто направилась к дому, провожаемая неодобрительным взглядом Розмэри.

Эрл Брэди предложил спуститься вниз, к обрыву над морем, но Розмэри решила, что пора ей урвать немножко Дика Дайвера для себя, и потому осталась ждать его возвращения, от нечего делать слушая препирательства Маккиско с Барбаном.

— С какой стати вам воевать против Советов? — спрашивал Маккиско. — Я считаю, что они осуществляют величайший в истории человечества эксперимент. А Рифская республика?

По-моему, если уж воевать, так за тех, на чьей стороне правда.

— А как это определить? — сухо осведомился Барбан.

— Ну — всякому разумному человеку ясно.

— Вы что, коммунист?

— Я социалист, — сказал Маккиско. — Я сочувствую России.

— А вот я — солдат, — возразил Барбан весело. — Моя профессия — убивать людей. Я дрался с рифами, потому что я европеец, и я дерусь с коммунистами, потому что они хотят отнять у меня мою собственность.

— Ну знаете ли…

Маккиско оглянулся в поисках союзников, которые помогли бы ему высмеять ограниченность Барбана, но никого не обнаружил. Он не понимал того, с чем столкнулся в Барбане, ни скудости его запаса идей, ни сложности его происхождения и воспитания. Что такое идеи, Маккиско знал, и в процессе своего умственного развития учился распознавать и раскладывать по полочкам все большее их число, но Барбан поставил его в тупик; у этого «чурбана», как он его мысленно переименовал, он не мог обнаружить ни одной знакомой идеи, но в то же время не мог и по-

чувствовать превосходства над ним, а потому поспешил ухватиться за спасительный вывод: Барбан — продукт отживающего мира, значит, он ничего не стоит. Из соприкосновения с теми, кто составляет своего рода аристократию Америки, Маккиско вынес вполне определенное впечатление; ему запомнился их неуклюжий и сомнительный снобизм, их пристрастие к невежеству и бравирование грубостью — позаимствованные у англичан, но без учета тех факторов, которые придают смысл английскому филистерству и английской грубости, и перенесенные в страну, где даже минимальные познания и минимальная отесанность больше, чем где-либо, в цене — словом, все то, апогеем чего явился так называемый гарвардский стиль девятисотых годов. За одного из подобных аристократов он принял Барбана, а хмель вышиб из него привычный страх перед людьми этого типа — и это неминуемо должно было кончиться плохо.

Розмэри сидела внешне спокойная (хотя почему-то ей было стыдно за Маккиско), но внутри ее жгло нетерпение, — когда же наконец вернется Дик Дайвер? С ее места за опустевшим столом, где, кроме нее, остались только Барбан, Эйб и Маккиско, видна была дорожка, обсаженная миртом

и папоротником, и в конце дорожки каменная терраса. Залюбовавшись профилем матери, четко вырисовывавшимся на фоне освещенной двери в дом, Розмэри хотела было встать и пойти туда, но в эту минуту, вся запыхавшись, прибежала миссис Маккиско.

Она источала возбуждение. Уже по тому, как она молча выдвинула стул и села, округлив глаза, беззвучно шевеля губами, ясно было — это человек, до краев переполненный новостями, и не мудрено, что с вопросом мужа: «Что случилось, Вайолет?» — все глаза устремились на нее.

— Милые мои… — начала она, но тут же, прервав себя, обратилась уже к одной Розмэри: — Милая моя… нет, не могу. Не в силах говорить.

— Успокойтесь, вы среди друзей, — сказал Эйб.

— Милые мои, там наверху я застала такую сцену…

Она запнулась и с таинственным видом замотала головой — как раз вовремя, потому что Барбан встал и сказал ей вежливо, но твердо:

— Я бы вам не советовал делать замечания о том, что происходит в этом доме.

VIII

Вайолет натужно, с шумом перевела дух и постаралась придать своему лицу более спокойное выражение.

Вернулся наконец Дик; с безошибочным чутьем он вклинился между Барбаном и супругами Маккиско и завел с Маккиско литературный разговор с позиций любознательного невежды, чем подарил собеседнику миг вожделенного чувства превосходства. Остальных он попросил перенести лампы в дом — кто ж откажется от удовольствия шествовать с лампой в руках по темному саду, да еще сознавая, что делает дело? Розмэри тоже несла одну из ламп, терпеливо отвечая Ройялу Дамфри на бесконечные расспросы о Голливуде.

«Теперь-то уж я заслужила право побыть с ним наедине, — думала она. — И он сам не может не понимать этого, ведь он живет по тем же законам, по которым мама учила жить меня».

Розмэри не ошиблась — скоро он нашел случай ускользнуть с ней вдвоем от общества на террасе, и сразу же их повлекло вниз, к обрыву над морем, куда вели не столько ступени, сколько крутые и

неровные уступы, и Розмэри одолевала их то с усилием, то словно летя.

Стоя у парапета, они смотрели на Средиземное море. Запоздалый экскурсионный пароходик с острова Леренс парил в заливе, как воздушный шар на празднике Четвертого июля, оторвавшийся и улетевший в облака. Он парил среди чернеющих островков, мягко расталкивая темную воду.

— Мне понятно, отчего вы всегда с таким чувством говорите о своей матери, — сказал Дик. — Ее отношение к вам просто удивительно. В Америке редко встретишь таких умных матерей.

— Моя мама — совершенство, — благоговейно произнесла Розмэри.

— У меня тут явилась одна мысль, которую я ей высказал. Как я понял, еще не решено, сколько вы пробудете во Франции, — это зависит от вас.

«Это зависит от *вас*», — едва не выкрикнула Розмэри.

— Так вот — поскольку здесь все уже кончено…

— Все кончено? — переспросила Розмэри.

— Я хочу сказать — с Тармом уже кончено на этот год. На прошлой неделе уехала сестра Николь, завтра уезжает Томми Барбан, в поне-

дельник — Эйб и Мэри Норт. Может быть, нас ждет еще много приятного этим летом, но уже не здесь. Я не люблю сентиментального угасания — умирать, так с музыкой, для того я и затеял этот обед. А мысль моя вот какая: мы с Николь едем в Париж проводить Эйба Норта, он возвращается в Америку, так не хотите ли и вы поехать с нами?

— А что сказала мама?

— Что мысль отличная. Что самой ей ехать не хочется. И что она готова отпустить вас одну.

— Я не была в Париже с тех пор, как стала взрослой, — сказала Розмэри. — Побыть там с вами — большая радость для меня.

— Спасибо на добром слове. — Показалось ли ей, что в его голосе вдруг зазвенел металл? — Мы все приметили вас, как только вы появились на пляже. Вы так полны жизни — Николь сразу сказала, что вы, наверно, актриса. Такое не растрачивается на одного человека или хотя бы на нескольких.

Чутье подсказало ей: он потихоньку поворачивает ее в сторону Николь; и она привела в готовность тормоза, не собираясь поддаваться.

— Мне тоже сразу захотелось познакомиться с вашей компанией — особенно с вами. Я же вам говорила, что влюбилась в вас с первого взгляда.

Ход был рассчитан правильно. Но беспредельность пространства между небом и морем уже охладила Дика, погасила порыв, заставивший его увлечь ее сюда, помогла расслышать чрезмерную откровенность обращенного к нему зова, почуять опасность, скрытую в этой сцене без репетиций и без заученных слов.

Теперь нужно было как-то добиться, чтобы она сама пожелала вернуться в дом, но это было не просто, и, кроме того, ему не хотелось отказываться от нее. Он добродушно пошутил — холодком повеяло на нее от этой шутки.

— Вы сами не знаете, чего вам хочется. Спросите у мамы, она вам скажет.

Ее оглушило, как от удара. Она дотронулась до его рукава, гладкая материя скользнула под пальцами, точно ткань сутаны. Почти поверженная ниц, она сделала еще один выстрел:

— Для меня вы самый замечательный человек на свете — после мамы.

— Вы смотрите сквозь романтические очки.

Он засмеялся, и этот смех погнал их наверх к террасе, где он с рук на руки передал ее Николь…

Уже настала пора прощаться. Дайверы позаботились о том, чтобы все гости были доставлены домой без хлопот. В большой дайверовской

«изотте» разместились Томми Барбан со своим багажом — решено было, что он переночует в отеле, чтобы поспеть к утреннему поезду, — миссис Абрамс, чета Маккиско и Кампион; Эрл Брэди, возвращавшийся в Монте-Карло, взялся подвезти по дороге Розмэри с матерью; с ними сел также Ройял Дамфри, которому не хватило места в дайверовском лимузине. В саду над столом, где недавно обедали, еще горели фонари; Дайверы, как радушные хозяева, стояли у ворот — Николь цвела улыбкой, смягчавшей ночную тень. Дик каждому из гостей отдельно желал доброй ночи. Боль пронзила Розмэри от того, что вот сейчас она уедет, а они здесь останутся вдвоем. И снова она подумала: что же такое видела миссис Маккиско?

IX

Ночь была черная, но прозрачная, точно в сетке подвешенная к одинокой тусклой звезде. Вязкая густота воздуха приглушала клаксон шедшей впереди «изотты». Шофер Брэди вел машину не торопясь; задние фары «изотты» иногда лишь показывались на повороте дороги, а потом и вовсе исчезли из виду. Минут через десять, однако,

«изотта» вдруг возникла впереди, неподвижно стоящая у обочины. Шофер Брэди притормозил, но в ту же минуту она опять тронулась, однако так медленно, что они легко обогнали ее. При этом они слышали какой-то шум внутри респектабельного лимузина и видели, что шофер лукаво ухмыляется за рулем. Но они пронеслись мимо, набирая скорость на пустынной дороге, где ночь то подступала с обеих сторон валами черноты, то тянулась сквозистой завесой; и, наконец, несколько раз стремительно нырнув под уклон, они очутились перед темной громадой отеля Госса.

Часа три Розмэри удалось подремать, а потом она долго лежала с открытыми глазами, словно паря в пустоте. В интимном сумраке длящейся ночи воображение рисовало ей новые и новые повороты событий, неизменно приводившие к поцелую, но поцелуй был бесплотный, как в кино. Потом, ворочаясь с боку на бок в первом своем знакомстве с бессонницей, она попыталась думать о том, что ее занимало, так, как об этом думала бы ее мать. На помощь пришли обрывки давних разговоров, которые отложились где-то в подсознании и теперь всплывали наверх, возмещая отсутствие жизненного опыта.

Розмэри с детства была приучена к мысли о труде. Схоронив двух мужей, миссис Спирс свои скромные вдовьи достатки потратила на воспитание дочери, и когда та к шестнадцати годам расцвела во всей своей пышноволосой красе, повезла ее в Экс-ле-Бен и, не дожидаясь приглашения, заставила постучаться к известному американскому кинопродюсеру, лечившемуся местными водами. Когда продюсер уехал в Нью-Йорк, уехали и мать с дочерью. Так Розмэри выдержала свой вступительный экзамен. Потом пришел успех, заложивший основу сравнительно обеспеченного будущего, и это дало право миссис Спирс сегодня без слов сказать ей примерно следующее:

«Тебя готовили не к замужеству — тебя готовили прежде всего к труду. Вот теперь тебе попался первый крепкий орешек, и такой, который стоило бы расколоть. Что же, попробуй — выйдет, не выйдет, в убытке ты не останешься. Приобретешь опыт, быть может, ценой страдания, своего или чужого, но сломить тебя это не сломит. Ты хоть и девушка, но стоишь в жизни на собственных ногах, и в этом смысле все равно что мужчина».

Розмэри не привыкла размышлять — разве что о материнских совершенствах, — но в эту

ночь отпала наконец пуповина, связывавшая ее с матерью, и не мудрено, что ей не спалось. Как только забрезживший рассвет придвинул небо вплотную к высоким окнам, она встала и вышла на веранду, босыми ступнями ощущая тепло не остывшего за ночь камня. Воздух был полон таинственных звуков; какая-то настырная птица злорадно ликовала в листве над теннисным кортом, на задворках отеля чьи-то шаги протопали по убитому грунту, проскрипели по щебенке, простучали по бетонным ступеням; потом все повторилось в обратном порядке и стихло вдали. Над чернильной гладью залива нависла тень высокой горы, где-то там жили Дайверы. Ей почудилось — вот они стоят рядом, напевая тихую песню, неуловимую, как дым, как отголосок древнего гимна, сложенного неведомо где, неведомо кем. Их дети спят, их ворота заперты на ночь.

Она вернулась к себе, надела сандалеты и легкое платье, снова вышла и направилась к главному крыльцу — чуть ли не бегом, потому что на ту же веранду выходили двери других номеров, откуда струился сон. На широкой белой парадной лестнице чернела какая-то фигура; Розмэри остановилась было в испуге, но в следующее мгновение узнала Луиса Кампиона — он

сидел на ступеньке и плакал.

Он плакал тихо, но горестно, и у него по-женски тряслись от рыданий спина и плечи. Все это в точности напоминало сцену из фильма, в котором Розмэри снималась прошлым летом, и, невольно повторяя свою роль, она подошла и дотронулась до его плеча. Он взвизгнул от неожиданности, не сразу разобрав, кто перед ним.

— Что с вами? — Ее глаза приходились на уровне его глаз, и в них было участие, а не холодное любопытство. — Не могу ли я чем-нибудь помочь?

— Мне никто не может помочь. Я сам виноват во всем. Знал ведь. Всякий раз одно и то же.

— Но может быть, вы мне скажете, что случилось?

Он посмотрел на нее, как бы взвешивая, стоит ли.

— Нет, — решил он в конце концов. — Вы слишком молоды и не знаете, что приходится претерпевать тому, кто любит. Муки ада. Когда-нибудь и вы полюбите, но чем позже, тем лучше. Со мной это не первый раз, но такого еще не бывало. Казалось, все так хорошо, и вдруг…

Его лицо было на редкость противным в прибывающем утреннем свете. Розмэри не дрогнула,

не поморщилась, ничем не выдала внезапно охватившего ее отвращения, но у Кампиона было обостренное чутье, и он поспешил переменить тему:

— Эйб Норт где-то тут поблизости.

— Что вы, он ведь живет у Дайверов.

— Да, но он приехал — вы разве ничего не знаете?

В третьем этаже со стуком распахнулось окно, и голос, явно принадлежавший англичанину, прошепелявил:

— Нельзя ли потише!

Розмэри и Луис Кампион устыженно спустились вниз и присели на скамью у дорожки, ведущей к пляжу.

— Так вы совсем, совсем ничего не знаете? Дорогая моя, произошла невероятная вещь… — Он даже повеселел, воодушевленный выпавшей ему ролью вестника. — И главное, все так скоропалительно и непривычно для меня — я, знаете, стараюсь держаться подальше от вспыльчивых людей — они меня нервируют, я просто заболеваю, и надолго.

В его взгляде светилось торжество. Она явно не понимала, о чем идет речь.

— Дорогая моя, — провозгласил он, положив

руку ей на колено и при этом весь подавшись вперед в знак того, что это не был случайный жест. Он теперь чувствовал себя хозяином положения. — Будет дуэль.

— Что-о?

— Дуэль на… пока еще неизвестно на чем.

— Но у кого дуэль, с кем?

— Сейчас я вам все расскажу. — Он шумно перевел дух, потом изрек, будто констатируя нечто, не делающее ей чести, чем он, однако же, великодушно пренебрег: — Вы ведь ехали в другой машине. Что ж, ваше счастье — мне это будет стоить двух лет жизни, не меньше. И все так скоропалительно произошло…

— Да что произошло?

— Не знаю даже, с чего все началось. Она вдруг завела разговор…

— Кто — она?

— Вайолет Маккиско. — Он понизил голос, как будто под скамейкой кто-то сидел. — Только ни слова про Дайверов, а то он грозил бог весть чем каждому, кто хотя бы заикнется о них.

— Кто грозил?

— Томми Барбан. Так что вы не проговоритесь, что слышали что-нибудь от меня. И все равно, мы так и не узнали, что хотела рассказать Вайолет,

потому что он все время ее перебивал, а потом муж вмешался, и вот теперь будет дуэль. Сегодня в пять утра — ровно через час. — Он тяжело вздохнул, вспомнив собственное горе. — Ах, дорогая моя, лучше бы это случилось со мной. Пусть бы *меня* убили на дуэли, мне теперь все равно не для чего жить. — Он всхлипнул и скорбно закачался из стороны в сторону.

Опять стукнуло окно наверху, и тот же голос сказал:

— Да что же это за безобразие, в конце концов!

В эту минуту из отеля вышел Эйб Норт, как-то неуверенно глянул туда, сюда и увидел Розмэри и Кампиона, чьи фигуры отчетливо выделялись на фоне уже совсем посветлевшего над морем неба. Он хотел было заговорить, но Розмэри предостерегающе затрясла головой, и они перешли на другую скамейку, подальше. Розмэри заметила, что Эйб чуточку пьян.

— А вы-то чего не спите? — спросил он ее.

— Я только что вышла. — Она чуть было не рассмеялась, но вовремя вспомнила грозного британца наверху.

— Привороженная руладой соловья? — продекламировал Эйб и сам же подтвердил: — Вот именно, руладой соловья. Вам этот деятель ру-

кодельного кружка рассказал, какая история вышла?

Кампион возразил с достоинством:

— Я знаю только то, что слышал собственными ушами.

Он встал и быстрым шагом пошел прочь. Эйб сел возле Розмэри.

— Зачем вы с ним так резко?

— Разве резко? — удивился Эйб. — Хнычет тут все утро, надоел.

— Может быть, у него какая-то беда.

— Может быть.

— А что это за разговор о дуэли? У кого, с кем? Когда мы поравнялись на дороге с их машиной, мне показалось, будто там происходит что-то странное. Но неужели это правда?

— Вообще это, конечно, бред собачий, но тем не менее правда.

X

— Ссора, оказывается, началась перед тем, как машина Эрла Брэди обогнала дайверовский лимузин, стоявший у обочины... — Ровный голос Эйба вливался в гулкую предутреннюю тишину. — Вайолет Маккиско стала рассказывать

миссис Абрамс что-то про Дайверов, какое-то она там сделала наверху в доме открытие, которое прямо-таки ошеломило ее. А Томми, он за Дайверов готов любому перегрызть горло. Правда, эта Маккиско довольно противная особа, но дело не в этом, а в том, что чета Дайверов, именно *чета* Дайверов, занимает в жизни своих друзей особенное место, многие даже сами не вполне это сознают. Конечно, при таком отношении что-то теряется, иногда чувствуешь себя с ними так, будто сидишь в театре и смотришь на прелестную балетную пару, а балет — это зрелище, которое восхищает, но не волнует; но на самом деле все тут гораздо сложнее — в двух словах не объяснишь. Так или иначе, Томми — один из тех, кто через Дика стал близок и к Николь, и чуть только Маккиско дала языку волю, он ее сразу осадил:

— Миссис Маккиско, будьте добры прекратить этот разговор.

— Я не с вами разговариваю, — возразила она.

— Все равно, я вас прошу Дайверов не касаться.

— А что, это такая святыня?

— Оставьте Дайверов в покое, миссис Маккиско. Найдите себе другую тему.

Томми сидел на одном из откидных сидений.

На другом сидел Кампион, от него я и узнал обо всем.

— А вы мне не указывайте, — озлилась Вайолет.

Вы знаете, как это бывает, когда люди ночью в машине возвращаются из гостей — кто-то переговаривается вполголоса, кто-то задумался о своем, кто-то дремлет от усталости. Вот и здесь — все только тогда опомнились, когда машина остановилась и Барбан закричал громовым голосом кавалерийского командира:

— Выходите из машины! До отеля не больше мили, дойдете пешком, а не дойдете — дотащат. Я больше не желаю слышать ни вашего голоса, ни голоса вашей жены!

— Это насилие! — закричал Маккиско. — Вы пользуетесь тем, что физически я слабее вас. Но вам меня не запугать. Жаль, у нас не существует дуэльного кодекса.

Он забыл, что Томми — француз, в этом была его ошибка. Томми размахнулся и дал ему пощечину — тут шофер решил, что нужно ехать дальше. В эту минуту ваша машина и поравнялась с ними. Женщины, конечно, подняли визг. Вся эта кутерьма продолжалась до самого отеля.

Томми позвонил знакомому в Канн и попросил

быть его секундантом. Маккиско не захотел брать в секунданты Кампиона, — который, впрочем, к этому и не стремился, — а позвонил мне и, не вдаваясь в подробности, просил немедленно приехать сюда. Вайолет Маккиско сделалось дурно, миссис Абрамс увела ее к себе, напоила каплями, и та благополучно уснула на ее кровати. Приехав и узнав, в чем дело, я попробовал урезонить Томми, но он требовал, чтобы Маккиско принес ему извинения, а Маккиско расхрабрился и извиниться не пожелал.

Выслушав Эйба, Розмэри с тревогой спросила:

— А Дайверы знают, что все вышло из-за них?

— Нет — и не узнают никогда. Этот идиот Кампион совершенно напрасно и вас посвятил во все, но этого уже не исправишь. А шоферу я сказал: если он вздумает болтать, я пущу в ход свою знаменитую музыкальную пилу. Но Томми все равно не успокоится — ему нужна настоящая война, а не стычка один на один.

— Только бы Дайверы не узнали, — сказала Розмэри.

— Пойду проведаю Маккиско. Хотите со мной? Ему будет приятно ваше участие — бедняга, верно, ни на миг глаз не сомкнул.

Розмэри живо представилось, как этот несклад-

ный, болезненно обидчивый человек мечется без сна в ожидании рассвета. С минуту она колебалась, потом жалость пересилила в ней отвращение, и, кивнув головой, она по-утреннему бодро взбежала по лестнице вместе с Эйбом.

Маккиско сидел на кровати с бокалом шампанского, но вся его хмельная воинственность улетучилась без следа. Сейчас это был хилый, бледный, насупленный человечек. Видимо, он всю ночь напролет пил и писал. Он растерянно оглянулся на Эйба и Розмэри:

— Уже пора?

— Нет, еще с полчаса в вашем распоряжении.

На столе валялись исписанные листки бумаги — очевидно, разрозненные страницы длинного письма. Не без труда подобрав их по порядку — на последних страницах строчки были очень размашистые и неразборчивые, — он придвинул настольную лампу, свет которой с наступающим утром постепенно тускнел, нацарапал внизу свою подпись, затолкал послание в конверт и вручил Эйбу со словами:

— Моей жене.

— Пойдите суньте голову под кран с холодной водой, — посоветовал ему Эйб.

— Вы думаете, нужно? — неуверенно спросил

Маккиско. — Я бы не хотел совсем протрезвиться.

— Да на вас смотреть страшно.

Маккиско покорно поплелся в ванную.

— Мои дела остаются в жутком беспорядке! — крикнул он оттуда. — Не знаю, как Вайолет доберется домой, в Америку. Я даже не застрахован. Все как-то руки не доходили.

— Не мелите вздор, через час вы благополучно будете завтракать в отеле.

— Да, да, конечно.

Он вернулся с мокрыми волосами и недоуменно посмотрел на Розмэри, будто впервые ее увидел. Вдруг его глаза помутнели от слез.

— Мой роман так и не будет дописан. Вот что для меня самое тяжелое. Вы ко мне плохо относитесь, — обратился он к Розмэри, — но тут уж ничего не поделаешь. Я прежде всего — писатель. — Он как-то уныло икнул и помотал головой с безнадежным видом. — Я много ошибался в своей жизни — очень много. Но я был одним из самых выдающихся — в некотором роде…

Он не договорил и стал сосать потухшую сигарету.

— Я к вам очень хорошо отношусь, — сказала Розмэри, — но мне не нравится вся эта история

с дуэлью.

— Да, надо было просто избить его как следует, но сделанного не вернешь. Я дал себя спровоцировать на поступок, которого не имел права совершать. Я чересчур вспыльчив…

Он внимательно посмотрел на Эйба, словно ожидая возражений с его стороны. Потом с судорожным смешком опять поднес к губам сигарету. Было слышно, как он учащенно дышит.

— Беда в том, что я сам заговорил о дуэли. Если б еще Вайолет смолчала, я бы сумел все уладить. Конечно, еще и сейчас не поздно — можно взять и уехать или обратить все в шутку. Но боюсь, Вайолет тогда перестанет уважать меня.

— Вовсе нет, — сказала Розмэри. — Она даже станет уважать вас больше.

— Вы не знаете Вайолет. Если она чувствует себя в чем-то сильнее другого, она может быть очень жестокой.

Мы женаты двенадцать лет, была у нас дочка, она умерла, когда ей шел восьмой год, а потом — знаете, как оно бывает в таких случаях. Мы оба стали кое-что позволять себе на стороне, не то чтобы всерьез, но все-таки это нас отдаляло друг от друга. А вчера она меня там обозвала трусом.

Розмэри, смущенная, молчала.

— Ладно, постараемся, чтобы все обошлось без последствий, — сказал Эйб и открыл большой кожаный футляр. — Вот дуэльные пистолеты Барбана — я прихватил их, чтобы вы могли заранее с ними освоиться. Он всегда возит их в своем чемодане. — Эйб взял один из пистолетов и взвесил на руке. Розмэри испуганно вскрикнула, а Маккиско с явной опаской уставился на это архаическое оружие.

— Неужели, чтобы нам обменяться выстрелами, нужны пистолеты сорок пятого калибра?

— Не знаю, — безжалостно сказал Эйб. — Считается, что из длинноствольного пистолета удобнее целиться.

— А с какого расстояния? — спросил Маккиско.

— Я разузнал все порядки. Если цель поединка — лишить противника жизни, назначают восемь шагов, если хотят выместить на нем разгоревшуюся злобу — двадцать, а если речь идет только о защите чести — сорок. Мы с секундантом Томми порешили на сорока.

— Хорошо.

— Интересная дуэль описана в одной повести Пушкина, — вспомнил Эйб. — Противники стояли оба на краю пропасти, так что даже получивший пустяковую рану должен был погибнуть.

Этот экскурс в историю литературы, видимо, не дошел до Маккиско, он недоуменно посмотрел на Эйба и спросил:

— Что, что?

— Не хотите ли разок окунуться в море — это вас освежит.

— Нет, нет, мне не до купанья. — Он вздохнул. — Я ничего не понимаю, — сказал он. — Зачем я это делаю?

Впервые в жизни ему приходилось что-то *делать*. Он был из тех людей, для которых чувственный мир не существует, и, очутившись перед конкретным фактом, он совершенно растерялся.

— Что ж, будем собираться, — видя его состояние, сказал Эйб.

— Хорошо. — Он отхлебнул порядочный глоток бренди, сунул фляжку в карман и спросил, как-то дико поводя глазами: — А вдруг я убью его — меня тогда посадят в тюрьму?

— Я вас переброшу через итальянскую границу.

Он оглянулся на Розмэри, потом сказал Эйбу виноватым тоном:

— Прежде чем идти, я бы хотел кое о чем поговорить с вами наедине.

— Я надеюсь, что ни один из вас не будет ранен, — сказала Розмэри. — Эта дуэль — ужасная глупость, и нужно постараться, чтобы она не состоялась.

XI

Внизу, в пустынном вестибюле, Розмэри встретила Кампиона.

— Я видел, как вы пошли наверх, — заговорил он возбужденно. — Ну, как там Маккиско? Когда состоится дуэль?

— Не знаю. — Ей не понравился его тон — словно речь шла о цирковом представлении с Маккиско в амплуа трагического клоуна.

— Поедемте со мной. Я заказал машину в отеле, — сказал он так, как говорят: «У меня есть лишний билет».

— Спасибо, не хочется.

— А почему? Я бы ни за что не согласился пропустить такое событие, хоть это наверняка сократит мою жизнь на несколько лет. Мы можем остановить машину, не доезжая до места, и смотреть издали.

— Пригласите лучше мистера Дамфри.

Кампион выронил свой монокль, на этот раз не

нашедший пристанища в курчавых зарослях, и с достоинством выпрямился.

— С ним у меня больше нет ничего общего.

— К сожалению, я никак не могу поехать. Мама будет недовольна.

Когда Розмэри вернулась к себе, в соседней комнате заскрипела кровать и сонный голос миссис Спирс спросил:

— Где ты была?

— Мне просто не спалось, и я вышла на воздух. А ты спи, мамочка.

— Иди сюда.

Догадавшись по звуку, что мать села в постели, Розмэри вошла и рассказала ей обо всем случившемся.

— А почему тебе в самом деле не поехать? — сказала миссис Спирс. — Ведь можно оставаться на расстоянии, а потом, в случае чего, твоя помощь очень пригодится.

Розмэри колебалась — ей неприятно было вообразить себя глазеющей на подобное зрелище, но у миссис Спирс мысли еще путались со сна, и из ее прошлого докторской жены наплывали воспоминания о ночных вызовах на место катастрофы или к постели умирающего.

— Мне хочется, чтобы ты сама, без меня, реша-

ла, куда тебе идти и что делать, — делала же ты для рекламных трюков Рэйни многое, что было потруднее.

Розмэри по-прежнему казалось, что ехать ей незачем, но она повиновалась отчетливому, твердому голосу матери — как повиновалась в двенадцать лет, когда этот же голос велел ей войти в театр «Одеон» с артистического подъезда и потом ласково поздравил ее с удачей.

Выйдя на крыльцо, Розмэри увидела, как отъехал автомобиль, увозивший Маккиско и Эйба, и облегченно вздохнула, но тут из-за угла выкатилась машина отеля. Восторженно пискнув, Луис Кампион втащил Розмэри на сиденье рядом с собой.

— Я нарочно выжидал, боялся, вдруг они не позволят нам ехать. А я, видите, и киноаппарат прихватил.

Она усмехнулась, не зная, что сказать. Он был до того отвратителен, что уже не внушал и отвращения, просто воспринимался как нелюдь.

— Почему миссис Маккиско невзлюбила Дайверов? — спросила она. — Они были так любезны с ней.

— При чем тут «невзлюбила»? Она там что-то такое увидела. А что, мы так и не узнали из-за

Барбана.

— Значит, не это вас так расстроило?

— Ну что вы. — Его голос дрогнул. — *То* случилось после нашего возвращения в отель. Но теперь мне уже все равно — не хочу больше и думать об этом.

Следом за машиной Эйба они выехали на береговое шоссе, миновали Жуан-ле-Пэн с остовом строящегося здания казино и поехали дальше на восток. Был пятый час утра, и под серо-голубым небом уже выходили, поскрипывая, в море первые рыбачьи лодки. Немного спустя обе машины свернули с шоссе влево и стали удаляться от моря.

— Сейчас мы увидим поле для гольфа! — закричал Кампион. — Я уверен, там это и будет.

Он оказался прав. Когда машина Эйба остановилась впереди, небо на востоке уже было разрисовано желтыми и красными полосами, предвещавшими знойный день. Розмэри и Кампион велели шоферу дожидаться в сосновой роще, а сами пошли вдоль тенистой опушки, огибая край поля, где по выжженной солнцем траве расхаживали Эйб и Маккиско — последний временами вытягивал шею, как принюхивающийся кролик. Но вот у дальней отметины для

мяча появились еще какие-то фигуры, — впереди можно было распознать Барбана, за ним француз-секундант нес под мышкой ящик с пистолетами.

Оробевший Маккиско юркнул за спину Эйба и основательно приложился к фляжке с бренди. После чего, давясь и кашляя, поспешил дальше и налетел бы с разгону на двигавшегося навстречу противника, если б не Эйб, который удержал его на полдороге, а сам отправился совещаться с французом. Солнце уже взошло над горизонтом.

Кампион вцепился Розмэри в плечо.

— Ох, не могу, — просипел он едва слышно. — Это для меня чересчур. Это сократит мою жизнь на…

— Пустите меня! — крикнула на него Розмэри и, отвернувшись, с жаром зашептала французскую молитву.

Дуэлянты встали друг против друга — Барбан с засученным выше локтя рукавом. Его глаза беспокойно поблескивали на солнце, но он вытер ладонь о штанину неторопливым и размеренным движением. Маккиско, которому бренди придало отваги, сжал губы дудочкой и с напускным равнодушием поводил своим длинным носом, пока Эйб не шагнул вперед, держа в руке носовой платок. Секундант-француз смотрел в другую сторону.

Розмэри, одолеваемая мучительным состраданием, скрежетала зубами от ненависти к Барбану.

— Раз — два — три! — напряженным голосом отсчитал Эйб.

Два выстрела грянули одновременно. Маккиско пошатнулся, но тут же овладел собой. Оба дуэлянта промахнулись.

— Достаточно! — крикнул Эйб.

Все вопросительно посмотрели на Барбана.

— Я не удовлетворен.

— Вздор! Вы вполне удовлетворены, — сердито сказал Эйб. — Вы просто сами еще этого не поняли.

— Ваш подопечный отказывается от второго выстрела?

— Не валяйте дурака, Томми. Вы настояли на своем, и мой доверитель исполнил все, что от него требовалось.

Томми презрительно рассмеялся.

— Расстояние было смехотворным, — сказал он. — Я не привык к подобным комедиям — напомните своему подопечному, что он не в Америке.

— А вы полегче насчет Америки, — довольно резко оборвал его Эйб. И более примирительным тоном добавил: — Правда, Томми, это все

слишком далеко зашло. — С минуту они о чем-то препирались вполголоса, потом Барбан кивнул и холодно поклонился издали своему недавнему противнику.

— А обменяться рукопожатиями? — спросил француз-врач.

— Они уже знакомы, — ответил Эйб. Он повернулся к Маккиско. — Пойдемте, здесь больше нечего делать.

Уже на ходу Маккиско в порыве ликования схватил Эйба за руку.

— Постойте-ка, — сказал Эйб. — Нужно вернуть Томми его пистолет. Он ему еще понадобится.

Маккиско протянул пистолет Эйбу.

— Ну его к черту, — сказал он задиристо. — Передайте, что он…

— Может быть, передать, что вы хотели бы еще раз обменяться с ним выстрелами?

— Вот я и дрался на дуэли! — воскликнул Маккиско, когда они наконец пошли к машине. — И показал, на что я способен. Я был на высоте, верно?

— Вы были пьяны, — отрезал Эйб.

— Вовсе нет.

— Ну нет так нет.

— А если я даже глотнул раз-другой, что от этого

меняется?

Все больше набираясь апломба, он уже недружелюбно поглядывал на Эйба.

— Что от этого меняется? — настаивал он.

— Если вам непонятно, объяснять, пожалуй, не стоит.

— А вы разве не знаете, что во время войны все всегда были пьяны?

— Ладно, поставим точку.

Но точку, оказывается, было еще рано ставить. Кто-то бежал вдогонку; они остановились, и к ним подошел запыхавшийся врач.

— Pardon, messieurs, — заговорил он, отдуваясь. — Voulez-vous régler mes honoraires? Naturellement c'est pour soins médicaux seulement. M. Barban n'a qu'un billet de mille et ne peut pas les régler et l'autre a laissé son porte-monnaie chez lui.[46]

— Француз остается французом, — заметил Эйб, потом спросил врача: — Combien?[47]

— Дайте я заплачу, — предложил Маккиско.

---

[46] notes: 46

Простите, господа. Я хотел бы получить причитающийся мне гонорар. Только за медицинскую помощь, разумеется. Господин Барбан не мог рассчитаться, так как у него есть только тысячефранковая купюра. А другой господин забыл кошелек дома *(фр.)*.

[47] notes: 47

Сколько? *(фр.)*

— Не надо, у меня есть. Мы все рисковали одинаково.

Пока Эйб расплачивался с врачом, Маккиско вдруг метнулся в кусты, и там его вырвало. Вышел он оттуда бледнее прежнего и чинно проследовал за Эйбом к машине в лучах совсем уже розового утреннего солнца.

А в сосновой роще лежал, судорожно ловя ртом воздух, Кампион, единственная жертва дуэли, и Розмэри в припадке истерического смеха пинала его носком сандалеты в бок. Она не успокоилась, пока не заставила его встать и идти — для нее теперь важно было только одно: через несколько часов она увидит на пляже того, кого мысленно все еще называла словом «Дайверы».

XII

Вшестером они сидели у Вуазена, дожидаясь Николь, — Розмэри, Норты, Дик Дайвер и двое молодых музыкантов-французов. Сидели и внимательно приглядывались к другим посетителям ресторана: Дик утверждал, что ни один американец — за исключением его самого — не умеет спокойно держаться на людях, и они искали примера, чтобы поспорить на этот счет. Но, как

назло, за десять минут не нашлось никого, кто, войдя в зал, не сделал бы какого-то ненужного жеста, не провел бы рукой по лицу, например.

— Зря мы перестали носить нафабренные усы, — сказал Эйб. — Но все-таки это неверно, что Дик — единственный, кто способен держаться спокойно.

— Нет, верно, — возразил Дик.

— Единственный, кто на это способен в трезвом виде, — с такой оговоркой я еще, пожалуй, готов согласиться.

Недалеко от них хорошо одетый американец и две его спутницы, непринужденно болтая, рассаживались вокруг освободившегося столика. Вдруг американец почувствовал, что за ним следят; тотчас же его рука дернулась кверху и стала разглаживать несуществующую складку на галстуке. Другой мужчина, дожидавшийся места, то и дело похлопывал себя по гладко выбритой щеке, а его спутник машинально мял пальцами недокуренную сигару. Кто-то вертел в руках очки, кто-то дергал волосок бородавки; другие, кому уцепиться было не за что, поглаживали подбородок или отчаянно теребили мочку уха.

Но вот в дверях появился генерал, чье имя было хорошо известно многим, и Эйб Норт, в расчете на

вест-пойнтскую муштру, с первого года входящую в плоть и кровь будущего военного, предложил Дику пари на пять долларов.

Свободно опустив руки вдоль туловища, генерал дожидался, когда его усадят. Вдруг обе руки качнулись назад, как у дергунчика, и Дик уже открыл рот для торжествующего возгласа, но генерал вновь обрел равновесие, и все облегченно перевели дух — тревога была ложная, официант пододвигал гостю стул... И тут раздосадованный полководец резким движением почесал свои белоснежные седины.

— Ну, кто был прав? — самодовольно сказал Дик. — Конечно, я — единственный.

Для Розмэри, во всяком случае, это было так, и Дик, воздавая должное благодарной аудитории, сумел создать за своим столом такое дружное веселье, что Розмэри никого и ничего не замечала вокруг. Они приехали в Париж два дня назад, но все еще словно бы не выбрались из-под пляжного зонта. Иногда Розмэри, еще не искушенная опытом светских раутов Голливуда, робела в непривычной обстановке — как, например, на балу Пажеского корпуса, где они были накануне; но Дик сразу приходил на помощь: здоровался по-приятельски с двумя-тремя избранными (у

Дайверов везде оказывалось множество знакомых, с которыми они, однако, подолгу не виделись, судя по изумленным возгласам: «Да где же это вы пропадаете?») и тотчас же вновь замыкал границы своего тесного кружка, и каждого, кто пытался туда проникнуть, ждал мягкий, но решительный отпор — этакий coup de grâce,[48] нанесенный шпагой иронии. Вскоре Розмэри уже чудилось, будто и сама она знавала этих людей в далеком и неприятном прошлом, но впоследствии разошлась с ними, отвернулась от них, вычеркнула их из своей жизни.

Компания Дика была сокрушительно американская, а иногда вдруг казалось, что ничего в ней американского нет. Все дело было в том, что он возвращал американцев самим себе, воскрешал в них черты, стертые многолетними компромиссами.

В дымном, пропитанном острыми ароматами пищи сумраке ресторана заголубел костюм Николь, точно кусочек яркого летнего дня ворвался снаружи. За столом ее встретили взгляды, в которых было восхищение ее красотой, и она отвечала сияющей благодарной улыбкой. Потом

---

[48] notes: 48
Приканчивающий удар *(фр.)*.

пошли любезности, обычная светская болтовня о том о сем и ни о чем. Потом, когда это надоело, начали обмениваться шуточками, даже шпильками, наконец, стали строить всякие планы. Много смеялись, а чему, сами не могли после вспомнить, но смеялись от души, а мужчины распили три бутылки вина. В тройке женщин за этим столом отразился пестрый поток американской жизни. Николь — внучка разбогатевшего американского торговца и внучка графа фон Липпе-Вайссенфельда. Мэри Норт — дочь мастера-обойщика и потомок Джона Тайлера, десятого президента США. Розмэри — девушка из скромной буржуазной семьи, закинутая матерью на безымянные высоты Голливуда. Одним они походили друг на друга и этим же отличались от многих других американских женщин: все три охотно существовали в мужском мире, сохраняя свою индивидуальность благодаря мужчинам, а не вопреки им. Каждая могла стать образцовой женой или образцовой куртизанкой в зависимости от обстоятельств — но не обстоятельств рождения, а других, более значительных: от того, встретит или не встретит она в жизни мужчину, который ей нужен.

Розмэри было приятно завтракать в ресторане,

в такой милой компании, — хорошо, что всего семь человек, больше было бы уже слишком много. И может быть, она, новичок в их кружке, своим присутствием действовала как катализатор, заставляя проявляться многое в отношениях между членами этого кружка, что обычно оставалось нераскрытым. Когда встали из-за стола, официант проводил Розмэри в темный закоулок, без какого не обходится ни один французский ресторан; и там, при свете тускло-оранжевой лампочки разыскав в справочнике номер, она позвонила во «Франко-Американ филмз». Да, конечно, копия «Папиной дочки» у них имеется — сейчас она в прокате, но дня через три можно будет устроить просмотр, пусть мисс Хойт приедет на Rue de Saintes Anges,[49] 341, и спросит мистера Краудера.

Телефон находился у выхода в вестибюль, и, кладя трубку, Розмэри услышала приглушенные голоса. Разговаривали двое, отделенные от нее гардеробной вешалкой.

— …значит, любишь?

— Ты еще спрашиваешь!

Розмэри узнала голос Николь и остановилась

---

[49] notes: 49
Улицу Святых ангелов (*фр.*).

в нерешительности. И тут она услышала голос Дика:

— Я хочу тебя — сейчас же — давай поедем в отель.

У Николь вырвался короткий, сдавленный вздох. В первую минуту Розмэри не поняла услышанных слов, но тон она поняла. Таинственная его интимность дрожью отдалась в ней самой.

— Хочу тебя.

— Я приеду в отель к четырем.

Голоса стихли, удаляясь, а Розмэри все стояла, боясь перевести дух. Сначала она даже была удивлена — почему-то отношения этих двух людей всегда представлялись ей более отвлеченными, более безличными. Но вдруг ее захлестнуло какое-то новое чувство, бурное и незнакомое. Она не знала, что это — восторг или отвращение, знала только, что все в ней перевернулось. Она чувствовала себя очень одинокой, когда шла обратно в зал, и в то же время растроганной донельзя; это полное страстной благодарности «Ты еще спрашиваешь!» звучало у нее в ушах. Истинный подтекст разговора, который она невольно подслушала, был пока недоступен ей, все это еще ждало ее впереди, но нутром она почувствовала, что ничего дурного тут нет — ей не было про-

тивно, как бывало при съемке любовных сцен в фильмах.

Хоть это и не касалось ее непосредственно, Розмэри уже не могла оставаться безучастной; странствуя по магазинам с Николь, она все время думала о назначенном свидании, о котором Николь словно бы не думала вовсе. Она вглядывалась в Николь, по-новому оценивая ее привлекательность. И ей казалось, что в этой женщине привлекательно все — даже свойственная ей жестковатость, даже ее привычки и склонности, и еще что-то неуловимое, что для Розмэри, смотревшей на все это глазами своей матери, представительницы среднего класса, связывалось с отношением Николь к деньгам. Розмэри тратила деньги, заработанные трудом, — в Европе она сейчас находилась потому, что в одно январское утро больная, с температурой, раз за разом прыгала в воду, пока мать не вмешалась и не увезла ее домой.

С помощью Николь Розмэри купила на свои деньги два платья, две шляпы и четыре пары туфель. Николь делала покупки по списку, занимавшему две страницы, а кроме того, покупала все, приглянувшееся ей в витринах. То, что не могло сгодиться ей самой, она покупала в подарок

друзьям. Она накупила пестрых бус, искусственных цветов, надувных подушек для пляжа, сумок, шалей, цветочного меду и штук десять купальных костюмов. Купила резинового крокодила, кровать-раскладушку, мебель для кукольного домика, пару попугайчиков-неразлучников, отрез новомодной материи с перламутровым отливом, дорожные шахматы слоновой кости с золотом, дюжину полотняных носовых платков для Эйба, две замшевые куртки от Гермеса — одну цвета морской волны, другую цвета клубники со сливками. Она покупала вещи не так, как это делает дорогая куртизанка, для которой белье или драгоценности — это, в сущности, и орудия производства, и помещение капитала, — нет, тут было нечто в корне иное. Чтобы Николь существовала на свете, затрачивалось немало искусства и труда. Ради нее мчались поезда по круглому брюху континента, начиная свой бег в Чикаго и заканчивая в Калифорнии; дымили фабрики жевательной резинки, и все быстрей двигались трансмиссии у станков: рабочие замешивали в чанах зубную пасту и цедили из медных котлов благовонный эликсир; в августе работницы спешили консервировать помидоры, а перед рождеством сбивались с ног продавщицы

в магазинах стандартных цен; индейцы-полукровки гнули спину на бразильских кофейных плантациях, а витавшие в облаках изобретатели вдруг узнавали, что патент на их детище присвоен другими, — все они и еще многие платили Николь свою десятину. То была целая сложная система, работавшая бесперебойно в грохоте и тряске, и оттого, что Николь являлась частью этой системы, даже такие ее действия, как эти оптовые магазинные закупки, озарялись особым светом, подобным ярким отблескам пламени на лице кочегара, стоящего перед открытой топкой. Она наглядно иллюстрировала очень простые истины, неся в себе самой свою неотвратимую гибель, но при этом была полна такого обаяния, что Розмэри невольно захотелось подражать ей.

Было уже почти четыре часа. Стоя посреди магазина с зеленым попугайчиком на плече, Николь разговорилась — что с ней бывало нечасто.

— А ведь если б вам не пришлось прыгать в воду в тот зимний день… Странно иногда получается в жизни. Я помню, перед самой войной мы жили в Берлине — это было незадолго до смерти мамы, мне тогда шел четырнадцатый год. Бэби, моя сестра, получила приглашение на придворный бал, и в ее книжечке три танца были

записаны за принцами крови — все это удалось устроить через одного камергера. За полчаса до начала сборов у нее вдруг жар и сильная боль в животе справа. Врач признал аппендицит и сказал, что нужна операция. Но мама не любила отказываться от своих планов; и вот сестре под бальным платьем привязали пузырь со льдом, и она поехала на бал и танцевала до двух часов ночи, а в семь утра ей сделали операцию.

Выходило, что жестоким быть нужно; самые симпатичные люди жестоки по отношению к самим себе. Между тем часы уже показывали четыре, и Розмэри не давала покоя мысль о Дике, который сидит в отеле и ждет Николь. Почему же та не едет, почему заставляет его ждать? Мысленно она торопила Николь: «Да поезжайте же!» В какую-то минуту она едва не крикнула: «Давайте я поеду, если вам это ни к чему!» Но Николь зашла еще в один магазин, где выбрала по букетику к платью себе и Розмэри и такой же велела отправить с посыльным Мэри Норт. Только после этого она, видимо, вспомнила — взгляд у нее сделался рассеянный, и она подозвала проезжающее такси.

— Мы премило провели время, правда? — сказала она, прощаясь.

— Чудесно, — отозвалась Розмэри. Она не думала, что это будет так трудно; все в ней бунтовало, когда она смотрела вслед удалявшемуся такси.

XIII

Дик обогнул траверс и продолжал идти по дощатому настилу на дне траншеи. Посмотрел в попавшийся на пути перископ, потом стал на стрелковую ступень и выглянул из-за бруствера. Впереди, под мутным серебристым небом, был виден Бомон-Гамель, слева памятником трагедии высилась гора Типваль. Дик поднес к глазам полевой бинокль, тягостное чувство сдавило ему горло.

Он пошел по траншее дальше и у следующего траверса нагнал своих спутников. Ему не терпелось передать другим переполнявшее его волнение, заставить их все почувствовать и все понять; а между тем ему ведь ни разу не пришлось побывать в бою — в отличие от Эйба Норта, например.

— Каждый фут этой земли обошелся тем летом в двадцать тысяч человеческих жизней, — сказал он Розмэри.

Она послушно обвела взглядом унылую рав-

нину, поросшую низенькими шестилетними деревцами. Скажи Дик, что сами они сейчас находятся под артиллерийским обстрелом, она бы и этому поверила. Ее любовь наконец достигла той грани, за которой начинается боль и отчаяние. Она не знала, что делать, а матери не было рядом.

— С тех пор немало еще поумирало народу, и все мы тоже скоро умрем, — утешил Эйб.

Розмэри неотрывно смотрела на Дика, ожидая продолжения его речи.

— Вон видите речушку — не больше двух минут ходу отсюда? Так вот, англичанам понадобился тогда месяц, чтобы до нее добраться. Целая империя шла вперед, за день продвигаясь на несколько дюймов; падали те, кто был в первых рядах, их место занимали шедшие сзади. А другая империя так же медленно отходила назад, и только убитые оставались лежать бессчетными грудами окровавленного тряпья. Такого больше не случится в жизни нашего поколения, ни один европейский народ не отважится на это.

— В Турции только-только перестали воевать, — сказал Эйб. — И в Марокко…

— То другое дело. А Западный фронт в Европе повторить нельзя и не скоро можно будет. И

напрасно молодежь думает, что ей это по силам. Еще первое Марнское сражение можно было б повторить, но то, что произошло здесь, — нет, никак. Для того, что произошло здесь, потребовалось многое — вера в бога, и годы изобилия, и твердые устои, и отношения между классами, как они сложились именно к тому времени. Итальянцы и русские для этого фронта не годились. Тут нужен был фундамент цельных чувств, которые старше тебя самого. Нужно было, чтобы в памяти жили рождественские праздники, и открытки с портретами кронпринца и его невесты, и маленькие кафе Валанса, и бракосочетания в мэрии, и поездки на дерби, и дедушкины бакенбарды.

— Такую тактику битвы придумал еще генерал Грант — в тысяча восемьсот шестьдесят пятом — при Питерсберге.

— Неправда, то, что придумал генерал Грант, было обыкновенной массовой бойней. А то, о чем говорю я, идет от Льюиса Кэрролла, и Жюля Верна, и того немца, который написал «Ундину», и деревенских попиков, любителей поиграть в кегли, и марсельских marraines,[50] и обольщенных девушек из захолустий Вестфалии и Вюртембер-

---

[50] notes: 50
Кумушек *(фр.)*.

га. В сущности, здесь ведь разыгралась любовная битва — целый век любви буржуа пошел на то, чтоб удобрить это поле. Это была последняя любовная битва в истории.

— Еще немного, и вы отдадите ее авторство Д.-Г. Лоуренсу, — сказал Эйб.

— Весь мой прекрасный, милый, благополучный мир взлетел тут на воздух от запала любовной взрывчатки, — не унимался Дик. — Ведь так, Розмэри?

— Не знаю, — сосредоточенно сдвинув брови, сказала она. — Это вы все знаете.

Они чуть поотстали от прочих. Вдруг их обдало градом камешков и комков земли, а из-за ближайшего траверса послышался громкий голос Эйба:

— Дух старого бойца проснулся во мне. За мной ведь тоже целый век любви — любви в штате Огайо. Сейчас вот разбомблю к чертям эту траншею. — Он высунул голову из-за насыпи: — Вы что же, правил игры не знаете? Вы убиты — я в вас метнул ручную гранату.

Розмэри засмеялась, а Дик подобрал было горсть камешков для ответного залпа, но тут же выпустил их из рук.

— Не могу дурачиться в таком месте, — сказал он почти виноватым тоном. — Пусть серебряная

цепочка порвалась и разбился кувшин у источника, и как там дальше — но я старый романтик, и с этим ничего не поделаешь.

— Я тоже романтик.

Они выбрались из аккуратно реставрированной траншеи и прямо перед собой увидели памятник павшим ньюфаундлендцам. Читая надпись на памятнике, Розмэри вдруг разрыдалась. Как большинство женщин, она любила, когда ей подсказывали, что и когда она должна чувствовать, и ей нравились поучения Дика: вот это смешно, а вот это печально. Но больше всего ей хотелось, чтобы Дик понял, как сильно она его любит — теперь, когда эта любовь перевернула для нее все на свете, когда она даже по полю сражения ходит будто в прекрасном сне.

Они сели в машину и поехали обратно в Амьен. Теплый реденький дождик сеялся на низкорослые деревья и кусты, по сторонам то и дело попадались сложенные, точно для гигантских погребальных костров, артиллерийские стаканы, бомбы, гранаты и всяческая амуниция — каски, штыки, ружейные приклады, полусгнившие ремни, шесть лет пролежавшие в земле. И вдруг за поворотом дороги запенилось белыми гребешками целое море могил. Дик велел шоферу

остановиться.

— Смотрите, та рыженькая девушка так и не пристроила свой венок.

Он вышел и направился к девушке с большим венком в руках, растерянно стоявшей у ворот кладбища. Рядом дожидалось такси. Это была молоденькая американка из Теннесси, приехавшая возложить цветы на могилу своего брата, — они познакомились с ней утром в поезде. Сейчас лицо у нее было сердитое и заплаканное.

— Наверно, в военном министерстве перепутали номер, — пожаловалась она Дику. — На той могиле совсем другое имя. Я с двух часов ищу, но их тут столько, разве найдешь.

— А вы на имя не смотрите, положите цветы на любую могилу, — посоветовал Дик.

— По-вашему, это будет правильно?

— По-моему, он бы вас похвалил за это.

Уже темнело, и дождь усиливался. Девушка положила венок на ближайшую к воротам могилу и охотно приняла предложение Дика отпустить такси и ехать в Амьен с ними.

Розмэри, услышав об этой чужой незадаче, опять всплакнула — такой уж мокрый выдался день; но все же ей казалось, что он ей принес что-то новое, хотя и неясно было, что именно.

Потом, в воспоминаниях, все в этой поездке представлялось ей сплошь прекрасным — бывают такие ничем не примечательные часы или дни, которые воспринимаешь просто как переход от вчерашней радости к завтрашней, а оказывается, в них-то самая радость и была.

Амьен, лиловатый и гулкий, все еще хранил скорбный отпечаток войны, как некоторые вокзалы — Gare du Nord, например, или вокзал Ватерлоо в Лондоне. Днем такие города нагоняют тоску, смотришь, как старомодный трамвайчик тарахтит по пустынной, мощенной серым булыжником соборной площади, — и даже самый воздух кажется старомодным, выцветшим от времени, как старые фотографии. Но приходит вечер, и все, чем особенно мил французский быт, возвращается на ожившие улицы — бойкие проститутки, неуемные спорщики в кафе, пересыпающие свою речь бессчетными «Voilà», парочки, что блуждают, щека к щеке, довольные дешевизной этой прогулки в никуда. В ожидании поезда Дик и его спутники сели за столик под аркадой, где высокие своды вбирали и музыку, и гомон, и дым; оркестр в их честь исполнил «У нас нет больше бананов», и они поаплодировали дирижеру, явно очень довольному собой. Девушка из Теннесси

забыла свои огорчения и веселилась от души, даже стала кокетничать с Диком и Эйбом, пуская в ход знойные взгляды и игривые телодвижения, а они добродушно подзадоривали ее.

Наконец парижский поезд пришел, и они уехали, а земля, в которой под теплым дождем распадались и тлели вюртембержцы, альпийские стрелки, солдаты прусской гвардии, ткачи из Манчестера и питомцы Итонской школы, осталась позади. Они ели бутерброды с болонской колбасой и сыром bel paese,[51] приготовленные в станционном буфете, и запивали их вином Beaujolais.[52] Николь казалась рассеянной; она нервно покусывала губы, углубясь в путеводители, которые захватил с собой Дик, — да, он успел неплохо изучить обстоятельства Амьенской битвы, кое-что сгладил, и в конце концов вся операция приобрела у него неуловимое сходство с приемами в дайверовском доме.

---

[51] notes: 51
«Прекрасная страна» (*ит.*).

[52] notes: 52
Божоле (*фр.*).

XIV

Вечером они еще собирались посмотреть при электрическом освещении Выставку декоративного искусства, но по приезде в Париж Николь сказала, что устала и не пойдет. Они довезли ее до отеля «Король Георг», и когда она скрылась за пересекающимися плоскостями, образованными игрою света в стеклянных дверях, у Розмэри стало легче на душе. Николь была сила, и, быть может, вовсе не добрая; во всяком случае, с ней нельзя было ничего предвидеть заранее — не то что с матерью, например. Розмэри ее немножко боялась.

Около одиннадцати Розмэри, Норты и Дик зашли в кафе-поплавок, недавно открытое на Сене. В воде, серебристо мерцавшей под фонарями, покачивались десятки холодных лун. Когда Розмэри жила в Париже с матерью, они по воскресеньям ездили иногда на пароходике до Сюрена и дорогой строили планы на будущее. У них было очень немного денег, но миссис Спирс, твердо веря в красоту Розмэри и в честолюбивые стремления, которые сама постаралась ей внушить, готова была рискнуть всем, что имела; потом, когда девочка станет на ноги, она с лихвой возместит

матери все затраты…

Эйб Норт с самого их приезда в Париж все время был слегка под хмельком; глаза у него покраснели от солнца и вина. В этот вечер Розмэри впервые заметила, что он не пропускает ни одного заведения, где можно выпить, и ей пришло в голову, что вряд ли это очень приятно Мэри Норт. Мэри обычно мало разговаривала, хотя легко и охотно смеялась, — настолько мало, что Розмэри, в сущности, ничего не успела о ней узнать. Розмэри нравились ее прямые черные волосы, зачесанные назад и только на затылке рассыпавшиеся пышным естественным каскадом; время от времени выбившаяся прядь, косо упав на лоб, лезла в глаза, и тогда она встряхивала головой, чтобы заставить ее лечь на место.

— После этой бутылки мы идем домой, Эйб. — Голос Мэри звучал ровно, но в нем пробивалась нотка тревоги. — А то придется тебя грузить на пароход в жидком состоянии.

— Да всем пора домой, — сказал Дик. — Уже поздно.

Но Эйб упрямо сдвинул свои царственные брови.

— Нет, нет. — И после внушительной паузы: — Торопиться ни к чему. Мы должны распить еще

бутылку шампанского.

— Я больше пить не буду, — сказал Дик.

— А Розмэри будет. Она ведь завзятый алкоголик — у нее всегда припрятана в ванной бутылка джину. Мне миссис Спирс рассказывала.

Он вылил остатки шампанского в бокал Розмэри. В их первый день в Париже Розмэри выпила столько лимонаду, что почувствовала себя плохо, и после этого уже вообще ни к каким напиткам не прикасалась. Но сейчас она взяла налитый ей бокал и поднесла к губам.

— Вот тебе и раз! — воскликнул Дик. — Вы же говорили, что никогда не пьете.

— Но я не говорила, что никогда не буду пить.

— А что скажет мама?

— Один бокал можно.

Ей вдруг очень захотелось выпить этот бокал шампанского. Дик пил, не очень много, но пил, и может быть, если она выпьет тоже, это их сблизит, поможет ей сделать то, на что она внутренне решилась. Она залпом проглотила почти половину, поперхнулась и, переведя дух, сказала:

— Кроме того, мне уже восемнадцать лет — вчера исполнилось.

— Что же вы нам не сказали? — возмущенно зашумели остальные.

— Нарочно, чтоб вы ничего не затевали и не создавали себе лишние хлопоты. — Она допила свое шампанское. — Вот, считайте, что мы отпраздновали.

— Ничего подобного, — возразил Дик. — Завтра по случаю вашего дня рождения будет парадный ужин, и не вздумайте забыть об этом. Шутка сказать — восемнадцать лет.

— Мне когда-то казалось: все, что случается до восемнадцати лет, это пустяки, — сказала Мэри.

— Так оно и есть, — подхватил Эйб. — И то, что случается после, — тоже.

— Эйбу всё пустяки, пока он не сядет на пароход, — сказала Мэри. — У него на этот год в Нью-Йорке очень серьезные планы. — Казалось, она устала произносить слова, утратившие для нее реальный смысл, словно на самом деле все, чем была заполнена — или не заполнена — ее и ее мужа жизнь, давно уже не шло дальше планов и намерений. — Он едет в Штаты писать музыку, а я еду в Мюнхен заниматься пением, и когда мы снова соединимся, нам будет море по колено.

— Как хорошо! — воскликнула Розмэри. Шампанское уже давало себя знать.

— Ну-ка, еще шампанского для Розмэри. Это ей поможет осмыслить деятельность своих

лимфатических желез. Они ведь начинают функционировать в восемнадцать лет.

Дик снисходительно засмеялся; он любил Эйба и давно уже перестал в него верить.

— Медицине это неизвестно, а вообще — идем.

Уловив в его словах покровительственный оттенок, Эйб заметил небрежно:

— А ведь, пожалуй, моя новая вещь пойдет на Бродвее куда раньше, чем вы закончите свой ученый трактат.

— Тем лучше, — не повышая тона, сказал Дик. — Тем лучше. Я, может, и вовсе брошу этот, как вы его называете, «ученый трактат».

— О Дик! — В голосе Мэри прозвучал испуг. Розмэри впервые увидела у Дика такое лицо — пустое, лишенное всякого выражения; она чутьем поняла, что сказанная им фраза несла в себе что-то значительное, даже зловещее, и чуть не крикнула вслед за Мэри: «О Дик!»

Но Дик уже опять весело рассмеялся.

— Брошу этот и примусь за другой, — добавил он и встал из-за стола.

— Нет, нет, Дик, погодите минутку. Я не понимаю…

— Объясню в другой раз. Спокойной ночи, Эйб. Спокойной ночи, Мэри.

— Спокойной ночи, Дик, милый.

Мэри улыбалась так, будто не могло быть ничего лучше предстоящего ей ночного бдения на полупустом поплавке. Она была мужественная, умевшая надеяться женщина, готовая следовать за мужем невесть куда, переламывая себя то на один, то на другой манер, но ни разу ей не удалось хоть немного увести его в сторону от его пути; и порой она, почти теряя мужество, думала о том, что секрет этого пути, от которого зависел и ее путь, запрятан в нем глубоко-глубоко и недоступен ей. И однако, она всегда излучала надежду, словно некий живой талисман…

XV

— Что это вы такое собираетесь бросить? — уже в такси спросила Розмэри, вскинув на Дика большие серьезные глаза.

— Ничего существенного.

— Вы разве ученый?

— Я врач.

— Да ну? — Она вся просияла. — Мой папа тоже был врач. Но тогда почему же вы… — Она запнулась и не закончила фразы.

— Не беспокойтесь, тут нет роковой тайны. Я

не опозорил себя изменой врачебному долгу и не укрылся на Ривьере от людского суда. Просто я сейчас не занимаюсь практикой. Может быть, со временем займусь опять.

Розмэри медленно подняла к нему лицо для поцелуя. Он посмотрел на нее с недоумением. Потом, полуобняв ее за плечи, потерся щекой о ее бархатистую щеку и опять посмотрел долгим, внимательным взглядом.

— Такая прелестная девочка, — сказал он раздумчиво.

Она улыбнулась, глядя на него все так же снизу вверх, пальцы ее машинально играли лацканами его пиджака.

— Я влюблена в вас и в Николь. Это мой секрет — я даже ни с кем не могу говорить про вас, не хочу, чтобы еще кто-нибудь знал, какой вы замечательный. Нет, правда, правда, я вас люблю — вас обоих.

…Сколько раз уже он это слышал — даже слова те же самые…

Вдруг она очутилась так близко, что ее полудетские черты расплылись перед его глазами, и он поцеловал ее захватывающим дух поцелуем, как будто у нее вовсе не было возраста.

Она откинулась на его руку и вздохнула.

— Я решила от вас отказаться, — сказала она.

Дик вздрогнул — кажется, он ничем не дал ей повода почувствовать хоть малейшее право на него.

— Вот уж это безобразие, — нарочито весело сказал он. — Как раз когда я почувствовал некоторый интерес.

— Я так вас любила… — Будто это длилось годы. В голосе ее дрожали слезы. — Я так вас люби-и-ла…

Ему бы надо было в ответ посмеяться, но вместо того он услышал будто сами собой сказавшиеся слова:

— Вы не только красивая, вы какая-то очень полноценная. У вас все выходит по-настоящему, изображаете ли вы несуществующую любовь или несуществующее смущение.

Снова она придвинулась ближе в темной пещерке такси, пахнущей духами, купленными по выбору Николь. Он поцеловал ее поцелуем, лишенным всякого вкуса. Если и была в ней страсть, то он мог только догадываться об этом; ни глаза ее, ни губы ничего не говорили о страсти. Ее дыхание чуть-чуть отдавало шампанским. Она еще тесней прижалась к нему, словно в порыве отчаяния, и он поцеловал ее еще раз, но его рас-

холаживала невинность этих губ, этого взгляда, устремленного мимо него в темноту ночи, темноту вселенной. Она не знала еще, что блаженство заключено внутри нас; когда-нибудь она это поймет и растворится в страсти, движущей миром, и если бы он тогда оказался рядом с ней, он взял бы ее без сомнений и сожалений.

Ее номер в отеле был наискосок от номера Дайверов, ближе к лифту. Дойдя до своей двери, она вдруг сказала:

— Я знаю, что вы меня не любите, я на это и не надеялась. Но вы меня упрекнули, зачем я не сказала про свой день рождения. Вот теперь вы знаете, и я хочу, чтобы вы мне сделали подарок к этому дню — зайдите на минутку ко мне в комнату, я вам скажу что-то. На одну минутку только.

Они вошли, и, притворив за собой дверь, он повернулся к Розмэри; она стояла совсем близко, но так, что они не касались друг друга. Ночь стерла краски с ее лица, оно теперь было бледнее бледного — белая гвоздика, забытая после бала.

— Когда вы улыбаетесь... — Он опять обрел свой шутливо-отеческий тон, быть может, благодаря неосязаемой близости Николь. — ...когда вы улыбаетесь, мне всегда кажется, что я увижу у вас щербинку во рту на месте выпавшего мо-

лочного зуба.

Но он опоздал — она шагнула вплотную к нему и жалобно прошептала:

— Возьмите меня.

— Взять вас — куда?

Он оцепенел от изумления.

— Я вас прошу, — шептала она. — Сделайте со мной — ну все как есть. Ничего, если мне будет неприятно, — наверно будет, мне всегда было противно даже думать об этом, — но тут совсем другое дело. Я *хочу*, чтоб вы это сделали.

Для нее самой было неожиданностью, что она способна на такой разговор. Отозвалось все, о чем она читала, слышала, грезила в долгие годы ученья в монастырской школе. К тому же она каким-то чутьем понимала, что играет сейчас самую свою триумфальную роль, и вкладывала в нее все силы души.

— Что-то вы не то говорите, — попробовал урезонить ее Дик. — Не шампанское ли тут виновато? Давайте-ка замнем этот разговор.

— Ах, нет, нет! Я прошу вас, возьмите меня, научите меня. Я ваша и хочу быть вашей совсем.

— Прежде всего, подумали ли вы, как больно было бы Николь?

— Она не узнает — к ней это не имеет отно-

шения.

Он продолжал мягко и ласково:

— Потом вы забываете, что я люблю Николь…

— А разве любить можно только кого-то одного? Ведь вот я люблю маму и люблю вас — еще больше, чем ее. Теперь — больше.

— …и наконец, никакой любви у вас сейчас ко мне нет, но она могла бы возникнуть, и это изломало бы вашу жизнь в самом ее начале.

— Но мы потом уже никогда не увидимся, обещаю вам. Я вызову маму, и мы с ней уедем в Америку.

Эту мысль он отогнал. Ему слишком хорошо помнилась юная свежесть ее губ. Он переменил тон.

— Все это — настроение, которое скоро пройдет.

— Нет, нет! И я не боюсь, если даже будет ребенок. Поеду в Мексику, как одна актриса с нашей студии. Ах, я никогда не думала, что со мной может быть так, мне всегда только противно бывало, когда меня целовали всерьез. — Ясно было, что она все еще верит, что это должно произойти. — У некоторых такие большие острые зубы, но вы совсем другой, вы красивый и замечательный. Ну, пожалуйста, сделайте это…

— А, я понял — вы просто думаете, что есть особого рода поцелуи, и хотите, чтобы я вас поцеловал именно так.

— Зачем вы смеетесь надо мной — я не ребенок. Я знаю, что у вас нет ко мне любви. Я на это и не рассчитывала. — Она вдруг присмирела и сникла. — Наверно, я вам кажусь ничтожеством.

— Глупости. Но вы мне кажетесь совсем еще девочкой. — Про себя он добавил: «...которую слишком многому пришлось бы учить».

Она молчала, напряженно дыша, пока Дик не договорил:

— И помимо всего, жизнь так устроена, что эти вещи не бывают по заказу.

Розмэри понурила голову и отошла, подавленная обидой и разочарованием. Дик машинально начал было: «Лучше мы с вами просто...», но осекся, увидев, что она сидит на кровати и плачет, подошел и сел рядом. Ему вдруг стало не по себе; не то чтобы он усомнился в занятой нравственной позиции, — слишком уж явной была невозможность иного решения, с какой стороны ни взгляни, — нет, ему просто было не по себе, и обычная его внутренняя гибкость, упругая полнота его душевного равновесия на короткое время изменила ему.

— Я знала, что вы не захотите, — рыдала Розмэри. — Нечего было и надеяться.

Он встал.

— Спокойной ночи, детка. Ужасно глупо все получилось. Давайте считать, что этого не было. — Он отмерил ей дозу успокаивающей банальщины в качестве снотворного: — Вас многие еще будут любить, а когда-нибудь вы и сами полюбите и наверно порадуетесь, что пришли к своей первой любви нетронутою и физически и душевно. Немножко старомодный взгляд, пожалуй?

Она подняла голову и увидела, как он сделал шаг к двери; она смотрела на него, даже отдаленно не догадываясь, что в нем происходит, она увидела, как он медленно сделал еще шаг, потом оглянулся — и на миг ей захотелось броситься ему вслед, впиться в него, почувствовать его рот, его уши, ворот его пиджака, захотелось обвиться вокруг него и вобрать его в себя; но уже его рука легла на дверную ручку. Больше нечего было ждать. Когда дверь за ним затворилась, она встала, подошла к зеркалу и, тихонечко всхлипывая, стала расчесывать волосы щеткой. Сто пятьдесят взмахов, положенных ежевечерне, потом еще сто пятьдесят. Розмэри водила щеткой по волосам, пока у нее не заболела рука, тогда она перемени-

ла руку и продолжала водить…

XVI

За ночь Розмэри остыла и проснулась с чувством стыда. Из зеркала глянуло на нее хорошенькое личико, но это ее не успокоило, а лишь всколыхнуло вчерашнюю боль; не помогло и пересланное матерью письмо, извещавшее о приезде в Париж того студента, чьей гостьей она была на прошлогоднем йельском балу, — все это теперь казалось бесконечно далеким. Она вышла из своей комнаты, ожидая встречи с Дайверами, как пытки, сегодня мучительной вдвойне. Но никто не разглядел бы этого под внешней оболочкой, столь же непроницаемой, как у Николь, когда они встретились, чтобы вместе провести утро в примерках и покупках. И все же приятно было, когда Николь заметила по поводу нервозности какой-то продавщицы: «Многие люди склонны преувеличивать отношение к себе других — почему-то им кажется, что они у каждого вызывают сложную гамму симпатий и антипатий». Еще вчера такое замечание заставило бы экспансивную Розмэри внутренне вознегодовать, сегодня же она выслушала его с радостью — так ей хотелось убе-

дить себя, что не произошло ничего страшного. Она восхищалась Николь, ее красотой, ее умом, но в то же время она впервые в жизни ревновала. Перед самым отъездом с Ривьеры мать в разговоре с ней назвала Николь красавицей; это было сказано тем небрежным тоном, которым она всегда — Розмэри хорошо это знала — маскировала самые значительные свои суждения, и должно было означать, что Розмэри такого названия не заслуживает. Розмэри это нимало не задело; она с детства была приучена считать себя чуть ли не дурнушкой и свою недавно лишь признанную миловидность воспринимала как что-то не присущее ей, а скорей благоприобретенное, вроде умения говорить по-французски. Но сейчас, сидя возле Николь в такси, она невольно сравнивала ее с собой. Казалось, в Николь все словно создано для романтической любви, это стройное тело, этот нежный рот, иногда плотно сжатый, иногда полураскрытый в доверчивом ожидании. Николь была красавицей с юных лет, и было видно, что она останется красавицей и тогда, когда ее кожа, став суше, обтянет высокие скулы, — такой склад лица не мог измениться. Раньше она была по-саксонски розовой и белокурой, но теперь, с потемневшими волосами, стала даже лучше,

чем тогда, когда золотистое облако вокруг лба затмевало всю остальную ее красоту.

На Rue de Saints Pères[53] Розмэри вдруг указала на один дом и сказала:

— Вот здесь мы жили.

— Как странно! Когда мне было двенадцать лет, мы с мамой и с Бэби, моей сестрой, провели зиму вон в том отеле напротив.

Два серых фасада глазели на них с двух сторон, — тусклые отголоски детства.

— У нас тогда достраивался наш дом в Лейк-Форест, и нужно было экономить, — продолжала Николь. — То есть экономили мы с Бэби и с гувернанткой, а мама путешествовала.

— Нам тоже нужно было экономить, — сказала Розмэри, понимая, что смысл этого слова для них неодинаков.

— Мама всегда выражалась очень деликатно: не «дешевый отель», как следовало бы сказать, а «небольшой отель». — Николь засмеялась своим магнетическим коротким смешком. — Если кто-нибудь из наших светских знакомых спрашивал наш адрес, мы никогда не говорили: «Мы живем в квартале апашей, в дрянной лачуге, где спасибо,

---

[53] notes: 53
Улице Святых отцов (*фр.*).

если вода идет из крана», — мы говорили: «Мы живем в небольшом отеле». Словно бы все большие отели для нас чересчур шумны и вульгарны. Конечно, знакомые отлично все понимали и рассказывали об этом направо и налево, но мама всегда утверждала, что в Европе нужно уметь жить, и она умеет. Еще бы ей не уметь, ведь она родилась в Германии. Но мать ее была американкой, и выросла она в Чикаго, и американского в ней было гораздо больше, чем европейского.

До встречи со всеми прочими оставались считанные минуты, но Розмэри успела перестроиться на новый лад, прежде чем такси остановилось на Rue Guynemer, против Люксембургского сада. Завтракать решено было у Нортов, в их уже разоренной квартире под самой крышей, окнами выходившей на густую зелень древесных крон. Розмэри казалось, что даже солнце светит сегодня не так, как вчера. Но вот она очутилась лицом к лицу с Диком, их взгляды встретились, точно птицы задели друг друга крылом на лету. И вмиг стало все хорошо, все прекрасно, она поняла: он уже почти ее любит. Сумасшедшая радость охватила ее, живое тепло побежало по телу. Какой-то ясный спокойный голос запел внутри, и все крепнул и набирал силу. Она почти не смотрела на

Дика, но твердо знала, что все хорошо.

После завтрака Розмэри с Дайверами и Нортами отправилась в студию «Франко-Американ филмз»; туда же должен был приехать и Коллис Клэй, ее нью-хейвенский приятель, с которым она сговорилась по телефону. Этот молодой человек, родом из Джорджии, отличался той необыкновенной прямолинейностью и даже трафаретностью суждений, которая свойственна южанам, приехавшим на Север получать образование. Прошлой зимой Розмэри находила его очень милым и однажды, когда они ехали на машине из Нью-Хейвена в Нью-Йорк, позволила ему всю дорогу держать ее руку в своей; но сейчас он для нее попросту не существовал.

В просмотровом зале она сидела между Коллисом Клэем и Диком; у механика что-то заело в аппарате, и, пока он возился, налаживая его, какой-то француз из администрации увивался вокруг Розмэри, стараясь изъясняться новейшим американским слэнгом. Но вот в зале погас свет, что-то знакомо щелкнуло, зажужжало, и они с Диком наконец остались одни. В полутьме они глянули друг на друга.

— Розмэри, милая, — прошептал Дик. Их плечи соприкоснулись. Николь беспокойно задвигалась

на своем месте в конце ряда, а Эйб долго кашлял и сморкался; потом все успокоилось, и на экране замелькали кадры.

И вот она — прошлогодняя школьница с распущенными волосами, неподвижно струящимися вдоль спины, точно твердые волосы танагрской статуэтки; вот она — такая юная и невинная, плод ласковых материнских забот; вот она — воплощенная инфантильность Америки, новая бумажная куколка для услады ее куцей проституточьей души. Розмэри вспомнила, какой обновленной и свежей она чувствовала себя под свежим упругим шелком этого платья.

Папина дочка. Такая малипуся, а ведь чего только не натерпелась, бедненькая. Кисонька-лапочка, храброе маленькое сердечко. Перед этим крохотным кулачком отступали похоть и разврат, судьба и та оборачивалась по-иному, логика, диалектика, здравый смысл теряли всякую силу. Женщины, позабыв про горы немытой посуды дома, плакали в три ручья; даже в самом фильме одна женщина плакала так много, что едва не оттеснила в нем Розмэри на задний план. Она плакала в декорациях, стоивших целое состояние, в столовой в стиле Данкена Файфа, в аэропорту, на реке во время парусных гонок, из

которых вошло в картину только два кадра, в вагоне метро и, наконец, в туалетной. Но победа все же осталась за Розмэри. Благородство натуры, смелость и решительность помогли ей устоять против царящей в мире пошлости; все тяготы выдержанной борьбы читались на лице Розмэри, еще не успевшем превратиться в привычную маску, и так по-настоящему трогательна была ее игра, что симпатии всего ряда зрителей то и дело устремлялись к ней. Картина шла с одним перерывом; как только дали свет, все наперебой принялись выражать свое восхищение, а Дик, переждав общий шум, сказал просто и искренне: «Вы меня потрясли. Уверен, что вы станете одной из лучших актрис нашего времени».

И снова на экране «Папина дочка». Житейские бури улеглись. Розмэри и ее родитель нашли друг друга, и все закончилось нежной сценой, кровосмесительная тенденция которой была так очевидна, что от слащавой сентиментальности этой сцены Дику стало неловко за себя и за все сословие психиатров. Экран погас, в зале зажегся свет, настала долгожданная минута.

— У меня для вас еще один сюрприз, — во всеуслышание объявила Розмэри. — Я устроила Дику пробу.

— Что, что?

— Кинопробу. Сейчас его пригласят.

Зловещая пауза — потом кто-то из Нортов не удержал смешка. Розмэри, не сводя глаз с Дика, по его подвижному ирландскому лицу видела, как он постепенно осознает смысл сказанного, — и в то же время ей становилось ясно, что главный козырь разыгран ею неудачно; но она все еще не понимала, что неудачен сам козырь.

— Ни на какую пробу я не пойду, — твердо сказал Дик; но, оценив положение в целом, продолжал более добродушно: — Что это вам вздумалось, Розмэри! Кино — прекрасная карьера для женщины, а из меня едва ли можно сделать киногероя. Я старый сухарь, который знает только свой дом и свою науку.

Николь и Мэри стали поддразнивать его, уговаривая не упускать случая, обе чуть раздосадованные тем, что сами не получили приглашения. Но Дик решительно перевел разговор на игру актеров, о которых отозвался довольно резко.

— Крепче всего запирают ворота, которые никуда не ведут, — сказал он, — потому, наверно, что пустота слишком неприглядна.

Из студии Розмэри ехала с Диком и Коллисом Клэем — решено было, что они завезут Коллиса

в его отель, а потом отправятся с визитом, от которого Николь и Норты отговорились необходимостью сделать кое-какие дела, оставленные Эйбом на последнюю минуту. В такси Розмэри принялась упрекать Дика:

— Я думала, если проба окажется удачной, я возьму ролик с собой в Калифорнию. А тогда, может, вас бы пригласили сниматься, и вы могли бы стать моим партнером в новой картине.

Он не знал, что и сказать.

— Это очень мило, Розмэри, что вы так заботитесь обо мне, но, право же, я предпочитаю остаться вашим зрителем. В той картине, что мы сегодня смотрели, вы просто прелестны.

— Картина экстра-класс, — сказал Коллис Клэй. — Я ее четвертый раз смотрю. А один парень с моего курса видел ее раз десять — как-то даже специально в Хартфорд ездил за этим. А когда Розмэри приезжала в Нью-Хейвен, так он сконфузился и не захотел с ней знакомиться. Представляете? Эта девчушка разит наповал.

Дик и Розмэри переглянулись; им не терпелось остаться вдвоем, но Коллису это не приходило в голову.

— Давайте я сперва завезу вас, — предложил он. — Мне в «Лютецию», это почти по дороге.

— Нет, мы вас завезем, — сказал Дик.

— Да мне это все равно. Даже удобнее.

— Все-таки лучше мы вас завезем.

— Так ведь… — начал было Коллис, но тут до него вдруг дошло, и он стал уговариваться с Розмэри о следующей встрече.

Наконец они избавились от его несущественного, но обременительного присутствия, каким всегда бывает присутствие третьего лица. Еще несколько минут, неожиданно и досадно коротких, и такси, свернув на нужную улицу, остановилось перед нужным домом. Дик глубоко вздохнул:

— Что ж, пойдем?

— Как хотите, — сказала Розмэри. — Мне все равно.

Он помедлил, обдумывая.

— Пожалуй, придется пойти — хозяйка дома хочет купить несколько вещей моего знакомого художника, которому очень нужны деньги.

Розмэри провела рукой по волосам, устраняя предательский беспорядок.

— Пробудем минут пять и уйдем, — решил Дик. — Вам не понравятся эти люди.

Вероятно, какие-нибудь скучные обыватели, или развязные любители выпить, или назой-

ливо-дотошные болтуны. Розмэри мысленно перебирала типы людей, каких обычно избегали Дайверы. Она и вообразить не могла того, что ей предстояло увидеть.

XVII

Этот дом на Rue Monsieur был перестроен из дворца кардинала Ретца, но от дворца остался только каркас, внутри же ничто не напоминало о прошлом, да и о настоящем, том, которое знала Розмэри, тоже. Скорее можно было подумать, что в старинной каменной оболочке заключено будущее; человек, переступавший, условно говоря, порог этого дома, чувствовал себя так, словно его ударило током или ему предложили на завтрак овсянку с гашишем, — перед ним открывался длинный холл, где синеватую сталь перемежали серебро и позолота, и все это сочеталось с игрою света в бесчисленных фасках причудливо ограненных зеркал. Но впечатление было не такое, как на Выставке декоративного искусства, потому что там люди смотрели на все снаружи, а здесь они находились внутри. Розмэри сразу же охватило отчуждающее чувство фальши и преувеличенности, словно она вышла на сцену,

и ей казалось, что все кругом испытывают то же самое.

Здесь было человек тридцать, главным образом женщины, точно сочиненные Луизой Олкотт или графиней де Сегюр, и они двигались по этой сцене так осторожно и нацеленно, как человеческая рука, подбирающая с полу острые осколки стекла. Ни во всех вместе, ни в ком-либо в отдельности не чувствовалось той хозяйской свободы по отношению к обстановке, которая появляется у человека, владеющего произведением искусства, пусть даже очень своеобразным и редким; они не понимали, что собой представляет эта комната, потому что это, собственно, уже и не была комната, а было что-то, совершенно от комнаты отличное; существовать в ней было так же трудно, как подниматься по крутому полированному пандусу, для чего и требовалась упомянутая точность движений руки, собирающей разбитое стекло, — наличием или отсутствием подобной точности определялся характер большинства присутствующих.

Среди них можно было различить две группы. Одну составляли американцы и англичане, которые всю весну и все лето неумеренно прожигали жизнь и теперь в своих поступках следовали

первому побуждению, часто необъяснимому для них самих. Они долгое время могли пребывать в сонном, безучастном состоянии, потом вдруг срывались в ссору, истерику или неожиданный адюльтер. Другая группа, назовем ее эксплуататорской, состояла из дельцов, людей более трезвых и целеустремленных, не расположенных тратить время по пустякам. Эти куда лучше умели приспособиться к окружающей среде и даже задавали тон, насколько это было возможно здесь, где над всем господствовала новизна световых эффектов.

Этот Франкенштейн проглотил Розмэри и Дика мгновенно — они сразу же оказались врозь, и Розмэри с изумлением обнаружила: да ведь это она — маленькая лицемерка с неестественно тонким голоском, томящаяся в ожидании режиссера. Впрочем, все тут хлопали крыльями, кто как мог, и она не казалась нелепее других. К тому же помогла профессиональная выучка: несколько мысленных «смирно», «кругом» и «шагом марш», и вот она уже словно бы занята беседой с грациозной миловидной девицей, похожей на хорошенького мальчишку, на самом же деле напряженно прислушивается к разговору, который ведется на некой ступенчатой конструкции из

пушечного металла, возвышающейся в четырех шагах наискосок от нее.

Три молодые особы расположились на нижней ступеньке конструкции, все три высокие, стройные, с небольшими головками, причесанными, как у парикмахерских манекенов; когда они говорили, головки покачивались над темными костюмами полумужского покроя, как цветы на длинных стеблях или капюшоны кобр.

— Нет, нужно признать, на вечерах у них всегда весело, — сказала одна грудным, звучным голосом. — Пожалуй, нигде в Париже такого веселья не найдешь. И в то же время… — Она вздохнула. — Эти его постоянные фразочки — «аборигены, источенные червями», один раз это еще смешно, но больше…

— Предпочитаю людей, чья жизнь не выглядит такой гладкой, — сказала другая. — А ее я и вовсе терпеть не могу.

— Мне они никогда особенно не нравились, а их компания и подавно. Взять хотя бы этого мистера Норта, который вот-вот потечет через край.

— Ну кто о нем говорит, — отмахнулась первая. — Но согласитесь, тот, кого мы тут обсуждаем, иногда бывает просто неотразим.

Тут только Розмэри догадалась, что речь идет

о Дайверах, и вся словно окостенела от негодования. Между тем ее собеседница, настоящий рекламный экземпляр — голубые глаза, розовые щеки, крахмальная голубая блузка, безукоризненный серый костюм, — перешла в наступление. Все это время она старательно отодвигала в сторону все, что могло заслонить ее от Розмэри, и теперь, когда благодаря ее стараниям между ними не осталось ничего, даже тонкой завесы юмора, Розмэри разглядела ее во всей красе — и не пришла в восторг.

— Может быть, позавтракаем или пообедаем вместе — завтра или хотя бы послезавтра, — упрашивала девица.

Розмэри огляделась, ища Дика, и наконец увидела его рядом с хозяйкой дома, с которой он так и проговорил с самого их прихода. Их взгляды встретились, он слегка кивнул, этого было достаточно, чтобы три кобры ее заметили. Три длинные шеи вытянулись к ней, три пары глаз уставились на нее критически. Она ответила вызывающим взглядом, открыто признавая, что слышала их разговор. Потом, совсем по-дайверовски, вежливо, но решительно отделалась от приставучей собеседницы и пошла к Дику. Хозяйка дома — еще одна стройная богатая американка, беспечно

пожинающая плоды национального просперити, — мужественно преодолевая сопротивление Дика, забрасывала его вопросами об отеле Госса, куда, видимо, собиралась устремиться. Увидев Розмэри, она вспомнила о своих хозяйских обязанностях и поторопилась спросить: «У вас нашлись занимательные собеседники? Вы познакомились с мистером...» — ее взгляд заметался по сторонам в поисках лица мужского пола, которое могло бы заинтересовать Розмэри, но Дик сказал, что им пора. Они ушли сразу же и, перешагнув узкий порог будущего, нырнули в тень прошлого, отбрасываемую каменным фасадом.

— Это было ужасно, — сказал он.

— Ужасно, — покорно откликнулась она.

— Розмэри!

Замирающим голосом она шепнула:

— Что?

— Я себе простить не могу.

У нее подергивались плечи от горестных всхлипываний.

— Дайте мне носовой платок, — жалко пролепетала она.

Но плакать было некогда; с жадностью влюбленных они накинулись на короткие минуты, пока за стеклами такси тускнели зеленоватые

сумерки и под мирным дождиком вспыхивали в кроваво-красном, неоново-голубом, призрачно-зеленом дыму огни реклам. Кончался шестой час, улицы были полны движения; призывно светились окна бистро, и Place de la Concorde,[54] величественная и розовая, проплыла мимо, когда машина свернула на север.

Они наконец посмотрели друг на друга, шепча имена, звучавшие как заклятия. Два имени, которые долго не таяли в воздухе, дольше всех других слов, других имен, дольше музыки, застрявшей в ушах.

— Не знаю, что на меня нашло вчера, — сказала Розмэри. — Наверно, тот бокал шампанского виноват. Никогда со мной ничего подобного не было.

— Просто вы сказали, что любите меня.

— Я вас правда люблю — с этим ничего не поделаешь. — Тут уж было самое время поплакать, и Розмэри тихонько поплакала в носовой платок.

— Кажется, и я вас люблю, — сказал Дик, — а это совсем не лучшее, что могло случиться.

И опять два имени, а потом их бросило друг к другу, словно от толчка такси. Ее груди расплю-

---

[54] notes: 54
Площадь Согласия (*фр.*).

щились об него, ее рот, по-новому теплый, сросся с его ртом. Они перестали думать, перестали видеть, испытывая от этого почти болезненное облегчение; они только дышали и искали друг друга. Их укрыл мягкий серый сумрак душевного похмелья, расслабляя нервы, натянутые, как струны рояля, и поскрипывающие, как плетеная мебель. Чуткие, обнаженные нервы, соприкосновенье которых неизбежно, когда губы прильнут к губам и грудь к груди.

Они еще были в лучшей поре любви. Они виделись друг другу сквозь мираж неповторимых иллюзий, и слияние их существ совершалось словно в особом мире, где другие человеческие связи не имеют значения. Казалось, путь, которым они пришли в этот мир, был на редкость безгрешен, их свела вместе цепь чистейших случайностей, но случайностей этих было так много, что в конце концов они не могли не поверить, что созданы друг для друга. И они прошли этот путь, ничем себя не запятнав, счастливо избегнув общения с любопытствующими и скрытничающими.

Но для Дика все это длилось недолго; отрезвление наступило раньше, чем такси доехало до отеля.

— Ничего из этого не выйдет, — сказал он почти с испугом. — Я люблю вас, но все, что я говорил вчера, остается в силе.

— А мне теперь безразлично. Я только хотела добиться вашей любви. Раз вы меня любите, значит, все хорошо.

— Люблю, как это ни печально. Но Николь не должна ничего знать — не должна хотя бы отдаленно заподозрить. Я не могу расстаться с Николь. И не только потому, что не хочу, — тут есть другое, более важное.

— Поцелуйте меня еще.

Он поцеловал, но он уже не был с нею.

— Николь не должна страдать — она меня любит, и я ее люблю, я хочу, чтобы вы поняли это.

Она понимала — это она всегда понимала хорошо: нельзя причинять боль другому. Она знала, что Дайверы любят друг друга, она это принимала как данность с самого начала. Но ей казалось, что это уже остывшее чувство, скорее похожее на ту любовь, которая связывала ее с матерью. Когда люди так много себя отдают посторонним, не знак ли это, что им уже меньше нужно друг от друга?

— И это настоящая любовь, — сказал Дик, угадав ее мысли. — Любовь действенная — все тут

сложней, чем вы можете себе представить. Иначе не было бы той идиотской дуэли.

— Откуда вы знаете про дуэль? Мне сказали, что вам об этом ничего говорить не будут.

— Неужели вы думаете, Эйб способен что-нибудь удержать в тайне? — В его голосе послышалась едкая ирония. — Если у вас есть тайна, можете сообщить о ней по радио, напечатать в бульварной газетенке, только не доверяйте ее человеку, который пьет больше трех-четырех порций в день.

Она засмеялась, соглашаясь, и крепче прижалась к нему.

— Словом, наши отношения с Николь — сложные отношения. Здоровье у нее хрупкое, она только кажется здоровой. Да и все тут очень не просто.

— Не надо сейчас об этом. Поцелуйте меня, любите меня сейчас. А потом я буду любить вас так тихо, что Николь ничего не заметит.

— Милая моя девочка.

Они вошли в вестибюль отеля; Розмэри чуть поотстала, чтобы любоваться им, восхищаться им со стороны. Он шел легким упругим шагом, будто возвращался после великих дел и спешил навстречу еще более великим. Зачинщик весе-

лья для всех, хранитель бесценных сокровищ радости. Шляпа на нем была образцом шляпного совершенства, в одной руке он держал массивную трость, в другой — желтые перчатки. Розмэри думала о том, какой чудесный вечер ждет тех, кому посчастливится провести этот вечер с ним.

Наверх, на пятый этаж, они пошли пешком. На первой площадке лестницы остановились и поцеловались; на второй она решила, что надо быть осторожнее, на третьей — тем более; не дойдя до следующей, она задержалась для короткого прощального поцелуя. Потом они сошли на одну лестницу вниз — так захотелось Дику — и после этого уже без остановок поднялись на свой этаж. Окончательно простились наверху лестницы, долго не расцепляли протянутых через перила рук, но наконец расцепили — и Дик снова пошел вниз, распорядиться насчет вечера, а Розмэри вернулась к себе и сразу же села писать письмо матери; совесть ее мучила, потому что она совсем не скучала о матери эти дни.

XVIII

Не питая особой симпатии к узаконенным формам светской жизни, Дайверы были все же

слишком живыми людьми, чтобы пренебречь заложенным в ней современным ритмом; на вечерах, которые задавал Дик, все делалось для того, чтобы гости не успевали соскучиться, и короткий глоток свежего ночного воздуха казался сладким вдвойне при переходе от развлечения к развлечению.

В этот вечер веселье шло в темпе балаганного фарса. Сначала было двенадцать человек, потом шестнадцать, потом четверками расселись в автомобили для быстролетной одиссеи по Парижу. Все было предусмотрено заранее. Как по волшебству появлялись новые люди, с почти профессиональным знанием дела сопутствовали им часть времени, потом исчезали, и их место занимали другие. Это было совсем не то, что знакомые Розмэри голливудские кутежи, пусть более грандиозные по масштабам. Одним из аттракционов явилась прогулка в личном автомобиле персидского шаха. Бог ведает откуда, какими путями Дику удалось раздобыть этот автомобиль. Розмэри приняла его появление как очередное звено в той цепи чудес, что вот уже два года тянулась через ее жизнь. Автомобиль был изготовлен в Америке по особому заказу. Колеса у него были серебряные, радиатор тоже. В обив-

ке кузова сверкали бесчисленные стекляшки, которые придворному ювелиру предстояло заменить настоящими бриллиантами, когда машина спустя неделю прибудет в Тегеран. Сзади было только одно место, ибо никто не смеет сидеть в присутствии шаха, и они занимали это место по очереди, а остальные располагались в это время на выстланном куньим мехом полу.

Но главным был Дик. Розмэри уверяла свою мать, с которой мысленно никогда не расставалась, что ни разу, ни разу в жизни не встречала никого лучше, милей, обаятельней, чем Дик в тот вечер. Она сравнивала с ним двух англичан, которых Эйб упорно именовал «майор Хенджест и мистер Хорса»; наследного принца одного из Скандинавских государств, писателя, только что побывавшего в России, самого Эйба, бесшабашно остроумного, как всегда, Коллиса Клэя, приставшего к их компании где-то на пути, — и никто не выдерживал сравнения. Ее покорял его неподдельный пыл, щедрость, с которой он вкладывал себя в эти затеи, его уменье расшевелить самых разных людей, ждавших от него каждый своей доли внимания, как солдаты своей порции от батальонного кашевара, и все это легко, без усилий, с неисчерпаемым запасом душевного богатства

для всякого, кто в нем нуждался.

…Она потом вспоминала особенно радостные минуты этого вечера. Когда она первый раз танцевала с Диком и сама себе казалась необыкновенно красивой рядом с ним, таким высоким и стройным, они не шли, а парили, невесомые, как во сне, он ее поворачивал то туда, то сюда так бережно, словно держал в руках яркий букет или кусок дорогой ткани, приглашая полсотни глаз оценить его красоту. Временами они даже и не танцевали, а просто стояли на месте, тешась своей близостью. А однажды под утро они вдруг очутились вдвоем в каком-то углу, и ее молодое влажное тело, сминая увядший шелк платья, приникло к нему среди вороха чьих-то накидок и шляп…

А самое смешное было позже, когда они вшестером, цвет компании, лучшее, что от нее осталось, стояли в полутемном вестибюле «Ритца» и втолковывали ночному швейцару, что приехавший с ними генерал Першинг требует икры и шампанского. «А он не из тех, кого можно заставить ждать. У него под командой и люди и орудия». И сейчас же забегали неизвестно откуда взявшиеся официанты, прямо в вестибюле был накрыт стол, и в дверях торжественно появился генерал Пер-

шинг — Эйб, а они все, вытянувшись во фронт, забормотали обрывки военных песен в виде приветствия. Потом им показалось, что официанты, задетые розыгрышем, стали недостаточно расторопны; в наказание решили устроить им мышеловку и, нагромоздив всю мебель, какая нашлась в вестибюле, воздвигли чудовищное сооружение в духе рисунков Гольдберга. Эйб, глядя на это, неодобрительно качал головой.

— А не лучше ли раздобыть у музыкантов пилу и…

— Ладно, ладно тебе, — перебила Мэри. — Раз уже дошло до пилы, значит, пора домой.

Она поделилась с Розмэри своей тревогой:

— Мне необходимо увезти Эйба. Если он завтра в одиннадцать не уедет в Гавр, он опоздает на пароход и его поездка сорвется. А от этой поездки зависит все его будущее. Не знаю, что делать. Начнешь его уговаривать, он поступит как раз наоборот.

— Давайте я попробую, — предложила Розмэри.

— Думаете, вам удастся? — с сомнением сказала Мэри Норт. — Хотя — может быть.

К Розмэри подошел Дик.

— Мы с Николь уезжаем — вам, наверно, лучше

ехать с нами.

Ее лицо в свете ложной зари было бледным и усталым. Два темных пятна тускнели на щеках вместо дневного румянца.

— Не могу, — сказала она. — Я обещала Мэри остаться, а то ей одной не справиться с Эйбом. Вы бы не могли помочь?

— Пора бы вам знать, что в таких делах ничем помочь нель-зя, — наставительно заметил он. — Добро бы еще Эйб был мальчишкой-студентом, который первый раз в жизни напился. А так ничего с ним не сделаешь.

— Все равно, я должна остаться, — почти с вызовом возразила Розмэри. — Он обещал — если мы с ним поедем на Главный рынок, он оттуда вернется в отель и ляжет.

Дик торопливо поцеловал ее руку в сгибе локтя.

— Только не отпускайте потом Розмэри одну, — сказала Николь, прощаясь с Мэри. — Мы за нее в ответе перед ее мамой.

...Часом позже Розмэри, Норты, один ньюаркский фабрикант кукольных пищалок, вездесущий Коллис Клэй и нефтяной магнат родом из Индии, расфранченный толстяк со странной фамилией Гандикап, все вместе ехали в рыночном

фургоне с морковью. В темноте от морковных хвостиков сладко и ароматно пахло землей; на длинных перегонах между редкими уличными фонарями Розмэри, забравшись на самый верх, почти не могла разглядеть своих спутников. Их голоса доносились издалека, будто они ехали где-то совсем отдельно, а она всеми думами была с Диком, жалела, что не отделалась от Нортов, мечтала о том, как хорошо бы сейчас лежать у себя в номере и знать, что наискосок через коридор спит Дик, а еще лучше, если бы он был рядом с ней здесь, в теплом сумраке, стекающем вниз.

— Не лезьте сюда! — крикнула она Коллису. — Морковь посыплется. — Потом взяла одну морковку и кинула в Эйба, который сидел рядом с возчиком, какой-то по-стариковски окостенелый…

Потом ее наконец везли домой в отель, уже совсем рассвело, и над Сен-Сюльпис носились голуби. Было ужасно смешно, что прохожие на улице воображают, будто уже настало утро, когда на самом деле еще продолжается вчерашняя ночь.

«Вот я и прожигаю жизнь, — подумала Розмэри, — но без Дика это совсем неинтересно».

Ей сделалось грустно и немножко обидно, но

тут в поле ее зрения попал какой-то движущийся предмет. Это был большой каштан в полном цвету, который перевозили на Елисейские поля; он лежал, прикрученный к длинной грузовой платформе, и просто весь трясся от смеха, точно очень красивый человек, оказавшийся в неэстетичной позе, но знающий, что все равно красив. Розмэри вдруг пришло в голову, что этот каштан — она сама; мысль эта ее развеселила, и все опять стало чудесно.

XIX

Поезд на Гавр отходил в одиннадцать часов с Сен-Лазарского вокзала. Эйб стоял один под мутным от грязи стеклянным сводом, пережитком эпохи Хрустального дворца, запрятав в карманы землисто-серые после многочасового кутежа руки, чтобы не видно было, как они трясутся. Он был без шляпы, и щетка явно лишь наспех прошлась по его волосам — слегка приглаженные сверху, ниже они упрямо топорщились в разные стороны. Трудно было узнать в нем недавнего купальщика с пляжа Госса.

Было еще рано; он озирался кругом одними глазами — чтобы повернуть хотя бы голову,

потребовалось бы нервное усилие, на которое он сейчас не был способен. Провезли мимо новехонькие на вид чемоданы; какие-то смуглые маленькие человечки, его будущие спутники, перекликались смуглыми гортанными голосами.

Прикидывая, нельзя ли еще забежать в буфет чего-нибудь выпить, Эйб нащупал в кармане пачку мятых тысячефранковых бумажек, но в это время его блуждающий взгляд поймал Николь, показавшуюся на верхней площадке лестницы. Он пытливо всмотрелся — ее лицо словно выдавало сейчас что-то обычно скрытое; так часто кажется, когда смотришь, сам еще не замеченный, на человека, которого давно ждал. Николь чуть хмурилась, она думала о своих детях — без умиления, скорее деловито: кошка, лапкой пересчитывающая своих котят.

При виде Эйба выражение ее лица сразу изменилось; Эйб выглядел довольно плачевно, серый утренний свет, падавший сверху сквозь стекло, подчеркивал темные круги у него под глазами, заметные, несмотря на красноватый загар. Они сели на скамейку.

— Я пришла потому, что вы меня просили прийти, — сказала Николь с вызовом.

Эйб явно не помнил, когда он об этом просил и

зачем, и Николь занялась разглядыванием снующих мимо пассажиров.

— Вот это будет первая красавица вашего судна — та дама, которую провожает столько мужчин. Понятно вам, для чего она купила такое платье? — Николь болтала, все больше оживляясь. — Только первая красавица трансокеанского рейса могла купить себе такое платье. Понятно вам почему? Нет? Да проснитесь же вы! Это говорящее платье — сама материя, из которой оно сшито, говорит о многом, и, уж наверно, за время переезда найдется кто-нибудь, кто от скуки полюбопытствует о нем…

Она прикусила конец последней фразы; для нее непривычна была подобная болтовня, и, глядя в ее посерьезневшее лицо, Эйбу трудно было поверить, что она вообще сказала хоть слово. Он заставил себя подтянуться и сидя старался выглядеть так, будто стоит во весь рост.

— Помните ту танцульку, на которую вы меня как-то водили, — в день святой Женевьевы, кажется… — начал он.

— Помню. Там было очень весело, правда?

— Только не мне. И вообще мне в этом году совсем не весело с вами. Я устал от вас обоих, и если это незаметно, так лишь потому, что вы еще

больше устали от меня — сами знаете. Хватило бы у меня пороху, я завел бы себе новых знакомых.

Николь парировала удар, и обнаружилось, что у ее бархатных перчаток довольно жесткий ворс.

— Не говорите гадостей, Эйб, это глупо. И вы же все равно так не думаете. Объясните мне лучше, почему вы вдруг на все махнули рукой?

Эйб медлил с ответом, превозмогая желание откашляться и высморкать нос.

— Должно быть, мне просто все надоело. И потом, очень уж далекий нужно было проделать обратный путь, чтоб снова начать сначала и куда-нибудь прийти.

Мужчина любит разыгрывать перед женщиной беспомощного ребенка, но реже всего это ему удается, когда он и в самом деле чувствует себя беспомощным ребенком.

— Это не оправдание, — жестко сказала Николь.

Эйбу с каждой минутой становилось все более тошно, на язык просились только желчные, недобрые слова. Николь сидела в позе, которую, видимо, сочла подходящей к случаю, — руки на коленях, взгляд устремлен в одну точку. Всякое общение между ними временно прекратилось, они спешили обособиться друг от друга, стараясь

существовать каждый только в том куске свободного пространства, который был недоступен другому. У них не было ни прошлого, как у любовников, ни будущего, как у супругов, а между тем вплоть до этого утра Николь ставила Эйба на первое место после Дика, а Эйб был полон многолетней обезоруживающей любовью к Николь.

— Я устал существовать в женском мире, — вдруг поднял он снова голос.

— Что же вы не создадите себе собственный мир?

— Устал от друзей. Подхалимы — вот что нужно человеку.

Николь мысленно подгоняла стрелку вокзальных часов, но так и не успела уйти от вопроса:

— Вы со мной не согласны?

— Я женщина; мое дело скреплять и связывать.

— А мое — ломать и разрушать.

— Напиваясь, вы не разрушаете ничего, кроме самого себя, — сказала она холодно, однако в тоне ее сквозили растерянность и опасение.

Людей на вокзале все прибавлялось, но никого из знакомых не было видно. Наконец, к своему облегчению, она заметила высокую девушку с соломенно-желтыми волосами, уложенными в

прическу, напоминавшую шлем. Девушка опускала письмо в почтовый ящик.

— Эйб, мне нужно поговорить с одной знакомой. Да проснитесь же, Эйб! Вот дурень, право.

Эйб безучастно проводил ее глазами. Когда она подошла к девушке, та оглянулась как-то испуганно, и Эйбу показалось, что он ее уже где-то видел. Воспользовавшись отсутствием Николь, он громко высморкался и потом долго, надсадно кашлял, отхаркиваясь в носовой платок. Становилось жарко, и белье на нем взмокло от пота. Руки тряслись так сильно, что лишь с четвертой спички ему удалось зажечь сигарету; выпить было просто необходимо, но только что он нацелился на дверь буфета, возвратилась Николь.

— Я потерпела афронт, — с холодноватым юмором объявила она. — Сколько раз эта особа зазывала меня в гости, а тут едва поздоровалась со мной. Посмотрела на меня так, будто я прокаженная. — Николь рассмеялась коротким смешком, похожим на фортепьянную трель в одной из верхних октав. — Вот и будь любезной с людьми.

Эйб, поперхнувшись дымом, отозвался не сразу.

— Беда в том, что, когда ты трезв, тебе ни с кем

не хочется знаться, а когда пьян, никому не хочется знаться с тобой.

— Вы это обо мне? — Николь снова засмеялась; предшествующий эпизод неизвестно почему привел ее в хорошее настроение.

— Нет — о себе.

— То-то же. А я люблю, чтобы вокруг меня были люди, и чем больше, тем лучше. Я люблю…

Она вдруг увидела Розмэри и Мэри Норт, которые медленно шли по перрону, высматривая Эйба. Она громко закричала: «Эй! Сюда! Сюда!» — и замахала им свертком, в котором были купленные для Эйба носовые платки.

Втроем они стояли в неловком молчании, подавляемые могучей личностью Эйба, который высился перед ними, как остов потерпевшего крушение корабля — ибо, несмотря на свои слабости и привычку потворствовать им, опустошенный, озлившийся, он все-таки оставался личностью. Нельзя было не оценить его величавого достоинства, позабыть о его свершениях, пусть неполных, беспорядочных и уже превзойденных другими. Но пугала неослабная сила его воли, потому что прежде это была воля к жизни, а теперь — воля к смерти.

Наконец пришел Дик Дайвер, и все три жен-

щины с радостными возгласами бросились в исходившее от него ровное тепло, готовые обезьянками повиснуть у него на плечах, уцепиться за безукоризненную вмятину шляпы или золотой набалдашник тросточки. Теперь хоть на миг можно было отвлечься от зрелища могучего непотребства Эйба. Дик сразу понял, что с ними происходит и как им помочь. Он заставил их выйти из своей скорлупы и приобщиться к вокзальной суете, раскрывая перед ними ее тайны. Неподалеку шумно прощалась компания американцев, их голоса напоминали бульканье воды, льющейся в старую, заржавленную ванну. Здесь, на вокзале, за стенами которого остался Париж, казалось, будто море совсем близко, и оно уже творило свои чудеса над людьми, новым расположением атомов в молекулах меняя их человеческую сущность. У богатых американцев, когда они выходили на перрон, были совершенно новые лица, важные, сосредоточенные, исполненные если не своих, то хотя бы заимствованных мыслей. Если случался среди них англичанин, его сразу можно было отличить. Когда на перроне скопилось много американцев, ореол добродетели и долларов вокруг них несколько потускнел, постепенно превращаясь в дымку национальной

одноликости, застилавшую глаза и им самим, и тем, кто на них глядел со стороны.

— Смотри, Дик! — крикнула вдруг Николь, схватив мужа за руку.

Дик круто обернулся — как раз вовремя, чтобы увидеть сцену, которая минутой спустя разыгралась через два вагона от них, резко нарушив однообразие прощального ритуала. Молодая женщина в шлемоподобной прическе, недавняя собеседница Николь, разговаривала с каким-то мужчиной; вдруг она как-то странно вильнула вбок, судорожным движением ткнула руку в свою сумочку, и два револьверных выстрела с треском раскололи спертый воздух. В ту же минуту раздался свисток, и поезд тронулся, мгновенно измельчив масштабы происшествия. Эйб вовсе не обратил на него внимания и, высунувшись в окошко, махал рукой друзьям. Но те, пока еще не сомкнулась толпа, успели заметить, как человек, в которого стреляли, тяжело осел на асфальт. Сто лет прошло, прежде чем остановился поезд. Николь, Мэри и Розмэри ждали в конце перрона, а Дик протолкался вперед. Вернулся он минут через пять — толпа тем временем разделилась: одни пошли за носилками с раненым, другие за девушкой, которая шагала между двух явно расте-

рявшихся жандармов, бледная, но решительная.

— Это Мария Уоллис, — взволнованно сообщил Дик. — А он — англичанин, было очень трудно установить его личность, потому что пуля пробила бумажник с документами. — Они быстро шли к выходу, следуя за толпой. — Я узнал, в какой полицейский участок ее повезут, — сейчас туда поеду.

— Да ведь у Марии сестра в Париже, — возразила Николь. — Вот ей и надо позвонить. Странно, что никто не подумал об этом. Она замужем за французом и может сделать больше, чем мы.

Дик заколебался было, но потом мотнул головой и ускорил шаг.

— Погоди! — крикнула ему вдогонку Николь. — Глупо же — ну что ты там можешь сделать, да еще с твоим французским языком?

— Посмотрю, по крайней мере, чтоб ей не причинили никакого вреда.

— Отпустить ее все равно не отпустят, — уверенно заявила Николь. — Она же стреляла, это факт. Лучше всего сразу позвонить Лоре, Лора сумеет то, чего нам не суметь.

Но Дика это не убедило, кроме того, он немножко рисовался перед Розмэри.

— Жди меня здесь, — твердо сказала Николь и

побежала к телефонной будке.

— Уж если Николь сама взялась за дело, остается одно — не вмешиваться, — шутливо разведя руками, заметил Дик.

Он со вчерашнего вечера еще не видел Розмэри. Они обменялись быстрыми взглядами, ища следов пережитого накануне. На мгновение обоим показалось, что ничего этого не было, но сразу же возник снова мерный, мягкий, медлительный гул любви.

— Вы всем всегда готовы помочь, — сказала Розмэри.

— Больше делаю вид.

— Моя мама тоже любит помогать людям, но, конечно, она может гораздо меньше, чем вы. — Розмэри вздохнула. — Мне иногда кажется, что я самая большая эгоистка на свете.

Впервые упоминание Розмэри о матери вызвало у Дика не улыбку, а скорее чувство досады. Ему захотелось избавиться от ее незримого присутствия, развеять ту атмосферу детской, из которой Розмэри никак не могла или не хотела вывести их отношения. Но он понимал, что этот порыв — проявление слабости; чем обернулась бы тяга к нему Розмэри, если бы он хоть на миг перестал владеть собой? Не без испуга он почувствовал,

что все замедляется; а между тем отношения не могут стоять на месте, они должны двигаться, если не вперед, так назад. Ему вдруг пришло в голову, что Розмэри более твердой рукой держит руль, нежели он.

Прежде чем он пришел к какому-нибудь решению, вернулась Николь.

— Я говорила с Лорой. Она ничего не знала до моего звонка. Ее голос в трубке звучал как-то странно — то совсем замрет, то опять окрепнет, как будто она близка к обмороку, но старается держать себя в руках. Она говорит, у нее было предчувствие, что сегодня случится беда.

— Мария была бы находкой для Дягилева, — пошутил Дик, желая помочь женщинам вновь обрести душевное равновесие. — В ней много драматизма, не говоря уж о чувстве ритма. Интересно, почему это ни одно отправление поезда не обходится без револьверной пальбы?

Они торопливо спустились по широкой стальной лестнице.

— Мне жаль этого беднягу англичанина, — сказала Николь. — Теперь понятно, отчего Мария так странно говорила со мной, ведь она готовилась к боевым действиям.

Она рассмеялась, и Розмэри рассмеялась тоже,

но обеим было не по себе, и обе ждали от Дика оценки случившегося, чтобы не пришлось доходить до нее самим. Желание это было не вполне осознанным, особенно у Розмэри, привыкшей к тому, что вокруг нее разлетались осколки подобных взрывов. Все же и она была потрясена. Но Дик, захваченный силой своего нового чувства, лишился способности переводить любые события на язык веселого досуга, и его спутницы, чувствуя, что им чего-то недостает, тревожно молчали.

А потом, словно ничего не произошло, существование Дайверов и членов их кружка выплеснулось на парижские улицы.

Произошло, однако, многое — отъезд Эйба и предстоявший в тот же день отъезд Мэри в Зальцбург положили конец беспечальному парижскому житью. А может быть, это сделал сухой треск выстрелов, развязка бог весть какой трагедии. Эти выстрелы им не скоро суждено было забыть; ожидая у вокзала такси, они услышали их отзвук в комментариях, которыми обменивались двое носильщиков, стоявших рядом:

— Tu as vu le revolver? Il était très petit, vraie perle — un jouet.

— Mais assez puissant, — наставительно возра-

зил второй носильщик. — Tu as vu sa chemise? Assez de sang pour se croire a la guerre.[55]

XX

Над площадью густое облако выхлопных газов медленно пеклось в лучах июльского солнца. Этот нечистый зной даже не манил за город, рождая в сознании лишь образ дорог, так же содрогающихся в зловонном удушье. Во время завтрака на террасе кафе напротив Люксембургского сада у Розмэри началось женское нездоровье; она нервничала, чувствовала себя разбитой и усталой — предощущение этого и заставило ее обвинить себя в эгоизме во время разговора на вокзале.

Дик не уловил резкой перемены в ее настроении; глубоко удрученный, он был больше обычного занят собой, что делало его слепым к тому, что творилось вокруг и тормозило привычную зыбь воображения, помогавшую думать и рассуждать.

---

[55] notes: 55

— Ты видел револьвер? Такой маленький, аккуратненький — просто игрушка.

— Но стреляет всерьез. Ты видел рубашку? Столько крови, что можно было подумать, будто мы на войне *(фр.)*.

За кофе к ним присоединился итальянец, учитель пения, который должен был проводить Мэри Норт на поезд; когда они простились и ушли, Розмэри тоже встала: ей нужно в студию, у нее там назначена деловая встреча.

— И пожалуйста, — попросила она, — если при вас появится тут Коллис Клэй, знаете, тот молодой человек с Юга, передайте, что я не могла его дождаться: пусть позвонит мне завтра.

Ее детское легкомыслие, явившееся реакцией после недавних волнений, заставило Дайверов с нежностью вспомнить о собственных детях; впрочем, это не прошло Розмэри даром.

— Лучше предупредите гарсона, — голос Николь звучал сухо и неприветливо, — мы не намерены здесь оставаться.

Розмэри поняла, но не обиделась.

— Ну все равно, бог с ним. До свидания, мои дорогие.

Дик потребовал счет; несколько минут Дайверы отдыхали, откинувшись на спинку стула, рассеянно пожевывая зубочистку.

— Что ж… — уронили они одновременно.

По губам Николь скользнула едва заметная гримаска горечи, — никто, кроме Дика, не уловил бы ее, да и он мог сделать вид, что ничего не

видел. Что было у нее в мыслях? Розмэри только пополнила собой список тех, кого Дик «покорил» за последние годы; в их числе был клоун-француз, Эйб и Мэри Норт, писатель, художник, эстрадная пара, актриса театра «Гран-Гиньоль», полубезумный педераст из Русского балета, подающий надежды тенор, которого Дайверы на год отправили учиться в Милан. Николь хорошо знала, как все эти люди дорожили его симпатией и его интересом, однако она знала и другое: за шесть лет их супружества Дик ни одной ночи не провел без нее, кроме времени, когда родились их дети. Но в нем было обаяние, которого он просто не мог не пускать в ход; человек, наделенный таким обаянием, пользуется им подчас бессознательно, притягивая к себе тех, кто ему совершенно не нужен.

Всякий раз, оставаясь вдвоем с Николь, Дик как бы заново изумлялся счастливой судьбе, спаявшей их воедино; но сейчас, хмурый и замкнутый, он ни словом, ни жестом не выказывал подобных чувств.

В тесном проходе между столиками появился Коллис Клэй, «молодой человек с Юга», и еще издали весело замахал Дайверам рукой. Дику всегда была чужда фамильярность; он не любил,

когда с ним здоровались междометиями, когда при Николь обращались только к нему или при нем только к Николь. Зная свою обостренную чувствительность к чужому поведению, он предпочитал не встречаться с людьми, если был не в духе; малейшая бесцеремонность, допущенная в его присутствии, как бы нарушала фальшивой нотой его жизненный лад.

Коллис, нимало не чувствуя себя свадебным гостем без фрака, так возвестил о своем прибытии: «Я, кажется, опоздал — птичка упорхнула!» Дику только ценой большого усилия удалось простить ему, что он для начала не поклонился Николь.

Николь почти сразу же встала и ушла, а Дик еще посидел с Коллисом, допивая свое вино. Вообще ему даже нравился этот студент послевоенной формации, куда более легкий в общении, чем большинство южан, которых он знавал в Нью-Хейвене десять лет назад. С мысленной улыбкой он смотрел, как Коллис, не переставая болтать, обстоятельно и неторопливо набивает свою трубку. Пустынный еще недавно Люксембургский сад мало-помалу заполнялся детьми с няньками; впервые за много месяцев Дик позволил себе в такой час пассивно подчиниться течению времени.

Вдруг он похолодел — до него дошла суть доверительного монолога Коллиса.

— …не такая она ледяшка, как вам, вероятно, кажется. Я, знаете, и сам долго так думал. Но как-то раз на пасху мы все ехали из Нью-Йорка в Чикаго, и в поезде у нее вышла история с одним парнем из Нью-Хейвена по фамилии Хиллис. С нею в купе была моя двоюродная сестра, так она сразу увидела, что им с Хиллисом охота остаться вдвоем, и после обеда ушла в наше купе, мы там играли в карты. Часа два спустя выходим мы в коридор и видим — Розмэри и Хиллис стоят и спорят о чем-то с кондуктором, и Розмэри белая как полотно. Оказывается, они заперлись в купе, да еще опустили на окне штору и, наверно, не теряли там времени даром, а тут как раз кондуктор явился проверять билеты. Он постучал в дверь, но они решили, что это мы их разыгрываем, и сперва не хотели открывать, а когда наконец открыли, кондуктор уже позеленел от злости. Пристал к Хиллису, здесь ли его место и жена ли ему Розмэри, а если не жена, на каком таком основании им вздумалось запираться. Хиллис никак не мог убедить его, что они не делали ничего дурного, и в конце концов тоже вышел из себя. Стал кричать, что кондуктор оскорбил

Розмэри, хотел с ним подраться; в общем, дело могло кончиться большими неприятностями, но мне удалось все уладить, хоть, поверьте, это было совсем не легко.

Странная перемена творилась в Дике, пока он слушал, во всех подробностях воображая эту вагонную сцену, почти завидуя сближающей унизительности положения юной пары. Образ кого-то третьего, пусть давно позабытого, вторгшийся вдруг в его отношения с Розмэри, — только это и было нужно, чтобы рушились остатки его душевного равновесия, чтобы хлынули без помехи боль, тоска, отчаяние и страсть. Чья-то рука на щеке Розмэри, участившееся дыханье, накал чужой злобы перед запертой дверью, сокровенное, недостижимое тепло за ней.

«…Не возражаете, если я опущу штору?»

«Пожалуйста. Здесь правда слишком светло…»

Тем временем Коллис Клэй уже рассуждал о политике студенческих братств в Нью-Хейвене — тем же тоном, с тем же оживлением. Дик давно знал, что Коллис влюблен в Розмэри какой-то странной, непонятной для Дика любовью. История с Хиллисом не произвела на него, видно, никакого впечатления, разве только послужила приятным доказательством, что Розмэри не чуж-

до ничто человеческое.

— «Череп и кости» сумели подобрать отличных ребят, — говорил он. — Впрочем, и у других не хуже. В Нью-Хейвене теперь такая тьма народу, что многим приходится отказывать, жалко даже.

«…Не возражаете, если я опущу штору?»

«Пожалуйста. Здесь правда слишком светло…»

Через весь Париж Дик поехал в свой банк; выписал чек за высокой, покрытой стеклом конторкой, и долго-долго скользил взглядом вдоль длинного ряда столов, раздумывая, кому из старших служащих банка подать его для оформления. Писал он с преувеличенным усердием, то и дело пробуя перо, вырисовывая каждую букву. Один раз остекленевшими глазами посмотрел на окошечко почты, но тут же снова сосредоточил на чеке свое тоже как бы остекленевшее внимание.

Он все еще не решил, к кому обратиться, кто менее всех способен заметить его душевное смятение и менее всех склонен вступать в разговоры. Вот Перрен, общительный господин из Нью-Йорка, не раз приглашавший его позавтракать в Американский клуб, вот испанец Касасус, с которым он обычно беседовал об общих знакомых, хотя знакомых этих не встречал уже добрый десяток лет, вот Мухгаузе, неизменно осведом-

лявшийся, со своего ли счета он желает взять деньги или со счета своей жены.

Проставив на корешке сумму и дважды ее подчеркнув, он наконец остановил свой выбор на Пирсе — Пирс молод, и перед ним не так уж нужно разыгрывать комедию; впрочем, самому разыгрывать комедию подчас легче, чем смотреть, как это делают другие.

Но прежде он пошел за своей корреспонденцией; женщина, ведавшая почтой клиентов, передавая ему письма, грудью придержала готовую соскользнуть со стола бумажку, и Дик подумал, что никогда мужчина не сделал бы такого телодвижения. Он отошел в сторону и стал вскрывать конверт за конвертом. Счет от немецкой фирмы за семнадцать книг по психиатрии; счет из книжного магазина Брентано; письмо из Буффало от отца, чей почерк год от года становился все менее разборчивым; шуточное послание от Томми Барбана со штемпелем Феса; письма от двух цюрихских врачей, написанные оба по-немецки; спорный счет от штукатура из Канна; счет от мебельщика; письмо от издателя медицинского журнала в Балтиморе; куча разных извещений и пригласительный билет на выставку пока неизвестного художника; кроме того, три

письма на имя Николь и одно, адресованное ему для передачи Розмэри.

«…Не возражаете, если я опущу штору?»

Он направился к Пирсу, но тот был занят с клиенткой, и Дик затылком ощутил неизбежность обращения к Касасусу, который сидел за соседним столом и был свободен.

— Как поживаете, Дайвер? — Касасус искренне обрадовался ему. Он встал, улыбка растянула его усы. — Я тут вас вспоминал недавно — зашла речь о Фезерстоне, он, оказывается, теперь в Калифорнии.

Дик сделал круглые глаза, слегка подавшись вперед:

— В Калифорнии?!

— Да, представьте себе.

Чек еще торчал в протянутой руке Дика; чтобы заставить Касасуса заняться делом, он повернулся к Пирсу и, поймав его взгляд, подмигнул ему с выражением сочувствия — шуточная игра, вошедшая у них в привычку года три назад, когда Пирс состоял в весьма сложных отношениях с одной литовской графиней. Пирс, подхватив шутку, ухмыльнулся в ответ, и, пока длилась эта мимическая сцена, Касасус успел оформить чек; он был не прочь задержать Дика подольше, про-

сто из дружеской симпатии к нему, но не нашел предлога и только повторил, приподнявшись и придерживая пенсне на носу: «Да, Фезерстон теперь в Калифорнии».

Перрен, сидевший за центральным столом, беседовал в это время с клиентом, в котором Дик успел узнать чемпиона мира в тяжелом весе; по взгляду, искоса брошенному Перреном на Дика, тот понял, что он хотел было окликнуть его и познакомить, но раздумал.

Опыт, накопленный у покрытой стеклом конторки, помог Дику успешно отразить светские поползновения Касасуса: сперва он обстоятельно изучал возвращенный ему чек, потом усмотрел за первой мраморной колонной справа нечто, возбудившее его глубокий интерес, и, наконец, после долгой возни со шляпой, тростью и пачкой писем, откланялся и пошел к выходу. Давно купленный щедрыми чаевыми швейцар знал свое дело — такси уже дожидалось у подъезда.

— Мне нужно в киностудию «Films Par Excellence»[56] — это на маленькой улочке в Пасси. Поезжайте к Porte de la Muette, а там я вам объясню, как ехать дальше.

---

[56] notes: 56
«Фильмы по преимуществу» *(фр.)*.

События последних двух дней так все перепутали в нем, что он теперь сам толком не знал, чего хочет. У Porte de la Muette он отпустил такси и пешком пошел по направлению к студии, но, не дойдя нескольких домов, перешел на другую сторону улицы. Внешне полный достоинства, элегантный вплоть до последних мелочей костюма, он был словно растерявшееся, преследуемое животное. Равновесие можно было вернуть себе, только если вычеркнуть прошлое, забыть все напряжение последних шести лет. Он метался по кварталу, точно глупый мальчишка из таркингтоновского романа, торопясь поворачивать на углах из страха пропустить Розмэри, когда она выйдет со студии. Квартал выглядел довольно уныло. Рядом со студией красовалась вывеска: «1000 chemises».[57] Всю витрину заполняли сорочки — с галстуками, без галстуков, сложенные стопками, расправленные на плечиках или с искусственной небрежностью брошенные на самое дно витрины. Тысяча сорочек — поди-ка сосчитай! Дальше можно было прочесть: «Papeterie», «Pâtisserie», «Solde»[58] — и рекламу «Déjeuner de

[57] notes: 57
«Тысяча сорочек» *(фр.).*

[58] notes: 58
«Писчебумажный магазин», «Кондитерская», «Распродажа» *(фр.)*

Soleil»[59] с Констанцией Толмедж; потом шли вывески более мрачного содержания: «Vêtements Ecclésiastiques», «Déclaration de Décès», «Pompes Funèbres».[60] Жизнь и смерть.

Он понимал: то, что он сейчас делает, означает крутой перелом в его жизни, настолько это не вяжется со всем, что было раньше, не вяжется даже с тем впечатлением, которое он мог и хотел бы произвести на Розмэри. В глазах Розмэри он всегда был воплощенной корректностью и своим появлением здесь как бы вторгался в чужой мир. Но для Дика этот поступок, которого он не мог не совершить, был выражением некой живой, хоть и глубоко в нем сокрытой сути. Он пришел сюда — в сорочке с манжетами, ладно облекавшими запястье, в пиджаке с обшлагами, как муфта или втулка охватывавшими манжеты сорочки, с воротничком, гибко прилегавшим к шее, идеально подстриженный и выбритый, с франтоватым портфельчиком в руке, — пришел, повинуясь той самой силе, что когда-то заставила другого человека прийти на церковную площадь в Ферраре

[59] notes: 59

«Солнечный завтрак» *(фр.)*.

[60] notes: 60

«Церковное облачение», «Объявления о кончине», «Похоронное бюро» *(фр.)*.

во власянице и с головой, посыпанной пеплом. То была дань, которую Дик Дайвер платил непозабытому, неискупленному, нестершемуся.

XXI

После трех четвертей часа бесплодного ожидания одиночество Дика было прервано неожиданной встречей. Это была одна из тех случайностей, что подстерегали его именно тогда, когда ему меньше всего хотелось с кем-нибудь общаться. Упорные старания оградить свой обнажившийся внутренний мир приводили порой к обратным результатам; так актер, играющий вполсилы, заставляет зрителей вслушиваться, вытягивать шею и в конце концов создает напряжение чувств, которое помогает публике самой заполнять оставленные им в роли пустоты. И еще: мы редко сочувствуем людям, жаждущим и ищущим нашего сочувствия, но легко отдаем его тем, кто иными путями умеет возбудить в нас отвлеченное чувство жалости.

Так, возможно, рассуждал бы сам Дик, если бы ему вздумалось анализировать эпизод, о котором пойдет речь. На углу Rue de Saintes Anges его остановил американец лет тридцати с худым,

бледным лицом и, чуть кривя губы в мрачноватой усмешке, попросил прикурить. Дик сразу отнес его к знакомому с юных лет типу — такие вот молодцы праздно торчат в табачных лавчонках, облокотясь на прилавок и какой-то крохотной щелкой сознания примечая входящих и выходящих покупателей. Привычная фигура в гаражах, где втихую обделываются сомнительные делишки, в парикмахерских, в фойе маленьких театриков — так, по крайней мере, определил его для себя Дик. Иногда подобные лица мелькали на самых разящих карикатурах Тада — мальчишкой Дик не раз с тревогой пытался взглянуть в полутьму преступного мира, граница которого проходила, казалось, совсем недалеко.

— Нравится вам Париж, приятель?

Не дожидаясь ответа, парень пошел рядом, приноравливая свой шаг к шагу Дика.

— Вы откуда? — спросил он подбадривающим тоном.

— Из Буффало.

— А я из Сан-Антонио — да только с самой войны осел здесь.

— Были в армии?

— А то как же! Восемьдесят четвертая дивизия — слышали про такую? — Парень слегка

забежал вперед и прицелился в Дика взглядом, не сулившим добра. — Вы живете в Париже, приятель? Или так, проездом?

— Проездом.

— А в каком отеле остановились?

Дик усмехнулся про себя — малый, видно, задумал нынче ночью обчистить его номер. Но эти мысли были тут же бесцеремонно прочтены.

— С таким сложением, как у вас, приятель, вам меня вроде бояться нечего. В Париже полно бродяг, которые охотятся на американских туристов, но меня вы не бойтесь.

Дику надоело, и он остановился.

— У вас, я вижу, много свободного времени.

— Нет, почему — я в Париже делаю дело.

— Какое же дело?

— Продаю газеты. — Столь безобидное занятие до смешного не вязалось со злодейскими ухватками парня; он, однако, тут же добавил: — А вы не думайте — я прошлый год неплохо зарабатывал: по десять, а то и двадцать франков за номер «Санди таймс», которому цена шесть.

Он вытащил из порыжевшего бумажника вырезанную из газеты картинку и ткнул своему случайному спутнику. На картинке бесконечный поток американцев струился по сходням гружен-

ного золотом корабля.

— Двести тысяч. За одно лето оставляют тут десять миллионов.

— А что вас привело сюда, в Пасси?

Парень опасливо осмотрелся по сторонам.

— Кино, — таинственно шепнул он. — Здесь есть американская киностудия. Им, бывает, требуется, кто может говорить по-английски. Вот я и жду случая.

На этот раз Дик поторопился решительно отделаться от него.

Было уже ясно, что Розмэри либо успела проскочить во время одного из его обходов квартала, либо ушла еще до того, как он приехал в Пасси. Он вошел в бистро на углу, купил свинцовый жетончик и, втиснувшись в закуток между кухней и зловонным клозетом, вызвал коммутатор отеля «Король Георг». В ритме собственного дыхания ему нетрудно было распознать один из симптомов Чейн-Стокса, но, как и все остальное, это лишь усугубило остроту его чувств. Назвав нужный номер, он долго стоял с трубкой в руке, бесцельно глядя из полутьмы в освещенный зал; наконец странно незнакомый голос сказал в трубке: «Алло!»

— Это Дик. Я не мог не позвонить вам.

Пауза; потом она ответила — храбро и удивительно в лад его настроению:

— Хорошо, что позвонили.

— Я говорю из бистро напротив вашей студии — думал, встречу вас и мы проедемся по Булонскому лесу.

— Ах, какая жалость! А я там пробыла всего несколько минут.

Пауза.

— Розмэри!

— Да, Дик?

— Что-то со мной творится неладное, когда я думаю о вас. Пожилому господину терять покой из-за маленькой девочки — это уж последнее дело.

— Никакой вы не пожилой, Дик. Вы молодой, самый молодой на свете.

— Розмэри!

Снова пауза. На полке, прямо против него, выстроились бутылки с ядами Франции из тех, что попроще — Отар, Ром Сен-Джеймс, Мари Бриззар, Пунш Оранжад, Андре Ферне Бланко, Шерри Роше, Арманьяк.

— Вы одна?

«Не возражаете, если я опущу штору?»

— С кем же еще, по-вашему?

— Видите, я сам не знаю, что говорю. Мне бы так хотелось сейчас быть с вами.

Пауза, потом вздох и тихий ответ:

— И мне бы хотелось, чтоб вы были со мной.

Комната в отеле, скрытая за цифрами телефонного номера, там она лежит, и короткие всплески музыки нарушают тишину вокруг нее…

Там на Таити
Вдали от событий
Мы будем с тобою
Вдвое-ом.

Легкий налет пудры поверх загара — когда он целовал ее, кожа у корней волос была влажной; сразу побледневшее лицо рядом с его лицом, изгиб плеча.

«Нет, невозможно», — сказал он себе. Минуту спустя он уже шагал по улице в сторону Porte de la Muette, а может быть, и в обратную — маленький портфель в одной руке, трость с золотым набалдашником, точно обнаженная шпага, — в другой.

Розмэри вернулась за письменный стол и дописала начатое письмо к матери:

«…я его видела всего несколько минут, но он мне показался удивительно красивым. Я в него

тут же влюбилась (конечно, Дика я люблю больше, но ты понимаешь, что я хочу сказать). Вопрос о его новой картине уже решен, и он завтра же уезжает в Голливуд, так что нам, по-моему, тоже не нужно задерживаться. Здесь сейчас Коллис Клэй. Он очень славный, но я с ним встречаюсь довольно редко из-за Дайверов, которые просто божественны, никогда не знала таких прелестных людей. Сегодня мне нездоровится, и я принимаю лекарство, хоть особой нужды в этом нет. Больше ничего писать не буду, скоро мы увидимся, и тогда расскажу тебе ВСЕ!!! Как получишь это письмо, сейчас же телеграфируй — не пиши, а телеграфируй, — приедешь ли ты за мной сюда, или мне возвращаться на юг с Дайверами».

В шесть часов Дик позвонил Николь по телефону.

— У тебя нет никаких планов на вечер? — спросил он. — Предлагаю провести его тихо и мирно: пообедать в отеле, а потом отправиться в театр.

— Тебе так хочется? Пожалуйста. Я недавно звонила Розмэри, она решила обедать у себя в номере. Все-таки эта утренняя история подействовала на всех.

— На меня она ничуть не подействовала, — возразил Дик. — Если только ты не слишком

утомлена, дорогая, давай правда придумаем что-нибудь. А то, вернувшись на Ривьеру, целую неделю будем рассуждать, как это вышло, что мы ни разу не посмотрели Буше. И потом — все же лучше, чем сидеть и сокрушаться…

Это была оплошность, и Николь не пропустила ее.

— Сокрушаться — о чем?

— О Марии Уоллис.

Она согласилась пойти в театр. Таков был неписаный уговор между ними — быть неутомимыми всегда и во всем; они находили, что это очень упорядочивает их дни и особенно вечера. А если иной раз, что было неизбежно, усталость все же давала себя знать, можно было отменить очередную эскападу, сославшись на то, что кто-то другой из их компании уходился и нуждается в передышке. Уже одетые и готовые к выходу — красивее пары не нашлось бы во всем Париже, — они постучались к Розмэри, но ответа не получили. Решив, что она заснула, они сошли вниз и, выпив вермуту с горьким пивом у стойки бара Фуке, окунулись в теплый и пряный парижский вечер.

XXII

Николь проснулась поздно и что-то еще пробормотала вдогонку своему сну, прежде чем разлепить длинные ресницы. Постель Дика была пуста, а в гостиной кто-то стучался в дверь — минутой позже она поняла, что этот стук и разбудил ее.

— Entrez![61] — крикнула она, но в ответ ничего не услышала; тогда она накинула халат и пошла отворить. За дверью стоял полицейский; учтиво поклонясь, он шагнул в комнату.

— Monsieur[62] Афган Норт — он здесь?

— Кто? А-а, — нет, он уехал в Америку.

— Когда именно он уехал, madame?[63]

— Вчера утром.

Полицейский покачал головой, потом в более быстром ритме потряс указательным пальцем.

— Вчера вечером он был в Париже. За ним за-

---

[61] notes: 61
Войдите *(фр.)*.

[62] notes: 62
Месье *(фр.)*.

[63] notes: 63
Мадам *(фр.)*.

писан номер в этом отеле, но там никого нет. Мне посоветовали спросить у вас.

— Ничего не понимаю — вчера утром мы проводили его на гаврский поезд.

— И тем не менее его сегодня видели здесь. Даже документы его проверяли. Так что можете не сомневаться.

— Чудеса какие-то! — воскликнула она в недоумении.

Полицейский что-то соображал. Он был недурен собой, но от него плохо пахло.

— Вчера вечером он не был вместе с вами?

— Да нет же!

— Мы арестовали негра. На этот раз наверняка того, которого нужно.

— Послушайте, я совершенно не понимаю, о чем вы говорите. Если вас интересует мистер Эбрэхэм Норт, наш знакомый, так если он и был вчера в Париже, мы об этом понятия не имеем.

Полицейский закивал головой, втянув верхнюю губу, убежденный, но не удовлетворенный ответом Николь.

— А что случилось? — спросила она, в свою очередь.

Он развел руками, распустил поджатые губы. Понемногу он оценил красоту Николь, и в его

глазах появился масленый блеск.

— Обычная история, madame. Лето, много приезжих. Мистера Афгана Норта обворовали, и он заявил в полицию. Мы арестовали преступника. Теперь нужно, чтобы мистер Афган Норт опознал его и можно было оформить обвинение.

Николь плотнее запахнула халат и отправила полицейского, повторив, что ничего больше не знает. После его ухода она приняла душ и оделась, так и не разгадав загадку. Потом позвонила Розмэри — был уже одиннадцатый час, — но телефон не ответил; тогда она попросила соединить ее с портье и выяснила, что Эйб действительно утром в половине седьмого появился в «Короле Георге» и взял номер, но фактически его не занял. Она села в гостиной и стала ждать Дика; однако Дик не шел и не звонил, и в конце концов она решила уйти, но тут ей позвонили снизу.

— Вас спрашивает мистер Кроушоу, un nègre.[64]

— По какому делу?

— Он говорит, что знает вас и доктора. Он говорит, что его друг мистер Фримен, которого знают все, он в тюрьме. Он говорит, что это ошибка и

---

[64] notes: 64
Негр *(фр.).*

что ему нужно повидать мистера Норта, а то и его тоже могут арестовать.

— Ничего мы не знаем. — Николь сердито брякнула трубкой о рычаг, как бы ставя точку на всей этой истории.

Фантасмагорическое возникновение уехавшего Эйба в Париже открыло ей, насколько она устала от его беспутства. Решив больше о нем не думать, она поехала к портнихе, застала там Розмэри и вместе с нею отправилась на Rue de Rivoli[65] в магазины, где продавались искусственные цветы и ожерелья из разноцветного бисера. С ее помощью Розмэри также выбрала в подарок матери бриллиантовую брошку и накупила косынок и модных портсигаров для голливудских коллег. Сама Николь купила только игрушечных солдатиков сыну — целую армию римских и греческих воинов, стоившую больше тысячи франков. Опять они по-разному тратили деньги, и опять Розмэри восхищалась тем, как это получается у Николь. Николь твердо знала, что тратит *свои* деньги, а у Розмэри все еще было такое чувство, будто она каким-то чудом получила эти деньги взаймы и потому должна расходовать

[65] notes: 65
Улицу Риволи *(фр.)*.

их с величайшей осторожностью.

Приятно было тратить деньги солнечным днем в большом чужом городе, чувствовать свое здоровое тело и здоровый румянец на лице, ходить, наклоняться, протягивать за чем-нибудь руки уверенными движениями женщин, сознающих свою женскую привлекательность.

В отеле их уже дожидался Дик, по-утреннему веселый и свежий; и Николь и Розмэри при виде его на мгновенье по-детски, от всего сердца обрадовались.

Оказалось, только что звонил Эйб; он действительно в Париже и с утра где-то прячется.

— В жизни не припомню более странного телефонного разговора.

Разговаривал не только Эйб, но еще человек десять. Каждый из этих непредусмотренных собеседников начинал с одного и того же:

— …тут один хочет поговорить с вами насчет этого дела — а он говорит, он тут вовсе ни при чем — что, что?

— Эй, вы там, потише, ничего не слышно — в общем, он впутался в историю, и ему теперь нельзя показываться домой. А я, например, считаю — я, например, считаю… — Тут в трубке забулькало, и, что именно считал говоривший, осталось по-

крытым тайной.

Потом сквозь общий шум прорвалось нечто новое:

— Я хочу обратиться к вам как к психологу… — Но личность, вдохновленную этим соображением, как видно, оттерли от телефона, и ей так и не удалось обратиться к Дику ни как к психологу, ни вообще. Дальше разговор протекал примерно так:

— Алло!

— Ну?

— Что ну?

— Это кто говорит?

— Я. — Следовали сдавленные смешки. — Сейчас передаю трубку.

Время от времени слышался голос Эйба вперемежку с какой-то возней, падениями трубки, отрывочными фразами вроде «Мистер Норт, так нельзя…». Потом чей-то резкий, решительный голос сказал Дику в ухо:

— Если вы действительно друг мистера Норта, приезжайте и заберите его отсюда.

Но тут, перекрывая шум, вмешался сам Эйб, авторитетно и важно, с оттенком деловитой решимости:

— Дик, из-за меня тут на Монмартре произо-

шли расовые беспорядки. Я сейчас иду выручать Фримена из тюрьмы. Если там придет один негр, у него фабрика ваксы в Копенгагене, — алло, вы меня слышите? — если там кто-нибудь… — Снова в трубке начался разноголосый шабаш.

— Да как вы опять попали в Париж? — спросил Дик.

— Я доехал до Эвре, а потом решил самолетом вернуться, чтоб сравнить Эвре и Сен-Сюльпис. То есть не в смысле барокко. Скорей даже не Сен-Сюльпис, а Сен-Жермен! Ох, погодите минутку, я вас соединю с chasseur.[66]

— Нет, пожалуйста, не надо.

— Слушайте — как Мэри, уехала?

— Да.

— Дик, я хочу, чтобы вы поговорили с одним человеком, я с ним тут сегодня познакомился. У него отец морской офицер, и каким только врачам его не показывали… Сейчас я вам все расскажу…

Тогда-то Дик и повесил трубку, проявив, пожалуй, неблагодарность, — ведь чтоб жернов его мысли заработал, ему требовалось зерно для помола.

— Эйб такой был приятный человек, — рас-

---

[66] notes: 66
Посыльным *(фр.)*.

сказывала Николь Розмэри. — Удивительно приятный. Давно, когда мы с Диком только что поженились. Жаль, вы его не знали тогда. Он гостил у нас по целым неделям, и мы почти не замечали его присутствия. Иногда он играл, иногда часами просиживал в кабинете наедине со своей возлюбленной — немой клавиатурой. У нас была одна горничная, — помнишь, Дик? — она всерьез считала его чем-то вроде домового, тем более что он очень любил ее пугать — она идет по коридору, а он из-за угла: «Бу-у!» Одно его «бу-у» стоило нам целого чайного сервиза, но мы не рассердились.

Как весело им жилось уже тогда, давным-давно! Розмэри не без зависти представляла себе эту жизнь, легкую, полную досуга, не то что у нее. Розмэри почти не знала досуга, но высоко его ценила, как все, у кого он редко бывает. Для нее досуг значил отдых, и она не догадывалась, что Дайверам спокойствие отдыха так же мало знакомо, как ей самой.

— Что же с ним случилось? — спросила Розмэри. — Отчего он стал пить?

Николь покачала головой в знак того, что она тут ни при чем.

— Так много незаурядных людей в наше время

теряют себя.

— Почему только в наше время? — вмешался Дик. — Человеку незаурядному всегда приходится балансировать на грани — и далеко не все способны выдержать напряжение.

— А по-моему, причины тут глубже. — Николь стояла на своем, слегка раздраженная тем, что Дик вздумал противоречить ей в присутствии Розмэри. — Есть большие художники — возьмем хоть Фернана Леже, — которым вовсе не обязательно превращать себя в спиртную бочку. Почему это спиваются главным образом американцы?

Столько можно было ответить на этот вопрос, что Дик предпочел оставить его вовсе без ответа: пусть повиснет в воздухе, пусть победно бьется в уши Николь. За последнее время Дик все чаще мысленно придирался к ней. Он по-прежнему считал ее красивее всех, кого знал, по-прежнему находил в ней все, в чем нуждался, но в то же время он чуял, что назревает война, и где-то в подсознании закалял себя и точил оружие, готовясь к бою. Он не привык потворствовать себе, и сейчас его мучило, что он допустил такое потворство, тешась надеждой, будто Николь не видит в его отношении к Розмэри ничего, кроме самого

невинного любования ее прелестью. А между тем вчера в театре, когда разговор коснулся Розмэри, Николь довольно резко старалась подчеркнуть, что она, в сущности, еще ребенок, — и это настораживало.

Втроем они позавтракали внизу, в зале, где все звуки были приглушены коврами, и неслышно ступавшие официанты ничуть не походили на тех, что вчера чечеточниками носились вокруг стола, за которым они так вкусно обедали. Кругом сидели американские семейства, с интересом разглядывали другие американские семейства и пытались завязать разговор.

Непонятной казалась компания за соседним столом. Там сидел молодой человек секретарского типа, с приятной улыбкой и написанной на лице готовностью слушать и выполнять, а с ним десятка два дам. Дамы были неопределенного возраста и еще более неопределенной социальной принадлежности, но в них чувствовалась какая-то общность, сплоченность, более тесная, чем, например, в кружке жен, коротающих время, пока мужья заняты на деловом заседании. И уж конечно, чем в любой туристской группе.

Дик инстинктивно прикусил язык, с которого едва не сорвалось насмешливое замечание; до-

ждавшись официанта, он попросил узнать, что это за общество за соседним столом.

— А это Матери Героев, — объяснил официант.

Все трое вполголоса охнули; у Розмэри выступили на глазах слезы.

— Те, что помоложе, должно быть, вдовы, — сказала Николь.

Из-за бокала с вином Дик снова глянул на тех, о ком шла речь; в их ясных лицах, величавом спокойствии и в них самих и вокруг них проступало зрелое достоинство старшего поколения Америки. Присутствие этих женщин, приехавших издалека оплакивать своих павших, скорбеть о том, чего они уже не могли изменить, облагородило ресторанный зал. На мгновение Дик возвратился в детство: вот он скачет верхом на отцовском колене, а вокруг кипят страсти и стремления старого мира. Он почти заставил себя повернуться к двум своим спутницам и заглянуть в лицо тому новому миру, в котором он жил и в который верил.

«…Не возражаете, если я опущу штору?..»

XXIII

Эйб Норт все еще был в баре отеля «Ритц», где засел с девяти часов утра. Когда он явился туда искать убежища, все окна были раскрыты настежь и широкие лучи солнца исторгали пыль из продымленных ковров и сидений. Chasseurs вольно носились по коридорам, точно тела в эфире, освобожденные от земной оболочки. Дамский бар, расположенный напротив основного, казался совсем крошечным — даже вообразить трудно было, какие толпы он способен вместить после полудня.

Сам знаменитый Поль еще не прибыл, но Клод, подсчитывавший за стойкой наличные запасы, с простительным удивлением оторвался от своего дела, чтобы приготовить Эйбу аперитив. Эйб сел на скамейку у стены. После двух порций выпивки он почувствовал себя лучше — настолько, что даже сходил наверх в парикмахерскую и побрился. Когда он вернулся в бар, Поль уже был там — свой автомобиль, заказную модель, он тактично оставил на бульваре Капуцинов. Поль симпатизировал Эйбу и подсел к нему поболтать.

— Я сегодня должен был отплыть в Штаты, —

сказал Эйб. — Или нет, не сегодня — вчера, что ли.

— Отчего же перерешили? — спросил Поль.

Эйб задумался, но наконец подыскал причину:

— Я читал роман, который печатается в «Либерти», и очередной выпуск должен вот-вот выйти — если б я уехал, я бы его пропустил, и так бы уже и не прочел никогда.

— Интересный роман, наверно.

— Н-ну, такой роман!

Поль встал, усмехаясь, но не ушел, а облокотился на спинку стула.

— Если вы в самом деле хотите уехать, мистер Норт, то завтра на «Франции» отплывают двое ваших знакомых. Слим Пирсон и мистер — как же его фамилия? Мистер — мистер — сейчас припомню — высокий такой, недавно отпустил бороду.

— Ярдли, — подсказал Эйб.

— Мистер Ярдли. Они оба едут на «Франции».

Он уже собрался вернуться к своим обязанностям, но Эйб сделал попытку задержать его.

— Да мне надо ехать через Шербур. Мой багаж ушел этим путем.

— Багаж в Нью-Йорке получите, — уже на пути к стойке сказал Поль.

Логичность этого замечания дошла до Эйба не сразу, но он обрадовался тому, что кто-то о нем думает, верней, тому, что можно и дальше пребывать в состоянии безответственности.

Между тем посетителей в баре все прибавлялось. Первым появился высокий датчанин, знакомый Эйбу по встречам в других местах. Он выбрал столик у противоположной стены, и Эйб сразу понял, что там он и проведет весь день — будет пить, есть, читать газеты, вести разговоры со случайными соседями. Эйбу вдруг захотелось пересидеть его. С одиннадцати часов в бар стали забегать студенты. Примерно в это время Эйб и попросил служителя соединить его по телефону с Дайверами; но пока тот дозванивался, у Эйба появились еще собеседники, которых он решил тоже подключить к разговору, и это создало невообразимую путаницу. Время от времени в сознании Эйба всплывал тот факт, что надо бы пойти вызволить из тюрьмы Фримена, но от всяких фактов он упорно отмахивался, как от видений ночного кошмара.

К часу дня бар уже был переполнен; среди шумной разноголосицы официанты делали свое дело, считали выпитое, переводили его количество на понятный клиентам язык цифр.

— Так, значит, два виски с содовой… и еще одно… два мартини и потом третье… для себя вы ничего не брали, мистер Куотерли… значит, два раза по три. Всего с вас семьдесят пять франков, мистер Куотерли. Мистер Шеффер говорит, он больше ничего не заказывал, — последний раз было только виски для вас… Мое дело исполнять… покорно благодарю.

В суматохе Эйб остался без места и теперь стоял, слегка пошатываясь, среди своей вновь приобретенной компании. Чей-то песик, топтавшийся у него под ногами, запутался в них своим поводком, но Эйб ухитрился высвободиться, ничего не опрокинув, и должен был выслушать множество извинений. Потом его пригласили позавтракать, но он отказался. Скоро Тринбрасá, объяснил он, в Тринбрасá у него назначено деловое свидание. Немного спустя он откланялся с безупречной галантностью алкоголика, вышколенного временем, подобно арестанту или старому слуге, и, повернувшись, обнаружил, что горячка в баре схлынула так же стремительно, как и началась.

Датчанин напротив завтракал с собутыльниками. Эйб тоже заказал себе завтрак, но почти не притронулся к нему. Он просто сидел и с удовольствием вновь переживал прошлое. От

винных паров самое приятное из прошлого перемешивалось с настоящим, словно оно все еще происходит — и даже с будущим, словно будет происходить всегда.

В четыре часа к Эйбу подошел служитель.

— Там вас спрашивает цветной, по фамилии Петерсон, Жюль Петерсон.

— Господи! Как он меня нашел?

— Я ему не говорил, что вы здесь.

— Откуда же он узнал? — Эйб чуть было не повалился на стол, заставленный посудой, но сумел овладеть собой.

— Говорит, что обошел подряд все американские бары и отели.

— Скажите ему, что меня здесь нет... — Служитель уже приготовился идти, когда Эйб, передумав, спросил: — А его сюда пустят?

— Сейчас узнаю.

Поль, к которому адресовался служитель, оглянулся и покачал головой, но, увидев Эйба, подошел сам.

— Простите, мистер Норт, но я не могу разрешить.

Эйб с трудом заставил себя встать и вышел на Rue Cambon.

XXIV

Со своим кожаным портфельчиком в руках Ричард Дайвер вышел из комиссариата Седьмого округа (оставив Марии Уоллис записку, подписанную «Диколь», как они подписывали письма знакомым в начале своей любви) и отправился в мастерскую, где заказывал сорочки. Там вокруг него всякий раз поднималась суета, непропорциональная стоимости его заказа, и ему было стыдно. Стыдно вводить в заблуждение этих бедных англичан своими изящными манерами, своим видом человека, владеющего ключом к благоденствию, стыдно просить закройщика переколоть складочку на шелке рукава. Прямо оттуда он зашел в бар отеля «Крийон», выпил кофе и проглотил рюмку джина.

Войдя в отель, он удивился неестественной яркости освещения; выйдя оттуда, понял: так было оттого, что на улице уже почти стемнело. От ветра, нагнавшего тучи, в четыре часа наступил вечер, и на Елисейских полях кружились и беспорядочно падали на землю редкие листья. Дик прошел два квартала по Rue de Rivoli, чтобы получить почту в банке. Потом взял такси и дал

адрес своего отеля. По крыше машины барабанили капли дождя, а он сидел в темноте, один со своей любовью.

Два часа назад в коридоре отеля «Король Георг» красота Розмэри померкла перед красотою Николь, как красота девушки с книжной иллюстрации перед красотой женщины Леонардо. Дик ехал под дождем вдоль Елисейских полей, мрачный и растревоженный; в нем словно боролись страсти нескольких разных людей, и не видно было простого выхода.

Розмэри отворила дверь своего номера, полная волнений, не ведомых никому, кроме нее самой. У нее сейчас была что называется «растрепана душа»; за целые сутки ей не удалось себя собрать, все спуталось в ее судьбе, и напрасно она пыталась что-то привести в ясность, как складывают картинку из разрозненных, разбросанных частей, — подсчитывала успехи и надежды, нанизывала на одну нить Дика, Николь, свою мать, вчерашнего режиссера из «Films Par Excellence» и перебирала, как четки.

Когда в дверь постучал Дик, она только что переоделась и смотрела в окно на дождь, вспоминая строчки каких-то стихов, представляя себе, как бегут ручьи по водостокам Беверли-Хиллз.

Она открыла дверь и увидела Дика — увидела его раз и навсегда отлитым в божественную форму, вечным и неменяющимся, как старшие всегда кажутся младшим. А Дик при первом взгляде на нее испытал невольное легкое разочарование. Лишь в следующую минуту в нем нашла отклик беззащитная прелесть ее улыбки, ее тела, созданного с точнейшим расчетом, так, чтобы напоминать бутон, но обещать цветок. В открытую дверь ванной виднелся коврик с мокрыми отпечатками ее ступней.

— Мисс Телевидение, — сказал он шутливым тоном, не соответствовавшим его настроению.

Он положил на туалетный столик портфель, перчатки, прислонил к стене трость. Его упрямый подбородок не давал скорбным складкам лечь вокруг рта, гнал их вверх, ко лбу, к вискам, точно страх, которого не должны видеть люди.

— Идите сюда, сядьте ко мне на колени, — ласково позвал он. — Пусть ваши славные губки будут поближе.

Она повиновалась и под стихающий шум дождя за окном — кап-ка-ап — приложила губы к холодному и прекрасному образу, созданному ее воображением.

Потом она стала сама целовать его короткими,

быстрыми поцелуями, и всякий раз ее лицо, приближаясь, разрасталось перед его глазами, и он снова дивился необыкновенной шелковистости ее кожи; но одно из свойств красоты — отражать лучшее, что есть в человеке, этой красотой любующемся; быть может, потому он все упорнее думал о Николь, которая была в двух шагах по коридору, и о своей ответственности перед нею.

— Дождь кончился, — сказал он. — Смотрите, крыши уже освещены солнцем.

Розмэри встала и, наклонясь к нему, сказала:

— Какие же мы с вами актеры!

И это были самые ее правдивые слова по отношению к нему.

Она отошла к туалетному столику поправить прическу, но только что взялась за гребень, как в дверь постучали — негромко, но настойчиво.

Оба застыли на месте; стук повторился, чуть погромче — тогда Розмэри, вдруг вспомнив, что дверь не заперта, провела торопливо гребнем по волосам, кивнула Дику, успевшему уже оправить измятое покрывало на кровати, где они сидели, и пошла отворять. Дик в это время заговорил ровным, естественным голосом:

— ...ну, если у вас нет настроения куда-нибудь идти, я так и скажу Николь, и мы проведем наш

прощальный вечер тихо, по-семейному.

Напрасная предосторожность, — те, кто стоял за дверью, были настолько поглощены собственными заботами, что попросту не заметили бы ничего, что не имело к ним непосредственного касательства. То были Эйб, постаревший за сутки на несколько месяцев, и невысокий темнокожий человек с испуганным лицом, которого Эйб представил как мистера Петерсона из Стокгольма.

— Он попал в ужасное положение, а виноват я, — сказал Эйб. — Мы пришли посоветоваться, что делать.

— Пойдемте к нам, — предложил Дик.

Эйб настоял, чтобы Розмэри пошла тоже, и они все направились к номеру Дайверов; Жюль Петерсон, корректный и чинный — негр-знающий-свое-место, идеал республиканцев из пограничных штатов, — шел последним.

Как выяснилось, Петерсон был случайным свидетелем происшествия, разыгравшегося рано утром в одном из монпарнасских бистро; он согласился пойти с Эйбом в полицию и дал официальные показания, что видел, как какой-то негр выхватил из рук Эйба тысячефранковую бумажку. Требовалось установить личность негра. Эйб и Жюль в сопровождении полицей-

ского возвратились в бистро и там с ходу якобы опознали преступника; оказалось, однако, что тот, на кого они указали, пришел в бистро уже после ухода Эйба. Полиция еще больше запутала дело, арестовав негра Фримена, содержателя известного ресторана, который заходил в бистро лишь ненадолго и то совсем рано, когда там еще не сгустился алкогольный туман. Настоящий же виновник — чьи приятели, впрочем, утверждали, что он взял у Эйба только пятьдесят франков, чтобы уплатить за выпивку, заказанную им, Эйбом, для всей компании, — выплыл вновь лишь недавно и в довольно зловещей роли.

Короче говоря, за какой-нибудь час Эйб сумел впутаться в сложное переплетение жизней, совести и страстей одного афро-европейского и трех афро-американских обитателей Латинского квартала. Как ему выпутаться, оставалось совершенно неясным, а пока что весь день прошел в каком-то негритянском наваждении; незнакомые негритянские лица возникали перед ним в самых неожиданных местах, настойчивые негритянские голоса донимали его по телефону.

Однако Эйбу удалось ускользнуть от всех, исключая Жюля Петерсона. Петерсон оказался в положении того дружественного индейца, кото-

рый пришел на выручку белому человеку. Сейчас негры, пострадавшие в этой истории, гонялись не столько за Эйбом, сколько за Петерсоном, которого считали предателем, а Петерсон не отставал от Эйба, уповая на его покровительство.

Петерсон имел в Стокгольме маленькую фабрику ваксы, но прогорел, и теперь все его достояние составляли рецепты ваксы и оборудование, умещавшееся в деревянном ящичке; но его новоявленный покровитель сегодня утром пообещал пристроить его к делу в Версале — там жил бывший шофер Эйба, ныне сапожник. Эйб даже успел дать Петерсону двести франков в счет будущих доходов.

Розмэри злилась, слушая всю эту несусветицу; чтобы оценить тут смешную сторону, требовался особый, грубоватый юмор, которым она не обладала. Темнокожий человек с его карманной фабричкой, с бегающими глазками, время от времени закатывавшимися от страха так, что видны были только полушария белков; фигура Эйба, его одутловатое, несмотря на природную тонкость черт, лицо — все это было для нее чем-то далеким, как болезнь.

— Дайте мне шанс в жизни, я больше ничего не прошу, — говорил Петерсон с тем тщательным

и в то же время неестественным выговором, с которым говорят в колониях. — Мой метод прост, мой рецепт настолько хорош, что меня разорили, выжили из Стокгольма, потому что я не соглашался его раскрыть.

Дик вежливо смотрел ему в лицо, затем возникший было интерес иссяк, и он повернулся к Эйбу.

— Поезжайте в другой отель и ложитесь спать. Когда проспитесь, мистер Петерсон придет к вам и вы сможете продолжить свой разговор.

— Да вы поймите, в какую он попал заваруху, — настаивал Эйб.

— Я лучше подожду внизу, — деликатно предложил Петерсон. — Может быть, не так удобно обсуждать мои дела в моем присутствии.

Он исполнил короткую пародию на французский поклон и удалился. Эйб встал с тяжеловесной медлительностью трогающегося паровоза.

— Я сегодня, как видно, не вызываю сочувствия.

— Сочувствие — да, одобрение — нет, — поправил его Дик. — Мой вам совет — уходите из этого отеля, хотя бы через бар. Отправляйтесь в «Шамбор» или в «Мажестик», если вам не нравится, как обслуживают в «Шамборе».

— У вас не найдется чего-нибудь выпить?

— Мы в номере ничего не держим, — солгал Дик.

Смирившись, Эйб стал прощаться с Розмэри; долго жал ей руку и, с трудом подобрав дергающиеся губы, пытался составить фразу, которая никак не получалась.

— Вы самая — одна из самых…

Ей было и жаль его, и противно от прикосновений его липкой руки, но она мило улыбалась, будто всю жизнь только и делала, что беседовала с людьми, у которых заплетается язык. Мы часто относимся к пьяным неожиданно уважительно, вроде того, как непросвещенные народы относятся к сумасшедшим. Не с опаской, а именно уважительно. Есть что-то, внушающее благоговейный трепет, в человеке, у которого отказали сдерживающие центры и который способен на все. Конечно, потом мы его заставляем расплачиваться за этот миг величия, миг превосходства.

Эйб сделал еще одну попытку разжалобить Дика.

— Ну, а если я поеду в отель, отпарюсь, отскребусь, высплюсь и разделаюсь с этими сенегальцами — пустят меня вечером посидеть у камелька?

Дик кивнул — полуутвердительно, полуна-

смешливо — и сказал:

— Боюсь, что вы переоцениваете свои возможности.

— Вот уж, будь здесь Николь, она бы наверняка просто сказала: «Приходите».

— Что ж, приходите. — Дик принес и поставил на стол большую коробку, доверху наполненную картонными фишками, на которых были напечатаны буквы. — Приходите, будем играть в анаграммы.

Эйб заглянул в коробку с видимым отвращением, словно ему предложили съесть ее содержимое вместо овсяной каши.

— Что еще за анаграммы? Хватит с меня сегодня всяких…

— Это игра, тихая, спокойная игра. Составляют из букв слова — любые, кроме слова «спиртное».

— Наверно, и «спиртное» можно составить. — Эйб запустил руку в коробку с фишками. — Ничего, если я приду и составлю слово «спиртное»?

— Хотите играть в анаграммы, приходите.

Эйб печально покачал головой.

— Нет уж, если вы так настроены, лучше мне не приходить — я вам буду не ко двору. — Он укоризненно помахал Дику пальцем. — Только вспомните, что сказал Георг Третий: «Если Грант

напьется, я хотел бы, чтоб он перекусал всех других генералов».

Он еще раз глянул на Розмэри уголком золотистого глаза и вышел. К его облегчению, Петерсона нигде не было видно. Чувствуя себя одиноким и бездомным, он поехал обратно в «Ритц», переспросить у Поля, как называется тот пароход.

XXV

Как только в коридоре утихли его запинающиеся шаги, Дик и Розмэри сомкнулись в торопливом объятии. Пыль Парижа лежала на них обоих, но сквозь эту пыль они обоняли друг друга — резиновый дух колпачка авторучки Дика, легчайший аромат тепла от шеи и плеч Розмэри. Дик ни о чем не думал лишние полминуты; Розмэри первая вернулась в реальный мир.

— Пора мне, юноша, — сказала она.

Не отрывая от него растерянного взгляда, она отступала все дальше и наконец исчезла за дверью — так уходить она выучилась еще в начале своей карьеры, и ни один режиссер не пытался тут что-то навязывать ей.

Отворив дверь своего номера, она сразу пошла к письменному столу — ей помнилось, что

она забыла там свои часики. Там они и лежали; застегивая браслет, она скользила глазами по недописанному письму к матери, которой писала каждый день, и мысленно сочиняла для него заключительную фразу. И тут у нее постепенно возникло ощущение, что в комнате еще кто-то есть.

В человеческом жилье всегда найдутся предметы, почти незаметно преломляющие свет: полированное дерево, лучше или хуже начищенная бронза, серебро, слоновая кость и еще сотни источников светотени, которых мы и вовсе не принимаем в расчет: ребро картинной рамы, кончик карандаша, край пепельницы, хрустальной или фарфоровой безделушки; все это воздействует на особо чувствительные участки сетчатки и на те ассоциативные центры подсознания, которые что-то регулируют в нашем восприятии, подобно тому как повороты винта бинокля помогают четко увидеть предмет, только что казавшийся бесформенным пятном. Вероятно, именно этим можно объяснить возникшее у Розмэри таинственное «ощущение» чьего-то присутствия в комнате, прежде чем это ощущение оформилось в мысль. Еще не дав ему оформиться, она почти по-балетному круто повернулась

на носках и увидела, что на ее постели лежит мертвый негр.

На мгновение — что уж было вовсе нелепо — ей показалось, что это Эйб Норт. Она отчаянно закричала, уронила на стол так и не застегнувшийся браслет с часами и опрометью бросилась вон.

Дик приводил в порядок свои вещи; внимательно осмотрел перчатки, которые надевал сегодня, и бросил их к другим, лежавшим кучей в углу чемодана. Пиджак и жилет уже висели в шкафу на плечиках, а на другие плечики он повесил сорочку — метод, изобретенный им самим. «Можно надеть не совсем свежую сорочку, но мятую сорочку надевать нельзя». Николь уже была дома и вытряхивала в корзину для мусора что-то, использованное Эйбом в качестве пепельницы, когда в комнату ворвалась Розмэри.

— Дик! Дик! Скорее сюда!

Дик бросился через коридор в ее комнату. Став на колени, он приложил ухо к сердцу Петерсона, потом пощупал пульс — труп еще не остыл, лицо, при жизни смиренное и испуганное, в смерти стало грубым и злым; под мышкой торчал ящичек с оборудованием, но ботинок на свешивающейся ноге был нечищен, и подметка прохудилась. По французским законам к обнаруженному мерт-

вому телу запрещается прикасаться, однако Дик все же чуть сдвинул руку Петерсона, чтобы разглядеть нечто, привлекшее его внимание — на зеленом покрывале темнело пятно, кровь могла пройти насквозь, на одеяло.

Дик закрыл дверь и постоял, соображая. В коридоре послышались легкие шаги, потом голос Николь окликнул его по имени. Он приоткрыл дверь и сказал шепотом:

— Принеси покрывало и одно из одеял с моей кровати — только осторожно, чтобы никто тебя не видел. — И, заметив напряженное выражение ее лица, поспешил добавить: — Ты только не волнуйся, ничего особенного, просто тут черномазые передрались.

— Только поскорей кончай с этим.

Дик поднял тело с кровати — легкое, истощенное недоеданием тело. Он держал его так, чтобы кровь из раны стекала в одежду убитого. Положив его на пол, он сдернул с кровати покрывало и верхнее одеяло, подошел к двери и, чуть-чуть приоткрыв ее, прислушался — где-то за поворотом зазвенела посуда, и громкий голос сказал покровительственно: «Merci, madame», но официант ушел в другую сторону, к служебной лестнице. Дик и Николь проворно обменялись из

двери в дверь свертками; застлав кровать Розмэри чистым покрывалом, Дик, взмокший от пота, еще постоял среди комнаты, раздумывая. Две вещи он уяснил себе сразу же после беглого осмотра трупа. Во-первых: очевидно, враждебный индеец Эйба выследил дружественного индейца и настиг его в коридоре, а когда тот попытался спастись в номере Розмэри, последовал за ним и убил его. Во-вторых: если дать событиям развиваться естественным путем, никакие силы на свете не уберегут имя Розмэри от скандала. А ее контракт подразумевал, что она обязана оставаться все тою же «папиной дочкой», наивной и невинной.

Дик машинально сделал жест, словно засучил рукава, хотя был в нижней рубашке-безрукавке, и нагнулся над трупом. Упершись ему в плечи, он пинком распахнул дверь и вытащил его в коридор, где и оставил лежать в подходящем к случаю положении. Потом снова вошел в комнату Розмэри и тщательно пригладил в одну сторону ворс на ковре. Только после этого он вернулся к себе и, взяв телефонную трубку, попросил соединить его с управляющим.

— Это вы, Макбет? Говорит доктор Дайвер — очень серьезное дело. Нас никто не может подслушать?

Хорошо, что он не поленился установить с мистером Макбетом тесные дружеские отношения. Хоть одна выгода от той щедрости, с которой Дик расточал свое природное обаяние направо и налево…

— Мы сейчас вышли из своего номера и наткнулись на убитого негра… в коридоре… нет, нет, штатский… Погодите минутку — я решил позвонить вам, понимая, что вы вряд ли обрадуетесь, если все жильцы этого этажа станут натыкаться на труп. Но убедительно прошу, чтобы мое имя нигде не фигурировало. Не хочу стать жертвой французской судебной волокиты только потому, что мне посчастливилось обнаружить труп.

Какая забота о репутации отеля! Два дня назад мистер Макбет мог самолично убедиться в этой особенности доктора Дайвера, оттого он и принял предложенную ему версию безоговорочно.

Через минуту мистер Макбет был уже наверху, а еще через минуту там появился жандарм. Но за это время Макбет успел шепнуть Дику: «Будьте спокойны, никому из наших гостей не нужно опасаться излишних упоминаний его имени. Не могу выразить, как я вам благодарен за вашу предусмотрительность».

Мистер Макбет тут же принял некие меры, о

существе которых можно было только догадываться, но которые произвели на жандарма такое впечатление, что он, то ли от беспокойства, то ли от жадности, свирепо затеребил свои длинные усы. Меж тем с расторопностью, которую сам Петерсон, как бизнесмен, сумел бы оценить, останки были перенесены в пустующий номер-люкс одного из самых фешенебельных отелей мира.

Дик вернулся к себе.

— Что все это значит? — воскликнула Розмэри. — Это так принято у американцев в Париже — стрелять друг в друга?

— Должно быть, сейчас сезон охоты, — ответил Дик. — А где Николь?

— Кажется, в ванной.

Розмэри смотрела на него с обожанием, ведь он ее спас — пророческие видения бедствий, которые могло навлечь на нее случившееся, уже проносились в ее голове, пока она, мысленно преклоняясь, слушала негромкий, твердый, уверенный голос, улаживавший все. Послушная душевному и физическому влечению, она готова была броситься к нему, но в эту минуту что-то отвлекло его внимание: он толкнул дверь спальни и, не останавливаясь, пошел к ванной. И тогда

Розмэри услышала тоже: бессвязный, нечеловеческий крик несся сквозь щели и замочные скважины и, нарастая, обретал устрашающую реальность на комнатном просторе.

Первой мыслью Розмэри было, что Николь упала в ванной и расшиблась; с этим она и побежала вслед за Диком. Но прежде чем он оттолкнул ее и загородил собой дверь, она успела увидеть нечто совсем другое.

На коленях, схватившись за борт ванны, Николь раскачивалась из стороны в сторону.

— Ты, все ты! — выкрикивала она. — Зачем ты пришел сюда — это единственное место на свете, где я могу побыть одна, а ты пришел и еще принес мне окровавленное одеяло. Давай я в него завернусь и покрасуюсь перед тобой — мне не стыдно, мне только жалко. У нас на Цюрихском озере был маскарад первого апреля, в День дураков, и все дураки там были, а я хотела пойти завернувшись в одеяло, только мне не позволили…

— Успокойся!

— …я тогда спряталась в ванной, а меня нашли и сказали: «Вот вам домино, надевайте его». Я и надела. А что мне было делать?

— Успокойся, Николь!

— Я не ждала, что ты будешь любить меня, — я

знала, что уже поздно, — только не приходи в ванную, единственное место, где я могу побыть одна, и не носи мне окровавленные одеяла, чтобы я стирала их.

— Успокойся, Николь. Встань с пола…

Розмэри из гостиной услышала, как захлопнулась дверь ванной. Ее била дрожь: теперь она знала, что увидела Вайолет Маккиско в уборной на вилле «Диана». Зазвонил телефон, она сняла трубку и едва не закричала от радости, услышав голос Коллиса Клэя: он звонил к ней и, не получив ответа, догадался позвонить к Дайверам. Она попросила его подняться и подождать, пока она наденет шляпу, — ей страшно было одной войти в свою комнату.

Книга вторая
I

Весной 1917 года, когда доктор Ричард Дайвер впервые приехал в Цюрих, ему было двадцать шесть лет — прекрасный возраст для мужчины, самый расцвет холостяцкой вольности. Для Дика он не был омрачен даже тем, что пришелся на годы войны, потому что Дик уже тогда представлял собой слишком большую ценность, слишком солидное капиталовложение, чтобы пускать его на пушечное мясо. Много лет спустя ему начало казаться, что, пожалуй, стены его швейцарской обители не столь уж надежно ограждали его от внешнего мира; впрочем, он так и не утвердился в этой мысли, а тогда, в 1917-м, только виновато отшучивался, говоря, что война прошла мимо него. В Цюрих он отправился по предписанию начальства, чтобы там завершить свое образование и получить ученую степень.

Швейцария была островом, который с одной стороны омывали грозные волны, докатывавшиеся от Гориции, с другой — водовороты, бурлившие на Сомме и Эне. В ту пору казалось, что

среди иностранцев, которыми кишели кантоны, больше подозрительных личностей, чем настоящих больных, но это были только догадки; типы, перешептывавшиеся в маленьких кафе Берна и Женевы, могли быть просто скупщиками бриллиантов или коммивояжерами. Но все хорошо видели, как между синими Невшательским и Баденским озерами тянулись друг другу навстречу длинные поезда, набитые слепыми, безногими, безрукими — какими-то полуживыми обрубками людей. Над стойками пивных и в магазинных витринах красовались цветные плакаты на тему о защите швейцарцами своих границ в 1914 году: юноши и старики свирепо взирали с гор на маячившие внизу бледные тени французов и немцев. Эти плакаты были выпущены с целью вселить в швейцарцев воодушевляющее сознание, что и их не обошла эпидемия боевой славы тех дней. Бойня продолжалась, но плакаты с годами истрепались и выцвели, и когда в войну вдруг ввязалась Америка, никого это так не удивило, как маленькую республику, европейскую ее сестру.

Доктор Дайвер к этому времени уже успел глянуть на войну издали: 1914 год застал его в Оксфорде, куда он поступил, получив от штата

Коннектикут Родсовскую стипендию. Вернувшись на родину, он еще год проучился в университете Джонса Гопкинса и закончил курс. В 1916-м страх, что великий Фрейд может погибнуть при воздушном налете, погнал его в Вену. Жизнь уже и тогда едва теплилась в этом дряхлеющем городе, но Дик как-то ухитрился раздобыть достаточно угля и керосину, чтобы можно было сидеть в комнатке на Даменштиффштрассе и писать статьи, которые он потом уничтожил, но которые, будучи восстановлены, составили костяк его книги, вышедшей в Цюрихе в 1920 году.

В жизни каждого из нас бывает пора, когда все удается, когда сам себе кажешься героем; то была именно такая пора для Дика Дайвера. При этом он и не догадывался о присущем ему обаянии и был уверен, что всякий здоровый молодой человек испытывает сам и внушает другим совершенно такие же чувства. Еще в Нью-Хейвене кто-то раз назвал его Счастливчик Дик — это прозвище застряло у него в памяти.

— Счастливчик Дик, вот ты кто, — вполголоса твердил он себе, кружа по комнате в свете последних вспышек дотлевающего огня. — Ты попал в точку, приятель. Углядел то, чего до тебя никто не видал.

В начале 1917 года, когда с углем стало очень туго, Дик пустил на топливо все свои учебники — их у него набралось штук сто; но всякий раз, засовывая очередной том в печку, он делал это с веселым остервенением, словно знал про себя, что суть книги вошла в его плоть и кровь, что он и через пять лет сможет пересказать ее содержание — если оно того будет стоить через пять лет. Когда коврик с полу, накинутый на плечи, уже не спасал от холода, он садился перед печкой и жег книги с той прекрасной безмятежностью ученого, которая больше всего на земле приближается к райскому блаженству, но которой, как видно из дальнейшего, скоро должен был наступить конец.

За то, что этот конец пока не наступил, он был благодарен своему телу, закаленному пробежками на стадионе Нью-Хейвена и купаньем в зимнем Дунае. Квартира у него была общая с Элкинсом, вторым секретарем посольства; иногда туда приходили в гости две очень милые молодые девушки — приходили и уходили, дальше дело не шло, и связи с посольством тоже не шли дальше. Общение с Элкинсом впервые заставило его чуть-чуть усомниться в глубине собственных мыслей; казалось порой, что не так уж они отличаются

от мыслей Элкинса — Элкинса, помнившего наперечет всех нью-хейвенских нападающих за последние тридцать лет.

«А Счастливчику Дику не пристало быть просто толковым молодым человеком, каких много; цельность натуры — недостаток для него, в нем должна быть щербинка. И нужно, чтобы именно жизнь оставила на нем свой след; болезнь, или там любовная неудача, или комплекс неполноценности — это все не то, хоть, правда, интересно было бы поработать над собой и заново выстроить разрушенную часть здания, да так, чтобы она была лучше, чем раньше».

Он высмеивал себя за подобные рассуждения, называя их пустозвонством и «американщиной» — так у него обозначалось всякое суесловие, не подкрепленное работой мозга: «американщина». Но он хорошо сознавал, что оборотная сторона его цельности — душевная неполнота.

«Одного могу пожелать тебе, дитя мое, — говорит фея Черная Палочка в „Розе и кольце“ Теккерея, — немного несчастья».

А иногда он ворчливо оправдывался перед собой: «Виноват я разве, что в тот день Пит Ливингстон забился в раздевалку, и его сколько ни искали, так и не могли найти. И стипендию

получил я, хотя если б не это, мне бы ее не видать как ушей своих, — я ведь почти никого не знал из нужных людей. Пит был верный кандидат, и не ему, а мне надо было тогда спрятаться в раздевалке. Может, я бы так и сделал, если б мог подумать, что у меня есть какие-то шансы. А впрочем, с чего бы это Мерсер зачастил ко мне в те последние недели? Да, да, шансы у меня были, и я это знал. И поделом бы мне было, если бы я сам все испортил, сочинив себе какой-то „комплекс“».

После лекций он не раз обсуждал этот вопрос с одним юным мыслителем из Румынии, и тот его успокаивал: «Нет никаких данных предполагать наличие „комплекса“ в современном смысле слова у Гете, скажем, или у такого человека, как Юнг. Ты не философ-романтик, ты ученый. Тебе требуется память, настойчивость, воля и прежде всего здравый смысл. Неумение верно себя оценивать — вот что может тебе повредить в будущем. Я знал одного человека, который два года потратил на изучение мозга армадилла в расчете на то, что в конце концов он будет знать о мозге армадилла больше всех. Я с ним спорил, доказывал, что по существу он не раздвигает рамки человеческих знаний, что его выбор безоснователен. И что же? Когда он наконец отправил свой

труд в один медицинский журнал, ему вернули рукопись — в редакционном портфеле уже имелась работа другого автора на ту же тему».

Когда Дик приехал в Цюрих, у него было меньше ахиллесовых пят, чем понадобилось бы, чтобы снабдить ими сороконожку, но все же предостаточно: то были иллюзии вечной силы, и вечного здоровья, и преобладания в человеке доброго начала, — иллюзии целого народа, порожденные ложью прабабок, под волчий вой убаюкивавших своих младенцев, напевая им, что волк далеко-далеко.

Защитив диссертацию, Дик получил предписание ехать во Францию, в Бар-сюр-Об, где тогда формировался неврологический госпиталь. Работа во Франции разочаровала его — приходилось быть больше администратором, чем врачом. Но зато у него оставалось достаточно времени, чтобы дописать краткий учебник, начатый еще в Цюрихе, и собрать материал для новой книги. Весной 1919 года он демобилизовался и вернулся в Цюрих.

Сказанное выше звучит как начало биографии, но без обнадеживающего намека, что героя ждет сложная и увлекательная судьба и что он уже слышит ее зов, как слышал генерал Грант, сидя

в мелочной лавочке в Галене. К тому же, когда знаешь человека в солидности его зрелых лет, всегда странно бывает наткнуться на юношескую фотографию, с которой вдруг глянет на тебя пронзительным, жгучим, орлиным взглядом незнакомое лицо. Так что лучше не будем томить читателя: час Дика Дайвера настал.

II

Был сыроватый апрельский день, длинные облака тянулись наискосок над Альбисхорном, и вода, где помельче, казалась совсем неподвижной. Цюрих во многом напоминает американские города. Эти два дня, после приезда из Франции, Дику все время словно недоставало чего-то, и он наконец понял чего — ощущения завершенности, создаваемого французскими улицами, за которыми, кажется, ничего дальше нет. В Цюрихе всегда помнишь о том, что лежит за пределами Цюриха: городские крыши уводят взгляд к горным пастбищам, оглашаемым мелодичным позвякиваньем, а над ними угадываются причудливые силуэты вершин — вся жизнь предстает как неуклонный подъем ввысь, к открыточному небу. В предгорьях Альп, краю игрушек и фуникулеров,

каруселей и негромкого колокольного перезвона, не чувствуешь себя в той мере земным, как во Франции, среди французских виноградников, где лозы растут чуть ли не под ногами.

В Зальцбурге, где Дику однажды пришлось провести несколько дней, он сразу почувствовал себя во власти века музыки, купленной или заимствованной; в Цюрихе, в университетских лабораториях, осторожно исследуя строение мозга, он сам себе казался похожим больше на игрушечного мастера, чем на того неукротимого юнца, что вихрем влетал, бывало, в старый учебный корпус Джонса Гопкинса, ничуть не смущенный ироническим взглядом гигантского Христа в вестибюле.

И все же он решил остаться еще на два года в Цюрихе, сумев оценить по достоинству работу игрушечных мастеров, которая, требуя исключительной точности, воспитывает исключительное терпение.

Сейчас он ехал в клинику профессора Домлера на Цюрихском озере, навестить Франца Грегоровиуса, занимавшего там штатную должность. Франц, уроженец кантона Во, несколькими годами старше Дика, встретил гостя на трамвайной остановке. У него была эффектная, романтиче-

ская внешность — глаза святого на смуглом лице Калиостро. Он представлял третье поколение династии Грегоровиусов; дед его был учителем Крепелина в ту пору, когда психиатрия как наука делала свои первые шаги. Франц был самолюбив, темпераментен, считал себя наделенным незаурядной гипнотической силой. Вероятно, если бы фамильный талант успел несколько притупиться в предыдущем поколении, из него вышел бы первоклассный клиницист.

Уже в машине он начал разговор:

— Ну, рассказывайте, что с вами было на войне. Наверно, как и все, чувствуете себя теперь другим человеком? Лицом вы не изменились — все то же глупое нестареющее американское лицо, хоть я-то знаю, что глупым вас никак не назовешь.

— Я войны не видел, Франц, вам это должно быть известно по моим письмам.

— Не имеет значения — у нас тут лечатся от контузии люди, которые только издали слышали грохот воздушной бомбардировки. И даже такие, которые только читали газеты.

— Что за чепуха!

— Может быть, и чепуха, Дик. Но это клиника для богатых, и мы таких выражений не употребляем. Теперь скажите честно: вы приехали ради

меня или ради той американки?

Они искоса глянули друг на друга. Франц загадочно усмехнулся:

— Разумеется, вначале все письма проходили через меня, — сказал он рокочущим докторским баском. — Но после того как наметился поворот, я перестал их вскрывать, считая это неделикатным. В сущности, это уже теперь ваша больная.

— Значит, она поправилась? — спросил Дик.

— Вполне. Я ведь вел ее с тех пор, как она к нам поступила — я веду почти всех больных из Англии и Америки. Они меня называют доктор Грегори.

— Дайте мне объяснить вам, как все получилось с этой девушкой, — сказал Дик. — Я ее только один раз видел. В день, когда приезжал проститься с вами перед отъездом во Францию. Я тогда впервые надел военную форму и чувствовал себя как на маскараде. Да еще все путался с непривычки — то отдам честь рядовому, то еще что-нибудь.

— А почему вы сегодня не в военном?

— Фью! Я уже три недели как демобилизовался. Так вот: распрощавшись с вами, я пошел к павильону на озере, где оставил свой велосипед…

— К «Кедровой беседке».

— …вечер был чудесный — луна вон над той вершиной…

— Над Кренцэггом.

— …впереди шли двое: сиделка и с ней молодая девушка. Мне сперва и в голову не пришло, что это пациентка клиники. Я нагнал их, чтобы спросить у сиделки, до которого часу ходит трамвай, и дальше мы пошли вместе. Девушка показалась мне красоты необыкновенной.

— Она и сейчас такая же.

— Ее заинтересовал мой мундир — она никогда не видела американской военной формы, — и мы разговорились самым естественным образом, только… — Он умолк, вглядываясь в открывшийся вдруг знакомый вид, потом договорил: — Только я не так закален, как вы, Франц; мне всегда больно смотреть на прекрасную оболочку, если я знаю, что́ под ней скрывается. Вот и все знакомство — а потом стали приходить письма.

— Это знакомство ее спасло, — с пафосом сказал Франц, — оно дало ей необходимое переключение. Оттого-то я и поехал сегодня вас встречать, бросив все свои дела. Мне нужно с вами обстоятельно поговорить до того, как вы встретитесь с нею. Впрочем, ее сейчас нет, я отпустил ее в Цюрих за покупками. — Голос его зазвенел от вол-

нения. — Отпустил без сиделки, вдвоем с другой больной, состояние которой значительно менее устойчиво. Я считаю ее полностью излеченной и горжусь этим успехом, достигнутым с вашей невольной помощью.

Дорога, следуя всем изгибам берега, привела их наконец в плодородную долину, где зеленые выпасы чередовались с пригорками, на которых лепились деревянные шале. Солнце плыло по синему океану неба, и Дик вдруг почувствовал истинно швейцарскую прелесть этого уголка — такой веселый гомон несся со всех сторон, так славно пахло здоровьем и бодростью.

Заведение профессора Домлера состояло из трех старых зданий и двух новых, раскинувшихся между озером и цепью невысоких холмов. Основанное десять лет назад, оно стало первой психиатрической клиникой современного типа. Никто со стороны не догадался бы, что здесь находится убежище для надломленных, неполноценных, несущих в себе угрозу этому миру. Два из пяти зданий обнесены были глухой стеной, вид которой смягчала завеса винограда. Какие-то люди сгребали в кучи солому на самом солнцепеке; по аллеям парка гуляли больные в сопровождении сиделок, которые, заслышав шум машины,

предостерегающе взмахивали белым флажком.

Франц привел Дика в свой кабинет и попросил позволения отлучиться на полчаса. Оставшись один, Дик расхаживал по кабинету, стараясь составить себе суждение о Франце по беспорядку на его письменном столе, по его книгам, по книгам его отца и деда — ими написанным или им принадлежавшим, — по увеличенному отцовскому дагеротипу, со швейцарской чинностью висевшему на стене. В кабинете было накурено; Дик распахнул балконную дверь, и конус солнечного света прорезал дымный воздух. Мысли Дика обратились к той девушке, к американке.

За восемь месяцев он получил от нее около пятидесяти писем. Первое содержало попытку что-то объяснить или оправдать: еще в Америке она слышала, что многие девушки пишут письма незнакомым солдатам, вот она и узнала у доктора Грегори его имя и адрес и надеется, он не будет против, если она время от времени станет посылать ему несколько слов привета и т. д. и т. п.

Тон письма нетрудно было узнать — он был заимствован из «Длинноногого папочки» и «Притворщицы Молли», сентиментально-развлекательных сочинений, которыми в ту пору зачитывалась Америка. Но дальше этого сходство

не шло.

Письма распадались на две группы: те, что были написаны в период до перемирия, носили отчетливо патологический характер, остальные же, вплоть до самых недавних, были письмами вполне нормального человека, постепенно раскрывавшегося во всем богатстве своей натуры. За последние месяцы Дик привык с нетерпением ожидать этих писем, скрашивавших томительную скуку Бар-сюр-Об, впрочем, и в письмах более ранних он сумел прочесть гораздо больше, чем это было доступно Францу.

«Mon capitaine![67]

Вы мне показались таким красивым в военной форме. А потом я решила je m'en fiche[68] и по-французски и по-немецки. Я решила, что и я Вам понравилась, но к этому я привыкла, и хватит. Если Вы сюда еще раз приедете со всякими пошлостями и подлостями, которые вовсе не к лицу джентльмену, как меня учили понимать это слово, Вам же будет хуже. Впрочем, Вы как будто поскромнее других, такой уютный, точно

---

[67] notes: 67
Мой капитан! *(фр.)*

[68] notes: 68
Наплевать *(фр.)*.

большой пушистый кот. Мне вообще нравятся женственные молодые люди. А Вы женственный? Я таких встречала, не помню когда и где.

Не сердитесь на меня, это мое третье письмо к Вам, я его сейчас отправлю или не отправлю совсем. Я часто раздумываю о лунном свете, и у меня нашлось бы немало свидетелей, если б только меня выпустили отсюда.

Они говорят, Вы тоже доктор, но Вы ведь кот, так что это другое дело. Голова очень болит, так Вы не сердитесь, почему я гуляю тут запросто с белым котом, это Вам все объяснит. Я говорю на трех языках, не считая английского, и, наверно, могла бы работать переводчицей, если б Вы меня устроили там, во Франции, наверно, я бы справилась, если б меня привязали ремнями, как в ту среду. А сегодня суббота, и Вы далеко, может быть, уже и убиты.

Приезжайте ко мне опять, я ведь тут навсегда, на этом зеленом холме. Разве только отец поможет, милый мой папа, но они мне не позволяют писать ему.

Не сердитесь, я сегодня сама не своя. Напишу, когда буду чувствовать себя лучше.

Привет.

Не сердитесь на меня. *Николь Уоррен».*

«Капитан Дайвер!

Я знаю, когда такое нервное состояние, как у меня сейчас, нехорошо сосредоточиваться на себе, но мне хочется, чтобы вы все про меня знали. Когда это началось в Чикаго прошлый год, а может быть, и не прошлый, не помню, я тогда перестала выходить на улицу и разговаривать с прислугой, и мне так нужно было, чтобы кто-нибудь мне объяснил, что со мной. Кто понимал, тот обязан был мне объяснить. Слепого берут за руку и ведут, раз он сам идти не может. Но мне говорили и недоговаривали, а у меня уже слишком все спуталось в голове, чтобы я могла додумать сама. Нашелся один человек — он был француз, офицер, и он понимал. Он мне дал розу и сказал, что она „plus petite et moins entendue“.[69] Мы подружились. А потом он ее отнял. Мне становилось все хуже, а объяснить было некому. Есть такая песенка про Жанну д’Арк, вот мне ее пели, а мне было обидно, и я плакала, потому что у меня тогда голова еще была в порядке. Советовали, чтобы я занималась спортом, но я не хотела спорта. Потом раз я вышла из дому и пошла по бульвару Мичиган — далеко-далеко.

---

[69] notes: 69
Еще меньше и еще неопытнее *(фр.)*.

За мной поехали и догнали, но я не захотела садиться в машину. В конце концов меня втащили силой и после этого приставили ко мне сиделку. Потом уже я постепенно стала понимать, потому что видела, как это у других. Вот, теперь Вы все знаете. Здесь я никогда не поправлюсь, врачи без конца пристают ко мне с расспросами и не дают успокоиться и забыть. Поэтому я сегодня написала отцу, пусть приедет и заберет меня отсюда. Я очень рада, что Вам так нравится ваша работа, наверно, это очень интересно, проверять людей и решать, кто годится, а кто нет».

А вот из другого письма:

«Могли бы пропустить одну проверку и написать мне письмо. Мне недавно прислали граммофонные пластинки, на случай если я забуду свой урок, а я их все перебила, и за это теперь сиделка со мной не разговаривает. Пластинки были английские, и она все равно ничего не понимала. В Чикаго один доктор назвал меня симулянткой, это он хотел сказать, что я шестой близнец, а он еще никогда таких не встречал. Но я в то время очень сильно чудила, и мне было все равно — когда я начинаю так сильно чудить, мне все равно, назови меня хоть миллионным

близнецом.

Вы в тот вечер говорили, что научите меня не скучать. Знаете, мне иногда кажется, что любовь — самое главное в жизни, должна быть самым главным. Но я рада за Вас, что экзамены не оставляют Вам свободного времени.

Toute a vous[70]

Николь Уоррен».

Были и другие письма, в сбивчивом ритме которых слышалась более тревожная мелодия.

«Милый капитан Дайвер!

Пишу Вам потому, что мне не к кому больше обратиться, и если даже я, такая больная, вижу нелепость своего положения, Вам-то уж наверняка это ясно. Я вся совершенно разбита и уничтожена, не знаю, этого ли тут добивались. Родные ко мне равнодушны, нечего и ждать от них помощи и сочувствия. Я больше не могу, я уверена, оставаясь здесь, я только попусту буду терять время и вконец расстрою свое здоровье, а голова у меня все равно не придет в порядок.

Заперли меня в это заведение, которое что-то вроде сумасшедшего дома, и все только потому,

---

[70] notes: 70
Всегда Ваша *(фр.).*

что никто не решился сказать мне правду. Если бы я с самого начала все знала, как знаю теперь, я бы справилась, хватило бы сил, но те, кто должен был открыть мне глаза, не захотели. А теперь, когда я уже узнала, и такой дорогой ценой, они все поджали хвосты и хотят, чтобы я думала как раньше. Особенно старается один, но теперь уже я все равно знаю.

Мне очень тоскливо вдали от друзей и родных, которые все за океаном, я целыми днями брожу как потерянная. Сделайте доброе дело, устройте меня переводчицей (я в совершенстве знаю французский и немецкий, довольно хорошо итальянский и немного испанский), или в санитарный отряд, или медицинской сестрой — я бы могла пройти какие-нибудь курсы.

И еще:

Если Вы не согласны с моими объяснениями, что со мной, могли бы, по крайней мере, объяснить по-своему, мне это важно, потому что у Вас лицо доброго кота, а не такая дурацкая физиономия, какую здесь принято строить. Доктор Грегори дал мне Вашу фотографию, Вы на ней не такой красивый, как в военной форме, но зато моложе».

«Mon capitaine!

Очень приятно было получить Вашу открытку. Я рада за Вас, что Вам так нравится проваливать медицинских сестер на экзаменах, — не беспокойтесь, я очень хорошо поняла все, что Вы пишете. Только мне-то, когда я Вас увидела, показалось, что Вы должны быть не такой, как все».

«Милый капитан Дайвер!

Сегодня я думаю по-одному, а завтра по-другому. В этом вся моя беда, и еще в том, что мне хочется делать всем назло, и я никогда не знаю меры. Я бы охотно посоветовалась с каким-нибудь специалистом по Вашей рекомендации. Здесь все лежат в ваннах и поют: „Играй, дитя, в своем саду“, но у меня нет своего сада, где я могла бы играть, и ничего хорошего я не вижу, куда ни посмотри. Вчера они опять взялись за свое, опять в кондитерской, и я чуть не ударила продавца гирей, только меня удержали.

Не буду больше писать Вам. У меня все в голове путается».

И целый месяц не было писем. А потом вдруг этот поворот.

«…Понемногу возвращаюсь к жизни…»

«…Смотрю на цветы, на облака…»

«…Война окончилась, а я, кажется, и не знала,

что была война».

«…Вы очень добрый! И должно быть, очень умный, хотя и похожи на белого кота, что, впрочем, незаметно на той фотографии, которую мне дал доктор Грегори…»

«…Сегодня была в Цюрихе, так странно опять ходить по городским улицам…»

«…Сегодня мы ездили в Берн, мне очень понравилось, что там на каждом углу часы…»

«…Сегодня мы забрались высоко в горы, нарвали асфоделей и эдельвейсов…»

Потом письма стали приходить реже, но он исправно на все отвечал. В одном она написала:

«Я бы хотела, чтобы кто-нибудь в меня влюбился, как влюблялись когда-то давно, до моей болезни. Но наверно, мне еще много лет нечего и мечтать о таких вещах».

Однако стоило Дику чуть задержаться с ответом, последовал взрыв тревоги, похожей на лихорадочную тревогу любви: «Я чувствую, что надоела Вам… Нельзя, наверно, быть такой навязчивой… Всю ночь мне не давала покоя мысль, что Вы больны».

Дик и в самом деле переболел инфлюэнцей, после чего долго ходил вялый, безразличный

ко всему, и переписку поддерживал только из вежливости. А потом далекий образ Николь заслонила вполне реальная фигура штабной телефонистки, прибывшей в Бар-сюр-Об из Висконсина. У нее были красные, как на рекламном плакате, губы, и в офицерской столовой она получила двусмысленную кличку Коммутатор.

Вернулся в кабинет Франц, явно довольный собой. Дик снова подумал, что он был бы превосходным клиницистом, — смена плавных и рассыпчато-дробных каденций в его наставлениях больным и персоналу шла не от порывов души, а от его безмерного, хоть и безобидного честолюбия. Свои истинные чувства он умел дисциплинировать и держать при себе.

— Поговорим об американке, Дик, — сказал он. — Я рад буду послушать ваши рассказы и сам кое-что рассказать о себе, но это потом, а сперва займемся американкой. Я этого случая давно жду.

Он порылся в одном из своих ящиков и вытащил толстую папку, но, полистав ее содержимое, передумал и, отложив ее в сторону, заговорил без всяких бумаг.

III

Года полтора назад доктор Домлер получил довольно туманное письмо от некоего мистера Девре Уоррена из чикагских Уорренов, американца, жившего в Лозанне. Последовал короткий обмен посланиями, в итоге которого мистер Уоррен в назначенный день прибыл в клинику со своей шестнадцатилетней дочерью по имени Николь. Вид у девушки был больной, и на время разговора мистера Уоррена с доктором сопровождавшая ее сестра милосердия увела ее в парк.

Уоррен оказался на редкость красивым господином лет сорока или даже меньше. Безупречный образец американской породы — высокий, широкоплечий, статный, «un homme très chic»,[71] как говорил потом доктор Домлер Францу. В больших серых глазах были красноватые прожилки от занятий греблей на Женевском озере в яркие солнечные дни, и вся повадка изобличала человека, знающего жизнь только с приятных ее сторон. Беседа велась по-немецки — гость, как оказалось, получил образование в Геттингене. Он явно нерв-

[71] notes: 71
Очень эффектный мужчина *(фр.)*.

ничал и не знал, как подступить к мучительному для него вопросу.

— Доктор Домлер, моя дочь не совсем здорова душевно. Я показывал ее десяткам врачей, приставил специальную сестру, пробовали лечение покоем, отдыхом, но ничего не помогает. Мне настойчиво рекомендовали обратиться к вам.

— Прекрасно, — сказал доктор Домлер. — Попрошу вас рассказать мне все по порядку, с самого начала.

— Не знаю, что считать началом, — насколько мне известно, ни в моем роду, ни в роду моей жены никогда не было душевнобольных. Николь одиннадцати лет осталась без матери, на попечении гувернанток, и я, можно сказать, был ей и за отца и за мать — и за отца и за мать.

Он с большим волнением произнес эти слова. В уголках его глаз навернулись слезы, и доктор Домлер только сейчас заметил, что от него чуть попахивает спиртным.

— Она была прелестным ребенком, все ее просто обожали, решительно все, кто ее знал. Такая умненькая, веселая, как птичка. Любила читать, рисовать, танцевать, играть на рояле. Помню, жена говорила, что из всех наших детей она одна никогда не плакала по ночам. У меня есть еще

старшая дочь и был сын, он умер маленьким, но Николь — она всегда была… всегда была…

Он запнулся, и доктор Домлер пришел на помощь:

— Всегда была вполне нормальным, здоровым, жизнерадостным ребенком.

— Да, да, вполне.

Доктор Домлер ждал. Мистер Уоррен покачал головой, испустил глубокий вздох, глянул искоса на доктора Домлера и снова уставился в пол.

— Месяцев восемь тому назад — а может быть, десять, а может быть, полгода, никак не припомню, где мы жили, когда это началось, — с ней стало твориться что-то странное, несуразное. Моя старшая дочь первая заметила и сказала мне — а я не замечал ничего, для меня она была все та же, — торопливо вставил он, как будто кто-то пытался возложить вину на него, — все та же милая, ласковая девочка. Пока не вышла эта история с лакеем.

— Ага! — сказал доктор Домлер, кивнув убеленной сединами головой, будто он, точно Шерлок Холмс, знал, что рано или поздно в рассказе должен появиться лакей, — именно лакей, а не еще кто-нибудь.

— Был у меня лакей, много лет прослужил в

доме — швейцарец, между прочим. — Он поднял глаза на доктора Домлера, как бы ожидая проявлений патриотического восторга. — И вот Николь вдруг вообразила, будто этот лакей преследует ее. Теперь я убежден, что ничего подобного не было, но тогда я поверил и тут же отказал ему от места.

— А в чем именно она его обвиняла?

— То-то и есть, что врачи не могли добиться от нее ничего определенного. Она только смотрела на них и молчала, как бы считая, что они сами должны знать. Но было совершенно ясно, что дело касается каких-то непристойных посягательств с его стороны, — тут не могло быть сомнений.

— Так. Дальше?

— Мне, конечно, приходилось читать о навязчивых идеях, которые иногда появляются у одиноких женщин, — будто под кроватью или за дверью прячется мужчина. Но откуда что-либо подобное у Николь? Поклонников у нее было хоть отбавляй. Мы тогда жили на своей вилле в Лейк-Форест — это дачное место под Чикаго. Она целыми днями играла с молодыми людьми в гольф и в теннис, многие из них были влюблены в нее по уши.

Уоррен говорил, а слушавший его сухонький

старичок то и дело мысленно возвращался в Чикаго. В молодости его звали переехать туда, предлагали доцентуру в Чикагском университете, и если бы он принял это предложение, то, возможно, был бы теперь богатым человеком, имел бы собственную клинику, вместо того чтобы довольствоваться жалким пакетом акций, как здесь. А он не решился: когда он представил себе эти степные просторы, эти бескрайние поля пшеницы, его знания показались ему слишком скудными для таких масштабов. Но он тогда много прочел о Чикаго, о феодальных династиях Арморов, Палмеров, Филдов, Крэйнов, Уорренов, Маккормиков, Свифтов; а впоследствии у него перебывало немало пациентов из Чикаго и Нью-Йорка, принадлежавших к этому кругу.

— Ей становилось все хуже, — рассказывал Уоррен. — Начались припадки, во время которых она бог знает что говорила. Старшая сестра иногда пробовала записывать ее слова — вот взгляните… — Он протянул Домлеру сложенный в несколько раз листок. — Больше всего про мужчин, которые ее будто бы преследуют, тут и знакомые, которые бывали в доме, и случайные прохожие на улице.

Он еще долго говорил обо всем, что им при-

шлось пережить, о том, как ужасно положение семьи, в которой стряслась такая беда, и как все попытки лечения в Америке ни к чему не привели, и как, наконец, в надежде на перемену обстановки, он не убоялся подводной блокады и повез дочь в Швейцарию.

— На американском крейсере, — чуть свысока уточнил он. — Благодаря счастливой случайности мне удалось это устроить. Замечу в скобках, — он улыбнулся, как бы оправдываясь, — что, как говорится, деньги не помеха.

— Без сомнения, — сухо согласился доктор Домлер.

Он старался понять, зачем этот человек ему лжет и в чем именно. А если не лжет, почему так веет фальшью от всего разговора, от элегантной фигуры в костюме спортивного покроя, с непринужденным изяществом расположившейся в кресле? Там, на аллеях парка, где сгущаются февральские сумерки, настоящая трагедия, пичужка с перебитыми крыльями, а здесь что-то не то — не то и не так.

— Я бы теперь хотел несколько минут поговорить с вашей дочерью, — сказал доктор Домлер, переходя на английский язык, словно это могло приблизить его к Уоррену.

Через несколько дней после того, как Уоррен, оставив дочь в клинике, уехал обратно в Лозанну, доктор Домлер и Франц записали в истории болезни Николь:

«Diagnostic: Schizophrénie. Phase aiguë en décroissance. La peur des hommes est un symptôme de la maladie et n'est point constitutionnelle… Le pronostic doit rester réservé».[72]

И они с возрастающим интересом стали ждать, когда мистер Уоррен приедет опять в клинику, как обещал.

Мистер Уоррен, однако, не торопился исполнить свое обещание. По прошествии двух недель доктор Домлер написал ему письмо. Не получив ответа, он решился на шаг, который по тем временам следовало считать une folie,[73] — заказал телефонный разговор с «Гранд-отелем» в Лозанне. Камердинер мистера Уоррена сообщил ему, что мистер Уоррен сегодня уезжает домой и занят сборами в дорогу. Но при мысли о сорока швейцарских франках за разговор, которые будут

---

[72] notes: 72

Диагноз: шизофрения. Стадия обострения, идущая на спад. Боязнь мужчин не конституциональна, а является симптомом заболевания… Прогноз пока неясен *(фр.)*.

[73] notes: 73

Сумасбродством *(фр.)*.

значиться в графе особых расходов клиники, в докторе взыграла кровь тюильрийских гвардейцев, и мистеру Уоррену пришлось подойти к телефону.

— Вы должны приехать — совершенно необходимо. Зависит здоровье вашей дочери. Я ни за что не ручаюсь.

— Позвольте, доктор, но для чего же я поместил ее к вам? Я не могу, меня срочно вызывают в Штаты.

Доктор Домлер не привык к беседам на таком расстоянии, тем не менее он сумел столь решительно продиктовать в трубку свой ультиматум, что устрашенный американец на другом конце провода не выдержал и уступил. Через полчаса после своего вторичного появления в клинике Уоррен сдался; его мощные плечи под свободно облегавшим их пиджаком затряслись от глухих рыданий, глаза стали красными, как закат на Женевском озере, и Домлер с Францем услышали чудовищное признание.

— Сам не знаю, как это случилось, — хрипло выговорил он. — Сам не знаю… Она была еще ребенком, когда умерла ее мать, и по утрам я брал ее к себе в постель, иногда она засыпала рядом со мной. Мне так жаль было бедную малышку.

Поздней мы стали путешествовать вместе. Сидя в машине или в купе поезда, я держал ее руку, а она мне напевала что-нибудь. Иногда мы говорили друг другу: «Давай сегодня ни на кого не смотреть, — пусть это утро будет только наше, — ты и я, больше нам никто не нужен». — Горькая насмешка в его голосе. — Люди умилялись до слез, глядя на нас: какая трогательная семейная привязанность. Мы были словно любовники — и однажды мы в самом деле стали любовниками… После того как это случилось, я готов был пустить себе пулю в лоб, но, видно, жалкие выродки, вроде меня, на это не способны.

— Что же потом? — спросил доктор Домлер, снова думая о Чикаго и вспоминая тихого, белесого господина в пенсне, так внимательно разглядывавшего его в Цюрихе тридцать лет назад. — Это продолжалось?

— О нет, нет! Она словно оледенела сразу. Только все твердила: «Ничего, папочка, ничего. Ты не огорчайся, не надо».

— Последствий не было?

— Нет. — Он судорожно всхлипнул и, достав платок, высморкался несколько раз. — Если не считать того, что теперь.

Выслушав рассказ до конца, доктор Домлер

откинулся на спинку глубокого кресла, традиционного для любой буржуазной гостиной, и мысленно рявкнул: «Деревенщина!» — едва ли не впервые за два десятка лет позволив себе столь ненаучное определение. Затем сказал:

— Я бы хотел, чтобы вы переночевали в Цюрихе, в гостинице, а утром снова ко мне явились.

— А дальше что?

Доктор Домлер растопырил руки настолько, что в них вполне уместился бы молочный поросенок.

— Чикаго, — сказал он не то вопросительно, не то утвердительно.

IV

— Теперь ясно было, с чем мы имеем дело, — продолжал Франц. — Домлер поставил Уоррену условием, что тот должен расстаться с дочерью на долгий срок, лет на пять, не меньше. Уоррен после своей капитуляции, кажется, больше всего беспокоился о том, как бы эта история не дошла до Америки. Мы разработали план лечения и стали ждать. Оснований для оптимизма не было: как вы знаете, процент излечений очень невелик в этом возрасте.

— Первые письма были неутешительны, — согласился Дик.

— Весьма неутешительны и при этом весьма типичны. Я даже колебался, отправлять ли самое первое письмо. Но потом решил: пусть Дик знает, что мы тут занимаемся делом. Вы проявили великодушие, отвечая на эти письма.

Дик вздохнул.

— У нее такое прелестное лицо — она мне прислала несколько любительских снимков. И потом, первое время мне совершенно нечего было делать в Бар-сюр-Об. Да и что я ей писал в конце концов — «будьте умницей и слушайтесь врачей».

— Этого оказалось достаточно. Важно было, что появился кто-то во внешнем мире, о ком она могла думать. Раньше ведь никого не было, кроме старшей сестры, с которой она, видно, не очень близка. Кроме того, нам ее письма давали очень ценный материал, по ним можно было контролировать ее состояние.

— Тем лучше.

— Вы понимаете, что тут произошло? В ней был силен комплекс соучастия, но это не так существенно, разве что для определения природной устойчивости психики и силы характера.

Сначала — это потрясение. Потом ее отправили в пансион, и там, под влиянием разговоров сверстниц, мысль о соучастии была вытеснена; а дальше уже недолго было соскользнуть в иллюзорный мир, где все мужчины стремятся причинить тебе зло, и чем больше их любишь и доверяешь им, тем они коварнее…

— Она когда-нибудь прямо говорила о… ну, о том, что с ней случилось?

— Нет, и по правде сказать, когда она как будто пришла в норму — это было в октябре, — мы оказались в затруднительном положении. Будь ей лет тридцать, можно было бы спокойно ждать, пока она сама окончательно выровняется, но, принимая во внимание ее молодость, мы опасались, как бы она не осталась навсегда внутренне покалеченной. И доктор Домлер сказал ей откровенно: «Теперь все зависит от вас самой. Вы ни в коем случае не должны считать, что жизнь для вас в чем-то кончена, напротив, она еще только начинается», и так далее и тому подобное. Умственные данные у нее превосходные: полагаясь на это, он ей даже дал почитать Фрейда — кое-что, не слишком много, — и она очень заинтересовалась. В общем, она у нас тут сделалась общей любимицей. Но это скрытная натура, — добавил

он и немного замялся, — хотелось бы знать, нет ли в ее последних письмах, тех, которые она отправляла сама из Цюриха, чего-нибудь, что говорило бы о ее настроениях, планах на будущее?

Дик задумался.

— И да и нет. Если хотите, я могу привезти эти письма. По-моему, в них чувствуется надежда и вполне нормальная жажда жизни, даже с уклоном в романтику. Иногда она употребляет выражение «мое прошлое», как его употребляют бывшие заключенные — так, что не поймешь, идет ли речь о совершенном преступлении, или о тюрьме, или обо всем вместе. Но в конце концов — кто для нее я? Манекен, соломенное чучело.

— Я прекрасно понимаю ваше положение и готов еще раз повторить, что мы вам очень признательны. Я потому и настаивал на этом разговоре до вашей встречи с ней.

Дик рассмеялся:

— Думаете, она как увидит меня, так сразу на меня кинется?

— Не в том дело. Я вас очень прошу, будьте с ней поосторожнее. Вы из тех, кто нравится женщинам, Дик.

— Тем хуже для меня! Но я не только буду осто-

рожен, я постараюсь внушить ей отвращение. Наемся чесноку перед встречей, приду небритым. Увидите, она от меня прятаться будет.

— Зачем же чеснок? — всерьез забеспокоился Франц. — Это может повредить вам не только в ее глазах. Впрочем, вы, наверно, шутите?

— Могу даже припадать на одну ногу. И кстати, там, где я квартирую, нет ванны.

— Ну, конечно, вы шутите. — Франц почувствовал облегчение, во всяком случае, он облегченно вздохнул и поудобнее уселся в кресле. — А теперь расскажите о себе, о своих намерениях.

— Намерение у меня одно, Франц: стать хорошим психиатром, и не просто хорошим, а лучшим из лучших.

Франц весело засмеялся, но он видел, что на этот раз Дик говорит серьезно.

— Очень мило — вполне по-американски, — сказал он. — У нас это все не так просто. — Он встал и подошел к балконной двери. — Когда я стою здесь, мне виден Цюрих. Вон колокольня Гросмюнстера, там похоронен мой родной дед. Чуть дальше, за мостом, могила моего предка Лафатера, который не хотел, чтобы его хоронили в церкви. Рядом статуя другого предка, Генриха Песталоцци, и памятник доктору Альфреду Эше-

ру. А на все это с высоты взирает Цвингли. Целый пантеон героев всегда перед глазами.

— Вы правы. — Дик поднялся с кресла. — Я просто расхвастался не в меру, а между тем вся работа еще впереди. Большинство американцев во Франции ждут не дождутся, когда можно будет уехать домой, но я — другое дело. Мое офицерское жалованье сохраняется за мной на весь год с одним лишь условием: чтобы я посещал лекции в университете. Не правда ли, широкий жест со стороны правительства! Сразу видно, что оно умеет ценить тех, кому предстоит прославить свою родину. В конце года я на месяц съезжу в Штаты, повидаться с отцом. А потом вернусь сюда — мне предложили место.

— Где?

— У ваших конкурентов — в клинике Гислера в Интерлакене.

— Не советую, — предостерег его Франц. — У них за год сменилось с десяток врачей. Гислер сам страдает маниакально-депрессивным психозом, и в клинике хозяйничает его жена со своим любовником — это, разумеется, между нами.

— А что же ваши американские планы? — небрежно спросил Дик. — Помните, вы собирались уехать в Нью-Йорк и в компании со мной

открыть там лечебницу для миллиардеров, оборудованную по последнему слову?

— Э, студенческие бредни.

Обедал Дик у Франца, в обществе его жены и маленькой собачонки, от которой пахло почему-то жженой резиной. Что-то навеяло на него смутную тоску — не дух бережливости, витавший над скромным коттеджем в дальнем углу парка, и не фрау Грегоровиус, такая, какой ее и можно было вообразить заранее, но внезапное сужение горизонтов Франца, как видно, ничуть его не огорчавшее. Дик принял бы аскетизм, но аскетизм иного плана — как средство к достижению цели, как источник света, помогающего продвигаться вперед; намеренно втискивать жизнь в костюм, доставшийся по наследству, казалось ему нелепым. Тесное пространство, в котором обращались Франц и его жена, уродовало их движения, обрекая на однообразие и скуку. Послевоенные месяцы во Франции, американский размах и щедрость при проведении ликвидационных операций повлияли на умонастроение Дика. К тому же он был избалован отношением людей, и мужчин и женщин, и, быть может, инстинктивная догадка, что это не полезно для целеустремленного человека, способствовала его

решению вернуться в самый центр швейцарского часового циферблата.

Он пленил Кэте Грегоровиус, заставив ее уверовать в собственные женские чары, а сам еле сдерживал накипавшее раздражение против этого пропахшего капустой дома, в то же время ненавидя себя за эти вдруг проявившиеся задатки необъяснимой суетности.

«Господи, неужели я такой же, как все, в конце концов? — думал он потом, просыпаясь среди ночи. — Неужели я такой, как все?»

Неподходящие чувства для социалиста, но вполне подходящие для тех, кто выбрал себе одну из самых удивительных профессий на свете. Суть же была в том, что в нем уже начался тот процесс разгораживания на клеточки цельного мира молодости, в ходе которого решается вопрос, стоит или не стоит умирать за то, чему больше не веришь. В тишине цюрихских бессонных ночей он смотрел пустым взглядом в чью-то кухню напротив, освещенную уличным фонарем, и ему хотелось быть добрым, быть чутким, быть отважным и умным, что не очень-то легко. И еще быть любимым, если это не послужит помехой.

V

На веранду главного корпуса лился из распахнутых дверей яркий свет, темно было только у простенков, увитых зеленью, и причудливые тени плетеных кресел стекали вниз, на клумбы с гладиолусами. Фигура мисс Уоррен сперва мелькала среди других, сновавших из комнаты в комнату, потом четко обрисовалась в дверях, как только она заметила Дика; свет упал на ее лицо, когда она переступала порог, и она понесла его с собой. Она шла, точно танцуя, музыка всю неделю звучала у нее в ушах, музыка лета, в которой есть и густая синь неба, и озорные потемки, а когда появился Дик, зазвучала так громко, что ей захотелось подпевать этой музыке.

— Здравствуйте, капитан, — сказала она, с трудом отводя свой взгляд, казалось, запутавшийся в его взгляде. — Хотите, посидим здесь. Сегодня тепло, как летом.

Какая-то женщина вышла следом за ней, толстуха, закутанная в шаль. Николь представила:

— Сеньора ***.

Франц оставил их, сославшись на дела, и Дик пододвинул три кресла.

— Чудесный вечер, — сказала сеньора.

— Прекрасный, — подтвердила Николь и повернулась к Дику: — Вы надолго сюда?

— В Цюрих, вы хотите сказать? Надолго.

— Первый по-настоящему весенний вечер, — заметила сеньора.

— До какого же времени?

— По крайней мере, до июля.

— А я в июне уезжаю.

— Июнь — чудесный месяц в здешних краях, — отозвалась сеньора. — Лучше побудьте июнь здесь и уезжайте в июле, когда станет по-настоящему жарко.

— А куда вы поедете? — спросил Дик у Николь.

— Куда повезет Бэби, моя сестра. Мне бы хотелось, чтобы это было такое место, где интересно и весело, ведь у меня столько времени пропало. Но может быть, решат, что мне лучше для начала пожить в каком-нибудь тихом уголке, на Комо, например. Почему бы и вам не приехать на Комо?

— Ах, Комо… — начала сеньора.

В доме заиграли вступление к «Легкой кавалерии» Зуппе. Николь при первых звуках встала; Дик посмотрел на нее, и оттого, что она была так молода и красива, волнение охватило его

и в горле точно свернулся тугой клубок. Она улыбнулась трогательной детской улыбкой, вся заблудившаяся юность мира была в этой улыбке.

— Под такую громкую музыку трудно разговаривать — давайте пройдемся по парку. Buenas noches, сеньора.

— Доброй ночи, доброй ночи.

Они сошли на дорожку, которая через несколько шагов нырнула в тень. Николь взяла Дика под руку.

— У меня есть хорошие пластинки, сестра прислала из Америки, — сказала она. — Когда вы следующий раз сюда приедете, я вам поставлю. Я знаю одно укромное местечко, куда можно принести патефон и никто не услышит.

— С удовольствием послушаю.

— Вы знаете «Индостан»? — тревожно спросила она. — Мне нравится, я его раньше не знала. А еще у меня есть «Мы давно уже не дети» и «Я рад, что ты плачешь из-за меня». Вы, наверно, не раз танцевали под все эти пластинки в Париже.

— Я в Париже не был.

Ему все время хотелось смотреть на ее кремовое платье, казавшееся то голубым, то серым на разных поворотах дорожки, на ее удивительно светлые волосы — когда бы он ни взглянул, она

чуть-чуть улыбалась, а попадая в круг света от фонаря, ее лицо сияло, как ангельские лики. Она словно благодарила его за приятно проведенный вечер, и Дик все меньше и меньше понимал свое отношение к ней, а она становилась все увереннее — радость, переполнявшая ее, как будто вобрала в себя всю радость, какая только есть на свете.

— Я теперь могу делать все, что хочу, — сказала она. — Есть еще две пластинки, которые вы непременно должны послушать: «Когда стада вернутся с гор» и «Прощай, Александр!».

В следующий свой приезд, ровно через неделю, он немного запоздал, и Николь уже ждала его на полдороге от домика Франца к главному корпусу. Волосы у нее были откинуты со лба и свободными волнами падали на плечи, от этого казалось, будто ее лицо только сию минуту открылось или будто она вышла из леса на поляну, освещенную луной. Тайна отступила от нее; Дику захотелось, чтобы за ней не стояло прошлое, чтобы она была девушкой ниоткуда, просто вдруг возникшей из тьмы. Она повела его туда, где был припрятан патефон; они обогнули сарай, служивший мастерской, перелезли невысокую ограду и, наконец, взобрались на скалу, от которой на много

миль кругом разбегались темные холмы.

Они теперь были в Америке — даже Франц, упорно видевший в Дике неотразимого Лотарио, не догадался бы, как они далеко. Они были там, где небо ясно, где огни любви горят так властно; они на свиданье спешили в авто; они ловили любимой улыбку и вспоминали о встречах где-то на Индостане; потом, как видно, поссорились, потому что им стало все равно, все равно, ведь любовь умерла давно — а в конце концов кто-то из них уехал, оставив другого в тоске и печали думать о днях, что навек миновали.

Ниточки мелодий, связывавших то, что уже ушло, с тем, что еще могло сбыться, закручивались в темноте вечера. Паузы заполнял звон цикад. Потом Николь остановила патефон и принялась напевать сама:

Поставь ребром монетку
На желтенький песок.
Увидишь, как покатится
Серебряный кружок.

Казалось, она совсем не дышит, только ее губы шевелятся, выговаривая слова песни.

Дик вдруг порывисто встал.

— Что с вами? Не нравится песенка?

— Нет, почему — нравится.

— Это меня наша кухарка выучила.

Я любила — не ценила,

Потеряла — поняла.

Вам правда нравится?

Она улыбалась, стараясь как можно больше вложить в эту предназначенную ему улыбку. Она всю себя бескорыстно предлагала за такую малость, за минутный отклик, за то, чтобы почувствовать биение его сердца в лад своему. Из ветвей ивы, из темноты, сгустившейся вокруг, вливался в нее капля за каплей сладостный покой.

Она тоже встала и, споткнувшись о патефон, на мгновение припала к Дику, уткнулась головой в изгиб его шеи у плеча.

— Еще есть одна пластинка, — сказала она. — Вы знаете «До свидания, Летти»? Наверно, знаете.

— Господи, да поймите же вы — ничего я такого не знаю.

И не знал никогда, мог бы он добавить; не слыхал, не нюхал, не пробовал на вкус; ничего такого не было в его жизни; только горячее женское дыхание в горячей тесноте укромных уголков.

В Нью-Хейвене 1914 года девушки целовали мужчин, упираясь им в грудь кулаком, чтобы оттолкнуть сейчас же после поцелуя. И вот теперь эта едва спасшаяся жертва крушения раскрывает перед ним целый неведомый мир…

VI

Когда они встретились опять, уже наступил май. Завтрак в Цюрихе был школой предосторожности; логика его жизни не оставляла в этой жизни места для Николь, однако когда какой-то мужчина за соседним столиком уставился на нее пристальным взглядом, настораживающим, как береговой огонь, не отмеченный в лоции, Дик повернулся к нему с такой явной, хотя и вежливой угрозой, что тот поспешил отвести глаза.

— Какой-то зевака, — небрежно пояснил он Николь. — Это он ваше платье с таким любопытством разглядывал. Зачем у вас столько всяких платьев?

— Сестра говорит, мы очень богаты, — виновато сказала она. — Нам много денег оставила бабушка.

— Так и быть, прощаю вам это.

Между ними была достаточная разница в годах,

чтобы его могло забавлять невинное тщеславие Николь, уверенность, с которой она, выходя, посмотрелась в большое зеркало в вестибюле ресторана, не боясь той правды, которую ей могла сказать неподкупная амальгама. Ему нравилось наблюдать, как она захватывает все больше октав на клавиатуре, постепенно привыкая сознавать себя красивой и богатой. Он добросовестно старался отвлечь ее от мысли, что это он починил ее, склеив заново разбитые куски; ему хотелось, чтобы она утверждалась в радости бытия самостоятельно, не оглядываясь на него; но это было трудно, потому что рано или поздно она приносила к его ногам все, что получала от жизни, как охапки цветов на алтарь, как фимиам для воскурений.

К началу лета Дик уже прочно обосновался в Цюрихе. Он собрал свои ранние статьи, присоединил к ним материалы, накопленные за время военной службы, и на основе всего этого заканчивал теперь свою «Психологию для психиатров». Издатель как будто нашелся; кроме того, он подрядил одного неимущего студента исправить в тексте все погрешности по части немецкого языка. Франц считал это предприятие чересчур поспешным, а потому рискованным, но

Дик ссылался на скромность избранной темы.

— Я никогда не буду так владеть материалом, как владею сейчас, — настаивал он. — А я убежден: эти вещи только потому не стали основой основ, что не получили теоретического обобщения. Наша профессия, на беду, почему-то привлекает к себе людей немного ущербных, надломленных. Вот они и восполняют собственные изъяны, делая упор на клинику, на «практическую работу», — это им позволяет побеждать без борьбы. Вы, Франц, другое дело, вы были предназначены для своей профессии еще до того, как родились на свет. И скажите спасибо — я, например, сделался психиатром только потому, что некая девица в колледже Святой Гильды в Оксфорде посещала лекции по психиатрии. А теперь, может быть, это звучит банально, но я не хочу, чтобы те идеи, которые у меня есть, были смыты десятком-другим кружек пива.

— Как знаете, — отвечал Франц. — Вы американец. Вы можете это сделать без вреда для себя, как для врача. Мне лично все эти обобщения не по душе. Сначала книга, а там, глядишь, начнете писать брошюрки под названием «Размышления для непосвященных», где все уже настолько будет упрощено, что, прочитав их, никому наверняка

думать не захочется. Будь жив мой отец, он бы вас не похвалил, Дик. Я словно вижу, как он, посмотрев на вас, берет в руки салфетку, складывает ее вот так, долго вертит в руках кольцо, вот это самое, — Франц показал деревянное, темное от времени кольцо для салфетки с вырезанной на нем кабаньей головой, — и начинает сердито: «У меня такое впечатление...», но тут же спохватывается — а что, мол, толку — и, не договорив, только ворчит себе под нос до конца обеда.

— Сегодня я один, — запальчиво сказал Дик. — Но завтра, может быть, найдутся и другие. А потом уже придет моя очередь складывать салфетку, как ваш отец, и ворчать себе под нос.

Франц помолчал немного, потом спросил:

— Как чувствует себя наша пациентка?

— Не знаю.

— Кому ж теперь и знать, как не вам?

— Она мне нравится. Она красивая. Что из этого следует, по-вашему, — что я должен уединиться с ней в горах среди эдельвейсов?

— Нет, но мне казалось, при вашей склонности к научным трактатам, у вас могли бы возникнуть какие-то идеи.

— ...посвятить ей свою жизнь?

Франц крикнул жене в открытую дверь на

кухню: «Du lieber Gott! Bitte, bringe Dick noch ein Glas Bier».[74]

— Не стоит мне больше пить перед разговором с Домлером.

— Мы считаем, что прежде всего нужно выработать программу. Прошло больше месяца, — судя по всему, девушка влюблена в вас. В обычной обстановке нам бы до этого не было дела, но здесь, в клинике, это и нас касается.

— Я поступлю так, как скажет доктор Домлер, — пообещал Дик.

Но ему не очень-то верилось, что Домлер сумеет разобраться в создавшейся ситуации, где неучтенной величиной был он сам. Без его сознательной на то воли вышло так, что от него теперь зависело, как все сложится дальше. Ему вспомнился эпизод из детства, когда он спрятал ключ от ящика с серебром под стопкой носовых платков у матери в шифоньере; все в доме сбились с ног, разыскивая этот ключ, а он наблюдал за суетой со спокойной отрешенностью философа. Нечто подобное он испытывал теперь, входя вместе с Францем в кабинет профессора Домлера.

Лицо профессора в рамке прямых бакенбард

---

[74] notes: 74

Ах ты господи! Принеси, пожалуйста, Дику еще стакан пива *(нем.)*.

было прекрасно, как увитая виноградом веранда старинного дома. Ясность этого лица обезоружила Дика. Ему случалось встречать людей более одаренных, чем Домлер, но он не знал никого, кто выглядел бы внушительнее.

…Он снова подумал это полгода спустя, когда увидел Домлера в гробу: веранда опустела, виноградные бакенбарды лежали на жестком крахмальном воротничке, отсветы былых схваток в узких щелочках глаз навсегда угасли под опущенными тонкими веками…

— Добрый день, сэр. — Он инстинктивно вытянулся по-военному.

Профессор Домлер переплел свои спокойные пальцы. Франц заговорил с обстоятельностью адъютанта или секретаря, докладывающего начальству, но начальство очень скоро прервало его на середине фразы.

— Нам удалось достигнуть некоторых результатов. — Голос звучал мягко. — Но теперь, доктор Дайвер, нам необходима ваша помощь.

Дик, пойманный врасплох, признался:

— Мне самому пока не все ясно.

— Меня не касаются ваши личные выводы, — сказал Домлер. — Но меня весьма близко касается другое: этому «переключению», — он метнул

иронический взгляд в сторону Франца, который ответил ему таким же взглядом, — должен быть положен конец. Мисс Николь сейчас в хорошем состоянии, но не настолько, чтобы справиться с тем, что может быть воспринято ею как трагедия.

Франц хотел было заговорить, но Домлер предостерегающе поднял руку:

— Я понимаю, положение у вас трудное.

— Да, нелегкое.

Профессор вдруг откинулся назад и захохотал, а отхохотавшись, спросил, поблескивая серыми глазками:

— Может быть, вы и сами не остались равнодушны?

Дик, понимая, что ему не уйти от ответа, тоже засмеялся:

— Она очень красивая девушка — на это трудно вовсе не реагировать. Но я не собираюсь…

Франц снова сделал попытку заговорить, но Домлер предупредил его, напрямик выложив Дику то, что было у него на уме:

— Не думаете ли вы, что вам лучше уехать?

— Уехать я не могу.

Доктор Домлер повернулся к Францу:

— Тогда нам придется устроить так, чтобы уеха-

ла мисс Уоррен.

— Делайте, как найдете нужным, профессор Домлер, — сказал Дик. — Задача, конечно, сложная.

Профессор Домлер встал — с натугой, точно калека, взгромождающийся на костыли.

— Но решать эту задачу должен врач! — негромко выкрикнул он.

Со вздохом он снова опустил себя в кресло, дожидаясь, когда затихнет наполнивший комнату раскат грома. Дик видел, что Домлер накален до предела, и не знал, удастся ли ему самому сохранить спокойствие. Когда гром отгремел, Франц наконец вставил свое слово.

— Доктор Дайвер человек тонкий и понимающий, — сказал он. — Нужно только, чтобы он правильно оценил создавшееся положение, а тогда уж он найдет выход. Я лично убежден, что Дик сумеет быть нам полезен здесь, на месте, и никому не придется уезжать.

— А вы как считаете? — спросил профессор Домлер Дика.

Дик чувствовал себя все более и более неловко; в напряженной паузе, последовавшей за вспышкой Домлера, ему сделалось ясно, что состояние неопределенности не может тянуться без конца;

и он вдруг решился.

— Я, кажется, почти влюблен в нее. Мне уже не раз приходила мысль: может быть, жениться?

— Что? Что? — закричал Франц.

— Подождите, — остановил его Домлер.

Но Франц не захотел ждать:

— Жениться! И полжизни отдать на то, чтоб быть при ней врачом, и сиделкой, и не знаю чем еще — ну, нет! Я достаточно наблюдал таких больных. На двадцать случаев выздоровления — один без рецидивов. Уж лучше забудьте о ней навсегда.

— Что вы на это скажете? — спросил Домлер Дика.

— Скажу, что Франц прав.

VII

Уже смеркалось, когда они завершили дискуссию относительно дальнейшего поведения Дика, сойдясь на том, что он должен оставаться внимательным и любезным, в то же время мало-помалу устраняясь. Наконец собеседники встали, и Дик невольно глянул в окно, за которым сеялся мелкий дождь, — где-то там, под дождем, нетерпеливо ждала Николь. Он вышел,

на ходу застегивая доверху макинтош, поглубже надвигая шляпу, и сразу же, у парадного входа, натолкнулся на нее.

— Я придумала, где нам посидеть сегодня, — сказала она. — Знаете, пока я была больна, мне не мешало, если приходилось проводить вечер в доме, вместе с другими — все равно я не слышала, о чем они говорят. А теперь я все время помню, что вокруг меня больные люди, и это… это…

— Скоро вы уедете отсюда.

— Да, теперь уже скоро. Моя сестра Бетт — дома ее зовут Бэби — приедет за мной недели через две. Мы с ней поживем где-нибудь вдвоем, а потом я вернусь и пробуду здесь еще месяц — последний.

— Сестра старше вас?

— О, намного. Ей двадцать четыре года. Она у нас совсем англичанка, живет в Лондоне у тети, сестры отца. У нее был жених англичанин, но он погиб на войне, я его ни разу не видела.

В ее лице, матово-золотистом на фоне размытого дождем заката, проступило что-то новое для Дика: высокие скулы, прозрачность кожи, но не болезненная, а создающая ощущение прохлады, позволяли угадывать, каким это лицо станет потом, — так, глядя на породистого жеребенка, представляешь его себе взрослым и знаешь, что

это будет не просто проекция молодости на серый экран жизни, а подлинный расцвет. Было ясно, что это лицо будет красиво и в зрелые годы, и в старости; об этом говорило его строение, экономное изящество черт.

— Что это вы меня так разглядываете?

— Просто думаю, что вы, наверно, будете очень счастливы.

Николь испугалась:

— А вдруг нет? Впрочем — хуже, чем было, уже быть не может.

Они укрылись под навесом для дров; она сидела, скрестив ноги в туфлях для гольфа, закутавшись в непромокаемый плащ, чуть порозовевшая от сырого, холодного воздуха. Встретив его взгляд, она, в свою очередь, внимательно оглядела всю его фигуру, которая даже в этой позе — он стоял, прислонясь к столбу, — не утратила горделивой осанки, посмотрела в его лицо, где улыбка или лукавая мина словно не смели задержаться надолго и тотчас же уступали место привычному выражению сосредоточенности. Наверно, было в нем что-то такое, что гармонировало с ирландским кирпичным оттенком его кожи, но с этой стороны, со стороны его мужественности, она знала его меньше всего — и боялась узнать, хоть

ей и очень хотелось докопаться тут до глубины; другой Дик, выдержанный, учтивый, с ласковым, участливым взглядом, был доступен без труда, и этим Диком она завладела, не раздумывая, как и большинство женщин.

— Во всяком случае, у меня здесь была хорошая языковая практика, — сказала Николь. — С двумя из врачей я разговаривала по-французски, с сестрами по-немецки, с одной больной и кое с кем из уборщиц объяснялась по-итальянски, а другая больная помогла мне пополнить мой запас испанских слов.

— Это очень удачно.

Он пытался найти логически осмысленный тон разговора с ней, но ничего не получалось.

— …И музыка тоже. Вы, надеюсь, не вообразили, что меня интересуют только рэгтаймы. Я регулярно занимаюсь каждый день, а в последние месяцы даже прослушала в Цюрихе курс истории музыки. Вероятно, бывали дни, когда только это меня и держало — музыка и рисование. — Она нагнулась, чтобы оторвать отставший кусочек подошвы, и посмотрела на него снизу вверх. — Мне бы хотелось нарисовать вас вот так, как вы сейчас стоите.

Больно было слушать этот перечень ее совер-

шенств, рассчитанный на его одобрение.

— Завидую вам. Я теперь, кажется, ничем не способен интересоваться, кроме своей работы.

— Так это даже очень хорошо для мужчины, — поспешно отозвалась она. — Женщина — другое дело, она должна развивать всякие свои способности к искусству, потому что это потом пригодится ей в воспитании детей.

— Вероятно, вы правы, — сказал Дик намеренно небрежно.

Николь молчала. Дик предпочел бы, чтобы она продолжала разговор, тогда он мог бы играть нехитрую роль стенки, от которой все отскакивает, но она молчала.

— Вы теперь вполне здоровы, — сказал он. — Забудьте о прошлом; не нужно только перенапрягать свои силы ближайший год. Возвращайтесь в Америку, начните выезжать в свет, влюбитесь и будьте счастливы.

— Влюбиться я не смогу. — Носком попорченной туфли она сковырнула комок грязи с чурбака, на котором сидела.

— Отлично сможете, — возразил Дик. — Не теперь, так через год или два. — И беспощадно добавил: — Выйдете замуж, и будет у вас нормальная семья с целым выводком прелестных

детишек. То, что вам, в вашем возрасте, удалось полностью восстановить свою психику — факт, достаточно показательный сам по себе. Поверьте, милая девушка, вы бодро будете шагать вперед, когда все ваши друзья уже свалятся от усталости.

...Она покорно испила чашу до дна, выслушала суровый урок, только в глазах у нее появилось жалобное выражение.

— Я знаю, что мне долго еще нельзя будет выйти замуж, — тихо сказала она.

Дик, расстроенный, не сразу нашелся, что ответить. Он отвел взгляд в сторону зеленеющего поля, силясь вновь обрести поколебленную твердость.

— Все у вас будет хорошо — здесь все в вас верят. Знаете, доктор Грегори так вами гордится, что...

— Ненавижу доктора Грегори.

— Вот это вы напрасно.

Мир Николь развалился, но это был хрупкий, неустоявшийся мир, и под обломками еще жило все, что ее волновало. Неужели только час назад она дожидалась его у входа в дом и надежда украшала ее, как цветок, приколотый к поясу?

...Платье, шелести для него, пуговицы, сидите крепче, нарциссы, цветите, воздух, будь прозрачным и вкусным...

— Да, приятно будет снова жить в свое удовольствие, — мямлила она.

На миг ей пришла в голову отчаянная мысль: сказать ему, как она богата, в каких великолепных домах всегда жила, объяснить, что она — капитал, и немалый; на миг в нее вселился покойный дед, барышник Сид Уоррен. Но она поборола искушение смешать все ценности в кучу и вновь разложила их по ящикам в строгом викторианском порядке, хотя знала, что ей теперь ничего не осталось — только боль и пустота.

— Дождь уже почти перестал. Мне пора возвращаться.

Дик шагал рядом, чувствуя, как тоскливо у нее на душе, и ему хотелось выпить капли дождя, стекавшие по ее щекам.

— Я получила новые пластинки, — сказала она. — Хочется поскорее проиграть их. Вы когда-нибудь слышали…

Сегодня же вечером кончу все, думал Дик. Он готов был избить Франца, втравившего его в эту подлую историю. Ему пришлось долго дожидаться в холле. Показалась какая-то фигура в берете, похожем на берет Николь, но на нем не блестели дождевые капли, и прикрывал он череп, в котором недавно хозяйничал нож хирурга. Из-под

берета глянули живые глаза, увидели Дика и придвинулись ближе.

— Bonjour, Docteur.

— Bonjour, Monsieur.

— Il fait beau temps.

— Oui, merveilleux.

— Vous êtes ici, maintenant?

— Non, pour la journée seulement.

— Ah, bon. Alors — au revoir, Monsieur.[75]

Радуясь, что сумел успешно справиться с разговором, бедняга в берете поплелся дальше. Дик все ждал. Вдруг он увидел спускавшуюся с лестницы сиделку.

— Мисс Уоррен просит извинить ее, доктор. Она будет ужинать у себя, наверху. Она хочет лечь пораньше.

Девушка вопросительно смотрела на Дика, точно ожидая, что он усмотрит в таком поведении мисс Уоррен тревожный симптом.

— Ах, вот как. Ну что ж... — Он с усилием

---

[75] notes: 75

— Здравствуйте, доктор.
— Здравствуйте, месье.
— Хорошая погода.
— Да, прекрасная.
— Вы теперь здесь?
— Нет, просто приехал на один день.
— Вот как. Ну — до свиданья, месье *(фр.)*.

перевел дыхание, проглотил подступившую слюну. — Пусть отдыхает. Спасибо.

Он был удивлен и немного разочарован. Но по крайней мере, теперь его ничто не связывало.

Запиской предупредив Франца, что не останется к ужину, он пошел пешком к станции загородного трамвая. Когда впереди заблестели рельсы и предвечернее солнце заиграло в стеклах билетных автоматов, у него вдруг возникло ощущение, что все это, и клиника и станция, колеблется под действием то центростремительной, то центробежной силы. Ему стало страшно. Он обрадовался, почувствовав наконец под ногами прочный булыжник цюрихской мостовой.

Он ожидал назавтра какой-нибудь весточки от Николь, но так и не дождался. Встревоженный, он позвонил Францу в клинику и спросил, здорова ли она.

— Она выходила и к первому завтраку и ко второму, — ответил Франц. — Казалась только немного задумчивой и рассеянной. А как все сошло вчера?

Дик сделал попытку обойти пропасть, разверзавшуюся у него под ногами.

— Да, в общем, ничего не было — ничего определенного, во всяком случае. Я держался довольно

холодно, но не произошло ничего, что могло бы повлиять на ее отношение ко мне — если оно такое, как вам кажется.

Может быть, его самолюбие было задето тем, что не потребовалось наносить coup de grâce.

— Из разговора, который у нее был с сиделкой, я склонен сделать вывод, что она все-таки поняла.

— Тем лучше.

— Да, это, вероятно, самый безболезненный выход. Я не заметил, чтобы она была как-то особенно возбуждена — вот только немного задумчива.

— Что ж, тем лучше.

— Вы ко мне приезжайте, Дик. И не откладывайте надолго.

VIII

Для Дика потянулись дни тягостного недовольства собой и всем на свете. Патологическая завязка и насильственный конец всей этой истории оставили неприятный, металлический привкус. С Николь обошлись подло, злоупотребили ее чувствами — а что, если и в нем живут те же чувства? Каждую ночь ему снилось, как она идет по аллее парка, покачивая висящей на руке широкополой соломенной шляпой; нет,

надо хоть на время вырваться из размягчающего плена этих снов…

Один раз он увидел ее и наяву: великолепный «роллс-ройс» подкатил к выгнутому полумесяцем подъезду «Палас-отеля» в ту минуту, когда он проходил мимо. Совсем маленькая в гигантской махине автомобиля, взбодренная избыточной силой ста лошадей, сидела Николь рядом с элегантной молодой женщиной, очевидно, ее сестрой. Николь его заметила, и у нее испуганно дрогнули губы. Дик сдвинул на лоб шляпу и прошел, не останавливаясь, но на мгновение все бесы Гросмюнстера с визгом заплясали вокруг него. Дома он попытался уйти от наваждения, углубясь в пространный анализ течения ее болезни, с оценкой вероятности рецидива, как реакции на неизбежные воздействия жизненных перипетий — получилась солидная статья, убедительная для каждого, кроме того, кто ее написал.

Ему все эти старания дали только одно: он лишний раз удостоверился, насколько глубоко затронуты его чувства, а удостоверившись, стал энергично искать противоядий. Одно такое противоядие подвернулось в лице телефонистки из Бар-сюр-Об, разъезжавшей теперь от Ниццы до Кобленца в отчаянных попытках вернуть хоть

часть поклонников, толпившихся вокруг нее в ту развеселую пору ее жизни. Другим послужили хлопоты о билете на американское транспортное судно, в августе отправлявшееся специальным рейсом в Соединенные Штаты. Третье он нашел в напряженной работе над корректурой книги, которая осенью должна была поступить на суд всего психиатрического мира, читающего по-немецки.

Но для Дика эта книга была пройденным этапом; ему уже хотелось засучив рукава готовить почву для новой работы, и он мечтал об обменной ординатуре в хорошей клинике, где можно собрать достаточно материала.

А пока что он задумал написать еще одну книгу: «Опыт последовательной систематической классификации неврозов и психозов, основанный на изучении тысячи пятисот случаев из психиатрической практики как до, так и после Крепелина, диагностированных в терминологии различных современных школ», — и в придачу не менее звучный подзаголовок: «С хронологическим обзором полемики по данному вопросу».

Здорово это будет выглядеть по-немецки.

Дик не спеша крутил педали велосипеда по дороге в Монтре, урывками поглядывая на Югенхорн и щурясь, когда в просветах зелени,

окружавшей прибрежные отели, сверкала гладь озера. Навстречу попадались группы англичан, впервые появившихся здесь после четырехлетнего перерыва: они посматривали по сторонам с настороженностью персонажей детективного романа, точно были уверены, что в этой сомнительной стране можно ежеминутно ожидать нападения бандитов немецкой выучки. По всему пути прокатившейся здесь когда-то лавины с возрожденной энергией хлопотали люди — расчищали завалы, ровняли площадки под строительство. В Берне и в Лозанне Дика не раз озабоченно спрашивали, можно ли в нынешнем году ожидать приезда американцев: «Ну, не в июне, так, может быть, в августе?»

На нем были короткие кожаные штаны, армейская рубашка, горные ботинки. В рюкзаке лежала смена белья и костюм из легкой бумажной ткани. На станции глионского фуникулера он сдал велосипед в багаж и пошел выпить кружку пива в станционном буфете, с террасы которого было видно, как по восьмидесятиградусному склону медленно ползет маленький темный жучок. Одно ухо у Дика полно было запекшейся крови — память о Ла-Тур-де-Пельц, где он вдруг помчался во весь опор, вообразив себя непризнанным чемпи-

оном. Он попросил в буфете спирту и промыл ухо снаружи, пока вагончик фуникулера вползал под станционные своды. Убедившись, что велосипед погрузили, он закинул свой рюкзак в нижнее отделение вагона и сам влез следом.

Вагоны горной дороги имеют наклонную форму, угол скоса у них примерно такой, как у полей шляпы, опущенных, чтобы нельзя было узнать ее обладателя. Слушая, как шумит вода, выливающаяся из камеры под вагоном, Дик не мог не подивиться остроумной простоте всего устройства: в это же самое время камера второго вагона, стоящего наверху, наполняется водой, и как только будут отпущены тормоза, тот вагон под действием силы тяжести заскользит вниз, перетягивая другой, теперь более легкий. Поистине гениальная выдумка. Двое англичан, сидевших напротив Дика, обсуждали качество троса.

— Трос английского производства служит пять-шесть лет. В позапрошлом году заказ у нас перебили немцы, — так знаете, сколько времени выдержал их трос?

— Ну, сколько?

— Год и десять месяцев. А потом швейцарцы продали его итальянцам. Контроль при приемке недостаточно строгий, в этом все дело.

— Да, если бы трос не выдержал, Швейцарии плохо бы пришлось.

Захлопнулась дверь, кондуктор по телефону дал сигнал своему коллеге, и вагон, дернувшись, поехал вверх, к крохотному пятнышку, черневшему на изумрудной вершине. Скоро крыши Монтре остались внизу и перед пассажирами стала развертываться круговая панорама Во, Валэ, Швейцарской Савойи и Женевы. Здесь, в центре озера, пронизанного студеным течением Роны, находился самый центр западного мира. По озеру, затерянные в бесплотности этой холодной красоты, плыли лодки, похожие на лебедей, и лебеди, похожие на лодки. День был солнечный, ярко зеленела трава на берегу, ярко белели теннисные корты курзала. Фигуры на кортах не отбрасывали тени.

Когда показался Шильон и остров с Саланьонским замком, Дик стал смотреть прямо вниз. Вагон теперь полз по склону выше городских домов; заросли кустарника тянулись с обеих сторон, местами расступаясь, чтоб дать простор веселой мешанине красок на клумбах. Это был сад, принадлежавший управлению фуникулера, и в вагоне висела табличка с надписью: «Défense

de cueillir les fleurs».[76]

Но цветы, которые запрещалось рвать, сами лезли внутрь, розы на длинных стеблях кропотливо перебирали одно за другим все отделения вагона и, нехотя выпустив его в конце концов, становились снова в свой разноцветный строй. А на смену им уже просовывались другие.

В соседнем отделении, расположенном выше, компания англичан, стоя, шумно восхищалась пейзажем; вдруг там поднялась кутерьма — какая-то молодая парочка с извинениями проталкивалась в самое нижнее отделение, то, где сидел Дик. Юноша был итальянец с глазами, как у оленьего чучела; девушка была Николь.

Еще не отдышавшись после усилий, затраченных на то, чтобы добраться до цели, они с веселым смехом уселись напротив Дика, оттеснив в стороны сидевших там англичан, и Николь сказала: «Хелло!» Что-то в ней переменилось, отчего она еще похорошела; Дик не сразу понял, что все дело в прическе, — ее легкие волосы были подстрижены и взбиты локонами. На ней был сизо-голубой свитер и белая теннисная юбка — она была точно первое майское утро, клиника не оставила на ней

---

[76] notes: 76
«Запрещается рвать цветы» *(фр.).*

никакого следа.

— Уфф! — выдохнула она. — Ну, теперь берегитесь. Нас арестуют, как только фуникулер остановится. Доктор Дайвер — граф де Мармора.

Все еще тяжело дыша, она потрогала свою новую прическу.

— Понимаете, сестра взяла билеты первого класса — она не признает иначе. — Она переглянулась с Мармора и воскликнула: — А оказалось, что первый класс — это сразу за кабиной вожатого, по сторонам занавески, на случай если вдруг пойдет дождь, и ничего не видно. Точно на катафалке едешь. Но сестра очень заботится о престиже… — Снова Николь и Мармора засмеялись разом, точно двое школьников, понимающих друг друга с полуслова.

— Куда вы едете? — спросил Дик.

— В Ко. Вы тоже? — Николь оглядела его костюм. — Это ваш велосипед там, впереди?

— Да. Думаю в понедельник спуститься свободным ходом.

— А меня возьмете на раму — хорошо? Нет, правда — возьмете? Мне просто до смерти хочется.

— Зачем же, лучше я снесу вас вниз на руках, — энергично вмешался Мармора. — Или мы вместе

съедем на роликах, или я вас столкну, и вы полетите вниз, легко, как пушинка.

По лицу Николь видно было, до чего ей это нравится, — вновь быть пушинкой, а не свинцовой гирей, парить, а не устало волочить ноги. Она вела себя как на карнавале, — гримасничала, дурачилась, а то вдруг прикидывалась скромницей, смиренно поджимала губы и опускала глаза; но порой веселье сгоняла набежавшая тень — величаво-скорбная тень перенесенных страданий.

И Дик с тревогой думал о том, что это он своим присутствием воскресил перед ней тот мир, из которого ей посчастливилось вырваться. Он тут же решил, что остановится в другом отеле.

Фуникулер неожиданно стал, и пассажирам, впервые совершавшим этот подъем, показалось, будто они повисли на полпути из поднебесья в поднебесье. Но остановка понадобилась только для того, чтобы кондуктор вагона, идущего вверх, и кондуктор вагона, идущего вниз, могли обменяться какими-то таинственными сообщениями. Минута — и снова ввысь, ввысь, ввысь, над лесной тропкой, над узким ущельем, и дальше по склону, сплошь поросшему эдельвейсами. Теннисисты на кортах в Монтре казались теперь точечками на белом фоне. Что-то новое, непри-

вычное затрепетало в воздухе — и это новое стало музыкой, как только вагон вполз на станцию в Глионе, где рядом, в саду отеля, гремел оркестр.

Когда они пересаживались на поезд, идущий в Ко, музыку затопил шум воды, выпускаемой из гидравлической камеры. Ко лежал почти прямо над ними; виден был фасад большого отеля с тысячей окон, пламеневших в лучах закатного солнца.

Но теперь все было иначе: кашляющий паровичок потащил их наверх по крутой спирали, виток за витком забираясь все выше и выше; он с пыхтеньем нырял в низкие облака, сыпля из трубы искры, и лицо Николь минутами пропадало из виду; а отель вырастал с каждым витком спирали, и вдруг они выскочили на яркое солнце прямо перед ним.

Дик вскинул рюкзак на плечо и пошел к багажному отделению за своим велосипедом; Николь не отставала в вокзальной суете.

— Вы разве не в этот отель? — спросила она.

— Я решил быть экономным.

— Тогда приходите к нам обедать. — И после того, как окончилась неразбериха с багажом: — Вот моя сестра — а это доктор Дайвер из Цюриха.

Дик увидел высокую молодую женщину лет

двадцати пяти, державшуюся свободно и уверенно. Кланяясь, он подумал: самонадеянна и в то же время легко ранима. Знаем мы этих женщин с похожим на цветок ртом, в любую минуту готовы закусить удила.

— Я приду после обеда, — пообещал Дик. — Дайте мне время акклиматизироваться немножко.

Он ушел со своим велосипедом, чувствуя провожающий его взгляд Николь, чувствуя всю беспомощность ее первой любви, чувствуя, как от этого внутри у него все переворачивается. Пройдя в гору метров триста, он добрался до другого отеля. Он снял номер и минут через десять уже мылся в ванной. От этих десяти минут в памяти остался только неясный гул, как с похмелья, в который порой врывались чьи-то голоса, чужие, ненужные голоса, ничего не знавшие о том, как он любим.

IX

Его ждали, без него вечер не был бы завершен. Он и здесь представлял собой неизвестную величину; мисс Уоррен и молодому итальянцу явно так же не терпелось с ним встретиться, как и Николь. Салон отеля, помещение, славившееся

своей удивительной акустикой, был освобожден для танцев; а вдоль стен тянулся амфитеатр англичанок известного возраста, с шарфиками на шее, с крашеными волосами и розовато-серыми от пудры лицами, а также американок известного возраста, в черных платьях, с белоснежными шиньонами и губами вишневого цвета. Мисс Уоррен и Мармора сидели за столиком в углу, Николь — в сорока ярдах от них по диагонали. Войдя, Дик сразу же услышал ее голос:

— Вы меня слышите? Я говорю как обычно, не кричу.

— Прекрасно слышу.

— Здравствуйте, доктор Дайвер.

— Что это значит?

— Вот вы меня слышите, а те, кто посреди комнаты, не слышат ничего.

— Да, нас еще официант в ресторане предупреждал, — сказала мисс Уоррен. — В этом зале можно из угла в угол разговаривать будто по радио.

Здесь в горах жизнь казалась необычной и увлекательной, как на корабле в открытом море. Немного погодя к их маленькому обществу присоединились родители Мармора. С сестрами Уоррен они держались почтительно — Дик по-

нял из разговора, что их финансовые дела как-то связаны с неким миланским банком, который как-то связан с финансовыми делами Уорренов. Но Бэби Уоррен стремилась поговорить с Диком, влекомая той неясной силой, что заставляла ее стремиться навстречу каждому новому мужчине, туго натягивая невидимую цепь, с которой она давно уже искала случая сорваться. Она сидела, заложив ногу на ногу, и часто меняла ноги с непоседливостью, свойственной перезрелым девам высокого роста.

— …Николь мне рассказывала, что вы тоже занимались ею, и не будь вас, она, может быть, и до сих пор не выздоровела бы. Но понимаете, я как-то не очень представляю себе, что с ней делать теперь, — в санатории толком ничего не сказали, посоветовали только не стеснять ее и побольше развлекать. Я знала, что семейство Мармора сейчас здесь, в Ко, и попросила Тино приехать за нами. И что же — не успели мы тронуться, как она заставила его на ходу лезть вместе с ней через перегородки вагона, точно они оба сумасшедшие…

— Напротив, это вполне нормально, — засмеялся Дик. — Я даже сказал бы, что это хороший признак, им хочется порисоваться друг перед

другом.

— Но откуда же *мне* знать? В Цюрихе она вдруг взяла и остриглась, чуть не на моих глазах — только потому, что увидела картинку в модном журнале.

— Ничего тут страшного нет. У нее шизоидный тип — этому типу свойственна эксцентричность. Она такой будет всегда.

— Какой — такой?

— Я ведь вам сказал — эксцентричной.

— Да, но как разобрать, где кончается эксцентричность и начинается болезнь?

— Болезнь не вернется, не тревожьтесь понапрасну. Николь сейчас беззаботна и счастлива.

Бэби снова беспокойно переменила позу; в ней словно воплотились, столетие спустя, все неудовлетворенные женщины, любившие Байрона; и все же, несмотря на трагический роман с офицером, было в ней что-то деревянное, бесполое.

— Ответственность меня не пугает, — объявила она. — Но я не знаю, как я должна поступать. В нашей семье никогда ничего подобного не было. Николь, видимо, перенесла сильное потрясение, я лично думаю, тут был замешан мужчина, но ведь это только догадка. Отец говорил, если б он узнал — кто, он бы убил его.

Оркестр играл «Бедную бабочку»; молодой Мармора танцевал со своей матерью. Фокстрот был новый, еще не успевший надоесть. Слушая, Дик не спускал глаз с Николь; она болтала со старшим Мармора, элегантным господином, у которого в шевелюре темные пряди чередовались с седыми, как черные и белые клавиши на рояле. Глядя на покатые плечи Николь, Дик подумал, что она похожа на скрипку, — и снова ему вспомнилась ее тайна, позорная тайна, которую он знал. Ах, бабочка — летят мгновенья, летят, слагаются в часы…

— Собственно говоря, у *меня* есть план, — продолжала Бэби вкрадчиво, но решительно. — Вы, может быть, сочтете его неосуществимым, но все дело в том, что, как я поняла, Николь ближайшие годы должна находиться под постоянным наблюдением. Не знаю, бывали вы в Чикаго или нет…

— Не бывал.

— Там есть Северная сторона и есть Южная — два совершенно обособленных и очень разных района. Северная сторона — район фешенебельный, шикарный, мы всегда — или почти всегда — жили именно в этом районе. Но есть много старых чикагцев, — коренных чикагцев из хороших, старых семей, вы меня понимае-

те? — которые до сих пор предпочитают жить на Южной стороне. Там университет, и весь тон жизни там — как бы вам это сказать? — более чопорный, что ли. Не знаю, понятно вам это или нет.

Дик утвердительно кивнул головой. Он все же заставил себя ее слушать.

— Конечно, у нас там много связей — отец финансирует некоторые начинания университета, учредил несколько стипендий и тому подобное. Вот я и думаю: когда мы приедем домой, нужно сделать так, чтобы Николь побольше общалась со всей этой публикой с Южной стороны — она ведь знает музыку, говорит на нескольких языках, — подумайте, как было бы хорошо для нее, если бы она встретила и полюбила какого-нибудь хорошего молодого врача.

Дик чуть не расхохотался вслух — вот как, Уоррены, значит, решили купить врача для Николь… Нет ли у вас, доктор Дайвер, подходящего экземпляра на примете? В самом деле, к чему тревожиться о Николь, если средства позволяют купить ей новенького, с иголочки, симпатичного молодого врача?

— А если такого не найдется? — машинально подал он реплику.

— Что вы, охотников, я уверена, будет хоть отбавляй.

Танцующие возвращались на свои места. Но Бэби успела добавить торопливым шепотом:

— По-моему, это превосходная мысль. Но где же Николь, я ее не вижу. Пошла к себе наверх, что ли? Вот вам пример — ну что мне делать? Я же никогда не знаю, пустяки это или что-нибудь серьезное и нужно бежать ее разыскивать.

— Возможно, ей просто захотелось побыть одной — после долгого перерыва иногда утомительно все время быть на людях. — Мисс Уоррен явно не слушала, и он прервал свои объяснения: — Я пойду поищу ее.

Туман огородил со всех сторон пространство перед отелем, и это было точно весной в комнате с опущенными шторами. Казалось, там, дальше, уже никакой жизни нет. Проходя мимо соседнего погребка, Дик увидел в окно компанию шоферов, игравших в карты за литром испанского вина. Когда он дошел до аллеи терренкура, над белыми гребнями Высоких Альп прорезались первые звезды. На изогнутой в виде подковы аллее, шедшей по краю обрыва над озером, темнела между двумя фонарями неподвижная фигура; это была Николь. Дик подошел, бесшумно ступая по траве.

Она оглянулась: «А, это вы!» — и Дик на мгновение пожалел, что пришел.

— Ваша сестра беспокоится.

— А-а! — Для нее не новостью было, что за ней следят. С усилием она попыталась объяснить: — Иногда я — иногда мне становится трудно. Я так тихо жила последнее время. Сейчас мне стало трудно от музыки. Захотелось вдруг плакать…

— Понимаю.

— Сегодня был очень суматошный день.

— Знаю.

— Я бы не хотела показаться невежливой — и так уж довольно у всех хлопот из-за меня. Но я просто почувствовала, что не могу больше.

Дику вдруг пришла в голову мысль (так умирающему приходит вдруг в голову, что он забыл сказать, где лежит завещание): ведь Домлер и все предшествующие поколения Домлеров «пересоздали» Николь; ведь теперь ее многому придется учить заново. Но этот общий вывод он оставил при себе; вслух же сказал то, чего требовало положение вещей в данную минуту:

— Вы милая, славная девушка, и нечего вам заботиться о том, что про вас подумают другие.

— Я вам нравлюсь?

— Конечно.

— А вы бы… — Они теперь медленно шли к другому концу подковы, до которого оставалось ярдов двести. — Если бы я не болела, вы бы могли, — то есть я хочу сказать, такая девушка, как я, могла бы, — ах, господи, вы сами знаете, что я хочу сказать.

Он почувствовал, что податься некуда, всесокрушающее безрассудство одолевало его. Он слышал свое дыхание, участившееся от ее близости; но и на этот раз выручила дисциплина, подсказала банальную реплику, отрезвляющий смешок:

— Что за фантазии, милая барышня? Давайте-ка я расскажу вам, как один больной влюбился в ухаживающую за ним сестру… — И посыпались в такт шагам обкатанные фразы анекдота.

Вдруг Николь перебила с неожиданной резкостью:

— Чушь собачья!

— Вам не к лицу такие грубые выражения.

— Ну и пусть! — вспыхнула она. — Вы меня считаете безмозглой дурочкой — я и была дурочкой до болезни, но теперь другое дело. Если бы я смотрела на вас и не видела, какой вы красивый, обаятельный, не такой, как все, вы вправе были бы думать, что я все еще не в своем уме. Так что не

притворяйтесь, будто, по-вашему, я не знаю, — я все знаю и про себя и про вас, хоть мне от этого только хуже.

Почва уходила у Дика из-под ног. Но он припомнил рассуждения старшей мисс Уоррен о молодых врачах, которых можно приобрести на Южной стороне, в интеллектуальном филиале чикагских скотобоен, и это на миг придало ему силы.

— Вы прелестное существо, но я вообще не умею влюбляться.

— Просто вы не хотите пойти мне навстречу.

— Что-о?

Он был ошеломлен такой бесцеремонностью, такой уверенностью в своем праве на победу. Пойти навстречу Николь Уоррен могло означать только одно: потерять себя, а это было бы слишком.

— Ну почему вы не хотите, почему?

Голос ее совсем упал, ушел внутрь, распирая грудь под натянувшимся лифом платья. Она была теперь так близко, что он невольно напряг руку, чтобы поддержать ее, и сейчас же ее губы, все ее тело откликнулось на это движение. Все расчеты, соображения были теперь ни к чему — как если бы Дик изготовил в лаборатории нерастворимый

состав, где атомы спаяны накрепко и навсегда; можно вылить все вон, но разложить на ингредиенты уже нельзя. Он держал ее, вдыхал ее, а она клонилась и клонилась к нему, не узнавая сама себя, вся поглощенная и наполненная своей любовью, умиротворенная и в то же время торжествующая; и Дику казалось, что он уже и не существует вовсе, разве только как отражение в ее влажных глазах.

— Черт возьми, — выдохнул он. — А вас приятно целовать.

Это была попытка заслониться словами, но Николь уже почувствовала свою власть и тешилась ею; с неожиданным кокетством она отпрянула в сторону, и он словно повис в пустоте, как днем, когда фуникулер остановился на полдороге. «Пусть, пусть, — кружилось у нее в голове, — это ему за то, что был бессердечен, мучил меня; но сейчас уже все прекрасно, ах, как прекрасно! Я победила, он мой». Теперь по правилам игры полагалось убежать прочь, но для нее все это было так ново, так чудесно, что она медлила, желая насладиться до конца.

Вдруг дрожь пробрала ее. Далеко-далеко внизу сверкало ожерелье и браслет из огней — Монтре и Веве; а за ними опаловым подвеском

переливалась Лозанна. Откуда-то ветер донес обрывок танцевальной мелодии. Николь остыла, сумятица в ее мыслях улеглась, и теперь она ворошила неизжитые сантименты детских лет с целеустремленностью солдата, торопящегося захмелеть после боя. А Дик стоял почти рядом, уверенно опершись на чугунную ограду, тянувшуюся по краю подковы; и, все еще робея перед ним, она пробормотала:

— Помните, как я вас ждала тогда в парке — всю себя держала в руках, как охапку цветов, готовая поднести эту охапку вам. По крайней мере, для меня самой это было так.

Он шагнул ближе и с силой повернул ее к себе; она положила руки ему на плечи и поцеловала его, потом еще и еще; ее лицо становилось огромным каждый раз, когда приближалось к его лицу.

— Дождь пошел!

В виноградниках по ту сторону озера вдруг бухнула пушка — пальбой пытались разогнать тучи, которые могли принести град. Фонари на аллее погасли, потом зажглись снова. И тотчас же разразилась гроза: потоки ливня низверглись с небес, побежали по крутым склонам, забурлили вдоль дорог и каменных водостоков, а сверху

нависло потемневшее, жуткое небо, молния чертила фантастические зигзаги, раскаты грома сотрясали мир, и над отелем неслись лохматые клочья облаков. Ни гор, ни озера не было больше — отель одиноко горбился среди грохота, хаоса и тьмы.

Но Дик и Николь уже вбежали в вестибюль, где Бэби Уоррен и все семейство Мармора с тревогой дожидались их возвращения. Так увлекательно было вынырнуть вдруг из мокрой мглы, хлопнув дверью с размаху, и громко смеяться от неулегшегося волнения, еще слыша свист ветра в ушах и чувствуя, как намокшая одежда липнет к телу. Даже штраусовский вальс из бальной залы звучал по-особенному, пронзительно и зовуще.

...Чтобы доктор Дайвер женился на пациентке психиатрической клиники? Да как это случилось? С чего началось?

— Вы еще вернетесь сюда после того, как переоденетесь? — спросила Бэби Уоррен, испытующе оглядев Дика.

— А мне и переодеваться не во что, разве что в шорты.

Накинув одолженный кем-то дождевик, он взбирался в гору и насмешливо похохатывал себе под нос:

— Завидный случай — ну как же! Решили, значит, приобрести врача в дом. Нет уж, придется вам искать подходящий товар в Чикаго. — Но, устыдившись собственной резкости, он мысленно оправдывался перед Николь, вспоминал неповторимую свежесть ее юных губ, вспоминал, как капли дождя матово светились на ее фарфоровой коже, точно слезы, пролитые из-за него и для него…

Затишье после отбушевавшей грозы разбудило его около трех часов утра, и он подошел к растворенному окну. Красота Николь клубилась вверх по склону горы, вливалась в комнату, таинственно шелестя оконными занавесками…

…На следующее утро он одолел двухкилометровый подъем к Роше-де-Нэй; его позабавила встреча с вчерашним кондуктором фуникулера, который тоже совершал этот подъем, используя свой выходной день.

Из Роше-де-Нэй Дик спустился до самого Монтре, выкупался в озере и успел вернуться в отель к обеду. Две записки ожидали его.

«Я ни о чем не жалею и ничего не стыжусь, мне еще ни разу в жизни не было так хорошо, как вчера вечером. Даже если я никогда больше не увижу Вас, Mon capitaine, все равно я рада, что

так случилось».

Обезоруживающие строчки, но Дик вскрыл второй конверт, и мрачная тень Домлера сместилась.

«Милый доктор Дайвер, я звонила Вам по телефону, но не застала. Хочу просить Вас о большом, огромном одолжении. Непредвиденные дела срочно требуют моего присутствия в Париже, и я сэкономлю много времени, если поеду через Лозанну. Вы ведь собирались в понедельник вернуться в Цюрих, так нельзя ли, чтобы Николь поехала с Вами? А там уж Вы бы довезли ее до санатория? Надеюсь, это Вас не слишком затруднит.

Уважающая Вас *Бетт Эван Уоррен».*

Дик пришел в ярость — ей ведь прекрасно известно, что у него велосипед, но записка составлена в таких выражениях, что отказать невозможно. Нарочно сводит нас вместе! Родственная забота, помноженная на уорреновский капитал!

Но он ошибался: Бэби Уоррен ни о чем таком не помышляла. Она уже подвергла Дика взыскательной оценке, измерила его со всех сторон своей кривой англофильской линейкой и забракова-

ла — несмотря на то что, в общем, он ей пришелся по вкусу. Но он был явно чересчур «интеллигент», и она отправила его на одну полочку с компанией полунищих снобов, с которой одно время зналась в Лондоне. Слишком высовывается вперед, чтобы можно было счесть его подходящим. Аристократического — как она понимала это слово — в нем, при всем желании, ничего нельзя было найти.

Притом еще и неподатлив — она успела заметить несколько раз, как во время разговора у него вдруг делались пустые глаза; есть такие люди — говорят с вами, а сами витают где-то далеко. Николь еще в детстве раздражала ее своей чрезмерной непринужденностью, а за последнее время она по вполне понятным причинам привыкла считать ее «отпетой»; и, во всяком случае, доктор Дайвер не тот тип врача, которого она мыслила себе в качестве члена семьи. Она просто-напросто хотела использовать его как удобную оказию.

Но вышло именно так, как если бы догадка Дика была верной.

Поездка по железной дороге может быть мучительной, скучной или забавной; иногда это испытательный полет, иногда — эскиз другого, будущего путешествия. Как и всякий день, про-

веденный вдвоем, она может показаться очень долгой. Утро проходит в спешке, пока оба не спохватываются, что голодны, и не принимаются закусывать вместе; после полудня время замедляется, ползет почти нестерпимо, но под конец снова набирает скорость. Дику больно было видеть жалкую радость Николь; для нее это все же было возвращение домой, потому что другого дома она не знала. Ничего между ними в тот день не произошло, но когда он простился с ней у ворот скорбного заведения на Цюрихском озере и она, прежде чем войти, еще раз оглянулась на него, он понял, что ее судьба теперь стала их общей судьбой, и это навсегда.

X

В начале сентября доктор Дайвер сидел с Бэби Уоррен за чашкой чаю на террасе цюрихского отеля.

— Едва ли это благоразумно, — сказала она. — Мне как-то не вполне ясны ваши побуждения.

— Не стоит вести разговор в таком тоне.

— В конце концов Николь — моя сестра.

— Это еще не дает вам права разговаривать со мной в таком тоне. — Дика злило, что он должен

молчать обо всем, что знает. — Николь богата, но из этого не следует, что я авантюрист.

— То-то и есть, что Николь богата, — не уступая, пожаловалась Бэби. — В этом все дело.

— А сколько у нее денег? — спросил Дик.

Бэби так и подскочила; а он продолжал, мысленно смеясь:

— Видите, как глупо все получается. Я бы предпочел иметь дело с кем-нибудь из ее родственников — мужчин…

— За все, что касается Николь, отвечаю я, — решительно объявила Бэби. — И мы вовсе не утверждаем, что вы авантюрист. Мы просто не знаем, кто вы.

— Я доктор медицины, — сказал он. — Отец мой — священник, теперь уже на отдыхе. Жили мы в Буффало, и в моем прошлом нет тайн. Учился в Нью-Хейвене; потом получил стипендию Родса. Мой прадед был губернатором Северной Каролины, и я — прямой потомок Безумного Энтони Уэйна.

— А кто такой был Безумный Энтони Уэйн? — подозрительно спросила Бэби.

— Безумный Энтони Уэйн?

— Во всей этой истории безумства и так достаточно.

Он безнадежно покачал головой и в эту минуту увидел Николь — она вышла на террасу и глазами искала их.

— Не будь он безумен, он бы, верно, оставил не меньшее наследство, чем Маршалл Филд.

— Все это очень хорошо, но…

Бэби была права и не сомневалась в этом. Не много нашлось бы священников, способных выдержать сравнение с ее отцом. Уоррены были по меньшей мере герцогами — только американскими, без титула. Фамилия Уоррен, занесенная в книгу для приезжающих, поставленная под рекомендательным письмом, упомянутая в затруднительных обстоятельствах, в одно мгновенье преображала людей — психологический феномен, который, в свою очередь, воздействовал на Бэби, приучая ее сознавать свое высокое положение. Факты она знала от англичан, у которых на этот счет имелся более чем двухсотлетний опыт. Но она не знала, что в течение разговора за чайным столом Дик дважды едва не швырнул ей в лицо отказ от своего предложения. Спасла дело Николь, которая наконец увидела их и поспешила к их столику, вся сияющая свежестью и белизной, словно только что народившаяся на свет в мягких сентябрьских сумерках.

Здравствуйте, адвокат. Мы завтра уезжаем на Комо на неделю, а оттуда вернемся в Цюрих. Поэтому я и просила, чтобы вы с моей сестрой поскорее все уладили, а сколько я получу, это нам безразлично. Мы целых два года будем жить в Цюрихе, тихо и скромно, и у Дика денег хватит. Нет, Бэби, совсем я не так непрактична, как ты думаешь, — просто мне если что понадобится, так только на магазины и портних… Что-о, да куда мне столько, я этого и не истрачу никогда. А ты тоже столько получаешь? Почему больше — потому что меня считают неспособной управляться с деньгами? Ну и ладно, пусть моя доля лежит и копится… Нет, Дик не желает иметь к этому никакого касательства. Придется уж мне пыжиться за двоих…

Ничего ты о нем не знаешь, Бэби, просто совершенно не представляешь себе, что он за человек… Где я должна подписаться? Ой, простите…

…Смешно, что мы теперь всегда вместе и одни, правда, Дик? Смешно и немножко странно. Ты ведь никуда не уйдешь, разве что придвинешься еще ближе. Будем любить друг друга, больше ничего и не нужно. Только я люблю сильнее, и я сразу чувствую, когда ты отдаляешься от меня, хотя бы только чуть-чуть. Мне так нравится быть

как все, протянешь руку в постели и чувствуешь, что ты рядом, такой теплый-теплый.

…Будьте добры, позвоните моему мужу в больницу. Да, эта книжка широко разошлась, а теперь будет издана на шести языках. Я сама хотела переводить ее на французский, но я теперь очень быстро устаю — и все время боюсь упасть, такая я стала тяжелая и неуклюжая, точно игрушечный пузанчик на сломанной подставке. Холод стетоскопа с той стороны, где сердце, и такое чувство, что je m'en fiche de tout…[77] Ах, это та бедная женщина, у которой ребенок родился совсем синий, уж лучше бы неживой. Как чудесно, что нас теперь трое, правда?

…Но это же неразумно, Дик, нам ведь и в самом деле нужна квартира побольше. Зачем тесниться и мучить себя только из-за того, что уорреновских денег больше, чем дайверовских? Ах, благодарю вас, моя милая, но мы передумали. Тот английский священник говорил, что тут у вас в Орвието великолепное вино. Вот как, его нельзя перевозить? Тогда понятно, отчего мы о нем никогда не слыхали, а мы любим вино.

Озера точно провалы, берега рыжие, глинистые

---

[77] notes: 77
Мне на все наплевать… *(фр.)*

и изрезаны складками, как обвисшее брюхо. Фотограф снял меня по дороге на Капри и дал нам карточку: я сижу на скамье, волосы у меня распущены и свешиваются за борт. «Прощай, Голубой грот, — пел лодочник, который нас вез, — нет, не прощай, а до свида-а-анья!» А когда мы пересекали в длину страшное раскаленное голенище итальянского сапога, в зарослях вокруг старинных замков зловеще шелестел ветер и казалось, будто на вершинах холмов притаились и смотрят вниз мертвецы.

Мне нравится этот пароход, особенно когда наши каблуки дружно постукивают по палубному настилу. На повороте ветер прямо сбивает с ног, и всякий раз, когда мы доходим до этого места, я стараюсь повернуться боком и поплотней запахиваюсь в свой плащ, но от Дика не отстаю. Мы поем какую-то ерунду в такт шагам:

А-а-а-а,
Другие фламинго, не я,
А-а-а-а,
Другие фламинго, не я…

С Диком не соскучишься — пассажиры в шезлонгах оглядываются на нас, какая-то дама

старается разобрать, что это мы такое поем. Но Дику вдруг надоедает петь, ну что ж, Дик, шагай дальше один. Только один ты будешь шагать по-другому, милый, воздух вокруг тебя сгустится, придется пробираться через тени шезлонгов, через клубы мокрого дыма из трубы. Увидишь, как твое отражение скользит в глазах тех, кто на тебя смотрит. Кончится твоя обособленность, но это и лучше; нужно войти в жизнь, от нее оттолкнуться.

А я сижу на подпоре спасательной шлюпки и смотрю на море, не подбирая рассыпавшихся волос, пусть треплются и блестят на ветру. Я сижу, неподвижная на фоне неба, а корабль несет меня вперед, в синюю мглу будущего, для того он и существует. Я — Афина Паллада, благоговейно вырезанная на носу галеры. В пароходной уборной журчит вода, а за кормой, бормоча что-то, стелется переливчатая агатово-зеленая ряска пены.

...Мы в тот год много путешествовали — от бухты Вуллумулу до Бискры. У самой Сахары нас накрыла туча саранчи, а наш шофер добродушно уговаривал нас, что это обыкновенные шмели. Небо по ночам было совсем низкое, и чувствовалось присутствие непонятного всевидящего бога.

Мне запомнился бедный голенький Улед Наил, и та ночь, полная звуков — флейты и сенегальские барабаны, и пофыркивание верблюдов, и шаркающие шаги туземцев в сандалиях из старых автомобильных покрышек.

Но я тогда была опять не в себе — поезда, песчаные полосы пляжей, все сливалось в одно. Оттого-то он и повез меня путешествовать, но после рождения второго ребенка, моей маленькой Топси, кругом была только тьма и тьма без просвета.

…Где мой муж, как он мог бросить меня здесь, оставить в руках неучей и тупиц. Вы говорите, у меня родился черный ребенок — что за нелепая, пошлая выдумка! Мы приехали в Африку для того, чтобы увидеть Тимгад, меня больше всего на свете интересует археология. Надоело мне, что я ничего не знаю и что все то и дело напоминают мне об этом.

Когда я выздоровею, хочу сделаться образованным человеком, таким, как ты, Дик, — я бы стала изучать медицину, но боюсь, уже поздно. Давай купим на мои деньги дом — надоели мне эти квартиры и ожидать тебя надоело. Тебе ведь скучно в Цюрихе, и у тебя здесь не остается времени, чтобы писать, а ты сам говорил: ученый,

который не пишет, не настоящий ученый. А я тоже подберу себе какое-нибудь занятие, что-нибудь такое, что я могла бы изучить как следует, и это мне будет опорой, если со мной опять начнется. Ты мне поможешь, Дик, — я тогда не буду чувствовать себя такой виноватой. И поселимся где-нибудь у моря, где тепло, и мы будем загорать вместе и опять станем молодыми.

...Здесь будет рабочий уголок Дика. Представьте себе, мы это надумали оба, не сговариваясь. Десятки раз мы проезжали мимо Тарма, а тут как-то решили заехать, посмотреть, и оказывается, почти все пустует, кроме двух конюшен. Покупку мы оформили через одного француза, но как только до морского ведомства дошло, что американцы купили часть деревни в горах над морем, сюда сейчас же понаехали шпионы. Все вынюхивали, не припрятаны ли пушки среди строительных материалов — в конце концов пришлось Бэби пустить в ход свои связи в Affaires Étrangères[78] в Париже.

Летом на Ривьеру никто не ездит, так что знакомых будет немного и можно будет работать. Бывает кое-кто из французов, на прошлой неде-

---

[78] notes: 78
Министерстве иностранных дел *(фр.)*.

ле приезжала Мистангет, очень удивилась, что отель открыт; потом Пикассо и еще тот, кто написал «Pas sur la bouche».[79]

…Дик, почему ты записался в отеле «Мистер и миссис Дайвер», а не «Доктор и миссис Дайвер»? Да нет, я просто так — просто мне пришло в голову — ты сам всегда меня учил, что работа самое главное для человека, я и привыкла так думать. Помнишь, ты говорил, человек должен быть мастером своего дела, а если он перестал быть мастером, значит, он уже ничем не лучше других, и главное, это утвердиться в жизни, пока ты еще не перестал быть мастером своего дела. Если ты теперь хочешь, чтобы все было наоборот, пусть, но скажи, милый, должна ли твоя Николь стать кверху ногами, чтобы не отстать от тебя?

…Томми находит, что я очень молчалива. После того как я поправилась первый раз, мы с Диком без конца разговаривали по ночам, сидим в постели и курим сигарету за сигаретой, а когда уже начнет синеть за окном, ныряем головой в подушки, чтобы спрятаться от света. Иногда я люблю петь, играть с животными люблю, есть у меня и друзья — Мэри, например. Когда мы с

---

[79] notes: 79
«Только не в губы» *(фр.).*

Мэри разговариваем, ни одна не слушает другую. Разговор — дело мужское. Когда я пускаюсь в разговоры, я себе говорю: наверно, теперь я — Дик. А иногда я — мой сын, он такой неторопливый, рассудительный. Я даже доктором Домлером бывала иногда, а когда-нибудь, может, придется стать с какой-то стороны и вами, Томми Барбан. Мне кажется, Томми в меня влюблен, но потихоньку, без назойливости. Достаточно, впрочем, чтобы они с Диком начали раздражать друг друга. А в общем, все у меня сейчас как нельзя лучше. Живу в этом уютном местечке у моря, со мной мой муж, мои дети. Кругом друзья, которые меня любят. Все, все прекрасно — только бы мне еще перевести на французский язык этот окаянный рецепт цыплят по-мэрилендски. До чего приятно зарывать ноги в прогревшийся песок.

Да, да, вижу. Еще новые люди — какая девушка, ах, эта? На кого, вы говорите, она похожа?.. Нет, не смотрела, сюда не часто попадают новые американские фильмы. Розмэри, а дальше? Мы явно превращаемся в модный курорт — вот уж не ожидала, в июле. Да, она хорошенькая, но очень жаль, если сюда наедет много народу.

XI

Доктор Ричард Дайвер и миссис Элси Спирс сидели в «Café des Alliés»[80] под тенью прохладных и пыльных деревьев. С берега, просочившись через Эстерель, налетал временами порыв мистраля, и тогда рыбацкие лодки покачивались у причалов, тыча мачтами в августовское безразличное небо.

— Я только сегодня получила от Розмэри письмо, — сказала миссис Спирс. — Какой ужас эта история с неграми! Воображаю, чего вы все натерпелись. Она пишет, что вы были необыкновенно внимательны к ней и заботливы.

— Розмэри заслуживает медали за храбрость. Да, история была неприятная. Единственный, кого она совершенно не коснулась, это Эйб Норт — он уехал в Гавр. Наверно, даже и не знает ничего.

— Жаль, что это так взволновало миссис Дайвер, — осторожно заметила миссис Спирс. Розмэри ей писала: «Николь стала словно помешанная. Я решила не ехать с ними на юг, потому что Дику и без меня хлопот довольно».

---

[80] notes: 80
«Кафе союзников» *(фр.).*

— Она уже оправилась. — В голосе Дика послышалось раздражение. — Значит, завтра вы уезжаете отсюда. А когда в Штаты?

— Сразу же.

— Очень, очень жаль расставаться с вами.

— Мы рады, что побывали на Ривьере. Нам здесь было очень приятно — благодаря вам. Знаете, ведь вы первый человек, в которого Розмэри влюбилась по-настоящему.

Опять задул ветер с порфировых гор Ла-Напуль. Что-то в воздухе уже предвещало скорую перемену погоды; пышный разгул лета, когда земля словно стоит на месте, пришел к концу.

— У Розмэри были увлечения, но рано или поздно она всегда отдавала героя в мои руки… — миссис Спирс рассмеялась, — для вивисекции.

— А меня, значит, пощадили.

— С вами бы все равно ничего не помогло. Она влюбилась в вас еще до того, как познакомила вас со мною. И я ее не отговаривала.

Было ясно, что ни он сам, ни Николь не играли в планах миссис Спирс никакой самостоятельной роли — и еще было ясно, что ее аморальность непосредственно связана с ее самоотречением. Это была ее душевная пенсия, компенсация за отказ от собственной личной жизни. В борьбе за

существование женщина поневоле должна быть способна на все, но ее редко можно обвинить в прямой жестокости, это мужской грех. Пока смена радостей и печалей любви совершалась в положенных пределах, миссис Спирс была готова следить за ней с незлобивой отрешенностью евнуха. Она не задумывалась даже о том, что все это может кончиться плохо для Розмэри — или была уверена в невозможности такого исхода.

— Если то, что вы говорите, верно, мне кажется, это не причинило ей особых страданий. — Он все еще притворялся перед собой, что может думать о Розмэри с объективностью постороннего. — И во всяком случае, если что и было, так прошло. Но, между прочим, часто бывает, что с какого-то пустякового эпизода начинается важная полоса в жизни человека.

— Это не пустяковый эпизод, — упорствовала миссис Спирс. — Вы ее первая любовь — она видит в вас свой идеал. В каждом ее письме говорится об этом.

— Она очень любезна.

— Вы и Розмэри — самые любезные люди на свете, но тут она ничего не преувеличивает.

— Моя любезность — парадокс моего душевного склада.

Это было отчасти верно. От отца Дик перенял несколько нарочитую предупредительность тех молодых южан, что после Гражданской войны переселились на Север. Нередко он пускал ее в ход, но так же нередко презирал себя за это, видя тут не стремление не быть эгоистом, а стремление эгоистом не казаться.

— Я влюблен в Розмэри, — сказал он вдруг. — С моей стороны слабость говорить вам об этом, но мне захотелось позволить себе небольшую слабость.

Слова вышли какие-то чужие и официальные, словно рассчитанные на то, чтобы стулья и столики в «Café des Alliés» запомнили их навсегда. Уже он всюду, во всем чувствовал отсутствие Розмэри; лежа на пляже, видел ее плечо, облупившееся от солнца; гуляя по саду в Тарме, затаптывал следы ее ног; а сейчас вот оркестр заиграл «Карнавальную песенку», отзвук канувшей в прошлое моды сезона, и все вокруг словно заплясало, как всегда бывало при ней. За короткий срок ей даны были в дар все снадобья, которые знает черная магия: белладонна, туманящая зрение, кофеин, превращающий физическую энергию в нервную, мандрагора, вселяющая покой.

С усилием он еще раз попытался поверить,

будто может говорить о Розмэри с такой же отрешенностью, как ее мать.

— В сущности, вы с Розмэри совсем непохожи, — сказал он. — Весь ум, который она от вас унаследовала, уходит на создание той личины, которую она носит перед миром. Рассуждать она не привыкла; у нее душа ирландки, романтическая и чуждая логики.

Миссис Спирс сама знала, что Розмэри, при всей внешней хрупкости, — молодой мустанг, истинная дочь доктора Хойта, капитана медицинской службы США. Если б можно было вскрыть ее заживо, под прелестным покровом обнаружилось бы огромное сердце, печень и душа, все вперемежку.

Дик вполне сознавал силу личного обаяния Элси Спирс, сознавал, что она для него не просто последняя частица Розмэри — исчезнет, и не останется совсем ничего. Он, быть может, отчасти придумал Розмэри; мать ее он придумать не мог. Если мантия и корона, в которых Розмэри ушла со сцены, были чем-то, чем он наделил ее сам, тем приятнее было любоваться всей статью миссис Спирс, зная, что уж тут-то он ни при чем. Она была из тех женщин, что готовы ненавязчиво ждать, пока мужчина занят своим делом, куда

более важным, чем общение с ними, — командует боем или оперирует больного, когда нельзя ни торопить его, ни мешать. А кончит — и найдет ее где-нибудь неподалеку, без суеты и нетерпения дожидающуюся его за газетой или чашкой кофе.

— Всего хорошего, и, пожалуйста, не забывайте, что мы вас очень полюбили, и я и Николь.

Вернувшись на виллу «Диана», он сразу прошел к себе и распахнул ставни, затворенные, чтобы дневной зной не проникал в кабинет. На двух длинных столах в кажущемся беспорядке громоздились материалы его книги. Том первый, посвященный классификации болезней, уже выходил однажды небольшим тиражом, на средства автора. Сейчас велись переговоры о новом издании. В том второй должна была войти его первая книжка — «Психология для психиатров», значительно переработанная и расширенная. Как многим другим, ему пришлось убедиться, что у него есть всего две-три идеи и что небольшой сборник статей, только что в пятидесятый раз изданный в Германии, содержит, в сущности, квинтэссенцию всего, что он знает и думает.

Сейчас у него было нехорошо на душе. Томила обида за напрасно потерянные годы в Нью-Хейвене, и остро чувствовалось несоответствие

между все растущей роскошью дайверовского обихода и той реальной отдачей, которая бы ее оправдала. Он вспоминал рассказ своего румынского товарища об ученом, много лет изучавшем строение мозга армадилла, и ему чудилось, что в библиотеках Берлина и Вены уже корпят над его темой методичные, неторопливые немцы. У него почти сложилось решение закруглить работу в ее теперешнем состоянии и выпустить в свет небольшой томик без разработанного аппарата, в качестве введения к будущим, более солидным научным трудам.

Он окончательно утвердился в этом решении, расхаживая по своему кабинету в лучах предзакатного солнца. В таком виде работа может быть к весне сдана в печать. Вероятно, думал он, если человека с его энергией целый год терзают сомнения, мешающие ему работать, это значит, что в самом плане работы допущен просчет.

Он разложил на листках с заметками брусочки позолоченного металла, служившие ему пресс-папье. Потом прибрал комнату (никто из прислуги сюда не допускался), слегка почистил пастой раковину в соседней туалетной, закрепил отошедшую створку ширмы и написал заказ цюрихскому книгоиздательству. Покончив с этими

делами, он выпил чуточку джину, разбавив его двойным количеством воды.

В саду за окном показалась Николь. От мысли, что сейчас ему придется встретиться с нею, Дик ощутил свинцовую тяжесть внутри. При ней он обязан был держаться как ни в чем не бывало, и сегодня, и завтра, и через неделю, и через год. Тогда в Париже она всю ночь продремала в его объятиях под действием люминала. Под утро появились было симптомы нового приступа, но он вовремя сумел успокоить ее словами ласки и заботы, и она опять заснула, касаясь его лица душистыми, теплыми волосами. Тогда, осторожно высвободившись, он вышел в другую комнату к телефону, и еще до ее пробуждения все устроил и обо всем договорился. Розмэри переедет в другой отель. Переедет, даже не попрощавшись с ними — «Папина дочка» должна остаться «Папиной дочкой». Мистер Макбет, управляющий, уподобится трем обезьянкам Древнего Китая — ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не говорю. Кое-как уложив в чемоданы бесчисленные коробки и свертки с парижскими покупками, Дик и Николь ровно в полдень сели в поезд, уходивший на юг.

Тогда только наступила реакция. Устраиваясь в купе спального вагона, Дик видел, что Николь

этого ждет, и это пришло еще до того, как они миновали кольцо парижских предместий — отчаянное, щемящее желание соскочить, пока поезд еще не набрал ход, и броситься обратно в Париж, найти Розмэри, узнать, как она, что с ней. Он раскрыл книгу и сквозь пенсне уставился в печатные строки, чувствуя на себе неотступный взгляд Николь, лежавшей напротив. Но читать оказалось невозможно; тогда он закрыл глаза, словно бы от усталости, а она все смотрела на него, откинувшись на подушки, еще чуть одурманенная снотворным, но успокоенная и почти счастливая тем, что он снова принадлежит ей.

С закрытыми глазами было еще хуже; отчетливее слышалось в ритме колес: нашел — потерял, нашел — потерял; но, чтобы не выдать себя, Дик пролежал так до самого ленча. За ленчем он немного рассеялся — он всегда любил эту трапезу посредине дня, если сосчитать все их с Николь ленчи в отелях и придорожных гостиницах, в вагонах-ресторанах, буфетах и самолетах, число бы, наверно, перевалило за тысячу. Знакомая беготня поездных официантов, порционные бутылочки вина и минеральной воды, превосходная кухня, как всегда на линии Париж — Лион — Средиземноморье, — все это создавало иллюзию, что

ничего не изменилось в их жизни, но, пожалуй, впервые он ехал с Николь и это был для него путь откуда-то, а не куда-то. Он выпил почти все вино один, Николь только пригубила стаканчик; они разговаривали о доме, о детях. Но как только они вернулись в купе, разговор иссяк, наступило молчание, как тогда, в ресторане против Люксембургского сада. Когда хочешь уйти от того, что причиняет боль, кажется, будет легче, если повторишь вспять уже раз пройденную дорогу. Странное нетерпение овладело Диком; вдруг Николь сказала:

— Нехорошо все-таки, что мы оставили Розмэри одну. Как ты думаешь, с ней ничего не случится?

— Конечно, нет. Она вполне способна сама о себе позаботиться. — Чтобы это не прозвучало косвенным укором Николь, он поспешил добавить: — В конце концов она ведь актриса и должна уметь за себя постоять даже при такой бдительной матери, как миссис Спирс.

— Она очень хорошенькая.

— Она еще ребенок.

— Все равно, она хорошенькая.

Они перебрасывались репликами только для поддержания разговора.

— Она не так умна, как мне показалось внача-

ле, — заметил Дик.

— Она не дурочка.

— Да, но — как тебе сказать — все это сильно попахивает детской.

— Она очень-очень привлекательна, — сказала Николь с подчеркнутой независимостью, — и мне очень понравилось, как она играет.

— У нее был хороший режиссер. А игра ее, если вдуматься, лишена индивидуальности.

— Не нахожу. Вообще она должна очень нравиться мужчинам.

У него оборвалось сердце. Каким мужчинам? Скольким мужчинам?

«…Не возражаете, если я опущу штору?

Пожалуйста. Здесь правда слишком светло».

Где она теперь? И с кем?

— Через несколько лет она будет выглядеть старше тебя.

— Напротив. Как-то в театре я попробовала нарисовать ее на обороте программы. Такие лица долго не стареют.

Обоим плохо спалось ночью. Дик знал: день-два спустя он сам постарается изгнать тень Розмэри из своего дома, чтобы она не осталась навсегда замурованной в одной из его стен, но сейчас у него не хватало сил на это. Иногда труднее лишить се-

бя муки, чем удовольствия, а память еще была так ярка, что оставалось одно: притворяться. К тому же его сердила Николь — за столько лет пора бы научиться самой распознавать признаки напряженности, всегда предшествующей приступу, и не распускать себя. А она за последние две недели сорвалась дважды. Первый раз это было во время званого вечера в Тарме, он тогда проходил мимо спальни и вдруг услышал, как она, бессмысленно хохоча, уверяет миссис Маккиско, что в уборную войти нельзя, так как ключ заброшен в колодец. Миссис Маккиско, ошеломленная, растерялась, смутилась, испугалась даже, но, кажется, что-то поняла. Дик не придал этому случаю большого значения, потому что Николь очень скоро пришла в себя. Она даже звонила потом в отель Госса, но Маккиско уже уехали.

Иное дело парижский приступ, рядом с ним и первый показался серьезнее. Возможно, тут следовало видеть предвестие нового цикла, новой вспышки болезни. То, что он пережил не как врач, а как человек, во время долгого рецидива, случившегося после рождения Топси, закалило его, научило проводить резкую грань между Николь больной и Николь здоровой. Тем труднее было теперь отличить самозащитную отчужденность

врача от какого-то нового холодка в сердце. Когда возникшее равнодушие длят или просто не замечают, оно постепенно превращается в пустоту; в этом смысле Дик теперь умел становиться пустым, освобождать себя от Николь, лишь нехотя исполняя свой долг, без участия воли и чувства. Говорят, душевные раны рубцуются — бездумная аналогия с повреждениями телесными, в жизни так не бывает. Такая рана может уменьшиться, затянуться частично, но это всегда открытая рана, пусть не больше булавочного укола. След испытанного страдания скорее можно сравнить с потерей пальца или зрения в одном глазу. С увечьем сживаешься, о нем вспоминаешь, быть может, только раз в году, но когда вдруг вспомнишь, помочь все равно нельзя.

XII

Николь сидела на садовой скамейке, обхватив себя руками за плечи. Она подняла на Дика серые ясные глаза, в которых светилось детское, нетерпеливое любопытство.

— Я был в Канне, — сказал Дик. — Встретил там миссис Спирс. Она завтра уезжает. Хотела приехать попрощаться с тобой, но я ее отговорил.

— Напрасно. Я была бы ей очень рада. Она мне нравится.

— И знаешь, кого я там еще видел? Бартоломью Тэйлора.

— Быть не может!

— Я его издали заприметил, эту физиономию старого хорька не спутаешь ни с кем. Приехал, видно, произвести разведку — в будущем году весь зверинец сюда явится. Так что миссис Абрамс — это только цветочки.

— А Бэби еще ворчала, когда мы жили здесь первое лето.

— Главное, им же совершенно все равно, где быть. Сидели бы себе и мерзли в Довиле.

— Не распустить ли нам слух о какой-нибудь эпидемии — холеры, например?

— Я и то сказал Бартоломью, что некоторые люди в здешнем климате мрут как мухи. Кое-кто, сказал я ему, рискует здесь не меньше, чем пулеметчик в бою.

— Сочиняешь.

— Сочиняю, — признался он. — Мы с ним очень мило побеседовали. Умилительная была картинка, когда мы обменивались дружескими рукопожатиями посреди бульвара. Встреча Уорда Макалистера и Зигмунда Фрейда.

Дику не хотелось продолжать разговор. Ему хотелось побыть одному, чтобы мыслями о работе и о завтрашнем дне заслониться от мысли о любви и о сегодняшнем. Николь это чувствовала инстинктом — враждебным инстинктом зверька, который ласкается, но не прочь укусить.

— Радость моя, — сказал Дик чуть небрежно.

Он вошел в дом, успев позабыть, что́ ему там нужно было, но на пороге сразу вспомнил — рояль. Он сел и, насвистывая, стал подбирать по слуху:

Там на Таити вдали от событий
Мы будем с тобой вдвоем.
В тиши ночной —
Мы под луной,
Лишь я с тобой,
И ты со мной…

В убаюканное сознание вдруг заползла догадка, что Николь расслышит в этой мелодии его тоску о двух минувших неделях. Он оборвал пение диссонансным аккордом и встал.

Он огляделся, не зная, куда пойти. Это был дом, созданный Николь, оплаченный деньгами ее деда. Ему тут принадлежал только флигель, где

помещался его кабинет, да клочок земли под ним. На свои три тысячи в год и то, что перепадало за случайные публикации, он одевался, пополнял винный погреб и покрывал свои карманные расходы и расходы по воспитанию Ланье, пока что сводившиеся к жалованью бонне. В любом предприятии Николь Дик всегда оговаривал свою долю участия. Он сам жил довольно скромно, без Николь ездил всегда третьим классом, пил самое дешевое вино, берег свою одежду, наказывал себя за каждую лишнюю трату и таким образом ухитрялся сохранять некоторую финансовую самостоятельность. Но это было все трудней и трудней; то и дело приходилось раздумывать вместе о том, что можно бы сделать на деньги Николь. И конечно, Николь, желая закрепить свою власть над ним, желая, чтобы он всегда оставался при ней, цеплялась за всякое проявление слабости с его стороны; нелегко было сопротивляться заливавшему его потоку вещей и денег. Силой обстоятельств их все дальше отводило от нехитрых, в общем, условий, на которых заключен был когда-то в Цюрихе их союз. Типичным примером могла служить история виллы на скалах, которая родилась как фантазия, а потом незаметно сделалась фактом. «Как чудесно было бы, если

бы...» — говорили они вначале; «как чудесно будет, когда...» — стали говорить потом.

Но вышло все не так уж чудесно. Затеи Николь вторгались в его работу и мешали ей; кроме того, стремительный рост ее доходов в последнее время словно бы обесценивал эту работу. И еще: ради забот о ее здоровье он много лет притворялся убежденным домоседом, лишь изредка позволяя себе отдаляться от семейного очага; это притворство стало тягостным в замкнутом, неподвижном мирке, где он все время чувствовал себя точно под микроскопом. Если уж он не решается играть то, что ему хочется играть в данную минуту, значит, жизнь доведена до точки. Дик долго еще сидел в большой комнате с роялем посередине и слушал жужжание электрических часов — слушал, как движется время.

В ноябре море почернело, волны все чаще перехлестывали через дамбу, докатываясь до прибрежной дороги. Исчезли последние следы летней жизни, и пустынные пляжи сиротливо скучали под мистралем и дождем. Отель Госса закрылся для ремонта и перестройки, а летнее казино в Жуан-ле-Пен все еще стояло в лесах, хоть и разрослось до внушительных размеров. В Канне и Ницце завелись у Дайверов новые зна-

комые — рестораторы, оркестранты, садоводы, судостроители (Дик купил себе видавший виды моторный бот), члены Syndicat d'Initiative.[81] Дик и Николь изучали повадки своей прислуги, размышляли над воспитанием детей. К декабрю Николь совершенно окрепла; за целый месяц Дик не подметил ни разу напряженного взгляда, сжатых губ или беспричинной улыбки, не услышал ни одной бессмысленной фразы, и на рождество они уехали в Швейцарские Альпы.

XIII

Перед тем как войти, Дик шапочкой стряхнул снег с синего лыжного костюма. В просторном холле уже раздвинули после чаепития мебель, и на полу, за двадцать лет, точно оспой, изрытом гвоздями лыжных ботинок, резвилось до сотни юных американцев, воспитанников окрестных школ, прыгая под веселый напев «Не приводи Лулу» или дергаясь в судорожных ужимках чарльстона. Здесь была колония молодежи, простодушной и нерасчетливой, — штурмовые

[81] notes: 81

Синдикат инициативы *(фр.)* — организация для выявления местных ресурсов.

отряды богачей сосредоточивались в Санкт-Морице. Бэби Уоррен чувствовала, что совершила акт самоотречения, согласившись поехать с Дайверами в Гстаад.

Дику было нетрудно заметить сестер в пестром, мерно колышущемся многолюдье благодаря их эффектным, броским, как плакаты, лыжным костюмам — небесно-голубой у Николь, кирпично-красный у Бэби. Рослый молодой англичанин что-то говорил им, но они не слушали; завороженные ритмом танца, они не отрывали глаз от танцующих.

Разрумянившееся от снега лицо Николь еще больше порозовело, когда она увидела Дика.

— Ну, где же он?

— Опоздал на поезд, приедет следующим. — Дик сел, заложив ногу на ногу и покачивая тяжелым ботинком. — До чего же вы обе эффектны рядом. Право, я порой забываю, что мы здесь вместе, и только что не ахаю при виде вас.

Бэби была высокая красивая брюнетка, стойко державшаяся на подступах к тридцати. Она привезла с собой из Лондона двоих спутников — вчерашнего кембриджского студента и пожилого распутника викторианского образца. В Бэби уже проявлялись кое-какие стародевические

особенности — она была сверхчувствительна к посторонним прикосновениям, вздрагивала, если до нее дотрагивались неожиданно, а такие длительные контакты, как поцелуи или объятия, непосредственно впечатывались в ее сознание, минуя плоть. Она была скупа на жесты, требовавшие участия всего корпуса, предпочитая топать ногами и немного по-старомодному встряхивать головой. Она наслаждалась предощущением смерти в случае несчастья с кем-либо из знакомых и со вкусом размышляла о трагической участи Николь.

Младший из ее англичан опекал сестер во время лыжных прогулок или катался с гор на санях. Дик в первый же день растянул связку, делая чересчур рискованный телемарк, и потому мог лишь потихоньку кататься на «детской горке» вместе с ребятишками или же вовсе оставался в отеле и попивал квас в обществе одного русского врача.

— Тебе же скучно, Дик, — приставала к нему Николь. — Познакомился бы с какими-нибудь молоденькими девочками, ходил бы с ними танцевать после чаю.

— А что я им стану говорить?

— Ну что говорят в таких случаях? — Она искус-

ственно повысила свой низкий, чуть глуховатый голос и кокетливо засюсюкала: — «Ах, что может быть лучше молодости!»

— Терпеть не могу молоденьких девочек. От них пахнет мылом и мятными леденцами. Когда с ними танцуешь, кажется, будто катишь детскую коляску.

Это была опасная тема, и Дик ни на минуту не забывал об осторожности — старался даже не смотреть на молодых девушек, а куда-то поверх их голов.

— Есть кое-какие неотложные дела, — сказала Бэби. — Во-первых, я получила письмо из дому — насчет того участка, который у нас всегда назывался привокзальным. Середина его давно была куплена железнодорожной компанией. А теперь та же компания купила все остальное. Эта земля — часть нашего наследства после мамы. Встает вопрос о помещении полученных денег.

Желая показать, что столь низменные материи его не интересуют, англичанин пошел приглашать кого-то на танец. Бэби проводила его томным взглядом американки, с колыбели обожающей все английское, а потом вернулась к прежнему разговору:

— Деньги немалые. На долю каждой из нас

приходится по триста тысяч. Я умею следить за своими капиталовложениями, но Николь в этом ничего не смыслит, и не думаю, чтобы вы смыслили много больше.

— Мне пора, а то не поспею к приходу поезда, — уклончиво сказал Дик.

Шел снег, и с дыханием попадали в нос мокрые снежинки, неразличимые в наступившей темноте. Трое мальчишек на санках пронеслись мимо, выкрикнув предостережение на непонятном языке; через минуту их крик долетел уже снизу, из-за поворота. Где-то сбоку звенели бубенцы поднимавшихся в гору конных саней. Станция вся сверкала праздничным оживлением, юноши и девушки весело ожидали прибытия новых юношей и девушек; ритм веселья передался и Дику, и он встретил сошедшего с поезда Франца Грегоровиуса с таким видом, будто еле-еле урвал полчаса в непрерывной смене развлечений. Но Франц был поглощен одной целью, и никакие настроения Дика не могли его от этой цели отвлечь. «Я попробую на денек выбраться в Цюрих, — говорилось в письме, полученном им от Дика, — а может быть, вы не поленитесь приехать в Лозанну?» Франц не поленился приехать даже в Гстаад.

Францу было теперь сорок. Его зрелость здо-

рового человека хорошо сочеталась с профессиональной приятностью манер, но надежней всего была для него броня легкого педантизма, позволявшая презирать тех богатых пациентов, которых он должен был заново учить жизни. Наследие предков раскрывало перед ним широкие горизонты науки, но, как видно, он сам предпочел более скромную жизненную позицию и подтвердил это выбором жены. В отеле Бэби Уоррен подвергла его мимолетному осмотру и, не обнаружив заслуживающего уважения пробирного клейма, не узрев ни одной из тех изощренных особенностей натуры или поведения, по которым узнают друг друга представители привилегированных классов, в дальнейшем уделяла ему внимание лишь по второму разряду. Николь его побаивалась.

Дик же относился к нему, как всегда относился к друзьям — с симпатией без оговорок.

Вечером они спустились в селение на небольших санях, игравших здесь ту же роль, что гондолы в Венеции. В селении была харчевня, старая швейцарская харчевня с бревенчатыми стенами, гулко отражавшими звук, с часами, бочками, кружками и оленьими рогами. Длинные столы стояли впритык, так что казалось, тут

пирует одна большая компания; все ели fondue — нечто вроде гренок с сыром по-валлийски, только еще более неудобоваримое — и запивали глинтвейном.

Веселье шло шумное — «дым столбом», изрек молодой англичанин, и Дик согласился, что лучше не скажешь. Горячее, сдобренное пряностями вино ударило в голову, и он почувствовал себя лучше, словно все в мире стало опять на свои места благодаря седовласым ветеранам золотых девяностых годов, что горланили у пианино старые песни, и вторившим им молодым голосам, и ярким пятнам костюмов, расплывавшимся в сизом от курева воздухе. На миг ему примерещилось, будто он на корабле и земля уже близко; девичьи лица вокруг полны были ожидания чего-то, что сулило им это веселье и эта ночь. Дик украдкой глянул по сторонам — здесь ли маленькая американочка, которую он заприметил раньше; почему-то ему казалось, что она сидит за соседним столом. Но он тут же забыл про нее и стал плести какие-то небылицы на забаву своим спутникам.

— Мне нужно поговорить с вами, — негромко сказал Франц по-английски. — К сожалению, я не могу здесь долго оставаться.

— Я так и понял, что у вас что-то есть на уме.

— У меня есть план — замечательный план. — Он уронил на колено Дика тяжелую руку. — План, который содержит небывалые перспективы для нас обоих.

— Я слушаю.

— Дик, есть возможность нам с вами приобрести собственную клинику. Помните заведение Брауна на Цугском озере? Клиника старая, но оборудование там современное, во всяком случае, большая его часть. Браун болен и хочет уехать в Австрию, — умирать, как я понимаю. Такой случай выпадает раз в жизни. Вы да я — лучше пару и подобрать трудно. Только не говорите ничего, дайте мне кончить.

По желтым огонькам в глазах Бэби Дик понял, что она прислушивается.

— Это будет наше общее дело. Вы получите базу, лабораторию, собственный экспериментальный центр. И это вас не так уж свяжет — достаточно, если вы будете проводить на месте полгода, самые лучшие месяцы. А на зиму сможете уезжать в Америку или во Францию и писать свои книги на основе новейшего клинического материала. — Он несколько понизил голос: — И для вашей семьи тоже может оказаться полезной

близость клиники с ее атмосферой, ее налаженным режимом. — Эта тема явно не встретила сочувственного отклика, и Франц поторопился как бы поставить точку, высунув и тотчас же спрятав кончик языка. — Мы с вами разделим функции. Я буду главным администратором, а вы — теоретиком, высококвалифицированным консультантом и все такое прочее. Я знаю себе цену. У меня нет того, что называется талантом, а у вас есть. Но меня считают хорошим клиницистом, и я основательно знаком с современными методами лечения. Мне ведь подолгу приходилось фактически руководить клиникой. Профессор в восторге от этого плана, он меня, как говорится, благословил обеими руками. Тем более что сам он, по его словам, собирается жить вечно и работать до последней минуты.

Дик мысленно рисовал себе все это в образах, прежде чем подойти к вопросу по-деловому.

— Ну, а финансовая сторона? — спросил он наконец.

Все в Франце пришло в движение — подбородок, брови, неглубокие морщинки на лбу, пальцы, локти, плечи; мышцы ног так напряглись, что обозначились под плотной материей, сердце подкатилось к самому горлу, голос возникал где-то

прямо во рту.

— Вот в этом-то и загвоздка! Деньги! — горестно воскликнул он. — Денег у меня мало. Браун оценил клинику в двести тысяч долларов на американские деньги. Необходимая модернизация, — последнее слово он отчеканил, пробуя на вкус каждый слог, — обойдется в двадцать тысяч долларов. Но эта клиника — золотое дно. Я в этом убежден, хотя даже еще не знакомился с делами. Вложив в нее двести двадцать тысяч долларов, мы можем рассчитывать на твердый доход не меньше, чем…

Бэби уже просто сгорала от любопытства, Дик решил сжалиться над ней.

— Скажите, Бэби, — обратился он к ней, — ведь верно, если европейцу срочно понадобился американец, можно ручаться, что речь пойдет о деньгах?

— А в чем дело? — невинно спросила она.

— Вот этот молодой приват-доцент желает, чтобы мы с ним пустились в большую коммерцию — открыли лечебницу с расчетом на американских пациентов.

Франц с тревогой воззрился на Бэби, а Дик между тем продолжал:

— Но кто мы такие, Франц? Вы носите имя,

прославленное отцом и дедом, а я написал два учебника психиатрии. Довольно ли этого, чтобы привлечь больных? И потом, у меня тоже нет таких денег — даже и десятой доли нет. — Он поймал недоверчивую усмешку Франца. — Честное слово, нет. Николь и Бэби богаты, как Крезы, но мне пока не удалось прибрать к рукам их богатство.

Теперь вся компания слушала их разговор — может быть, и та девушка за соседним столом тоже, подумал Дик. Эта мысль показалась ему забавной. Он решил — пусть Бэби поговорит за него; мы часто позволяем женщинам вести спор, исход которого от них не зависит. Бэби вдруг стала копией своего деда, такая же трезвая и предприимчивая.

— По-моему, вам стоит подумать над этим предложением, Дик. Я, правда, не слышала, что говорил доктор Грегори, но мне лично кажется…

Девушка за соседним столом нагнулась в облаке дыма и зачем-то шарила по полу. Лицо Николь приходилось как раз напротив лица Дика — ее красота, сейчас намеренно трогательная, ищущая, притягивала его любовь, всегда готовую служить ей оплотом.

— Подумайте, Дик, прошу вас, — взволнованно

настаивал Франц. — Нельзя писать книги по психиатрии без клинической базы. Юнг, Блейлер, Фрейд, Форель, Адлер — все они постоянно наблюдают случаи умственного расстройства клинически.

— А я на что? — засмеялась Николь. — Одного этого случая Дику, пожалуй, предостаточно.

— Тут совсем другое дело, — осторожно возразил Франц.

А Бэби уже думала о том, что если Николь будет жить при клинике, можно будет вовсе не беспокоиться за нее.

— Мы постараемся обдумать это самым тщательным образом, — сказала она.

Ее нахальство рассмешило Дика, но все же он решил ее немного одернуть.

— Вопрос касается меня, Бэби, — заметил он мягко. — Я, конечно, очень тронут тем, что вы готовы преподнести мне в подарок клинику.

Чувствуя, что допустила бестактность, Бэби поспешила отстраниться.

— Разумеется, это ваше личное дело.

— Вопрос настолько серьезный, что сразу его не решишь. Помимо всего прочего, я не очень себе представляю, каково нам с Николь будет вдруг очутиться на привязи в Цюрихе… — Он повер-

нулся к Францу, предвосхищая его ответ. — Да, да, я знаю. В Цюрихе есть и водопровод, и газ, и электричество — я там прожил три года.

— Я не буду торопить вас с ответом, — сказал Франц. — Но я уверен, что…

Сто пар пятифунтовых башмаков затопали к выходу, и Дик с компанией последовал за всеми. Снаружи, в холодноватом свете луны, он снова увидел ту девушку, она привязывала свои санки к последним из стоявших в ряд конных саней. Они нашли свои сани, забрались в них, и лошади тронулись под звонкое щелканье кнутов, вламываясь грудью в ядреный воздух. Кто-то цеплялся на ходу, кто-то бежал вдогонку, самые молодые сталкивали друг друга в мягкий неслежавшийся снег, снова догоняли бегом и, запыхавшись, валились на санки или вопили, что их хотят бросить. Кругом тянулись полные благостного покоя просторы; дорога шла вверх, неуклонно и бесконечно. Возня и шум вскоре утихли, казалось, древний инстинкт заставляет людей прислушиваться, не раздастся ли в снежных далях волчий протяжный вой.

В Саанене они вдруг надумали побывать на балу в ратуше и вмешались в толпу пастухов, горничных, лавочников, лыжных инструкторов,

гидов, туристов, крестьян. После пантеистического ощущения беспредельности, испытанного на дороге, вновь попасть в тесноту и духоту замкнутого пространства было все равно что зачем-то вернуть себе пышный нелепый титул, гремучий, как сапоги со шпорами, как топот футбольных бутс по бетонному полу раздевалки. В зале пели тирольские песни, и знакомые звуки иоделя разрушили романтический флер, под которым Дику предстала в первый момент вся картина. Настроение у него испортилось: он подумал было — оттого что пришлось выбросить из головы ту девушку, но потом в памяти всплыла фраза Бэби: «Мы постараемся обдумать это самым тщательным образом...», и то, что за нею слышалось: «Вы наша собственность и рано или поздно должны будете признать это. Просто глупо прикидываться независимым».

Уже давно Дику не случалось таить злобу против кого-то — с тех пор, как студентом-первокурсником он набрел на популярную статью об «умственной гигиене». Но Бэби возмутила его своим хладнокровным нахальством богачки, и ему нелегко было это возмущение сдерживать. Сотни и сотни лет пройдут, должно быть, прежде чем подобные амазонки научатся — не на словах

только — понимать, что лишь в своей гордости человек уязвим по-настоящему; но уж если это затронуть в нем, он становится похож на Шалтая-Болтая. Профессия Дика Дайвера научила его бережно обращаться с людьми. И тем не менее.

— Слишком все стали обходительны в наши дни, — сказал он, когда сани, плавно скользя, уже несли их к Гстааду.

— Что ж, это очень хорошо, — отозвалась Бэби.

— Нет, не очень хорошо, — возразил он, обращаясь к безликой связке мехов. — Ведь что подразумевается под чрезмерной обходительностью — все люди, мол, до того чувствительные создания, что без перчаток к ним и притрагиваться нельзя. А как же тогда с уважением к человеку? Непростое дело обозвать кого-то лгуном или трусом, но если всю жизнь щадить людские чувства и потворствовать людскому тщеславию, то в конце концов можно потерять всякое понятие о том, что в человеке действительно заслуживает уважения.

— Мне кажется, американцы очень большое значение придают манерам, — заметил пожилой англичанин.

— Очень, — подтвердил Дик. — У моего отца, например, манеры были наследственные — от

тех времен, когда люди сначала стреляли, а потом приносили извинения. Человек при оружии — впрочем, вы, европейцы, еще в начале восемнадцатого столетия перестали носить оружие в мирное время…

— В буквальном смысле, пожалуй…

— В буквальном смысле. И во всех прочих.

— У вас всегда были прекрасные манеры, Дик, — примирительно сказала Бэби.

Женщины, похожие на зверушек в своих меховых одеяниях, с тревогой поглядывали на Дика. Младший англичанин ничего не понял, — он был из тех молодых людей, что обожают лазить по карнизам и подоконникам, чувствуя себя при этом моряками на парусном судне, — и стал длинно и нудно рассказывать о поединке, который у него был с его лучшим другом, — как они целый час любовно колошматили друг друга по всем правилам кулачного боя. Дик развеселился.

— Значит, с каждым ударом, который он вам наносил, вы все больше ценили в нем друга?

— Я все больше уважал его.

— Мне непонятно самое начало этого дела. Вы с вашим другом ссоритесь из-за пустяка…

— Если вам непонятно, объяснять не берусь, — холодно возразил молодой англичанин.

«Вот так оно всегда и кончается, если пробуешь говорить то, что думаешь», — сказал себе Дик.

Ему сделалось стыдно — ну зачем было дразнить этого малого с его дурацким рассказом, вдвойне дурацким оттого, что неясная самому рассказчику суть сочеталась с претенциозностью изложения.

Дух карнавального веселья еще брал свое, спать не хотелось, и все гурьбой повалили в ресторан. Бармен-тунисец искусно маневрировал освещением в зале, создавая сложный световой контрапункт, где ведущей мелодией было сиянье луны за окном, отраженное от ледяной поверхности. Та девушка тоже была там, но в причудливом свете она точно слиняла, и Дик потерял к ней интерес. Куда приятней было смотреть, как меняет оттенки полутьма ресторана, как то серебром, то зеленью вспыхивают в ней огоньки сигарет, а порой, если кто-то вдруг откроет наружную дверь, сквозь толпу танцующих протягивается белая полоса.

— Скажите, Франц, — спросил Дик, — неужели вы думаете, что, просидев всю ночь напролет за кружкой пива, можно потом явиться к пациентам и внушить им доверие? Да они сразу же увидят, что вы забулдыга, а не врач.

— Я иду спать, — объявила Николь.

Дик пошел проводить ее к лифту.

— Я бы и сам не прочь, но мне еще нужно доказать Францу, что я в клиницисты не гожусь.

Николь вошла в кабину.

— У Бэби много здравого смысла, — задумчиво сказала она.

— Бэби из тех, кто…

Дверь лифта захлопнулась, и Дик мысленно договорил под гуденье вибрирующих тросов: «Бэби — ограниченная, расчетливая эгоистка».

Но через два дня, провожая Франца на станцию, Дик сказал, что подумал и склонен согласиться.

— Мы, видно, попали в заколдованный круг, — сказал он. — Жизнь, которую мы ведем, требует все большего и большего напряжения, и Николь это не по силам. А нашей летней идиллии на Ривьере пришел конец — в будущем году там уже можно ждать всех прелестей модного курорта.

Они ехали мимо горных катков, над которыми гремели венские вальсы и полоскались в воздухе флажки разных школ, расцвечивая пастельно-голубое небо.

— …Что ж, попробуем, Франц, авось дело пойдет. Ни с кем другим я бы на это не решился.

Прощай, Гстаад! Прощайте, разрумяненные мо-

розом лица, холодные, свежие цветы, снежинки в темноте. Прощай, Гстаад, прощай!

XIV

Дику снилась война; в пять часов он проснулся и подошел к окну, выходившему на Цугское озеро. Начало сна было мрачно-торжественным: синие мундиры маршировали по темной площади под музыку из «Любви к трем апельсинам» Прокофьева. Потом были пожарные машины — символы бедствия, и под конец жуткий бунт раненых на перевязочном пункте. Дик зажег лампу у изголовья и сделал подробную запись, полуиронически пометив ее: «Тыловая контузия».

Он сидел на краю кровати, и ему казалось, что вокруг него пустота — пустая комната, пустой дом, пустая ночь. В соседней спальне Николь горестно застонала со сна; видно, ей снилось что-то неприятное, и Дик ее пожалел. Для него время то вовсе не двигалось, то вдруг мелькало, как перематываемый фильм, но для Николь годы уходили в прошлое по часам, по календарю, по дням рождения, щемяще напоминавшим о непрочности ее красоты.

Вот и эти полтора года на Цугском озере прошли

для нее впустую, даже о смене времен года можно было судить только по лицам дорожных рабочих — в мае они краснели, в июне становились коричневыми, в сентябре были почти черными, а к весне снова успевали побелеть. Вернувшись в жизнь после первого приступа болезни, она так полна была надежд, так многого ждала, но жить оказалось нечем, кроме Дика, кроме детей, которых она растила без настоящей любви к ним, точно взятых на воспитание сирот. Ей нравились люди особого склада, бунтари, но общение с ними ей было вредно, нарушало ее покой; она искала секрет той силы, что питала их независимость, или способность к творчеству, или уменье идти напролом, но искала напрасно — секрет таился в борениях детства, давно и накрепко позабытых. А в Николь их интересовали только внешние черты — красота, обманчивая гармония, под которой пряталась ее болезнь. И она была одинока рядом с принадлежавшим ей Диком, который никому не хотел принадлежать.

Дик много раз пытался ослабить свою власть над ней, но из этого ничего не выходило. Им часто бывало хорошо вместе, немало чудесных ночей они провели, чередуя разговоры с любовью, но он, уходя от нее, уходил в себя, а она оставалась

ни с чем — держалась за это Ничто, смотрела на него, называла его разными именами, но знала: это всего лишь надежда, что скоро вернется к ней он.

Дик скомкал свою подушку, лег и подсунул ее под затылок, как делают японцы, чтобы замедлить кровообращение. Ему удалось еще немного поспать. Николь встала, когда он уже брился, ему слышно было, как она ходит по комнатам, коротко отдавая распоряжения прислуге и детям. Ланье пришел посмотреть, как отец бреется. За то время, что они жили при клинике, он стал с особым доверием и восхищением относиться к отцу и с преувеличенным безразличием к большинству других взрослых. Больные в его глазах были либо какие-то чудаки, либо скучные, чересчур благовоспитанные люди, лишенные индивидуальности. Он был красивый, занятный мальчуган, и Дик уделял ему много времени; их отношения напоминали отношения доброго, но взыскательного офицера с почтительным рядовым.

— Папа, — сказал Ланье, — почему, когда ты бреешься, у тебя всегда остается немножко пены на макушке?

Дик осторожно разлепил мыльные губы:

— Вот не знаю. Меня это самого удивляет. Наверно, вымазываю палец пеной, подравнивая бачки, а уж как она потом попадает на макушку, понятия не имею.

— Я завтра посмотрю с самого начала.

— Больше вопросов у тебя до завтрака не будет?

— Ну, это разве вопрос?

— Конечно, я тебе его засчитал.

Полчаса спустя Дик вышел из дому и направился в административный корпус. Ему недавно исполнилось тридцать восемь; он все еще не носил бороды, но что-то профессиональное, докторское появилось в его облике, чего совсем не было на Ривьере. Уже полтора года он жил и работал в клинике, по оборудованию, несомненно, одной из лучших в Европе. Как и клиника Домлера, это была лечебница нового типа — не одно темное, угрюмое здание, а отдельные домики, живописно разбросанные, но образующие незаметную для глаза систему. Вкус Дика и Николь сказался в организации дела — все здесь действительно радовало глаз, и недаром каждый психиатр, хоть проездом оказавшийся в Цюрихе, считал своим долгом заглянуть на Цугское озеро. Еще бы склад принадлежностей

для гольфа и тенниса, и клиника легко могла сойти за загородный клуб. «Шиповник» и «Буки», домики, отведенные тем, для кого свет мира померк безвозвратно, зелеными рощицами отгорожены были от главного корпуса — укрепления, скрытые под искусным камуфляжем. Дальше протянулись обширные огороды, часть их обрабатывалась пациентами клиники. Были также три мастерские для лечения трудом, расположенные под одной крышей, и с них доктор Дайвер начал свой утренний обход. В плотничьей мастерской, насквозь просвеченной солнцем, стоял вкусный запах опилок, запах давно минувшего деревянного века; человек пять-шесть уже принялись за работу, строгали, пилили, сколачивали — все это молча; когда Дик вошел, они только оглянулись на него тоскливыми глазами. Дик, сам мастер на всякие поделки из дерева, завел разговор о качестве плотничьих инструментов, говорил он спокойно, неторопливо, с искренним интересом. Рядом была переплетная; здесь трудились больные, более подвижные по натуре, что, впрочем, не означало бóльших шансов на излечение. В третьей мастерской ткали, низали бисер, занимались чеканкой по металлу. Работающие здесь порой облегченно вздыхали — с таким видом,

будто только что отказались от решения непосильной задачи, но их вздохи знаменовали лишь начало нового круга размышлений, не шедших по прямой, как у нормальных людей, а все время вращавшихся в одной плоскости. Кругом, кругом, кругом. И так без конца. Но от яркой пестроты материалов, употреблявшихся в этой мастерской, у случайного посетителя в первый миг создавалась иллюзия, будто здесь просто идет веселая игра в труд, как в детском саду. При виде доктора Дайвера многие заулыбались. Большинство пациентов клиники предпочитало его доктору Грегоровиусу — главным образом те, кто успел повидать иную жизнь, иной мир. Но были и такие, которые обвиняли его в недостатке внимания, в хитрости или в позерстве. Все это не так уж отличалось от того отношения, которое Дик встречал в среде здоровых людей, только здесь все чувства были преувеличены и искривлены.

Одна англичанка заговорила с ним на тему, которую считала своей монополией.

— У нас сегодня будет музыка?

— Не знаю, — ответил Дик. — Я еще не видел доктора Ладислау. А как вам понравился прошлый концерт, когда играли миссис Закс и мистер Лонгстрит?

— Так себе.

— По-моему, исполнение было прекрасное, особенно Шопен.

— А по-моему, так себе.

— Когда же наконец вы нам поиграете?

Она пожала плечами, как всегда польщенная этим вопросом.

— Как-нибудь. Но я ведь играю неважно.

Все знали, что она вовсе не умеет играть — две ее сестры стали выдающимися музыкантшами, а ей в детстве не удалось даже выучить ноты.

Из мастерских Дик пошел к «Шиповнику» и «Букам». Снаружи эти домики выглядели так же уютно, как все остальные. Николь придумала отделку помещений, скрывавшую от глаз решетки, запоры, тяжесть мебели, которую нельзя было сдвинуть с места. Воображение, подстегнутое сутью задачи, заменило изобретательность, которой она была лишена, и помогло добиться успеха — никому из непосвященных в голову не пришло бы, что изящные филигранные сетки на окнах надежно заменяют оковы, что модные стулья из гнутых металлических трубок тяжелее массивных изделий прошлых веков; даже вазы для цветов были намертво закреплены в гнездах, и любые украшения, любые завитушки были

так же необходимы на своем месте, как опорные балки в перекрытиях небоскребов. В каждой комнате Николь сумела использовать все, что можно. А в ответ на все похвалы называла себя слесарных дел мастером.

Для тех, у кого стрелка в компасе не была размагничена, в этих домиках многое показалось бы непонятным. В «Шиповнике», мужском отделении, содержался больной эксгибиционист, беседы с которым порой забавляли Дика. Этот странный тщедушный человечек настаивал, что, если бы ему без помехи дали пройти нагишом от Триумфальной арки до площади Согласия, многие проблемы были бы решены, — может быть, он и прав, думал Дик.

Самая интересная его больная помещалась в главном корпусе. Это была тридцатилетняя американка, поступившая в клинику полгода назад; она была художницей и долгое время жила в Париже. В ее истории оставалось много неясного. Какой-то родственник, приехав в Париж, увидел, что она, как говорится, не в себе, и после бесплодных попыток лечения в одной из маленьких загородных больничек, где в основном лечили туристов от запоя и страсти к наркотикам, ему удалось привезти ее в Швей-

царию. Тогда это была на редкость хорошенькая женщина, но за шесть месяцев она превратилась в сплошную болячку. Все анализы крови давали отрицательный результат, и в конце концов был установлен довольно неопределенный диагноз: нервная экзема. Последние два месяца она уже не поднималась с постели, вся покрытая струпьями, точно закованная в железо. Но мысль ее работала четко, даже с блеском, в круге, очерченном привычными галлюцинациями.

Она считалась личной пациенткой Дика. В периоды острого возбуждения никто другой из врачей не мог с нею сладить. Как-то раз, после того как ее много ночей изводила бессонница, Францу удалось гипнозом усыпить ее на несколько часов, но это было только один-единственный раз. Дик не очень верил в гипноз и редко им пользовался, зная, что далеко не всегда может привести себя в нужное состояние — однажды он пробовал гипнотизировать Николь, но она только презрительно высмеяла его.

Когда он вошел в комнату номер двадцать, лежавшая на кровати женщина его не увидела — глаза ее так запухли, что уже не открывались. Она заговорила глубоким, звучным, волнующим голосом:

— Когда же это кончится? Может быть, никогда?

— Потерпите еще немного. Доктор Ладислау сказал мне, что уже довольно большие участки кожи очистились.

— Если бы я хоть знала, за что мне такая кара, я бы тогда смирилась.

— Не стоит вдаваться в мистику — мы считаем, что это просто нервное заболевание особого вида. Оно связано с тем же механизмом, который заставляет человека краснеть. Вы легко краснели в юности?

Ее лицо было обращено к потолку.

— Мне не за что было краснеть с тех пор, как у меня прорезались зубы мудрости.

— Неужели вы не совершали никаких ошибок, никаких мелких прегрешений?

— Мне себя не в чем упрекнуть.

— Завидую вам.

Она с минуту подумала, прежде чем продолжать; повязка на лице придавала ее голосу странную гулкость, точно он шел откуда-то из-под земли.

— Я разделяю общую участь женщин моего времени, которые вздумали вступить в битву с мужчинами.

— И к вашему изумлению, это оказалась битва как битва, — ответил он, принимая ее терминологию.

— Битва как битва. — Она силилась вникнуть в эту мысль. — Или ты побеждаешь пирровой победой, или выходишь побитый и искалеченный — призрачный отзвук в разрушенных стенах.

— Вы не побиты и не искалечены, — сказал он. — Уж не думаете ли вы, что на самом деле побывали в битве?

— Взгляните на меня! — крикнула она с яростью.

— Да, вы страдаете, но мало ли женщин страдало, вовсе не пытаясь вообразить себя мужчиной! — Дик почувствовал, что спорит, а этого делать не следовало, и он поспешил переменить тон: — Во всяком случае, не нужно отдельную неудачу воспринимать как полное поражение.

— Красивая фраза, — горько усмехнулась она, и от этих слов, прорвавшихся сквозь коросту боли, Дику сделалось совестно.

— Нам бы очень хотелось доискаться до истинных причин, которые привели вас сюда, — начал он, но она перебила:

— Мое пребывание здесь символично, а что оно

символизирует, я думала, вы поймете.

— Вы больны, — машинально ответил он.

— Тогда что же это такое, на грани чего я была?

— Еще более тяжкая болезнь.

— И только?

— И только. — Ему противно было лгать, но здесь, в эту минуту, только ложь могла уплотнить и сжать до ощутимых пределов необъятность вопроса, бередившего ее мозг. — За гранью, о которой вы говорите, лишь хаос и сумятица. Не буду читать вам лекций — мы слишком хорошо знаем, как вы измучены физическими страданиями. Но только через решение повседневных задач, какими бы мелкими и неинтересными они ни казались, можно добиться того, что все станет для вас на свое место. А тогда вы опять сможете размышлять о…

Он осекся, не дав себе договорить напрашивавшееся «…о границах сознания». Эти границы, исследователем которых неизбежно становится художник, для нее теперь всегда будут запретной зоной. Слишком она тонка, хрупка душевно — продукт вырождения. Быть может, со временем ей удастся найти покой в какой-нибудь мистической вере. А в исследователи границ пусть идут

другие, с примесью здоровой крестьянской крови, с широкими бедрами и толстыми щиколотками, кто любые испытания тела и духа примет и переварит так просто, как хлеб с солью.

«…Не для вас, — чуть не произнес он вслух. — Эта пища не для вас».

И все же, видя ее великие муки, он чувствовал непреодолимое, почти сексуальное влечение к ней. Ему хотелось согреть ее в своих объятьях, как он не раз согревал Николь, он с нежностью думал даже о ее заблуждениях, потому что они были неотъемлемой частью ее существа. Оранжевый свет, пробивающийся сквозь спущенные шторы, фигура на кровати, точно надгробное изваяние, белое пятно лица, голос, взывающий из болезненной пустоты, не встречая живого отклика.

Когда он встал, слезы, точно поток лавы, хлынули в ее повязку.

— Это неспроста, — прошептала она. — Это, наверно, приведет к чему-то.

Он наклонился и поцеловал ее в лоб.

— Все мы должны стараться быть разумными, — сказал он.

Выйдя от нее, он послал к ней сиделку. Ему нужно было навестить еще нескольких больных, и прежде всего пятнадцатилетнюю американку,

воспитанную по принципу: на то и детство, чтобы развлекаться как хочется; его срочно вызвали к ней, так как она только что откромсала себе волосы маникюрными ножницами. Случай был почти безнадежный — наследственный невроз, усугубленный неправильным воспитанием. Ее отец, человек вполне нормальный и с повышенным чувством долга, старался всячески оградить свое нездоровое потомство от житейских тревог, и в результате дети выросли совершенно неспособными приноровляться к неожиданностям, которыми так богата жизнь. Единственное, что мог сделать Дик, это взять с девочки обещание, что другой раз она ничего не будет затевать, не посоветовавшись хотя бы с дежурной сестрой. А многого ли стоит обещание, когда в голове не все ладно?

Еще Дик зашел к щуплому эмигранту-кавказцу, который лежал в чем-то вроде гамака, плотно застегнутом со всех сторон и периодически погружаемом в теплую ванну. В соседней палате помещались три дочери португальского генерала, страдавшие парезом, который медленно, но верно распространялся по всему телу.

Следующий больной был сам по профессии психиатр; у него Дик посидел подольше, уверяя,

что ему лучше, гораздо лучше, а тот слушал с жадным вниманием; надежда, которую ему удавалось — или не удавалось — почерпнуть в интонациях доктора Дайвера, была последней ниточкой, связывавшей его с реальным миром. Закончив обход, Дик вызвал и уволил санитара, который не справлялся со своими обязанностями, а там подошло время ленча.

XV

Совместные трапезы с больными всегда были Дику в тягость. Разумеется, обитатели «Шиповника» и «Буков» в них не участвовали, и на первый взгляд могло показаться, будто за столом собралось самое обыкновенное общество, если бы не гнетущая атмосфера, неизменно царившая в комнате. Врачи, которые были тут же, старались поддерживать разговор, но большинство больных ели молча, не поднимая глаз от тарелки, — то ли успели за утро утомиться, то ли хуже себя чувствовали на людях.

После ленча Дик пошел домой. Николь сидела в гостиной и как-то странно посмотрела на него.

— Вот, прочти. — Она протягивала ему какое-то письмо.

Он развернул сложенный листок бумаги. Письмо было от пациентки, которая недавно выписалась из клиники вопреки мнению врачебного синклита. Оно недвусмысленно обвиняло Дика в том, что он соблазнил дочь больной, неотлучно находившуюся при ней в острый период болезни. Миссис Дайвер, говорилось в заключение, безусловно, полезно будет узнать об этом и понять, «что собой представляет ее супруг».

Дик еще раз перечитал письмо. Оно было написано вполне связным, даже изысканным языком, но он без труда распознал в нем приметы маниакального бреда. Ему сразу вспомнилась девушка, о которой шла речь, — бойкая, кокетливая брюнетка. Как-то по ее просьбе он захватил ее с собой на машине в Цюрих и вечером привез обратно. Дорогой он от нечего делать, почти из любезности один раз ее поцеловал. Она потом делала попытки продолжить флирт, но он не выказал никакого интереса. После этого — а может быть, и вследствие этого — девица стала всячески придираться к нему и вскоре забрала мать из клиники.

— Чистейшая бессмыслица, — сказал Дик. — У меня вообще не было с этой девушкой никаких отношений. Она мне даже не нравилась.

— Да, я старалась себя в этом убедить, — ска-

зала Николь.

— Ты, надеюсь, не вздумала поверить?

— Я всегда сижу дома…

Дик опустился на диван рядом с ней; его голос зазвучал укором:

— Не глупи, Николь. Это письмо писала душевнобольная.

— Я сама была душевнобольная.

Он встал и заговорил другим, властным тоном:

— Ну ладно, довольно глупостей. Собирайся и зови детей, мы сейчас едем.

Дик вел машину вдоль берега озера, по шоссе, огибавшему каждый мысок, и она то ныряла в зеленый древесный туннель, то опять выезжала на открытое место, подставляя ветровое стекло водяным брызгам и солнцу. Это была собственная машина Дика, «рено», такой крошечный, что все казались в нем великанами, кроме детей, которые сидели сзади, а над ними, как мачта, торчала mademoiselle. Они знали наизусть каждый километр этой дороги — где запахнет нагретой хвоей, а где будет валить из трубы черный дым. Высоко стоявшее солнце с рожицей, как на картинке, нещадно пекло соломенные детские шляпы.

Николь молчала; Дику было не по себе под ее жестким, немигающим взглядом. Он часто чув-

ствовал себя с ней неуютно, порой она утомляла его неожиданными всплесками саморазоблачений, которые приберегала для него одного: «Я такая, — нет, верней, я такая». Но сегодня он был бы рад, если бы она тараторила без умолку и хоть на миг дала бы ему заглянуть в ее беспокойные мысли. Опаснее всего было, когда она вот так уходила в себя и замыкалась на все запоры.

В Цуге mademoiselle вышла, а Дайверы поехали дальше. Чтобы попасть на Агирскую ярмарку, им пришлось пробираться через целое стадо дорожных катков.

Наконец Дик поставил машину, и так как Николь смотрела на него и не двигалась с места, он ласково сказал: «Выходи, дорогая». Ее губы вдруг раздвинулись в зловещей улыбке, и у него екнуло сердце, но он повторил, словно ничего не заметив: «Выходи, а то дети не могут вылезти».

— О, я выйду, — сказала она, вырвав эти слова из какого-то сюжета, так стремительно закручивавшегося у нее в голове, что он не мог ухватить его суть. — Можешь не беспокоиться. Я выйду…

— Вот и выходи.

Она шла, отвернувшись, но на ее лице все еще блуждала улыбка, рассеянная и в то же время насмешливая. Только когда Ланье окликнул ее

несколько раз, ей удалось поймать в поле зрения один предмет — ширму бродячего кукольника — и за нее зацепиться.

Дик не знал, что предпринять. Двойственность его отношения к ней — как мужа и как психиатра — парализовала его энергию. За эти шесть лет было несколько случаев, когда она сбивала его с правильного пути, то вызывая обезоруживающее чувство жалости, то увлекая полетом фантазии, бессвязной, но яркой; и только потом, придя в себя, точно после припадка, он осознавал, что она оказалась сильнее его.

Дети заспорили между собой — тот ли это Пульчинелла, которого они прошлый год видели в Канне, или другой; но спор был улажен, и все семейство двинулось дальше между раскинутых под открытым небом ярмарочных строений. Белые чепцы женщин из разных кантонов, их бархатные безрукавки и яркие сборчатые юбки стушевывались среди пестро размалеванных палаток и ларьков. Где-то звенели бубенцы и подвывала шарманка.

Вдруг Николь бросилась бежать. Это произошло так неожиданно, что Дик спохватился, когда ее желтое платье уже мелькало в толпе впереди — охряный стежок на стыке яви и сна. Он

побежал за ней; тайком она убегала, и тайком он преследовал ее. В пронзительном ужасе, вдруг наполнившем этот жаркий день, он позабыл о детях; потом круто повернул назад, нашел их, схватил за руки и, таща за собой, заметался от палатки к палатке.

— Madame! — крикнул он молодой женщине, сидевшей за белым лотерейным барабаном. — Est-ce que je peux laisser ces petits avec vous deux minutes? C'est très urgent — je vous donnerai dix francs.

— Mais oui.[82]

Он втолкнул детей в палатку.

— Alors — restez avec cette gentille dame.

— Oui, Dick.[83]

Он опять побежал, но Николь уже нигде не было видно. Он хотел обогнуть карусель и только тогда понял, что кружит вместе с ней, когда заметил, что рядом все одна и та же лошадь. Он протолкался сквозь толпу у буфетной стойки, потом увидел шатер прорицательницы и, вспом-

---

[82] notes: 82

— Мадам... не могу ли я на две минуты оставить у вас этих малышей? У меня важное дело, я вам заплачу десять франков.

— Ну конечно *(фр.)*.

[83] notes: 83

— Вот побудьте с этой милой дамой.

— Хорошо, Дик *(фр.)*.

нив пристрастие Николь ко всяким гаданьям, рванул полу шатра и заглянул внутрь. Низкий голос загудел:

— La septième fille d'une septième fille née sur les rives du Nil… Entrez, Monsieur.[84]

Он отбросил полу и побежал дальше, к озеру, где на фоне синего неба совершало свои обороты небольшое «чертово колесо». Здесь он ее нашел.

Она сидела одна в вагонетке, которая сейчас шла сверху вниз; подойдя ближе, он увидел, что она истерически хохочет. При следующем обороте он вмешался в толпу, уже заметившую неестественность этого хохота.

— Regardez-moi ça!

— Regardez donc cette Anglaise![85]

Вагонетка опять шла вниз, но вращение колеса замедлялось, и музыка тоже играла все медленнее. С десяток людей окружило вагонетку, когда колесо остановилось; на бессмысленный смех Николь они непроизвольно отвечали такими же бессмысленными улыбками. Увидев Дика, Ни-

---

[84] notes: 84

Седьмая дочь седьмой дочери, рожденной на берегах Нила… Входите, месье *(фр.)*.

[85] notes: 85

— Посмотрите-ка на нее!
— Посмотрите-ка на эту англичанку! *(фр.)*

коль сразу перестала смеяться; она попыталась было ускользнуть, но он крепко схватил ее под руку и потащил прочь.

— Почему ты дала себе так распуститься?

— Ты отлично знаешь — почему.

— Нет, не знаю.

— Нечего притворяться — пусти мою руку, — ты, видно, считаешь меня глупей, чем я есть. Думаешь, я не видела, как та девчонка строила тебе глазки, — та, маленькая, черненькая. Просто срам — она же совсем ребенок, от силы пятнадцать лет. Думаешь, я не видела?

— Присядем здесь на минутку, тебе нужно успокоиться.

Они сели за столик; ее взгляд был до краев переполнен подозрением, и она все время делала рукой такой жест, будто отгоняла что-то, мешавшее ей смотреть.

— Я хочу выпить, закажи мне коньяку.

— Коньяку тебе нельзя, если хочешь, можешь взять кружку пива.

— А почему нельзя коньяку?

— Нельзя, и все. Теперь слушай: никакой черненькой девушки не было, это галлюцинация, понятно тебе?

— Ты всегда говоришь «галлюцинация», если я

вижу то, что ты хотел бы от меня скрыть.

Он смутно чувствовал себя виноватым; так бывает, когда привидится дурной сон, будто тебя обвинили в преступлении и ты уже готов в нем сознаться, а потом просыпаешься и понимаешь, что никакого преступления ты не совершал, но чувство вины остается. Он отвел глаза.

— Я оставил детей в палатке у цыганки. Нужно сходить за ними.

— Ты кем же себя вообразил? — спросила она. — Гипнотизером из «Трильби»?

Четверть часа назад это была семья. Сейчас, непроизвольно оттесняя Николь плечом в сторону, он думал о том, что все они, взрослые и дети, — жертва несчастного случая.

— Сейчас поедем домой.

— Домой! — крикнула она так отчаянно, что ее голос дрогнул и сорвался на высокой ноте. — И опять сидеть, и гнить взаперти, и находить сгнивший прах детей в каждом открывающемся ящике. Какая гадость!

Почти с облегчением он увидел, что в этом вопле она выложилась вся до конца, и Николь обостренным до предела чутьем угадала спад его напряжения. Взгляд ее смягчился, и она стала просить:

— Помоги мне, Дик, помоги мне!

У него защемило сердце. Ужасно, что такая прекрасная башня не может стоять без подпоры, а подпорой должен быть он. В какой-то мере это даже было правильно — такова роль мужчины: фундамент и идея, контрфорс и логарифм. Но Дик и Николь стали, по существу, равны и едины; никто из них не дополнял и не продолжал другого; она была Диком тоже, вошла в его плоть и кровь. Он не мог наблюдать со стороны распад ее личности — это был процесс, затрагивавший и его собственную личность. Его интуиция врача выливалась в нежность и сострадание, но сделать он мог только то, что предписывала современная методика, — постараться затормозить процесс. Сегодня же он вызовет специальную медицинскую сестру из Цюриха, чтобы поручить Николь ее заботам.

— Ты ведь можешь помочь.

Ее детская настойчивость заставила Дика встать с места.

— Ты мне помогал раньше, значит, и теперь можешь.

— Я могу только то, что делал тогда.

— Неужели нет никого, кто бы мне помог по-настоящему?

— Есть, наверно. Прежде всего ты сама. Ну пойдем, отыщем детей.

Лотерейных палаток с белыми барабанами оказалось много. Дик подходил то к одной, то к другой, но везде на его вопрос только пожимали плечами, и в конце концов он даже забеспокоился. Николь исподлобья взирала на все это издали; ей сейчас не нужны были дети, она отвергала их, как частицу того ясного мира, который она стремилась замутить. Наконец Дик нашел их в толпе женщин, восторгавшихся ими, точно красивыми вещами в витрине, и крестьянских ребятишек, глазевших на них, разинув рты.

— Merci, Monsieur, ah Monsieur est trop généreux. C'était un plaisir, M'sieur, Madame. Au revoir, mes petits.[86]

В обратный путь тронулись, точно обваренные бедой; тяжесть взаимного недоверия и боязни перегрузила машину. Дети обиженно примолкли. Все приняло непривычный, отвратительный, темный цвет — цвет печали. Когда подъезжали к Цугу, Николь с судорожным усилием пролепетала уже сказанное однажды — что желтый домик близ дороги выглядит будто картинка,

---

[86] notes: 86

Спасибо, месье, ах, месье слишком щедр. Это было одно удовольствие, месье, мадам. До свидания, деточки *(фр.)*.

на которой еще не высохли краски; но это была лишь попытка ухватиться за чересчур быстро разматывающийся канат.

Дик старался отдыхать за рулем — самое трудное было впереди, он знал, что, может быть, ночь напролет просидит с Николь, восстанавливая для нее треснувший мир. Недаром слово «шизофрения» обозначает расщепление сознания — Николь то была человеком, которому ничего объяснять не нужно, то таким, которому ничего *нельзя* объяснить. С ней нужно было быть активно и утверждающе настойчивым, держать широко распахнутыми ворота в реальную жизнь и закрывать все лазейки, ведущие в сторону. Но больной ум хитер и изобретателен; он как река перед плотиной — не прорвет, так зальет, не зальет, так проложит обходное русло. Одному тут не справиться. Но на этот раз, казалось ему, Николь должна сама победить свой недуг; он не будет спешить, пусть она вспомнит методы, которыми ее лечили прежде, и взбунтуется против них. А пока, устало думал он, придется вернуться к режиму, отмененному уже с год тому назад.

Он решил сократить путь и свернул на другую, горную дорогу, но тут машина вдруг резко вильнула влево, потом вправо, накренилась, став на

два колеса, снова выровнялась — это Дик, оглушенный истошным воплем Николь, придавил безумную руку, вцепившуюся в баранку, — потом вильнула еще раз и сорвалась с дороги; ломая кусты, на сотню футов съехала вниз по склону и, наконец, накренившись еще сильней, уткнулась в дерево почти под прямым углом.

Дети кричали, Николь тоже кричала, ругаясь и норовя расцарапать Дику лицо. Он с силой завел ей руку назад, а сам думал только об одном — устойчиво ли положение машины, но об этом трудно было судить изнутри. Тогда он осторожно перелез через борт и вытащил обоих детей; убедившись, что машина уже не скатится дальше, он выпрямился и с минуту постоял, дрожа и задыхаясь.

— Ах, ты...! — выкрикнул он наконец.

Она весело захохотала в ответ, без страха, без стыда, без заботы. Подойди кто-нибудь в эту минуту, ему бы и в голову не пришло, что это она — виновница происшествия; она смеялась, как ребенок, которому сошла с рук невинная шалость.

— А, испугался, испугался! — дразнила она Дика. — Не хочешь умирать!

Ее слова звучали с такой убедительной силой,

что Дик на мгновение усомнился: может быть, он и в самом деле испытал страх за себя? Но тут он увидел бледные, растерянные лица детей, и ему захотелось размозжить скалившуюся перед ним маску.

Выше на лесистом склоне белела гостиница; по автомобильной дороге до нее было с полкилометра пути, но прямиком в гору не больше ста ярдов.

— Возьми Топси за руку, — сказал сыну Дик, — только держи покрепче — и взбирайся вверх, вон там есть тропка, видишь? Когда придете в гостиницу, скажешь: «La voiture Diver est cassée».[87] И пусть кто-нибудь сейчас же спустится сюда.

Ланье, не понимая, что произошло, но, угадывая что-то необычное и страшное, спросил:

— А ты что будешь делать, Дик?

— Мы останемся здесь, около машины.

Уходя, никто из детей не оглянулся на мать.

— Осторожнее переходите дорогу! — крикнул вдогонку Дик. — Гляньте налево, потом направо!

Оставшись одни, он и Николь посмотрели друг на друга в упор, точно яркий свет вспыхнул в окнах двух противоположных домов. Потом Ни-

---

[87] notes: 87
У Дайверов сломалась машина *(фр.)*.

коль, не торопясь, вынула из сумочки зеркальце и поправила растрепавшиеся волосы на висках. Дик перевел глаза на склон, по которому карабкались дети; когда они скрылись в сосновой чаще, он обошел свой «рено», соображая, значительны ли повреждения и как вытащить машину наверх, на дорогу. По примятой траве можно было проследить зигзагообразную трассу их спуска. Дик не чувствовал гнева, ему только было невыносимо противно.

Через несколько минут прибежал хозяин гостиницы.

— Боже мой! Как это случилось — вы что, ехали на очень большой скорости? Повезло вам! Если бы не это дерево, машина просто свалилась бы вниз.

Присутствие Эмиля, такого реального в своем черном фартуке, с каплями пота на пухлом лице, вернуло Дику душевное равновесие. Он жестом показал Николь, что хочет помочь ей выбраться из машины; но она, не дожидаясь помощи, перепрыгнула через борт, упала было, поскользнувшись на склоне, но тотчас же встала на ноги. Видя, как Дик с хозяином силятся поднять машину, она вызывающе вздернула подбородок. Но Дик усмотрел в этом благоприятный знак и

сказал ей:

— Ступай к детям, Николь, и дожидайся вместе с ними.

Только после ее ухода он спохватился — ведь в гостинице она легко достанет коньяк, которого так добивалась. Не стоит надрываться, сказал он Эмилю, приедет из клиники шофер с другой машиной и вытянет эту на буксире. И они оба поспешили в гостиницу.

XVI

— Я хочу уехать, — сказал он Францу. — На месяц, на полтора, сколько будет возможно.

— Конечно, уезжайте, Дик. Ведь мы так и уговаривались с самого начала — вы сами ни разу не захотели оставить клинику. Если вы с Николь…

— Я не поеду с Николь. Я хочу уехать один. Последняя история меня доконала. Если мне удается поспать хоть два часа в сутки, это одно из чудес Цвингли.

— Вы хотите отдохнуть от нее?

— Я хочу отдохнуть от самого себя. Как вам кажется, управитесь вы без меня, если я поеду на берлинский съезд психиатров? Вот уже три месяца Николь вполне спокойна, и она привязалась к

сестре, которая за ней ухаживает. Господи, Франц, вы единственный человек на свете, к кому я могу обратиться с такой просьбой.

Франц неопределенно хмыкнул — кто знает, может быть, и ему надоест когда-нибудь думать только об интересах своего компаньона.

Через неделю Дик приехал на Цюрихский аэродром и сел в самолет, отправлявшийся в Мюнхен. Только когда большая машина взмыла в синюю высь, он почувствовал, как велика его усталость. Он откинулся в кресле, весь отдавшись блаженному ощущению покоя, не желая ни о чем думать, — пусть больные болеют, моторы ревут, а летчик ведет самолет, как положено. На съезде он не собирался бывать; ему все было известно заранее — Блейлер и старший Форель сделают доклады, которые можно потом прочесть дома, затем некий американец расскажет о том, как он успешно лечит dementia praecox[88] удаленьем зубов или прижиганьем миндалин, и все будут слушать с насмешливо-почтительным интересом — еще бы, ведь Америка так могущественна и так богата. Кроме этого американца, будут и другие — рыжий Шварц с ликом святого и с

[88] notes: 88
Раннее слабоумие *(лат.).*

неистощимым терпением, позволяющим ему раздваиваться между Старым и Новым Светом, и десятка два похожих на висельников врачей-коммерсантов, приехавших частью для повышения престижа, что поможет ухватывать лакомые кусочки в судебно-психиатрической практике, частью чтобы набраться новейших софизмов и потом пускать их в дело, тем способствуя смешению реальных и мнимых ценностей. Будут также циничные латиняне и какой-нибудь ученик Фрейда из Вены. Единственным, кого стоило бы послушать, будет великий Юнг, выдержанный, неутомимый, легко переходящий от дебрей антропологии к неврозам у детей школьного возраста. Тон на съезде сперва станут задавать американцы, и все пойдет как в каком-нибудь Ротари-клубе, потом скажется более крутой европейский замес, а под конец американцы выложат свой главный козырь — объявят о колоссальных пожертвованиях и стипендиях, об открытии новых больниц и институтов, и перед лицом всемогущих цифр европейцам останется только смиренно стушеваться. Но он всего этого не увидит.

Самолет огибал Форарльбергские Альпы, и Дик идиллически наслаждался видом швейцарских

деревень. Их неизменно было пять или шесть в поле зрения, каждая с церковью посередине. С высоты все на земле казалось просто, как просто все при игре в куклы или солдатики, даже если это игра в войну. Так, должно быть, смотрят на мир отставные полководцы и государственные деятели, да и рядовые люди, удалившиеся от дел. Во всяком случае, это была хорошая форма отдыха.

Англичанин, сидевший через проход, попробовал завязать с Диком разговор, но Дик в последнее время испытывал неприязнь к англичанам. Англия напоминала ему богатого барина, который вернулся домой после бурного кутежа, и так как у него нечиста совесть перед домашними, он спешит непринужденно поболтать с каждым из них; но всем понятно, что ему просто нужно вернуть себе самоуважение, чтобы вновь почувствовать себя хозяином в доме.

У Дика было с собой несколько журналов, — что нашлось в аэродромном киоске: «Сенчюри», «Моушн пикчер», «L'Illustration», «Fliegende Blätter», но читать ему не хотелось. Приятнее было мысленно спускаться в проплывавшие внизу деревушки и здороваться с местными жителями. Он отсиживал там церковные службы, как ко-

гда-то отсиживал их в приходской церкви отца в Буффало, пахнувшей накрахмаленной плесенью воскресных нарядов. Он внимательно слушал евангельские премудрости, умирал на кресте и был предан погребению в уютной церквушке и, как когда-то, мучительно колебался под взглядом соседки по скамье, положить ли пять центов или десять на тарелку для сбора пожертвований.

Англичанин вдруг опять обратился к нему с какой-то расхожей фразой, после чего попросил журнал почитать. Дик с радостью отдал ему все четыре, а сам стал думать о предстоящем ему путешествии. Застегнув свою куртку из ворсистой австралийской шерсти — волк в овечьей шкуре! — он со вкусом рисовал себе непорочную синь Средиземного моря, землю под оливами, спекшуюся на солнце, крестьяночку из-под Савоны с румянцем, ярким, как раскраска буквиц в старинном католическом требнике. Он возьмет ее на руки и утащит через границу…

…но тут же он ее бросил — скорей дальше, к островам Греческого архипелага, к мутным волнам незнакомых гаваней, к девушке, затерявшейся на чужом берегу, к луне из народных песен. Память Дика хранила много всякого хлама из мальчишеских лет. Но за всей этой пестрой, сумбурной

дребеденью никогда не угасал факел мучительно бьющейся мысли.

XVII

Томми Барбан был героем, Томми был властителем дум — Дик набрел на него на Мариенплац в Мюнхене, в одном из тех кафе, где играют в кости «по маленькой» на плетеных узорчатых скатертях и в воздухе звон стоит от политических споров и шлепанья по столу игральных карт.

Томми, сидя за столиком, оглушал собутыльников раскатами боевого хохота: «Умбу — ха-ха! Умбу — ха-ха!» Как правило, он пил немного; его главная сила была в бесстрашии, и приятели всегда немного побаивались его. Недавно польский хирург удалил ему восьмую часть черепной коробки; кость еще не срослась под волосистым покровом, и самый хилый из посетителей кафе легко мог убить его одним щелчком свернутой в жгут салфетки.

— …знакомьтесь: князь Челищев… — Это был седой, потрепанный русский лет пятидесяти. — …мистер Маккиббен… мистер Хэннан…

Хэннан, вертлявый, кругленький, с черными глазками, поблескивавшими из-под черной

курчавой шевелюры — добровольный шут компании, — сразу же сказал Дику, который протянул было руку, чтобы поздороваться:

— Э, нет, нет — вы мне раньше скажите, что у вас за шашни с моей тетушкой?

— Простите, я…

— То-то, что вы. И вообще, какая нелегкая принесла вас в Мюнхен?

— Умбу — ха-ха! — засмеялся Томми.

— Ведь, наверно, у вас есть свои тетки? Вот и не зарьтесь на чужих.

Дик улыбнулся, а Хэннан уже переменил фронт:

— Не желаю я больше слушать про теток. Может, вы это просто для отвода глаз. В самом деле, приходит человек, никто его знать не знает, а он с ходу начинает плести небылицы о тетках. А вдруг вы какой-нибудь злоумышленник?

Томми еще посмеялся, потом сказал добродушно, однако решительно:

— Ладно, хватит, Карли. Садитесь, Дик, и рассказывайте. Как вы, как Николь?

Никто из этих людей не был ему нужен, никто не внушал особой симпатии — он просто отдыхал здесь, готовясь к новым сражениям; так опытный спортсмен экономит силы перед

решающей схваткой, лишь по необходимости отражая удары, тогда как другие, помельче, даже в момент передышки не умеют освободиться от изматывающего нервного напряжения.

Хэннан, все еще не угомонившийся, пересел за стоявшее рядом пианино и стал брать рассеянные аккорды, время от времени свирепо оглядываясь на Дика и гудя: «Ваши тетки!», потом спел по нисходящей гамме: «А я и не говорил „тетки“ — я сказал — „щетки“».

— Ну рассказывайте же, — повторил Томми. — Что-то вы… — он не сразу подыскал слово, — … посолиднели, что ли; не такой денди, как были.

Дику в этом замечании почудился злопыхательный намек, будто его жизненная энергия идет на убыль; и в ответ он уже собрался съязвить по поводу костюмов Томми и князя Челищева: костюмы были столь причудливого покроя и расцветки, что делали их похожими на парочку хлыщей из тех, что прогуливаются по Бийл-стрит воскресным утром. Но князь опередил его.

— Я вижу, вы разглядываете наши костюмы, — сказал он. — Мы, знаете ли, только что из России.

— А костюмы нам шил в Польше придворный портной, — подхватил Томми. — Да, да, я не шу-

чу — личный портной Пилсудского.

— Вы что, были в туристской поездке? — спросил Дик.

Оба расхохотались, и князь довольно бесцеремонно хлопнул Томми по плечу.

— Вот именно — в туристской поездке. В продолжительной туристской поездке. Проехали по всем Россиям. И не как-нибудь, а с помпой.

Дик ждал объяснения. Оно было дано мистером Маккиббеном — в двух словах:

— Они бежали.

— Так вы сидели там в тюрьме?

— Я сидел, — сказал князь Челищев, уставясь на Дика пустыми желтыми глазами. — Верней, не сидел, а скрывался.

— Наверно, нелегко вам было выбраться за границу?

— Да, трудности были. Пришлось застрелить трех красноармейцев-пограничников. Двух застрелил Томми... — Он показал два пальца — манера французов. — Одного я.

— Вот это для меня как-то непонятно, — сказал мистер Маккиббен. — Почему, собственно, они не хотели вас выпустить?

Хэннан повернулся на табуретке спиной к пианино и сказал, подмигивая остальным:

— Мак думает, марксисты — это те, кто учился в школе Святого Марка.

Последовал рассказ, выдержанный в лучших традициях жанра: старый аристократ девять лет живет под чужим именем у своего бывшего лакея и работает в государственной пекарне; восемнадцатилетняя дочка в Париже знакомится с Томми Барбаном… Дик слушал и думал про себя, что три молодые жизни — непомерно большая цена за этот мумифицированный пережиток прошлого.

Зашел разговор о том, страшно ли было Челищеву и Томми.

— В холодные дни — да, — сказал Томми. — Холод всегда нагоняет на меня страх. Мне и на войне было страшно в холодные дни.

Маккиббен встал:

— Мне пора. Я завтра с утра на машине уезжаю в Инсбрук с женой, детьми и — и гувернанткой.

— Я тоже еду в Инсбрук завтра, — сказал Дик.

— Да ну? — воскликнул Маккиббен. — Знаете что, едемте с нами. У меня большой «паккард», а нас совсем немного — жена, дети, я сам и — и гувернантка.

— К сожалению, я никак…

— Собственно, она не совсем гувернантка, — продолжал Маккиббен и почти умоляюще

посмотрел на Дика. — Между прочим, жена знакома с вашей свояченицей, Бэби Уоррен.

Но Дик проявил твердокаменную стойкость.

— Я сговорился ехать вместе с двумя знакомыми.

— А-а. — Маккиббен явно был опечален. — Что ж, в таком случае до свидания. — Он отвязал двух чистокровных жесткошерстых терьеров от ножки соседнего стола и собрался уходить. Дик мысленно нарисовал себе картину: битком набитый «паккард», громыхая, катит по дороге в Инсбрук с супругами Маккиббен, их детьми, их чемоданами, тявкающими псами и — и гувернанткой.

— В газете сказано, что им известно имя фактического убийцы, — услышал он голос Томми. — Но поскольку это случилось в подпольном кабачке, родственники просили не называть никаких имен.

— Заботятся о семейной чести.

Хэннан взял на пианино громкий аккорд, чтобы привлечь к себе внимание.

— На мой взгляд, и ранние его опусы — не бог весть что, — сказал он. — Даже если не говорить о европейцах, в Америке тоже найдется десятка два музыкантов, которые пишут так же, как

писал Норт.

Только сейчас Дик понял, что разговор идет об Эйбе Норте.

— Да, но разница в том, что Эйб был первым, — сказал Томми.

— Чепуха, — упорствовал Хэннан. — Это друзья раструбили, что он великий музыкант, чтобы как-нибудь оправдать его беспробудное пьянство.

— О чем вы говорите? — спросил Дик. — Что с Эйбом? Какая-нибудь неприятность?

— Вы разве не читали сегодня «Геральд»?

— Нет.

— Эйб умер. Его избили в пьяной драке, в каком-то нью-йоркском притоне. Он кое-как дополз к себе в Рэкет-клуб и там умер.

— *Эйб Норт?*

— Да. В газете сказано…

— *Эйб Норт?* — Дик привстал: — Он умер? Это правда?

Хэннан повернулся к Маккиббену.

— Вовсе он не в Рэкет-клуб приполз умирать, а в Гарвардский клуб. Он никогда не состоял в Рэкет-клубе.

— Но так сказано в газете, — настаивал Маккиббен.

— Значит, газета ошиблась. Я вам точно го-

ворю.

…Избили в пьяной драке, и он умер…

— Да я всех членов Рэкет-клуба знаю наперечет, — говорил Хэннан. — Наверняка это был Гарвардский клуб.

Дик вышел из-за стола. Томми тоже. Князь Челищев очнулся от каких-то смутных раздумий ни о чем, — быть может, о том, удастся ли ему выбраться из России, — вопрос, занимавший его так долго, что он все еще не мог его позабыть. Увидев, что Дик и Томми уходят, он побрел вслед за ними.

…Эйб Норт умер, избитый в пьяной драке…

В отель Дик шел как во сне. Томми шагал рядом и говорил без умолку:

— Мы уедем в Париж, как только будут готовы костюмы, которые мы тут заказали. Я собираюсь заняться маклерским делом, не могу же я в таком виде явиться на биржу. У вас в Америке теперь все наживают миллионы. Вы в самом деле уезжаете завтра? Нам даже не удастся провести с вами вечер. У князя тут в Мюнхене когда-то была дама сердца. Он к ней позвонил, но оказалось, что она пять лет назад умерла, и сегодня мы обедаем у ее дочерей.

Князь кивнул головой.

— Может быть, я устрою, чтобы доктор Дайвер тоже получил приглашение.

— Нет, нет, — поспешил отказаться Дик.

Он спал крепким сном без сновидений; разбудили его звуки траурного марша под окном. По улице тянулась длинная процессия: военные в полной форме, в знакомых касках образца 1914 года, тучные старики во фраках и цилиндрах, бюргеры, аристократы, простой народ. Это местное общество ветеранов войны шло возлагать венки на могилы павших. Шествовали неторопливо и чинно — дань почета былому величию, утраченной силе, забывшемуся горю. Лица были официально скорбны, но у Дика, глядевшего из окна, вдруг сдавило горло тоской об умершем Эйбе и о собственной молодости, которая уже десять лет как прошла.

XVIII

Он приехал в Инсбрук уже на исходе дня, отправил чемоданы в отель, а сам пошел слоняться по городу. Коленопреклоненный император Максимилиан молился в лучах закатного солнца над оплакивавшими его бронзовыми подданными; четверо начинающих иезуитов с книгами

в руках расхаживали по аллее Университетского парка. Потом солнце село, и мраморные свидетельства былых осад, юбилеев, бракосочетаний быстро затянул сизый сумрак. Дик съел Erbsen-Suppe[89] с кусочками Würstchen,[90] выпил четыре порции пильзенского пива и отказался от устрашающего десерта, известного под названием Kaiser-Schmarren.[91]

Горы нависли над самым городом, и все-таки Швейцария была далеко. И Николь была далеко. Вечером, гуляя по саду отеля, он думал о ней отрешенно и нежно, с любовью к ее лучшему «я». Ему вспомнилось, как однажды она прибежала к нему по росистой траве в легких туфельках, промокших насквозь. Стала на его ноги, примостилась поудобнее и подняла к нему лицо, точно книгу, раскрытую посередине.

— Ты меня сейчас очень любишь, да? — прошептала она. — Я не требую, чтобы ты всегда любил меня так, но я прошу тебя не забывать этот вечер. Где-то в глубине самой себя я всегда буду

---

[89] notes: 89
Гороховый суп *(нем.).*

[90] notes: 90
Сосисок *(нем.).*

[91] notes: 91
Забавы кайзера *(нем.).*

такая, как я сейчас.

А он убежал от нее, спасая себя, — вот о чем он думал, гуляя по темному саду. Он себя потерял, кто знает, когда, в какой именно час, день, неделю, месяц или год. Когда-то он умел проникать в суть вещей, решать самые сложные уравнения жизни, как простейшие случаи простейших болезней. Но за годы, прошедшие с того дня, когда он впервые увидел Николь на Цюрихском озере, и до встречи с Розмэри, эта способность притупилась в нем.

Пример отцовской борьбы за существование в нищенских церковных приходах научил его, по природе чуждого стяжательству, ценить деньги. Если б еще тут играло роль естественное стремление к твердой почве под ногами, но никогда он не был так уверен в себе, так внутренне независим, как в пору своей женитьбы на Николь. И тем не менее его купили, как gigolo,[92] и каким-то образом он допустил, что весь его арсенал оказался упрятанным в уорреновских сейфах.

«Нужно было составить брачный договор по европейскому образцу, но не все еще потеряно. Восемь лет я потратил зря, пытаясь научить

---

[92] notes: 92
Платный танцор в дансинге *(фр.).*

богачей азбуке человеческой порядочности, но отчаиваться рано. У меня еще много неразыгранных козырей на руках».

Он бесцельно бродил между побуревшими розовыми кустами, окаймленными влажным папоротником, смутно клубящимся в темноте. Вечер был теплый для октября, но Дику не было жарко в плотной твидовой куртке, застегнутой у ворота на резиновую петельку. От черного дерева отделилась женская фигура, и он догадался, что это та девушка, которую он, выходя, обогнал в вестибюле отеля. Он был влюблен сейчас во всех красивых женщин, которых встречал, в их силуэты, темнеющие вдали, в их тени на стенах.

Девушка стояла спиной к нему, любуясь панорамой городских огней. Он чиркнул спичкой в расчете, что она оглянется на звук, но она не шевельнулась.

…Что это, призыв? Или, напротив, знак небрежения? Он долго прожил вдали от мира простых желаний и чувств, и это делало его неуверенным и нерешительным. Может быть, у завсегдатаев тихих курортов есть особый код, по которому они находят друг друга?

…Что, если от него ждут следующего хода? Ребенок, встретив другого, незнакомого ребенка,

улыбается ему и говорит: «Давай играть вместе».

Он шагнул ближе, тень качнулась в сторону. Вот сейчас его осадят, как блудливого юнца-барабанщика из слышанного когда-то рассказа. Сердце громко билось от близости не изученного, не подвергнутого анализу, не препарированного, не получившего научного объяснения. Вдруг он отвернулся, и тотчас же девушка зашевелилась тоже, нарушив узор черной листвы, частью которого была, обогнула скамейку и неторопливым, но решительным шагом пошла к отелю.

Наутро Дик с двумя альпинистами и с проводником начали восхождение на Биркшпитце. Приятно было, когда высокогорные пастбища остались позади и звон колокольцев доносился откуда-то снизу. Дик заранее предвкушал ночлег в горной хижине, ему нравилось уставать, нравилось подчиняться проводнику, он наслаждался тем, что никто здесь его не знает. Но к середине дня погода переменилась, повалил мокрый снег, потом пошел град, в горах грохотал гром. Дик и один из альпинистов хотели идти дальше, но проводник воспротивился. Пришлось, скользя и оступаясь, спускаться назад в Инсбрук, с тем чтобы наутро снова отправиться в путь.

После обеда с бутылкой терпкого местного

вина в пустом ресторане Дика вдруг охватило непонятное волнение, — непонятное, пока он не вспомнил вчерашний эпизод в саду. Перед ужином он опять повстречал ту девушку в вестибюле, и на этот раз она окинула его явно одобрительным взглядом, но ему тоскливо подумалось: «А зачем? В свое время я мог бы иметь столько хорошеньких женщин, только выбирай, — но зачем затевать все это сейчас? Когда от прежних желаний остался лишь огарок, лишь бледная тень. Зачем?»

Воображение несло его дальше, но былой аскетизм, заставивший отвыкнуть от многого, одержал верх. «Черт, вернись я на Ривьеру, я хоть завтра могу сойтись с Джейнис Карикаменто или с маленькой Уилбурхэйзи. Только стоит ли осквернять память этих лет подобной дешевкой?»

Но волнение его не улеглось, и с веранды он ушел к себе наверх, поразмыслить без помех. Одиночество, физическое и душевное, порождает тоску, а тоска еще усиливает одиночество.

В раздумье он ходил по комнате взад и вперед, попутно раскладывая еще сырую одежду на чуть теплых радиаторах отопления. На глаза вдруг попалась телеграмма Николь — она каждый день

телеграфировала ему, где бы он ни находился. Телеграмма пришла еще перед ужином, но Дику не захотелось ее распечатывать, может быть, тоже из-за вчерашнего. Вскрыв теперь конверт, он нашел в нем телеграмму из Буффало, пересланную через Цюрих:

Ваш отец тихо скончался сегодня вечером
Холмс

Острая боль пронизала его, заставила напрячь все силы сопротивления; какой-то ком образовался в животе и, нарастая, подкатил к самому горлу.

Он перечитал известие еще раз. Потом сел на кровать, тяжело дыша, с остановившимся взглядом, еще не отделавшись от эгоистической мысли, сразу приходящей в голову детям, когда они узнают о смерти родителей: а как отзовется на мне потеря самой ранней и самой надежной защиты в жизни?

Когда миновала эта атавистическая вспышка, он опять зашагал по комнате, порой останавливаясь, чтобы заглянуть в телеграмму. Холмс числился помощником отца, но на деле уже лет десять был фактическим настоятелем приходской церкви.

Отчего он умер? От старости — ему было семьдесят пять. Он прожил долгую жизнь. Грустно, что он умер совсем одиноким, пережив и жену, и всех своих братьев и сестер. Оставались какие-то родственники в Виргинии, но они были бедны и не смогли приехать на Север, вот Холмсу и пришлось подписать телеграмму своим именем. Дик любил отца — он и поныне в затруднительных случаях старался представить себе, как бы отец рассудил и поступил на его месте. Родился Дик вскоре после того, как одна за другой умерли две его сестры, и отец, опасаясь, как бы мать не избаловала единственного оставшегося ей ребенка, с самого начала взял на себя заботу о его нравственном воспитании. Сил у него и тогда уже было немного, но он сумел оказаться на высоте задачи.

В летние дни отец с сыном ходили иногда вместе в город чистить ботинки — Дик в накрахмаленном полотняном матросском костюмчике, отец в своем ладно скроенном пасторском сюртуке. Дик был красивый мальчуган, и отец гордился им. Он внушал Дику то, что сам знал о жизни, — большей частью простые и незыблемые истины, житейские правила, почерпнутые из священнического обихода. «Как-то раз, я тогда только что

принял духовное звание, случилось мне попасть в один дом в чужом городе. Вхожу в переполненную народом гостиную и не знаю, кто же тут хозяйка дома. Среди гостей нашлись кое-какие знакомые, но я не стал никого спрашивать, а прямо подошел к седой даме, сидевшей в глубине комнаты у окна, и представился ей. После этого у меня там завелось много друзей».

Рассказывалось подобное от чистоты сердца — отец всегда знал себе настоящую цену и на всю жизнь сохранил гордость, унаследованную от двух вдов, воспитавших его в убеждении, что нет больших достоинств, чем мужество, честность, учтивость и природное влечение к добру.

Небольшое наследство после жены отец твердо считал достоянием сына и все годы его учения в школе и в медицинском колледже аккуратно присылал ему раз в три месяца чек на причитающуюся сумму. Он был из тех, о ком в позолоченный век говорили не допускающим возражений тоном: «Человек он порядочный, но без изюминки».

…Дик послал за газетой и, продолжая свое хождение из угла в угол, выбрал подходящий по времени трансатлантический рейс. Потом заказал телефонный разговор с Николь через Цюрих.

В ожидании разговора он многое передумал и вспомнил, искренне жалея о том, что не всегда жил так безупречно, как собирался жить.

XIX

Целый час выраставший перед глазами Нью-Йоркский порт, блистательный фасад родины, на этот раз показался Дику торжественно печальным, оттого что неотделим был от горя, причиненного ему смертью отца. Но когда он сошел на берег, это чувство исчезло и больше не возвращалось — ни на улицах, ни в отелях, ни в поездах, мчавших его сперва в Буффало, а оттуда на юг, в Виргинию, вместе с отцовским гробом. Только когда потрепанный местный поезд потащился по суглинку Уэстморлендского мелколесья, Дик вновь ощутил свою причастность ко всему, что его окружало; знакомой была звезда, которая первой зажглась в небе, холодный свет луны над Чизапикским заливом; ему слышался скрип шарабанных колес, безобидная праздная болтовня, ласковый плеск воды в первобытных медлительных речках с ласковыми индейскими именами.

На следующий день тело отца опустили в моги-

лу среди сотен Дайверов, Хантеров и Дорси. Было утешительно, что он останется тут не один, а в кругу своей многочисленной родни. Насыпали невысокий холмик и по бурой рыхлой земле разбросали цветы. Ничто больше не связывало Дика с этими местами, и он не думал, что когда-нибудь вернется сюда. Он опустился на колени. Он знал людей, которые лежали здесь, крепких, жилистых, с горящими голубыми глазами, людей, чьи души вылеплены были из новой земли во тьме лесных чащ семнадцатого столетия.

— Прощай, отец, прощайте, все мои предки.

Когда вступаешь на пирс океанского порта, ты уже не здесь и еще не там. Все ходит ходуном под длинным желтым навесом, гулко отражающим звуки. Шумит-гремит погрузка и посадка, дребезжат краны, а в воздухе уже тянет соленым запахом моря. Все бегут и торопятся, хотя времени довольно. Прошлое, твердь земная, уже позади; будущее в разинутой пасти над трапом судна; суматошная толкотня в проходе — беспокойное настоящее.

Но наконец ты на борту, и картина мира проясняется, вжимаясь в тесные рамки. Теперь ты — гражданин государства поменьше Андорры, где все может случиться. У помощников судово-

го эконома лица вытянутые или кривые — как и каюты; путешественники и провожающие смотрят презрительно. Но вот слышны громкие, надрывные свистки, все вокруг сотрясает могучая дрожь, и судно, плод человеческой мысли, уже в движении. Скользит мимо пирс вместе с людьми на нем; на миг судно кажется случайно откоповшимся куском пирса — но берег все дальше, уже не разглядеть лиц и не расслышать голосов, только какие-то пятна маячат вдали. Шире раздвигаются края гавани, и пароход выплывает в открытое море.

Самым ценным грузом на борту этого парохода был, по утверждению газет, Элберт Маккиско. Маккиско вошел в моду. Его романы были подделкой под творения лучших современных писателей — обстоятельство, которое не должно остаться недооцененным; к тому же все позаимствованное у других он умел основательно разводнить и опошлить на радость многим читателям, восторгавшимся тем, как легко понимать его. Успех пошел ему на пользу, сбив излишнюю спесь. Он хорошо знал себе цену — понимал, что по части энергии может оставить позади многих, куда более одаренных, и твердо решил извлечь из своего успеха все, что возможно. «Я еще ничего

не сделал, — рассуждал он. — Я знаю, что настоящего таланта у меня нет. Но если я буду писать книгу за книгой, может быть, однажды и напишу что-нибудь стоящее». Что ж, рекордные прыжки удавалось совершать и с менее прочных трамплинов. Прошлые унижения были позабыты. В сущности, психологической основой его успеха послужила дуэль с Томми Барбаном; после нее, особенно когда некоторые подробности стерлись из памяти, он значительно вырос в собственных глазах.

Дика он заметил среди других пассажиров на второй день плаванья, сперва недоверчиво оглядел его издали, потом подошел, дружелюбно представился и сел рядом. Дик отложил книгу, которую читал; не понадобилось и нескольких минут, чтобы разглядеть происшедшую в Маккиско перемену, и этот новый Маккиско, свободный от раздражающего чувства неполноценности, даже показался ему занятным собеседником. Круг «познаний» Маккиско был шире, чем у Гете, — забавно было слушать бесчисленные нехитрые комбинации слов, которые он выдавал за собственные мысли. Знакомство завязалось; они часто завтракали и обедали вместе. В качестве почетного гостя Маккиско с супругой приглашен

был сидеть за столом капитана, но, как он с нарождающимся снобизмом объяснил Дику, ему «действовала на нервы вся эта компания».

Вайолет стала шикарной дамой, щеголяла в туалетах от знаменитых couturières[93] и без конца наслаждалась маленькими открытиями, которые благовоспитанные девицы успевают сделать до двадцати лет. Могла бы и она своевременно кое-чему научиться у матери, но формирование ее личности происходило главным образом в дешевых кинотеатриках Айдахо, и для матери не оставалось времени. Теперь она принадлежала к «избранному обществу» — включавшему еще несколько миллионов человек — и была вполне счастлива, хоть муж до сих пор без стеснения на нее цыкал, когда ее наивность чересчур уж била в глаза.

Маккиско сошли в Гибралтаре. На следующий вечер в Неаполе, по дороге из отеля на вокзал, Дик в автобусе разговорился с пожилой американкой, путешествовавшей с двумя дочерьми, — они приехали на том же пароходе. У всех трех был такой жалкий, растерянный вид, что он возгорелся желанием им помочь, а может быть, сыграть роль

---

[93] notes: 93
Портних *(фр.)*.

благодетеля. В поезде он их всячески старался развеселить, рискнул предложить вина за ужином и радовался от всего сердца, замечая в них первые признаки возрождающегося самодовольства. Он так щедро сыпал расхожими комплиментами, что сам готов был поверить в то, что говорил, тем более что для большего успеха своей выдумки пил бокал за бокалом, а дамы так и таяли, восхищенные привалившим им счастьем. Он расстался с ними, когда уже брезжил рассвет, а поезд в тряске и грохоте мчался от Кассино к Фрозиноне. Утром поезд пришел в Рим, и после эксцентричного по-американски прощанья на вокзале Дик, несколько утомленный, поехал в отель «Квиринал».

У конторки портье он вдруг оглянулся и застыл точно вкопанный. Как будто он выпил, и вино, горячей волной разлившись по телу, ударило в голову, — он увидел ту, кого надеялся увидеть здесь, ради кого проехал через все Средиземное море.

В эту самую минуту Розмэри тоже увидела его и обрадовалась, не успев удивиться; растерянно глянула на свою спутницу и, тут же позабыв о ней, бросилась вперед. Дик ждал, вытянувшись в струну, почти не дыша. Лишь когда она была

уже совсем близко, красивая новой, ухоженной красотой, точно холеная молодая лошадка с лоснящимися боками и начищенной сбруей, он очнулся от оцепенения; и все-таки это произошло слишком быстро, он только и смог, что попробовать скрыть свою усталость. В ответ на ее открытый, сияющий взгляд он разыграл неуклюжую пантомиму, которая должна была означать: «Как, это вы? Вот уж кого не ожидал встретить».

Ее затянутые в перчатки руки накрыли его руку, лежавшую на конторке.

— Дик! Мы здесь снимаем «Былое величие Рима» — вернее, считается, что снимаем; в любой день мы можем уехать.

Он пристально смотрел на нее, надеясь, что, смущенная этим взглядом, она не заметит его небритых щек, его несвежей, измявшейся за ночь сорочки. По счастью, она торопилась.

— Мы рано начинаем, потому что к одиннадцати уже наползает туман. Позвоните мне после двух, хорошо?

Наверху, в своем номере, Дик понемногу пришел в себя. Он позвонил портье, чтобы его разбудили ровно в двенадцать, быстро разделся и буквально опрокинулся в сон.

Звонка портье он не услышал, но в два часа

проснулся сам, выспавшийся и отдохнувший. Распаковав чемоданы, отправил костюмы в утюжку и белье в стирку. Потом побрился, полежал с полчаса в теплой ванне и позавтракал. Via Nazionale уже была затоплена солнцем, и, чтобы впустить его в комнату, он слегка раздвинул портьеры на окнах, звякнувшие старинными бронзовыми кольцами. Дожидаясь, когда принесут костюм из утюжки, он развернул «Коррьере делла сера» и с удивлением узнал о выходе «una novella di Sainclair Lewis „Wall-Street“ nella quale autore analizza la vita sociale di una piccola citta Americana».[94] Потом стал думать о Розмэри.

Думалось поначалу туго. Она была молода и очаровательна, но то же самое можно было сказать о Топси. Вероятно, за эти четыре года у нее были любовники, и, вероятно, она любила их. Никогда ведь не можешь сказать с уверенностью, какое место занимаешь в чужой жизни. Но понемногу из всей этой невнятицы выкристаллизовалось одно — его собственное чувство. Ничто так не подстегивает в отношениях, как желание сохранить их вопреки известным уже преградам. Прошлое медленно оживало перед Диком,

[94] notes: 94

…романа Синклера Льюиса «Уолл-стрит», в котором автор анализирует общественную жизнь маленького американского городка *(ит.).*

и ему захотелось, чтобы бесценная готовность Розмэри отдавать себя существовала только для него и только замкнутая в его воспоминаниях. Он старался отобрать в себе то, чем мог оказаться для нее привлекательным, — теперь такого было меньше, чем четыре года назад. Восемнадцать смотрят на тридцать четыре сквозь туманную дымку юности; но двадцать два с беспощадной четкостью видят все, что относится к тридцати восьми. К тому же в пору их встречи на Ривьере Дик находился в зените своей внутренней жизни; за это время его душевный накал успел ослабеть.

Когда пришел коридорный с костюмом, Дик облачился в белую сорочку, повязал черный галстук и заколол его булавкой с крупной жемчужиной; через другую такую жемчужину был пропущен шнурок от пенсне. После сна лицо его снова приняло кирпично-смуглый оттенок, приобретенный за годы жизни на Ривьере. Чтобы размяться, он сделал стойку на руках — при этом из кармана выпала авторучка и посыпалась мелочь. В три часа он позвонил Розмэри и был приглашен подняться к ней в номер. Чувствуя легкую дурноту после своих акробатических упражнений, он зашел по дороге в бар, выпить джину с тоником.

— Привет, доктор Дайвер!

Только потому, что в отеле жила Розмэри, Дик сразу узнал Коллиса Клэя. У него был тот же благополучно-самоуверенный вид, те же толстые щеки.

— Вы знаете, что Розмэри здесь? — спросил он.

— Да, мы случайно встретились утром.

— Я во Флоренции услыхал, что она сюда приезжает, вот и прикатил сам на прошлой неделе. Ее теперь не узнать — за мамину юбку больше не держится. — Он тут же поправился: — Ну, то есть, в общем, была пай-девочка, а стала женщина как женщина, — ну, вы понимаете, что я хочу сказать. Ох, и вьет же она веревки из здешних итальяшек! Сами увидите.

— Вы что, учитесь во Флоренции?

— Я? Ну да. Я там изучаю архитектуру. В воскресенье еду обратно — задержался, чтобы побывать на скачках.

Он непременно хотел приписать выпитое Диком к личному счету, который был открыт ему в баре, и Дику немалых усилий стоило помешать этому.

XX

Выйдя из лифта, Дик долго шел по разветвленному коридору и наконец свернул на знакомый голос, доносившийся из полуотворенной двери. Розмэри встретила его в черной пижаме; посреди комнаты стоял столик на колесах — она пила кофе.

— Вы все такая же красивая, — сказал Дик. — Даже еще немножко похорошели.

— Кофе хотите, юноша? — спросила она.

— Мне стыдно, что вы меня поутру видели таким страшилищем.

— У вас был усталый вид, но вы уже отдохнули? Хотите кофе?

— Нет, спасибо.

— Сейчас вы совсем прежний, а утром я даже напугалась. Мама собирается сюда в будущем месяце, если мы до тех пор не сорвемся с места. Она меня все спрашивает, не встречала ли я вас, — можно подумать, что вы живете на соседней улице. Вы всегда нравились моей маме — она считала, что знакомство с вами мне на пользу.

— Рад слышать, что она меня еще помнит.

— Конечно, помнит, — заверила его Розмэри. —

Очень даже помнит.

— Я вас несколько раз видел на экране, — сказал Дик. — Один раз сумел даже устроить себе индивидуальный просмотр «Папиной дочки».

— В этой новой картине у меня хорошая роль — если только ее не порежут при монтаже.

Она пошла к телефону, по дороге коснувшись плеча Дика. Позвонила, чтобы убрали столик, потом удобно устроилась в глубоком кресле.

— Я была совсем девчонкой, когда мы познакомились, Дик. Теперь я уже взрослая.

— Вы должны мне все рассказать о себе.

— Как поживает Николь — и Ланье, и Топси?

— Спасибо, хорошо. Все вас часто вспоминают…

Зазвонил телефон. Пока она разговаривала, Дик полистал лежавшие на тумбочке книги — два романа, один Эдны Фербер, другой Элберта Маккиско. Явился официант и увез столик; без него Розмэри в своей черной пижаме выглядела как-то сиротливо.

— У меня гость… Нет, не очень. А потом должна ехать на примерку костюма, и это надолго… Боюсь, что не выйдет…

Она улыбнулась Дику так, будто теперь, когда столика в комнате не было, почувствовала себя

свободнее, будто им удалось наконец вырваться из земных передряг и уединиться в раю…

— Ну, вот… — сказала она. — Знаете, чем я была занята последний час? Готовилась к встрече с вами.

Но тут ее опять отвлек телефон. Дик встал, чтобы переложить свою шляпу с постели на подставку для чемоданов. Заметив его движение, Розмэри испуганно прикрыла рукой трубку.

— Вы хотите уйти?

— Нет.

Когда она повесила трубку на рычаг, он сказал, чтобы как-то скрепить расползающееся время:

— Я теперь плохо выношу разговоры, которые мне ничего не дают.

— Я тоже, — отозвалась Розмэри. — Вот сейчас звонил господин, который был когда-то знаком с моей двоюродной сестрой. Вы подумайте — звонить по такому поводу!

Зов любви — как еще можно было это истолковать? Не случайно же она заслонялась от него какими-то пустяками. Он заговорил, посылая ей свои слова, точно письма, чтобы у него оставалось время, пока они дойдут до нее:

— Быть здесь, так близко от вас, и не поцеловать вас — это очень трудно.

Они поцеловались, стоя посреди комнаты. Поцелуй был долгий, страстный; потом она еще на миг прижалась к нему и вернулась в свое кресло.

Было хорошо и уютно, но так не могло продолжаться без конца. Либо вперед, либо назад. Когда снова раздался телефонный звонок, Дик пошел в альков, где стояла кровать, лег и раскрыл роман Элберта Маккиско. Минуту спустя Розмэри отошла от телефона и присела на край кровати.

— У вас удивительно длинные ресницы, — сказала она.

— Наш микрофон установлен в зале, где сейчас происходит студенческий бал. Среди гостей — мисс Розмэри Хойт, известная любительница длинных ресниц…

Она зажала ему рот поцелуем. Он притянул ее и заставил лечь рядом, и они целовались до тех пор, пока у обоих не захватило дух. Ее дыхание было легким и свежим, как у ребенка, а губы чуть потрескались, но в углах оставались мягкими.

Когда ничто уже не существовало, только путаница тел и одежд, и сила его рук в борьбе, и нежность ее груди, она шепнула: «Нет, сейчас нельзя. Я не могу сегодня».

Он послушно загнал свою страсть в уголок со-

знания: потом, приподняв ее хрупкое тело так, что она словно бы парила над ним в воздухе, он сказал почти беспечным голосом:

— Ну, не так уж это важно, детка.

Оттого что он смотрел на нее снизу вверх, у нее сделалось совсем другое лицо, будто раз навсегда озаренное луной.

— Было бы романтически оправдано, если б это случилось именно с вами, — сказала она. Вывернувшись из его рук, она подошла к зеркалу и стала взбивать растрепавшиеся волосы. Потом придвинула себе стул к кровати и погладила Дика по щеке.

— Скажите мне правду о себе, — попросил он.

— Я вам никогда не говорила неправды.

— Допустим — но есть логика вещей.

Оба рассмеялись; но он продолжал свое:

— Вы в самом деле еще невинны?

— Что-о-о вы! — пропела она. — У меня было шестьсот сорок любовников — такой ответ вам нужен?

— Вы не обязаны передо мной отчитываться.

— Вам нужен материал для психологического исследования?

— Просто когда видишь нормальную, здоровую девушку двадцати двух лет, живущую в году

тысяча девятьсот двадцать восьмом, естественно предположить, что она уже пробовала заводить романы.

— Пробовала — только все не всерьез.

Дик никак не мог поверить. Ему только было неясно, создает ли она между ними искусственную преграду или просто хочет повысить себе цену на тот случай, если решит уступить.

— Хотите, погуляем на Пинчио, — предложил он.

Он отряхнул костюм, пригладил волосы. Была минута, и минута прошла. Три года Дик служил для Розмэри эталоном, по которому она мерила всех мужчин, и не мудрено, что он приобрел в ее глазах черты идеального героя, возвышающегося над толпой обыкновенных смертных. Она не хотела, чтобы он был как все, а встретила тот же требовательный напор, словно он норовил отнять у нее часть ее самой, положить в карман и унести.

Когда они шли по зеленому дерну среди ангелов и философов, фавнов и водяных струй, она взяла его под руку и долго прилаживалась и примащивалась поудобнее, будто устраивалась навсегда. Сорвала на ходу веточку и разломила, но пружинки в ней не нашла. И вдруг, оглянувшись на Дика,

увидела на его лице то, что так хотела увидеть. Она схватила его руку в перчатке и поцеловала, а потом стала по-ребячьи тормошить его до тех пор, пока он не улыбнулся, и тогда она сама засмеялась, и все стало хорошо.

— Я не могу провести с вами вечер, милый, — давно обещала одним знакомым. Но если вы способны встать пораньше, я вас завтра возьму с собой на съемку.

Дик пообедал в одиночестве, рано лег спать, и в половине седьмого уже ждал Розмэри в вестибюле отеля. В машине она сидела рядом с ним, свежая, сияющая, вся точно пронизанная утренним солнцем. Они выехали через ворота Святого Себастиана на Аппиеву дорогу и долго ехали по ней, пока не увидели в стороне гигантскую декорацию Колизея, больше, чем настоящий Колизей.

Розмэри поручила Дика высокому человеку, который повел его смотреть бутафорские арки, и скамьи амфитеатра, и посыпанную песком арену. Сегодня Розмэри должна была сниматься в сцене, действие которой происходит в темнице для узников-христиан. Они пошли к месту съемки и увидели, как Никотера, один из многочисленных кандидатов в новые Рудольфы Валентино,

картинно расхаживает перед дюжиной «христианок», меланхолически глядящих из-под чудовищных наклеенных ресниц.

Прибежала Розмэри в тунике до колен.

— Смотрите повнимательней, — шепнула она Дику. — Я хочу, чтобы вы мне потом сказали ваше мнение. На черновом просмотре все говорили…

— Что такое черновой просмотр?

— Это когда смотрят материал, снятый накануне. Так вот, все говорили, что впервые у меня появилось что-то сексуальное…

— Я этого не замечаю.

— Где уж вам! А я верю, что появилось.

Никотера в своей леопардовой шкуре озабоченно заговорил с Розмэри, а в двух шагах от них осветитель что-то доказывал режиссеру, опершись на его плечо. Потом режиссер сердито стряхнул с плеча руку осветителя и стал вытирать мокрый от пота лоб, а проводник Дика сказал: «Опять он под мухой — и как еще!»

— Кто? — спросил Дик, но, прежде чем тот успел ответить, режиссер подскочил к ним.

— Кто это под мухой — сами вы под мухой, наверно! — Он стремительно повернулся к Дику, как бы призывая его в судьи: — Вот, видали? Как только напьется, так у него все другие под мухой,

и как еще! — Он метнул на проводника еще один свирепый взгляд, потом захлопал в ладоши: — Все на площадку — начинаем работать!

Дик чувствовал себя словно в гостях у большого и суматошного семейства. Какая-то актриса подошла к нему и проговорила с ним минут пять, принимая его за актера, недавно приехавшего из Лондона. Обнаружив свою ошибку, она обратилась в бегство. Почти все имевшие отношение к съемке смотрели на остальное человечество либо сверху вниз, либо снизу вверх, причем сверху вниз чаще. Но все это были смелые, трудолюбивые люди, неожиданно выдвинувшиеся на видное место в стране, которая целое десятилетие хотела только, чтобы ее развлекали.

Снимали до тех пор, пока солнце не заволокло дымкой — прекрасное освещение для художников, но не для кинокамеры; то ли дело прозрачный калифорнийский воздух. Никотера проводил Розмэри к машине и что-то ей сказал на ухо, прощаясь, но она даже не улыбнулась в ответ.

Дик и Розмэри позавтракали в «Castelli dei Caesari»[95] — великолепном ресторане на холме,

---

[95] notes: 95
«Королевские за́мки» (*ит.*).

с видом на развалины форума неизвестно какого периода упадка. Розмэри выпила коктейль и немного вина, а Дик выпил достаточно, чтобы его чувство смутного недовольства собой улетучилось. Потом они вернулись в отель, оживленные и счастливые, полные какого-то радостного спокойствия. Она захотела, чтобы он взял ее, и он ее взял, и то, что началось детской влюбленностью на морском берегу, получило наконец завершение.

XXI

Вечером Розмэри опять была занята — праздновали чей-то день рождения. В вестибюле Дик повстречал Коллиса Клэя, но ему хотелось пообедать без собеседников, и он тут же выдумал, будто его ждут в отеле «Эксцельсиор». Но он не отказался зайти с Коллисом в бар, и после выпитого коктейля его смутное недовольство собой отлилось в четкую и определенную форму: пора возвращаться в клинику, прекратить прогул, который больше ничем нельзя извинить. То, что повлекло его сюда, было не столько влюбленностью, сколько романтическим воспоминанием. Одна у него любовь — Николь; пусть нередко ему

и тяжело с ней, а все-таки она его единственная настоящая. Проводить время с Розмэри значило потворствовать своим слабостям; проводить его с Коллисом значило умножать ничто на ничто.

У входа в «Эксцельсиор» он столкнулся с Бэби Уоррен. Она широко раскрыла свои большие красивые глаза — точь-в-точь те камушки, которыми любят играть дети.

— Я думала, вы в Америке, Дик! А Николь тоже приехала?

— Я вернулся в Европу через Неаполь.

Траурная повязка на его рукаве заставила ее спохватиться:

— Глубоко сочувствую вашему горю.

Деваться было некуда, обедать они пошли вместе.

— Рассказывайте, что у вас слышно, — потребовала она.

Дик по-своему изложил ей события последних месяцев. Бэби нахмурилась; ей нужно было взвалить на кого-то ответственность за надломленную жизнь сестры.

— Вы не думаете, что доктор Домлер с самого начала неправильно ее лечил?

— Методы лечения тут довольно трафаретные, хотя индивидуальный подход к пациенту, разу-

меется, имеет значение.

— Дик, я, конечно, не специалист и не берусь давать вам советы, но, может быть, ей полезно было бы переменить обстановку — вырваться из больничной атмосферы, жить так, как живут все люди?

— Вы же сами настаивали на этой клинике. Говорили, что тогда только перестанете беспокоиться о Николь…

— Ну, потому что мне не нравилась та отшельническая жизнь, которую вы вели на Ривьере, — забились куда-то в горы, далеко от людей. Я вовсе не предлагаю вам вернуться туда. Почему бы вам, например, не поехать в Лондон? Англичане — самые уравновешенные люди на свете.

— Напрасно вы так думаете, — возразил он.

— Не думаю, а знаю. Я достаточно хорошо изучила их. Сняли бы себе на весну в Лондоне дом — у меня даже есть на примете прелестный домик на Талбот-сквер, который сдается со всей обстановкой. Вот поселились бы в нем и жили среди здоровых, уравновешенных англичан.

Она бы еще долго пересказывала ему обветшалый пропагандистский репертуар 1914 года, но он со смехом прервал ее:

— Я недавно читал один роман Майкла Арлена,

и если это…

Она уничтожила Майкла Арлена одним взмахом салатной ложки.

— Он пишет только про каких-то дегенератов. А я имею в виду достойных, респектабельных англичан.

Но в воображении Дика место так легко отвергнутых ею друзей заняли те безликие иностранцы, какими кишмя кишат небольшие отели Европы.

— Не мое, конечно, дело, — снова начала Бэби, готовясь к очередному наскоку, — но оставить ее одну в такой атмосфере…

— Я поехал в Америку хоронить отца.

— Да, да, я понимаю. Я уже высказала вам свое сочувствие. — Она потеребила подвеску хрустального ожерелья. — Но у нас теперь *столько* денег. И нужно прежде всего употребить их на то, чтобы вылечить Николь.

— Во-первых, я как-то плохо представляю себе, что я буду делать в Лондоне.

— А почему? Мне кажется, вы там могли бы работать не хуже, чем в любом другом месте.

Он откинулся назад и внимательно на нее посмотрел. Если ей и приходила когда-нибудь в голову скверная правда о причине заболевания Николь, она решительно отмела эту правду, за-

толкала ее подальше в пыльный чулан, точно купленную по ошибке картину не ставшего знаменитым художника.

Разговор был продолжен в «Ульпии», заставленном винными бочками погребке, под звон и стон гитары, на которой молодой музыкант мастерски исполнял «Suona fanfara mia».[96] Коллис Клэй тоже был там и подсел к их столику.

— Может быть, я неподходящий муж для Николь, — сказал Дик. — Но она все равно вышла бы за кого-нибудь вроде меня, за человека, в котором рассчитывала найти опору.

— Вы считаете, что с другим мужем она была бы счастливее? — вслух подумала Бэби. — Что ж, можно попробовать.

Только когда Дик закачался от смеха, она поняла всю нелепость своего замечания.

— Поймите меня правильно, — поспешила она сказать. — Вы не должны думать, что мы не благодарны вам за все, что вы сделали. И мы знаем, вам часто приходилось нелегко…

— Ради бога, Бэби! — воскликнул Дик. — Если б я не любил Николь, другое дело.

— Но ведь вы ее любите? — с беспокойством

---

[96] notes: 96
«Звучи, моя фанфара» *(ит.).*

спросила она.

Коллис явно собирался вступить в разговор, и Дик решил переменить тему.

— Поговорим о чем-нибудь другом, — сказал он. — О вас, например. Почему вы не выходите замуж? Мы слышали, будто вы помолвлены с лордом Пэли, двоюродным братом…

— Ах, нет. — В ней вдруг появились робость и уклончивость. — Это было в прошлом году.

— Но почему все-таки вы не выходите замуж? — не отставал Дик.

— Сама не знаю. Один человек, которого я любила, погиб на войне. Другой от меня отказался.

— Расскажите подробнее, Бэби. Я слишком мало знаю о вас — о ваших взглядах, вашей личной жизни. Вы никогда мне об этом не рассказываете. Мы беседуем только о Николь.

— Они были англичане, и тот и другой. По-моему, нет на свете более безупречных людей, чем настоящие англичане. Я, по крайней мере, не встречала. Так вот, этот человек, — впрочем, это длинная история. Длинные истории скучно слушать, правда?

— И как еще! — сказал Коллис.

— Отчего же? По-моему, все зависит от рассказчика.

— Это уж ваша специальность. Вы умеете поддерживать общее веселье одной фразой или даже одним словом, вставленным время от времени. Тут нужен особый талант.

— Нет, просто сноровка, — улыбнулся Дик. В третий раз за вечер он не соглашался с ее мнением.

— Да, я придаю большое значение форме. Люблю, чтобы все было как следует и с размахом. Вы человек другого склада, но вы должны признать, что это говорит о моей основательности.

Тут Дик даже поленился возражать.

— Да, я знаю, есть люди, которые говорят: Бэби Уоррен скачет по всей Европе, гоняется за новинками и упускает главное, что есть в жизни. А я считаю, наоборот — я из тех немногих, кто как раз главного не упускает. Я встречалась с самыми интересными людьми своего времени. — Гитарист опять заиграл, и тренькающие переборы гитары глушили разговор, но Бэби повысила голос: — Я редко совершаю большие ошибки…

— Только очень большие, Бэби.

Она уловила в его взгляде насмешку и решила, что продолжать не стоит. Видимо, они просто в силу своей природы не могут ни в чем сойтись. И все-таки что-то в ней импонировало ему, и по

дороге к «Эксцельсиору» он наговорил ей кучу любезностей, чем поверг ее в немалое смущение.

На следующий день Розмэри пожелала непременно угостить Дика завтраком. Она повела его в маленькую тратторию, содержатель которой, итальянец, долго прожил в Америке, и там они ели яичницу с ветчиной и вафли. После завтрака они вернулись в отель. Открытие Дика, что ни он ее, ни она его не любит, не охладило, а скорей даже разожгло его страсть. Теперь, зная, что не войдет в ее жизнь надолго, он желал ее, как желают блудницу. Вероятно, для многих мужчин только это и обозначается словом «любовь», а не душевная одержимость, не растворение всех красок жизни в неяркой ровной голубизне — то, чем когда-то была для него любовь к Николь. Ему и сейчас делалось физически дурно при одной мысли, что Николь может умереть, или навсегда утратить разум, или полюбить другого.

В номере у Розмэри сидел Никотера, и они долго болтали о своих киношных делах. Когда наконец Розмэри намекнула ему, что пора уходить, он с комическим возмущением подчинился, довольно нахально подмигнув на прощанье Дику. Потом, как обычно, затрещал телефон, и очередной разговор длился добрых десять минут, так что Дик

потерял терпение.

— Пойдем лучше ко мне, — предложил он, и она согласилась.

Она лежала на широкой тахте, положив голову к нему на колени; он играл мягкими локонами, обрамлявшими ее лоб.

— Что, если я опять задам вопрос? — сказал он.

— О чем?

— О ваших романах. Я просто любопытен, чтобы не сказать похотливо любопытен.

— Вы хотите знать, что было у меня после встречи с вами?

— Или до.

— Нет, нет, — вскинулась она. — «До» ничего не было. Вы были первым мужчиной, который для меня что-то значил. Вы и сейчас единственный, кто для меня что-то значит по-настоящему. — Она помолчала, задумавшись. — После того лета я целый год ни на кого не смотрела.

— А потом?

— Потом — был один человек.

Он воспользовался расплывчатостью ее ответа.

— Хотите, я вам опишу все, как было: первый роман ни к чему не привел, и за ним последовала долгая пауза. Второй оказался удачнее, но для

вас это был роман без любви. На третий раз все сложилось к общему удовольствию... — Он уже не мог прервать этого самоистязания. — Потом был один длительный роман, который постепенно изжил себя, и тут вы испугались, что у вас ничего не останется для того, кого вы полюбите всерьез. — Он чувствовал себя почти викторианцем. — После этого пошла мелочь, легкие флирты, и так продолжалось до последнего времени. Ну как, похоже?

Она смеялась сквозь слезы.

— Ни капельки не похоже, — сказала она, и Дик невольно почувствовал облегчение. — Но когда-нибудь я в самом деле полюблю всерьез, и уж кого полюблю, того больше не выпущу.

Но вдруг и тут зазвонил телефон и голос Никотеры спросил Розмэри. Дик прикрыл трубку ладонью.

— Будете говорить с ним?

Она подошла к телефону и затараторила по-итальянски с такой быстротой, что Дик не мог разобрать ни слова.

— Вы слишком много времени тратите на телефон, — сказал он. — Уже почти четыре часа, а в пять у меня деловое свидание. Идите развлекайтесь с синьором Никотерой.

— Зачем вы говорите глупости?

— Мне кажется, можно было бы отставить его на то время, что я здесь.

— Не так все это просто. — Она вдруг разрыдалась. — Дик, я люблю вас, только вас и никого больше. Но что вы можете дать мне?

— Что может дать Никотера кому бы то ни было?

— Это совсем другое дело.

…потому что молодое тянется к молодому.

— Он ничтожный итальяшка! — сказал Дик. Он бесновался от ревности, он не хотел, чтобы ему опять причинили боль.

— Он просто мальчик, — сказала она, всхлипывая. — Вы сами знаете, что я прежде всего ваша.

Поутихнув, он обнял ее за талию, но она устало отклонилась назад и на минуту застыла так, словно в заключительной позе балетного адажио, с закрытыми глазами, со свесившимися волосами утопленницы.

— Отпустите меня, Дик, у меня что-то все в голове перепуталось.

Он наступал на нее — большая птица с взъерошенными рыжими перьями, — а она инстинктивно отстранялась, испуганная этой неоправданной ревностью, которая погребла под собой

привычную ласку и чуткость.

— Я хочу знать правду.

— Вот вам правда: мы много бываем вместе, он делал мне предложение, но я отказала. Что из этого? Чего вы от меня хотите? Вы мне никогда предложения не делали. По-вашему, лучше, если я растрачу всю жизнь на флирты с недоумками вроде Коллиса Клэя?

— Вчерашний вечер вы провели с Никотерой?

— Это вас не касается. — Снова она заплакала. — Нет, нет, Дик, простите меня, вас все касается. Вы и мама — единственные дорогие мне люди на свете.

— А Никотера?

— Сама не знаю.

Она достигла той меры уклончивости, когда самые простые слова кажутся полными тайного значения.

— Вы больше не чувствуете ко мне то, что чувствовали в Париже?

— Когда я с вами, мне хорошо и спокойно. Но в Париже было по-другому. А может быть, это только кажется — трудно судить о своих чувствах столько времени спустя. Ведь правда?

Он подошел к шкафу, достал выходной костюм, свежую сорочку, галстук — раз ему пришлось

впитать в свое сердце злобу и ненависть этого мира, значит, для Розмэри там места нет.

— Не в Никотере дело! — воскликнула она. — Дело в том, что завтра утром мы все уезжаем в Ливорно. Ах, зачем, зачем это случилось! — Опять у нее потоком хлынули слезы. — Как мне жаль! Лучше бы вы не приезжали сюда. Лучше бы все оставалось просто чудесным воспоминанием. У меня так тяжело на душе, будто я поссорилась с мамой.

Он начал одеваться. Она встала и пошла к двери.

— Я сегодня не поеду в гости. — Это была последняя попытка. — Я останусь с вами. Мне никуда не хочется ехать.

Нарастала новая волна, но он отступил, чтобы его опять не захлестнуло.

— Я весь вечер буду у себя в номере, — сказала она. — До свидания, Дик.

— До свидания.

— Ах, как жаль, как жаль. Как мне жаль. Что же это все-таки?

— Я давно уже пытаюсь понять.

— Зачем же было приходить с этим ко мне?

— Я как Черная Смерть, — медленно произнес он. — Я теперь приношу людям только несча-

стье.

XXII

Всего четверо посетителей было в баре отеля «Квиринал» в предвечерний час: расфуфыренная итальянка, без умолку стрекотавшая у стойки под аккомпанемент «Si… Si… Si…»[97] усталого бармена, сноб-египтянин, изнывавший от скуки один, но остерегавшийся своей соседки, и Дик с Коллисом Клэем.

Дик всегда живо реагировал на то, что было вокруг, тогда как Клэй жил словно в тумане, даже самые яркие впечатления расплывались в его рано обленившемся мозгу; поэтому первый говорил, а второй только слушал.

Измочаленный всем пережитым за этот день, Дик срывал зло на итальянцах. Он то и дело оглядывался по сторонам, словно надеясь, что какой-нибудь итальянец услышит его и возмутится.

— Понимаете, сижу я с моей свояченицей в «Эксцельсиоре» за чашкой чая. Входят двое, а мест в зале нет — нам достался последний сто-

---

[97] notes: 97
Да… Да… Да… *(ит.)*

лик. Тогда один из них подходит к нам и говорит: «Кажется, этот стол был оставлен для княгини Орсино». — «Не знаю, говорю, таблички на нем не было». А он опять: «Но стол был оставлен для княгини Орсино». Я ему даже не ответил.

— А он что?

— Повернулся и ушел. — Дик заерзал на стуле. — Не люблю я их. Вчера на минуту оставил Розмэри одну перед витриной магазина, и сейчас же какой-то офицерик стал кружить около, заломив набок фуражку.

— Не знаю, — с запинкой произнес Коллис. — Мне лично больше нравится здесь, чем в Париже, где на каждом шагу у вас норовят очистить карманы.

Коллис привык получать удовольствие от жизни и неодобрительно относился ко всему, что могло это удовольствие испортить.

— Не знаю, — повторил он. — Мне здесь, в общем, нравится.

Дик мысленно перебрал картины, отложившиеся в памяти за эти дни. Путь в контору «Американ экспресс» среди кондитерских запахов Via Nazionale; грязный туннель, выводящий на площадь Испании, к цветочным киоскам и дому, где умер Китс. Дика прежде всего интере-

совали люди; кроме людей, он замечал разве что погоду; города запоминались только тогда, когда их окрашивали связанные с ними события. В Риме пришла к концу его мечта о Розмэри.

Подошел посыльный и вручил Дику записку.

«Я никуда не поехала, — говорилось в записке, — я у себя в номере. Мы рано утром уезжаем в Ливорно».

Дик вернул записку посыльному и дал ему на чай.

— Скажите мисс Хойт, что вы меня не нашли. — Он повернулся к Коллису и предложил отправиться в «Бонбониери».

Они оглядели вошедшую в бар проститутку с тем минимумом внимания, которого требовала ее профессия, и были вознаграждены дерзким зазывным взглядом подведенных глаз; прошли через пустой вестибюль с тяжелыми портьерами, в складках которых копилась многолетняя пыль; кивнули на ходу ночному швейцару, поклонившемуся с едким подобострастием всех ночных дежурных во всех отелях. Потом сели в такси и нырнули в скуку и сырость ноябрьского вечера. На темных улицах не было женщин, только мужчины с испитыми лицами, в куртках, застегнутых наглухо, кучками стояли у перекрестков,

подпирая холодный камень стен.

— Ну и ну! — шумно вздохнул Дик.

— Вы о чем?

— Вспомнил этого типа в «Эксцельсиоре»: «Стол оставлен для княгини Орсино». Вы знаете, что такое римская аристократия? Самые настоящие бандиты; это они завладели храмами и дворцами, когда развалилась империя, и стали грабить народ.

— А мне нравится Рим, — упорствовал Коллис. — Почему вы не съездите на скачки?

— Не люблю скачки.

— Вам бы понравилось. Что там делается с женщинами…

— Мне здесь ничего не может понравиться. Я люблю Францию, где каждый воображает себя Наполеоном, — а здесь каждый воображает себя Христом.

Приехав на место, они спустились в кабаре — небольшой зал с деревянными панелями, которые выглядели безнадежно непрочными в сочетании с холодным камнем стен. Оркестр вяло наигрывал танго, и пар десять или двенадцать вычерчивали по паркету изысканные и сложные фигуры, столь режущие американский глаз. Избыток официантов предотвращал суету, неиз-

бежную даже в менее людных сборищах; и если что своеобразно оживляло атмосферу, так это господствовавшее в зале тревожное ожидание, будто вот-вот что-то оборвется — танец, ночь, те силы, которые всё удерживали в равновесии. Впечатлительный гость чувствовал сразу, что чего бы он ни искал здесь, ему вряд ли удастся это найти.

Дику это, во всяком случае, было ясно. Он осмотрелся по сторонам, надеясь зацепиться взглядом за что-нибудь, что хоть на час дало бы пищу если не уму, то воображению. Но ничего не нашлось, и он снова повернулся к Коллису. Он уже пробовал высказывать Коллису занимавшие его мысли, но тот оказался на редкость беспамятным и невосприимчивым собеседником. Получасового общения с Коллисом было достаточно, чтобы Дик почувствовал, что и сам тупеет.

Они выпили бутылку итальянского шипучего вина; Дик был бледен, у него уже шумело в голове. Он жестом подозвал дирижера оркестра к своему столику. Дирижер был негр с Багамских островов, заносчивый и несимпатичный, и через пять минут вспыхнул скандал.

— Вы меня пригласили сесть с вами.

— Ну, пригласил. И дал вам пятьдесят лир, так

или не так?

— Ну дали. И что из этого? Что из этого?

— А то, что я дал вам пятьдесят лир — так или не так? А вы требуете еще.

— Вы меня пригласили, так или не так? Так или не так?

— Ну, пригласил, но я дал вам пятьдесят лир.

— Ну, дали. Ну, дали.

Разобиженный негр встал и ушел, еще больше испортив Дику настроение. Но вдруг он заметил, что какая-то девушка улыбается ему с другой стороны зала, и сейчас же бледные тени римлян, маячившие вокруг, стушевались и отодвинулись в стороны. Девушка была англичанка, белокурая, со здоровым английским румянцем на личике, и она опять улыбнулась знакомой ему улыбкой, даже в плотском призыве отрицавшей вожделение плоти.

— Я не я, если эта красотка не делает вам авансы, — сказал Коллис.

Дик встал и между столиками направился к ней.

— Разрешите вас пригласить?

Пожилой англичанин, который сидел с нею, сказал почти виновато:

— Я скоро уйду.

Отрезвевший от возбуждения Дик повел девушку танцевать. От нее веяло всем, что есть хорошего в Англии; звонкий голос напоминал о садах, мирно зеленеющих в оправе моря, и Дик, отстранясь, чтобы лучше ее разглядеть, говорил ей любезности искренне, до дрожи в голосе. Она обещала прийти и посидеть с ними после того, как уйдет ее спутник. Когда Дик привел ее на место, англичанин заулыбался все с тем же виноватым видом.

Вернувшись к своему столику, Дик заказал еще бутылку того же вина.

— Она похожа на какую-то киноактрису, — сказал он. — Никак не вспомню, на кого именно. — Он нетерпеливо оглянулся через плечо. — Ну что же она так долго?

— Хотел бы я быть киноактером, — задумчиво сказал Коллис. — Мне предстоит работать в фирме отца, но не скажу, что меня увлекает такая перспектива. Двадцать лет просидеть в конторе в Бирмингеме…

Его голос звучал протестом против гнета материалистической цивилизации.

— Слишком мелко для вас?

— Вовсе я не то хотел сказать.

— Нет, именно то.

— Откуда вы знаете, что я хотел сказать? Если вам так нравится работать, почему вы не лечите больных?

Они чуть было не поссорились, но к этому времени оба уже были настолько пьяны, что тут же позабыли из-за чего. Коллис собрался уходить, и Дик долго жал ему руку на прощанье.

— Смотрите же, обдумайте хорошенько, — наставительно сказал он.

— Что обдумать?

— Сами знаете что. — Ему казалось, что он дал Коллису какой-то совет насчет его работы в отцовской фирме, и очень дельный, разумный совет.

Клэй растворился в пространстве. Дик допил бутылку и опять пошел танцевать с англичанкой, принуждая свое непокорное тело к рискованным поворотам и твердым, энергичным шагам. Но вдруг произошло нечто совершенно непонятное. Он танцевал с девушкой, потом музыка смолкла — и девушки не стало.

— Вы не знаете, где она?

— Кто она?

— Девушка, с которой я танцевал. Только что была, и вдруг нету. Наверно, тут где-нибудь.

— Нельзя! Нельзя! Это дамская комната.

Он вошел в бар и облокотился на стойку. Рядом стояли еще какие-то двое, и он хотел поговорить с ними, но не знал, с чего начать разговор. Можно было порассказать им о Риме и о буйных родоначальниках семейств Колонна и Гаэтани, но, пожалуй, это было бы слишком скоропалительное начало. Фарфоровые фигурки, украшавшие табачный киоск, вдруг посыпались на пол; поднялся переполох, и у него возникло смутное подозрение, что причиной был он, поэтому он вернулся в кабаре и выпил чашку черного кофе. Коллис исчез, англичанка тоже исчезла, и ничего больше не оставалось, как поехать в отель и с тяжелым сердцем лечь спать. Он расплатился по счету, взял пальто и шляпу и вышел.

Лужи грязной воды стояли в канавах и в неровностях булыжной мостовой; с Кампаньи наползала болотная сырость, утренний воздух был отравлен миазмами отработанного пара. Четверо таксистов обступили Дика, поблескивая глазами в щелочках набрякших век. Одного, назойливо лезшего ему прямо в лицо, он с силой оттолкнул.

— Quanto a отель «Квиринал»?[98]

---

[98] notes: 98
Сколько до отеля? *(ит.)*

— Cento lire.[99]

Шесть долларов. Он отрицательно покачал головой и предложил тридцать лир — вдвое против обычной дневной цены; но все четверо, как один, пожали плечами и отошли.

— Trente cinque lire e mancie,[100] — твердо сказал он.

— Cento lire.

Дик перешел на родной язык.

— Сто лир за полмили пути? Сорок, больше не дам.

— Не пойдет.

Дик едва не падал от усталости. Он дернул дверцу ближайшего такси и сел.

— Отель «Квиринал»! — скомандовал он шоферу, упрямо стоявшему у передней дверцы. — Нечего скалить зубы, везите меня в «Квиринал».

— Не повезу.

Дик вылез из машины. У подъезда «Бонбоньери» кто-то долго пререкался с таксистами, а потом предложил свои услуги в качестве переводчика; между тем самый назойливый из таксистов снова надвинулся на Дика, крича и отчаянно

---

[99] notes: 99
Сто лир *(ит.).*

[100] notes: 100
Тридцать пять лир и чаевые *(ит.).*

жестикулируя, и Дик снова оттолкнул его.

— Мне нужно в отель «Квиринал».

— Он говорит — одна сотня лир, — объяснил добровольный переводчик.

— Я понял. Скажите, что я согласен дать пятьдесят. Да отвяжитесь вы! — Последнее относилось к назойливому таксисту, который подступил в третий раз. Услышав окрик, он смерил Дика взглядом и смачно плюнул в знак своего презрения.

Весь тот накал чувств, в котором Дик прожил неделю, вдруг нашел себе выход в мгновенном порыве к насилию — благородный выход, освященный традициями его родины; он шагнул вперед и ударил таксиста по лицу.

Сейчас же вся четверка бросилась на него, угрожающе размахивая руками, пытаясь окружить его со всех сторон; но Дик, спиной прижавшись к стене у самого входа в ресторан, бил наудачу, со смешком отражая неуклюжие наскоки своих противников, их преувеличенные, показные удары. Эта пародия на драку продолжалась с переменным успехом несколько минут, но тут Дик поскользнулся и упал. Он почувствовал боль, однако сумел снова встать на ноги и безуспешно барахтался в кольце чьих-то рук, пока это кольцо внезапно не разомкнулось. Раздался какой-то

новый голос, завязался новый спор, но Дик не слушал; он стоял, прислонясь к стене, задыхающийся, взбешенный унизительной нелепостью своего положения. Он видел, что сочувствие не на его стороне, но и мысли не допускал, что может быть не прав.

Решено было отправиться в полицейский участок и там во всем разобраться. Кто-то поднял с земли и подал Дику его шляпу, кто-то довольно мягко взял его под руку, и, вместе с таксистами пройдя несколько шагов и свернув за угол, он вступил в помещение с голыми стенами, с единственной мутной лампочкой под потолком, где томились без дела несколько carabinieri.[101]

За столом сидел жандармский капитан. Человек, остановивший драку, стал длинно рассказывать что-то по-итальянски, указывая на Дика, а таксисты то и дело перебивали его взрывами гневной брани. Капитан стал проявлять признаки нетерпения. Наконец он поднял руку, и обличительный хор, еще раза два вякнув на прощанье, умолк. Капитан повернулся к Дику.

— Гавари italiano?[102] — спросил он.

---

[101] notes: 101
Жандармов *(ит.).*

[102] notes: 102
По-итальянски *(ит.).*

— Нет.

— Гавари français?[103]

— Oui,[104] — обрадовался Дик.

— Alors. Écoute. Va au «Quirinal». Écoute: vous êtes saoûl. Payez ce que le chauffeur demande. Comprenez-vous?[105]

Дик замотал головой.

— Non, je ne veux pas.

— Comment?

— Je paierai quarante lires. C'est bien assez.[106]

Капитан встал.

— Écoute! — грозно воскликнул он. — Vous êtes saoûl. Vous avez battu le chauffeur. Comme ci, comme ça.[107] — Он яростно замолотил по воздуху обеими руками. — C'est bon que je vous donne la liberté. Payez ce qu'il a dit — cento lire. Va au

---

[103] notes: 103
По-французски *(фр.).*

[104] notes: 104
Да *(фр.).*

[105] notes: 105
Так вот. Слушай. Езжай в «Квиринал». Слушай: вы пьяны. Платите, сколько спрашивает шофер. Вам понятно? *(фр.)*

[106] notes: 106
— Нет, я не хочу.
— Как?
— Я заплачу сорок лир. Этого вполне достаточно *(фр.).*

[107] notes: 107
Слушай! Вы пьяны. Вы побили шофера. Вот так, вот этак *(фр.).*

«Quirinal».[108]

Дик метнул на него остервенелый от негодования взгляд.

— Хорошо, я поеду! — Он круто повернулся к выходу — и тут ему бросилась в глаза хитро усмехающаяся физиономия человека, который привел его в полицию. — Я поеду, — выкрикнул Дик, — но сперва я рассчитаюсь с этим голубчиком!

Он рванулся вперед мимо остолбеневших карабинеров и нанес по усмехающейся физиономии сокрушительный удар левой. Человек рухнул наземь.

На мгновение Дик застыл над ним, злобно торжествуя победу, — и тут впервые закралась в его мозг мысль об ошибке, но, прежде чем он успел додумать эту мысль, все завертелось у него перед глазами; его сбили с ног, и множество кулаков и каблуков принялись отбивать на нем свирепую дробь. Хрустнул переломленный нос, глаза, будто на резинке, выскочили из орбит и опять вернулись на место. Под тяжелым сапогом треснуло ребро. Он потерял было сознание, но сейчас же очнулся оттого, что его рывком заставили сесть

---

[108] notes: 108

Хорошо еще, что я вас оставляю на свободе. Платите, сколько он сказал, — сто лир. Езжай в «Квиринал» *(фр.)*.

и защелкнули у него на запястьях наручники. Машинально он пробовал сопротивляться. Сшибленный им полицейский в штатском стоял в стороне, прикладывая к подбородку платок, и всякий раз смотрел, остается ли на платке кровь; теперь он подошел к Дику вплотную, расставил для равновесия ноги, размахнулся и сильным ударом уложил его навзничь.

На доктора Дайвера, неподвижно лежавшего на полу, выплеснули ведро воды. Потом схватили его за руки и куда-то поволокли; по дороге он приоткрыл один глаз и сквозь застилавшую его кровавую дымку узнал бледное от ужаса лицо одного из таксистов.

— Поезжайте в «Эксцельсиор», — прохрипел он. — Скажите мисс Уоррен. Двести лир! Мисс Уоррен! Due centi lire![109] А, мерзавцы — мерза…

Но его всё волокли, задыхающегося и всхлипывающего, сквозь кровавую дымку, по неровному, в выбоинах полу и наконец втащили в какую-то каморку и бросили на каменные плиты. Потом все вышли, дверь захлопнулась, он остался один.

---

[109] notes: 109
Двести лир! *(ит.)*

XXIII

Бэби Уоррен, лежа в постели, читала скучнейший роман Мэриона Кроуфорда из римской жизни; уже за полночь она встала, подошла к окну и выглянула на улицу. Прямо против отеля прогуливались по тротуару двое карабинеров в арлекинских треуголках и опереточных плащах, которые на поворотах заносило то справа, то слева, точно косой грот при перемене галса; своим видом они напоминали ей гвардейского офицера, так упорно разглядывавшего ее сегодня во время завтрака. Его дерзость была дерзостью рослого представителя малорослой народности, которому рост заменяет все прочие достоинства. Вздумай он подойти к ней и сказать: «Пойдем со мной», она бы ответила: «Ну что ж...» — по крайней мере, так ей казалось сейчас, в непривычной обстановке, словно бы освобождающей от привычных условностей поведения.

От гвардейца ее мысли лениво скользнули опять к карабинерам, а от них перекинулись на Дика. Она легла и погасила свет.

Около четырех ее разбудил резкий стук в дверь.

— Кто там?

— Это швейцар, madame.

Накинув кимоно, Бэби, сонная, пошла отворять.

— Ваш друг, месье Даверр, у него неприятности. Полиция арестовала его и посадила в тюрьму. Он послал такси, чтобы сказать вам, шофер говорит, он обещал платить двести лир… — Швейцар сделал паузу, ожидая, как это будет принято. — Шофер говорит, у месье Даверр очень большие неприятности. Он имел драку в полиции и очень сильно побит.

— Сейчас я спущусь.

Бэби оделась под глухие удары подстегнутого тревогой сердца и минут через десять вышла из лифта в полутемный вестибюль. Шофер, присланный Диком, уже уехал; швейцар нашел ей другое такси и сказал, в какой полицейский участок ехать. Ночной мрак понемногу редел и таял, и это колебание между ночью и днем болезненно отзывалось на нервах Бэби, все еще натянутых после внезапно прерванного сна. Мысленно она подгоняла медлительный рассвет, и когда такси выезжало на простор широких проспектов, ей казалось, что дело идет быстрее; но вдруг порыв ветра нагонял откуда-то облака, и то, что так

неотвратимо надвигалось со всех сторон, словно бы останавливалось в своем движении, а потом возникало сызнова. Машина миновала фонтан, громко журчавший над собственной раскидистой тенью, свернула в переулок, такой кривой, что домам в нем приходилось корежиться и извиваться, чтобы не вылезти на середину мостовой, протарахтела по выбитому булыжнику и толчком затормозила у невысокого здания с будками часовых по обе стороны входа, резко отделявшимися от зеленых, в потеках сырости, стен. И сейчас же из лиловой мглы подворотни донеслись отчаянные крики и вопли Дика:

— Есть тут англичане? Есть тут американцы? Есть тут англичане? Есть тут — а, дьявольщина! А, проклятые итальяшки!

Крики смолкли, и где-то яростно заколотили в дверь. Потом крики понеслись с новой силой:

— Есть тут американцы? Есть тут англичане?

Бэби побежала на звук голоса, вынырнула из подворотни на небольшой двор, постояла минуту в нерешительности, вертя головой по сторонам, и, наконец, определив, что крики несутся из маленькой караульни, рванула дверь и вошла. Двое карабинеров вскочили на ноги, но она, не обратив на них внимания, бросилась к запертой

двери в глубине.

— Дик! — закричала она. — Что здесь произошло?

— Они выбили мне глаз! — раздалось из-за двери. — Они мне надели наручники, а потом избили меня — эти сволочи, эти мерзавцы…

Круто повернувшись, Бэби шагнула к карабинерам.

— Что вы с ним сделали? — прошипела она так свирепо, что они невольно попятились.

— Non capisco inglese.[110]

Она стала клясть их по-французски; ее гнев, неистовый и высокомерный, заполнял комнату, стягивался вокруг обоих карабинеров, а они только ежились, молча пытаясь выпутаться из его жесткой пелены.

— Отоприте дверь! Выпустите его!

— Мы ничего не можем без приказа начальства.

— Ben! Be-ene! Bene![111]

Снова Бэби ошпарила их потоком ярости, а они, уже готовые извиниться перед ней за свое бессилие, растерянно поглядывали друг на дру-

---

[110] notes: 110
Не понимаю по-английски *(ит.).*

[111] notes: 111
Хорошо! Хорошо же! Хорошо! *(ит.)*

га с мыслью, что вышла какая-то чудовищная промашка. Бэби тем временем вернулась к двери камеры, припала к ней, чуть ли не гладила ее, словно таким образом могла дать Дику почувствовать, что она здесь и что она его выручит.

— Я еду в посольство. Скоро вернусь! — крикнула она и, еще раз грозно сверкнув на карабинеров глазами, выбежала из помещения.

У американского посольства она расплатилась с шофером такси, не захотевшим больше ждать. Она взбежала на темное еще крыльцо и позвонила. Только после третьего ее звонка щелкнул замок, и на пороге появился заспанный швейцар-англичанин.

— Мне нужен кто-нибудь из посольства. Все равно кто — только сейчас же.

— Все еще спят, madame. Мы работаем с девяти.

Она нетерпеливо отмахнулась от названного часа.

— У меня важное дело. Одного человека, американца, жестоко избили. Он в итальянской тюрьме.

— Все еще спят. В девять часов, пожалуйста…

— Я не могу ждать до девяти часов. Моему зятю, мужу моей сестры, выбили глаз, а теперь держат

его в тюрьме и не выпускают. Я должна немедленно поговорить с кем-нибудь, понятно? Что вы стоите и смотрите на меня, как идиот?

— Ничего не могу сделать, madame.

— Ступайте разбудите кого-нибудь, слышите? — Она схватила его за плечи и тряхнула изо всех сил. — Речь идет о жизни и смерти. Если вы сию же минуту не разбудите кого-нибудь и не приведете сюда, вам придется плохо…

— Будьте так любезны, madame, снимите свои руки.

Откуда-то сверху за спиной швейцара поплыл тягучий голос:

— Что там за шум?

Швейцар с явным облегчением отозвался:

— Пришла какая-то дама, сэр, и стала меня трясти.

Повернув голову, чтобы ответить, он на шаг отступил, и Бэби тотчас же прорвалась в вестибюль. На верхней площадке, кутаясь со сна в белый расшитый персидский халат, стоял молодой человек чрезвычайно странного вида. У него было жуткое, неестественно розовое лицо, казавшееся мертвым, несмотря на свой яркий цвет, а под носом торчало что-то похожее на кляп. Увидев Бэби, он поспешно попятился в тень.

— Что там такое? — снова спросил он.

Бэби стала рассказывать. В пылу волнения она незаметно для себя подошла к самому подножию лестницы и тут разглядела, что штука, принятая ею за кляп, была на самом деле просто наусниками, а лицо молодого человека покрывал густой слой розового кольдкрема, что, впрочем, легко вписалось в фантасмагорию этой ночи. Свой рассказ Бэби закончила пламенным требованием, чтобы молодой человек немедленно поехал с нею в тюрьму и добился освобождения Дика.

— Скверная история, — сказал он.

— Да, — покорно согласилась она. — Да.

— Затевать драку в полиции — на что это похоже! — В его тоне слышалась нотка личной обиды. — Боюсь, что до девяти часов ничего предпринять не удастся.

— До девяти часов! — в ужасе повторила она. — Но вы сами-то можете что-нибудь сделать! Хотя бы поехать со мной в тюрьму и потребовать, чтобы его больше не били.

— Нам не разрешается делать такие вещи. Для этого существует консульство. Консульство откроется в девять часов.

Вынужденная неподвижность его лица, перетянутого наусниками, еще больше разъярила Бэби.

— Не стану я ждать до девяти. Мой зять изувечен — он сказал, что ему выбили глаз. Я должна его увидеть. Я должна привезти к нему врача. — Она уже не говорила, а кричала, не пытаясь сдерживаться, в расчете на то, что тут скорей подействует тон, чем слова. — Вы обязаны что-то сделать. Это ваш долг — защищать американских граждан, попавших в беду.

Но молодой человек был родом с восточного побережья Америки, и прошибить его было не так-то легко. Сокрушенно покачав головой — мол, как это она не может понять его положение, — он плотней запахнул свой персидский халат и спустился на несколько ступенек.

— Дайте даме адрес консульства, — сказал он швейцару, — и еще выпишите из справочника адрес и телефон доктора Колаццо. — Он повернулся к Бэби с видом теряющего свою кротость Христа. — Сударыня, посольство есть учреждение, официально представляющее правительство Соединенных Штатов перед правительством Италии. Защитой граждан оно не занимается, за исключением тех случаев, когда имеются специальные указания государственного департамента. Ваш зять нарушил законы этой страны и был взят под стражу так же, как это случилось

бы с итальянцем, нарушившим американские законы в Нью-Йорке. Освободить его может только итальянский суд, и если вам понадобится юридический совет или помощь, вы можете обратиться в консульство, которое существует для защиты прав американских граждан. Консульство открывается в девять часов. Даже если бы речь шла о *моем* зяте, я бы ничего больше…

— Вы можете позвонить в консульство? — перебила Бэби.

— Мы в консульские дела не вмешиваемся. В девять часов явится консул и…

— Вы можете дать мне его домашний адрес?

После секундной заминки молодой человек покачал головой. Потом он взял у швейцара исписанный листок и подал Бэби.

— А теперь — попрошу меня извинить.

Он ловким маневром подвел ее к выходу. На миг фиолетовый отсвет зари упал на его розовую маску и полотняный чехольчик, поддерживавший его усы, еще миг — и Бэби осталась одна за захлопнутой дверью. Визит в посольство занял десять минут.

Площадь перед посольством была безлюдна, если не считать старика, который палкой с гвоздем на конце подбирал с мостовой окурки. Бэби

довольно скоро поймала такси и поехала прямо в консульство, но там тоже никого не было, только три изможденные женщины скребли щетками лестницу. Она так и не сумела объяснить им, что ей нужен домашний адрес консула; безотчетный приступ тревоги погнал ее снова в тюрьму. Шофер не знал, где эта тюрьма, но с помощью слов «sempre dritte», «dextra» и «sinestra»[112] ей удалось попасть в нужный район, а там она отпустила машину и ринулась в лабиринт уже знакомых переулков. Но все переулки и все дома были похожи друг на друга. Наконец какой-то переход вывел ее на площадь Испании прямо против здания «Американ экспресс компани» — при виде слова «Американ» у нее радостно подпрыгнуло сердце. Одно из окон было освещено, и, бегом перебежав площадь, она дернула дверь, но дверь оказалась запертой, а часы, видневшиеся за стеклом, показывали семь. И тут она вспомнила про Коллиса Клэя.

Случайно она знала отель, где он остановился, — старый тесный дом наискосок от «Эксцельсиора», весь сверху донизу в красном плюще. Дежурная за конторкой не проявила сочув-

[112] notes: 112
Все время прямо, направо, налево *(ит.).*

ствия — беспокоить мистера Клэя отказалась и пустить к нему мисс Уоррен одну тоже не захотела. Только после долгих объяснений, уверовав, что амурами тут не пахнет, она вместе с Бэби поднялась наверх.

Коллис лежал на кровати совершенно голый. Накануне он завалился спать пьяным и, будучи разбужен, не сразу сообразил, в каком он виде. Сообразив же, попытался поправить дело избытком скромности — подхватил свою одежду и опрометью кинулся в ванную. Там он торопливо оделся, бормоча себе под нос: «Черт, она же, наверно, разглядела меня во всех подробностях!» Телефон помог установить точный адрес тюрьмы, и Бэби с Клэем поспешили туда.

На этот раз дверь камеры была открыта, а Дик полусидел-полулежал на скамье в караульном помещении. Карабинеры кое-как смыли кровь с его лица, стряхнули пыль с костюма и надвинули на лоб шляпу. Вся дрожа, Бэби смотрела на него с порога.

— Мистер Клэй останется тут с вами, — сказала она, — а я поеду за консулом и за врачом.

— Хорошо.

— А вы пока сидите спокойно.

— Хорошо.

— Я скоро вернусь.

Она опять поехала в консульство; был уже девятый час, и ее впустили в приемную. Около девяти приехал консул, и Бэби, близкая к истерике от усталости и от сознания своего бессилия, снова рассказала все с самого начала. Консул забеспокоился. Он прочел ей нотацию об опасности всяких ссор и скандалов в чужой стране, но больше всего был озабочен тем, чтобы она не входила в кабинет, а дожидалась его дальнейших действий в приемной. С отчаянием она прочла в его стариковских глазах отчетливое желание по возможности не впутываться в эту историю. Чтобы не терять времени, Бэби стала звонить врачу. Посетителей в приемной все прибавлялось, и кое-кого вызывали в кабинет. По прошествии получаса, воспользовавшись моментом, когда дверь отворилась, выпуская очередного посетителя, она, минуя секретаря, ворвалась в кабинет.

— Это возмутительно! Американского гражданина избили до полусмерти и засадили в тюрьму, а вы пальцем не шевельнете, чтобы помочь ему.

— Одну минуту, миссис…

— Я достаточно долго ждала. Немедленно поезжайте со мной в тюрьму и потребуйте, чтобы его освободили.

— Миссис…

— Мы в Америке занимаем видное положение… — Вокруг ее рта обозначились жесткие складки. — Если бы не желание избежать огласки… во всяком случае, я позабочусь, чтобы о вашей бездеятельности узнали где следует. Будь мой зять британским подданным, он уже давно был бы на свободе, но вас больше беспокоит, что подумает полиция, чем то, ради чего вы здесь сидите.

— Миссис…

— Сейчас же надевайте шляпу и едем.

Упоминание о шляпе привело консула в панику; он засуетился, стал рыться в своих бумагах, протирать очки. Но то были бесполезные уловки; разгневанная Американская Женщина надвинулась на него, и не ему было устоять против неукротимого, сумасбродного нрава, который переломил моральный хребет целой нации и целый материк превратил в детские ясли. Консул позвонил и попросил вызвать к нему вице-консула — Бэби одержала победу.

Дик грелся на утреннем солнце, щедро лившемся в окно караульной. Коллис и карабинеры были тут же, и все четверо с нетерпением ожидали дальнейших событий. Своим единственным зря-

чим глазом Дик видел лица обоих карабинеров, типичные лица тосканских крестьян с короткой верхней губой, никак не вязавшиеся в его представлении с жестокостью учиненной над ним ночной расправы. Он послал одного из них за бутылкой пива.

От пива у него слегка закружилась голова, и все происшествие приобрело на миг мрачновато-юмористическую окраску. Коллис считал англичанку из «Бонбониери» каким-то образом причастной к делу, но Дик был уверен, что она исчезла задолго до его стычки с таксистами. Коллис все еще переживал то обстоятельство, что Бэби застала его голым.

Ярость Дика вобралась понемногу внутрь его существа и перешла в безграничную, преступно-слепую злобу. То, что с ним случилось, было настолько ужасно, что преодолеть это он мог бы только, если бы стер все начисто; а так как это было неосуществимо, он понимал, что надеяться не на что. Отныне он становился совсем другим человеком, и сейчас, пока еще в душе у него был хаос, его будущее новое «я» рисовалось ему в самых причудливых чертах. Во всем этом была неотвратимость стихийного бедствия. Ни один взрослый ариец не способен претерпеть униже-

ние с пользой для себя; если он простил, значит, оно вросло в его жизнь, значит, он отождествил себя с причиной своего позора — что в данном случае было невозможно.

Коллис заговорил было о том, что нельзя такое дело спустить, но Дик только молча покачал головой. Вдруг в караульную, с энергией, которой хватило бы на троих, влетел молодой лейтенант, наглаженный, начищенный, быстрый, и карабинеры, вскочив, вытянулись во фронт. Увидев пустую бутылку из-под пива, он устроил своим подчиненным бурный разнос, после чего с чисто современной деловитостью приказал немедленно убрать бутылку из помещения караульной. Дик глянул на Коллиса и засмеялся.

Явился вице-консул, заработавшийся молодой человек по фамилии Суонсон, и все отправились в суд — Дик между Суонсоном и Коллисом впереди, а карабинеры сзади. Утро было солнечное, чуть подернутое желтоватой дымкой; на площади и под аркадами толпился народ, и Дик, низко надвинув шляпу на глаза, шел таким быстрым шагом, что коротконогие карабинеры за ним не поспевали. В конце концов один из них, забежав вперед, потребовал, чтобы шли помедленней. С помощью Суонсона вопрос был улажен.

— Что, осрамил я вас? — веселым тоном сказал Дик.

— Скажите спасибо, что остались живы, — несколько смутившись, заметил Суонсон. — С этими итальянцами лучше не связываться. На этот раз они вас скорей всего отпустят, но не будь вы иностранцем, пришлось бы посидеть в тюрьме месяца два-три. Очень даже просто.

— А вы когда-нибудь сидели?

Суонсон улыбнулся.

— Он мне нравится, — объявил Дик Клэю. — Симпатичный молодой человек и, главное, умеет дать хороший совет. Особенно насчет сидения в тюрьме. Ручаюсь, у него есть опыт по этой части.

Суонсон улыбнулся:

— Я только хотел предупредить, что с ними надо поосторожнее. Вы не знаете, что это за люди.

— О, я очень хорошо знаю, что это за люди, — взорвался Дик. — Сволочи и мерзавцы. — Он повернулся к карабинерам. — Поняли?

— В суд я с вами не пойду, — поторопился сказать Суонсон. — Я вашей родственнице так и сказал. Но вас там встретит наш юрист. И помните — нужно поосторожнее.

— До свидания. — Дик любезно пожал ему руку. — Большое спасибо. Убежден, что вы сделаете

блестящую карьеру…

Суонсон еще раз улыбнулся и ушел, сразу же вернув своему лицу официальное неодобрительное выражение.

Дик и его эскорт вошли в небольшой внутренний двор, где со всех четырех сторон поднимались лестницы, ведущие в камеры судей. Во дворе толпилось много народу, и когда они проходили мимо, в толпе поднялся ропот, им вслед понеслись сердитые выкрики, свист и улюлюканье. Дик удивленно оглянулся.

— Чего это они? — спросил он с испугом.

Один из карабинеров что-то сказал тем, кто стоял поближе, и шум сразу улегся.

Они вошли в одну из камер. Юрист консульства, довольно обтрепанный итальянец, долго что-то втолковывал судье, а Дик и Коллис ожидали в сторонке. У окна, выходившего во двор, стоял какой-то человек, который объяснил им по-английски, чем было вызвано негодование толпы. В это утро должны были судить одного уроженца Фраскати, который изнасиловал и убил пятилетнюю девочку, и когда появился Дик, толпа решила, что это он и есть.

Через несколько минут юрист сказал Дику, что он свободен, — судья счел его уже достаточно

наказанным.

— Достаточно наказанным! — воскликнул Дик. — А за что, собственно?

— Пойдемте, — заторопил его Клэй. — Здесь больше делать нечего.

— А я хочу знать, в чем моя вина, — что я подрался с несколькими таксистами?

— В обвинении сказано, что вы подошли к полицейскому агенту как будто затем, чтобы попрощаться с ним, а сами ударили его по лицу.

— Но это ложь! Я его предупредил — и откуда мне было знать, что это полицейский агент?

— Уходите вы поскорей, — посоветовал юрист.

— Пошли, пошли. — Коллис взял его под руку, и они спустились во двор.

— Я желаю произнести речь! — заорал Дик. — Я хочу рассказать этим людям, как я насиловал пятилетнюю девочку. Может, я в самом деле…

— Пошли, пошли.

У ворот дожидалось такси, в котором сидела Бэби с врачом. Дику не хотелось смотреть Бэби в глаза, а врач ему не понравился; судя по строго поджатым губам, он принадлежал к самому непонятному типу в Европе — типу латинянина-моралиста. Дик попробовал подвести свой итог происшедшему, но отклика ни у кого не встре-

тил. В его номере в «Квиринале» врач смыл с его лица грязный пот и остатки запекшейся крови, осмотрел все телесные повреждения, прижег мелкие ссадины и наложил повязку на глаз. Дик попросил дать ему четверть таблетки морфия — не спадавшее нервное возбуждение не дало бы ему уснуть. Когда морфий подействовал, Коллис и врач ушли, а Бэби осталась ждать сиделку, вызванную из английской лечебницы. Бэби сегодня порядком досталось, но она находила утешение в мысли, что, как бы ни безупречен был Дик до сих пор, события этой ночи дали им нравственное превосходство над ним на все время, пока он еще будет им нужен.

Книга третья
I

Фрау Кэте Грегоровиус догнала мужа на дорожке, ведущей к их вилле.

— Ну, как Николь? — спросила она ласково, но ее срывающееся дыхание выдавало поспешность, с которой она бежала, чтобы задать этот вопрос.

Франц недоуменно оглянулся.

— Николь здорова. А почему ты вдруг спрашиваешь, душенька?

— Ты так часто навещаешь ее, что я решила — наверно, она больна.

— Поговорим об этом дома.

Кэте покорно умолкла. Кабинета у Франца на вилле не было, в гостиной занимались дети; поэтому они прошли прямо в спальню.

— Прости меня, Франц, — сказала Кэте, прежде чем он успел раскрыть рот. — Прости, милый, я не должна была так говорить. Я знаю свой долг и горжусь им. Но у нас с Николь какая-то взаимная неприязнь.

— Птички в гнездышках мирно живут, — провозгласил Франц, но, спохватившись, что тон

у него разошелся со смыслом, повторил свое изречение в том размеренном, четком ритме, которым его старый учитель, доктор Домлер, любую банальность умел сделать многозначительной: — Птички — в гнездышках — мирно — живут.

— Да, да, конечно. Ты не можешь упрекнуть меня в недостатке внимания к Николь.

— Я тебя упрекаю в недостатке здравого смысла. Николь не только жена Дика, но и его больная, и в какой-то мере останется ею навсегда. А потому в отсутствие Дика я считаю себя ответственным за ее состояние. — Он помедлил, прежде чем сообщить Кэте новость, которую немного попридержал с шутливым намерением подразнить ее. — Я утром получил телеграмму из Рима. Дик болел гриппом, но уже поправился и завтра выезжает домой.

Кэте, явно обрадованная, продолжала более бесстрастным тоном:

— По-моему, Николь не так больна, как кажется. Она сама преувеличивает свою болезнь, используя ее как орудие власти над окружающими. Ей бы надо быть киноактрисой, вроде твоей хваленой Нормы Толмедж, — все американки мечтают о такой карьере.

— Уж не ревнуешь ли ты меня к Норме Толмедж?

— Я вообще не люблю американцев. Все они эгоисты — э-го-исты!

— И Дика не любишь?

— Дика люблю, — призналась она. — Но Дик совсем другой, он думает не только о себе.

…И Норма Толмедж тоже, мысленно произнес Франц. Уверен, что она так же умна и добра, как и красива. Просто ей поневоле приходится играть глупые роли. Уверен, что Норма Толмедж — женщина, знакомством с которой можно гордиться.

Но Кэте уже позабыла про Норму Толмедж, хотя однажды изводилась из-за нее всю дорогу от Цюриха, куда они ездили в кино.

— Дик женился на Николь ради денег, — продолжала она. — Поддался искушению — ты мне сам как-то раз дал понять это.

— Нехорошо так говорить, Кэте.

— Ладно, беру свои слова обратно. Все мы должны жить, как птички в гнездышке, по твоей поговорке. Но это очень трудно, когда Николь — когда видишь, как она старается отстраниться, даже не дышать, словно от меня плохо пахнет!

Это не было фантазией Кэте. Она сама делала почти всю работу по дому и не привыкла много

тратить на свою одежду. Любая американская продавщица, каждый вечер стирающая свои две смены белья, уловила бы чуть заметный запах вчерашнего пота, исходивший от Кэте, даже не запах, а так, аммиачный намек на извечность труда и распада. Для Франца это было чем-то столь же естественным, как и густой маслянистый аромат волос Кэте, и то и другое входило в его жизнь необходимым элементом. Но Николь с ее обостренным от природы обонянием, еще маленькой девочкой морщившаяся, когда ее одевала нянька, с трудом выносила соседство Кэте.

— А дети! Она не хочет, чтобы они играли с нашими детьми…

Но Франц не пожелал больше слушать:

— Довольно. Ты, кажется, забываешь, что без денег Николь у нас не было бы этой клиники. Пойдем лучше завтракать.

Кэте пожалела о своей неуместной вспышке, но слова Франца напомнили ей про то, что и у других американцев водятся деньги, а неделю спустя ее неприязнь к Николь нашла себе новый выход.

Грегоровиусы устроили у себя обед по случаю возвращения Дика. Не успели Дайверы выйти за дверь после этого обеда, как Кэте повернулась к мужу.

— Ты видел его лицо? Это следы дебоша!

— Не спеши с выводами, — предостерег Франц. — Дик сам мне все рассказал в первый же день. Он участвовал в любительском боксе во время переезда через Атлантику. Американцы постоянно занимаются боксом в этих трансатлантических рейсах.

— Так я и поверила! — насмешливо отозвалась Кэте. — У него одна рука почти не поднимается, а на виске незаживший шрам и видно место, где были сбриты волосы.

Франц этих подробностей не разглядел.

— Думаешь, такие вещи способствуют репутации клиники? — не унималась Кэте. — От него и сегодня пахло вином, и это не первый раз с тех пор, как он вернулся. — Она понизила голос, как того требовала значительность суждения, которое ей предстояло высказать. — Дик перестал быть серьезным врачом.

Франц передернул плечами, как бы стряхивая ее настойчивые обвинения, и жестом показал наверх. В спальне он напустился на жену.

— Он не только серьезный врач, он блестящий врач. Самый блестящий из всех невропатологов, защитивших диссертацию в Цюрихе за последнее десятилетие. Мне до него далеко.

— Стыдись, Франц!

— Мне стыдиться нечего, потому что это чистая правда. Во всех сложных случаях я обращаюсь за советом к Дику. Его работы до сих пор считаются образцовыми в своей области — в любой медицинской библиотеке тебе это скажут. Его обычно принимают за англичанина — не верят, что американский ученый может быть способен на такую обстоятельность. — Он зевнул по-домашнему и полез под подушку за пижамой. — Удивляюсь твоим разговорам, Кэти, — я всегда считал, что ты любишь Дика.

— Стыдись! — повторила Кэте. — Из вас двоих ты — настоящий ученый, и всю работу тоже делаешь ты. Это как в басне о зайце и черепахе, и, на мой взгляд, заяц уже почти выдохся.

— Шш! Шш!

— Нечего на меня шикать, я говорю то, что есть.

Он с силой рубанул воздух раскрытой ладонью.

— Довольно!

На том спор окончился, но он не прошел для спорщиков даром. Кэте мысленно признала чрезмерную резкость своих нападок на Дика, к которому привыкла относиться с симпатией и

почтительным восхищением, тем более что он так умел понимать и ценить ее. А Франц постепенно проникался убеждением, что Кэте права и Дик в самом деле не такой уж серьезный врач и ученый. Со временем ему даже стало казаться, что он это всегда знал.

II

Дик предложил Николь отредактированную версию своего римского злоключения; по этой версии он дрался из человеколюбия — выручал перепившегося товарища. Бэби Уоррен, он знал, будет держать язык за зубами: он достаточно ярко расписал ей губительные последствия, которые грозят Николь, если она узнает правду. Но все это были пустяки по сравнению с тем, какие губительные последствия имела вся история для него самого.

Как бы во искупление происшедшего, он с удвоенной энергией накинулся на работу, и Франц, втайне уже решившийся на разрыв, не мог найти, к чему бы придраться для начала. Если дружба, которая была дружбой не только на словах, рвется в один час, то, как правило, она рвется с мясом; оттого-то Франц мало-помалу

постарался внушить себе, что ускоренный темп и ритм духовной и чувственной жизни Дика несовместим с его, Франца, внутренним темпом и ритмом — раньше, правда, считалось, что этот контраст идет на пользу их общей работе.

Но только в мае Францу представился случай вбить в трещину первый клин. Как-то раз Дик в неурочное время вошел к нему в кабинет, измученный и бледный, и, устало сев в кресло у двери, сказал:

— Все. Ее больше нет.

— Умерла?

— Отказало сердце.

Дик сидел сгорбившись, совершенно обессиленный. Три последние ночи он бодрствовал у постели пораженной экземой художницы, к которой он так привязался, — формально, чтобы вводить ей адреналин, по существу же, чтобы хоть слабым проблеском света смягчить неотвратимо надвигавшуюся тьму.

Изобразив на лице сочувствие, Франц поспешил изречь свой вердикт:

— Убежден, что сыпь была нервно-сифилитического происхождения. Никакие Вассерманы меня не переубедят. Спинномозговая жидкость…

— Не все ли равно? — устало сказал Дик. —

Господи, не все ли равно? Если она так ревниво берегла свою тайну, что захотела унести ее в могилу, пусть на том и останется.

— Вам бы денек отдохнуть.

— Отдохну, не тревожьтесь.

Клин был вбит; подняв голову от телеграммы, которую он стал было составлять для брата умершей, Франц сказал:

— А может быть, вы предпочли бы проехаться в Лозанну?

— Сейчас — нет.

— Я не имею в виду увеселительную поездку. Нужно посмотреть там одного больного. Его отец — он чилиец — все утро держал меня сегодня на телефоне…

— В ней было столько мужества, — сказал Дик. — И так долго она мучилась. — Франц участливо покивал головой, и Дик опомнился. — Я вас перебил, Франц, извините.

— Я просто думал, что вам полезно ненадолго переменить обстановку. Понимаете, отец не может уговорить сына поехать сюда. Вот он и просит, чтобы кто-нибудь приехал в Лозанну.

— А в чем там дело? Алкоголизм? Гомосексуализм? Поскольку речь идет о поездке…

— Всего понемножку.

— Хорошо, я поеду. У них есть деньги?

— Да, и, по-видимому, немалые. Побудьте там дня два-три, а если найдете, что требуется длительное наблюдение, везите мальчишку сюда. Но во всяком случае, торопиться вам некуда и незачем. Постарайтесь сочетать дело с развлечением.

Два часа сна в поезде обновили Дика, и он почувствовал себя достаточно бодрым для предстоящей встречи с сеньором Пардо-и-Сиудад-Реаль.

Он уже заранее представлял себе эту встречу, основываясь на опыте. Очень часто в таких случаях истерическая нервозность родственников представляет не меньший интерес для психолога, чем состояние больного. Так было и на этот раз. Сеньор Пардо-и-Сиудад-Реаль, красивый седой испанец с благородной осанкой, со всеми внешними признаками богатства и могущества, метался из угла в угол по своему номеру-люкс в «Hôtel des Trois Mondes»[113] и, рассказывая Дику о сыне, владел собой не лучше какой-нибудь пьяной бабы.

— Я больше ничего не могу придумать. Мой сын порочен. Он предавался пороку в Харроу, он предавался пороку в Королевском колледже в

---

[113] notes: 113
«Отель трех миров» (*фр.*).

Кембридже. Он неисправимо порочен. А теперь, когда еще пошло и пьянство, правды уже не скроешь и скандал следует за скандалом. Я перепробовал все; есть у меня один знакомый доктор, мы вместе выработали план, и я послал его с Франсиско в путешествие по Испании. Каждый вечер он делал Франсиско укол контаридина, и потом они вдвоем отправлялись в какой-нибудь приличный bordello.[114] Сперва это как будто помогало, но через несколько дней все пошло по-старому. В конце концов я не выдержал и на прошлой неделе вот здесь, в этой комнате — точнее, вон там, в ванной, — он ткнул пальцем в сторону двери, — я заставил Франсиско раздеться до пояса и отхлестал его плеткой…

В полном изнеможении он рухнул в кресло. Тогда заговорил Дик.

— Это было неразумно — и поездка в Испанию тоже ничего не могла дать… — Он с трудом подавлял желание расхохотаться: хорош, верно, был врач, согласившийся участвовать в этаком любительском эксперименте! — Должен вам сказать, сеньор, в подобных случаях мы ничего не можем обещать заранее. Что касается алкоголиз-

---

[114] notes: 114
Бордель (*ит.*).

ма, здесь иногда удается достичь положительных результатов, конечно, при содействии самого пациента. Но так или иначе, я прежде всего должен познакомиться с вашим сыном и завоевать его доверие — хотя бы для того, чтобы услышать, что он сам о себе скажет.

…Они сидели вдвоем на террасе — Дик и юноша лет двадцати с красивым, подвижным лицом.

— Мне хотелось бы знать, как вы сами относитесь ко всему этому, — сказал Дик. — Замечаете ли, что ваши недостатки прогрессируют? Хотели бы вы от них избавиться?

— Пожалуй, хотел бы, — ответил Франсиско. — Мне очень нехорошо.

— А от чего именно, как вам кажется? От того, что пьете слишком много, или от ваших ненормальных склонностей?

— Я бы, может, не пил, если б не эти склонности. — До сих пор он разговаривал серьезно, но тут его вдруг разобрал смех. — Да нет, знаете, я безнадежный. Мне еще в Кембридже прилепили кличку Чилийская Красотка. А теперь, после этой поездки в Испанию, меня от одного вида женщины тошнить начинает.

Дик резко перебил его:

— Если вам все это нравится, я не возьмусь вас

лечить, и мы только понапрасну теряем время.

— Нет, нет, — давайте поговорим еще. Если б вы знали, как мне противно разговаривать с другими.

Вся мужественность, отпущенная этому юноше природой, выродилась в активную неприязнь к отцу. Но Дик подметил у него в глазах типичное шальное лукавство, с которым гомосексуалисты говорят на близкую им тему.

— Стоит ли играть в прятки с самим собой? — продолжал Дик. — Лучшие ваши годы отнимает ненормальная половая жизнь и ее последствия, и у вас недостанет ни времени, ни сил на что-либо иное, более достойное и полезное. Если вы хотите прямо смотреть миру в лицо, научитесь сдерживать свои чувственные порывы и прежде всего бросьте пить, потому что алкоголь стимулирует их...

Он машинально нанизывал фразу за фразой, так как мысленно уже отказался от пациента. Однако они еще с час провели на террасе за милой беседой — о домашнем укладе Франсиско в Чили, о том, что его занимает и влечет. Впервые Дик испытывал к человеку этого типа не врачебный, а обыкновенный житейский интерес, и ему было ясно, что причина заключена в обаянии

Франсиско, том самом обаянии, которое помогает ему совершать преступления против нравственности. А для Дика человеческое обаяние всегда имело самодовлеющую ценность, в каких бы формах оно ни выражалось — в безрассудном ли мужестве той несчастной, что скончалась сегодня утром в клинике на Цугском озере, или в непринужденной грации, с которой этот пропащий мальчишка говорил о самых банальных и скучных вещах. Дику свойственно было рассекать жизнь на части, достаточно мелкие, чтобы их хранить про запас; он понимал, что целая жизнь может вовсе не равняться сумме ее отрезков, но когда человеку за сорок, кажется невозможным обозреть ее целиком. Его любовь к Николь и к Розмэри, его дружба с Эйбом Нортом и с Томми Барбаном в расколотом мире послевоенной поры — при каждом из столь тесных соприкосновений с чужой личностью эта чужая личность впечатывалась в его собственную; взять все или не брать ничего — таков был жизненный выбор, и теперь ему словно по высшему приговору предстояло до конца своих дней нести в себе «я» тех, кого он когда-то знал и любил, и только с ними и через них обретать полноту существования. То была невеселая участь; ведь так легко быть

любимым — и так трудно любить.

Во время разговора с Франсиско перед Диком возник вдруг некий призрак из прошлого. Высокая мужская фигура отделилась от соседних кустов и, как-то странно виляя, нерешительно приблизилась к беседующим. Дик не сразу заметил пришельца, казавшегося деталью пейзажа с подрагивающей на ветру листвой, но в следующий миг он уже поднялся навстречу, тряс робко протянутую ему руку, мучительно стараясь вспомнить ускользнувшее имя: «Господи, да я растревожил тут целое гнездо!»

— Если не ошибаюсь, доктор Дайвер?

— Если не ошибаюсь, мистер — э-э-э-э — Дамфри?

— Ройял Дамфри. Я имел удовольствие однажды обедать на вашей очаровательной вилле.

— Как же, помню. — Желая умерить восторги мистера Дамфри, Дик пустился в сухую хронологию. — Это было в тысяча девятьсот двадцать четвертом? или двадцать пятом?

Он умышленно не садился, но Ройяла Дамфри, столь застенчивого в первую минуту, оказалось не так легко отпугнуть; интимно понизив голос, он заговорил с Франсиско, однако тот, явно стыдясь его, не больше Дика был расположен

поддерживать разговор.

— Доктор Дайвер, одно только слово, и я не стану вас задерживать. Мне хотелось сказать вам, что я никогда не забуду тот вечер у вас в саду и любезный прием, который нам был оказан вами и вашей супругой. Это всегда будет одним из лучших, прекраснейших воспоминаний моей жизни. Мне редко приходилось встречать столь утонченное светское общество, какое собралось тогда за вашим столом.

Дик понемногу пятился боком к ближайшей двери.

— Рад слышать, что вы сохранили столь приятное воспоминание. К сожалению, я должен…

— Да, да, я понимаю, — сочувственно подхватил Ройял Дамфри. — Говорят, он при смерти.

— При смерти? Кто?

— Мне, может быть, не следовало — нас, видите ли, пользует один и тот же врач.

Дик недоуменно уставился на него:

— О ком вы говорите?

— Но о вашем тесте, конечно, — мне, может быть…

— О моем *тесте*?

— Ах, боже мой, — неужели вы только от меня…

— Вы хотите сказать, что мой тесть здесь, в Лозанне?

— Но я думал, вы знаете, — я думал, вы потому и приехали.

— Как фамилия врача, о котором вы говорили?

Дик записал фамилию, откланялся и поспешил к телефонной будке.

Через минуту он уже знал, что доктор Данже готов немедленно принять доктора Дайвера у себя дома.

Доктор Данже, молодой врач из Женевы, испугался было, что потеряет выгодного пациента, но, будучи успокоен на этот счет, подтвердил, что состояние мистера Уоррена безнадежно.

— Ему всего пятьдесят лет, но у него тяжелая дистрофия печени на почве алкоголизма.

— Как другие органы?

— Желудок уже не принимает ничего, кроме жидкой пищи. Я считаю, ему осталось дня три, от силы неделя.

— А мисс Уоррен, его старшая дочь, осведомлена о его состоянии?

— Согласно его собственной воле, кроме его камердинера, никто ничего не знает. Не далее как сегодня утром я счел себя обязанным обрисовать положение ему самому. Он очень взволновался,

хотя с самого начала болезни настроен был, я бы сказал, в духе христианского смирения.

— Хорошо, — сказал Дик после некоторого раздумья. — Пока, во всяком случае, придется мне взять на себя все, что касается родных. Как я полагаю, им был бы желателен консилиум.

— Пожалуйста.

— От их имени я попрошу вас связаться с крупнейшим медицинским авторитетом в округе — доктором Гербрюгге из Женевы.

— Я и сам думал о Гербрюгге.

— Сегодня я весь день здесь и буду ждать от вас известий.

Перед вечером Дик пошел к сеньору Пардо-и-Сиудад-Реаль для окончательного разговора.

— У нас обширные поместья в Чили, — сказал старик. — Я мог бы поручить Франсиско управление ими. Или поставить его во главе любого из десятка парижских предприятий… — Он горестно помотал головой и принялся расхаживать взад и вперед мимо окон, за которыми накрапывал дождик, такой весенний и радостный, что даже лебеди не думали прятаться от него под навес. — Мой единственный сын! Почему вы не хотите взять его в свою клинику? — Испанец вдруг повалился Дику в ноги: — Спасите моего сына! Я верю

в вас — возьмите его к себе, вылечите его!

— То, о чем вы говорили, не причина, чтобы подвергать человека принудительному лечению. Я не стал бы этого делать, даже если бы мог.

Испанец встал.

— Я погорячился — обстоятельства вынудили меня…

В вестибюле у лифта Дик столкнулся с доктором Данже.

— А я как раз собирался звонить вам. Пройдемте на террасу, там нам будет удобнее разговаривать.

— Мистер Уоррен скончался? — спросил Дик.

— Нет, пока все без изменений. Консилиум состоится завтра утром. Но он непременно хочет увидеться с дочерью — с вашей женой. Насколько я понимаю, была какая-то ссора…

— Я все это знаю.

Оба врача задумались, вопросительно поглядывая друг на друга.

— А может быть, вам самому повидаться с ним, прежде чем принимать решение? — предложил доктор Данже. — Его смерть будет легкой — он просто тихо угаснет.

Не без усилия Дик согласился.

— Хорошо, я пойду к нему.

Номер-люкс, в котором тихо угасал Девре Уоррен, был не меньше, чем у сеньора Пардо-и-Сиудад-Реаль, — в этом отеле много было подобных апартаментов, где одряхлевшие толстосумы, беглецы от правосудия, безработные правители аннексированных княжеств коротали свой век с помощью барбитуровых или опийных препаратов под вечный гул неотвязных, как радио, отголосков былых грехов. Сюда, в этот уголок Европы, стекаются люди не столько из-за его красот, сколько потому, что здесь им не задают нескромных вопросов. Пути страдальцев, направляющихся в горные санатории и на туберкулезные курорты, скрещиваются здесь с путями тех, кто перестал быть persona grata во Франции или в Италии.

В номере было полутемно. Монахиня с лицом святой хлопотала у постели больного, исхудалыми пальцами перебиравшего четки на белой простыне. Он все еще был красив, и, когда он заговорил после ухода Данже из комнаты, Дик как будто расслышал в его голосе самодовольный рокоток прежних дней.

— Нам многое открывается под конец жизни, доктор Дайвер. Только теперь я понял то, что давно должен был понять.

Дик выжидательно молчал.

— Я был дурным человеком. Вы знаете, как мало у меня прав на то, чтобы еще раз увидеть Николь, — но тот, кто выше нас с вами, учит нас жалеть и прощать. — Четки выскользнули из его слабых рук и скатились с атласного одеяла. Дик поднял их и подал ему. — Если б я мог увидеться с Николь хоть на десять минут, я счастливым отошел бы в лучший мир.

— Это вопрос, который я не могу решить сам, — сказал Дик. — У Николь хрупкое здоровье. — Он все уже решил, но делал вид, будто сомневается. — Я должен посоветоваться со своим коллегой по клинике.

— Ну что ж, доктор, как ваш коллега скажет, так пусть и будет. Я слишком хорошо понимаю, чем я вам обязан…

Дик торопливо встал.

— Ответ вы получите через доктора Данже.

Вернувшись в свой номер, он попросил соединить его с клиникой на Цугском озере. Телефон долго молчал, наконец на вызов ответила Кэте — из дому.

— Мне нужно поговорить с Францем, Кэте.

— Франц наверху, в горах. Я сейчас собираюсь туда — передать что-нибудь?

— Речь идет о Николь — здесь, в Лозанне, умирает ее отец. Скажите это Францу, пусть знает, что дело срочное, и попросите его позвонить мне с базы.

— Хорошо.

— Скажите, что с трех до пяти и с семи до восьми я буду у себя в номере, а позже меня можно будет найти в ресторане.

За всеми расчетами времени он позабыл предупредить Кэте, что Николь пока ничего не должна знать. Когда он спохватился, их уже разъединили. Оставалось надеяться, что Кэте сама сообразит.

Наверху, в горах, у клиники была база, куда больных вывозили зимой для лыжных прогулок, весной для небольших горных походов. Пока маленький паровозик карабкался по пустынному склону, осыпанному цветами, продуваемому неожиданными ветрами, Кэте и не думала о том, рассказывать или не рассказывать Николь про звонок Дика. Сойдя с поезда, она сразу увидела Николь, старавшуюся внести порядок в возню, затеянную Ланье и Топси. Кэте подошла и, ласково положив руку ей на плечо, сказала:

— У вас все так хорошо получается с детьми, надо бы вам летом поучить их плавать.

Забывшись в пылу игры, Николь машинально,

почти грубо дернула плечом. Рука Кэте неловко упала, и она тут же расплатилась за обиду словами.

— Вы что, вообразили, будто я хочу вас обнять? — сказала она со злостью в голосе. — Просто мне жаль Дика, я говорила с ним по телефону и…

— С Диком что-то случилось?

Кэте поняла свой промах, но было уже поздно; на настойчивые расспросы Николь: «…а почему же вы сказали, что вам его жаль?» — она только и могла, что упрямо твердить:

— Ничего с ним не случилось. Мне нужен Франц.

— Нет, случилось, я знаю.

Ужасу, исказившему лицо Николь, вторил испуг на лицах маленьких Дайверов, которые все слышали. Кэте не выдержала и сдалась.

— Ваш отец заболел в Лозанне. Дик хочет посоветоваться с Францем.

— Опасно заболел?

Тут как раз подоспел Франц — мягкий и участливый, как у постели больного. Обрадованная Кэте поспешила переложить на него всю остальную тяжесть, но сделанного уже нельзя было вернуть.

— Я еду в Лозанну, — объявила Николь.

— Не нужно торопиться, — сказал Франц. — Мне кажется, это было бы неразумно. Дайте мне раньше связаться с Диком по телефону.

— Но я тогда пропущу местный поезд, — заспорила Николь, — и не успею на трехчасовой цюрихский. Если мой отец при смерти, я могу… — Она оборвала фразу, не решаясь высказать вслух то, что думала. — Я *должна* ехать. И мне надо бежать, иначе я опоздаю. — Она в самом деле уже бежала туда, где маленький паровозик пыхтя увенчивал клубами пара голый склон. На бегу она оглянулась и крикнула Францу: — Будете говорить с Диком, скажите — я еду!

…Дик сидел у себя и читал «Нью-Йорк геральд», как вдруг в комнату ворвалась ласточкоподобная монахиня — и в то же мгновение зазвонил телефон.

— Умер? — с надеждой спросил монахиню Дик.

— Monsieur, il est parti — он исчез!

— Что-о?

— Il est parti — и камердинер его исчез, и все вещи.

Это было невероятно. Чтобы человек в таком состоянии встал, собрался и уехал!

Дик взял телефонную трубку и услышал голос Франца.

— Но зачем же было говорить Николь? — возмутился он.

— Это Кэте сказала ей по неосторожности.

— Моя вина, конечно. Ничего нельзя рассказывать женщинам раньше времени. Ну ладно, я ее встречу на вокзале… Слушайте, Франц, произошла фантастическая вещь — старик встал и уехал.

— Орехов? Не понимаю, что вы сказали.

— У-е-хал. Я говорю, старик Уоррен уехал.

— Что же тут особенного?

— Да ведь он чуть ли не умирал от коллапса, — и вдруг собрался и уехал… наверно, в Чикаго… не знаю, сиделка прибежала сюда… не знаю, Франц, — я сам только что услышал об этом… позвоните мне позже.

Почти два часа Дик потратил на то, чтобы задним числом проследить за действиями Уоррена. Воспользовавшись паузой при смене дневной и ночной сиделок, больной спустился в бар, где наспех проглотил четыре порции виски, расплатился за номер бумажкой в тысячу долларов, сдачу с которой велел переслать по почте, и отбыл — по всей вероятности, в Америку. Попытка Дика вместе с Данже настигнуть его на вокзале привела только к тому, что Дик разминулся с Ни-

коль. Он встретил ее уже в вестибюле отеля — она казалась утомленной, и при виде ее поджатых губ у него тревожно екнуло сердце.

— Как отец? — спросила она.

— Гораздо лучше. В нем, видно, таился еще немалый запас сил. — Дик помедлил, не решаясь сразу ее огорошить. — Представь себе: он встал с постели и уехал.

Ему хотелось пить — в беготне он пропустил время обеда. Он повел изумленную Николь в бар, и когда, заказав коктейль и пиво, они расположились в кожаных креслах, он продолжал:

— Очевидно, лечивший его врач ошибся в прогнозе — а может быть, и в диагнозе. Не знаю, у меня даже не было времени подумать.

— Так он уехал?

— Да — успел к вечернему поезду на Париж.

Они помолчали. Глубоким, трагическим безразличием веяло от Николь.

— Сила инстинкта, — сказал наконец Дик. — Он действительно был почти при смерти, но ему напряжением воли удалось включиться в свой прежний ритм — медицине известны такие случаи, — это как старые часы: встряхнешь их, и они по привычке снова начинают идти. Вот и твой отец…

— Не надо, — сказала она.

Но Дик продолжал свое:

— Его основным горючим всегда был страх. Он испугался, и это придало ему силы. Он, наверно, проживет до девяноста лет.

— Ради бога, не надо, — сказала она. — Ради бога, — я не могу больше слушать.

— Как хочешь. Кстати, дрянной мальчишка, из-за которого я сюда приехал, безнадежен. Завтра утром мы можем ехать домой.

— Не понимаю, зачем — зачем тебе все это нужно, — вырвалось у нее.

— Не понимаешь? Я тоже иногда не понимаю.

Она ладонью накрыла его руку.

— Прости, Дик, я не должна была так говорить.

Кто-то притащил в бар патефон, и они посидели и помолчали под звуки «Свадьбы раскрашенной куклы».

III

Спустя несколько дней Дик утром зашел за письмами в канцелярию, и его внимание привлекла необычная суета перед входом. Больной Кон Моррис собрался уезжать из клиники. Его родители, австралийцы, сердито укладывали

чемоданы в большой черный лимузин, а рядом стоял доктор Ладислау и беспомощно разводил руками в ответ на возбужденную жестикуляцию Морриса-старшего. Сам молодой человек с насмешливым видом наблюдал за погрузкой со стороны.

— Что вдруг за поспешность, мистер Моррис?

Мистер Моррис вздрогнул и оглянулся. При виде Дика его багровое лицо и крупные клетки его костюма словно погасли, а потом снова зажглись, как от поворота выключателя. Он пошел на Дика, будто собираясь его ударить.

— Давно пора нам отсюда уехать, и не только нам, — начал он и остановился, чтобы перевести дух. — Давно пора, доктор Дайвер. Давно пора.

— Может быть, мы поговорим у меня в кабинете? — сказал Дик.

— Нет уж! Поговорить поговорим, да только знайте, что ни с вами, ни с заведением вашим я больше не желаю иметь дела. — Он потряс пальцем перед самым носом Дика. — Я вот этому доктору так и сказал. Жаль, только зря потратили деньги и время.

Доктор Ладислау изобразил своей фигурой некое расплывчатое подобие протеста. Дик всегда недолюбливал Ладислау. Сумев увлечь разгне-

ванного австралийца на дорожку, ведущую к главному корпусу, он снова предложил ему продолжить разговор в кабинете, но получил отказ.

— Вас-то мне и нужно, доктор Дайвер, именно вас, а не кого другого. Я обратился к доктору Ладислау, потому что вас не могли найти, а доктор Грегоровиус вернется только к вечеру, а до вечера я оставаться не намерен. Нет, сэр! Ни минуты я здесь не останусь, после того как мой сын мне все рассказал.

Он с угрозой подступил к Дику, и тот высвободил руки, готовый, если понадобится, отшвырнуть его силой.

— Я поместил к вам сына, чтоб вы его вылечили от алкоголизма, а он от вас от самого учуял винный дух. — Он шумно и, видимо, безрезультатно потянул носом воздух. — И даже не один, а два раза Кон это учуял. Мы в жизни не брали в рот спиртного — ни я, ни жена. И мы вам доверили сына, чтоб вы его вылечили, а он дважды за месяц учуял от вас винный дух. Хорошо лечение, нечего сказать!

Дик медлил, не зная, на что решиться; мистер Моррис вполне способен был устроить скандал у самых ворот клиники.

— В конце концов, мистер Моррис, нельзя же

требовать, чтобы люди отказывались от своих насущных привычек только потому, что ваш сын…

— Но вы же врач, черт побери! Когда глушит пиво рабочий, пес с ним, его дело, но вы-то должны лечить других…

— Это, пожалуй, уже слишком. Ваш сын поступил к нам как больной клептоманией.

— А отчего, я вас спрашиваю? — Он уже кричал в голос. — Оттого что пил горькую. А горькая, она горькая и есть, — понятно вам? Моего родного дядю вздернули из-за нее, проклятой. И вот я помещаю сына в специальную лечебницу, а в лечебнице от докторов разит спиртным!

— Я вынужден просить вас удалиться.

— Меня просить! Да я уже все равно что уехал!

— Будь вы несколько более воздержанны, мы могли бы ознакомить вас с теми результатами, которых пока что удалось достигнуть. Разумеется, при возникших обстоятельствах дальнейшее пребывание вашего сына в клинике исключается.

— Вы еще смеете *мне* говорить о воздержанности!

Дик окликнул доктора Ладислау и, когда тот подошел, сказал ему:

— Возьмите на себя труд от нашего имени

пожелать пациенту и его родственникам счастливого пути.

Слегка поклонившись в сторону Морриса, он вошел в кабинет и на миг притаился у затворенной двери. Он ждал, когда они уедут — хамы-родители и их хилый, дегенеративный отпрыск; нетрудно было представить себе, как эта семейка будет колесить по Европе, запугивая порядочных людей своим тупым невежеством и тугим кошельком. Лишь когда шум мотора затих в отдалении, задумался он о том, насколько сам повинен в разыгравшейся сцене. Он пил красное вино за обедом и ужином, заканчивал день глотком горячего рома, иногда еще пропускал стаканчик джина между делом — джин почти не оставляет запаха. В общем, это получалось с полпинты спиртного в день — не так уж мало для его организма.

Отказавшись от всяких попыток оправдаться, Дик сел за стол и составил себе нечто вроде врачебного предписания, по которому количество потребляемого им в день алкоголя сокращалось вдвое. Не полагается, чтобы от врачей, шоферов и протестантских священников пахло спиртным, как может пахнуть от художников, маклеров и кавалерийских офицеров; Дик был неосторожен,

и эту вину он за собой признал. Но инцидент еще рано было считать исчерпанным, что выяснилось получасом позже, когда приехал Франц, взбодренный двумя неделями в Альпах и настолько соскучившийся по работе, что успел погрузиться в нее прежде, чем дошел до своего кабинета. Дик ждал его на пороге.

— Ну как там Эверест?

— А вы не шутите — мы показали такую прыть, что не испугались бы и Эвереста. Уже подумывали об этом. А тут какие новости? Как моя Кэте, как ваша Николь?

— Дома все благополучно, и у вас и у меня. Но вот в клинике сегодня утром произошла безобразнейшая история.

— Как, что такое?

Но Франц уже взялся за телефон, чтобы позвонить Кэте. Дик походил по комнате, пока длилась семейная беседа, потом сказал:

— Молодого Морриса забрали родители — был целый скандал.

У Франца сразу вытянулось лицо.

— Мне уже известно, что он уехал. Я встретил Ладислау.

— И что Ладислау сказал вам?

— Вот только это — что Моррис уехал. И что вы

мне все расскажете. Так в чем же дело?

— Обычные в таких случаях глупости.

— Мальчишка, я помню, препротивный.

— Хуже некуда, — подтвердил Дик. — Но как бы там ни было, до того, как я подошел, отец успел нагнать на Ладислау страху, как колонизатор на туземца. Кстати о Ладислау, Франц. Стоит ли нам за него держаться? Мне кажется, не стоит; какой-то он недотепа, ни с чем не может справиться сам.

Дик медлил на краю истины, выгадывая пространство для маневра. Франц, как был, в пыльнике и дорожных перчатках, присел на угол письменного стола. Дик решился:

— Помимо всего прочего, этот Моррис изобразил отцу вашего почтенного собрата горьким пьяницей. Папаша — фанатический поборник трезвости, а сынок будто бы обнаружил на мне следы vin du pays.[115]

Франц сел и, выпятив нижнюю губу, уставился на нее.

— Вы мне потом расскажете подробно, — сказал он наконец.

— Зачем же откладывать? — возразил Дик. —

---

[115] notes: 115
Местного вина *(фр.)*.

Вы сами знаете, я никогда спиртным не злоупотребляю. — Они сверкнули друг на друга взглядами, глаза в глаза. — При попустительстве Ладислау этот тип до того расходился, что мне пришлось занять оборонительную позицию. Легко ли это было, можете себе представить — ведь поблизости могли оказаться больные.

Франц снял перчатки, сбросил пыльник. Потом подошел к двери и сказал секретарше: «Меня ни для кого нет». Потом вернулся к столу и стал разбирать наваленные на нем бумаги, делая это машинально, как все, кому лишь нужна маска занятого человека, чтобы легче было сказать трудные слова.

— Дик, я знаю вас как воздержанного, уравновешенного человека, пусть даже мы по-разному относимся к употреблению спиртных напитков. Но пришла пора сказать — по совести, Дик, я уже несколько раз замечал, что вы разрешаете себе выпить не в самое подходящее для этого время. Так что нет дыма без огня. Может быть, вам стоит взять срочный отпуск?

— Или лучше бессрочный, — усмехнулся Дик. — Временная отлучка ничего не изменит.

Оба были раздражены, Франц — из-за того, что ему испортили радость возвращения.

— Вам иногда недостает здравого смысла, Дик.

— Никогда не понимал, что подразумевается под здравым смыслом в сложных случаях, разве что утверждение, будто врач общего профиля может сделать операцию лучше, чем хирург-специалист.

Дику вдруг нестерпимо опротивело все происходящее. Объяснять, заглаживать что-то — они оба уже вышли из этого возраста; лучше пусть в ушах звенит надтреснутый отзвук старой истины.

— Нам дальше не по пути, — неожиданно произнес он.

— Честно говоря, мне и самому так кажется, — признался Франц. — Вы потеряли вкус к делу, Дик.

— Очевидно. И потому хочу из дела выйти. Можно будет разработать такие условия, чтобы вам возвращать капитал Николь не сразу, а по частям.

— Об этом я тоже думал, — я уже давно предвижу этот разговор. У меня есть другой компаньон на примете, так что к концу года я, вероятно, смогу вернуть вам все деньги.

Дик сам не ожидал, что придет к решению так быстро, и не думал, что Франц с такой го-

товностью согласится на разрыв. И все же он почувствовал облегчение. Давно уже он с тоской глядел на то, как этика его профессии постепенно рассыпается в прах.

IV

Решено было возвратиться домой, то есть на Ривьеру. Но вилла «Диана» была на все лето сдана, и потому Дайверы коротали оставшееся время на немецких курортах и в знаменитых своими соборами французских городках, где им всегда бывало хорошо несколько дней. Дик немного писал, без особой системы; жизнь вступила в полосу ожидания — не новой работы и не очередного приступа у Николь, благо Николь путешествие шло на пользу; нет, просто ожидания. Единственное, что в эту пору всему придавало смысл, были дети.

Интерес Дика к ним увеличивался с их возрастом; сейчас Ланье было одиннадцать, Топси — девять. Он сумел сблизиться с ними в обход гувернанток и нянь и всегда исходил из того, что ни чрезмерная строгость, ни боязнь проявить чрезмерную строгость не могут заменить долгого пристального внимания, проверки, и учета, и подведения итогов, в конечном счете преследу-

ющих одну цель: приучить ребенка держаться известного уровня дисциплины. Он теперь знал обоих детей гораздо лучше, чем их знала Николь, и, разогретый немецким, французским или итальянским вином, подолгу играл с ними и разговаривал. Им была присуща та тихая, чуть печальная прелесть, что всегда отличает детей, рано научившихся не смеяться и не плакать слишком громко; казалось, они не знают никаких бурных порывов и, легко подчиняясь несложной регламентации своей жизни, легко довольствуются дозволенными им нехитрыми радостями. Они привыкли к размеренному укладу, принятому в хороших домах на Западе, и воспитание не превратилось для них в испытание. Дик считал, что если ребенок приучен молчать, это развивает в нем наблюдательность.

Ланье был наделен сверхъестественной любознательностью, зачастую направленной на самые неожиданные предметы. «Скажи, папа, а десять шпицев могли бы затравить льва?» — подобными вопросами он без конца донимал Дика. С Топси было проще. Она была вся беленькая, грациозно сложенная, как Николь, и это сходство в свое время тревожило Дика. Но к девяти годам она окрепла и ничем не отличалась от любой сво-

ей американской сверстницы. Дик был доволен обоими, хотя никогда не высказывал этого вслух. За плохое поведение спуску не давалось. «Кто дома не научился вести себя как следует, — говорил Дик, — того потом жизнь плеткой поучит. Ну, не будет Топси меня „обожать“, что из этого? Я же ее не в жены себе готовлю».

Другой особенностью этого лета и осени было изобилие денег. Деньги шли от Франца, в возмещение пая в клинике, и из Америки, где капитал Николь приносил все большую прибыль; денег было столько, что все время уходило на то, чтобы тратить их и потом распоряжаться сделанными покупками. Роскошь, с которой они путешествовали, была поистине сказочной.

Вот, например, поезд прибывает в Байенну, где им предстоит погостить две недели. Сборы в спальном вагоне начались от самой итальянской границы. Из вагона второго класса явились горничная madame Дайвер и горничная гувернантки, чтобы помочь с багажом и с собаками. На mademoiselle[116] Беллуа было возложено наблюдение за ручной кладью, пару силихэм-терьеров поручили одной горничной, пару китайских

[116] notes: 116
Мадемуазель *(фр.)*.

мопсов — другой. Если женщина создает себе столь громоздкое окружение, это не обязательно признак убожества духа — иногда в этом сказывается переизбыток интересов; и, во всяком случае, Николь, когда была здорова, отлично со всем управлялась. Взять хотя бы огромное количество багажа — в Байенне из багажного вагона были выгружены четыре больших кофра, сундук с обувью, три баула для шляп и две шляпные картонки, чемоданы гувернантки и горничных, ящик с картотекой, дорожная аптечка, спиртовка в футляре, корзина для пикников, четыре теннисные ракетки в прессах и чехлах, патефон и пишущая машинка. Кроме того, Дайверы и их свита везли при себе десятка два саквояжей, сумок и пакетов, каждая вещь была пронумерована и снабжена ярлыком, вплоть до чехла с тростями. Таким образом, при выгрузке все это за две минуты можно было проверить по двум спискам — отдельно на крупные вещи и на мелкие, — всегда лежавшим в сумочке у Николь; а проверив, рассортировать — что на хранение, а что с собой. Еще девочкой, путешествуя со слабой здоровьем матерью, Николь выработала эту систему и придерживалась ее с пунктуальностью полкового интенданта, который должен забо-

титься о пропитании и экипировке трех тысяч солдат.

Всем скопом сойдя с поезда, Дайверы окунулись в рано сгустившиеся долинные сумерки. Местные жители взирали на их выгрузку с тем же благоговейным трепетом, какой столетием раньше вызывал лорд Байрон в своих скитаниях по Италии. Встретить их приехала владелица замка, куда они направлялись, графиня ди Мингетти, бывшая Мэри Норт. Путь, начавшийся в Ньюарке, в комнатке над обойной мастерской, недавно завершился фантастическим браком.

Титул «графа ди Мингетти» был недавно пожалован супругу Мэри папой — не последнюю роль тут сыграло его богатство, источником которого служили марганцевые месторождения в Юго-Западной Азии. С его цветом кожи его не пустили бы в пульмановский вагон южнее линии Мейсона — Диксона. Он принадлежал к одной из народностей того кабило-берберо-сабейско-индийского пояса, который тянется вдоль Северной Африки и Азии, а у европейцев представители этих народностей пользуются большей симпатией, чем смешанные расы.

Когда эти два вельможных семейства, восточное и западное, сошлись на вокзальном

перроне, дайверовский размах показался суровой простотой первых поселенцев Нового Света. Гостеприимных хозяев сопровождали мажордом-итальянец с жезлом в руке, четверка мотоциклистов в тюрбанах и две женщины, закутанные до самых глаз, почтительно державшиеся на некотором расстоянии позади Мэри и встретившие Николь восточным приветствием, от которого она сразу опешила.

Самой Мэри, как и Дайверам, вся эта церемония казалась чуть-чуть комичной, о чем свидетельствовал ее виновато-снисходительный смешок; однако, представляя своего супруга, она с гордостью отчеканила его азиатский титул.

Одеваясь к обеду в отведенных им покоях, Дик и Николь выразительно перемигивались; богачи, претендующие на демократизм, любят делать вид перед самими собой, будто им претит откровенное бахвальство.

— Наша маленькая Мэри знает, что к чему, — промычал Дик сквозь слой крема для бритья. — Эйб воспитал ее, теперь она вышла замуж за Будду. Если Европа когда-нибудь станет большевистской, мы еще увидим ее супругой Сталина.

Николь подняла голову от своего несессера.

— Прикуси язычок, Дик! — Но, не выдержав,

рассмеялась: — Нет, что ни говори, а они великолепны. При их появлении канонерки открывают пальбу — не по ним, а в их честь, конечно. А когда Мэри приезжает в Лондон, ей там подают королевский выезд.

— Ладно, ладно, — согласился Дик. Услышав, как Николь объясняет кому-то у дверей, что ей требуются булавки, он крикнул: — А нельзя ли мне получить стаканчик виски? Что-то я ослабел от горного воздуха.

— Я сказала, чтобы принесли, — донесся голос Николь уже из ванной. — Это одна из тех женщин, что были на вокзале. Только теперь она с открытым лицом.

— Что тебе Мэри рассказывала о своей жизни?

— Почти ничего — ее больше интересовали светские новости. Потом вдруг стала меня расспрашивать о моей родословной — точно я об этом что-нибудь знаю! У супруга, как я поняла, есть двое смуглых детишек от предыдущего брака и один из них болен какой-то неизвестной азиатской хворью. Придется сказать детям, чтобы они остерегались. Неудобно как-то получается. Мэри увидит, что мы встревожены. — Она озабоченно хмурилась.

— Ничего, она поймет, — успокоил ее Дик. — Да

и ребенок, вероятно, в постели.

За обедом Дик беседовал с Гуссейном — тот, как оказалось, учился в английской школе. Он расспрашивал о бирже, о Голливуде, и Дик, подогревая свое воображение шампанским, нес всякую околесицу.

— Биллионы? — переспрашивал Гуссейн.

— Триллионы, — уверял Дик.

— Я как-то не представлял себе…

— Ну, может быть, миллионы, — уступил Дик. — В отеле каждому приезжему предоставляется гарем — или что-то вроде гарема.

— Даже если он не актер и не режиссер?

— Даже если он обыкновенный коммивояжер. Да мне самому сразу же прислали дюжину кандидаток, но Николь помешала.

Когда они остались одни в своей спальне, Николь напустилась на него с упреками.

— Ну зачем было столько пить? Зачем было при нем говорить «черномазый»?

— Извини, это у меня нечаянно вышло. Я хотел сказать «черноглазый».

— Дик, я просто тебя не узнаю.

— Еще раз извини. Я сам себя перестал узнавать последнее время.

Среди ночи Дик отворил окошко ванной, вы-

ходившее на узкий, как труба, двор замка, весь мышино-серого цвета. Сейчас его оглашал странный заунывный напев, похожий на печальные звуки флейты. Два мужских голоса пели на каком-то восточном языке или диалекте, где было много «к» и «л». Дик высунулся из окошка, но никого не увидел; судя по мелодии, это было религиозное песнопение, и ему, в его душевной опустошенности и усталости, захотелось, чтобы поющие помолились и за него, но о чем, он не знал, разве только о том, чтобы не затопила его с каждым днем нарастающая тоска.

Утром хозяева и гости охотились на поросшем реденьким леском склоне, стреляли тощих костлявых птиц, дальних родственников куропатки. Охота велась вроде бы на английский манер, с дюжиной неумелых ловчих, и Дик спасался от риска кого-нибудь из них подстрелить тем, что бил только влет.

По возвращении они застали у себя в спальне Ланье.

— Папа, ты велел сейчас же сказать, если мы будем где-нибудь вместе с больным мальчиком.

Николь сразу взвилась в испуге.

— ...так вот, мама, — продолжал Ланье, обращаясь уже к ней, — этот мальчик каждый вечер

купается в ванне, и сегодня он купался передо мной, а потом мне пришлось сесть в ту же воду, и она была грязная.

— Что? Что ты говоришь?

— Я видел, как из этой ванны вынули Тони, а после него мне велели в нее садиться, и вода была грязная.

— И ты — ты сел?

— Да, мама.

— Боже мой! — воскликнула она, беспомощно повернувшись к Дику.

Тот спросил Ланье:

— А почему Люсьенн сама не приготовила тебе ванну?

— Люсьенн не может — там какая-то чудна́я горелка, вчера она вспыхнула и обожгла ей руку, и теперь она боится, вот одна из тех женщин…

— Ступай в нашу ванну и выкупайся еще раз.

— Вы только не говорите, что я вам рассказал, — попросил Ланье, направляясь к двери.

Дик пошел за ним и обрызгал ванну карболкой; затворяя дверь, он сказал Николь:

— Необходимо поговорить с Мэри, или же нам придется уехать.

Она кивнула, соглашаясь, и он продолжал:

— Людям всегда кажется, что их дети чище

других и, если даже они болеют, от них нельзя заразиться.

Дик налил себе вина и стал грызть печенье, ожесточенно хрустя им в лад льющейся в ванной воде.

— А пока что скажи Люсьенн, пусть научится управляться с этой горелкой, — посоветовал он. Но тут в дверь заглянула та самая женщина, о которой шла речь.

— Графиня…

Дик жестом попросил ее войти и прикрыл за ней дверь.

— Как ваш маленький больной, поправляется? — ласково спросил он.

— Да, ему лучше, но все-таки сыпь еще не сошла.

— Как жаль — бедный малыш. Однако я хотел предупредить вас — нельзя, чтобы наши дети садились после него в ту же воду. Ни в коем случае! Я уверен, ваша хозяйка была бы возмущена, если бы знала, что вы сделали такую вещь.

— Я? — Она оторопело взглянула на Дика. — Я только увидела, что ваша служанка не умеет зажигать нагреватель, и показала ей, как это делается.

— Но после больного ребенка вы сначала долж-

ны были выпустить всю воду и хорошенько промыть ванну.

— Я?

Женщина с шумом, словно задыхаясь, втянула в себя воздух, судорожно всхлипнула и бросилась вон из комнаты.

— Я бы предпочел, чтобы они приобщались к западной цивилизации не за наш счет, — сердито сказал Дик.

За обедом он окончательно решил, что визит не удался и надо кончать его как можно скорее: Гуссейн даже о своей родине ничего не умел рассказать, кроме того, что там много гор, и водятся козы, и пастухи пасут коз в горах. Он вообще был немногословен, и, чтобы заставить его разговориться, нужно было употребить энергию, которую Дик теперь предпочитал беречь для своих домашних. Вскоре после обеда Гуссейн удалился, и Дайверы остались одни с Мэри, но прежней близости не возникло — между ними теперь лежала социальная целина, которую успешно покоряла Мэри. Дик почувствовал облегчение, когда около половины десятого Мэри принесли записку и она, пробежав ее глазами, поднялась с места.

— Вы уж извините меня, пожалуйста. Муж уез-

жает по срочному делу, я должна проводить его.

На следующее утро, не успела служанка подать им кофе, как в спальню быстрым шагом вошла Мэри. Они еще лежали в постелях, а она была вполне одета и, видимо, встала уже давно. Ее обычно улыбчивое лицо подергивалось гримасой сдержанного гнева.

— Что это за разговоры, будто Ланье искупали в грязной воде?

Дик хотел было ответить, но она перебила:

— И будто вы велели моей золовке вымыть для него ванну?

Они вытаращили на нее глаза, оба неподвижные, как идолы, из-за подносов, стоявших у них на коленях, и только воскликнули в два голоса:

— Вашей *золовке*?

— Да, вы сказали одной из сестер моего мужа, что она должна вымыть ванну.

— Не может быть! — дружно запротестовали они. — Мы разговаривали со служанкой.

— Вы разговаривали с сестрой Гуссейна.

Дик только и мог сказать:

— Я был уверен, что эти женщины ваши служанки.

— Я ведь объяснила вам, что они — *гимадун*.

— Что? — Дик, накинув халат, кое-как выбрался

из постели.

— Я вам объяснила еще позавчера, когда мы сидели у рояля. Не так уж много вы за обедом выпили, чтобы не понять.

— Так это вы о них говорили? Я просто не все слышал, Мэри. И потом, я как-то не… мы как-то не связали тот разговор с ними. Ну что ж, придется пойти извиниться за нашу ошибку.

— Пойти извиниться! Я же вам рассказывала: у них когда женится старший в роду, — старший в роду, понятно? — то две старшие сестры дают обет посвятить себя его жене, стать ее приближенными; вот это и называется — гимадун.

— Не потому ли Гуссейн вдруг уехал из дому?

Мэри замялась, но потом утвердительно кивнула головой.

— Он иначе не мог — сестры тоже уехали с ним. Оскорблена их семейная честь.

Николь тоже вскочила уже с постели и торопливо одевалась. Мэри продолжала:

— А что это за история с ванной? Ничего подобного в этом доме произойти не могло. Сейчас мы позовем Ланье и его расспросим.

Дик, присев на кровать, сделал Николь незаметный знак. Мэри тем временем отворила дверь в коридор и кому-то отдавала распоряжения

по-итальянски.

— Погодите, Мэри, — сказала Николь. — Не нужно впутывать в это дело ребенка.

— Вы нам бросили обвинение, — возразила Мэри; никогда раньше она не разговаривала с Николь таким тоном. — Мое право проверить.

— Я не позволю, чтобы ребенка впутывали в это дело. — Николь воинственно натянула платье, словно это была железная кольчуга.

— Не спорь, — сказал ей Дик. — Пусть Ланье придет, и мы выясним в конце концов, что тут выдумки, а что правда.

Привели мальчика; еще взъерошенный со сна внешне и внутренне, он таращил глаза на сердитые лица взрослых.

— Скажи, Ланье, — обратилась к нему Мэри, — с чего ты взял, что тебя посадили в воду, в которой уже кто-то купался?

— Говори, — сказал Дик.

— А просто она была грязная.

— Но ведь тебе в твоей комнате, наверно, слышно было, как из крана снова полилась вода?

Ланье готов был допустить такую возможность, однако стоял на своем: вода в ванне была грязная. Слегка испуганный, он попробовал забежать вперед:

— Так не могло быть, потому что…

Его тут же поймали на слове.

— Почему не могло быть?

Он стоял посреди комнаты в халатике, своим видом вызывая жалость родителей и раздражение Мэри.

— Вода была грязная, в ней плавала мыльная пена.

— Не говори того, в чем ты не уверен, — начала было Мэри, но Николь перебила:

— Оставьте, Мэри. Раз в воде плавала мыльная пена, естественно было заключить, что в этой воде купались. А отец велел Ланье прийти и сказать, если…

— Никакой там не могло быть мыльной пены.

Ланье посмотрел на отца, как бы упрекая его в предательстве. Николь легонько повернула его за плечи и сказала, что он может идти. Дик засмеялся. Смех разрядил атмосферу. Мэри он напомнил прежние годы, ее дружбу с Дайверами; ей вдруг сделалось ясно, как далеко она от них отошла, и она сказала умиротворяющим тоном:

— Дети, они все такие.

Прошлое вспоминалось все ярче, и ей становилось все более не по себе.

— Вы только не вздумайте уезжать из-за это-

го — Гуссейну все равно надо было отлучиться по делу. В конце концов вы мои гости, и бестактность вы совершили по ошибке.

Но Дика рассердило ее виляние, а особенно слово «бестактность»; он стал собирать свои вещи, сказав только:

— Сожалею, что так вышло. Я был бы рад принести этой молодой женщине свои извинения.

— А все потому, что вы меня не слушали тогда, у рояля.

— Вы стали ужасно скучная, Мэри. Я слушал, сколько мог вытерпеть.

— Дик! — предостерегающе воскликнула Николь.

— Я могу переадресовать ему его комплимент, — сказала Мэри с обидой. — До свидания, Николь. — И она вышла из комнаты.

После этого ни о каких проводах не могло быть и речи; все, что требовалось для их отъезда, устроил мажордом. Гуссейну и его сестрам Дик написал коротенькие, официально-любезные письма. Разумеется, не уехать они не могли, но у всех было нехорошо на душе, особенно у Ланье.

— А все-таки вода была грязная, — снова начал он, когда они уже сидели в поезде.

— Довольно, Ланье, — прервал его отец. — Сове-

тую тебе забыть всю эту историю, иначе я с тобой разведусь. Ты не знал, что во Франции принят новый закон, по которому родители могут разводиться с детьми?

Ланье весело засмеялся, и в семье Дайверов были восстановлены мир и спокойствие — надолго ли, подумал про себя Дик.

V

Николь подошла к окну и выглянула наружу, привлеченная нарастающим шумом какой-то перебранки на террасе. Апрельское солнце играло розовыми бликами на благочестивой физиономии Огюстин, их кухарки, и голубыми — на лезвии большого кухонного ножа в ее трясущейся руке. Огюстин служила у них уже три месяца, с самого их водворения вновь на вилле «Диана».

Выступ соседнего балкона заслонял от Николь Дика; видна была только его голова и рука, державшая трость с бронзовым набалдашником. Трость и нож, нацеленные друг на друга, были точно трезубец и меч в поединке гладиаторов.

Слова Дика Николь расслышала первыми:

— …кухонное вино пейте себе на здоровье, но когда я застаю вас с бутылкой шабли-мутонн…

— Не вам меня поучать! — кричала Огюстин, размахивая своим оружием. — Сами-то целый день не расстаетесь с бутылкой.

— Что случилось, Дик? — окликнула Николь сверху.

Он отвечал по-английски:

— Эта баба таскает из погреба марочные вина. Я ее прогнал, вернее, пытаюсь это сделать.

— Господи боже мой! Смотри, как бы она тебя не задела ножом.

Огюстин задрала голову и взмахнула ножом в сторону Николь. Ее рот словно состоял из двух сплющенных вишенок.

— У вас, верно, и в мыслях нет, madame, что ваш муженек пьет мертвую не хуже какого батрака…

— Замолчите и убирайтесь! — прикрикнула на нее Николь. — Не то мы вызовем жандармов.

— *Они* вызовут жандармов! Да у меня брат жандарм, если хотите знать! *Они* вызовут — вот уж точно американское нахальство!

— Уведи детей из дому, а я тут с ней управлюсь, — снова по-английски сказал Дик.

— …все американцы нахалы! Ездят сюда и выпивают у нас все лучшее вино! — вопила Огюстин площадным голосом.

Дик придал своему тону больше твердости.

— Немедленно соберите свои вещи и уходите. Я вам заплачу все, что причитается.

— Еще бы вы не заплатили! Да я, если хотите знать... — Она подступила к нему вплотную, столь яростно размахивая ножом, что он в ответ поднял свою палку. Тогда Огюстин сбегала на кухню и вернулась оттуда дополнительно вооруженная секачом.

Положение создавалось не из приятных: Огюстин была женщина крепкая, и обезоружить ее можно было только с риском нанести ей телесные повреждения — и навлечь на себя серьезные неприятности, так как закон строго охраняет личную неприкосновенность французских граждан. Все же Дик, чтобы припугнуть кухарку, крикнул Николь:

— Позвони в полицейский участок! — и потом Огюстин, указывая на ее арсенал: — Этого довольно, чтобы вы были арестованы.

Та только демонически захохотала; однако подходить ближе остереглась. Николь позвонила в полицию, но ответ получила весьма похожий на отголосок смеха Огюстин. Слышно было, как на другом конце провода переговариваются, потом что-то щелкнуло — там попросту повесили трубку.

Николь вернулась к окну и крикнула Дику:

— Заплати ей лишнего!

— Мне бы самому поговорить с ними по телефону! — Но поскольку это было невозможно, Дик капитулировал.

За пятьдесят франков, превратившихся в сто, когда он проникся стремлением выставить ее как можно скорее, Огюстин сняла осаду, прикрыв свой отход залпом отборной брани. Впрочем, она оговорила себе право дождаться племянника, который понесет ее вещи. Держа кухню на всякий случай под наблюдением, Дик услышал, как хлопнула пробка, но решил пренебречь этим фактом. Больше военные действия не возобновлялись, — когда племянник прибыл, умиротворенная Огюстин почти ласково распрощалась с Диком, а уходя, крикнула, подняв голову к окну Николь: «Au revoir, madame! Bonne chance!»[117]

Дайверы отправились в Ниццу и там пообедали в ресторане. Они ели bouillabaisse — похлебку из рыбы и мелкой морской живности, обильно сдобренную пряностями, — и пили холодное шабли. В разговоре Дик заметил, что ему жаль Огюстин.

— А мне ни чуточки, — сказала Николь.

---

[117] notes: 117

До свидания, сударыня! Всего хорошего! *(фр.)*

— А мне жаль — хоть я охотно столкнул бы ее с обрыва в море.

Они мало о чем решались разговаривать последнее время и редко находили нужное слово в нужную минуту; почти всегда это слово являлось потом, когда уже некому было его услышать. Они жили какой-то сонной жизнью, каждый своей, погруженные в свои думы. Скандал с кухаркой вывел их из этого состояния; а острая пища и обжигающее прохладой вино развязали язык.

— Дальше так продолжаться не может, — сказала Николь. — Ты со мной не согласен? — Но Дик не пытался ничего оспаривать, и, потрясенная этим, она добавила: — Иногда мне кажется, это я во всем виновата — я тебя погубила.

— Так ты меня считаешь погибшим? — улыбнулся Дик.

— Этого я не говорила. Но прежде ты стремился создавать что-то, а теперь, кажется, только хочешь разрушать.

Она робела оттого, что решилась осуждать его в такой обобщающей форме, но еще больше — от его упорного молчания. Чутье подсказывало ей: что-то происходит за этим молчанием, за посуровевшим взглядом его голубых глаз, за несвойственным ему интересом к детям. Ее оза-

дачивали его внезапные бурные вспышки, когда он вдруг обрушивался с целой обвинительной речью на кого-то или что-то — человека, нацию, класс, образ жизни или образ мыслей. В нем словно разыгрывалась непонятная внутренняя драма, о которой можно было лишь догадываться по тем мгновениям, когда она прорывалась наружу.

— В конце концов — что ты извлекаешь из этого? — спросила она.

— Сознание, что ты с каждым днем становишься крепче. Что твоя болезнь постепенно проходит, следуя закону убывающих рецидивов.

Его голос доходил до нее издалека, как если бы он говорил о чем-то сугубо отвлеченном и умственном; в тревоге она воскликнула: «Дик!» — и потянулась к нему рукой через стол. Инстинктивным движением он убрал свою руку, но, спохватившись, добавил:

— Тут много есть о чем подумать, правда ведь? Дело не только в тебе и в том, что связано с тобой. — Он накрыл ее руку ладонью и сказал веселым голосом прежнего Дика, зачинщика любых проказ, развлечений и шумных эскапад: — Видишь вон ту белую яхту?

Это была моторная яхта Т. Ф. Голдинга; мирно покачиваясь на легкой волне залива, она совер-

шала нескончаемое романтическое путешествие, не требующее передвижения с места на место.

— Вот мы сейчас отправимся туда и побеседуем с пассажирами об их житье-бытье. Хорошо ли им там, весело ли.

— Но мы почти незнакомы с Голдингом, — возразила Николь.

— А он нас приглашал, и очень настойчиво. И потом, это же приятель Бэби, чуть ли даже не жених ее — или бывший жених?

Когда нанятый ими баркас выходил из порта, уже смеркалось и вдоль белого корпуса «Марджин» с конвульсивной неравномерностью вспыхивали огни. У самой яхты Николь снова забеспокоилась:

— Слышишь? У него гости…

— Это просто радио, — успокоил ее Дик.

Их заметили — седой великан в белом костюме, перегнувшись через борт, крикнул сверху:

— Неужели это Дайверы пожаловали?

— Эй, на «Марджин»! Спускайте трап!

Баркас подвели вплотную к трапу, и Голдинг, согнув чуть не пополам свою могучую фигуру, помог Николь взойти.

— Как раз вовремя к обеду.

На корме играл небольшой оркестр.

— Я к вашим услугам по первому требованию, а пока что…

Ураганная сила движений Голдинга погнала их на корму, хотя он даже не дотронулся до них. Николь все больше жалела, что поехала, и все больше сердилась на Дика. Его работа и ее недуг отдалили их в последние годы от светской жизни, и все уже знали, что они редко принимают какие-либо приглашения. Новобранцы недавних пополнений на Ривьере склонны были даже усматривать в этом закат былой дайверовской славы. Но как бы там ни было, заняв новую позицию, Николь считала неразумным отступать от нее ради пустякового развлечения.

Когда они проходили через центральный салон, им показалось, что в полукруге огней на корме мелькают танцующие пары. Но это был лишь мираж, колдовское воздействие музыки, воды, необычного освещения. В действительности гости отдыхали, расположась на широком диване, огибавшем палубу, и лишь несколько стюардов хлопотливо сновали кругом. Яркими пятнами выделялись женские платья — красное, белое, пестрое с размытым рисунком; белели пластроны мужчин. Один из них поднялся им навстречу, и Николь, узнав его, радостно вскрикнула:

— Томми!

Он церемонно склонился над ее рукой, но Николь, пренебрегая этим галлицизмом, прижалась щекой к его щеке. Вдвоем они сели, вернее, полулегли на императорское ложе. Красивое лицо Томми сильно посмуглело за это время, но, утратив мягкую южную золотистость, не достигло того лиловатого отлива, которым так хороши лица негров, — оно просто напоминало дубленую кожу. Этот его загар, созданный неведомым солнцем, его напоенность соками чужой земли, его косноязычие, в котором слышались отзвуки экзотических диалектов, его настороженность, след каких-то неведомых тревог — все это пленяло и убаюкивало Николь; в первые минуты она как бы мысленно забылась у него на груди… Потом инстинкт самосохранения напомнил о себе, и она сказала легким, небрежным тоном:

— Вы стали похожи на героя приключенческого фильма — но зачем было пропадать так долго?

Томми Барбан посмотрел на нее недоверчиво и с опаской; в зрачках у него вспыхнули искорки.

— Пять лет, — продолжала она чуть хрипло, имитируя что-то несуществующее. — Целая вечность. Ну, перебили бы там сколько-нибудь народу для порядка и устроили бы себе неболь-

шую передышку.

Вблизи от ее драгоценной особы Томми довольно быстро европеизировался.

— Mais pour nous héros, — сказал он, — il nous faut du temps, Nicole. Nous ne pouvons pas faire des petits exercices d'héroisme — il faut faire les grandes compositions.[118]

— Говорите со мной по-английски, Томми.

— Parlez français avec moi, Nicole.[119]

— Но это не одно и то же — по-французски можно рассуждать о героизме и доблести с достоинством, вы это знаете. А по-английски нельзя рассуждать о героизме и доблести, не становясь немного смешным, это вы тоже знаете. Поэтому мне выгоднее разговаривать с вами по-английски.

— В сущности, я… — Он вдруг хихикнул. — В сущности, я и по-английски герой, храбрец и все такое прочее.

Она разыграла пантомиму преувеличенного восхищения, но его это не смутило.

— Просто я знаю то, о чем снимаются кино-

---

[118] notes: 118

Но нам, героям… нужно время, Николь. Нельзя отделываться мелкими упражнениями в героизме — тут требуются большие масштабы *(фр.)*.

[119] notes: 119

Говорите со мной по-французски, Николь *(фр.)*.

фильмы, — сказал он.

— А что, в жизни это так, как в кино?

— В кино есть свои удачи — взять хотя бы Рональда Колмена. Вы видели его фильмы о Северо-Африканском корпусе? Они совсем неплохи.

— Отлично, теперь, сидя в кино, я буду знать, что с вами в эту минуту происходит то, что я вижу на экране.

Во время разговора Николь заметила миловидную хрупкую молодую женщину с бледным личиком и красивыми бронзовыми волосами, отливавшими зеленью в свете палубных огней. Она сидела по другую сторону Томми и, возможно, прислушивалась то ли к их разговору, то ли к разговору соседней пары. Судя по всему, она имела какие-то права на Томми и, убедясь окончательно, что его внимание отвлечено, сердито встала и, вздернув голову, перешла к другому борту.

— Да, в сущности, я герой, — спокойно повторил Томми, если и не всерьез, то лишь полушутя. — В бою я не знаю страха, дерусь как лев или как пьяный, которому море по колено.

Николь подождала, когда эхо этой похвальбы затихнет в его сознании, — она догадывалась, что он никогда еще никому так не говорил о себе. Потом она оглядела незнакомые лица кругом: все

те же ошалелые невропаты под маской равнодушия, которые рвутся на природу только потому, что им ненавистен город, ненавистен звук собственных голосов, служащий там камертоном…

Она спросила:

— Кто эта женщина в белом?

— Та, что сидела рядом со мной? Леди Кэролайн Сибли-Бирс.

Оба помолчали, прислушиваясь к ее голосу, доносившемуся от противоположного борта.

— …он хотя и прохвост, но высшего полета. Мы с ним почти до утра играли вдвоем в chemin-de-fer,[120] и он мне задолжал тысячу швейцарских франков…

Томми со смехом сказал:

— Леди Кэролайн — самая безнравственная женщина Лондона. Всякий раз, когда я возвращаюсь в Европу, я застаю новый выводок безнравственных женщин из Лондона. Сейчас она на первом месте, но, кажется, уже появилась соперница.

Николь снова оглядела издали женщину, о которой шла речь; худенькая, тщедушная, с узкими плечами, она походила на легочную больную —

---

[120] notes: 120

«Железку» (*букв.* «железную дорогу», *фр.*) — название карточной игры.

трудно было представить себе, что эти хилые ручки могут высоко держать знамя распада и разложения, последнее знамя угасающей империи. Ее скорее можно было принять за одну из плоскогрудых девчонок Джона Хелда, чем отнести к иерархии высоких томных блондинок, служивших моделью художникам и писателям начиная с последних предвоенных лет.

Появился Голдинг, тщетно пытаясь умерить воздействие собственных габаритов, из-за которых любое его пожелание словно передавалось через раблезианской мощи усилитель; и Николь, хоть и с неохотой, уступила его доводам — что «Марджин» сразу же после обеда пойдет в Канн; что хоть они и пообедали раньше, но для икры и шампанского всегда найдется местечко; что Дик все равно уже распорядился по телефону, чтобы шофер не ждал их в Ницце, а ехал в Канн и оставил машину у «Café des Alliés», где им нетрудно будет найти ее.

За столом Дик оказался соседом леди Сибли-Бирс. Николь заметила издали, каким бледным стало его лицо под кирпичным загаром; до нее долетали только отдельные фразы, но она улавливала безапелляционность его тона.

— …но не забывайте, что для вас, англичан, это

пляска смерти… Сипаи в разрушенной крепости, веселье в крепости, осажденной сипаями, и тому подобное. Зеленая шляпа вышла из моды, ее время миновало.

Леди Кэролайн отвечала междометиями, звучавшими то вопросительно, то двусмысленно, то почти зловеще, но Дик, видно, не замечал сигналов опасности. Наконец он почти выкрикнул что-то с неожиданной горячностью; что именно, Николь не слыхала, но она увидела, как молодая женщина вспыхнула и вся подобралась.

Опять он обидел кого-то — неужели нельзя было придержать немного язык? Когда же это кончится? Или так уж оно и будет до самой смерти?

В это время умолк оркестр («Рэгтайм-джаз Эдинбургского колледжа», как гласила надпись на барабане), и пианист, белокурый молодой шотландец, запел почти что на одной ноте, аккомпанируя себе негромкими аккордами. Он с таким нажимом выговаривал каждое слово, как будто донельзя был потрясен его значительностью.

Одна молодая персона
Пугалась церковного звона,
Имея на совести грех — да-да-да!

Пугалась церковного звона.
На совести грех (БУМ-БУМ),
На совести грех (ТРАМ-ТАМ).
Одна молодая персона…

— Что это еще такое? — наклонясь к Николь, шепотом спросил Томми.

Ответ был дан его соседкой с другой стороны:

— Слова Кэролайн Сибли-Бирс. А музыку написал он сам.

— Quelle enfanterie![121] — пробормотал Томми, когда певец перешел ко второму куплету, повествующему о дальнейших переживаниях пугливой героини. — On dirait qu'il récite Racine![122]

Со стороны казалось, что леди Кэролайн даже не слушает своего произведения. Николь глянула на нее и невольно подивилась тому, как эта женщина умеет производить впечатление — не умом, не характером, а одной лишь позой. Но чем-то она страшна, решила Николь, и ей пришлось скоро убедиться в этом. Когда все общество встало из-за стола, Дик продолжал сидеть, как-то странно глядя перед собой, и вдруг выпалил, с

---

[121] notes: 121
Что за ребячество! *(фр.)*

[122] notes: 122
Можно подумать, что он декламирует Расина! *(фр.)*

непонятным и неуместным остервенением:

— Терпеть не могу английскую манеру оглушительным шепотом говорить о людях гадости.

Леди Кэролайн уже была у дверей, но при этих словах повернула обратно и, вплотную подойдя к Дику, отчеканила негромко, но с таким расчетом, чтобы слышали все, кто был в комнате:

— Пеняйте на себя — ведь вы нарочно поносили моих соотечественников, мою приятельницу Мэри Мингетти. А я только сказала, что вас видели в Лозанне в компании сомнительных личностей. И мои слова никого, кажется, не оглушили. Разве что *вас*.

— Для этого они недостаточно громки, — сказал Дик, немного, впрочем, запоздав с ответом. — Итак, по-вашему, я отъявленный…

Но Голдинг утопил конец его фразы в громоподобных: «Идемте! Идемте!», напором всей своей мощной фигуры тесня гостей к выходу. Уже с порога Николь успела заметить, что Дик по-прежнему неподвижно сидит за столом. Она негодовала на леди Сибли-Бирс за ее нелепые выдумки и в равной мере негодовала на Дика за то, что он захотел сюда ехать, за то, что напился, за то, что вдруг выставил наружу колючки своей иронии, за то, что не сумел с честью выйти из

спора, — и к этому примешивалось еще легкое недовольство собой; ведь она понимала, что первая вызвала раздражение англичанки, безраздельно завладев Томми Барбаном с минуты своего появления на яхте.

Немного спустя она мельком увидела Дика — он стоял у трапа, беседуя с Голдингом, и на вид был совершенно спокоен. Потом он ей долго не попадался на глаза, и через полчаса, попросив кого-то заменить ее в замысловатой малайской игре с нанизанными на веревочку кофейными зернами, она сказала Томми:

— Пойду поищу Дика.

Во время обеда «Марджин» снялась с якоря и теперь полным ходом шла на запад. Под приглушенный стук дизелей скользили по сторонам мягкие вечерние тени.

На баке Николь сразу обдуло теплым ветром, растрепавшим ей волосы, и с внезапным чувством облегчения она узнала впереди, у флагштока, фигуру мужа. Завидев ее, он сказал ровным голосом:

— Чудесный вечер.

— Я не знала, где ты, и забеспокоилась.

— Да неужели?

— Не надо так говорить со мной, Дик. Я бы с

такой радостью что-нибудь для тебя сделала, хоть пустяк какой-нибудь, но ничего не могу придумать.

Он отвернулся и стал смотреть туда, где за звездной завесой лежала Африка.

— Верю, Николь. Мне даже иногда кажется, что пустяк ты бы сделала с особенной радостью.

— Зачем ты так говоришь, Дик? Не надо.

В сиянии звезд, которое море подхватывало и пригоршнями белой пены швыряло обратно к небу, лицо Дика казалось бледным, но не злым, как можно было ожидать. В нем чувствовалась какая-то отрешенность; он медленно сосредоточивал свой взгляд на Николь, как шахматист на фигуре, которую готовится передвинуть; потом он взял ее за руку выше кисти и так же неторопливо притянул к себе.

— Говоришь, ты меня погубила? — спросил он почти ласково. — Но если так, мы оба с тобой — погибшие. А значит…

Холодея от страха, она втиснула и другую свою руку в его цепкие пальцы. Хорошо, пусть, она пойдет за ним — красота майского вечера ощущалась особенно остро в этот миг самоотречения и готовности к душевному отклику — хорошо, пусть…

…но вдруг она почувствовала свои руки свободными, и Дик, тяжело вздохнув, повернулся к ней спиной.

У Николь потекли по лицу слезы. Кто-то приблизился к ним, мягко ступая по доскам палубы, — Томми Барбан.

— А, нашелся! Вы знаете, Дик, Николь боялась, не бросились ли вы часом в воду из-за того, что вас отчехвостила эта английская пигалица.

— А что, неплохое было бы решение — броситься в воду, — тихо сказал Дик.

— В самом деле! — поспешно подхватила Николь. — Давайте запасемся пробковыми поясами и бросимся в воду. Давно пора нам выкинуть что-нибудь экстравагантное. Мы живем слишком скучной, ограниченной жизнью.

Томми потянул носом, глядя то на одного, то на другого, как будто думал в свежем вечернем воздухе унюхать, что тут происходит.

— Давайте посоветуемся с леди Фигли-Мигли — она нас просветит насчет dernier cri[123] в этом деле. И надо бы нам выучить наизусть ее песенку. Я ее переведу на французский язык, и она будет иметь бешеный успех в казино, а я

---

[123] notes: 123
Последнего крика (моды) *(фр.).*

огребу кучу денег.

— Томми, вы богатый человек? — спросил Дик, когда они шагали втроем от носа к корме.

— Не то чтобы очень. Биржа мне надоела, и я ее бросил. Но у меня кое-что есть в ценных бумагах, которые я препоручил верным людям. В общем, пока жить можно.

— Дик собирается разбогатеть, — сказала Николь. У нее уже наступила реакция, и голос слегка дрожал.

На корме танцевали три пары — Голдинг чуть ли не вытолкнул их в круг. Николь и Томми тоже пошли; танцуя, Томми заметил:

— Дик стал много пить.

— Совсем не много, — честно вступилась Николь.

— Одни люди умеют пить, другие нет. Дик явно не умеет. Вы бы запретили ему.

— Я? — изумилась Николь. — Вы думаете, я могу что-то запрещать или разрешать Дику?

Когда «Марджин» бросила якорь на рейде в Канне, Дик был необычно молчалив и казался рассеянным и сонным. Голдинг самолично усадил его в спущенную шлюпку, следом за леди Кэролайн, которая тотчас же демонстративно пересела на другое место. Выйдя на берег, Дик от-

весил ей преувеличенно церемонный поклон и, кажется, собирался пришпорить ее какой-то колкостью на прощанье, но Томми больно придавил локтем его руку, и они пошли к дожидавшейся неподалеку машине.

— Я вас отвезу, — предложил Томми.

— Не затрудняйтесь, мы можем просто взять такси.

— Да я с удовольствием — если еще оставите переночевать.

Дик молча полулежал на заднем сиденье, пока машина шла берегом через желтый монолит Гольф-Жуана, через Жуан-ле-Пен, где никогда не стихало карнавальное веселье, где ночь звенела музыкой и разноязыкими голосами певцов. Но когда они стали подниматься в гору, он вдруг выпрямился — возможно, машину тряхнуло на повороте — и сделал попытку произнести речь.

— Очаровательная представительница… — он на миг запнулся, — представительница фирмы… подайте мне мозги, взбитые a l'Anglaise…[124] — И, откинувшись на спинку, заснул мирным сном, только время от времени благодушно рыгая в бархатистую темноту ночи.

---

[124] notes: 124
На английский манер *(фр.).*

VI

Рано утром Дик вошел к Николь в спальню.

— Я ждал, пока не услышал, что ты встала, — сказал он. — Сама понимаешь, я очень сожалею о вчерашнем, но давай без аутопсии, ладно?

— Как хочешь, — холодно ответила она, приблизив лицо к туалетному зеркалу.

— Нас сюда привез Томми? Или мне это приснилось?

— Ты прекрасно знаешь, что он.

— Весьма возможно, — согласился Дик, — поскольку я только что слышал его кашель. Пойду загляну к нему.

Впервые в жизни, кажется, она порадовалась его уходу — наконец-то его раздражающая способность всегда и во всем оказываться правым изменила ему.

Томми уже ворочался на постели в предвкушении café au lait.[125]

— Как спали? — спросил Дик.

Услышав, что у Томми побаливает горло, он отнесся к этому с профессиональной деловито-

---

[125] notes: 125
Кофе с молоком *(фр.)*.

стью.

— Надо пополоскать на всякий случай.

— А у вас есть какое-нибудь полосканье?

— Представьте себе — нет. Наверно, у Николь есть.

— Не нужно беспокоить Николь.

— Она уже встала.

— Как она?

Дик медленно повернулся кругом.

— Вы что думали, если я выпил лишнее, она этого не переживет? — Он говорил с улыбкой. — Сегодняшняя Николь вырублена из той сосны, что растет в лесах Джорджии, а это самое крепкое дерево на свете после новозеландского эвкалипта…

Николь, спускаясь с лестницы, слышала часть их разговора. Она знала, что Томми любит ее, всегда любил; и знала, что в нем нарастает неприязнь к Дику, который это понял раньше его самого; и что Дик не оставит без внимания безответную страсть Томми. Эта мысль доставила ей минуту чисто женского торжества. Она стояла у стола, за которым завтракали ее дети, и давала распоряжения гувернантке, а наверху беседовали двое мужчин, которые были заняты только ею.

Хорошее настроение не покинуло ее и позже, за работой в саду. Она не жаждала никаких проис-

шествий; только бы длился и длился безмолвный поединок, в котором те двое перебрасывались мыслью о ней, — приятно после долгого перерыва вновь почувствовать, что существуешь, хотя бы в виде мячика.

— Что, крольчишка, славно? Как по-твоему? Ну что же ты, кролик, ведь славно, да? Или ты не согласен со мной?

Кролик наудачу подергал носом туда-сюда, но, ничего более интересного не обнаружив, согласился и был вознагражден кучкой капустных листьев.

Николь продолжала заниматься своими повседневными делами. Срезала цветы для комнатных ваз и оставляла их на условленных местах: садовник потом принесет все сразу, и можно будет составить букеты. Когда она дошла до обрыва над морем, ей вдруг захотелось с кем-то поговорить по душам, но было не с кем, и разговор заменило раздумье. Ее немного смущало открытие, что она может испытать что-то к чужому мужчине; но у других женщин бывают же любовники — чем я хуже? В свете ясного весеннего утра мужской мир не казался запретным, и мысли ее были пестрыми, как цветы, а ветер хозяйничал в ее волосах и словно бы в голове тоже. У других

женщин бывают любовники… Та самая сила, что вчера требовала от нее неотступной верности Дику до смертного предела, сегодня заставляла ее улыбаться на ветру простой и утешительной логике этого «чем я хуже?».

Присев на невысокий парапет, Николь смотрела вниз, на море. Но из глубин другого моря, безбрежного моря фантазии, ей удалось добыть осязаемую истину, самую дорогую добычу из всех. Если она не должна ощущать себя навсегда слитой воедино с Диком, каким он был накануне, значит, она может существовать сама по себе, а не только как создание его ума, обреченное вечно кружить по ребру медали.

Место, где сидела Николь, было выбрано ею не случайно. Ниже, на уступах горного склона, раскинулся огород, и два крестьянина, полускрытые завесой листьев, орудовали там граблями и мотыгами, переговариваясь на смеси местного и провансальского диалектов. Привлеченная их голосами, она постепенно уловила смысл разговора.

— Как раз тут я ее и повалил…

— За теми виноградниками мы и слюбились…

— А ей хоть бы что — да и ему тоже. Кабы не проклятый пес. Только, значит, я ее тут повалил…

— У тебя, что ли, грабли?

— Да вон же они около тебя, пентюх.

— Больно мне надо знать, где ты ее повалил. Я до самой той ночи за двенадцать лет ни одной бабы даже не прижал — с тех пор как женился. А ты…

— Постой, дай досказать про пса…

Николь наблюдала за ними сквозь листву; ей казалось, что каждый из них прав — одному одно нужно, другому другое. Но подслушанный разговор был кусочком того, мужского мира, и по дороге к дому ее вновь охватили сомнения.

Дик и Томми сидели на веранде. Она, не останавливаясь, прошла мимо них в комнаты, вынесла свой альбом и уселась рисовать голову Томми.

— Хоть прясть, хоть ткать, только б от дела не отстать, — смеясь, сказал Дик.

Как он может нести всякий вздор с еще серым после вчерашнего лицом, на котором каштановая пена бороды кажется красной, как и его глаза, налитые кровью.

Она повернулась к Томми:

— Я всегда нахожу себе занятие. Была у меня когда-то шустрая полинезийская обезьянка, так я, бывало, часами учу ее разным фокусам, пока

домашние не примутся меня ругать…

Она умышленно прятала глаза от Дика. Немного спустя он извинился и пошел в дом. Через открытую дверь ей было видно, как он пьет воду, — стакан, потом другой; и что-то наглухо защелкнулось у нее внутри.

— Николь, — начал было Томми, но запнулся и стал откашливаться, чтобы прочистить горло.

— Хотите, я дам вам камфорную мазь для растирания, — предложила Николь. — Это американское средство. Дик в него очень верит. Сейчас принесу.

— Мне вообще пора ехать.

Вошел Дик и уселся на прежнее место.

— Во что это я верю? — спросил он.

Когда Николь вернулась с мазью, они оба сидели в тех же позах, но она почувствовала, что, пока ее не было, у них шел оживленный разговор ни о чем.

Шофер уже дожидался у дверей, держа в руках чемодан с костюмом, в котором Томми вчера приехал на виллу. Сейчас на Томми был костюм Дика, и, глядя на него, Николь чувствовала какую-то ложную жалость, словно Томми такой костюм был бы не по карману.

— Когда приедете в гостиницу, хорошенько

разотрите этим шею и грудь, а потом вдыхайте поглубже, — наставляла она.

— Послушай, Николь, — вполголоса сказал Дик, пока Томми ходил к машине, — не отдавай ему всю банку. Ты же знаешь, что здесь этой мази в продаже нет, ее нужно выписывать из Парижа.

Томми снова подошел к подножию лестницы; втроем они составили группу, освещенную солнцем, — Томми на одной линии с центром машины, так что сверху казалось: вот сейчас он чуть-чуть наклонится вперед и взвалит ее себе на спину.

Николь шагнула ступенькой ниже.

— Ловите! — крикнула она. — Только не разбейте, это очень трудно достать.

Она почувствовала, как рядом с нею безмолвно вырос Дик; она спустилась еще на одну ступеньку и замахала рукой вслед машине, увозившей Томми и банку с американской мазью. Потом она повернулась, готовая принять кару.

— Совершенно неуместная щедрость, — сказал Дик. — Нас тут четверо, а за столько лет можно было привыкнуть, что если у кого-нибудь начинается кашель…

Они посмотрели друг на друга.

— Ну, мы выпишем другую банку…

Вся ее храбрость улетучилась, и она покорно пошла за ним наверх. В спальне он сразу лег на свою кровать, не говоря ни слова.

— Хочешь, чтобы завтрак тебе подали сюда? — спросила она.

Он кивнул по-прежнему молча и уставился в потолок. В какой-то растерянности она пошла отдать распоряжение прислуге. Когда она вернулась, он лежал все так же неподвижно, и его глаза были как два голубых прожектора, обшаривающие темное небо. Она с минуту постояла на пороге, не решаясь войти от сознания своей вины перед ним… Потом она протянула руку, словно хотела погладить его по голове, но он отпрянул, как испуганный зверь. И Николь не выдержала; поддавшись грубому кухарочьему страху, она бросилась вон из комнаты, с ужасом думая о том, чем будет жить дальше этот поверженный человек и что сможет дать ей, все еще голодным сосунком льнущей к его пустой груди.

Через неделю Николь уже позабыла о своей вспышке влечения к Томми; у нее была короткая память на людей, и она забывала легко. Но в первый жаркий июньский день она узнала, что он опять в Ницце. Об этом говорилось в записке, адресованной им обоим, — она прочитала ее под

зонтом на пляже, разбирая захваченную из дому почту. Прочитала и перебросила Дику, а он в ответ кинул ей на прикрытые пляжной пижамой колени только что распечатанную телеграмму:

Дорогие завтра приеду Госсу к сожалению без мамы надеюсь увидеться

— Что ж, буду рада ее повидать, — мрачно сказала Николь.

VII

Но наутро, когда они вместе спускались к морю, в ней снова зашевелилось тревожное опасение, что Дик замыслил какой-то отчаянный выход из тупика. С того вечера на яхте Голдинга она чутьем догадывалась, что́ происходит. Хотя и держась еще привычной опоры, издавна дававшей ей ощущение безопасности, она уже чувствовала, что вот-вот совершит прыжок, который должен изменить всю химию ее существа, но, страшась неизбежности этого, не смела все осознать и додумать. Образы Дика и ее самой, расплывчатые, зыбкие, носились перед ней, будто в фантасмагорической пляске. Давно уже каждое произносимое ими слово, казалось, таило в себе

второй, подспудный смысл, и от Дика зависело, когда и как этот смысл раскрыть. Все это в конце концов могло обернуться не плохо — те долгие годы, когда Николь только существовала, но не жила, пробудили в ней такие ее природные свойства, которые рано были приглушены болезнью и до которых Дик так и не докопался — не по неуменью, а просто оттого, что никому не дано проникнуть во *все* закоулки чужой души; но повод для беспокойства оставался. Самым печальным в их отношениях было растущее безразличие Дика, которое сейчас обретало конкретную форму в том, что он слишком много пил. Николь не знала, будет она растоптана или уцелеет, — фальшивые интонации Дика сбивали ее с толку; нельзя было угадать, как он поведет себя, когда с нестерпимою медлительностью начнет разматываться дорожка перед трамплином, и что случится в последнюю минуту, в минуту прыжка.

Что будет после, ее не тревожило — наверно, она почувствует себя как человек, у которого свалилось с плеч бремя, упала повязка с глаз. В Николь все было рассчитано на полет, на движение — с деньгами вместо крыльев и плавников. Грядущая перемена должна была лишь восстано-

вить истинный порядок вещей, как если бы шасси гоночного автомобиля, надолго упрятанное под кузовом семейного лимузина, высвободили, чтобы использовать по назначению. Николь уже чувствовала дуновение свежего ветра — ее пугала лишь боль, которую может причинить подкрадывающийся разрыв.

Дайверы шли по пляжу, сверкая белизной своих белых костюмов на загорелых телах. Николь видела, что Дик ищет глазами Ланье и Топси среди пестрой неразберихи множества зонтов; он как бы на время отпустил ее, ослабил свою хватку, и, глядя на него свободно, со стороны, она подумала, что дети нужны ему сейчас не для того, чтобы их защитить, а чтобы у них найти защиту. Должно быть, ему было страшно на этом пляже, как низложенному властителю, тайком пробравшемуся в свой старый дворец. А она успела возненавидеть его мир, изобиловавший любезностями и милыми шутками, позабыв, что много лет это был единственный доступный ей мир. Пусть, пусть полюбуется своим пляжем, изгаженным в угоду вкусам лишенных вкуса людей; может бродить тут хоть целый день, все равно не найдет ни камня от китайской стены, которой он когда-то окружил этот пляж, не уви-

дит нигде отпечатка ноги друга.

На мгновенье Николь пожалела об этом; ей вспомнилось, как он разгребал мусорные кучи на пляже, заботливо выбирая осколки стекла, вспомнилась та лавчонка на окраине Ниццы, где они покупали себе матросские штаны и фуфайки — одеяние, на основе которого парижские couturiers[126] создали потом новую моду; вспомнилось щебетанье деревенских девчонок на волнорезе: «Dites donc, dites donc!»[127] — и привычный ритуал тармского утра, когда весь дом раскрывался покойно и радостно навстречу солнцу и морю, и озорные затеи Дика, глубоко погребенные под тяжестью всего нескольких лет…

Теперь пляж превратился в клуб, куда почти каждый имел доступ, как и в то разноплеменное общество, которое этот клуб представлял.

Привстав на соломенной циновке, Дик высматривал в толпе Розмэри, и Николь, перехватив его взгляд, снова стала холодной и жесткой. Вместе с ним она оглядывала берег, загроможденный разными штуками, которых тут раньше не было, — турниками и кольцами, перенос-

---

[126] notes: 126
Портные *(фр.).*

[127] notes: 127
Зд.: Смотри-ка, смотри-ка! *(фр.)*

ными кабинками для раздевания, плавучими вышками, прожекторами, оставшимися после вчерашнего праздника, белой буфетной стойкой с уже надоевшим модернистским орнаментом из велосипедных рулей.

Меньше всего Дик рассчитывал увидеть Розмэри в воде — купальщиков теперь было мало, только ребятишки барахтались в преддверии лазурного рая да один из служителей каждое утро щеголял перед публикой эффектными прыжками в воду со скалы в пятьдесят футов вышиной. Большинство же постояльцев Госса оголяли свои дряблые телеса, только чтобы окунуться разок перед самым уходом с пляжа, около часу дня.

— Вон она, — вдруг сказала Николь.

Она увидела, как его взгляд заскользил за Розмэри, двигавшейся от плота к плоту; она даже вздохнула, но в этом вздохе нашло себе выход что-то давнее, застоявшееся еще с того времени, пять лет назад.

— Давай поплывем ей навстречу, — предложил Дик.

— Иди один.

— Нет, пойдем вместе.

Она попыталась воспротивиться этой категоричности, но минуту спустя они уже плыли

рядом, и путь им указывала стайка мелких рыбешек, следовавших за Розмэри неотступно, как форель за блесной.

Николь осталась в воде, а Дик вылез на плот и уселся с Розмэри рядом; мокрые, они сидели и непринужденно болтали, как будто никогда не любили, даже никогда не касались друг друга. Розмэри еще похорошела — Николь была неприятно поражена ее молодостью, но тут же с удовлетворением отметила про себя, что из них двух она чуть потоньше. Николь кружила в воде у самого плота, прислушиваясь к голосу Розмэри — в нем звучала радость, веселье, ожидание и чуть большая уверенность, чем пять лет назад.

— Мама будет встречать меня в понедельник в Париже. Я ужасно соскучилась по ней.

— Пять лет прошло с тех пор, как вы впервые появились на этом пляже — такая смешная девчурка в госсовском купальном халате.

— Все-то вы помните! Вы и раньше помнили все — правда, только хорошее.

Опять старая игра в комплименты, подумала Николь и, нырнув, поплыла под водой. А когда вынырнула, услышала:

— А я притворюсь, будто не было этих пяти лет, будто мне все еще восемнадцать. Мне всегда

бывало хорошо, — нет, не просто, а как-то по-особенному хорошо с вами — с вами и с Николь. Вот смотрю сейчас и словно вижу всю вашу компанию на берегу, под зонтом — такие чудесные люди, я никогда раньше не встречала таких и, наверно, никогда больше не встречу.

Николь отплыла в сторону, она успела заметить, что хмурое лицо Дика слегка просветлело в разговоре с Розмэри, словно эта старая игра вызвала к жизни частицу былого его обаяния, потускневшего, как тускнеют от времени шедевры искусства; теперь бы ему бокал-другой вина, и он, пожалуй, способен будет повертеться перед нею на турнике, пусть и не с той легкостью, что в прежние годы. Это лето было первым на памяти Николь, когда он ни разу не отважился прыгнуть в воду с высоты.

Она снова повернула, лавируя между плотами, и тут ее нагнал Дик.

— У друзей Розмэри есть быстроходный катер — вон стоит. Хочешь покататься на аквaплане? Я бы не прочь.

Было время, когда Дик делал стойку на стуле, установленном на конце доски; вспомнив об этом, она решила его побаловать, как при случае побаловала бы Ланье. В последнее свое лето на

Цугском озере они часто развлекались этой приятной спортивной игрой, и как-то раз Дик, стоя на доске, поднял на плечи человека двухсот фунтов весу. Но женщина берет мужчину в мужья со всеми его талантами и способностями, и потом ему уже трудно ее поразить, хоть она подчас и притворяется пораженной. А Николь даже особенно и не притворялась. Она только сказала «Ну, что ж», и еще: «Я так и думала, что ты справишься».

Сейчас, однако, она хорошо знала, что он утомлен, что его просто раззадорила своей молодостью Розмэри — так живительно действовала на него, бывало, близость детского тельца, когда рождались на свет ее дети. Но у нее лишь мелькнула равнодушная мысль: «Не сделал бы он из себя посмешища».

На катере Дайверы оказались старше всех; молодые люди держались с ними почтительно-вежливо, но за любезными фразами Николь так и слышалось недоуменное: «Это еще кто?» Вот когда пригодился бы дар Дика без труда овладеть положением и задать нужный тон; но Дику было не до того — он весь был поглощен задуманным делом.

В двухстах ярдах от берега мотор приглушили, и один из молодых людей ласточкой прыгнул в

воду. Он подплыл к доске, вольно кувыркавшейся за кормой, уравновесил ее и осторожно на нее встал — сперва на колени, потом во весь рост. Отклонившись назад, он управлял своим легким суденышком, виляя из стороны в сторону вслед за катером, быстро набиравшим ход. Наконец он выровнял доску на волне, отпустил веревку, с минуту еще балансировал без опоры и потом нырнул, оттолкнувшись ногами, ушел под воду бронзовой статуей, а вновь показался черненьким пятнышком на порядочном расстоянии от катера, уже разворачивавшегося ему навстречу.

Николь от участия отказалась, и следующей на доске каталась Розмэри — осторожно и не изощряясь, но под шутливые аплодисменты своих поклонников. Трое из них с таким азартом боролись за честь втащить ее на борт, что ухитрились основательно ободрать ей кожу на колене и бедре.

— Ваша очередь, доктор, — сказал мексиканец-штурвальный.

Дик и последний еще не катавшийся молодой человек прыгнули за борт и поплыли к доске. Дик задумал повторить цугский трюк, и Николь следила за ним с презрительной улыбкой. Эта жажда блеснуть своими атлетическими качествами

перед Розмэри раздражала ее больше всего.

Когда доска, на которой они стояли вдвоем, обрела необходимое равновесие, Дик стал на колени, просунул голову между ногами партнера и медленно начал подниматься.

Зрители, сгрудившиеся у борта катера, видели, что ему приходится трудно. Он уже стоял на одном колене; теперь весь фокус был в том, чтобы поставить вторую ногу и выпрямиться, не прерывая движения. Он дал себе минутную передышку, потом, с исказившимся от усилия лицом, поднатужился и встал.

Доска была узкой; молодой человек, хотя и весил не больше полутораста фунтов, не умел распределить свою тяжесть, да к тому же еще ухватился за голову Дика. Наконец последним отчаянным напряжением спинных мышц Дику удалось выпрямиться — и в ту же минуту доска накренилась и оба полетели в воду.

Розмэри захлопала в ладоши и закричала:

— Браво, браво! У них почти вышло!

Но Николь, когда катер шел навстречу пловцам, сумела разглядеть на лице Дика то, что и думала там найти, — злость и досаду: ведь еще два года назад он свободно проделывал этот трюк.

При второй попытке он действовал осмотри-

тельней. Сначала слегка привстал, проверяя равновесие груза, потом снова опустился на одно колено и тогда только, выкрикнув: «Аллегоп!» — стал подниматься, но, прежде чем он распрямился во весь рост, у него вдруг подогнулись ноги, и, падая, он едва успел оттолкнуть доску подальше, чтобы избежать удара.

На этот раз, когда катер подошел, все его пассажиры заметили, что Дик злится.

— Я хотел бы попробовать еще раз! — крикнул он из воды. — У нас ведь почти получилось.

— Ну что ж. Валяйте.

Николь показалось, что вид у него совсем больной, и она предостерегающе заметила:

— А может быть, на сегодня довольно?

Дик оставил ее слова без ответа. Партнер забастовал и был поднят на борт, а его место услужливо занял правивший катером мексиканец.

Этот был тяжелее первого. Покуда катер набирал скорость, Дик отдохнул немного, ничком лежа на доске. Потом он подлез под партнера, взялся за веревку и, напрягая все силы, попробовал встать.

Встать он не смог. Николь видела, как он переменил положение и попытался еще раз, но как только партнер, отделившись от доски, всей

тяжестью придавил ему плечи, он словно окаменел. Он сделал еще попытку — приподнялся на дюйм, на два дюйма — Николь, напрягаясь с ним вместе, чувствовала, как пот выступает из всех пор у него на лбу, — с минуту еще он силился удержать равновесие, потом грузно рухнул опять на колени, и доска перевернулась, лишь чудом не ударив его по голове.

— Скорее к ним! — закричала Николь мотористу — и вдруг ахнула, увидя, что Дик исчез под водой. Но он тотчас же вынырнул снова и лег на спину в ожидании катера. Казалось, катер разворачивался целую вечность, но когда наконец подошел совсем близко и Николь увидела, как Дик, обессиленный и безучастный, покачивается на волне, будто кругом ничего нет, кроме моря и неба, ее испуг сразу сменился презрением.

— Сейчас мы вас вытащим, доктор… Берите его за ногу… вот так… ну, вот и все…

Дик сидел, ни на кого не глядя, тяжело переводя дух.

— Я так и знала, что ничего у тебя не выйдет, — не удержалась Николь.

— Он слишком устал за те два раза, — сказал мексиканец.

— Глупо было и пробовать, — твердила свое

Николь. Розмэри тактично молчала. Дик наконец отдышался.

— Я бы в этот раз и бумажной куколки не поднял.

Кто-то прыснул, и это сразу разрядило тягостную атмосферу неудачи. Каждый старался быть с Диком полюбезнее, когда катер подошел к причалу. Только Николь не скрывала своего раздражения — ее теперь раздражало все, что бы он ни делал.

Она уселась с Розмэри под зонтом, а Дик пошел чего-нибудь выпить и скоро вернулся, неся по фужеру хереса им обеим.

— Ведь это с вами я пила впервые в жизни, — сказала Розмэри и вдруг воскликнула с неожиданной горячностью: — Господи, как я рада, что вижу вас и что все у вас хорошо. Я боялась… — она сломала фразу и повернула ее в другом направлении, — что, может быть, вы нездоровы.

— До вас дошли слухи, что Дик Дайвер катится по наклонной плоскости?

— Ой, что вы! Просто — просто кто-то мне говорил, будто вы изменились. И мне так приятно убедиться своими глазами, что это неправда.

— Это правда, — сказал Дик, опускаясь на песок с ними рядом. — И случилось это уже давно,

только было незаметно поначалу. Внешне все некоторое время остается по-старому после того, как внутри пройдет трещина.

— Вы занимаетесь практикой на Ривьере? — поспешно спросила Розмэри.

— А что, здесь для этого богатейшие возможности. — Он движением головы выделил одного, другого, третьего в людском скопище, копошившемся на золотом песке. — Объектов хоть отбавляй. Вон старая наша приятельница, миссис Абрамс, разыгрывает герцогиню при Мэри Норт — королеве. Но вы не завидуйте — вспомните, как долго миссис Абрамс пришлось взбираться на четвереньках по черной лестнице «Ритца», сколько она коверной пыли наглоталась.

Розмэри перебила его:

— Да неужели же это Мэри Норт? — Она изумленно вгляделась в женщину, которая шествовала в их сторону в сопровождении нескольких спутников, державшихся как люди, привычные к тому, что на них смотрят. Очутившись в каких-нибудь десяти шагах от Дайверов, Мэри скользнула по ним косым, быстрым взглядом, одним из тех взглядов, которые должны показать вам, что вас заметили, но сочли не заслуживающими внимания, — ни Дайверы, ни Розмэри Хойт никогда не

позволили бы себе бросить подобный взгляд на кого бы то ни было. Но тут она узнала Розмэри и, передумав, направилась прямо к ним — что немало позабавило Дика. Она приветливо поздоровалась с Николь, почти не глядя, кивнула Дику, словно боялась заразиться от него чем-то, — он в ответ нарочито почтительно поклонился, — и, расцветя улыбкой, заговорила с Розмэри:

— Мне уже говорили о вашем приезде. Вы надолго?

— До завтра, — ответила Розмэри.

От нее не укрылось, что Мэри прошла сквозь Дайверов для того, чтобы поздороваться с ней, и верность дружескому долгу охладила ее добрые чувства к Мэри. Нет, к сожалению, она сегодня вечером занята.

Мэри повернулась к Николь, всей своей манерой выражая некий сплав расположения и сострадания.

— Как детки? — спросила она.

В эту самую минуту Ланье и Топси прибежали и стали просить, чтобы Николь отменила какой-то запрет гувернантки, касающийся купанья в море.

— Нет, — вмешался Дик. — Раз mademoiselle сказала так, значит, так.

Согласная с тем, что не следует расшатывать авторитет властей предержащих, Николь тоже ответила отказом, и Мэри — которая, подобно героине Аниты Лус, привыкла иметь дело только с faits accomplis,[128] — так посмотрела на Дика, будто стала свидетельницей проявления жесточайшего деспотизма с его стороны. Но Дику уже успела надоесть вся эта комедия, и он осведомился с наигранным интересом:

— А как ваши детки — и их тетушки?

Мэри до ответа не снизошла; она сочувственно погладила по голове Ланье, тщетно пытавшегося сопротивляться, и удалилась. После ее ухода Дик заметил:

— Как подумаю, сколько времени я потратил, стараясь что-то из нее сделать.

— А я к ней хорошо отношусь, — сказала Николь.

Враждебный тон Дика удивил Розмэри; она привыкла считать его человеком, который все понимает и все умеет простить. И тут ей вспомнилось, что́ именно она про него слышала. Вместе с нею на пароходе ехали работники государственного департамента, американцы, до того

---

[128] notes: 128
Свершившимися фактами *(фр.)*.

европеизировавшиеся, что их вообще уже трудно было причислить к гражданам какой-либо страны.

В разговоре всплыло имя вездесущей Бэби Уоррен, и было сказано, что младшая сестра Бэби загубила свою жизнь, выйдя замуж за врача-пропойцу. «Его уже нигде не принимают», — заметила одна из дам.

Розмэри встревожилась; хотя Дайверы в ее мыслях никак не связывались с теми кругами, где подобный факт (если это был факт) может иметь значение, некий смутный образ организованного остракизма вставал перед ней за этими словами: «Его уже нигде не принимают». Воображение рисовало ей, как Дик поднимается по ступеням большого нарядного особняка, вручает свою карточку дворецкому и в ответ слышит: «Не велено принимать»; идет дальше, в другое, в третье место, и бесчисленные дворецкие бесчисленных послов, посланников и поверенных в делах встречают его той же фразой…

Николь захотелось уйти. Она знала наперед, как все пойдет дальше: сейчас Дик, словно выведенный из спячки, вновь станет обворожительным, и Розмэри, конечно, не устоит. И в самом деле — через минуту она услышала его голос, в мягких

переливах которого стерлось все неприятное, что он успел сказать раньше.

— Да я, в общем, ничего против Мэри не имею — она процветает, и слава богу. Но довольно трудно продолжать хорошо относиться к тем, кто уже не относится хорошо к тебе.

Розмэри мгновенно заворковала ему в тон:

— Вы такой милый, Дик. Мне кажется, даже если бы вы обидели кого-нибудь, вам нельзя не простить и обиды. — Потом, спохватясь, что в избытке восторга ступила на территорию, принадлежащую Николь, она опустила глаза и уставилась в одну точку на песке, как раз посредине между Дайверами. — Я все хочу спросить вас обоих, что вы думаете о моих последних картинах — если вы их видели.

Николь промолчала; она видела только одну картину и особенно о ней не задумывалась.

— Постараюсь ответить так, чтобы вы меня поняли, — сказал Дик. — Предположим, Николь говорит вам, что Ланье болен. Как бы вы реагировали в жизни? Как бы реагировал каждый? Начали бы *играть* — лицом, голосом, словами: лицом выражать печаль, голосом — потрясение, словами — сочувствие.

— Д-да — вероятно.

— На сцене дело обстоит иначе. Все великие актрисы обязаны *своей славой* своему уменью пародировать естественные человеческие чувства — страх, жалость, любовь.

— Понимаю. — Впрочем, она не совсем понимала.

Нить рассуждений Дика ускользнула от Николь, и чем больше он говорил, тем больше это ее раздражало.

— Актрисе естественная реакция противопоказана. Еще пример: предположим, вам говорят: «Ваш возлюбленный умер». В жизни вас такое известие просто подкосило бы. А на сцене вы должны держать зрителей в напряжении — естественно реагировать они могут и сами. Как актриса, вы, во-первых, связаны текстом роли, а во-вторых, вам нужно, чтобы публика думала о вас, а не о каком-то убитом китайце или кто он там был. А для этого необходимо сделать что-то, чего зрители не ожидают. Если им известно, что ваша героиня сильна, вы в эту минуту показываете ее слабой; если она слаба, вы ее показываете сильной. Вы должны выйти из образа — понятно вам?

— Не вполне, — призналась Розмэри. — Как это — выйти из образа?

— Вы делаете то, чего публика не ожидала, пока вам не удастся снова приковать ее внимание к себе, и только к себе. А дальше вы опять действуете в образе.

Николь решила, что с нее довольно. Она резко встала, не пытаясь скрыть свое раздражение. Розмэри, уже несколько минут смутно чувствовавшая неладное, с умиротворяющей улыбкой притянула к себе Топси.

— Хотела бы ты стать артисткой, когда вырастешь? Я уверена, что из тебя вышла бы прекрасная артистка.

Николь вперила в нее холодный немигающий взгляд и отчеканила голосом своего деда:

— Совершенно непозволительно внушать чужим детям подобные идеи. Вы забываете, что у нас могут быть другие планы относительно их будущего. — Она резко повернулась к Дику: — Я еду домой. За тобой и детьми пришлю Мишель.

— Но ты почти год не водила машину, — возразил он.

— Ничего, я не забыла, как это делается.

Не взглянув на Розмэри, лицо которой красноречиво выражало «естественную реакцию», она пошла в кабинку переодеться.

Вышла она оттуда все с тем же выражением

лица, жестким и непроницаемым, как металл. Но, выехав на обсаженную деревьями дорогу, она словно попала в другой мир — зеленые кроны смыкались над головой, цокала белка, перепрыгивая с ветки на ветку, ветер толчками шевелил листву, где-то прокричал петух, разорвав далекую тишь, солнечные лучи осторожно пробирались сквозь плотную завесу; шум пляжа не долетал сюда, и Николь мало-помалу отошла. Теперь ей было радостно и легко, мысли стали звонкими, как колокольчики, она чувствовала себя исцелившейся и обновленной. Точно огромный цветок, распустилось ее «я», и за темными закоулками лабиринта, где она блуждала столько лет, обозначился выход. О пляже она старалась не думать, он ей опротивел, как и все в той вселенной, где солнцем был Дик, а она планетой при нем.

«Да, я уже почти полноценный человек, — думала она. — Я уже могу стоять на ногах сама, без его помощи». И, с детским нетерпением стремясь ощутить всю меру обретенной полноценности — хоть и со смутным чувством, что именно этого от нее ждал Дик, — она сразу же по возвращении бросилась на кровать и написала Томми Барбану в Ниццу коротенькое зазывное письмо.

Но то было днем, а к вечеру нервный подъем

стал ослабевать, Николь сникла, и в воздухе опять полетели незаметные стрелы. Она не знала, что у Дика на уме, и это пугало ее; чутьем она угадывала, что все его поведение за последнее время подчинено определенному плану, а планов его Николь боялась всегда — они, как правило, были осуществимы и несли в себе некую логическую завершенность, против которой она себя чувствовала бессильной. Так уж повелось с самого начала, что он один думал за них обоих, и даже в его отсутствие каждый поступок Николь словно бы автоматически сообразовался с его волей; оттого даже и сейчас ее не хватило на то, чтобы противопоставить свои намерения намерениям Дика. А между тем нужно было думать самой; она разобрала наконец номер на двери страшного мира бредовых видений, за спасительным порогом которой ни от чего спасения нет; она поняла, что отныне самая большая опасность для нее — это опасность самообмана. Урок был долгим, но усвоила она его хорошо.

Или думай сам — или тот, кому приходится думать за тебя, отнимет твою силу, переделает все твои вкусы и привычки, по-своему вышколит и выхолостит тебя.

Они мирно поужинали в столовой, не зажигая

света; Дик за ужином пил много пива и весело шутил с детьми. Потом он подсел к роялю — играл песни Шуберта и недавно полученные из Америки джазовые песенки, а Николь, заглядывая в ноты через его плечо, напевала глубоким, хрипловатым контральто:

Спасибо, отец,
Спасибо, мать,
За то, что друг друга довелось вам узнать…

— Ерунда какая-то, — сказал Дик и хотел перевернуть страницу.

— Нет, пожалуйста, доиграй это! — воскликнула Николь. — Неужели я до конца своих дней должна буду вздрагивать при слове «отец»?

…Спасибо повозке с колченогим коньком,
Спасибо, что в ту ночь были вы под хмельком…

Когда совсем стемнело, они сидели с детьми на плоской кровле и смотрели, как над двумя казино, в двух разных концах взморья, взлетают в небо огни фейерверка. Непривычно и грустно было чувствовать себя чужими друг другу.

На следующий день, вернувшись из Канна, куда она ездила за покупками, Николь застала записку от Дика о том, что он хочет побыть один и на несколько дней уезжает в Прованс на маленькой машине. Она еще не успела дочитать, как раздался телефонный звонок. Звонил Томми из Монте-Карло: он получил ее письмо и едет в Тарм. «Буду ждать», — сказала Николь в трубку, теплую от ее губ.

VIII

Николь, приняв ванну, умастила и припудрила свое тело, потопталась на усыпанном пудрой мохнатом полотенце. Потом долго и дотошно изучала себя в зеркале, гадая, скоро ли этот стройный, гармоничный фасад осядет и потеряет плавность линий. Лет так через шесть; но сейчас я еще ничего — пожалуй, даже лучше очень и очень многих.

Она себя не переоценивала. Единственное различие между нынешней Николь и Николь пять лет назад заключалось в том, что тогда ее красота еще была девически незрелой. Но все-таки она завидовала юным — оказывал свое действие современный культ юности, примелькавшиеся

полудетские лица киногероинь, которые, если верить экрану, несли в себе всю энергию и всю мудрость эпохи.

Она надела длинное, до щиколотки платье, каких не носила днем уже много лет, истово перекрестилась несколькими каплями «Шанель № 16». К часу дня, когда автомобиль Томми затормозил перед виллой, она была точно цветущий, хорошо ухоженный сад.

Как чудесно снова испытать все это — принимать чье-то поклонение, играть в какую-то тайну! Два бесценных года выпали из ее жизни в самую пору самодовольного расцвета красивой женщины, и теперь она словно наверстывала их. Она встретила Томми так, словно он был один из многих ее поклонников, и, ведя его к столу под сиеннским зонтом, шла не рядом, а немного впереди. Красавицы девятнадцати и двадцати девяти лет одинаково уверены в собственной силе, тогда как в десятилетие, разделяющее эти два возраста, требовательность женского естества мешает женщине ощущать себя центром вселенной. Дерзкая уверенность девятнадцатилетних сродни петушиному задору кадетов; двадцатидевятилетние в этом смысле скорее напоминают боксеров после выигранного боя.

Но если девчонка девятнадцати лет попросту избалована переизбытком внимания, женщина двадцати девяти черпает свою уверенность из источников более утонченных. Томимая желанием, она умело выбирает аперитивы; удовлетворенная, смакует, точно деликатес, сознание своей власти. К счастью, ни в том, ни в другом случае она не задумывается о будущих годах, когда ее внутреннее чутье все чаще станет мутиться тревогой, страшно будет останавливаться и страшно идти вперед. Но девятнадцать и двадцать девять — это лестничные площадки, где можно спокойно повременить, не ожидая опасности ни снизу, ни сверху.

Николь не хотела туманного платонического романа; ей нужен был любовник, нужна была перемена. Она понимала — думая мыслями Дика, — что с поверхностной точки зрения нелепо и пошло без истинного чувства пускаться в авантюру, которая для всех может кончиться плохо. Но с другой стороны, она считала именно Дика непосредственным виновником всего и вполне искренне думала, что такой эксперимент может оказаться целебным. Ее подбодряли примеры, которых она немало насмотрелась кругом в это лето, — столько людей поступали так, как хоте-

ли, и это им легко сходило с рук. А кроме того, несмотря на принятое решение никогда себе не лгать, она уговаривала себя, что всего лишь нащупывает почву и в ее воле в любую минуту выйти из игры…

Когда они очутились в тени у стола, Томми раскрыл объятия — точно белый селезень взмахнул крыльями — и, притянув Николь к себе, заглянул ей в глаза.

— Не шевелитесь больше, — приказала она. — Я теперь буду смотреть на вас долго-долго.

Его волосы были надушены, от белого костюма исходил легкий запах мыла. С минуту они просто смотрели друг на друга — Николь без улыбки на плотно сжатых губах.

— Ну как, нравится вам то, что вы видите? — негромко спросила она.

— Parle français.[129]

— Хорошо, — сказала она и по-французски повторила тот же вопрос: — Нравится вам то, что вы видите?

Он крепче прижал ее к себе.

— Мне все в вас нравится. — И после паузы: — Я был уверен, что хорошо знаю ваше лицо, но ока-

---

[129] notes: 129
Говори по-французски *(фр.)*.

зывается, в нем есть кое-что, чего я не замечал прежде. С каких пор у вас появился этот невинно-жуликоватый взгляд?

Она сердито вырвалась и воскликнула по-английски:

— Ах, вот почему вам захотелось перейти на французский! — Она понизила голос, увидев подходившего лакея с бутылкой хереса и бокалами: — Чтобы удобнее было говорить обидные вещи!

Она с размаху села на стул, вдавив свои маленькие ягодицы в подушку из серебряной парчи.

— У меня здесь нет зеркала, — начала она опять по-французски, но более решительным тоном. — Но если мой взгляд стал другим, так это оттого, что я выздоровела. И вместе со здоровьем восстановилась моя истинная природа. Мой дедушка был жуликом, и у меня это наследственное, вот и все. Удовлетворен ваш практический ум?

Томми смотрел на нее с недоумением, не понимая, о чем она говорит.

— А где Дик — он с нами не завтракает?

Он явно задал этот вопрос, не придавая ему особого значения, и Николь смехом постаралась стереть испытанную досаду.

— Дик уехал в Прованс, — сказала она. — Розмэ-

ри Хойт возникла на горизонте, и он либо уехал вместе с ней, либо пришел в такое расстройство чувств, что ему захотелось помечтать о ней в одиночестве.

— Странная вы все-таки женщина, Николь.

— Ну что вы! — поспешно возразила она. — Самая обыкновенная. Верней, во мне сидит с десяток самых обыкновенных женщин, только все они разные.

Лакей подал дыню и ведерко со льдом. Николь молчала; слова Томми насчет «жуликоватого взгляда» не шли у нее из головы; да, этот человек из тех, кто угощает нерасколотыми орехами вместо того, чтобы услужливо подносить очищенные ядрышки на тарелочке.

— Зачем только вам помешали оставаться тем, что вы есть? — снова заговорил Томми. — Ваша судьба и трогает и волнует.

Она не нашлась что ответить.

— Уж эти мне укротители строптивых! — презрительно фыркнул он.

— В любом обществе есть… — начала было она под неслышную подсказку тени Дика, но тут же смолкла, покоряясь тому, что звучало в голосе Томми.

— Мне на моем веку пришлось образумить

немало мужчин с помощью силы, но я бы крепко подумал, прежде чем решиться на это хотя бы с одной женщиной. А такой «гуманный» деспотизм, пожалуй, еще хуже. Кому он на пользу — вам, ему, еще кому-нибудь?

Сердце у Николь екнуло и сжалось; она слишком хорошо знала, чем она обязана Дику.

— Мне кажется, у меня…

— У вас слишком много денег, — нетерпеливо перебил Томми. — В этом вся загвоздка. Дик этого не может переварить.

Она молча раздумывала, пока лакей убирал остатки дыни.

— Что же мне теперь, по-вашему, делать?

Впервые за десять лет она чувствовала над собой чужую волю, которая не была волей мужа. Теперь каждому слову Томми предстояло войти в ее плоть и кровь.

Они пили вино, а над ними ветерок шелестел в сосновых ветвях, и солнце в полуденной истоме осыпало слепящими веснушками клетчатую скатерть на столе. Томми, зайдя сзади, положил ей руки на плечи, потом, скользнув ладонями от плеча вниз, крепко сжал ее пальцы. Их щеки соприкоснулись, губы встретились, и она глубоко вздохнула, то ли от страсти, то ли от изумления,

что эта страсть так сильна…

— Нельзя ли услать гувернантку с детьми куда-нибудь?

— У детей урок музыки. И все равно — я не хочу оставаться здесь.

— Поцелуй меня еще.

Чуть позже, в машине, мчавшей их по направлению к Ницце, Николь думала: «Так у меня жуликоватый взгляд, да? Ну что ж, лучше здоровый жулик, чем добропорядочная психопатка».

И как будто эта сентенция сняла с нее всякую вину или ответственность, она вдруг возликовала, по-новому взглянув на себя. Перед ней раскрывались новые горизонты, множество мужчин спешили навстречу, и ни одного ей не нужно было слушаться или даже любить. Она перевела дух, резко передернула плечами и повернулась к Томми.

— Неужели нам непременно нужно ехать до самого Монте-Карло?

Он так резко затормозил, что завизжали шины.

— Нет! — воскликнул он. — И — черт побери, я так счастлив сейчас, как никогда в жизни.

Ницца уже была позади, и голубая дорога, повторяя изгибы берега, постепенно поднималась к

Корнишу. Но Томми теперь круто свернул вправо, выехал на тупой мысок и вскоре остановился у боковых ворот маленького приморского отеля.

На миг Николь стало страшно от будничной реальности происходящего. У конторки какой-то американец долго и нудно препирался с портье из-за валютного курса. Вся сжавшись внутренне, но невозмутимая внешне Николь ждала, пока Томми заполнял регистрационные бланки — для себя на свое настоящее имя, для нее на вымышленное. Номер, в который они вошли, был как любой номер в курортной гостинице средней руки — почти опрятный, почти аскетически обставленный, с темными шторами на окнах в защиту от сверкания моря. Незатейливый приют для незатейливых наслаждений. Официант принес заказанный Томми коньяк и вышел, притворив за собой дверь. Томми сидел в единственном кресле, загорелый, прямой, красивый, бровь дугой, на щеке рубец — Пэк-воитель, замечтавшийся Сатана.

Коньяк еще не был допит, когда внезапный порыв поднял их и бросил друг к другу. Потом, усадив ее на кровать, он целовал жестковатые смуглые колени. Ее короткое сопротивление похоже было на судороги обезглавленного

животного — она уже забыла и Дика, и свои изменившиеся глаза, и самого Томми, и только все дальше уходила в глубь времени — минут — мгновенья.

...Когда он встал и, подойдя к окну, приподнял штору, чтобы посмотреть, что за шум там внизу, он показался ей смуглей и крепче Дика; тугие клубки мускулов перекатывались под солнечными бликами на коже. Была минута в их близости, когда и он позабыл ее; почти в ту самую секунду, когда его плоть оторвалась от ее плоти, ее вдруг охватило предчувствие, что все будет не так, как она ожидала. То был безымянный страх, предшествующий любому потрясению, радостному или скорбному, с той неизбежностью, с которой раскат грома предшествует грозе.

Томми осторожно высунулся наружу и затем доложил:

— Ничего не видно — только на балконе, что под нашим балконом, сидят две женщины в качалках и беседуют о погоде.

— И это от них столько шуму?

— Нет, шум идет откуда-то еще ниже. Вот послушай.

Ах, на юге, где сеют хлопок,

Отели пустуют, дела идут плохо,
Глядеть неохота…

— Это американцы.

Николь широко раскинула руки на постели и уставилась в потолок; ее тело взмокло под пудрой и словно подернулось молочной пленкой. Ей нравилась эта голая комната с одинокой мухой, которая, жужжа, летала под потолком. Томми пододвинул к кровати кресло и сбросил лежавшие на нем вещи, чтобы сесть; ей нравилось, что вещей так мало: невесомое платье и сандалеты да его полотняные брюки — маленькая кучка на полу.

Он рассматривал ее удлиненный белый торс, резко отделявшийся от почти коричневых конечностей, и наконец сказал полушутя-полусерьезно:

— Ты точно новорожденный младенец.

— С невинно-жуликоватыми глазами.

— Это мы исправим.

— Глаза исправить трудно — особенно если они сделаны в Чикаго.

— Ничего, я знаю лангедокские народные средства.

— Поцелуй меня, Томми. В губы.

— Как это по-американски, — сказал он, однако исполнил ее просьбу. — Когда я последний раз был в Америке, я там встречал таких любительниц целоваться: вопьются в губы до того, что кровь брызнет, — но дальше ни-ни.

Николь приподнялась, облокотясь на подушку.

— Мне нравится эта комната, — сказала она.

— На мой взгляд, бедновата немножко. Радость моя, как чу́дно, что ты не захотела ждать до Монте-Карло.

— Почему бедновата? По-моему, комната замечательная — она как непокрытые столы у Пикассо и Сезанна.

— Ну, не знаю. — Он даже не пытался понять ее. — Вот, опять этот шум. Господи, да что там, убивают кого-то?

Он вернулся к окну и снова стал докладывать:

— Это американские матросы — двое дерутся, а другие подзадоривают. Должно быть, с вашего крейсера, который стоит на рейде. — Он обернул полотенце вокруг бедер и вышел на балкон. — И их poules[130] тоже с ними. Теперь так водится — эти женщины следуют за кораблем из порта в порт. Но какие женщины! При их жалованье

---

[130] notes: 130
Подружки *(фр.)*.

могли бы найти себе что-нибудь получше! Помню, например, в корниловской армии — что ни женщина, то по меньшей мере балерина!

Видно было, что само слово «женщины» не вызывает в нем никаких эмоций — слишком уж многих он знал на своем веку, и Николь была довольна этим, считая, что ей нетрудно будет удержать его, пока он находит в ней нечто большее, чем обыкновенную женскую прелесть.

— Давай, давай!

— В подвздох норови, там больнее!

— Дава-а-ай!

— А ты его правой, правой!

— Так его, так его!

— Ты что же, Дулшмит, сукин ты сын!

— Дава-а-ай!

Томми вернулся в комнату.

— Здесь больше не стоит оставаться, согласна?

Она была согласна, но, прежде чем одеться, они снова припали друг к другу, и на какое-то время убогий отель показался им не хуже любого дворца…

Наконец Томми оделся и, выглянув в окно, воскликнул:

— Господи боже, эти две мумии в качалках даже не повернулись! Сидят себе и разговаривают как

ни в чем не бывало. Они приехали сюда, чтобы экономно провести отпуск у моря, и весь американский военный флот вкупе со всеми шлюхами Европы им в этом не помешает.

Нежно обвившись вокруг Николь, он стал зубами поправлять соскользнувшую с ее плеча бретельку, но тут что-то оглушительно бухнуло за окном — это крейсер сзывал своих матросов на борт.

И сразу же внизу началась невообразимая кутерьма — никто ведь не знал, куда, к каким берегам держит курс отплывающий корабль. Бесстрастные голоса официантов, требующих расчета, смешивались с бранью и возмущенными выкриками; шелестела бумага слишком крупных счетов, и звенели монеты слишком мелкой сдачи; кого-то, кто уже не держался на ногах, волокли к шлюпкам товарищи — и весь шум перекрывали отрывистые команды чинов военно-морской полиции. Наконец, под крик, плач, просьбы и обещания, отчалила от берега первая шлюпка, и вслед ей понеслись прощальные вопли столпившихся на пристани женщин.

Вдруг какая-то девушка ворвалась на нижний балкон и, подскочив к перилам, яростно замахала белой ресторанной салфеткой. Томми даже не

успел разобрать, нарушило ли это вторжение невозмутимую безмятежность англичанок в качалках — почти в ту же минуту кто-то застучал в их собственную дверь. Взволнованные женские голоса умоляли отворить; Николь кивнула, и Томми повернул ключ в замке. За дверью стояли две девушки, два растрепанных заморыша в нелепых кричащих платьях. Одна из них плакала навзрыд.

— Пустите нас помахать с вашего балкона! — взмолилась вторая, с сильным американским акцентом. — Пожалуйста, пустите! Помахать дружкам на прощанье! Пустите, пожалуйста! Другие комнаты все заперты!

— Сделайте одолжение, — любезно сказал Томми.

Девушки метнулись к балкону и сейчас же на фоне общего гула зазвенели два пронзительных дисканта:

— Чарли, Чарли! Оглянись, Чарли!

— Пиши в Ниццу до востребования!

— Чарли! Не видит он меня!

Одна из девиц вдруг задрала юбку, стащила с себя розовые трусики и, рванув их по шву, отчаянно замахала этим импровизированным флагом, крича: «Бен! Бен!» Когда Николь и Томми

выходили из комнаты, он все еще трепыхался в синеве неба, нежно-розовый лоскут, точно кусочек живого тела, — а на корме крейсера торжествующим соперником всползал на мачту государственный флаг Соединенных Штатов.

Обедали в Монте-Карло, в новом приморском казино… а поздно вечером, остановившись в Болье, купались в воронке белого лунного света, образованной полукольцом скал над чашей фосфоресцирующей воды, напротив Монако и маячащей в дымке Ментоны. Николь нравилось, что Томми привез ее в это обращенное к востоку местечко; все здесь, начиная с игры ветра и волн, было непривычным и новым, как сами они друг для друга. Она чувствовала себя пленницей из средневекового Дамаска, которую похититель взвалил поперек седла и умчал в далекую пустыню. Все, чему ее в жизни научил Дик, в короткое время оказалось забытым; она почти возвратилась в первобытное состояние — Женщина, за которую в мире скрещиваются мечи, — и, расслабленная любовью и луной, радовалась необузданности своего любовника.

Они пробудились в одну и ту же минуту. Луна уже зашла, и было прохладно. С усилием поднявшись на ноги, Николь спросила, который час.

Томми сказал, что около трех.

— Мне пора домой.

— Я думал, мы заночуем в Монте-Карло.

— Нет. Дома гувернантка и дети. Я должна вернуться до рассвета.

— Как хочешь.

На прощанье решили еще разок окунуться. Увидев, что Николь, выйдя из воды, вся дрожит, Томми крепко растер ее полотенцем. Они уселись в машину с еще мокрыми волосами, с разгоревшейся после купанья кожей. Им очень не хотелось уезжать. Было совсем светло, и, когда Томми целовал ее, она чувствовала, что для него сейчас не существует ничего, кроме ее бледных щек, и белых зубов, и прохладного лба, и ее пальцев, тихонько скользивших по его лицу. Она ждала какого-то разговора, каких-то словесных дополнений или толкований, как это бывало с Диком, но он молчал. И, поняв, сонно и радостно, что разговора не будет, она поудобней устроилась на сиденье и мирно продремала до тех пор, пока изменившийся тембр урчанья мотора не сказал ей, что они уже поднимаются к вилле «Диана». Прощаясь с Томми у ворот, она поцеловала его почти машинально. По-новому зашуршал гравий дорожки под ногами, чем-то давно ушедшим в

прошлое показались звуки ночного сада — и все же она была рада вновь оказаться дома. Стремительное стаккато, в котором прошел этот день, потребовало хоть и приятного, но непривычного для нее напряжения сил.

IX

На следующий день, ровно в четыре часа, у ворот виллы остановилось такси, и из него вышел Дик. Николь сбежала с террасы ему навстречу, силясь вернуть себе внезапно утраченное равновесие.

— А где же машина? — спросила она.

— Оставил в Арле. Надоело сидеть за рулем.

— Из твоей записки я поняла, что ты уезжаешь на несколько дней.

— Я попал в полосу мистраля и дождя.

— Но ты доволен поездкой?

— Как всякий, кто едет, чтобы от чего-то убежать. Я отвез Розмэри в Авиньон и там посадил на поезд. — Взойдя вместе с Николь на террасу, он поставил свой чемодан. — Я не упомянул об этом в записке, чтобы ты не нафантазировала себе бог весть чего.

— Благодарю за заботу. — Николь уже вновь

обрела почву под ногами.

— Мне хотелось узнать, можно ли от нее ждать чего-то, а для этого нужно было побыть с ней наедине.

— Ну и как — можно или нельзя?

— Розмэри так и не стала взрослой, — ответил он. — Вероятно, это к лучшему. А ты что делала?

Она почувствовала, что у нее по-кроличьи задергался кончик носа.

— Вчера вечером ездила потанцевать — с Томми Барбаном. Мы отправились…

Поморщившись, он перебил ее:

— Пожалуйста, не рассказывай. Ты вольна делать, что тебе угодно, только я не хочу знать об этом.

— А тут и знать не о чем.

— Хорошо, хорошо. — И он спросил так, как будто отсутствовал неделю: — Что дети, здоровы?

В доме зазвонил телефон.

— Если меня, скажи, что меня нет дома. — Дик торопливо повернулся к выходу. — Мне нужно кое-чем заняться у себя.

Николь подождала, пока он не скрылся за поворотом аллеи, ведущей к флигельку, потом вошла в дом и сняла телефонную трубку.

— Николь, comment vas-tu?[131]

— Дик вернулся.

В трубке послышался не то стон, не то рычание.

— Давай встретимся в Канне. Нам нужно поговорить.

— Не могу.

— Скажи, что ты меня любишь. — Она молча кивнула в телефон. Томми повторил: — Скажи, что ты меня любишь.

— Да, да. Но сейчас это невозможно.

— Почему невозможно? — нетерпеливо возразил он. — Дик ведь знает, что все между вами кончено, — он сам отступился, это ясно. Чего же он еще может требовать от тебя?

— Не знаю. Ничего не знаю, пока… — Она чуть не сказала: «пока не спрошу Дика», но вовремя спохватилась и оставила фразу незаконченной. — Я тебе завтра напишу или позвоню.

Она бродила вокруг дома, довольная собой, почти гордясь тем, что сделала. Ее тешило сознание своей вины; куда лучше, чем охотиться на дичь, запертую в загоне. Вчерашний день оживал перед ней в десятках мелких подробностей, и

---

[131] notes: 131
Как ты там? *(фр.)*

эти подробности вытесняли из памяти другие, относившиеся к ранней, лучшей поре ее любви к Дику. Уже она чуть пренебрежительно оглядывалась на ушедшее чувство; уже ей казалось, что с самого начала это была больше сентиментальная привязанность, чем любовь. Неверная женская память быстро растеряла счастье тех недель перед свадьбой, когда они с Диком тайно принадлежали друг другу то в одном, то в другом закоулке мира. Вчера она без надобности лгала Томми, клянясь, что никогда не испытывала такого полного, такого безоглядного, такого совершенного…

…потом миг раскаяния в этом предательстве, услужливо зачеркнувшем десять прожитых лет, заставил ее повернуть к домику Дика.

Он сидел в шезлонге под нависшей скалой позади домика и не слышал ее шагов. С минуту она молча наблюдала за ним издали. Он глубоко ушел в свои думы, в свой отгороженный от всего мир, и по легким переменам в его лице, по тому, как он приподнимал или нахмуривал брови, округлял или щурил глаза, сжимал или распускал губы, по беспокойным движениям его рук она угадывала, что он шаг за шагом пересматривает всю свою жизнь — свою, отдельную от ее жизни. Раз он,

стиснув кулаки, с угрозой подался вперед; в другой раз его лицо исказила гримаса муки — тень ее так и осталась в застывшем взгляде. Едва ли не впервые в жизни Николь сделалось жаль его; тем, кто пережил душевный недуг, нелегко испытывать жалость к здоровым людям, и хотя на словах Николь высоко ценила тот труд, которого ему стоило вернуть ее в ускользнувший от нее мир, она привыкла считать, что его энергия неистощима и усталости для него не существует. О том, что он из-за нее вынес, она позабыла, как только смогла забыть о том, что вынесла сама. Знал ли он, что власть его над ней кончилась? Хотел ли он этого? Она о том не думала, она просто жалела его, как когда-то жалела Эйба в его недостойной судьбе, как жалеют беспомощных стариков и детей.

Подойдя ближе, она обняла его за плечи, прижалась виском к его виску и сказала:

— Не надо грустить.

Он холодно глянул на нее.

— Не трогай меня!

Растерявшись от неожиданности, она отступила назад.

— Извини, — сказал он рассеянно. — Я как раз думал о тебе — о том, что́ я о тебе думаю…

— Можешь пополнить этими размышлениями

свою книгу.

— Пожалуй, стоит… «Помимо всех перечисленных психозов и неврозов…»

— Дик, я пришла сюда не для того, чтобы ссориться.

— А для чего ты сюда пришла? Я больше ничего не могу тебе дать. Я теперь стараюсь только спасти самого себя.

— Боишься от меня заразиться?

— Моя профессия часто не оставляет мне возможности выбора.

Она заплакала от обиды и гнева.

— Ты трус! Ты сам виноват, что твоя жизнь не удалась, а хочешь свалить вину на меня.

Он не ответил, но она уже почуяла знакомое гипнотическое воздействие его разума, подчас невольное, но всегда опиравшееся на сложный субстрат истины, который она не в силах была пробить или хотя бы расколоть. И она вступила в борьбу; она боролась с ним взглядом своих небольших, но прекрасных глаз и своей непревзойденной надменностью существа высшей касты, боролась новизной своей близости с другим и обидой, накопившейся за долгие годы; боролась своими деньгами и своею уверенностью в поддержке сестры, недолюбливавшей его с са-

мого начала, и сознанием того, как много врагов нажила ему появившаяся в нем непримиримость к людям, и вероломной издевкой над его былым хлебосольством; она противопоставляла свою красоту и здоровье упадку его физических сил и свою беспринципность его нравственным принципам — даже собственные слабости служили ей оружием в этой борьбе, — она храбро дралась, пуская в ход пустые банки и склянки, ненужные уже хранилища ныне искупленных грехов, проступков и заблуждений. За какие-нибудь две минуты она одержала победу, сумела оправдать себя перед собой, не прибегая ни ко лжи, ни к уверткам. И тогда она повернулась и нетвердым шагом, еще вздрагивая от иссякающих слез, пошла назад, к дому, наконец ставшему *ее* домом.

А Дик подождал, когда она скроется из виду, и, наклонясь вперед, положил голову на парапет. Больная выздоровела. Доктор Дайвер получил свободу.

X

Около двух часов ночи Николь разбудил телефонный звонок, и она услышала, как Дик ответил с дивана в соседней комнате, звавшегося у них

«ложем пыток».

— Oui, oui… mais a qui est-ce que je parle?.. Oui…[132] — У него сразу сон прошел от удивления. — А нельзя ли мне поговорить с одной из этих дам, господин офицер? Имейте в виду, обе они — весьма высокопоставленные особы, так что могут возникнуть серьезные политические осложнения… Да, да, уверяю вас… Что ж, будете пенять на себя…

Он встал, стараясь разобраться в услышанном, но уже внутренне понимая, что возьмет на себя все уладить, — былое обаяние, злосчастная способность привораживать людей вновь всколыхнулись в нем, взывая: «Используй меня!» И сейчас он отправится распутывать недоразумение, до которого ему нет никакого дела, только в силу привычной потребности быть любимым, возникшей давным-давно, быть может, с той самой минуты, когда он почувствовал себя последней надеждой вырождающегося клана. При сходных обстоятельствах, в клинике Домлера на Цюрихском озере, осознав свою силу, он сделал выбор — выбрал Офелию, выбрал сладкий яд и выпил его. Всегда желавший прежде всего быть

---

[132] notes: 132
Да, да… А с кем я говорю?.. Да… *(фр.)*

смелым и добрым, он еще больше захотел быть любимым. Так оно было. И так будет всегда, подумал он, давая отбой — телефон был старомодного образца.

После долгого молчания Николь окликнула:

— Что случилось? Кто это звонил?

Дик уже одевался.

— Начальник полиции из Антиба — там арестовали Мэри Норт и эту Сибли-Бирс. Что-то они натворили серьезное, а что именно, он не сказал, только твердил: «Pas de mortes — pas d'automobiles»[133] — зато, кроме этого, видимо, все, что только возможно.

— Но с какой стати звонить *тебе*? Ничего не понимаю.

— Они требуют, чтобы их отпустили на поруки, а поручителем может быть только лицо, имеющее собственность в Приморских Альпах.

— Просто нахальство!

— Ничего, я поеду. На всякий случай прихвачу еще Госса…

После его ухода Николь долго ворочалась на постели, гадая, что такое могли выкинуть эти две дамы. В конце концов она все же уснула; но когда

---

[133] notes: 133
Никто не убит, никто не разбился в автомобиле *(фр.)*.

Дик вернулся — уже в четвертом часу, — сразу вскочила как встрепанная и крикнула, словно обращаясь к кому-то, виденному во сне:

— Ну что там?

— Бредовая история… — Дик присел в ногах кровати и стал рассказывать все по порядку: как он с трудом растолкал Госса, спавшего молодецким эльзасским сном, велел ему выгрести всю наличность из кассы и вместе с ним покатил в полицейский участок.

— Не желаю я ничего делать для этой англичанки, — ворчал по дороге Госс.

Мэри Норт и леди Кэролайн, обе в форме французских матросов, томились на скамейке у входа в грязную тесную камеру. На лице у леди Кэролайн читалось оскорбленное достоинство дочери Альбиона, ожидавшей, что весь средиземноморский британский флот немедленно поспешит к ней на выручку. Мэри Мингетти была в полной панике и растерянности — завидев Дика, она бросилась к нему на грудь или, точнее, на живот, словно это было самое надежное место в данную минуту, и стала умолять его как-нибудь все устроить. В это время начальник полиции излагал Госсу обстоятельства дела, а тот неохотно слушал, колеблясь между необходимостью

должным образом оценить повествовательный дар рассказчика и желанием показать, что его, бывалого служаку, ничем не удивишь.

— Это была обыкновенная шутка, — презрительно поджимая губы, сказала леди Кэролайн. — Мы решили разыграть роль матросов, получивших увольнительную на берег, и две дуры девчонки поверили и пошли с нами в меблированные комнаты. А потом испугались и подняли целый скандал.

Дик слушал, не поднимая глаз, и только важно кивал, как священник в полутьме исповедальни. Он едва удерживал смех, но в то же время боролся с желанием всыпать обеим шутницам по полсотни горячих и посадить их недельки на две на хлеб и воду. Он просто терялся перед написанной на лице леди Кэролайн безмятежной уверенностью, что ничего особенного не произошло, а если и произошло, то лишь из-за трусости глупых прованских девчонок и тупости полиции; впрочем, Дик давно уже пришел к мысли, что известная категория англичан вспоена столь насыщенным экстрактом антисоциальности, что все уродства Нью-Йорка по сравнению с этим кажутся нездоровьем ребенка, объевшегося мороженым.

— Я должна отсюда выбраться, пока Гуссейн

ничего не узнал, — плакалась Мэри. — Дик, ради бога, уладьте это как-нибудь — вы же всегда все умели улаживать. Скажите им, что мы сейчас же уедем отсюда, скажите, что мы готовы заплатить любые деньги.

— Я ничего платить не буду, — надменно возразила леди Кэролайн. — Ни шиллинга. И позабочусь как можно скорее довести эту историю до сведения консульства в Канне.

— Нет, нет! — воскликнула Мэри. — Главное — это выбраться отсюда!

— Ладно, попробую с ними договориться, — сказал Дик и тут же добавил: — Но конечно, без денег ничего не выйдет. — Глядя так, словно перед ним и в самом деле были две наивные шалуньи, чего он вовсе не думал, он покачал головой: — Взбредет же в голову этакое сумасбродство!

Леди Кэролайн благодушно улыбнулась:

— Ваша специальность — лечить сумасшедших, не так ли? Значит, вы можете нам помочь, а Госс, тот просто *обязан.*

Дик отошел с Госсом в сторонку, узнать, что ему говорил полицейский чиновник. Дело выглядело серьезнее, чем казалось вначале. Одна из замешанных девушек была из добропорядочной семьи. Родители негодовали или делали вид,

что негодуют; с ними нужно было достигнуть какого-то соглашения. Вторая была обыкновенная портовая девка, тут все обстояло проще. Но так или иначе, если бы дошло до суда, то, по французским законам, леди Кэролайн и Мэри грозило тюремное заключение или в лучшем случае высылка за пределы страны. Положение еще осложнялось тем, что местные жители поразному относились к приезжим иностранцам; одни наживались на них и потому были настроены снисходительно, другие роптали, видя в них виновников растущей дороговизны. Госс изложил Дику все эти соображения. Дик выслушал и приступил к дипломатическим переговорам с начальником полиции.

— Вам должно быть известно, что французское правительство заинтересовано в притоке туристов из Америки — настолько, что этим летом издан даже специальный указ, запрещающий арестовывать американцев, кроме как в особо серьезных случаях.

— Ну знаете ли, тут случай достаточно серьезный.

— Но позвольте — вы видели их документы?

— Не было у них документов. Ничего у них не было, кроме двух сотен франков да нескольких

колец. Не было даже шнурков для обуви, на которых они могли бы повеситься!

Успокоенный тем, что никакие документы в деле не фигурируют, Дик продолжал:

— Итальянская графиня сохранила американское подданство. Она родная внучка, — он с важным видом нанизывал ложь на ложь, — Джона Д. Рокфеллера Меллона. Надеюсь, вы слышали это имя?

— Ну еще бы, господи боже мой. За кого вы меня принимаете?

— Кроме того, она племянница лорда Генри Форда и через него связана с компаниями Рено и Ситроена… — Он было решил, что пора остановиться, но, видя эффект, произведенный его апломбом, не утерпел и добавил: — Арестовать ее все равно что в Англии арестовать особу, принадлежащую к королевской фамилии. Тут возможны самые серьезные последствия, вплоть до войны!

— Хорошо, но все это не касается англичанки.

— Сейчас и до нее дойду. Эта англичанка помолвлена с братом принца Уэльского — герцогом Букингемом.

— От души поздравляю его с такой невестой.

— Словом, вот что. Мы готовы уплатить… — Дик быстро подсчитал в уме, — по тысяче франков

каждой из девушек, и одну тысячу отцу «добропорядочной». Кроме того, еще две тысячи — на ваше личное усмотрение. — Дик выразительно пожал плечами. — Ну, там для полицейских, производивших арест, для содержателя меблированных комнат и так далее. Итак, я сейчас вручу вам пять тысяч франков и попрошу распорядиться ими, как сказано. После этого, я полагаю, обе дамы могут быть отпущены на поруки, а завтра, как только будет определена сумма причитающегося с них штрафа, скажем, за нарушение порядка, мы через посланного внесем эту сумму мировому судье.

По выражению лица чиновника ясно было, что можно считать дело выигранным. Слегка помявшись, он сказал Дику:

— Поскольку они без документов, я их не регистрировал. Давайте деньги, я посмотрю, что тут можно сделать.

Час спустя Дик и monsieur Госс подвезли виновниц происшествия к отелю «Мажестик». У подъезда стоял автомобиль леди Кэролайн; шофер спал на сиденье.

— Не забудьте, что вы должны monsieur Госсу по сто долларов каждая, — сказал Дик.

— Да, да, конечно, — подхватила Мэри. — Я зав-

тра же пришлю чек на эту сумму и еще кое-что добавлю.

— А я и не подумаю! — к общему изумлению, объявила леди Кэролайн. Она уже оправилась от недолгой растерянности и кипела праведным гневом. — Все это просто возмутительно. Я не уполномочивала вас давать этим людям сто долларов.

Толстячок Госс, стоявший у дверцы автомобиля, вдруг свирепо засверкал глазами.

— Вы не хотите мне платить?

— Она заплатит, заплатит, — сказал Дик.

Но в Госсе вдруг взыграла память о тех обидах, которых он натерпелся в юности, когда мыл посуду в лондонских ресторанах, и он грозно надвинулся на леди Кэролайн.

Для начала он дал по ней залп обличительных эпитетов, но она с ледяным смешком повернулась к нему спиной. И тогда, проворно шагнув вперед, он всадил свою ножку в прелестнейшую из всех мишеней, доступных человеческому воображению. От неожиданности леди Кэролайн вскинула руки, точно подстреленная, качнулась вперед — и стройное тело в матросской одежде распласталось на тротуаре.

— Мэри! — перекрывая ее яростный визг, крик-

нул Дик. — Уймите ее, не то вы обе через десять минут очутитесь в каталажке.

На обратном пути старый Госс упорно хранил молчание; и только когда они миновали казино в Жуан-ле-Пен, еще захлебывавшееся кашлем и рыданьями джаза, он перевел дух и сказал:

— Я никогда не встречал таких женщин, как эти женщины. Я знавал самых знаменитых куртизанок и ко многим из них относился с уважением, но таких женщин, как эти женщины, я не встречал никогда.

XI

У Дика и Николь была привычка вместе ездить в парикмахерскую и совершать куаферский ритуал в смежных помещениях. Николь нравилось слушать, как в мужском зале рядом лязгают ножницы, звенит отсчитываемая сдача и раздаются бесконечные «Voilà!» и «Pardon!». На следующий день после возвращения Дика они тоже отправились в Канн, чтобы подстричься, вымыть волосы и высушить их под душистым ветерком фена.

Перед окнами отеля «Карлтон», не желавшими замечать лета, точно это были не окна, а ряд ведущих в погреб дверей, проехала машина. В машине

сидел Томми Барбан. Он казался озабоченным и мрачным, но, увидев Николь, встрепенулся, и глаза у него заблестели. Эта мгновенная перемена не укрылась от Николь и растревожила ее. Ей захотелось быть с ним вместе в этой машине, ехать туда, куда ехал он. Час в парикмахерском кресле показался ей одной из тех томительных пауз, которые составляли ее жизнь, тюремным заключением в миниатюре. Парикмахерша в белом халате, пахнущая одеколоном и подтаявшей губной помадой, вызвала в памяти бесконечную череду медицинских сестер.

В соседнем зале Дик дремал, укутанный пеньюаром, с мыльной пеной на подбородке и щеках. Глядя в зеркало, в которое видна была часть прохода между мужским залом и женским, Николь неожиданно вздрогнула: в проходе появился Томми и стремительно нырнул в мужской зал. Она порозовела от радостного волнения, предвидя крутой разговор.

Должно быть, разговор этот завязался сразу же, обрывки стали долетать до нее.

— Мне нужно поговорить с вами.

— …серьезное?

— …серьезное.

— …лучше всего.

Через минуту Дик подошел к Николь, недовольно вытирая полотенцем наспех сполоснутое лицо.

— Твой приятель что-то в большом запале. Желает срочно поговорить с нами обоими, и я согласился, чтобы поскорей отвязаться от него. Идем!

— Но я не кончила стричься.

— Потом дострижешься. Идем!

Не без досады Николь попросила удивленную парикмахершу снять с нее пеньюар и, чувствуя себя лохматой и неприбранной, пошла за Диком к выходу из отеля. Томми, ждавший на улице, склонился к ее руке.

— Пойдем в «Café des Alliés», — сказал Дик.

— В любое место, где никто нам не помешает, — ответил Томми.

Когда они сели под сводом деревьев — лучшее убежище летом, — Дик спросил:

— Будешь что-нибудь пить, Николь?

— Только citron pressé.[134]

— Мне — un demi,[135] — сказал Томми.

— «Блек-энд-Уайт» и сифон с водой, — сказал

---

[134] notes: 134
Лимонный сок *(фр.)*.

[135] notes: 135
Кружку пива *(фр.)*.

Дик.

— Il n'y a pas de «Blackenwite». Nous n'avons que le «Johnny Walkair».

— Ça va.[136]

Пусть патефон
Не заведен,
Но как сквозь сон
Играет он.

— Ваша жена вас не любит, — сказал вдруг Томми. — Она любит меня.

Они посмотрели друг на друга с поразительным отсутствием всякого выражения. В такой ситуации общение двух мужчин почти невозможно, потому что между ними существует лишь косвенная связь, определяющаяся тем, в какой мере принадлежит каждому из них замешанная в этой ситуации женщина; все их чувства проходят через ее раздвоившееся существо, как через неисправный коммутатор.

— Одну минуту, — сказал Дик. — Donnez-moi du gin et du siphon.

---

[136] notes: 136

— «Блек-энд-Уайт» у нас нет. Есть только «Джонни Уокер».
— Ладно *(фр.)*.

— Bien, monsieur.[137]

— Продолжайте, Томми, я слушаю.

— Совершенно ясно, что ваш брак с Николь исчерпал себя. Вы больше не нужны ей. Я пять лет ждал, когда это случится.

— А что скажет Николь?

Оба повернулись к ней.

— Я очень привязалась к Томми, Дик.

Он молча кивнул.

— Ты больше не любишь меня, — продолжала она. — Осталась только привычка. После Розмэри уже никогда не было так, как раньше.

Такой поворот не устраивал Томми, и он поспешил вмешаться:

— Вы не понимаете Николь. Оттого что она когда-то болела, вы обращаетесь с ней всю жизнь как с больной.

Тут их разговор был прерван каким-то потрепанным американцем, назойливо предлагавшим свежие номера «Геральд» и «Нью-Йорк таймс».

— Берите, братцы, не пожалеете. Вы что, давно здесь?

---

[137] notes: 137

— Принесите мне джину и сифон.

— Хорошо, месье *(фр.)*.

— Cessez cela! Allez-vous-en![138] — прикрикнул на него Томми и, повернувшись к Дику, продолжал: — Ни одна женщина не потерпела бы такого…

— Братцы! — перебил опять американец с газетами. — Ну пусть я, по-вашему, зря теряю время — зато другие не теряют. — Он вытащил из кошелька пожелтевшую газетную вырезку, которая Дику показалась знакомой. Это была карикатура, изображавшая нескончаемый поток американцев, сходящих на французский берег с мешками золота в руках. — Думаете, я тут не урву свой кусочек? А вот посмотрим. Я специально приехал из Ниццы ради велогонки Tour de France.

Только когда Томми свирепым «allez-vous-en» отогнал этого человека от их столика, Дик вспомнил, где он его видел.

Это был тот самый, что однажды, пять лет тому назад, пристал к нему на Rue de Saintes Anges в Париже.

— А когда Tour de France ожидается здесь? — крикнул Дик ему вслед.

— С минуты на минуту, братец.

---

[138] notes: 138
— Отстаньте! Проваливайте отсюда! *(фр.)*

Он наконец исчез, весело помахав им на прощанье, а Томми возобновил прерванный разговор.

— Elle doit avoir plus avec moi qu'avec vous.[139]

— Говорите по-английски! Что это означает — doit avoir?

— Doit avoir — она будет со мной счастливее, чем с вами.

— Еще бы — прелесть новизны. Но мы с Николь бывали очень счастливы, Томми.

— L'amour de famille,[140] — презрительно усмехнулся Томми.

— А если Николь станет вашей женой, разве это не будет тоже семейное счастье? — Шум на улице не дал Дику продолжать. Этот шум, нарастая, заполнил всю набережную, вдоль которой густела толпа неизвестно откуда вынырнувших зевак.

Неслись мимо мальчишки на велосипедах, ехали автомобили, битком набитые разукрашенными спортсменами, трубили трубы, возвещая приближение велогонки, в дверях ресторанов теснились непохожие на себя без фартуков повара — и вот наконец из-за поворота показался первый гонщик в красной фуфайке. Он катил

---

[139] notes: 139
Она должна получить от меня больше, чем получала от вас *(фр.)*.

[140] notes: 140
Семейное счастье *(фр.)*.

один, деловито и уверенно работая педалями под нестройный гам приветственных выкриков. За ним из закатного зарева выехало еще трое — три линялых арлекина с ногами, покрытыми желтой коркой пыли и пота, с отупевшими лицами и тяжелым взглядом бесконечно усталых глаз.

Томми, встав перед Диком, говорил:

— Николь, вероятно, захочет получить развод, надеюсь, вы не вздумаете чинить препятствия?

После первых гонщиков появилось целых полсотни, растянувшиеся на двести ярдов; одни застенчиво улыбались, другие явно напрягали последние силы, у большинства же были написаны на лице усталость и равнодушие. Арьергард составляла группа мальчуганов, потом проехали несколько безнадежно отставших одиночек и, наконец, грузовик с жертвами аварий или малодушия.

Они вернулись к своему столику. Николь ждала, что Дик теперь перехватит инициативу, но он спокойно сидел, обратив к ним недобритое лицо, гармонировавшее с ее недостриженными волосами.

— Ведь ты и в самом деле давно уже не счастлив со мной, — заговорила Николь. — Без меня ты сможешь вернуться к своей работе — и тебе

гораздо легче будет работать, когда ты не должен будешь беспокоиться обо мне.

Томми сделал нетерпеливое движение.

— К чему лишние разговоры? Мы с Николь любим друг друга, этим все сказано.

— Ну что ж, — сказал доктор Дайвер, — раз мы уже выяснили все, не пойти ли нам обратно в парикмахерскую?

Но Томми хотел ссоры.

— Есть некоторые подробности…

— О подробностях мы с Николь договоримся, — сказал Дик. — Не тревожьтесь — в принципе я согласен, и нам с Николь нетрудно будет найти общий язык. Будет меньше неприятных ощущений, если мы не станем все обсуждать треугольником.

Томми не мог не согласиться, что Дик прав, но его природа требовала, чтобы последнее слово осталось за ним.

— Прошу вас помнить, — сказал он, — что с этой минуты и впредь до окончательного урегулирования вопроса Николь находится под моей защитой. И вы мне ответите за любую попытку злоупотребить тем, что вы с ней пока живете под одним кровом.

— Я никогда не был охотником до любви

всухую, — сказал Дик.

Он слегка поклонился и пошел в сторону отеля «Карлтон». Николь задумчиво смотрела ему вслед.

— Он, в общем, держался прилично, — снисходительно признал Томми. — Дорогая, мы вечером встретимся?

— Вероятно.

Итак, свершилось — и без особых трагедий. У Николь было чувство, будто ее немного перехитрили: она поняла, что Дик с самого эпизода с камфорной мазью ждал того, что произошло. И в то же время это приятно волновало ее, и нелепая мыслишка, что вот хорошо бы все рассказать Дику, быстро исчезла. Но она неотрывно следила за ним глазами, пока он не превратился в точку и не затерялся среди других точек в курортной толпе.

XII

Весь последний день перед отъездом с Ривьеры доктор Дайвер провел со своими детьми. Ему хотелось запомнить их получше, потому что он уже был не в том возрасте, когда можно на многое надеяться и о многом мечтать. Детям сказали, что зиму они будут жить в Лондоне у тетки, а потом

поедут в Америку к отцу. Fräulein оставалась при них и по условию могла быть отпущена только с согласия Дика.

Его радовало, что ему удалось так много дать своей дочке — насчет сына у него такой уверенности не было; да он никогда и не знал хорошенько, что могут взять от него эти непоседливые, неотвязчивые, ласковые сосунки. Но когда настало время прощания, ему захотелось снять с плеч эти две хорошенькие головки и, прижав их к себе, просидеть так долгие часы.

Он обнялся с садовником, разбивавшим когда-то первые цветники на вилле «Диана». Он расцеловал провансалку, ходившую за детьми. Она прожила у них почти целое десятилетие и, упав на колени, плакала навзрыд до тех пор, пока Дик не поднял ее силой и не подарил ей триста франков. Николь еще спала — так было условлено; он оставил ей записку и другую записку для Бэби Уоррен, которая гостила у них проездом из Сардинии. Потом он налил себе полный стакан бренди из десятиквартовой бутыли высотой в три фута, которую кто-то привез им в подарок.

Уже сидя в машине, он решил, что сдаст чемоданы в Канне на хранение и приедет взглянуть напоследок на старый пляж.

Когда Николь с сестрой появились на берегу, они застали там только авангард ребятишек. Белое солнце, размытое по краям белым небом, калило неподвижный воздух. В баре официанты подкладывали льду в холодильники; фотограф-американец возился со своим оборудованием на клочке тени, всякий раз вскидывая голову, когда на каменной лестнице слышались шаги. Его будущие клиенты еще спали за темными шторами, лишь недавно усыпленные зарей.

Выйдя из кабинки, Николь вдруг увидела Дика; одетый не по-пляжному, он сидел на большом камне и смотрел на пляж. Она поспешно отступила в тень за кабинкой. Минуту спустя Бэби присоединилась к ней.

— Дик все еще здесь.

— Да, я его видела.

— Я думала, у него хватит такта уехать пораньше.

— Он здесь хозяин — ведь, в сущности, он открыл это место. Госс всегда говорит, что обязан Дику решительно всем.

Бэби невозмутимо посмотрела на сестру.

— Не надо было нам его отрывать от его велосипедных экскурсий, — сказала она. — Когда людей из низов вытаскиваешь наверх, они теря-

ют голову, какими бы красивыми фразами это ни прикрывалось.

— Шесть лет Дик был мне хорошим мужем, — сказала Николь. — За все то время он ни разу не сделал мне больно и всегда старался оградить меня от любых огорчений.

У Бэби слегка выдвинулась вперед нижняя челюсть.

— Для этого он и учился.

Сестры надолго умолкли. Николь устало размышляла о том о сем; Бэби прикидывала, стоит или нет выходить за очередного претендента на ее руку и деньги, чистопородного Габсбурга. Не то чтобы она об этом думала по-настоящему. Все ее романы отличались поразительным единообразием, и по мере того, как она увядала, приобретали значение больше умозрительное, чем реальное. Ее чувства существовали главным образом как повод для разговоров о них.

— Ушел он? — спросила Николь немного погодя. — Кажется, его поезд отходит ровно в двенадцать.

Бэби выглянула из-за кабинки.

— Нет. Поднялся на террасу и разговаривает с какими-то женщинами. Но кругом уже так много народу, что он все равно не заметит нас в толпе.

Она ошибалась. Он их заметил, как только они вышли из своего укрытия, и взглядом следил за ними, пока они не исчезли снова. Он сидел за столиком с Мэри Мингетти и пил анисовый ликер.

— В тот вечер, когда вы пришли к нам на выручку, вы были совсем прежним Диком, — говорила Мэри. — Вот только под конец безобразно обошлись с Кэролайн. Почему вы не хотите всегда быть таким милым и славным? Ведь могли бы.

Дик вдруг осознал всю нелепость этого положения — Мэри Мингетти поучает его, как жить!

— Ваши друзья и сейчас вас любят, Дик. Но вы, когда выпьете, говорите людям просто немыслимые вещи. Я все лето только и делаю, что заступаюсь за вас.

— Классическая формула доктора Эллиота.

— Нет, серьезно. Никому ведь нет дела до того, пьяны вы или трезвы… — Она замялась. — Вот Эйб, сколько бы ни выпил, никогда не оскорблял людей, как это делаете вы.

— До чего же со всеми вами скучно, — сказал Дик.

— Но ведь, кроме нас, никого и нет! — воскликнула Мэри. — Если вам скучно в порядочном обществе, ступайте к тем, кто к нему не принадлежит, — посмотрим, понравится ли вам с ними!

Люди хотят одного — получать удовольствие от жизни, а если вы им это удовольствие портите, вы сами себя лишаете соков, которые вас питали.

— А были такие соки? — спросил он.

Мэри сейчас получала удовольствие, сама того не сознавая; ведь села она с ним за столик больше со страху. Решительно отказавшись от вторичного приглашения выпить, она продолжала:

— Привычка потакать своим слабостям — вот где корень зла. Могу ли я равнодушно относиться к таким вещам после Эйба — после того, как на моих глазах алкоголь сгубил хорошего человека…

По ступенькам с театральной живостью сбежала леди Кэролайн Сибли-Бирс.

Дику сделалось весело — он обогнал время и достиг уже того состояния, какое обычно достигается к концу хорошего обеда, но это пока выражалось лишь в мягком, подчеркнуто сдержанном интересе к Мэри. Его взгляд, ясный, как у ребенка, напрашивался на ее сочувствие, и в нем уже шевелилась давно забытая потребность внушать собеседнице, что он — последний живой мужчина на свете, а она — последняя женщина.

…Тогда, главное, ему не нужно будет смотреть на тех, других мужчину и женщину, чьи фигуры

с графической четкостью вырезались на фоне неба…

— Правда, ведь вы когда-то неплохо ко мне относились? — спросил он.

— Неплохо! Я была влюблена в вас. Все были в вас влюблены. Любая женщина пошла бы за вами, стоило только поманить…

— Мы с вами всегда были близки друг другу.

Она мгновенно клюнула.

— Неужели, Дик?

— Всегда. Я знал все ваши горести и видел, как мужественно вы с ними справлялись. — Его вдруг начал разбирать предательский внутренний смех, и он понял, что долго не выдержит.

— Я всегда догадывалась, что вы много знаете обо мне, — восторженно сказала Мэри. — Больше, чем кто-либо когда-либо знал. Может быть, потому я и стала бояться вас, после того как наши отношения испортились.

Его глаза улыбались ей тепло и ласково, словно говоря о невысказанном чувстве. Два взгляда встретились, слились, проникли друг в друга. Но этот смех у него внутри зазвучал так громко, что казалось, Мэри вот-вот услышит — и он выключил свет, и они снова вернулись под солнце Ривьеры.

— Мне пора, — сказал он, вставая. Его слегка пошатывало; в голове мутилось, ток крови стал медленным и тяжелым. Он поднял правую руку и с высоты террасы широким крестным знамением осенил весь пляж. Из-под нескольких зонтиков выглянули удивленные лица.

— Я пойду к нему. — Николь приподнялась на колени.

— Никуда ты не пойдешь. — Томми с силой потянул ее назад. — Довольно уже, все.

XIII

Николь переписывалась с Диком после своего нового замужества — о делах, о детях. Часто она говорила: «Я любила Дика и никогда его не забуду», на что Томми отвечал: «Ну разумеется, — зачем же его забывать».

Дик попробовал было практиковать в Буффало, но дело, видимо, не пошло. Отчего — Николь так и не удалось выяснить, но полгода спустя она узнала, что он перебрался в Батавию, маленький городок в штате Нью-Йорк, и открыл там прием по всем болезням, а немного позже — что он уехал в Локпорт. По чистой случайности о его жизни в Локпорте до нее доходили более подробные

вести: что он много разъезжает на велосипеде, что пользуется успехом у дам и что на столе у него лежит объемистая кипа исписанной бумаги, по слухам — солидный медицинский трактат, который уже близок к завершению. Его считали образцом изящных манер, и однажды на собрании, посвященном вопросам здравоохранения, он произнес отличную речь о наркотиках. Но потом у него вышли неприятности с девушкой, продавщицей из бакалейной лавки, а тут еще на него подал в суд один из его пациентов, и ему пришлось покинуть Локпорт.

После этого он уже не просил, чтобы дети приехали к нему в Америку, и ничего не ответил на письмо Николь, в котором она спрашивала, не нужно ли ему денег. В последнем своем письме он сообщал, что теперь живет и практикует в Женеве, штат Нью-Йорк, и почему-то у Николь создалось впечатление, что живет он там не один, а с кем-то, кто ведет его хозяйство. Она отыскала Женеву в географическом справочнике и узнала, что это живописный городок, расположенный в сердце Пятиозерья. Может быть, уговаривала она себя, его слава еще впереди, как было у Гранта в Галене. Уже после того пришла от него открытка с почтовым штемпелем Хорнелла, совсем крошеч-

ного городишка недалеко от Женевы; во всяком случае, ясно, что он и сейчас где-то в тех краях.

Последний магнат

Глава 1

Я выросла в мире кино, хотя в фильмах не снималась. Говорят, на день рождения ко мне, пятилетней, приходил Рудольф Валентино. Упоминаю это как штрих: киношную жизнь я наблюдала изнутри с самого раннего детства.

Когда-то я думала взяться за мемуары и назвать их «Дочь продюсера», но в восемнадцать лет голова забита другим. Да и вышли бы они не увлекательнее, чем прошлогодней давности светская хроника Лолли Парсонс. Кино для отца было таким же занятием, как для других — торговля хлопком или сталью, я принимала это спокойно. В худшем случае относилась к Голливуду, как призрак — к старому дому, в котором ему выпало обитать. Про общее мнение я знала, но упорно не желала проникаться священным ужасом.

Сказать легко, труднее втолковать это остальным. В Беннингтонском колледже, где я училась, кое-какие преподаватели-филологи, на словах безразличные к Голливуду, в душе ненавидели его лютой ненавистью, будто он угрожал их существованию. Еще раньше, в монастырской школе, милая хрупкая монахиня как-то попросила меня

добыть ей киносценарий — чтобы «рассказать на занятии об особенностях жанра», как она рассказывала об эссе или повести. Сценарий я принесла, и она, видимо, долго ломала над ним голову, однако так и не упомянула на уроке, а позже вернула мне текст с удивленно-оскорбленным видом, не обронив ни слова. Боюсь, с моим нынешним рассказом случится примерно то же.

Можно, подобно мне, принять Голливуд как есть; можно отмахнуться от него с презрением, какое мы приберегаем для всего, что неспособны вместить. Понять его тоже можно — но смутно и лишь обрывками. Людей, способных сложить в голове полную, совершенную формулу кинематографа, наберется едва ли полдюжины. И, пожалуй, для женщины единственный способ приблизиться к сути — попытаться понять одного из таких людей.

Я знала, как выглядит мир с самолета. Домой на каникулы и обратно — в школу и колледж — отец отправлял нас по воздуху. После смерти сестры я летала из колледжа уже одна, и всякий раз меня захлестывали воспоминания, я мрачнела и затихала. Порой тем же рейсом летел кто-то из голливудских знакомых, иной раз попадался приятный студент — в годы депрессии, впрочем,

не так часто. Я почти не спала в перелетах: мысли об Элинор и ощущение стремительного рывка от побережья до побережья не давали покоя — по крайней мере пока не оставались позади мелкие сиротливые аэропорты Теннесси.

В тот раз мы попали в непогоду, и с самого взлета пассажиры разделились: одни немедля устроились на ночлег, другие не думали спать вовсе. Двое таких неспящих сидели через проход от меня, и по обрывкам разговора я поняла, что они из Голливуда. Один выглядел типичным киношником — немолодой еврей, который то взрывался в бурном монологе, то, сжавшись пружиной, замирал в трагической паузе; другой же — приземистый, лет тридцати, невзрачный и бледный — явно встречался мне раньше. Может, заходил к нам по случаю, не знаю. Правда, он мог видеть меня совсем ребенком, поэтому было необидно, что он меня не узнал.

Стюардесса — яркая статная брюнетка, каких здесь традиционно предпочитают, — спросила, не хочу ли я прилечь.

— Может, дать вам аспирин? — Ее, примостившуюся на подлокотнике, раскачивало от бушующего снаружи июньского циклона. — Или нембутал?

— Нет.

— Забегалась с остальными, некогда было спросить. — Она села рядом и пристегнула нас обеих ремнем. — А может, жевательную резинку?

Вспомнив про резинку, которую уже давно устала жевать, я завернула ее в клочок журнальной страницы и бросила в самозахлопывающуюся пепельницу.

— Сразу видно воспитанных людей, — одобрительно заметила стюардесса. — Всегда сперва завернут.

Мы немного посидели в качающемся полумраке салона, слегка напоминавшего дорогой ресторан между обедом и ужином. Пассажиры просто коротали время, по большей части бесцельно. Даже стюардесса, кажется, поминутно напоминала себе, что она здесь по делу.

Мы поболтали о знакомой молоденькой актрисе, с которой она летела на запад два года назад — в самый разгар депрессии. Актриса так неотрывно глядела в иллюминатор, что стюардесса боялась, не задумает ли та выпрыгнуть. Правда, актрису, как выяснилось, страшила не бедность, а только революция.

— Я знаю, что нам с мамой делать, — доверительно шепнула она стюардессе. — Надо уехать

в Йеллоустонский заповедник и пожить там скромной жизнью, пока все не уляжется. А потом вернуться обратно. Актеров ведь не убивают, да?

Замысел меня восхитил. Перед глазами возникла прелестная сценка: актрису с мамой кормят медом добрые патриархальные мишки, а трепетные оленята приносят молоко от ланей и пасутся рядом в ожидании ночи, чтобы служить подушкой обеим беглянкам.

В ответ я рассказала о юристе и режиссере, которые в те мятежные дни поделились с отцом видами на будущее. Если армия безработных ветеранов займет Вашингтон, то юрист, припрятавший у Сакраменто лодку, собирался уйти на веслах вверх по течению, переждать пару месяцев и вернуться — «после революций юристы в цене: должен же кто-то утрясать правовую сторону дела».

Режиссер был настроен на худшее. Он держал наготове старый костюм, рубашку и ботинки — не знаю, собственные или реквизит — и проповедовал «исчезновение в толпе». Отец тогда сказал: «А руки? С первого взгляда любому ясно, что руками ты не работал. И еще у тебя спросят профсоюзную карточку». Помню, как вмиг насупившийся режиссер мрачно доедал десерт и

какими смешными и жалкими казались мне все их потуги.

— Ваш отец актер, мисс Брейди? — спросила стюардесса. — Знакомая фамилия.

При имени Брейди оба попутчика глянули в нашу сторону — искоса, типичным голливудским взглядом, словно через плечо. Потом тот, что помоложе — приземистый и бледный — отстегнул ремень безопасности и шагнул в проход рядом с нами.

— Вы Сесилия Брейди? — спросил он обличительно, будто я от него таилась. — Так я и думал! Я Уайли Уайт.

Имя было излишним, в тот же миг чей-то голос бросил: «С дороги, Уайли!» — и мужская фигура шагнула мимо него к кабине летчиков. Уайли Уайт вздрогнул и с запоздалой бравадой крикнул вдогонку:

— Я подчиняюсь лишь командиру экипажа!

Обмен любезностями, традиционный для голливудских владык и их подручных, прозвучал знакомо.

— Тише, пожалуйста, — напомнила стюардесса. — Здесь спят.

Через проход я увидела, что второй пассажир, немолодой еврей, тоже поднялся и откровенно

алчным взглядом уставился на прошедшего — вернее, уже вслед. Тот вскинул ладонь, словно на прощанье, и скрылся с глаз.

— Это младший пилот? — спросила я стюардессу.

Она отстегивала ремень, собираясь оставить меня с Уайли Уайтом.

— Нет. Это мистер Смит. У него отдельная каюта — «номер для новобрачных», только он там один. Младший пилот всегда в летной форме. — Она встала. — Пойду узнаю, будет ли посадка в Нашвилле.

— С чего вдруг? — изумился Уайли Уайт.

— В долине Миссисипи гроза.

— Нам что, сидеть тут всю ночь?..

— Если не стихнет.

Стихать не собиралось — самолет резко нырнул. Уайли Уайта швырнуло в кресло напротив, стюардессу толкнуло к кабине, еврея опрокинуло на сиденье. После досадливых ремарок — нарочито бесстрастных, какие подобают бывалым воздухоплавателям, — мы расселись, Уайли Уайт нас представил.

— Мисс Брейди — мистер Шварц. Тоже близкий друг вашего отца.

Мистер Шварц кивнул яростно, словно говоря:

«Правда. Бог свидетель, истинная правда!»

Времена, когда он мог заявить так во всеуслышанье, несомненно прошли; его чем-то сломило. Так, бывает, встречаешь приятеля, изувеченного в аварии или кулачной драке: оглядываешь его и спрашиваешь, что случилось, а он только мычит сквозь выбитые зубы и распухшие губы — и не может ничего сказать.

Физически Шварца никто не калечил: крупный персидский нос и косые тени у глаз были природными — как вздернутый, по-ирландски красный нос моего отца.

— Нашвилл! — воскликнул Уайли Уайт. — Торчать в гостинице! И до Калифорнии доберемся только завтра к вечеру, если не позже. Бог ты мой! Я ведь родился в Нашвилле.

— Наверное, приятно его снова увидеть?

— Вот уж нет! Пятнадцать лет ноги моей здесь не было. Надеюсь, и не будет.

Однако его надежды не оправдались: самолет явно летел вниз — все ниже и ниже, как Алиса в кроличью нору. Прикрывшись от света ладонью, я разглядела в окне, далеко слева, смутные огни города. Зеленая надпись «Пристегнуть ремни. Не курить» горела еще с начала грозы.

— Слыхал? — бросил из-за прохода Шварц, за-

мерший было в очередной неистовой паузе.

— Что именно? — переспросил Уайли.

— Слыхал, как он себя называет? Мистер Смит!

— А что тут такого?

— Нет-нет, ничего, — торопливо выдохнул Шварц. — Просто показалось забавно. Смит! — повторил он со смешком безрадостнее некуда. — Смит!

Ничего более сиротливого и угрюмого, чем аэропорты, свет наверняка не видывал со времен постоялых дворов для дилижансов. Старые краснокирпичные вокзалы строились прямо в поселках и городках, и сходить там, если ты не местный житель, было незачем. Аэропорты же отзывались давним прошлым — как оазисы, как стоянки на великих торговых путях. Вид пассажиров, поодиночке и парами входящих в ночное здание, неизменно собирал кучку зевак, толпящихся у поля далеко за полночь. Юнцы глазели на самолеты, осторожные взрослые недоверчиво оглядывали путников. В нас, странствующих по воздуху через весь континент, видели крезов с западного побережья, мимоходом сошедших с облаков на землю посреди Америки. Среди нас мог оказаться невероятный сюрприз — кинозвезда. Впрочем, такое бывало редко. И мне всегда

отчаянно хотелось выглядеть интереснее, чем мы есть, — о том же я мечтала на премьерах, когда зрители небрежно окидывают тебя укоряющим взглядом лишь потому, что ты не знаменитость.

На земле Уайли подал мне руку, помогая выбраться из самолета, и отношения вмиг стали приятельскими. Он взял себе за тон виться вокруг меня с ухаживаниями, я не возражала. С первой минуты в аэропорту стало ясно, что коль нас сюда забросило — то забросило вместе. (Ничего похожего на тот раз, когда я осталась без парня — когда в фермерском доме неподалеку от Беннингтона он сидел за пианино с девушкой по имени Рейна и до меня наконец дошло, что я лишняя. Гай Ломбардо по радио играл «Цилиндр» и «Щекой к щеке», Рейна помогала перенять мелодию. Клавиши трепетали как осенние листья, ее руки скользили поверх его пальцев, показывая «черный» аккорд. Я училась тогда на первом курсе.)

Шварц вошел в аэропорт вместе с нами, двигаясь как сомнамбула. Пока мы выясняли в справочной сроки задержки, он не отрывал взгляда от двери на летное поле, словно боялся, что самолет улетит без него. Потом я на несколько минут отлучилась и явно что-то пропустила: когда я вернулась в зал, мои спутники стояли

бок о бок, Уайт что-то втолковывал Шварцу, а тот выглядел совершенно раздавленным, будто его только что переехал тяжелый грузовик. На летное поле он уже не смотрел. Я застала конец реплики Уайли Уайта:

— …говорил же — не суйся. Поделом тебе.

— Я только сказал…

При моем приближении Шварц умолк. Я спросила, нет ли новостей (было полтретьего ночи).

— Как не быть, — сообщил Уайли Уайт. — Объявили, что нам тут торчать три часа, не меньше, и особо нежные уже собрались в гостиницу. А я хочу вытащить вас в «Эрмитаж», поместье Эндрю Джексона.

— Темно ведь, что там увидишь? — запротестовал Шварц.

— Ерунда, еще пару часов — и рассвет!

— Поезжайте вдвоем, — буркнул Шварц.

— Ладно. А ты в гостиницу, пока автобус не ушел. Там и он, собственной персоной. — В голосе Уайли мелькнула насмешка. — Может, повезет.

— Нет-нет, я с вами, — торопливо согласился Шварц.

Во тьме, непривычной после освещенных ночных городов, мы уселись в такси; Шварц повеселел и ободрительно потрепал меня по коленке.

— Конечно, я поеду. Должен же кто-то приглядеть за беззащитной девушкой. Давным-давно, когда я ворочал большими деньгами, у меня была дочка — писаная красавица.

Он сказал это так, будто дочка отошла кредиторам в качестве ценного имущества.

— Обзаведешься другой, — уверил его Уайли. — Все станет по-прежнему. Новый виток колеса Фортуны — и вознесешься туда, где папа Сесилии. Правда, Сесилия?

— Далеко этот ваш «Эрмитаж»? — помолчав, спросил Шварц. — За тридевять земель, у черта на куличках? На самолет не опоздаем?

— Не суетись, — отмахнулся Уайли. — Надо было прихватить для тебя стюардессу. Хороша, да? По мне — так даже очень.

Мы долго катили по открытой равнине под ясным ночным небом; рядом с дорогой изредка попадались то дерево, то домишко, то снова дерево, потом вдруг открылся плавный изгиб леса. Даже в темноте я поняла, что деревья здесь зеленые, а не оливково-пыльные, как в Калифорнии. По пути встретился негр, который гнал впереди себя трех коров; при виде нас он оттеснил их к обочине, они замычали — настоящие живые коровы с теплыми шелковистыми боками. Негр

тоже мало-помалу проступил из сумрака вживую и приблизился к машине, не сводя с нас огромных карих глаз. Уайли дал ему двадцатипятицентовик, и негр со своим «спасибо, спасибо» остался на дороге, и коровы вновь замычали во тьме, когда мы двинулись дальше.

Я вспомнила, как впервые увидела овец — сразу сотни: мы нежданно угодили в самую их гущу, въехав на заднюю площадку студии старика Леммле. Овцам, пригнанным на съемку, явно было не по себе, зато мои попутчики не умолкали:

— Роскошно!

— Ты так и задумывал, Дик?

— Ну не шикарно ли?

А тот, кого звали Дик, с видом Кортеса или Бальбоа озирал с машины серые волны овечьего руна, колышущиеся под его взглядом. Что за фильм тогда снимали — я то ли забыла, то ли вовсе не знала.

Мы ехали уже час. Позади остался ручей, который мы пересекли по старому железному мосту с гремучими досками. Начали петь петухи; у домов, вспугнутые машиной, то и дело шевелились сине-зеленые тени.

— Говорил же я, скоро рассвет, — сказал Уайли. — Я здесь родился — потомок южной голыть-

бы. Фамильный замок теперь стал сараем. У нас было четверо слуг: мой отец, мать и две сестры. Я решил, что их гильдия обойдется без меня, и отправился в Мемфис делать карьеру, которая теперь летит прямиком под откос. — Он слегка меня приобнял. — Сесилия, выходите за меня замуж, пусть мне перепадет капиталец от Брейди!

Прозвучало безобидно, я не стала отнимать головы от его плеча.

— Чем вы заняты, Сесилия? Учитесь в школе?

— В Беннингтонском колледже. На предпоследнем курсе.

— Ах, прошу прощения. Не знал. Правда, в колледжах я и не обучался. Предпоследний курс, говорите. А в «Эсквайре» пишут, что старшекурсницы и так все знают!

— И почему только все уверены, будто студентки…

— Незачем оправдываться: знание — сила.

— Послушать вас — сразу ясно: мы на пути в Голливуд. Там вечно отстают от времени.

Уайли притворно ужаснулся.

— Вы намекаете, что на восточном побережье у девушек нет личной жизни?

— В том-то и дело, что есть. Вы мне мешаете, отодвиньтесь.

— Не могу, разбужу Шварца, а он и так неделями не спал. Знаете, Сесилия, у меня однажды была интрижка с продюсерской женой. Так, мелкий романчик. На прощанье она без экивоков заявила: «Не вздумай никому рассказать, иначе вылетишь из Голливуда в два счета. У мужа куда больше власти, чему тебя!»

Досада прошла, он вновь показался мне забавным. Вскоре такси свернуло на длинную аллею, благоухающую жимолостью и нарциссами, и мы остановились у серой громады особняка Эндрю Джексона. Водитель обернулся было что-то рассказать про поместье, но Уайли, кивнув на Шварца, дал знак молчать, и мы тихонько выбрались из машины.

— В особняк сейчас не пустят, — вежливо предупредил водитель.

Мы с Уайли уселись у широких колонн лестницы.

— А что со Шварцем? — спросила я. — Кто он такой?

— К черту Шварца. Он заправлял какой-то кинокомпанией — «Ферст нэшнл»? «Парамаунт»? «Юнайтед артистс»? А теперь на мели и не у дел. Ничего, вернется. В кинематограф не возвращаются только пьяницы и дураки.

— Вы не в восторге от Голливуда, — предположила я.

— Отчего же. Конечно, в восторге. Слушайте, что за тема для разговора — у порога особняка Эндрю Джексона, да еще на рассвете!

— А мне Голливуд нравится, — не отступала я.

— Немудрено. Старательский городок в земле лотофагов. Чье изречение? Мое! Место что надо, если ты цепкий и крепкий. А я-то приехал туда из Саванны, штат Джорджия, и в первый же день угодил на светскую вечеринку. Хозяин дома поздоровался и куда-то исчез. А вокруг загляденье — бассейн, мох зеленее некуда по два доллара за дюйм, неотразимые экземпляры кошачьей породы пьют и развлекаются… И хоть бы слово от кого услыхать! Как же! Заговаривал с полудюжиной — ни один не ответил! И так целый час, потом другой. Не выдержал, вскочил с места и вылетел оттуда пулей. Кто я, где я — сам уже сомневался. Оторопь схлынула только в гостинице, когда мне отдали письмо и я прочел свое имя на конверте.

Со мной, конечно, такого не приключалось, но, перебрав в уме виденные мной вечеринки, я сочла историю правдивой. В Голливуде не сильно жалуют незнакомцев, если у них на лбу не написано, что их топор войны глубоко зарыт в

надежном месте и не обрушится на наши головы даже случайно, — иными словами, если они не знаменитости. И даже тогда им лучше держаться начеку.

— Надо быть выше этого, — солидно сказала я. — Когда вам грубят — целят не в вас, а в прежних собеседников.

— Такая мудрость — в такой хорошенькой головке!

Восточный край неба уже разгорался зарей, Уайли видел меня ясно — худощавая фигура, правильные черты лица, бездна шика и буйный зародыш мозга. Не знаю, как я выглядела тем утром, пять лет назад, — наверное, бледноватой и взъерошенной, но в юные годы, когда свято веришь, что любые приключения сулят лишь добро, меня хватило бы еще надолго — только дайте принять ванну и переодеться.

Под одобрительным взглядом Уайли я почувствовала себя польщенной — как вдруг идиллическую сценку нарушил Шварц, втершийся в нее с виноватой миной.

— Упал на железную скобу, — объяснил он, тронув край глаза.

— Как раз вовремя, мистер Шварц, — вскочил с места Уайли. — Экскурсия только начинается.

Перед вами особняк, где жил Эндрю Джексон — десятый президент Соединенных Штатов, победитель при Новом Орлеане, противник Национального банка и автор идеи раздавать должности сторонникам партии.

Шварц взглянул на меня, как на суд присяжных.

— Вот вам писатель во всей красе. Знает все, не зная ничего.

— Как так? — возмутился Уайли.

Что он сценарист, я раньше не подозревала. Сценаристы мне нравились — если их о чем спрашиваешь, они всегда ответят, — и все же принадлежность к писательскому цеху слегка умалила его в моих глазах. Писатели — строго говоря, не люди. А если наткнешься на маломальски стоящего, то в нем гнездится сразу куча разных людей, отчаянно притворяющихся одним человеком. Это как с актерами: они так трогательно пытаются не смотреть в зеркала, что даже запрокидывают голову — и неминуемо встречаются взглядом с собственным отражением в люстрах.

— Все сценаристы таковы — да, Селия? — спросил Шварц. — Никаких слов на них не хватает. И ведь я прав.

— Я это уже слышал. — Уайли медленно наливался гневом. — Послушай, Мэнни, я всегда был более дельным, чем ты! Мне раз пришлось сидеть и часами выслушивать одного мистагога, вышагивающего по комнате и изливающего фантастическую муть, из-за которой, не живи он в Калифорнии, его давно упекли бы в сумасшедший дом — и после этого он сказал, что он реалист, а я мечтатель, и любезно выставил меня за дверь поразмыслить над его словами!

Лицо Шварца будто распалось на клочки, один глаз взметнулся к небу между высокими вязами. Подняв руку, он безучастно вгрызся в заусенец на среднем пальце, следя взглядом за птицей, вьющейся над крышей дома. Когда она присела на колпак дымохода, как ворон, Шварц, не отводя от нее глаз, произнес:

— Внутрь нас не пустят, а вам обоим пора на самолет.

Еще толком не рассвело. «Эрмитаж», похожий на большую белую коробку, выглядел одиноким и пустым даже через сотню лет после того, как осиротел. Мы вернулись к такси — и только когда Шварц вдруг захлопнул за нами дверь, до нас дошло, что он не едет.

— Не полечу в Калифорнию — я так решил,

когда проснулся. Побуду здесь, таксист заберет меня позже.

— Неужто двинешь назад, на восток? — изумился Уайли. — Только потому…

— Я так решил, — слабо улыбнулся Шварц. — Когда-то я был на удивление строг и решителен, не поверишь. — Он покопался в кармане, пока водитель разогревал мотор. — Передашь записку мистеру Смиту?

— Вернуться через два часа? — спросил Шварца таксист.

— Да… конечно. С удовольствием тут поброжу.

До самого аэропорта он не шел у меня из головы, все никак не вписывался ни в раннее утро, ни в пейзаж с особняком. Выходец из дальнего гетто — рядом с суровым святилищем. Имена Мэнни Шварца и Эндрю Джексона едва втискивались в одну фразу. Блуждающий по поместью Шварц вряд ли знал, кто такой Эндрю Джексон; наверняка он решил, что раз дом сохранили нетронутым — то хозяин был праведник щедрой души, милосердный и чуткий. У обоих пределов жизни нас тянет к чему-то припасть — к материнской груди, к безмолвной святыне. К месту, где в последней агонии неприкаянности можно лечь и пустить себе пулю в лоб.

Мы, разумеется, ничего не знали еще двадцать часов. Предупредив в аэропорту старшего стюарда, что Шварц с нами не летит, мы больше о нем не вспомнили. Гроза ушла на восток Теннесси и рассеялась в горах, до взлета оставалось меньше часа. Из гостиницы привезли сонных пассажиров; я умудрилась слегка вздремнуть в зале ожидания на диванчике, больше напоминавшем пыточное орудие. Наше малодушное бегство от грозы понемногу забывалось, вновь манило вперед опасное путешествие; новая стюардесса — статная яркая брюнетка, в точности как предыдущая, только в светлом льняном костюме вместо карминно-синего, — прошла с чемоданчиком к выходу. Мы с Уайли, сидя в зале, ждали.

— Вы отдали записку мистеру Смиту? — полусонно спросила я.

— Угу.

— А кто он, этот Смит? Похоже, он испортил Шварцу поездку.

— Шварц сам виноват.

— Не люблю, когда изображают из себя паровой каток. Отец то и дело порывается раскатать меня в лепешку, я ему каждый раз советую поберечь силы для студии. — Я поразмыслила, не привираю ли. Ранним утром слова бессильны как

никогда. — Правда, ему удалось закатать меня в Беннингтон, за что я ему с тех пор благодарна.

— Вот было бы звону, случись катку Брейди столкнуться с катком Смитом…

— Мистер Смит — конкурент отца?

— Не совсем. Скорее нет. Но будь они конкурентами, я не сомневался бы, на кого ставить.

— На отца?

— Боюсь, что нет.

В такой ранний час мне было не до семейной солидарности. Пилоту стойки разговаривал со старшим стюардом и качал головой, глядя на будущего пассажира — тот, бросив в музыкальный автомат два пятицентовика, теперь пьяно валялся на скамье, борясь со сном. Первая выбранная песня, «Разлука», отгремела на весь зал, после паузы ее сменила вторая — «Утрата», такая же претенциозно-прощальная. Пилот решительно мотнул головой и шагнул к пассажиру.

— Похоже, на этот раз мы летим без тебя, приятель.

— Ч-чего?

Пьяный приподнялся и сел; помятые черты хранили отчетливую привлекательность, и мне стало его жаль, даже несмотря на надрывный выбор песен.

— Возвращайся в гостиницу и выспись. Полетишь вечерним рейсом.

— Только на взле-е-ет…

— В другой раз, приятель.

От досады пьяный свалился со скамьи — а из репродуктора, заглушая музыку, уже неслось объявление: нас, добропорядочных пассажиров, звали на посадку. В проходе самолета я наткнулась на Монро Стара и едва устояла на ногах, готовая тут же рухнуть в его объятия. За таким, как он, немедля пошла бы любая, не дожидаясь, поманят ее или нет. Меня он манить и не думал, но относился дружески и поэтому присел теперь напротив, пока самолет готовили к взлету.

— Давайте со всеми сговоримся и потребуем деньги обратно, — предложил он. Темные глаза видели меня насквозь; я попыталась представить, как он смотрел бы, случись ему полюбить. Взгляд был мягким, отчужденным, порой слегка укоряющим — и всегда недосягаемым. Не вина этих глаз, что им открывалось так много. Их хозяин при случае легко входил в роль «обычного парня», хотя ему не так уж часто удавалось смешаться с толпой. Впрочем, он умел и молчать, и уходить в тень, и слушать. Со своего места (всегда казалось, что с высоты, хотя ростом он был неве-

лик) он оглядывал многосложную жизнь своего мира, как горделивый юный пастырь, не различающий дня и ночи. Он родился бессонным, без способности и желания отдыхать.

Мы посидели в необременительном молчании — я знала Стара с тех пор, как он стал партнером отца лет двенадцать назад: мне тогда было семь, ему двадцать два. Через проход сидел Уайли, и я подумала, не представить ли их друг другу, однако Стар так отрешенно вертел на пальце перстень, что я почувствовала себя совсем юной и невидимой — и промолчала. Если не находилось достойной темы для разговора, я не осмеливалась взглянуть ему прямо в лицо, не осмеливалась и отвести глаза — знаю, что с ним так вели себя многие.

— Перстень будет ваш, Сесилия.

— Прошу прощения. Я не собиралась…

— У меня таких полдюжины.

Стар вручил мне перстень с золотым самородком и крупной выпуклой буквой S; я как раз дивилась, насколько массивное кольцо не идет к его пальцам — таким же изящным и тонким, как вся фигура и узкое лицо с изогнутыми бровями под шапкой черных волнистых волос. Несмотря на хрупкость облика, он был боец; давний

приятель Стара, знавший его еще главарем подростковой банды в Бронксе, рассказывал мне, как этот худенький парнишка, бывало, вышагивал впереди своей шайки, мимоходом бросая скупые приказы.

Стар накрыл рукой мои пальцы, заставив меня сжать перстень, и повернулся к Уайли.

— Пошли в каюту для новобрачных. До встречи, Сесилия.

Я успела расслышать, как Уайли на ходу спросил: «Вы прочли записку Шварца?» — и Стар ответил: «Пока нет».

До меня все доходит слишком долго — я лишь в тот миг поняла, что Стар и есть мистер Смит.

Позже Уайли мне рассказал, что было в записке. Нацарапанные при свете фар буквы читались с трудом.

> «Дорогой Монро,
>
> Вы лучший из всех восхищаюсь Вашим умом и если Вы против знаю что толку не будет! Я никуда не гожусь и дальше не полечу предупреждаю снова и снова берегитесь! Я знаю.

Ваш друг

Мэнни».

Стар дважды перечел письмо и потер утреннюю щетину на подбородке.

— Неврастеник. Все равно ничего не поделать. Жаль, я круто с ним обошелся — но не терплю, когда навязываются и говорят, что это для моего же блага.

— Может, так и есть, — заметил Уайли.

— Дешевый прием.

— Я бы купился, — сказал Уайли. — Тщеславен как женщина: когда ко мне выказывают интерес, напрашиваюсь на большее. Обожаю получать советы.

Стар с отвращением покачал головой.

— Вы ведь иногда падки на лесть, — продолжал дразнить его Уайли — один из немногих, кому это сходило с рук. — Комплекс Наполеона и все такое.

— Не выношу. А когда суются с помощью — еще хуже.

— Если вам так ненавистны советы, то мне-то вы зачем платите?

— Ради выгоды, — ответил Стар. — Я делец. Покупаю содержимое твоих мозгов.

— Какой же вы делец? В бытность мою журналистом я повидал их немало — и согласен с Чарлзом Фрэнсисом Адамсом.

— В чем?

— Он был знаком со всеми — Гулдом, Вандербилтом, Карнеги, Астором — и сказал, что ни одного не хотел бы встретить на том свете. С тех пор ничего не изменилось. Вот я и говорю: вы не делец.

— Адамс, скорее всего, просто брюзга, — заметил Стар. — Хотел стать как они, но чего-то не хватило — здравого смысла или, может, воли.

— Явно не мозгов, — ядовито вставил Уайли.

— Одних мозгов мало. Вы, творческие личности, быстро выдыхаетесь и теряетесь, без посторонней помощи вам никак. — Стар пожал плечами. — Принимаете все близко к сердцу, мечетесь от поклонения к ненависти, считаете всех незаменимыми — особенно себя. Так и напрашиваетесь, чтобы о вас вытирали ноги. Я люблю людей и люблю им нравиться, но душу носить нараспашку — не мой стиль.

Он вдруг умолк.

— Что я сказал Шварцу в аэропорту? Помнишь дословно?

— Вы сказали: «Что бы вы ни задумали — мой ответ: нет!»

Стар помолчал.

— Он стал как пришибленный, — добавил Уайли, — я его еле растормошил. А потом мы взяли дочку Пата Брейди и поехали кататься.

Стар звонком вызвал стюардессу.

— Разрешит ли мне пилот посидеть с ним рядом в кабине?

— Инструкция такого не позволяет, мистер Смит.

— Попросите его заглянуть сюда, когда освободится.

Стар просидел в кабине до самого вечера. Бесконечная пустыня перешла в плоскогорья — многоцветные, словно сделанные из раскрашенного песка для детских игр. Ближе к вечеру под пропеллерами возникли зубья снежной пилы — пики Скалистых гор. До дома оставалось недолго.

То и дело пробуждаясь от дремы, я мечтала лишь об одном: стать женой Стара, добиться его любви. Жалкая самонадеянность! Чем я могла его привлечь? Тогда я, правда, все видела в ином свете: во мне жила та горделивая женская уверенность, которая черпает силы в возвышенных идеалах — например, в мысли «чем я хуже других?». Уж точно я не уродливее знаменитых

красавиц, наверняка вешавшихся ему на шею, а претензии на интеллектуальность, разумеется, делают меня блистательным украшением для любого салона…

Сейчас-то я понимаю всю нелепость былых потуг. Пусть Стар окончил лишь вечерние курсы стенографистов — но с самых ранних лет зоркость и чутье вели его неторными тропами на такие просторы, куда открывается путь лишь немногим. Однако в тогдашней беспечной дерзости я считала свои серые глаза проницательнее его карих, сравнивала свой окрепший на гольфе и теннисе пульс с его затихающим сердцем, утомленным годами непомерной нагрузки; строила планы, лелеяла замыслы, вынашивала интриги — словом, вела себя как любая женщина. Все тщетно, вы сами увидите. До сих пор иногда тешу себя мыслью, что будь он беден и молод — я бы его добилась. На деле же все, что я могла предложить, у него было и без меня. Романтические идеалы я черпала из кино — «Сорок вторая улица», например, оставила ощутимый след, — и наверняка многие фильмы, на которых я выросла, были созданы лично Старом.

Так что дело было безнадежное. Любовь не питается крохами со своего же стола.

В то время, правда, я думала иначе. Вдруг поможет отец или стюардесса? Вдруг она войдет в кабину и скажет Стару: «Что за девушка — глаза так и сияют любовью!»

Вдруг пилот заметит: «Не ослепли же вы, мистер Смит, ступайте в салон!»

Вдруг Уайли Уайт перестанет торчать в проходе и вглядываться, сплю я или нет…

— Сядьте, — сказала я. — Что слышно? Где мы?

— В воздухе.

— Кто бы мог подумать! Да садитесь же. — Я попыталась изобразить живой интерес. — О чем вы пишете? Что за сценарий?

— Бойскауты, дай бог сил. Вернее, один бойскаут.

— Стар придумал?

— Понятия не имею — он мне велел разрабатывать тему. Наверняка на ней сценаристов штук десять: у тех завязка, у этих финал — система у Стара что надо, он сам ее изобрел. Так вы в него влюблены?

— С чего вдруг? — рассердилась я. — Я с ним знакома всю жизнь.

— Безнадежно, да? Хотите, я посодействую, только в обмен обещайте замолвить за меня словечко. Хочу заделаться главным.

Я вновь прикрыла глаза и уснула. Пробудившись, увидела рядом стюардессу, которая подтыкала вокруг меня плед.

— Скоро будем на месте, — сообщила она.

За окном, освещенные закатными лучами, проплывали зеленеющие поля.

— В кабине сейчас забавно, — вдруг разговорилась стюардесса. — Этот мистер Смит — или мистер Стар — кажется, я не встречала имя…

— Его никогда не пишут в титрах, — объяснила я.

— Вот как? В общем, он так подробно расспрашивал экипаж о полетах — со знанием дела, представляете?

— Представляю.

— Один пилот сказал мне, что готов на спор за десять минут натаскать мистера Стара для самостоятельного полета — говорит, шикарные мозги. Так и сказал.

— И в чем же забавность? — нетерпеливо напомнила я.

— Ах да. В конце концов пилот спросил мистера Смита, любит ли он свое дело, и тот ответил: «Еще бы. Приятно быть белой вороной в сборище дятлов».

Стюардесса даже согнулась от смеха — мне

захотелось ее растерзать.

— Представляете? Назвать партнеров дятлами! — Она вдруг резко посерьезнела и встала. — Ладно, пора данные вносить.

— Всего доброго.

Мне было ясно — Стар просто вознес пилотов до собственного трона, на время поделившись с ними властью над миром. Годы спустя мне случилось попасть в один рейс с кем-то из тех летчиков, и он рассказал еще эпизод. Глядя тогда вниз на горы, Стар заметил:

— Представьте, будто вы строите железную дорогу: надо пустить поезда сквозь горный кряж. Сводки геодезистов говорят, что пригодных путей — три-четыре, а то и десяток, ни один не лучше других. И вам надо решать. На что положиться? Заранее определить лучший путь нельзя — надо сначала построить. Остается просто брать и строить.

— То есть как? — Пилот решил, что чего-то недопонял.

— Выбираете путь без всяких причин — тут гора более яркая, там чертеж более четкий… Просто так.

Пилот мне признался, что счел идею очень ценной — правда, как он подозревал, малопригодной

для его жизни.

— Мне хотелось только одного, — грустно улыбнулся он, — узнать, как он вообще стал мистером Старом.

Вряд ли Стар сумел бы что-то ответить: у эмбриона ведь нет памяти. Объяснение знала я. В юности ему случилось вознестись на мощных крыльях высоко над землей, и глазами, которых не могло ослепить даже солнце, он увидел все царства мира. Крылья били упорно и твердо, под конец яростно — и он, не оставляя усилий, удержался в небе дольше любого из нас, а потом, запечатлев в памяти все увиденное с высоты, плавно опустился вниз.

Двигатели смолкли, все наши пять чувств начали оживать перед посадкой. Слева показались огни морской базы на Лонг-Бич, справа мерцающим пятном маячила Санта-Моника. В небе над Тихим океаном плыл оранжевый диск огромной калифорнийской луны. Мои впечатления при виде здешних мест — родного дома! — не могли соперничать, я знаю, с чувствами Стара. Здесь я впервые увидела мир, как стадо овец на студии Леммле; для Стара же это был край, где он ступил на землю после головокружительных озарений былого полета, в котором ему открылись наши

пути и деяния — и весь их нехитрый смысл. Вы вольны сказать, что сюда его занесло шальным ветром. Мне же кажется, что глядя на мир с тех высот, как в кадре дальнего плана, он увидел способ исчислить наши бессвязные надежды, благовидные заблуждения и нескладные беды — и, решив пребыть с нами до конца, спустился на землю. Как самолет, плавно скользнувший к Глендейлскому аэропорту, в теплую тьму.

Глава 2

В девять часов июльского вечера массовка еще не разошлась, многие толпились в закусочной напротив студии — я видела их за игровыми автоматами, когда парковала машину. «Старик» Джонни Суонсон, вечно одетый под ковбоя, торчал на углу, не сводя мрачных глаз с луны. Когда-то он славился не меньше, чем короли немых вестернов Том Микс и Билл Харт, теперь же разговоры с ним навевали тоску, и я поспешила перебежать через дорогу к центральным воротам.

Студия никогда не затихает — в лабораториях и звуковых цехах работает ночная смена, персонал то и дело наведывается в студийное кафе. Шум не похож на дневной: шорох шин, тихий ропот запущенного вхолостую двигателя, одинокая рулада сопрано перед ночным микрофоном. За углом я наткнулась на рабочего в резиновых сапогах, моющего автомобиль в ослепительно белом свете — волшебном фонтане лучей посреди безжизненного сумрака. При виде мистера Маркуса, которого вели от административного здания до машины, я замедлила шаг — чтоб не

терять целую вечность, пока он выговорит «спокойной ночи», — и только тут различила, что сопрано выводит «Приди, приди, я люблю лишь тебя». Строка засела в памяти, потому что вновь и вновь повторялась во время землетрясения; до него оставалось минут пять.

Контора отца помещалась в старом здании с длинным балконом и железными перилами, напоминающими нескончаемый цирковой канат. Весь второй этаж, включая крыло Стара и крыло мистера Маркуса по обе стороны от отцовских окон, светился огнями. При мысли о Старе внутри похолодело, но я уже научилась с этим справляться — за месяц, что я пробыла дома, мы виделись лишь однажды.

Отцовский кабинет изобиловал странностями, все перечислять незачем. Приемную сторожили три секретарши с каменными лицами — три ведьмы, знакомые мне чуть не с пеленок: Берди Питерс, Мод-с-чем-то и Розмари Шмиль. Не знаю, благодаря ли имени или чему другому она заправляла всей троицей и распоряжалась упрятанным под стол рычагом, открывавшим посетителям дверь в отцовский тронный зал. Все три секретарши яро исповедовали капитализм, Берди даже выдумала правило: если машинисток

заставали за совместным обедом чаще раза в неделю — им грозила взбучка. Киностудии в те времена боялись массовых волнений.

Я вошла внутрь. Моду на огромные начальственные кабинеты ввел отец, он же первым придумал закрывать высокие, доходящие до пола окна зеркальными стеклами. В полу, поговаривали, открывалась ловушка, сбрасывавшая неугодных посетителей в подземную яму, но я в эти россказни не верила. В кабинете на видном месте красовался большой портрет Уилла Роджерса, призванный, судя по всему, подчеркнуть духовную близость отца этому святому Франциску Голливудскому; в глаза бросалась фотография Минны Дэвис — умершей жены Стара — с дарственной надписью, по стенам висели снимки других звезд киностудии и два пастельных портрета — мой и матери. В ту ночь зеркальные окна стояли открытыми; в одном, словно пришпиленный, беспомощно застрял исполинский лунный диск — розовато-золотистый, окруженный дымкой. В дальнем краю комнаты за большим круглым столом сидели отец, Жак Ла Борвиц и Розмари Шмиль.

Как выглядел отец? Могу лишь описать, как однажды внезапно столкнулась с ним в Нью-Йор-

ке: при виде грузного пожилого человека, будто стыдящегося самого себя, захотелось проскочить мимо, — и вдруг я поняла, что это отец. Меня потом поразило такое впечатление, ведь решительный подбородок и ирландская улыбка порой делают отца очень привлекательным.

От рассказа о Жаке Ла Борвице я вас избавлю: упомяну, что он был ассистент продюсера, то есть что-то вроде комиссара, — и хватит. Где Стар откапывал таких личностей с начисто отмершим мозгом и почему не сопротивлялся, если ему их навязывали, — а главное, как он умудрялся извлекать из них хоть какую-то пользу, — оставалось загадкой и для меня, и для тех новичков с восточного побережья, кому случалось на них наткнуться. Жак Ла Борвиц, несомненно, обладал и достоинствами — без них не обходятся ни амеба, ни бродячий пес, рыщущий в поисках кости и шавки. Жак Ла… избави боже!

По лицам я видела, что говорят о Старе: он опять что-нибудь приказал или запретил, ослушался отца, отправил на свалку очередной фильм Ла Борвица — словом, сотворил нечто ужасное, и теперь они сидели в ночном кабинете, сплоченные враждой, возмущенные и бессильные. Розмари Шмиль держала наготове блокнот, будто

собиралась внести в протокол общее отчаяние всей троицы.

— Заберу тебя домой живым или мертвым, — сказала я отцу. — А то именинные подарки так и сгниют в коробках.

— День рождения? — виновато встрепенулся Жак. — Сколько стукнуло? А я и не подозревал!

— Сорок три, — раздельно произнес отец.

Ему было на четыре года больше, и Жак об этом знал — я видела, как он сделал пометку в гроссбухе, чтобы при случае использовать. Записи здесь делают открыто, даже не приходится читать по губам, и Розмари Шмиль вслед за ним тоже вынужденно поставила в блокноте закорючку. Когда она стирала ее ластиком, земля под нами содрогнулась.

Нас тряхнуло не так, как Лонг-Бич, где верхние этажи магазинов обрушивались на дорогу, а мелкие гостиницы смывало волной, — и все же на долгий миг наше нутро срослось с земным чревом, словно кто-то в кошмарном сне пытался нанизать нас на пуповину и втянуть обратно в лоно мироздания.

Портрет матери слетел со стены, оголив небольшой сейф; мы с Розмари бешено вцепились друг в друга, с визгом кружа вдоль стен в буйном

невиданном вальсе. Жак рухнул в обморок или, по крайней мере, исчез с глаз. Отец, держась за стол, прокричал: «Ты цела?» За окном сопрано дошло до кульминации «я люблю лишь тебя», на миг умолкло — и, клянусь вам, затянуло фразу по новой. А может, просто певице прокручивали запись.

Комната больше не ходила ходуном, лишь слабо вибрировала. Мы все — вместе с откуда-то возникшим Жаком — двинулись к выходу и неверной походкой, как в полусне, пробрались через приемную на железный балкон. Редко где горел свет, тут и там кого-то окликали. На секунду мы замерли, ожидая второго толчка, а затем, как по общему наитию, повернули к двери, ведущей в кабинет Стара.

Кабинет, хоть и просторный, уступал размером отцовскому. Стар сидел на краю дивана и тер глаза: до толчка он дремал и теперь готов был принять землетрясение за сон. Пришлось его разуверить, и Стар решил было счесть все забавным эпизодом — пока не зазвонили телефоны. Я наблюдала за ним как можно незаметнее. Посеревший от усталости, он выслушивал отчеты по телефону и диктографу, и мало-помалу к глазам возвращался блеск.

— В двух местах прорвало водопровод, — сообщил он отцу. — Затопило площадки за студией.

— Грэй снимает во «французской деревне», — отозвался отец.

— Вокруг «станции» наводнение. В «джунглях» и на «городском углу» тоже. Нелегкая их побери, вроде все живы. — Проходя мимо, он без улыбки сжал мне руки. — Давно вас не видел, Сесилия.

— Вы на территорию, Монро? — спросил отец.

— Сначала дождусь всех новостей. Да, еще где-то повредило линию электропередач, я вызвал Робинсона.

Стар усадил меня на диван рядом с собой и вновь спросил о землетрясении.

— Вы слишком устаете, — сказала я мудро, по-матерински.

— Да, — согласился он. — Некуда ходить по вечерам, вот и работаю.

— С вечерами могу помочь.

— Бывало, я играл в покер с приятелями, — задумчиво ответил он. — Еще до женитьбы. Теперь ни единого не осталось, все спились.

Мисс Дулан, его секретарша, вошла с очередной порцией дурных новостей.

— Робби придет — разберется, — заверил Стар отца и повернулся ко мне. — У нас есть Робинсон

— бывший аварийщик, чинил в Миннесоте телефонные провода во время снежных бурь. Ему все по плечу. Скоро будет. Робби вам понравится.

Прозвучало так, будто Стар всю жизнь мечтал нас познакомить и затеял ради этого целое землетрясение.

— Робби вам понравится, — повторил он. — Когда возвращаетесь в колледж?

— Я только что приехала.

— На все лето?

— Если бы. Еще немного — и сразу назад.

Я была как в тумане. В мозгу мелькнуло, не имеет ли он на меня виды — но если и так, все шло раздражающе медленно: он видел во мне лишь недурной предмет обстановки. Да и сама мысль уже не казалась мне заманчивой — примерно как выйти замуж за врача. Стар редко уходил со студии раньше одиннадцати.

— Я хотел спросить, сколько ей еще до выпуска, — повернулся он к отцу.

А я чуть не выпалила, что вовсе не обязана возвращаться в колледж, образования мне и без того хватит, — как вдруг вошел совершенно восхитительный Робинсон — кривоногий, молодой и рыжий, готовый всех спасать хоть сейчас.

— Вот и Робби, Сесилия, — сказал Стар. — Пой-

дем, Робби.

Так я познакомилась с Робби, даже не заподозрив, что это судьба. Потому что именно от Робби я позже узнала, как той ночью Стар встретил свою любовь.

В лунном свете огромная территория в тридцать акров выглядела сказочным царством. Нет, африканские джунгли, французские замки, шхуны у причала и ночной Бродвей не примешь за настоящие, просто площадки для съемок слишком похожи на ворох страниц из детских книг — обрывки картинок и клочья разрозненных историй, пляшущие в искрах костра. Территория студии напоминала мне чердак — которого, к слову, у нас никогда не было, — а на чердаке по ночам, в неверных отблесках света, сказкам положено оживать.

К прибытию Стара и Робби свет прожекторов уже выхватил из тьмы самые затопленные участки.

— Перекачаем все в болото на Тридцать шестой улице, — после минутной паузы сказал Робби. — Там, конечно, городская собственность, но у нас ведь форс-мажор, так? Ого, смотрите!

Поток воды, струящийся как река, нес огромную голову бога Шивы, на темени которой примо-

стились две женские фигурки. Идола вынесло из декораций Бирмы, и теперь он, покачиваясь, следовал за изгибами течения, порой сталкиваясь на отмелях с прочим хламом. Двух беглянок, прильнувших к локону на открытом лбу статуи, можно было принять за туристок на увлекательной экскурсии по местам наводнения.

— Гляньте, Монро! — мотнул головой Робби. — У нас тут дамочки!

Увязая по колено в мелких болотцах, Робби со Старом подошли к краю потока и разглядели женщин — те, напуганные, слегка просветлели лицами в надежде на скорое спасение.

— Эх, чтоб вам плыть до сточной трубы! — галантно заметил Робби. — Жаль, Де Миллю эта башка на неделе понадобится.

Он-то, конечно, и мухи бы не обидел — и уже брел чуть не по пояс в воде, пытаясь зацепить голову идола шестом, отчего та лишь завертелась на месте. Подоспела помощь; мигом разнесся слух, что женщины — одна очень хорошенькая — наверняка важные особы. На деле они попали на студию случайно, и разозленный Робби только и мечтал задать им жару.

— А ну верните башку где взяли! — крикнул он беглянкам, когда статую притянули к берегу. —

Что за манера — тащить все на сувениры!

Подхватив девушку, плавно соскользнувшую по щеке идола, Робби поставил ее на землю; другая, чуть помедлив, тоже съехала вниз.

— И что с ними делать, босс? — обернулся Робби к Стару.

Тот не ответил. С расстояния в два шага ему улыбалось лицо умершей жены — схожее до последней черточки, до легчайших теней. Сквозь два шага лунного света на него взглянули те же глаза, над знакомым лбом дрогнул локон; улыбка задержалась, ожила — привычная, прежняя; раскрылись губы — в точности те же. Его объял страх, захотелось кричать. После тоскливой тишины прощального зала, после плавного лимузина с гробом, после каскада погребающих цветов, после нездешней тьмы — вот она, рядом, сияющая и живая. Река вдруг хлынула шумным потоком, качнувшиеся прожектора дрогнули — и до Стара донесся голос. Чужой.

— Нам так неловко, — произнес голос, которого никогда не было у Минны. — Мы спрятались за грузовиком и прошли в ворота, нас не заметили.

Вокруг уже толпились электрики, грузчики, шоферы, и Робби налетел на них, как пастуший пес на стадо овец:

— …приладить большие насосы на баки в четвертом павильоне… обвязать канатом эту башку… поставить на пару досок, отбуксировать… сперва откачать воду из джунглей, чтоб вас всех… трубу вон ту, побольше, кладите сюда… тут все равно пластик…

Стар глядел вслед девушкам, пока они, сопровождаемые полицейским, не скрылись за воротами, и лишь тогда осторожно переступил с ноги на ногу — проверить, исчезла ли слабость в коленях. Грохочущий тягач, прочавкав по грязи, остановился поблизости, и мимо Стара толпой пошли рабочие — каждый второй, взглядывая на него, улыбался:

— Привет, Монро… Здравствуйте, мистер Стар… Сыровата ночка, мистер Стар… Монро… Монро… Стар… Стар… Стар…

Он отвечал кому словом, кому взмахом руки — как император, приветствующий старую гвардию. У каждого мира свои герои, а Стар был героем уникальным. Многие из тех, что проходили сейчас мимо, застали и начало студии, и упадок при наступлении звукового кино, и три года депрессии — и все это время Стар берег их от невзгод. Теперь, когда былая сплоченность терпела удар за ударом и колоссы едва держались на

глиняных ногах, Стар все еще оставался для них кумиром — последним из прежних вождей, — и приглушенные голоса звучали в ночи как эхо воинского приветствия.

Глава 3

В промежутке между приездом и землетрясением мне было о чем поразмыслить.

Например, об отце. При всей моей любви (диаграмма которой напоминала бы хаотичную кривую с множеством резких спадов) я видела, что одно упорство еще не делает его приличным человеком. Чуть ли не всеми успехами он был обязан практичности: именно она, да еще удача, помогли ему отхватить четверть доли буйно растущего зрелищного бизнеса — вместе с молодым Старом. Это решило всю его жизнь — дальше оставалось лишь рефлекторно держаться на плаву. И хотя перед финансовыми воротилами с Уолл-стрит отец не скупился на туманные речи о мистических тонкостях кинопроизводства, на деле он даже не пытался вникать в азы озвучивания или хотя бы монтажа. Представления об Америке у него остались те же, что у мальчика на побегушках в баре заштатного ирландского Баллихегана, а способность оценить сюжет недалеко ушла от уровня коммивояжерских баек. С другой стороны, он не страдал скрытым параличом, как ***, на студию приходил раньше полудня — и при

его подозрительности, натренированной как мускул, застать отца врасплох было не так просто.

Стар был его удачей — уникумом, вехой в истории кино, как Эдисон, Люмьеры, Гриффит и Чаплин. Усилиями Стара кинематограф достиг влияния, немыслимого для театра, и до введения цензуры испытал пору расцвета — настоящий золотой век.

Словно в знак признания заслуг вокруг Стара не утихала слежка — соглядатаи не столько охотились за внутренними секретами и фирменными разработками студии, сколько пытались вычислить будущие запросы публики и ближайшие тенденции, открытые лишь чутью Стара. Даже простое обезвреживание таких попыток отбирало у Стара много сил, работа становилась все более скрытной, уединенной и медленной. Рассказывать о ней не легче, чем о замыслах полководца: влияние личности — слишком неуловимая материя, любые попытки описаний неизбежно сведутся лишь к подсчету успехов и неудач. И все же я намерена показать вам Стара в работе — и потому решаюсь на дальнейший очерк, частью взятый из моего студенческого сочинения «День продюсера», частью придуманный. Почти все заурядные события вымышлены,

кажущиеся странными — подлинны.

Наутро после землетрясения на внешнем балконе административного корпуса показалась мужская фигура. По словам очевидца, пришедший немного выждал, затем взобрался на железный поручень и головой вниз прыгнул на тротуар. Результат — перелом руки.

Стар узнал о происшествии от мисс Дулан, своей секретарши, явившейся по его вызову в девять утра; сам он ночевал в офисе и не слыхал шума.

— Пит Заврас! — воскликнул Стар. — Оператор?

— Его отвезли к врачу. В газетах ничего не будет.

— Пропади он пропадом. Мне говорили, что он сам не свой, неизвестно почему. Благополучно отработал у нас два года назад, зачем было возвращаться? Как он вошел?

— По старому студийному пропуску, — ответила Катрин Дулан — жена ассистента режиссера, бесстрастная как ястреб. — Может, что-то связанное с землетрясением?

— Лучший оператор Голливуда, — покачал головой Стар. Даже когда ему доложили о сотнях погибших на Лонг-Бич, он не мог забыть о происшествии и велел Катрин Дулан выяснить

обстоятельства.

Теплое утро принесло первые новости; Стар выслушивал их по диктографу во время бритья и позже за утренним кофе, попутно отдавая распоряжения. Робби просил передать: «Если понадоблюсь мистеру Стару — к черту, я сплю». Заболел или сказался больным кто-то из актеров, губернатор Калифорнии намерен пожаловать с целой делегацией, продюсер избил жену из-за пленки и должен быть «понижен до сценариста» — все три дела (если актерский контракт заключен не лично со Старом) относились к сфере ответственности отца. На канадском натурном объекте, куда уже выехала съемочная группа, выпал снег — Стар пересмотрел сюжет, прикинул возможные решения. По-прежнему ничего. Он вызвал Катрин Дулан.

— Мне нужен полицейский, который вчера вечером уводил двух женщин с территории студии. Кажется, его фамилия Мэлоун.

— Хорошо, мистер Стар. На проводе Джо Уайман — по поводу брюк.

— Привет, Джо, — сказал Стар. — На предварительном просмотре вчера двое разглядели, что Морган чуть не полфильма ходит в расстегнутых брюках… разумеется, преувеличение, но даже ес-

ли кусок всего десятифутовый… нет, вчерашних зрителей не отыщем, прогоните раз за разом весь фильм и найдите нужные сцены. Соберите в зале народу побольше — кто-нибудь заметит.

Tout passe. – L'art robuste
Seul a l'éternité![141]

— Кроме того, приехал датский принц. Высокий красавец, — продолжила Катрин Дулан и зачем-то добавила: — Ну, для своего роста красавец.

— Спасибо, — откликнулся Стар. — Искренне благодарю, Катрин: теперь я здесь единственный красавец среди низкорослых. Пусть принца сопроводят к павильонам. И передайте ему: обед в час.

— Еще вас дожидается мистер Джордж Боксли — разгневанный, насколько может быть разгневан англичанин.

— Я уделю ему десять минут.

Секретарша повернулась было уходить, Стар ее остановил:

— Робби не появлялся?

— Нет.

---

[141] notes: 141

«Все прах. — Одно, ликуя, // Искусство не умрет» (*фр.*). Из стихотворения Теофиля Готье «Искусство» (пер. Н. Гумилева). — *Здесь и далее примеч. пер.*

— Спросите на коммутаторе, не звонил ли он, и если да — свяжитесь с ним и узнайте вот что. Узнайте, не помнит ли он имя вчерашней девушки. Любой из двух. Имя или примету, по которой их можно найти.

— Что-нибудь еще?

— Нет. Попросите его вспомнить, пока не ушло из памяти. Кто они? Что за люди, из каких кругов? Пусть подумает. Может…

Мисс Дулан ждала и не глядя царапала его распоряжения в блокнот.

— То есть… может, они выглядели подозрительно? Вели себя неестественно? Хотя нет, не надо. Просто спросите об узнаваемых приметах.

Полицейский по фамилии Мэлоун ничего не запомнил. Две женщины? Да, он их вывел, будьте уверены. Одна возмущалась.

Которая? Какая-то из двух. Они дошли до машины — «шевроле», — он еще хотел записать номер. Возмущалась та, что… красивее? Какая-то одна.

«Какая-то». Полицейский ничего не заметил — даже здесь, на студии, Минну успели забыть, и трех лет не прошло. Значит, на том и покончим.

Стар встретил мистера Джорджа Боксли отеческой улыбкой, испытавшей некоторое количество метаморфоз с тех пор, как он совсем юным

взлетел на высокую должность. В ранние годы улыбка выражала почтение к старшим коллегам, затем — по мере того, как волю коллег сменяли решения Стара — она становилась все более умиротворяющей, пока не превратилась в доброжелательную, порой торопливую и усталую, но неизменно обращенную к любому, кому не случилось разозлить Стара за последний час. Или к любому, кого Стар не собирался открыто оскорблять.

Мистер Боксли в ответ не улыбнулся. Вступив в кабинет так, будто его волоком тащили по меньшей мере двое, он застыл у кресла — невидимым стражам пришлось подхватить его под руки и усадить силой. Мрачно затихший, даже сигарету по приглашению Стара он закуривал нехотя, словно спичку держали сторонние сущности, чересчур презренные, чтобы им сопротивляться.

Стар был сама любезность.

— Что-нибудь случилось, мистер Боксли?

В оглушительной тишине романист окинул его взглядом.

— Я прочел ваше письмо, — продолжал Стар, отбрасывая приятный тон молодого директора школы. Теперь он обращался к гостю как к равному, хотя уважительная интонация звучала слегка

двусмысленно.

— Мне не дают писать, как я привык! — взорвался Боксли. — Приличия соблюдаются, а все равно пахнет заговором. Эти два поденщика, каких вы ко мне приставили, сначала меня выслушивают, а потом портят текст на свой вкус! Они и слов-то знают не больше сотни!

— А отчего сами не пишете?

— Пишу. И вам посылал.

— Посылали незатейливый диалог, просто обмен репликами, — мягко произнес Стар. — Занятный, но не более.

Теперь двум призрачным стражам пришлось удерживать Боксли в кресле: тот дернулся вскочить, изо рта его вырвался лающий звук — если и хохот, то явно неприязненный.

— Да вы написанное-то хоть читаете? Диалог идет во время дуэли! А потом фехтовальщик падает в колодец, и обратно его поднимают в ведре!

Он еще раз лающе хохотнул и замолк.

— А в собственный роман вы вставили бы такой диалог, мистер Боксли?

— Вы что? Нет, разумеется.

— Сочли бы дешевкой?

— В кино другие законы, — замялся Боксли.

— Вы фильмы смотрите?

— Почти никогда.

— Не нравятся дуэли и колодцы?

— Да. И еще вымученная мимика и фальшивые диалоги.

— Забудьте пока о диалогах, — предложил Стар. — Уверен, что у вас они выйдут изящнее, чем у поденщиков, потому-то мы вас и пригласили. Но давайте отвлечемся и от слабых диалогов, и от прыжков в колодец. Возьмем другой пример. У вас в кабинете есть печь? Такая, чтоб зажигать спичкой?

— Есть, — сухо обронил Боксли. — Я ею не пользуюсь.

— Представьте, что вы сидите в кабинете после целого дня дуэлей или писанины, слишком измученный, чтобы драться или сочинять. Просто сидите и смотрите в пустоту — обессиленно, как порой любой из нас. В кабинет входит хорошенькая стенографистка; вас, безучастного наблюдателя, она не видит, хотя вы сидите совсем рядом. Она снимает перчатки, открывает сумочку и вытряхивает ее над столом…

Стар поднялся и бросил на стол связку ключей.

— Выпадают две десятицентовые монетки и пятицентовик. И коробок спичек. Девушка оставляет на столе пятицентовик, остальные монеты

сгребает обратно. Берет перчатки, подходит к печи, открывает заслонку и бросает перчатки внутрь. В коробке всего одна спичка; девушка становится на колени и собирается зажечь огонь. Вы замечаете, как сильно бьет в окно ветер, — и тут раздается телефонный звонок. Девушка берет трубку, говорит «алло», слушает — и уверенно отвечает: «У меня никогда в жизни не было черных перчаток». Она кладет трубку на рычаг, вновь наклоняется и чиркает спичкой — в этот миг вы внезапно оборачиваетесь и видите в кабинете мужчину, который пристально следит за девушкой…

Стар замолчал, взял со стола ключи и сунул их в карман.

— А потом? — улыбаясь, спросил Боксли. — Что дальше?

— Не знаю, — ответил Стар. — Я просто придумывал фильм.

Боксли почувствовал, будто его провели.

— Это всего лишь мелодрама!

— Не обязательно, — возразил Стар. — И уж точно никаких драк, фальшивых диалогов и даже мимики. Весь произносимый текст — одна немудреная фраза, писателю вашего уровня не составит труда ее исправить. Однако сцена вас

заинтересовала.

— А зачем пятицентовик? — попытался сменить тему Боксли.

— Не знаю, — ответил Стар и вдруг рассмеялся. — Нет, как же, пятицентовик — за билет в кино!

Двое стражей наконец отпустили Боксли — он расслабленно откинулся на спинку кресла.

— За что вы мне платите? — со смехом спросил он. — Я ведь ни уха ни рыла не смыслю в фильмах!

— Разберетесь, — улыбнулся Стар. — Иначе не спросили бы про пятицентовик.

Выйдя в приемную, они наткнулись на большеглазого брюнета.

— Мистер Боксли, это Майк ван Дайк, — представил их Стар. — Что стряслось, Майк?

— Ничего, просто зашел проверить, не обратились ли вы в легенду.

— Опять бездельничаешь? Я на просмотрах не смеялся уже неделю!

— Опасаюсь нервного срыва.

— Не потеряй форму. Давай-ка покажи, на что способен. — Стар повернулся к Боксли. — Майк сочиняет репризы — еще с тех пор, как я под стол пешком ходил. Давай-давай, покажи мистеру

Боксли два крыла, рывок, пинок и вылет.

— Прямо здесь? — уточнил Майк.

— Конечно.

— Места маловато. Я, собственно, шел спросить…

— Места хватит.

— Ну ладно. — Майк оценивающе оглядел помещение. — За вами выстрел.

Кейти, помощница мисс Дулан, приготовила бумажный пакет.

— Это такой номер, — обернулся Майк к Боксли, — еще со времен Кинстонской студии. — Он взглянул на Стара. — Слово «номер» он знает?

— Номер — это выход, выступление, — пояснил для Боксли Стар. — Джорджи Джессел, комик, упоминает «Линкольна, который отколол номер при Геттисберге».

Кейти надула бумажный пакет и зажала край зубами. Майк стоял к ней спиной.

— Внимание! — скомандовала Кейти и шлепнула ладонями по пакету.

Тут же Майк рванул себя обеими руками за ягодицы, подпрыгнул, шаркнул по полу ногой, затем другой, не сходя с места, тут же дважды взмахнул руками по-птичьи…

— Два крыла, — кивнул Стар.

…потом вылетел из сетчатой двери, которую придерживал для него мальчишка-рассыльный, и исчез за балконным окном.

— Мистер Стар, — раздался голос Катрин Дулан. — Вызывает Нью-Йорк, на проводе мистер Хэнсон.

Через десять минут Стар нажал кнопку диктографа. Вошедшая мисс Дулан доложила, что в приемной дожидается актер, гордость студии.

— Скажите, что я ушел через балкон, — предложил Стар.

— Хорошо. Он здесь уже четвертый раз за неделю. Явно волнуется.

— Не намекнул, чего хочет? Может, ему к Брейди?

— Он не сказал. У вас назначено совещание, мисс Мелони и мистер Уайт уже здесь, мистер Брока ждет рядом, в кабинете мистера Рейнмунда.

— Скажите Родригесу, пусть войдет, — решил Стар. — Предупредите, что у меня только минута времени.

Красавца актера Стар встретил стоя.

— Что за срочность? — спросил он с приятной улыбкой.

Актер терпеливо дождался, пока за мисс Дулан

закроется дверь.

— Монро, со мной все кончено, — выпалил он. — Я шел к тебе поговорить.

— Кончено? Ты читал «Вэрайети»? Твой фильм держится в «Рокси» дольше срока. И в Чикаго за неделю собрал тридцать семь тысяч.

— Тем хуже. В том-то и несчастье. Желания сбываются, только все ни к чему.

— Что случилось?

— Нас с Эстер ничего не связывает. Теперь навсегда.

— Поссорились?

— Нет, хуже! Даже говорить невыносимо. Голова ватная, брожу как шальной. На съемках каждая реплика — словно во сне.

— Я не заметил. Смотрел вчерашний материал — ты в прекрасной форме.

— Да? Вот видишь, никто даже не догадывается.

— Ты хочешь сказать, вы с Эстер расходитесь?

— Наверняка к тому идет. Неминуемо.

— Что случилось-то? — нетерпеливо спросил Стар. — Она вошла без стука?

— Да нет, у меня никого нет. Дело просто… во мне. Со мной все кончено.

Стар внезапно понял.

— С чего ты взял?

— Уже полтора месяца.

— Ты просто мнителен. У врача был?

Родригес кивнул.

— Что только не делал. Даже… ну, совершенно в отчаянии пошел к… Клэрис. Бесполезно. Все пропало.

Стара так и подзуживало отправить актера к Брейди — в конце концов, тот отвечает за связи с общественностью, пусть бы занялся и интимными связями… Он даже отвернулся на миг, чтобы Родригес не видел его лица.

— Я был у Пата Брейди, — продолжал актер, словно угадав мысль Стара. — Выслушал кучу дурацких советов, все испробовал — без толку. За ужином на Эстер даже глаз поднять не могу. Она-то держится молодцом, а мне хоть со стыда сгорай. И так все время. «Дождливый день» собрал в Де-Мойне двадцать пять тысяч, в Канзас-Сити двадцать семь, побил рекорды в Сент-Луисе, письма от поклонниц сыплются лавиной, а я каждый вечер дрожу от страха — как же, надо возвращаться домой и ложиться в постель…

Стара мало-помалу охватывала досада. Мелькнувшая мысль пригласить звезду на вечерний коктейль казалась теперь неуместной: что там

делать Родригесу в таком состоянии? Затравленно блуждать между гостями с бокалом в руке, обсуждая многотысячные сборы?

— Вот я и пришел к тебе, Монро. Ты из всего найдешь выход. Я решил: попрошу у тебя совета, даже если ты скажешь пойти утопиться.

Зажужжал вызов, Стар включил диктограф.

— Пять минут, мистер Стар, — раздался голос мисс Дулан.

— Прошу прощения, — ответил Стар, — я еще не закончил.

— Полтысячи школьниц устроили парад, осадили дом, — мрачно продолжал актер. — А я прятался за шторами, боялся выйти.

— Присядь-ка, — велел Стар. — Обсудим и что-нибудь решим.

В приемной уже десять минут дожидались совещания Уайли Уайт и пятидесятилетняя иссохшая блондинка Джейн Мелони, голливудская репутация которой складывалась из полусотни ярлыков — «сентиментальная дура», «лучший голливудский сценарист», «ветеран», «рабочая кляча», «умнейшая женщина студии», «самый ловкий плагиатор цеха» — с исчерпывающим набором дополнений: нимфоманка, девственница, шлюха, лесбиянка и верная жена. Не будучи

старой девой, она несла на себе отпечаток того стародевического облика, который свойствен большинству самостоятельно пробившихся женщин. К пятидесяти годам Джейн заработала язву желудка и годовое жалованье в сотню тысяч (рассуждения о том, считать ли его справедливым, недостойным или непомерно щедрым, могли бы стать предметом отдельного замысловатого трактата). Ценили ее за простые понятные качества — за то, что она женщина и при этом уживчива, сообразительна, надежна, знает правила игры и не норовит перетянуть одеяло на себя. Когда-то она была наперсницей Минны, и с годами Стару удалось подавить неприязнь, доходившую порой до стойкого физического отвращения.

Джейн Мелони и Уайли молча ждали, время от времени обмениваясь репликами с мисс Дулан. Рейнмунд, продюсер фильма, то и дело звонил из своего кабинета, где вместе с ним дожидался совещания режиссер по фамилии Брока. Через десять минут раздался звонок от Стара, мисс Дулан вызвала Рейнмунда и Брока. В тот же миг из кабинета вышел Стар, держа под руку актера — взбудораженного настолько, что на простое «как дела?», брошенное Уайли Уайтом, он тут же объявил:

— Ужасно, просто ужасно!

— Ничего подобного, — оборвал его Стар. — Ступай и играй роль, как я сказал.

— Спасибо, Монро!

Джейн Мелони, молча проводив актера взглядом, спросила:

— Кто-то пытался его переиграть? — подразумевая, что на съемках партнер вздумал оттеснить Родригеса в тень.

— Извините за задержку, — ответил Стар. — Входите.

Совещание началось в полдень, Стар обычно отводил участникам ровно час. Не меньше, поскольку прервать беседу мог лишь режиссер с его жестким графиком съемок, — и редко когда больше: каждую неделю компания обязана выпустить фильм, сложностью и стоимостью не уступающий «Мираклю» Рейнхардта.

Временами — хотя в последние лет пять не так часто, как раньше, — Стар мог работать над одним фильмом ночь напролет; однако такой приступ деятельности выводил его из строя на несколько дней. Перемена же темы придавала сил — и как те люди, что способны по желанию просыпаться в нужное время, он поставил внутренние часы ровно на час.

Помимо сценаристов, на совещание пришли Рейнмунд, один из самых ценимых продюсеров, и Джон Брока — режиссер картины.

Брока с виду походил на техника или механика — крупный, бесстрастный, спокойно-решительный и располагающий к себе. Образованностью он не отличался, Стар часто ловил его на тиражировании однотипных сцен — во всех его фильмах некая богатая девушка неизменно исполняла все тот же ритуал: сначала играла с вбежавшими в комнату большими собаками, а потом, войдя в конюшню, похлопывала по крупу жеребца. Причина вряд ли имела отношение к Фрейду — скорее всего, режиссеру в унылой юности случилось разглядеть за чужим забором красивую девушку с собаками и лошадьми, и сцена навечно отпечаталась в его памяти как символ богатой жизни.

Молодой образованный красавец Рейнмунд когда-то обладал некоторой силой характера, но продиктованная профессией ежедневная необходимость изворачиваться — что в действиях, что в мыслях — превратила его в откровенного приспособленца. К тридцати годам у Рейнмунда не осталось ни единой черты из тех, которые американские евреи и неевреи привыкли считать

достоинствами. Однако он выпускал картины в срок, а демонстрацией чуть ли не педерастического восхищения Старом умудрился притупить обычную для Стара проницательность: тот к нему благоволил и считал во всех отношениях хорошим парнем.

Уайли Уайта, разумеется, в любой стране мира опознали бы как интеллектуала второго разбора. Воспитанность в нем уживалась с болтливостью, простота — с остроумием, мечтательность — с пессимизмом. Зависть к Стару прорывалась лишь временами и сопровождалась всегдашним восхищением и даже привязанностью.

— По графику сценарий идет в производство через две недели, считая от субботы, — начал Стар. — Я бы сказал, что выглядит он прилично, изменения пошли на пользу.

Рейнмунд и оба сценариста обменялись победным взглядом.

— С одной оговоркой, — продолжил Стар. — Я не вижу смысла делать по нему фильм, поэтому решил отказаться от проекта.

На миг повисла внезапная тишина, затем понеслись невнятные возражения и потрясенные вопросы.

— Вы не виноваты, — заверил собравшихся

Стар. — Я просто считал сюжет более интересным, чем он получился в сценарии. Вот и все. — Помолчав, Стар с сожалением взглянул на Рейнмунда. — Текст слишком плох. А ведь пьеса великолепна, мы отдали за нее пятьдесят тысяч.

— А что не так со сценарием, Монро? — напрямик спросил Брока.

— Вряд ли стоит вдаваться в подробности.

Рейнмунд и Уайли Уайт лихорадочно обдумывали, как это отразится на их карьере. В нынешнем году за Рейнмундом два фильма уже числились, а Уайли Уайту для возвращения в кино нужно было появиться в титрах хотя бы раз. Маленькие, глубоко посаженные — словно вдавленные в череп — глазки Джейн Мелони пристально наблюдали за Старом.

— Может, все-таки объясните? — вмешался Рейнмунд. — Оплеуха-то немалая, Монро.

— Я просто не стал бы приглашать в картину Маргарет Саллаван, — ответил Стар. — Или Колмана. Отговорил бы их сниматься.

— Монро! — взмолился Уайли Уайт. — Скажите — что не так? Сцены? Диалоги? Юмор? Композиция?

Стар взял со стола папку с текстом и разжал пальцы — словно сценарий самым буквальным

образом был неподъемной ношей.

— Мне не нравятся персонажи. Меня к ним не тянет, я предпочел бы обходить их стороной.

Рейнмунд, все еще обеспокоенный, улыбнулся.

— Да уж, обвинение не из слабых. Мне казалось, что персонажи-то и неплохи.

— И я так думал, — подтвердил Брока. — Эмма, например, хороша.

— Правда? — бросил Стар. — А я даже не верю, что она живая. Дочитал до конца — только и хотелось спросить: «Ну и что?»

— Можно ведь что-то сделать, — предположил Рейнмунд. — Конечно, для нас тут мало приятного. Порядок сцен ровно тот, о каком мы договаривались…

— Зато история совершенно другая, — бросил Стар. — Я не устаю повторять: для меня главное — настрой фильма, его-то я определяю в первую очередь. Можно менять что угодно, но как только решение принято — каждая реплика и каждый жест должны работать на выбранную цель. У нынешнего сценария поменялся настрой. Пьеса была светлой и сияющей, радостной. В сценарии — одни сомнения и метания. Героиня порывает с героем из-за пустяков, и также беспричинно их роман возобновляется. После первого эпизода

уже не интересно, увидятся ли они вновь.

— Тут я виноват, — встрял Уайли. — Понимаете, Монро, сейчас не двадцать девятый год, стенографистки не склонны так слепо обожать своих боссов. Они уже знают, что такое быть уволенной, они видели боссов в панике. Мир изменился — вот в чем дело.

Стар, бросив на него нетерпеливый взгляд, коротко мотнул головой.

— Это не обсуждается. Исходная точка сюжета — именно слепое обожание, если уж использовать твой термин. И ни в какой панике герой не замечен. Заставь девушку в нем усомниться — и получишь совершенно другой сюжет, а то и вовсе никакого. Оба героя — экстраверты, заруби себе на носу, и должны ими оставаться с первого до последнего кадра. Когда мне понадобится психологическая драма с душевными метаниями, я куплю пьесу Юджина О'Нила.

Джейн Мелони, не спускавшая глаз со Стара, уже поняла, что все обойдется. Задумай он и впрямь отказаться от картины, он не стал бы ничего объяснять. Уж она-то знала здешние приемы — дольше нее на студии проработал лишь Брока, с которым у нее была трехдневная интрижка двадцать лет назад.

Стар повернулся к Рейнмунду.

— Суть фильма, Рейни, ясна даже из актерского состава, тебе следовало это понять. Я взялся было вымарывать реплики, непригодные для Корлисс или Маккелуэя, но скоро бросил. Запомни на будущее: если я заказываю лимузин — мне нужен лимузин, а не гоночная малолитражка, пусть и самая быстрая в мире. Итак, — он оглядел собравшихся, — есть ли смысл продолжать? Теперь, когда вы знаете, что даже идея картины меня не устраивает? У нас всего две недели, по истечении которых я либо утверждаю Корлисс и Маккелуэя на роли, либо перевожу их на другой фильм. Стоит ли пытаться?

— Конечно, — откликнулся Рейнмунд. — Думаю, стоит. Я сам виноват, надо было предупредить Уайли. Мне казалось, у него есть неплохие мысли.

— Монро прав, — без обиняков заявил Брока. — Мне сценарий никогда не нравился, я только не мог понять, в чем именно дело.

Уайли и Джейн презрительно на него покосились и обменялись взглядом.

— Сценаристы, найдется у вас нужный пыл? — доброжелательно спросил Стар. — Или пригласить кого-нибудь новенького?

— Отчего б не попытаться еще раз, — заявил Уайли. — Я готов.

— А ты, Джейн?

Джейн Мелони лишь коротко кивнула.

— Что думаешь о девушке? — спросил Стар.

— Конечно же, я пристрастна — она мне нравится.

— Лучше смени взгляд, — предостерег ее Стар. — Десять миллионов американцев заклеймят ее презрением. Фильм идет час и двадцать пять минут: если треть этого срока героиня изменяет герою — зритель сочтет, что она на треть шлюха.

— Неужели это так много? — лукаво осведомилась Джейн, и все рассмеялись.

— Для меня — много, — задумчиво произнес Стар, — даже если не брать в расчет цензурный кодекс. Хотите делать героиню патентованной шлюхой — пусть, но это будет другой фильм. А в нашем фильме девушка — будущая жена и мать. И все же… все же… — Он наставил карандаш на Уайли Уайта. — Страсти здесь ровно столько же, сколько в Оскаре на моем столе.

— Какого черта! — возмутился Уайли. — Она вся так и горит! С чего бы ей тогда идти к..

— Она легкомысленна, только и всего. В пье-

се есть сцена более выигрышная, чем все твои нагромождения, а ты умудрился ее выкинуть. Когда героиня пытается сократить ожидание и переводит стрелки часов.

— В сценарий не влезало, — извиняющимся тоном произнес Уайли.

— Ну что ж. Соображений у меня с полсотни, я зову мисс Дулан. — Стар нажал кнопку. — И если чего-то не понимаете, спрашивайте.

Мисс Дулан незаметно скользнула в кабинет, и Стар принялся говорить, стремительно расхаживая из угла в угол. Начал он с того, какой ему виделась героиня: идеальная девушка с простительными изъянами, как в пьесе, — причем идеальная не ради потакания вкусам публики, а ради удовлетворения его, Стара, желания видеть в этом фильме именно такую героиню. Всем понятно? Роль не хара́ктерная, девушка будет воплощением жизненной силы, здоровья, решительности и любви. Главное в пьесе — ситуация, в которой она оказалась: в ее руки попал секрет, влияющий на жизни многих людей. У нее есть выбор между верным решением и неверным, и поначалу непонятно, где какое, но под конец все выясняется, она идет и делает что надо. Вот и весь сюжет — незатейливый, чистый и светлый.

Никаких метаний и сомнений.

— Она никогда не слыхала слов «массовые волнения рабочих», — сказал Стар. — Она могла бы жить и в двадцать девятом. Понятно, что за героиня мне нужна?

— Вполне, Монро.

— Теперь о ее поступках, — продолжил Стар. — В любой миг, когда мы видим ее на экране, она хочет переспать с Кеном Уиллардом. Это ясно, Уайли?

— Еще как!

— Что бы она ни делала — она думает о постели Кена Уилларда. Идет по улице — значит, идет переспать с Кеном Уиллардом. Завтракает — набирается сил, чтобы переспать с Кеном Уиллардом. При этом зритель должен быть уверен, что ей и в голову не придет желать другой связи с Кеном Уиллардом, кроме законного брака. Мне неловко напоминать вам такие простые истины, но они как-то умудрились выветриться из сюжета.

Стар открыл сценарий и принялся комментировать страницу за страницей. Записи мисс Дулан будут распечатаны в пяти экземплярах, однако Джейн Мелони делала и свои пометки. Брока сидел, заслонив рукой полуприкрытые

глаза — он еще помнил времена, «когда режиссер что-то значил», когда сценаристы были или сочинителями реприз, или вдохновенными и конфузливыми юнцами-репортерами, любителями виски, — вот тогда режиссер был фигурой. Никаких продюсеров, никакого Стара…

Услышав свое имя, он встрепенулся.

— Джон, хорошо бы вставить сцену с мальчишкой, который лезет по островерхой крыше: держать его в кадре, только без ощущения угрозы или напряженности. И без всяких метафор — просто ясное утро и мальчишка на крыше. Должно получиться симпатично.

Брока стряхнул задумчивость.

— Понятно: легкий налет опасности.

— Не совсем. С крыши он не сорвется, кадр надо плавно перевести в следующую сцену.

— Окно, — предложила Джейн Мелони. — Пусть он залезет через окно в спальню сестры.

— Хороший ход, — одобрил Стар. — Как раз для эпизода с дневником.

Брока окончательно проснулся.

— Снимать надо снизу, пусть он идет вперед, от камеры. Общий план — камера со спины, неподвижная. Потом вставить крупный план и вернуться к общему, мальчик уходит дальше. Не

выхватывать его отдельно, пусть будет на фоне крыши и неба. — Брока уже увлекся идеей: в кои веки ему сулили режиссерский кадр, сущую редкость в теперешних фильмах. Можно снимать с крана — так выйдет дешевле, чем строить бутафорскую крышу на земле и приставлять небо комбинированной съемкой. Вот уж чего у Стара не отнять: пределом он признавал только небо — природное небо в буквальном смысле; Брока достаточно навидался евреев, чтобы верить в легенды об их прижимистости.

— В третьей сцене пусть ударит священника, — распорядился Стар.

— Зачем? — изумился Уайли. — Чтобы католики вцепились нам в глотку?

— Я советовался с цензорами. Джо Брин сказал, что священников били — и ничего.

Стар продолжал говорить; спокойный голос смолк лишь после того, как мисс Дулан взглянула на часы.

— Ну что, не слишком много работы? К понедельнику управитесь? — обратился Стар к Уайли.

Сценарист посмотрел на Джейн — она только метнула ответный взгляд, даже не кивнув. Выходные шли насмарку, но Уайли был уже не тот,

что час назад. Когда тебе платят полторы тысячи в неделю, не очень-то станешь увиливать от экстренной работы — особенно если твой фильм под угрозой. Прежде, на вольных хлебах, Уайли Уайта часто подводила небрежность, однако здесь, на студии, обо всех заботился Стар, и эффект его присутствия ощущался далеко за пределами кабинета. Уайли преисполнился творческого пыла; изображенная Старом смесь здравого смысла, тщательно отмеренной сентиментальности, зрелищной новизны и полунаивных представлений об общественном благе вдохновляла его на дальнейшие подвиги и звала немедля вдвинуть свой камень в общее строение — даже если усилиям суждено сгинуть втуне и результат окажется уныл и банален, как древняя пирамида.

Джейн Мелони видела в окно, как персонал ручейком потянулся к студийному кафе. Сама-то она пообедает в кабинете; пока принесут еду, можно закончить один-другой ряд вязания. А в четверть второго заглянет продавец французских духов — их сейчас возят контрабандой из Мексики, как спиртное при сухом законе, никто не видит в этом греха.

Брока не сводил глаз с Рейнмунда, подлизывающегося к начальству, и отчетливо понимал, что

продюсер идет в гору. Сейчас он получает свои семьсот пятьдесят в неделю за частичную власть над режиссерами, сценаристами и кинозвездами, чьи гонорары ему и не снились, и носит дешевые английские туфли, купленные рядом с «Беверли Уилшир» (Брока искренне надеялся, что туфли ему немилосердно жмут), — однако уже скоро станет заказывать обувь у Пила и вышвырнет наконец свою зеленую тирольскую шляпу с пером. Брока, опережающий его на годы, заработал на войне приличный послужной список, однако так и не сумел до конца оправиться от пощечины Айка Франклина.

Пелена табачного дыма и огромный стол отгораживали Стара от остальных — он еще дослушивал уважительно и Рейнмунда, и мисс Дулан, однако отдалялся все больше. Совещание подходило к концу.

— Из Нью-Йорка звонит мистер Маркус, — объявила мисс Дулан.

— Как так? — требовательно переспросил Стар. — Я видел его здесь вчера вечером.

— Ну, он на проводе — звонят из Нью-Йорка, в трубке голос мисс Джейкобс. Значит, это его контора.

Стар засмеялся.

— Мы встречаемся сегодня за обедом. Самолеты с такой скоростью еще не летают.

Мисс Дулан вернулась к телефону. Стар решил подождать, чем кончится.

— Все разъяснилось, — доложила мисс Дулан через минуту. — Это недоразумение. Мистер Маркус сегодня звонил на восточное побережье — рассказать о землетрясении и потопе на студии — и, видимо, переадресовал их к вам. Новенькая секретарша, должно быть, просто перепутала.

— Это точно, — хмуро заметил Стар.

Принц Агге не понял происходящего, но, изначально настроенный на сильные ощущения, воспринял эпизод как блистательную иллюстрацию к американскому образу жизни: мистер Маркус, сидя в кабинете напротив, звонком велит нью-йоркскому бюро осведомиться у Стара о ночном потопе. Вообразив эту замысловатую связь, принц так и не осознал, что она существовала лишь в уме мистера Маркуса — когда-то остром и изощренном, но в последнее время дающем сбои.

— Подозреваю, что секретарша была совсем уж новенькая, — повторил Стар, разворачиваясь в сторону кафе. — Это все?

— Звонил мистер Робинсон, — сказала мисс

Дулан. — Одна из женщин назвала ему имя, но он забыл. Говорит, что-то простое, вроде Смит, Браун или Джонс.

— Неоценимая помощь.

— Она вроде бы переехала в Лос-Анджелес совсем недавно.

— На ней был серебристый пояс, — вспомнил Стар. — С прорезанными звездами.

— Еще я пытаюсь выяснить про Пита Завраса. Звонила его жене.

— И что?

— У них там все ужасно — пришлось продать дом, она тяжело болела…

— А с глазами у него безнадежно?

— Про глаза она ничего не знала. Даже не подозревала, что он начал слепнуть.

— Интересно.

Стар поразмыслил над этим по дороге к кафе, но дело представлялось таким же смутным, как утренний разговор с Родригесом. В вопросах чужого здоровья он разбирался слабо — ведь его не заботило даже свое собственное. В проулке рядом с кафе он посторонился, пропуская открытый электрокар, забитый девушками в костюмах эпохи регентства — со съемочной площадки привезли массовку. Яркие платья трепетали на ветру,

юные загримированные личики оборачивались на него с любопытством, и он улыбнулся в ответ.

Одиннадцать боссов и их гость, принц Агге, собрались за обеденным столом в приватном зале студийного кафе. Денежные воротилы и владыки студии, в отсутствие гостей они всегда обедали в тишине, лишь изредка нарушаемой вопросами о женах и детях или замечаниями о текущем деле. Восемь из десяти были евреями, пятеро из десяти (среди них грек и англичанин) родились вне Америки. Всех их связывало давнее знакомство, сложилась своя иерархия — от старика Маркуса до старика Лиенбаума, который некогда купил самую выигрышную долю акций во всей отрасли и которому запрещали тратить на кинопроизводство больше миллиона в год.

Старик Маркус до сих пор славился опасной изворотливостью в делах: безотказное чутье предупреждало его о засадах и вражеских происках, и чем плотнее его норовили окружить, тем грознее он становился. Его бледное лицо обрело такую неподвижность, что даже те, кто раньше замечал рефлекторное подергивание внутреннего уголка глаза, теперь — по милости природы, прикрывшей веко порослью седых волосков — оказывались бессильны проникнуть

за неуязвимую броню.

Он оставался старейшим из одиннадцати, Стар был младше всех — и уже не так разительно отличался от них возрастом, как в свои двадцать два, когда впервые сел за этот стол. Тогда — в большей мере, чем сейчас — он был финансистом среди финансистов, мог подсчитать в уме расходы с быстротой и точностью, повергавшей коллег в изумление. Несмотря на легенды о евреях-дельцах, ни один из десятки не обладал талантом или хотя бы выраженными способностями в этой сфере, достигнув успеха за счет разнообразных и временами противоречивых качеств. Однако в любой группе традиция удерживает на плаву и самых несведущих, и удовлетворенно полагаясь на оценки и вычисления Стара — юного гения, как его называли, — они гордились его достижениями как своими, словно болельщики на футбольной игре.

Той способностью Стар пользовался и теперь, хотя, как мы вскоре увидим, она сделалась далеко не главной.

Принц Агге сидел между Старом и главным юристом компании Мортом Флайшекером, напротив него расположился Джо Пополос, владелец кинотеатров. К евреям принц испытывал

смутное предубеждение, которое пытался в себе изжить. Нравом он обладал неугомонным и, состоя в иностранном легионе, считал, что евреи слишком уж трясутся за свою шкуру. Однако готов был поверить, что американская жизнь делает их другими, и Стара он уж точно признавал за достойного человека. Остальных же дельцов он числил по большей части крепколобыми занудами — в конечном суждении полагаясь, как всегда, на текущую в его жилах царственную кровь Бернадотов.

Мой отец (вслед за принцем Агге, рассказавшим мне о той встрече, я буду называть его мистером Брейди) беспокоился об очередной картине, и после раннего ухода Лиенбаума сел напротив Стара.

— Как там фильм про латиноамериканцев, Монро?

Принц Агге заметил мимолетную вспышку внимания — десять пар глаз дрогнули ресницами, словно прошелестев крыльями, и вновь замерли в тишине.

— Продвигается, — ответил Стар.

— С тем же бюджетом?

Стар кивнул.

— Расходы несоразмерны, — заметил Брейди. —

Время трудное, чудес не будет. Это не «Ангелы ада» и не «Бен Гур», когда тратишь бессчетно, но и получаешь с лихвой.

Вероятно, о нападении условились заранее, поскольку грек Пополос тут же вмешался и понес нечто неразборчивое:

— Неуспешно, Монро, нам хотим успешно жить это времена, которая меняется. Действие раньше на прогрессе выгоды теперь не акцептуальное.

— А вы что скажете, мистер Маркус? — спросил Стар.

Все взгляды устремились к дальнему концу стола, однако мистер Маркус, словно заранее предупрежденный, уже сделал знак личному официанту, который теперь помогал ему встать, держа под обе руки, как корзину. Маркус оглядел коллег таким беспомощным взором, будто и не выходил вечерами на танцы со своей юной канадской пассией.

— Монро — гений в нашем деле, — заявил он. — Доверяю и всецело на него полагаюсь. Наводнения я даже не видел.

— Двух миллионов сейчас в прокате не собрать, — сказал Брейди, когда за Маркусом в полной тишине закрылась дверь.

— Не забрать, — подтвердил Пополос. — Да-

же если когда возьми их по голове и толкай, не забрать.

— Вероятно, вы правы, — согласился Стар и замолчал на миг, словно проверяя, все ли его слышат. — Думаю, премьерные показы дадут миллион с четвертью. Вместе с остальным наберется миллиона полтора. И четверть миллиона от проката за рубежом.

Вновь воцарилась тишина — на этот раз удивленно-озадаченная. Стар через плечо велел официанту соединить его с конторой.

— А как же бюджет? — спросил Флайшекер. — Насколько я знаю, бюджет картины миллион семьсот пятьдесят тысяч. И вы ожидаете от проката ровно столько же, без всякой прибыли?

— Я столько и не ожидаю, — ответил Стар. — Хорошо, если наберем миллиона полтора.

Зал притих — принц Агге даже услышал, как обвалился пепел с замершей в воздухе сигары. Флайшекер, на лице которого застыло изумление, раскрыл было рот, но в этот миг Стару через плечо подали телефон.

— Ваша приемная, мистер Стар.

— Да-да. Алло, мисс Дулан, я понял про историю с Заврасом. Это все слухи, даю голову на отсечение… А, вы уже… Хорошо. Да, хорошо. Теперь

сделайте вот что: отправьте его сегодня же к моему окулисту, доктору Джону Кеннеди. Пусть Заврас возьмет заключение и сделает копию, вы меня поняли?

Стар положил трубку и оживленно обернулся к присутствующим.

— Слыхали, будто Пит Заврас теряет зрение?

Кто-то кивнул; остальные, не в силах перевести дух, пытались понять, не обмолвился ли Стар минуту назад, оглашая суммы.

— Оказалось, полная чушь. Заврас говорит, что сроду не был у окулиста и не знает, почему студии от него отвернулись, — объявил Стар. — То ли враг, то ли болтун постарался — и оператор год ходит без работы.

По залу прошелестел официально-сочувственный шепот. Стар подписал чек и собрался было встать из-за стола.

— Прошу прощения, Монро, — с нажимом сказал Флайшекер. Брейди и Пополос молча ждали. — Я здесь не так давно и, вероятно, не способен в полной мере постичь смысл высказываемого и подразумеваемого. — Он говорил быстро, однако даже вены на его лбу вздулись от гордости за безукоризненные фразы, отточенные за время учебы в нью-йоркском университете. —

Верно ли я понимаю, что бюджетные затраты, по вашим оценкам, превосходят сумму ожидаемых сборов на четверть миллиона?

— Это фильм принципиально другого уровня, — невинно заметил Стар.

До остальных начало доходить, однако они все еще подозревали подвох. Стар наверняка надеялся на выгоду. Ведь никто в здравом уме…

— Мы осторожничали два года, — продолжал Стар. — Самое время затеять картину, которая не окупится. Спишите это как расходы на поддержание репутации: фильм принесет нам новых зрителей.

Часть собравшихся еще полагали, что он считает картину выигрышной авантюрой, однако Стар развеял последние сомнения.

— Да, мы останемся в убытке, — сказал он, вставая. Подбородок слегка выдвинулся вперед, глаза сияли улыбкой. — Окупить фильм — значило бы совершить чудо большее, чем «Ангелы ада». Однако, как говорит Пат Брейди на званых ужинах в киноакадемии, у нас есть определенные обязательства перед публикой. Невыгодная картина внесет полезное разнообразие в график съемок.

Он кивнул принцу Агге; тот, наскоро откланиваясь, последним взглядом еще надеялся уловить

впечатление, произведенное Старом. Тщетно. Глаза присутствующих — не то чтобы опущенные, скорее уставленные в неопределенную точку над столом — смаргивали чаще обычного, однако в комнате не раздавалось даже шепота.

Из обеденного зала на улицу Стар с принцем Агге выходили через студийное кафе, и принц жадно впился глазами в пестрое сборище цыганок, горожан, солдат времен первой империи с баками и в расшитых галунами мундирах. Издали они и вправду казались настоящими, столетней давности героями, и Агге попытался представить себе, как массовка изобразит его с современниками в каком-нибудь костюмном фильме из будущего.

Однако при виде Авраама Линкольна его настрой сменился. Юность Агге пришлась на самое начало скандинавского социализма, когда все зачитывались биографией Линкольна, написанной Николеем; принца упорно воспитывали в духе почитания Линкольна как великой личности, достойной обожания, отчего Агге его просто возненавидел. А теперь живой Линкольн сидел перед ним за столиком, закинув ногу на ногу и закутавшись в шаль, чтобы не продуло, — и с привычно добрым лицом поглощал обед за сорок

центов. Принц Агге, впервые в жизни попавший наконец в Америку, воззрился на него, как турист на мумию Ленина в Кремле. Вот она, легенда… Стар, опередив его, теперь остановился — а принц все не мог оторвать глаз от зрелища.

Вот кто мы на самом деле, — пронеслось у него в мыслях.

Когда Линкольн подцепил треугольный кусок пирога и затолкал в рот, принц Агге поспешил присоединиться к Стару.

— Надеюсь, вам здесь интересно, — сказал тот, словно извиняясь за то, что оставил гостя одного. — Через полчаса у нас просмотр рабочего материала, а потом можете знакомиться с павильонами, пока не надоест.

— Мне хотелось бы остаться с вами.

— Тогда я прежде посмотрю, какие дела меня ждут.

Ждал японский консул по поводу выпуска шпионского фильма, способного оскорбить национальные чувства японцев. Ждали звонки и телеграммы. Ждало известие от Робби.

— Он вспомнил фамилию женщины: точно Смит, он уверен, — доложила мисс Дулан. — Робби предлагал ей тогда зайти на студию и переобуться в сухое, она отказалась — значит, в

суд не подаст.

— Ну и задачка — звонить всем Смитам. Не такое уж облегчение. — Стар на минуту задумался. — Попросите у телефонной компании список Смитов, ставших абонентами в последний месяц. И всех обзвоните.

— Хорошо.

Глава 4

— Здравствуйте, Монро, — кивнул режиссер. — Рад вас видеть.

Стар прошел мимо, направляясь к построенной для завтрашних съемок декорации — роскошной комнате в конце павильона. Режиссер Ред Райдингвуд поспешил за ним, однако как он ни пытался идти быстрее, Стар оставался на шаг-другой впереди, и Райдингвуд расценил это как признак недовольства. Он и сам часто прибегал к таким маневрам: когда-то он руководил собственной студией и каких только приемов не использовал, так что пусть Монро хоть из кожи лезет — все равно ничем не удивит. Работа режиссера — ставить сцены, и никакому дельцу, пусть и самому успешному, его тут не переплюнуть. Голдвина, который однажды вмешался, Райдингвуд в тот раз вынудил поактерствовать на виду у полусотни зрителей — и получил ожидаемое: на режиссерскую власть больше никто не посягал.

На пороге роскошной комнаты Стар остановился.

— Декорация негодная, — заявил Райдингвуд. — Никакой выдумки. Делайте что хотите с

освещением…

— Зачем вы меня вызвали? — Стар повернулся к режиссеру. — Нельзя было согласовать с художниками?

— Я не просил вас приходить, Монро.

— Вы хотели работать сами по себе.

— Прошу прощения, Монро, — терпеливо повторил Райдингвуд, — я не просил вас приходить.

Стар развернулся и шагнул дальше, к кинокамере. Глаза и раскрытые рты посетителей на миг отвлеклись от героини фильма, обратились к Стару и, не сочтя его достойным внимания, вернулись к актрисе. Посетителям — членам католического братства «Рыцари Колумба» — был не в новинку хлеб, пресуществленный в плоть, но мечту во плоти они видели впервые.

Стар остановился за стулом актрисы. Низко декольтированное платье открывало яркую экзему на груди и спине; перед каждым дублем обезображенную кожу покрывали кремом и удаляли его сразу после съемки. Волосы актрисы цветом и липкостью напоминали полузасохшую кровь, зато в глазах мерцал звездный свет.

Стар не успел заговорить, сзади донесся услужливый голос:

— Ослепительна, просто ослепительна! Голос принадлежал ассистенту режиссера, рассчитывавшему тонко польстить сразу всем: актрисе, которой не придется поворачивать голову (а значит, напрягать больную кожу), чтобы услышать комплимент; Стару, сумевшему добиться с ней контракта, и даже косвенно Райдингвуду.

— Как дела? Все хорошо? — улыбнулся Стар актрисе.

— О, все замечательно, только вот эти …ые журналисты!

Стар слегка подмигнул.

— Мы их близко не подпустим.

Имя актрисы успело стать равнозначным слову «стерва». Ей, видимо, нравилось подражать героиням из комиксов про Тарзана — повелительницам туземных племен, только туземцами она считала весь мир. На студии к ней относились как к неизбежному злу, которое стоит потерпеть ради одного-единственного фильма.

Райдингвуд вслед за Старом подошел к выходу из павильона.

— Все будет как надо, — заявил он. — Лучшего от нее не добьешься.

Актриса их уже не слышала; Стар, резко остановившись, сверкнул глазами на Реда.

— Вы снимаете несусветную дрянь. Я смотрю материал ежедневно, она похожа на красотку из продуктовой рекламы.

— Я стараюсь выжимать что могу…

— Пойдемте со мной, — бросил Стар.

— С вами? Объявить тут перерыв?

— Оставьте все как есть. — Стар толкнул уплотненную для шумоизоляции входную дверь.

Машина с водителем уже стояла наготове: минуты у Стара обычно были наперечет.

— Садитесь, — кивнул он.

До Реда наконец дошло, что с ним не шутят. Он даже внезапно понял, в чем дело. Актриса взяла его в оборот с первого же дня, от ее хлесткого языка не было спасения — и режиссер, оберегая свой душевный покой, позволил ей отыгрывать роль как попало, лишь бы не связываться.

Стар только подтвердил его мысли.

— Вам с ней не совладать. Я объяснял: мне нужна героиня мерзко-подлая. А у вас она нудноленивая. Боюсь, придется отказаться.

— От картины?

— Нет. Я передаю фильм Харлею.

— Хорошо, Монро.

— Не обессудьте, Ред. Когда-нибудь еще попробуем.

Машина подкатила к конторе Стара.

— Доснять начатый дубль? — спросил Ред.

— Им есть кому заняться, — бросил Стар. — Харлей уже на площадке.

— Какого черта…

— Он вошел, когда мы выходили. Сценарий я ему отдал вчера вечером.

— Послушайте, Монро…

— Ред, я сегодня занят, — отрезал Стар. — Вкус к фильму у вас пропал три дня назад.

Вот уж пилюля так пилюля, пронеслось в голове Райдингвуда. Теперь его положение пошатнется — незначительно, но третью женитьбу придется отложить. И ведь даже скандал не затеешь: несогласие со Старом обычно не афишируют. Стар — один из столпов киношного мира, и правда на его стороне. Всегда или почти всегда.

— А пиджак? — вдруг спохватился Ред. — У меня пиджак остался в павильоне. На стуле.

— Знаю. Вот, возьмите.

Стар так старался быть терпимым к просчету Райдингвуда, что успел забыть о пиджаке, который держал в руках.

«Проекционный зал мистера Стара» походил на миниатюрный кинотеатр с четырьмя рядами мягких кресел. Вдоль переднего ряда тянулись

столы с затененными лампами, кнопками и телефонами; у стены стояло пианино, забытое там с первых дней звукового кино. Хотя в зале сделали ремонт и сменили обивку всего год назад, помещение уже успело обветшать от постоянного использования.

Стар приходил сюда в полтретьего и затем в полседьмого — просматривать кадры, отснятые за день. Обстановка часто бывала напряженной: здесь Стар оценивал свершившийся факт — сухой остаток того, что достигалось месяцами закупок, планирования, сочинения и переписывания, актерских проб, строительных и осветительных ухищрений, утомительных репетиций и съемок; здесь материализовывался результат гениальных предчувствий и отчаянных замыслов, творческого бессилия, заговоров и рабочего пота. Сюда стекались донесения с линии огня — и сложный рабочий процесс замирал в ожидании.

Кроме Стара, на просмотрах бывали продюсеры обсуждаемых картин, координаторы съемок и главы всех технических отделов. Режиссеры не приходили: официально их работа считалась законченной, а деликатничать с оценками в проекционном зале, где с серебристых бобин потоком разматывались живые деньги, никто не

собирался — и режиссеры по негласной традиции старались держаться подальше.

Стара уже ждали; при его появлении шепот стих, и как только он сел в кресло, подтянув к подбородку острое колено, свет погас. В заднем ряду чиркнула спичка — и все замерло.

На экране отряд франкоканадцев выгребал на узких каноэ против бурного течения. Сцену снимали в студийном бассейне; в конце каждого дубля, после режиссерской команды «Стоп!», вмиг расслабившиеся актеры со смехом утирали лбы, поток воды останавливался — и иллюзия исчезала. Стар по большей части молчал — лишь отметил, что к технической стороне претензий нет, и назвал номер выбранного дубля.

В следующей сцене, все на той же реке, девушка-канадка (Клодетт Колбер) разговаривала со следопытом (Рональдом Колманом), глядя на него сверху вниз из каноэ. После первых кадров Стар вдруг спросил:

— Бассейн уже размонтировали?

— Да, сэр.

— Монро, он нужен для…

— Смонтировать заново, — отрезал Стар. — Немедленно. Второй эпизод надо переснять.

Мгновенно включился свет; руководитель съе-

мок, соскочив с кресла, вытянулся перед Старом.

— Сцена сыграна прекрасно — и все насмарку! — с холодным гневом произнес Стар. — Кадр не отцентрирован. Камеру поставили высоко: идет диалог, а видна одна макушка Клодетт. Этого мы и добиваемся? Ради этого зритель и приходит в кино — посмотреть на макушку красивой актрисы? Скажите Тиму, с тем же успехом можно было снять дублершу.

Свет вновь погас. Руководитель съемок примостился рядом с креслом Стара, чтобы не мешать. Ленту пустили заново.

— Теперь видите? — спросил Стар. — И еще волосок попал в кадр, вот там справа. Выясните, он в проекторе или на пленке.

В самом конце сцены Клодетт Колбер медленно подняла голову, явив миру огромные влажные глаза.

— Вот что зритель должен видеть с самого начала, — указал Стар. — И ведь сыграно великолепно. Сверьте расписание и доснимите сцену сегодня вечером или завтра.

Уж Пит Заврас не допустил бы такого промаха. Поди найди в Голливуде хоть полдюжины операторов, на которых можно положиться…

Дали свет, координатор с продюсером фильма

вышли из зала.

— Монро, есть фрагмент сцены, поступил вчера поздно ночью.

Зал погрузился в темноту, на экране возникла голова Шивы среди толпы богопоклонников — гигантская и невозмутимая, словно ей и не кружиться в потоке наводнения всего через пару часов.

— Когда будете переснимать, — вдруг сказал Стар, — посадите на идола пару ребятишек. Выясните, не обвинят ли нас в неблагопристойности, хотя, думаю, никто не возразит. Детям все можно.

— Хорошо, Монро.

Серебристый пояс с прорезанными звездами… Смит, Джонс или Браун… В рубрику «Объявления»: женщине в серебристом поясе, присутствовавшей…

Со следующим фильмом — гангстерской историей — место действия перенеслось в Нью-Йорк, Стар сделался нетерпелив.

— Сцена откровенно испорчена, — раздался в темноте его голос. — Написана дурно, актеры подобраны отвратительно, смысла никакого. Типажи не те, вместо решительности — сплошной сироп. В чем дело, Ли?

— Сцену писали сегодня утром прямо на площадке, — ответил Ли Кэппер. — Бертон хотел все доснять в шестом павильоне.

— Никуда не годится. Как и следующая сцена. На такую халтуру даже пленку жаль тратить. Героиня не верит тому, что говорит, Кэри тоже. «Я тебя люблю» крупным планом — да вас освистают в первый же сеанс! И на девице слишком много наверчено.

В темноте прозвучал сигнал, проектор замолк, включился свет. Стар сидел с каменным лицом.

— Кто писал сцену? — спросил он чуть погодя.

— Уайли Уайт.

— Трезвый?

— Конечно.

Стар помолчал.

— Сегодня же засадите за эту сцену четверых. Посмотрите, кто свободен. Сидни Ховард не появился?

— Приехал сегодня утром.

— Поговорите с ним. Объясните, чего я хочу. Героиня в смертельном ужасе, она тянет время — только и всего. У людей не бывает по три эмоции сразу. И еще, Кэппер…

Художник-постановщик подался вперед из второго ряда.

— Да.

— С декорацией что-то не то.

В зале переглянулись.

— Что именно, Монро?

— Это я у тебя спрашиваю. Слишком громоздко, глаз мечется. И выглядит все дешевкой.

— Денег-то как раз не жалели…

— Я знаю. Дело в какой-то мелочи. Вернись туда сегодня и посмотри. Может, мебели слишком много или она неподходящая. А может, окна не хватает. Или надо усилить перспективу.

— Проверю. — Кэппер взглянул на часы и стал пробираться к выходу. — Займусь прямо сейчас. За ночь что-нибудь придумаю, утром сделаем.

— Хорошо. Ли, обойдешься пока другими декорациями?

— Думаю, да.

— Ответственность на мне. Эпизод с дракой готов?

— На подходе.

Стар кивнул. Кэппер поспешил прочь, в зале вновь погас свет. На экране четверо персонажей мутузили друг друга в винном погребе. Стар засмеялся:

— Взгляните на Трейси — как налетел на того парня! Уж точно драться ему не в новинку!

Актеры сходились вновь и вновь, драка повторялась. В конце они неизменно взглядывали друг на друга с улыбкой, порой дружески похлопывали противника по плечу. Опасность грозила лишь одному — постановщику боев, профессиональному боксеру: ему ничего не стоило уложить разом всех троих, однако актеры, им же и обученные, под горячую руку могут сбиться с отработанного порядка и начать крушить все подряд. Самый молодой из троих боялся, что ему попортят лицо, и режиссер прикрывал его увертки продуманными ракурсами.

А позже двое все встречались и встречались в дверях, узнавали друг друга и расходились. Встречались, замирали, расходились.

Потом девочка читала под деревом, на котором устроился мальчик с книгой; девочка изнывала от скуки и хотела поговорить, мальчик не обращал внимания и ронял ей на голову яблочный огрызок.

— Длинновато — да, Монро? — раздался голос из темноты.

— Нисколько, — ответил Стар. — Чудный эпизод, хорошо смотрится.

— Мне казалось, что затянуто.

— Порой и десяти футов много, а когда-то и две

сотни — слишком коротко. Пришлите ко мне монтажера: я с ним поговорю, пока он не взялся за эту сцену. Зрители ее запомнят.

Пророчество изречено. Споры и вопросы бесполезны. Стар должен быть всегда прав — не «часто», а «всегда», — иначе вся постройка расползется, как сливочное масло в тепле.

Прошел еще час. Обрывки грез повисали в дальнем конце зала, их рассматривали, оценивали и отправляли дальше — либо служить мечтой для толп зрителей, либо сгинуть в небытии. В конце, как обычно, настал черед проб: харáктерный актер и девушка. После рабочего материала, идущего с жестким ритмом, пробы казались гладкими и отточенными; зрители в зале расслабились, Стар спустил ногу на пол. Мнения приветствовались. Кто-то из техотдела заметил, что не прочь сойтись с девушкой поближе, другие не выказали интереса.

— Она уже мелькала в пробах два года назад. Должно быть, крутится рядом с киношниками, да без толку. А старик недурен. Может, сыграет старого русского князя в «Степях»?

— Он по рождению и есть старый русский князь, — заметил шеф по отбору актеров. — Только он из красных, поэтому титула стыдится.

Говорит, что князя играть точно не станет.

— На другое он не способен, — ответил Стар.

Включили свет. Стар, закатав жевательную резинку в обертку, сунул ее в пепельницу и вопросительно взглянул на секретаршу.

— Комбинированные съемки во втором павильоне, — напомнила она.

Комбинированные съемки — когда объект снимают на фоне движущегося изображения, проецируемого на задник хитроумным устройством, — задержали Стара не надолго. После этого он заглянул в кабинет Маркуса, где обсуждали идею снять «Манон» со счастливым финалом, и Стар лишь повторил ранее сказанное — что «Манон» и без счастливого финала благополучно делает сборы уже полтора века. Он упорно стоял на своем (в это время суток он бывал особенно убедителен), и противники перевели разговор на другое: не отрядить ли дюжину знаменитостей на благотворительный концерт для тех жителей Лонг-Бич, кто после землетрясения остался без крова. Следуя порыву, пятеро из них тут же собрали пожертвований на двадцать пять тысяч — однако щедрый жест, лишенный того сострадания, какое испытывает бедняк к бедняку, мало походил на милосердную помощь.

Позже, в кабинете, Стара ждало сообщение от окулиста, к которому он отправил Пита Завраса: зрение у оператора оказалось 19/20 — почти идеальное; письменное заключение оформлено, Пит пошел делать копию. Стар торжествующе прошелся по кабинету, сопровождаемый восхищенным взглядом мисс Дулан. Заглянул принц Агге — поблагодарить за прогулку по съемочным площадкам; во время беседы позвонил продюсер очередного фильма и в завуалированной форме сообщил, что сценаристы, супруги Тарлтон, «обо всем прознали» и собираются уходить.

— Хорошие сценаристы, — объяснил Стар принцу Агге. — Здесь такие редкость.

— Как, вы ведь можете нанять любого! — удивился тот.

— Мы и нанимаем, однако стоит им сюда попасть — они резко портятся, так что работаем с кем можно.

— Например?

— С теми, кто примет нашу систему и не сопьется. Здесь кого только нет — отчаявшиеся поэты, драматурги-однодневки, студентки колледжей. Мы даем им сюжет на двоих, а если дело замедляется — ставим еще двоих, отдельно. У меня бывало по три независимых пары сценаристов

на одном сюжете.

— И им это нравится?

— Если узнают — нет. Никто из них не гений, другими путями толку не добиться. Эти Тарлтоны — муж и жена с восточного побережья, неплохие драматурги-соавторы. Обнаружили, что работают над сценарием не одни, и пришли в ужас — наверняка скажут, что система нарушает их чувство единства.

— А чем создается единство?

Стар помолчал, не меняя серьезного выражения лица, лишь чуть блеснули глаза.

— Единство — это я, — ответил он. — Приезжайте еще.

Он встретился с Тарлтонами. Говоря о том, что доволен их работой, Стар обращался к миссис Тарлтон, словно за машинописными буквами сумел различить ее почерк. Доброжелательным тоном он сообщил, что снимает их с фильма и переводит на другой — где больше свободы и меньше спешки. Как он частично и предвидел, сценаристы запросились остаться на том же проекте: здесь был шанс скорее попасть в титры, пусть и вместе с другими. Стар отозвался о системе как о прискорбно грубой, нацеленной на выгоду; он не упомянул лишь о том, что сам

ее и изобрел.

После отбытия сценаристов на пороге возникла торжествующая мисс Дулан.

— Мистер Стар, та женщина, с серебристым поясом, ждет на проводе.

Стар в одиночестве прошел в кабинет и, сев за стол, с замиранием сердца поднял трубку. Он не знал, чего хочет, не обдумывал никаких планов — не то что с делом Пита Завраса. Изначально он собирался лишь узнать, не принадлежат ли незнакомки к актерскому цеху: девушка ведь могла профессионально загримироваться под Минну Дэвис, как он сам когда-то велел загримировать молоденькую актрису под Клодетт Колбер и снять в тех же ракурсах.

— Здравствуйте, — произнес он.

— Здравствуйте.

Пытаясь в коротком удивленном слове расслышать отзвук вчерашнего трепета, он почувствовал накатывающий ужас, который пришлось стряхнуть усилием воли.

— Вас не так-то легко найти. «Смит» — и недавний переезд, большего мы не знали. И серебристый пояс.

— Да, — ответил голос — озадаченный, слегка нервный. — На мне вчера был серебристый пояс.

И теперь — что?..

— Кто вы? — В голосе послышалась нотка задетой обывательской гордости.

— Меня зовут Монро Стар.

Пауза. Его имя никогда не указывали в титрах — ей могло потребоваться время, чтобы соотнести.

— А, конечно. Вы были мужем Минны Дэвис.

— Да.

Что за игры?.. Вновь нахлынуло ночное видёние — четкое, вплоть до оттенка светящейся, словно фосфоресцирующей кожи, — неужели все кем-то спланировано?.. Не Минна и все же Минна…

Порыв ветра взметнул занавеси, зашелестели на столе бумаги, и сердце слабо сжалось от ощутимой яркости царящего за окном дня. Что будет, если выйти сейчас, увидеть ее вновь — лицо, словно скрытое звездной вуалью, и твердые губы, созданные для дерзкого и беспомощного человеческого смеха…

— Я хотел бы с вами встретиться. Приглашаю вас на студию — придете?

Опять молчание — и отказ.

— Думаю, мне не стоит этого делать. Извините.

Извинение было явно формальным — отставка,

пощечина напоследок. На помощь Стару пришло банальное тщеславие, придавшее ему настойчивости.

— Мне нужно вас видеть. Есть причина.

— Ну… боюсь, что…

— Может, я приеду к вам?

Вновь пауза — уже не от сомнений, просто чтобы подобрать слова.

— Вам не все известно, — наконец произнесла она.

— Да, вероятно, вы замужем. — Он сделался нетерпелив. — Не имеет значения. Я приглашаю вас открыто — берите с собой мужа, если есть.

— Это… совершенно невозможно.

— Почему?

— Я и на разговор-то зря согласилась, но ваша секретарша настаивала… Я подумала — может, я вчера что-то обронила в реку и вы нашли…

— Мне очень нужно вас увидеть, на пять минут.

— Предложить сняться в кино?

— Нет, об этом я не думал.

Повисла длинная пауза — он даже решил, что девушка обиделась.

— Где с вами встретиться? — вдруг спросила она.

— Здесь? Или приехать к вам?

— Нет, где-нибудь на улице.

Стар вдруг растерялся. Дома, в ресторане… Где люди встречаются? Дом свиданий? Коктейль-бар?

— Я приду в девять, — добавила она.

— Я не могу, к сожалению.

— Значит, забудьте.

— Тогда хорошо, в девять, но можно ближе к студии? На бульваре Уилшир есть закусочная…

Было без четверти шесть. В приемной ждали двое посетителей, встречу с которыми Стар откладывал день за днем: к этому часу накапливалось утомление, а дело было не таким важным, чтобы себя пересиливать, но и не таким мелким, чтобы вовсе отказаться от разговора. В очередной раз передвинув встречу, Стар посидел недвижно за столом, думая о России — не столько о самой стране, сколько о фильме на русском материале, который сейчас поглотит безысходные полчаса его времени. Он знал, что Россия богата сюжетами — даже если не считать главного из них, — и по его указанию целая бригада сценаристов и историков разрабатывала тему уже год, однако ни один сюжет не давал желаемого тона. Стар видел явную параллель с историей первых тринадцати

штатов Америки — а в сюжете то и дело всплывали ненужные мотивы, грозящие лишними осложнениями. Он не собирался очернять Россию и честно хотел остаться к ней справедливым, но фильм при этом неотвратимо превращался в головную боль.

— Мистер Стар, к вам мистер Драммон, мистер Кирстофф и миссис Корнхилл по поводу русской картины.

— Хорошо, пусть войдут.

По окончании встречи, с полседьмого до полвосьмого, он просматривал рабочий материал, отснятый после обеда. Если бы не свидание с девушкой, он провел бы остаток времени в проекционном зале или звуковой лаборатории, но из-за землетрясения ночь выдалась тяжелой, и Стар решил пойти поужинать. В приемной он наткнулся на Пита Завраса с забинтованной рукой на перевязи.

— Вы — Эсхил и Еврипид кинематографа, — просто сказал оператор. — И еще Аристофан и Менандр.

Он поклонился.

— Кто это? — улыбнулся Стар.

— Мои соотечественники.

— Я не знал, что в Греции снимают кино.

— Смеетесь, Монро. Я хотел сказать, вам никто в подметки не годится. Вы меня спасли, стопроцентно.

— Как самочувствие?

— Рука — пустяки: ощущение, как от поцелуйчиков по коже. Ради такого исхода стоило и прыгнуть.

— А почему именно здесь?

— Здесь дельфийский оракул. Эдип, разгадавший загадку. Добраться бы до того подлеца, который пустил сплетню…

— Рядом с вами пожалеешь о собственной необразованности.

— Что проку, — отмахнулся Пит. — Получить диплом бакалавра в Салониках, чтобы оказаться не у дел…

— Ну, пока еще нет.

— Задумаете перерезать кому-нибудь глотку — мой телефон у вас есть.

Стар зажмурился и вновь открыл глаза: силуэт Завраса расплывался в солнечном свете. Опершись сзади о стол, он произнес как можно непринужденнее:

— Удачи, Пит.

Комната резко потемнела; Стар заставил себя в несколько привычных шагов добраться до каби-

нета и, лишь когда захлопнулась дверь, нащупал таблетки. Стукнул о стол графин, звякнул стакан. Опустившись в кресло, Стар выждал, пока подействует бензедрин, и только тогда пошел ужинать.

На обратном пути он заметил чей-то приветственный жест — и, различив в открытом авто молодого актера с девушкой, проводил их взглядом до ворот, уже сливающихся с летними сумерками. Приятные мелочи радовали его со временем все меньше, ему даже стало казаться, что острота ощущений ушла вместе с Минной: способность к сильным эмоциям притупилась настолько, что сама скорбь по умершей жене грозила вскоре угаснуть. Минна для него по-детски связывалась с небом над головой, и, вернувшись в кабинет, Стар впервые за год велел подать автомобиль с откидным верхом — слишком гнетущим выглядел огромный лимузин, тащивший на себе тяжкую память о бесчисленных совещаниях и усталой дреме.

Выходя со студии, Стар еще чувствовал напряжение, но в открытой машине летний вечер обступил его плотнее, и мало-помалу Стар начал замечать окружающее. Над дальним концом бульвара висела низкая луна — одна из кажущих-

ся многих, словно в знак надежды сменяющих друг друга каждый вечер из года в год. Со смертью Минны голливудские огни горели по-иному: с открытых лотков, полных лимонов, грейпфрутов и зеленых яблок, косыми лучами струилось на улицу туманное сияние; на дороге мигнул лиловый стоп-сигнал передней машины — и на следующем перекрестке мигнул снова. Лучи прожекторов бороздили небо, на безлюдном углу двое загадочных незнакомцев вращали светящийся цилиндр, выписывающий по небесам причудливые дуги.

В закусочной у конфетной витрины стояла женщина — высокая, ростом почти как Стар, и растерянная. Ей явно было не по себе, и не окажись Стар таким серьезным и вежливым, она бы не выдержала. Поздоровавшись и едва обменявшись взглядом, они молча вышли на улицу, и еще чуть ли не в дверях Стар понял: обычная американка. Хорошенькая, но не более. Не красавица. Не Минна.

— Куда мы едем? — осведомилась она. — Я думала, машина с шофером. Впрочем, не обращайте внимания, я умею боксировать.

— Боксировать?

— Невежливое начало, да? — натянуто улыбну-

лась девушка. — А ведь про вашего брата болтают сущие ужасы.

Мысль о том, что его принимают за злодея, Стара развеселила — но лишь на миг.

— Зачем я вам понадобилась? — спросила она, садясь в машину.

Стар не пошевелился и чуть было не велел ей выйти — однако незнакомка уже расслабилась на сиденье, и он понял, что сам виноват. Стиснув зубы, он обошел машину и сел на водительское место. Уличный фонарь теперь освещал ее лицо, и Стару даже не верилось, что вчерашней ночью он видел ту же девушку. Никакого сходства с Минной.

— Я отвезу вас домой. Где вы живете?

— Домой? — удивилась она. — Я не спешу. Простите, если обидела.

— Вовсе нет. Спасибо, что пришли. Просто я осел. Вчера мне померещилось сходство между вами и одной женщиной из прошлого. Ночь, глаза слепило прожектором…

Девушка почувствовала себя задетой: ей попеняли, что она не похожа на другую.

— И всего-то? — бросила она. — Надо же!

С минуту они ехали молча.

— Вы ведь были женаты на Минне Дэвис, да? —

осенило ее. — Извините, что спрашиваю.

Он гнал машину как мог, стараясь лишь, чтобы это не бросалось в глаза.

— Мы внешне разные, если вы о ней, — продолжила девушка. — Вы, наверное, имели в виду мою подругу, она больше похожа на Минну Дэвис.

Ему было уже безразлично, хотелось лишь поскорее отделаться и забыть.

— Может, она вам и нужна? — не отступала его спутница. — Мы живем по соседству.

— Вряд ли. Я запомнил ваш серебристый пояс.

— Значит, то была я.

Они уже свернули к северо-западу от бульвара Сансет и теперь взбирались вверх по каньону среди холмов. Бунгало по краям петляющей дороги светились огнями, электричество просачивалось в вечерний воздух, как радиосигналы.

— Видите огонек на вершине, самый последний? Дом Кэтлин. А я живу на той стороне. — Девушка помолчала минуту и добавила: — Остановите здесь.

— Вы же сказали — на той стороне.

— Хочу зайти к Кэтлин.

— Боюсь, я…

— Мне нужно сюда, — сказала она нетерпеливо.

Стар вышел из машины и безотчетно шагнул за ней к небольшому новому домику, почти скрытому под ветвями одинокой ивы. Позвонив в дверь, девушка обернулась попрощаться.

— Простите, что разочаровала.

Ему сделалось ее жаль — и себя вместе с ней.

— Я сам виноват. Доброй ночи.

В открывшемся дверном проеме возник треугольник света, женский голос произнес: «Кто здесь?» — и Стар поднял глаза.

В дверях стояла она: лицо, фигура, улыбка на фоне льющихся из двери лучей. Лицо Минны — та самая кожа, светящаяся, словно фосфоресцирующая, и горячий изгиб дерзких губ, и разлитая поверх всего та ликующая радость, что пленяла целое поколение зрителей.

Сердце рванулось из груди, как прошлой ночью, только в этот раз не спешило возвращаться, омытое благословенным умиротворением.

— А, Эдна, ко мне сейчас нельзя, — прозвучал тот же голос. — Я делала уборку, весь дом пропах нашатырем.

Эдна громко расхохоталась.

— Кэтлин, он тут явно по твою душу.

Глаза Стара и Кэтлин встретились и схлестнулись, на секунду замерев в любовном слиянии

— неповторимом, возможном лишь в первый миг встречи. Взгляд длился, медлительный как объятие и требовательный как зов.

— Он мне позвонил, — объявила Эдна. — Похоже, решил…

Стар прервал ее, шагнув в полосу света.

— Я опасался, что вчера на студии мы обошлись с вами невежливо.

Подлинно сказанное не вмещалось ни в какие слова. Она слушала без стыда, жизнь пылала в обоих ярким пламенем — Эдна казалась частью сумрака где-то вдалеке.

— Вовсе нет, — ответила Кэтлин. Прохладный ветер играл каштановыми локонами над ее лбом. — Мы ведь зашли без спроса.

— Приглашаю вас обеих на студию — пройтись, посмотреть.

— Кто вы? Важная персона?

— Он муж Минны Дэвис, продюсер, — колко вставила Эдна, словно пересказывая редкостную шутку. — Он много чего мне наговорил. Уж точно положил на тебя глаз.

— Замолчи, Эдна, — резко оборвала ее Кэтлин.

Словно устыдившись собственной грубости, Эдна пробормотала: «Позвони мне, ладно?» — и шагнула к дороге, унося с собой тайну — заме-

ченную ею искру, мелькнувшую между двоими во тьме.

— Я вас помню, — сказала Кэтлин Стару. — Вы нас спасали из наводнения.

Что дальше? Эдны теперь не хватало — слишком ничтожна была вещественная опора, слишком многое между ними произошло. Оба парили в небытии: его мир остался где-то вдалеке, ее мир и вовсе вмещал лишь голову идола и полураскрытую дверь.

— Вы ирландка? — попытался он выстроить мир для нее.

Она кивнула.

— Я долго жила в Лондоне. Не знала, что это заметно.

На дороге показался зеленоглазый автобус; они подождали, пока он проедет.

— Вашей подруге я, кажется, не понравился. Наверное, из-за слова «продюсер».

— Эдна здесь тоже недавно. Глупышка, но беззлобная. Уж я-то не стала бы вас бояться.

Она вгляделась в его лицо и, как все, заметила усталость, но тут же о ней забыла — из-за исходящего от Стара ощущения тепла, каким веет от яркой жаровни в прохладную ночь.

— Вам, должно быть, отбоя нет от девушек, что

рвутся в актрисы.

— Все давно отчаялись и махнули рукой.

Это было неправдой — он знал, что претендентки по-прежнему осаждают его порог, но их суетливые голоса давно слились для него в невнятный гомон, неотличимый от городского шума. В их глазах он был могущественнее любых королей: монарх способен сделать королевой лишь одну, Стар — как они надеялись — многих.

— С такой жизнью недолго стать циником, — заметила Кэтлин. — Вы не собирались снимать меня в кино?

— Нет.

— Вот и хорошо. Я ведь не актриса. В Лондоне ко мне как-то подошли в отеле «Карлтон» и пригласили на пробную съемку, но я поразмыслила и отказалась.

Все это время они стояли почти недвижно, словно ему через миг уходить, а ей — возвращаться в дом.

— Чувствую себя как сборщик налогов, — рассмеялся вдруг Стар. — Застрял на пороге и не даю закрыть дверь.

Кэтлин тоже улыбнулась.

— К сожалению, в дом вам нельзя. Может, я возьму жакет и посидим здесь?

— Не стоит. — Он и сам не понимал, что за чувство подсказывало ему уйти. Увидит он ее, нет ли — так будет лучше. — Придете на студию? Не обещаю быть вашим гидом, но если захотите у нас побывать — непременно звоните.

Тонкая, как волосок, складка пролегла между ее бровей.

— Не знаю. Но все равно спасибо за приглашение.

Он понял, что ее что-то держит и она не придет. Внезапно она от него ускользнула; оба почувствовали, что миг исчерпан. Ему пора уходить — в никуда, с пустыми руками. Обыденно говоря, он не знал ее телефона или даже фамилии, и сейчас казалось немыслимым о них спрашивать.

Она проводила его до машины; ее лучистую красоту, неизведанную и новую, Стар ощущал чуть ли не кожей — хотя когда они вышли из тени, их разделяло полшага пространства, залитого лунным светом.

— Неужели все? — вырвалось у него.

На ее лице отразилось сожаление, однако губы чуть дрогнули, изогнувшись в тайной улыбке — словно колыхнулся занавес у запретного порога.

— Надеюсь, мы еще увидимся. — Ответ прозвучал почти как дань вежливости.

— Будет печально, если нет.

На миг повеяло отчуждением, но когда Стар развернул машину в ближайшем проулке и тронулся в путь, Кэтлин еще стояла у дома — и он помахал ей рукой, вдруг ощутив прилив сил и порадовавшись тому, что в мире еще есть красота, не рассортированная по студийным картотекам.

Дома, пока дворецкий заваривал чай в русском самоваре, на Стара навалилось одиночество — тяжкой отрадой вернулась старая боль. Два сценария, оставленные на вечер, ждали своего часа; когда-нибудь он воплотит их на экране, реплику за репликой, а пока, раскрывая первый из них, он чуть помедлил, вспомнив Минну, и потянулся к ней мыслью — все пустяк, с тобой никто не сравнится, прости…

Вот таким, в общих чертах, был один день из жизни Стара. Болезнь он держал в тайне, и я не знаю, давно ли она началась — отец лишь упомянул, что Стар раза два терял сознание в тот месяц. Про обед мне рассказал принц Агге, впечатленный намерением Стара сделать неокупаемую картину — намерением необычайным, если учесть личности партнеров и тот факт, что Стар владел большой долей акций и по контракту его доход напрямую зависел от прибыли фирмы.

Многое рассказал Уайли Уайт — и я ему верю: настрой Стара он чувствовал остро, испытывая к боссу нечто среднее между завистью и восхищением. Что до меня — я тогда была влюблена в Стара по уши, так что о моей объективности судите сами.

Глава 5

Неделю спустя, свежа и юна как ясное утро, я отправилась к нему на студию. Уайли за мной заехал, я вышла в костюме для верховой езды: Стар должен подумать, что я скакала по росным лугам чуть не с рассвета.

— Нынче утром брошусь Стару под машину, — объявила я.

— Может, проще под эту? — мотнул головой Уайли. — Лучший подержанный драндулет из всех, в каких ездил Морт Флайшекер.

— Ни за что, — отрезала я. — У вас жена на восточном побережье.

— Все в прошлом, в прошлом. Самомнение — ваш козырь, Сесилия: не будь вы дочерью Пата Брейди, на вас бы никто и не взглянул.

Колкости мы в отличие от материнского поколения принимаем спокойно: замечания от ровесников не имеют ровно никакой цены. Нас убеждают быть современнее, женятся на деньгах, порой и мы убеждаем в том же. Все стало проще. Или, по нашей тогдашней присказке, верно обратное?..

Впрочем, когда при подъеме по каньону Лорел

я включила радио и оттуда понеслось «Слышишь, как сердце стучит», я решила не верить Уайли. Лицо у меня хоть и округлое, но с правильными чертами, кожа мягкая (иным только дай случай прикоснуться), красивые ноги и совершенно никакой нужды в бюстгальтерах. Нрав, правда, далек от ангельского, но тут уж не Уайту меня судить.

— Здорово я придумала — зайти утром, да?

— Еще бы. К самому-то занятому человеку в Калифорнии. Он точно оценит. Лучше б и вовсе поднять его в четыре утра.

— В том-то и фокус. К вечеру он устает, да еще весь день перед глазами одни актрисы, и не все из них уродины. А я появлюсь с утра пораньше и задам нужный настрой.

— Слишком уж цинично.

— А что вы предлагаете? Только без грубостей.

— Я вас люблю, — начал он неубедительно. — Люблю вас больше ваших денег, что само по себе немало. Может, ваш папенька повысит меня до продюсера?

— Я могла бы выйти замуж за йельского выпускника и роскошно жить в Саутгемптоне.

Я покрутила настройку и поймала по радио то ли «Потерю», то ли «Разлуку» — в этом году песни

пошли хорошие. Раньше, во время депрессии, музыка была убогой, лучшие мелодии тянулись еще с двадцатых годов: Бенни Гудман с «Синим небом», Пол Уайтман с «Когда окончен день» — одни оркестры и можно было слушать. А теперь мне нравилось почти все — ну, за исключением «Малышка, ты устала за день» в исполнении отца, когда он пускался сентиментальничать и изображать любящего родителя.

«Разлука» с «Потерей» наводили не на те мысли, и я снова покрутила радио; поймалось «Славная, милая», самый подходящий для меня текст. На гребне холма я оглянулась: воздух прозрачен настолько, что за две мили можно разглядеть листья деревьев на горе Сансет. Временами поражаешься простым вещам — обыкновенному воздуху, чистому и незамутненному.

— «Славная, милая, сердцу отрада-а-а», — подпела я.

— Вы и для Стара собираетесь петь? — уточнил Уайли. — Тогда вставьте строчку про то, что из меня выйдет хороший продюсер.

— О нет, там будем только я и Стар! Он взглянет на меня и подумает: «Как я мог ее не замечать?»

— Устарело, в этом году такие реплики не пишут.

— …А потом назовет меня «малышкой Сесилией», как в ночь наводнения. И подивится, как я повзрослела.

— Вам даже делать ничего не придется.

— Я буду стоять и расцветать. И он поцелует меня, как ребенка…

— Прямо по моему сценарию, — посетовал Уайли. — А ведь мне его завтра нести к Стару.

— …потом сядет, закроет лицо ладонями и скажет, что никогда не думал обо мне в этом смысле.

— То есть с поцелуем вы накинетесь не по-детски?

— Говорят вам — я стою и расцветаю. Сколько раз повторять: расцветаю!

— Начинает отдавать пошлостью. Может, на сегодня довольно? Мне ведь еще работать.

— А потом он скажет, что это судьба и все предрешено.

— Кинематограф в чистом виде. Продюсерская кровь. — Уайли притворно содрогнулся. — Не дай бог получить такую при переливании.

— И еще он скажет…

— Все его реплики я знаю наизусть. Интереснее послушать, что вы ответите.

— Тут кто-нибудь войдет…

— И вы вскочите с дивана, оправляя юбки.

— Добиваетесь, чтоб я вылезла из машины и вернулась домой?

Мы уже катили по Беверли-Хиллз, все более хорошеющему от высоких гавайских сосен. Районы в Голливуде четко разделены по уровню достатка: всегда знаешь, где жилье режиссеров и начальства, где техперсонал в своих бунгало, где массовка. Сейчас мы въехали в самый шикарный район, похожий на затейливую витрину с тортами, — далеко не такой романтичный, как последняя захудалая деревушка в Виргинии или Нью-Гэмпшире, но для нынешнего утра вполне привлекательный.

«Вдруг тот, кто был так мил, — пело радио, — нынче изменил?»

Сердце пылало, дым застилал глаза и все такое, но я оценивала шансы примерно пятьдесят на пятьдесят. Шагнуть к Стару так, словно собираюсь то ли пройти насквозь, то ли поцеловать в губы, — и остановиться лицом к лицу, ограничившись лишь словом «привет», которое неминуемо обезоружит Стара соблазнительной недосказанностью.

Так я и сделала. Хотя, конечно же, все вышло иначе: Стар смотрел на меня красивыми темны-

ми глазами и — могу поклясться — видел меня насквозь, не выказывая ни малейшей растерянности. Я так и стояла перед ним чуть не вечность, а он лишь дернул уголком губ и сунул руки в карманы.

— Пойдете со мной на сегодняшний бал? — наконец спросила я.

— Что за бал?

— Бал сценаристов в «Амбассадоре».

— А-а, — протянул он. — Нет, с вами не могу, приду позже. В Глендейле будет предварительный показ нового фильма.

Вот так и разбиваются все планы. Мы сели, я положила голову на стол среди телефонов, словно конторскую принадлежность, и посмотрела на Стара. Его темные глаза взглянули на меня по-доброму и совершенно незаинтересованно — мужчины часто не видят, когда девушка сама идет в руки. Все мои труды увенчались лишь одним:

— Отчего вам не выйти замуж, Сесилия?

Не хватало еще, чтобы он снова приплел своего Робби и взялся нас сватать.

— Как мне привлечь внимание интересного мужчины?

— Признаться в любви.

— И не отступать?

— Да, — улыбнулся Стар.

— Ну, не знаю. Если не любит, то и не полюбит.

— Я бы на вас женился, Сесилия, — вдруг сказал он. — Мне чертовски одиноко, но я слишком стар и утомлен, чтобы на что-то решаться.

Я обошла стол и встала рядом.

— Решитесь на меня.

Стар взглянул удивленно, впервые поняв, что я и не думаю шутить.

— Нет-нет. — На миг он показался совсем несчастным. — У меня в невестах лишь кинематограф. И времени не так много… — Он тут же поправился: — Вернее, его совсем нет.

— Вы меня не любите.

— Не в этом дело, — покачал он головой и вдруг произнес ровно те же слова, о каких я мечтала, только совсем по-иному: — Я никогда не думал о вас в этом смысле, Селия. Я знаю вас слишком давно. Мне сказали, вы выходите замуж за Уайли Уайта.

— И вам… безразлично?

— Нет. Я хотел вас предостеречь. Пусть сначала Уайли бросит пить хотя бы на пару лет.

— Я и не собиралась за него замуж, Монро.

Мы уже хорошо сбились со сценария, и тут,

как в недавних моих мечтах, кто-то вошел — не иначе как Стар нажал потайную кнопку.

В тот миг, когда мисс Дулан возникла за моей спиной с блокнотом в руках, и закончилось мое детство — закончилось время, когда ты сидишь и увлеченно вырезаешь фотографии из журналов. В Старе я видела не столько живого человека, сколько такой журнальный портрет, постоянно все тот же: глаза, которые смотрят мудро и проницательно и тут же уходят от твоего взгляда, словно прячась в тени высокого лба — вместилища тысяч сюжетов и замыслов; и лицо, не тронутое морщинами невзгод и волнений, но стареющее как бы изнутри — лицо аскета, иссушенное то ли скрытой внутренней борьбой, то ли длительным недугом. Усталые эти черты мне были дороже любых загорелых лиц от Коронадо до Дель-Монте, и Стар оставался для меня кумиром — журнальной фотографией вроде тех, которые приклеиваешь изнутри к дверце своего шкафчика в школьной раздевалке. Так я и сказала тогда Уайли Уайту. А когда о главном герое своего романа рассказываешь второстепенному — значит, ты влюблена не на шутку.

Незнакомку я заметила еще прежде, чем Стар появился в бальном зале. Не хорошенькая — в

Лос-Анджелесе их не бывает: хорошенькой можно быть в одиночку, но когда их дюжина — они всего лишь массовка. И не красавица из профессиональных актрис: те настолько стараются привлечь к себе каждый взгляд и вздох, что даже мужчины выходят прочь, чтобы подышать полной грудью. Нет, просто девушка с цветом лица, как у Рафаэлевых ангелов, и стильная настолько, что дважды оглянешься: то ли одета необычно, то ли держится особенно.

Я забыла о незнакомке почти сразу; она сидела в глубине зала, позади колонн. Украшением их стола была увядшая полузнаменитость: в надежде, что ее заметят и дадут сняться в эпизоде, она то и дело выходила вальсировать с какими-то пугалообразными личностями. Я со стыдом вспомнила свою первую вечеринку, где мать раз за разом заставляла меня танцевать все с тем же мальчиком, чтобы я была в центре внимания. Полузвезда пыталась заговорить с кем-то за нашим столом, но мы старательно изображали недоступное высшее общество — она так и ушла ни с чем.

С нашего ракурса казалось, что все от нас чего-то хотят.

— От вас ждут широких жестов, как в старые времена, — объяснил Уайли. — А когда выясня-

ется, что вы склонны держать свое при себе, то просителей это отрезвляет. Отсюда их траурные позы, мужественная мрачность и все такое: строить из себя хемингуэевских героев — для них единственный способ хранить самоуважение. Но в глубине души они вас глухо ненавидят, и вам это известно.

Он был прав: еще с тридцать третьего года я знала, что богатые счастливы только вместе и только вдали от остальных.

Я заметила вошедшего Стара — он остановился в полутьме на верхней площадке лестницы и теперь осматривался, засунув руки в карманы. Из-за позднего часа свет казался тусклым, хотя люстры горели по-прежнему. Представление уже закончилось, остался танцевать лишь затейник с афишей, зазывающей в полночь на фигурное катание: в «Голливудской чаше» сервируют Соню Хени со льдом; однако с каждым танцем прицепленная на спину афиша веселила все меньше.

Несколько лет назад уже многие бы перепились — а сейчас увядшая актриса тщетно искала взглядом пьяных, с надеждой глядя поверх плеча партнера. Я видела, как после танца она подошла к своему столику…

…у которого, к моему изумлению, Стар раз-

говаривал с замеченной мной девушкой. Оба улыбались так, словно мир вокруг только рождался.

Минуту назад, стоя на верхней площадке лестницы, Стар не ожидал ничего подобного. «Предварительный показ» его разочаровал, на выходе из кинотеатра пришлось сцепиться с Жаком Ла Борвицем, о чем Стар теперь только жалел. Он двинулся было к компании Брейди, как вдруг заметил Кэтлин, в одиночестве сидящую в центре длинного белого стола.

Все разом изменилось. Он шагнул к ней. Вдоль его пути люди сливались со стенами, обращаясь в безмолвные фрески, белый стол удлинился и стал алтарем, над которым возвышалась одинокая жрица. К Стару вернулись силы; остановившись у стола, он смотрел на нее и улыбался.

Соседи Кэтлин потихоньку оживали и возвращались на места — Стар танцевал с Кэтлин.

Все ее прежние образы внезапно утратили для него резкость, словно окутались дымкой — на миг она сделалась призраком, эфемерным созданием. Черты лица, видимые вплотную, обычно разрушают волшебство, однако сейчас очарование не исчезло; Стар с Кэтлин кружили в танце, скользя через весь зал, и вдруг ступили в зазеркалье — в

иное пространство, где длился другой танец и мелькали другие, едва знакомые лица. Здесь он наконец заговорил, торопливо и настойчиво:

— Как вас зовут?

— Кэтлин Мур.

— Кэтлин Мур…

— Телефона у меня нет, не спрашивайте.

— Когда вы придете на студию?

— Это невозможно. Правда.

— Отчего? Вы замужем?

— Нет.

— Вы не замужем?

— Нет, и никогда не была. Хотя, возможно, все изменится.

— Кто он? Кто-то за тем столом?

— Нет, — засмеялась Кэтлин. — Что за любопытство!

Несмотря на сказанное, она будто сливалась с ним, ее глаза лучились любовным призывом невероятной силы — и, словно осознав это, она испугалась:

— Мне пора. Я обещала этот танец.

— Не хочу вас терять. Может, пообедаем или поужинаем вместе?

— Это невозможно. — Однако лицо ее выдало — слова прозвучали как «Все возможно. Дверь

еще приоткрыта, успеете. Но спешите — время на исходе». — Мне пора, — повторила она вслух. А потом вдруг, остановившись, уронила руки и взглянула на него с лукавой улыбкой. — Когда я с вами, дыхание перехватывает.

Кэтлин резко повернулась, подобрала длинное платье и сквозь зеркало ступила обратно в зал. Стар шел за ней; она остановилась чуть не доходя стола.

— Спасибо за танец, — сказала она. — А теперь без шуток — всего доброго. — И пустилась к столу почти бегом.

Стар подошел к своей компании, где его ждали, и сел вместе с «недоступным высшим обществом», собравшимся сюда с Уолл-стрит и Гранд-стрит, из вирджинского Лондона и русской Одессы. Общество с жаром обсуждало очередного фаворита на скачках, тон задавал мистер Маркус. Стар догадывался, что пристрастие евреев к лошадям — символическое: пешие евреи годами трепетали перед верховыми казаками, и теперь обладание лошадьми стало для них знаком небывалого могущества и власти. Стар сидел со всеми, делая вид, что слушает, и даже кивал, когда к нему обращались, — и при этом не сводил глаз с дальнего стола за колоннами. Не случись все

именно так — вплоть до путаницы с серебристым поясом, который он приписал не той девушке, — он принял бы все за тонко продуманный план. Однако стремление Кэтлин ускользнуть пресекало все подозрения. Она и впрямь намеревалась сбежать: прощальная пантомима у ее стола не оставляла сомнений. Она уходила — ускользала вновь.

— Сцена прощания Золушки, — язвительно ввернул Уайли. — Туфельку просят предъявить в компанию «Королевская обувь» по адресу Южный Бродвей, 812.

Стар перехватил Кэтлин в длинном верхнем холле, где среди выгороженного тяжелым шнуром пространства восседали пожилые смотрительницы, наблюдающие за входом в бальный зал.

— Это вы из-за меня? — спросил Стар.

— Мне все равно нужно идти. — Она вдруг добавила чуть ли не досадливо: — Со мной обращались так, будто я танцевала по меньшей мере с принцем Уэльским. Не сводили глаз. Один решил написать мой портрет, другой возжелал завтра со мной встретиться.

— Таково и мое желание, — негромко произнес Стар. — И оно намного сильнее, чем у того, кто

вас пригласил.

— Вы так настойчивы, — проговорила она устало. — Я уехала из Англии, где мужчины только и знают, что навязывать свою волю. Думала, здесь будет иначе. Я не хочу с вами встречаться — неужели вам мало?

— Обычно этого достаточно, — согласился Стар. — Прошу, поверьте: я и без того выбит из колеи. Чувствую себя идиотом. Но я должен вас видеть, говорить с вами.

Она помолчала.

— Незачем чувствовать себя идиотом, вы для этого слишком хороши. Однако вы не можете не понимать.

— Понимать что?

— Вы же потеряли голову, выстроили вокруг меня замок из грез.

— Я готов был от вас отказаться. Пока не пришел сюда.

— Отказаться в мыслях — может быть. Но в первый же миг встречи я поняла: вы из тех, кого ко мне влечет помимо воли.

Она резко умолкла. Рядом прощались мужчина и женщина: «Передай ей привет, она такая прелесть, — щебетала дама, — и ты тоже лапочка, и вся семья чудо, и дети...» Стар не владел этим

модным наречием. И не находил нужных слов.

— Вы совершенно правы, — только и сказал он, пока они шли к лифту.

— Неужели сознаетесь?

— Нет, конечно. Мне просто нравится ваша цельность, вы гармонично созданы — слова, походка, ваш облик в эту самую минуту… — Она чуть смягчилась, и в нем вновь зародилась надежда. — Завтра воскресенье. Обычно я в выходные работаю, но если вам интересен Голливуд, хотите здесь с кем-то встретиться или поговорить — я с удовольствием все устрою.

Они подошли клифту; двери открылись, но Кэтлин осталась на месте.

— А вы скромны, — заметила она. — Только и говорите что о студии и предлагаете прогуляться по Голливуду. Вы когда-нибудь бываете один?

— Завтра мне будет очень одиноко.

— Ах, бедняжка, жаль до слез. Перед ним готовы плясать чуть не все кинозвезды, а он выбирает меня.

Стар не сдержал улыбки — сам ведь подставился под удар.

Вновь открылись двери, Кэтлин сделала знак лифтеру подождать.

— Я слабая женщина. Если мы встретимся

завтра, разве вы оставите меня в покое? Нет, разумеется. Сделаете только хуже, ничего хорошего не выйдет. Поэтому — вот мое решение: нет. И спасибо.

Она вошла в лифт, Стар шагнул за ней — оба улыбнулись. Лифт скользнул на два этажа вниз, в большой холл, пересеченный крест-накрест киосками и магазинчиками. В конце, сдерживаемая полицией, бурлила толпа, чьи-то головы и плечи норовили сунуться в проход. Кэтлин вздрогнула.

— Когда я пришла, на меня так странно смотрели. Будто злились, что я не знаменитость.

— Я знаю другой путь, — сказал Стар.

Они пробрались через закусочную, прошли по аллее — и очутились у автомобильной стоянки. Их окружала ясная и прохладная калифорнийская ночь, танец остался позади, и оба это почувствовали.

— Здесь жили знаменитости, — указал Стар. — Вон в тех бунгало — Джон Бэрримор и Пола Негри. А там, в высокой башне за дорогой, — Конни Талмадж.

— А сейчас тут кто-нибудь живет?

— Вместе со студиями все перебрались в пригороды… то есть в бывшие пригороды. Но и здесь я когда-то бывал счастлив.

Он не сказал, что там же, за дорогой, жила когда-то Минна с матерью.

— Сколько вам лет? — вдруг спросила Кэтлин.

— Едва помню. Скоро тридцать пять, видимо.

— Там, за столом, вас назвали юным гением.

— Меня так будут звать и в шестьдесят, — мрачно усмехнулся Стар. — Мы завтра увидимся? Вы придете?

— Увидимся. Где?

Вдруг оказалось, что встречаться негде. Кэтлин не хотела ни на частную вечеринку, ни за город, ни на пляж — хотя и посомневалась, — ни в модный ресторан. Стар понимал, что это не каприз, и со временем надеялся узнать причину. Если вдруг она дочь или сестра кого-то из знаменитостей, то ее могли попросить держаться дальше от публики.

Он предложил за ней заехать и уж тогда решить.

— Нет, не нужно, — ответила она. — Давайте здесь же, на этом месте.

Стар кивнул, указывая на арку, под которой они стояли.

Он помог Кэтлин сесть в автомобиль — за который щедрый перекупщик дал бы долларов восемьдесят — и поглядел вслед, когда машина,

поскрипывая, отъехала. Толпа у входа разразилась криками при виде очередной знаменитости, и Стар постоял, раздумывая, стоит ли идти наверх прощаться.

Я, Сесилия, вновь рассказываю от своего имени. Стар в конце концов вернулся — чуть ли не в полчетвертого — и пригласил меня танцевать.

— Как дела? — спросил он, словно мы и не виделись утром. — Я тут выходил поговорить со знакомым, задержался.

Он хотел сохранить тайну — значит, встреча значила для него много.

— Прокатил его по окрестностям, — невинно продолжал он. — Даже не думал, что Голливуд так изменился.

— Неужели?

— Еще бы! Невозможно узнать. Сразу и не скажешь, в чем отличие, но изменился совершенно. Будто новый город на старом месте. — Он помолчал и добавил: — Я даже не представлял, насколько изменился.

— А что за знакомый? — отважилась поинтересоваться я.

— Старый приятель, — неопределенно ответил Стар. — Напоминание о былом.

Уайли по моей просьбе уже пытался незаметно

расспросить о незнакомке. Увядшая звезда, завидев поблизости Уайли, оживилась и усадила его рядом. Нет, с девушкой она не знакома — приятельница каких-то друзей, даже пришедший с ней кавалер толком ничего не знал…

А теперь мы со Старом танцевали под чудесное «Я на качелях» Гленна Миллера. Толпа частично рассеялась, танцевать стало свободнее, однако зал выглядел безжизненным — более тусклым и одиноким, чем до ухода Кэтлин. Мне, как и Стару, казалось, что она унесла с собой все — включая пронзительную боль, не отпускавшую меня раньше, — оставив бальный зал опустелым и сонным. Все кончилось, и я просто танцевала с усталым человеком, который рассказывал мне, как изменился Лос-Анджелес.

На следующий день, после полудня, они встретились — два незнакомца в чужой стране. Ночь минула, исчезла и та женщина, которую он вел в танце: с террасы к Стару спустилась дымчатая розово-голубая шляпка с легкой вуалью. Стар тоже был не тот — в коричневом костюме с черным галстуком он выглядел более осязаемым, чем вчера в официальном смокинге или тогда, в ночь землетрясения, когда во тьме возникли лишь его лицо и голос.

Он первым узнал в ней ту, прежнюю: сливочная кожа на висках и волны переливчатых, неярко-каштановых волос все также напоминали Минну. И объятие, случись ему протянуть руку, было бы привычным — она уже была ему знакома: и мягкий пушок на затылке, и линия спины, и дыхание, и уголки глаз, и ткань платья.

— Вы ждали здесь всю ночь? — прошелестел тихий голос.

— Не сходил с места. Даже не пошевелился.

Впрочем, затруднение оставалось все то же — им некуда было идти.

— Не выпить ли чаю? — предложила Кэтлин. — Где-нибудь, где вас не знают.

— Можно подумать, что у кого-то из нас дурная репутация.

— И вправду, — засмеялась она.

— Поедем на берег. Я как-то был в ресторане, где за мной погнался дрессированный морской лев.

— Неужели он и чай готовит?

— Ну, он ведь дрессированный. И к тому же не говорящий — дрессировка так далеко не зашла. Что же вы все-таки пытаетесь скрыть?

— Наверное, будущее, — не сразу ответила она. Беспечно брошенные слова могли значить что угодно — или не значить ничего.

Пока Стар выруливал со стоянки, Кэтлин указала на свою машину:

— Ей здесь ничего не грозит?

— Как сказать. Тут постоянно рыщут подозрительные чернобородые иностранцы, сам видел.

— Правда? — тревожно взглянула на него Кэтлин и тут же увидела, что он улыбается. — Верю каждому вашему слову. У вас такое мягкое обхождение — не понимаю, почему вас боятся.

Она окинула его одобрительным взглядом, с тревогой отметив его бледность, еще более заметную под ярким солнцем.

— Вы много работаете? И по выходным — неужели всегда?

— Не всегда, — ответил Стар: вопрос ее, хоть и нейтральный, прозвучал искренне. — Когда-то у нас… у нас был дом с бассейном и прочими разностями, по воскресеньям приходили гости. Я играл в теннис и плавал. Но потом бросил.

— Почему? Вам полезно. Мне казалось, американцы не могут без плаванья.

— Ноги ослабли несколько лет назад, меня это стесняло. Я много чем занимался: играл в ручной мяч еще мальчишкой и позже, уже здесь. У меня был корт, его потом смыло штормом.

— Вы хорошо сложены. — Простая любезность;

Кэтлин лишь подразумевала, что он сложен с тонким изяществом.

Стар мотнул головой, словно отметая комплимент.

— Больше всего я люблю работать. Для этого я и создан.

— Вы всегда хотели делать кино?

— Нет. В детстве я мечтал быть старшим конторщиком — который точно знает, где что лежит.

— Забавно, — улыбнулась Кэтлин. — Вы давно переросли ту мечту.

— Нет, я по-прежнему старший конторщик. Если я и талантлив, то именно в этом. Просто когда я им стал, вдруг выяснилось, что никто не знает точного места для каждой вещи. И пришлось разбираться, почему она там лежит и нужно ли ее трогать. На меня навешивали все больше, обязанности становились сложнее. Вскоре у меня скопились уже все ключи, и вздумай я их вернуть остальным — никто бы не вспомнил, какие замки ими открываются.

Они остановились у светофора, мальчишка-газетчик проблеял: «Убийство Микки-Мауса! Рэндольф Херст объявляет войну Китаю!»

— Придется купить, — сказала Кэтлин.

Когда они тронулись, Кэтлин поправила шляпу

и пригладила волосы. Увидев, что Стар за ней наблюдает, она улыбнулась.

Она была сосредоточенной и спокойной — редкие качества по тем временам: усталость и скука сделались обычным явлением, в Калифорнию стекались отчаявшиеся искатели легкой доли. Молодежь обоих полов, мыслями оставаясь в родных восточных штатах, из последних сил вела безнадежную войну против калифорнийского климата. Сохранять постоянный, ровный ритм работы здесь удавалось с трудом — даже Стар едва смел себе в этом признаться. Зато в приезжих ему часто приходилось замечать короткий прилив новой энергии.

Стар и Кэтлин теперь общались приятельски. Любое ее движение и жест оставались в согласии с ее красотой — все мелочи сливались в цельный облик. Глядя на нее, он словно оценивал съемочный кадр, и уже знал, что кадр удался. Она была естественна, непринужденна и — в том смысле, который он вкладывал в это слово, подразумевая ладность, утонченность и соразмерность — она была «хороша».

Они доехали до Санта-Моники, где виднелись роскошные особняки дюжины кинозвезд, тесно вдавленные в бойкое многолюдье Кони-Айленда.

Стар свернул к подножию холма, к бескрайнему синему небу и морю, и повел машину вдоль пляжа; берег, выскользнув из-под купальщиков, потянулся перед ними изменчивой — то широкой, то узкой — желтой полосой.

— Я строю здесь дом, — сообщил Стар. — Дальше по дороге. Не знаю зачем.

— Может, для меня?

— Может быть.

— Какая щедрость — выстроить для меня особняк, никогда меня не видя.

— Для особняка он невелик. И крыши еще нет. Я ведь не знал, какую вам захочется.

— Разве нам нужна крыша? Мне говорили, здесь не бывает дождей. Здесь…

Кэтлин резко умолкла — из-за воспоминаний, понял Стар.

— Не обращайте внимания, — обронила она. — Прошлое.

— Тоже дом без крыши?

— Да. Тоже дом без крыши.

— Вы были счастливы?

— Мы жили вместе долго — слишком долго. Мучительная ошибка, обычная для многих. Я хотела уйти, он не мог смириться, все слишком затянулось. Он бы и хотел меня отпустить, да не

находил сил. И я просто сбежала.

Стар слушал — взвешивая, но не осуждая. Под розово-голубой шляпкой ничего не переменилось. Кэтлин лет двадцать пять — немыслимо представить, чтобы она никогда не любила и не была любимой.

— Мы были слишком близки, — продолжала она. — Наверное, отвлечь нас друг от друга сумели бы дети, но в доме без крыши не бывает детей.

Наконец-то он хоть что-то о ней знал, и вчерашний внутренний голос не будет твердить, как на сценарном совещании: «С героиней полная неизвестность — не нужно детальной анкеты, но дайте хоть штрих». Теперь за ней реяло туманное прошлое, чуть более ощутимое, чем голова Шивы в лунных лучах.

Площадку вокруг ресторана, к которому они подъехали, загромождали автомобили многочисленных воскресных посетителей; дрессированный морской лев зарычал на Стара, вспомнив давнее знакомство. Хозяин морского льва сказал, что тот не терпит ездить на заднем сиденье и всегда перелезает вперед через спинку кресла — было ясно, что хозяин, сам того не понимая, позволяет льву собой помыкать.

— Я бы взглянула на дом, который вы строи-

те, — заметила Кэтлин. — Мне не хочется чаю. Чай — прошлое.

Она выпила кока-колы, и они тронулись дальше. Через десять миль солнце ослепило глаза, Стар достал две пары очков. Еще через пять миль машина свернула к небольшому мысу и подъехала к коробке дома.

Ветер, веющий со стороны солнца, швырял брызги на прибрежные камни, сыпал водяной пылью над машиной. Бетономешалка, желтые доски и груда строительных камней, приготовленные к рабочей неделе, на фоне морского пейзажа выглядели рваной раной. Стар и Кэтлин обогнули фасад дома, где на месте будущей террасы громоздились огромные булыжники.

Кэтлин взглянула на плоские холмы за спиной, слегка поморщилась от яркого сияния — и Стар увидел…

— Незачем искать то, чего нет, — легко сказал он. — В детстве я всегда мечтал иметь глобус — представьте, будто вы стоите на его поверхности.

— Понимаю, — ответила она чуть погодя. — Тогда чувствуешь, как земля вращается, да?

— Да, — кивнул он. — А иначе это всего лишь *mañana*, пустое ожидание зари или лунного

восхода.

Они вошли под строительные леса. Одна комната — будущая главная гостиная — была совсем готова, вплоть до встроенных книжных полок, гардинных карнизов и люка в полу для кинопроектора. К удивлению Кэтлин, дальше открывалась веранда: кресла с подушками, стол для пинг-понга. Второй такой же стоял посреди свежепостланного дерна за домом.

— Неделю назад я давал здесь что-то вроде репетиции обеда, — объяснил Стар. — И взял реквизит — траву, мебель. Хотелось представить, как дом будет смотреться в готовом виде.

Кэтлин засмеялась.

— Значит, трава бутафорская?

— Нет, почему же. Обычная.

Позади полоски земли — будущего газона — открывался раскоп под бассейн, облюбованный пока чайками, которые при виде людей всей стаей снялись с места.

— Вы намерены жить здесь в одиночку? — спросила Кэтлин. — Даже танцовщицу не заведете?

— Скорее всего. Время, когда я строил планы, уже прошло. Я надеялся, что здесь удобно будет читать сценарии. А домом мне служит студия.

— Да, об американских бизнесменах мне так и

рассказывали.

Он уловил неодобрительную нотку в ее голосе.

— Заниматься нужно тем, для чего ты рожден, — негромко произнес он. — Едва ли не каждый месяц кто-то берется меня перевоспитывать — рассказывает, как скучна будет старость, когда я отойду от дел. Однако все не так просто.

Поднимался ветер, пора было уезжать; Стар, вынув из кармана ключи от машины, рассеянно вертел их в руке. Вдруг откуда-то из залитого солнцем пространства донесся серебристый оклик телефона.

Звонило не в доме, и Стар с Кэтлин заметались по саду, как дети, играющие в «холодно-горячо», пока не добрались до будки с инвентарем, поставленной у теннисного корта. Заждавшийся телефон недоверчиво взлаивал на них со стены. Стар помедлил.

— Может, не отвечать?

— Я бы не смогла. Если не знаю, кто на проводе, — всегда отвечаю.

— То ли перепутали номер, то ли звонят наудачу.

Стар снял трубку.

— Алло… Междугородный откуда? Да, меня зовут Стар.

Его манера резко изменилась — Кэтлин увидела то, что за последний десяток лет открывалось лишь немногим: Стар был впечатлен. Он по-прежнему выглядел непринужденно — изображать сильные впечатления ему случалось нередко, — но на миг словно помолодел.

— Это президент, — сказал он Кэтлин нарочито бесстрастно.

— Вашей компании?

— Нет, президент Соединенных Штатов.

Он старался казаться равнодушным, однако голос звучал взволнованно.

— Хорошо, я подожду, — сказал он в трубку и обернулся к Кэтлин: — Я с ним уже говорил.

Кэтлин наблюдала. Стар улыбнулся и подмигнул — дескать, я пока занят, но вас не забываю.

— Алло, — сказал он чуть погодя, прислушался и вновь повторил: — Алло… Нельзя ли громче? — Сдвинув брови, он вдруг переспросил: — Кто?.. Что вам надо?

Кэтлин увидела, как его лицо исказилось отвращением.

— Я не желаю с ним говорить, — бросил он. — Нет!

Стар повернулся к Кэтлин.

— Верьте или нет, это орангутанг. — Он выждал,

пока на том конце провода ему что-то пространно объясняли, и повторил: — Я не собираюсь с ним говорить, Лью. У меня нет общих тем для бесед с орангутангами.

Стар подозвал Кэтлин и повернул к ней трубку — там что-то пыхтело и бормотало, а затем послышался голос:

— Монро, это не розыгрыш, он вправду говорящий! И как две капли воды похож на президента Маккинли! Рядом со мной стоит мистер Хорас Уикершем с портретом Маккинли…

— У нас уже был шимпанзе, — ответил Стар, внимательно выслушав до конца. — В прошлом году он отхватил солидный кусок от Джона Гилберта… Ну хорошо, дай ему трубку.

Стар попытался говорить церемонно, как с ребенком:

— Привет, орангутанг.

Он удивленно повернулся к Кэтлин.

— Он сказал «привет»…

— Спросите, как его зовут, — предложила Кэтлин.

— Привет, орангутанг… Боже, подумать только… Как твое имя?.. Нет, видимо, не знает… Послушай, Лью, мы не снимаем ничего в духе «Кинг-Конга», а в «Косматой обезьяне» нет

обезьян… Уверен, конечно. Извини, Лью. До свиданья.

Он злился на Лью: поверив, что звонит президент, Стар переменил манеру, будто и впрямь настроился говорить с президентом. Теперь он чувствовал себя неловко, однако Кэтлин поняла и прониклась к нему даже большей симпатией из-за того, что в трубку говорил всего лишь орангутанг.

Они ехали обратно вдоль берега, солнце светило в спину. Оставленный дом казался радушнее, будто согретый их приездом: они уже не были пленниками этого сияющего лунного ландшафта, блеск воспринимался теперь легче. С изогнутой кромки берега открылось розовеющее небо над замершими в нерешительности стенами, и мыс выглядел отсюда приветливым островом, который не прочь когда-нибудь вновь приютить их на время.

После пестрых хижин и рыбацких баркасов Малибу они вновь угодили в людскую гущу: дорога была забита машинами, а пляжи напоминали бесформенные муравейники, рядом с которыми густо роились в море темные мокрые головы.

Теперь на глаза попадался городской реквизит: покрывала, циновки, зонтики, примусы, сумки с

одеждой — оковы, сложенные на песок пленниками. Море принадлежало Стару — оставалось лишь вступить во владение или определить, что с ним делать, — остальным лишь из милости дозволялось омочить ладони и ступни в прохладе природного резервуара, расположенного в мире людей.

Свернув с прибрежной дороги и поднявшись по склону каньона, Стар выехал на верх холма, уже слившегося с городом. Людская толпа теперь копошилась позади. У бензоколонки он притормозил заправиться.

— Поужинаем вместе? — чуть ли не с волнением проговорил он, стоя рядом с машиной.

— У вас есть работа на сегодня.

— Нет, я ничего не планировал. Поужинаем?

Он знал, что вечер у нее тоже свободен — ни встреч, ни назначенных дел.

— Может, поесть в закусочной напротив? — нашла она компромисс.

Стар оценивающе поглядел через дорогу.

— Вы и вправду туда хотите?

— Я люблю американские закусочные — в них так непривычно и забавно.

Сидя на высоких табуретах, они ели суп из помидоров и горячие бутерброды. Почему-то их это

сблизило больше, чем все предыдущее; оба чувствовали опасное одиночество и угадывали его друг в друге, странно объединенные и запахами кухни — горькими, кисловатыми, сладкими, — и зрелищем загадочной официантки — брюнетки с высветленными лишь частично прядями, — и финальным натюрмортом на опустевших тарелках: картофельный ломтик, кружок маринованного огурца, косточка оливки.

Сгущались сумерки, теперь ничего не стоило улыбнуться ему в машине.

— Я вам очень благодарна, хороший получился день.

Они приближались к дому Кэтлин: дорога пошла от подножия холма вверх, и усилившийся гул двигателя на второй передаче звучал предвестием конца. Бунгало вдоль склона оделись огнями, Стар включил фары. Тоскливо сосало под ложечкой.

— Мы еще увидимся…

— Нет, — мгновенно откликнулась она, будто ожидала. — Я вам напишу. Извините, что напустила таинственности: это только к лучшему, вы мне слишком нравитесь. Постарайтесь работать поменьше. И обязательно женитесь.

— Ну зачем же так, — запротестовал Стар. — Це-

лый день мы были вдвоем — лишь вы и я. Может, для вас это ничто, а для меня очень важно. И я еще не успел вам об этом сказать.

Однако продолжать беседу — значило войти в дом: они уже подъехали к крыльцу.

— Мне пора, — покачала головой Кэтлин. — У меня назначена встреча, я просто не говорила.

— Неправда. Но ничего не поделаешь.

Он дошел с ней до двери и остановился на крыльце, еще помнящем отпечатки его вчерашних следов. Кэтлин рылась в сумочке, ища ключ.

— Нашли?

— Нашла.

Оставалось лишь войти — но она, желая взглянуть на Стара еще раз, склонила голову влево, потом вправо, пытаясь рассмотреть его лицо в последних отсветах сумерек. Она медлила слишком долго, и его ладонь сама собой скользнула к ее плечу — он обнял Кэтлин, прижал лицом к своей шее, отгородив от света. Стиснув ключ в руке, она закрыла глаза; до него донеслось то ли восклицание, то ли вздох — и еще вздох, когда он притянул ее ближе и коснулся подбородком щеки, мягко разворачивая лицо к себе. Оба чуть улыбнулись, она слегка нахмурилась — и последний дюйм между ними растаял в темноте.

Когда они оторвались друг от друга, Кэтлин покачала головой — скорее в знак удивления, чем отрицания. В ее голове пронеслось: лишь себя и винить, все сложилось давно, только когда? Мысль о том, что нужно разорвать объятие, с каждым мигом становилась ей все тягостнее и невыносимее. Стар торжествовал — это добавляло ей мук, но она не могла ни осуждать его, ни участвовать в торжестве, которое ощущала как поражение. Однако ей пришло в голову, что если не признать поражения, разорвать объятие и уйти в дом — поражение не обернется победой. Значит, разницы нет.

— Я не хотела, — проговорила Кэтлин. — Вовсе не хотела.

— Можно мне войти?

— Нет! Нет…

— Тогда скорее в машину, бежим отсюда.

Она с облегчением зацепилась за нужное слово: бегство воспринималось спасительным выходом, словно ей надо скрыться с места преступления. Они очутились в машине; дорога шла вниз по склону холма, встречный ветер обдавал прохладой, и Кэтлин постепенно пришла в себя. Теперь все виделось ясно, как в черно-белом кино.

— Вернемся на берег, в ваш дом, — сказала она.

— На берег?

— Да, к вам. И не надо слов. Пусть будет только дорога.

Когда они выехали на берег, небо резко посерело, у Санта-Моники их настиг внезапный ливень. Стар остановился на обочине и, накинув плащ, поднял брезентовый верх.

— Теперь у нас есть крыша, — улыбнулся он.

«Дворник» на лобовом стекле уютно тикал, как старые напольные часы, навстречу то и дело попадались угрюмые машины, сворачивающие к городу от мокрых пляжей. Позже берег затянуло туманом, и края дороги сделались неразличимы; встречные фары словно зависали неподвижно в воздухе, лишь в последний миг вспыхивая совсем рядом.

Стару и Кэтлин, бросившим часть себя в прошлом, теперь стало легко и вольно. В щели сочился туман; Кэтлин спокойным, медленным жестом, приковавшим все внимание Стара, сняла розово-голубую шляпу и положила ее под ремень на заднем сиденье. Встряхнув волосами, она перехватила взгляд Стара и улыбнулась.

Ресторан с дрессированным морским львом маячил на берегу ярким сгустком света. Стар, опустив боковое стекло, вглядывался в дорогу; через

несколько миль туман рассеялся, дорога свернула к дому на мысе. Здесь из-за облаков светила луна, над морем реял неверный сумеречный свет.

Дом за это время словно распался на отдельные части: мокрые брусья дверной коробки, нагромождение непонятных предметов высотой по пояс, на которые Стар и Кэтлин натыкались по пути в единственную отделанную комнату. Здесь пахло опилками и влажным деревом, и когда Стар обнял Кэтлин, в полутьме они различали лишь глаза друг друга. Через минуту плащ упал на пол.

— Подожди. — Она не хотела спешить. Пусть ее переполняли счастье и желание, однако вся эта история ничего не сулила — и Кэтлин пришлось остановиться на миг: вспомнить начало, вернуться на час назад и понять, как же все произошло. Замерев, она слегка повела головой из стороны в сторону — как прежде, только медленнее, не отрывая взгляда от его лица. И почувствовала, как его охватывает дрожь.

Он понял это и ослабил объятие; Кэтлин тут же заговорила — резко, призывно — и притянула его лицо к своему. Обнимая Стара одной рукой, она движением колен сбросила что-то и откинула прочь. Стар, уже не дрожа, вновь обнял ее

— и вместе они опустились на пол, покрытый плащом.

Потом они молча лежали; Стар, переполненный любовью и нежностью, сжимал ее в объятиях так, что треснул стежок на платье — легкий звук вернул их к реальности.

— Вставай, я помогу, — шепнул он, беря Кэтлин за руки.

— Подожди, не сбивай с мысли.

Лежа в темноте, она бесцельно думала о том, каким талантливым и неутомимым будет ребенок, — и через некоторое время протянула руки, чтобы Стар ее поднял.

Когда она вернулась, комнату освещала электрическая лампочка.

— Одноламповая система, — объяснил Стар. — Выключить?

— Нет, так хорошо. Хочу тебя видеть. Они уселись на дубовом подоконнике, соприкасаясь подошвами.

— Ты кажешься таким далеким… — шепнула Кэтлин.

— Ты тоже.

— Удивительно, правда?

— Что именно?

— Что нас опять двое. С тобой тоже так? Ду-

маешь и даже надеешься, что получится быть одним нераздельным, а потом оказывается, что вас все-таки двое.

— Ты мне очень близка.

— Ты мне тоже.

— Спасибо.

— И тебе спасибо.

Оба засмеялись.

— Ты этого и хотел? Вчера вечером?

— Неосознанно.

— Интересно, когда все решилось, — задумчиво проговорила она. — Вроде бы ходишь и знаешь, что ничего не будет. А потом вдруг раз — и оказывается, что это судьба. И иначе никак, хоть весь мир перевернись.

В ее словах звучала опытность; Стар, к своему удивлению, обнаружил, что такая Кэтлин ему нравится даже больше. Настроенный заново прожить — а не повторить — прошлое, он признал, что так и должно быть.

— Во мне много от шлюхи, — ответила она его мыслям. — Видимо, потому я и не распознала Эдну.

— Какую Эдну?

— Ту, кого ты принял за меня. Ты ей звонил. Она жила напротив, только теперь переехала в

Санта-Барбару.

— Она и вправду шлюха?

— Да. У вас это называется «девушка по вызову».

— Забавно.

— Будь она англичанкой, я бы сразу ее раскусила. А здесь она не отличалась от прочих. Призналась мне только перед отъездом.

Заметив, что Кэтлин зябко повела плечами, Стар встал и укутал ее плащом. Затем открыл шкаф, на пол вывалились подушки и пляжный матрац. Нашлась и упаковка свечей; Стар зажег их по всей комнате, а на место лампочки присоединил обогреватель.

— Почему Эдна меня боялась? — вдруг спросил он.

— Потому что ты продюсер. С ней приключилась когда-то неприятность — с ней или с подружкой. А еще она непроходимо глупа.

— А как вы познакомились?

— Она зашла в гости, по-соседски. Может, увидела во мне такую же падшую сестру, не знаю. Вполне милая, все повторяла: «Зови меня Эдной, ну пожалуйста, называй просто по имени», — в конце концов мы стали общаться.

Кэтлин поднялась с подоконника — Стар усти-

лал его подушками.

— Помочь? — спросил она, когда он подкладывал подушку ей под спину. — Сижу и бездельничаю.

— Неправда. — Он привлек ее к себе. — Не вставай, сейчас согреешься.

Они помолчали.

— Я знаю, почему ты меня заметил, — сказала она чуть погодя. — Эдна доложила.

— Что доложила?

— Что я похожа… на Минну Дэвис. Мне и раньше говорили.

Он чуть отстранился и кивнул.

— Вот здесь. — Она тронула скулы и чуть сжала пальцами щеки. — Здесь и здесь.

— Да. Так странно… Ты похожа на нее настоящую, на экране она была другой.

Кэтлин встала — словно боялась продолжать тему.

— Я уже согрелась.

Она подошла к шкафу и заглянула внутрь, затем вернулась в коротком переднике с прозрачными снежинками и критически оглядела комнату.

— Все ясно, мы только что вселились. Потому-то в комнате гулко.

Она открыла дверь на веранду и внесла внутрь

два плетеных кресла, смахнув с них дождевые капли. Стар следил за ней неотрывно, все еще опасаясь, как бы случайный неверный жест не разрушил очарования. Просматривая актерские пробы, он не раз наблюдал, как прекрасное женское тело, похожее на безупречную статую, вдруг обретает шарнирную грацию картонной куклы — и красота меркнет на глазах. Однако Кэтлин двигалась пластично и уверенно, хрупкость была — как и положено — лишь кажущейся.

— Дождь перестал, — сообщила Кэтлин. — В день моего приезда тоже был ливень. Ревело так, будто ржал табун коней.

— Привыкнешь, — засмеялся Стар. — Особенно если ты здесь надолго. Ты собираешься остаться? Теперь-то можешь сказать? В чем таинственность?

Кэтлин покачала головой:

— Не сейчас — оно того не стоит.

— Тогда иди ко мне.

Она подошла, и он прижался щекой к прохладной ткани передника.

— Ты устал. — Она запустила пальцы в его волосы.

— Не в этом смысле.

— Конечно, — торопливо согласилась Кэт-

лин. — Я о том, что если будешь столько работать — здоровье не выдержит.

— Не веди себя по-матерински.

«Будь шлюхой», — добавил он мысленно. Его тянуло сломать инерцию жизни: если смерть так близка, как утверждали двое его врачей, то надо на время перестать быть Старом, надо добиваться любви, как другие — бесталанные, безымянные юнцы, вглядывающиеся в женщин на вечерних улицах.

— Снимаешь с меня передник? — мягко сказала она.

— Да.

— Вдруг по берегу кто-то пойдет? Может, погасить свечи?

— Не надо, пусть горят.

…Позднее, лежа на белой подушке, она улыбнулась.

— Чувствую себя Венерой на створке раковины.

— Почему?

— Только взгляни — чем не Боттичелли?

— Не знаю, — улыбнулся он. — Раз ты говоришь — верю.

Она зевнула.

— Такой чудесный день. И ты такой замеча-

тельный.

— Ты много знаешь, да?

— Ты о чем?

— Чувствуется по твоим словам. Или скорее по манере.

Кэтлин помолчала.

— Знаний у меня не так уж много, — наконец ответила она. — Университетов я не заканчивала. Но тот, с кем я жила, знал все на свете и порывался обучить меня наукам. Планировал занятия, записывал меня на лекции в Сорбонне, водил по музеям. Так я и набралась разного.

— Кто он был?

— Что-то вроде художника. И еще скандалист, горячий нравом. Всего не перечислишь. Хотел, чтобы я прочла Шпенглера, добивался как одержимый. История, философия, гармония — все ради того, чтобы перейти к Шпенглеру. Впрочем, до него мы не добрались, я сбежала раньше. Не удивлюсь, если из-за Шпенглера он и не хотел меня отпускать.

— Кто такой Шпенглер?

— Говорю же — до него мы не добрались, — засмеялась Кэтлин. — А теперь я усиленно стараюсь все забыть: вряд ли мне еще встретится такой же любитель наук.

— Зачем же забывать, — потрясенно выговорил Стар, чье глубокое почтение к учености было унаследовано от поколений предков, взращенных в синагогах. — Не вздумай!

— Вся эта наука была просто заменой детям.

— Научишь ей детей.

— Думаешь, смогу?

— Конечно. Дашь им знания с самого детства. Мне, например, все приходится выяснять у вечно пьяных сценаристов. Так что от знаний не отказывайся.

— Хорошо. — Она поднялась. — Научу детей. Правда, конца этому нет: чем больше знаешь, тем больше открывается неизведанного. Тот любитель Шпенглера мог бы стать кем угодно, не будь он глупцом и трусом.

— Однако ты его любила.

— Да, очень. — Кэтлин выглянула в окно, прикрыв глаза ладонью. — Откуда-то свет на берегу. Пойдем посмотрим?

Стар даже подпрыгнул.

— Это же атерина-грунион!

— Что?

— Сегодня срок! В газетах писали! — Он выскочил за дверь, хлопнула дверца машины, Стар тут же вернулся с газетой. — В десять шестнадцать.

Через пять минут.

— Затмение или что-то в этом роде?

— Нет, невероятно пунктуальная рыба. Оставь чулки и туфли, пойдем.

Ясное вечернее небо сделалось темно-синим, наступало время прилива, и мелкие серебристые рыбки качались на береговой волне, дожидаясь шестнадцати минут одиннадцатого. Через две-три секунды после назначенного срока волны уже кишели рвущимися на берег рыбешками, и Стар с Кэтлин переступали босыми ногами через изгибающиеся на песке тела. Подошедший откуда-то негр собирал рыбу в два ведра, как хворост. Рыбы выбрасывались на берег и по две-три, и взводами, и ротами, упорные и ликующие, полные презрения к босоногим чужакам, стоящим на берегу, — точно так же они выбрасывались веками до того, как сэр Фрэнсис Дрейк прибил здесь медную табличку к береговой скале.

— Мне бы еще ведро, — пожаловался негр, остановившись перевести дух.

— Неблизко вам сюда добираться, — заметил Стар.

— Я, бывало, ездил в Малибу, да тамошние киношники нас не жалуют.

Нахлынувшая волна качнула всех назад и тут

же отступила, вновь оставив на берегу живой покров из выгибающихся рыб.

— Доход от этого есть?

— Я не за выгодой. Прихожу сюда читать Эмерсона. Знаете такого?

— Я знаю, — ответила Кэтлин. — Читала кое-что.

— За пазухой вот держу. У меня и розенкрейцерские писания при себе, да наскучили уже.

Ветер сменился, волны усилились, все трое теперь шли вдоль пенной кромки прибоя.

— А у вас что за работа? — спросил негр Стара.

— Я делаю фильмы.

— А, вот оно как. — Негр помолчал. — Никогда не хожу в кино.

— Почему? — резко откликнулся Стар.

— Без толку. И детей не пускаю.

Кэтлин, готовая вступиться за Стара, не спускала с него глаз, пока он разглядывал негра.

— Фильмы бывают и хорошими, — заметила она, но слова заглушило шумом прибоя, и негр не услышал. Желая настоять на своем, она повторила, на этот раз удостоившись лишь равнодушного взгляда.

— Розенкрейцеры не одобряют кино? — спросил Стар.

— Они сами не знают, чего хотят. Нынче говорят одно, через неделю другое.

Одни лишь рыбешки знали свое предназначение — все прибывали и прибывали, хотя прошло уже полчаса. Негр с полными до краев ведрами побрел наконец к дороге — не подозревая, что ему удалось пошатнуть целую индустрию.

Стар с Кэтлин двинулись обратно к дому.

— Бедняга Самбо, — сказала Кэтлин, пытаясь развеять охватившую Стара задумчивость.

— Что?

— Разве вы не зовете негров «бедняга Самбо»?

— Мы их никак не зовем. — Стар помолчал. — У них свое кино.

В доме Кэтлин устроилась у обогревателя и принялась натягивать чулки и туфли.

— Теперь мне Калифорния нравится больше, — неторопливо произнесла она. — Я, кажется, успела изголодаться по сексу.

— Разве у нас был только секс?

— Сам знаешь, что нет.

— Мне с тобой хорошо.

Она поднялась с легким вздохом — настолько легким, что Стар его не заметил.

— Я не хочу тебя терять, — признался он. — Не знаю, что ты обо мне думаешь и думаешь ли

вовсе. Наверняка догадываешься, что сердце мое умерло… — Он помедлил, раздумывая, не солгал ли. — Красивее тебя я никого не встречал уже не помню сколько лет. Не знаю цвета твоих глаз, но мне жаль весь мир…

— Прекрати, прекрати! — засмеялась Кэтлин. — Иначе я неделями не оторвусь от зеркала. У моих глаз нет цвета — мне они нужны, чтобы видеть. И я совершенно обыкновенная. Зубы неплохи для англичанки…

— Они превосходны.

— …но я и в подметки не гожусь здешним красавицам…

— А вот теперь сама прекрати! — перебил ее Стар. — Я говорю правду — и обычно не бросаю слов на ветер.

Кэтлин замерла на миг, словно вслушиваясь в себя. Взглянула на Стара, затем снова внутрь себя — и отбросила мысль прочь.

— Пора ехать, — только и сказала она.

Трогаясь в обратный путь, Стар и Кэтлин уже не походили на себя прежних. Береговой дорогой они проезжали сегодня в четвертый раз, и каждый раз были новой парой. Любопытство, грусть, влечение остались позади, нынешний путь был истинным возвращением — к себе, к

собственному прошлому и будущему, к неминуемо близящемуся завтрашнему дню. В машине Кэтлин по просьбе Стара села к нему теснее, но между ними уже не чувствовалось прежней близости — ведь чтобы не исчезнуть, близость должна расти, ничто не остается неизменным. Стар хотел было пригласить Кэтлин переночевать в доме, который для себя снимал, но побоялся выглядеть в ее глазах слишком уж одиноким. На склоне холма, почти у дома Кэтлин, она пошарила рукой за подушкой сиденья.

— Что-то потеряла?

— Наверное, он выпал. — В темноте она ощупью перебирала содержимое сумочки.

— Выпал?

— Конверт.

— Что-то важное?

— Нет, так просто.

Однако у дома, когда Стар включил свет на приборном щитке, Кэтлин помогла ему вытащить подушки и вновь оглядела машину.

— Ничего особенного, — уверила она его по пути к крыльцу. — По какому адресу ты живешь?

— Называется просто «Бель-Эр», дом без номера.

— А где этот Бель-Эр?

— В новом районе рядом с Санта-Моникой. Но проще застать меня на студии.

— Что ж… спокойной ночи, мистер Стар.

— «Мистер»? — удивился он.

— Хорошо, тогда спокойной ночи, Стар, — мягко поправилась она. — Так лучше?

Его будто слегка оттолкнули.

— Как хочешь. — Он пытался не поддаться отчужденности и, по-прежнему глядя на Кэтлин, повел головой из стороны в сторону ее собственным движением, словно говоря: «Ты ведь знаешь, что со мной происходит». Кэтлин вздохнула, подчинилась его объятию — и вновь стала принадлежать ему одному. Прежде чем миг ушел, Стар шепнул «спокойной ночи» и, отпустив ее, направился к машине.

Спускаясь с холма, он прислушивался к чему-то в себе — словно в нем готовилась зазвучать мощная, властная и прежде незнакомая мелодия, сочиненная неведомым автором. Авторы менялись, каждый раз все бывало по-новому, и лейтмотив, который вот-вот оформится, он в первый миг даже не сумеет распознать. Музыка может возникнуть из рева автомобильных клаксонов на ярких, как в цветном кино, бульварах, или легко коснуться слуха еле слышным посту-

киванием пальцев по тонкой мембране лунного диска. Он силился распознать нужный звук, зная лишь, что музыка уже рождается — новая, желанная и загадочная, странно нарастающая откуда-то из глубины души: такую не выключишь посреди трансляции и не допоешь по памяти.

С той же неотступностью, словно переплетаясь с музыкой, его преследовала мысль о встреченном на берегу негре; и дома, и завтра на студии тот будет ждать Стара все с теми же ведрами, полными серебристых рыб. Слова о том, что негр не позволит своим детям внимать сказкам Стара, отдавали предубежденностью и неправотой; его следовало переубедить — фильмами, множеством фильмов, распланированных на десятилетие вперед. После разговора с негром Стар уже мысленно отказался от четырех картин, одна из которых запускалась в ближайшие дни: все четыре картины теперь выглядели ненужным хламом. Зато он вернул в план сложную ленту, некогда брошенную на растерзание своре Маркуса, Брейди и прочих: в то время другой выигрыш казался главнее. А теперь картину предстоит спасти — ради негра с серебристой рыбой.

Стар подъехал к дому; на крыльце зажегся свет, слуга-филиппинец спустился вниз, чтобы поста-

вить машину в гараж. В библиотеке обнаружился список звонков:

Ла Борвиц
Маркус
Харлоу
Рейнмунд
Фэрбенкс
Брейди
Колман
Скурас
Флайшекер и так далее.

Вдруг вошел филиппинец с письмом.

— Выпало из машины, — сообщил он.

— Благодарю. Я его искал.

— Будете ли сегодня смотреть фильмы, мистер Стар?

— Нет, спасибо. Можете ложиться.

К его удивлению, письмо было адресовано Монро Стару, эсквайру. Он потянулся было его распечатать — но ему пришло в голову, что Кэтлин хотела взять письмо обратно и, может быть, вовсе уничтожить. Будь у нее телефон, Стар позвонил бы спросить разрешения.

Со странным чувством он повертел письмо в руках. Написанное прежде сегодняшней встречи,

оно явно утеряло всякую силу — стало пустым напоминанием о настрое, канувшем в прошлое.

И все же ему не хотелось читать письмо без позволения. Положив конверт на стол, Стар взял из стопки сценариев верхний и уселся с ним в кресло. То, что он не поддался порыву вскрыть письмо, его порадовало — это означало, что он пока не теряет голову. Он не терял ее и с Минной: их брак был величественным и в высшей степени достойным. Минна любила его всегда, и перед самой ее кончиной, чуть ли не против воли охваченный внезапным приливом нежности, он почувствовал такую же любовь — к самой Минне и к тому миру смерти, в котором она казалась настолько покинутой и одинокой, что он готов был не оставлять ее и там.

Его никогда не тянуло влюбляться — в отличие от брата, то и дело терзавшегося по поводу очередной красотки или, вернее, очередной преемницы очередной красотки. Стар же в юные годы сходился с женщинами лишь по разу и не более: так некоторые пьют виски лишь по бокалу за вечер. Подобно многим гениям, он обладал трезвым холодным умом, ценившим развлечения более захватывающие, чем череда эмоциональных всплесков. Его первый опыт,

лет в двенадцать, сопровождался обычной для таких людей брезгливостью, настроем «запомни, это отвратительно и гадко, лживо и фальшиво» — и, подобно другим мужчинам своего склада, Стар отнесся к нему с пренебрежением. Правда, в отличие от большинства прочих, он не сделался стервецом и мерзавцем: окинув взглядом опустошенное пространство вокруг, он понял, что дальше так нельзя — и выучился терпимости, доброте, такту и даже нежности, как школьник выучивается арифметике.

Слуга-филиппинец, поставив на стол графин воды и вазы с орехами и фруктами, пожелал хозяину спокойной ночи и удалился. Стар раскрыл первый сценарий и начал читать.

Он работал три часа, временами останавливаясь, чтобы мысленно выправить текст без всяких карандашных пометок. Порой он отрывался от страниц, охваченный смутным ощущением счастья, никак не связанного со сценарием, и каждый раз, на миг запнувшись в поисках причины, вспоминал о Кэтлин и бросал взгляд на письмо. Приятная штука — письмо…

В три часа начала вздуваться вена на руке — пора было отдыхать. Посреди тающей ночи все образы Кэтлин словно отодвинулись, стали

воспоминанием о трепетной незнакомке, появившейся в его жизни на несколько скудных часов. Теперь вскрыть конверт казалось уместным.

«Дорогой мистер Стар!

Через полчаса мы встретимся, как условлено. При прощании я вручу вам это письмо – оно сообщит вам, что я скоро выхожу замуж и не смогу с вами видеться после нынешней встречи.

Мне следовало все сказать вчера вечером, но вас, кажется, это не занимало. А признаться сегодня – значит весь день наблюдать, как постепенно тает ваш интерес. Пусть же он исчезнет сразу – сейчас. Наверняка вы уже убедились, что я звезд с неба не хватаю (только что услыхала это выражение от моей вчерашней соседки по столу, она заходила в гости и просидела не меньше часа. По ее мнению, никому, кроме вас, до звездного неба даже не дотянуться. Думаю, она рассчитывала, что я вам это передам, поэтому возьмите ее в какой-нибудь фильм, если можно).

Мне очень лестно, что человек, вокруг которого толпится столько красавиц…

не могу закончить фразу, впрочем, вам и так понятно. Пора запечатывать письмо, иначе опоздаю на нашу встречу.

С наилучшими пожеланиями,

Кэтлин Мур».

Первое ощущение Стара было сродни испугу; затем пришла мысль, что письмо недействительно: ведь Кэтлин пыталась найти и забрать конверт. Однако затем он припомнил и слова «мистер Стар», и попытку выспросить его адрес. Наверняка у нее уже наготове следующее письмо — тоже прощальное. Забыв о порядке событий, он поразился тому, что Кэтлин ни словом не упомянула о случившемся позже, и вновь перечел письмо: она явно не предполагала того, что между ними произойдет. И все же, возвращаясь домой, Кэтлин решила оставить письмо в силе, несмотря на их близость. Несмотря на то, что весь день никто, кроме Стара, не занимал ее мысли. Впрочем, в последнее уже не верилось, и по мере того, как Стар вспоминал сегодняшнюю поездку, все представало в ином свете. Машина, холм, шляпка, музыка, само письмо — все распадалось в клочья, как листы толя, обрываемые ветром с каменной кладки его дома. Кэтлин на глазах

обращалась в ничто, унося с собой багаж из памятных жестов, покачиваний головы, жадного сильного тела, босых ног на кипящем от прибоя песке. Мутнело бледное небо, тоскливый дождь сгонял серебристых рыб обратно в море. Очередной ничем не примечательный день уходил в прошлое, оставляя после себя лишь стопку непрочитанных сценариев.

Стар поднялся наверх, в спальню. По пути на него навалилось воспоминание о смерти Минны, и с каждой ступенькой он вновь забывал ее, медленно и мучительно. Наверху его встретил пустой этаж — ни единой живой души за закрытыми дверями. В своей спальне Стар снял галстук, сбросил туфли и сел на краю кровати. Все кончилось, маячила лишь смутная мысль, которую никак не удавалось ухватить. Наконец он вспомнил: машина Кэтлин по-прежнему стоит на стоянке у гостиницы. Он завел будильник, отводя себе шесть часов сна.

Вновь я, Сесилия, перехватываю нить рассказа. Наверное, на этом этапе лучше переключиться на мои собственные похождения, поскольку за этот период жизни мне особенно стыдно. А из того, чего стыдятся, обычно выходит хороший сюжет.

Когда я подослала Уайли к столу Марты Додд,

он так и не сумел ничего разузнать про незнакомку, однако для меня это стало чуть ли не главным жизненным интересом. Я подозревала (как оказалось, правильно), что для Марты Додд тоже. Сидеть за одним столом с предметом восхищения царственной особы — то есть с представительницей высшей аристократии, по меркам нашей феодальной системы, — и даже не знать ее имени!

С Мартой я была знакома лишь шапочно, и идти к ней напрямую значило бы выказывать слишком явную заинтересованность. Поэтому в понедельник я отправилась на студию и заглянула к Джейн Мелони.

Отношения у нас были приятельские; несмотря на ее статус сценариста, мне она с детства казалась чем-то вроде семейной приживалки. Я выросла с убеждением, что сценаристы — то же, что секретарши, только от них пахнет коктейлями и они чаще приходят к нам обедать. О секретаршах и сценаристах за глаза отзывались одинаково, исключение делалось только для породы драматургов с восточного побережья: если они здесь не задерживались, их уважали; если оседали в Калифорнии — неминуемо опускались до класса обычных конторских служащих.

Кабинет Джейн располагался в «старом сценаристском корпусе» — строении времен немого кино, похожем на средневековые темницы, из которых до сих пор неслись стоны замурованных трудяг и халтурщиков. Рассказывали, как случайно забредший туда новенький продюсер прибежал в главное здание, взволнованно спрашивая:

— Кто все эти люди?

— Сценаристы.

— Я тоже так думал! Но я там проторчал десять минут — и двое из них не написали ни строчки!

Джейн сидела за пишущей машинкой, до обеда оставалось недолго. Я без обиняков заявила ей, что у меня есть соперница.

— Темная лошадка, — добавила я. — Даже имени не знаю.

— Вот как. Ну, может, мне что-то и известно. Слыхала кое от кого.

Этот «кое-кто», разумеется, был ее племянник Нед Соллинджер, рассыльный Стара. Когда-то Джейн возлагала на него горделивые надежды; он, поступив с ее помощью в нью-йоркский университет, записался там в футбольную команду, а на первом же курсе медицинского факультета, отвергнутый возлюбленной, вырезал в анатомич-

ке самую недемонстрируемую часть женского трупа и послал избраннице. Не спрашивайте меня, почему. В раздоре с миром и судьбой[142], он вновь очутился на самом дне.

— Что ты знаешь? — спросила я.

— В ночь землетрясения она упала в озеро за студией, Стар нырнул и спас ей жизнь. А еще говорили, она прыгнула с его балкона и сломала руку.

— А кто она?

— Тоже забавно…

Грянул телефон; все время разговора я изнывала от нетерпения. Звонил Джо Рейнмунд и, судя по репликам, пытался выяснить, насколько опытна Джейн и написала ли она в жизни хоть один сценарий. Это Джейн-то, на глазах у которой Гриффит изобрел съемку крупным планом!.. Пока Рейнмунд разглагольствовал, Джейн беззвучно стонала, заламывала руки, строила гримасы телефону, утыкала трубку в колени, чтобы не слышать звука, — и время от времени бросала мне реплики вполголоса.

— Он что, пытается убить время между совещаниями?.. Уже десять раз спрашивал… Все ему в

---

[142] notes: 142
Строка из 29-го сонета Шекспира (пер. С. Маршака).

анкете написала…

И в трубку:

— Если дойдет до Монро, я ни при чем. Буду стоять насмерть.

Она вновь мученически прикрыла глаза.

— А теперь он набирает актеров… на вторые роли… думает приглашать Бадди Эбсена… господи, да он просто бездельем мается… теперь про Уолтера Давенпорта… про Дональда Криспа… у него там целый каталог актеров: слышу, как страницы шуршат… важничает, прямо второй Стар, а мне до перерыва еще две сцены закончить…

Рейнмунд в конце концов отстал — или, может, его отвлекли. Вошел официант с обедом для Джейн и кока-колой для меня (в то лето я не обедала). Прежде чем приняться за еду, Джейн дописала еще фразу в сценарий. Мне всегда было интересно, как она сочиняет. Однажды я видела, как они вдвоем с молодым сценаристом перекраивали сюжет, позаимствованный из «Сатердей ивнинг пост» — меняли характеры персонажей и прочее. А потом взялись писать: каждая реплика перекликалась с предыдущей, и все выглядело как в жизни, когда кто-то старается выказать себя другим — смешным, добрым или храбрым. Я так и не собралась посмотреть тот фильм, хотя

очень хотела.

Джейн была милой, как незатейливая игрушка из детства. Зарабатывая три тысячи в неделю, она умудрялась заводить мужей, которые все как один были пьяницами и избивали ее чуть не до смерти.

— Такты не знаешь ее имени? — вернулась я к разговору, намеренная добиться своего.

— Ах да, — спохватилась Джейн. — Стар ей позже названивал. А потом сказал Катрин Дулан, что зовут ее по-другому.

— Он ее все-таки нашел. Ты знаешь Марту Додд?

— Бедняжка, ей так не повезло! — воскликнула Джейн с хорошо отрепетированным сочувствием.

— Может, пригласишь ее завтра на обед?

— Вряд ли она голодает. Один мексиканец…

Я объяснила, что затеваю все не ради благотворительности. Джейн согласилась помочь и позвонила Марте Додд.

На следующий день, встретившись в Беверли-Хиллз, мы сидели в «Коричневой шляпе» — томном ленивом ресторане, где посетители выглядят так, будто вот-вот прилягут отдохнуть. За обедом, правда, публика слегка оживляется, в

первые пять минут после еды дамы устраивают чуть ли не дивертисмент, — но наша троица оставалась тихой. Я напрасно медлила, надо было сразу налететь на Марту Додд с расспросами. Марта, девушка из глубинки, так и не поняла, что же произошло с ее карьерой, и не могла похвастаться ничем, кроме безнадежно погасшего взгляда. Она по-прежнему считала, что былой успех вернется, надо лишь выждать срок.

— В двадцать восьмом году, — говорила она, — у меня была такая вилла — залюбуешься. Тридцать акров, мини-поле для гольфа, бассейн и шикарный вид. Весной в ромашках хоть купайся.

В итоге я пригласила ее встретиться с отцом — тем самым наказав себя разом и за попытку «двойной игры», и за то, что ее стыдилась. В Голливуде лучше играть открыто, остальное сбивает с толку. Всем и так все ясно, к тому же сам климат не располагает к усилиям, двойные игры здесь — слишком явная трата времени.

Джейн попрощалась с нами у ворот студии, недовольная моей трусостью. Воспоминаниями о карьере Марта успела внутренне себя взвинтить если не до решимости — все-таки сказывались семь лет забвения, — то уж точно до состояния нервной уступчивости, и я собралась всерьез

поговорить с отцом. Студия не заботилась об актерах вроде Марты, когда-то приносивших невероятные прибыли: им позволяли жить в нищете и пробавляться эпизодическими ролями. Милосерднее было бы просто отправить их с глаз долой. А отец в то лето страшно мной гордился, я устала его одергивать — он то и дело начинал живописать кому-нибудь подробности того, как из меня гранили такой редкостный бриллиант. Ах, Беннингтон, заведение для избранных! Подумать только!.. Я устала его убеждать, что туда собирали прирожденных кухарок и служанок, умело маскируя их некоторым количеством неудачливых претенденток на место в дорогих борделях, — тщетно: отец гордился колледжем так, будто сам его закончил. «Ты получила все что можно», — счастливо приговаривал он. Это «все» включало в себя два года во Флоренсе, где я единственная во всей школе умудрилась сохранить девственность, и протокольный дебют в бостонском светском обществе. Я была ни дать ни взять цветущим побегом на рафинированном древе товарно-денежной аристократии.

Поэтому я точно знала, что отец пойдет навстречу Марте Додд, и на пороге его приемной уже мечтала, как сумею помочь и «ковбою» Джон-

ни Суонсону, и Эвелине Брент, и прочим былым знаменитостям. Он всегда обаятельный и милый — если не вспоминать тот раз, когда я наткнулась на него в Нью-Йорке, — и такой трогательный в роли отца. А коль он мне отец — значит, сделает для меня что угодно.

В приемной мы застали одну Розмари Шмиль. Она говорила по телефону второй секретарши, Берди Питерс, и сделала мне знак присесть, однако я, полная решимости, велела Марте не нервничать, нажала рычаг под столом Розмари и направилась в отцовский кабинет.

— Ваш отец на совещании, — крикнула мне вслед Розмари. — То есть не на совещании, но мне нельзя…

Я уже прошла в дверь, миновала короткий холл и вторую дверь и застала отца без пиджака — весь в поту, он пытался открыть окно. День выдался жарким, но не настолько. Не заболел ли?..

— Нет, все хорошо, — уверил меня отец. — Что у тебя?

И я рассказала. Вышагивая по кабинету, я излагала теорию о людях вроде Марты Додд: как их можно использовать и гарантировать постоянную работу. Отец, по-видимому, принимал мою речь близко к сердцу — кивал, соглашался.

Такая близость между нами бывала нечасто — я подошла и поцеловала его в щеку. Он дрожал, рубашка промокла насквозь.

— Ты болен? Или нервничаешь?

— Нет, все в порядке.

— Что случилось?

— Да опять Монро. Голливудский мессия, будь он неладен! День и ночь никакого покоя!

— Что на этот раз? — спросила я намного прохладнее.

— Сидит, прах его побери, чистый пастор или раввин: это он делает, того он не делает!.. Позже расскажу, сейчас не могу. Тебе не пора уходить?

— Я не брошу тебя в таком состоянии.

— Ступай, говорю!

Я принюхалась, но отец никогда не пил.

— Иди причешись, — велела я. — Хочу, чтобы ты поговорил с Мартой Додд.

— Прямо здесь? Да от нее тогда не отделаться!

— Значит, выйдешь в приемную. Поди умойся. И переодень рубашку.

С театральным жестом отчаяния он скрылся в смежной ванной. В комнате стояла духота, будто здесь часами не проветривали — может, потому отцу и сделалось дурно. Я открыла еще два окна.

— Ступай, — велел отец из-за закрытой двери

ванной. — Я сейчас приду.

— Будь с ней поласковее, — крикнула я в ответ. — И никаких благотворительных жестов.

Словно ответ самой Марты, до меня донесся глухой стон. Я вздрогнула — и тут же застыла от ужаса: стон повторился. Стонали не в ванной и не на улице: звук шел из стенного шкафа напротив. Не знаю, как я набралась смелости — подскочив к шкафу, я дернула дверцу, и отцовская секретарша, Берди Питерс, вывалилась оттуда в чем мать родила, как труп в детективных фильмах. Из шкафа повеяло тяжелым спертым воздухом; Берди, вся в поту и еще сжимая в руке одежду, упала на пол — как раз когда отец вышел из ванной. Он стоял у меня за спиной, и я не оборачиваясь знала, какой у него вид: мне уже случалось заставать его врасплох.

— Прикрой ее! — велела я и сама потянулась набросить на Берди диванный плед. — Прикрой!

Я вышла в приемную. Увидев мое лицо, Розмари Шмиль пришла в ужас. Ни ее, ни Берди Питерс я с тех пор не видела.

— Что случилось, милая? — спросила Марта, когда мы выходили. Не дождавшись ответа, она добавила: — Ты сделала что могла. Наверное, мы просто не вовремя. Знаешь что? Давай сходим

к одной прелестной англичанке. Ты видела за нашим столом ту девушку, с которой танцевал на балу Стар?

Вот так, ценой легкого купания в семейной канализации, я добилась чего хотела.

Я не очень хорошо помню наш визит к незнакомке. Прежде всего — ее не оказалось дома. Дверь была не заперта, и Марта переступила порог, весело по-дружески выкликая «Кэтлин!». Комната, где мы очутились, была пуста и безжизненна, как гостиничный номер; тут и там стояли цветы — явно не подарочные букеты. На столе Марта нашла записку: «Оставь платье. Ушла искать работу. Загляну завтра».

Марта перечитала ее дважды; записка была явно не для Стара. Мы подождали минут пять. Жилище в отсутствие хозяев всегда выглядит безжизненным — не то чтобы я думала, будто без присмотра дом пустится в пляс, но здесь стояла особая, почти чопорная тишина и неподвижность, лишь кружила в воздухе безучастная муха да колыхался от ветра уголок занавески.

— Интересно, что за работа, — заметила Марта Додд. — В воскресенье они со Старом куда-то ездили.

Однако меня уже ничто не занимало. Продюсер-

ская кровь, — испуганно подумала я и в панике вытащила Марту на солнце. Тщетно: от черноты и жути меня это не избавило. Я всегда гордилась собственным телом и относилась к нему как к геометрической сущности: что ею ни делай — все будет казаться гармоничным. И уж точно в мире нет таких мест (включая церкви, кабинеты и святилища), где людям не случалось обниматься. Но меня никогда не запихивали голышом в стенной шкаф посреди рабочего дня.

— Представьте, что вы пришли к фармацевту, — начал Стар.

— В аптеку? — с британской педантичностью уточнил Боксли.

— В аптеку, — согласился Стар. — Допустим, кто-то из родственников слег…

— Заболел?

— Да, и вы покупаете ему лекарство. Все, что вы заметите в окне, что привлечет ваше внимание, — это и может стать основой сюжета.

— Вы хотите сказать — если за окном кого-то убивают?

— Опять вы за свое, — улыбнулся Стар. — Может, просто паук ткет паутину на оконной раме.

— Да-да, понимаю.

— Боюсь, что нет, мистер Боксли. Вы применяе-

те это к себе, а не к нам. Бережете пауков для себя, а нам оставляете убийства.

— Хоть бросай все и уезжай, — заметил Боксли. — Вам от меня никакого толку, три недели псу под хвост! Сколько сюжетов предлагал — ни один не записали.

— Останьтесь, вы здесь нужны. Какая-то часть вашей натуры не любит кино, не любит препарировать сюжет по законам жанра…

— Да сколько можно! — взорвался Боксли. — Никакого простора…

Он запнулся, взял себя в руки. Он знал, что Стар — кормчий — выкраивает для него время посреди давно бушующего шторма, и беседы идут под скрип корабельной оснастки, пока судно лавирует опасными галсами в открытом море. А порой ему представлялось, что они со Старом бродят в огромном карьере, где даже по свежему пласту мрамора вьется резьба старинных фронтонов с полустертыми письменами.

— Начать бы все сначала, — выговорил Боксли. — Вся эта массовая продукция…

— Таковы ограничения, будь они неладны, — ответил Стар. — Без них не обойтись. Мы делаем фильм о Рубенсе: представьте, что я вам заказал портреты богатых остолопов вроде Пата Брей-

ди, меня, Гэри Купера и Маркуса, а вам хочется писать Христа. Чем не ограничение? Вот и мы ограничены: работаем с любимыми сказками публики — берем их, перелицовываем и вручаем обратно под видом новых. Остальное — глазурь. Ее-то мы от вас и ждем, мистер Боксли.

Боксли с удовольствием посидел бы вечером в джазовом «Трокадеро» на пару с Уайли Уайтом, перемывая косточки Стару. Однако ему случалось читать биографические труды лорда Чарнвуда, и он понимал, что Стар, подобно Линкольну, ведет длительную войну на много фронтов. За десять лет, чуть не в одиночку пробивая дорогу кинематографу, он достиг того, что ассортимент добротных высокобюджетных фильмов сделался шире и богаче театрального репертуара. Стар был продюсером — как Линкольн полководцем — лишь вынужденно, в силу обстоятельств.

— Пойдемте со мной к Ла Борвицу, — предложил Стар. — Вот уж где без глазури не обойтись.

В кабинете Ла Борвица сидели два сценариста, стенографистка и притихший продюсер; судя по пустым лицам, напряженности и табачному дыму, им так и не удалось выбраться из того тупика, в котором Стар их оставил три часа назад.

— Слишком много персонажей, Монро, — доло-

жил Ла Борвиц чуть ли не с благоговением перед грандиозностью провала.

Стар понимающе хмыкнул.

— В том-то и главная идея фильма.

Вытащив из кармана горсть мелочи, он взглянул на люстру и подкинул полудолларовую монету — та упала в плафон. Стар взглянул на остальную мелочь и выбрал двадцатипятицентовик.

Ла Борвиц наблюдал за ним с несчастным видом — он знал любимую забаву Стара и уже понял, что траты времени не миновать. На него никто не смотрел; улучив момент, Ла Борвиц вытащил руки из-под столешницы и резко вскинул их в воздух — словно сбросив кисти с запястий, а потом поймав их в падении. Маневр сработал, ему полегчало.

Кто-то из сценаристов вытащил мелочь, тут же уговорились о правилах:

— Кидать монету, чтоб не задела цепочки. Все, что свалится в плафон, идет победителю.

Игра затянулась на полчаса, не участвовали двое: Боксли, усевшись в сторонке, вчитывался в сценарий, стенографистка вела счет. Время всех четверых игроков оценивалось ею в тысячу шестьсот долларов; в итоге Ла Борвиц выиграл

пять долларов пятьдесят центов — и вахтер принес стремянку, чтобы выгрести монеты из плафона.

— У вас тут сплошная начинка для пирога и ничего больше, — вдруг заявил Боксли.

— Что?

— Это не сценарий.

Все воззрились на него удивленно, Стар сдержал улыбку.

— Вот и дока объявился, — не смолчал Ла Борвиц.

— Нагромождение красивых речей и ни одной коллизии, — бестрепетно продолжал Боксли. — Вы же не роман пишете. И вообще слишком многословно. Не могу толком объяснить, но подход явно неверный. Не увлекает.

Боксли теперь возвращал то, что в него вкладывали в течение трех недель. Стар отвернулся, исподволь наблюдая за остальными.

— С чего вы взяли, что героев много? — продолжал Боксли. — Наоборот, их нужно больше. Как я понимаю, для сценария это главное.

— Так и есть, — подтвердили сценаристы.

— Верно, — кивнул Ла Борвиц.

— Пусть каждый персонаж видит себя на месте другого, — продолжал Боксли, воодушевленный

общим вниманием. — Полицейский собирается арестовать вора — и видит у преступника свое собственное лицо. То есть надо так показать. Представим, что фильм называется «Побудь на моем месте».

Вдруг снова закипела работа — сценаристы подхватывали и развивали тему по очереди, как джазовые солисты; может, завтра ее тоже отвергнут за ненадобностью, но пока что жизнь возродилась. Не меньше, чем вмешательство Боксли, помогла игра с монетами, создавшая нужную атмосферу: Стар, не снисходя до роли поводыря, держался — и порой выглядел — как мальчишка, разыгрывающий спектакль.

Уже повернувшись к выходу, он подчеркнуто одобрительным жестом тронул Боксли за плечо — чтобы остальные не накидывались на него слишком уж откровенно.

В кабинете ждал доктор Бэр с помощником-мулатом, держащим наготове переносной кардиограф — Стар называл его детектором лжи.

Стар разделся до пояса: начинался еженедельный осмотр.

— Как самочувствие в последнее время?

— Как обычно.

— Работаете много? Спать удается?

— Нет. Не больше пяти часов. Если ложусь рано — не засыпаю.

— А снотворное?

— От желтой таблетки наутро мутит.

— Принимайте две красных.

— Тогда снятся кошмары.

— Значит, по одной, желтую первую.

— Хорошо, попробую. А вы сами как поживаете?

— Я-то о себе забочусь, Монро, не трачу себя понапрасну.

— Черта с два, вы порой ночь напролет не спите.

— Зато потом сплю целый день.

Через десять минут Бэр заметил:

— Вроде бы все неплохо. Давление на пять единиц выше.

— Хорошо. Ведь это хорошо, да?

— Да. Вечером проявлю кардиограммы. Когда поедем отдыхать?

— Когда-нибудь, — беззаботно ответил Стар. — Месяца через полтора станет полегче.

Бэр взглянул на него с искренней симпатией, укрепившейся с годами.

— В тридцать три вам полегчало после отдыха. Пусть всего лишь трехнедельного.

— Когда-нибудь соберусь.

Никогда, подумал Бэр. Несколько лет назад он с помощью Минны раз-другой уговорил Стара на короткий отпуск. А в последнее время усиленно пытался вызнать, кого Стар считает ближайшими друзьями — кому под силу отвлечь его от работы и не подпускать к студии. Впрочем, вряд ли затея удастся. Стару оставалось жить недолго — не больше полугода. Что толку проявлять кардиограммы? Таких людей невозможно оторвать от дела, насильно уложить в постель и заставить полгода разглядывать небо — Стар предпочтет умереть. Несмотря на отговорки, им руководила ощутимая тяга к полному самоизнурению, знакомому по прошлым временам; усталость была не только ядом, но и наркотиком, дававшим ему редкое, почти физическое наслаждение от работы в утомленном полубреду, на износ. Такое перерождение жизненной силы Бэр уже видел — и с некоторых пор предпочитал не вмешиваться: вылечив одного-двух, он понял всю бесплодность исцеления, убивающего личность и триумфально сохраняющего лишь оболочку.

— Пока все по-прежнему, — заметил доктор.

Они обменялись взглядом. Знает ли Стар? Скорее всего да. Неизвестны лишь сроки — Стар не

подозревает, насколько близок исход.

— Если все по-прежнему, — ответил Стар, — я не смею мечтать о большем.

Мулат закончил упаковывать аппарат.

— На следующей неделе в то же время?

— Хорошо, Билл. Всего доброго.

Дверь закрылась, Стар включил диктограф. Тут же донесся голос мисс Дулан:

— Вы знакомы с мисс Кэтлин Мур?

— Что? — ошеломленно переспросил Стар.

— На проводе некая мисс Кэтлин Мур. Говорит, вы просили ее позвонить.

— Боже правый! — Его обуял гневный восторг: прошло пять дней — куда это годится!

— Она на связи?

— Да.

— Ладно, соедините.

Через миг он услышал ее совсем рядом.

— Свадьба состоялась? — Его голос прозвучал негромко и мрачно.

— Пока нет.

В памяти всплыло ее лицо и фигура — он сел, и Кэтлин будто бы склонилась к столу, чтобы остаться вровень с его взглядом.

— К чему этот звонок? — спросил Стар тем же мрачным тоном, тяжело ему давшимся.

— Значит, письмо к тебе все-таки попало?

— Да. В тот же вечер.

— О нем-то я и хотела поговорить.

В конце концов он нашел нужный тон — оскорбленный.

— О чем тут говорить?..

— Я хотела написать вслед другое письмо, но не вышло.

— Это я тоже знаю.

Пауза.

— Ну же, не злись, — вдруг сказала она. — Ты на себя не похож. Это ведь Стар? Тот милый мистер Стар, которого я знаю?

— Я чувствую себя оскорбленным, — произнес он почти высокопарно. — Не вижу смысла продолжать. По крайней мере у меня оставались приятные воспоминания.

— Я не верю, что это ты. Сейчас ты, чего доброго, пожелаешь мне счастья на прощанье. — Она внезапно рассмеялась. — Ты ведь так и хотел? Знаю, как ужасно бывает, когда задумываешь сказать…

— Я не ожидал никаких звонков, — произнес он с достоинством.

Впустую. Кэтлин вновь засмеялась — коротким смешком, как смеются женщины и дети: то ли выдох, то ли радостное восклицание.

— Знаешь, как я себя чувствую, пока с тобой говорю? Как в Лондоне во время нашествия гусениц: мне тогда свалилось в рот что-то верткое и мохнатое.

— Мне очень жаль.

— Да очнись же, пожалуйста! — взмолилась Кэтлин. — Я хочу тебя видеть. По телефону не объяснишь. Мне ведь тоже несладко, пойми!

— Я занят. У меня сегодня предварительный просмотр в Глендейле.

— Это приглашение?

— Со мной идет английский писатель Джордж Боксли. — И неожиданно для себя Стар добавил: — Хочешь присоединиться?

— А как мы поговорим? — Кэтлин задумалась. — Приезжай за мной после фильма, покатаемся по городу.

Мисс Дулан, сидя у внушительного корпуса диктографа, пыталась пробиться к Стару и соединить его с режиссером — звонок режиссера считался единственным дозволенным поводом прервать разговор. Стар, щелкнув тумблером, бросил нетерпеливое «Позже!».

— Часов в одиннадцать? — заговорщически спросила Кэтлин.

Идея «покататься по городу» казалась Стару

настолько безрассудной, что начни он подбирать слова для отказа — он бы неминуемо их произнес, однако ему не хотелось походить на гусеницу. Внезапно схлынули все мысли, осталась лишь одна: по меньшей мере день прожит. Впереди вечер — начало, середина, конец.

Он постучал в дверь, услышал из дома отклик Кэтлин и в ожидании задержался у края участка. Снизу по склону доносилось гудение газонокосилки: сосед Кэтлин посреди ночи косил траву на своей лужайке. Луна светила ярко, Стар четко различал соседа даже в сотне футов: тот, опершись на ручку, остановился передохнуть перед следующим заходом. Повсюду царила летняя суматоха — наступил август, пора любовных безрассудств и преступных порывов. Ничего другого лето уже не сулило, оставалось жадно жить настоящим или, если его нет, придумывать себе замену.

Наконец Кэтлин вышла — изменившаяся, радостная. Идя к машине, она то и дело поправляла пояс костюма бестрепетным, задорным, подбадривающим жестом, словно говоря: «Пристегнем ремни — и вперед». Стар на этот раз взял лимузин с водителем; закрытый салон отгородил их от целого мира, и новый поворот ночной дороги прогнал всякую отчужденность. Редко когда Стар

бывал так счастлив, как в ту короткую поездку; его не покидала странная уверенность, что если ему суждено умереть, то уж точно не сегодня.

Кэтлин рассказывала о своей жизни. Безмятежная и сияющая, она воодушевлялась все больше, говоря о дальних странах и встреченных ею людях. Рассказ поначалу был сбивчив; «прежним» она называла того, кого любила и с кем жила, «американцем» — того, кто спас ее из трясины.

— Кто он, этот американец?

О, что пользы в именах? Он не такая важная персона, как Стар, и не богач. Раньше жил в Лондоне, теперь они обоснуются здесь. Она будет ему хорошей женой, все по-настоящему. Он сейчас разводится — не только из-за нее, — и оттого все отложилось.

— А прежний, первый? — спросил Стар. — Как ты угодила в такую нелепую историю?

Да нет, сначала казалось, что повезло. С шестнадцати лет до двадцати одного была одна забота — не умереть с голоду. В день, когда мачеха представила ее ко двору, они потратили на еду шиллинг — чтобы не стало дурно от слабости. Еду разделили поровну, и все равно мачеха следила за каждым проглоченным куском. Через несколько месяцев мачеха умерла, и Кэтлин впору было

продаваться за тот же шиллинг, но не оставалось сил выйти на улицу. Лондон бывает жесток — немилосердно жесток.

И никто не помогал?

Друзья из Ирландии присылали сливочное масло. Перепадал бесплатный суп для бедных. Однажды накормил родной дядя, который тут же принялся с ней заигрывать — она отказала и вдобавок выудила из него пятьдесят фунтов за обещание не говорить жене.

— А работать было нельзя? — спросил Стар.

— Я работала. Продавала машины. Однажды продала.

— А получить постоянное место?

— Это сложно, там все по-другому. Считалось, что люди вроде меня отбирают хлеб утех, кто уже работает. Одна женщина меня даже ударила, когда я пыталась устроиться в отель горничной.

— И все-таки ты была представлена ко двору?

— Да, мачеха надеялась, что поможет. Само-то я никто. Отца убили в двадцать втором как участника ирландского восстания, я была совсем маленькой. Он когда-то написал книгу — «Последнее благословение». Не приходилось читать?

— Я не читаю книг.

— Может, стоит сделать по ней кино. Хорошая

книжка. Я даже получаю отчисления с тиражей — десять шиллингов в год.

Потом она встретила «того, прежнего», они объехали весь мир. Кэтлин побывала во всех странах, о которых Стар снимал фильмы, и жила в городах, названий которых он даже не слышал. Со временем «прежний» обрюзг, начал пить, не брезговал горничными, пытался сбыть Кэтлин друзьям. Друзья как один хотели, чтобы Кэтлин с ним осталась: мол, она его однажды спасла и теперь не должна бросать — никогда, до самого конца. Эти рассуждения о долге едва ее не сломили, но она встретила «американца» — ив конце концов сбежала.

— Надо было сбежать раньше.

— Все не так просто. — Она помолчала и наконец решилась: — Понимаешь, я сбежала от короля.

Мировосприятие Стара враз пошатнулось: она умудрилась его превзойти. Из возникшего в голове сумбура всплыло лишь давнее смутное убеждение, что короли бывают только больные.

— Нет, он не король Англии, — продолжала Кэтлин. — Безработный монарх, он сам так говорил. В Лондоне королей предостаточно. — Она засмеялась и добавила чуть ли не с вызовом: — Он был

очень красив, пока не начал пить и скандалить.

— Король какой страны?

Кэтлин сказала — и Стар припомнил лицо из старых кадров кинохроники.

— Он много знал, — добавила Кэтлин. — Мог научить всему на свете. И не так уж походил на короля. В тебе королевского гораздо больше. Больше, чем во всех остальных.

На этот раз Стар засмеялся.

— Ты сам понимаешь, о чем я. Их время ушло. Большинство из кожи вон лезли, чтобы приспособиться, как им советовали. Один, например, был синдикалистом. А другой вечно таскал с собой газетные заметки про теннисный турнир, где он вышел в полуфинал. Показывал мне раз десять.

Они проехали насквозь Гриффит-парк, миновали неосвещенные студии Бербанка и аэропорты и теперь направлялись к Пасадене, оставив позади неоновые вывески придорожных кабаре. Его к ней влекло, но время было позднее, да и простая автомобильная прогулка казалась редким счастьем. Они держались за руки; в какой-то миг она прильнула к Стару, он ее обнял.

— Ты замечательный. С тобой так хорошо!

Но Кэтлин витала мыслями где-то еще — сегодняшний вечер, в отличие от воскресного дня,

не принадлежал полностью Стару. Она была погружена в себя, взвинчена после рассказа о былом; Стар не мог отделаться от мысли, что ему преподносят историю, которую приберегали для «американца».

— А с «американцем» ты знакома давно?

— Несколько месяцев. Мы часто встречались, понимаем друг друга. Он то и дело повторяет «похоже, это теперь навсегда».

— Тогда зачем ты мне звонила?

Кэтлин помедлила.

— Хотелось увидеть тебя снова. И еще — он должен был сегодня приехать, но вчера дал телеграмму, что на неделю задержится. И меня тянуло поговорить с кем-то близким — ты ведь мне близок…

Он желал ее все сильнее, однако разум неотступно твердил: Кэтлин нужно знать, влюблен ли я, женюсь ли — тогда она решит, отказать ли «американцу». Сначала она ждет, чтобы я открылся.

— «Американца» ты любишь?

— Да, уже все решено. Он спас и меня, и мой рассудок. Ради меня переезжает на другой конец света. Я настояла.

— Ты не сказала, любишь ли.

— Конечно, люблю. Конечно.

Это «конечно» говорило, что никакой любви нет: она ждет признания Стара — и все решит позже. Он обнял ее, поцеловал в губы и долго не отпускал.

— Не сегодня, — шепнула она.

— Хорошо.

Они ехали по «мосту самоубийц», недавно забранному высоким ограждением.

— Я знаю, что это такое, — сказала Кэтлин. — Все равно глупо. В Англии не так — если не можешь получить желаемого, никому не придет в голову прыгать с моста.

Лимузин, развернувшись у отеля, двинулся обратно. Порыв страсти схлынул, оба замолчали. После рассказов Кэтлин о королях перед глазами Стара почему-то замелькали воспоминания юности: пятнадцатилетним мальчишкой, незадолго до переезда в Нью-Йорк, он жил в пенсильванском городе Эри. Там, в перламутровом освещении главной улицы, был ресторан с выставленными в витрине омарами, с зелеными водорослями и яркими бликами на ракушечной стене грота; позади, за алым занавесом, творилось неспешное завораживающее таинство — двигались люди, пели скрипки. Кэтлин напомнила

ему о тех омарах и свежих рыбах во льду: она была «красавица куколка» — и тем отличалась от Минны.

Они посмотрели друг на друга. Ее глаза спросили: выходить мне замуж за «американца»?

Стар не ответил.

— Давай поедем куда-нибудь на выходные, — предложил он чуть погодя.

— То есть завтра? — подумав, уточнила Кэтлин.

— Да.

— Тогда я скажу завтра.

— Ответь сегодня. А то вдруг…

— …вдруг обнаружится письмо в машине? — засмеялась она. — Нет, обойдемся без писем. Ты знаешь почти все.

— Почти?

— Да, почти. Остались мелочи.

Оставшееся он тоже выяснит, она расскажет завтра. Он не верил — не хотел верить — в многочисленность романов: все-таки связь с «прежним», с королем, была долгой и прочной. Три года жить в немыслимо противоречивом статусе — одной ногой во дворце, другой на задворках. «Приходилось смеяться, — сказала она тогда. — Я научилась смеяться чаще».

— Что ему мешало — женился бы на тебе, как Эдуард Восьмой на миссис Симпсон, — возразил Стар.

— У него была жена. И он не был таким романтиком… — Кэтлин осеклась.

— Как я?

— Да, — неохотно подтвердила она, словно открывая козырь. — Отчасти ты романтик. В тебе уживаются три или четыре личности, и каждая видна как на ладони. Как обычно у американцев.

— Не доверяй американцам так безраздельно, — улыбнулся Стар. — Они открыты, но переменчивы.

Кэтлин нахмурилась.

— Правда?

— Меняются быстро и внезапно, — подтвердил Стар. — И к прежнему уже не возвращаются.

— Ты меня пугаешь. С американцами было так надежно…

Кэтлин вдруг показалась одинокой, и Стар взял ее за руку.

— Куда поедем завтра? Можно в горы. У меня полно дел, но они подождут. Если выехать в четыре, засветло успеем.

— Не знаю. Ты меня озадачил. Я, кажется, уже

не та Кэтлин, которая приехала в Калифорнию искать новой жизни.

В этот миг ему сказать бы «ты ее нашла» — он знал, что так оно и есть, что нельзя отпускать Кэтлин, — однако иное чувство склоняло его не поддаваться мальчишеским порывам, решить взвешенно. И ничего не говорить до завтра. Кэтлин смотрела на него по-прежнему, скользя взглядом от лба к подбородку и обратно, знакомо поводя головой из стороны в сторону.

…Это твой шанс, Стар, остерегайся его упустить. Эта женщина создана для тебя, она может тебя спасти, вернуть к жизни — о ней нужно будет заботиться, ты обретешь для этого силы. Удержи ее. Скажи что хотел, не дай ей уйти. Вам обоим невдомек, что где-то вдали, за границей ночи, «американец» изменил планы. Его поезд мчится через Альбукерке, расписание выверено, машинист пунктуален. К утру «американец» будет здесь.

…Водитель свернул вверх по холму, к дому Кэтлин. Место казалось Стару уютным даже во тьме: присутствие Кэтлин словно придавало особое очарование всему — лимузину, прибрежному дому на мысе, даже городским дорогам, видевшим их вместе. Холм, на который они сейчас

поднимались, тихо светился, приглушенные звуки наполняли душу радостью.

Прощаясь, он вновь ощутил, что не в силах ее отпустить, даже на короткие часы. При разнице всего в десять лет его чувство скорее казалось ему похожим на беспокойную, нетерпеливую любовь стареющего человека к юной девушке. Отчаянно не хватало времени, сердце-хронометр отсчитывало секунды, подталкивая Стара нарушить логику всей прежней жизни — войти в дом вместе с Кэтлин и сказать: «Теперь это навсегда».

Кэтлин тоже медлила в нерешительности — розово-серебристый иней готов был растаять под весенним солнцем. По-европейски почтительная к властям предержащим, она все же обладала безграничным самоуважением, которое не позволяло ей ступить далее. Она не питала иллюзий насчет мотивов, правящих королями.

— Завтра съездим в горы, — сказал Стар.

От его решений порой зависели многие тысячи жизней — и вдруг так внезапно теряется чутье, которым ты жил двадцать лет…

Назавтра, субботним утром, Стар занимался делами. В два часа, вернувшись после обеда, он застал в кабинете ворох телеграмм: съемочное судно пропало в Арктике, кинозвезда замешана

в скандале, сценарист требует через суд миллион долларов. Гибнут евреи в Германии. Последняя телеграмма бросилась в глаза:

Я вышла замуж сегодня в полдень. Прощай.

И рекламная наклейка: *Лучший ответ — телеграмма «Вестерн Юнион».*

Глава 6

Ничего этого я не знала. Я уехала на озеро Луиз, а когда вернулась — к студии не подходила. Наверняка так и отправилась бы на восток в середине августа, не позвони мне Стар.

— Хочу попросить о помощи, Сесилия: не устроите ли мне встречу с коммунистом?

— С каким? — ошеломленно переспросила я.

— С любым.

— Вам их что, на студии не хватает?

— Мне нужен кто-то из главных — из Нью-Йорка.

Прошлым летом я с головой ушла в политику и могла бы устроить встречу хоть с Гарри Бриджесом. Но потом я вернулась в колледж, мой парень погиб в автокатастрофе, и я напрочь выпала из той среды. Сейчас и до меня доносились лишь слухи, что поблизости обретается кто-то из марксистского журнала «Нью мэссес».

— Неприкосновенность гарантируете? — шутливо спросила я.

— Разумеется, — всерьез ответил Стар. — Не трону даже пальцем. Только чтоб не косноязычный. И пусть захватит литературу.

Он будто собрался встречаться с адептами культа «Я есть».

— Вам блондинку или брюнетку?

— Нет-нет, мужчину, — поспешно вставил Стар.

Звук его голоса меня оживил: с тех пор, как я застала отца с секретаршей, все на свете казалось мне лишь барахтаньем в чьих-то плевках. Со звонком Стара все изменилось — и мое отношение к происшедшему, и даже сама атмосфера.

— Вашему отцу, наверное, лучше не знать, — продолжал Стар. — Может, выдадим коммуниста за какого-нибудь болгарского музыканта?

— Не волнуйтесь, они давно уже одеваются как все, — заверила я его.

С организацией встречи пришлось потрудиться. Переговоры Стара с гильдией сценаристов, тянувшиеся больше года, к этому времени зашли в тупик; наверное, от Стара ждали попыток подкупа — у меня спрашивали, что он «предлагает». Позже Стар рассказывал мне, что перед встречей просмотрел ленты о русской революции, хранившиеся в его домашней фильмотеке, и еще «Андалузского пса» Сальвадора Дали и «Доктора Калигари» — видимо, считал их относящимися к теме. Русские фильмы поразили его еще в два-

дцатые годы, и тогда же по совету Уайли Уайта он запросил у сценарного отдела двухстраничное изложение «Манифеста коммунистической партии».

И все же его ум отказывался осознавать ход событий. Рационалист, привыкший строить умозаключения без помощи книг, Стар только что выбрался из тысячелетней еврейской традиции — и оказался где-то в конце восемнадцатого века. Слишком приверженный, как все выскочки, к воображаемому прошлому, он не мог смириться с разрушением устоев.

Встречу я устроила в зале, который называла «тонко-кожаным», — он, как еще пять комнат в доме, когда-то был декорирован по эскизам художника из фирмы Слоуна, и термин «кожа тонкой выделки» запал мне в память. Зал был в высшей степени художественным: на ковер из ангорской шерсти цвета рассветных сумерек (более нежного дымчато-серого я никогда не видела) боязно было ступить, а при виде серебристых стен, кожаных столиков, палевых панно и хрупких безделушек хотелось затаить дыхание, чтобы ненароком их не запятнать. Зато с порога зал смотрелся великолепно, особенно при открытых окнах, когда меланхолично подрагивают

под ветром занавеси. Прямой наследник старых американских гостиных, отпиравшихся только по воскресеньям, зал прекрасно подходил для выбранной цели, и я надеялась, что предстоящая встреча добавит ему характера и сделает его полноправной частью жилого дома.

Стар приехал первым — бледный, нервный и встревоженный, лишь голос звучал, как всегда, ровно. Меня восхищала его манера при встрече подойти вплотную, отодвинув случившуюся на пути помеху, и взглянуть так, будто смотрит в самую душу и не может ничего с собой поделать. Я, почему-то не удержавшись, поцеловала его и проводила в зал.

— Когда возвращаетесь в колледж? — спросил Стар.

Эту захватывающую тему мы уже обсуждали.

— Может, я на ваш вкус слишком рослая? Низкие каблуки и гладкая прическа не помогут?

— Давайте сегодня поужинаем вместе, — предложил Стар. — Меня примут за вашего отца, но я не возражаю.

— Ужасно люблю стариков, — заверила я его. — Если мужчина без костыля — любые отношения покажутся школьным романом.

— И много их у вас было?

— Достаточно.

— Все только и делают, что влюбляются и охладевают, да?

— Каждые три года или около того. Так говорит Фанни Брайс, я читала в газете.

— Интересно, как им это удается. Судя по окружающим — так и есть, и ведь каждый настолько уверен в своих чувствах! И вдруг раз — все схлынуло. А потом уверенность возвращается — и опять все сначала.

— Вам надо снимать меньше фильмов.

— Насколько же они уверены в любви во второй раз, и в третий, и в четвертый?.. — не отступал он.

— Чем дальше, тем больше. В последний раз — сильнее всего.

— Видимо, да. — Он задумался. — В последний раз сильнее всего…

Мне не понравился его тон; Стар, несмотря на привычный облик, показался несчастным.

— До чего все некстати, — посетовал он. — Поскорее бы отделаться.

— Как так? — воскликнула я. — Неужели кинематограф в ненадежных руках?

Доложили о прибытии Бриммера — коммуниста, которого мы ждали. Шагнув к порогу его

встретить, я поскользнулась на шелковистом коврике и проехалась до двери, чуть не упав в его объятия.

Бриммер был привлекательным — слегка в духе Спенсера Трейси, только с более волевым и подвижным лицом. Пока они со Старом улыбались, обменивались рукопожатием и принимали боевую стойку, я не могла отделаться от мысли, что такой собранности и сосредоточенности, как у этих двоих, я никогда не встречала. Они вмиг настроились друг на друга, хотя оба, разумеется, демонстрировали подчеркнутую вежливость и при обращении ко мне явственно смягчали интонацию.

— Чего ваши люди добиваются? — требовательно спросил Стар. — Запугали здесь всю молодежь.

— Зато мы держим их в тонусе, не так ли?

— Сначала мы пустили на студию полдюжины русских — они, видите ли, пожелали изучить ее как образцовый пример. А теперь вы пытаетесь разбить то единство, которое и делает студию образцовой.

— Единство? — переспросил Бриммер. — Вы о том, что называют коллективным духом?

— Нет, разумеется, — нетерпеливо отмахнулся

Стар. — Подозреваю, что вы целите в меня. На прошлой неделе ко мне в контору явился сценарист — пьяница, по которому сумасшедший дом годами плачет — и начал учить меня жизни.

— Уж вас-то не очень поучишь жизни, мистер Стар, — улыбнулся Бриммер.

Оба не отказались от чая. Когда я вернулась, Стар со смехом рассказывал о братьях Уорнерах.

— Еще был случай. Русский танцовщик Баланчин путал их с братьями Ритц, комедиантами. Забывал, кто из них его ученики, а кто работодатели, и жаловался направо и налево: «Попробуй научи танцевать этих братьев Уорнеров!»

Беседа вроде бы текла мирно. Бриммер спросил Стара, почему продюсеры не поддерживают Анти-нацистскую лигу.

— Из-за вас, — ответил Стар. — Вы подбираетесь к сценаристам. Но будущее покажет, что зря стараетесь: сценаристы как дети — даже в спокойные времена не могут сосредоточиться на деле.

— В вашей отрасли они все равно что фермеры, — доброжелательно отозвался Бриммер. — Выращивают зерно, которое достается другим. И злятся на продюсеров, как фермер злится на горожан.

Я то и дело вспоминала девушку Стара — интересно, не закончился ли их роман. Позже, когда Кэтлин рассказала мне всю историю, стоя под дождем на грязной дороге под названием Голдвин-авеню, — я поняла, что Стар встречался с Бриммером примерно через неделю после той телеграммы. Телеграмма была единственным выходом. «Американец» приехал неожиданно и тут же повез Кэтлин в бюро бракосочетаний, ни секунды не сомневаясь, что она только этого и ждет. Было восемь утра; Кэтлин настолько растерялась, что думала лишь о том, как известить Стара. Конечно, теоретически можно встать и заявить «прости, забыла сказать, я встретила другого» — но колея была проторена так надежно и тщательно, с такими жертвами и с таким чувством освобождения, что когда все внезапно сбылось, Кэтлин почувствовала себя в западне — словно вагон загнали на тупиковый путь. Пока она писала телеграмму, «американец» смотрел на нее через стол, и Кэтлин оставалось надеяться, что он не разберет перевернутые буквы.

Когда я вернулась мыслями к происходящему в зале, с бедными сценаристами уже разделались: Бриммер даже признал их «нестойкими».

— Они не способны кого-то за собой вести, — го-

ворил Стар. — Волю ничем не заменишь: если ее нет, приходится имитировать.

— По себе знаю.

— Надо просто решить: «будет так — и никак иначе», даже если не уверен. Десяток раз в неделю я сталкиваюсь с ситуациями, где нет оснований предпочесть одно другому. И тогда делаешь вид, будто для выбора есть причины.

— Вождям такое знакомо, — заметил Бриммер. — И профсоюзным, и тем более военным.

— Вот мне и пришлось выбрать позицию в этой истории с гильдией. Там налицо попытка взять власть, а я намерен давать сценаристам только деньги.

— Некоторым вы даете слишком мало. Тридцать долларов в неделю.

— Это кому же? — удивился Стар.

— Тем, кого вы считаете легко заменяемым товаром.

— У меня таких нет.

— Есть, и именно у вас, — настаивал Бриммер. — В отделе короткометражек двое получают по тридцать долларов в неделю.

— Кто?

— Некто Рэнсом и некто О'Брайан.

Мы со Старом улыбнулись.

— Это не сценаристы, — ответил он. — Это родня отца Сесилии.

— На других студиях тоже таких немало, — настаивал Бриммер.

Стар налил себе в чайную ложку какого-то лекарства из склянки.

— Что такое «шпик»?

— «Шпик»? Штрейкбрехер или тайный агент компании.

— Так я и думал, — кивнул Стар. — Здесь есть писатель с жалованьем в полторы тысячи, который в студийном кафе бормочет «шпик!» за стулом каждого из сценаристов. Жаль, они пугаются до смерти, а то было бы забавно.

— Посмотреть бы, — улыбнулся Бриммер.

— Хотите — приходите, проведете со мной день на студии, — предложил Стар.

Бриммер искренне рассмеялся.

— Нет, мистер Стар. Впрочем, не сомневаюсь, что получил бы массу впечатлений: говорят, во всех западных штатах не сыскать другого, кто работал бы так неутомимо и плодотворно, как вы. Жаль отказываться от такой чести, однако ничего не поделаешь.

Стар взглянул на меня.

— Мне нравится ваш друг. Он безумен, но мне

нравится. — Он пристальнее вгляделся в Бриммера. — Вы коренной американец?

— Да, не в первом поколении.

— И все похожи на вас?

— Отец был священник-баптист.

— Нет, я об убеждениях — много ли среди вас красных. Хотел бы я посмотреть на того еврея, который думал сгубить завод Форда. Как его…

— Франкенстин?

— Он самый. Наверняка в эти идеалы кое-кто верит.

— И даже многие, — сухо отозвался Бриммер.

— Но не вы?

По лицу Бриммера скользнула тень раздражения.

— И я тоже.

— Ну уж нет. Может, вы в них и верили, но давно.

— Не исключено, что как раз наоборот, — пожал плечами Бриммер. — В глубине души вы знаете, что я прав.

— Нет, — возразил Стар. — Все это бред и вздор.

— …вы говорите себе «он прав», однако считаете, что система вас переживет.

— Неужто вы собираетесь свергнуть правительство?

— Нет, мистер Стар. Мы думаем, это сделаете вы.

Они задирали друг друга, обмениваясь мелкими колкостями, как порой свойственно мужчинам. У женщин такое выливается в беспощадную битву, но и за мужчинами наблюдать тревожно: никогда не знаешь, чем кончится. Приятных ассоциаций декорированному залу это не обещало, поэтому я вывела спорщиков в наш золотисто-желтый калифорнийский сад.

Несмотря на август, омытая дождевателями лужайка сияла весенней свежестью — Бриммер воззрился на нее чуть ли не со стоном. За пределами комнаты он оказался широкоплечим и высоким — на несколько дюймов выше, чем я думала, — и напомнил мне Супермена, когда тот снимает очки. Привлекателен он был настолько, насколько это под силу мужчине, не заботящемуся об успехе у женщин.

Мы по очереди сыграли в пинг-понг — ракеткой Бриммер владел прилично. Я услышала, как в дом вошел отец с ненавистным «Малышка, ты устала за день» на устах и тут же замолк, вспомнив, что мы не разговариваем. Было полшестого, моя машина стояла у крыльца, и я предложила поужинать в «Трокадеро».

Глядя на Бриммера, я живо вспомнила священника, отца О'Ни — как в Нью-Йорке он перевернул воротничок задом наперед и отправился со мной и отцом смотреть русский балет. Коммунист явно чувствовал себя не в своей тарелке, и когда Берни — фотограф, по обыкновению, выжидающий дичь покрупнее, — подошел к нам, Бриммер взглянул совсем затравленно. Жаль, что Стар отправил Берни восвояси: от снимка я бы не отказалась.

К моему удивлению, Стар выпил три коктейля подряд.

— Теперь ясно, что в любви вам не повезло, — заметила я.

— С чего вы взяли, Сесилия?

— Коктейли.

— Я же не пью. Желудок слабый, я в жизни не напивался.

— …два, три, — пересчитала я.

— Не заметил. Даже вкуса не почувствовал. Так и знал, что-то не то.

Его взгляд остекленел, сделался чуть ли не безумным — но лишь на миг.

— А у меня первый глоток за неделю, — поддержал беседу Бриммер. — Отпьянствовал свое на флоте.

Стар вновь поглядел остекленело, по-дурацки мне подмигнул и заявил:

— Промывал мозги морякам, сукин сын.

Бриммер, сбитый с толку, по-видимому, решил принять выпад за часть вечерней программы и слабо улыбнулся. Стар тоже ответил улыбкой — и я, с облегчением рассудив, что все идет в согласии с великой американской традицией, попыталась взять беседу в свои руки, однако Стар вдруг пришел в себя.

— Вот вам типичный пример, — отчетливо сказал он Бриммеру. — Лучший голливудский режиссер, в работу которого я не вмешиваюсь, то и дело норовит вставить в картину то педераста, то еще что-нибудь оскорбительное для публики. Впечатывает как водяной знак в купюру — не вырежешь. И каждый раз католический «Легион благопристойности» подступает на шаг ближе, приходится жертвовать частью хорошего фильма.

— Типичная организационная проблема, — согласился Бриммер.

— Именно. Бесконечная борьба. А теперь этот режиссер мне заявляет: дескать, у них есть режиссерская гильдия и мне не позволят угнетать бедных. Вот чем вы вредите.

— Мы здесь напрямую не замешаны, — улыбнулся Бриммер. — На режиссеров не очень-то повлияешь.

— Режиссеры всегда были мои друзья, — гордо сообщил Стар. Так, наверное, Эдуард Седьмой хвастался тем, что вращается в лучшем европейском обществе. — Хотя кое-кто меня и возненавидел. С появлением звука я стал брать режиссеров из театров — всем пришлось из кожи вон лезть и заново учиться, мне этого так и не простили. Тогда же мы привезли сюда целую орду сценаристов; я их считал славными парнями, пока они не сделались поголовно красными.

Вошел Гэри Купер и сел в углу со свитой, члены которой ловили каждый его вздох и, судя по всему, преспокойно жили на его средства. Женщина у дальней стены обернулась — я узнала Кэрол Ломбард. Что ж, по крайней мере Бриммер насмотрится на знаменитостей.

Стар заказал порцию виски с содовой, тут же вторую, а съел только несколько ложек супа. Зато нес ужасающий вздор о том, что вокруг одни бездельники, на которых ему, мол, плевать, потому что он при деньгах, — обычная тема для отца с приятелями. Стар, видимо, понял, что при посторонних такое звучит дико — может, раньше

он таких бесед и не слышал, — во всяком случае, он замолк и выпил крепкого кофе. Я любила Стара несмотря ни на какие речи, но страшно было подумать, что в памяти Бриммера он останется именно таким. Мне хотелось, чтобы Бриммер увидел его виртуозом своего дела, а вместо этого Стар изображал из себя злобного надзирателя, причем до такой степени бездарно, что сам же первый закричал бы «халтура!», случись ему увидеть всю сцену на экране.

— Я создаю фильмы, — добавил он, словно желая смягчить прежнее впечатление. — И прекрасно отношусь к сценаристам — по-моему, я их понимаю. И не собираюсь выгонять работников, если они заняты делом.

— И не надо, — доброжелательно отозвался Бриммер. — Вы нам выгоднее как преуспевающее предприятие.

Стар мрачно кивнул.

— Посидеть бы вам среди моих компаньонов. Вот уж у кого десятки причин гнать вас подальше.

— Спасибо за заступничество, — чуть иронично откликнулся Бриммер. — Говоря по правде, вы нам сильно мешаете — ваше отеческое отношение к делу создало вам колоссальный авторитет.

Стар его не слушал.

— Никогда не считал себя умнее сценариста, просто его мозги принадлежат мне — ведь я знаю, к чему их приспособить. Это как с римлянами: говорят, они ничего не изобрели, зато умели применять чужое. Понимаете? Не поручусь, что это идеальный подход, но я ему следую с самого детства.

— Вы хорошо себя знаете, мистер Стар, — оживился Бриммер впервые за вечер.

Он, видимо, уже хотел откланяться. Его целью было узнать Стара поближе — и теперь он решил, что ему это удалось. Все еще надеясь, что беседа пойдет на лад, я опрометчиво уговорила Бриммера поехать с нами, однако увидев, что Стар по пути застрял у барной стойки, тут же об этом пожалела.

Снаружи нас обступил мягкий, безобидный субботний вечер, на дороге было полно машин. Рука Стара лежала поверх спинки сиденья, касаясь моих волос. Мне вдруг захотелось сбросить лет десять, чтобы стать девятилетней; Бриммер тогда в свои восемнадцать учился бы в каком-нибудь колледже на Среднем Западе, а двадцатипятилетний Стар, только что унаследовавший весь мир, сиял бы уверенностью и счастьем — и мы смотре-

ли бы на него с обожанием. А сейчас вместо этого над нами нависал серьезный взрослый разлад, осложненный усталостью и выпивкой, — без малейшего намека на мирную развязку.

Мы свернули в аллею и подъехали к саду.

— Мне пора, — сказал Бриммер. — Нужно кое с кем встретиться.

— Нет, останьтесь, — предложил Стар. — Я не досказал всего. Поиграем в пинг-понг, выпьем — и вгрыземся друг другу в горло.

Бриммер явно колебался. Стар включил наружное освещение и взял ракетку, а я, не посмев ослушаться, ушла в дом за бутылкой виски.

Вернувшись, я застала их у стола для пинг-понга: Стар, распечатав коробку новых шариков, один за другим слал их через стол Бриммеру, тот отбивал. При моем появлении Стар отложил ракетку и уселся с бутылкой на границе освещенного пространства, глядя из полумрака величественно и грозно. Бледность его граничила с полупрозрачностью, когда чуть ли не наяву видишь, как алкоголь смешивается с другим ядом — утомлением.

— Субботний вечер — самое время отдохнуть, — пробормотал Стар.

— Ничего себе отдых, — заметила я.

Он тщетно пытался бороться с раздирающим его надвое безумием.

— Сейчас побью Бриммера, — заявил он через миг. — Дело чести.

— Может, кого-нибудь наймете? — осведомился коммунист.

Я сделала ему знак молчать.

— С грязной работой я управляюсь сам, — бросил Стар. — Вышибу дух и отправлю к чертям собачьим.

Он встал и шагнул вперед, я обхватила его руками.

— Перестаньте! Что за глупое упрямство!

— Этот тип вас испортил, — мрачно изрек Стар. — Всех вас, молодых. Сами не знаете, что творите.

— Пожалуйста, возвращайтесь домой! — попросила я Бриммера.

Стар вдруг вырвался из моих объятий — шелковистая ткань скользнула под руками так, что не удержать, — и шагнул к Бриммеру. Тот отступил за дальний край стола, странно искаженное лицо словно говорило: «И все? Эта ходячая немощь и есть главный противник?»

Стар, вскинув кулаки, подступил ближе, Бриммер удержал его левой рукой — и я отвернулась,

чтобы не видеть дальнейшего.

Когда я взглянула в ту сторону, Стар лежал где-то позади стола, а Бриммер смотрел на него сверху вниз.

— Уходите, — попросила я.

— Хорошо. — Пока я огибала стол, Бриммер не сводил глаз со Стара. — Всегда мечтал послать в нокаут десять миллионов долларов, только не знал, что все так выйдет.

Стар лежал без движения.

— Уйдите, пожалуйста.

— Не расстраивайтесь. Может, помочь…

— Нет. Уходите отсюда. Я все понимаю.

Бриммер вновь глянул на недвижное тело — словно удивляясь масштабу эффекта, произведенного им за какой-то миг, — затем зашагал через газон к выходу, а я, склонившись над Старом, потрясла его за плечи. Его тут же передернуло судорогой, Стар очнулся, вскочил на ноги и крикнул:

— Где он?

— Кто? — невинно спросила я.

— Американец! Какого черта ты выскочила за него замуж, дурочка бестолковая?

— Монро… Здесь никого нет, я не замужем. — Я усадила его в кресло и солгала: — Он уже полчаса

как уехал.

Шарики для пинг-понга раскинулись в траве, как созвездие. Я включила дождеватель и намочила платок, но на лице Стара не было ни отметины — видимо, удар пришелся в ухо. Стар отошел за деревья, его стошнило; было слышно, как он ногой сгребает землю, чтобы присыпать. Он явно ожил, но в дом идти отказался, попросил чего-нибудь прополоскать рот. Я унесла бутылку виски и принесла полоскание. Его жалкая попытка напиться этим и закончилась; более беспомощных кутежей, начисто лишенных вакхического духа, я не наблюдала даже среди зеленых первокурсников. Ему явно не везло — ни в чем.

Мы вошли в дом; повар сказал, что отец с мистером Маркусом и Флайшекером сидят на веранде, поэтому мы остались в «тонко-кожаном зале». Переменив пару-тройку мест, где мы неминуемо соскальзывали с гладкой обивки, мы наконец уселись: я на меховом коврике, а Стар рядом на скамеечке для ног.

— Я его ударил? — спросил он.

— Да. Еще как!

— Не верю. — Он помолчал. — Я не собирался драться. Просто хотел его выгнать. Видно, он

напугался и полез с кулаками.

Его такое объяснение устраивало — меня тоже.

— Вы его вините?

— Нет. Я был пьян. — Стар огляделся. — Первый раз вижу этот зал — кто его делал? Декораторы со студии?

К нему вернулся былой доброжелательный тон.

— Надо вас отсюда вытащить, Сесилия. Хотите, поедем с ночевкой к Дугу Фэрбенксу на ранчо? Я знаю, он вам обрадуется.

Так начались две недели наших появлений на публике. Луэлле Парсонс с ее колонкой светских сплетен хватило и половины этого срока, чтобы нас поженить.

(На этом рукопись обрывается.)